



С. М. Дубнов в 1930-е годы

Еврейский университет в Москве
Российская национальная библиотека

С. М. ДУБНОВ

КНИГА ЖИЗНИ

Воспоминания и размышления

Материалы для истории моего времени



Санкт-Петербург

1998

Издание осуществлено при финансовом участии Российского Еврейского конгресса

Дубнов С. М. Книга жизни: Воспоминания и размышления: Материалы для истории моего времени. — СПб.: «Петербургское востоковедение», 1998. — 672 с.

Мемуары выдающегося историка, публициста и общественного деятеля Семена Марковича Дубнова (1860—1941) — подлинная энциклопедия еврейской жизни в России. Мемуары написаны на основе дневников, которые С. Дубнов вел на протяжении всей жизни и в которых зафиксирована богатейшая панорама событий второй половины XIX—первых десятилетий XX в. Непосредственный участник и свидетель решающих событий эпохи — заката Гаскалы, зарождения и развития палестинфильства, а позднее сионизма, революции 1905—1907 гг., создания еврейских политических партий и организаций, Февральской и Октябрьской революций 1917 г. и гражданской войны, С. М. Дубнов скрупулезно восстанавливает картину прожитых лет, рисует портреты своих друзей и соратников — писателей и поэтов Шолом-Алейхема, Х. Н. Бялика, Бен-Ами, С. Фруга, Н. С. Лескова, А. Вольнского; политических и общественных деятелей М. Винавера, О. Грузенберга, А. Ландау, Г. Слиозберга и многих других.

Деятельность С. М. Дубнова протекала в важнейших центрах еврейской жизни Одессе, Вильно, Петербурге в годы, когда происходили кардинальные изменения в судьбе еврейского народа. Первые два тома посвящены научной, общественной и политической жизни России, третий том дает представление о русско-еврейской эмиграции в Германии, где С. М. Дубнов оказался в 1922—1933 гг.

Это первое научное издание всех трех томов мемуаров, представленных как единый комплекс, снабженных вступительной статьей, библиографическими комментариями и именованным указателем.

Вступительная статья и комментарий *В. Е. Кельнера*

ББК ТЗ(29-Е)5.013

Перепечатка данного издания, а равно отдельных его частей запрещена.
Любое использование материалов данного издания
возможно исключительно с ведома издательства.

ISBN 5-85803-124-0

© «Петербургское востоковедение», 1998
© В. Е. Кельнер, вступительная статья и
комментарий, 1998



Зарегистрированная торговая марка

С. М. ДУБНОВ — МЕМУАРИСТ

*Воспоминания есть процесс «интеграции души»,
восстановление совокупности переживаний,
следы которых составляют, в сущности,
содержание души.*

С. М. Дубнов

Воспоминания великого еврейского историка С. М. Дубнова — это подлинная энциклопедия еврейской жизни в России второй половины XIX—первых десятилетий XX в. Приступая к их изданию в 1934 г., он писал: «Мы живем ныне в эпоху исторических концов, когда ликвидируется наследие XIX в. во всех областях социальной и индивидуальной жизни. Закончена целая эпоха, *наша* (выделено автором. — В. Кельнер) эпоха на рубеже двух веков, и многие признаки дают повод опасаться, что XX век будет не продолжением, а противоположностью XIX. Силою исторического катаклизма временно прервана преемственность идейных течений века, с которыми была соткана жизнь моя и многих моих современников. И мы, последние представители отошедшей эпохи, обязаны поставить ей памятник». Именно таким памятником и стали три тома мемуаров, названных автором «Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени». Работу над ними С. М. Дубнов начал в годы первой мировой войны и закончил первый том в 1921 г., накануне эмиграции из России. Второй том был завершен в середине 20-х гг. в Германии, а третий — в начале 30-х в Латвии. С. М. Дубнов подчеркивал: «Я всегда смотрел на автобиографию прежде всего как на отчет самому себе, отчет души, а затем уже как на публичный отчет». Он не думал публиковать свои мемуары, однако ход мировой истории и предчувствие катастрофы побудили его приступить к их изданию. Все три тома увидели свет в Латвии соответственно в 1934, 1936 и 1940 гг. Первые два тома сохранились в единичных экземплярах в крупнейших библиотеках мира. Тираж третьего тома был уничтожен оккупационными властями в 1941 г. в Риге. Лишь десятилетия спустя, в 1957 г. дочь С. М. Дубнова Софья Дубнова-Эрлих переиздала в США третий том по одному из случайно сохранившихся экземпляров.

Основой мемуаров стал дневник, который С. М. Дубнов поддерживал всю свою сознательную жизнь, скрупулезно занося в него мало-мальски заметные события общественной, политической и культурной жизни, фиксируя свое отношение к ним. Другим важнейшим источником была обширная переписка, которую он вел на протяжении десятилетий практически со всеми значительными еврейскими деятелями России и Европы. Первый том посвящен детству и юности, годам учебы в Мстиславле, Вильно, Смоленске, жизни в Петербурге и литературному дебюту, а затем одесскому периоду, озаглавленному идейной эволюцией ученого, началом общественной деятельности и выходом в свет первых науч-

ных трудов. Хронологические рамки первого тома — 1860—1903 гг. Том второй, возможно наиболее политически насыщенный, охватывает период с 1903 по 1922 гг. — время жизни и работы Дубнова в Вильно и Петербурге. В эти годы он принимал активное участие в общественно-политической борьбе в еврейской среде, обострившейся в революцию 1905—1907 гг., во время первой мировой войны, революций 1917 г. и гражданской войны. Том третий целиком посвящен периоду пребывания Дубнова в эмиграции в Германии в 1922—1933 гг., завершающему, самому плодотворному этапу его научной деятельности.

В мемуарах С. М. Дубнов предстает как выдающийся историк, мыслитель и общественный деятель, свидетель и участник практически всех происходивших в России эпохальных событий рубежа веков. Но все же в первую очередь эта книга — памятник российскому еврейству.

С. М. Дубнов родился в 1860 г. в городе Мстиславле Могилевской губернии в семье, которая корнями своими была связана с философией иудаизма. Среди его предков были известные талмудисты Иегуда-Юдеаль из Ковно и Иосиф Иоске, автор «Иесод Иосеф» — одного из популярных религиозных сочинений XVIII в. Прапрадед Дубнова Бенцион Хацкелевич в XVIII—начале XIX в. фактически возглавлял еврейскую общину Мстиславля. Первым носителем фамилии Дубнов стал прадед Симона Дубнова — Зеев-Вольф, бывший видным знатоком раввинской литературы. Первым учителем для будущего ученого стал его дед Бенцион, преподававший на протяжении 45 лет Талмуд¹.

В той же степени, в какой Дубнов был связан с традиционной еврейской наукой, он был причастен и к истории российского еврейства. По семейной легенде, Дубновы имели родственные узы с Перетцами — кланом, члены которого еще на рубеже XVIII—XIX вв. вошли в историю страны, сначала как активные представители еврейского населения, а затем, после принятия православия, как русские политические и государственные деятели. В 1844 г. дед С. М. Дубнова Бенцион был свидетелем и участником событий, вошедших в историю под именем «мстиславского буйства»². Семью Дубновых не обошли идейные бури того времени. Дед Бенцион — строгий миснагдим — был противником как хасидизма, так и Гаскалы. Его внук получил традиционное образование в хедере и иешиве.

В истории российского еврейства 60—70-е гг. XIX в. стали во многом переломными. Реформы Александра II смягчили антиеврейское законодательство, требования экономического развития страны привели к усилению процесса интеграции еврейского народа в жизнь империи. Постепенно польско-литовское еврейство становилось еврейством российским. Еврейская молодежь стремилась вырваться из черты оседлости. Она стала получать образование в русских гимназиях и университетах, вошла в отечественную культуру, науку, экономику и политику. Все это привело к созданию и быстрому росту новой группы — русско-еврейской интеллигенции. Миллионы евреев оставались в черте оседлости, но те несколько сот тысяч, что, вырвавшись из нее, расселились по российским городам, стали предпринимателями, врачами, инженерами, журналистами, литераторами, адвокатами. Это были люди с совершенно новой еврейской ментальностью. Шауль Гинзбург, ученик и последователь Дубнова, характеризуя русско-еврейскую интеллигенцию, подчеркивал, что она «в себе объединила лучшие черты русской интеллигенции с верностью и преданностью еврейской культурной традиции»³. «Дети и внуки Гаскалы», русские евреи сделали своим третьим, а затем и родным языком русский, они осознали себя — и стремились внушить это другим — не просто евреями, а евреями именно русскими. Постепенно русско-еврейская интеллигенция стала представительной силой еврейского наро-

¹ Наиболее полная генеалогия Дубнова опубликована в *Histori se Siftn fun JIVO*. В. II. Wilno, 1937 (идиш).

² Дубнов С. Из хроники мстиславской общины // *Восход*. 1899. № 9.

³ Гинзбург С. М. О еврейско-русской интеллигенции // *Еврейский мир*: Ежегодник за 1939 г. Париж, 1939. С. 36.

да в глазах всего русского общества. С. М. Дубнов отмечал особую политическую активность своего поколения и считал, что «инстинкт борьбы за право и политическая активность при самых тяжелых внешних условиях были лучшими традициями русско-еврейской интеллигенции»⁴.

Формирование российского еврейства, приобретение им особых культурных и духовных свойств, было, по моему мнению, процессом естественным, как бы продолжением истории евреев в диаспоре. Те же явления можно проследить и в истории евреев Испании, Германии, в странах Востока. Какая-то часть народа неизбежно ассимилировалась, но в целом именно свойство к мимикрии в конечном счете и сохранило евреев как нацию.

С. М. Дубнов принадлежал к той части российского еврейства, которая сохраняла верность своему народу, приумножала его культуру, боролась за гражданские и политические права.

Оценить С. М. Дубнова как мемуариста можно, только осознав его вклад в развитие исторической науки, поняв его историософскую концепцию мирового еврейства в целом и российского в частности.

С. М. Дубнов вошел в науку в эпоху, когда главенствующее положение в ней занимали исторические школы позитивизма и рационализма Джона Стюарта Милля, Герберта Спенсера и Огюста Конта. Одновременно в России 70—80-х гг. XIX в. огромное влияние на развитие исторического сознания имели идеи русского народничества, в частности концепции Н. К. Михайловского. Третий камень в основании мировоззрения С. М. Дубнова — та часть философского наследия иудаизма, которая была тесно связана с религиозно-мистическими движениями XVII—XVIII вв. В то же время, как представитель русско-еврейской интеллигенции, ученый, бесспорно, опирался на идеи Гаскалы.

Свое идейное credo Дубнов обосновал в работах «Что такое еврейская история» и «Письма о старом и новом еврействе». Оно было выработано в острых дискуссиях с такими мыслителями, как Ахад-Гаам, И. Равницкий, Х.-Н. Вляик, Бен-Ами. Суть концепции С. М. Дубнова заключалась в том, что он, в отличие от большинства своих предшественников, рассматривал еврейство исключительно как нацию духовную. Утратив свое государственно-территориальное существование, еврейство сохранилось лишь потому, что осталось народом духовным, по его определению, «нацией культурно-исторической среди наций политических». До Дубнова в еврейской историографии господствовали теологические концепции, согласно которым евреи рассматривались исключительно как религиозная общность. Дубнов же воспринимает свой народ как нацию, наделенную великим инстинктом самосохранения. Именно этот инстинкт и позволил евреям не только выжить, но и создать автономные формы национального самоуправления в разных странах и в разные века. Это общины Вавилона и Испании, кагалы и ваады в Польше и Литве. Сделав предметом своих исследований жизнь народа во всех ее проявлениях, ученый анализировал и развитие внутренней общественной жизни, историю религиозных течений и историю культуры; при этом собственно еврейская история рассматривается в неразрывной связи с историей стран пребывания. Для Дубнова-ученого равноценны все течения еврейской культуры, их достижения как на иврите, так и на идиш. Не оставляя он вне сферы своего внимания и культурное наследие, созданное на языках диаспоры: в Испании, Франции, Голландии, Германии, Польше, в странах Востока.

В отношении истории российского еврейства концепция Дубнова заключалась в том, что он воспринимал ее как поступательный процесс, в ходе которого польско-литовское еврейство постепенно, за столетие после вхождения в состав России, начинало осознавать себя еврейством именно российским, со своими особыми культурными, общественными и политическими задачами. В то же время история евреев в России для Дубнова — это часть и всемирной, и российской истории. Изучая ее, он стремился охватить все еврей-

⁴ Дубнов С. М. Русско-еврейская интеллигенция в историческом аспекте // Еврейский мир. С. 14.

ские территориально-культурные группы; при этом ученый исходил из того, что они жили по единым законам империи. Значительное место Дубнов уделял исследованию духовного развития народа, противостояния раввинизма и хасидизма, значению распространения идей Гаскалы. Фактически он первым из историков дал обобщающую картину развития еврейской культуры в XIX—начале XX в. Дубнов рассматривал национальную культуру на иврите, идиш и русском языке как равноправные ее составляющие. Для него история еврейского народа в России — это не история «государства в государстве», а динамичный процесс, в ходе которого, ломая все внешние и внутренние преграды, евреи постепенно становились полноправным субъектом российской истории.

С. М. Дубнов утверждал: «Сущность историзма в том, чтобы прошлое воспринимать с живостью текущего момента, а современность мыслить исторически». И именно с таких позиций, воспринимая современность исторически, он выработал доктрину духовного национализма. Свои идеи, противопоставленные как сионизму, так и ассимиляторству, ученый изложил в знаменитых «Письмах о старом и новом еврействе». Согласно Дубнову, автономизм — это выражение духовного самоопределения народа, принужденного жить в галусе, еврейской диаспоре. Для ассимиляторов евреи — народ прошлого, для сионистов — будущего; Дубнов же осознавал нацию как постоянно развивающийся организм, требующий повседневной духовной пищи и защиты. Для него аксиомой было то, что большая часть евреев, даже после создания национального очага в Эрец-Исраэль, останется жить в диаспоре. А посему наилучшей формой национального самосохранения станет автономия. Основой ее виделась не религиозная, а национальная община, обладающая системой институтов — культурных, школьных, филантропических. Все общины должны образовать союз, который будет иметь свое представительство в высших государственных учреждениях. Это, по его замыслу, обеспечит «внутреннее возрождение еврейства в диаспоре». Возрождение виделось ему достижимым в результате борьбы за гражданское и политическое равноправие своего народа. «Певец галуса», он писал: «Велико горе рассеяния еврейского народа, но велико и благо рассеяния. Если бы еврейский народ, подобно другим, был прикреплен к одной земле, он был бы уничтожен вместе с территорией при политических катастрофах трех тысячелетий».

С. М. Дубнов обладал необычайно гибким умом и интеллектуальной восприимчивостью. Неустанно трудясь всю жизнь, он стремительно осваивал полученные знания, новую информацию. Он никогда не боялся корректировать свои взгляды, пересматривать те или иные, оказавшиеся отжившими, философские, исторические и общественные концепции. Однако, откликаясь на все веяния времени, он был верен главному, тому, что считал смыслом своей жизни, — изучению еврейской истории и защите прав своего народа. Как историк он вошел в мировую историографию созданием многогранной истории евреев, трудами, которые опирались на обширную базу источников и содержали оригинальную трактовку событий и их новую оценку. Его публицистика и общественная деятельность были тесно связаны с судьбой российского еврейства на стремительно меняющемся ландшафте империи. И все же главным в жизни он считал свои исторические исследования. В 1892 г. Дубнов сделал в дневнике следующую запись: «Моя цель жизни выяснилась: распространение исторических знаний о еврействе и специальная разработка истории русских евреев. Я стал как бы миссионером истории».

«Книга жизни» — это в первую очередь источник по истории российского еврейства и уже во вторую — автобиография ученого и политика. Проблематика книги широка и многообразна. Дубнов касается практически всех сторон еврейского бытия эпохи, в том числе и одной из самых насущных проблем времени — влияния идей Гаскалы. Автор выступает и как исследователь Гаскалы, и как человек, на которого идеи еврейского просвещения оказали непосредственное влияние. С этим связан и первый, еще не осознанный, детский его бунт против консерватизма, гнетущей системы обучения в ортодоксальных учебных заведениях, в которых прошли детство и юность практически всей ев-

рейской молодежи. Воспоминания Дубнова среди прочего ценны и тем, что дают картину влияния идей Гаскалы в развитии. Первоначально нам представлено восприятие ребенка, чей ум ищет иной, не религиозной, не ортодоксальной пищи. Автор ничуть не стесняется называть среди своих первых «некошерных» книг впоследствии многократно осмеянные произведения Калмана Шульмана и Авраама Мапу. Переведенный на иврит Шульманом роман Эжена Сю «Тайны Парижа» и популярная «Пестрая птица» Мапу стали своеобразным мостом, соединившим тринадцатилетнего мальчика из уездного белорусского городка с идейным и художественным наследием еврейского просвещения 60-х гг. XIX в., хранителями и пропагандистами которого были журналы «Гакармель», «Гамелиц» и «Гашахар». Дубнов вспоминал о последнем: «...с большим волнением читал я запретные книжки журнала, который в консервативных кругах считался самым опасным... Тут я почувал новый дух в еврейской журналистике и любовался модернизированным стилем Смоленского и его сотрудников». В новой еврейской поэзии его кумиром стал Миха-Иосиф Лебенсон. Поэмы Лебенсона «Песни дочерей Сиона», «Соломон и Когелет» и «Арфа Сиона» наглядно продемонстрировали юному иешиботнику те богатейшие возможности, которые таило в себе соединение религиозно-философской поэзии прошлого с философией и поэтикой новой эпохи.

Важнейшим символом времени для С. М. Дубнова стало знакомство с русским языком. Еще недавно для евреев черты оседлости, замкнутых в своем национальном ареале, язык империи был, по существу, не нужен. В 70-е гг. XIX в. экономические и культурные преобразования привели к тому, что молодежь начала овладевать русским языком. В течение буквально трех-четырёх лет Дубнов, до тринадцати лет говоривший и писавший только на иврите и идиш, осваивает русский язык. Это открывает перед ним совершенно иные горизонты. По собственному его признанию, он «получил ключ к богатой русской литературе», а с ним и к «литературе европейской, которая в изобилии преподносилась публике в русских переводах». Вскоре Дубнов вошел в круг образованной еврейской молодежи, поступил в русскую школу. Талмуд и книги Лебенсона сменили «Даниэль Деронда» Дж. Элиот, поэзия Людвиг Берне, тома журнала «Дело». Постепенно Дубнов начинает жить как бы в двух мирах — еврейском и русском. Мемуары великолепно передают те душевные нюансы и то интеллектуальное напряжение, которые сопровождали процесс создания новой общности — русско-еврейской интеллигенции. В 70-е гг. XIX в. значительная часть образованной еврейской молодежи как бы вошла в одно русло с русской, главным образом студенческой, молодежью, находившейся в оппозиции к существующей в стране политической, экономической и идеологической системе.

Мемуары С. М. Дубнова уникальны во многих отношениях. В частности, только в них можно найти столь полную информацию о становлении русско-еврейской интеллигенции в ее петербургский период. Дубнов подробно описывает атмосферу «еврейского» Петербурга в переломные 80-е гг. XIX в. Погромы 1881—1882 гг. на юге России и рост антисемитизма, в том числе и государственного, привели к краху иллюзий о возможности безболезненной интеграции евреев в российское общество, следствием чему были идейный кризис и противостояние между поколением 60-х гг. и новой генерацией российского еврейства. Основные споры шли на страницах периодических изданий «Восход», «Русский еврей», «Рассвет». С. М. Дубнов, подробно останавливаясь на идейном состоянии общества того времени, рисует яркие портреты своих современников. Это были люди, олицетворявшие новое российское еврейство: Я. Розенфельд, М. Варшавский, С. Фруг, С. Лурье, М. Каган, С. Гурвич, М. Кулишер, Г. Лившиц, Л. Кантор, А. Ландау. В 80-е гг. занятия наукой, первые литературные опыты свели Дубнова с некоторыми русскими учеными и писателями, интересовавшимися еврейскими проблемами, — С. Бершадским, Н. Лесковым, М. Антоновичем. Его воспоминания являются практически единственным источником о ранних годах жизни и творчества таких впоследствии знаменитых литераторов, как А. Волинский, С. Фруг, С. Венгеров, Н. Минский. Много внимания уделяет

Дубнов сути споров тех лет и своей позиции по отношению к основным проблемам еврейского национального движения — палестинофильству, ассимиляторству, диаспорности. Именно тогда, в середине 80-х гг., в Петербурге произошли изменения в его взглядах. Если раньше он выдвигал на первый план в своих исканиях общечеловеческие ценности (универсальность), то теперь российские реалии стали диктовать необходимость взаимодействия обоих направлений — национального и общечеловеческого — в истории и культуре евреев. Минули годы юношеского максимализма, и он сам признавал, что к 1886 г. «в моих работах все яснее обозначается поворот к эволюционному методу исследования истории и современности». Время интеллектуального накопления прошло. Настал период аналитической работы.

Дубнову-историку посвящено немало исследований, но во многом нецененным остался его вклад в критику, тогда как он около пятнадцати лет был активным литературным обозревателем в журнале «Восход» и несколько лет возглавлял в нем отдел критики. Критикус — псевдоним, избранный им специально для этого направления творчества, был хорошо известен в среде интеллигенции. В своих критических статьях Дубнов резко выступал против псевдонародных, по его мнению, произведений Шопера (Шайкевича), консерватизма В. Явица и Ф. Геца, одним из первых обратил внимание на ранние литературные шаги Шолом-Алейхема и И.-Л. Переца. Ряд статей он посвятил массовой идишистской литературе, а также первым еврейским произведениям на русском языке, творчеству Г. Богрова, А. Леванды, Я. Динесона.

И все же постепенно на первый план выходили его исторические исследования. В конце 80-х гг. С. М. Дубнов приступил к изучению хасидизма, интересовавшего его и как социальное явление, и как особое философское направление в иудаизме, корни которого, как считал ученый, лежат глубоко в еврейском национальном сознании.

Весной 1890 г. С. М. Дубнов переехал в Одессу. Именно в этом городе, в котором он прожил до 1903 г., окончательно сформировалась его историческая концепция, выкристаллизовалось мировоззрение и определилась общественно-политическая позиция. Известно, что Одесса тех лет — город, в котором более, чем где-либо, получили развитие разные направления еврейского национального движения. Достаточно перечислить имена тех, с кем постоянно общался Дубнов, чтобы понять значение этого периода в его жизни и творчестве: Ахад-Гаам, Бен-Ами, А. Е. Кауфман, З.-Н. Бялик, И.-Х. Равницкий, М. Моргулис, Мендел Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем, С. Фруг. В этом кругу обсуждались все насущные проблемы российского еврейства. Мемуары дают полное представление об идейных спорах, об общественных, научных и издательских мероприятиях, таких, к примеру, как деятельность Общества просвещения среди евреев, перевод и подготовка к выпуску исторических трудов Г. Греца, С. Бека и М. Бранна, написанного Дубновым «Учебника еврейской истории». Значительным событием для круга Дубнова тех лет стало появление книги Т. Герцля «Еврейское государство», вызвавшей горячие дискуссии. Автор подробно останавливается на концепции «духовного сионизма» Ахад-Гаама, на своем восприятии сионизма, на предыстории и идейной сути своих «Писем о старом и новом еврействе» как реакции на решения первого Сионистского конгресса в Базеле и деятельность Бунда. Высказанный Дубновым принцип «свободы в рабстве» стал определяющим для его позиции в последующие годы. Он лег в основу автономизма — национальной программы, предложенной С. М. Дубновым российскому еврейству в начале XX в.

На рубеже XIX—XX вв. в России было три главных центра еврейской интеллектуальной и общественной жизни: Одесса, Петербург и Вильно. Дубнов практически единственный мемуарист эпохи, подолгу живший в этих городах и активно участвовавший в работе различных местных и общероссийских организаций.

Летом 1903 г. С. М. Дубнов переехал из Одессы в Вильно. В этом городе он выступил не только в качестве интеллектуала и теоретика, но и как практик еврейского националь-

ного движения. В «Книге жизни» Дубнов представляет Вильно центром дискуссий между течениями российского еврейства, избравшими путь открытого противостояния национальной и социальной политике самодержавия. Именно тогда, в многочасовых острых спорах с Г. Бруком, В. Жаботинским, Б. Гольдбергом, Ш. Левиным, В. Темкиным и другими, сформулировал он свое отношение к сионизму. Годы, проведенные в Вильно, совпали и с активизацией деятельности Бунда, некоторых из руководителей которого (С. Гожанский, И. Ленский, Р. Абрамович) он знал лично. К этой партии присоединилась и его дочь Софья, ставшая женой одного из лидеров Бунда Г. Эрлиха. Виленский период в жизни Дубнова отмечен и наиболее активным его участием в национальном движении. Развитие освободительной борьбы в стране в 1905 г. дало возможность евреям впервые выйти на общественную арену — создать организацию, объединившую на время основные политические течения. С. М. Дубнов подробно вспоминает о формировании «Союза полноправия евреев в России», о его съездах, тактике, дискуссиях в руководстве. Здесь он сотрудничал и с лидером общероссийской партии кадетов М. Винавером, и с социалистом М. Ратнером, и с молодым историком Ю. Гессеном, и с уже известным адвокатом О. Грузенбергом. В работе «Союза полноправия» участвовал весь цвет «еврейской» России, и Дубнов оставил живые и точные портреты многих своих соратников.

В 1906 г. С. М. Дубнов переехал в Петербург.

Политическая и общественная жизнь Петербурга имеет своих мемуаристов. Но в «Книге жизни» как нигде содержится подробный и, более того, документированный рассказ о «еврейской политике» в Государственной Думе России в 1906—1916 гг., о работе организаций, призванных координировать деятельность депутатов в еврейском вопросе. Пожалуй, сравниться со значимостью воспоминаний Дубнова об этой странице истории могут только мемуары Я. Фрумкина, опубликованные значительно позднее⁵. Политическая жизнь «еврейского» Петербурга представлена у Дубнова во всем ее идейном многообразии: от сионистов до группы «Свобода и равенство». Естественно, наиболее полно он рассказывает о своей «Народной партии» и близких соратниках по борьбе М. Крейнине, А. Залкинде, В. Манделе, А. Перельмане.

Другая важная тема воспоминаний петербургского периода — развитие еврейской науки. Об этом мы имеем не много свидетельств. Можно назвать воспоминания М. Вишницера и С. Гинзбурга⁶. Годы между двумя революциями в России, с 1905-го по 1917-й, стали периодом расцвета еврейской науки. Новое поколение русско-еврейской интеллигенции создало Историко-этнографическое общество и еще несколько научных организаций. Дубнов активно участвовал в основании в Петербурге еврейского университета, в создании «Еврейской энциклопедии», был автором и редактором ежегодника «Еврейская старина». В то же время он продолжал научные исследования, доведя свою историю евреев в России до начала XX в.

Дубнов оставил уникальные воспоминания и о революционных потрясениях в стране в 1917 г. Как все ранее, историк и их оценивает исключительно с «еврейской» точки зрения. Он не только живо описывает известные события, но и скрупулезно фиксирует деятельность еврейских партий и организаций того периода.

С. М. Дубнов сразу и однозначно не принял власть большевиков. Более того, он был одним из немногих политических деятелей, отрицательно относившихся как к власти красных, так и белых. Весь опыт ученого, знание истории своего народа и поистине редкая прозорливость позволили ему уже в 1918—1920 гг. высказать убеждение в том, что общество, построенное на отрицании общедемократических принципов, неизбежно рано или поздно придет к возрождению крайних форм национализма, к государственному

⁵ Фрумкин Я. Г. Из истории русского еврейства // Книга о русском еврействе. Н. У., 1960.

⁶ Вишницер М. Воспоминания // Новый журнал. Т. 53. Н. У., 1958; Гинзбург Ш. Былой Петербург. Нью-Йорк, 1944.

антисемитизму. То, что национальная еврейская жизнь в России будет уничтожена, он понял одним из первых. Быть немим свидетелем этого, а тем более участником, Дубнов не желал и в 1922 г. эмигрировал в Германию. Здесь на склоне лет он решил завершить труд своей жизни — десяти томную историю еврейского народа.

Германскому периоду своей биографии С. М. Дубнов посвятил третий том мемуаров, охвативших период с 1922 по 1933 гг. За эти годы в различных издательствах и на разных языках вышли в свет в новой редакции три тома его «Всемирной истории евреев», «Новейшая история еврейского народа», «Письма о старом и новом еврействе» и ряд других произведений. С первых дней в Германии Дубнов полностью ушел в научную работу, стараясь отстраниться от тех тревог и волнений, что окружали его со всех сторон. Но с каждым днем действительность все настойчивее напоминала о себе. В апреле 1923 г. он отметил в дневнике: «Ровно год тому назад в этот день я покинул Петербург и Россию после долгих лет мук заточения в царстве нового деспотизма. Я знал, что еду на „развалины Европы“, но момент выхода из тюрьмы был светел и сулил многое впереди. Прошел год. Я свободен, я в Берлине, у печатного станка... и что же, счастлив я? Нет, нельзя быть спокойным, дыша атмосферой тревоги».

С. М. Дубнов как ученый и общественный деятель был хорошо известен в мире. Оригинальный мыслитель, он всегда был личностью, вокруг которой концентрировался определенный круг: ученики, единомышленники, люди, разделяющие его научные и философские концепции. Он и в преклонные годы сохранял гибкость ума, способность анализировать новую информацию и трезво оценивать ситуацию. В 20-е годы его историко-философские взгляды подверглись значительной корректировке в результате тех глобальных, а подчас катастрофических перемен, которые произошли в мире после первой мировой войны, победы большевизма и наступления нацизма. Раньше, отрицая диаспорность как абсолютное зло, он отстаивал идеи возрождения еврейского народа путем завоевания национальной и культурной автономии. Теперь, после краха автономизма в России, после реализации идей сионистов о национальном очаге в Эрец-Исраэль, Дубнов начал склоняться к принятию концепции двух параллельных и равноценных путей развития мирового еврейства: в диаспоре и в Эрец-Исраэль. Эти идеи выкристаллизовались не только в результате анализа современных событий, но и в горячих дебатах в кругу ближайших друзей и коллег, в «берлинском кружке» Дубнова. Ученый отвел немало места воспоминаниям об этих дискуссиях, портретам своих берлинских собеседников: философа Давида Койгена, ветерана социал-демократа Эдуарда Бернштейна, секретаря еврейской общины города Иосифа Майзеля. Большинство «берлинского кружка» составляли ученые, общественные и политические деятели — эмигранты из России. В первую очередь — братья Исаак и Аарон Штейнберги, Элиас Черкивер, Яков Лецинский, Лев Моцкин, Виктор Якобсон. Порой С. М. Дубнову приходилось отрываться от своих научных занятий для участия в общественной жизни, но делал он это лишь в тех экстренных случаях, когда считал, что его авторитет действительно необходим. Он вспоминает о своей работе в Комитете еврейских делегатов в Лиге Наций, в «Совете для защиты прав еврейских меньшинств» и в Комитете защиты Ш. Шварцбарта.

Начиная примерно с 1929 г. ученый все пристальнее вглядывался в ход политических событий. Анализ внутривнутриполитической обстановки в стране привел его к неутешительным выводам о неизбежном приходе к власти самых крайних правых, националистических сил. С 1931 г. он, интенсивно работая над воспоминаниями, по собственному определению, «превратил писание мемуаров в убежище от кругом бушевавшей бури».

Была и еще одна проблема, постоянно тяготившая ученого, — мучительные переживания оторванности от российского еврейства. С. М. Дубнов с горечью отмечал: «Чего же недостает? Одного: нет России, нет того российского еврейства, для которого я почти полвека трудился... Пишу для мирового еврейства, кроме замкнутого в советском царств-

ве, печатаюсь на разных языках, но не на том, на котором больше всего писал...» В России остались дочь и сын, другая дочь с детьми жила в Польше.

Приход к власти Гитлера заставил С. М. Дубнова покинуть Германию. Он имел приглашение в Эрец-Исраэль и в США, но принял роковое решение и в августе 1933 г. переехал в Латвию, так как хотел быть ближе к детям и внукам, а главное — к своему читателю, русскоязычному еврейству. В Риге Дубнов завершил и выпустил все три тома мемуаров.

Захват Латвии советскими войсками создал для него реальную опасность. Неприятие ученым теории и практики большевизма было хорошо известно. В 20-е гг. он опубликовал в европейской и американской печати несколько статей с резкой критикой советской национальной политики. В свою очередь, в конце 20-х гг. в СССР были изъяты его труды, а он сам подвергнут остракизму. Однако престарелого ученого не арестовали. Думается, что причиной тому было отнюдь не уважение к его преклонным годам. С. М. Дубнов пользовался в мире большим авторитетом, имел широкие связи с еврейской общественностью в Европе и США. В то же время в СССР находилась вся его семья. И можно только догадываться, как собирались использовать его имя в этих обстоятельствах соответствующие советские органы. В Риге застала С. М. Дубнова немецкая оккупация. Существует ряд легенд о последних днях его жизни. Скорее всего, он погиб в декабре 1941 г. в одной из первых акций по уничтожению еврейского гетто.

Всю жизнь С. М. Дубнов изучал историю еврейского народа в России и ушел, став ее последней страницей.

В одном из произведений С. М. Дубнов писал: «Для современного еврея, утратившего религиозную веру в загробную жизнь или философскую идею бессмертия, их заменой может служить вера в коллективное бессмертие еврейства. Народ, давший миру великих духовных творцов и проделавший трехтысячелетнюю историю, не может исчезнуть бесследно, растворившись в народах позднейшей культуры».

Существует максималистское мнение о том, что комментатор не должен уступать по интеллекту автору, чье произведение он комментирует. В данном случае это просто невозможно, так как необходимо обладать примерно теми же знаниями истории, теми же способностями к философским обобщениям, что и С. М. Дубнов. В конце концов, надо быть просто человеком того особого времени, каким был конец XIX—начала XX в., чтобы понять суть многих проблем, значимость тех или иных оценок, высказанных автором, или, в ряде случаев, наоборот, их недосказанность. Комментирование «Книги жизни» осложняется тем, что их автор жил одновременно в нескольких мирах: традиционном еврейском, русско-еврейском, русском. Он совмещал в себе скрупулезность ученого и пылкость публициста, был теоретиком и организатором. В своем комментировании я старался раскрыть наиболее значимые из упоминаемых Дубновым событий и понятий, дать краткие сведения о людях, чьи судьбы пересекались с его судьбой.

Мемуаристика российского еврейства не слишком богата крупными произведениями. Можно назвать лишь вышедшие в разные годы и в разных странах воспоминания В. Жаботинского, Г. Слиозберга, Я. Мазе, Я. Тейтеля, А. Штейнберга. Но все они, на мой взгляд, по своей аспектности и масштабности уступают «Книге жизни». Однажды в предисловии к чужим мемуарам Дубнов высказал следующее соображение: «Я всегда думал, что право на писание своих воспоминаний имеют не только писатели, политические и другие общественные деятели, но и каждый интеллигентный человек, который прошел свой жизненный путь не в обычных условиях смены поколений отцов и детей, а в эпоху культурных переломов и усиленной борьбы между старым и молодым поколением»⁷. Эту мысль он в полной мере подтвердил своей книгой. Ее источниковое значение состоит в

⁷ Дубнов С. Предисловие // *Выгодская А. История одной жизни*. Рига, 1938. С. 5.

том, что, созданная на основе многолетних дневников, она воспроизводит целую эпоху в истории российского еврейства. Дубнов восстанавливает перипетии духовной и общественной борьбы в еврействе конца XIX — начала XX в. Практически нет подобного источника, в котором было бы сконцентрировано столько событий, дано столько портретов современников. На разных этапах жизни С. М. Дубнов был связан дружескими, общественными или профессиональными узами с такими фигурами российского еврейства, как А. Вольнский, Х.-Н. Бялик, А. Леванда, Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем, Ахад-Гаам, Бен-Ами, Ан-ский, Г. Богров, М. Брамсон, Ю. Бруцкус, А. Моцкин, О. Грузенберг, А. Ландау, А. Гаркави, Л. Гордон, Гр. Гуревич, Х. Житловский, А. Каценельсон, М. Винавер, М. Мандельштам, Н. Минский, М. Моргулис, М. Усышкина, С. Фруг, С. Венгеро, Ю. Гессен, С. Гинзбург, М. Вишницер, А. Идельсон, Л. Кантор, И. Клаузнер, Л. Леванда, и многими другими.

Особая ценность этих мемуаров в том, что автор не пытается казаться беспристрастным. «Книга жизни» — подлинная мемуаристика потому, что она субъективна. Автор не скрывает своего личного отношения ни к событиям, ни к людям, невзирая на масштабность одних и авторитетность других. Сам С. М. Дубнов был фигурой столь высокого уровня, что мог на равных говорить с любым деятелем эпохи. При этом он не страдает исторической аберрацией, не пытается оправдать и тем более скорректировать свои взгляды и поступки с «высоты возраста» и последующих знаний. Строго и точно он стремится подходить как к другим, так и к себе. В этом ему помогло врожденное чувство историзма.

Мемуары написаны и были изданы на русском языке. Человек, влюбленный в русский язык, Дубнов обратился к своим читателям на языке русско-еврейской интеллигенции рубежа XIX—XX вв., подробно объяснив это свое решение в предисловии к первому тому.

Сын своего народа и своего времени, С. М. Дубнов оставил нам не просто мемуары, а подлинный памятник российскому еврейству, создавшему непреходящие духовные и исторические ценности и сгоревшему в огне революций и гражданской войны, в печах гитлеровских крематориев, сгинувшему в ГУЛАГе, ушедшему в эмиграцию, ставшему в СССР «лицами еврейской национальности». Это памятник тому еврейству, на плечах которого возродилось государство Израиль.

Данное издание рассчитано в основном на массового читателя в России. Поэтому в нашем комментарии, стремясь ввести в «мир Дубнова», мы приводим лишь краткие сведения и при необходимости отсылаем к литературе на русском языке имеющейся сегодня в крупных библиотеках страны. Имена собственные, названия организаций, периодических изданий и все прочие термины даются в принятых в то время написаниях, зафиксированных в «Еврейской энциклопедии» на русском языке, выходявшей в 1908—1913 гг. Дополнительная литература в комментариях приводится только в тех случаях, когда это необходимо для характеристики научных и общественных воззрений мемуариста и знакомства с его окружением.

Приношу благодарность всем тем друзьям и коллегам, кто консультировал меня при составлении комментария: потомков и родственников С. М. Дубнова — А. Я. Гинзбурга и А. А. Павленко, литературоведа Т. В. Ланину, историков Б. Натанса (США), М. Гланц (США), М. Бейзера (Израиль), М. Альтшуллера (Израиль), В. Лукина (Израиль), В. Дорн (ФРГ), Ш. Маркиша (Швейцария), а также С. З. Луцика (Одесса).

В. Е. Кельнер

С. М. ДУБНОВ

КНИГА ЖИЗНИ

Т о м I

(до 1903 года)

*Памяти Иды,
спутницы моей жизни в течение полувека
(скончалась в Риге 23 января 1934 г.)*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда я в годы мировой войны составлял заметки для этой книги воспоминаний и затем писал большую часть ее вчерне (в 1921—1922 гг., перед оставлением России), я не думал издавать ее еще при жизни. Я всегда смотрел на автобиографию прежде всего как на отчет самому себе, «отчет души» (хешбон ганефеш), а затем уже как на публичный отчет. Путем самонаблюдения я создал себе психологическую теорию, по которой воспоминание есть процесс «интеграции души», восстановление совокупности переживаний, следы которых составляют, в сущности, содержание души. Такие частичные интеграции, мысленные обзоры пережитого, я не раз делал в своей жизни, особенно в моменты, когда под напором текущих впечатлений душа дифференцировалась, рассеивалась и теряла равновесие. Я поэтому думал, что общие итоги жизни, последнюю интеграцию, нужно сделать в конце жизни для себя лично, с тем чтобы эти итоги стали известны другим позже, когда закончится эпоха жизни автора.

И если я теперь решился сделать личный отчет публичным и печатать «Книгу жизни» перед концом самой жизни, то это произошло в силу чрезвычайных обстоятельств, которые превратили описываемую здесь эпоху в нечто законченное.

Мы живем ныне в эпоху исторических концов, когда ликвидируется наследие XIX века во всех областях социальной и индивидуальной жизни. Закончена целая эпоха, наша эпоха на рубеже двух веков, и многие признаки дают повод опасаться, что XX век будет не продолжением, а противоположностью XIX. Силою исторического катаклизма временно прервана преемственность идейных течений века, с которыми была соткана жизнь моя и многих моих современников. И мы, последние представители отошедшей эпохи, обязаны поставить ей памятник. Я издаю свои воспоминания как «материалы для истории моего времени», истории идейной борьбы в начале и политической в конце.

При таком отношении автора к воспоминаниям, его книга не может быть ни апологией, ни полемикой, ни тем более мемуарной беллетристикой, как большая часть нынешней мемуарной литературы. Я писал ее *more historico*, на исторический лад, не только по памяти, но и по письменным источникам: дневникам и обширной переписке. Во втором томе «Книги жизни» извлечения из дневников будут часто заменять описание событий. Многое в моих воспоминаниях может служить комментарием к моим статьям, большая часть которых рассеяна в периодических изданиях и едва ли когда-нибудь будет собрана для отдельного издания. В своих поисках истины, на пути от старого тезиса через резкий антитезис к синтезу, я делал различные зигзаги, которые

вследствие моего слишком раннего выступления в литературе стали достоянием гласности. Все эти искания найдут свое откровенное объяснение в настоящей книге, где автор не скупился на самокритику.

Может показаться странным то, что я пишу и сейчас печатаю свои воспоминания на русском языке, после того как еврейская литература на этом языке уже перестала существовать и мои произведения последнего времени должны были печататься на еврейском и других языках. Сделал я это по следующим соображениям. Во-первых, мне приходится тут, для документирования изложения, приводить много русских цитат, которые считаю нужным сохранить в подлинниках. Во-вторых, и это главное, я хотел свою последнюю книгу написать на том языке, который служил для меня главным литературным орудием в течение сорока лет. Когда-то меня воодушевляло стремление поднять русско-еврейскую литературу, как важнейшую часть универсальной литературы диаспоры, на высоту современной научной мысли. После распада великого еврейского центра в России мне суждено было похоронить эту надежду и, перед оставлением родины, сказать надгробное слово над безвременно угасшей литературой перед представителями воспитавшихся на ней двух поколений нашей интеллигенции. И теперь, после моего возвращения к двум языкам нашего народа, я хочу отдать последний долг покойнице постановкою ей памятника на ее языке. (Для сохранения колорита времени тут сохранена и тогдашняя орфография, за исключением твердых знаков в конце слов*.) Вскоре эта книга появится и на обоих еврейских языках.

*Лесной парк, близ Риги
8 июня 1934*

* В настоящем переиздании «Книги жизни» сохранены некоторые особенности пунктуации и орфографии автора. *Ред.*

КНИГА ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ (Мстиславль, 1860—1877)

Глава 1

Рабби Иосиф Дубно и судьба его книги

Город Дубно во второй половине XVII в. — Раввин-каббалист Иосиф Иоске. Его книга «Иесод Иосеф»: завещание благочестия, аскетическая мораль, картины загробного мира. — Литературный плагиат автора «Кав гаяшар». Популярность книги под чужим именем. — Потомки Иосифа Дубно, переселенные из Волыни в Белоруссию и запоздалое появление книги (1785).

В волыньском городе Дубно жили мои предки во времена старой Польши, от середины XVII до середины XVIII в. Во время первого раздела Польши (1772) они поселились в присоединенной к России Белоруссии, в городе Мстиславле (Могилевской губернии). Одной из причин этого переселения было, по семейному преданию, своеобразное литературное дело, о котором будет рассказано дальше. Память о нашей первоначальной родине запечатлелась в нашем фамильном имени. Когда фамильные имена стали по русскому закону обязательными (при Александре I), мой мстиславский предок принял имя Дубнов, как русскую форму прозвища «Дубно» или «из Дубно», которое прилагалось к личным именам его предшественников.

В последние десятилетия XVII в., когда утихли и казацкие восстания, опустошившие еврейскую Украину, и последовавшие за ними мессиянские волнения (Саббатай Цеви¹), в Дубно состоял раввином каббалист Иосиф Иоске, сын ковельского талмудиста Иегуды-Юдея. Раввин был во власти модной тогда «практической каббалы», мрачного учения аскетизма и национального траура. К этому вполне располагала и тогдашняя обстановка: ведь город еще не вполне оправился от опустошений 1648 г., когда половина еврейской общины была истреблена казаками Хмельницкого², а многие разбежались. Современный летописец Натан Гановер³ рассказывает, что во время осады города бандами Хмельницкого поляки спрятались в городской крепости, но евреев туда не пустили, так что несчастные сотнями падали от казацких пуль у стен крепости. Там и похоронили убитых. На могилах этих мучеников плакала вся община ежегодно в пост Тише-беав. Зная нравы той эпохи по многочисленным историческим документам, я живо представляю себе фигуру моего дубенского предка, как он поднимается с постели до рассвета и справляет обряд полуночного траура («тикун хацот»), плачет о судьбе гонимой нации и поет сквозь слезы: «Доколе плач в Сионе и рыдания в Иерусалиме!..»

Предо мною собственное свидетельство Иосифа из Дубно в виде завещания потомству и таблицы правил поведения («луах гангагот»), которую он написал для самого себя*: «Пока во мне душа держится, я должен подумать, как предстану пе-

* Налечтано вскоре после смерти автора в книжках «Неима кадоша» («Святая мелодия») и «Луах гангагот» («Таблица поведения», 1719). В первой из этих книжек помещен каббалистический гимн ав-

ред нашим Отцом в небесах среди праведников в венцах Торы и добрых дел, между тем как на моей голове лежит бремя позора от неискупленных грехов. Владыко мира, не бери меня из моего дома и моей семьи, прежде чем я очищусь от грехов и приготовлюсь в далекий путь. Ради этого я и составил сию таблицу, чтобы поминать, как себя вести». И затем идет целый регламент аскетизма, из которого приведу лишь несколько пунктов: «Пробуждаясь от сна, я должен стараться, чтобы первое произнесенное мною слово относилось к Торе или молитве... Считать каждое слово в молитве как бы драгоценным камнем, чтобы при произнесении его без надлежащего внимания я огорчился как при утере драгоценности. Не говорить в синагоге ничего, не относящегося к Торе или молитве. Учить Тору ежедневно, не снимая молитвенных ремней («тефиллин»). Не удовлетворять своей потребности в еде и питье в большей мере, чем нужно для поддержания жизни. Не говорить лишних слов, ибо от разговора вообще больше вреда, чем пользы. Всеми силами избегать гордости и лести... Ежедневно утром и вечером исповедаться с сокрушенным сердцем в грехах, вспоминая при этом о разрушении Иерусалима и об избииении святых овец (паствы израильской), да отомстит Бог за их кровь... Никогда не смеяться громко, памятуя о том, что человек есть прах и пепел... Перед отходом ко сну не забывать о каком-либо содеянном в течение дня грехе и тут же принять решение исправить его на следующее утро, если нельзя сделать это сейчас...»

Жутким загробным настроением проникнуто большое сочинение рабби Иосифа, под заглавием «Основа Иосифа» («Иесод Иосеф»), то есть основные начала его мировоззрения. Это — одна из типичных «нравоучительных книг» («сифре мусар») того меланхолического времени. Мир полон блуждающих грешных душ и злых демонов; каждый грех порождает нового демона; смертный час является началом Страшного суда, перед которым человек должен дать ответ за все содеянное в земной жизни. Я помню, с каким трепетом я читал в детстве такие строки из сочинения моего предка: «О человек, если б ты знал, сколько тысяч ангеломучителей («малахе хаббала») подстерегают последнюю чашечку крови в твоём сердце, ты бы всецело подчинил свое тело и свою душу Создателю, да прославится Его имя» (гл. 1). «Вообще ты должен знать, что весь воздух и все мировое пространство наполнены душами, не могущими дойти до места своего успокоения. Ученики святого Ари слышали это от своего учителя. Однажды Ари пошел в поле, чтобы там заниматься Торой, и вдруг увидел, что на всех деревьях сидят души в несметном числе и многие держатся на поверхности воды. И спросил их Ари: что вы тут делаете? И услышал ответ: мы отброшены от священной (небесной) ограды, так как не успели искупить свои грехи, и мы скитаемся и терпим великие муки» (гл. 5). Всякое слово, произнесенное на земле, вызывает отклик на небе. «Однажды женщины сидели и разговаривали о том, как они будут давать отчет перед Богом после смерти, и одна из них сказала смеясь: „А я перед небесным судом притворюсь немой и ничего не отвечу“. И что же? Через несколько дней она онемела и не могла говорить до дня своей смерти» (гл. 1).

Книга читается как мрачная поэма. Автор, как мистический Данте, ведет читателя по всем «мировым пространствам», наполненным мириадами блуждающих душ и злых духов, по разным отделениям ада, где мучаются осужденные грешники; он часто как бы хватается спутника за руку и взволнованно говорит: «Вот смотри, что написано в священном Зогаре», «А вот что сказано в писаниях Ари» (в то время сочинения Ари или, точнее, его учеников распространялись в рукописных копиях, так как напуганные мессианским движением раввины запрещали их печатать). Дубенскому аскету было ясно, что мир утопает в грехе, ибо греховно все: не

тора в честь святой субботы на смешанном еврейско-арамейском языке. «Таблица поведения» перепечатана затем во главе большой книги рабби Иосифа «Иесод Иосеф» (Шклов, 1785). — Здесь и далее подстрочные примеч. С. М. Дубнова. *Ред.*

только нарушение мельчайших обрядовых предписаний, но и всякое земное удовольствие. Автор бичует и личные, и общественные пороки своего поколения. В одном месте (гл. 9) он рисует печальную картину нравов в еврейских общинах: «Многие вожди (кагалные) деспотически властвуют и нагоняют страх на общину. Они живут в холе и в неге, облегчают себе бремя налогов и взваливают его на других... Сборщики податей приходят в дома бедняков и хватают что попадается из мебели и платья, все продается за недоимку, и беднякам ничего не остается, кроме соломы на их постелях; сидят без платья в холоде и сырости и плачут в своих углах с женами и детьми. Вожди же богатеют от податных сборов и дают большое приданое своим сыновьям и дочерям, и все это из трудовых денег еврейских семей. Перед таким человеком идет князь (на том свете): вот этот питался мясом и кровью святого народа израильского!»

При таком высоком нравственном уровне рабби Иосиф, однако, не поднимается над низким умственным уровнем своего времени. Он осуждает всякое проявление свободомыслия: «Пусть человек совершенно удаляется от изучения философии, ибо она есть та блудная женщина, о которой сказано: все приходящие к ней не вернутся назад». Надо особенно избегать изучения естествознания. Рабби Иосиф вполне убежден в том, что содеянные грехи порождают злых демонов, которые воплощаются в образы польских воинов или казаков и от времени до времени устраивают кровавые погромы в еврейских общинах (гл. 4). Но он хочет внушить читателю, что земные страдания ничто в сравнении с загробными. От начала до конца книги звучит один вопль: «Горе нам от дня суда, горе от дня наказания!» (гл. 1). Каждый день приближает нас к смерти и, следовательно, к этому Страшному суду. Огонь в аду не угасает никогда, кроме субботних дней, когда грешникам дают отдых от мук, но те, которые в земной жизни нарушали заповеди о субботнем покое, не освобождаются от наказания даже в эти святые дни (гл. 60).

Рабби Иосиф умер в Дубне в 1700 г. и оставил по себе память святого праведника. В Пинкосе местной общины записано следующее происшествие. Один из преемников Иосифа в должности раввина просил перед смертью, чтобы его похоронили рядом с могилой святого предшественника; когда стали рыть могилу для нового покойника, случайно задели лопатой соседний гроб рабби Иосифа, доски гроба рассыпались и перед испуганными могильщиками предстало тело святого, не тронутое тленом, с палкою, вставленную ему в руку при похоронах по его последней воле. Как только это случилось, в городе началась эпидемия, от которой умерло много детей. Чтобы успокоить гнев святого, потревоженного в своей могиле, члены погребального «Святого братства» («Хевра кадisha») собрались и постановили: ежегодно в день, когда случился этот грех, устраивать пост с богослужением в синагоге и шествие к могиле рабби Иосифа, чтобы просить у него прощения за нарушение его покоя.

Оставшаяся в рукописи книга «Иесод Иосеф» имела свою судьбу. Автор завещал, чтобы его потомки по мужской линии напечатали книгу, как только кто-либо из них попадет в город, где есть еврейская типография. Но не успели еще наследники исполнить волю покойного, как за это взялся один из его учеников, имевший в руках копию с манускрипта. Этот ученик, Цеви Гирш Кайдановер⁴ (сын знаменитого франкфуртского и краковского раввина Арона Самуила), решил напечатать книгу как свое собственное сочинение, составленное на основании поучений р. Иосифа, и заработать деньги от продажи экземпляров. Ловкий ученик совершил плагиат. В 1705 г. он издал во Франкфурте-на-Майне книгу учителя под своим именем и под другим заглавием: «Кав гаяшар» («Правильная мера»). В предисловии издатель рассказывает о своих злоключениях в Польше, разоривших его и заставивших его покинуть родину; нужда и желание совершить богоугодное дело побудили его после прибытия во Франкфурт собрать поучения, слышанные им от своего

отца и учителей, в особенности от р. Иосифа из Дубно, и издать их с своими замечаниями в виде нравоучительной книги. Сравнивая тексты «Кав гаяшар» и позже изданного оригинала «Иесод Иосеф», мы видим ясно, что плагиатор напечатал почти всю рукопись подлинного автора и только в начале или конце каждой главы прибавлял фразу от себя для сокрытия следов; однако во второй части книги он прибавил от себя ряд целых глав. В конце своего предисловия Кайдановер просит добрых людей помочь ему в его стесненном положении и покупать эту книгу.

Он не ошибся в расчете: книга, изобилующая «чудесными рассказами», распространилась с чрезвычайной для того времени быстротою. Через четыре года (1709) составитель издал ее вторично с прибавлением перевода на разговорный «немецко-еврейский» язык (иври-тайтш), чтобы ее могли читать и женщины, и простолюдины, с трудом понимающие древнееврейский текст. С тех пор «Кав гаяшар» перепечатывалась многократно, сначала на Западе (я видел издания: Франкфурт 1709; Амстердам 1722; Иесниц 1725; Константинополь 1732; Венеция 1743 и несколько позднейших), а потом и в самой Польше. Она стала любимую народною книгою. Благодетельные люди с трепетом читали страшные описания загробной жизни, рассказы о скитающихся душах, о демонах, вселяющихся в людей («диббук») и изгоняемых оттуда заклиниваниями чудодеев, и тому подобных таинственных явлениях. Немало слез было пролито над этою книгою дубенского аскета, появившегося под чужим именем. Я сам, будучи хедерным мальчиком, с волнением читал «Кав гаяшар», не зная еще, что эта книга сочинена моим предком и являлась его завещанием потомству. Я узнал об этом гораздо позже, по пути моих исторических исследований, когда семейное предание побудило меня сравнить тексты и обнаружить старый литературный плагиат.

Это семейное предание гласило, что наследники рабби Иосифа из Дубно не могли исполнить последнюю волю отца, ибо жили вдали от городов с еврейскими типографиями. Я допускаю, что они не заботились об издании этого сочинения, так как узнали, что оно почти целиком вошло в распространившийся между тем «Кав гаяшар». Один из внуков р. Иосифа по женской линии очутился в белорусском городе Шклове, где около 1780 г. открылась еврейская типография. Так как по завещанию предка его книгу мог издать только потомок по мужской линии, то шкловский внук вызвал к себе из Дубно такого потомка, по имени Бенцион бен-Иехезкель, и вместе с ним напечатал в 1785 г. весь текст «Иесод Иосеф» по сохранившейся рукописи автора. На заглавном листе говорится: «Вот уже скоро сто лет, как эта книга лежит в рукописи и еще не была напечатана. Многие списал с нее составитель книги „Кав гаяшар“, который был учеником названного гаона (р. Иосифа), как указано в предисловии в его книге, но большая часть осталась в тексте настоящей книги, составленной самим гаоном, в чем убедится читатель». Я как читатель в этом не убедился, а напротив, пришел к заключению, что большая часть «Иесод Иосеф» уже вошла в «Кав гаяшар». С другой стороны, я нашел корректив к нашему семейному преданию: мой прапрадед Бенцион бен-Иехезкель переселился в Белоруссию задолго до напечатания книги «Иесод Иосеф» в Шклове, ибо уже в 1760-х гг. встречается его имя в протокольной книге (Пинкос) общины города Мстиславля, в списке членов общинного совета. Об этой мстиславской линии нашей семьи будет рассказано в следующей главе.

Глава 2

Мстиславль. Образ деда Бенциона

Бенцион бен-Иехезкель (Хацкелевич), старшина общины в Мстиславле и владелец имения с крепостными. — Его ученый сын Вольф и коммерческий внук Вигдор. — Мой дед Бенцион Вигдорович, тип духовного аристократа. — Его по-

ездки в Москву и тень декабриста Перетца. — Его переход от мирских дел к духовным. — Лектор высшего курса Талмуда. — «Мстиславский бунт» 1844 г. — Фатальная роль пожаров в положении нашей семьи. — Строгий миснагид. — Образ первосвященника перед моими детскими взорами.

Родоначальник мстиславской группы Бенцион Хацкелевич (как он значился в русских актах) сразу занял видное положение в еврейской общине. В местном Пинкосе я встречаю его имя в списках ежегодно избиравшихся членов кагала (общинного совета) начиная с 1761 г., и всегда в высшей группе членов правления, носивших титул «рошим». Везде он титулуется «начальник и вельможа» («гарош вегакацин»); последний титул обыкновенно давался лицам богатым и влиятельным. Семейные предания рассказывают, что Бенциону очень повезло в Мстиславле: он купил в уезде большое имение с массою крепостных крестьян и стал фактически помещиком, хотя юридически, вероятно, значился арендатором, ибо по старым польским законам еврей мог владеть землею только на правах аренды, а русский закон запрещал евреям владеть землею с крепостными крестьянами. Это было при Екатерине II, а при Александре I, когда закон о запрещении евреям владеть заселенными поместьями стал применяться строже, Бенциону пришлось передать на каких-то условиях свое имение христианам. Потомки его продолжали получать с новых владельцев арендные или чиншевые деньги еще долгое время, до освобождения крестьян.

«Вельможа» Бенцион Хацкелевич умер в начале XIX в. (в 1815 г. он в Пинкосе значится уже «покойным»), и его место в общине занял его сын Зеев-Вольф. Это имя впервые встречается в Пинкосе с фамильным прозвищем Дубно и Дубнов (1823). Обеспеченный доходами с имения, Вольф мог предаваться умственным занятиям: он был выдающимся талмудистом и в течение многих лет читал в синагоге лекции по Талмуду и равнинской литературе. Его сын Вигдор занимался коммерческими делами, ездил по этим делам в Москву и нажил порядочное состояние, но он умер рано (1840). Главою семьи Дубновых в Мстиславле сделался старший его сын, Бенцион-второй, мой дед и учитель, родившийся около 1805 г.

Дед был человеком науки, разумеется талмудической, и не имел охоты к коммерции, но ранняя смерть отца заставила его ездить в Москву по делам. Он там проводил ежегодно два-три месяца, и чтобы заполнить досуг между делами, брал с собою «Малый Талмуд» Алфаси. В Москве обращал на себя внимание этот высокий, красивый человек, с гордой осанкой, тихой речью и манерами, мало напоминавший бойкого служителя Меркурия. Один русский художник, пораженный красотой этой фигуры, просил у деда разрешения писать с него портрет. Дед сначала колебался: по старой традиции считалось предосудительным делать изображение человека и позировать перед художником, но в конце концов портрет был сделан и много лет красовался рядом с родословным древом семьи Дубновых на стене нашего мстиславского дома. Мне, однако, не суждено было видеть это произведение искусства, так как оно сгорело вместе с нашим домом еще до моего рождения.

От московской жизни моего деда сохранилось в нашей семье одно странное историческое предание. Однажды он сидел в комнате своей гостиницы, углубленный в изучение Талмуда, и вдруг обернулся и увидел за свою спиною незнакомого русского офицера, который стоял и заглядывал в лежавший на столе талмудический фолиант. Офицер оказался Григорием Перетцем¹, известным декабристом, сыном петербургского откупщика Абрама Перетца², который некогда крестился вместе со всей своей семьей. В детстве Григорий изучал Талмуд в родном городе Щклове и теперь, увидев знакомый текст, вспомнил прошлое. Он спросил деда, как толковать одно трудное место в Талмуде, и получив требуемое объяснение, удалился. Эта странная встреча может быть объяснена тем, что отрасль семьи Дубновых в Щклове состояла в родстве или в свойстве со щкловскою семьею Перетцев.

Хронологически такая встреча тоже была возможна, так как дед бывал в Москве в начале 1840-х гг., а в это время декабрист Перетц уже возвратился из ссылки и готовился переехать в Одессу; не имея права жительства в Москве, он, однако, мог быть там проездом с севера на юг*.

Опыты коммерческих вояжей в Москву скоро убедили деда, что он к роли купца совершенно непригоден. Около 1845 г. он отказался от всяких торговых дел и стал жить безвыездно в Мстиславле, посвящая себя всецело науке. Он жил на доходы с принадлежавшего ему большого каменного дома, который сдавался в наем под казенные канцелярии и торговые склады. В течение 45 лет он читал высший курс Талмуда в большой мстиславской синагоге, после утреннего богослужения. Его аудитория состояла сначала из местных книжных людей, старых и молодых, но потом лекции его стали привлекать слушателей и из других городов Белоруссии и даже из Литвы и Украины. Дед читал Талмуд по методу Виленского Гаона⁷, без софистики «пилаула»⁸: он объяснял текст по его прямому смыслу и тут же давал сводку относящихся к данному месту главных комментариев (Раши, Тоссафот, Рош и др.). Он умел упрощать самые сложные проблемы Галахи, он их распутывал вместо того, чтобы запутывать для целей умственного спорта или для хвастовства эрудицией. После утренней молитвы в синагоге дед, бывало, читает свою получасовую лекцию («шиур»), сидя в центре длинных столов, расположенных дельтою вдоль восточной и южной стены синагоги, среди рядов сидящих и стоящих слушателей, число которых на моей памяти доходило до пятидесяти. По окончании лекции деловые люди уходили в свои лавки или мастерские, а учащаяся молодежь, «иешивабахурим», оставалась в синагоге на целый день для разучивания прослушанной лекции и приготовления «листа Гемары» на следующий день. Кроме утренней лекции в синагоге, дед часто читал и вечерний «шиур» у себя дома уже не по Талмуду, а по «Поским» и раввинским кодексам, в основе которых лежали четыре тома «Турим».

На решение деда уйти от суеты мирской и отдаться всецело умственной деятельности мог иметь влияние так называемый «мстиславский бунт» 1844 г. Я уже рассказывал об этой истории, типичной для деспотического режима Николая I⁹. Столкновение на базаре между евреями и отрядом солдат при конфискации контрабандного товара было представлено в донесении полиции к губернатору как еврейский бунт, а когда дело было доложено царю, он повелел арестовать главарей общины и немедленно же, еще до решения суда, сдать в солдаты каждого десятого еврея в общине, без различия возраста. В городе воцарился террор: хватали мужчин для сдачи в рекруты, многие разбежались по другим городам; кагалных старшин и почетнейших людей держали в тюрьме как заложников, среди них и моего деда. Лишь через десять месяцев, после того как присланный из Петербурга ревизор выяснил вздорность обвинения целой общины в «бунте», террор прекратился и безвинно наказанные были отпущены. День получения указа об освобождении (третий день месяца Кислев, в ноябре) был назначен в общине ежегодным праздником, и я помню, как меня еще в детстве водили с прочими хедерными мальчиками в синагогу для участия в торжественном молебствии по случаю избавления общины от опасности. На деда вся эта история произвела удручающее впечатление, и он стал искать утешения в изучении Торы.

Еще одно печальное событие нарушило покой деда. В 1858 г. большой пожар истребил все дома в центральной части города Мстиславля, в том числе и наш каменный дом («дэр Мойэр»), источник дохода всей семьи. Эта катастрофа создала особую местную эру; долго еще после того отмечалось время того или другого слу-

* См.: В. и Л. Перетц. Декабрист Г. А. Перетц. Л., Академия наук, 1926.

⁷ «Из хроники мстиславской общины», в книгах «Восхода» 1899 г. «Из пинкосов мстиславской общины» (по-древнееврейски), в сборнике «Геовар». Т. 1. Петроград, 1918.

чая так: это было за столько-то лет до большого пожара, это случилось через столько-то лет после большого пожара. Едва только город оправился от бедствия, отстроив сгоревшие дома частью на страховые деньги, частью с помощью казенного займа, как произошел второй пожар, от которого пострадал и дом деда, и близкие к нему постройки. Это было в тревожное время польского восстания (1863 г.)⁹, когда в городах западного края шли непрерывные поджоги, и страховые общества отказывались принимать страхование домов от огня. Таким образом погорельцы оказались совершенно разоренными.

В городе рассказывали об изумительной твердости духа, проявленной дедом во время обеих катастроф. Когда во время чтения лекции ему сообщили, что в городе вспыхнул пожар, и слушатели пустились к своим домам, он просил их дослушать лекцию до конца. После пожара, когда погорельцы рылись в уцелевшем домашнем скарбе, он попросил служителя синагоги отыскать и принести ему нужный трактат Талмуда, по которому он должен был приготовить лекцию на завтрашнее утро. Когда его собственный дом был охвачен пламенем, дед стоял на улице и молча смотрел, как исчезает его добро, источник его пропитания. Стоявшая рядом дочь громко плакала, а он ее успокаивал. Дочь сказала: «Отец, как же мне не плакать? Смотри, вон и наш сосед, „галех“ (православный священник), плачет у своего горящего дома». «Дурочка, — ответил ей старик, — ему есть о чем плакать: ведь у него и Бог сгорел (деревянная икона), а наш Бог не сгорел, Он о нас позаботится». Судьба, однако, мало заботилась об обездоленной семье: наша «каменица» осталась руиной, «пусткой», в течение десятилетий, и только в нижнем этаже были кое-как отстроены помещения для лавок и товарных складов. В годы детства и юности я часто с грустью смотрел на длинный фасад верхнего этажа, без крыши, с десятками больших дыр вместо окон, глядевших слепыми глазами на противоположный городской бульвар. Я родился в этом доме, но помню его только трупом.

Несмотря на ухудшение своего материального положения, дед не вернулся к коммерческим занятиям и даже отказался принять предложенную ему вакантную должность раввина в нашей общине. Он не хотел зарабатывать от своей учености, от Торы. Он официально не получал платы и за свои талмудические лекции, но тайно и окольными путями община как-то выдавала деду денежное пособие, кажется несколько рублей в неделю. Об этом нельзя было открыто говорить: гордый дед оскорбился бы. Строгий миснагид¹⁰, дед презирал тех хасидских «раббим», цадиков, которые превращали свою «святость» в предмет торга. Наша мстиславская община была почти сплошь миснагидской: из десяти синагог только одна маленькая принадлежала группе хасидов-хабадников¹¹, которая даже не имела своего местного «ребе» (некоторые из них ездили на поклон к известному р. Менделю Шнеерсону¹² в Любавичи). Дед был вообще далек от всякого мистицизма. Он не смел открыто порицать каббалу и хасидскую литературу, но смотрел на все это как-то свысока. Среди книг его большой библиотеки, состоявшей из фолиантов Талмуда, кодексов и раввинских респонсов, занимали очень скромное место на самой верхней полке книжного шкафа книги каббалы и «муссар» малого формата, к которым он очень редко прикасался. Он был строгий галахист, и все агадическое казалось ему пригодным только для толпы. Целый день он сидел в своей комнате над фолиантами и выходил на улицу только к утренней и двум вечерним молитвам в синагоге. Иногда к нему приходили за советом представители общины и частные лица, и тогда громкий говор доносился из его закрытой комнаты, где обычно царил молчание или слышался тихий речитатив деда при чтении текста Талмуда.

В молитве деда не было ничего от шумного хасидского экстаза. Он считал бы пясничеством перед Богом всякие резкие телодвижения, раскачивания и вскрики во время молитвы. Прямо стояла его обращенная к восточной стене синагоги высокая фигура, медленно и сосредоточенно отчеканивал он каждое слово молитвы, и лишь порою мерно наклонялась и вновь поднималась его голова. Но внут-

ренняя экзальтация, стыдливо скрытая, чувствовалась во всем его существе. Она проявлялась наружу в известные моменты, когда он в качестве почетного «посла общины» заменял обыкновенного кантора в торжественном праздничном богослужении. Помню, как он в Иом-Кипур совершал чин «Авода» (представление древнего богослужения в иерусалимском храме) в переполненной большой синагоге. Вот он стоит перед «амудом» (алтарь), высокий, с длинной серебристой бородой, в «талесе», перекинутом через голову поверх белого савана («китель»), и точно адвокат в тоге перед судом, произносит свою защитительную речь перед Богом. Вот кончилось представление древнего храмового чина с коленопреклонением, вот уже звучит величественная кантата из Бен-Сира о «лике первосвященника» («марэ коган гадол») при выходе из святая святых и начинаются скорбные «селихот», сопоставление былого величия с позднейшим мученичеством. Деда читает удивительную элегию на смерть десяти политических мучеников («ассара гаруге малхут») эпохи Бар-Кохбы. Изображается страшная смерть рабби Исмаила из рода первосвященников, как палач сдирал кожу с его лица и как, содрогнувшись, ангелы в небесах восклицали: это ли награда лучезарному носителю святой Торы! «И раздался голос с неба: если Я услышу еще голос (ропота), Я затоплю мир водою, в хаос превращу землю. Таково мое решение, примите его покорно!» Поднятая к небу рука деда опускается с выражением полной безнадежности, голос дрожит, вся синагога оглашается рыданиями. Я стою, маленький, у ног деда, впиваясь глазами в это вдохновенное лицо старца, предъявляющего Богу протест обездоленного народа, и в уме зреет вопрос: за что же? За покорную жалобу, за ропот мучеников угроза потопа и разрушения мира!.. А еще через три часа, в сумерках Неилы (заключительной молитвы), опять слышится молящий голос уже обессиленного постом посла общины: «О, открой нам врата в час запора небесных ворот, в час закатного дня!..» Как часто я потом, далекий от синагоги, повторял эти слова с их волнующим напевом, как часто вспоминал эту гордую фигуру с простертыми к небу руками, посла тоскующей и протестующей нации!

Я так подробно остановился на образе моего деда, так как мое детство прошло под сенью этого могучего духа и оставило во мне глубокие следы даже после того, как наши пути далеко разошлись.

Глава 3

Родительский дом

Чередование духовных и светских типов в нашем роде. — Мой отец, странствующий лесопромышленник. — Сплав леса по Днепру с севера на юг. — Горькая судьба скитальца, болезнь и ранняя смерть. — Моя мать: долушка женская, вечная труженица, растерянность среди бурь, разрушающих наше семейное гнездо. — Братья и сестры.

В роде Дубновых замечается какое-то правильное чередование поколений в характерах и наклонностях их главных представителей. Чередуются люди духовного и светского склада, ученые и купцы. Так, дубенского отшельника р. Иосифа сменяет в четвертом поколении (проемужоточные мне неизвестны) мстиславский землевладелец и купец, упомянутый выше Бенцион I. Сын этого «вельможи», р. Вольф, читает лекции Талмуда, а сын последнего Вигдор ездит в Москву с товарами. Мой дед Бенцион II опять посвящает всю жизнь науке, а его единственный сын, мой отец Меир-Яков (род. в 1833, умер в 1887), идет по обычному пути коммерсанта. Впрочем, у него уже не было выбора: через несколько лет после того, как мой отец женился и у него пошли дети, благосостояние деда было подорвано пожарами, се-

мья должна была скитаться по наемным квартирам и нужно было позаботиться о заработке. После нескольких неудачных предприятий отец поступил на службу к своему тестю, богатому лесопромышленнику Михелю Гейликману, жившему в местечке Уваровичи близ Гомеля.

Этот дед мой, житель Полесья, был одним из пионеров лесного промысла, широко развившегося в бассейне Днепра в середине XIX в., главным образом благодаря предприимчивости белорусских евреев. Разбогатевшие на этом промысле братья Гейликманы (дед Михель работал в этом деле с своим братом Ионою, дедом писателя-гебраиста Шай-Гурвича¹³) скупали у русских помещиков леса, нанимали крестьян для рубки деревьев и для слава их по Днепру и его притокам на безлесный, степной юг, в Екатеринослав, Херсон, Одессу. Обыкновенно лес рубили в зимнее время и срубленные стволы, бревна, свозили по санному пути к ближайшей речной пристани; там канатами вязали в плоты («плитен»), то есть в ряды по нескольку десятков штук в каждом, и тотчас после весеннего половодья пускали их вниз по течению реки «самоглавом». Крестьяне-плотовщики, жившие в палатке на самом плоте, направляли его движение, отталкиваясь от берега длинными веслами и поворачивая всю древесную массу как лодку. На плотах возили крупный строительный лес; мелкий же лес: распиленные доски и дрова для топлива грузились на огромные лодки или «баржи», которые шли тем же водным путем под управлением лощмана.

Отец мой был управляющим всей этой лесной флотилией. Обязанности его состояли в следующем: зимой каждого года, с установлением санного пути, он отправлялся в назначенный к рубке лес, чтобы следить за работою, нанимать порубщиков и грузчиков. Всю зиму он жил на пристани, большей частью на берегу протекающей по Могилевской губернии реки Сож, большого притока Днепра; иногда ему приходилось жить в построенном в лесу бараке, где находилась контора предприятия. Ранней весной, после вскрытия рек и прекращения первого разлива, он начинал двигаться со всей армией плотовщиков к югу, но обыкновенно ездил не на самом плоту или в барке, а параллельно на речном пароходике или по железной дороге. Движение флотилии вниз по Днепру продолжалось около месяца. В дороге бывали неприятные приключения: в местах сужения русла плот разбивался и бревна расплывались по всей реке, так что плотовщикам приходилось их ловить и вновь вязать. Самым опасным моментом плаванья был проход через Днепровские пороги около Екатеринослава: нужно было направлять барку или плоты через узкий проход между грозными скалами так, чтобы они не разбились. При всех предосторожностях это все-таки случалось, и тогда отец долго возился с наймом рабочих для собирания разбитых судов. Конечными пунктами плаванья были Екатеринослав и Херсон, и здесь отец проводил летние месяцы, продавая лес оптом крупным строительным фирмам или содержателям дровяных складов. К осенним праздникам кончались продажа и расчеты с покупателями, и отец возвращался на праздники домой, в Мстиславль. Таким образом, мы видели отца в семье только в осенние месяцы, между летней и зимней кампанией. Утомленный девятимесячными скитаниями, бедный труженик искал отдыха и отрады в семье. Мог ли он их найти? Большая семья из десяти душ, сдавленная в наемной квартире из трех комнат, должна была жить на скудное месячное жалованье в 50—75 рублей, которое платил отцу богатый, но крайне скупой тесть. Мать в вечных хозяйственных заботах, подрастающие сыновья и дочери с их нуждами, горькая необходимость работать ради куска хлеба вдали от домашнего очага — все это не могло располагать к благодушию. И я редко видел своего отца веселым и ласковым; большей частью помню его хмурым, озабоченным, иногда раздражительным. Высокий, худой, моложавый, с небольшой черной или седеющей бородкой, всегда аккуратно одетый, в длинном сюртуке, с манишкой и галстуком, любящий чистоту и порядок — таков мой отец в моих воспоминаниях. Позже к этому представлению прибавляется болезненный вид

и удушливый кашель. Постоянное пребывание в зимнем лесу, в примитивных постройках на речных пристанях или на барках и плотах и наградило отца жестокою простудною болезнью, перешедшею в хронический бронхит. Мы все, мать и дети, с болью прислушивались к припадкам удушливого кашля, который отравлял ему и нам радость недолгих свиданий. Часто возмущались мы против скупого «другого деда», который так безжалостно эксплуатировал труда отца. Кончилось все это очень печально. После десятилетий непосильного труда отец вышел из строя; дед Михель прекратил свои дела и дал зятю небольшую сумму на постройку дома. Едва дом был готов, отец слег и умер, имея только 54 года от роду.

Редкий гость в семье, отец не мог иметь такое влияние на мое умственное развитие, какое имел дед Бенцион. Память об отце связана у меня еще с некоторыми грустными эпизодами из переходного периода моей юности, о которых расскажу дальше.

Моя мать, Шейне, была типичною еврейскою женщиною старого закала. Судьба возложила на нее тяжкое бремя забот о большой семье, глава которой обыкновенно отсутствовал. Она родила пять сыновей и пять дочерей, из которых только один сын умер в детстве. Остальных она вскормила и вырастила, заботилась об обучении мальчиков в школе, о приучении девочек к домашней работе. Лишившись своего дома после пожара, мать с малютками должна была жить в чужих наемных квартирах, которые по мере роста семьи приходилось часто менять. Скучного жалования отца не хватало на ведение огромного хозяйства, и мать должна была найти подсобный заработок: она открыла лавку для продажи стеклянной и фарфоровой посуды. Я хорошо помню трудовые будни этой самоотверженной женщины. Рано утром, когда дети еще спят, она бежит на рынок для закупки провизии, открывает «торг» в своей посудной лавке, куда редко заглядывали покупатели, затем оставляет лавку на попечение дочери, матери старшей сестры, и торопится домой, чтобы накормить малышей, снабдить провизией и отправить в хедер мальчиков, приготовить обед с помощью примитивной прислуги. Слегка закусив на ходу, она опять бежит в лавку: авось Бог пошлет покупателей, особенно в ярмарочный день. При самом удачном торге принесет, бывало, домой кучку тяжелых медных пятаков и начнет соображать, как справиться с текущими расходами. Приходилось жить в кредит и расплачиваться раз в месяц или два, когда от отца получалось по почте его жалованье. В эти дни приходили кредиторы: меламедам надо платить за обучение мальчиков в хедерах, портному и сапожнику за починку платья и обуви для ребят, домохозяйину за квартиру, а тут еще надо закупить товар для посудной лавки в оптовом складе при фабрике в другом городе. Деньги тают, и опять грызут заботы, как прожить еще месяц на копеечные заработки в лавке, до получения очередного почтового пакета. Я знал эту нужду. Я видел тихие слезы матери, катившиеся по ее исхудалым щекам на страницы большого женского молитвенника («Корбан-минха») в ранний утренний час, когда я спросонья слышал ее молитвенный шепот возле моей постели и открывал глаза. Так и запечатлелся в моей памяти образ этого кроткого создания с грустными черными глазами. О ней думал я еще в юности, когда декламировал обращение Некрасова к своей матери в «Рыцаре на час»:

*Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозю сердитую
Простояла ты, грудью своей
Защищая любимых детей...*

Из моих трех братьев образ самого старшего, Ицхака, связан с моими ранними детскими воспоминаниями. Он был талмудист, ревностный ученик деда Бенциона, слушавший его лекции и повторявший их по целым дням в большом «бетгамед-

раш». По нашей семейной очереди он должен был получить духовное наследство от деда, но жизнь толкнула его на иной путь. Рано женившись и уехав в другой город, он скоро был втянут в житейские заботы, метался в поисках заработка по разным городам, попал и в Москву, но изнемог в непосильной для его духовной природы борьбе за существование и умер преждевременно (1890). Спутником моей юной жизни был другой брат, Вольф (Владимир), который был старше меня только на полтора года. Он шел впереди меня в хедерном обучении, но потом наши пути сошлись: мы вместе устремились к общему образованию, вместе проделали первые шаги на тернистом пути новаторов, и о нем мне еще придется часто рассказывать в дальнейших главах. Из моих сестер осталась в моей памяти в связи с детскими воспоминаниями старшая, Рися, красивая брюнетка с романтическими наклонностями, насколько они были возможны в патриархальном еврейском быту, а в практической жизни помощница матери по домоводству и «торговле».

Глава 4

Детство и школьные годы

Со дна памяти: зарево пожара на заре жизни. — Родной город: природа и люди. — Скитания семьи по наемным квартирам. — Первый хедер и веселый «ребё». — Древнееврейское чтение. Книга Бытия и грезы Древнего Востока в детском уме. — Миниатюра погрома. — Хорошие дни между Пуримом и Пасхой. — Угрюмый учитель Талмуда и детское недоумение по поводу яйца, снесенного в праздничный день. Зародыш позднейшего бунта. — Оазисы Агады в пустыне Галахи. — Исторические книги Библии. — «Мегиллот»; мрачная философия Когевет в осенней палатке. — Трагедия рекрутчины. — Книга «Иосиппон» в фундаменте моих исторических знаний.

Я родился в Мстиславле во второй день Рош-гашана 5621 г. еврейской эры и был записан в метрических книгах 10 сентября 1860 г. по старому христианскому стилю. На дне моей памяти сохранились неясные следы первых впечатлений, связанных с пожаром, который истребил наш дом и разрушил благосостояние нашей семьи. Мне рисуется картина, в которой к моему непосредственному впечатлению трехлетнего ребенка могли примешаться потом элементы из рассказов старших. Майский день года польского восстания¹⁴. Большой двухэтажный дом против городского бульвара весь охвачен огнем. Гудят церковные колокола тревожным пожарным набатом, кричат и мечутся люди, с треском падают горящие деревянные балки внутри каменного дома, длинные языки пламени вырываются из разбитых окон сквозь густые клубы дыма. Мы, маленькие дети и подростки, сидим и лежим среди спасенного домашнего скарба на траве городского бульвара, вековые липы которого заслоняют нас от бушующей насупротив огненной стихии. Потом нас уводят в какой-то чужой дом, и с этого момента начинаются скитания нашей семьи. Лишившись собственного гнезда, мы ютимся в наемных квартирах, часто меняя их. Мои воспоминания детства и отрочества связаны поэтому с разными частями нашего города и различными группами его населения. Я должен дать здесь беглое описание этого оригинального уголка.

Старый город Белоруссии на рубеже Московии и Польши, Мстиславль, подобно соседнему Смоленску, был в давние века ареною борьбы между обоими государствами. После перехода от Польши к России, в 1772 г., город еще сохранил свой двойственный русско-польский характер. В мое время преобладала, однако, русская культура, так как ядро населения было православное, а польские элементы усердно русифицировались правительством после неудачных польских восстаний. Еврейская половина десяти тысячного населения города имела свою особую соци-

альную и хозяйственную структуру. В центре города, вокруг площади бульвара и на примыкающих к ней улицах, жили зажиточные еврейские купцы и русские чиновники, помещались лучшие лавки (преимущественно мануфактурные), церкви и некоторые синагоги. Дальше тянулся еврейский квартал «Шулеф» (Шульгоф), в центре которого стояла большая «кагальная синагога», а с другой стороны, поближе к рынку, шли улицы со «второсортным» населением еврейских ремесленников, мелких лавочников, шинкарей, извозчиков и людей «без определенного рода занятий». В предместьях жили русские мещане, занимавшиеся главным образом огородничеством и садоводством и продававшие свои продукты на городском рынке. Только одно предместье, Форштат, расположенное у большой дороги к губернскому городу Могилеву, было сплошь заселено евреями. Зажиточные из них содержали постоялые дворы с кабаками для приезжавших в город крестьян, продавали им водку и нужные в деревенском хозяйстве орудия в обмен на зерновой хлеб и другие сельские продукты. Здесь широко практиковалось «хлебное ростовщичество»: еврей давал нуждающемуся крестьянину денежный заем под залог его будущего урожая и часто приобретал после уборки хлеба значительную часть его по низкой цене. О таких людях говорили: «он живет от мужика» («эр лэбт фунгой»). Из лиц духовных профессий только раввин был более или менее обеспечен содержанием от общины, прочий же религиозный персонал жил бедно. Больше всех бедствовали меламеды, школьные учителя.

Из всех городов Могилевской губернии Мстиславль был самым красивым и уютным. Расположенный на плоскогории среди сосновых и березовых лесов, отдаленный на 60 верст от сети железной дороги, он представлял собою тип тихого провинциального города, который в XIX в. имел, вероятно, такой же вид, как в XVIII. Красивое каре вокруг старого городского сада, «бульвара», было окаймлено с трех сторон православными церквями с зелеными или синими куполами. Православный собор с примыкающими зданиями духовной семинарии и квартирами священников представлял собою целый церковный городок, обведенный высокой каменной оградой с красивыми часовнями на углах. Неподалеку, на Шулефе, поднималось здание большой «кагальной» синагоги, окруженное свитою малых молитвенных домов, а дальше высился над крутым обрывом старый польский костел с густым садом. Вся эта часть города окаймлялась холмами и высокими насыпями времен шведской войны, которые зеленели на вершинах огородами русских мещан. На окраине города река Вехра, с передвижным мостом («паром»), извивалась среди густых лесов, широких лугов и полей, соединявших город с близкими деревнями. Там, где поля сливались с горизонтом, мне в детстве чудился «конец света». Эта тишь лесов и полей глубоко вошла в мою душу, и в позднейшие годы я часто искал в ней спасения от бурь жизни.

Помню себя впервые, однако, далеко не в идиллической обстановке. Из сгоревшего родного гнезда наша семья переселилась в домик на Шулефе, флигель во дворе еврейского трактира, служившего и гостиницей для заезжих помещиков. В дни наезда гостей во дворе было шумно: кучера с лошадьми и повозками, еврей-факторы, увивавшиеся около приезжих панов с предложениями своих услуг по части сбыта сельских продуктов или добывания займов на проценты, крики и ругань крестьян, пьющих водку в трактире. В этом аду, где пахло водкою и конским навозом, прошли четвертый и пятый годы моего детства. Только на шестом году наша семья переселилась в другой дом, более просторный и чистый, на границе Шулефа и центра. Там мы жили вместе с овдовевшим тогда дедом Бенционом, уже в другой атмосфере, духовной. Сидя по целым дням над своими фолиантами, дед не выносил детского шума. Бывало, мы, детвора, расшалимся, тогда в дверях закрытой комнаты деда показывается его высокая фигура и слышится ровный укоризненный голос: «шкоцим, штилер!» (шалуны, потише!) — и мы затихаем, а в теплое время года уходим на двор.

Скоро и мои детские шалости перестали беспокоить деда. Он решил отдать меня в хедер. Выбор меламеда был сделан скоро: для школы первой ступени, где обучали чтению на древнееврейском языке и Пятикнижью, у нас уже был патентованный учитель, обучавший в свое время старших братьев. Живший рядом с нами Куле (сокращенное от Янкуле, Яков) Велькес, рыжий еврей средних лет, был как бы создан для роли «азбучного меламеда»: веселый и ласковый, заигрывавший с малышами, он совсем не был похож на того грозного «ребе», которым матери обыкновенно пугали шаловливых детей. Ввод в хедер был сделан без обычных церемоний: родителям не хотелось повторить процедуру, проделанную годом или двумя ранее при вводе старшего брата. Однако помню этот знаменательный весенний день, кажется первый после Пасхи вторник (примета: вторник — хороший день). Мать привела меня в хедер, помещавшийся в наемной комнате соседнего дома, сунув мне в карманы пряники и конфеты. Там уже сидел меламед Куле с пятью учениками, такими же новичками, как я; с некоторыми пришли их отцы. Учитель сидел с ребенком, нагнувшись над таблицей алфавита с большими буквами, ученик повторял за ним названия букв или отвечал на его вопрос; при удачном ответе на таблицу падал сверху пряник, брошенный стоящим сзади отцом, и ребенок радостно подхватывал этот «дар неба», так как его уверяли, что это ангел бросает ему сладости. Это было подслащение горького корня хедерного учения. Мне ангел ничего не бросал, но моя гордость была польщена заявлением учителя, что сам «реб Бенционке» (ласкательное имя деда в городе) вверил ему обучение своего внука. При этом он похлопал по плечу и весело сказал: ну, кундес (озорник), будем учиться!

Началась новая полоса жизни. Утром, после молитвы и завтрака (иногда беру завтрак с собою), ухожу в хедер, учусь там до второго часа, затем иду домой обедать (обед состоял обыкновенно из куска хлеба и тарелки «крупника», похлебки на молоке с крупью), а после часового перерыва возвращаюсь в хедер для продолжения учебы до вечера. Летний день, окна в хедере раскрыты на улицу Шулефа, по которой снуют люди, и далеко разносятся смешанные голоса учителя и учеников, громко читающих по складам: комац алеф — О, пасах беис — Ба и т. д. Ребе подгоняет слабых: «ну, зог же, шейгец, кундес» (ну, скажи же, шалуун, озорник), а когда мальчик делает ошибку, кричит на него с притворным гневом: «ах, крепхен золсту эсен!» (ах, ешь ты вареники!).

За короткое время я усвоил я чтение древнееврейского текста с пунктуацией, упреждаясь главным образом в чтении знаковых нам по синагоге устных молитв. Затем мы приступили к изучению Пятикнижия по старому методу: каждое слово древнего подлинника мы с помощью учителя переводили тут же на родной идиш. Начали мы с Книги Бытия, которая меня очаровала. Рассказ об изгнании Адама и Евы из рая создал в моем детском уме живую картину: дело, конечно, происходило в таком же роскошном саду, как фруктовый сад при нашем костеле, откуда через высокую каменную ограду свешивались румяные яблоки и груши, которые мы, мальчишки, мечтали сорвать, но не смели, боясь грозного сторожа. Но вот Ева поспешила, сорвала и съела, и Адаму дала, согрешивший Адам спрятался в кустах, а грозный страж в лице Бога заметил кражу и носился по саду с криком: Адам, куда же ты спрятался?.. С течением времени я глубже вникал в смысл библейских рассказов и проникался колоритом загадочного, волшебного Востока. Мысль моя бродила в Араме, Ханаане, Мидраиме, по шатрам Авраама, по пастбищам Якова; она улетала за Иосифом в Египет, за Моисеем в пустыню Синай. Я жил в мире далеком, но родном: ведь я прямой потомок этих героев, столпов мироздания, имевших дело с самим Богом. Может ли иметь такое чувство нееврейский ребенок?..

Погруженный в эти грезы, шел я однажды по нашей улице, держа в руке только что купленную мне матерью камышовую тросточку. Вдруг прибежали несколько мальчиков из соседнего церковного училища, один из них вырвал у меня тросточку и с гиком пустился бежать. Я с плачем вернулся домой. Мать пошла к священнику

и просила вернуть ограбленное, но, видимо, ничего не успела. Тросточка пропала, а у меня осталось в душе горькое сознание бессилия против героев первого пережитого мною погрома.

В общем я сохранил добрую память о своем первом учителе. Особенно благодарны были ему ученики за то, что он освобождал нас от занятий в весенний месяц между Пуримом и Пасхой. В это время Куле был занят большим сезонным предприятием: устраивал в своем домике «подряд» или заведение для пасхальной мацы по заказам обывателей. Это был для него подсобный промысел, дополнявший несколькими рублями его жалкий меламедский заработок. В предпасхальные недели ребе суетился, бегал принимать или сдавать заказы, помогал жене в управлении маленькой армией работниц «в подряде». А нам, детям, в эти недели была благодать: ребе являлся в хедер лишь на пару часов в день, а то и вовсе не приходил. С начала месяца Нисана наступали законные каникулы, «бейн газманим» (между семестрами), когда мелаеды искали новых учеников взамен уходивших на старшие курсы. В эти дни мы вместе с вешними ручьями шумливо толпою растекались по улицам, забегали в синагогу, чтобы пошалить с иешивотниками, в «подряд», чтобы посмотреть, как зубчатыми колесиками прodelьваются дырочки на раскатанном круге теста и как в раскаленной печи этот круг выпекается в белую мацу; поминутно забегали домой, чтобы усилить там предпраздничную сутолоку по уборке комнат и чистке посуды («кашерн»). В солнечные сухие дни мы на улице играли в орехи, вкатывая их в выкопанные в земле ямки. Связанная за целую зиму юная энергия разливалась шумным потоком в этот праздник исхода из хедера накануне праздника исхода из Египта.

Что сам хедер может стать Египтом с его рабством и казнями, я в этом убедился, когда после трех полугодий учения в начальной школе мелаеда Куле меня перевели в другой хедер, где начиналось обучение Талмуду. Новый ребе, Ице Пиплер, был прямой противоположностью предшественнику. Низенький, с толстым носом под близорукими глазами, он всегда был угрюм и не говорил доброго слова с учениками. От девяти часов утра до восьми вечера, с часовым перерывом для обеда, держал он нас, детей 8—9 лет, летом и зимою, в тесной каморке хедера и томил наши головы премудростью, явно для нас недоступною. Он начал обучать нас Талмуду сразу, по полным текстам Мишны и Гемары. Если коротенькие положения Мишны, близкие по языку к библейским формам, были нам еще понятны, то обширные рассуждения Гемары с ее арамейским диалектом и головоломной казуистикой составляли истинную пытку для детского мозга.

Мы начали с трактата о праздничных законах «Беца», и сейчас еще свежо в моей памяти тяжелое впечатление от первой страницы этого трактата. Вот мы читаем в Мишне о споре между двумя школами законоведов, Бет-Шамай и Бет-Гилель. Спор идет о том, можно ли есть яйцо, снесенное курицею в праздничный день. Одна школа разрешает, другая запрещает. Гемара старается мотивировать противоположные мнения и проводит различие между курицею для еды и курицею для носки яиц, а также между предметом, не предусмотренным для праздника, к чему нельзя прикасаться («мукца»), и рожденным в праздник («нолад»). Об этом ведутся между учеными тончайшие прения, от которых вопрос еще больше запутывается. Далее приводится еще один пример расхождения между законоведами: одни говорят, что в субботу можно руками снимать со стола остатки еды, кости и скорлупу, не опасаясь «мукца», а другие позволяют только поднимать доску стола и сбросить объедки, не прикасаясь к ним руками. В голове у меня мутится от этого громким хором учеников читаемого странного текста Талмуда, от всех этих изворотов мысли и казуистических тонкостей, которые ребе вбивает в наши детские головы криками, жестикуляцией, бранью по адресу непонимающих, а подчас ударами ремешка по спине или рукам. Смутный вопрос, который я не посмел бы даже предложить грозному учителю, шевелится в пытливым детским уме: о чем тут спорят древние великие законоведы и их

позднейшие толкователи? Что дурного в том, чтобы съесть в праздник свежее яйцо, сбросить руками со стола кости или скорлупу, поднять в саду и съесть упавшее с дерева яблоко? В том же трактате Талмуда мне объясняли, что если разрешить для еды в праздник опавшие плоды, то иной соблазнится и сорвет плоды с дерева, что составляет тяжкое нарушение уже коренного закона. Тогда я еще не смел сомневаться в важности таких «коренных» законов, но позже я дошел и до этого. И нужно признаться, что первый день изучения трактата «Беца» в хедере положил начало моему позднему бунту против традиции. Во всяком случае, я из талмудической науки в хедере вынес то глубокое отвращение ко всякой казуистике и умственному спорту, которое позже спасало меня от многих заблуждений на пути искания истины религиозной, научной или философской.

На беду, в первом изученном мною трактате «Беца», почти сплошь и рядом состоящем из Галахи¹⁵ (законоведения), очень редко попадались те оазисы религиозно-поэтической и легендарной Агады¹⁶, которые поддерживают дух путника среди сухой галахической пустыни. Помню, как я задумался над изречением Реш-Лакиша (Беца, 16): «Накануне субботы Бог влагает в человека дополнительную душу, а на исходе субботы отнимает ее». Я это понял в буквальном смысле и в пятницу вечером искал в себе следов этой субботней души. Порою мне казалось, что она вошла в меня в тот полуденный час пятницы, когда нас отпустили домой из постылого хедера на полтора дня; в вечер же на исходе субботы я чувствовал и исход праздничной души при мысли о предстоящем на другое утро возобновлении хедерных занятий. Свыкшись с талмудическим языком, я стал сам выискивать отрывки Агады в других трактатах и тут нашел богатую пищу для моего детского ума, пищу, которая меня и питала и пытала, о чем расскажу дальше.

После целого дня изучения Талмуда я отдыхал душою в вечерние часы, посвященные изучению исторических книг Библии, так называемых «Первых Пророков». Помню зимние вечера, когда мы при тусклом свете сальной свечи с монотонным напевом хором читали историю Гидеона, трагедию дочери Ифтахы, рассказы о богатыре Самсоне, а дальше летописи царей. Бездарный и черствый ребе не мог своими объяснениями оживить это учение, но я сам чувствовал прилив мыслей при чтении дивных описаний древности, которые претворялись в уме в живые картины настоящего. Ярко горели классические образы на темном фоне действительности. Бывало, идешь в зимние сумерки к матери в посудную лавку просить денег на покупку фунта свечей для освещения хедера (каждый из шести учеников должен был по очереди покупать такие свечи); бедная с трудом собирает нужные тридцать копеек из своей дневной выручки, я спешу на рынок, покупаю свечи и с сознанием исполненного долга возвращаюсь в хедер к моим любимым библейским героям. По окончании учения мы, школьники, вместе возвращаемся домой, неся в руках разноцветные бумажные фонари для освещения темных улиц, и гулко отдаются в морозный вечер наши песни или выкрики в подражание русским ночным сторожам: слушай, вартай!

Одно осеннее воспоминание из того времени особенно сильно запечатлелось в душе. Было в обычае изучать каждую из пяти библейских «Мегиллот» (книги Песнь Песней, Рут, Эйха, Когелет, Эстер) к тому празднику, когда они читались в синагоге. Лучезарную Песнь Песней мы учили в светлые дни накануне Пасхи, сельскую идиллию Рут — накануне Шовуос, Плач Иеремии — к Тиша-беав, мрачную философию Когелет — в промежуточные дни Суккот, книгу Эстер — к Пуриму. Помню хмурый и холодный день ранней осени в доме ребе, Ице Пиллера. Мы сидим в крытой ельником «сукке» (палатке) при доме учителя на окраине города, на холме, круто спускающемся к городским колодцам. Холодный осенний ветер воет и врывается в палатку через щели плохо сколоченных досок, а мы сидим за столом и читаем с грустным напевом эти жуткие слова: «Суета сует, сказал Когелет... Что проку человеку от всех его стараний и трудов под солнцем?.. Вижу я все дела, что делаются под солнцем, и вот все это суета и пустые затеи... Участь людей и скотов одинакова: и те, и другие умирают. Кто скажет, что дух людей восходит вверх, а дух

скота нисходит вниз?»... Я как будто и теперь еще ощущаю тогдашнюю холодную дрожь в теле и от осеннего ветра, и от этих страшных слов. Много раз впоследствии, когда меня охватывал и леденил мое мирозерцание космический холод, я вспоминал эту мрачную осень, и трепет восьмилетнего мальчика перед раскрывшейся бездной, и эту столь же дивную, сколько страшную книгу, которая содержит в себе самые существенные элементы скептицизма и пессимизма всех веков, самую суть всех «проклятых вопросов» человечества.

В детскую душу проникала и скорбь окружающей действительности. Помню террор старой рекрутчины, доживавшей тогда свои последние годы. Малолетних кантонистов¹⁷ тогда уже не брали, но за взрослыми рекрутами продолжали охотиться как за дикими зверями. Молодые люди из бедного класса (семейства кушцов, даже мелких, были свободны от военной службы), спасаясь от кагальных ловцов или «поверенных», скрывались в других городах или в домах родного города у чужих почтенных граждан, куда кагальные сыщики не смели бы проникнуть. В нашем доме подолгу скрывался сын нашей старой приживалки, повивальной бабки Яхне («ди бобе Яхне»). Этот Иоэль Яхнес то исчезал, то вновь появлялся в нашем доме, обыкновенно в темный вечер, и подолгу жил безвыходно, а мы уже знали, что об этом никому не надо говорить. При подозрительном стуке в дверь было условлено дать Иоэлю знать, чтобы он успел спрятаться или выпрыгнуть через окно. Иоэль часто рассказывал нам, детям, о страданиях сданных в солдаты на 25 лет еврейских юношей и пел трогательные народные песни о рекрутчине, мелодию которых я еще до сих пор помню:

*Aw barachamin, schochen meronim
Du bist doch a foter af ale jesojmim
Got, Got, kuk arof, wie jüdische jewonim kumen op*.*

Мне хорошо запомнились картины «приема» рекрутов на военную службу. В одном доме близ костела была устроена «рекрутская» (по-еврейски говорили «некруцке»), где содержались под стражей пойманные рекруты впредь до врачебного их осмотра и сдачи годных в солдаты. Там же содержались и «охотники» (евреи говорили «охвотники»), бедные еврейские парни, которые соглашались идти в солдаты по найму взамен того или другого из «очередных» рекрутов; их тоже держали под замком из опасения, что они раздумают и сбегут. Рекрутам посылалась ежедневно еда от родных или от зажиточных хозяев по очереди, охотники же получали продовольствие от своих нанимателей, которые их откармливали для того, чтобы врачи не браковали их по слабосилию. Рекруты нарочно питались плохо, чтобы на врачебном осмотре их признали негодными по состоянию здоровья, охотники же, наоборот, ели до отвала на счет своих нанимателей и требовали от них самой лучшей пищи, чтобы поправить свое здоровье перед переходом в казарму; наниматель вынужден был исполнять все капризы охотника, боясь, что тот откажется от договора. Отсюда пошла у нас поговорка: «он балуется или капризничает как охотник» («эр немт зих ибер ви ан охвотник»).

Но вот наступают дни «приема». Ненастные дни после осенних праздников. На площади у здания городской думы или полицейского управления, где заседает воинское присутствие, толпится народ, мужчины и женщины с испуганными лицами и заплаканными глазами. Приводят из рекрутской группы молодых людей и вводят в приемный зал. Родные на площади с волнением ждут приговора. Проходит час, другой. Вот выводят из рокового дома молодого человека, бледного, шатающегося, только что коротко остриженного, без пейс и бороды. Раздаются крики: «Признали годным, забрили лоб!» — и в ответ громкие вопли родных. Плачут мать и отец «погибшего», иногда молодая жена с ребенком на руках, расстающиеся с уходящим на долгие, долгие годы...

* «Отец милосердный, живущий на высотах, ведь Ты отец всех сирот. Боже, Боже, посмотри вниз, как мучаются еврейские солдаты!» Дальше идут жалобы, как солдат заставляют стричь пейсы и бороды, нарушать субботу и праздники, есть «царскую кашу» и т. п.

Насколько могу припомнить, я уже в ту пору, на девятом году жизни, читал книгу, которая впервые пробудила во мне любовь к истории. В библиотеке деда я нашел средневековую еврейскую переделку книг Иосифа Флавия¹⁸, популярный «Иосиппон»¹⁹. Эта книга открыла предо мною новый мир: ведь она начинается там, где кончаются уже известные мне исторические книги Библии. Я вдруг увидел перед собою завоевателя Востока, Александра Мукдена (Македонского), Птолемея, Селевкидов, греков и римлян, Хасмонеев, героев и борцов «второй Иудеи» до второго «хурбана» (разрушения) Иерусалима. Перед детским умом развертывалась картина античного мира с Иудеей в центре, нечто совершенно неизвестное моим товарищам и даже учителям. Занятый целый день в хедере, я, бывало, по зимним вечерам перед сном погружаюсь в чтение «Иосиппона». Читаю при лампаде с «олеем», конопляным маслом, с вставленным туда фитилем из ваты. Мысль уносится в героические века, спать не хочется даже после долгого хедерного дня. Мать кричит мне из спальни: «Симон, довольно тебе жечь лампу, пора спать!», я отвечаю: сейчас, сейчас! — и продолжаю читать, пока усталость не сомкнет моих глаз или пока мать не сойдет с постели и потушит лампу. Я несколько раз перечитывал заветную книгу, первую светскую историю в духе греко-римской историографии, лежащую в фундаменте моего исторического образования. Это было существенным коррективом к моему одностороннему догматическому образованию, в особенности к талмудической схоластике.

Глава 5

Хедерная наука и детское мирозерцание

Рабби Зелиг, его аскетическая жизнь и уроки морали. — Юридический факультет для десятилетних и сеансы Агады. — Изучение Пророков и мое увлечение Иешаей; репетирую Библию с товарищами. — Тиша-беав, «Мидраш Эйха». Увлечение Агадою и нравоучительными книгами; их жуткие представления о смерти и о загробной жизни толкают мысль в область потустороннего. — Жертва большого воображения. — Думы о смерти на заре жизни. — Кельмский Магид: еврейский Савонарола. — Среди надгробных памятников и эпитафий.

Когда мне минуло девять лет, я поступил в третий хедер, который занимает центральное место в моем традиционном воспитании. Мой новый учитель, Зелиг, выгодно отличался от своего предшественника. Этот высокий и сутуловатый старик с растрепанной бородой был грозен на вид, но добрейший человек в душе. Жил он в домике на дальней окраине города, в районе кладбищ. Каждое утро он приходил оттуда на Шулеф, молился и слушал утреннюю лекцию деда в синагоге и приходил в хедер после того, как мы в ожидании учителя успели уже вдоволь нашалиться. Целый день, до позднего вечера, оставался он в хедере: занимался с нами и отдыхал на жесткой скамье в час обеденного перерыва. Иногда жена ему приносила из дому горшочек с похлебкой, но обыкновенно он питался запасами, хранившимися в самом хедере. Там под скамьей лежал своеобразный хлеб: большой толстый брус «жмаки» (жмых), изготовленной из конопляных зерен и служившей обыкновенно кормом для скота или для мужиков в голодные годы. От этого «хлеба бедности» рабби Зелиг отрезывал ломоть, ел и запивал особым мужицким напитком «березовиком», сладковатой водой, вытекающей из надрезов в стволе березы раннею весною и собираемой крестьянами в ведрах. Зелиг объяснял нам, что он в будни употребляет в пищу только растительные вещества, не ест «ничего от живого существа» («довор мин гахай»), яиц, молока, масла, не говоря уже о мясе или рыбе. Он, однако, никогда не жаловался на свою судьбу, а напротив, говорил нам, что почитает за счастье свою бедность и воздержан-

ние от всех удовольствий «мира сего», которым он противопоставил богатство «мира будущего». Туда ведут только знание Торы и нравственная жизнь. Зелиг был для нас проповедником морали. Целыми часами читал он нотации провинившемуся ученику, стараясь на его примере доказать нам гибельность того или другого порока: лжи, лени, непослушания и т. п. «Вот, — говорил он стоящему перед ним ученику, — бедный отец твой выбивается из сил, чтобы кормить, одеть и обути тебя и платить мне „схар-лимуд“ (плата за учение); часто он за целый день торговли в лавке не заработает тех копеек, которые нужны на твоё пропитание; часто нет у него рубля, чтобы заплатить мне за месяц учения. А мать твою, как она измучена домашней работой и заботой о детях, о тебе, чтобы ты вырос честным человеком, знающим Тору! А ты что делаешь! Шатаешься по улицам, занимаешься пустыми играми, вырастешь бездельником и причинишь только горе родителям». Взволнованный ученик стоит, потупив глаза с выражением раскаяния, и сеанс «муссар» кончается дарованием прощения раскаявшемуся.

Уроки морали давал нам Зелиг и при объяснении агадических отрывков Талмуда. Он влагал душу в эти поэтические сказания или поучения, и мы с наслаждением повторяли за ним легенды веков с обычным напевом. Часто он вообще рассказывал нам из литературы Агады и Мидраша, и я не устал слушать его по целым часам, но, к моему огорчению, он вдруг прерывал интересный сеанс словами: ну, довольно баловаться, пора к делу! А «дело» значит сухая схоластика Галахи, препирательства Аббаи и Равы²⁰, разные юридические казусы в законах о находках, сдаче вещей на хранение, торговом обмане, ростовщичестве, а то и по вопросам семейного права: обручение, бракосочетание, развод и т. д. Десятилетним студентам нашего юридического факультета эта умственная пища давала камень вместо хлеба, и мой неутоленный духовный голод толкал меня на поиски питания в других областях.

Я нашел эту манну небесную в Библии. У Зелига мы перешли к высшему курсу Библии: к изучению Пророков. Этому отдавались последние часы школьного дня, близкие к вечерним сумеркам летом и вечерние зимою. Чтение книги Иешаи поразило меня силою и пафосом слова. В хедере мы хором монотонно читали эти дивные речи с переводом на идиш, который ребе в трудных местах подсказывал нам на основании подстрочного краткого комментария «Мецудот». Но я не удовлетворялся объяснениями учителя и заглядывал в другие, более подробные комментарии, между прочим в запретный для хедера мендельсоновский «Биур»²¹. Тут у меня открылись глаза на красоты Библии. Я взял на себя роль репетитора книги Иешаи для товарищей. В летние сумерки, между литургиями «Минха» и «Маарив», девятилетний мальчик восседал с своими пятью товарищами за длинным столом в синагоге и восторженно декламировал грозные филиппики пророка против грешников Сиона и утешительные пророчества о «конце дней», когда народы сойдутся на горе Сион и дадут друг другу обет больше не воевать. Нас окружают старшие и иешиботники, любуются прилежанием хедерной группы и их маленького предводителя. С тех пор я всегда опережал товарищей в изучении Библии и с течением времени прошел ее самостоятельно всю, между тем как в хедере ее изучали урывками.

С волнением вспоминаю о некоторых возвышенных моментах моей тогдашней школьной жизни. Перед постом Тиша-беав мы изучали в хедере книгу Иеремиа, «Эйха». В июльский день по улице Шулефа, сквозь раскрытые окна хедера, разливается заунывный напев книги Плача. При отдельных стихах ребе Зелиг рассказывает нам относящиеся к ним предания из Мидраша²². Тут же читаем мы целую серию рассказов в талмудическом трактате Гиттин (л. 55—58) о двукратном разрушении Иерусалима при вавилонянах и римлянах и о подавлении восстания Бар-Кохбы. В траурную субботу («шаббат Хазон»), после обеденного отдыха, мы собираемся в домике ребе для чтения «Мидраш Эйха». Ребе читает волнующие ска-

зания об ужасах осады Иерусалима и Бетара, о гибели детей, удивлявших своим умом «афинских мудрых старцев», о трагедии «Сына Звезды» (Бар-Кохба²³), превратившегося в «сына обмана» (Бар-Козиба)... Голос учителя дрожит и обрывается от всхлипываний. Я в слезах выбегаю на крыльцо, жду, пока успокоюсь. Предо мною по ту сторону обрыва, отделяющего двор учителя от леса на противоположном холме, высится купола православного монастыря с сверкающими на солнце золотыми крестами. Тут разрушенный храм и оплакивающие его дети изгнанников, там — торжествующий храм потомков тех разрушителей... Сейчас, когда пишу эти строки, лежит передо мною тот же «Мидраш Эйха», одна из чуднейших жемчужин мидрашитской письменности, и кажется мне, что веющая из ее строк народная скорбь в тот летний день окончательно водворилась в моем сердце; ее не могла искоренить и пронесшаяся надо мною позже буря космополитизма.

Не все, однако, в любимой Агаде настраивало меня на такой высокий лад. В то время я поглощал в огромных дозах агадические части Талмуда и «нравоучительные книги» («муссар»). По субботним утрам в синагоге, в часы чтения Торы («криат гатора») я, бывало, стою у книжного шкафа, вынимаю одну книгу за другою и лихорадочно читаю то, что не полагалось еще читать в хедере. Наряду с прекрасными поучениями и историческими легендами я находил там жуткие вещи, особенно в представлениях о смерти и загробной жизни. В моем любимом трактате «Берахот» (я его любил потому, что там Агады больше, чем Галахи) я читал: «Червь (могильный) причиняет мертвецу такую же боль, как иголка, воткнутая в живое тело» (Бер. 18б). В другом трактате (Абода Зара, 20б) я читал страшное описание смерти или «исхода души из тела»: «Об ангеле смерти („малах гамовет“) передают, что он весь полон глазами и в час кончины больного стоит над изголовьем его с обнаженным мечом в руке, на кончике которого висит капля желчи. При виде его больной содрогается и от испуга раскрывает рот, ангел смерти стряхивает ему в рот горькую каплю, и от нее человек умирает, от нее разлагается, от нее желтеет его лицо». Я хорошо знал и народное поверье, что ангел смерти перерезывает умирающему горло острым ножом («халеф») и, уходя, обмывает нож в кадках воды, стоящих в доме покойника и в соседних домах; поэтому считалось обязательным в день смерти выливать всю воду из кадок в этих домах — обычай, который я сам наблюдал и затем нашел в раввинских кодексах.

Как действовали подобные поверия на впечатлительных детей, показывает следующее происшествие. Мой знакомый мальчик, сирота, учился в общинной школе для бедных (Талмуд-Тора), питомцы которой обязаны были при похоронах почетных лиц ходить в процессии впереди носилок и выкрикивать псалмы. Однажды в сумерках зимнего дня возвращался он с товарищами с кладбища, где только что хоронили покойника; по дороге товарищи разбрелись в разные стороны, и этот мальчик остался один в заросшем бурьяном пустыре, тянувшемся за нашим домом. Здесь почудилось ему, что перед ним стоит глазастый ангел смерти с ножом в руке. Мальчик от испуга упал на землю, потом поднялся, добежал до близкой закрытой лавки и там снова упал без чувств. Его потом долго лечили в больнице. Когда он выздоровел, он снова появился в синагоге и рассказал о своем страшном видении*.

Так на заре жизни меня занимали мысли о смерти и загробных муках, как бы во исполнение завета моего дальнего дубенского предка. Я с волнением читал его книгу в упомянутом плагиате «Кав гаяшар», который и моя мать читала в переводе на идиш. Среди многих подобных книг, которые я поглощал в библиотеке синагоги,

* Я рассказал об этом случае в одной из ранних моих статей: «Религиозные поверия еврейского народа» (Восход, 1886, кн. 1, с. 117, прим.).

повергала меня в ужас мрачная книга смиренского аскета р. Илии²⁴ «Бич наказания» («Шевет-муссар»), где подробно изображены все загробные муки, предусмотренные в конституции ада. Мы, хедерные мальчики, достоверно знали, что обитатели ада отпускаются на волю только на одни сутки в неделю, от вечера пятницы до вечера субботы; знали, что кто на исходе субботы приложит ухо к косяку двери синагоги, услышит возглас: «Вернитесь, грешники, в ад!» В сумерки субботнего дня я, бывало, стою на площади большой синагоги, гляжу на огненно-красный закат и слышу замечание товарища: это на небе растапливают огромные печи ада, чтобы жарить «решоим» (грешников). Мы и кругом слышали угрозы: «Ну, будут вас на том свете жарить на сковородах, будут сечь вас калеными железными прутьями!» Так говорили в своих проповедях странствующие «магидим», призывавшие к покаянию пред «страшными днями» осенних праздников.

Смутно помню выступление одного из знаменитейших «магидим» того времени, о котором кругом очень много говорили, так что к моим непосредственным впечатлениям могли примешиваться рассказы других. В наш город приехал Кельмский Магид²⁵, который с 1860-х гг. объезжал Литву и Белоруссию, произносил громовые проповеди против идей нового просвещения (Гаскала²⁶) и против вольных нравов. То был настоящий еврейский Савонарола на заре еврейского ренессанса. Его красноречие покоряло слушателей и вызывало бурный восторг в переполненных синагогах. Он говорил с особым грустным напевом, который уже сам по себе настраивал аудиторию на трагический лад. «Когда ты придешь на тот свет, — говорил он, — и Верховный Судия спросит тебя: почему не доносятся до меня звуки кадиш (заупокойной молитвы сыновей о родителях) твоего сына, — что же ты ответишь? Ты скажешь: я позволил моему сыну учиться в гойских школах, часы утренней молитвы он проводит не в синагоге, а в гимназии... И раздастся грозный голос: горе тебе, несчастный! Ты погубил душу сына и потерял молещика за упокой твоей души. Ступай в ад!» Громкие рыдания оглашают синагогу. Еще долго спустя после пребывания Кельмского Магида в нашем городе я слышал его потрясающие грустные напевы в голосах иешиботников бет-гамидраша, сидевших над фолиантами и применивших к талмудическому тексту эти замощные мелодии.

Дом, где жили мы вместе с дедом, имел общий двор с соседним домом столяра. Двор был завален досками и готовыми изделиями. Тут обращали на себя мое внимание надгробные памятники: деревянные с округленными верхушками толстые доски, на которых были вырезаны имена и титулы недавних покойников для установки на могилах. Я присутствовал при изготовлении этих памятников. Бывало, в летний день прихожу домой из хедера в обденный перерыв, наскоро съем свой «крупник» и иду на двор. Там сидит верхом на толстой доске, положенной косо на два обрубка, шамес большой синагоги Рувен, прислужник деда и наш друг дома, и вырезывает на этой доске еврейские буквы при помощи стамески и молота. Вот на круглой верхушке доски уже вырезаны две большие буквы: П. Н. («По никбар», здесь похоронен), затем следуют коротенькие строчки с именем и титулами покойного, дня и года его смерти, а в заключительной строчке — ТНЦБГ («Теги нафшо церура бецрор гахаим», то есть: да будет душа его связана в узле жизни). Часами я простаивал возле большой, наклоненной над доскою фигуры Рувена и смотрел, как он сосредоточенно вырезывал букву за буквою, держа пред собою написанный на бумажке текст эпитафии. Серьезен и грустен был вид его: ведь он, как городской шамес, знал всех в общине, и давно ли говорил с этим самым покойником или покойницей, имена которых теперь увековечивает? Когда надпись была готова, Рувен закрашивал вырезы зеленою масляной краскою, так чтобы буквы выделялись на фоне белой доски, и ставил готовые таким образом памятники у забора для просушки, перед увозом их на кладбище — для установки на соответствующих могилах. В темные вечера, бывало, выхожу на наш общий двор и смотрю на эти «мацевот» с округленными верхушками: они кажутся мне окутанными в белые са-

ваны мертвецами, вышедшими из своих могил для ночной молитвы. Ведь заслушался я рассказов о покойниках, собирающихся по ночам в пустом женском отделении синагоги для богослужения и публичного чтения Торы; иногда они «вызывают к Торе» того или другого из живых членов общины, и тогда вызываемый может быть уверен, что его скоро призовут на тот свет. На этом поверии основана одна из прелестных «Сказок гетто» Комперта²⁷, которые я позже перевел на русский язык.

Глава 6

Литература Гаскалы и первый детский бунт (1870—1872)

Женитьба брата и мое обручение с первой книжкой Гаскалы. — Что вычитал я в «Суламит» Калмана Шульмана. — Высший курс хедера: головоломный талмудический трактат Бава-Кама на столе, вольная книжка под столом и награда в виде пощечины учителя. — «Тайны Парижа» в еврейском одеянии. — Чары романов Мапу «Грех Самарии», «Любовь Сиона». — Как я приобрел роман Мапу «Пестрая птица» и что нашла в нем. — Мой первый протест против обскурантизма и гимн «священному языку» ренессанса. — Перелом религиозный: противопоставление религиозного чувства обряду. — Собственный молитвенник. — Трогательные моменты богослужения: встреча субботы и грусть разлуки с субботой. — Зрелище нужды. Моя функция семейного корреспондента.

Юная душа не могла еще долго оставаться в плену потустороннего мира. Она жаждала новых «впечатлений бытия», более соответствующих ее возрасту, и искала их опять-таки в книгах, ибо окружающая среда могла ей дать мало отрадного. На десятом году жизни мне впервые попалась книжка новой литературы просвещения, той запретной Гаскалы, против которой гремел еврейский Савонарола. Случай этот связан в моей памяти с одним семейным событием.

Мой старший брат Исаак, который робко и втайне почитывал запретные книжки, стал женихом и должен был после свадьбы переселиться в соседнее местечко Хиславичи, в дом своего тестя, пламенного хасида. Наш дед Бенцион был недоволен вступлением его любимого внука в хасидскую семью, но должен был скрепя сердце дать согласие на брак. Брат мой, прежде чем поехать на новое место, решил очиститься от греха хранения нелегальной литературы, которая в хасидском доме могла бы навлечь на него преследования. И вот он пред отъездом подарил мне одну из нелегальных книжек: «Суламит» модного писателя Калмана Шульмана²⁸, содержащую описания путешествий по Палестине и соседним странам. Ради этой книжки я принес тяжелую жертву. Вся наша семья готовилась ехать в Хиславичи на свадебные торжества, которые должны были длиться семь дней; хотелось, конечно, ехать и мне, но старшие стали меня уговаривать, чтобы я остался дома, и в награду родители обещали мне свободу от хедера на целую неделю, а брат посулил названную книжку. Эта компенсация примирила меня с мыслью, что я не увижу нового города и не буду веселиться в течение «семи дней пира». И действительно, я устроил себе семь дней духовного пира: я обручился с «дочерью неба, Гаскалою», как тогда выражались. Свободный от хедерного ига, я по целым дням читал заветную книжку. С наслаждением перечитывал лирические описания в высоком библейском стиле, рассказы путешественников о красотах палестинской природы, о развалинах знакомых мне из Библии мест, о Сирии и Египте. Особенно заинтересовало меня историческое описание Востока после той эпохи, на которой обрывается рассказ Иосифа Флавия: я узнал о крестовых походах, о власти арабов и турок... Маленькая книжка, напечатанная в Вильне в 1855 г., лежит предо мною: наивное, сентиментальное произведение, полное размышлений благочестивого пилигрима о бренности всего земного, о былом великолепии, превращенном в руи-

ны, — как пленяло оно мою детскую мысль. Пройдет еще десять лет — и мысль юноши попадет в другой плен: моей любимой книгой станут «Руины» французского философа XVIII в. Вольнея²⁹, который в своих размышлениях путешественника по Востоку пришел к выводам, ничего общего не имеющим с идеями наивного виленского писателя.

На одиннадцатом году жизни поступил я в четвертый и последний хедер, где мне предстояло завершить свое талмудическое образование. Новый учитель, Аврам-Иоэль, суровый и угрюмый старик, напомнил мне печальные годы второго хедера. Мы снова погрузились в Галаху и нырнули в самую глубь ее: мы изучали один из самых трудных талмудических трактатов, Бава-Кама, трактующий о юридической ответственности за прямое или косвенное причинение вреда и убытков. Какая это была мука для детских голов! Яркое сияет весеннее солнце после пасхальных каникул, тянет на оживившуюся улицу, на зеленеющий бульвар, а тут сиди и домай себе голову над такими казусами: «Есть четыре вида вредителей: вол бодливый, яма посреди улицы, скот, пущенный на потраву поля, и огонь. Есть разница между бодливым волком и топчущим поле скотом и между ними обоими и огнем, ибо те живые существа, а огонь не живое существо. Есть также разница между этими тремя вредителями и ямою, ибо те причиняют вред исключительно в своем движении, между тем как яма причиняет вред, оставаясь неподвижно. Сходство же между всеми четырьмя в том, что все могут причинить вред и что надзор за ними лежит на обязанности владельца, так что в случае повреждения он должен платить за убытки». Это только лаконический тезис Мишны, сравнительно еще удобопонятный, но за ним следует на девяти листах текст Гемары, где между четырьмя главными видами вредителей и множеством производных видов создается столько казуистических комбинаций, что у учащегося голова трещит от напряжения. Шесть детских грудей надрываются, хором выкрикивая текст Талмуда; ребе часто останавливает хор и предлагает кому-нибудь коварный вопрос, ученик отвечает невпопад, и костлявая длань ребе с щепоткою нюхательного табаку между двумя пальцами уже слегка ударяет по щеке вопрошаемого, иногда пуская ему горькую табачную пыль в глаза. Со мною такие казусы бывали по особой причине: наскучивши галахической казуистики, я незаметно вынимал из кармана вольную книжечку и, держа ее на коленях под столом, заглядывал в нее, когда ребе допрашивал кого-либо из моих товарищей; но тут я попадался, ибо ребе, не получив удовлетворительного ответа от одного ученика, обращался с тем же вопросом к другому, чаще всего ко мне, внуку профессора Талмуда, а у меня голова где-то на краю света, и я отвечаю так, что пощечина со щепоткою табаку летит мне прямо в лицо как заслуженная кара за невнимательность.

Скоро я совсем отбилса от рук. Вне хедера надзора за мною не было. Отец в постоянных разъездах, мать в домашних хлопотах, дед Бенцион в это время женился вторично, чтобы иметь хозяйку в доме, и уже не жил вместе с нами. Я с братом Вольфом могли себе позволять роскошь читать дома вольные книги Гаскалы, которых мать сначала не отличала от религиозных книг, так как и они были напечатаны на «священном языке». Наша разросшаяся семья жила тогда в большом доме на Шулефе, возле большой синагоги, и в течение одного или двух семестров одна комната сдавалась под наш хедер, где командовал Аврам-Иоэль. Мне приходилось только прятать от дурного глаза свои запретные книги в ящике шкафа соседней комнаты, в то время как в хедерной комнате красовались на столе фолианты Талмуда. В то время — мне уже шел 12-й год — предметом моего увлечения был известный французский роман Эжена Сю «Тайны Парижа» в древнееврейском переводе Шульмана («Мистре Париз», четыре части, Вильна 1857—1860). Впервые предо мною предстали жизнь парижской бедноты и социальные язвы большого города. Томик за томиком этого романа одалживал я у одного приятеля, перечитывая каждый по несколько раз, а когда наступало время возвратить книгу, у меня не

хватало духу расстаться с нею. И я однажды принял отчаянное решение: переписать всю книгу перед возвращением ее владельцу. Я с братом переписывали книгу по вечерам, иногда до глубокой ночи, работали спешно, лихорадочно, но успели переписать только один том из четырех и почувствовали, что больше у нас сил не хватит. С грустью вернули мы книги владельцу, утешаясь тем, что по крайней мере копия одной части осталась у нас и мы будем время от времени наслаждаться красотою ее еврейского стиля. Увы, через пару лет драгоценная копия, стоившая столькоких бессонных ночей, была разрезана на полоски, которые пошли на заклеивку щелей в окнах нашей комнаты в зимнюю стужу. Так низвергаются кумиры...

Другой литературный кумир скоро овладел моим умом: ковенский романист Аврам Мапу³⁰. Случайно попался мне в руки его двухтомный исторический роман «Грех Самарии» («Ашмат Шомрон»), повесть из времен пророка Иешаи и падения Самарии, и обдал меня потоком горячего солнца древней родины. Картины природы и образы древних предков производили здесь полную иллюзию реальности потому, что они представлены в мозаике поэтических библейских фраз, целиком взятых из Иешаи, Гошеи и других современных пророков. Мне, знавшему почти наизусть многое из пророческих книг, казалось, будто встали из могил герои тех времен и заговорили своим мощным языком, ожили веселые «пьяницы Эфраима» с вакхическими венками на голове, и красивые, хоть и грешные, девы Сиона, украшенные всеми орудиями кокетства, перечисленными у пророка Иешаи. В моих ушах звучала «песнь торжественных времен», занесенная из улиц Самарии и Иерусалима... Вскоре мне довелось прочесть и другой однородный роман Мапу, «Любовь Сиона» («Агават Цион»), о котором мои современники говорили в один голос, что начинать читать нельзя было от него оторваться. Я тоже испытал это очарование романтической идиллии и восторженно декламировал песни влюбленно-го пастуха Амнона: «Тишина и покой лишь в пастушьих шатрах» или: «О, поля Бетлехем, место юных утех!» Тут примешивался аромат поэзии Песни Песней, которые я читал еще в детстве в солнечные пасхальные дни, и вставали неведомые чувства «пробуждения весны» в душе отрока... Мапу был тогда властителем моих дум, и одно из его произведений послужило поводом для целой Одиссеи в моей жизни.

Я узнал, что имеется еще одно произведение Мапу, роман из современной жизни в пяти частях, под названием «Пестрая птица» («Аит цавау»). Первую часть мне удалось достать в нашем городе, я ее прочел, и предо мною предстала совсем иная картина: фигуры ханжей и фапатиков, кагалных хищников и мироедов, а против них — светлые образы «новых людей», любителей просвещения, прекрасного юноши и еще более прекрасной девушки, которые рвутся друг к другу сквозь тысячи препятствий. Мне страстно хотелось знать, что будет дальше с этими героями, противными и любимыми, а дальнейших частей романа нигде нельзя достать. Тогда я принял героическое решение: выписать все части книги из Варшавы через местного еврейского книгопродавца, торговавшего молитвенниками и другими религиозными книгами. Предприятие было рискованное: во-первых, как заказать еретическую книгу, направленную против обскурантов, через одного из них? во-вторых, откуда взять денег на покупку пяти томов, стоявших около трех рублей — капитал для меня недосыгаемый? Я стал подсчитывать мои ресурсы: ежедневно мне дают две копейки на покупку завтрака, пары булочек; если я два-три раза в неделю откажусь от завтрака, то скоплю нужную сумму только в течение целого года. С бьющимся сердцем я предстал пред книгопродавцем. Выслушав мое предложение, он испытующе посмотрел на меня и сказал, что выпишет книгу, если ему дадут сейчас задаток в половинном размере. Я пошел к хедерному товарищу, сироте, имевшему наследственный капитал у родных, и после долгих уговоров получил от него займы требуемую на задаток сумму.

Задаток был внесен книгопродавцу, тот обещал выписать книгу из Варшавы, предупредив, что она может получиться только через месяц или два. С волнением ждал я прилета «Пестрой птицы». Срок прошел, я ходил за справками, а мне бездушно отвечают: книги еще нет, подождешь! Наконец, после месяцев ожидания, наступил желанный день. Я явился к книгопродавцу, он как бы нехотя взял с полки пять томов в цветных обложках, показал их мне и, прежде чем я успел заглянуть внутрь, выхватил их у меня из рук и поставил обратно на полку. Пораженный неожиданностью, я спросил: когда же вы выдадите мне книги? — и получил ответ: когда уплатишь все деньги. После долгих упрасиваний, торговец согласился выдать мне в счет задатка две части, а остальные три выдавать по мере уплаты остальной суммы.

С безумной радостью понес я домой две книжки в обложках разного цвета и сейчас же набросился на чтение новой для меня второй части. Но прочитав ее, мне еще больше захотелось читать продолжение, чтобы узнать о дальнейшей судьбе ее героев и их идейных стремлениях. Я испытывал тапталовы муки: книги так близки, а денег для выкупа их нет. Были пуцены в ход все способы: добывания денег. К счастью, подошла Пасха. В нашей посудной лавке главный торг происходил накануне Пасхи, когда евреи запасались новой пасхальной посудой. Лавка в эти дни была битком набита покупателями; мать и сестра не могли справиться с ними, и на помощь приходили мы, я с братом Вольфом, исполняя роль кассиров и записывая отпущенные в кредит товары. Тяжелые медные монеты сыпались пригоршнями, и при этом кое-что перепало и на нашу долю. Не беда, что десяток пятаков переходил в наши карманы без ведома матери: ведь это шло на святое дело, на выкуп пленных книг. И книги постепенно выкупались. Долгими часами сидел я у заветного ящика комода, где хранилась моя запретная библиотека, и углублялся в чтение диалогов между представителями старого и нового поколения, ища там разрешения назревавших в детской голове смутных вопросов, чуя какие-то новые вехи...

Одна мысль овладела мною под влиянием этого чтения: убеждение в ненормальности нашего воспитания, гнет которого я испытывал на себе самом, и стремление уйти из лагеря обскурантов в стан новых людей, просвещенных, «маскилим». Под этим влиянием я в начале 1873 г. написал на витеватом библейском языке статью под заглавием «Видение о священном языке» («Хазон сефат гакодеш»), где я бичевал ханжей и обскурантов, приверженных только к изучению Талмуда, пренебрегающих изучением Библии и враждебных новой литературе Гаскалы. Я вложил свои жалобы и обвинения в уста аллегорического существа, «священного языка», как орудия ренессанса. Мое сочинение списывалось любителями «мелица» (хорошего стиля) и распространялось по городу в нескольких копиях, возбуждая недовольство одних и восторг других. Это первое мое «литературное» произведение не сохранилось даже в моем архиве, но по сохранившимся образчикам моих писаний в следующие годы я вижу, что это был набор трескучих библейских фраз в духе писаний Мапу и Шульмана, гимн «прекрасному языку, единому уцелевшему» («гасафа гаяфа, гасрида гаихида»), как нежно писали тогдашние «маскилим». Однако по содержанию это первое мое «публичное» выступление было симптоматично: рядом с чужим, навеянными извне было в моем детском протесте и нечто от лично пережитого и постепенно назревшего в душе.

Поколебалась ли тогда и моя религиозная вера? Уважение к обрядам несомненно ослабело, но религиозное чувство углубилось. У меня появилось некое критическое отношение к преданиям и стремление быть религиозным по-своему. Меня, например, уже тогда не удовлетворял чин молитв в синагоге: длиннейший ряд молитв, занимающий около семидесяти печатных страниц в большом «Сидуре», прочитывался в течение получаса или часа, ибо люди спешили в лавку, на рынок или к ремесленному станку; в промежутки между молитвами люди, облаченные в талес, с «тефиллин» на лбу и руке, рассказывали по синагоге и разговаривали с знакомыми о житейских делах. Только духовные особы вроде раввина или моего деда молились долго и благоговейно, большей частью стоя, с лицом, обращенным к восточной стене. Не удовлетворяло меня и содержание многих молитв. Я поэтому выбирал в молитвеннике наиболее трогательные псалмы и тихо, сосредоточенно

читал их; я даже отступал от времени молитвы: в установленные для богослужения часы я лишь присутствовал в синагоге, а молился особо в «минуты жизни трудные», где-нибудь в уединении, выбирая подходящие к моему настроению псалмы (особенно главы 3, 13, 22, 69, 102) и обливаясь слезами в особенно трогательных местах.

В самом чине богослужения в синагоге у меня были некоторые любимые моменты. Мне нравилась «встреча субботы» («кабболат шаббат») в пятничные вечера. Тихо в полуосвещенной синагоге. Люди, усталые от будничной суеты, сидят и вполголоса повторяют за кантором удивительный гимн палестинского мистика Алкабица³¹ «Лехо доди», и по синагоге льются элегические звуки: «Храм царя, царский град, выходи из руин! Уж довольно сидеть среди долины скорбей!..» Или в следующий вечер, на исходе субботы. Глубокие сумерки, и в синагоге темно, ибо до появления первых звезд еще нельзя зажигать свет и справлять последнюю молитву «Маарив». Мы, мальнички, жмемся где-нибудь в углу синагоги и рассказываем сказки о царевиче и царевне («бен-мелехун басмалке»), а старшие распевают хором псалмы. Запевалой является наш сосед, шаночник Лейбе Киржнер. Читает он наизусть самый длинный 119-й псалом, состоящий из 176 стихов в форме восьмикратного акростиха («Ашре темиме дерех»). Он выкликает с напевом: «Блаженны люди честного пути, живущие по закону Божьему!» — и вся публика хором повторяет за ним этот стих и начинает следующий. Необычайным энтузиазмом звучит голос запевалы, всю душу вкладывает он в эту исповедь верующего, ту «субботную душу», которая сейчас сменится печальной будничной душою, тяжелыми заботами и борьбою за кусок хлеба. Я хорошо знал честнейшего шаночника Лейбе: я не раз заходил в его жалкий домик на краю обрыва в воскресенье утром и видел, как он грызет оставшийся от субботы маленький кусочек белого хлеба («хала») перед выходом на рынок с готовой шапкой, но без уверенности, что он продаст ее за 20 копеек и сможет купить ковригу черного хлеба на прокормление семьи. И я тогда понимал, почему звучали слезы в его вчерашнем напеве псалма, почему так страстно взывал он к Богу о помощи.

Много нужды я видел кругом; я испытывал ее, хотя и не в острой форме, в нашей многодетной родительской семье, где, в силу «аристократических» традиций, бедности стыдились и старались ее прикрывать. Несколько лет подряд я состоял секретарем по части переписки моей матери с моим отцом. Мать умела немного писать на родном языке, но ей трудно было соорудить целое письмо, и ей приходилось прибегать к помощи «шрейбера», специального писца, обходившего дома для писания писем от жен к мужьям и от невест к женихам. Когда я подросток и в письмах к отцу оказался очень умелым корреспондентом, было решено возложить на меня функцию семейного писца, чтобы не выдавать чужим семейных тайн. Сидит, бывало, мать со мною дома за столом или в лавке за стойкой и диктует письмо отцу. Я уже сам знаю, что начинать нужно торжественно по-древнееврейски: «Моему дорогому, славному, всеми почитаемому мужу Меер-Якову, чтоб сиял его свет...» После этой вступительной фразы я писал дальше на идиш, примерно так: «Извещаю тебя, что получила твое письмо и 50 рублей. Тотчас я из этих денег уплатила десять рублей за квартиру за три месяца, „схар лимуд“ (плату за учение) за Велеле три рубля и за Симона два рубля, обоим мальчикам заказала сшить новые костюмчики по четыре рубля, да и сапожки совсем у них порвались, заплатила сапожнику за починку два рубля, а девочкам юбочки кое-какие пошла — еще три рубля; в лавках долги уплатила — семь рублей. Ну вот и осталось от присланных тобою денег 15 рублей. Из них я заплачу десять за купленную на заводе посуду для лавки и опять возьму там в кредит товар. Останется у меня пять рублей на текущие расходы, до следующего месяца...» Я писал этот отчет под диктовку матери, и вся горечь забот бедной труженицы проникла в детское сердце. И когда я заключал письмо диктуемыми дрожащим голосом словами матери: «Знаю, мой дорогой, что трудно тебе; прости, что пишу тебе такие печальные письма» — рука маленького писца дрожала. По поручению матери я впоследствии писал от ее имени

просьбы о помощи к ее богатому отцу, моему незнакомому скупому деду, и тут уже писал вольно на библейском языке, употребляя всю силу красноречия. Дед показывал эти письма отцу, и, возвращаясь домой на праздники, отец говорил матери: ну, написал Симон письмо старику, даже камень мог бы растаять, а тот ничего: отказал...

И тем не менее я любил эту бедную улицу родного Шулефа. И вся она стоит предо мною, озаренная солнцем ранней юности. Вот дремлет улица в истоме жаркого дня. Нет прохожих. Дремлет лавочница Соре-Риве с упавшим на колени вязаньем на пороге своей лавочки. Только три звука врываются в эту тишину: протяжный крик петуха где-то за забором, этот зов вечности, по которому я позже так тосковал в гуле больших городов, певучие голоса хедерных мальчиков и грустные мелодии иешивотников, лившиеся на тихую улицу из раскрытых окон школ и синагог.

Глава 7

Еретические книги под фолиантами Талмуда (1873—1874)

«Бар-мицва» и переход из хедера в иешиву. — Лекции деда по талмудической письменности. — Иногородние иешивотники. — Поющая иешива и тоска молодости в царстве схоластики. — Литературная контрабанда под сенью синагоги. — Открытие тайного книгохранилища. — Лебе Машес и его семейная хроника; Лейзер Мешумед в роли рыцаря ордена Божией Матери и инициатора церковных процессов. — Мой книжный рай и моя книгомания. — «Гашахар» Смоленского. — Мой любимый поэт Лебенсон-младший. — Нападки фанатиков и моя храбрая оборона.

В сентябре 1873 г. мне минуло тринадцать лет. Я стал религиозно совершеннолетним, «бар-мицва», возложил на себя молитвенные ремни с пергаментными кубиками на лбу и левой руке («тефиллин») и почувствовал себя уже «бахуром», юношей. Обычной проповеди («дроше») в день «бар-мицва» я не читал. Я начал было готовиться к ней по сборнику раввинских респонсов «Шаагат Арье», но один образец для таких пробных лекций отбил у меня охоту демонстрировать свою ученость. Там разбирался вопрос, что делать левше при накладывании тефиллин, из которых одно должно быть прикреплено к левой руке, между тем как у него фактически левая рука функционирует вместо правой, и тут была пущена в ход такая явно фальшивая казуистика, что мне стало противно выступать в этой роли умственного фокусника. Так как старшие не настаивали на этой церемонии, то я был от нее избавлен.

В это время я уже приобрел некоторую самостоятельность. Мое обучение в хедере кончилось, и я поступил в группу слушателей деда Бенциона в синагогальной академии. Мой порядок дня изменился. Утром присутствовал при богослужении в синагоге, затем до полудня слушал «шиур» деда, сидя за длинным столом рядом с лектором, на почетном месте. Читал дед прекрасно: медленно и отчетливо прочитывал и объяснял данный текст Талмуда и искусно делал сводку главнейших комментариев к нему. Иногда любитель казуистики из слушателей, щеголяя остроумием, перебивал лектора каким-нибудь замысловатым вопросом, но дед отвечал лаконически, разоблачая софизм и отстаивая прямой смысл текста. К полудню лекция кончалась, дед уходил домой, а слушатели расходились кто по делам, кто на время, чтобы закусить и затем вернуться в синагогу для повторения прочитанной лекции и подготовки к следующей. К последней группе принадлежали «иешива-бахурим» из местной или иногородней молодежи, которые занимались учением целый день. Я формально числился в этой группе, но пользовался большими воль-

ностями. Я не был связан, подобно заправским иешиботникам, определенными часами учения и был волен уходить домой когда угодно, тем более что и надзора за мною не было. Бедные иешиботники из иногородних, «евские дни», то есть получавшие даровые обеды поочередно в домах обывателей, рисковали лишиться своих покровителей при недостаточном прилежании и должны были хотя бы для виду сидеть над фолиантами Талмуда; однако многие усердно учились по внутреннему убеждению, готовясь к званию раввина или учителя. Я знал почти всех иешиботников нашей синагоги (их было тогда десятка два) по их географическим прозвищам: «дер Могилевер», «дер Слуцкер» и т. п.; с некоторыми был близок до того, что они поверяли мне свою страшную тайну: склонность к Гаскале и тайное чтение вольных книжек.

Помню тот зимний семестр в нашей иешиве. Дед читал трактат «Гиттин», и слушатели должны были ломать себе голову над сотнями казусов действительности или недействительности разводного акта, посланного мужем жене с нарушением одной из сотен формальностей. Иешиботники сидели разбросанно у разных столов в большом зале синагоги и в ее двух приделах и громко, с напевом, читали талмудический текст. Это был целый концерт или, точнее, попури из напевов, с которыми читали свои проповеди разные «магидим»: кто пел на лад Кельмского Магида, кто повторял напев последнего из странствующих проповедников, кто перепевал синагогальные мелодии заезжего хазана. Сколько тоски было в этих напевах, столь несоответствующих сухому тексту Галахи! Прекрасно постиг это настроение Бялик³¹ в своем «Матмид»:

*«Ай, ай, Рава сказал!»... Ты не чувствуешь ли здесь
Излиянье души, жажду сильной любви?..*

По тому, как он напевал одни и те же слова, видно, что юноша не думает вовсе об изучаемом тексте, что его мысль и сердце где-то далеко, может быть в родном гнезде, откуда в час разлуки его напутствовали вздохи отца или рыдания матери, а может быть в одном из домов его здешних покровителей, где он, съедая свой даровой обед, уловил на себе полный жалости взгляд хозяйской дочери, юной красавицы, взволновавший его сердце... Я еще не испытывал таких чувств, но могу засвидетельствовать, что вопрос о действительности развода, составленного или врученного с нарушением некоторых формальностей, отнюдь меня не интересовал. Я перелистывал другие, еще не изученные трактаты Талмуда, ища в Галахе более интересных проблем, но одни меня просто отталкивали своим содержанием, как, например, огромный трактат «Хулин» с его системой убоя скота, кошер и трефе, а другие дразнили мое любопытство лишь тем, что не соответствовали моему возрасту. Таковы трактаты о брачном ритуале с их слишком откровенными толкованиями явлений половой жизни. Не думаю, чтобы такого рода «ауфклерунг» в половых вопросах было полезно для воспитания отрока или юноши...

От всей этой пыли древних трактатов меня с неодолимой силой тянуло к томикам вольной мысли, спрятанным в кармане или под фолиантами официальной науки, и я в иные часы профанировал святое место декламацией любимых стихов Лебенсона-отца³³ и Лебенсона-сына³⁴ или чтением статей в еретических журналах. В ту пору я уже вошел в самую гущу новейшей литературы. Я открыл в нашем городе тайное хранилище произведений этой литературы и удостоился чести быть допущенным туда. Один из местных слушателей моего деда, молодой талмудист Ханутин, сообщил мне под секретом, что в предместье Форштадт, где он живет, в доме содержателя «круподерки» (завода для размола зерна в крупу) Лебе Машес имеется большая коллекция новых книг и журналов. В одну из летних пятниц (это было еще в лето, предшествовавшее моему переходу из хедера в иешиву) он меня

ввел в этот книжный рай... Но прежде чем рассказать о моем райском блаженстве, я должен сообщить эпизод из семейной хроники привратника рая, имеющий связь и с мстиславской городской хроникой.

Лебе Машес, т. е. Лебе, муж Маши, энергичной женщины, которая управляла заводом и вообще играла главную роль в семье, был пожилой человек, с каким-то загадочным прошлым, которое его отчуждало от еврейской общины. Одна из причин этого отчуждения мне потом была известна из рассказов старожилков: в его семье был урод, выкрест. Брат его, Лейзер, давно уже принял православную веру и сошелся с монахами старинного монастыря в селении Пустынки, близ Мстиславля, которые издавна занимались миссионерской пропагандой среди евреев. (Помню, как в припадке отчаяния какая-нибудь обиженная хозяйкою прислуга или притесняемая родителями дочь кричала: «Ой, я побегу либо к реке топиться, либо в Пустынки креститься!») С течением времени Лейзер Мешумед (так звали его евреи) так вошел во вкус православного иконопочитания, что сам открыл одну чудотворную икону. Однажды — гласит местное предание — монах Лейзер рассказывал вещей сон своему духовному начальству: ему явилась Божия Матерь и просила, чтобы ее икону перевозили ежегодно в крестном ходе в праздник Вознесения из Пустынского монастыря через Мстиславль в церковь расположенного за городом села Мазоловщина, а через месяц обратно. Духовенство, зная церковное рвение неопита, поверило ему и распорядилось об исполнении воли Богородицы, пожелавшей совершить майскую прогулку. В этом, в сущности, не было ничего необыкновенного: довольно часто совершались церковные процессии с перенесением «чудотворных икон» вследствие «вещего сна» или «видения» какого-нибудь одержимого религиозным психозом крестьянина или крестьянки. Православные епископы и настоятели монастырей тем охотнее разрешали такие процессии, что это приносило большие доходы церквям тех мест, по которым двигались крестные ходы, ибо крестьяне жертвовали немало денег и вещей в пользу этих церквей.

Я хорошо помню эти ежегодные летние процессии в Мстиславле, которые у евреев иронически назывались «Лейзерс хагоэс» («Лейзеровы торжества»). Многотысячные толпы крестьян из окрестных деревень проходили через наш город и запряживали всю бульварную площадь и прилегающие церковные дворы. Два дня весело гудели церковные колокола и бойко торговали священники, получая в дар от богомольцев домотканые деревенские холсты, которые они тут же обращали в деньги, продавая их еврейским торговцам; бойко торговали и лавочники, продавая паломникам разные городские товары или выменивая их на сельские продукты. Так по инициативе крещеного еврея Лейзера Мстиславль обогащался еще одной ярмаркой. Может быть, поэтому местные евреи отзывались о Лейзере без всякой злобы: ему прощали его отступничество ради принесенных городу выгод, хотя, конечно, держались подальше от него и даже от его оставшихся в еврействе родных.

Вернусь, однако, к брату отступника и к чудным пятницам, проведенным в его книгохранилище. У меня голова кружилась от восторга каждый раз, когда в полуденный час пятницы я входил вместе с Ханутиным в таинственную заднюю комнату дома Лебе Машес и предо мною открывались ряды полок с заветными книгами Гаскалы. Я хватался то за одну, то за другую книгу и лихорадочно просматривал; особенно влечали меня дотоле невиданные еврейские журналы: аккуратно переплетенные годовые томы еженедельников «Гакармель»³⁵ и «Гамелиц»³⁶, выходивших в Вильне и Одессе в 1860-х гг. Тут я узнавал, что повсюду кипит борьба между обскурантами и просвещенными, что «маскилим»³⁷ резко обличают суеверие хасидов и шарлатанство цадиков³⁸, что некоторые, вроде Лиленблюма, осмеливаются критиковать даже Талмуд и раввинизм. Суровый на вид, но добрый по натуре хозяин сначала позволял нам читать только в его библиотечной комнате, где он из осторожности тщательно закрывал за нами дверь, но впоследствии стал выдавать мне по одной книге также на дом на короткий срок. Зато я ему в свою очередь одол-

жил свое сокровище: пять частей «Пестрой птицы» Малу в красненьких сафьяновых переплетах, за которые я заплатил лучшему переплетчику из последних моих сбережений от завтраков. Вот были у меня тогда счастливые субботы! Возвращаясь, бывало, домой с новой книгой или годовым томом журнала уже при наступлении субботнего вечера, прячу свою добычу, иду в синагогу к «встрече субботы», прослушаю заунывный мессиянский гимн «Лехо доди» и бегу домой, чтобы наскоро поужинать и погрузиться в чтение до глубокой ночи, пока субботние свечи не потухнут, а на другой день опять вольное чтение без конца...

Свое увлечение книгами в ту пору, на 13-м и 14-м году жизни, я могу назвать не иначе как книгоманией. Самый вид новой книги приводил меня в трепет. Иметь свою библиотеку отборных книг и постоянно любоваться ею казалось мне недостижимым счастьем. Эта мания довела меня однажды до... кражи. У меня лежал одолженный у Лебе Машес большой сборник номеров «Гакармеля» за 1861 г. Там меня заинтересовала шедшая в ряде номеров горячая полемика по поводу одной анонимной корреспонденции из Умани о борьбе просвещенных с местными хасидскими фанатиками. Я еще не успел начитаться вдоволь, как наступил срок возвращения сборника. И вот я решился вырезать особенно драгоценные для меня листы и оставить их у себя. Я вернул книгу владельцу, который не заметил дефекта. Скоро, однако, у меня начались мучительные угрызения совести. Я хотел уже вернуть вырванные листы, но ведь это совсем опозорило бы меня, и я сознавал непоправимость своего преступления. В уединении я в специально подобранных псалмах горячо молил Бога простить мне мой грех. Только спустя долгое время, когда я уже перестал ходить в тайное книгохранилище, владелец обнаружил порчу сборника и явился ко мне с претензиями. Я со стыдом вернул ему не только взятое, но прибавил кое-что из своего книжного запаса. Немногие знали о моем грехе и неособенно осуждали меня, но я себя еще очень долго терзал за этот грех, первую и последнюю кражу в моей жизни, грех ненасытного ума.

В ту пору (1874) попались мне книжки прогрессивного венского журнала «Гашахар»³⁹ Переда Смоленского. Один ишиботник из слушателей лекций деда повел меня однажды в мезонин небольшой синагоги, где он учился, вынул из своего сундука две тоненькие тетради «Гашахара» и, одолжив их мне для чтения, просил тщательно прятать их и никому не говорить, что он дал их мне, ибо это грозило бы ему лишением «дней» в домах обывателей и изгнанием из города. С тем большим волнением читал я запретные книжки журнала, который в консервативных кругах считался самым опасным (я тогда читал и яростную полемику против него в ортодоксальном еженедельнике «Галеванон»⁴⁰, выходившем в Майнце). Тут я почуял новый дух в еврейской журналистике и любовался модернизованным стилем Смоленского⁴¹ и его сотрудников.

В области поэзии моим кумиром стал тогда Миха-Иосиф Лебенсон, умерший молодым сын начальника еврейского Парнаса, Авраама Лебенсона («Адам Гаконен»). Благодаря ему я впервые познакомился со второю песнью «Энеиды», переложенной им с шиллеровского немецкого перевода («Гарисот Троя»). Но пленил меня Миха-Иосиф своими «Песнями дочери Сиона», в особенности же прекрасною религиозно-философскою поэмой «Соломон и Когелет» или «Вера и разум». Противопоставление жизнерадостной лирики Песни Песней и жуткого скептицизма Когелет оживило во мне те смутные мысли, которые волновали меня еще раньше при сравнении этих двух произведений, которые по традиции считались песней юности и поэмой старости царя Соломона. Я с волнением декламировал эти чудные строфы виленского поэта, изображавшие мучительные сомнения древнего мудреца:

Сжалось в нем сердце и с воплем отчаянья крикнул: Увы!

Кто знает, что в небе глаз Божий следит и слезы невинного видит?

*Кто знает, есть ли в могиле отчет о горестной жизни земной,
Слышит ли кто-нибудь там плач обездоленных здесь?*

Другая лирическая книга Лебенсона-сына, «Арфа Сиона» («Кинор бат-Цион»), стала для меня скоро новым псалтырем. Глядя на звезды в ясную ночь, я вопрошал вместе с поэтом в его строфах «К звездам»:

*О скажите мне, кто вы, небесная мать, грозная, светлая мать!
Все светила и звезды подобны ль земле?..
Или вы Божьи думы в начертаньях небес,
И лишь мудрым умом вас дано разгадать?
Иль поете вы Бога в светлой музыке сфер,
И тем звукам внимал Пифагор иль Платон?..*

Вся философия и поэзия сливались для меня тогда в этих волнующих строфах, в этих вопросах болезненного вилнского юноши, очевидно пережившего такой же религиозный кризис, какой назревал и в моей душе.

От окружающих, конечно, не могло укрыться мое страстное увлечение вольной литературой и склонность к новым идеям. Дед с высоты своего талмудического Олимпа еще ничего не замечал, мать не различала между старыми и новыми книгами и думала, что сын ее занимается только «святой Торой», но некоторые почитатели деда из прихожан нашей синагоги заметили мое пренебрежение к изучению Талмуда или видели книжки Гаскалы, которые иногда попадали на поверхность талмудического фолианта на столе бет-гамидраш. Особенно зорко следил за мною один из прихожан и слушателей деда, Гиршель Велес, старый бездельник, живший трудом своей жены-торговки и торчавший постоянно среди ишиботников в большой синагоге. Он следил за молодежью и доносил «начальству» о замеченных упущениях. Фанатик докладывал деду и о моем поведении. Дед призвал меня и своим обычным спокойным тоном сделал мне выговор. Но Гиршель не утомился: он бегал и нашептывал другим, что у «ребе Бенционке» подрастает внук-еретик, «апикойрес», который пренебрегает молитвою и Торою и увлекается чтением опасных книг. Тогда и я вступил в бой. Я сочинял на превыспреннем библейском языке обличительные послания против моих врагов, «темных людей, боящихся света знания», поднимающих руку на таких столпов новой литературы, как Мапу, Шульман и Лебенсон, и даже презирающих книги библейских пророков, которые исключены из программы талмудических иешив. Мои «послания» переписывались некоторыми юными любителями «мелицы» (красивого стиля) и распространялись по городу; я прослыл талантливым писателем, хоть и вольнодумным.

Против фанатика Гиршеля я кроме того повел еще борьбу более упрощенным способом. У особенно прилежных талмудистов в нашей синагоге было принято раз в неделю оставаться там для занятий на всю ночь, что называлось «ночным бдением» (мишмор). Я иногда тоже оставался с ними, но не ради Гемары, а ради чтения запретных книг в маленьком кружке любителей. Однажды, когда я в приделе при синагоге («штибель») с пафосом декламировал стихи Михи Лебенсона, нас накрыл шпион Гершель и разогнал. Тогда мы решили отомстить ему. Одни улеглись спать на жестких деревянных скамьях синагоги, другие разместились у столов за фолиантами Талмуда и сонно напевали его текст при тусклом огарке сальной свечи. Гиршель тоже сидел полусонный за Талмудом. Вдруг ему в голову летит какой-то узелок, «пекел», как у нас назывался сверток из полотенец, покрывал и прочей синагогальной утвари. Этот снаряд был брошен «невидимой рукой» одного из наших «бодрствующих» или притворяющихся спящими. Гиршель вскакивает и бежит по направлению удара, но тут ему летит в спину другой «пекел». Я ловко метал эти снаряды, прячась на высокой «биме», эстраде для чтения Торы, и когда мой

враг взбирался туда для обнаружения метальщика, я уже лежал там на скамейке, погруженный в «глубокий сон». Он снова уходил на свое место, недоумевая, какие это невидимки бомбардируют его, какая нечистая сила отвлекает его от святого учения.

Глава 8

Русская школа и русская книга (1874—1877)

Как я учился русскому языку. — В казенном еврейском училище; учителя Дрейзин и Эфрат. — Закрытие училища. — Меланхолическая «автобиография» четырнадцатилетнего. — Мстиславская библиотека и чтение русских книг. — Отказ от разговора на идиш ради русского языка. — Изучение французского языка. — Умственное переутомление. — Испуг матери и гнев деда. — Весна 1876 г. — Летние приготовления к уездному училищу, поступление в старший класс. — Влияние русской и еврейской литературы: Лермонтов, Тургенев, Ауэрбах и «Даниэль Деронда», Соломон Маймон и Богров. — Увлечение сочинениями Берне. — Неудачный писательский опыт. — Переход от еврейского литературного языка к русскому. — Окончание уездного училища и планы будущего. — Отъезд в Вильну.

Как многие из моего переходного поколения, я прошел последовательно два цикла образования, и притом в обратном порядке, от специального к общему. Сначала я прошел все ступени специально-еврейского образования, а потом увидел, что мне еще недостает общего образования, даже элементарного. Прежде мне казалось, что еврейский язык даст мне возможность усвоить все науки, до философии включительно. Ведь познакомился я, хотя в примитивной форме, с физикой и естественными науками по книге Пинхаса Гурвица⁴² «Сефер габрит» (1797), которая претендовала на роль энциклопедии наук с каббалой включительно, а с историей и географией по компиляциям Калмана Шульмана. До 13 лет я почти совсем не знал русского языка. Когда однажды наш сосед из бывших кантонистов, хорошо говоривший по-русски, спросил меня, почему я не учусь русскому языку, я отвечал, что писать письма я могу на древнееврейском языке, а для того чтобы написать по-русски адрес на конверте, я могу воспользоваться услугами любого писаря. Очень скоро, однако, мне пришлось отказаться от этого наивного мнения. Как только я освободился от хедерного ига, я вместе с братом стали брать уроки русского языка и арифметики у молодого сына нашего шамеса Рувена, который окончил «высший курс наук» в русском уездном училище. Он читал с нами особую русскую хрестоматию для еврейских детей («Русское чтение»), где были обозначены ударения всех слов — пункт, на котором больше всего спотыкались начинающие еврейские ученики. Арифметикой мы занимались по классическому тогда учебнику и «задачнику» Малинина и Бурунина. Скоро я начал читать самостоятельно с помощью официального русско-еврейского словаря Манделштама, а где словарь был недостаточен, мне объяснял то или другое трудное выражение наш сосед, упомянутый отставной солдат.

К весне 1874 г. я успел уже настолько подготовиться, что мог поступить во вторую «смену» (группу) первого класса казенного еврейского училища в Мстиславле. Нелегко досталось мне согласие родных на посещение «гойского» училища для еврейских детей. Мать сначала и слышать не хотела об этом, но уступила после того, как я добился полусогласия деда на посещение училища под условием, что я буду продолжать слушать его лекции и заниматься хоть немногом Талмудом. Это было возможно потому, что занятия во второй смене начинались в 12 часов дня, когда кончались лекции деда. Тотчас после Пасхи я выдержал экзамен и поступил в школу. Утром я рассеянно слушал талмудическую лекцию, а едва дед кончал по-

следнюю фразу, я уже убежал в школу, чтобы не опоздать к уроку. Косо смотрела на мой быстрый уход аудитория, печально поникал головой дед, чувявший в этом начало моего ухода от старого мира в новый, чуждый ему, полный опасностей для еврейской души.

А в моей душе сияло весеннее солнце, когда я играл с товарищами в саду на школьном дворе и весело возвращался с ними шумною толпою по окончании занятий. Само учение было слишком элементарно, чтобы оно могло удовлетворить меня; не привлекательна была и личность моего первого учителя. Учитель русского языка Дрейзин принадлежал к худшему разряду питомцев правительственного раввинского училища в Вильне⁴³. Он считал себя русским человеком, жил в доме русской мещанки и шокировал евреев тем, что дома ел трешную пищу. Обучая нас русскому языку, он обращал главное внимание на чисто русское произношение и всячески старался вытравить у нас еврейский акцент. Если ученик на уроке чтения хорошо произносил трудное слово, Дрейзин хвалил его перед всем классом, говоря: вот истинно русский мальчик! Вообще он был очень строг и производил впечатление недоброго, язвительного человека. Скоро он покинул наш город. Позже я слышал и читал о бывшем учителе Иосифе Дрейзине⁴⁴, который составил «Русско-еврейский словарь» (1886), а в 1891 г. принял крещение и сделался миссионером православия среди евреев в Литве. Если этот Дрейзин тождествен с моим бывшим учителем, то его бесславная карьера меня не удивляет⁵.

После нескольких месяцев обучения во второй смене, я к концу лета должен был перейти в третью смену первого класса, но я решил перескочить через эту студию и путем особого экзамена поступить прямо во второй, высший класс училища. Я выдержал экзамен, несмотря на придирчивость Дрейзина. В сентябре, после осенних праздников, я уже сидел на скамье второго класса, рядом с немногими избранными, которые добрались туда только после трехлетнего обучения в сменах. Преподавал в этом классе смотритель училища Моисей Эфрат, красивый и симпатичный мужчина лет 35, переведенный к нам из такого же училища в литовском городе Шавли. Эфрата все любили, и я особенно привязался к нему. Помню, как я отличался у него на уроках в синтаксическом разборе сложных предложений и в писании русских «сочинений». Я был уже близок к рангу «первого ученика», как вдруг случилась беда. В конце октября 1874 г. к нам из губернского города Могилева прибыл инспектор народных училищ и объявил, что по распоряжению министра народного просвещения во всей России закрываются казенные еврейские училища старого типа, учрежденные Уваровым в 1840-х гг.; в тех городах, где число учащихся незначительно, они вовсе упраздняются, а в других будут преобразованы в начальные еврейские училища с новой программой. Эта реформа была связана с состоявшимся тогда преобразованием раввинских училищ в Вильне и Житомире в еврейские учительские институты. В то время число еврейских учащихся в общерусской школе так увеличилось, что правительство сочло возможным сократить число особых школ для евреев, тем более что общая школа лучше выполняла ту программу русификации, которую правительство проводило тогда в своей западно-русской политике.

С глубокою грустью расстался я с училищем и его милым руководителем Эфратом. Оставшись с семьей без средств к существованию, Эфрат уехал из Мстиславля, и я его совсем потерял из виду. Встретились мы случайно только спустя 29 лет, о чем расскажу дальше.

Некоторые ученики закрытого еврейского училища были переведены в русское приходское училище. Я попал там в старшую группу и очутился на одной скамье с

⁵ В рейзеневском «Лексикон фун дер идишер литератур», том 1, с. 747—750 (Вильна, 1926) нахожу подробную биографию миссионера Дрейзина, но среди городов, где он был учителем в казенных еврейских школах, Мстиславль не назван.

еле грамотными детьми русских мещан, грубоватыми и неряшливыми. Ничему я здесь не мог научиться, и в начале 1875 г. я оставил это училище.

Отброшенный случаем от намеченного пути, я предавался грустным размышлениям. Предо мною лежат полуистлевшие листки моей детской «автобиографии», писанной в февральские дни 1875 г. Она озаглавлена торжественно «Деяния моей юности» и написана в высоком библейском стиле Мапу, в тоне мудрых поучений, которые были бы смешны в устах мальчика, если бы содержание не было так грустно. Во вступлении 14-летний отрок, подводящий итоги своей «юности», рассуждает о круговороте жизни и смерти, о необходимости сохранить для холодной зимы старости воспоминания о жизненной весне. В тексте идут скорбные жалобы на обскурантизм мстиславцев, преследующих меня за мою любовь к «священному языку», за стремление к общему образованию и к гармоническому сочетанию науки и веры. «Меня называют апикойресом, отрицающим веру в Бога! — писал я. — О Боже, Ты ведь испытываешь сердца людей и знаешь, что чист я от подобных грехов и верен Твоей религии, что клевету взвели на меня фанатики, раздраженные тем, что я иду по пути Гаскалы, а не по их пути невежества». После описания трагического закрытия моей alma mater, еврейского училища, я в заключение утешаю себя надеждою, что наступит лучшее время, когда «тучи невежества рассеются перед духом времени, когда устыдятся глушцы и осрамятся лжепророки, ибо воцарится знание в нашем городе, и образованным людям будут оказывать почет».

Это наивное писание было последнею данью цветистому, искусственному стилю Мапу, которому я тогда еще подражал. Скоро под влиянием нового, отчасти модернизованного стиля «Гашахара» и, в частности, Смоленского, я отошел от этой курьезной фразеологии. Больше всего на меня повлияло то, что благодаря знакомству с русским языком я получил ключ к богатой русской литературе, то есть, в сущности, к европейской литературе, которая в изобилии преподносилась публике в русских переводах. Счастливым случаем открыл предо мною русское книгохранилище, как раньше еврейское. В ту пору образовался в Мстиславле кружок молодежи из состоятельных семейств, члены которого в складчину покупали русские книги и выписывали из Петербурга журналы, сами читали и давали читать желающим со стороны. Это было ядро будущей общественной библиотеки, сыгравшей важную роль и в моей личной жизни. Кроме русских классиков и переводов иностранных писателей (Берне⁴⁵, Гейне⁴⁶, Бертольд Ауэрбах⁴⁷, Шпильгаген⁴⁸ и др.) здесь можно было получать новые книги большого петербургского ежемесечника «Дело»⁴⁹, органа русских радикалов, выходившего под редакцией Благосветлова, друга рано умершего критика Писарева⁵⁰. Скоро я познакомился с одним из руководителей кружка, юношей Львом Гуревичем, в доме которого хранилась библиотека. Этот дом находился рядом с новой квартирой в центре города, куда наша семья переместилась из Шулефа, и я таким образом имел возможность часто брать книги из кружковой библиотеки, в особенности свежие выпуски журналов. Я усердно читал книги журнала «Дело», где печатались преимущественно социальные романы (Шеллера-Михайлова⁵¹ и др.) и бойкие политические статьи под видом литературной критики.

Читал много также и мой брат Вольф. Мы оба знали тогда русский язык более теоретически, чем практически: говорили мы по-русски с ошибками, особенно в ударениях. Поэтому мы решили, для упражнения в живой речи, говорить между собою исключительно по-русски, не употребляя ни единого еврейского слова. Я и брат остались верны нашему «обету» на всю жизнь: мы говорили между собою по-русски даже в кругу семьи, объясняясь с прочими членами семьи по-еврейски. С друзьями из библиотечного кружка мы тоже говорили только по-русски. Тут сыграло главную роль то, что наш родной «жаргон» в то время еще не стал языком новой литературы (за единичными исключениями) и новой интеллигенции. Тогда нам казалось, что «язык кухни и рынка» никогда не поднимется на высоту со-

временного культурного языка. Мне, однако, суждено было дожить до эпохи, когда это «чудо» совершилось: переход от жаргона к идиш совершался на моих глазах, и после некоторых колебаний я должен был признать и приветствовать ренессанс народного языка. Однако начавшаяся в ранней юности языковая ассимиляция имела важные последствия для моего развития, как и для судеб всего моего поколения.

В это же время я стал изучать и первый иностранный язык, который вопреки обычному в еврейских семьях правилу оказался не немецким, а французским, что имело влияние на мой позднейший литературный стиль. Тут тоже вмешался случай. В наш город переселился из Минска молодой человек Клячкин-Гинзбург, женившийся на дочери местного богача. В Минске он учился французскому языку и имел некоторое салонное образование, которым очень гордился, но в менее культурном Мстиславле он мог обнаруживать свои вольные симпатии только конспиративно, в кругу образованной молодежи. Однажды, когда я зашел к нему за книгой (помнится, «Толдот гатев» Абрамовича, обширная зоология по Ленцу), он выразил готовность учить меня французскому языку. Я согласился. Он взял ключ, открыл нижний ящик шкафа и вынул оттуда две толстые книги: учебники французского языка по методу Оллендорфа, один с немецким, а другой с русским контекстом. Указав мне первую французскую фразу, которая начиналась словами *Vous avez*, он предложил мне прочесть ее; я, конечно, начал читать *воус авез* — и услышал громкий смех моего ментора. Тут же открыл он мне секрет произношения французских слов, и с тех пор стал обучать меня. Я приходил к нему в определенные дни, и мы втихомолку, таясь от его жены и тестя, занимались в комнате с закрытыми дверьми. После того, как я в течение нескольких недель усвоил правила произношения и проделал ряд письменных упражнений, я решил, что смогу продолжать изучение французского языка по учебнику Оллендорфа самостоятельно, не подвергая моего учителя семейным неприятностям. С осени 1875 г. я стал заниматься по Оллендорфу вместе с братом Вольфом, которому передал правила произношения. Работали мы основательно: заучивали тысячи вокабул, делали сотни длиннейших упражнений устных и письменных и через полгода обладали уже таким запасом французских слов и фраз, что могли говорить между собою, конечно не по-парижски, на новом языке.

Голова у меня закружилась от мысли, что я обладаю теперь ключом к подлинной европейской литературе. Скоро, однако, у меня обнаружилось настоящее физическое головокружение. От чрезмерного умственного напряжения в нездоровой обстановке (наша новая квартира оказалась сырою, и несколько членов нашей семьи переболели в ту зиму) у меня развилось острое малокровие, начались шумы в ушах и частые припадки головокружения, заставлявшие меня по целым дням лежать на диване. Угнетающе действовала на меня болезнь матери. Заболевшая воспалением легких мать лежала в той самой комнате, где я с братом занимались, повторяя вслух заученные уроки. В бреду больная молила: «Уберите со стола эти „трейф-посул“, эти нечистые гойские книги! Там церковь стоит, там крест стоит!» Бедная женщина раскрыла в бреду то, что мучило ее в нормальном состоянии: тревогу за сыновей, покинувших святую Тору ради гойского учения, родную речь ради чужой... Бывало, приходит старый русский врач проведать больную и, видя меня лежащим на диване, спрашивает: что, и ты, грамотей, нездоров? Ему объясняют, что у меня головные боли, а он в ответ: поменьше книжечк читай, выздоровеешь!

В это время я имел первый серьезный конфликт с дедом. Больно было старику, что я его талмудическую науку забросил и предаюсь так страстно наукам, которые он не без основания считал вредными для правоверия. Он между прочим заметил, что я редко посещаю синагогу. Я действительно только раз в неделю, по субботам, являлся к богослужению, но иногда манкировал и этим, так как мне было неприят-

но излишнее внимание со стороны прихожан. Люди пальцами показывали на мой укороченный сюртук (длинное платье я уже давно перестал носить), на остриженные «пейсы» (локоны на висках) и причесанные волосы (в субботу запрещалось причёсывать волосы гребенкой из опасения, что какой-нибудь волос будет вырван, а рвать в день покоя нельзя); шептались по поводу того, что во время молитвы я стоял неподвижно, не раскачивался и не делал глубоких поклонов. Обо всех этих признаках вольнодумства доводилось до сведения деда. Жаловалась ему, конечно, и бедная мать, опасавшаяся, что я за грехи попаду на том свете в ад. Однажды, в зимний день начала 1876 г., дед призвал меня для объяснения. Старик ходил взад и вперед по комнате; обычное спокойствие, видимо, изменило ему. Он начал с того, что про меня ходят недобрые слухи в городе и люди считают меня еретиком. «Ведь я, — продолжал он, — предупреждал тебя еще в прошлом году, что от твоих увлечений новыми книжками и твоих писаний добра не выйдет; теперь ты увлекаешься изучением чужих языков и разных пустых наук, а Талмуд совсем забросил — что же из тебя выйдет?» Слова «пустые науки» возмутили меня, и я его иронически спросил: «Неужели кроме Талмуда вы не видите никаких наук? Разве математика тоже не наука?» На это он мне ответил, что он назвал все эти науки пустяками в том смысле, что они не дают человеку познания истины, а напротив, сводят его к единственному пути истины, указанного в нашей Торе и в Талмуде, чему я и сам служу живым примером. Мои возражения раздражали деда, и он кончил тем, что пригрозил мне отобранием и уничтожением моих «вредных» и «нечистых» книг.

Моя душевная депрессия, связанная с переутомлением, сказалась в моих записях ранней весны 1876 г. Образ рано умершего поэта Миха-Иосифа Лебенсона стоял предо мною как мой двойник, и я с глубоким волнением цитировал его меланхолические стихи в упомянутой поэме «К звездам»:

*Ныне слушайте юноши голос в конце его краткой весны,
Ибо сердце его надорвалось от мух и волнений земных.*

Однако весна лишь началась, и от нее стала таять зимняя скорбь. Никогда еще не чувствовал я «целительную силу природы» в такой степени, как в эту дивную весну, когда я из мрака сырой комнаты выбежал на простор соседней бульварной площади и жадно вдыхал свежий апрельский воздух, когда зов жизни звучал в «зеленом шуме, весеннем шуме».

К лету наша семья покинула сырую квартиру и поселилась в солнечных комнатах рядом с тем романтическим садом при католической церкви, где мне в детстве чудился библейский рай. Тогда я с братом Вольфом приняли героическое решение. В Мстиславле высшее школою считалось двухклассное уездное училище, где учились дети дворян, а потом стали допускаться и дети других сословий. Учебная программа его соответствовала программе первых трех или четырех классов гимназии без иностранных языков. В том году туда стали поступать и еврейские мальчики из купеческих семейств, которые по новому уставу о воинской повинности 1874 г. лишились прежней привилегии, освобождавшей их от военной службы; новый закон сокращал только срок службы для лиц, могущих представить свидетельство об окончании курса наук в какой-нибудь правительственной школе. Это побуждало родителей, которые раньше и слышать не хотели о русской школе, отдавать туда своих сыновей: родители полагали, что школа все-таки лучше казармы. Это соображение заставило и наших родителей не противиться нашему желанию поступить в уездное училище. Так как и я и брат уже были подготовлены по элементарным предметам, то мы решили держать экзамен для поступления в старший класс этого училища. Для подготовки к строгому экзамену нам приходилось в течение летних месяцев зубрить русскую грамматику по учебникам Антонова и Го-

ворова, общую географию по Корнелю, историю по Иловайскому, арифметику по Малинину. Времени до дня экзамена, 7 августа, было очень мало, и мы в последние недели придумали простой способ работы: приобщить и ночь к трудовому дню. Мы спали сидя за столом только час или два в сутки. Это нас крайне изнурило, но мы выдержали экзамен, который по провинциальным понятиям считался очень трудным.

Помню жаркий день 7 августа 1876 г. Двор уездного училища с садом был полон учениками, детьми русских дворян и польских шляхтичей, приехавшими из деревень в дни летних каникул. Многие новички должны были держать вступительный экзамен в первый класс; я же и брат были единственными экстернами, державшими экзаменоваться для второго класса. Когда среди утихшего гула на дворе к нам приблизилась грузная фигура смотрителя училища, Андрея Никитича Крестьянова, и он узнал о нашем смелом желании, он с изумлением посмотрел на нас, но потом сказал: хорошо! — и велел отвести нас в особую комнату. Там нас экзаменовали сам смотритель и двое учителей. Экзаменаторы оказались не такими страшными, как их рисовали. Отвечали мы на вопросы хорошо, писали по-русски и решали арифметические задачи правильно. Наши бледные лица и синие пятна под глазами свидетельствовали о нашем прилежании и ночных бдениях. Крестьянов, оказавшийся, несмотря на внешнюю суровость, добрым человеком, даже попрекал нас за чрезмерное напряжение, вредное для здоровья. Велика была наша радость, когда нам наконец объяснили, что мы приняты во второй класс «высшего учебного заведения» города Мстислава.

Единственные евреи среди русских учеников второго класса, я и брат скоро выдвинулись в ранг «первых учеников». Я отличался по русскому языку и истории, брат по математике. Геометрия мне не давалась: ее плохо объяснял мне преподаватель, сам Крестьянов. Помню, что он однажды поставил мне плохой балл, двойку, за неумелое объяснение Пифагоровой теоремы («Пифагоровы штаны»), но думаю, что он сам заслуживал не лучшего балла. Это, впрочем, была единственная плохая отметка за весь школьный год. Учителя наши вообще знали немногим больше того, что было в элементарных учебниках, задавали уроки по книге: заучить «отсюда дотуда». Я помогал русским товарищам писать сочинения на тему, а брат решал для них математические задачи. Юдофобии почти не было ни среди учеников, ни среди учителей. Смотритель Крестьянов был консерватором, читал только «Московские ведомости» и «Русский вестник» Каткова¹², но в этих изданиях юдофобия тогда еще не культивировалась.

Имея мало работы в школе, я снова предался чтению книг из нашей кружковской библиотеки. Русские классики: Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Тургенев читались усердно. Мировая скорбь юного Лермонтова была мне, разумеется, больше по душе, чем пластическая поэзия Пушкина. Тургеневский романтизм пленял воображение, и еще долгие годы я находился под его обаянием: я был безнадежно влюблен последовательно во всех мечтательных героинь тургеневских повестей. Однако больше всего я искал в романах элемента поучения. Я тогда с увлечением читал роман Ауэрбаха «Дача на Рейне» и роман Джордж Элиот «Даниэль Деронда». Герой первого, учитель Эрих, являлся для меня образцом высоконравственного человека, а герой второго, Мардохай, идеалом еврея. С другой стороны, усилилось мое отрицательное отношение к ортодоксальному еврейству под влиянием двух других книг: «Автобиографии» Соломона Маймона¹³, незадолго до того переведенной на русский язык в «Еврейской библиотеке» Ландау, и «Записок еврея» Богрова¹⁴, печатавшихся в лучшем русском ежемесячнике «Отечественные записки». Маймон намечал мне мой собственный путь из старого мира в новый, Богров же своими резкими обличениями старого порядка в еврейских общинах обострил во мне оппозиционность к окружающей среде. Но особенно глубокие впечатления оставило во мне чтение сочинений Людвига Берне в русском переводе Петра Вейн-

берга⁵⁵. С 1876 г. Берне стал моим кумиром. Я еще мало знал о политическом положении Германии в его эпоху и не всегда понимал его намеки на те или другие политические явления, но тут я впервые услышал голос протеста против деспотизма и клич к борьбе за свободу, впервые почувствовал обаяние революционного духа. «Письма из Парижа» восхищали меня своим блестящим остроумием. В своих заметках летом 1876 г. я отметил это впечатление и в особенности восторгался борьбою Берне за свободу мысли, что было мне тогда близко по личному опыту. Я выразил ему благодарность за его статьи в защиту евреев и сожаление о том, что ему не дано было дожить до их эмансипации в Германии.

Весною 1877 г. я сделал первую попытку литературного выступления в защиту просвещения. В то время мстиславские мелаеды сильно волновались по поводу министерского циркуляра, грозившего лишить их права преподавания в хедерах, если они не представят доказательства, что они обладают минимальным общим образованием. Волновалась и вся община, видя в этом потрясении основ традиционного воспитания. Я написал по-древнееврейски короткую статью в форме газетной корреспонденции, где горячо убеждал родителей идти навстречу хедерной реформе и создать кадры новых образованных учителей. Корреспонденцию послал в Варшаву, в редакцию еженедельника «Гацефира»⁵⁶, и просил редактора, известного математика Х. З. Слонимского⁵⁷, напечатать мой призыв, но без обозначения имени автора, так как я «боюсь навлек на себя гнев мелаедов, раздраженных тем, что у них вырывают добычу изо рта» (в еврейском оригинале игра словом «теревф», обозначающим и добычу, и пищу). Корреспонденция не была напечатана: лучшей участи она, вероятно, не заслужила.

Это было последнее из моих юношеских писаний на моем первом литературном языке, древнееврейском. С той весны я уже начал писать по-русски. Писал неумело, то есть грамматически правильно, но с ошибками в выражениях, и я теперь, просматривая ветхие листки случайных дневников, забавляюсь их курьезным стилем. А между тем содержание этих записей было весьма грустное. По мере приближения выпускных экзаменов в уездном училище мое настроение становилось все тревожнее. Вопрос: что делать по окончании училища, куда ехать для поступления в высшую школу? — не давал покоя. Дальнейшее образование требовало средств, которых родители мне дать не могли и не хотели. Я переписывался с родными в губернском городе Могилеве об условиях поступления в один из старших классов классической гимназии; оказалось затруднение: надо изучить курс латинского и греческого языков за несколько месяцев и выдержать строгий вступительный экзамен. Всплыл проект поступления в агрономическое училище в городе Горки, Могилевской губернии, но и он отпал. Наконец я остановился на Еврейском учительском институте в Вильне. С этим проектом мог примириться и отец, так как институт обеспечивал своим питомцам содержание в интернате и давал возможность окончившим его четырехлетний курс получить место учителя в народной школе. Меня же вилениский план привлекал тем, что я буду иметь счастье жить в «литовском Иерусалиме»⁵⁸, метрополии Гаскалы.

Все эти планы волновали меня в течение весенних месяцев 1877 г. Мои записи того времени свидетельствуют о резкой смене настроений между надеждою и отчаянием. Я все повторял любимую строфу из Лермонтова:

*Я предугнал мой жребий, мой конец,
И грусти равняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь Творец;
Но равнодушный мир не должен знать.*

Однажды я простудился, пробираясь в грозу и бурю горной тропинкой за город с целью достать какую-то книгу; я заболел и в состоянии повышенной температуры

писал об этом как о символе предстоящего мне бурного пути жизни: «О наука, если бы даже умереть пришлось ради тебя, если бы сильная буря опрокинула меня в глубокую пропасть, то и тогда я не жалел бы себя, зная, что умираю ради тебя, единственной цели моей жизни!» Но бывали и моменты подъема духа, и тогда я пел с Кольцовым:

*И рвется душа из груди молодой,
Просит воли она, просит жизни другой...*

В это время началась русско-турецкая война. Появился манифест Александра II о том, что русские войска вступают в пределы Турции для защиты балканских славян. Помню майский день, когда на уроке Крестьянов торжественно читал ученикам царский манифест и затем продекламировал патриотическое стихотворение из «Московских ведомостей», которое он заставил нас разучивать наизусть и повторять на следующих уроках... А тут подошли выпускные экзамены. Я с братом усердно готовился к ним дома и на загородном лугу: шагая по еще влажной траве и громко повторяя учебники. Экзамены сошли хорошо, хотя не совсем так, как я желал. Я рассчитывал на аттестат с «круглыми пятерками» («отлично»), а получил по всем предметам только четверки («хорошо»), не исключая и русского «сочинения». Здесь мне, кажется, испортила балл цитата из Берне, которую я неосторожно вставил в свою работу на тему: как я намерен устроить свою жизнь после окончания училища. Цитата звучала революционно: «И благородный человек может быть рабом обстоятельств, но тот, кто становится лакеем обстоятельств, неблагородный человек». Имя Берне и смысл цитаты испугали консервативного Крестьянова. Он мне прочел нотацию: «Ты, должно быть, начитался статей из журнала „Дело“. Вредный для юношества журнал, не читай его, нехорошо, нехорошо!»

12 июня 1877 г. я получил свидетельство об окончании «полного курса» уездного училища и стал готовиться к отъезду в Вильну. Начинаются мои страннические годы.

КНИГА ВТОРАЯ

ГОДЫ СКИТАНИЙ ЭКСТЕРНА (1877—1880)

Глава 9

Лето в «литовском Иерусалиме» (1877)

Неудавшийся заговор двух пионеров: Лев, превратившийся в ягненка. — Мой первый полет из родного гнезда: в повозке «балаголе» и по железной дороге. — Смоленск. Минск: фактор отеля и вокзальный «марвихер». — Вильна: комната на Завальной улице. Мой репетитор и товарищ. Приготовление к конкурсному экзамену для поступления в Еврейский учительский институт. — Недопущение к экзамену. — Отчаяние несчастного «мореплавателя». — «Грехи молодости» Дилянбляма, вежа на моем жизненном пути. — Возвращение в Мстиславль.

Моему отъезду в «литовский Иерусалим» предшествовала одна трагикомедия. Поездка в далекий город во имя идеала просвещения казалась в провинции большим пионерским подвигом, который волновал моих друзей и товарищей. Один из них, Лев Гуревич, годом раньше меня окончивший уездное училище, сообщил мне по секрету, что и он решил ехать вместе со мною, но ему придется уехать тайно, точнее, бежать, так как мать его, вдова выдающегося талмудиста, добровольно его не отпустит. В летние сумерки, бродя по загородным полям, мы с товарищем конспиративно обсуждали план бегства и наконец остановились на следующем: я выезжаю из города «легально», в наемной повозке «балаголе», а в условленном пункте за городом, в безлюдном месте, поджидает меня с своим чемоданом мой «незаконный» спутник и мы вместе уезжаем. Лев тоже едет ради святой цели: просвещения. Мы даем друг другу клятву не расставаться, бороться и страдать вместе... Увы, товарищ не сдержал слова. В последнюю минуту у него не хватило решимости бросить семью и обречь себя на бедственную жизнь на чужбине. Он остался. Позже я его упрекал за это малодушие в посвященном ему еврейском стихотворении, где иронически спрашивал: «Где храбрый Лев и как он за несколько дней превратился в смиренного ягненка?»

20 июня 1877 г., в жаркий полдень, у ворот нашего дома, на пригорке (мы снова переменили квартиру и жили ближе к загородным местам) остановилась большая повозка или «буда» еврейского «балаголе», примитивный омнибус с соломой внутри вместо скамеек и холщовым навесом для защиты от дождя. Там уже сидело несколько пассажиров, «седоков», и я должен был присоединиться к компании. Извозчик вынес из дому мои узелки и торопил меня поскорей попрощаться с родными и садиться в «буду». Мать стояла возле и вытирала фартуком катившиеся по лицу слезы; брат Вольф стоял понуриив голову: он уступил мне место пионера, который должен был проложить путь и ему. Меня душили слезы, когда я, попрощавшись со всеми, сел в повозку и скрылся в глубине ее под парусиновым навесом. Я чувствовал, что начинается новый период в моей жизни: годы скитальчества, Wanderjahre.

Дорога из Мстиславля в Вильну была длинная и сложная: 60 верст на лошадях до станции железной дороги, а затем в вагоне железной дороги через Смоленск и Минск. Меня, впервые покинувшего родное гнездо, это путешествие и манило, и

пугало: хотелось видеть новые места, вокзалы, поезда, катящиеся по рельсам, но страшно было неопытному юноше проделать такой путь. Только часть дороги я мог ехать в компании, направлявшейся в Смоленск. К вечеру мы приехали в большое местечко Хиславичи, поразившее меня своим грязным видом и скученностью домов — прямой контраст чистенькому Мстиславлю. Я переночевал в доме моего старшего брата Исаака. Он сам был в отъезде, и меня приняла его жена, дочь хасида-фанатика. Она меня радушно угощала и в то же время укоряла за то, что еду ради обучения в безбожной школе. На следующее утро компания снова пустилась в путь. В полдень мы уже были на станции железной дороги Починок, и через час поезд умчал нас в близкий Смоленск. Для меня все было ново, и я находился в особенно возбужденном состоянии. Мои спутники давали мне все нужные указания. Особенно заботилась обо мне нарядно одетая девушка, кажется невеста, которая ехала с нами до Смоленска. Здесь она трогательно простилась со мною, крепко пожав мне руку. Это было первое в моей жизни рукопожатие девушки: в наших местах не принято было здороваться за руку с женщинами. Помню какое-то особенное ощущение сладкой дрожи в момент, когда пухлая ручка охватила мою руку и улыбающиеся глаза ласково смотрели в мои стыдливо опущенные глаза. В Смоленске мои спутники меня покинули, и я дальше ехал один, беззащитный, напуганный рассказами об опасностях езды по железным дорогам.

В Минске я остановился на сутки в гостинице. Как «туристу», мне хотелось осмотреть город, и я наивно спросил служителя отеля, может ли он порекомендовать мне поблизости гимназиста, который служил бы мне проводником и вдобавок мог бы сообщить мне сведения об условиях приема в местную гимназию. Служитель испытующе посмотрел на меня и сказал с хитрой улыбкой: «Гимназиста не знаю, но не хотите ли познакомиться с гимназисткой?» Я смутно почувствовал что-то нечистое и отвернулся. Вспомнил рассказы о факторах еврейских гостиниц, «маклерах греха», которые доставляли заезжим панам всякий товар, до живого включительно. И вот пришлось самому бродить по незнакомому большому городу. Широкие центральные улицы с красивыми домами и магазинами мне понравились, но снующая суетливая толпа казалась мне такою чуждою, холодною. Переночевав в отеле, где и ночью не смолкал шум в коридорах, я на другой день отправился на вокзал и стал у кассы за билетом. Стоя в длинной очереди, я увидел, как мой сосед, парень подозрительного вида, засовывает руку в карман впереди стоявшего пассажира. Вор! — блеснула мне мысль, но я так растерялся, что не смел крикнуть. Мое молчание поощрило вора, и он меня тихо спросил по-еврейски: ты тоже марвихер? Я не понял значения этого слова и отрицательно покачал головою. Позже я узнал, что на воровском жаргоне «марвихером» называется железнодорожный вор, карманщик.

Измученный длиною дорогой и бессонной ночью в вагоне третьего класса, я утром прибыл в Вильну. Имея в кармане рекомендательное письмо от какого-то мстиславца к его виленскому родственнику, я велел извозчику везти меня по этому адресу, но я очутился в бедной подвальной квартирке, где не было лишнего угла для гостя. Хозяин указал мне один дом поблизости, где отдавалась комната со столом в квартире одного еврея, и через час я был уже в этой комнате, в ветхом одноэтажном доме на Завальной улице, против еврейского госпиталя. Пообедав, я лег спать и проспал до следующего утра. Осмотрел свою обитель, и стало нудно. Низенькое окно моей комнаты выходило на заваленный мусором двор; под самым окном возвышался порядочный холмик мусора. Во дворе, где с одной стороны тянулись грязные флигеля с бедными жильцами, а с другой анфилада сортиров, трудно было дышать от невыносимого смрада. Хозяин, подозрительный субъект без определенных занятий, бессовестно эксплуатировал меня. Знакомых у меня не было. Я бродил по улицам города, которые в этом еврейском районе производили на меня гнетущее впечатление: бедность выпирала из всех углов. Сразу потускнели

мои мечты о «литовском Иерусалиме». Одинокий, заброшенный на чужбине, я изливал свою тоску в дневнике, впоследствии затерявшемся.

Скоро я, однако, приступил к делу. Я познакомился с одним учеником Учительского института, жившим в соседнем доме, Эмануилом Пассом. От него я узнал обо всем, касавшемся института. Оказалось, что мне еще нужно подготовиться к конкурсному вступительному экзамену, так как число вакансий для вновь поступающих в институт гораздо меньше числа желающих поступить. Пасс согласился быть моим репетитором с платой в 3—4 рубля в месяц. Он занимался главным образом исправлением моих неправильных ударений в русских словах, так как учителя института обращали на это особенное внимание ввиду русификаторской политики правительства в Западном крае. Вскоре ко мне присоединился товарищ, тоже готовившийся к поступлению в институт, некий Фридман, учившийся в Борисове. Мы готовились к экзамену вместе, бродили по улицам Вильны и гадали о том, где живет та или другая литературная знаменитость. Один из властителей моих детских дум оказался в близком соседстве: Калман Шульман жил почти рядом, в одной из квартир большого, населенного беднотою дома на углу Завальной улицы и какого-то узкого переулка. Хотелось посетить этого писателя, за которого я ломал копья в борьбе с обскурантами в родном городе, взглянуть на него, сказать ему несколько слов признательности, но по свойственной мне тогда застенчивости я не решался зайти к нему. Это, впрочем, избавило меня от разочарования: как мне потом передали, Шульман мало чем отличался по своим взглядам от рядового ортодокса и жил в обстановке бедного меламеда.

Мой новый, более практичный товарищ советовал мне переменить квартиру, и мы поселились вместе на городской окраине Снипишки. Это был поэтический уголок. На высоком холме, круто спускающемся к каменолозням, стоял одинокий дом польской семьи Мацкевич, а в углу заросшего травой двора маленький пустой флигель на откосе холма; в этом флигеле мы и поселились. После противного торгового шума виленского центра я очутился среди божественной тишины природы. Неприятно было только, что этот рай охранялся злыми черберами. Калитка от дома была всегда на запоре, и когда я звонил, собаки на дворе заливались бешеным лаем, который не прекращался, пока хозяйская прислуга не проводила меня до нашего флигеля.

В этом уединении занимались мы с товарищем прозою приготовления к экзаменам и поэзией русских и еврейских писателей. Товарищ пел особою грустною мелодией длинную элегию виленского поэта Лебенсона-отца на раннюю смерть сына, моего любимейшего лирика. Читали мы и русские стихи (Майкова, особенно его переводы из Гейне) и пели русские песни. Вместе мы ходили обедать в русский или польский ресторан, где я впервые «осквернил» свой желудок трэфной пищей. Я уже тогда не признавал религии кухни, но свинину мне было противно есть, и поэтому я был огорчен, когда товарищ открыл мне, что съеденная мною котлета была приготовлена из свиного мяса. Я представлял себе, что сказал бы по этому поводу мой отец, который тогда вел со мною оживленную переписку из своей летней квартиры в Херсоне и напоминал мне о необходимости соблюдения всех религиозных обрядов. Он аккуратно присылал мне деньги, около десяти рублей в месяц, просил не отказывать себе в самом необходимом, давал практические советы, но предостерегал от случайных знакомств, особенно с революционной молодежью.

В конце июля я подал в канцелярию Учительского института прошение о допущении меня к конкурсному экзамену. Мне велели прийти 4 августа. Когда я в назначенное утро пришел, я увидел двор института полный молодыми людьми, которые то и дело подходили к вывешенному у двери канцелярии списку допущенных к экзамену. Я тоже заглянул в список. Моего имени там не было. Я пошел в канцелярию и спросил директора, что это означает. Он ответил: из вашей метрики видно, что вы родились в сентябре 1860 г., а мы в этом году можем принять лишь тех,

которые родились в 1861 г., для того чтобы они успели кончить четырехлетний курс до достижения 21-го года, срока явки к исполнению воинской повинности. Таким образом я лишился права поступить в институт из-за того, что оказался старше на четыре месяца. Я подал попечителю Виленского учебного округа прошение о том, чтобы для меня сделали изъятие из правила ввиду ничтожной разницы возраста. Долго дождался я в приемном зале русского сановника, пока после приема чиновников с докладами и прочих важных особ меня допустили к помощнику попечителя, мужчине огромного роста в мундире, увешанном орденами. Он меня снисходительно выслушал и сказал, что все зависит от директора института; сделав пометку на моем прошении, вернул мне его и велел передать директору. Но последний ответил, что теперь вакансий уже нет. И действительно, многие аспиранты не попали в институт, между ними и мой товарищ Фридман, который был еще старше меня.

Помню те печальные дни, когда я с сокрушенным сердцем возвращался из канцелярии через мост над Вилией в свою келью на Снпишках. Предо мною лежат черновики моих писем к отцу и брату Вольфу, перед которыми я изливал свое горе. Письмо к отцу начинается скорбными еврейскими стихами: «Я пустился в плавание по морю жизни. На высокой мачте моего корабля сияла надпись: Надежда. Последнюю я потерял и с ужасом вижу, как мой корабль идет ко дну». Я остался в Вильне без надежд и без денег. Зная материальное положение отца, я таил от него свою нужду, но он догадывался о ней. Он прислал мне денег на обратный проезд в Мстиславль и, сам огорченный моей неудачей, утешал меня тем, что «все, что Милосердный делает, Он к лучшему делает». Перед отъездом из Вильны я зашел к книгопродавцу и агенту еврейских журналов Михаловскому и купил у него несколько книг. Между ними была только что напечатанная в Вене автобиография Лиленблюма «Грехи молодости» («Хатос неурим»), которая произвела на меня огромное впечатление и вскоре стала вехою на моем жизненном пути.

Я уже давно знал о Лиленблюме⁵⁹ как авторе статей о религиозных реформах в «Гамелице». Я представлял себе его в образе моего любимого героя из социального романа Браудеса⁶⁰ «Закон и жизнь» («Гадас вегахаим»), который в те годы печатался в журнале «Габокер ор» (говорили, что автор действительно имел пред собою образ Лиленблюма при изображении своего героя). Меня очаровывали описания борьбы Целафхада (псевдоним Лиленблюма) с фанатиками своего родного города и волновали картины его семейной трагедии. С сердечным трепетом читал я, как он бежал из старого мира в новый, в большой город (Одесса), где приблизился к кругу «новых людей», образованной еврейской молодежи, и как он тут убедился, что пришел слишком поздно, что он слишком стар для нового поколения, которое уже отходило от идеалистической Гаскалы к реалистическому русскому образованию. Для меня, стоявшего тогда на грани этих двух течений, это было настоящим откровением, осветившим мой дальнейший путь. Лиленблюм писал свою «исповедь» под влиянием крайнего реалиста и позитивиста, русского критика Писарева, властителя дум тогдашней радикальной молодежи. С боевыми статьями Писарева я познакомился лишь в следующем году, и поэтому мне сперва было жутко читать исповедь героя Гаскалы, произносящего смертный приговор над нею, над всеми нашими юными мечтами и порывами. Выходило, что мы все, стоящие между старым и новым миром, принадлежим к переходному поколению, которое должно служить только мостом для нарождающегося поколения новых людей, трезвых реалистов и позитивистов. Тогда я еще не допускал мысли, что скоро сам перейду в этот последний лагерь...

С мрачными мыслями возвращался я домой той же дорогой, какою за два месяца перед тем ехал как пионер, полный надежд, теперь разбитых. Помню раннее утро 24 августа. Большая повозка-омнибус с шумом подъехала к нашему мстислав-

скому дому. Я вышел и постучал в дверь, но мне не скоро отворили: все еще спали, и я слышал только возню торопливо одевавшегося брата Вольфа, который через несколько минут появился на пороге. Радость свидания и печаль поражения смешались в нашей встрече. Мать была рада, что я вернулся домой к «страшным дням», торжественным осенним праздникам. Брат и друзья были в траурном настроении.

Глава 10

Зима в Динабурге (1877—1878)

План реального училища. — Юный талмудист Саул Гурвич. — Отъезд в Динабург. — По железной дороге с жертвами русско-турецкой войны. — Тяжелые будни экстерна. — Чтение «Истории цивилизации в Англии» Бокаля. — Столкновение между национальным и космополитическим идеалом. — Тень социалистической «Правды» («Га-эмет»). — Бедственная жизнь в Динабурге. — Вторая неудача и возвращение в Мстиславль. — Наш кружок образованной молодежи. — Идеи XVIII века (Гетнер) и мой деизм. — Влияние радикальной русской критики. — План классической гимназии и отъезд в Могилев.

Печальные дни провел я дома по возвращении из неудачного виленского похода. Малочисленные друзья скорбели со мною о неудаче, а «враги просвещения» внутренне радовались, надеясь, что неудача отрезвит меня и я брошу свои «фантазии». В этом смысле беседовал со мною дед Бенцион и очень огорчился, услышав от меня, что я намерен дальше идти «по ложному пути». Дома было тесно и шумно, мешали заниматься. А работа предстояла большая. У меня с братом возник новый план: поехать в Динабург (позже Двинск) и подготовиться там к поступлению в один из старших классов местного реального училища. Тревожил нас только вопрос о средствах: совместно было взвалить бремя новых расходов на бедного отца, который теперь имел основание сомневаться в солидности нашего предприятия. Брат, видя мое отчаяние, напомнил мне о Моисее Мендельсоне⁶¹, который ради утоления своей жажды знания ушел в Берлин и после долгих бедствий достиг своей цели. Мы ждали приезда отца с юга, ибо от него зависело решение нашей участи.

В начале октября отец приехал и, после некоторых колебаний, уступил нам скорее из жалости, чем из сочувствия нашему плану: он видел нашу тоску, нашу решимость терпеть величайшие лишения ради учения и вынужден был идти против воли деда, который советовал ему не уступать. Отцу тем труднее было идти на эту жертву, что он сам в это время был причастен к акции иного рода: он привез с собою юношу моих лет, из семьи наших родных с материнской стороны, который приехал специально для слушания лекций деда по Талмуду. То был Саул Гурвич, впоследствии приобретший известность в литературе на древнееврейском языке. Семнадцатилетний талмудист в длинном сюртуке приехал из местечка Уваровичи с целью усовершенствоваться в раввинской науке и вместе с тем посмотреть на нас, пионеров новой науки, но ему пришлось увидеть, как эти пионеры демонстративно покидают живой источник Торы — своего деда. Огорчительно было это для новичка и обидно для самолюбия деда и отца.

В ту осень я бредил «исповедью» Лилиенблюма. Так близки были его переживания моим собственным, так больно было чувствовать и себя в роли «жертвы Гаскалы» и думать о гимназической скамье в те годы, когда многие думают уже об университете. Тем пламеннее я желал поскорее пройти этот стаж среднего образования, чтобы добраться до высшего. После осенних праздников, в конце октября 1877 г., я с братом уехали в Динабург. Отец снабдил нас средствами на переезд и

обещал высылать ежемесячно около 15 рублей, пока мы не найдем заработка от уроков. Мы были особенно тронуты, когда он вызвался проводить нас до станции железной дороги. После остановки в Хиславичах, у брата Исаака, мы втроем в поздний вечерний час приехали на станцию Починок. Помню, как мы туда подъезжали в ненастный осенний вечер в повозке «балаголе». Издали мелькали огни фонарей и световых сигналов на линии железной дороги и слышались резкие свистки маневрировавших паровозов. Что-то звало вдаль, но пугала холодная чужбина. Вот мы на вокзале. Привычный путешественник, отец берет для нас билеты в кассе, сажает нас в вагон и торопливо прощается. Нотка дрожи в его прощальных словах: ведь он отпускал своих сыновей не только на путь тяжких лишений, но и, с его точки зрения, на путь, полный духовных опасностей.

Поезд быстро мчался во мраке ночи. Мы проехали Смоленск и к утру были в Витебске. Здесь на вокзале увидели мы жертв тогдашней русско-турецкой войны: на полу в вокзальных помещениях лежали и сидели сотни раненых на войне, возвращающихся с балканского фронта домой или в тыловые части. Попадались и группы турецких пленных в красных фесках. На всех устах было имя «белого генерала» Скобелева⁶². Но кроме этих сцен ничто не свидетельствовало, что где-то воюют и льется кровь, между прочим и еврейская. В Витебске мы пересели на другой поезд, идущий в Петербург, и на следующее утро прибыли в Динабург. Бойкий город на узле железных дорог, военная крепость с массой спящих по улицам солдат, торговая суетола в центре, лавки, кабаки — все это мало располагало к себе мечтательного юношу. Тут же, в этом шумном центре города, мы и поселились в комнате нижнего этажа каменного дома, в квартире еврейского торговца, который рядом имел свою бакалейную лавку.

Мы с жаром принялись за учебники, чтобы подготовиться к экзамену на поступление в пятый класс реального училища. Особенно усердно занимались математикой и немецким языком. Но суровая действительность скоро остудила наш жар. Мы узнали, что экстернов допускают к экзаменам только в августе, так что нам придется ждать еще десять месяцев, затем — что требуется еще знание черчения и рисования, что учителя-юдофобы очень придираются на экзаменах к евреям, наконец, что на заработок от уроков нельзя рассчитывать. Мы поняли свою ошибку: надо было обо всем справляться до приезда, но сразу признаться в этом отцу не решились: ведь мы его раньше уверяли в успехе дела. Мы продолжали зубрить учебники, но работа шла вяло, и мы отдавали большую часть времени чтению книг. Мы абонировались в местной библиотеке и пожирали одну книгу за другою. Между прочим я прочел «Историю евреев в средние века» Дешпинга⁶³ в русском переводе. Описание мученичества евреев пробудило во мне национальный экстаз детства. В ту пору я еще не вышел из стадии национальных идеалов; я смотрел на общеобразовательную школу как на средство служения еврейскому народу, и в будущем мне рисовалась кипучая деятельность реформатора в пределах иудаизма. В моем тогдашнем дневнике нахожу такую, стилистически еще нескладную, запись: «Несмотря на то, что я здесь не могу найти сочувствие в моей привязанности к еврейской нации, а напротив отталкивание и презрение, однако во мне все более растет любовь к нашей национальности, отбрасываемой как ничтожная вещь нашу молодежь». Я мечтал о Бреславской теологической семинарии как об идеальнейшем для меня учебном заведении и видел свое истинное призвание в новаторстве духовном. Я поэтому отнесся равнодушно к социалистической проповеди Либермана-Фреймана⁶⁴ в журнале «Га-змет», который тогда издавался в Вене и нелегально распространялся в России. Какой-то молодой человек с конспиративной фамилией (я ее не запомнил), член революционной организации, показал мне пару тетрадей этого журнала, но я не помню, чтобы они произвели на меня впечатление.

Постепенно, однако, моя мысль втягивалась в русло космополитизма. Мне попала книга Бокаля⁶⁵ «История цивилизации в Англии», которая в России счита-

лась тогда таким же откровением в области социологии, как «Происхождение видов» Дарвина в естествознании. С восхищением читал я первые главы книги, где доказывается строгая закономерность исторических явлений, взаимодействие законов природы и духа в процессе развития цивилизации. Задумался я над тезисом Бокля о превосходстве умственных факторов над нравственными в динамике истории, о быстром прогрессе идей при медленности нравственного прогресса. Боклевский интеллектуализм отвечал моим собственным наклонностям. Смущала меня и в то же время манила космополитическая тенденция книги. «Этот великий свободомыслящий, — писал я тогда, — подкапывает чувство любви к национальности». Думаю, что подкоп начинался уже во мне самом. Не менее, чем теория Бокля, пленила меня его личность, особенно одна черта в его биографии, изложенной в предисловии русских переводчиков «Истории цивилизации» (Бестужева-Рюмина и Тиблена, Петербург 1864): унаследованное от отца большое состояние молодой Бокль употребил на покупку книг, которыми заполнил целый этаж в своем доме, и путем самообразования достиг той огромной эрудиции, о которой свидетельствует его сочинение. Тут впервые блеснула мне мысль: не могу ли и я заменить высшее школьное образование самообразованием? Эту мысль я изложил тогда в письме к другу А. Гуревичу, но тут же выразил сомнение в возможности ее осуществления без тех богатых ресурсов, которыми обладал Бокль. Тем не менее мысль о домашнем университете не покидала меня, и через несколько лет я попытался ее осуществить.

Читал я книгу Бокля, конечно, не в такой комфортабельной обстановке, в какой автор писал ее. Помню эти зимние вечера и ночи в нашей холодной комнате, похожей скорее на коридор, с выходом прямо на двор. Комната плохо отапливалась скуными хозяевами, и пар от дыхания клубами носился над столом, тускло освещенным керосиновой лампой. Холод имел верного союзника в голоде. От отца, уехавшего на зимнюю рубку леса в какую-то глушь, редко получались деньги, а нам было тяжело писать ему о нашей нужде. И я с братом следовали примеру юного Мендельсона, который во время своей нужды покупал один хлеб на целую неделю и разрезывал его на семь равных частей, чтобы не съедать в один день долю следующего дня. «Уже более полутора месяцев, — писал я в дневнике под 9 января 1878 г., — как я перестал есть мясо и питаюсь только хлебом с селедкой или маслом и чаем». Пришлось сократить и расход на квартиру. Из центра города мы переселились на окраину, сняли дешевенькую каморку в доме еврейского лавочника. Здесь нужда дошла до крайности. От недоедания при интенсивной мозговой работе развилось малокровие. Я страдал от припадков головокружения. Часто мы бросали учебники и лежали на диване, беседуя или читая книги. Помню чтение критических статей Добролюбова в собрании его сочинений. Там цитировались скорбные стихи двух русских поэтов-страдальцев, Полежаева и Плещеева, и я любил декламировать эти строфы, столь подходившие к моему настроению:

*Не расцвел, но отцвел в утро пасмурных дней,
Что любил, в том нашел гибель жизни моей...*

А за дверью нашей комнаты зрелая дочь хозяев, сидя над шитьем, громко распевала романс:

*Ах, милый мой, пусть меня! Взгляни в окно, встает заря.
Не то проснется мать моя и станет спрашивать меня:
«Где пропадала ты всю ночь, безумная шальная дочь,
И отчего так робок взгляд и очи пламенем горят?»*

Два мира, две тоски: тоска неудовольственного ума и тоска неудовольственной любви, зов идеи и зов Эроса или «зов пола», как ныне принято откровенно называть...

Как ни скрывали мы свою нужду, хозяева не могли не заметить, что мы плохо питаемся. В субботние вечера они присылали нам рыбу с белой халой. Мы ели это лакомое блюдо молча, глотая слезы: ведь мы дошли до положения «орембохеров», питающихся с чужого стола. Мы убедились наконец, что дольше так жить нельзя. Перемена произошла и в нашем плане обучения: мы решили откаться от реального училища и учиться по программе классических гимназий, надеясь преодолеть латынь и греческий язык; гимназия же была гораздо ближе к Мстиславлю, в губернском городе Могилеве, где мы имели родных и могли легче приобрести знакомства. Решено было пока вернуться домой, поправить там расстроенное здоровье, а после весенних праздников отправиться в Могилев. Между тем отец, узнав о нашей нужде, прислал нам денег на уплату долгов и на проезд. В начале 1878 г. мы возвратились в Мстиславль. Мать всплеснула руками, увидя наши исхудалые лица. Нас стали подкармливать, и мы скоро поправились.

Домашних, то есть мать и сестер, я застал в каком-то угнетенном настроении. Старшая сестра Рися имела болезненный вид. Кругом шептались о чем-то, как будто о большой тайне. Потом я из намеков узнал о семейной трагедии: красивая, черноглазая сестра была обманута каким-то заезжим молодцом, практиковавшим в нашем городе как фельдшер или зубной врач, и «тайный плод любви несчастной» какими-то путями, при помощи повивальной бабки, оказался «мертво-рожденным». Вспоминаю свою романтическую сестру, как она в былые годы, убирая комнаты, оглашала их песнями страстной тоски, в которых звучал на еврейский лад тот же «зов пола», что в русских романах моей динабургской соседки, и представляю себе, чего стоил ей этот первый удар по женскому сердцу. Ведь тут трагедия была не в одной обманутой любви, а в мучительном стыде и том паническом страхе перед общественным мнением, который в той патриархальной среде мог довести людей до актов безумия. Когда я через несколько лет читал роман «Адам Бид» Джордж Элиот и переживал с героиней, жертвою «условной лжи», муки тюрьмы и суда, я понял душевную драму своей бедной сестры. Она жестоко поплатилась за свой девичий грех: через три года она вышла замуж, но муж, которому кумушки нашептали о прошлом жены, бросил ее в первый год брака и бедная оставалась еще многие годы в положении разведенной, «геруша». О ее печальной тайне не принято было говорить в нашей семье.

В кружке мстиславских любителей просвещения мы прослыли героями и «мучениками науки». Молодежь искала нашей дружбы, и скоро мы стали в центре местного кружка просветителей. В него входили братья Гуревичи, из которых один был моим давним другом, сестры Фрейдлины и сестры Фрумкины, все молодежь из зажиточных семейств. Объединяющим нас центром служила та кружковая библиотека русских книг, которая снабжала меня духовною пищею в первые годы моего перехода к русской литературе. Эта библиотека теперь разрослась и стала почти общественною. Она помещалась в доме купца Хаима Фрейшлина, и заведовали ею две дочери его, Ида и Фанни, цветущие молодые девушки, учившиеся в местном девичьем пансионе и мечтавшие по моде того времени о высшем образовании на женских курсах. Книги и общность стремлений установили между нами братскую связь. Помню первую встречу членов нового «братства» под открытым небом. Тотчас после нашего приезда из Динабурга, в лунный зимний вечер, сошлись мы на обычном месте прогулок, на Бульварной площади. После субботнего ужина, когда обыватели уже отходили ко сну, особенно гулко раздавались на тихих улицах наши шаги по хрустящему снегу, звонкие голоса юношей и девушек, оживленно рассуждавших обо всем: о новых течениях в литературе, о героической борьбе за просвещение и прогресс и т. п.

Зимняя луна освещала всю эту оживленную группу на снежном фоне и, обычная свидетельница романтиков, как бы закрепила наш идейный союз. Крепкие рукопожатия на прощание, ласковый голос раздуряившейся от мороза девушки и провинциальный привет: будемте знакомы, заходите! Этой девушке, Иде Фрейдлиной, суждено было позже стать моей женой... Отныне кончился период нравственного одиночества, найден был маленький центр, духовный очаг, куда можно было приходиться с грузом своих дум и волнений и облегчать его в задушевной беседе, часто в монологе.

Весна 1878 г. была моментом кризиса в моем религиозном мирозерцании. Я тогда чрезвычайно много читал. Одна из прочитанных книг особенно приковала мое внимание. По «Истории французской литературы XVIII века» Гетнера я познакомился с доктринами «века разума», вызвавшими духовную революцию накануне великой политической революции. Вольтер, Дидро и энциклопедисты сразу пленили мой ум, уже подготовленный к их учениям историческими воззрениями Бокля. В их деизме⁶⁶ я нашел искомый ответ на религиозную проблему. Религиозную обрядность я еще раньше отвергал, полагая, что для истинной веры достаточно признания нескольких основных догматов из Маймонидовых⁶⁷ тринадцати. Замечательно, что Маймонидов рационализм в «Море невухим» не произвел во мне того идейного переворота, который он вызывал в старших моих современниках, как, например, в Ахад-Гааеме⁶⁸, прошедшем через все фазисы средневекового еврейского мышления. Я сделал скачок прямо к рационализму XVIII в., и уже с этого времени шел больше по европейской, чем по еврейской линии. Мой прежний неопределенный теизм принял определенную форму деизма: Бог есть источник сил и законов, управляющих миром, безличный постулат нашего разума (вольтеровский афоризм: «если бы Бога не было, его следовало бы выдумать»). Историческое оправдание урационализма я нашел в прочитанной в то же время книге Дрэпера⁶⁹ «История умственного развития Европы», которая после Бокля считалась авторитетнейшей философией истории. Что за «веком веры» должен следовать «век разума» как высшая стадия развития, казалось нам тогда неизбежной истиной. Яркое описание религиозного фанатизма средних веков, жертвою которого являлся и еврейский народ, достаточно подтверждало, что не религия, а разум может вести людей к равенству и свободе. Так, теряя старую веру, приобретал я новую: веру в абсолютизм Разума.

Воспринимаемая западноевропейские идеи через русскую переводную литературу, я в то же время втягивался в круг идеалов современной русской интеллигенции, радикальное крыло которой вело свое происхождение от Белинского через Добролюбова, Чернышевского и Писарева. Я глотал том за томом сочинения Белинского, которые мне выдавал из учительской библиотеки уездного училища мой бывший учитель Крестьянов со строгим внушением: чтобы я не слишком увлекался вольными идеями радикального критика. Что меня пленила Некрасовская поэзия гражданской скорби, об этом едва ли нужно говорить: кто из «новых людей» не говорил тогда строфами Некрасова? Я многие его стихотворения знал наизусть. От радикальной русской критики вела прямая дорога к революционному движению, которым я в ту пору впервые заинтересовался. Я читал тогда в газетах подробный отчет о судебном процессе Веры Засулич⁷⁰, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова, и мои симпатии были, конечно, всецело на стороне героини. Тем не менее я, по складу своего воспитания, гораздо менее интересовался тогда социальными, чем индивидуальными проблемами.

Новые идеи звали вдаль, в широкое море русское, в океан человечества. А путь туда лежал через высшую школу, через гимназию и университет. Надо, стало быть, поскорее добиться аттестата зрелости. И вот я ревностно изучаю латынь по учебнику Кюнера и с гордостью приближаюсь к чтению древних классиков, а впереди еще греческий язык и манит и пугает. Вместе с братом двигаемся

далее по математике, алгебре, геометрии и другим предметам классической гимназии. Мы готовились ехать в Могилев вместе, но ввиду материальной необеспеченности (отец неохотно давал нам средства на новый эксперимент), было решено, что я еду первым в качестве разведчика. В середине мая 1878 г. я уехал в Могилев.

Глава 11

Год в Могилеве на Днепре (1878—1879)

Поездка в губернский город. — Среди родственников; веселый дядя Бер. — Разбитое девичье сердце. — В доме «еврейского Вертера». — Под обаянием русской литературы: литературная критика как источник жизненной философии; писаревщина. — Отход от религиозного и национального; конфликт с отцом. — Тургеневская «Новь» и идеал «новых людей». — Революционный романтизм и поэтические грезы. — Веселое местечко Пропойск. — Семья Израилитин и песнь тоски о Петербурге. — Изучение физики и культ естествознания. — Социальные романы Михайлова, Чернышевского и Оммулевского. — Революционная пропаганда; подпольные листки и пение романсов. — Выстрел Соловьева (апрель 1879) и атмосфера террора. — Культ естествознания портит мою репутацию у директора-классика. — Отъезда из Могилева. — План бегства эмансипированных девушек. — Отъезда в Смоленск.

От Мстиславля до губернского города Могилева на Днепре надо было ехать на лошадях 90 верст, мягкою и шоссейною дорогою. Семья извозчиков по имени Каплун имела монополию перевозки пассажиров и товаров по этой дороге; никто не смел с ними конкурировать, ибо не раз случалось, что Каплуны отравляли лошадей «чужих» извозчиков. Вообще эта семья — свирепого вида старик и двое сыновей богатырского сложения — пользовалась в городе недоброй репутацией. Это были «балоголес» из породы хищников: их все боялись; ездившие в их повозках пассажиры были обеспечены от нападений дорожных бандитов, но не от произвола самих возчиков, которые обращались с ними как с подданными. Немало темных дел уголовного свойства лежало на совести Каплунов, и кто-то из них кончил свою карьеру каторгой. С этими молодцами ехал и я в наполненной «седоками» фуре в течение суток. По дороге имели две остановки: в местечках Рясна и Сухари, где отдыхали в еврейских постоялых дворах. Рано утром колеса нашего фургона застучали по камням шоссейной дороги — знак приближения к губернскому городу. Старый город на высоком берегу Днепра улыбался мне майским полуднем, когда я ехал по широкой Шкловской улице, подъезжая к дому на Базарной площади, где жили мои родственники.

Это был трехэтажный каменный дом, наполовину разрушенный пожаром, двойник нашей мстиславской руины. В деревянном флигеле во дворе жила семья нашего родственника Ицхака Дубнова или, точнее, его жены Соре-Гинде, так как эта умная и энергичная женщина при муже-неудачнике была фактически главою семьи. Она приветливо встретила меня, а вслед за нею бросился меня обнимать гостивший у нее дядя мой, Бер Дубнов из Пропойска (муж тети Этэ, сестры моего отца). В семье Дубновых «дядя Бер» был всеобщим любимцем, как светское дополнение к духовному типу деда. Натура экспансивная, живой сангвиник и веселый собеседник, дядя был центром всякого кружка, семейного или общественного, куда он попадал. Живя в местечке Пропойск, он часто приезжал в Могилев, и тут он наскоки на меня и шумно ввел меня в круг могилевских родственников. Из них осталась у меня в памяти, кроме хозяйки Соре-Гинде, ее старшая дочь Рейзель, мечтательная девушка в возрасте невесты. Она действительно была помолвлена с каким-то молодым человеком, но тот потом отказался от брака. Девушка так приняла это к

сердцу, что стала хиреть: ходила грустная, задумчивая, молчаливая. Однажды во время прогулки она поверила мне свою тайну, и тут впервые раскрылось предомногу разбитое женское сердце. Скоро она ушла из жизни. Этот образ скорбящей девушки еще долго стоял пред глазами юноши, принявшего ее грустную исповедь на берегу Днепра.

Я жил в доме родственников около месяца, пока производил разведку о возможности готовиться к экзамену экстерна при моголевской гимназии. Выяснилось, что окончательный экзамен по всему курсу с обоими древними языками очень труден и что целесообразнее готовиться к экзамену без древних языков для получения скромного «свидетельства» вместо полного «аттестата зрелости». В этом смысле я изменил свой план и вызвал из Мстислава брата для совместных занятий. Отец наконец согласился на наш новый эксперимент и из своих скудных средств прислал нам на содержание по нашей аскетической норме. Мы поселились в одном из тихих переулков Шкловской улицы, в еврейской семье торговцев, о которой говорили, что в ней недавно разыгралась любовная трагедия, послужившая темой для «еврейского Вертера», появившегося тогда романа Динесона⁷¹ «Дер шварцер юнгерманчик» (также «Гансеговим веганеимим»), над которым проливали слезы влюбленные девицы. Сам Динесон жил в Могилеве, но я с ним там не встретался. Наша встреча произошла через десять лет, в Варшаве.

Пошла полоса кипучей работы. В Могилеве я не был так одинок, как раньше в Вильне и Динабурге; тут были родные и появились знакомые. Один из наших родственников (Моисей Кроль, впоследствии врач и общественный раввин в Шклове) был учеником восьмого класса гимназии и некоторое время занимался со мною по гимназическому курсу. Помню, как он задавал мне сочинения по русской словесности; одну из заданных тем: «Рудин» Тургенева и тип «лишнего человека» — я разработал особенно подробно. Русская литература была вообще моим коньком. За год моего пребывания в Могилеве я успел прочесть массу книг из местной публичной библиотеки, где имелись все русские классики, либеральные и радикальные толстые журналы (ежемесячники «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Дело») и лучшие произведения иностранной литературы в переводах. Особенно увлекался я литературной критикой, которая в России со времен Белинского, Добролюбова и Писарева разрабатывала наиболее живые философские и социальные проблемы, так как под покровом оценки героев романов и повестей легче было проводить запрещенные цензурой идеи. Тут я, конечно, заплатил дань модной «критике» Писарева, этой широкой пропаганде западных теорий материализма и индивидуальной свободы. Мы имели там житейскую философию в типах героев из романов Тургенева и других русских писателей. Базаров и Рахметов (герои «Отцов и детей» Тургенева и «Что делать?» Чернышевского) были символами «новых людей», «нигилистов», т. е. отрицателей старого строя и творцов нового порядка, где тон задает свободная «критически мыслящая личность». От проповеди неограниченной индивидуальной свободы этот «нигилизм» переходил к требованию политической свободы и социального равенства, что прямо вело к русскому революционному движению 70-х годов. Для меня идеи Писарева и других радикальных критиков послужили мостом, по которому я скоро перешел к натуралистической философии и позитивизму в их европейском источнике. В радикальных русских журналах 70-х годов (к вышепоименованным нужно прибавить еще большой ежемесячник «Знание», где специально развивались идеи дарвинизма и эволюционизма) я мог найти богатейший материал для формирования такого научно-философского мировоззрения.

Свои мысли о прочитанном и собственную житейскую мудрость, конечно весьма наивную, я излагал в переписке с друзьями, в особенности с сестрами Фрейдлиными. В этих письмах я предавался самоанализу. О своих недавних идеалах я уже снисходительно отзывался как об увлечениях «прошлого»: гово-

рил с иронией о моем прошлогоднем «слепом патриотизме» в «литовском Иерусалиме» и об аскетизме Динабурга; уверял, что идеализм «навсегда потерял для меня всю свою прелесть» и что моим девизом стало теперь «наука и жизнь»; однако тут же высказывались мысли крайнего идеалиста и ригориста. Несомненно, что процесс разрушения моих религиозных и национальных идеалов шел весьма быстро. Тяжело мне было читать в письмах отца увещания, чтобы я хоть немногие часы уделял изучению Талмуда и посещал по временам синагогу, особенно в дни покаяния перед осенними праздниками. Бедный чуял опасность ереси, но не знал, что она так далеко зашла. Я тогда писал друзьям об отце: «Я люблю этого благородного человека со всеми его заблуждениями, ибо знаю, что они искренни, и я с ужасом думаю, что рано или поздно я, может быть, заставляю этого человека пролить несколько слез». Предвестники конфликтов уже появились. К осенним праздникам 1878 г. я и брат приехали домой для свидания с отцом. Сначала мы говорили дружески о наших учебных планах и о дальнейшем пребывании в Могилеве, но потом отец заметил мое отношение к религиозным обрядам, опутывающим всякий шаг еврея в эти «страшные дни», и наше согласие расстроилось. Я тогда писал: «Осеннее время, вереница праздников и неразлучные с ними посещения синагоги, где я положительно сплю». Отец не мог не заметить этого равнодушия к религиозной традиции. Горько было мне слушать его упреки, в которых чувствовалось основательное опасение верующего, что материальной поддержкой наших образовательных планов он невольно содействует нашему отчуждению от святой веры и родной среды.

Как далек был я тогда от религиозных настроений дней покаяния и небесного суда! Я с упоением читал в эти дни драмы Шиллера, только что появившийся социальный роман Тургенева «Новь» и тогда же напечатанное в «Вестнике Европы» под заглавием «Исповедь» послание Лассалья⁷² к русской девице Солнцевой, в которую он влюбился. Тургеневский роман увлекал меня типами революционной молодежи и картинами «хождения в народ» тогдашних русских народников. Лассаль заинтересовал меня со стороны его отношения к еврейству. Обо всем этом велись горячие беседы в нашем маленьком мстиславском кружке. Ведь мы были по-своему революционерами, восставшими против устаревших традиций, и нам важно было на примере других выяснить свои отношения к старшему поколению. Наш разрыв с старым был еще острее, чем у русской молодежи, ибо у нас дело шло о разрушении и религиозной, и национальной связи с народом: еврейского народничества тогда еще не было. Тут над революционным романтизмом был еще налет обыкновенного романтизма, естественного при идейном товариществе юношей и девушек. Не могу забыть о поэтической тоске той ранней осени, которая была «бабьим летом» с солнцем и ясным небом. Перед возвращением в Могилев я в состоянии экстаза бродил по аллеям бульвара, усыпанным первыми желтыми листьями, и думал об остающихся единомышленниках. Со скорбью я себя спрашивал в своих записях: «Вижу ли я вокруг себя хоть одного человека, готового выйти из своей среды? Только вздохи слышу, вижу только скрытые слезы». Пока я и брат оставались единственными пионерами в родном городе.

Когда кончились праздники, я поехал с братом не прямо в Могилев, а совершил маленький тур де плезир. Вместе с гостившей у нас кузиной Розой (позже Эмануил) мы поехали в Пропойск к ее отцу, «дяде Бери», который недавно помог мне устроиться в Могилеве. Новая стовертная дорога в балегольских фурах, с остановками в историческом местечке Кричев и в уездном городе Чериков. Всю дорогу мы весело болтали с кузиной. В Пропойске дядя и тетя встретили нас радушно; кормили, поили, водили с визитами к знакомым. А знакомы и дружны были между собою почти все жители Пропойска. Это маленькое местечко на берегу Сожа имело свою физиономию; ядро его населения состояло из зажиточных семейств,

большую часть живших от скупки лесов у помещиков для рубки или перепродажи. Находясь летом в разъездах, главы семейств (в центре их стояла разветвленная семья Быховских) возвращались на зиму в свое тихое местечко для отдыха, и от скуки собирались то в одном, то в другом доме для карточной игры. Пили, ели и играли в преферанс или винт до поздней ночи. Злые языки говорили, что картежники кончали игру уже под утро и отправлялись в синагогу на утреннюю молитву, пряча колоды карт в своих «талесзекель» (мешочка для талесов). Преферансом увлекался и дядя Бер, который был далеко не богат, но слыл в городке умнейшим человеком и занимательнейшим собеседником. Он занимался больше делами еврейской общины, чем своими собственными.

После трех дней пребывания в веселом местечке, я с братом собрались в путь, в Могилев, но и на сей раз мы поехали не одни. Перед отъездом к нам явилась одна девица из семьи Израилитин, выходцев из великороссии. Она просила нас взять с собою сироту, ее 13-летнего брата, и заботиться о его воспитании в Могилеве. Мальчик Геря (Гершон), говоривший только по-русски, был единственным физически нормальным в семье: из его трех сестер старшая была горбатая, а младшие вдобавок карлицы, но все были умные и способные, учились в гимназиях и позже сделали учительницами. Мы согласились взять мальчика на наше попечение и вместе с ним и его старшей сестрою отправились в Могилев. В дороге, длившейся целые сутки, мы слушали рассказы спутников о жизни в великорусских городах; девица пела русские песни, и некоторые из них были для нас совершенно новы. Помню первый осенний вечер в гостинице, где мы все остановились по приезде в Могилев. Из всех песен, которые пелись в тот вечер, мне запомнилась одна, которую мы потом часто повторяли: «Ночь в Неаполе». Странник с севера, попав в «Неаполь мятежный и страстный», тоскует по северной родине:

*На север далекий, угрюмый, холодный, но сердцу родной,
Туда-то влекут меня думы, туда полетел бы стрелой.
Туда, где не миф расцветает, где ель одиноко растет,
Где, серый гранит омывая, Балтийское море ревет.*

Почему запомнилась мне эта песня? Потому, что в ней впервые почувствовалась та тяга в Петербург, умственный центр России, которая уже тогда появилась у меня и через два года привела меня на холодные берега Невы.

В конце октября мы поселились втроем с нашим воспитанником в большой комнате в квартире еврейского частного адвоката, в районе той же Шкловской улицы. Мы опять погрузились в работу экстернов, готовясь по курсу последних классов гимназии. Для изучения физики мы взяли русского репетитора из гимназистов 8-го класса, который, впрочем, мог нам дать немного больше того, что мы усваивали по обширному учебнику Малинина. Ни один из предметов гимназического курса, кроме истории, не увлекал меня в такой степени, как физика. Изложенные в первых главах учебника основные начала физики, химии и механики вызвали в моей голове ряд мыслей философского свойства. Тут, конечно, сказывалось влияние того культа естествознания, который был внушен мне тогдашней позитивистской литературой. Под нескрывным заглавием «Моя философия» я сочинил маленький трактат о том, что «критически мыслящий человек» должен для выработки полного мирозерцания пройти три цикла наук: о мире, земле и человеке, изучать все от астрономии и физики до психологии и социологии, то есть быть энциклопедистом. Верный этой программе, я питал свой ум чтением множества популярно-научных статей, но не отказывался и от литературного десерта, беллетристики, в особенности «идейных» романов. С упоением читал «Жизнь Шупова», «Гнилые болота», «Лес рубят, щепки летят» и другие социальные романы Шеллера-Михайлова; с трудом добыл и потому с сугубым вниманием прочел запрещенные романы «Что

делать?» Чернышевского и «Шаг за шагом» («Светлов») Омуревского⁷³. Последний роман был нам тайно прислан из Пропойска в Могилев, мы его столь же конспиративно переслали в Мстиславль, и «посвященные» трех городов вели оживленную переписку об «идеях» героев этой ординарнейшей повести, ныне совершенно забытой.

Прельщал нас в таких произведениях их политический радикализм, дразнили наше любопытство намеки и цензурные недомолвки. А в чем состояли цели радикалов, я смутно узнавал из подпольных революционных листов, которые ходили по рукам в Могилеве и изредка попадали ко мне. Помню, с каким тревожным чувством приближающейся грозы читал я таинственно врученный мне товарищем номер «Земли и воли»⁷⁴, где развенчивалась личность «царя-освободителя» Александра II и в разных статьях анонимные авторы призывали к ниспровержению режима самодержавия. В Могилеве шла еще раньше усиленная революционная пропаганда среди еврейской молодежи. Там действовал с 1873 г. известный впоследствии социал-демократ Павел Аксельрод⁷⁵, которому пришлось бежать за границу; бежали также его ученик Григорий Гуревич⁷⁶, фигурировавший в 1879 г. в судебном процессе социалистов в Берлине, и временно арестованная Саша Шур⁷⁷ (с обоими мне пришлось встретиться через много лет). Во время моего пребывания в Могилеве подпольная революционная работа велась очень интенсивно, но вследствие строгой конспирации имена агитаторов были мне неизвестны; сочувствующих же было очень много среди еврейской молодежи. Эта молодежь, гимназисты старших классов и презравшие на канникулы из столиц студенты, собирались в квартире могилевского казенного раввина Кагана, где бывал и я. Их привлекали юные дочери хозяина, особенно старшая, черноокая красавица Анна. Тут передавалась тайно нелегальная литература и пелись вольные студенческие песни, вроде «Выпьем мы за того, кто „Что делать?“ писал, за героев его, за святой идеал!» Анна красиво пела стихи Некрасова, но не брезгала и обыкновенными романсами. Слушателей, кажется, больше очаровывала певица, чем содержание ее песен.

На революционную романтику скоро надвинулась грозовая туча террора. Выстрел Соловьева⁷⁸ в Александра II на площади Зимнего дворца, в начале апреля 1879 г., положил начало целому ряду террористических актов, направленных непосредственно против царя. С этого момента я стал регулярно читать газеты, особенно либеральный «Голос». Каждый день после получения петербургской почты я являлся в читальню городской библиотеки и жадно глотал газетные известия. По городу ползли тревожные слухи о ночных обысках, арестах и высылках. Я чувствовал тогда какой-то смутный политический пафос, но не склонен был одобрять террор, поскольку он был направлен прямо против царя, которого я знал больше как освободителя крестьян, чем как вдохновителя реакции (строгая цензура вводила в заблуждение).

Между тем подошло время экзаменов. Держать окончательный экзамен по всему гимназическому курсу, хотя и без древних языков, считалось для экстерна подвигом. На таких экзаменах обыкновенно «срезывались». В каждой гимназии попадались два-три учителя-юдофоба, которым доставляло особенное удовольствие «резать» еврейчиков на экзаменах. С этой юдофобией пришлось столкнуться и мне с братом. Когда я в мае 1879 г. явился к директору гимназии Фурсову для справок об условиях экзаменов, он меня тут же подверг строгому допросу. Ярый приверженец классицизма по образцу своего начальника, реакционного министра Толстого, он был раздражен самим заявлением моим о желании держать экзамены по всем предметам без древних языков. Еще более рассердил его мой ответ на вопрос, куда я намерен поступить после получения свидетельства об окончании гимназического курса. «Вы хотите поступить на естественный факультет! — воскликнул он. — Уж конечно, начитались сочинений Писарева и других вредных писателей!» В то время отрицательное отношение к классическому образованию и

любовь к естествознанию считались верными признаками радикализма. Под конец директор заявил, что готов допустить меня и брата к экзаменам, но предупреждает, что учителя будут очень строго экзаменовать нас как экстернов. Я вернулся домой и передал ответ брату. Для нас стало ясно, что экзаменовать нас будут с придирками и, наверное, срежут на каком-нибудь предмете. Долго и мучительно раздумывали мы, пасынки официального образования, что нам делать, и наконец решили отказаться от экзаменов в этом году. Я для себя решил изучить основательно латинский и греческий языки, знание которых я считал важным для научных целей, и в следующем году держать экзамен на аттестат зрелости. После этого нам не было уже резона оставаться в Могилеве, и мы в июне 1879 г. возвратились в Мстиславль.

В родном городе было уныло и грустно. Сестры Фрейдлины жаловались на стеснения со стороны родителей: не дают учиться по курсу гимназий, чтобы они не вздумали бежать из дому по примеру других эмансипированных девиц, уезжавших без ведома родителей в столицы с целью поступить в высшую школу; фанатики негодуют на них за то, что они содержат русскую общественную библиотеку, которая плодит безбожников. Эти неприятности привели обеих сестер к мысли об отъезде из Мстиславля без согласия родителей, и мы вместе обсуждали план их бегства. Между тем я тоже думал об отъезде, ибо в тесноте и шуме большой родительской семьи не было возможности заниматься. В это время я получил письмо от моего воспитанника Гери Израилитина и его сестер, которые поселились в Смоленске и поступили в разные классы местных гимназий: они предлагали мне приехать в Смоленск, где я смогу жить независимо в качестве частного учителя и в то же время подготовиться к аттестату зрелости. С тяжелым сердцем попрощался я с братом и сестрами Фрейдлиными, и около середины июля 1879 г. был уже в Смоленске.

Глава 12

Отшельник в Смоленске. Начало позитивизма (1879—1880)

Незаконный белорусский еврей в великорусском Смоленске. — Мое отшельническое житие. — Увлечение древними классиками. — Между экстазом и депрессией. «Я знал одной лишь думы власть». — Новая религия и этика: позитивизм и утилитаризм. — Конт в изложении Льюиса и Милля. Закон трех фазисов мышления. — Утилитаризм на идеалистической подкладке. — Трактат Милля «О свободе» как «писанный разум» и евангелие чистого индивидуализма. — Бегство сестриц в Киев. Муки рождения нового поколения. Трагедия отцов и детей. — Политическая полиция и мой внезапный отъезд из Смоленска. — Весна 1880 г. в Мстиславле. — Отъезд в Петербург.

В первый раз в жизни очутился я вне «черты оседлости евреев», в старом великорусском городе с сплошным русским населением, в которое были вкраплены немногие еврейские семейства из привилегированных купцов первой гильдии или их уполномоченных, цеховых ремесленников, дипломированных интеллигентов и оставших солдат. Жили там, впрочем, и лица с фиктивными правами, имевшие ремесленные свидетельства, но не занимавшие ремесло, а также вовсе не зарегистрированные в полиции. В то время полиция еще не очень строго следила за «бесправными евреями» вне черты оседлости, тем более в Смоленске, расположенном на границе еврейских поселений Могилевской губернии. Таким образом, и я там мог жить нелегально, без полицейской заявки. С помощью сестер Израилитин я снял комнату в центре города, на Сенной площади, против гостиницы «Лондон». Комната была совершенно изолированная, в отдельном флигеле при большом доме, где жила семья одного из уездных исправников Смоленской губернии. В другой

части флигеля находились кухня и помещение для прислуги. Окно моей комнаты выходило на площадь, оттуда же был и вход в дом через калитку, которая вела в большой, заросший травой двор. За свое помещение я платил четыре рубля в месяц, столько же стоил обед, который готовила для меня прислуга, так что с другими расходами мой месячный бюджет составлял около 12 рублей. От урока русского языка и арифметики, который я давал дочке соседней содержательницы гостиницы, я зарабатывал 8 рублей, а недостающее дополнялось мелкими присылками от отца.

В Смоленске я жил совершенным отшельником. Кроме сестер и брата Израилитин и моей ученицы, у меня не было никаких знакомств. Я предавался своим учебным занятиям с какою-то болезненной страстностью. Усердно занимался изучением древних классиков. Цицерона и Ксенофонта, Овидия и Вергилия, Гомера и Геродота, даже трудных Тита Ливия и Горация я читал с увлечением. Целыми днями скандировал я гекзаметры «Метаморфоз», «Энеиды», «Одиссеи» и «Илиады», углубляясь не только в грамматический разбор, как того требовала гимназическая программа, но и в античное мирозерцание. Я уже проводил параллели между Овидиевым описанием первобытного хаоса и потопа и библейским. Сидел я за работой до поздней ночи, и когда в соседних домах все уже спали, проходные видели в окне моей комнаты свет лампы и склоненную над книгами голову (так потом рассказывали). Я не ограничивался учебниками и очень много читал по всем отраслям литературы, о чем расскажу дальше. Однако отшельническая жизнь и умственное напряжение при материальных лишениях взяли свое: мое настроение постоянно колебалось между экстазом и депрессией. Временами припадки меланхолии лишали меня возможности работать. Хожу, бывало, по комнате и думаю о том, как ради цели жизни я жертвую самую жизнь, и особенно глубокий смысл влагал я в лермонтовскую строфу, которую я часто повторял (конечно, не в романтическом смысле):

*Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть.
Она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла.*

Как в детстве подбирал я особенно трогательные псалмы для моих одиноких молитв, я теперь напевал горестные стихи Кольцова:

*Моя юность цвела под туманом густым,
а что ждало меня, я не видел за ним.
Только тешилась мной злая ведьма-судьба,
только силу мою сокрушила борьба.
Жизнь, зачем ты собой обольщала меня?
Если б силу Бог дал, я разбил бы тебя.*

Кому же я молился? В детстве у меня был личный Бог, вне меня и надо мной стоящий, теперь я этого Бога отрицал, но еще не дошел до сознания, что я ношу Бога внутри себя и что ему-то молюсь в своей тоске. В ту пору я шел решительными шагами по пути совершенно новой религии, религии науки и нравственного совершенства, которая много говорит уму и очень мало человеческому сердцу. И тем не менее эта новая религия спасла мой дух и дала мне на ряд лет крепкие устои в жизни.

Недалеко от моей квартиры был книжный магазин с библиотекой, куда я очень часто заходил за книгами и новыми выпусками журналов. Однажды в мои руки попала книга Льюиса и Милля «Огюст Конт и положительная философия» (в петербургском издании 1867 г.). В английском оригинале это были отдельные книги двух авторов, различно относившихся к учению Конта⁷⁹, но русский издатель соединил их в одном томе, так как они друг друга дополняют: Льюис дает изложение, а

Милль критику позитивизма. Несмотря на то, что я уже был отчасти знаком с учением Конта по русским компиляциям, чтение трактатов двух английских мыслителей произвело на меня сильнейшее впечатление. Впервые увидел я пред собою законченную систему воззрений, вдобавок претендующую во имя науки занять место всех прежних религиозных и метафизических систем. Контовский закон трех фазисов: теологического, метафизического и научного — был для меня откровением. Неоспоримой истиной казался основной тезис, что мы можем познавать только явления и отношения между ними, то есть законы природы, а не первопричины явлений или метафизическую сущность их. Человечество имеет только одну святую Библию: цепь наук от математики и астрономии до биологии и социологии; это — Библия относительных истин, ибо абсолютные нам недоступны, но владеет научной истиной, человек властвует над природой, а через нее регулирует человеческое общежитие. На вершине научной лестницы стоит социология с ее двумя большими отделами: статикой и динамикой, или учением о порядке и о прогрессе. Как все это просто и ясно, как заманчиво все это для ума, прежде бродившего по дебрям теологии и готовившегося ступить на скользкую почву метафизики! До отрицания теологии я дошел вследствие своего собственного теологического воспитания, а недоверие к метафизике внушили мне западные материалистические теории (Фейербаха⁸⁰, Бюхнера⁸¹ и Молешота⁸²), популяризировавшиеся в русских журналах. Ведь и Льюис в своей «Истории философии» определил все философские системы до позитивизма как блуждания по темному лабиринту с целью нащупать истину, которую, однако, метафизикам не удастся поймать. Только позитивизм или научная философия владеет секретом освещения этого лабиринта электрическим солнцем науки. В этом был весь пафос моей новой религии, заменившей мой недавний промажучотный деизм.

К новой религии не доставало новой системы этики. Я нашел и ее в трактате Джона Стюарта Милля⁸³ «Утилитаризм». В начале зимы 1880 г. сын моей квартирной хозяйки принес мне небольшой том, где были соединены два трактата Милля: «Утилитаризм» и «О свободе» в русском переводе. Оба трактата произвели целый переворот в моих воззрениях. Как это ни странно при моем природном идеализме, я нашел искомый этический идеал именно в утилитаризме, который, впрочем, у Милля значительно «идеализирован» в сравнении с узкою доктриною его учителя Бентама⁸⁴. Привлекал меня тут основной принцип «наибольшего блага наибольшего числа людей» (*summum bonum*), то есть принцип социальной этики. Я составил подробный конспект к миллевскому трактату с прибавлением моего комментария, впрочем весьма наивного.

Наиболее сильное впечатление произвел на меня другой трактат Милля: «О свободе». Эта книжка по поразительной ясности логической аргументации казалась мне как бы прикладной логикой автора гениальной «Системы логики». Она могла бы быть названа «писанным разумом» (*ratio scripta*), как когда-то называли стройную систему римского права. Но она пленила меня не только блестящей формой изложения. Затронутая в ней проблема индивидуальной свободы, освобождения личности от авторитета общества или деспотизма общественного мнения, была близка мне по горькому личному опыту. Ведь я сам был жертвою этого деспотизма, помешавшего моим родителям дать мне вовремя правильное образование, чтобы я не должен был в 19 лет быть в положении экстерна гимназии, когда меня занимали уже проблемы высшего порядка. Ведь мои скитания в значительной мере вызваны тем, что я не могу при своем свободомыслии оставаться среди религиозных фанатиков моего родного города. И вот является величайший мыслитель современности и доказывает неопровержимыми доводами, что недостаточно бороться за политическую свободу коллектива против тирании властвующего меньшинства, а нужно еще бороться за свободу отдельной личности против тирании большинства, против господствующих традиций и «общепринятых мнений». Помню, как меня

воспламенил гиперболический афоризм Милля, подкрепленный примером Сократа: «Если бы все человечество кроме одного человека держалось одного мнения и только один держался бы противоположного мнения, человечество не имело бы больше права заставить молчать этого единственного человека, чем он при обладании властью имел бы право заставить молчать человечество». Тезисы радикального индивидуализма и либерализма подкреплялись здесь такими железными аргументами, что казались бесспорными математическими истинами. Меня особенно пленило то, что автор сам приводил самые сильные возражения, которые могут быть выставлены против его тезисов, и тут же доказывал несостоятельность противников. Миллевский трактат был для меня не только евангелием индивидуализма, но и образцом честного и ясного мышления вообще. Милль еще много лет спустя оставался моим любимейшим учителем. Заповеди борьбы за абсолютную свободу мысли и слова я остался верен до конца. Во всяком случае, Милль больше всего содействовал тому, что позднейший ницшеанский «индивидуализм сильных» отталкивал меня в такой же мере, как отталкивала Ницше «обидная ясность» Милля. Между обеими теориями индивидуализма была такая же разница, как между прозрачным воздухом горных вершин и туманными испарениями болотистых низин, источников лихорадки и бреда.

Итак, я имел новую научную религию или, как я тогда выражался, «веру, порожденную мыслью, вместо мысли, порожденной верою», но не мог еще стать ее жрецом. Эта религия требовала, чтобы я прошел всю лестницу наук, а все факультеты университета были закрыты предо мною, пока я не предъявлю их церберам бумажку под названием «аттестата зрелости». Значит, надо опять готовиться к унылым экзаменам. А между тем кругом металиси и страдали еще такие же «жертвы воспитания», как я. Мой брат Вольф бедствовал в Петербурге, куда он в ту же зиму поехал, чтобы поступить в техническое учебное заведение. А мстиславские узницы, сестры Фрейдлины, решили осуществить свой план бегства от родной семьи, так как родители требовали, чтобы они по обычаю предков готовились к выходу замуж, а не к поступлению на какие-то курсы. Они готовились ехать в университетский город Киев. Бегство было подготовлено в ту осень, когда я жил в Смоленске, при помощи одного гимназиста из Киева (некий Лейтес), который за «политическую неблагонадежность» был сослан в Мстиславль под надзор полиции. Этот ловкий юноша сговорился с русским извозчиком о перевозке двух барышень в Смоленск, понемногу забирал у них вещи для дорожного багажа и в назначенный час вышел с ними как будто на прогулку, а за городом уже ждал их извозчик и забрал обеих сестер с вещами в свою повозку. Так беглянки доехали на лошадях до Смоленска.

В один дождливый день в конце октября сестры постучали в калитку дома, где я жил, и предстали предо мною, измученные пережитыми волнениями и длинным путешествием в крестьянской телеге. Я их сейчас же устроил в номере находившейся насупротив гостиницы «Лондон». Помню тот осенний вечер, когда я сидел с милыми «сестрицами» (я их так называл) в большой комнате отеля и мы обдумывали дальнейший план действий. Мои собеседницы сидели и чинили забранный из дому скудный гардероб (лучший плащев не успели взять). Их ресурсы были ничтожны: деньги на проезд по железной дороге до Киева и маленькая сумма на первое время пребывания там. А что будет дальше?.. Но все заботы бледнели перед яркой картиной будущего. Пафос устремления к новой жизни заслонял перед глазами печальную действительность. Когда я теперь спрашиваю себя: что гнало в те времена юных птенцов из многих еврейских гнезд и толкало их в большие университетские города, на голод и нужду? — я знаю, что отвечать их стихийно увлекали носившиеся в воздухе новые веяния, сознание, что жить по-прежнему нельзя, что нельзя оставаться в старом болоте, жениться или выходить замуж, плодить детей, сидеть в лавочке и зазывать покупателей, маклерствовать, гнаться за наживою

или за простым куском хлеба, вообще оставаться на низших ступенях социальной лестницы, в то время как новая культура тянула вверх. То были родовые муки переломной эпохи, порождавшей новый социальный слой, класс новой интеллигенции или полунинтеллигенции. Одни шли сознательно навстречу новой эпохе, другие тянулись по направлению ветра.

На другой день сестрицы уехали: нельзя было дольше оставаться в Смоленске, ибо возможна была погоня. Проводив беглянок на вокзал, я взволнованный вернулся домой через широкий мост над Днепром, пришел в свою монашескую келью, и снова пошла череда «дней и трудов» в полном уединении. Скоро получились вести от сестрицы: они кое-как устроились в Киеве, завязали знакомства с еврейскими студентами, которые обещали подготовить их к поступлению на курсы, но из письма видно было, что их денежные ресурсы уже исчерпаны. Я поспешил выслать им маленькую сумму, превышавшую мой месячный бюджет, а тем временем они стали получать деньги от матери, которая втайне от строгого отца поддерживала дочерей. Девушки принялись за учение, но скоро случилась беда: из Мстислава получила телеграмма, что их отец опасно болен, а вслед затем известие о его смерти (он умер от застарелой болезни, без связи с семейной трагедией). Потрясенные этой вестью, дочери оставили Киев после двухмесячного пребывания и возвратились домой.

Случай скоро прервал и мое смоленское отшельничество. В один из последних дней февраля 1880 г., на рассвете, меня разбудил стук в окно моей комнаты с улицы. Наскоро одевшись, я побежал отворять калитку. Предо мною стоял мой отец, только что приехавший из Мстислава. Оказалось, что там был г-гоизведен полицейский обыск в квартире упомянутого ссыльного гимназиста Леитеса, организатора побега сестер, причем были найдены их письма из Киева и мои из Смоленска; сестер призвали на допрос, но он мог подтвердить только подозрение о «заговоре» отнюдь не политическом. Опасаясь, что полиция доберется и до меня, отец решил повидаться со мною и побудить меня вернуться домой, где в случае надобности я мог бы иметь защиту против полицейского произвола. В те дни состязания между красным и белым террором (в начале того же февраля произошел знаменитый взрыв в Зимнем дворце⁴⁵ в Петербурге) нельзя было шутить с политической полицией. Я вынужден был согласиться на предложение отца, хотя это значило отказаться от предстоявших мне в мае абитурных экзаменов. Пред отъездом я зашел с отцом в гостиницу «Лондон», где он остановился. Там ему уже рассказали о моем монашеском образе жизни в Смоленске и о том, как соседи видят до поздней ночи свет в моей комнате. Он сейчас сам видел мою келью и по моему виду мог убедиться в истинности изречения, что «Тора (даже гойская) истощает силы человека». Отец был очень нежен ко мне, но когда он в гостинице совершал утреннюю молитву в полном наряде, облаченный в «таллес» и «тефиллин», и не заметил «тефиллин» на моей голове и руке, лицо его нахмурилось; он, однако, мне ничего по этому поводу не сказал. В тот же день я простился с моими единственными друзьями в Смоленске, семьей Израилитин, из которой я спустя многие годы видел только моего бывшего воспитанника Герю. Я слышал, что он в годы студенчества в Одессе, после первых южнорусских погромов, перешел в православие и по окончании университета получил место учителя гимназии. О наших позднейших встречах я еще расскажу.

В начале марта снова сошлись в родном городе трое потерпевших кораблекрушение, я и сестры Фрейдлины. Наши опасения не оправдались. Меня призвали в полицию на допрос и, выслушав объяснения о цели моего пребывания в Смоленске, отпустили с миром. Но весенний план кампании был уже расстроен, и я в Смоленск не вернулся. Я оставался в Мстиславле почти четыре месяца, которые оказались самыми продуктивными в моей тогдашней жизни. Я углубился в изучение позитивной философии, составлял конспекты и даже комментарии к книгам Милля,

читал массу статей по интересовавшим меня проблемам и делился мыслями с «сестрами», которых почти ежедневно посещал. Жил я и здесь уединенно: чтобы мне не мешали работать в шумном семейном кругу, я нанял себе особую комнату в тихом доме на окраине города и работал здесь в идиллической обстановке. В одной из тогдашних моих записей я нахожу следующую лирическую характеристику весны 1880 г.: «Март, апрель, май на родине. Тихие рабочие дни на квартире у Сазыкиных; светлая, улыбающаяся природа, зелень и деревья кругом — все это излечивает мое болезненное настроение. Да, есть *vis medicatrix* (целительная сила) в природе. Утра яркие, солнечные и свежие; дни непрерывного труда, вечера чудесно-тихие, фантастические, сон спокойный и безмятежный — вот картина моей тогдашней жизни. А тут возле тебя те, чей тяжелый крест вырывал так много вздохов, исторгал так много слез. Мы вместе трезво работали. Но спячка и дремота окружающего мира дали себя знать. Захотелось туда, на берега Невы, в центр умственного развития».

Письма брата Вольфа, приславшего мне массу книг из Петербурга, звали меня туда, в город писателей и ученых, высших школ и Публичной библиотеки. Снабженный паспортом и фиктивным ремесленным свидетельством для устройства «права жительства» в запретной для евреев столице, я выехал туда 18 июня 1880 г.

Глава 13

В Петербурге на рубеже двух эпох (1880—1881)

За Нарвской заставой. — Под «диктатуру сердца» Лорис-Меликова. — Занятия в Публичной библиотеке. — Увлечение спенсеровским эволюционизмом. Идеи, чувства или интересы двигают историей? — В квартире Александра: смесь авантюриста и софиста. — Демон-искуситель, втянувший меня в литературную работу (М. Каган). В редакции «Русского еврея» (д-р Кантор). Первая корреспонденция. «На тернистом пути», злополучная повесть, не увидавшая света. — На процессе Цедербаума и Лютостанского. — Полицейская облава; четыре дня в тюрьме; волчий паспорт. — В Таировом переулке. — Первая историческая статья «Главные моменты из истории развития еврейской мысли». Скитания рукописи по редакциям. — Фатальная дата 1 марта 1881 г. — Апрельские погромы на юге и манифест самодержавия. — Провал на абитурном экзамене и решение остаться бездипломным интеллигентом.

20 июня 1880 г. я впервые увидел город, который сыграл большую роль в моей судьбе. В ясный летний день поезд с грохотом вкатился под темные своды Варшавского вокзала в Петербурге. Там встречал меня брат Вольф. Извозчик повез нас с багажом вдоль мутного Обводного канала, затем по загородным пустырям и доставил в рабочее предместье, известное под именем «За Нарвской заставой», где в центре находился большой Путиловский завод. Там мы сошли у провинциального дома с палисадником и вошли в обитель брата, занимавшего комнату в квартире одного еврейского торговца, Малкина. Брат объяснил мне, почему он выбрал для нашего жилья эту глухую окраину. В центральных частях столицы очень строго следили за евреями, не имеющими права жительства вне черты оседлости, но в загородных частях легче обойти закон и уладить дело «прописки» путем соглашения с полицейским чином. Хозяин нашей квартиры, занимавшийся скупкой вещей в городских ломбардах, сам жил в столице на основании неписаной «русской конституции», как Герцен называл взятку для чиновников. Таким же образом он устроил и меня: вручил полицейскому чиновнику мой паспорт с фиктивным ремесленным свидетельством (кажется, от часового мастера), неофициально сунул ему пару рублей, и дело было улажено.

Приехал я в Петербург в такой момент, когда в обществе много говорили о действительной европейской конституции для России. То было время «диктатуры сердца» Лорис-Меликова⁸⁶, назначенного начальником «Верховной Комиссии для борьбы с крамолой» после ряда покушений на жизнь царя Александра II. Напуганное террором, правительство решило несколько ослабить реакцию и стараться «умиротворить общество». Носились слухи, что царь склонен «даровать конституцию», конечно самую умеренную, совместимую с самодержавием. Были амнистированы некоторые категории политических ссыльных, но общий реакционный курс продолжался, и цензура давала себя чувствовать на каждом шагу. Мне с первых же дней пришлось почувствовать тяжесть оков, наложенных реакцией на свободную мысль. Тотчас по приезде в Петербург я сделался усердным посетителем Императорской Публичной библиотеки. Однажды я заказал там две книги: «Историю французской революции» Луи Блана⁸⁷ и собрание сочинений Лассаля (последнее было напечатано в русском переводе, но издание конфисковано). Когда я на другой день явился за книгами, библиотекарь мне заявил, что они запрещены, и многозначительно прибавил: «Советую вам впредь подобных книг не требовать».

Публичная библиотека была, однако, достаточно богата, чтобы утолить самый большой духовный голод. Я набросился на чтение новых произведений научной философии. Увлекла меня грандиозная «синтетическая философия» Спенсера⁸⁸. Его основанная на дарвинизме, вернее биологизме, доктрина эволюции во всех областях жизни, от первобытной до наивысшей культуры, казалась мне, как и многим моим современникам, последним словом науки. Сознание, что именно наше поколение удостоилось постичь истинную философию, наполняло меня гордостью. Смущало меня только разногласие моих любимых мыслителей относительно движущих сил истории: Бокль и Дрепер утверждали, что история человечества сводится к борьбе идей, а Спенсер сводил ее к борьбе чувств и страстей. Меня более привлекала интеллектуальная, чем эмоциональная теория. Когда же я вскоре познакомился с теорией Маркса, видящей в борьбе интересов весь смысл истории, то мой идеализм совершенно не мог с этим примириться.

Помню тогдашние ежедневные поездки из предместья в город. Ездил я обыкновенно по «конке», вагоне на рельсах, который тащила пара лошадей; вагон шел так медленно, что на ходу можно было вскакивать и сходить. Целый час тащился он по длинному Екатерингофскому проспекту и Большой Садовой, до последней остановки на углу Садовой и Невского, у Публичной библиотеки. Я ездил на открытом верхнем ярусе или «империале» конки, где проезд стоил три копейки вместо пяти внутри вагона. В летние дни это была приятная прогулка: открывалась вся панорама Петербурга с его огромными зданиями и кипящим людским потоком на улицах. Наши материальные ресурсы были крайне скудны, и мы вынуждены были обедать в еврейской «Дешевой кухне» на углу Вознесенского проспекта и Большой Садовой. Там обедали и бедные студенты, платя за обед из одного блюда 7 копеек, а из двух блюд 13 коп. Помню, как мне неприятно было стоять там в очереди за тарелкою супа, которую приходилось получать от стоявшей у котла дамы или прислуги. Мы предпочитали поэтому часто питаться дома, всухомятку или хлебом с чаем.

Чтобы не тратить времени на ежедневную ходьбу из дальней окраины в центр города, я с братом переселились ближе к центру. В 6-й Роте Измайловского Полка (так называлась одна из боковых улиц Измайловского проспекта, где на углах находились солдатские казармы) мы заняли комнату в квартире наших мстиславских земляков, еврейской семьи Александровых. Хозяин, сам живший в столице в качестве фиктивного владельца белойвейной мастерской, уладил с полицией нашу просьбу, и мы устроились в новой квартире довольно удобно. Единственным по-мехею нашим занятием был сам хозяин Александров⁸⁹, очень оригинальный тип. Человек средних лет, имевший жену и троих детей, он в поисках заработка испро-

бовал все пути по части торгового посредничества и нигде не мог прочно пристроиться. Авантюрист в практической жизни, он был и духовным авантюристом. Обладая острым «талмудическим» умом, Александров во время своих скитаний по свету хватался всяких обрывков знания из новой литературы, еврейской и русской, и ловко пользовался ими для софистических рассуждений. Потеряв традиционную веру, он своим острым умом разлагал всякую веру, всякий идеализм. Он был «нигилистом» вследствие полуобразованности, оставившей его в стадии отрицания старого, без материала для созидания новых убеждений. По целым дням он спорил со мною и братом о дарвинизме, позитивизме, эмансипации женщин, причем доходил до самых цинических выводов: нет истины, а есть только игра ума или страстей. Меня, искателя правды-истины и правды-справедливости, возмущал этот умственный и нравственный нигилизм, и я считал Александра способным на самые дурные дела. Мои опасения скоро оправдались, как будет рассказано дальше.

В это лето я был впервые втянут доброжелательными друзьями в литературную работу, гораздо раньше, чем я думал. Моим первым демоном-искусителем был известный писатель Маркус Каган (Мардохай бен Гилель Гакоген)⁹⁰, который был старше меня на несколько лет и жил тогда в Петербурге в семье родителей. Он был сотрудником венского журнала «Гашахар» и варшавского «Гацефира»; он также работал в редакции русско-еврейского еженедельника «Рассвет»⁹¹ в Петербурге. Познакомившись с ним как с земляком по Могилевской губернии, я в первое время пребывания в Петербурге пользовался его советами и практическими указаниями. в чуждой мне столице. Вскоре после моего приезда он посоветовал мне писать статьи для русско-еврейских еженедельников, так как литературный гонорар может облегчить мою материальную нужду. Как я отнесся к этому совету, видно из следующего места в моем письме к друзьям (17 июля 1880): «Он (Каган) советует мне, в случае если не достану уроков, вступить в круг этой пишущей братии и получать гонорар. Несмотря на то, что такое отношение к литературе шокирует мое высокое понятие о ней, но если ход событий меня вынудит к этому, я не буду винить себя за осквернение святыни корыстными помыслами. Есть для человека нечто более святое: свобода, независимость». Я долго еще колебался: не хотелось профанировать профессиональными целями призвание писателя, которое рисовалось мне в сиянии славного подвига лишь в будущем. Но жестокая действительность вынудила первую уступку. «Уроков я не достал, — писал я 29 августа, — вот я и решился посвятить несколько часов в день работе в редакции „Русского еврея“⁹², который вознаграждает своих сотрудников очень прилично. Уже с неделю или больше тому я пошел в редакцию. Один мой знакомый (М. Каган) представил меня заведующему редакцией д-ру Кантору⁹³, пишущему передовые статьи, и спросил, могу ли я иметь работу в редакции. Меня попросили кое-что написать, хотя бы корреспонденцию из Мстиславля, чтобы испытать мои литературные способности. Я набросал корреспонденцию и снес ее в редакцию. Сегодня я должен был узнать мнение редакции о моем сотрудничестве. Я был там, и мне сказали, что корреспонденция будет напечатана, за положительным же ответом (относительно сотрудничества вообще) редактор попросил меня прийти в будущий четверг». Корреспонденция была напечатана (в № 37 «Русского еврея», под инициалами С. Д.), и все ее содержание исчерпывалось подзаголовком: «Общественные дела; воспитание; необходимость ремесленного училища». Я писал об оскудении общественной жизни в провинции, о безобразном хедерном воспитании и о необходимости общеобразовательных школ с ремесленными отделениями — идея будущего «Орта»⁹⁴, зародыш которого появился в том же году в виде «Фонда для поощрения ремесленного и земледельческого труда».

Первая проба окрылила меня, и я стал думать о настоящей литературной работе, которая представлялась мне в следующем виде (цитирую из того же письма к

друзьям): «Страстно любя историю, я решил начать писать для „Русского еврея“ целый ряд очерков по средневековой истории евреев. Здесь окажет мне помощь мое знание древнееврейского языка, вследствие чего я уже давно несколько знаком с историей евреев. Я теперь читаю источники, по которым составляю свою статью». Я тогда действительно погрузился в чтение «Истории устного учения» Вейса и только что появившейся в русском переводе пары томов «Истории евреев» Грецца⁹⁵. От общечеловеческих проблем я опять обратился к национально-еврейским. Но тут случилось что-то странное: вместо исторического очерка я стал писать автобиографическую повесть. Среди шума столицы нахлынули на меня воспоминания детства, захотелось излить душу и развить некоторые идеи в лицах. В сентябре я окончил повесть под заглавием «На тернистом пути: из записок моего приятеля-студента». Эту смесь лирики и идейных диалогов можно было лишь с большой натяжкой подвести под категорию повести. Ряд эпизодов из детства и ранней юности «студента» излагались в эгегическом тоне воспоминаний, выведена и «идейная» героиня в лице эмансипированной еврейской девушки, в беседы героев вплетены мысли о иудаизме. Вот одно место, характерное для моего тогдашнего понимания еврейской проблемы и явно внушенное миллевским трактатом «О свободе»:

«Иудаизм во всех его характеристических проявлениях есть чувство строгого религиозного долга, развитого до последних крайностей формализма, до систематического подавления индивидуальной свободы. Человека беспристрастного паразит в еврейской религиозной системе этот дух легальности (легализма, законничества), это подведение всякого ничтожного личного поступка под рубрику закона. Конечно, стеснение индивидуальной свободы составляет результат всякой обрядовой религии, но еврейская религиозная система, особенно в Талмуде, возвела это стеснение в принцип. Еврей мыслящий, смеющий свое суждение иметь, чувствует на каждом шагу это вторжение религии в самые обыденные дела его, во всякое движение его мускулов... Вот вам изнанка иудаизма. Но зато лицевая его сторона прекрасна. Я люблю, горячо люблю эту даровитую массу, прошедшую сквозь всякие гонения и бедствия единственно силою своего интеллектуального элемента, — явление редкое, если не единственное в истории. Я благоговею перед стремлением этой массы в новейшее время завоевать область знания...»

Написав и переписав свою «повесть», я отнес ее в редакцию «Русского еврея» и через месяц получил от Кантора ответ, что ее печатать нельзя, так как в ней, собственно, нет повествовательного элемента. Это было вполне заслуженная оценка. Тогда я еще не соглашался с ней и ушел с намерением пристроить эту вещь в каком-нибудь другом издании, но потом схоронил этот литературный курьез в своем архиве и решил никогда больше повестей не писать.

В один из тех дней я присутствовал при одном судебном процессе, который тогда сильно занимал еврейские общественные круги в Петербурге. Общество было взволновано грубыми памфлетами польско-русского «монаха» Лютостанского⁹⁶ об «употреблении евреями христианской крови» и о «страшных тайнах» Талмуда. Было известно, что этот авантюрист безуспешно шантажировал московского раввина Минора⁹⁷, требуя от него денег под условием неопубликования своих доносов; когда он выкупа не получил, он напечатал свою книгу и преподнес ее наследнику престола, будущему царю Александру III, за что получил от него в награду золотой перстень. Русские власти содействовали распространению этих книг. Редактор «Гамелида» Цедербаум⁹⁸ вызвал Лютостанского на публичный диспут с целью доказать его невежество по части еврейской религиозной письменности и фальшивость его цитат, но ловкий сочинитель уклонился от диспута. Тогда Цедербаум объявил в газетах, что он готов доказать на суде все темные дела Лютостанского, и предложил ему подать в суд жалобу за оскорбление. Лютостанский вынужден был жаловаться, и дело разбиралось в суде в сентябре 1880 г. Я присутствовал при этом разбирательстве в камере мирового судьи. Тут я увидел чрезвычайно фигуру

Лютостанского и против него сгорбленного старика Цедербаума, плохо говорившего по-русски. Но за Цедербаума говорил один из лучших адвокатов Петербурга тогда еще молодой С. А. Андреевский⁹⁹, блестящий оратор и поэт. Помню обаятельное впечатление от его речи, когда он обрисовал темное прошлое Лютостанского, бывшего католического ксендза, изгнанного из польского общества за позорное поведение и перебежавшего к русскому духовенству, а затем принявшегося за писание безграмотных книг с фальшивыми цитатами, о чем свидетельствовали отзывы ученых экспертов. Лютостанский что-то лепетал в свое оправдание, но путался в ответах на вопросы судьи и Андреевского и вообще производил жалкое впечатление. Тут он вдруг нашел выход из трудного положения: снял с пальца золотой перстень с бриллиантом и, показав судье, заявил, что это он получил в награду за свой «ученый» труд от «его императорского высочества наследника-цесаревича». Все ожидали, что скажет судья. Но известный в Петербурге своим либерализмом судья Трофимов, отстранив руку Лютостанского, спокойно сказал: «Уберите перстень, он к делу не относится». Это был героический акт в эпоху самодержавия. Все поняли, что судья убедился в доводах адвоката со стороны Цедербаума. Решение гласило: жалобу Лютостанского отвергнуть и его обвинение в клевете против Цедербаума признать недобросовестным. Это решение произвело тогда большое впечатление: реакционная пресса негодовала на либеральный суд, а еврейская пресса ликовала. Спустя некоторое время вторая инстанция, съезд мировых судей, снова разобрав дело, утвердила решение первого суда.

Это было 24 сентября старого стиля, а через несколько дней я попал в беду по вине нашего квартирохозяина Александрова. Живя в Петербурге без определенных занятий, он метался в поисках заработка и в это время впутался в одно дело уголовного свойства. Из Экспедиции государственных бумаг были украдены гербовые листы на большую сумму; Александров знал о некоторых причастных к краже или к сбыту бумаг лицам и предложил сыскной полиции свою помощь в розысках, но из сношений с агентами сыска он убедился, что сами они подкуплены ворами и заинтересованы в сокрытии следов; он стал лавировать между обеими сторонами, надеясь перехитрить их и получить большое вознаграждение, но запутался в полицейских сетях. Помню, как Александров однажды упросил меня пойти с какою-то бумагой к знаменитому адвокату-криминалисту Спасовичу¹⁰⁰ жившему недалеко от нас, и спросить его совета; Спасович быстро пробежал бумагу и с улыбкой сказал мне: «Это что-то слишком романтическая история. Скажите посланшему вас, чтобы он обратился к начальнику Департамента полиции». По-видимому, наш сочинитель уголовного романа последовал этому совету — и скоро попал в яму, куда потянул и нас, жильцов той же квартиры.

Однажды, в серое утро конца сентября, едва только мы встали и оделись, в нашу квартиру явился полицейский надзиратель с сыщиком и дворником и потребовал паспортов у хозяина, у меня с братом и у случайно ночевавшего у нас провинциального гостя (то был учитель и общественный деятель Соломон Цейтлин¹⁰¹ из Гомеля, который через много лет умер загадочной смертью во время поездки в Америку). Затем всех нас арестовали, повели в полицейский участок и оттуда под конвоем в огромное мрачное здание сыскной полиции на Большой Морской улице. Там мы просидели несколько часов в ожидании допроса. Грозный начальник сыскной полиции (кажется, Путилин или его помощник) допрашивал каждого из нас в отдельности. Меня спросил, что я знаю по делу Александрова, и получил ответ, что я с братом занимаем комнату в квартире Александрова и о его делах ничего не знаем. Начальник сделал свирепый вид и закричал: «Нет, вы должны знать, вы вместе с ним мошенничали! Пойдете в тюрьму!» К вечеру нас четверых отвели под конвоем в тюрьму при Спасской полицейской части, на углу Садовой и Подьяческой улиц. Нас одели в войлочные арестантские халаты и рассадили по одиночным камерам.

Жутко стало, когда за мною захлопнулась железная дверь и я очутился в полумрачной камере с крошечным окошечком под самым потолком. Сторож скоро принес мне ужин: миску похлебки с куском хлеба, и сказал, что я могу через него покупать на свои деньги хлеб и еще кое-что на десять копеек в сутки. Тюремная пища была отвратительна, и я большую часть питался купленными для меня булочками с молоком. Четверо суток просидел я в этой одиночной камере. Рисовались мне ужасы. Не зная всех плутней Александра, я допускал, что он серьезно скомпрометирован и что полиция воспользуется нашим бесправным положением, чтобы обвинить нас в соучастии, предать суду или в лучшем случае выслать из города. Днем ходил я по камере, не имея возможности читать в полумраке, а ночью ворочался на жестком тюремном матраце. Я не знал, что делается с нашими заключенными в соседних камерах. Только на третий день я нашел внутри принесенной мне сторожем булки записочку от Александра с известием, что нас скоро освободят. Он, видно, снюхался с тюремщиками и мог через них тайно списаться с нами. Действительно, на пятый день меня и брата выпустили из тюрьмы и препроводили в полицейский участок. Там нам вернули наши паспорта с надписью красными чернилами, что, как евреи, не имеющие права жительства в столице, мы обязаны выехать немедленно в черту оседлости, и отпустили на все четыре стороны. Александра же отпустили домой впредь до расследования его дела, которое, кажется, не имело для него никаких последствий: полиции, вероятно, было выгоднее замять темное дело.

В тусклый осенний вечер, в первых числах октября, вышел я с братом из полицейского участка на Садовую улицу. В наших карманах были «волчьи паспорта», дававшие право любому полицейскому агенту задержать нас и выслать из города по этапу вместе с партией бродяг. Не желая вернуться в квартиру Александра, мы приютились поблизости на Садовой, в квартире нашего родственника Эмануила, мужа упомянутой нашей пропойской кузины Розы, который проживал в столице легально на правах прикащика в торговом доме еврейского купца первой гильдии. Из этого временного приюта мы перекочевали в наше старое убежище за Нарвской заставой. Брат через пару дней уехал в Мстиславль, где он призывался к отбыванию воинской повинности. Тяжела была наша разлука: брат уезжал с перспективой военной службы, которая разрушит все его образовательные планы, а я оставался в опасном положении беспаспортного, ибо свой «клеименный» паспорт отдал брату для обмена его на чистый в Мстиславле. В этом положении я пробыл пару недель, пока не получился новый паспорт, который дал мне возможность зарегистрироваться как вновь приехавшему. Вспоминая ныне о тех черных днях, я удивляюсь тому бодрому тону, в котором я общал об этом через несколько дней после выхода из тюрьмы в письме к своим друзьям-сестрам: «Я так же бодр и горяч, как прежде, так же презираю мало-душие и отчаяние и готов бороться с кем или с чем бы то ни было... Я много передунал в последнее время, мое мировоззрение от всех этих печальных событий получило более яркую окраску. Сердце еще кипит негодованием, но я никого не боюсь». Да, в дни юности мы носим солнце в своей душе и нам светло, как бы ни был силен мрак кругом...

Три недели я скрывался в глуши за Нарвской заставой, однако дерзал ходить в Публичную библиотеку и просиживал там почти целые дни. Я много читал, изучал «Политическую экономию» Милля, а несколько позже достал и прочел запрещенное собрание статей и речей Лассаля. Получив новый паспорт, я переехал на жительство в город и поселился в доме на углу Садовой и Таирова переулков, возле Сенного рынка, где жил и мой родственник Эмануил. Занимал я комнатку в плохонькой квартирке рабочей семьи в 4-м этаже. «Право жительства» устроил мне Эмануил при помощи той купеческой фирмы, где он служил. Успокоившись, я вернулся к своим прерванным учебным занятиям, но тут с ними стала соперничать ли-

тературная работа, в которую я был слишком рано втянут благожелательными друзьями.

Я вернулся к своему плану исторической статьи. В последние месяцы 1880 г. я всецело погрузился в чтение источников по истории иудаизма, которую я тогда отождествлял с еврейской историей вообще. Мне хотелось высказать все, что я передумал о иудаизме, что испытал лично при переходе от традиции к сомнению, от сомнения к отрицанию. Писал я свой очерк, под заглавием «Главные моменты из истории развития еврейской мысли», в состоянии крайнего возбуждения. «Бегаю по своей комнате, — (цитирую письмо к «сестрицам» от 11 декабря), — и думаю с таким жаром, что решительно забыл весь мир. Это — серьезные, горячие мысли, которым, может быть, суждено будет сложиться в строки на страницах какого-нибудь журнала. Теперь я в самом водовороте мыслей, не дающих мне покоя. Надо их высказать. Иначе я не взялся бы за эту работу». Весь мой юношеский протест против традиции должен был излиться в этом «историческом» очерке, все, что накопилось на душе с того дня, когда хедерный мальчик впервые спросил себя, стоит ли рассуждать о яйце, снесенном курицей в праздник. Я начал с резкой критики талмудизма и дошел до средневекового расцвета раввинизма. Заметив, что мой очерк может разрастись в целый трактат, я решил ограничиться написанными главами. Дальше, когда дойду до времени опубликования этих бунтарских статей, я вкратце передам их содержание; теперь же расскажу о том, как они дошли до печатного станка.

Окончив работу в январе 1881 г., я передал рукопись в редакцию еженедельника «Рассвет» как органа более радикального направления. Мой приятель М. Каган был тогда секретарем редакции, и при передаче моей рукописи редактору Я. А. Розенфельду¹⁰² он, конечно, не мог скрыть, что автору, берущемуся судить о столь высоких материях, едва минуло 20 лет. Редактор, впрочем, мог об этом заключить из самого чтения статьи. Через некоторое время я был приглашен к нему для объяснений. Был зимний вечер с снежной метелью, когда я, дрожа от холода в своем летнем пальто, шел через Невский проспект на Николаевскую улицу, где находилась редакция «Рассвета». Розенфельд мне сперва заявил, что по своему объему статья не подходит для еженедельника, ибо ее пришлось бы растянуть на восемь или десять номеров. Из дальнейшего разговора, однако, выяснилось, что главная причина отказа заключается в слишком радикальных идеях статьи. Розенфельд спорил со мною и доказывал, что целью еврейского органа на русском языке должна быть борьба с национальным индифферентизмом нашей интеллигенции, между тем как моя статья антинациональна по своей тенденции. Я ему возражал, что эта статья назначена не для интеллигенции, а для полуобразованных читателей, которых нужно научить критически относиться к старым традициям. Пришлось взять статью обратно и отдать ее редакции «Русского еврея». Я опасался, что для этого умеренного журнала моя «революционная» статья окажется еще менее приемлемой, чем для «Рассвета». К моему удивлению, Кантор после просмотра статьи сказал мне, что хотя взгляды мои на развитие иудаизма неправильны, он готов печатать мой первый опыт с некоторыми сокращениями и примечаниями от редакции. Мне, однако, пришлось ждать еще два месяца, пока редакция решилась приступить к печатанию моей статьи, начало которой появилось, по роковому совпадению, в дни первых погромов на юге России.

Между тем я спохватился, что мои литературные увлечения могут вредно отразиться на моих абитуриных экзаменах, к которым я совсем перестал готовиться. В феврале 1881 г. я снова перешел от роли учителя к роли школьника. Жил я тогда в большой нужде. Поддерживали меня только маленькие займы у доброго родственника Эмануила и скудная плата, которую я получал от М. Кагана за переписку его русского перевода повести Смоленского «Ослиное погребение» («Кевурат хамор»), который печатался в «Рассвете». Переписывая, я местами исправлял в пе-

реводе стилистические ошибки. «Ах, как надоели мне эти вечные приготовления к экзаменам! — писал я друзьям. — Четыре года непрерывного скитальчества и тревожной жизни, четыре года неудач, разочарований и поражений дают себя теперь чувствовать. Мера уже переполнена, но я еще напрягу терпение до мая...» Мне, однако, не суждено было спокойно заниматься. 1 марта 1881 г. на набережной Екатерининского канала в Петербурге взорвались бомбы террористов, убившие царя Александра II. В стране появился призрак хаоса и вслед за тем действительность черной реакции.

Памятны мне эти мартовские дни. В моей убогой каморке в доме у Сенной площади уже надвигались вечерние сумерки, когда вошла хозяйка и сказала, что на улице около Невского убили царя. Я вышел в соседнюю комнату и услышал от хозяина-рабочего, только что вернувшегося с улицы, что народ запрудил Садовую улицу, читая официальные бюллетени на столбах, и что торговцы Сенного рынка грозят расправиться с «студентами», виновниками террора. Он мне не советовал поэтому выходить сейчас на улицу. Только на другое утро я вышел на Садовую, купил газету «Голос», лихорадочно прочел новости фатального дня и устремился в близкий Столярный переулок, где в меблированных комнатах жил мой приятель Соломон Лурье¹⁰³, студент Института инженеров путей сообщения и сотрудник «Рассвета». Там уже собралась группа молодежи, и мы взволнованно обсуждали события и гадали о будущем. В следующие дни газеты приносили тревожные сведения о массовых арестах террористов, об обнаруженных бомбах и взрывчатых веществах. Я бродил в районе Невского проспекта и Екатерининского канала, где был убит царь, ходил по Малой Садовой (Екатерининской) улице, которая должна была быть «зорвана динамитом вся, если бы царь проехал по ней. По городу ползли разные слухи. Говорили, что Александр III положит конец даже скромным реформам своего отца и не даст народу предполагавшейся «земской конституции». Но глаза были еще обращены к Гатчине, где скрывшийся от террора новый царь совещался с высшими сановниками из двух партий: реакционной партии Победоносцева¹⁰⁴ и полулиберальной Лорис-Меликова. Апрель принес нам два тяжелых удара: 15 апреля начались еврейские погромы на юге России, а 29 апреля появился царский манифест, положивший конец всем упованиям оптимистов. То был грозный окрик деспота, объявление войны не только революционной «крамоле», но и умеренному либерализму. Черная туча реакции нависла над страной. Помню, как в то утро, тотчас по прочтении манифеста в газете, мне впервые пришла в голову мысль, что надо на время покинуть Россию и уехать для получения высшего образования в Западную Европу.

В такой обстановке я должен был готовиться к экзаменам на «аттестат зрелости». Можно себе представить, как шли эти приготовления. Многого я не успел повторить, особенно в некоторых отделах математики. Временная болезнь глаз тоже мешала моим занятиям. Тем не менее я вовремя подал прошение попечителю учебного округа о допущении к экзаменам. Мне было назначено экзаменоваться в классической гимназии моего района (на Екатерингофском проспекте), начиная с 11 мая. Я и еще несколько экстернов явились в этот день в гимназию и заняли места рядом с гимназистами выпускного класса. Учитель математики задал нам ряд письменных задач по арифметике, алгебре и геометрии. Задача по арифметике, присланная из учебного округа, оказалась такою сложною (смесь всех «тройных правил»), что я, давно не повторявший арифметику, не мог с нею справиться. Это меня так расстроило, что я, не пытаясь решить остальные задачи, вернул экзаменатору исчерканный лист и сказал, что я задачу не решил. Он предложил мне явиться на устный экзамен по математике в другой день. Но я ушел, решив больше не приходить. (В воспоминаниях моего друга М. Кагана под названием «Олами» ошибочно сказано, что я не выдержал экзамена по русскому языку, что, конечно, было бы невозможно.)

Я вернулся в свою маленькую комнату, на пятом этаже грандиозного темного дома Лихачева на углу Екатерингофского и Вознесенского проспектов, и стал думать. Нужда, заботы, тревожное политическое положение, чрезмерное чтение книг и слишком ранняя литературная работа — все это помешало мне подготовиться к абитурному экзамену. Что же? Снова отложить экзамены на год? Но тут во мне поднялся внутренний протест. Пора положить конец мытарствам экстерна в погоне за аттестатом зрелости. Правда, без этой бумажки нельзя проникнуть в университет, но разве нельзя все университетское образование усвоить дома, и еще в более широком объеме, по классификации наук Конта или Спенсера? Разве нельзя себе устроить домашний университет, как это сделал Бокль? Ведь и мои кумиры, Милль и Спенсер, не кончили высшего учебного заведения. Наконец, можно совсем уехать за границу и слушать лекции в Сорбонне. Диплом русского университета нужен мне для приобретения повсеместного права жительства в России, — но кто знает, суждено ли мне остаться в стране после погромов и манифеста реакции? Так созрело во мне решение, которое едва ли имело отрицательные последствия для моего умственного развития (приватно я изучил гораздо больше, чем курс одного университетского факультета), но обрекало меня на все бедствия бесправного еврея, не попавшего в разряд патентованной интеллигенции. Может быть, так и нужно было: чтобы еврейский писатель не пользовался привилегиями диплома, а страдал бы наравне со всяким массовым евреем и мог бы по собственному опыту изображать эти страдания в книгах «великого гнева» публициста и сдержанного пафоса историка.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЮНЫЙ ПИСАТЕЛЬ В ПОЛОСЕ БУНТА (Петербург—Мстиславль, 1881—1885)

Глава 14

Мое вступление в литературу в эру реакции (1881)

Появление моей первой статьи «Несколько моментов из истории развития еврейской мысли». Идеал нового Уриеля Дакосты или нового Ахера. — Мое вступление в литературу в момент первых погромов на юге России. — Сотрудничество в «Рассвете» и ведение иностранной хроники в разгар антисемитического движения в Германии. — Наш литературный круг в Петербурге: Розенфельд, Варшавский, Фруг, Лифшиц, Соломон Лурье, М. Каган, С. Гурвич, д-р Кантор, Кауфман. — Мои статьи «Мендельсон русских евреев» и «Вопрос дня». Начало дискуссии по вопросу: куда, в Палестину или в Америку? — Первое выступление Лиленблума за колонизацию Палестины. — «Народная еврейская газета» и вопрос о роли «жаргона» в литературе. — Одиночество космополита среди националистов или индифферентных. — Планы работ по общим проблемам. — Изучение английского языка ради Милля и Спенсера. — Отъезд из Петербурга для «служения царю и отечеству».

В середине апреля 1881 г. из дома на углу Измайловского проспекта и Троицкой площади в Петербурге, где находилась редакция «Русского еврея», вышел молодой человек с свежим номером этого еженедельника в руках. Здесь напечатана была первая глава его первой большой статьи «Несколько моментов из истории развития еврейской мысли». Юный писатель повернул на набережную Фонтанки и на ходу поминутно заглядывал в заветные строки своего литературного первенца с тем радостным волнением, с каким юная мать всматривается в черты своего новорожденного младенца. Начинающему писателю казалось, что он призван возвести русскому еврейству новое слово, евангелие свободомыслия.

В самом начале статьи была установлена та западная «аксиома», односторонность которой мне позже приходилось доказывать: что «история еврейского народа есть лишь история иудаизма», и потому от религиозной реформы зависит обновление всей еврейской жизни. Автору также было ясно, что если бы все евреи хорошо знали свою историю, то они могли бы различать между основным пластом и позднейшими наслоениями в иудаизме и отбросили бы последние, от Талмуда до Шулхан-аруха, крайности раввинизма и мистицизма. Бросив этот смелый вызов традиции, новый Уриель Акоста¹⁰⁵ (амстердамский еретик был, конечно, моим кумиром, особенно после того, как я прочел драму Гуцкова¹⁰⁶) доказывал в дальнейших главах, что со времени провозглашения лозунга «ограждайте закон!» железная дисциплина религиозных законов и обрядов подавляла свободу личности. В моей статье были сопоставлены два типа: рабби Акива¹⁰⁷, который «на каждую ветку Торы вешал целые кучи Галахи», и «подрубавший насаждения» свободомыслящий Элиша-Ахер, и я поставил наивный вопрос: «Какова была бы историческая миссия еврейского народа, если бы Элиши¹⁰⁸ (а не Акивы) были его преобладающим элементом? Не была ли бы эта миссия гораздо универсальнее и результаты ее,

с общечеловеческой точки зрения, гораздо шире? Может быть, сынов Израиля и тогда жарили бы на инквизиционных кострах, но уже не как евреев, а как Джордано Бруно и Галилеев». Тут редакция журнала (д-р Кантор) резонно возразила в своем примечании, что «Ахеры¹⁰⁹ и Спинозы¹¹⁰ не могут составлять преобладающего элемента ни в каком народе». В дальнейшем редакция тоже считала нужным в особых примечаниях отмежевываться от моих взглядов; но я, конечно, считал только себя обладателем истины, громил талмудизм и раввинизм, приветствовал караимский протест, а еще более рационалистическую философию Саадии Гаона¹¹¹ и Маймонида, после которых, по моему мнению, пошла уже полоса умственной реакции вплоть до эпохи новейшего просвещения. Теперь я удивляюсь, как могла редакция «Русского еврея» поместить, хотя и с оговорками, такое незрелое произведение. Ее, по-видимому, прельстили моя горячая диалектика и то, что в десяти главах моего очерка (он печатался с перерывами в номерах 16—36 еженедельника) попадались и солидные исторические доказательства.

Я уже указывал выше на то фатальное совпадение, что первая статья моего исторического очерка появилась в один из тех дней русской Пасхи, когда на юге России вспыхнул первый погром, в Elizavetgrade, открывший печальную эру в истории восточного еврейства. В такой же момент разгрома антисемитизма на Западе мне суждено было начать и свою публицистическую деятельность. В июне 1881 г. я вошел в состав постоянных сотрудников «Рассвета». По предложению редактора Я. Розенфельда, уезжавшего на летний отдых, я замещал его в отделе «Заграничной хроники». В то роковое лето, когда в редакцию поступали вести с юга России о погромах или о погромной панике, я должен был следить за антисемитическим движением в Германии и Австрии, которое местами тоже принимало формы уличных эксцессов (в Нейштетине и восточно-прусских городах). Читаю, бывало, берлинские еженедельники «*Allgemeine Zeitung des Judentums*» и «*Jüdische Presse*», парижский «*Archives Israélites*» и другие периодические издания, комментирую в особой статье важнейшие события, а прочие отмечаю в хронике. На мою долю выпало писать о выступлениях первых творцов антисемитизма, Штеккера¹¹² в Германии, Шнерера¹¹³ в Австрии, Истоци¹¹⁴ в Венгрии. Нам тогда казалось, что эта социальная эпидемия долго не продержится в Западной Европе, и я считал бы безумцем того, который предсказал бы мне, что через полвека я буду писать эти воспоминания в Берлине, охваченном бешеным гитлеровским движением...*

Так я сразу попал в сотрудники двух органов русско-еврейской печати, которая тогда переживала свой ренессанс. Еженедельники «Рассвет» и «Русский еврей» и возникший в 1881 г. большой ежемесячник «Восход»¹¹⁵ задавали тон в тогдашней еврейской литературе. Здесь утвердилась та новая интеллигенция, которая говорила и писала по-русски и считала древнееврейский язык пережитком прошлого. Ведь и лучший поэт-гебраист того времени Лев Гордон¹¹⁶ пел отходную древнему языку в своем стихотворении «Для кого я тружусь?» и сам перешел в ряды сотрудников «Восхода». Мне, литературному младенцу, даже эта новая русско-еврейская литература казалась лишь ступенью к чему-то более высокому, малым ручьем, который должен влиться в океан общечеловеческой литературы. Было что-то фатальное в том, что юный космополит попал в полосу возрождения русско-еврейской литературы как временный гость, стал потом одним из ее главных двигателей, а спустя сорок лет должен был произнести над нею надгробное слово в разрушенном российском центре**.

В то лето сотрудники «Рассвета» собирались в помещении редакции на Николаевской улице раз в неделю, накануне выпуска номера. Одни приходили по редакционным делам, просматривать последние корректуры или составить последние за-

* Писано в 1932 г.

** См. дальше, том II, под 1921 г.

метки, а другие просто для бесед. Помнится мне фигура редактора Якова Львовича Розенфельда, типичного интеллигента с широкой седоватой бородой, похожего на Маркса. Выходец из Галиции, он учился в Киевском университете и потом жил в Петербурге, где сотрудничал в либеральной газете «Петербургские ведомости» Корша и в радикальном журнале Благосветлова «Дело». От русской публицистики его потянуло к еврейской, и в конце 1880 г. он сменил Михаила Кулишера¹¹⁷ в роли редактора «Рассвета». Он писал руководящие статьи в прогрессивно-демократическом духе. В конце 1881 г. Розенфельд примкнул к палестинскому движению и повел «Рассвет» в этом направлении. Я работал под его руководством только до его летнего отъезда, а затем имел дело с его заместителем по редакции Марком Самойловичем Варшавским¹¹⁸. Молодой талантливый адвокат, член аристократической семьи, писавший блестящие статьи в «Рассвете», Варшавский приохотил всех сотрудников к работе. Ассимилированный по воспитанию, он под влиянием погромов переживал глубокий душевный кризис, который отразился в его статьях под заглавием «Без иллюзий» (в летних номерах 1881 г.), первой покаянной исповеди интеллигента, почувствовавшего иллюзорность ассимиляции. Работая под его руководством, я подружился с ним и часто бывал у него на квартире, в 4-й Роте Измайловского проспекта, где гостей принимала его мать, высокообразованная салонная дама. Трагически сложилась жизнь этого красивого рыцаря, благовия женщин, изящного стихотворца (его книгу стихов «У моря» критика, впрочем, встретила сурово; один зоил назвал ее «Умора»): он не нашел крепких устоев в жизни и умер, едва достигши сорока лет.

Варшавскому мы обязаны тем, что в нашем петербургском литературном кружке впервые появился наш национальный поэт Фруг¹¹⁹. Восхищенный приглядными в «Рассвет» первыми стихотворениями юного поэта, Варшавский вызвал его из Херсона, где он занимал место писца у казенного раввина, доставил ему право жительства в Петербурге, приписав его к себе в качестве «домашнего служителя», и на первых порах заботился о его материальном обеспечении.

В кружке «Рассвета» я впервые встретился с Семеном Григорьевичем Фругом. Помню летний день в помещении редакции. Головы, склоненные над гранками корректур, поднимаются, и все глаза устремлены на стройного белокурого юношу, который с жаром декламирует свое только что написанное стихотворение «На суд истории», гармонировавшее с нашим тогдашним настроением.

*...С полей обнищавой, голодной России
Доносились к нам стоны отцов и детей,
Ставших жертвою диких, разгульных страстей...
Кто же в сердце народном вражду поселил,
Разгоратся дал дикому пылу?..
Этот жгучий, тревожный вопль
Мы друг другу тогда задавали,
И он жег нашу грудь... и мы жадно ответа искали.*

Намекая на известное заявление юдофобского министра Игнатьева¹²⁰, который оправдывал южнорусские погромы как «суд народа», поэт с негодованием воскликнул:

*Этот суд мы зовем «суд народный»...
Суд народный — разнуданный русский кулак,
Освященный татарской расправой.*

Этот стихотворный протест, напечатанный тогда в одной из книжек «Восхода», не попал в изданное позже собрание стихотворений Фруга.

Из прочих участников этих редакционных собраний упомяну еще о Григории Лифшице¹²¹, писавшем фельетоны под псевдонимом Гершон-бен-Гершон. Уроженец Вольны, прошедший суровую школу нужды, человек с злым языком и насмешливыми косыми глазами, Лифшиц был незаменим как полемист, как «цербер редакции». Его «внутренние обозрения», содержание которых сводилось к полемике с «Новым временем» и другими органами юдофобской прессы, читались как замаскированные протесты против правительственной юдофобии. Популярны были его юмористические рассказы «Исповедь преступника» (о бедствиях бесправных евреев в Петербурге) и «Жид идет». Позже Лифшиц исполнял свою роль цербера в «Недельной хронике Восхода», а затем сошел с литературной арены. Когда я в 90-х годах встречал его в Одессе, он занимался банковскими операциями и насмешливо относился ко всяким идейным направлениям в еврействе.

Передовые статьи в «Рассвете» часто писал, кроме обоих названных редакторов, мой упомянутый приятель Соломон Лурье, переводчик стихов Гейне на древнееврейский язык. Он был мастер на все руки: кроме передовиц, он писал компиляции из исторических и философских книг. Бравируя своей плодovitостью, он часто при наших встречах сообщал: «А я сегодня накатал статью на двадцать рублей гонорара». После своих гастролей в литературе кончивший инженерную школу Лурье ушел в лагерь промышленников, а к концу жизни занимал пост общественного раввина в Киеве (умер в 1908 г.). Его сын, сотрудник «Русских ведомостей», перешедший позже прямо от либеральной публицистики к большевистской, играл под именем Ларин¹²² важную роль в правительственных кругах советской России как экономист и деятель еврейской колонизации, но прямых связей с еврейством у него никогда не было.

В редакции «Рассвета» я на первых порах встречался с ее секретарем Маркусом Каганом, который, как уже рассказано, впервые ввел меня в круг еврейских литераторов. С ним мы еще часто будем встречаться на жизненном пути. Там же бывал в то лето и мой родственник Саул Гурвич, которого я в 1877 г. оставил в талмудической аудитории моего деда в Мстиславле, а теперь увидел в Петербурге в качестве автора статей по талмудическому праву для «Рассвета». Русский язык этих статей был плох, и мы много возились с их исправлением. Позже он нашел свою настоящую дорогу в литературе как писатель-гебраист.

В редакционном кружке «Русского еврея» задавал тон редактор, Лев Осипович Кантор. Его я часто посещал в его квартире, в том доме на Измайловском проспекте, где находилась типография издателя Бермана и контора издания. Этот виленский «талмид-хахам» и берлинский «доктор» (он учился медицине в Германии, но никогда не практиковал) был интереснейшим собеседником. Я с ним часто спорил о высших проблемах еврейства, хотя он был значительно старше меня; мне, юному радикалу, не нравился его оппортунизм в статьях «Русского еврея». Секретарем редакции был в то время одессит Абрам Евгеньевич Кауфман¹²³, писавший в журнале статьи по правовым вопросам; в культурных вопросах он был некомпетентен, так как не знал еврейского языка и литературы. Вскоре он перешел на амплуа сотрудника петербургской либеральной газеты «Новости», а позже редактировал «Одесские новости» и другие общерусские издания.

Кроме «заграничной хроники», я печатал в «Рассвете» самостоятельные статьи. В летних номерах (№ 30—36) появился ранее написанный очерк об отце Гаскалы в России Исаак-Бере Левинзоне¹²⁴, под заглавием «Мендельсон русских евреев». Это была параллель к моей бунтарской статье в «Русском еврее». Во вступлении та же резкость суждений о раввинизме и хасидизме, обо всей темной промежуточной эпохе «между Моисеем II и Моисеем III», между Маймонидом и Мендельсоном. В оценке религиозно-философского трактата Левинзона («Бет Иегуда») я не преминул противопоставить робкой критике традиции смелые идеи позитивизма.

Мой юный радикализм сказался и в публицистике. В то время стал на очереди жгучий вопрос о том, в каком направлении должна идти эмиграция евреев из России. Беженцы из погромленного юга устремились к германской и австрийской границе с целью переселения в Америку, а тут всплыл план колонизации Палестины. Некоторые чудаки выдвинули даже проект переселения в Испанию. Я взял слово по этому вопросу в статье «Вопрос дня» («Рассвет», 1881, № 34—35). С испанским проектом было легко справиться: экономически неразвитая страна католических монахов, где еще не был отменен закон о запрещении публичного богослужения некаталикам, не может служить приютом для евреев. Для массовой иммиграции непригодна и Палестина с ее деспотическим турецким режимом и примитивным арабским населением, с ее еврейскими богомольцами, враждебно относящимися к современной школе и ко всякой попытке земледельческой колонизации. Остается один путь: великая демократия Северной Америки. Там, в малонаселенных штатах, можно приобрести обширные пространства земли для обработки и создания целой сети фермерских колоний. Тут я ссылался на заявление парижского комитета «Алианс Изразлит»¹²⁵ о том, что только Америка пригодна для переселения, и на инициативу Союза американских еврейских конгрегаций, который только что устроил сбор денег на покупку земель для еврейских переселенцев. Замечательно, что мы все тогда имели в виду земледельческую колонизацию, а не городскую промышленную иммиграцию, которая впоследствии действительно создала огромный еврейский центр в Соединенных Штатах. Этот колонизационный идеал как способ не только материального, но и морального оздоровления евреев вызвал вскоре к жизни на юге России ту организацию «Ам-Олам»¹²⁶, которая сыграла немаловажную роль в первый период эмиграции, в 80-х годах.

Не знаю, насколько моя статья, одна из первых по эмиграционному вопросу, содействовала этому результату; знаю только, что после ее появления оживился на страницах «Рассвета» и «Русского еврея» спор по вопросу «куда»: в Америку или Палестину? Высказались первые сторонники палестинизма, а спустя два месяца после опубликования моей статьи выступил в том же «Рассвете» с тяжелой артиллерией М. А. Лилиенблюм, в знаменитой статье «Общеврейский вопрос и Палестина», где была впервые развита новая идеология палестинифильства. Помню, как стоявший за Палестину секретарь редакции, М. Каган, показывал мне рукопись статьи Лилиенблюма тотчас по ее получении. Прежде чем раскрыть рукопись, он задал мне коварный вопрос: «Ну, а как вы думаете, как выскажется Лилиенблюм по эмиграционному вопросу?» Я ответил: вероятно, за Америку. Тут он развернул манускрипт и торжествующе ткнул пальцем в заключительные его строки. Мне тогда не могло прийти в голову, что автор «Грехов молодости», мой учитель по части радикализма, бросит вызов всему европейскому прогрессу и повернется лицом к Востоку. Потом Лилиенблюм уже сам рассказал (в книжке «Путь покаяния», «Derech teschuba»), какой резкий переворот произошел в его убеждениях в первый год погромов.

В то лето мне пришлось высказаться еще по одному культурному вопросу, тогда гораздо менее актуальному, но ставшему позже предметом страстных споров. Редактор еврейского еженедельника «Гамелиц» в Петербурге, Цедербаум, задумал издавать также еженедельник на идиш или, как тогда выражались, на «жаргоне», под названием «Idisches Volksblatt»¹²⁷. Когда проспект издания получился в редакции «Рассвета», Варшавский предложил мне высказаться в особой статье о том, насколько такой орган необходим, посоветовал мне лично поговорить с Цедербаумом для получения дополнительных сведений о программе издания. В один летний день я позвонил у дверей квартиры Цедербаума на Литейном проспекте. Меня встретил седенький, несколько сторбленный старичок, весьма мало напоминавший тот могучий «кедр» (Эрез), каким он величал себя в своем псевдониме в «Гамелице». Мне интересно было поговорить с редактором некогда боевого орга-

на, обличителя раввинского и хасидского фанатизма, статьи которого я с таким увлечением читал в ранние годы, но беседа с ним разочаровала меня. Словоохотливый старик долго рассказывал мне о своих делах и заслугах, о жаргонном «Колмевассер»¹²⁸, который он издавал в 60-х годах в Одессе и о столкновениях, которые он имел с сотрудниками своих изданий: Абрамовичем (Менделе)¹²⁹, Готлобром¹³⁰, Диалиенблюмом. Мы расстались дружески, и я не мог еще предвидеть тогда, что через пару лет этот старый обличитель резко выступит против меня, юного обличителя, после появления моих статей о религиозных реформах. Под влиянием нашей беседы я написал небольшую анонимную статью под заглавием «Народная еврейская газета» («Рассвет», 1881, № 35), где горячо доказывал необходимость создать серьезную публицистику на народном языке, к которому относятся равно пренебрежительно и «наши националисты и космополиты». Новый орган особенно важен ввиду смятения народных масс после погромов, когда всякому простояло нужно знать, что ему делать, куда эмигрировать, как перестроить свою хозяйственную жизнь на основе «производительного труда, земледельческого и ремесленного». «Главной своей задачей, — писал я, — еврейская народная газета должна поставить серьезное, а не фельетонное, юмористическое, как это было до сих пор, обсуждение общественных вопросов». Новый орган в общем оправдал наши ожидания. В течение 80-х годов он сгруппировал вокруг себя ряд молодых писателей, впоследствии прославившихся, как Спектор¹³¹, Шалом-Алейхем¹³², Фруг, но в самой газете не прекращались еще споры о равноправности «жаргона» с древнееврейским и русским языками. Я тогда высказался только за терпимость к народному языку; до признания же его равноценности я дошел гораздо позже.

Несмотря на многочисленные знакомства, я чувствовал себя одиноким. В письмах я жаловался на «нравственное и умственное одиночество». Объяснялось это тем, что я был втянут в круг специальных еврейских проблем, между тем как меня больше волновали общие и «вечные» вопросы, которые людей того круга либо уже не интересовали, либо еще не интересовали. Я был самым младшим в этом кругу; моим сверстником был только Фруг, но мировые проблемы мало его занимали. Я находился в полосе антитезиса, резкого отрицания общепринятых догм, но неустанно искал новых «научных догм», искал новой веры взамен утраченной детской веры, между тем как окружающие казались мне равнодушными и к тезису, и к антитезису. Характерным для моего тогдашнего космополитизма было то, что я считал себя лишь временным работником в еврейской литературе, а носился с широкими планами в области общей философско-исторической литературы. Долгие часы просиживал я в Публичной библиотеке, читая полные собрания сочинений моих любимых мыслителей XVIII в., Дидро и Кондорсе, с целью писать о них со временем подробные монографии.

Ревностно изучал я тогда французскую и немецкую литературы вообще. Всякий лишний рубль моего литературного гонорара я тратил на покупку книг в иностранных магазинах Петербурга, а иногда урывал для этого кое-что и от насущных нужд. Я покупал немецких классиков у Эриксона на Вознесенском, а французских у Мелье на Невском. По целым часам рылся в лавках букинистов Александровского рынка, где иностранные книги редких изданий продавались крайне дешево. Однажды я купил там три томика стихотворений Гейне в издании, вышедшем еще при жизни поэта, и отправился с этой добычей в ресторан, чтобы пообедать, но на лестнице ресторана догадался посмотреть в свой кошелек и убедился, что там нет нужных для уплаты за обед 35 копеек; вернулся домой и пообедал куском хлеба, но зато имел роскошный десерт из «Buch der Lieder» и «Romanzeger». Когда я вновь перечитывал сочинения Берне в немецком оригинале, я живо вспомнил свои юные восторги при чтении русского перевода и мог обозреть тот путь, который привел

меня от страстной политической публицистики Берне к спокойной философской публицистке Милля.

Чтобы иметь счастье читать книги моих учителей Милля и Спенсера в оригинале, я решился изучить английский язык. В определенные дни в мою «высокую» (на пятом этаже) обитель на Екатерингофском проспекте поднимался толстый англичанин, не говоривший ни слова по-русски, и обучал английскому языку меня и моего родственника Саула Гурвича, задавая нам упражнения по учебнику Нурока. В течение месяца или двух я овладел кое-как трудным английским произношением и легкой грамматикой и мог уже продолжать самостоятельно дальнейшее изучение языка и литературы. Первым своим долгом я почел зайти в английский книжный магазин Воткинса на Адмиралтейской площади и купить там мой любимый трактат Милля «О свободе» в оригинале и стихи радикального поэта Шелли.

Изучая иностранные языки, я имел также в виду свой план отъезда за границу. Все лето 1881 г. я носился с мыслью о Париже и Коллеж де Франс или Сорбонне, но подходящая осень напоминала мне о предстоящей явке к исполнению воинской повинности. Так как я в Петербурге не мог поступить в университет, я не имел права отсрочки и льготы по воинской повинности. Солдатчина была мне ненавистна, и мысль о том, что меня облекут в серую шинель и заставят служить царю и отечеству, наполняла меня негодованием. Оставалась только одна надежда, что воинское присутствие признает меня негодным к военной службе вследствие моей близорукости, как это было с моим братом годом раньше. И вот в начале октября, бросив свою работу в «Рассвете», я наскоро собрался в путь, забрал с собою массу книг и уехал в Мстиславль.

Глава 15

Радикализм в исторических работах (1882)

Как я отбывал воинскую повинность. — Зима 1881/82 г. в Мстиславле. Ненапечатанная еретическая статья «Что же теперь?». Возвращение в Петербург (апрель 1882). Балтский погром и «омраченный Петроград». — Распад в «Рассвете»; мои конфликты с редакцией; съезд нотаблей; «Временные правила 3 мая» и мой зюловский язык. — Исторические компиляции: «Поселение евреев в Америке» и «Бедствия евреев на Украине в XVII веке». — Заместитель редактора Минский-Виленкин и его путь от «Рассвета» до Киево-Печерской лавры; трагедия семьи Венгеровых. — Лето 1882: голод и любовь, депрессия, капризы юной психики. — Тенденциозные исторические работы: «Саббатай Цеви и псевдомессианиззм», «Франк и его секта христианствующих». — Нелитературная работа. — Переводы из Комперта и Берне.

Печальная осень ждала меня в родном городе. В моей родительской семье, как и в других семьях, где имелся подлежащий воинскому призыву этой осени 21-летний сын, царила тревога. Обычное уклонение евреев от воинской повинности я считал унижительным, но морально не предосудительным, ибо государство, лишаящее гражданских прав одну категорию граждан, не имеет права требовать от нее участия в военной защите. Когда я явился в воинское присутствие и признан был годным к военной службе, я заявил, что страдаю близорукостью, и просил испытать состояние моего зрения. Для этой цели мне пришлось поехать в губернский город Могилев, где находилась главная комиссия для испытания годности к военной службе. Две недели я провел в городском госпитале, где испытывали мое зрение разными стеклами и впусканием капель атропина в глаза. Но для окончательного решения вопроса нужен был еще обычный в таких случаях «веский довод», которым мои родные, особенно энергичный дядя Бер из Пропойска, неофициально убедили начальство, что моя близорукость действительно препятствует исполнению

священного воинского долга. После испытания меня отпустили домой с «белым билетом», то есть признали свободным от воинской повинности навсегда. В начале декабря 1881 г. я вернулся в Мстиславль с радостным чувством свободы. Я свободен и могу строить свою жизнь как того требует мое призвание.

Проведенная в Мстиславле зима 1881/82 г. прошла в любимых занятиях. Я изучал «Курс политической экономии» Милля с примечаниями Чернышевского и в своем конспекте комментировал там некоторые места (я имел под рукою Адама Смита¹³³ с комментариями Рикардо¹³⁴ и «Капитал» Маркса), продолжал составление конспекта к «Системе позитивной философии» Конта, штудировал «Дух законов» Монтескье и «Социальный договор» Руссо, наконец, перечитывал в английском оригинале любимый трактат Милля «О свободе» с тем чувством, с каким читают впервые в подлиннике Священное Писание. Жил я тогда в Мстиславле близ бульвара, в новой квартире нашей скитающейся семьи, в похожем на длинный сарай доме посреди засыпанного снегом обширного двора. Моя комнатка имела отдельный ход и низкое окно, упиравшееся в сугробы снега. В эту келью приходила ко мне та, которая позже стала моей женой: старшая из моих друзей, сестер Фрейдлиных. Мы полюбили друг друга после трех лет тесной дружбы. В ту памятную зиму мы, под вой снежной метели, предавались мечтам о чувственном совместной жизни и совместном труде, о переезде в Петербург и затем в Париж, о превращении нашего тернистого пути жизни в гладкий и радостный. Многие иллюзии потом рассеялись. Суровая действительность готовила нам много горя, прежде чем осуществились самые скромные мечты.

Время было тревожное, зловещее. Реакция в России крепла. Выяснились результаты игнатьевских «губернских комиссий»¹³⁵, призванных доказать «вредность евреев для коренного населения». Из кругов правительства евреям дичинко кричали: «Западная граница для вас открыта». Ребром поставлен был вопрос о массовой эмиграции. Во многих городах возникли кружки «американцев» и «палестинцев», споривших между собою о преимуществах того или другого пути исхода из России. Я, как уже сказано, выступил теоретиком американизма. Мой брат, Вольф, решивший эмигрировать, вел переписку с представителями разных кружков на юге России и наконец примкнул к палестинскому движению, пионерами которого скоро сделались члены кружка «Билу»¹³⁶.

Все это, однако, не поколебало моего антитезиса во внутренних проблемах еврейской жизни. С огорчением видел я, как «Рассвет» все более клонит к национализму и палестинофильству, и решил выступить против этой внутренней «реакции». Зимой я написал и послал редактору «Рассвета» резкую статью под заглавием «Что же теперь?», которая, к счастью, не была напечатана. Исходной точкой моей статьи был принцип, выдвинутый Берне против Риссера¹³⁷: «Кто хочет действовать в пользу евреев, должен свести их дело с требованиями общей свободы» — принцип замаскирования особых еврейских требований, против которого мне спустя четверть века пришлось резко выступить в моих «Уроках страшных дней». Для меня в юности даже Риссер был слишком национален: я стоял за абсолютный космополитизм Берне. Полемизируя с Лилиенблумом, я доказывал, что зарождающийся теперь еврейский национализм есть только реакция на антисемитское движение, но ведь последнее есть, в свою очередь, результат общеполитической реакции и, следовательно, должно прекратиться вместе с нею; поскольку же еврейский национализм связан с религией, он теряет свое значение для свободомыслящей интеллигенции. Построенная безукоризненно с логической стороны, моя статья являла собою пример того, как в правильную логическую схему можно втиснуть какие угодно идеи. Получив мою рукопись, Розенфельд сердито ответил, что такая статья может быть на руку только публицистам юдофобского лагеря, и отказался ее печатать. Высказанные в ней идеи были потом развиты в моей публи-

цистической трилогии, печатавшейся в «Восходе» в следующие годы, о чем будет рассказано дальше.

Кончилась зима, и меня потянуло в Петербург. Тотчас после нашей Пасхи я тронулся в путь. Это было накануне 1 апреля старого стиля. По дороге таял снег, и лошади еле тащили по грязи большой фургон на расстоянии 60 верст, до станции железной дороги. В шумных ручьях, сбегавших по косягу, в бодром крике прилетающих птиц слышался зов весны, и березки в лесу белели как невесты, готовые к венцу. А на другой день я купил на вокзале железной дороги петербургскую газету, где сообщалось о страшном погроме в Балте¹³⁸. Настроение сразу омрачилось... Приехав в Петербург, я остановился в еврейской гостинице на Садовой улице, против Юсупова сада, где бесправные евреи могли некоторое время жить без прописки паспорта. Здесь я впервые услышал грустную мелодию из мелодрамы «Доктор Алмазада», которую труппа Гольдфадена¹³⁹ играла перед тем в Петербурге: «Гей, Исроликель!» Этот насыщенный слезами напев народа-скитальца как будто носился в воздухе в еврейских кругах столицы, где еще недавно справляли всенародный пост по случаю погромов. После нескольких дней нелегального пребывания в гостинице, я поселился в одной квартире с моим родственником Эмануилом, на углу Вознесенского проспекта и Садовой. Для легализации жительства я просил Варшавского, как адвоката, приписать меня к себе в качестве второго «домашнего служителя» вместе с Фругом.

Явившись на другой день по приезде в редакцию «Рассвета», я уже не нашел там почти никого из прежнего шумного кружка сотрудников: одни ушли вследствие несогласия с новым палестинофильским курсом журнала, другие вследствие неаккуратной уплаты гонорара (дело давало большой дефицит). Часть сотрудников перешла в «Русский еврей», а часть в «Восход», издатель которого тогда прибавил к своему ежемесячнику еще еженедельник. С редактором Розенфельдом я в один из тех дней имел длинную беседу. Мы горячо спорили о национализме и выяснили наши разногласия, и тем не менее он просил меня продолжать сотрудничество в «Рассвете». Однако уже после первой написанной мною статьи произошел конфликт: мы не сошлись во мнениях по поводу заседавшего тогда в Петербурге съезда еврейских нотаблей, и моя статья не была помещена. То же случилось с моей статьей об отношении парижского «Alliance Israélite» к американской и палестинской колонизации. Только в критике правящей юдофобии у меня, конечно, не могло быть разногласия с редакцией. Немногие знали, что первая руководящая статья о пресловутых «Временных правилах 3 мая»¹⁴⁰ была написана мною (статья, как редакционная, была анонимна).

Помню майский день в помещении редакции. Только что были опубликованы роковые «Правила», отрезавшие от еврейской «черты оседлости» огромную территорию вне городов. Нужно было на другой день выпустить номер «Рассвета», а передовой статьи об этом крупном событии не было. Заместитель редактора Минский-Виленкин¹⁴¹ упросил меня тут же на месте написать статью, которую с часа на час ждали в типографии. Чтобы мне не мешали работать, меня отвели в спальню редактора, и там я в течение двух-трех часов соорудил передовицу (№ 20 за 1882 г.). Главная трудность состояла в том, чтобы осудить жестокий царский декрет в такой форме, чтобы цензор не запретил статьи. Когда я теперь перечитываю свою импровизацию, я вижу, что уже тогда достаточно овладел эзоповским языком нашей подцензурной прессы. Я воспользовался тем, что одновременно с «Временными правилами» появился правительственный декрет о запрещении всяких «насилий над личностью и имуществом евреев, как находящихся под охраною общих законов наравне с другими подданными его величества», и спрашивал: как совместить это заявление с декретом, лишаящим евреев значительной части даже тех урезанных гражданских прав, которыми они располагали раньше? И чтобы не оставить никакого сомнения в смысле этого риторического вопроса, я во второй

половине статьи коснулся гонений на евреев со стороны местной администрации (ее дозволялось критиковать) и указывал, что организация эмиграционного движения является покамест главной задачей еврейских общественных деятелей (против решения съезда нотаблей, считавшего поощрение эмиграции непатриотическим актом).

Чтобы не иметь конфликтов с редакцией по политическим вопросам, я предпочитал писать статьи на исторические темы, связанные с волнующими вопросами дня. Я составил компилятивный «Исторический очерк поселения евреев в Америке» («Рассвет», 1882, № 20—21), в котором выразил надежду, что со временем «мы увидим там обширные еврейские колонии, процветающие под трудолюбивыми руками десятков тысяч людей, выравнившихся из русско-еврейского гетто и ставших свободными, нравственно обновленными сынами Нового Света». В то же время я задумал провести параллель между украинскими погромами времен Хмельницкого и только что пережитыми. Под заглавием «Бедствия евреев на Украине в 1648—1652 годах» под псевдонимом С. Мстиславский были напечатаны пять статей («Рассвет», 1882, № 24—40), где читатели, мало знакомые с еврейскими летописями, могли найти волнующее описание наиболее трагических эпизодов той эпохи, но едва ли правильное ее освещение. Я слишком поддавался тогда влиянию украинофила Костомарова¹⁴² с одной стороны и нашего Греча с другой.

В связи с этой статьей вспоминаются мне мои встречи с поэтом Н. М. Минским-Виленкиным. В то лето наш редактор Розенфельд уехал в Константинополь для свидания с английским прожектером Олифантом¹⁴³, который вел переговоры с турецким правительством о массовом поселении евреев в Палестине. В редакции он оставил своим заместителем Минского, когда-то писавшего в «Рассвете» остроумные фельетоны под псевдонимом Норд-Вест. Молодой поэт очень гордился своими печатавшимися в лучших русских журналах стихами, особенно серией под заглавием «Белые ночи», где попадались политически окрашенные «думы, зачатые в черные дни, рожденные в белые ночи», по красивому выражению певца северных петербургских ночей. В это или следующее лето Минский издал собрание своих стихотворений в отдельной книге, но в «черные дни» министерства Дмитрия Толстого этот сборник был конфискован цензурой за революционные тенденции. Однажды при встрече в Публичной библиотеке Минский рассказал мне, как он ходил к Толстому для выяснений по поводу задержанной книги. Когда министр указал ему на одно стихотворение, где цензура усмотрела восхваление мартовского царубийства, поэт просил исключить это стихотворение и разрешить остальные, но услышал ответ: «Нет, около дегтя сидеть, дегтем пахнет», то есть вся книга заражена дурным духом. Прочитав на правах редактора рукопись моей статьи об украинской резне XVII в., Минский был потрясен некоторыми эпизодами, в особенности трагедией в Тульчине, где поляки предали евреев казакам, а раввин убеждал свою паству не мстить за это предателям. Впоследствии он приходил ко мне за отрывками из еврейских летописей, где описывалось это событие: он тогда писал свою прекрасную поэму «Осада Тульчина». Только позже я узнал, что Минский в это время уже стоял на пороге церкви: по каким-то семейным соображениям (он, кажется, хотел оформить свой брак с русской женщиной) он принял крещение; но зачем ему понадобилось совершить этот акт столь торжественно, как мне рассказывали, чуть ли не в самой Печерской лавре в святом граде Киеве, я до сих пор не понимаю.

Ушедший из еврейской редакции в православную церковь поэт оставил своим заместителем известного историка русской литературы Семена Венгерова¹⁴⁴, которого я летом 1882 г. несколько раз видел в квартире на Николаевской (жена Розенфельда была урожденная Венгерова). Минский говорил мне, что у Венгерова «настоящая славянская душа». Эта душа побудила Венгерова сначала окрестить своих детей, а потом самому креститься. Грустные страницы в мемуарах его матери

Паулины Венгеровой¹⁴⁵ («Воспоминания бабушки») могут дать ясное представление о вызванной этим отречением семейной трагедии.

Когда Розенфельд вернулся из Константинополя, выяснилось уже безнадежное положение «Рассвета». В кассе редакции не было ни гроша, сотрудникам давно не платили гонорара, журнал находился в состоянии агонии и в начале 1883 г. приостановился. Я был одним из пострадавших от этого кризиса. Летом 1882 г. я зашел к редактору «Восхода» Адольфу Ландау¹⁴⁶ в надежде получить работу. Ландау предложил мне писать «заграничную хронику» для «Недельной хроники Восхода» временно, впредь до приезда постоянного составителя этого отдела, русского писателя Э. К. Ватсона¹⁴⁷. На мою долю выпало дать отчет о только что возникшем в Венгрии Тисса-Эсларском деле¹⁴⁸, которое затем долго волновало общественное мнение Европы. Но едва был напечатан мой первый обзор, как вернулся Ватсон, и я снова остался без работы. Я кое-как перебивался переводами с французского, которыми снабжал меня знакомый полулиберальный цензор «Рассвета» Забелин, бывший редактор «Виленского вестника»¹⁴⁹; но скудного гонорара не хватало даже на скромную жизнь, и я бедствовал изрядно.

В июне 1882 г. приехала в Петербург моя будущая жена, с которой мы строили столько воздушных замков в предыдущую зиму. Приехала почти без средств, так как оставила родительский дом без согласия матери. Надо было устроить ей «право жительство» в столице путем фиктивной приписки к белошвейной мастерской, а затем позаботиться о средствах к жизни для нас обоих. Живя в одном доме на углу Вознесенского и Садовой, в разных квартирах, мы делились всем, но моих доходов не хватало на самое скромное существование. Когда в разорившемся «Рассвете» печатались мои статьи о былых «бедствиях евреев на Украине», бедствия их автора дошли до крайности. Налицо были оба шиллеровских двигателя жизни: голод (в смысле нужды) и любовь, но не скажу, чтобы их сочетание было особенно приятно. В моей душе шла борьба между потребностью личного счастья и обетом назорей — посвятить себя служению определенной идее. Я боялся, что к трагедии ума Фауста прибавится трагедия чувства Гретхен (мое тогдашнее выражение). Заранее упрекал я себя вместе с Гейне:

*So in holden Hindernissen wind ich mich mit Lust und Leid,
Während Andre kämpfen müssen in dem grossen Kampf der Zeit.*

А «борьба времени» была действительно велика. Перестраивалась и русская, и еврейская жизнь. В русской внутренней политике утвердился реакционный курс министерства Толстого, которое заменило уличные погромы законодательными репрессиями, а исход евреев из российского Египта принял характер бегства. Эпидемия разброда коснулась и моей семьи. Мой брат Вольф, спутник прежних моих скитаний, решил покинуть Россию и уехать в Палестину вместе с первыми отрядами «билюйцев». Крайний идеалист и мечтатель, он в письмах ко мне прощался с русской родиной навсегда и готовился стать земледельцем на родине еврейского народа. А я метался в поисках пути между общечеловеческими и еврейскими проблемами, между жизнью «для идеи», как тогда выражались, и тяжелыми житейскими заботами. Такие моменты искания жизненного пути, родовые муки самоопределения личности, являются самыми опасными в ранней молодости: они сопровождаются припадками депрессии, и я в своих записях того времени нахожу признаки такого состояния. Больше всего мучило меня то, что я не имел возмож-

¹⁴⁵ Еще летом 1881 г. я перевел для него две «беседы» французского пастора-гуманиста Берсье, которые Забелин издал вместе с переведенными им проповедями этого пастора на библейско-евангельские темы. Весной 1882 г. я составлял для Забелина компиляцию из книг по истории крестьянского движения во Франции в эпоху великой революции, для помещения в «Журнал Министерства народного просвещения».

ности отдаться всецело любимой работе по истории философии XVIII в. в связи с моей религиозной позитивизма, а должен был идти по линии меньшего сопротивления и работать в «узкой» сфере еврейских проблем.

Однако и тут всплывали темы, которые по своему идейному содержанию увлекали меня и постепенно проложили мне путь в область еврейской историографии. Я увлекся историей «псевдомессианизма» Саббатая Цеви и решил написать о ней очерк для ежемесячных книжек «Восхода». После двухмесячного изучения источников, я в сентябре 1882 г. написал большую статью «Саббатай Цеви и псевдомессианизм в XVII веке». Она была составлена на основании некоторых еврейских источников, но освещение было заимствовано у Греца и его дополнителя Давида Когана¹⁴⁹; мне принадлежала только более радикальная окраска этого негативного освещения. Я не преминул сопоставить Саббатая Цеви с его современником Спинозой, моим идеалом «критически мыслящей личности», и упрекнуть тогдашнее еврейство в том, что оно пошло за мистиком, увлекшим его в «область невежества и тьмы», и предало проклятию философа, указывавшего на «зарю новой жизни». Не желая подписать свое имя под этой компиляцией, я заменил его псевдонимом Мстиславский, но редактор «Восхода» Ландау уговорил меня поместить настоящее имя. Предварительно он передал мою рукопись на просмотр поэту Льву Гордону, который в то время вел критический отдел в «Восходе» под псевдонимом Меваккер. Когда я через некоторое время явился к Гордону за отзывом, он встретил меня восклицанием: «А я представлял себе вас гораздо старше. По стилю вашей статьи трудно допустить, что ее писал юноша». Он одобрительно отозвался о моей работе и дал мне лишь несколько мелких указаний. Во время беседы о еврейской литературе он прочел мне только что написанное им стихотворение «Сестре Рухаме», в котором меня пленило наше единомыслие по вопросу об эмиграции в Америку: поэт трогательно звал свою обезбещенную русскими погромщиками сестру в страну, где «свет свободы озаряет всякую душу».

Моя статья была напечатана в двойных книгах «Восхода», вышедших с опозданием осенью 1882 г. Причитавшийся за нее гонорар (35 рублей с печатного листа) мог несколько облегчить мою нужду, но пока скупой редактор уплатил его, мне пришлось еще победствовать. В этот промежуток мне пришлось сделать одну неприятную, совсем нелитературную работу. Цензор Забелин прислал ко мне какого-то русского издателя, который предложил мне составить анонимную брошюрку о задачах царствования Александра III по случаю предстоящей коронации. Я сначала хотел отвергнуть заказ, но потом придумал исход из трудного положения: я восхвалял реформы Александра II и показывал, что новое царствование должно быть продолжением предыдущего, о чем следует ожидать высочайшего заявления в коронационном манифесте. То был обычный прием подцензурной печати: под видом легальных чаяний и пожеланий критиковать действительную политику русского правительства. Что случилось с этим анонимным писанием, не знаю, но полученные за него 50 рублей несомненно пригодились для починки прорех моего бюджета. Я в то время жил в немецкой семье, в II-й Роте Измайловского Полка, в большой комнате с балконом, а в другой комнатке жила моя невеста. Она поступила на акушерские курсы ради приобретения права жительства в столице; а я для той же цели был приписан в качестве домашнего служителя у жившего вблизи адвоката Варшавского. Если бы полиция за мною следила, она бы заметила, что я вместо хождения на «службу» шагаю почти ежедневно по Измайловскому проспекту и Большой Садовой по направлению к Публичной библиотеке, где читал материалы и делал выписки для своих работ.

Бедность нашей научной литературы была так велика, что даже моя слабая статья о Саббате Цеви обратила на себя внимание (польский перевод ее появился в варшавском еженедельнике «Израэлит»). Это поощрило меня к продолжению моих очерков о еврейском мистицизме. Я взялся за изучение материалов для истории

франкизма. В этом движении меня привлекал, конечно, не мистический его элемент, а «контраталмудизм», бунт против традиции. Я решил обработать эту тему более самостоятельно, чем предыдущую, но все-таки руководителем моим оставался Грец в его специальной монографии о Франке¹⁵⁰. Я только изучал большую часть его первоисточников и извлекал из них дополнительные данные. Особенно подробно цитировал я хранящиеся в Ватикане акты о франкистах, опубликованные в «Монументах» Тейнера. В конце 1882 г. я успел написать только вступительную статью к моей монографии о мессианско-мистических движениях в промежутке между Саббатаем Цеви и Франком. Дальнейшие главы писались в 1883 г.

Одновременно занимался я переводами для «Восхода». Чтение идиллических рассказов Комперта из жизни богемского гетто натолкнуло меня на мысль перевести его «Сказки еврейского квартала». Одна из этих сказок послужила моему приятелю Фругу темой для его поэмы «Дочь шамеса». Перевел я также большую статью Берне «Вечный жид», которая не вошла в читанный мною в ранней юности русский перевод его сочинений, сделанный Петром Вейнбергом. Мой перевод был теперь просмотрен Вейнбергом, который был постоянным сотрудником «Восхода». С особенной любовью переводил я эту язвительную берневскую полемику против юдофобов своего времени. В своем предисловии я противопоставил эти страстные филиппики Берне тем «сентиментальным стихам, которые Гейне подарил еврейству». Как далеко отошла от этой сравнительной оценки моя позднейшая историческая оценка обоих «внестоящих» героев эпохи ассимиляции!..

Глава 16

Постоянное сотрудничество в «Восходе» (1882—1883)

Полоса «Восхода». — Адольф Ефимович Ландау и его роль в русско-еврейской журналистике. — Ежемесячник и еженедельник, издаваемые без предварительной цензуры. — Опозиционность и радикализм. — Издатель и редактор; работодательские приемы Ландау. — Веду отдел литературной критики в «Восходе»; Критикус. — Отношение к Гаркави и Бершадскому. — Чистка авгиевых конюшен новоеврейской литературы. — Встречи с Богровым, автором «Записок еврея» и «Еврейского манускрипта». — Встречи с Н. С. Лесковым, наши беседы и «исправленная» им рецензия книги «Новый Израиль». — Мой «идейный фанатизм» и греческий гекзаметр Шелли.

Со второй половины 1882 г. в ежемесячных книгах «Восхода» печатались мои исторические статьи, а с начала 1883 г. и статьи по критике текущей литературы. С тех пор в течение многих лет редкая книга журнала появлялась без моих работ. Четверть века моей литературной деятельности связана преимущественно с этим центральным органом русско-еврейской литературы, на котором воспиталось целое поколение интеллигенции. Я был там совершенно независим в своих мнениях и не мог отвечать за общее политическое направление журнала, которое проводилось главным образом в еженедельной «Хронике Восхода», где я почти не принимал участия. Мне придется еще не раз говорить о роли «Восхода» в нашей общественной и литературе, но здесь, в начале связанной с ним длинной полосы моей жизни, считаю нужным рассказать о своих первых впечатлениях в новом литературном кругу.

Собственно, об особом редакционном кружке «Восхода» нельзя говорить, так как тут не было той коллегиальности и того оживленного обмена мыслей, как раньше в «Рассвете». Издатель Ландау был почти одинок в своей редакции. Он совмещал в своем лице редактора, издателя и типографа. Хронологически типограф породил издателя, а издатель редактора. Уроженец литовского города Россиены,

где поблизости к германской границе рано показались ростки «берлинского» просвещения, Адольф Ефимович Ландау получил свое образование в Виленском равнинном училище, но не желая становиться ни раввином, ни учителем, он курса там не кончил и отправился в Петербург. Здесь он работал некоторое время в русских либеральных газетах, приобрел типографию и стал издавать ежегодные сборники «Еврейской библиотеки», которые в 1870-х гг. имели большой успех, так как они заполнили пустоту между одесским и петербургским периодом русско-еврейской журналистики. В 1881 г. он превратил эти ежегодники в ежемесечное издание под именем «Восход» и через год присоединил к нему еженедельник, «Хронику Восхода». Имея связи в высших правительственных кругах, Ландау добился редкой привилегии: ему разрешили издавать «Восход» без предварительной цензуры. В то время как цензор, читая статью в рукописи или корректуре, легко зачеркивал красными чернилами всякое вольное слово, он лишь в крайних случаях мог решиться на конфискацию уже напечатанного номера журнала. Ландау широко пользовался этим преимуществом и часто помещал в своих изданиях довольно резкие антиправительственные статьи. Его нередко вызывали для объяснений в Главное управление по делам печати, а по временам министр внутренних дел объявлял предостережение непокорному журналу. Однажды, после третьего предостережения, журнал был по распоряжению министра приостановлен на полгода (1891). Но издатель гордился этими высканканиями как аттестатом на политическую храбрость. Была еще одна черта в редакторской деятельности Ландау: статьи сотрудников, умеющих писать, он не редактировал и давал им возможность свободно высказывать самые радикальные мнения. Благодаря этому я мог в годы моего юного антитезиса дать полную волю своей разрушительной идеологии. Тогда я был этим очень доволен, но позже понял, что на первых шагах мне нужен был редактор, который мог бы удерживать меня от слишком резких формул. Вообще начинающие писатели не могли иметь в Ландау руководителя: он сам был некомпетентен в вопросах науки и искусства, а разбирался только в вопросах русско-еврейской политики, по которым писал передовые статьи в «Недельной хронике Восхода». Странник западной практической ассимиляции, он, однако, мало вникал в ее идеологию и вообще, подобно Наполеону, питал нерасположение к «идеологам». Статьи случайных сотрудников он отдавал на просмотр постоянным сотрудникам, каждому по его компетенции: беллетристику и стихи просматривали Петр Вейнберг и Фруг, научные статьи д-р Гаркави¹⁵¹, Лев Гордон, а позже я.

Издатель в Ландау преобладал над редактором. Терпимый к чужим мнениям, вообще спокойный и уравновешенный, он проявлял особую нервность во всем, что касалось материальной стороны издания. В сношениях с сотрудниками издательский интерес стоял у него на первом плане. Он старался всячески урезать их гонорар. Он установил своеобразный обычай: не платить гонорара за первую статью начинающего писателя, в предположении, что автор будет счастлив уже самим появлением его имени в печати. Ко мне Ландау не применил этого правила, так как я перешел к нему из других журналов. Он платил гонорар за печатный лист в размере 35—40 рублей, но выдавал его крайне туго. Ему нужно было каждый раз напоминать об уплате гонорара, что для меня было тягостно. Бывало, приходишь к нему после выхода книжки и молча ждешь расчета, Ландау тоже молчит, наконец просишь денег, а он отвечает, что сейчас у него нет, предлагает прийти в другой раз. Для избежания этих тягостных визитов, я ему заранее писал, что приду за гонораром в такой-то день, и просил приготовить деньги; иногда это помогало, но иногда я получал грубый ответ: разве у меня банкирская контора, что я должен приготовить для вас деньги? Я допускаю, что у издателя «Восхода» бывали финансовые затруднения, хотя сам он был независим от журнала, ибо зарабатывал от своей большой типографии; но способ его обхождения с сотрудниками, даже постоянными, был оскорбителен и отталкивал от него многих (покойные Леванда¹⁵² и

Фруг не переносили его). Впоследствии, когда я жил вне Петербурга, эти денежные расчеты отравляли мне жизнь и часто портили наши отношения. Он подолгу не отвечал на мои письма, мои литературные вопросы и справки о редакции его мало интересовали, зато по издательской части он пускался в горячую полемику. И если он так поступал с главным сотрудником, без которого, как он сам признавался, он не мог бы выпускать ежемесячные книги журнала, то можно себе представить, как он обращался с другими сотрудниками. Мне часто приходилось заступаться за притесняемых товарищей.

С января 1883 г. я принял на себя ведение отдела литературной критики в «Восходе». Прежде этот отдел, под именем «Литературная летопись», составлял поэт Лев Гордон, подписывавшийся там псевдонимом Меваккер. Когда он перешел в еженедельник «Гамелиц» в качестве соредактора Цедербаума и оставил работу в «Восходе», Ландау предложил мне вести отдел критики; сам Гордон поощрял меня к этому. С тех пор в книжках журнала появлялись регулярно мои критические статьи сначала под инициалами С. Д., а потом под псевдонимом Критикус. Впоследствии я под заглавием «Литературная летопись» давал большие критические статьи или коллективные обзоры текущей литературы, а мелкие рецензии выделял в подотдел «Библиография». Верный традициям русской критики, которая забиралась во все области философии и публицистики, я мог в своих статьях широко развить свои радикальные идеи, рассуждая больше по поводу книг, чем о них самих. Так, я приветствовал призывы к религиозным реформам в книгах Родкинсона¹⁵³, хотя странные метаморфозы этого литературного авантюриста внушали мне недоверие. Разбирая русский перевод 5-го тома «Истории евреев» Греца с обширными примечаниями А. Гаркави, я брал под защиту умеренную талмудическую критику историка против ортодоксальных возражений его ученого комментатора и, конечно, доходил до более крайних выводов в этой критике. Между прочим я в этой статье впервые указал на развитый мною позже тезис о связи между ростом талмудического законовещения и широкою автономией евреев в Вавилонии. Отдавая должное частичным поправкам и дополнениям Гаркави (особенно в главе о караимстве, где Грец доверился сомнительным документам Фирковича¹⁵⁴ и Пинскера¹⁵⁵), я, однако, отверг претензию редактора русского издания на роль общего исправителя исторической системы Греца и следующим образом подчеркнул различие между историографом и эрудитом: «При такой крупной работе (строителя еврейской историографии) естественно должно было лететь много щепок и пропадать много стружек; много таких стружек поднято и сохранено в замечаниях (Гаркави)». Эта частью несправедливая фраза явно обидела Гаркави, который и без того был зол на меня за мое волюндуство, и впоследствии он относился ко мне недружелюбно.

С другой стороны, я высоко оценил труд русского профессора Бершадского¹⁵⁶ «Литовские евреи» и его большой сборник архивных актов («Русско-еврейский архив»). Помню, как в начале 1883 г. я сидел в квартире Бершадского на Васильевском острове и слушал его горячие доводы в пользу развитого им плана построения польско-еврейской истории. Вскоре в один весенний день вся наша литературная братия собралась в большом зале Петербургского университета, где Бершадский публично защищал тезисы своей монографии «Литовские евреи», которую он представил юридическому факультету в виде диссертации на соискание степени магистра. Официальными оппонентами были профессора Градовский¹⁵⁷ и Андреевский¹⁵⁸, неофициальным Гаркави. Всех нас радовал успех Бершадского, русского ученого, который несколько лет собирал в архивах акты по еврейской истории и взял еврейскую тему для своей диссертации.

Кроме научных трудов, мне приходилось разбирать ненаучные и часто даже нелитературные произведения дилетантов, писавших на древнееврейском языке в духе пустой «мелица». Тут я поставил себе целью чистить авгиевы конюшни этой полулитературы, искоренять графоманию и приучать пишущих к европейским прие-

мам. Уже в первом «Обзоре новоеврейской литературы» (1883 г., кн. 9) я приветствовал только что вышедший памфлет «Тогу вабогу» Д. Фришмана¹⁵⁹, который преследовал ту же цель европеизации литературных приемов.

Из моих тогдашних литературных встреч остались в моей памяти встречи с еврейским писателем Богровым¹⁶⁰ и русским Лесковым. Когда однажды Ландау сказал мне, что Григорий Исакович Богров прочел мои статьи о Саббатае Цеви и приглашает меня к себе на беседу, я очень обрадовался. Ведь «Записки еврея», читанные мною в ранней юности, когда они печатались еще в «Отечественных записках», были в числе первых книг, толкнувших меня на бунт против старого режима в еврействе. В одно декабрьское утро 1882 г. я поднялся по широкой лестнице дома Учетного банка на Невском проспекте, где Богров занимал какую-то синекуру по милости своего друга Абрама Зака¹⁶¹, директора банка. В отдаленной комнате верхнего этажа встретил меня высокий бритый господин с черными волосами на голове, не гармонировавшими с его старческим лицом и дрожащими пальцами (после мне сказали, что ему было тогда больше семидесяти лет и он красил волосы, чтобы казаться моложавым рядом с своей молодой женой, русской дамой). Из разговора выяснилась цель приглашения меня со стороны Богрова. Он хотел посоветоваться со мною, как автором очерка о Саббатае Цеви, как использовать один эпизод из жизни лжемессии для исторической повести «Еврейский манускрипт», первую часть которой он уже напечатал. В первой части Богров изобразил начало украинского восстания 1648 г., а в готовившейся второй части хотел выдвинуть как героиню жену Саббатая Цеви, которая в детстве была похищена восставшими казаками. Он советовался со мною об исторической связи между обоими движениями. Я ему объяснил, что такая связь несомненно существует, что резня 1648-го и следующих годов сыграла роль «предмессианских мук» для пришествия «мессии» в 1666 г. Он явно обрадовался этому одобрению его плана, но ему уже не удалось написать вторую часть. При прощании он мне вручил на память с надписями обе свои книги. Я потом еще расскажу о наших дальнейших встречах.

Странное знакомство установилось у меня с известным русским беллетристом Николаем Семеновичем Лесковым¹⁶². Началось оно с лета 1882 г., когда цензор Забелин дал мне к Лескову какое-то поручение по переводной работе. Ничто меня не влекло к этому писателю, который начал свою деятельность с псевдонимного романа-памфлета против русских радикалов 60-х годов (роман «Некуда» Стебницкого, разруганный Писаревым) и кончил изображением быта русского духовенства. Пренебрежительное отношение к еврейству сквозило в некоторых его рассказах. Сотрудничество в реакционной газете «Новое время» тоже не внушало к нему доверия. Однако в наших беседах Лесков давал мне понять, что в свободомыслии он не уступит официальным либералам и что он очень близок ко взглядам Ренана¹⁶³ на христианство. Помню свои посещения в его уединенной квартире, на пятом этаже красивого дома на аристократической Сергиевской улице, близ Таврического сада. Он жил одиноко в обществе домашних собачек, которые приветствовали его посетителей громким лаем и путались под ногами в небольшом кабинете, устланном коврами и густо уставленном мягкой мебелью, как дамский будуар. На стенах висело много картин, преимущественно произведения иконописи. Что-то поповское было в лице хозяина, грузного пожилого мужчины с хитрыми хохлацкими глазами и несколько циничными манерами. При всем своем вольнодумстве, Лесков с особенной нежностью говорил о культе икон и о ликах святых, изображения которых висели у него на стенах.

Он рассказывал мне о выкресте Брафмане¹⁶⁴, авторе «Книги Кагала», которому он покровительствовал, и на мое замечание о неискренности этого ренегата Лесков горячо возразил: «Нет, Брафман был верующим христианином; он однажды сидел здесь у меня, смотрел вот на эту картину Распятия и от умиления плакал». Трудно было добраться до политических убеждений Лескова. Когда я ему однажды по по-

воду террора против деспотов процитировал слова Милля: «Кто ставит себя выше закона, тот ставит себя вне закона» — он испытующе посмотрел на меня и сказал: да, но тогда и Шарлотта Корде была права, убив Марата. Я должен был согласиться. Между прочим мы много говорили о Ренане, которого запрещенную «Жизнь Иисуса» во французском оригинале мне тогда удалось купить у букиниста. Лесков одолжил мне второй том «Происхождения христианства», книгу о первых апостолах, и я усердно ее читал.

В одно из моих посещений, осенью 1882 г., Лесков показал мне только что вышедшую книгу одесского учителя Бен-Сиона (Прилукера)¹⁶⁵: «Еврей-реформаторы, Новый Израиль и Духовно-библейское братство», где излагался проект образования особой рационалистической секты, отвергающей Талмуд и мистицизм, способной слиться с русским народом и потому могущей претендовать на гражданское равноправие. Лескову книга очень понравилась. Зная о моем сочувствии идее реформ в иудаизме, он предложил мне написать о новой книге подробную рецензию для большого популярного журнала «Исторический вестник», где он был сотрудником. Я прочел книгу Прилукера и написал рецензию, в которой высказалась сочувственно по существу идеи религиозной реформы, но отрицательно о приемах одесских реформаторов, явно направленных к расколу и достижению привилегий для раскольников. Я передал рукопись Лескову, который обещал просмотреть ее и в случае надобности сделать кой-какие стилистические поправки. Но когда я затем получил декабрьскую книгу «Историческое вестника», я почти не узнал своей статьи: в начале и конце оказались обширные вставки Лескова, противные моим взглядам: выпады против «старозаконных защитников еврейства, настаивающих на внешней эмансипации» (стиль Лескова), комплименты Брафману и его «любопытной „Книге Кагала“», обида на евреев, отождествляющих христианское иконопочитание с идолопоклонством (отголосок наших личных споров), Лесков бесцеремонно похазяйничал в моей статье. На лежащей предо мною теперь вырезке из «Исторического вестника» имеется моя давняя надпись: «Лесков вставил в рецензию свои мысли и до того переделал ее содержание, что я никоим образом не могу считать ее своей». Рецензия была подписана глухим псевдонимом Д-ов (без инициала имени), и я решил, что не стоит поднимать в печати шум из-за этой некорректности Лескова*. Однако через десять лет я нашел в «Библиографическом указателе литературы о евреях» свое имя в скобках рядом с подписью Д-ов в списке раскрытых псевдонимов. Там же раскрыт действительный псевдоним другой сочувственной рецензии о книге Бен-Сиона, появившейся в самом «Восходе» (кн. 7—8 за 1882 г.) за подписью Н. Н. Это была статья А. Гордона, авторство которой под глубоким секретом открыл мне редактор Ландау.

В начале 1883 г. я опять переместился ближе к «еврейскому» центру Петербурга: поселился на Средней Подъяческой улице, между Екатерингофским проспектом и Екатерининским каналом. Пешеходный мостик на канале соединял меня в несколько минут с помещением редакции «Восхода» на Офицерской улице. Сюда приехала ко мне после короткого отсутствия из Петербурга моя невеста, так как мы решились жить вместе. Официально брак наш тогда еще не был освящен, так как я по убеждению не мог согласиться на религиозную церемонию бракосочетания, а гражданский брак в России не признавался. По этому поводу у нас шла горячая переписка. Мы решили легализовать наши отношения гражданским браком в Париже, куда мы по давнишнему плану готовились переселиться в ближайшее лето. Для того времени это был очень смелый шаг не только по отношению к родным в провинции, но и по отношению к нашему общественному кругу в Петербурге, но для меня не существовало никаких преград, когда речь шла о верности моим убеж-

* В следующем году, в моей статье «Какая самоэмансипация нужна евреям», я дал настоящую оценку «Нового Израйля» и книги Прилукера.

дениям. «Я раб идеи, раз мною овладевшей», — писал я своей будущей спутнице жизни. В записях тех дней нахожу следующие мысли по этому поводу, навеванные спорами с товарищами: «Есть двоякого рода идейный фанатизм: первый желателен и даже обязателен для человека убежденного, второй абсолютно вреден. Первый заключается в том, что человек, имеющий определенные убеждения, стремится сообразовать с ними свои поступки. Он требует, чтобы действия человека всегда служили точным выражением его внутреннего кредо. Например, позитивист или атеист не должен присягать во имя Бога и позволять над собою какой-либо церковный обряд. Он должен быть фанатиком своей идеи, оставаясь в то же время толерантным к противоположным мнениям... Но есть другой тип фанатиков: люди, которые, считая свой образ мыслей единственно верным, преследуют людей противоположного образа мыслей, стараются путем насилия и притеснения внушить веру в то, что они сами считают истиной. Такой фанатизм, даже будучи искренен, вреден и подлежит искоренению». Я был в ту пору весь проникнут пафосом антитезиса, героизмом борьбы Уриеля Дакосты и Спинозы. В поэзии у меня был новый кумир: умерший молодым сподвижник Байрона бурнопламенный Шелли, стихи которого я читал в английском оригинале. Мне очень нравился его девиз в форме греческого гекзаметра: «Я человеколюбец, демократ и атеист» («Эйми филантропос, демократикос т'атеостэ»).

Глава 17

Крайности антитезиса: статья о реформе иудаизма (1883)

Идея религиозных реформ в уме «неверующего». Проведение ее в оценке «контраталмудизма» франкистов. Статья «Какая самоэмансипация нужна евреям?» Ее страстные филиппики: «язычество закона», система обрядов как противоположность системе чистой веры и этики; союз реформистов для борьбы с ритуализмом; мой крайний космополитизм и индивидуализм. — Неудавшийся план переселения в Париж. — Лето на даче в Лесном. План этюда о Милле. — Боевая статья против национализма Смоленского. — Жизнь с Фругом в петербургских меблированных комнатах. Проза в жизни поэта национальной скорби. — Протесты против моих статей о реформах. — Моя статья о предреволюционной французской комиссии по еврейскому вопросу и паленская комиссия в Петербурге.

В 1883 г. мой антитезис, пафос отрицания, дошел до крайностей. В ряде статей «Восхода», исторических и литературно-критических, я упорно проводил идею обветшалости прежних форм иудаизма и необходимости коренной реформы. Тогда я еще сам не отдавал себе отчета, почему я так горячо ратую за реформу иудаизма, когда по моему позитивистскому миросозерцанию всякая религия является лишь пережитком фазиса теологического мышления, обреченным на исчезновение. Позже я понял причину этой непоследовательности: в глубине моей души, за порогом сознания, таилась потребность чистой веры, и я желал восстановить ее хотя бы для народных масс, еще не вышедших из теологического фазиса. Реформистская тенденция окрашивала мою большую монографию «Яков Франк и его секта христианствующих», которая печаталась в книжках «Восхода» 1883 г. В «контраталмудизме» франкистов я искал следов народного порыва к религиозной реформе, хотя и направленного по ложному пути, и нещадно бичевал польский раввинизм XVIII в., оказавшийся таким жалким на обоих диспутах с франкистами.

Одновременно я готовил главную атаку против старого порядка в специальной статье о религиозных реформах. Еще в конце 1882 г. я написал короткую статью на эту тему и снес ее в редакцию либеральной газеты «Новости». Редактор О. Нотович¹⁶⁶, которому я предложил эту статью для фельетона газеты, выразил сочувств-

вие идеи реформ и сказал, что он, сын симферопольского раввина, давно отбросил все религиозные предрассудки и воспитывает своих детей без всякой религии («пусть потом выбирают какую угодно»), но находит, что в общерусской газете, как «Новости», моя статья неуместна. Тогда я решил переработать статью по расширенному плану для «Восхода». В то время умы волновались по поводу брошюры «Автоэмансипация» доктора Пинскера¹⁶⁷, разрушавшей все наши надежды на гражданскую эмансипацию и культурное обновление в европейском духе. Весь проникнутый идеалами европеизма, я решил противопоставить пинскеровскому идеалу национального самоосвобождения западную идею культурной самоэмансипации, с реформой иудаизма в центре. Так возникла моя статья о реформах с полемическим заглавием «Какая самоэмансипация нужна евреям?».

То была резкий вызов ортодоксальному еврейству, всей той системе, которая заменила религиозное сознание обрядом. Тут я впервые употребил жесткое слово «язычество обряда» в применении к талмудизму, не зная еще об однородном выражении («идолопоклонничество закона») у Вельгаузена¹⁶⁸ и Гарнака¹⁶⁹, противников из другого лагеря. Крик возмущения рационалиста, а не спокойное суждение историка, слышался в словах, как будто взятых из лексикона энциклопедистов XVIII в.: «Да, еврей не имеет религии, он имеет только систему обрядов, доведенных до абсурда; он поклоняется Существу, контролирующему все его телодвижения, требующему от него не кушать того-то, не прикасаться к тому-то и т. п.». Я пришел к выводу, что обрядовая система иудаизма вредна в религиозно-нравственном отношении, ибо заслоняет принцип чистой веры и этики и в то же время усиливает «племенное обособление», вредное в гражданском отношении. Возрождение еврейства должно идти одновременно с двух концов: гражданской эмансипации и духовной самоэмансипации. Я предлагал образовать союз реформистов, который бы осуществлял последнюю задачу, но при этом я не задавался вопросом: а как же я, позитивист, могу участвовать в таком союзе, которому я начертал план постепенного упразднения лишнего ритуализма, между тем как для меня самого даже реформированный иудаизм является отжившим мировоззрением?.. Мой крайний космополитизм (не принцип местной ассимиляции) проявился в заключительной главе статьи, в полемике с палестинофилами и националистами. Я отрицал национальную идею вообще, видя в ней лишь переходную стадию по пути к идее общечеловеческой. На возглас палестинофилов: «Будущее в прошедшем!» я отвечал: «Нет, не в прошедшем, а в будущем всего человечества». Я находился тогда всецело в полосу «гуманизации», которая позже сменялась полосой «национализации», как я это формулировал в «Письмах о старом и новом еврействе»*. От абстрактного «человечества» я позже пришел к конкретному человечеству как агрегату наций, а от единичного индивидуализма к коллективному, национальному.

Первым читателем моей неистовой статьи был Ландау, который по долгу редактора должен был бы побудить меня к смягчению ее чрезмерных резкостей, но он сам был любителем «крепких слов» и предвкушал их полемический успех. Сдав статью в набор, он уехал на летние месяцы за границу и отложил выпуск ближайших книг «Восхода» до осени. Эта поездка имела для меня фатальное значение. Дело в том, что я готовился летом переселиться с женой в Париж для окончания своего высшего образования и при этом рассчитывал на получение крупного аванса от Ландау в счет гонорара, который обеспечил бы нас на первое время за границей. Я уже начал хлопотать о заграничном паспорте. Но крутой в денежных делах Ландау выдал небольшой аванс ввиду того, что мои статьи будут печататься лишь осенью, и поспешно уехал, не оставив в конторе редакции никаких распоряжений

* См. также мою статью «Процессы гуманизации и национализации в новейшей истории евреев», журнал «Еврейский мир», 1909 г., кн. 1.

относительно расчетов с сотрудниками. Мы остались на мели. План поездки в Париж рухнул, а с ним отпали возможности, которые направили бы мою жизнь по новому руслу.

Мы остались в Петербурге и поселились на летние месяцы в пригородной дачной местности Лесной, заняв мезонин дачи, в которой жила немецкая семья. Грустное было это лето. Иллюзии рассеялись, пропали мечты о вольной жизни на Западе, куда влекли меня все симпатии и планы работ на общие темы. В данный момент меня особенно занимал план обширной монографии о Джоне Стюарте Милле. Мою давнюю любовь к Миллю подогрели появившаяся тогда биография его, написанная психологом Бэном, и красивая характеристика в книге Брандеса «Современные умы». Главную цель моего этюда было сопоставление ясной философии Милля и английской школы позитивистов с темной немецкой метафизикой. Помню свои тогдашние горячие споры с моими приятелями, германофилами в философии (между прочим, с младшим братом покойного публициста, М. Оршанским¹⁷⁰, с которым я временно работал в редакции «Восхода»), которым я старался доказать преимущества франко-английской философской школы. Мне, однако, не удалось написать предположенный этюд о Милле, как и ранее начатый о Кондорсе. Слишком я устал от разнобразной работы в «Восходе», который в том году был полон моими статьями.

Необходимость писать ежемесячно статью по литературной критике мешала даже моему летнему отдыху. В Лесном я написал разбор новых книжек «Гашахар» Смоленского, который тогда примкнул к палестинофильскому движению. В этой статье я рассчитался с Смоленским за его старый грех: осуждение всего «берлинского просвещения» со времен Мендельсона; я с жаром отстаивал западный взгляд на еврейство как религиозную организацию, нуждающуюся в реформе, национальную же концепцию совершенно отвергал, ссылаясь на авторитет Людвига Филиппсона¹⁷¹ и его единомышленников, — словом, доказывал то, против чего мне спустя 15 лет суждено будет бороться во всеоружии исторических доводов.

К осени 1883 г. мы возвратились в Петербург. Поселились в двух меблированных комнатах старенького дома на площади Троицкой церкви, рядом с большим домом на углу Измайловского проспекта, где находились типография и редакция «Русского еврея», где жили д-р Кантор и другие знакомые... Рядом с нами, в узенькой комнате с окном на церковь, жил С. Г. Фруг. Мы, кажется, выбрали этот район вследствие его близости к квартире нашего патрона, адвоката М. С. Варшавского, к которому мы оба были приписаны в качестве «домашних служителей»: в случае набега полиции с целью проверить наши занятия, мы объяснили бы, что ввиду тесноты квартиры Варшавского мы живем отдельно поблизости, но каждый день являемся к нему на службу. Меня полиция не трогала, но Фруга однажды пригласили в полицейский участок и спрашивали: вот вы говорите, что служите лакеем у адвоката, а мы имеем сведения, что вы пишете стихи в журналах. Фруг, не моргнув глазом, ответил: «Утром хожу к барину, убираю его рабочий кабинет, затем ношу за ним портфель с бумагами в суд, а вечером после работы сочиняю стихи». Полиция, конечно, догадывалась, что мы фиктивные лакеи; но Варшавский имел связи с петербургским градоначальником и поэтому его протезе не трогали.

Это было время расцвета таланта Фруга. Мы с ним были соседями не только в квартире на Измайловском, но и в литературной квартире «Восхода», где ежемесячно рядом с моей прозой появлялись его стихи. В то время там печаталась его поэма «Рабби Амнон», и он часто советовался со мною об этой теме из средневекового мартиролога. Он читал мне отрывки из поэмы по мере писания, иногда целые главы наизусть, во время наших прогулок. Лирические вещи он часто читал мне тотчас после написания. Бывало, сижу за письменным столом в утренний час и слышу голос Фруга за стеною: «Тезка Маркович, хотите послушать стихи?» Вхожу в его каморку и слушаю декламацию только что набросанного стихотворения. Пре-

до мною еще теперь лежит первый типографский оттиск его прелестного стихотворения «Прометею», которое он с пафосом продекламировал мне, и в ушах звучат еще гордые слова еврея, обращенные к греческому похитителю небесного огня:

*Не украл я у Бога святого огня, не украл: Он мне сам его дал
И нести его к людям, в мир рабства и тьмы,
и беречь и хранить заветчал...
И донныне еще я плачу за него и слезами и кровью своей,
И не коршун один мое сердце клюет — сотни коршунов,
тысячи змей
В беззащитную грудь мою жадно впились,
рвут кровавые раны мои...*

Для меня было загадкой, как такие поэтические думы зарождались в уме Фруга, который вел самую прозаическую жизнь в столице, «среди детей ничтожных мира», среди литературной и иной богемы. Попытки друзей, в том числе и мои, вовлечь его в сферу высших умственных интересов, подсовывать ему научные книги для чтения (помнится, я ему рекомендовал популярную «Историю философии» Льюиса) большого успеха не имели. Фруг учился больше от жизни, чем от книг. Слава поэта не избавляла его от материальной нужды. Все, что для него делали еврейские «филантропы» в Петербурге, сводилось к 25 рублям месячного жалованья, которое ему платили за какую-то синекуру в бюро еврейского Общества просвещения, да и это пособие скоро прекратилось. Его знакомства в кругах русских литераторов не шли дальше случайных встреч или совместных выпивок в ресторанах. Фруг бывал на еженедельных журфиксах известного фотографа Константина Шапи́ро¹⁷², поэта-гебраиста и невольного выкреста, в квартире которого на Невском проспекте собирались представители русского искусства и литературы, но и там культ Бахуса спорил с культом Аполлона. Поздно ночью Фруг возвращался домой, и я спросонья слышал, как он возился в своей каморке, рядом с моей комнатой; на другой день он поздно вставал в состоянии «катценляммер». Вообще мой сосед редко бывал дома, редко сосредоточивался, и тем не менее поэтическая мысль в нем зрела и крепла. Нельзя было не поддаваться обаянию нашего певца народной скорби, столь родственного по настроению своему сверстнику, русскому певцу мировой скорби, Надсону¹⁷³, блестящему метеору того времени.

Мои боевые статьи о реформах появились в печати только осенью 1883 г., так как вследствие отъезда редактора летние книги журнала сильно запоздали. В обществе они произвели впечатление революционных прокламаций. К Ландау явилась депутация в лице д-ра А. Гаркави, профессора Н. Бакста¹⁷⁴ и еще кого-то из официального круга барона Гинцбурга¹⁷⁵ и заявила ему о нежелательности появления такой резкой критики еврейского быта при нынешнем господстве юдофобии в правительстве. Редактор «Гамелица» Цедербаум открыл против меня кампанию в длинном ряде статей под боевым заглавием «За нас ли ты или за наших врагов?» («Га'лану ата им ле'царену?», в «Гамелице» зимою 1883/84 г.). Он был возмущен не только моими крайними идеями, но и тем, что я его лично задел: в одном месте моей статьи я указал как на пример ханжества на его протест против устройства еврейских публичных обедов в нееврейских ресторанах и заявил, что подобные демонстрации скорее унижают иудаизм, низводя его до роли «религии кухни». Вслед за редактором «Гамелица» на меня накидывались его сотрудники: меня приобщали к «новоизраильтянам» из секты Прилукера (хотя я в своих статьях отмежевался от этих карьеристов реформы) и употребляли такие выражения, как «Прилукеры, Дубновы и все еврейские антисемиты». Выступил против меня с большой полемической статьей и почтенный одесский публицист М. Г. Моргулис¹⁷⁶ («Самоосвобождение и самоотречение», в журнале «Еврейское обозре-

ние», 1884 г., кн. 5), тот самый, с которым мне позже суждено было поменяться ролями в борьбе по национальному вопросу. Ругал меня также в набожной берлинской газете «Юдише прессе» ее петербургский корреспондент Ф. Гец¹⁷⁷, тогда вечный студент университета и белая ворона: крайний ортодокс среди вольнодумной молодежи. Среди моих знакомых редко кто сочувствовал моим крайним идеям. Только Богров, застав меня в свою банковскую келью, пожимал мне руку и благодарил за смелое выступление против «мракобесов». Но он уже слишком упрощал вопрос: надо вообще поменьше афишировать свое еврейство. «Вот, — говорил он, — я, например, получаю среди газет «Русский еврей» — к чему такое заглавие? Принимающий почту швейцар на лестнице сейчас заметит, что тут еврей живет. А ведь у меня и так много неприятностей с полицией из-за права жительства». Это показало мне, как могут быть истолкованы иногда мои идеальные стремления.

Не всеам тогда было известно, что выступивший открыто «враг народа» в то же время написал, под псевдонимом (С. Мстиславский), статью в защиту еврейской эмансипации. С начала 1883 г. заседала в Петербурге назначенная Александром III «Высшая комиссия по еврейскому вопросу» под руководством графа Палена¹⁷⁸. В комиссию, призванную разрешить еврейский вопрос в России, поступали многочисленные записки и от сторонников, и от противников равноправия. Я решил напомнить обществу об одной исторической аналогии в этой области. В парижском «Журнале еврейской науки» (Revue des études juives) появились архивные материалы о французской комиссии, разбиравшей в 1787 г. конкурсные записки на тему: следует ли дать равноправие евреям. На основании этих документов я в своей статье («Комиссия по еврейскому вопросу во Франции», в октябрьской книжке «Восхода» 1883) дал картину эмансипационной борьбы накануне великой революции и выдвинул заслуги гуманистов Грегуара¹⁷⁹ и Тьерри¹⁸⁰. Официозная ищейка, газета «Новое время» почуяла в моей статье попытку воздействовать на членов паленской комиссии и забила тревогу. Тотчас после появления книжки «Восхода» с моей статьей была напечатана в «Новом времени» явно инспирированная редакционная статья, где меня упрекали в том, что я так подробно и любовно изложил содержание записок сторонников эмансипации и почти игнорировал противников, причем газета для сведения русской комиссии цитировала из моего же изложения некоторые мнения юдофобских участников конкурса. Мой псевдоним, впрочем, был раскрыт в сведущих кругах, и скоро мне было поручено составить записку для прямого воздействия на паленскую комиссию, о чем расскажу в следующей главе.

Глава 18

Борьба за право (1884)

Публицистическая трилогия, вторая часть: «Последнее слово подсудимого еврейства». Экстернус и пафос борьбы за право. — Записка по истории законодательства о евреях в России для «Высшей комиссии по еврейскому вопросу». — Таинственная организация для подачи таких записок. Лесков, Антонович. — Судьба моей записки: исчезновение и открытие ее спустя 36 лет. — Анонимный защитник и открытый обличитель. — Моя опала и четырехлетнее писание под псевдонимами. — Приготовления к отъезду из Петербурга: мысль о домашнем университете. — Религиозный брак и трагизм вольнодумца среди верующих. — Фруг, Богров. — Отъезд в Мстиславль.

Когда я писал «Самозмансипацию», я, конечно, сознавал, что не одними религиозными реформами будет разрешен еврейский вопрос. Уже тогда мелькал в уме план публицистической трилогии: реформа иудаизма, гражданская эмансипация,

реформа воспитания. В начале 1884 г. я принялся за вторую часть трилогии, за трактат о гражданской эмансипации. Так как в то время заседал ареопаг высших государственных сановников, упомянутая «Высшая комиссия по еврейскому вопросу», то я озаглавил свою работу «Последнее слово подсудимого еврейства» с прибавлением motto из Цицерона: «Их молчание есть крик» (*Cum tacent, clamant*). Сравнительно благоприятные для «Восхода» цензурные условия давали мне возможность высказать много смелой правды о политике русского правительства в еврейском вопросе. Указав на то, что русских евреев посадили на скамью подсудимых именно после учиненных над ними погромов и что суд первой инстанции уже приговорил их к наказанию в виде «Временных правил», я поставил иронический вопрос: что сделает с подсудимыми высшая инстанция, паленская комиссия, отменит ли она строгое наказание, постигшее евреев за участие их, в качестве объектов, в юнорусских погромах?

Для моего тогдашнего настроения «вне стоящего» характерны следующие слова во вступлении к первой статье: «Евреев несправедливо угнетают... и этого достаточно, чтобы за них сражался всякий, кто имеет сердце и стремится к водворению справедливого и полезного. Для этого вовсе не нужно быть евреем-националистом или иметь какое-либо другое влечение к евреям, кроме влечения человека к людям страдающим... Автор этих строк считает нужным заявить, что он не присяжный защитник еврейства, что ни в его убеждениях, ни в мотивах, побуждающих его говорить за евреев, нет ничего такого, что могло бы его заставить специально защищать людей еврейской веры или нации как таковых». Эти холодные слова несомненно исходили не из сердца, а из доктринерского ума, как и демонстративный псевдоним под статьей: Экстернус, Посторонний. Кто прочтет мое «Последнее слово», растянувшееся в четырех книжках «Восхода» (1884, № 1, 5, 11, 12), заметит под оболочкой диалектики страстный протест не человека со стороны, а страдающего еврея. Конечно, здесь говорил еврей, в котором гуманизм не мог мирно ужиться с национализмом или «коллективным эгоизмом» (теория коллективного индивидуализма открылась мне гораздо позже). Говорилось о «гражданской ассимиляции», но на предложение ассимиляции религиозной был дан гордый ответ: «Пока существует Голгофа, имеет право существовать и Синай». Как позитивист, я верил, что когда-нибудь исчезнут обе эти вершины теологического мышления, но допускал, что в новой «религии человечества» этические элементы иудаизма займут видное место. В последних главах «Последнего слова», печатавшихся к концу года, из-под маски «Постороннего» все явственнее выглядывает гневное лицо еврея, обличающего политику русского правительства по отношению к его братьям.

В начале 1884 г. ко мне таинственно явился господин, назвавшийся «русским» присяжным поверенным П. А. Розенбергом¹⁸¹ (его считали крещеным евреем), и предложил мне участвовать в работе группы лиц, желающих оказать воздействие на паленскую комиссию путем внесения туда записок в пользу евреев. Из его намеков и дальнейших переговоров я вынес впечатление, что он действует по поручению некоторых еврейских нотаблей столицы, из круга барона Гинцбурга и банкира Зака, которые решили привлечь нескольких литераторов для составления таких записок. Предлагалось внести пять записок: 1) по истории эмансипации евреев в Западной Европе, 2) по истории законодательства о евреях в России, 3) о быте и нравах евреев, 4) о погромах и репрессиях последних лет, 5) о способах разрешения еврейского вопроса. На первую тему взялся писать старый критик радикального журнала «Современник» М. А. Антонович¹⁸², вторая была предложена мне, третья была уже составлена Н. С. Лесковым, четвертая -- неизвестным мне лицом, а последняя записка готовилась в форме коллективного труда. Общая юридическая редакция записок возлагалась на В. А. Бильбасова¹⁸³, которого посредник Розенберг титуловал обер-секретарем Сената. Все записки должны быть анонимны. Гонорар за них уплачивается через посредника. Мой гонорар был определен в 500 рублей за

несколько печатных листов. Предо мною были уже две записки: Лескова о еврейском быте и анонима о погромах и репрессиях. Последняя, большой гектографированный фолиант, была прекрасно составлена и раскрывала много тайн правительственных канцелярий. Но работа Лескова, напечатанная в 50 экземплярах в виде брошюры, была очень плоха: мало знакомый с еврейским бытом автор дал ряд фельетонных рассуждений о том, что нет специфических еврейских недостатков, но есть специфические добродетели: трезвость, твердость семейных устоев и т. п. То была вымученная апология, за которую Лесков, как я слышал, получил 1000 рублей. Он сам не придавал серьезного значения своему изданию, в чем я убедился из частых бесед с ним в это время. Лучшее впечатление производил лично Бильбасов, хотя и его компетенция по еврейскому вопросу была сомнительна. С Антоновичем я не познакомился: бывший боевой публицист, соратник Чернышевского¹⁸⁴ служил в государственном банке и жил замкнуто. Его записка была соединена с моей, как две части истории еврейского вопроса.

Я принялся за работу с намерением изобразить в спокойном, подобающем официальному меморандуму тоне историю упражнений русских законодателей над евреями. Мои главные источники, «Хронологический сборник законов о евреях» Леванды¹⁸⁵ и книги Ильи Оршанского, дали мне достаточный материал для исторического обзора. Я разделил этот материал на три эпохи: законодательство от присоединения Малороссии к Москве до разделов Польши (1654—1772), эпоха трех разделов (1772—1801) и XIX в. Путем систематизации материала и подчеркивания особенно одиозных репрессий я старался преподнести русским сановникам ясную картину того, что их предшественники проделывали над попавшим под их власть народом. Записка моя составлялась в течение трех месяцев и достигла солидного объема; в апреле я ее закончил и сдал Розенбергу. Тот передал ее на просмотр Антоновичу с тем, чтобы она печаталась потом вместе с его запискою в виде книги в двух частях. Уезжая в конце апреля из Петербурга, я взял с Розенберга слово, что он мне пришлет корректурные листы моей работы. Но вот прошло лето, наступила осень, а от Розенберга нет никаких вестей. Наконец в ноябре получилась от него странное письмо: рукописи обеих частей книги были представлены им Цензурному комитету, но тот запретил их печатать и даже постановил уничтожить рукописный оригинал; он, Розенберг, будто бы обжаловал это решение во всех инстанциях: Главном управлении по делам печати, Министерстве внутренних дел и Комитете министров, но везде получил отказ. Я не мог представить себе, чтобы моя написанная в умеренном тоне официальная записка могла подать повод к такому инквизиционному решению. Недоумевал я потому, что Розенберг мог ведь подать записки в комиссию в рукописных копиях и одну из них прислать мне. Я таким образом имел полное основание подозревать ловкого посредника в обмане: не присвоил ли он себе наши труды для того, чтобы выдать за свои и заработать на этом? Так как у меня не было никакой копии от моей записки, я считал ее потерянною. Только со стороны доносились до меня слухи, что безыменная записка с таким содержанием имеется в архиве паленской комиссии.

Прошло 36 лет. В феврале 1920 г. я посетил в Петербурге Г. Б. Слиозберга¹⁸⁶ накануне его бегства из большевистской России, и тут он показал мне среди хранящихся у него остатков архива барона Гинцбурга один том в изящном сфьяновом переплете с вытисненным золотом заглавием: «Исторический очерк правового положения евреев в Западной Европе и в России». Оказалось, что это тщательно сделанная гектографическая копия анонимного сочинения в двух частях, из которых первая (с. 7—281) трактует о Западе, вторая (285—563) о России. В последней я узнал свою пропавшую записку, и только в некоторых местах, особенно в начале и конце, заметил чужие вставки. Не было сомнения, что первая часть принадлежа-

* Обширные извлечения из нее напечатаны мною в «Еврейской старине» 1909 г.

ла перу Антоновича, который скомпилировал ее довольно удачно из сочинений Греца и западной эмансипационной литературы. Ловкий посредник Розенберг, очевидно, в свое время передал обе записки в тайный комитет барона Гинцбурга, который изготовил несколько копий с них для раздачи членам паленской комиссии; оставшаяся в архиве барона копия попала к Слиозбергу и от него через 36 лет ко мне... Исполнили ли обе записки свою миссию, в какой мере повлияли они на членов комиссии, решавшей судьбу евреев, и на тот сравнительно либеральный проект, который был предложен большинством членов, но отвергнут Александром III? Кто теперь ответит на этот вопрос после того, как уже вымерло все то «поколение пустыни» 80-х годов?..

Так прошли для меня первые месяцы 1884 г. в борьбе за право. Под опущенным забралом велась эта борьба, под непроницаемым псевдонимом в «Последнем слове подсудимого» и анонимно в официальной записке. Немногие только знали, что этот адвокат «подсудимого еврейства» тождествен с тем обличителем старого порядка еврейской жизни, который за свой призыв к культурной самоэмансипации подвергся общественной опале. Опала постигла не только меня, но и «Восход». Та депутация нотаблей, которая выразила редактору Ландау порицание за помещение моей бунтарской статьи, очевидно, дала ему понять, что в дальнейшем от этого могут пострадать интересы журнала; были, как я позже узнал, протесты и из среды подписчиков. Ландау поэтому решил, с моего согласия, чтобы я в течение некоторого времени не подписывал своих статей полным именем. Отныне в течение четырех лет (1884—1887) в «Восходе» не появилась ни одна статья под моим именем, между тем как почти в каждой книжке журнала продолжали печататься мои статьи в разных отделах. Все печаталось под псевдонимами или инициалами: Мстиславский, Экстернус (один раз), Критикус, С. Д., Д. С., С. М. О прекращении или даже сокращении моего сотрудничества в «Восходе» не могло быть и речи. Когда я весною сообщил Ландау о моем решении поселиться временно в провинции и сократить работу в журнале, он пришел в ужас: он намеревался передать мне редактирование журнала на время своих летних поездок за границу.

А я тогда готовился надолго покинуть Петербург. Я устал от напряженной литературной работы в одной специальной области, отвлекавшей меня от общих проблем. Не находил я удовлетворения и в ограниченном круге петербургских друзей. Меня тянуло в тишину провинции, где я мог бы большую часть времени отдавать усвоению знаний, а меньшую литературной работе. Тут у меня всплыла давнишняя мечта, идея домашнего университета. Я вообще тратил на покупку книг значительную часть своего литературного гонорара, а когда сразу получил большой гонорар за официальную записку, я около половины его ассигновал на приобретение научной библиотеки, специально подобранной для моих систематических занятий. С этим книжным багажом я решил поехать в родной Мстиславль и поселиться там с женою на год или больше. Но тут возник вопрос об узаконении нашего брака, так как без этого в провинциальном городе, среди родных и знакомых, наша совместная жизнь была бы невозможна.

С мыслью о религиозной церемонии бракосочетания я долго не мог примириться. После тяжелой внутренней борьбы пришлось уступить, выбрав наименьшее зло: мы решили совершить церемонию в частной квартире, в присутствии требуемого законом минимума свидетелей. Я просил знакомого петербургского раввина д-ра Драбкина¹⁸⁷, которого я крайне удивил своим отношением к религиозному браку, прислать какого-нибудь незначительного служителя синагоги для совершения обряда в будничной обстановке, но он, как бы назло мне, прислал известного духовного раввина Ландау¹⁸⁸, главаря ортодоксов в столичной общине. Церемония совершилась весьма неторжественно в квартире моих родственников Эмануилов¹⁸⁹, в присутствии приказчиков из соседнего еврейского магазина. Я нарочно не приглашал никого из своих друзей, чтобы они не были свидетелями моей

измены убеждениям; даже живший со мною рядом Фруг не знал о тайне, и только потом, случайно услышав об этом от проболтавшейся родственницы, иронически поздравил меня. На другой день после церемонии моя жена, с надлежащею отчеткою новой фамилии в паспорте, уехала в Мстиславль, чтобы приготовить там особую квартиру для нас.

Вопрос о квартире и вообще об образе жизни в родном городе представлял наибольшие трудности. Как жить крайнему вольнодумцу, отрицающему все религиозные обряды и самое посещение синагоги, среди близких людей, вся жизнь которых связана с обрядом? Я предвидел тяжелые конфликты, но я сам назвал бы себя трусом, если бы отступил в борьбе за свободу совести. Мы решили поселиться в отдельной квартире, подальше от еврейского центра, чтобы любопытные не заглядывали к нам для наблюдения, работаем ли мы в субботу, едим ли «кошер» и т. п. В провинциальном городе отыскать такую обитель было нелегко, но после долгих поисков жене удалось нанять часть квартиры с отдельным ходом у одинокой русской дамы. В тот момент, в пылу борьбы за право на свободомыслие, я еще не отдавал себе отчета во всем трагизме того положения, в какое я ставил себя и окружающих своим смелым решением, но предо мною витали образы Ахера, Дакосты и Спинозы, и я сказал себе: будь тверд в своих убеждениях, как твои противники в своих!..

Весь апрель прошел в ликвидации петербургских работ. Спешно дописывал срочные статьи для «Восхода», закупал книги для моей «университетской» библиотеки, прощался с друзьями. Много времени проводил в обществе моего соседа Фруга, который тоже собирался ехать на родной юг. Один его питерский почитатель, богатый адвокат Тиктин¹⁹⁰, взял на себя расходы по изданию его первого собрания стихотворений и выдал ему авансом 500 рублей, чтобы он мог в тиши родной колонии приготовить к печати свою книгу. Мы оба радовались как школьники пред каникулами: вырваться из душной столицы на простор родных полей было нашей мечтою.

Тяжелое впечатление произвело на меня прощание с Богровым. Он тогда печатал в «Восходе» свою странную повесть «Маниак», направленную против палестинофилов. И в этой работе и в самом авторе чувствовался уже старческий мажорам. Он затронул в беседе со мною вопрос о жизни вольнодумца среди евреев провинциального города. «Ведь если бы я там умер, — говорил он с горечью, — они бы меня не хоронили на своем кладбище, а закопали бы где-нибудь возле забора, как грешника». Увы, ему не суждено было умереть среди евреев и даже умереть евреем. Через год дошел до меня слух о смерти Богрова в деревне, где он жил в усадьбе своей русской жены. Говорили, что незадолго до смерти он принял крещение, чтобы избавиться от неприятностей со стороны полиции, которая стесняла его в праве жительства (в силу «Временных правил» еврей не имел права вновь поселиться в деревне). Психическим толчком к этому шагу несомненно послужило то, что он чувствовал себя отверженным от своего народа, между тем как единственным близким ему человеком была русская женщина.

В последний день апреля 1884 г. я вместе с Фругом покинул Петербург. Он уезжал на юг, в колонию Херсонской губернии, а я в глухой город Белоруссии. После двухдневной езды по железной дороге, я сел в «буду» еврейского извозчика и шестьдесят верст тащился по мягкой дороге, среди оживших лесов и свежевспаханых полей, под очаровательным майским небом, которое как бы сулило мне покой и тихий труд после лихорадочной работы в столице. В полдень 3 мая я приехал в Мстиславль. На углу одной улицы нашу повозку остановила женщина: ко мне навстречу вышла моя мать и села рядом, чтобы довезти меня до новой квартиры. Добрая женщина радовалась возвращению сына к родным пенатам, не зная, что эти пенаты давно уже перестали быть для него богами-покровителями, что он стал Ахером, иным.

Глава 19

Ахер в родном городе. Домашний университет (1884—1885)

Родная среда и внутреннее отчуждение. — Летний отдых, природа и поэзия, скрытый романтизм. — Критические статьи: «Еврейский Некрасов» (Л. Гордон) и новая атака против старого режима; мировая и национальная религия. — Конец «Последнего слова подсудимого еврейства». — Отшельник среди родных. Беседа с дедом накануне «страшных дней», пророчество старца. Два мира, двое учителей, две аудитории. — Домашний университет: учебный план по классификации наук Конта и Спенсера. — «Система логики» Милля и энциклопедии права; история, социология, философия, литература. — Конец публицистической трилогии: статья о реформе воспитания. Продолжение опалы. — Патер фамилиас, болезнь глаз и печальные думы. — Этуд «Религиозные поверия». — Возвращение брата из Палестины и страстные споры националиста с космополитом. — Мои упражнения в ремесле. — Первая трещина в моем мирозерцании. — Отъезд в Петербург.

Давно уже не испытывал я всю прелесть весеннего дня, как в тот майский полдень 1884 г., когда после трех кислых петербургских весен я увидел расцвет природы в родном городе. Я подъехал к невысокому деревянному домику с огородом и садом, с мило улыбающимися цветами в окнах. На крыльце встретила меня вся сияющая в лучах солнца жена и ввела в чистенькие две комнаты со скромным убранством русского мещанского жилища. За стеною послышался плач ребенка и убаюкиванье матери. Там были комнаты хозяйки, молодой русской женщины, которую, по городской молве, соблазнил один помещик и затем бросил, оставив ей на память «плод любви несчастной». Каждый раз, когда я потом встречался с этой прекрасной в своей грусти женщиной, мне казалось, что она стыдится своего положения безмужней с грудным ребенком на руках и завидует нашему «законному» семейному счастью. Действительно, это была светлая пора в нашей жизни, нечто вроде медового месяца, которого у нас не было в мрачном Петербурге. На короткое время мы устроили себе уютное гнездо в этом русском доме, где любопытные глаза не могли следить за нашим религиозным поведением. Мы только, для упрощения хозяйства и устранения разных пересудов, отказались от домашней кухни и ходили обедать к теще. Однако толки и пересуды в городе не прекращались. Молодожен, не посещающий синагоги даже по субботам и не соблюдающий других религиозных обрядов, был исключительным явлением в благочестивой общине. Вокруг нашего дома вертелись любопытные, старались заглядывать в окна, зажжены ли свечи в пятничный вечер, не пишут ли в субботу. Помнится, была даже попытка бросить камень в наше окно, но в общем все обходилось благополучно.

В то лето я отдыхал: для печати писал меньше, к исполнению «университетской» программы еще не приступал, а больше читал по литературе, древней и новой. Я носился тогда с идеей слияния поэзии и философии в таком порядке, что поэзия начинается там, где кончается научная философия, где последняя доходит до грани непознаваемого. Я, в сущности, присваивал поэзии функцию религии в области непознаваемого, а потому предъявлял к ней слишком строгие требования: чтобы она была идейною, поэзией мировых проблем или мировой скорби. Символом единения философии и поэзии были для меня соединенные портреты Милля и Шелли, стоявшие на моем письменном столе в течение ряда лет. «Фауст» Гете, «начинающийся трагедией ума и кончающийся трагедией чувства» (по моей характеристике в одной тогдашней записи), лирика Виктора Гюго, Байрона и Шелли, «Война и мир» Толстого, даже обыкновенные психологические и социальные романы казались мне достойными внимания, но чистая «беллетристика» предназначалась для толпы, неспособной к научному и философскому мышлению. Помню, что пышные похороны Тургенева в Петербурге в августе 1883 г., на которых я при-

существовал, навели меня на мысль, что толпа может чествовать только романтистов или артистов, но не деятелей науки и великих мыслителей. В своих тогдашних записях я развивал эту мысль в крайней форме, доходя до полного отрицания эмоциональной поэзии. Скоро, однако, я убедился, что я сам гораздо более романтически настроен, чем думал. В те летние дни я позволил себе баловство: перечитывал повести Тургенева и романы Гончарова, которые в ранней юности читал без должного внимания. Однажды, дочитав «Несчастную» Тургенева, я уткнулся лицом в подушку и заплакал. В комнате никого не было, но я стыдился своих слез, низводящих меня на уровень толпы и сентиментальных барышень. И все же это было для меня уроком: я понял, что нельзя так резко разграничить области Разума и Эмоции, что истинно художественное произведение, даже без определенной идейной подкладки, может служить таким же источником глубоких размышлений, как хороший философский трактат. И я уже не стыдил себя, когда вслед затем с волнением читал удивительный роман «Обрыв» Гончарова, от которого в течение двух недель не мог оторваться.

Позже лирическая поэзия, в особенности лирика природы, до такой степени захватила меня, что я на прогулках редко расставался с томиком любимого поэта. Моим любимейшим поэтом стал Виктор Гюго, который так гармонически сочетал в своих произведениях чистую лирику с поэзией мировых проблем и восхищал меня своими блестящими антитезами. Зато я оставался совершенно равнодушным к театру, особенно драматическому. В Петербурге я крайне редко посещал театральные представления, убежденный в том, что актеры не дадут мне более того, что дает мне сам автор при чтении его драмы, что, например, для понимания Шекспира я не нуждаюсь в комментариях даже гениального актера. Более трогала меня музыка (помню потрясающее действие «Гугенотов» Мейербера), но искусственная обстановка поющих героев в операх отталкивала меня своей внутренней фальшью. Впоследствии я оставался чуждым театру и вообще всяким зрелищам по простой причине: у меня почти никогда не было таких моментов душевной пустоты, от которой люди бегут в театр, и на упреки друзей я шуточно отвечал, что во мне самом происходят постоянные драмы, преимущественно комедия и трагедия всемирной истории. Оправдание своим «странным» взглядам я нашел в трактате гениальнейшего художника Льва Толстого «Что такое искусство?». Творчество Толстого наиболее отвечало моему идеалу юности: сочетание поэзии и философии, эпоса и этики.

В течение лета 1884 г. я написал лишь пару критических статей для «Восхода». Одна была посвящена оценке поэзии Льва Гордона по случаю выхода собрания его стихотворений. Заглавие «Еврейский Некрасов» определяло мое отношение к поэту: я превозносил его обличительные и реформаторские стихотворения, но отмечал слабость его чистой лирики. Характерно, что в тех местах, где мои замечания не были особенно благоприятны для поэта, редакция в подстрочных примечаниях возражала критику («Восход», 1884, кн. 7). Я знал секрет этой антикритики: рукопись или корректуру моей статьи Ландау передал Гордону и, вопреки литературной этике, позволил ему снабдить ее возражениями от имени редакции. По существу, однако, мой отзыв был хвалебный: я восторгался историческими поэмами и «современными эпопеями», где поэт страстно обличает недостатки древнего и нового иудаизма. Я сочувственно комментировал тот монолог в поэме «Седекия в темнице», где несчастный иудейский царь возмущается оппортунизмом пророка Иеремии, который требовал подчинения вавилонскому деспоту и в осажденном Иерусалиме призывал к соблюдению субботнего покоя. «Слепец духовными глазами прозревает будущее: он видит, как в дали веков Свобода Иудеи рушится и на ее месте воздвигается всеохватывающий Закон; он видит народ поголовно книжный, поголовно набожный; но приниженный, рабопенный и презираемый». Какой круг должно было проделать мое историческое мышление, чтобы через несколько лет прийти к идее «духовной нации» и позже к совершенно иной оценке личности Ие-

ремии!.. Я, конечно, был в полном единомыслии с Гордоном, когда разбирал его современную поэму «Коцо шел иод», эту страстную филиппику против раввинского формализма и буквоедства.

В другой критической статье, по поводу лекций голландского теолога Куэнена¹⁹¹ «Народная и мировая религия» («Восход», кн. 9), я впервые коснулся одной из важных проблем еврейской истории: насколько иудаизм подходит под категорию универсальной религии? Тогда я выражал сожаление, что в момент возникновения христианства иудаизм уступил ему свою роль универсальной религии в духе пророков и сам отделился от всего мира, сквав себя броней фарисейства. Позже эта мысль, пройдя через ряд исторических проверок, вылилась у меня в более точную формулу: «иудаизм представлял собою универсальную религию в потенции и национальную в действительности». Лилиенблюм возражал в «Гамелице» против мыслей, высказанных мною в рецензии книги Куэнена.

В августе 1884 г. дописал я последние главы «Последнего слова подсудимого еврейства». Для того времени это была смелая апология с довольно резкою критикою политики русского правительства (я, например, оправдывал уклонение евреев от воинской повинности доводом об эквивалентности гражданских прав и обязанностей).

После этого я решил сделать продолжительный перерыв в своей литературной работе и отдаться всецело занятиям в своем домашнем университете. Для этого нужно было создать подходящую обстановку уединения и полного покоя. Выяснилось, что наша маленькая семья, в которой ожидалось приращение, не сможет остаться на зиму в двух комнатках чужой квартиры. Для нас была отремонтирована фасадная половина в большом доме моей тещи, вдовы Фрейдаиной, жившей там с своей второй, незамужней дочерью. К началу сентября мы переместились в эту квартиру, просторные три комнаты с окнами на одну из центральных улиц. Тут пришлось мне согласовать свое решение вести уединенную жизнь свободомыслящего с необходимостью жить среди родных; и я вынужден был в силу своего тогдашнего настроения совершать поступки, которые я тогда считал подвигом, а позже находил слишком суровыми по отношению к близким. Я совершенно отделил нашу половину дома от другой половины, где жила теща и где я показывался лишь в часе общего обеда. Я создавал вокруг себя атмосферу отчуждения, ибо при малейшем сближении были бы неизбежны посягательства на свободу моей совести и тяжелые конфликты. Один эпизод, врезавшийся в мою память на всю жизнь, может дать представление о трагизме моего тогдашнего положения.

Дед мой Бенцион был тогда еще жив. 80-летний старец по-прежнему читал свой тамудический «шиур». Прошло десять лет с тех пор, как я сидел рядом с ним на синагогальной скамье, целая вечность для меня, превратившегося за это время из верного Элиши в отступника Ахера. Знал ли дед точно об этом превращении? К счастью для него, он не мог читать мои мятежные статьи, где я отвергал все святое для него, но со стороны он мог кое-что узнать о моей проповеди религиозных реформ. Мой постоянно странствующий отец читал направленные против меня полемические статьи в «Гамелице» и мягко укорял меня в письмах, что я зашел так далеко и компрометирую славное имя Дубновых; но после моего ответа он убедился, что я не «еврейский антисемит», и успокоился на мысли, что я одновременно выступаю защитником народных интересов против враждебного мира. Он едва ли поведал свои тревоги деду, не желал его расстроить. В то лето отца по обыкновению не было в Мстиславле, я встречался только с матерью и сестрами и изредка навещал деда. Близились «страшные дни» суда и покаяния, Рош-гашана и Йом-киппур. Моих родных, видимо, сильно волновал вопрос, как я буду себя вести в эти дни, приду ли на богослужение в синагогу, облаченный в таллес, или проведу их дома за работою, посылая тем вызов Богу и всему еврейскому обществу. Моя

смирненная мать не смела задавать мне этот вопрос, но излила свою душу перед дедам и просила его повлиять на меня.

Однажды, незадолго до праздников, дед попросил меня к себе. Я явился. Он сел против меня и спросил, где я намерен молиться в праздники. Я ему отвечал, стараясь по возможности щадить его религиозное чувство, что я еще не решил этого вопроса, что у меня нет необходимой для женатого молитвенной принадлежности: таллеса. На его вопрос: почему? — я ответил в духе реформистов, что эти уборы установлены не Торой, а устным учением, а потому не имеют обязательной силы основных законов. Сказать старцу, что я отрицаю и «основные законы», я не решился: это был бы слишком сильный удар для него. Но и сказанного было довольно. Высокая фигура деда как-то согнулась, голова ниже опустилась на грудь. Он встал и молча ходил взад и вперед по комнате. Несколько минут длилось тяжелое молчание. Вдруг он остановился против меня и сказал проникновенным голосом, в котором звучала бесконечная скорбь: «Шимон, придет время, когда ты скажешь вместе с пророком: Пойду и вернусь к моему первому мужу, ибо лучше было мне тогда, чем теперь». Этот стих пророка Гошеи (II, 9), который предупреждает увлекшуюся языческими богами израильскую нацию, что она разочаруется в них и когда-нибудь вернется к истинному Богу, был произнесен с тем грустным напевом, с каким читают пророков в хедерах. До сих пор звучит в моих ушах этот вещей голос и стоит перед глазами эта высокая фигура, которая в дни детства очаровывала меня как образ первосвященника в храме. Слова деда оказались пророческими лишь наполовину: увлечение новыми богами с течением времени ослабло, но я уже не мог себе вернуть счастье детской веры. Я продолжал искать путь к правде и позже нашел его в историческом синтезе старого и нового еврейства.

Так разошлись мы окончательно, представители двух мирозозерцаний: неподвижного векового тезиса и мятежного антитезиса. И город древнего благочестия я увидел небывалое: внук духовного вождя общины, рабби Бенциона, не посетил синагоги ни в Рош-гашана, ни в Иом-киппур, когда даже самые «плохие евреи» присутствуют при богослужении. В те самые дни, когда у амвона синагоги звучала мольба престарелого «посла общины», адвоката перед небесным судом, его внук дерзко отказывался явиться в суд. Ахер стоял одиноко, в стороне от паствы верующих, вне синагоги, которая вся содрогалась от рыданий кающихся братьев. Было ли легко на душе Ахеру? Назорей свободомыслия, он не мог нарушить свой обет в угоду кому бы то ни было, не мог войти в дом молитвы и притворяться беседующим с Богом, существования которого не признавал, или, во всяком случае, не признавал Его доступным беседе. Ахер рассуждал так: они обязаны соблюдать законы своей религии, пока веруют, я соблюдаю свою религию позитивизма, пока убежден в ее истинности; иначе мир наполнится ложью: ложной религиозностью, притворными убеждениями, и пропадет великий смысл жизни, заключающийся в искреннем искании истины. Иногда я спрашивал себя: не лучше ли уступить, чтобы не оскорбить религиозное чувство других, — но тут же отвечал себе: значит, ты будешь кривить душой и постоянно притворяться из жалости. Я ведь и себя не жалел: если бы не авторитет деда в городе, меня бы забросали камнями на улице. Многие провожали меня недобрыми взглядами, когда я ходил по улицам в субботу с палкой в руке, заходил в почтовую контору или гулял по городскому бульвару в часы праздничного богослужения. Изредка мальчишки кричали мне вслед: «С палкою в субботу!», «Апикойрес!..» Во всей губернии распространялись слухи о мстиславском Ахере; позже, когда меня постигла продолжительная болезнь глаз, повсюду говорили об отступнике, наказанном слепотою.

Таким образом, с осени 1884 г. в тихом провинциальном городе наблюдалась такая картина: на двух параллельных улицах сидели в своих кабинетах, среди шкафов с книгами, дед и внук; один занимался мудростью Талмуда и раввинов и передавал ее своей аудиторией, другой столь же ревностно углублялся в новую муд-

рость века и имел свою далекую аудиторию, более обширную, с которой говорил при посредстве печатного станка. Оба жили как назорей, исполнители строгого обета, каждый со своим смыслом жизни, интеллектуально различным, этически одинаковым. Шесть лет длилось такое положение, глубокий трагизм которого я теперь больше понимаю, чем тогда, ибо потом наблюдал еще новые смены поколений «отцов и детей».

С 1 сентября я стал выполнять свой университетский план, рассчитанный в первом цикле на один год. Он был построен на контовской классификации наук с поправками Спенсера. Каждый день я должен был заниматься пятью предметами из следующих дисциплин: математика, естествознание, социология со включением истории, философия со включением психологии и логики, литература на разных языках. Я себе назначил 13-часовой рабочий день. Я замкнулся в просторном кабинете, где некогда находилась просвещавшая меня кружковая библиотека сестер Фрейдлиных, а теперь приютилась моя собственная разнообразная библиотека. На письменном столе красовались в рамках портреты двух любимцев: Милля и Шелли, строгого мыслителя с орлиным взором и нежного поэта, сочетавшего в себе мечтателя и мятежника. Едва ли я выдержал режим 13-часового рабочего дня, но во всяком случае работал я очень много, хотя и с неодинаковым успехом в различных областях. Заметные успехи были достигнуты в социальных и философских науках.

С особенною любовью изучал я «Систему логики» Милля, в ее английском оригинале (я не доверял русскому переводу). Я составлял подробный конспект ее, кое-где с моими замечаниями, доведенный почти до конца третьей книги (об Индукции)*. Так как «Логика» Милля является, в сущности, общим введением в науку и в философию, то она давала мне бесконечный материал для размышлений. Тонкий анализ «чувствований как состояний сознания» ввел меня в психологию. Центральная часть книги, индуктивная логика, приводила меня в восторг, в особенности классическая глава о законе причинности. Много мыслей вызвал во мне параграф об отношении закона причинности к теории сохранения сил или превращения энергии, развитой Робертом Майером, современником Милля; я приводил это в связь с эволюционной теорией Спенсера, который в своей «синтетической философии» казался мне творцом нового аристотелизма. Помню ясный зимний день, когда разгоряченный этими мыслями я бродил по тихим улицам города и думал: не нашел ли я здесь замены утраченной мною веры в бессмертие? Если сотканная с материей душа есть совокупность сил и способностей, потенциальной и кинетической энергии, то ведь «не весь я умру» в обороте космических сил. Позже мысль о безбрежном космосе и миллионах лет доисторической жизни заморозила мою новую веру, но некоторое время она грела мою душу.

Из социальных наук я сильно заинтересовался энциклопедией права и общим государственным правом, которые я изучал по классическим тогда курсам Моля и Блюччи¹⁹². Поля обеих книг были испещрены моими замечаниями, так как они вызвали во мне рой мыслей, как многое из того, что я тогда изучал. Всемирную историю я повторял по огромному труду Шлоссера¹⁹³, который, конечно, меня не удовлетворял; я охотно уходил от него к монографиям. Прекрасная книга Фюстель де Куланжа «La Cité antique» ввела меня в социальный строй античного мира. Английские эволюционисты Леббок, Тэйлор и другие раскрыли предо мною область первобытной культуры, отправной точки синтетической философии Спенсера. Социология Спенсера была у меня настольною книгою; я готовился изучать его Биологию и Психологию. Его «Данные этики» внесли корректив в миллевский утилитаризм, который раньше был для меня догмой. Написанная в позитивистском духе

* Предо мною еще и теперь лежит компактное американское издание «Логики» в одном большом томе, страницы которого испещрены моими карандашными пометами. Сохранился и конспект первой половины книги.

«История философии» Льюиса¹⁹⁴ была для меня главным руководством в этой области, ибо к немецким руководствам я относился недоверчиво. Большая «История новой философии» Куно Фишера¹⁹⁵ заменяла мне трудные тексты Канта и его преемников. Я много читал по древним и новым литературам. Читал одновременно Новый Завет в греческом оригинале и «Жизнь Иисуса» Ренана. Обширная «Жизнь Гете» Льюиса рассеяла мое юношеское предубеждение против великого поэта, навеянное политическою критикою Берне. Гейне и Гюго, Байрон и Шелли были в то время моими любимейшими поэтами.

Я искал уединения, но тут почувствовал его оборотную сторону: одиночество. В провинциальной глуши не с кем было делиться мыслями, порожденными во мне непрерывным чтением, а урожай таких мыслей был обилен. «Сколько раз, — записывал я тогда, — восторженное Эврика мыслителя раздается среди пустых четырех стен! Если разделенная радость есть удвоенная радость, то разделенная мысль — уменьшенная мысль. Но немногим такое счастье выпадает на долю».

В декабре 1884 г. я временно прервал свои занятия в домашнем университете, чтобы написать давно задуманную третью часть моей публицистической трилогии: статью о реформе воспитания. Статья была проникнута тем же духом радикализма, как и статьи о религиозных реформах, но тон ее не был так резок. Отрицательные стороны старого хедерного воспитания были обобщены в одном выводе: «Если бы в отдаленном будущем явился археолог, который не имел бы пред собой других документов о состоянии русских евреев в XIX веке, кроме сведений о хедерах, то он должен был бы сделать такое изумительное для своих современников открытие: в XIX столетии в государстве российском жило трехмиллионное племя, у которого все дети мужского пола готовились в богословы». До сих пор не могу забыть того глубокого волнения, с каким писалось лирическое заключение о хедерах: «Тысячами детских тюрем усеяно все пространство черты оседлости. Там совершаются преступления великое: избивание младенцев, убийство духа и плоти. Изнуренные, бледные существа выходят оттуда. Они не знали детства, эти несчастные маленькие люди. Им незнакома ширь полей, свежесть лугов, глубь синих небес. Между четырьмя стенами, в душной атмосфере, в непосильном умственном напряжении, под палкою невежды протекали их лучшие детские годы. Там чудовищная вавилонская мудрость насильственно вбивалась в детские умишки. Ничего не сообщали им о действительном мире, о природе, о жизни, а все о мире загробном, о смерти, о заповедях, об аде и рае». Та сердечная боль, с которою писались эти строки, где воспроизведены односторонне лишь темные впечатления моей хедерной жизни, пусть принята будет во внимание при суждении о предложенном мною суровом проекте школьной реформы: закрытие хедеров и замена их общеобразовательными еврейскими школами, автоматическое упразднение меламедов в том же порядке, как были упразднены старые извозчики в мостах, где проходит железная дорога. На этот раз редактор «Восхода» Ландау испугался моего радикализма. Он держал у себя рукопись несколько месяцев, а когда наконец пустил ее в книжках журнала (май—июль 1885), то оказалось, что опущено мое вступление, где установлена связь этой статьи с предыдущими частями трилогии, особенно с еретической статьей о религиозных реформах, затем имя опального автора заменено обратными инициалами (Д. С.), а в одном месте красовалось примечание редакции о неосуществимости моего радикального плана школьной реформы. Было ясно, что это сделано под давлением того круга нотаблей, который в свое время сделал предостережение издателю «Восхода» по поводу моих статей, а также для успокоения протестовавших подписчиков журнала. Статья о реформе воспитания была, впрочем, последнею в моей публицистике эпохи антитезиса: вскоре наступил перелом в моем миросозерцании.

Отдав дань литературной работе, я вернулся к моему энциклопедическому плану самообразования. Я горячо принялся за продолжение начатых курсов наук. Но

в феврале у меня внезапно заболели глаза, очевидно утомленные непрерывным чтением. Наступил невольный отдых. Жена читала мне книги и новые журналы. Однажды, после вечера, проведенного в чтении новой книги «Вестника Европы», мы ушли спать. Посреди ночи сон был прерван вознею и шумом: у жены близились роды, появились женщины, поднялась суматоха. На другое утро меня позвали в комнату роженицы и поздравили с рождением дочери (24 февраля ст. ст.). Нерадостны были следующие дни. Я сидел в своем полутемном кабинете, где по совету провинциального лекаря были закрыты ставни для защиты глаз от лучей солнца, теща у меня не было, и я по целым дням думал, думал... Думал о том, что вот я уже глава семьи и должен заботиться о ее устройстве, между тем как наше материальное положение очень шатко. Снова запрятаться в постоянное сотрудничество в «Восходе» мне не хотелось. Я никогда не мирился с писанием для заработка и готов был скорее, по примеру Спинозы, заниматься ручным трудом для добывания средств к жизни, лишь бы быть свободным в выборе умственных занятий. Но ведь Спиноза не имел жены и детей, и как тогда мне казалось, хорошо сделал: человеку духовного обета, может быть, было бы лучше не обзавестись семьей.

Настала весна. Тишина моего ученого гнезда была нарушена. Обе половины дома, моя и семейная, были соединены. Кругом шум и та особенная сутолока, которую вносит в дом новорожденный. Я замкнулся в своем кабинете и работал. В мае я писал первые главы обширного исследования «Религиозные поверия еврейского народа», где задался целью применить эволюционную теорию Спенсера, Тэйлора и Леббока¹⁹⁶ к еврейскому фольклору. Я старался проследить развитие народных поверий во всей еврейской литературе, начиная с Талмуда и кончая мистикой последних веков. В первой серии статей, напечатанной под псевдонимом Мстиславский (в «Восходе» конца 1885-го и начала 1886 г.), я успел изложить только один цикл поверий: о смерти и загробной жизни. На этот раз я удержался в рамках спокойного научного исследования и лишь изредка впадал в тон обличителя «суеверий». Это одна из первых моих статей раннего периода, которую я ныне разрешил бы перепечатать с необходимыми поправками в собрании своих сочинений.

Мой энциклопедический план занятий окончательно расстроился. До лета 1885 г. он был выполнен едва на одну треть. Переутомленный, я отдыхал в кругу семьи и приехавших гостей. Вернулся из Палестины после трехлетнего отсутствия мой брат Вольф, один из пионеров колонизации, не выдержавший тяжести земледельческого труда в пустынной стране. В течение этих трех лет он мне писал пространные письма о первых шагах палестинских пионеров*, а теперь он стоял предо мною, разочарованный в быстром успехе палестинской колонизации, но ставший там убежденным националистом. В жаркие летние дни у нас шли жаркие споры о национализме и космополитизме, но помнится мне, что в моих возражениях чувствовался уже какой-то надлом, предвестник кризиса. К нашим спорам внимательно прислушивался гостивший у нас гимназист из Варшавы, племянник моей жены Рувим (Роберт) Зайчик¹⁹⁷, который через несколько лет покинул Россию и позже приобрел известность в немецкой литературе, дойдя до крайних пределов космополитизма и индивидуализма (о нем речь еще впереди).

Во время моего летнего отдыха я попытался осуществить одну свою давнишнюю мечту. Упомянутый выше пример Спинозы, спенсеровская теория о гармонии умственного и физического воспитания, наконец новая проповедь Толстого об «опрощении» воскресили во мне увлекавший меня раньше идеал «близости к природе» Руссо. Я решил приучиться к физическому труду. Пригласил столяра учить меня

* Извлечения из них я напечатал в «Еврейской старине» 1915 г., под заглавием «Письма билульца». Упоминаемое там часто имя под инициалом Б. обозначает И. Белкинда¹⁹⁸, одного из основателей партии Билу, которого я в последний раз видел во время его приезда в Берлин, где он заболел и умер в 1929 г.

токарному делу. Он перевез в мою квартиру большой верстак, который мне установили на стеклянной веранде нашего дома. Началось обучение. Точить готовые куски дерева на станке я скоро научился, но готовить эти куски, рубить колоду или доску, распиливать, обстругивать и обтесывать — это давалось мне трудно. И через пару недель я бросил эту работу, уплатив учителю за уроки. Он, по-видимому, рассчитывал извлечь большую выгоду из странной прихоти писателя, пожелавшего стать ремесленником, и решился потребовать крупную сумму через суд, но суд отказал в несправедливом иске. Таким образом, к моей репутации вольнодумца прибавилась слава чудака. Вот стою во дворе и усердно распиливаю доску. Приходит к теще богатый деревенский еврей, имевший с ней дела, останавливается против меня и смотрит с улыбкой, как будто говоря: да ты, милый человек, не с ума ли сошел? Наконец нерешительно подходит ко мне и с хитрой усмешкой говорит: «Охота вам заниматься работой, которую любой Иван может делать!» Мое объяснение, что всякий человек обязан заниматься также физическим трудом, только усилило его недоумение, и он отошел, качая головой. После неудачи с токарным делом, я стал заниматься переплетом книг. На той же веранде устроился мой учитель-переплетчик со своими примитивными инструментами, и мы вместе стали переплетать книги моей библиотеки. Я скоро научился делать простые коленкоровые переплеты, купил пресс, круглый нож и другие орудия и упражнялся в этом ремесле в свободные от умственных занятий часы. Плодом моих упражнений была значительная группа книг в моей библиотеке, мною же переплетенных.

Но и это разнообразие труда не устранило обуявшей меня глубокой тоски. Что-то оборвалось в душе, какая-то трещина прошла через мое мирозерцание, и через нее ворвалась тревога. Как некогда у меня возникло сомнение в Вере, так теперь зародилось сомнение во всемогуществе Разума. Позитивизм, везде ставивший рогатки моему мышлению, начал стеснять меня; мой умственный организм вырос из узкого костюма. То было лишь слабое начало душевного кризиса, который вскоре развился под влиянием внешних перемен в моей жизни. Летом 1885 г. во мне созрело решение оставить свой домашний университет, уехать в Петербург и возобновить там постоянную литературную работу. Я мог ехать один, оставляя семью в Мстиславле до тех пор, пока не будет обеспечена наша семейная жизнь в столице. Я взял с собою большую часть своей библиотеки, надеясь продолжать в Петербурге прерванные «энциклопедические» занятия. В один пасмурный августовский день я попрощался с семьей и родными, вышел из стен своего кабинета-монастыря, сел в «буду» знакомого еврейского извозчика и уехал к далекой станции железной дороги.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ВРЕМЯ РЕЗИГНАЦИИ
(Мстиславль—Петербург, 1885—1890)

Глава 20

Глазная болезнь и внутренний кризис (1885—1886)

Опять в Петербурге. — Полночь реакции. Замороженная Россия. — Опасность для «Восхода», продолжение моей опалы. — Статья об антисемитском трактате Эдуарда Гартмана. — Мои критические обзоры. «Среди крайностей». — Монография об Иммануиле Роми. — Поэтическая слава Фруга и его «заботы суетного света». — Мои споры с Флексером-Вольнским о немецкой философии. — Симптомы идейного кризиса. — Болезнь глаз. Раздумье о пройденных фазах мышления: скептицизм рационалиста после скептицизма верующего. Курс юридических наук вместе с Вольнским. Иов и Когелет. — На гипнотических сеансах. — Признаки резигнации в статьях о Момзене, Ренане и рассказах Францоа. Колебания в вопросе о «жаргоне». — Отъезд в провинцию. — «Зачем отравили вы песню мою?»

Была середина 80-х годов, полночь русской реакции. Когда я пятью годами раньше впервые приехал в Петербург, были сумерки эпохи реформ; вскоре пошла уже полоса контрреформ Александра III, а теперь ступилась тьма. Александр III исполнил завет идеолога реакции Константина Леонтьева¹⁹⁹: «заморозить Россию», чтобы убить в ней зародыши прогресса. Россия была заморожена так, что в ней не чувствовалось никакого движения в общественной атмосфере. Замерла жизнь и в еврейском обществе. То было время, о котором Фруг писал (стихотворение «Осенью», 1885 г.):

*Эти ночи без звезд и без бури, эти дни без теней и лазури,
Мой народ, как похожи они на печальные годы твои!..
Все поникло кругом, помертвело, как средь диких пустынных равнин.
Зарыдал бы хоть кто-нибудь смело, застонал бы хоть громко один!..*

В Петербурге не было никаких еврейских организаций, кроме Общества просвещения евреев, которое представляло собою тогда только благотворительную кассу при конторе барона Гинцбурга для помощи еврейским студентам. Горацкий Гинцбург был всееврейским «штадланом» перед русским правительством²⁰⁰. Когда грозила какая-нибудь «гзейра», новая репрессия, он собирал у себя в кабинете нескольких еврейских нотаблей и совещался с ними, а затем его секретарь Эмануил Левин²⁰¹ сочинял записку на имя того или другого министра с доказательствами, как вредно отразились бы новые правоограничения на положении евреев и даже всей России.

Когда я в середине августа 1885 г. возвратился в Петербург, я нашел его более унылым, чем за 15 месяцев перед тем, когда я его оставил. Наши маленькие литературные кружки находились в состоянии развала. Тот общественный подъем, который в конце 70-х годов вызвал к жизни ряд новых органов русско-еврейской пе-

чати, теперь упал. Давно уже угас «Рассвет», а «Русский еврей» еле дотянул до конца 1884 г. Уцелел только «Восход» в обоих изданиях, еженедельном и ежемесячном, но и над ним висел дамоклов меч цензуры после данных ему министром двух предостережений за «вредное направление», то есть за критику мер правительства против евреев. Выходил еще еженедельник на древнееврейском языке «Гамелиц» и на жаргоне «Фолксблат»²⁰². Бывший редактор «Русского еврея» Л. О. Кантор готовил новинку: первую ежедневную газету на древнееврейском языке «Гаиом»²⁰³. Во время моего отсутствия, когда я лишь изредка писал для критического отдела «Восхода», меня заменял там Кантор, который теперь должен был уступить мне это место.

В редакции «Восхода» я в момент приезда застал д-ра Самуила Осиповича Грузенберга²⁰⁴. Он незадолго перед тем кончил курс в Военно-медицинской академии, но мало занимался врачебной практикой: его тянуло к публицистике, и он надолго утвердился в «Недельной хронике Восхода» как обозреватель политической жизни западного еврейства; он писал свои «заграничные хроники» в духе западной ассимиляции. Вместе с тем он сделался деятельным помощником Ландау в редактировании еженедельника и впоследствии часто заменял редактора в летние месяцы. Теперь он передавал мне петербургские новости последнего времени. Когда Ландау вернулся из летнего курорта, я узнал еще одну новость: что в провинции до сих пор не простили «Восходу» допущения моей статьи о религиозных реформах и что журнал потерял из-за этого около 500 подписчиков. Тем не менее Ландау просил меня о возобновлении постоянного сотрудничества в ежемесячнике, в историческом и критическом отделах.

После долгого перерыва я горячо взялся за работу. В те дни в юдофобском официозе «Новое время» почти ежедневно печатался на видном месте перевод только что появившейся книги немецкого философа Эдуарда Гартмана²⁰⁵ «Еврейство в настоящем и будущем». Статья модного философа, выступившего теоретиком антисемитизма, производила большое впечатление на русскую публику. Основной тезис Гартмана заключался в том, что «племенное чувство» евреев несовместимо с национально-государственным чувством господствующих наций. Прочитав немецкий оригинал книги, я написал о ней статью (под псевдонимом С. Мстиславский, «Восход», 1885, кн. 9—10), в которой я исторически обосновал «племенное чувство» евреев в области культурной и тем сделал первое, хотя и незначительное, отступление от моего прежнего идеала космополитизма. Я привел взгляды Гартмана по еврейскому вопросу в связи с его «философией бессознательного», с его отрицанием индивидуальной свободы и утверждением принципа государственного принуждения. Этим я установил реакционный характер его социальных идей и родство их с агрессивным национализмом. Просматривая теперь свою статью о Гартмане, я замечаю в ней признаки большой зрелости мысли в сравнении с моими предыдущими публицистическими статьями.

Такой же прогресс нахожу и в возобновившихся статьях Критикуса в отделе «Литературная летопись». В последних книгах «Восхода» за 1885 г. я впервые приветствовал издававшиеся Н. Соколовым²⁰⁶ в Варшаве большие литературные ежегодники «Гаасиф», положившие начало серьезной журналистике на древнееврейском языке; обратил внимание на юмористические бытовые картины Натана Самуэли²⁰⁷ из жизни галицийских евреев, на первые социальные романы из еврейской жизни в России и Галиции, наконец, на крайние течения в самом русском еврействе. В статье «Среди крайностей» (кн. 12) я разоблачил одесского «реформиста» Прилукера, который скоро превратился в христианского миссионера в Лондоне, но тогда еще пытался провести свою миссию контрабандой, под видом защиты христианского принципа «альтруизма» против иудейского «эгоизма»; я поймал этого контрабандиста с поличным, и за это он горько сетовал на меня в прогрессивном русском журнале «Неделя» Гайдебурова²⁰⁸ (1886, № 19). Прилуке-

ру я указал прямой путь к юродивому проповеднику иудео-христианской веры в Кишиневе, Иосифу Рабиновичу²⁰⁹, автору сумбурной книжки проповедей. От последнего я демонстративно перешел к консервативной книжке «Что такое еврейство» Ф. Геца, который в немецко-еврейской прессе продолжал громить мой реформизм. В своей книжке он пытался провести еврейскую национальную идею под покровом религиозной миссии в раввинском духе. А я в своей критике дал анализ понятия «миссия», различая провиденциальную априорную миссию и реальную апостериорную, то есть историческую роль данного народа в развитии человечества. Я еще предостерегал против смешения в понятии «еврейство» еврейского народа и иудаизма: «Еврейский народ имеет резон д'этр не потому, что его имеет иудаизм, а потому, что право на существование естественно должна иметь каждая исторически сложившаяся группа, не преследующая вредных для общества целей». Вообще мой критический метод углубился в сравнении с прежним, но я теперь считаю недопустимым резкий полемический тон моих статей, который тогда очень нравился моим коллегам и многим читателям, кроме, конечно, задетых им авторов. Это было последнее воинствующей русской критики предыдущей эпохи.

Меня вновь потянуло к научной работе, но я все еще колебался между общими и еврейскими темами. Характерным для моего тогдашнего настроения было то, что я одновременно думал о двух совершенно различных сюжетах, универсальном и еврейском: о жизни французского энциклопедиста XVIII в. Кондорсе²¹⁰ и его теории бесконечного прогресса человеческого рода (перфекционизм) и о развитии еврейской мистики от каббалы до хасидизма. Кончилось тем, что я выбрал нейтральную тему: об Иммануиле Роми²¹¹, современнике Данта и метеоре итальянского Ренессанса. Я с увлечением читал материалы и писал эту монографию о «средневековом Гейне»; многие цитаты из его любовной лирики я перевел белыми стихами на русский язык. Тон статьи был бодрый и местами даже игривый. Это было последнее проявление бодрости накануне постигшего меня душевного кризиса. Статья писалась в первой половине декабря 1885 г. (печаталась позже, под инициалами С. Д., в «Восходе», 1886 г., кн. 3—4), а к концу месяца меня оторвала от работы тяжелая глазная болезнь.

В ту петербургскую зиму я, несмотря на упорную работу, вовсе не жил анахоретом. Я часто встречался с друзьями и литературными коллегами. Живя близко к редакции «Восхода», я почти ежедневно ходил с Средней Подьяческой улицы через Львиный мостик над Екатерининским каналом на Офицерскую, где находилась редакция. Обыкновенно являлся я туда утром, сдавал рукописи в набор, возвращал исправленные корректуры и брал новые, получал поступившие в редакцию новые книги для рецензии. В то время я вновь стал исправлять рукописи сотрудников по научному отделу; и за эту редакторскую работу Ландау повысил мой полистный гонорар за собственные статьи с 35 рублей на 40. Как бы рано я ни являлся, я всегда заставал Ландау работающим стоя за пультом: то пишет передовицу для ближайшего номера «Недельной хроники», то читает корректурные гранки, которые ему приносит метранпаж из находящейся в нижнем этаже типографии, читает и исправляет рукописи, проверяет конторские счета. Помню темные зимние утра, когда я заставал его работающим при лампе и разбирающим денежные пакеты, получавшиеся в подписной сезон перед новым годом от провинциальных подписчиков (почтовые переводы тогда еще не были введены); он, бывало, просит меня помогать ему в этой работе, и мы оба сидим за длинным столом, заваленным конвертами с сургучными печатями, вскрываем их, вынимаем оттуда и складываем в отдельные пачки бумажные деньги, а письма с адресами особо. Мы при этом, конечно, беседовали, но беседы по душе трудно было вести с этим замкнутым деловым человеком, который целый день работал, а вечер проводил в клубе, где с увлечением играл в карты (о его победах или поражениях в игре ходили легенды, как и о русском поэте Некрасове, тоже увлекавшемся карточной игрой).

Моим частым собеседником был Фруг, живший тоже поблизости, на Офицерской улице. Фруг тогда находился на вершине своей славы. Только что появившийся первый сборник его стихотворений вызвал хвалебные отзывы еврейской и русской критики. Соредактор крупнейшего русского ежемесячника «Вестник Европы», К. Арсеньев²¹², в статье «Поэты двух поколений» поставил Фруга рядом с Полонским и Надсоном как преемниками Некрасова. Я тогда сильно увлекался поэзией мировой скорби юного, преждевременно умершего Надсона, как и поэзией народной скорби Фруга, и находил психологически правильным это сближение двух поэтов, из которых один был евреем по содержанию своего творчества, а другой носил в себе духовное наследие еврейских предков.

Похвалы критики, однако, имели для Фруга более отрицательные, чем положительные последствия: он стал «модным» поэтом, которого приглашали к сотрудничеству в разных русских журналах, и часто писал как хороший стихотворец, а не как вдохновенный поэт. В легковесном ежемесячнике «Новь» Вольфа появлялись в каждой книге его стихотворения, преимущественно на библейские темы, и среди прекрасных вещей там попадались и слабые. Расширение связей с русской литературной богемой тоже не пошло ему впрок. В одном из моих частных писем того времени нахожу такую характеристику: «Фруг в „Нови“ получает за строчку 50 копеек. Живет привольно. Бывает обязательно на царскосельских скачках, в „Ливадии“ и „Аркадии“ (загородные увеселительные места), вообще кружится в вихре света. Славный и добрый он по-прежнему, только немного бы ему умственного развития». И тем не менее я часто был свидетелем того, как в душе поэта, погруженной в «заботы суетного света», разгорался огонь вдохновения, как тосковал он по родным полям на камнях столичной мостовой. Помню, пришел я к нему однажды утром, после публичного вечера, где он декламировал свои стихи. На столе перед ним лежал исписанный лист бумаги, и он с жаром прочел мне новое стихотворение:

*Рассказать вам, как я в первый раз полюбил?..
 Рассказать вам? — О здесь ли, под стонами вьюг,
 В этой тьме, беспросветно царящей вокруг,
 Здесь ли песни моей на свободе звучать?..
 Там, где я полюбил, там, где песня моя
 Зазвучала впервые, кля и звеня,
 Там нельзя не любить и нельзя там не петь.
 Широко развернулся там нестрый ковер
 Изумрудных полей, серебристых озер,
 И по вольному полю, свободен, широк,
 Разливается песни звенящий поток...
 Рассказать вам? — О здесь ли, в стенах этих зал,
 Где дух скуки мертвящей ревниво собрал
 Ваш блестящий, ваш гордый, ваш избранный круг,
 Чтoб убить хоть на миг бесконечный досуг, —
 Здесь, где любят от скуки, скучают в любви,
 Здесь ли песни моей на свободе звучать?
 Вам ли песню, свободную песню понять?*

В другой раз я его застал пишущим свое идейное стихотворение «В капище». Сын «религии любви» пришел в античный храм с его упраздненными гранитными идолами и слышит иронический вопрос: вот прошел уже длинный ряд веков с тех пор, как люди оставили наш храм и ушли в другой, где царит иной Бог, «Бог мира и любви», — счастливы ли они там?

...Там у вас, скажи, умолк ли плач и стон,
 Рассеян ли кошмар бессилья и сомненья?..
 Скажи, ведь люди там давно уже познали,
 Чем сделать жизнь свою и шире и полней.
 Какие ж там должны поля цвести! Какие
 Долины зеленеть, сады благоухать,
 И песни звонкие, свободные, живые,
 В тех рощах и полях рождаться и звучать!
 Скажи... Но что с тобой? Зачем в тоске бесплодной
 Ты голову склонил, вздыхая и грустя?
 Ты стонешь... Где? Пред кем? Ты, гордый и свободный,
 Ты слезы льешь... На что? На камень наш холодный!..
 О, бедный человек! О, бедное дитя!..

Такими намеками можно было тогда, под гнетом церковной цензуры, выразить сомнение в спасительности «любеобильной» господствующей религии.

Иные разговоры шли у меня с юным Акимом Львовичем Флексером, с которым я и Фруг часто встречались в это время, когда он еще не достиг известности под псевдонимом Вольнский²¹³. Он был тогда студентом последнего курса юридического факультета, но уже усердно занимался философией, и с уст его не сходило имя Спинозы. Он написал университетскую работу на тему о «Теологико-политическом трактате» и хотел опубликовать ее в «Восходе». Ландау отдал рукопись на просмотр Гаркави, а потом присылал мне корректуры для стилистических поправок, так как юный Флексер писал еще неумело, тем цветистым, порою туманным стилем, который он усовершенствовал в своих позднейших трудах. Я часто встречался с ним в ту пору, и мы много спорили о преимуществах английской и немецкой философии, так как я был сторонником первой, а он последней. Я укорял его за «немецкую» туманность мышления. Уже давно пугала меня немецкая философия, особенно гегельянская, тем, что я теперь назвал бы инфляцией слов, а тогда формулировал более элементарно в одной записи после подобных споров: «В мире обращается так много лишних слов, что положительно страшно становится. Значение, авторитет слова, кредит его непременно должны уменьшаться (при таком изобилии), подобно тому как стоимость кредитных билетов терется по мере того, как ими в излишестве переполняется рынок. Слово — кредитный билет по отношению к выражаемой им идее. В мире идей также возможны финансовые крахи, и я не знаю здесь лучшего двойника Джона Лоу, чем Гегеля. Словесный потоп погубит мысль. Где же спасительный ковчег?» Приверженец ясного позитивного мышления, я больше всего боялся той «мозговой паутины» (Hirngesprinst), которую так усердно ткали философские пауки в Германии. Меня пугала немецкая софистика, развившаяся после Канта, как греческая софистика после Сократа.

Осенью 1885 г. я снова углубился в чтение. Просиживал подолгу в Публичной библиотеке, читал все новинки по интересующим меня философским проблемам. Глаза заболели от чрезмерного напряжения, и в часы невольного перерыва я предавался размышлениям, которые толкали меня дальше по пути идейного кризиса, начавшегося еще предыдущим летом в Мстиславле. С этого времени стал я вести постоянный дневник, где записывал волновавшие меня думы. Я хотел предположить записям дневника отчет о предшествующих годах, когда я не вел регулярных записей, но вместо того набросал только краткий хронологический конспект пержитого с детства, пометив внизу: «Это немой камень над могилою моей 25-летней жизни. Камень ничего не говорит, но ведь „мое сердце здесь похоронено“» (фраза Байрона). В первых же записях (23—26 дек. 1885) я отметил пройденные мною четыре фазиса мирозерцания: правоверие, очищенная вера, деизм, позитивизм, и

указал на начинающийся фазис скептицизма. «Характер моего теперешнего скептицизма пока еще не вполне выяснился. В общем подкладка его чисто эмоциональная. Существенные его черты следующие: жажда веры, неудовлетворяемая вполне позитивистскою „религией человечества“; безотрадные мысли о непостижимости важнейших тайн бытия, волнующих ум вопреки запрещению позитивизма; сомнение в нравственном прогрессе человечества».

Я искал утешения в работе, близкой к этим проблемам, и остановился на биографии философской романистки Джордж Элиот²¹⁴, для которой в тот момент появились обширные материалы в виде писем и дневников писательницы. В конце декабря я купил четыре томика этой книги в издании Таухница и погрузился в чтение, но тут произошел такой припадок глазной болезни, что я не на шутку испугался. Новогодняя запись моего дневника (1 янв. 1886) гласит: «Углубился бы в чтение, чтобы забыть обо всем, но много читать не позволяю глазу. Танталовы муки!» С этого момента потянулась полоса самая мучительная в моей жизни. Глазная болезнь, сильнейшая боль в висках после нескольких минут чтения ничего хорошего не предвещали. Врачи-специалисты, к которым я обратился, не могли поставить точный диагноз. Старый петербургский окулист Магавли прописал мне лечение электричеством, и его ассистент проводил электрический ток через мои глазные мышцы, но облегчения не было. Врач предлагал сделать операцию, но я не решался на это. Первые четыре месяца 1886 г. были для меня временем сплошных мук. Я перестал ходить в Публичную библиотеку, да и в своей домашней библиотеке я не мог прочесть несколько страниц в книге без мучительной боли. Писать было легче, но часто приходилось писать с полузакрытыми глазами. Чтецы были у меня случайные и редкие. Только один из них оказал мне существенную помощь в это трудное время.

Я тогда очень подружился с Флексером-Волинским, который был моложе меня на два года. Он жил в большой нужде на скудную студенческую стипендию, которую получал в университете, и на редкий литературный заработок; из своего заработка он еще должен был посылать своей жене в Житомир, так как еще студентом первого курса влюбился, женился и скоро стал отцом. Я старался доставить ему работу в «Восходе», уступал ему разные книги для рецензии и в минуты острой нужды поддерживал его маленькими займами. В то время Флексер уже отходил от своего раннего увлечения палестинофильством и даже в еврейской литературе чувствовал себя как-то чужим, так как не мог читать еврейские книги в подлинниках: его сильно тянуло в общерусскую литературу, куда он через несколько лет и проник с шумом и треском. В ту зиму, о которой сейчас пишу, он готовился к окончательному университетскому экзамену по юридическому факультету, и вот мы условились готовиться вместе, так чтобы мне приходилось поменьше читать. Несколько месяцев мы занимались курсом юридических наук и прошли следующие предметы: международное право (по обширному учебнику Мартенса), римское право, общее уголовное право и история русского права (по Сергеевичу). Занимались мы по несколько часов в день таким образом: Флексер читает вслух параграф из учебника и затем пересказывает его, после него я пересказываю то же самое, причем мы друг другу поправляем ошибки или пропуски в пересказе. То был отличный способ усвоения предмета.

Но вне этих часов, когда я оставался один, было очень тяжело. Бывало, прочту несколько строк из книги и вынужден прекратить вследствие головной боли, шагаю часами по комнате и предаюсь мрачным размышлениям. Мною овладевало настроение Иова. Я подробно обдумывал план работы на тему «Иов и Когелет: пессимизм и скептицизм в Библии». Этот план зрел во мне потом в течение многих лет, и я жалею, что мне не удалось его осуществить. Вообще я много думал тогда о психологических и этических основаниях пессимизма и обобщил их в следующей схеме:

1. Непознаваемое: ощущение бесконечного без возможности его познания; при-
сущее человеку стремление к бесконечному, неосуществимое при его конечной
природе.

2. Борьба чувства и разума, физической и духовной природы в человеке.

3. Борьба за существование, где часто побеждает не нравственно, а физически
силнейший.

4. Страдание есть мерило жизни; счастье есть лишь уменьшенное страдание.
Вместо принципа «суммум бонум» (наибольшее счастье) утилитаризма нужно было
бы установить «минимум малум» (наименьшее зло).

Бывали жуткие минуты, когда мне казалось необходимым сделать практический
вывод из моей любимой тогда строфы Байрона:

*Count over the joys thine hours have seen,
Count over the days from anguish free,
And know, whatever thou hast been,
It is something better not to be*^{*}.

В эти дни глубокого раздумья я подвергал пересмотру все свое мирозерцание.
Я стоял в ужасе перед темной бездной жизни. Я был во власти «страха пустоты»,
который владел мною в этот промежуток между одной частью полной жизни и
другую, которую еще предстояло наполнить.

Стараясь поменьше оставаться дома с своими думами, я по вечерам чаще ходил
к знакомым. Театр и теперь меня не привлекал (я как-то раз был на представлении
«Уриеля Акосты» Гуцкова, но оно не много прибавило к моему впечатлению
от чтения драмы). Бывал я в это время, между прочим, у журналиста А. Е. Кауф-
мана, который как соредактор «Новостей» сообщал мне такие политические ново-
сти, которые в силу цензурных условий не подлежали оглашению, а также разные
общественные и литературные слухи, ходившие по Петербургу. В его квартире я
присутствовал при сеансе знаменитого гипнотизера О. Фельдмана, который тогда
удивлял своими опытами «внушения» весь Петербург. В один зимний вечер в квар-
тире Кауфмана в Максимилиановском переулке собралась порядочная группа вра-
чей, журналистов и писателей, перед которыми Фельдман демонстрировал свои
опыты. «Чародей» в нашем присутствии усыпил пришедшую туда девушку и сделал
ее слепой исполнительницей своих велений. Он проделал над нею опыты анестезии,
прокалывал руки булавками без кровотечения, анестезированное туловище держалось
горизонтально в воздухе, упираясь только кончиками головы и ног в края
двух стульев. Однако когда Фельдман пытался усыпить другую даму из гостей, ко-
торая казалась ему несколько истеричною, ему внушение не удалось. В другой ве-
чер он дал сеанс «мантевизма» (отгадывания мыслей) в квартире Фруга, тоже в
присутствии врачей и журналистов. В одном случае я был «индуктором», то есть я
задумал одну вещь в другой комнате, а он держал меня за руку и водил меня
по комнатам, пока не подошел к задуманной мною вещи. Молодой Фельдман был
тогда студентом Одесского университета и хотел поехать в Париж, чтобы там
изучить гипнотизм под руководством знаменитого психиатра Шарко; для сбора
средств на эту поездку он устраивал свои публичные сеансы.

Внутренний кризис зрел во мне под покровом страданий, скептицизма и пес-
симизма. Мой брат правильно оценил одну из причин моей депрессии, когда
доказывал мне в своих длиннейших письмах, что отвлеченная любовь к человече-
ству отнимает у меня счастье конкретной любви к своему народу, что я неудов-
летворен работою для одного народа из-за безбрежных притязаний работы для
всех народов.

^{*} «Сосчитай все радостные часы твоей жизни, сосчитай дни, свободные от тревог, и познаешь, что,
чем бы ты ни был, тебе лучше всего вовсе не быть».

Действительно, во мне началась тогда борьба центростремительной силы с прежней центробежной, национального принципа с космополитическим. Искание новых путей, пока еще робкое, нерешительное, сказалось в ряде моих критических статей того времени. В январской книжке «Восхода» 1886 г. я разбираю известную главу о Иудее в пятом томе «Римской истории» Момзена²¹⁵, который тогда появился в оригинале и в русском переводе. Я отметил односторонность римско-государственной точки зрения Момзена при оценке национального восстания древней Иудеи, реабилитировал zelотов и их борьбу за независимость против римского патриотизма нового Тацита; я нашел даже «смягчающее вину обстоятельство» для фарисейского девиза «Ограждайте закон!» в том, что фарисеизм был естественной реакцией против эллинской ассимиляции. Те, кто сравнивали эту статью с моими статьями о реформах 1883 г., могли заметить этот уклон от прежнего резкого антитезиса. Сотрудник «Восхода» Бен-Ами²¹⁶, фанатик еврейского национализма, крепко ругавший меня в своих заграничных письмах к Ландау, приветствовал статью о Момзене как начало поворота в моих воззрениях. Более определенно высказался я в однородной статье о Ренане по поводу изданных в русском переводе глав о разрушении Иерусалима римлянами из 4-го тома его «Происхождения христианства». Я доказывал, что как Момзен тенденциозен в роли защитника римской государственности против иудейской национальности, так Ренан является защитником христианской «универсальной» религии против иудейской национальной. Вдобавок мне удалось уличить Ренана в противоречии: в рассмотренной книге он заявил, что после появления христианства иудейство лишилось права на существование, между тем как в своей позднейшей речи в «Обществе еврейской науки» (1883) он сказал, что иудаизм, столь много послуживший человечеству в прошлом, призван служить ему и в будущем.

Перемена в моих взглядах намечалась по отношению не только к историческому еврейству, но и к современному. В февральской книге «Восхода» я поместил статью «Трагизм еврейской жизни в рассказах Францоza» (под инициалами Д. С.), по поводу русского перевода книги «Евреи в Барнове». В те дни моей «слепоты» читанные мне вслух рассказы Францоza²¹⁷ из патриархальной галицийской жизни вызвали во мне ряд волнующих воспоминаний. Эти трагедии еврейского местечка в эпоху борьбы отцов и детей, обскурантов с просвещенными, напоминали мне мою собственную трагедию человека переходного поколения, стоящего между отцами и детьми, на пороге двух миров. И в своей статье я излил свою тоску по цельности детской веры, с одной стороны, и первому энтузиазму просвещения, с другой. Я писал эту статью с полузакрытыми глазами, в состоянии особенного экстаза. То была сплошная элегия в прозе, прощание с тихой поэзией детства и бурными порывами юности, с недавним «штурм унд дранг». То был зов к Резигнации, к душевному смиреннию: нет правых и виновных, а есть несчастные, трагические фигуры. «Все знать значит все прощать» — гласило грустное заключение моей статьи. С глубоким волнением писались последние ее строки: «Вам кажется (читая рассказы Францоza), будто после долгих скитаний вы опять посетили родной кров, увидели родные, близкие и любимые образы, услышали давно забытые, некогда волновавшие вас звуки, — и покажется вам, что вы вдруг все поняли: и прошлое, и настоящее, и смысл того и другого, и связь между ними».

Период «бури и натиска» в моей деятельности подходил к концу. Началась более взвешивая, более спокойная, историческая и психологическая оценка явлений еврейской жизни в прошлом и настоящем. Правда, и тут не обходилось без зигзагов. В критической заметке о книжке «жаргонных» стихов поэта Л. Гордона («Сихат-хулин») я сначала выразил сомнение относительно «прав еврейского жаргона на литературность и тем паче на поэтичность» ввиду того, что этот народный язык не стал еще в полном объеме литературным языком; однако само содержание книжки Гордона, его прекрасные бытовые и юмористические поэмы убедили меня,

что на народном языке можно еще писать много хорошего и даже такого, что на чужом языке лучше не скажешь. Я стоял тогда только на пути к признанию прав всеми отверженного «жаргона» во всех областях литературы.

Глазная болезнь между тем не поддавалась никакому лечению. Был план далекого путешествия с целью отвлечься от чтения и писания. Редактор «Восхода» предлагал мне поездку в Палестину с тем, чтобы потом описать свои впечатления в журнале, но общее состояние моего здоровья не допускало такого путешествия, особенно в жаркое время года. И я решил уехать на летнее время в Мстиславль, к семье, с которой был в разлуке девять месяцев. В начале мая я покинул душный Петербург и отправился «на лоно природы». Перед отъездом, когда я прощался с Фругом, он с волнением продекламировал мне из своего только что написанного стихотворения эти грустные строфы:

*Зачем отравили вы песню мою?.. На светлом просторе полей
Я вышел навстречу весеннему дню со скромною лифой моей...
Но тщетно ищу я душою больной отрады исчезнувших дней.
И стонет, и рвется струна за струной под слабой рукою моей.
Чьи-то слезы блестят, чьи-то стоны звучат:
Нам душно, нам страшно. Ты видишь ли, брат,
Как враг наш ликует кругом? Ты слышишь, как наши оковы гремят?
Мы гибнем во мраке глухом. Ни заря, ни пути, ни луча впереди.
О, зачем отравили вы песни мои?..*

Глава 21

Между провинцией и столицей (май—декабрь 1886)

У семейного очага: летний отдых, чтецы. — Посещение деда и синагоги. Размышления «блудного сына» в опустелом храме юности. Легенда о каре Божией в виде слепоты, постигшей мстиславского Ахера. — Остаток культа Берне. — «Общий взгляд на историю еврейской литературы» (по поводу книги Карпелеса) и мой тезис о параллелизме национальных и универсальных течений. — Переезд в Петербург и грозный вопрос о праве жительства. — Жизнь с Флексером-Волинским: господин и слуга, повторение «Логики» Милля; отказ в праве жительства. — Двое суток в Царском Селе и неделя нелегального пребывания в Петербурге. — Декабрьская неделя в Вильне: беседа с Левандой; статья об Аксакове. — Отъезд в Мстиславль.

Снова, как два года назад, май сиял над полями и зелеными холмами, окаймляющими Мстиславль, когда я подъезжал к нему в утренний час; но не было прежнего солнца в душе. Был только тихий огонек семейного очага, гревший окоченевшего в зимних бурях странника. Мы поселились в домике с садом, рядом с той польской семьей Сазыкиных, у которой я жил в давние летние каникулы моих учебных лет. Было шумно в квартирке с двумя малыми ребятами (незадолго до моего приезда родилась моя вторая дочь), но этот шум исцелял меня от могильной тишины петербургского уединения, где я постоянно думал о своем глазном недуге. Тут у меня были и постоянные чтецы, чередовавшиеся в работе по утолению моего духовного голода: жена, ее сестра и особенно мой брат Вольф, сам книжный червяк... Теперь я мог дать длительный отдых больным глазам. Возился с хозяйством, с малютками, участвовал в загородных прогулках, купался в родной реке.

Однажды в жаркий августовский день я пошел с братом навестить деда Бенциона. Он был уже очень стар и за последние годы явно осунулся, но продолжал чи-

тать в синагоге свои утренние лекции Талмуда перед значительно уменьшенной аудиторией. Мы посидели, больше молчали, чем говорили, ибо в душе деда и внука еще не изгладились следы боли, причиненной обоим памятною беседою в такой же августовский день двумя годами раньше. Старец, конечно, знал о моей болезни, о поражении того органа, который, по его мнению, ввел меня через чтение еретических книг в страшное неверие, но с присущим ему тактом не воспользовался этим для чтения мне религиозной проповеди. От него мы пошли в кагалную синагогу. Вне часов богослужения она теперь была пуста, исчезли иешивотники, некогда оглашавшие ее заунывными напевами текста Талмуда; только два старика тихо сидели за фолиантами в большом зале, а в малых приделах и в женском отделении учились дети в помещавшейся здесь школе, Талмуд-Торе, которым я предложил несколько вопросов о предмете их занятий. В моем дневнике нахожу следующую запись об этом посещении: «Великие и сложные чувства волновали меня, когда я осматривал синагогу, где некогда кипела жизнь, где я некогда горячо молился и плакал, с восторгом читал, усваивал новые идеи... Тогда жизнь была для меня заколдованною спящею царевною: я с восхищением смотрел на нее, я не сомневался, что будет время, когда она сделает меня счастливым. Теперь жизнь кажется мне безобразным скелетом. После осмотра синагоги мы осмотрели знакомые мне окрестности: глубокую долину и „замок“, возвышающийся над нею. Ты прав, великий Экклезиаст: „былые дни были лучше нынешних“».

В этой записи неправильно истолковано мнение библейского философа: оно приведено в книге Когелет (7, 10) лишь для того, чтобы назвать его «неумным». Меня тогда пленило сходство этой фразы с тем пророческим стихом, которым дед меня напутствовал двумя годами раньше. Исполнилось ли пророчество? Пока нет. Я заглянул в немолитвенный час в покинутую синагогу и умилился светлыми воспоминаниями детства, но вновь «горячо молиться и плакать» здесь уже не мог. Официально я оставался для верующей общины Ахером, который, подобно древнему своему прототипу, зашел в «бет-гамидраш» и как чужой расспросил детей, чем они занимаются. Те, которых интересовала судьба еретика, искренно верили, что он «за грехи» наказан лютою болезнью глаз. Об этом тогда и позже распространялось много легенд в Могилевской губернии и даже в более отдаленных местах, как мне потом передавали; шла даже молва о моей полной слепоте. С какой душевной болью думали об этом мои верующие родные!..

Мой летний отдых часто прерывался для писания очередных критических статей. По случаю столетнего юбилея рождения Берне я написал разбор новейшей его биографии (книжка Альберти²¹⁸). Здесь я снова заплатил дань своему юношескому культу Берне. Я счел своим долгом очистить его от упрека в крещении ради личных выгод и доказывал, что он это сделал ради получения свободы действия в политической борьбе и был, таким образом, марраном нового типа. Я, конечно, воспользовался случаем, чтобы сопоставить былую германскую реакцию с нашей российской и призывать к борьбе за право в духе Берне.

К концу лета я начал писать серию статей «Общий взгляд на историю еврейской литературы», по поводу появившейся тогда на немецком языке «Истории еврейской литературы» Карпелеса²¹⁹. Я проводил здесь свой основной тезис, что через всю историю еврейской литературы проходят параллельно два направления мысли: национальное и универсальное. В библейской письменности этот параллелизм проявляется в Торе и Пророках, в побиблейской — в палестинском и александрийском направлениях, в талмудической — в Галахе и Агаде (только в этике Агады), в средневековой — в раввинизме и религиозной философии и т. д. Признаком поворота в моих исторических воззрениях является то, что здесь я отмечал больше взаимодействие этих двух направлений, чем их противоположность. Даже в деятельности талмудистов я различал положительное законодательство, направленное к сохранению нации, и бесплодную схоластику. Вообще с 1886 г. в

моих работах все яснее обозначается поворот к эволюционному методу исследования истории и современности, вместо прежнего революционного.

Все эти статьи писались при очень тяжелом состоянии зрения. К осени мое настроение опять омрачилось. Назрел вопрос о переезде с семьей в Петербург, так как интенсивная литературная работа в провинции оказалась невозможной. Но как переселиться семье из трех душ в столицу, где она не имеет права жительства и где внешние условия жизни гораздо труднее, чем в провинции. В то время петербургский градоначальник Грессер²²⁰ беспощадно изгонял из столицы евреев, не имевших там бесспорного права жительства: фиктивных ремесленников и гильдейских купцов, «домашних служителей» у дипломированных лиц и тому подобных мастеров по обходу закона. Мне самому в предыдущем году удалось прожить в Петербурге спокойно только благодаря чистой случайности: мой поданный для прописки в полицейское управление паспорт затерялся в участке и не мог быть представлен градоначальнику, и чины полиции, боясь ответственности за пропажу документа, оставили меня в покое до истечения срока паспорта. Теперь же предстояла легализация жительства целой семьи. Можно ли строить ее судьбу на фикции, которая и мне самому была противна! Я решил идти прямым путем: ходатайствовать о разрешении мне жительства, как писателю, в виде изъятия из закона, но это было очень рискованно. С этими тревожными мыслями я, водворив семью на зимней квартире в Мстиславле, отправился в середине октября в Петербург.

Тут мне пришлось пережить два мучительных месяца. Тотчас по приезде выяснилось, что шансов на допущение меня в качестве писателя нет никаких. Оставалась приписка к дипломированному лицу. Мой приятель Флексер-Вольнский, недавно кончивший университет, предложил мне свои услуги: он готов приписать меня к себе в качестве служителя и даже поселиться со мною в одной квартире. Мы временно жили оба в одной комнате, в квартире моих родственников Эмануилов, на Литейном проспекте. В ожидании результата нашего ходатайства перед градоначальником, мы возобновили свои совместные занятия. На этот раз мы занялись повторением «Логики» Милля, причем наряду с текстом пользовались составленным мною когда-то конспектом.

Я в это время сделал новую безуспешную попытку лечения глаз: профессор Добровольский прописал мне призматические очки, но они мне не помогали, а на операции я все еще не решался. После месячного ожидания пришел ответ от градоначальника: отказать Флексеру в ходатайстве, так как он не представил своего университетского диплома. Но когда диплом был представлен, последовал второй отказ, уже без всяких мотивов, а просто ввиду явной фиктивности нашей комбинации. Это было в начале декабря. Мне вернули из полицейского участка мой паспорт с роковой надписью: «на выезд в 24 часа». В квартире родственников я теперь не мог оставаться, не навлекая на них полицейских репрессий, и я решил на время уехать в Царское Село. Фруг дал мне рекомендательное письмо к жившему там редактору «Вестника Европы» К. Арсеньеву, но мне не пришлось им воспользоваться.

В зимний вечер 6 декабря, когда снежная метель носилась над Петербургом и окрестностями, я приехал в Царское Село. Дачный город лежал предо мною как труп под снежным саваном, и я уныло сидел в номере гостиницы, как в одиночном заключении. Я с горечью спрашивал себя: «Гарантирован ли я здесь от беспокойства в большей степени, чем в Петербурге? Знак Каина: „еврей“ будет преследовать меня повсюду». В гостинице я прожил два дня, не посылая своего «волчьего паспорта» в полицию: иначе меня немедленно арестовали бы и выслали в черту оседлости. Два дня я бродил среди снежных сугробов Царского Села, среди пустующих дач и замкнутых дворцов с огромными парками. То был символ «замороженной России», безжизненной страны, придавленной царским режимом. Мелькнувший было план поселиться здесь, под Петербургом, на постоянное жительство быстро

исчез. Я вернулся в Петербург и, как осужденный на высылку «преступник», ночевал нелегально то у родных, то в конторе редакции «Восхода», среди тюков книг и бумаг. Помню одну такую ночь в редакции, которая тогда переместилась вместе с типографией Ландау в большой дом на площади Большого театра, на углу Офицерской. Никогда еще я так остро не чувствовал весь ужас бесправия, положения травленного человека, которого полицейские псы могут настичнуть и растерзать ему душу. После нескольких дней такой нелегальной жизни в столице, я выехал на время в Вильну, чтобы там дожидаться результата нового ходатайства Флексера об отмене отказа Грессера.

14 декабря я вновь увидел город, где за девять лет перед тем бродил юноша-странник, впервые вылетевший из родного гнезда с грузом восторженных мечтаний. Остановился в гостинице «Лондон», против городского театра. «Бродил сегодня по городу, — писал я 17 декабря, — нищета и грязь небообразимые. Но чувствуется обаяние древности. Тот одностаянный домик на Завальной улице, в котором я жил летом 1877 г., теперь предстает кучу развалин, обгороженную забором. Не то же ли случилось с моими юношескими надеждами?..» Моим спутником по Вильне был оригинальный человек, корреспондент «Хроники Восхода» Ванель²²¹. Он жил совершенным отшельником, в бедной лачуге, и ничего мне не говорил о своем прошлом, но позже я узнал, что он когда-то принадлежал к революционному кружку Арона Либермана и был знаком с русской тюрьмой и ссылкой.

Будучи в Вильне, я счел долгом посетить больного Л. О. Леванду. Меня предупредили о странностях писателя, который в последние годы замкнулся и избегал встреч с людьми, но мне хотелось видеть автора «Очерков прошлого» и «Горячего времени», барда просвещения и русификации, который на моих глазах превратился в палестинофила. Вечером, в каком-то темном переулке близ Виленской улицы, поднялся я по неосвещенной лестнице и с трудом отыскал дверь квартиры Леванды. На звонок, после короткой паузы, за дверьми послышался испуганный вопрос: кто там? Когда я назвал себя, дверь медленно открылась, и я увидел невысокого человека в шлафроке, со свечой в руке, пытливо всматривающегося в меня. «Я Леванда», — резко ответил он на мой вопрос, дома ли Леванда. Он пригласил меня в полуосвещенный кабинет, усадил в кресло, и мы разговорились. Говорили о русско-еврейской литературе, о «Восходе» и его издателе, о котором он отзывался враждебно, о палестинофильстве. Моих радикальных статей прежних лет Леванда прямо не касался, но в его словах чувствовалась какая-то неприязнь. Беседа шла вяло, пока я не заговорил о его печатавшихся тогда в «Восходе» компилятивных статьях «Судьбы евреев в Речи Посполитой» (изложение книг Чацкого²²² и Гумловича²²³ по истории польских евреев). Тут мой собеседник на минуту оживился и воскликнул с какой-то детской хвастливостью: «Конечно, я ведь призван писать такие вещи, ибо хорошо знаю польскую литературу». И затем опять странным холодом повеяло от этой согнутой фигуры нестарого еще человека (ему тогда было 52 года) с явно сокрушенной душой. С грустным чувством ушел я от него, живого символа угасшего факела «просвещения», а через год с небольшим прочел в «Восходе» о смерти Леванды в психиатрической лечебнице близ Петербурга.

Позже, когда я узнал больше подробностей о жизни Леванды, его фигура предстала предо мной в ореоле глубокой общественной трагедии. Питомец Виленского раввинского училища, ставший на заре реформ 60-х годов идеологом просвещения и русификации, Леванда попал в лагерь русских патриотов в момент польского восстания 1863 г. Рассказывают о его личной драме в это время. У него был роман с польской панной, горячей патриоткой свободной Польши. Восстание разделило их по двум лагерям. Однажды панна узнала, что русификатору Леванде грозит опасность со стороны польских шпионов; чтобы спасти любимого человека, она выпросила для него у одного из влиятельных вождей восстания «железный лист», гарантирующий ему неприкосновенность, и в один темный вечер бросила этот та-

лисман в его квартиру через открытое окно. Это спасло Леванде жизнь, но не удержало его от дальнейшей службы в качестве «ученого еврея» при виленском генерал-губернаторе, в тех рядах, которые жестоко подавили польское восстание. В своем романе «Горячее время» он впоследствии изобразил этот момент и создал тип героя русификации (в лице Сарина). Погромы 1881 г. нанесли удар ассимиляционным идеалам Леванды. Он излил свои чувства в «Летучих мыслях недоумевающего», под конец отрекся от ассимиляции и примкнул к палестинофильству, но этот идейный кризис осложнился у него кризисом психическим, сведшим его в могилу...

Семь дней провел я в своем виленском убежище. В эти дни я написал статью «И. С. Аксаков и евреи», по поводу появившегося тома сочинений влиятельнейшего тогда славянофильского писателя о польском и еврейском вопросах. Я проследил весь генезис взглядов Аксакова²²⁴ по еврейскому вопросу от эпохи реформ до новой реакции, всю теорию различения «коренного» и «пришлого» жителя России и произнес суровый приговор над человеком, который «пользовался своим умом и влиянием для того, чтобы отягощать страдания уже страдающих и возбуждать ненависть к преследуемым и гонимым». (Статья появилась в февральской книге «Восхода» 1887 г.)

Не получив из Петербурга определенного ответа от Флексера, я решил бросить все попытки устроиться там и вернуться в Мстиславль. 20 декабря я уехал из Вильны по железной дороге, через Минск и Смоленск, и через два дня, в морозный зимний вечер, клячи мстиславского «балаголе» примчали меня к занесенному снегом крыльцу дома, где приютилась моя жена с крошками. Потерпевший кораблекрушение в бурю был снова выброшен на тихий, мертвый берег...

Глава 22

Начало литературного самоопределения (1887)

На тихом берегу. От беспредельного к самоопределению. — Статья о мистике-поэте Луццато и тень Беншта. — Расширение критического отдела «Восхода». — Первые отзывы о начинающих писателях: Бернфельде, Явице и Переце. Поход против Шомера и чистка литературы. Первый привет Шалом-Алейхему. Осуждение юношеского опыта Житловского. — Политическая реакция, мечта об эмиграции и революционной борьбе. — Продолжение трагедии Ахера: последний год жизни моего отца, моя последняя беседа с ним накануне «страшных дней», его смерть и «сиротский кадиш» на его могиле.

В полночь рождения 1887 г. в спящем городке, покрытом густой снежной пеленой, сидели в комнате два человека и тихо, чтобы не разбудить спящих малышей, беседовали о своей судьбе. Заброшенный бурей жизни в родную глушь странник вспоминал о ряде былых встреч нового года в различных местах, о перенесенных житейских невзгодах и решил более не пускаться в бурное море, а сидеть здесь на пустынном берегу, работать в тиши семейного гнезда и ждать лучших дней для полета с оперившимися птенцами. В эту зимнюю ночь было предрешено дальнейшее, почти четырехлетнее пребывание семьи в Мстиславле, и только главе семьи суждено было от времени до времени улетать из гнезда, чтобы запастись материалом для планомерной работы.

Я чувствовал, что подходят к концу мои родовые муки самоопределения, что мне предстоит окончательно определить свое призвание, остановиться на одном из многих планов деятельности, влекущих меня в разные стороны. 27-й год моей жизни был для меня решительным моментом. До тех пор мои мысли все еще расплывались в общечеловеческих литературных планах, хотя фактически я работал в ев-

рейской литературе. Я был неудовлетворен этой «узкою» сферой деятельности и рвался к широким проблемам, которые занимали моих учителей Миалля и Спенсера, Ренана и Тэна. Моя глазная болезнь, связанная с опасением потери нормального зрения, дала мне повод к более углубленным размышлениям. Я убедился, что для истинного творчества необходим процесс самоограничения, тот «секрет сосредоточения» («сод гацимдум»), который нужен был мистическому Бесконечному в каббале для того, чтобы создать мир из первобытного хаоса. Я теперь понял, что мой путь к универсальному лежит именно через ту область национального, в которой я уже работал, что служить человечеству конкретно можно только путем работы для одной из его частей, а тем более для народа древнейшей культуры. Мне стало ясно, что именно приобретенные мною общие знания и универсальные устремления могут дать плодотворные результаты в сочетании с унаследованными сокровищами еврейского знания и еще не определившимися национальными идеалами. С тех пор началась моя тяга к большим темам по еврейской истории. Она вела меня от широкой задуманной «Истории хасидизма» до плана полной истории евреев Восточной Европы и наконец привела к еще более обширному плану всемирной истории еврейского народа.

Я уже давно носился с планом истории каббалы, в которой меня привлекал не ее мистический, а пантеистический элемент, но потом я остановился на совершенно неисследованной области еврейской мистики, на хасидизме, где элемент религиозного пантеизма казался мне более человеческим и социальным, чем в каббале. Медленно подходил я к этой проблеме, но когда подошел вплотную, она овладела мною на несколько лет. Монография о хасидизме должна была служить более зрелым и самостоятельным продолжением моих ранних компилятивных статей о саббатизме и франкизме. Во время подготовительных работ меня приковал к себе образ поэта-мистика Моисея Хайма Луццато²²⁵, и весной 1887 г. я написал о нем небольшой очерк, во главе которого красовалось следующее motto из Овидия:

*Mente deos adiit, et quae natura negabat
Visibus humanis, oculis ea pectoris hausit...**

Меня пленила эта «задумчивая фигура юноши, в душе которого боролись тьма и свет», ночь каббалы и заря ренессанса. В апрельские дни, в часы одиноких прогулок на берегу Вехры, я обдумывал очерк жизни Луццато и писал его среди «зеленого шума, весеннего шума». Окончил я этот краткий очерк («Восход», кн. 5—6) словами, которыми намечалась дальнейшая моя работа: «В это время (30-е годы XVIII века) болезненный юноша из Дессау неустанно работал над своим умственным развитием на чердаке одного из домов города Берлина, и скоро мир узнал в нем Моисея Мендельсона, отца нового просвещения. В это же время какая-то темная личность одиноко бродила в глуби гор Карпатских, на берегу Прута и там молилась, постилась и видела видения. Она тоже скоро сделалась известною еврейскому миру: то был Израиль Бешт²²⁶, основатель хасидизма». Отныне тени Бешта и других творцов хасидизма не покидали меня. Все лето прошло у меня в приготовлениях к истории хасидизма, главным образом в собирании материалов об эпохе его возникновения. Меня не могла удовлетворить скудная литература предмета, ни прохасидская, ни антихасидская, и я мечтал о большом научном труде, где были бы использованы не только все печатные источники, но и рассеянные рукописные документы. Для собирания таких материалов я предполагал в ближайшую осень совершить специальную поездку, а пока готовил введение в историю хасидизма.

* «Умом достигал он до богов, и то, что природа скрывала от взоров человеческих, постигал он взорами сердца».

От этих исторических работ меня отвлекала моя постоянная работа в отделе литературной критики. Я старался поставить этот отдел «Восхода» на надлежащую высоту, желая дать читателям наиболее полные обзоры текущей литературы, в особенности ее главных идейных течений. В 1887 и 1888 гг. ни одна книжка журнала не появлялась без моей критической статьи («Литературная летопись») и нескольких рецензий («Библиография»). Между прочим я продолжал следить за тогдашними еврейскими ежегодниками («Гаасиф»²²⁷ Н. Соколова, «Кнессет Израэль»²²⁸ Рабиновича-Шефера²²⁹ и др.) и отмечал по ним новые веяния в литературе. Там я обратил внимание на первые историко-публицистические статьи С. Бернфельда²³⁰ с одной стороны и на ретроградные писания В. Явица²³¹ с другой. Очень сурово отнесся я к первым беллетристическим опытам И. А. Переца²³². Меня отталкивали в его эскизах и стихах манерность и претенциозность в стиле, отрывистые фразы, многоточия на целую строку, и я выражал сомнение в том, чтобы читатель мог понять темные намеки автора. В начинающем Переце-гебраисте трудно было угадать будущего мастера, и даже первые его вещи на народном языке еще не свидетельствовали о выдающемся таланте. Вообще, Критикусу был слишком строг в своих отзывах потому, что он применял европейские критерии к литературе, которая только что начала приспособляться к европейским формам; ему приходилось бороться с примитивностью, с одной стороны, и с подражанием дешевому модернизму, с другой. Так, открыл я поход против беллетристических изделий Шомера (Шайкевича)²³³, который наводнял книжный рынок авантюрными романами, герои которых превращаются из местечковых сапожников в банкиров и графов в разных столицах Европы и затем приезжают инкогнито в родной городок, чтобы наказать порочных и осчастливить добродетельных («Бедная еврейская беллетристика», «Восход», 1887, кн. 5). Однако и в кучах литературного мусора я находил иногда жемчужное зерно. В одной критической статье, озаглавленной «Свидетельства о бедности еврейской беллетристики» (кн. 7—8), я разобрал ряд рассказов, автором которых я дал добрый кантемировский совет:

*Уме недозрелый, плод недолгой науки,
Спокойся, не прилагай к перу свои руки!*

Но рядом с ними я отметил маленький рассказ «Дос Мессерл» («Ножик») тогда мне еще неизвестного писателя Шалом-Алейхема как редкое исключение, доказывающее, что наша бедная литература не совсем лишена хороших произведений. Позже я узнал от самого Шалом-Алейхема, что мои немногие строки дали сильный толчок его литературной деятельности в начальную ее пору, когда он сам еще не был уверен в своих силах и в возможности создать что-либо значительное на народном языке, находившемся в общем пренебрежении.

Роль обозревателя текущей литературы дала Критикусу не только друзей, вроде Шалом-Алейхема и ряда писателей, первые шаги которых на литературном поприще он приветствовал; она создала ему и противников среди тех, которые были задеты его резкими отзывами об их первых незрелых произведениях. Таковы были, между прочим, покойный Перец, о котором мне еще придется говорить, и ныне здравствующий известный публицист Х. Житловский²³⁴. Юношеское творение Житловского «Мысли об исторических судьбах еврейства» (1887) я жестоко раскритиковал и автора «крепко высек» (как он сам мне напомнил при первой нашей встрече спустя... сорок лет). Книжка совершенно не выдерживала исторической критики. Юный, социалистически настроенный автор строил свою философию истории на гипотезе, что итшелническая секта ессеев была социалистической партией древности и что все несчастье еврейского народа вытекало из того, что он не пошел за этой партией. Эта мысль, столь же детская, как моя юношеская скорбь о том, что не весь еврейский народ пошел за Ахерами и Спинозами, заставила меня

резко осудить первый плод пера Житловского. А между тем наша судьба сложилась почти одинаково: позже мы оба пришли разными путями к прогрессивной национальной идее.

В тиши провинции я не переставал следить за ростом российской реакции, которая как змей-удав обвилась вокруг несчастной черты оседлости. Летом 1887 г. началось избиение еврейских школьных младенцев вследствие закона об ограничении доступа евреям в средние и высшие учебные заведения. «Сегодня 9-е Аба, — писал я в дневнике, — и евреям есть над чем плакать. Ужасное, подлое время! Нет возможности жить при подобных оскорблениях, при постоянных нравственных муках. Был бы я физически здоров и один, махнул бы в Америку навсегда. Дрова бы рубить в стране свободы, а не писателем быть в стране произвола, рабства, деспотизма». А через месяц я писал: «Во мне иногда пробуждается энергия негодования. И тогда мне сдается, что я способен на большой подвиг: я бы боролся с деспотизмом, боролся бы за свой поруганный народ, за растоптанную свободу, за права человека, пока не пал бы в борьбе... Но такие минуты очень редки, обыкновенно же сердце переполнено бессильною скорбью». Так эмигрантская психология боролась во мне с революционным пафосом, но из того и другого ничего не вышло.

Все свободные промежутки между литературно-критическими статьями я заполнял подготовительными работами по истории хасидизма, и к концу лета 1887 г. уже приступил к писанию введения. Но в это время меня постигло семейное горе: смерть отца. Это событие переплелось в моей памяти с новой трагедией свободомыслящего в стане верующих. То памятное лето было первым и последним, которое я провел в Мстиславле с моим отцом. Отец, всегда отсутствовавший вследствие своей службы по сплаву леса на юг, лишился этой службы, так как его работодатель, мой дед Михель, решил прекратить свою лесную торговлю. Скупой старец выдал своему зятю при ликвидации дела около тысячи рублей и предоставил ему этим содержать на будущее время свою многочисленную семью. После многих лет скитания отец впервые остался в кругу своей семьи, но уже утомленный, на 54-м году жизни, с тяжелой болезнью легких, приобретенной во время многолетних плаваний. Вечный странник, он теперь мечтал об оседлой жизни и решил употребить полученные ликвидационные деньги на постройку дома для своей семьи, которая в течение четверти века скиталась по квартирам в чужих домах. Помню, с каким увлечением он строил свое новое семейное гнездо на дворе нашего обгорелого каменного дома, где протекала его юность. Весною были свезены бревна и доски и началась кладка сруба для небольшого деревянного дома. Отец, имевший некоторые архитектурные познания, строил дом по собственному плану и лично наблюдал за работами в течение всего лета. Стоя среди бревен и досок, он показывал мне план расположения комнат в строящемся доме, и я видел, как тихою радостью светились его глаза, и слышал его смиренные слова: «Ну, уголок будет, а хлеб, вероятно, уже Бог пошлет». К концу лета постройка была готова: одноэтажный домик из четырех комнат с окнами во двор, где оставалось место для огорода. Незадолго до Рош-гашана родители и оставшиеся при них пятеро детей поселились здесь, и любо было смотреть, как сияло лицо матери, добившейся наконец своего собственного угла. В одну из суббот были приглашены гости на «освящение дома», новоселье, и когда поздравляла мою мать, из глаз ее струились слезы. Увы! эти слезы радости скоро сменились горьким плачем. Отец скоро заболел и умер.

Помню эти печальные сентябрьские дни. Был канун Рош-гашана. Я зашел к отцу в новый дом по какому-то делу. По своему обыкновению в последние годы, он был со мною очень ласков, расспрашивал о внучках, восхищался их «умом» и красотою. На прощание я произнес обычное новогоднее пожелание: «лешана това!» Он ответил тем же, но внезапно смутился, и лицо его приняло грустное, страдальческое выражение. Ему, видимо, что-то хотелось сказать, но он подавил в себе это

желание. Я понял все и без слов. Мое раннее поздравление, до вечернего праздничного богослужения в синагоге, когда начинаются взаимные новогодние пожелания, означало, что я в синагоге не буду. Это предreshало мое отсутствие в сонме верующих во все предстоящие «страшные дни». Зная о моем объяснении с дедом по такому поводу тремя годами раньше и о моем дальнейшем поведении, отец не пытался меня переубедить, но он, видимо, глубоко страдал, предвидя, как в синагоге все глаза будут обращены на него с неммым вопросом: а где же твой сын, что делает он в эти дни отчета перед небесным судом? Ведь и для моего верующего отца мой отказ от посещения синагоги был восстанием против Бога, бунтом нового Ахера против нового рабби Акивы в лице моего деда Бенциона... Я чувствовал, как трудно было отцу подавить в себе эту душевную боль, но что мог я сделать? Отречься от своих воззрений, пойти в небесную канцелярию и просить ее «записать меня к хорошему году с приложением печати»? Могу ли я так лгать пред собою и другими, может быть перед тем Богом, которого опять с тоскою ищу, но еще не нашел?.. Грустный, с поникшей головой расстался я с отцом. Кто знает, сколько горячих слез пролил он в следующие два дня в синагоге, молясь не только за себя, но и за спасение грешной души сына?

На другой день после Рош-гашана отец поехал в качестве эксперта по лесному делу с одним местным купцом для осмотра купленного последним леса близ Мстиславля. День или два в ненастную погоду ходил он по лесу и вернулся домой сильно простуженным. Он слег, и тотчас выяснилась болезнь: тяжелая форма воспаления легких. Около недели промучился он в сильной горячке: задыхался от кашля, харкал кровью, с трудом говорил, но все время шепотом читал псалмы. В день Иом-киппур он, лежа в постели, непрерывно шептал слова молитвы, и слезы струились по его впалым щекам. Он смотрел на меня, стоявшего у его постели, прощающими глазами, как будто он в небесах уже вымолил прощение для моей заблудшей души. Через несколько дней, в ночь на канун праздника Суккот, он умер. На рассвете мне постучали в окно, передавая эту весть. Я уже нашел отца на полу под черным сукном, с двумя свечами в изголовье. Кругом рыдающая мать и плачущие сестры. Я сел рядом с ними на полу, сирота среди сирот... Скоро пришел дед, приехал старший брат Исаак, вызванный из соседнего местечка. Многих поразило наружное спокойствие деда, потерявшего единственного сына, но стоило пристальнее присмотреться к старику, чтобы заметить, что он внутренне сломен, сокрушен. В полдень, после всех приготовлений, мы уже шагали в похоронной процессии за носилками, во главе толпы народа. Как живой символ скорби двигалась между нами фигура деда, безмолвно вещавшая о тайне смерти и вечности. В этот момент меня, точно к огромному магниту, притянуло к этой скале веры, и на кладбище, на только что засыпанной могиле отца, я вместе с братом прочел «кадиш», для меня первый и последний. Сын с растерзанным сердцем исполнил этот обычай на могиле, между поглотившей человека землю и загадочно молчавшим небом, но ходить ежедневно в синагогу, чтобы возглашать величественный арамейский гимн «Великому и Святому, создавшему мир по Своей воле», он не мог, ибо сам не знал, чьей волей создан этот мир, где бедному страннику не дано было на склоне лет отдохнуть в своем вновь отстроенном семейном гнезде...

Глава 23

Приготовления к «Истории хасидизма» (1887—1888)

«Введение в историю хасидизма». — Поездка в Киев для лечения глаз и в Варшаву для собирания материалов по истории хасидизма. — Доктор Мандельштам. Мой варшавский тец Роберт Зайчик. — Работа в библиотеке вар-

шавской общины и собрание хасидских источников. — Варшавские писатели: Н. Соколов, Рабинович-Шефер, гебраист Фридберг и «жаргонист» Спектор, Я. Динесон. — Посещение Петербурга и Москвы.

Едва оправившись от семейного горя, я возобновил прерванную работу. «Введение в историю хасидизма» было дописано в начале октября. Дальше нельзя было работать, не собрав большого количества источников, по крайней мере для ближайших частей монографии. Для этой цели я решил съездить в Варшаву, чтобы работать в тамошних библиотеках и приобрести хасидскую литературу у книгопродавцев и антиквариев. По пути я решил заехать в Киев, чтобы посоветоваться о лечении моих глаз с известным окулистом д-ром М. Э. Мандельштамом²³⁵, впоследствии лидером сионистов. На мое письмо с описанием истории моей болезни и способов ее лечения в Петербурге я получил от Мандельштама приветливый ответ с приглашением приехать в Киев, так как он надеется излечить мой недуг. Предомно открылась светлая перспектива; одна надежда на восстановление нормально зрения воскресила меня.

В начале ноября я уже был в Киеве. Остановился на Подоле, в квартире симпатичного «маскила» Моисея Калмансона²³⁶, автора книги о воспитании по теории Спенсера. На другой день я поднялся с нижнего города в верхний, где на красивом холме в центре, против сада Шато де Флер, возвышался дом с лечебницей д-ра Мандельштама (гебраисты называли этот холм «гор га'гор», гора на горе). Мандельштам принял меня особо, вне своих приемных часов, когда его дожидался сотня пациентов. Сразу он произвел на меня обаятельное впечатление. Красивая, гордо поднятая голова с высоким лбом и длинной полуседею бородою, орлиный взгляд, энергичная, резко-правдивая речь — все это свидетельствовало о цельной натуре. В наших долгих беседах при первом и следующих посещениях мы затронули ряд общественных и литературных вопросов. Я узнал многое о моем собеседнике: лучший окулист, известный в немецкой и русской медицинской литературе, он из-за своего еврейства был лишен кафедры при Киевском университете и должен был ограничиваться чтением лекций при частной клинике. Он говорил с ненавистью о русском правительстве и с горечью о русском народе, даже интеллигентной его части, признаваясь, что эти чувства в нем возникли в 1881 г., когда на его глазах разыгрался первый погром в Киеве и вслед за тем его пригласили, как представителя евреев, в игнатьевскую «губернскую комиссию», где попустители уличного погрома придумывали способы погрома законодательного. Мандельштам уже тогда был последователем идеи территориализма Пинскера и видел спасение в эмиграции евреев из России.

Осмотрев мои глаза, он заявил, что предполагает в них обычную ненормальность астигматизма, и для испытания дал мне специальные очки, которые во время чтения должны надеваться поверх прежних очков для близоруких. Ежедневно я должен был докладывать доктору о результатах работы в двух парах очков, чтобы дать ему возможность проверить правильность его диагноза. Действительно, эта комбинация мне значительно облегчила чтение книг: я мог читать подряд, без боли в висках, до получаса, но моя надежда на полное восстановление зрения пока еще не осуществлялась, и Мандельштам допускал также возможность операции в будущем. Покамест он мне советовал пользоваться при чтении и писании двумя парами очков. С этим я и уехал из Киева.

В середине ноября я приехал в Варшаву. Попал в шумный еврейский центр города, в район Налевко, Дзиковой и Гусьей, который произвел на меня удручающее впечатление своей сутолокой, кричащим «гандлем» и неопрятностью. Жил я на Гусьей (Генша), в комнате с отдельным ходом, и при мне ютился также племянник моей жены, упомянутый выше юноша Роберт Зайчик. Он в это время был исключен из старшего класса гимназии за чтение революционной литературы и, притесняе-

мый отцом-фанатиком, готовился уехать за границу для продолжения высшего образования. Он был моим чичероне по Варшаве и моим тещем. Чрезвычайно начитанный, но еще поверхностный в суждениях, он не давал мне покоя своими беседами о всевозможных литературных проблемах. Уже тогда он чуждался всего еврейского, ибо отождествлял весь народ с типом своего отца, несимпатичного дельца, в котором набожность сочеталась с бешеной погоней за наживой. В часы, свободные от чтения хасидской литературы в библиотеке и просмотра новых книг для рецензии, когда уставшие глаза уже отказывались работать, Зайчик читал мне вслух книги вроде «Английской психологии» Рибо, а также древних классиков. Мы прочли целиком «Илиаду» и «Одиссею» в русских гекзаметрах Гнедича и Жуковского, и мне приятно было повторить в переводе то, что я когда-то изучал в оригинале. От непрерывной декламации гекзаметров мы сами начали говорить гекзаметрами, конечно для забавы. Поистине гомерический смех раздавался в комнате, когда я, например, давал поручение Зайчику купить для нас в ближайшей лавке хлеб с колбасою на ужин в такой торжественной форме:

*Роберт, сын Марка, спешит в магазин Натансона на Дикой,
Тук от барана во образе вкусной «сардели» купи там,
Дивные дары Цереры тащи из соседней пекарни —
Яства богов пусть насытят чрева мужей многодумных.*

А он отвечал примерно в таком роде:

*Слышу, учитель великий, зов твой к трапезе священной,
Мигом исполню велье, украсю наш стол изобильно.
Пусть на алтарь наших муз, мудростью нас одаривших,
Новая жертва восходит во славу наук хасидейских.*

Последняя фраза относилась к главному предмету моих занятий: изучению хасидской литературы. Подолгу сидел я в библиотеке при хоральной синагоге на Тломацкой, где старик-библиотекарь Мошковский разыскивал для меня старопечатные книги по хасидизму. Одновременно ходил я к примитивным еврейским антиквариям, которые не имели особых лавок, а хранили книги у себя дома. У них, однако, очень трудно было приобретать редкие книги: старые хасиды с недоверием смотрели на явного вольнодумца, интересующегося творениями святых цадииков, и отказывались продавать или заламывали большие цены, чтобы хоть заработать на «трефном» деле. Приходилось поэтому приобретать многих «классиков» хасидизма в новых перепечатках, и я их покупал массами по дешевой цене в хасидских лавках на Францишканской улице. Мне, однако, удалось приобрести ряд редких книг старой антихасидской литературы и сделать выписки из недоступных первоисточников, чем положено было начало моей впоследствии разросшейся коллекции «Хасидиана». Кроме печатных и рукописных материалов я собирал и устные рассказы лиц, живших среди цадииков и знавших из личных наблюдений об отношениях между ними и хасидскими массами. Много мне рассказывал об украинских цадииках «жаргонный» писатель Мордохай Спектор, человек из народа, бывавший не раз в дворах разных «раббим». О польских цадииках сообщал мне сведения редактор «Гацефиры» Нахум Соколов.

С некоторыми варшавскими литераторами я тогда познакомился. В общинной библиотеке встречался я с С. П. Рабиновичем-Шефером, который тогда не был еще историком, а был известен больше как деятель палестинофильства и издатель литературного сборника «Кнессет Исраэль». Он показался мне чем-то средним между старомодным раввином и современным ученым. Первые наши встречи не были особенно дружелюбны: Рабинович, конечно, не мог простить мне моих статей о реформах и оппозиции к палестинофилам; но в позднейшее время, когда он занимал-

ся переводом труда Греця с своими дополнениями, между нами завязалась дружеская переписка, продолжавшаяся много лет. В отличие от Рабиновича, Соколов производил впечатление европейца. Я с ним тоже встречался в библиотеке и раз посетил его на дому, в редакции «Гацефиры». Помню зимнее холодное утро, когда я пришел в его квартиру на тихой Мариинской улице. Я застал его в большой, вероятно редакционной, комнате, за работой для следующего номера «Гацефиры», которая тогда уже превратилась из еженедельника в ежедневную газету. На полу, около длинного стола, копошились дети, девочки и мальчики, которые своими играми, по-видимому, нисколько не мешали работе своего отца, белокурого молодого человека лет тридцати (думаю, что он на пару лет был старше меня). Мы много говорили о положении еврейской прессы в России, о цензурных стеснениях, которые она испытывала, о партийных спорах, где Соколов занимал нейтральное положение между палестинцами и ассимиляторами.

Несколько приятных вечеров я провел в семье М. Спектора, который жил тогда вместе с своим тестем, известным гебраистом А. Ш. Фридбергом²¹⁷, на Мурановской улице. В их квартире образовалось нечто вроде литературной фабрики: старик Фридберг редактировал первый том обширной общей энциклопедии на древнееврейском языке, под именем «Га-Эшкол», которая должна была сделаться еврейским Брокгаузом (общая часть ее была скомпилирована из энциклопедий Брокгауза и Майера, а еврейская составлялась самостоятельно). Работа кипела, привлекались многие сотрудники, но дальше первого тома предприятие не пошло. Большой успех имело предприятие Спектора: он тогда готовил к печати ежегодный сборник на идиш «Гауцфрайнд». Этот сборник, издававшийся несколько лет, вызвал соревнование Шалом-Алейхема, который стал издавать в Киеве свой сборник «Фолксбиблиотека», что несколько оживило литературу на народном языке. Среди этих суелавых приговоров тестя и зятя мы вели оживленные беседы, в которых участвовала и молодая жена Спектора, которую я знал как студентку еще из Петербурга. В моей книжке «Фун жаргон цу идиш» я рассказал об этой встрече и о дальнейшей судьбе Спектора.

Особенно хорошо чувствовал я себя в обществе милейшего «друга писателей», Якова Динесона. Холостяк средних лет, маленький и худенький, он жил на Налевках в семье сестры и что-то сочинял для печати. Целыми вечерами просиживал он в моей комнате на Гусьей, рассказывая о своем прошлом в родном Могилеве на Днепре, о своих знакомых из тамошнего кружка революционеров семидесятых годов (П. Аксельрод, Хася Шур, Григорий Гуревич и др.), о своем Вертере из романа «Дер шварцер югнерманчик» и т. п. Подружившись со мною, Динесон однажды признался мне, что до нашей встречи я ему, как Критикус из «Восхода», представлялся очень грозным и строгим, а теперь он убедился в противном. О моей встрече и позднейшей переписке с Динесоном я также рассказал в вышеупомянутой книге воспоминаний о «жаргонных» писателях.

После двухмесячного пребывания в Варшаве, мне уже там нечего было делать, и я решил уехать домой. Накануне отъезда (18 января 1888 г.) я проводил на Венский вокзал в Варшаве Роберта Зайчика, который покинул Россию навсегда. Он поступил в Венский университет, после нескольких лет бедственной студенческой жизни окончил философский факультет и получил докторский титул за сочинение на тему по еврейской истории (о правовом положении евреев в средние века), а затем переселился в Швейцарию. Он вел со мною оживленную переписку, пока я не встретился с ним в Цюрихе через десять лет, когда он готовился стать Ахером уже за пределами еврейства.

Прежде чем поехать домой, чтобы погрузиться в историческую работу, я заехал в Петербург, где провел последнюю декаду января. Я должен был урегулировать здесь свои дела в «Восходе» и забрать книги по хасидизму из библиотек. Вел

длинные беседы с Ландау, виделся с Фругом, Флексером, С. Грузенбергом и другими товарищами, но вынес впечатление, что наша петербургская колония все более погружается в нирвану той мертвой эпохи. Я убедился, что даже в общественном смысле я ничего не теряю от своего пребывания в глухой провинции, но много выигрываю в интенсивности литературной, особенно научной, работы.

По дороге в Мстиславль я заехал на пару дней в Москву, чтобы повидаться с поселившимся там братом Вольфом и сестрою жены. Там, в доме родных, посетил меня молодой инженер М. Усышкин²³⁸, который тогда только что кончил свое обучение в Технологическом институте. Он явился ко мне как представитель палестинофильского кружка «Бне-Цион», куда входил и д-р Членов²³⁹, другой будущий лидер сионизма. До глубокой ночи спорил он со мною о национальном вопросе и о «Хибат Цион» в частности. Уже тогда в нем замечалось то железное упорство негибкой мысли, которым он отличался в своей дальнейшей политической деятельности.

В начале февраля я вернулся в Мстиславль. За время моего отсутствия в моей семье прибавился новый член, сын, названный Яковом в память моего покойного отца. Я был рад, что это случилось в моем отсутствии, так как при моих тогдашних убеждениях мне было бы крайне тягостно присутствовать при церемонии обрезания, которая была совершена торжественно под наблюдением деда.

Глава 24

Двухлетняя работа по истории хасидизма (1888—1889)

«Возникновение хасидизма»: жизнь Бешта. — Ренанизм и толстовство. — Ренановская «История израильского народа». — Горе общественное и личное. — Переписка с Шалом-Алейхемом. Борьба за права «жаргона». Статьи «О жаргонной литературе». — Юбилей революции 1789 г. и статья об эмансипации евреев. — Поездка в Петербург. Неудавшаяся попытка легализации. — Собрание рукописных материалов для истории хасидизма. — Моя заметка о Толстом и отклик из Ясной Поляны. — Первая мысль о полной истории евреев в Польше и России. — «Возникновение хасидизма» и характеристика апостолов хасидизма. — Миссионерский круиз: настоятель православного монастыря в квартире еврейского вольнодумца. — «История хасидского раскола»; муки и радости творчества. — Разбор книги Моргулиса и ответ на критику моей «Самозмансипации». Перемена идей за шесть лет. Резигнация «непримиримого».

На этот раз я приехал в Мстиславль с определенным планом литературной работы, рассчитанным на годы. В первых книжках «Восхода» за 1888 г. появилось мое «Введение в историю хасидизма», под которым впервые после четырехлетнего «херема» было напечатано полностью мое имя. Теперь предстояло писать самую историю, и прежде всего биографию Бешта. Надо было исследовать процесс наслоения легенд об основателе хасидизма и затем извлечь из кучи благочестивых вымыслов крупницы правды. Я увлекался тогда методом Ренана в его исследовании жизни Христа и апостолов, но не заходил так далеко, чтобы превратить жизнь легендарного вероучителя в исторический роман. Я ставил себе задачей реставрировать действительный образ Бешта и первоначальный хасидизм, насколько их можно было путем анализа выделить из позднейших наслоений. Однако в моем изложении оказалось то настроение, которое заставило меня с такой любовью заниматься этим сюжетом. Оно чувствовалось в страницах, где говорилось о религиозном пантеизме Бешта, о его поэтическом уединении в Карпатских горах, о его отрицательном отношении к раввинскому формализму. Эти страницы написаны с особенным

лирическим подъемом*. Весь март 1888 г. прошел в писании этой монографии о Беште, под заглавием «Возникновение хасидизма». В моих тогдашних записях значится: «Писал с большими физическими муками (головная боль, слабость глаз), но не без духовного наслаждения».

Смесь ренанизма и толстовства была преобладающим элементом в моем тогдашнем настроении. С Ренаном меня роднила общность духовной эволюции. Ведь и он, питомец католических семинарий, проделал сначала тот же путь от догматической теологии к научной философии (его юношеский трактат «L'avenir de la Science»), а затем к исследованию религиозных движений с явным уклоном в сторону богоискательства. Тоска по утраченной вере притягивала Ренана к изучению глубоких религиозных проблем, а скорбный скептицизм, плод последовательного разочарования и в Вере и в Разуме, удерживал его на границе между этими двумя борющимися элементами человеческой души. Это было очень близко к тому агностицизму, который остался в моем мировоззрении после крушения ортодоксального позитивизма Конта. «Непознаваемое» Спенсера и «Игнорабимус» Дюбуа-Реймона²⁴⁰ были основой этого мировоззрения; однако религиозная проблема не переставала волновать душу в области подсознания. Это привлекало меня к Ренану, который «всю жизнь искал веры, утраченной в юности», и в то же время к Толстому как творцу этического Бога и лозунга «Царство Божие внутри вас». Я тогда с глубоким волнением читал рукописные копии запрещенных цензурой книг Толстого «Исповедь» и «В чем моя вера». Меня, конечно, больно задевали в этих писаниях и других статьях отшельника Ясной Поляны его нападки на науку и на социальную борьбу, смущал его принцип «непротивления злу», но общий дух резигнации, душевного смирения, был близок моему собственному настроению. Неодолимо влекли к себе раскрытые художником-мыслителем глубины верующей души. В новом свете явились мне художественные произведения Толстого, которые я тогда систематически читал и перечитывал. Так сплелись во мне настроения ренановские и толстовские, различные по форме, но родственные по психологической основе, эта смесь сложного и утонченного ума с упрощенным и элементарным. По своему умственному развитию я стоял ближе к воззрениям Ренана, но по внутреннему влечению вытягивался в круг воззрений Толстого, который уже давно меня пленил своим призывом к «опрощению жизни».

Летом 1888 г. я читал с истинным наслаждением первый том нового труда Ренана «История израильского народа». Введение привело меня в восторг. Так гармонизировали с моим настроением такие признания: «Религии или философские системы могут быть ложны, но религия и философия сами по себе не лгут... Элогимы не обитают теперь в вечных снегах; вы не встретите их, как во время Моисея, в ущельях гор: они живут в сердцах людей, и отсюда вы их не изгоните». Мне нравилась та смелая откровенность, с которою Ренан сказал, что в исследовании легендарных эпох достаточно знать не как совершались события, а как они могли совершиться, и что всякая фраза в таких описаниях могла бы сопровождаться оговоркою «может быть». У меня не хватало смелости идти в своих исследованиях так далеко и успокоиться на возможности вместо реальности, но я понимал, что без интуитивной отгадки такие эпохи не могли бы быть реставрированы. В моем разборе первого тома («Древняя история евреев по Ренану», «Восход», 1888, кн. 8—9) я выдвинул ряд возражений против некоторых выводов Ренана, но в общем я был солидарен с его направлением. Только через несколько лет, после выхода последних томов труда Ренана, я разошелся с ним в исторической оценке иудеозалинской эпохи, которую он изложил крайне тенденциозно.

* В моей последней, переработанной на древнееврейском языке «Истории хасидизма» (изд. 1930—1931 гг.) многие лирические места этого рода как продукт былых настроений устранены, в ущерб, конечно, поэтичности, но с пользой для научности изложения.

Любимая научная работа смягчала душевную боль от впечатлений дня в общественной и личной жизни. Каждый номер недельной «Хроники Восхода» с перечислением гонений на евреев расстраивал меня, и я часто говорил, что каждую неделю я имею один день Тише-беав, когда читаю современные «Кинот». Угнетали и личные заботы. Ландау платил гонорар крайне скупо и неаккуратно. Он умудрился так дробить мои статьи в книжках, что в среднем я зарабатывал около 60 рублей в месяц, — скудный экзистенц-минимум для семьи даже в провинции. Возмущала меня его неаккуратность: о каждом платеже надо было напоминать ему по нескольку раз. Мысль о том, что моя семья из пяти душ обречена жить на такой заработок и что даже он может прекратиться в случае приостановки «Восхода», вырывала у меня такие горестные восклицания в дневнике: «Страшно жить и страшно умереть!» или: «Что лучше: несчастье бытия или счастье небытия?» Продолжавшаяся, хотя и не в прежней острой форме, глазная болезнь была главным источником моей меланхолии. При хорошем зрении я мог бы решиться на более широкие литературные планы и не был бы так зависим от «Восхода». Иногда прорывались старые мечты: «Меня тянет к общепhilософским работам, — писал я в сентябре 1888 г. — Я люблю еврейскую историю и писать об интересах моего страдающего народа стало для меня глгучей потребностью, но я все-таки никогда не думал посвятить всю свою жизнь одному только этому. Я мечтал о гораздо более многосторонней литературной работе».

Черные мысли являлись, конечно, только в промежутки между одной работой и другой, и я старался наполнить такие промежутки физическим трудом. Бывало, после окончания главы «Хасидизма» или критической статьи принимаюся за переплетную работу. Я имел тогда собственные орудия производства (станок со спицами для сшивания листов, деревянный винтовой пресс для зажимания их и круглый нож для обрезывания книг) и переплетал книги собственной библиотеки довольно примитивным способом. Стекаянная веранда при кабинете служила мне мастерскою. Мы снова жили в большом доме тещи, обе половины которого теперь оглашались резвым детским шумом. Ежедневно совершал я прогулки по близкому городскому бульвару или вокруг него, по площади, часто в сопровождении моей старшей любимой девочки Софии²⁴. Торговцы и торговки, скупающие у дверей своих лавок в ожидании редких покупателей, смотрели во все глаза на гуляющих, совершавших свои моционы даже в ненастную и морозную погоду, когда все прячутся по домам.

Некоторое разнообразие вносила в мою уединенную жизнь литературная переписка, которая с того времени все разрасталась. Особенно частым корреспондентом моим сделался живший тогда в Киеве Шалом-Алейхем. Я его прежде не знал и не виделся с ним, когда был годом раньше в Киеве. Летом 1888 г. я получил от него ряд писем, на бланках которых значилось его настоящее имя: Соломон Наумович Рабинович. Он писал мне о своих широких планах в области «жаргонной литературы» (так выражался он сам): об издании большого сборника статей («Фолксбиблиотек»), о новом романе, который он пишет («Степеню») и т. п. Он жаловался на презрительное отношение к «жаргону» со стороны большинства еврейских писателей, даже Фруга, который сам писал стишки и фельетоны в петербургском еженедельнике «Фолксблат» и в то же время осмеивал «жаргон» в фельетонах «Хроники Восхода».

В это время мне предстояло дать отзыв о группе книг на народном языке: о сборнике «Гаузфрайнд» Спектора и некоторых новых рассказах Шалом-Алейхема, и я задумался над проблемою «жаргона», который теперь обнаружил решительное стремление занять подобающее место в нашей разноязычной литературе. Свои мысли я изложил в статье «О жаргонной литературе вообще и о некоторых новейших ее произведениях в частности» («Восход», 1888, кн. 10). Я доказывал, что обиходный язык еврейских масс имеет такое же неоспоримое право стать орудием

литературы во всех ее областях, как древний национальный и новый государственный язык, что это трехязычие навязано нам самою жизнью и что было бы жестокою несправедливостью отказать миллионной массе в праве иметь литературу на понятном ей языке потому только, что он литературно еще не так развит, как книжный старый язык и русская речь новой интеллигенции. «Неужели бедняк, имеющий только деревянную ложку, не должен есть свою похлебку потому лишь, что у него не имеется серебряной ложки?» Я указывал, что в области бытописания «жаргон» имеет даже преимущество перед другими языками, ибо изображает народную жизнь на подлинном языке этой жизни. Ярый противник «жаргона» Ландау снабдил мою статью редакционным примечанием, где говорилось, что сборники на этом языке могут быть наполнены только «разной дребеденью». И тем не менее он вынужден был дать место еще целому ряду моих обзоров «жаргонной» литературы. Во втором обзоре («Восход», 1889, кн. 7) я дал отчет о первом томе «Фолксбиблиотек» Шалом-Алейхема, где собраны были лучшие силы тогдашнего идиш. Творец нового идиш Абрамович-Менделе напечатал здесь первую часть своей замечательной эпической повести «Волшебное кольцо» («Виншфингерл»); Шалом-Алейхем дал свой первый роман «Стемпеню»; Перец поместил здесь свою поэму «Монаш». О последней мне пришлось отозваться неодобрительно вследствие упомянутых выше особенностей первоначального перецевского стиля, предвестника будущего стиля декадентов. Самолюбивый автор еще долго не мог простить мне моих отзывов о его первых работах: спустя больше 20 лет он взял реванш за это, как — я расскажу в своем месте. Только добрейший Динесон не обиделся, когда я в третьем обзоре (1890, кн. 9) причислил его новый сентиментальный роман «А штейн ин вег» к разряду «простонародной литературы», которую я отличал от более развитой «народной литературы», и сказал, что автор утопил своих героев в море слез.

В одной моей записи нахожу такие слова: «Меня постоянно гнетет сознание, что на мою долю выпало жить в эпоху самой ужасной реакции, которой конца не видать. Попрание всех идеальных стремлений, господство грубой силы, царство солдата и полиции, преследование мысли, угнетение совести... Приближается годовщина величайшего исторического события (французской революции), а пол-Европы встретит ее с презрением и со штыками наготове». В канун юбилейного 1889 г. меня охватила эта тоска по эпохе буйных стремлений, по эре эмансипации. Захотелось осуществить давнее намерение и написать очерк об эмансипации евреев во время великой революции. Для этого мне понадобились источники, которые можно достать только в Петербурге. Так как мне и без того нужно было ехать туда для собирания рукописных материалов по истории хасидского раскола, я решил провести там два зимних месяца.

В конце декабря 1888 г. я уже очутился на своей временной квартире у родных на Литейном проспекте и оттуда регулярно совершал пешкомхождение в библиотеки и в редакцию «Восхода». Тут у Ландау вновь возникла мысль о моем возвращении в Петербург на постоянное жительство, так как он намеревался возложить на меня всю редакционную работу в ежемесячнике. Он решил идти прямым путем и возбудил ходатайство перед петербургским градоначальником о разрешении мне жительства в качестве незаменимого сотрудника «Восхода». Грессер продержал прошение Ландау целый месяц и затем прислал отказ, очевидно не заботясь о пресупреждении оппозиционного еврейского журнала, который часто выражал негодование и по поводу полицейских гонений на евреев в столице. Эта неудача меня мало огорчила. В то время меня не тянуло в Петербург; мне хотелось только собрать как можно больше материалов и затем обрабатывать их в мстиславском уединении, ближе к природе и к семье.

В январе 1889 г. я написал большой очерк «Великая французская революция и евреи», который вскоре печатался в нескольких книгах «Восхода» (№ 4—7) под

псевдонимом С. Мстиславский. Ландау выбросил в заголовке слово «Великая», чтобы не возбудить подозрения цензора, что автор жаждет прославить деяния революции. Из тех же соображений пришлось кое-что зачеркнуть и в тексте, и тем не менее революционный пафос сквозил во всем изложении, в обширных цитатах из речей ораторов Национального собрания и Парижской Коммуны, выступавших в защиту еврейской эмансипации. Под исторической оболочкой удалось провести много политической контрбанды. Этот этюд был только случайным эпизодом в моем плане работ: написать его я считал своим общественным долгом. Как только я исполнил этот долг, я обратился к своим исследованиям по истории хасидизма.

Предстояло закончить сбор материалов для наименее исследованной части этой истории: деяний апостолов хасидизма, преемников Бешта, и развития последовавшего затем религиозного раскола. Я много работал в богатом книгохранилище купца А. Фридлянда²⁴² на Васильевском острове, где и нашел коллекцию рукописных документов для истории хасидского раскола. Ввел меня туда библиограф Самуил Винер²⁴³, человек с пергаментным лицом и сам живой пергамент с начертаниями заглавий всех старопечатных еврейских книг. Он-то и уговорил богатого петербургского купца, который не мог утешиться после смерти своей жены, соорудить ей памятник в виде книгохранилища, куда вошли бы все когда-либо напечатанные книги на еврейском языке, а также манускрипты. Вдовец закупал через Винера целые библиотеки и коллекции рукописей, а затем по его же совету завещал все это собрание книг Российской Академии наук, для помещения в восточном ее отделении, Азиатском музее, при условии назначения Винера библиотекарем. Провинциальный библиограф получил на этом основании право жительства в Петербурге впредь до окончания подробного каталога поступившей в Академию «Библиотеки Фридляндиана». Винер растянул составление этого каталога («Когелет Моше») на тридцать лет, в течение которых была опубликована в выпусках лишь меньшая его половина, так что временное право жительства превратилось в бессрочное. Так, из-за закона о черте оседлости не был закончен этот монументальный каталог еврейской письменности всех веков.

В то время, о котором я рассказываю, библиотека находилась еще в квартире Фридлянда; там я с помощью Винера разыскал нужные мне рукописи и с жаром копировал их. Главный манускрипт, сборник антихасидских документов («Зимрат ам гаарец», дал мне первый ключ к истории раскола. Но мне еще недоставало другого, более старого собрания актов: антихасидских воззваний, опубликованных в 1772 г. и уничтоженных хасидами («Земир арицим»). Путем объявлений в еврейских газетах я разыскивал этот драгоценный источник и наконец нашел отклик: в газете «Гаиом» появилось письмо из Парижа, где один библиограф сообщал, что рукописная копия погибшей книги хранилась там в коллекции баронов Гинцбургов, которая потом была перевезена в Петербург. Я обратился к ученому барону Давиду Гинцбургу²⁴⁴, и он долго искал рукопись в своем архиве, но не мог найти. Целый месяц томился я в Питере в ожидании этого важнейшего первоисточника, без которого мне пришлось бы остановить всю работу. Наконец настал радостный день: рукопись нашлась. Помню два солнечных дня в конце февраля в роскошном кабинете дома Гинцбурга на Конногвардейском бульваре. Я лихорадочно переписывал драгоценные акты, и в уме выростал грандиозный архитектурный план истории хасидизма. Я изведal всю глубину наслаждения, которое может дать научное творчество. Собранные в Петербурге материалы открыли мне новые пути в моем исследовании, и я поспешил с этой добычей в свое тихое гнездо, в Мстиславль, куда вернулся к началу марта 1889 г.

Перед отъездом из Петербурга я напечатал в «Недельной хронике Восхода» (1889, № 6, под инициалом Д.) заметку «Граф Л. Н. Толстой и евреи». Поводом к ней послужили распространявшиеся в русской прессе толки о «юдофобстве» Толстого: он будто бы выгнал одного нахального репортера, приехавшего для интер-

вью в Ясную Поляну, и обозвал его «жидом». Я добрался до источника этих слухов и нашел его в одной газетной пародии, где непроницательному читателю трудно было отличить правду от вымысла. Чувство пиетета к великому писателю побудило меня рассеять это недоразумение. В своей заметке я старался доказать цитатами из трактата «В чем моя вера» (из-за цензуры имя запрещенной книги не было названо), что отношение Толстого к еврейству находится на высоком уровне его чисто этического учения. При этом я сослался на его рассказ о том, как он при чтении Евангелия вместе с своим учителем еврейского языка, московским раввином Минором, выразил свое возмущение по поводу того, что приверженцы религии любви устраивали в то же время жестокие погромы на юге России. В заключение я выразил пожелание, чтобы Толстой заявил в печати о своем отношении к евреям для того, чтобы рассеять упомянутые газетные толки. Через некоторое время Толстой откликнулся на этот призыв, хотя и в косвенной форме. Одна из его московских поклонниц, Августа Берчанская, показала ему номер «Хроники» с моей заметкой и получила от него полномочие опубликовать в этом же органе опровержение лживых слухов. Толстой полностью подтвердил высказанное мною мнение о несовместимости всякого «фобства» с его учением и заявил, что даже не понимает юдофобства в людях мыслящих. Это заявление было напечатано (в «Хронике Восхода», № 18), и я был очень доволен тем, что с своей стороны содействовал снятию клейма юдофоба с человека, который для того поколения интеллигенции слыл пророком и «учителем жизни».

Годовой промежуток времени между веснами 1889 и 1890 гг. был для меня «иома арихта», длинным трудовым днем, наполненным работой по истории хасидизма. По мере того, как я углублялся в религиозные движения конца XVIII в., горизонт все более расширялся и в голове вырастал новый грандиозный план: систематическое собирание материалов для истории евреев в Польше и России и создание для этой цели особой организации, Исторического общества. Архивные открытия, сделанные моим братом Вольфом, который нашел в Мстиславе пару старинных Пинкосов общины, навели меня на мысль о собирании Пинкосов во всех общинах. В библиотеке моего деда нашелся Пинкос мстиславского гакала XVII и XVIII вв., и его содержание открыло мне очень многое в самом строе еврейского самоуправления. Помню, как в светлые мартовские дни я сидел с братом над этими реликвиями прошлого и как мы рисовали себе обширный план собирания таких актов и систематического издания их. Но то была музыка будущего; пока же предстояло осуществить ближайшую задачу: историю хасидизма. В мае я писал второй цикл статей под заглавием «Возникновение хасидизма». Из хаоса хасидской письменности и из актов партийной полемики я извлекал крупные исторические правды и мог рисовать более или менее ясные образы Бера Межеричера²⁴⁵, Яков-Иосифа Когена²⁴⁶ и других апостолов, а также реставрировать их учения. Один из этих образов, апостола Яков-Иосифа, так увлек известного украинского писателя Д. Мордовцева²⁴⁷, что он включил его в свою повесть из времен гайдамачины «Между молотом и наковальней», которая в следующем году печаталась в «Восходе», причем цитировал описания из моей истории хасидизма.

Запомнился мне один курьезный случай из тех дней. В один майский день к воротам нашего дома подкатила коляска, из которой вышел древний старец монашеского вида. Поддерживаемый кучером-монахом, он вошел в калитку и поднялся по крыльцу, ведущему через стеклянную веранду в мой кабинет. То был настоятель того загородного Пустынского монастыря, гнезда православных миссионеров, о котором я рассказал в описании моих детских лет. По-видимому, монахи узнали через услужливых мстиславцев, что в городе живет еврейский отступник, пишущий русские книги и не соблюдающий еврейских религиозных законов, и миссионеры почували добычу. На меня двинули тяжелую артиллерию, самого настоятеля, сухого старичка, тип «живых мощей», который, видимо, очень редко выезжал за стены

монастыря. Усевшись в кабинете, он заявил, что хочет побеседовать со мною, как просвещенным евреем, о религиозных вопросах, и при этом вручил мне какую-то книжку миссионерского содержания о почитании святых икон. Я предупредил его, что отношусь ко всем религиям как исследователь, а не как участник, и сейчас занят изучением одного религиозного движения, хасидизма, не будучи его последователем. На мое указание, что отрицающий еврейскую догматику менее всего способен признавать христианскую, в частности догмат Троицы, старичок быстро ответил заученным тоном миссионера: «Как свет и тепло исходят от солнца, не переставая составлять с ним одно целое, так Сын Божий и Святой Дух составляют с Богом Отцом единое в трех лицах». Я сказал настоятелю, что все это мне известно, что книжка об иконопочитании меня не интересует и что в связи с моей работой меня могут интересовать только книги о сектантских движениях в русской церкви. Старик обещал прислать мне многотомную «Историю русской церкви» митрополита Макария и всякие другие книги из монастырской библиотеки. Некоторые книги он потом прислал, но больше ко мне не являлся, очевидно убедившись, что я плохой объект для миссионерской ловли.

После короткого перерыва, я в августе 1889 г. возобновил работу по истории хасидизма. Теперь я разрабатывал самую большую и трудную ее часть, названную в серии моих очерков «Историей хасидского раскола». В моих дневниках того времени нахожу такие записи: «Творил в уме нечто цельное и органическое из мелких атомов». «Все еще погружен в изучение и разбор источников, в собирание мелких песчинок для большой и правильной постройки. Работа трудная, но приятная, увлекательная». С конца лета 1889-го до середины весны 1890 г. я с необыкновенным увлечением писал большие главы «Истории хасидского раскола», печатавшиеся потом в «Восходе» в течение двух лет (1890—1891). Никогда еще не ощущал я в такой степени и муки и радости творчества, как в эти долгие месяцы труда в моем провинциальном уединении. Некогда было предаваться ни личной тоске, ни мировой скорби. «Я перестал терзаться проклятыми вопросами: я нашел забвение в труде. Вся моя религия, философия, поэзия сосредоточены в этом труде» (запись 10 сентября 1889). В моей новгородней записи (1890) значит: «Планы мои связаны главным образом с еврейской историей. О них думаю и буду думать». Порывы в общую литературу, к универсальным темам улеглись. В национальном я нашел универсальное.

Лишь изредка отрывался я от «Хасидизма» ради писания критических статей. Одна такая статья («Прежде и теперь», по поводу книги М. Моргулиса. «Восход», 1890, кн. 1—2) напомнила мне о бывших литературных боях. Я рецензировал собрание статей Моргулиса «Вопросы еврейской жизни», где была перепечатана также его полемическая статья 1884 г. под заглавием «Самоосвобождение и самоотречение», направленная против моей «Самозмансипации». Большая часть статей сборника, писанная еще в эпоху реформ, дала мне повод для характеристики реакционного курса правительства Александра III путем сопоставления «прежде и теперь». Цензура конфисковала уже отпечатанную книжку журнала и выбросила из моей критики те страницы, где говорилось, как в эпоху реформ евреев гнали в русскую школу, а ныне их гонят из этой школы. Полемике же Моргулиса против меня я посвятил заключительные страницы моей статьи, причем был вынужден говорить о себе в третьем лице, чтобы не выдать псевдонима Критикус. Тут можно было заметить, как далеко ушел я за шесть лет от своего юного радикализма. В своей антикритике я оспаривал элемент «самоотречения», усмотренный Моргулисом в моих статьях о религиозных реформах, и выдвинул позитивные мотивы реформистов: «воскрешение духа истинного иудаизма», «усиление в религии нравственных и сердечных начал за счет обрядовых и казуистических», «очищение и возвышение религиозного чувства». Я протестовал против обвинений, что реформисты отрекаются от национальной веры, которая в действительности дорога им: «именно по-

этому они (реформисты) отбрасывают все, что в течение веков мрака и гонений прилипло к ней (религии) худшего, чуждого, наносного, ради всего, что есть в ней лучшего, вечного, светлого». По поводу верного замечания Моргулиса, что я проповедовал не слияние с русским народом, а слияние с человечеством, я доказывал, что такое слияние «вовсе не предполагает обезличения или самоотречения». Вообще, это была самозащита человека, отходящего от прежних позиций. Трогательный призыв в конце моей статьи к «прекращению гибельной розни» в нашей интеллигенции и к «дружной работе в пользу нашего несчастного народа» свидетельствовал о полной резигнации прежнего «непримиримого». В дневнике от 1 января 1890 г., когда статья была дописана, значится: «Возражал М. на его давнишнюю критику моей „Самозмансипации“... Некоторые места писал с жаром, под напором накипавших слез. Много еще осталось в душе, надо со временем высказать...» Это еще долго зрело в душе и было высказано гораздо позже, в моих «Письмах о старом и новом еврействе», против которых придется выступить тому же Моргулису, но с другой стороны.

Глава 25

Между севером и югом (1890)

Расширение литературных планов и тяга из тихой провинции в большой центр. — Пожарная паника в провинции. — План переезда в Петербург или в Одессу. — Административный террор: губернаторский циркуляр и его истолкование в Мстиславле. Оглашение инцидента в «Восходе» и шум в прессе. — Поездка в Киев. Доктор Мандельштам излечивает мою глазную болезнь. Две недели в Боярке на даче Шалом-Алейхема. Его литературные планы и тревоги накануне биржевого банкротства. Наш романтический уговор. — На обратном пути в Мстиславль: шум вокруг мстиславского дела. — Как я внушал гражданское мужество мстиславским обывателям. Моральная победа над Гаманами. — Благодарность общины. Прощенный Ахер. Мое прощание с дедом. — Поездка в Петербург. Ходатайство о праве жительства и окончательный отказ. Переезд с семейством в Одессу.

Весною 1890 г. я довел работу по истории хасидизма почти до конца XVIII в., и написанные новые главы еще долго печатались в книгах «Восхода». Я почувствовал крайнюю усталость от этой напряженной работы, которая прерывалась только для того, чтобы писать очередные статьи по литературной критике. Предо мною теперь стоял более широкий план: подготовительные работы по истории польско-русских евреев и учреждение для этой цели Исторического общества. Для осуществления этого плана мне нужно было переселиться в большой город. Были намечены два центра: Петербург и Одесса. Так как петербургский градоначальник уже давно признал, что «вреден север для меня», то имелась главным образом в виду столица юга, где в то время замечалось некоторое оживление в еврейских общественных кругах. Ландау передавал мне от имени Г. Э. Вайнштейна²⁴⁸, председателя Одесского комитета Общества просвещения, что там создан фонд для работ по истории русских евреев при моем главном участии, и я связывал с этим осуществление моего плана Исторического общества. Тем не менее я решил сделать последнюю попытку устроиться в Петербурге, который все же представлял огромные преимущества для научной и общественной работы, и только в случае неудачи переселиться в Одессу.

Случай позаботился о том, чтобы облегчить мне разлуку с тихой провинцией. В мою провинциальную тишину ворвался тревожный шум. В апреле в Мстиславле внезапно началась полоса пожаров. То там, то здесь без видимой причины загорался дом или склад товаров. Обыкновенно ночью раздавался тревожный набат

церковных колоколов, тот протяжный ночной звон, который знаком каждому, жившему в провинциальном «деревянном» городе. Люди просыпаются, бросаются к окнам, видят через щели ставней красное зарево на горизонте, слышат гул толпы, бегущей по темной улице с криками: где горит? чей дом? Пока оденешься и выйдешь на улицу, кажется, что горит дом рядом и что сейчас огонь охватит и твой собственный дом. Выходишь и видишь картину провинциального пожара: мчатся водовозы с бочками на своих телегах; мужчины бегут с ведрами воды на подмогу жалкой пожарной команде, которая тушит пожар из примитивного насоса; женщины мечутся с детьми и с узлами вещей в руках, а зловещее зарево становится все шире на горизонте, клубы дыма все гуще; слышатся крики: вся улица горит, синагога в огне, спасайте священные «сифре-тора»!.. Повторность пожаров в течение нескольких недель наводила на мысль, что тут действует шаика поджигателей, рассчитывающая на грабеж имущества во время суматохи. Многие укладывали свои вещи; чтобы вынести их в случае беды; иные спали ночью одетыми. Пережить пару таких недель в глухом городе достаточно, чтобы расстроить самые крепкие нервы. Я чувствовал себя плохо. Моя библиотека была упакована в ящиках. Я искал летнего приюта в окрестных селениях, но при всей моей любви к природе не мог примириться с примитивной обстановкой сельских изб и даже панских усадеб... Так был нанесен удар моей провинциальной идиллии. С этой стороны план отъезда уже не встречал препятствий.

Я вел письменные переговоры с Ландау о легализации жительства в Петербурге. Ландау посоветовал мне записаться свидетельством типографа о том, что я наборщик, и услужливый Я. Динсон поспешил выслать мне такое свидетельство из Варшавы. (Сам Ландау жил в столице на правах наборщика, метранпажа в своей же типографии.) Но мне было противно идти на такую фикцию, и я убеждал Ландау ходатайствовать через барона Гинцбурга о разрешении мне жить в качестве писателя. Он отвечал мне, что, по мнению барона, рискованно возбудить такое ходатайство в тот момент разгула правительственной юдофобии, когда тысячами высылались из столиц и других запретных мест «бесправные евреи». Оставалось ждать до конца лета и тогда решить вопрос: на север или на юг.

Личные заботы осложнились общественными. Лето 1890 г. было особенно злоевающим в российской реакции. Люди упразднены последние реформы Александра II в области местного самоуправления, в городах и деревнях была усилена полицейская власть (институт земских начальников из дворян), страна управлялась чрезвычайными законами («положение об усиленной охране»), которые давали губернаторам неограниченную власть над их «подданными». Эту власть губернаторы воспользовались прежде всего для издевательства над евреями. Как будто по указанию свыше, они стали издавать странные циркуляры о том, что евреи в черте оседлости держат себя дерзко и вызывающе по отношению к христианам, не кланяются русским чиновникам на улице и т. п. Начальник нашей Могилевской губернии Дембовецкий разослал подчиненным ему полицейским чинам циркуляр с предписанием строго следить за тем, чтобы евреи при встрече с начальственными лицами снимали шапки и вообще держались почтительно в обществе христиан.

Уездные начальники истолковали циркуляр в том смысле, что им передана опека над евреями, с которыми они могут расправляться по усмотрению под предлогом «неуважения евреев к русским властям». В Мстиславле нашлось двое господ, которые решили дать урок евреям. Предводитель дворянства князь Мещерский пригласил к себе именитых представителей еврейской общины и в присутствии исправника и товарища прокурора прочел им губернаторский циркуляр с своими толкованиями. Обругав в своей речи евреев, обвинив их сплошь в обходе законов и в неуважении к носителям власти, он потребовал от еврейских депутатов, чтобы они искоренили в своей среде эти пороки, ибо в противном случае власти будут подвергать самих представителей общины «позорным наказаниям». К этой угрозе наглый

товарищ прокурора прибавил свое объяснение: «попросту будем драться на площади», и тут же указал мимикой, как это будут делать. Ошеломленные депутаты, не понимая даже, в чем их обвиняют, растерялись и не нашлись что отвечать.

Это было в пятницу утром, 22 июня. Под вечер, уже при наступлении субботы, когда собравшиеся в синагогах взволнованно обсуждали создавшееся положение, ко мне явился один из более молодых депутатов и с возмущением рассказал о случившемся. Я заявил, что депутаты, не нашедшие утром достойных слов для отпора оскорбителю, должны сейчас же идти к нему и потребовать объяснения, причем я вызвался идти с ними. С трудом собрав нескольких депутатов, я отправился с ними на квартиру Мещерского; но его там не оказалось: он будто бы уехал в свое имение. В городе усиливалось волнение: гордые возмущались, трусливые трепетали. Я решил поднять протест в прессе: послал в «Восход» описание инцидента с просьбою напечатать его анонимно в ближайшем номере «Хроники» и мои комментарии поместить в виде редакционной статьи. Редактировавший тогда «Хронику» д-р Грузенберг исполнил мою просьбу наилучшим образом: напечатал мое сообщение и составил сильную передовую статью о воцарившемся в провинции административном произволе. Из «Восхода» моя корреспонденция была перепечатана во многих русских газетах, даже в юдофобском «Новом времени», и затем проникла в заграничную печать как иллюстрация к прочим сообщениям об ужасном положении евреев в России... Эта история еще будет иметь свое продолжение.

Через неделю после описанного случая я уехал в Киев. Главная цель моя была вновь посоветоваться с доктором Мандельштамом о состоянии моих глаз, но меня манила и другая цель: отдохнуть пару недель в пригородной дачной местности Боярке, в доме Шалом-Алейхема, который уже давно приглашал меня погостить у него. Поездка из Мстиславля в Киев в летнее время сама по себе была очень интересна: сто верст на лошадах с остановками в Кричеве, Черикове и Пропойске, затем дуеток езды на пароходах по Сожу и Днепру, от Пропойска через Гомель до Киева. В Киеве встретил меня на пароходной пристани Шалом-Алейхем, которого мы тогда называли просто Рабиновичем или Соломоном Наумовичем, и отвез к себе на дачу в Боярке.

С деловой частью поездки я быстро справился. Пара визитов у Мандельштама убила его в верности его прежнего диагноза об астigmatическом происхождении моих глазных болей. Он прописал мне специальные комбинированные очки вместо прежних двух пар и велел заказать их в Берлине. Эти очки, вскоре замененные в Петербурге более подходящими стеклами, оказались спасительными для моих глаз. Постепенно боли при чтении исчезли, и с осени 1890 г. мой глазной недуг, промучивши меня пять лет, оставил меня. Эти пятилетние страдания не были ли бы избегнуты при большем внимании эскулапов?.. Во всяком случае, я считаю доктора Мандельштама спасителем моего зрения. Впоследствии я очень сожалел, что расстояние и партийные разногласия разъединили меня с этим прекрасным человеком. С 1890 г. мы, кажется, более не встречались. Мандельштам с появлением Герцля²⁴⁹ ушел в политический сионизм и играл большую роль на базельских конгрессах, а затем в организации территориалистов; я же занимался «голусной» работой, которую он считал бесплодной.

Две недели отдыхал я в Боярке, в полудне езды от Киева, в большой вилле, снятой на лето Шалом-Алейхемом. Тут я впервые познакомился с этим двуликим человеком, в котором одно лицо, писательское, было подлинное, а другое, лицо биржевого игрока, было маскою, которую ему кто-то напялил. С одной стороны, он весь горел жаждою творчества, строил широкие литературные планы и страстно тянулся к той литературной славе, которая слишком поздно улыбнулась ему; с другой стороны, он втянулся в биржевые операции с целью увеличить свой капитал ради осуществления тех же литературных планов и должен был «держаться фасона», жить с показною роскошью (его квартира на Елизаветинской улице в Киеве была

бы под стать крупному банкиру) и вращаться в кругах, ничего общего с литературой не имеющих. В тот момент, когда я у него гостил, начался уже кризис в его делах, приведший скоро к банкротству. Мне Рабинович только намекал в разговорах на этот кризис, кое о чем я сам догадывался, видя его иногда по возвращении из города на дачу в припадках мигрени, с мокрым полотенцем на голове.

Помню наши долгие прогулки по Боярскому лесу, куда прямо вела калитка из его дачи. Говорит без умолку, с присутствием ему юмором (разговоры велись, как и наша прежняя переписка, на русском языке, которым он владел в совершенстве), и вдруг останавливается среди колоннады сосен и восклицает: «Смотрите! Эти тропинки в лесу тянутся на десятки верст, до Фастова, до Умани, ибо лес охватывает несколько уездов Киевской губернии». И я всматривался в таинственные извивы огромного леса, и рисовались мне отряды гайдамаков, некогда скрывавшихся здесь, готовясь напасть на близкое еврейское местечко, вырезать или ограбить там часть населения и снова скрыться в лесной чаще... Мы много говорили о нашей литературе и писателях, и я заметил, что для моего собеседника образцом народного писателя был Абрамович-Менделе, которого он перед этим посетил в Одессе и назвал «дедушкой» народной литературы. Шалом-Алейхем тогда еще не нашел своего пути юмориста и носился с планами больших романов. Его угнетала мысль, что с потерей своего капитала он лишится возможности издавать сборник «Фолксбиблиотек» и свои собственные произведения. Он боялся, что друзья от него отвернутся после его поражения на таком «нелитературном» поприще, как биржевые операции.

Однажды вечером мы сидели на веранде его дачи и беседовали о предстоящих каждому из нас скитаниях в связи с личными и общественными переменами. Вдруг Шалом-Алейхем встает и говорит: «Семен Маркович, дадим друг другу слово, что через десять лет мы непременно увидимся, куда бы ни забросила нас судьба». Я согласился, и мы тут же закрепили наше слово письменным обязательством. Мы обменялись визитными карточками, на которых каждый из нас написал (порусски): «Погруженные в грустные думы о превратных судьбах человечества вообще и нашего народа-страдальца в особенности, мы решили и обязались словом, в ознаменование этого момента, непременно свидеться друг с другом через десять лет, в самом начале XX века. Доживем ли мы? Мemento мори! 18 июля 1890 г.» Затем было приписано по-древнееврейски: «Написано и подписано в 14-й день горького и жестокого месяца Ав, в год горя и бедствий 5650». Наши подписи скрепила своею сидевшая тут же жена Шалом-Алейхема, Ольга Рабинович. В тот грустный вечер я не мог предвидеть, что через несколько месяцев встречу с разорившейся семьей Шалом-Алейхема в Одессе, что «в самом начале XX века» мы вместо встречи обменяемся письмами с двух концов Днепра, а последнее наше свидание произойдет на площади Исаакиевского собора в Петербурге, за месяц до мировой войны и за два года до смерти моего киевского друга в Нью-Йорке...

Во время моего пребывания в Киеве в русской и иностранной прессе не прекращался шум по поводу издевательств над евреями в России. К мстиславскому скандалу прибавились еще аналогичные скандалы высшей администрации в Одессе, в Вильне и других местах. Мандельштам мне сообщил о статьях в «Таймс» и других протестах против «русского варварства». На обратном пути из Киева домой, в 20-х числах июля, я заметил возмужденное состояние еврейского общества. В Гомеле, где я гостил в доме моего старого петербургского приятеля Маркуса Кагана (Мордохай бен Гилель), мне подали только что полученный номер петербургских «Новостей» с громовой статьей либерального публициста Григория Градовского по поводу мстиславского и других скандалов. Я возвращался в Мстиславль с твердым намерением довести до конца дело борьбы с грубым произволом властей. Помню, в вагоне железной дороги, между Гомелем и Смоленском, мною овладел какой-то скорбный экстаз. Читаю в тогдашней записи: «В сумерках... я принял к окну ваго-

на, сердце защемило, слезы лились неудержимо, и под стук колес напевал я свои любимые строфы из Некрасова²⁵⁰:

*Мать-отчизна, дойду до могилы,
не дождавшись поры золотой,
Той поры, когда высохнут слезы и закроются раны твои...
Но желал бы я знать, умирая,
что стоишь ты на верном пути...*

Но это скорбное настроение уступило жажде борьбы: я кончил свою запись указанием на общие протесты прессы и добавил: «Великие принципы еще не умерли. Надо жить и бороться».

Когда я вернулся в конце июля в Мстиславль, город встретил меня как победителя. Местные власти присмирели после того, как предводитель дворянства и товарищ прокурора получили от высшего начальства выговоры за чрезмерное усердие. Но ретивый товарищ прокурора Сушков, вызванный министерством юстиции для объяснения в Петербург, не уговорился: для своей самозащиты он напечатал опровержение в «Хронике Восхода», где совершенно отрицал факт угрозы в беседе с депутатом мстиславской общины; в этом духе он инспирировал и редакцию «Нового времени», которая метала громы и молнии на анонимного еврейского корреспондента, разоблачившего тайну административного произвола. Мой соучастник в борьбе, д-р Грузенберг, писал мне отчаянные письма с просьбой прислать для напечатания в «Хронике» особые заявления представителей общины, подтверждающие слышанные ими оскорбительные слова. Это было не так легко исполнить. Из девяти членов еврейской депутации только четверо решились подписать такое заявление, другие отказывались, боясь неприятностей со стороны местных властей. Особенно упорствовал казенный раввин, официально связанный с полицейскими органами; его подозревали даже в заговоре с властями, и не без основания: сам Сушков ссылался в своем опровержении на трусливого раввина, рассчитывая, что тот не посмеет противоречить начальству. Тут мне пришлось пустить в ход самое высокое давление. Ежедневно я приглашал к себе представителей общины вместе с раввином и убеждал их, как важно в интересах всей общины довести до конца нашу борьбу за право, для того чтобы не могли повториться недавние издевательства властей. После долгих усилий цель была достигнута: составленный мною текст заявления подписали еще двое функционеров общины и (с оговоркой) казенный раввин. Документы были отосланы мною Грузенбергу, который опубликовал их в «Восходе» с красноречивыми комментариями.

Сражение было выиграно. В Мстиславле общественная атмосфера очистилась: евреи увидели, что можно бороться и с грозным начальством. У одного из представителей общины вырвалось восклицание: «ки ло алман Исраэль», не осиротел еще Израиль, ибо есть у него сыны, готовые заступиться за его честь. К этим защитникам народной чести был причислен и я, Ахер в общине верующих. Один из самых ярких фанатиков в общине, считавший меня первым кандидатом в ад, сказал по поводу моего подвига: «Иеш конэ оламо бешаа ахат» (талмудический афоризм, применяемый к тяжкому грешнику или иноверцу: «Иной приобретает царство небесное в одно мгновение», одним добрым делом). Перед окончательной разлукой с своим Ахером общество как будто примирилось с ним, простило ему его многолетний отход от синагоги.

В последних числах августа я собрался в путь, в Петербург. Перед отъездом пошел к деду Бенциону попрощаться. 85-летний старец, в последнее время почти ослепший, сидел за столом. Белая голова, подпертая сбоку ладонью, как будто была погружена в видения прожитого столетия. Лицо старца осветилось радостью, когда он услышал мой голос. Тихо текла речь деда: «Я слышал, Шимон, что ты со-

вершил доброе дело, ты защищал честь Израиля. Про тебя говорят: иной приобретает царство небесное в одно мгновение, но я думаю, что ты никогда в душе не был чужд нашему народу. Дай Бог тебе и дальше работать на его благо!..» Мы простились в глубоком волнении — навсегда. Через полгода, в Одессе, я узнал о кончине славного старца, моего духовного отца в детстве и антипода в юности. Были ли мы антиподами? Не были ли мы оба люди духовного обета, с той разницей, что дед был монолитом, продуктом огромных вековых наслоений, а внук стоял между формациями старого и нового мира в эпоху исторических переворотов? И не оправдался ли в иной форме пророческое слово деда о возвращении внука к старому миру? Ахер, Экстернус, вне стоящий найдет еще путь к примирению старого тезиса и нового антитезиса в новейшем синтезе.

В глубокой тоске простился я с Мстиславлем после шестилетнего пребывания и оставил семью на короткое время, пока выяснится вопрос: на север или на юг? Я прибыл в Петербург 30 августа и немедленно попал в полосу тревог. Ландау, горя желанием иметь меня в Петербурге для редакционных работ, двинул тяжелую артиллерию на штурм петербургской полиции: он просил барона Гинцбурга лично поддержать ходатайство редакции «Восхода» о разрешении мне постоянного жительства в столице в качестве соредактора по научному отделу. Я сам ездил к младшему барону, Давиду, в Царское Село для переговоров по этому делу. Прошение было подано, и я несколько недель ждал решения. Было опасение, что мстиславская полиция по наущению моего врага Сушкова сообщит петербургской о моей политической неблагонадежности (из Мстиславля мне писали, что полиция справлялась о моем местопребывании). Что чувствовал я тогда, пусть скажет запись в дневнике от 10 сентября, дня моего рождения. Я ее обвел траурной каймой с надписью по-латыни: «Здесь покоятся тридцать лет моей жизни», и дальше писал: «Размышлять о пройденном пути, гадать о будущем? Нет, не теперь. Теперь надо писать прошения о даровании мне в виде милости того, что всякой собаке дается без прошений. Больно и досадно, но я уже взобрался на философский Олимп и перестал возмущаться...»

В это время я часто беседовал с петербургскими друзьями и не заметил еще тех признаков оживления в еврейской общественности, которые показались несколько позже, в 90-х годах. Фруг уже был на ущербе: он давал все еще много, но не многое. Теперь он держался вдали от общества, может быть вследствие особенностей своего семейного положения: он в семье д-ра Кантора давно уже познакомился с приходившей туда на работу русской девушкой, швеей, и полюбил ее; жили они сначала в разных квартирах, а потом вместе, но Фруг, видимо, не хотел огласки этого союза с простой девушкой, вдобавок русскою. Произошла перемена и в Флексере-Волынском. Он сблизился с юною русскою писательницей Любовью Гуревич²⁵¹, дочерью известного либерального педагога, с которою изучал философию, и этот «философский роман» проложил ему путь в редакцию большого журнала «Северный вестник», в издании которого участвовала семья Гуревич. Тут он попал в среду радикальных русских публицистов из группы Михайловского²⁵² и так возгордился этим, что совершенно ушел из еврейской литературы. Он говорил со мною о своих новых литературных связях таким тоном, как будто был посвящен в некий высокий орден избранных; свои первые литературно-критические статьи в «Вестнике» он считал открытием новой философской эстетики. Позже Волынский своим воинствующим эстетизмом и выступлениями против лучших социальных традиций русской критики возмутил Михайловского и заставил его с товарищами уйти из «Северного вестника». Я расстался с Волынским в начале его нового, скользкого пути и встретился с ним случайно лишь через тридцать лет, на развалинах русской литературы в опустевшем Петербурге... Из моих друзей только С. О. Грузенберг твердо стоял на своем посту в «Хронике Восхода», работая вместе с Ландау для оживления этого единственного оппозиционного органа еврей-

ской публицистики в реакционной России. Он печатал свои статьи и политические обзоры анонимно, но его влияние в редакции было сильно; Грузенберг, более последовательно, чем Ландау, поддерживал ассимиляционное западническое направление в публицистике «Восхода» до тех пор, пока я не пробил там первую брешь «Письмами о еврействе».

Скоро мне пришлось распрощаться со всем петербургским кружком. Как и следовало ожидать, градоначальник Грессер снова отказал в ходатайстве Ландау о разрешении мне жить в Петербурге ради процветания «Восхода». Министерство внутренних дел уже тогда точило зубы на оппозиционный еврейский журнал, который оно прихлопнуло через полгода, при новом подъеме юдофобской политики. Мне принесли извещение градоначальника об окончательном отказе вечером 25 сентября, когда я дописывал последние строки статьи «Из еврейского мартиролога» по поводу нового труда по истории гайдамачины XVIII в. («Восход», 1890, кн. 10). Я там цитировал украинскую народную песню, прославляющую кровавые подвиги атамана Швачки:

*Да ходять Швачка да во Хвастови, да у жовтых чоботях;
Ой вывишав жыдив, ой вывишав ляхив, да на паньских воротах.*

Теперь мне предстояло ехать в Украину конца XIX в. Правда, целью моего переселения была европеизированная Одесса, но не пережила ли и она один из ужаснейших погромов 1881 г.?

Жребий был брошен: я взял курс на юг. Телеграфировал жене, ждавшей с упакованными чемоданами в Мстиславле, чтобы она выехала с детьми в губернский город Могилев, куда и я приеду для дальнейшей совместной поездки в Одессу. В ненастный октябрьский день я оставил Петербург, доехал по железной дороге до Орши и оттуда на маленьком днепровском пароходе прибыл в Могилев. В ожидании приезда семьи я сидел в еврейской гостинице и вспоминал о моих былых годах в этом же Могилеве. Двенадцатью годами раньше здесь жил мечтательный юноша, который считал бы себя счастливейшим человеком, если бы ему пророчили карьеру «известного писателя», а теперь достигший этой цели зрелый муж чувствует себя несчастным. Ранним утром приехали жена и трое детей, в возрасте от пяти до трех лет, измученные долгою ездой в фургоне «балаголы» по грязным осенним дорогам. После нескольких дней отдыха мы все сели на последний пароход, отходивший вниз по Днепру в тот навигационный сезон, и через два дня прибыли в Киев. Памятна эта осенняя поездка по реке с маленькими странниками, делавшими свое первое в жизни путешествие. Мы пересели в поезд железной дороги. В полночь 17 октября 1890 г. приехали мы в Одессу. Начался новый период в моей жизни, полдень жизни под горячим южным солнцем, длившийся тринадцать лет.

КНИГА ПЯТАЯ
ПОД ЗНАКОМ ИСТОРИЗМА
(Одесса, 1890—1897)

Глава 26

Наш литературный кружок в Одессе

Историзм как мировоззрение в новом этапе моей жизни. — Создание литературного центра в наименее историческом городе. — Патриотическая Одесса. — Квартира в приморском районе. — Моя критическая статья «Вечные и эфемерные идеалы еврейства» и ответная статья Ахад-Гаама. «Рабство в свободе» и свобода в рабстве. Личное знакомство с Ахад-Гаамом. — Покаявшийся грешник Лиленблюм. — Гладкий Моргулис и колючий Бен-Ами. Две крайности: ассимиляция и русофобия. — Первая встреча с Абрамовичем-Менделем. «Дедушка», сыновья и внуки. — Равницкий. — Наш субботний кружок и пятничный кружок Ахад-Гаама. — Бердичевский до его превращения в европейца.

Я хочу тут же, в начале нового отдела, объяснить смысл его заглавия: «Под знаком историзма». Под историзмом я в данном случае подразумеваю не пафос историографии, который усиливался во мне по мере расширения объема работ, а целое мировоззрение, которое в моем развитии пришло на смену и бурному антитезису и тихой резигнации. Я мог бы смело сказать вместе с Виктором Гюго:

*L'histoire m'apparut, et je compris la loi,
Des générations cherchant Dieu, portant l'arche,
Et montant l'escalier immense marche à marche*.*

В историзме я нашел противовес и религиозному, и философскому догматизму. (Позже я расширил его до пределов философского релятивизма вообще.) Я рассуждал так: я агностик в религии и философии, поскольку обе пытаются, каждая по-своему, разрешать мировые загадки, но я могу знать, как жило человечество в течение тысячелетий и какими путями оно искало истины и справедливости; я утратил веру в личное бессмертие, но история меня учит, что есть коллективное бессмертие и что еврейская нация может считаться относительно вечною, ибо история ее совпадает со всем протяжением всемирной истории; следовательно, изучение прошлого еврейского народа приобщает меня к чему-то вечному. Этот историзм приобщал меня к национальному коллективу, вывел меня из круга индивидуальных проблем на простор социальных, менее глубоких, но более актуальных. Народная скорбь была ближе, чем мировая. Тут открылся путь к национальному синтезу, в котором должны были сочетаться лучшие эле-

* «История явилась мне, и я постиг закон развития поколений, искавших Бога и несших святой ковчег, шаг за шагом поднимаясь по огромной лестнице».

менты старого тезиса и нового антитезиса, еврейские и общечеловеческие идеалы, национальное и гуманистическое.

* * *

Когда я осенью 1890 г. ехал в Одессу, я знал, что для историка этот наименее исторический город, столица Новороссии, не представляет таких удобств научной работы, как Петербург, и что вообще атмосфера южного торгового порта мало благоприятна для роста литературного центра. Одесса привлекала меня, кроме южной природы, только как крупнейший еврейский центр с лоском европейской культуры и с большой еврейской интеллигенцией, хотя в большинстве ассимилированной. Оказалось, однако, что именно тогда эта интеллигенция стояла на распутье и что немаловажную роль в привлечении ее к национальному движению суждено было сыграть тому литературному кружку, который пополнился с моим переездом в Одессу.

В полночь 17 октября 1890 г., когда я с семьей ехал в карете с одесского вокзала по Пушкинской улице по направлению к отелю близ Приморского бульвара, в патриотической столице юга еще заметны были следы отошедшего «царского дня», праздника по случаю «чудесного» спасения царской семьи при крушении поезда под Харьковом в 1888 г. В окнах домов догорали иллюминационные свечи, а в уличном воздухе еще не рассеялся чад от недавно погасших плашек со смолою, «патриотическая вонь» по злому выражению одесского ругателя Бен-Ами. По широким тротуарам, между рядами акаций, еще гуляла публика, и южная ночь, лишь слегка тронутая октябрьским холодом, казалась северянину мягкой, ласковою. Мы заехали в «Южную» гостиницу на Ланжероновской улице, расположенную под холмиком красивого городского театра. Приютились мы в двух комнатах и уже на следующий день принялись за поиски отдельной квартиры.

Помогала нам в этом семья журналиста А. Е. Кауфмана, моего петербургского приятеля, который из-за стеснений в праве жительства вынужден был оставить службу в редакции «Новостей» и переселиться в Одессу, где занял пост соредактора либеральной газеты «Одесский листок», а затем редактировал «Одесские новости». Жена Кауфмана, добрая «врачиха» Мария Семеновна, присматривала за нашими детьми в те часы, когда мы отправлялись на поиски квартиры и закупку мебели. После целой недели беготни удалось нанять квартирку из трех комнат в новопостроенном красивом доме на Базарной улице, в том ее конце, который призывал к приморскому району вилл Ланжерон (Базарная, 15, близ Канатной). Месячная квартирная плата в 30 рублей казалась тогда высокой и была несоразмерна с нашим скудным бюджетом, но таково уже было мое правило: экономить в чем угодно, а не в расходе на квартиру. Скоро, однако, оказалось, что в красивой и чистой квартире очень холодно и сыро: новый дом еще не успел просохнуть, а сушить его дорогими одесскими дровами было очень трудно. Это причиняло нам немало горя в следующие зимние месяцы, которые, несмотря на южный климат, оказались очень холодными: дувший с моря ветер проникал через пористый камень одесских домов и усиливал ощущение холода.

Как только мы устроились, я принялся за работу. Нужно было написать критическую статью для декабрьской книжки «Восхода». Отмечаю ее здесь, так как тема ее вызвала одно из первых выступлений Ахад-Гаама. В моей небольшой статье, озаглавленной «Вечные и эфемерные идеалы еврейства», были сопоставлены две книги: французский сборник «La gerbe» («Сноп»), изданный по случаю юбилея парижского журнала «Archives israélites», и еврейский сборник одесских палестинофилов «Кавверет» («Улей»), в котором участвовали Лиленблум и Ахад-Гаам. В первом я отметил статьи раввина Астриюка²⁵³ и философа Адольфа Франка²⁵⁴, где развивался известный тезис западных рационалистов о миссии этического моноте-

изма библейских пророков как будущей религии человечества (около того же времени появилась и вдохновенная книга Джеймса Дарместетера²⁵⁵ «Les prophètes d'Israël», где профетизм был провозглашен мировой религией, призванной объединить все народы). Я указывал, что в наше время жестоких гонений на потомков библейских пророков такие призывы к возрождению их универсальных идеалов должны поддерживать в нас бодрость духа и веру в будущее торжество правды. Я приветствовал этих западных факельщиков, в темную ночь освещающих нам дорогу к высотам духа, и сопоставил с ними наших доморощенных националистов, факелы которых «горят не ярче колеенной свечи». Этот практицизм вместо идеализма я отметил в статьях сотрудников одесского сборника, особенно в статье Лиленблюма, который призывал к охранению еврейской культуры в виде «сводов наших религиозных законов, тесно связанных с нашим национальным духом». Тут во мне проснулся былой реформист, и я иронически спрашивал: «С каких это пор Лиленблюм стал думать, что критерием истинного иудаизма служит „Шулхан арух“ Иосифа Каро?²⁵⁶» — и прибавил: «Помните, что лет 15—20 тому назад автор с жаром утверждал нечто прямо противоположное». С большим уважением, чем к учителю моей юности, я отнесся к начинавшему тогда писателю Ахад-Гааму, в статьях которого я усмотрел некоторое сомнение в «эфемерных идеалах» палестинофилов. Я доказывал превосходство «духовного национализма» (тут я впервые употребил этот термин, который мне лишь впоследствии удалось наполнить живым содержанием). Это подало повод Ахад-Гааму выступить в «Гамелице» (февраль 1891) со статьей, которая положила начало его литературной известности.

Статья была озаглавлена «Рабство в свободе» и представляла собою критический разбор того же французского сборника, который был рассмотрен в моей рецензии, с указанием на последнюю в особом примечании к заглавию («Ответ на статью „Вечные идеалы“, напечатанную в „Восходе“ одним из наших лучших писателей на языке страны»). Ахад-Гааму неудобно было сражаться со мною на почве антиномии идеализм—практицизм, ибо он сам был более склонен к идеализму; поэтому он перенес спор на другую почву. В западном идеализме он усмотрел следы внутреннего рабства тех ассимилированных евреев, которые ищут оправдания своего существования в миссии иудаизма, потому что не считают себя членами живой еврейской нации, не нуждающейся в таком оправдании. По существу мысли о рабской психологии ассимиляторов я мог бы еще тогда согласиться с Ахад-Гаамом, а через несколько лет я сам ее обосновал фактами из истории эмансипации, но с чем я не мог согласиться — это с мнением, что весь западный идеализм или «мессианизм» вытекает из рабской психологии. В ту пору я не ответил Ахад-Гааму, но позже я выдвинул против отрицательного вывода «рабство в свободе» положительный: свобода в рабстве, в форме национальной автономии, которая сохранила еврейство в эпохи гражданского бесправия и может его сохранить при современных условиях эмансипации. Я не мог идти так далеко, чтобы подобно Ахад-Гааму свести к душевному рабству идеализм лучшей части западного еврейства, видевшей в чистом этическом иудаизме прообраз будущей религии человечества. Ведь то же самое делал Толстой по отношению к очищенному от догматики христианству. Если я в названной статье переоценил идеализм западного еврейства, то мое мнение об узком практицизме палестинофилов разделял ведь сам Ахад-Гаам, который перед тем выступил с идеалистической программой своего ордена «Бне-Моше» и строгим предостережением «Не тем путем!». Вообще при всем различии наших воззрений тогда и позже мы оба чувствовали наше духовное родство, что привело к многолетней личной дружбе.

В ту пору, когда между нами шел первый идейный спор, я еще не был знаком лично с Ашером Гинцбергом, скрывавшимся под псевдонимом Ахад-Гаам. Посетил я его впервые лишь через год после приезда в Одессу, осенью 1891 г. Он тогда жил, помнится, в семье своего отца и участвовал в его коммерческих делах. Беседа

велась в кругу его друзей из «Бне-Моше». Сразу он произвел на меня впечатление сильного, ясного ума. Мы между прочим говорили о недавно появившейся в «Восходе» главе моего «Хасидизма», трактующей об учении «Хабада». Гинцберг оказался прекрасно осведомленным по части теории и практики хасидизма, так как вырос в семье ярких украинских хасидов и был женат на внучке цадика из рода Шнеерсонов. Кроме обширных еврейских знаний, он обладал и солидным общим образованием, знал иностранные языки и, подобно мне, был сторонником английской эволюционной школы в философии. Говорил он по-русски совершенно свободно и только в некоторых удараениях делал ошибки. Гинцберг был старше меня на четыре года, но в литературе был еще новичком, между тем как за мною был уже десятилетний литературный стаж. Позже я ему признался, что отнюдь не горжусь своим литературным старшинством: если бы я выступил в более зрелом возрасте, я был бы избавлен от ноши нескольких незрелых статей. При всем моем уважении к Гинцбергу я, однако, на первых порах не сблизился с ним: между нами стоял его кружок, члены масонского ордена «Бне-Моше»²⁷⁷, впоследствии «духовные сионисты», которые еженедельно по пятницам собирались в его квартире для интимных бесед. Он был для них чем-то вроде хасидского «ребе», к словам которого внимательно прислушивались. Только в позднейшее время, в годы его борьбы с герцизмом и моих «Писем о еврействе», мы стали близкими друзьями, хотя продолжали спорить в литературе. Об этом еще речь впереди.

Одесского старожила Лиленблюма я вовсе не посетил, и тут сказала вся непрочность кумиров юности. Писатель, который своими «Грехами молодости» так волновал душу 17-летнего юноши, потерял для него всякое обаяние после того, как грешник вступил на «путь покаяния» («Дерех тешува» — название его позднейшей книги). Даже моя резигнация не сблизила нас: он уже слишком ушел вправо. После моего резкого отзыва о его статье в упомянутом одесском сборнике он отправил в редакцию «Восхода» гневное возражение, которое редакция переслала мне; я снабдил эту заметку некоторыми редакционными примечаниями и предложил Ландау поместить ее, но он этого не сделал, находя неудобным допустить полемику со стороны критикуемых авторов. При таких отношениях личное знакомство с Лиленблюмом меня, конечно, не привлекало, а в обществе он почти не бывал, посещая только заседания Палестинского общества «Ховеве Цион»²⁷⁸, где он состоял секретарем. Довелось мне встретиться с Лиленблюмом, после новой литературной стычки в связи с моими первыми «Письмами о еврействе», лишь в 1901 г., когда мы оба выступали в общественном клубе «Беседа» в рядах защитников национального воспитания. Наружность его мало импонировала: человек меламедского типа, со спутанной рыжей бородой, заикавшийся в разговоре и смешно произносивший русские слова, был мало похож на реформатора-бойца и героя платонического романа в «Грехах молодости». Но в частных беседах Лиленблюм, как уверяют его друзья, был очень интересен.

Из моих первых одесских знакомств отмечу еще два противоположных типа: бесцветного Михаила (Менаше) Моргулиса и слишком густо окрашенного Марка Рабиновича, известного под псевдонимом Бен-Ами. Популярный в Одессе адвокат-цивилист, член или председатель разных обществ и комитетов, непреременный оратор на собраниях, Моргулис во всех этих областях не поднимался над средним уровнем. Его, может быть, обезличивало то, что он слишком разбрасывался, хотел везде фигурировать, не имея возможности вникать во все дела. В нем как-то мирно уживались ассимиляционные идеи и национальные чувства, и он не испытывал никаких неудобств от такого совмещения. Так, он был председателем Палестинского общества, работая рядом с Лиленблюмом и Ахад-Гаамом, и в то же время являлся руководителем ассимилянтов в еврейских культурных учреждениях, которыми особенно была богата Одесса. В общем он был человек корректный, но будучи сам оппортунистом, не переносил людей с определенными убеждениями и последователь-

ными методами. В литературе Моргулис был старше меня на целое поколение: он печатал статьи по еврейскому вопросу еще в 60-х годах, но в мое время выступал редко со статьями, бледными по содержанию и по стилю. Я уже выше упомянул о его полемике против моих статей о религиозных реформах и о моем запоздалом ответе. Так как мой ответ был написан в примирительном духе, наша первая встреча в Одессе была дружеская. Моргулис обещал мне содействие в осуществлении плана Исторического общества. Вскоре нам приходилось часто встречаться в заседаниях комитета Общества просвещения и работать вместе в его исторической комиссии.

Резкую противоположность гладкому, скользкому Моргулису составлял колючий как еж Бен-Ами. Он был старше меня на несколько лет, но в «Восходе» выступил одновременно со мною. Он печатал там идиллические рассказы из старого еврейского быта и обличительные публицистические статьи (последние он вначале подписывал другим псевдонимом: Реш-галута). Выходя из гуци хасидских масс в Подолии, прошедший через русскую гимназию, он особенно болезненно пережил одесский погром 1881 г., когда был студентом университета. Он уехал за границу, жил в Париже и во французской Швейцарии, писал оттуда в «Восход» корреспонденции с острой критикой «Альянс Изразлит» и других западных организаций. Вернувшись через несколько лет в Одессу, он тут играл редкую в интеллигенции роль ярого русофоба: таким способом его страстный темперамент реагировал на господствующую юдофобию. Это был воплощенный клич «Шфойх хамосхо!» (псалом: «Излей свой гнев на врагов Израиля!»). Он говорил о «кацапе» или «хохле» с таким же презрением, как русский юдофоб о «жиде» или поляк-шовинист о «москале». В каждом еврейском интеллигенте он подозревал ассимилятора или русификатора, особенно если тот ценил русскую литературу. При этом он забывал, что сам читал, говорил и писал по-русски. Он старался, чтобы его родившиеся в Швейцарии дети говорили по-французски и поменьше на «кацапском» языке.

Питая неприязнь к современной интеллигенции, Бен-Ами крайне идеализировал старую раввинско-хасидскую «интеллигенцию», как и вообще весь старый еврейский быт, который он поэтически изображал в своих рассказах, печатавшихся в «Восходе» («Ханука», «Баал-тефила» и др.). Ко мне Бен-Ами относился враждебно после моих статей о реформах и изливал эти чувства в частных письмах к редактору Ландау. В годы моей резигнации, особенно после статей о Моммзене и Ренане, он смягчился, но все еще оставлял меня «в сильном подозрении». Крайне самолюбивый, он не терпел никакой критики своих литературных произведений. Незадолго до моего приезда в Одессу он обиделся на меня за то, что в критическом обзоре я сказал по поводу одного его рассказа, что Бен-Ами знает только два типа: либо праведников, либо злодеев. Когда мы впервые познакомились после моего переселения, Бен-Ами рассказал мне, как его маленький сын, играя в кровати книжкой «Восхода», разорвал в ней именно тот лист, где был напечатан этот отзыв. Не было сомнения, что рассерженный отец сам дал малютке на растерзание неприятный лист журнала. Это, однако, не помешало ему принять меня очень радушно, когда я его посетил в первый раз (он жил на Базарной, почти рядом с нашим домом), чтобы узнать о судьбе нашего общего друга Шалом-Алейхема, семья которого после краха переехала из Киева в Одессу. Этот человек с злым языком имел от природы доброе сердце, но от постоянного раздражения эта доброта как-то скрывалась, и порою казалось, что к Бен-Ами применимы слова Некрасова: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Однако бранить всех Бен-Ами не устал, как передавали мне знавшие его в последние годы жизни. В первое время нашего знакомства в Одессе я с ним часто горячо спорил, но потом убедился, что совершенно бесполезно спорить с человеком, который признает только форму суперлатива в оценке явлений: либо «отвратительно», либо «восхитительно». Его безудержная экспансивность не мирилась с моей интенсивностью. По своим

партийным взглядам он, конечно, был палестинофилом, а потом сионистом, но его темперамент не укладывался в рамки партийной дисциплины: он бранил и единомышленников, если их мнения не шли по линии суперлатива.

Хорошо памятна мне первая встреча с человеком, который скоро сделался патриархом нашего одесского кружка литераторов: с Соломоном Моисеевичем Абрамовичем, как мы его тогда называли, или Менделе, как его потом называли по литературному псевдониму. Шалом-Алейхем пустил для него в ход кличку «дедушка» («дер зейде»), в смысле патриарха новой «жаргонной» литературы, но по возрасту Абрамович нам годился, был только в отцы: в 1890 г. ему было 55—60 лет (первая цифра официальная, вторая ближе к действительной, ибо на старости он сложил со счета пятюк лет). Он был еще бодр и полон творческих сил. В середине ноября я сделал первый визит Абрамовичу. Он жил тогда, как заведующий реформированной Талмуд-Торой, при самой школе, на том пролетарском конце Базарной улицы, который примыкал к Толкучему рынку, между тем как я жил на «аристократическом» приморском конце той же улицы. Эту первую встречу я уже описал в своих воспоминаниях о старом друге и не стану повторять подробности. Скажу только, что в тот осенний вечер был заложен фундамент неизменной нашей дружбы, продолжавшейся 27 лет, до самой смерти Абрамовича. Сближало нас вначале то, что мы оба были беспартийны и свободны от кружковых влияний, а также то, что из моих обзоров текущей литературы Абрамович мог убедиться, как высоко я ценю его творчество на обоих наших языках. Еще накануне нашей первой встречи он прочел мою оценку его великолепной эпопеи «Виншфингерл» (в «Библиотеке» Шалом-Алейхема), которую по смеси эпоса с лиризмом я сравнил с «Мертвыми душами» Гоголя, что ему, видимо, было приятно. Личная беседа с Абрамовичем доставляла большое удовольствие, хотя не скажу, чтобы это удовольствие легко доставалось: он не признавал беседы короче трех-четырех часов и вдобавок любил форму монолога. Для меня, систематика, была в высшей степени поучительна эта беседа с человеком, не связанным никакими системами, но импровизировавшим оригинальные мысли в процессе разговора. У Абрамовича всегда был свой подход к каждому вопросу; он заставлял собеседника, стремившегося вширь, идти в глубь проблемы. Часто его извилистый ход мысли утомлял, парадоксы сердили, но в результате вопрос все-таки углублялся и освещался с новой, непредвиденной стороны. Хотя Абрамович писал только на обоих еврейских языках, но говорил он тогда со всеми по-русски, единственном обиходном языке интеллигенции; говорил он свободно, с редкими грамматическими ошибками. На идиш он стал говорить чаще лишь в последние годы жизни, когда подросло говорившее на народном языке третье поколение интеллигенции, действительные внуки.

Вскоре наши частые беседы превратились в коллективные, кружковые. Мы стали сходитьсь втроем, с Бен-Ами, а затем с его другом, учителем-гебраистом и писателем И. Х. Равницким²⁵⁹. Молчаливый, но наблюдательный и начитанный, Равницкий был хорошим слушателем, а когда изредка вставлял свое слово, оно было довольно метко. Он одновременно посещал и масонский кружок Ахад-Гаама, и Абрамович дразнил его, спрашивая: «Ну, Равницкий, что слышно там у ваших рыжих еврейчиков?» (намек на рыжие волосы Ахад-Гаама и Равницкого и вместе с тем на название их кружка «Бне-Моше», одно из названий легендарных «красных еврейчиков» за рекою Самбатироном). Позже к нашему кружку примкнуло еще несколько человек, из которых помню славного молодого врача Михельсона, скошенного через несколько лет злой чахоткой. Собирались мы обыкновенно по субботним вечерам то у Абрамовича, то у меня или у Бен-Ами.

Из случайных встреч в первое время пребывания в Одессе вспоминаю одну, которой я тогда не придавал значения. Является ко мне однажды бедно одетый молодой человек ишиботского типа и рекомендуется Бердичевским²⁶⁰. Он сослался на то, что я за два года перед тем переписывался с ним по делу собирания материалов

для истории хасидизма. Я вспомнил эту переписку, связанную с приключениями: я тогда послал начинавшему писателю Миха-Иосифу Бердичевскому письмо по адресу его отца, раввина в местечке Киевской губернии, и спустя долгое время получил ответ, что отец задержал это письмо, не желая выдать его вольнодумному сыну, который уже тогда, в юные годы, имел «жернова на шее»: жену и детей. Теперь этот молодой человек, сбросив семейное иго, пустился через Одессу за границу с намерением получить там европейское образование. В тот момент он не знал ни одного европейского языка кроме «идиш» в украинском диалекте, и мы должны были объясняться на этом тогда еще «неинтеллигентном» языке. Кто тогда мог думать, что из этого сына иешивы выйдет со временем вдумчивый писатель, стонник «переоценки ценностей» в духе Ницше?

Глава 27

Тревожный год (1891)

«Беллетристический памфлет» Крестовского. — Мой трактат «Об изучении истории русских евреев»: обоснование историзма и национальной идеи, план подготовительных работ. — Приостановка «Восхода» на полгода. — Московское изгнание и гроза репрессий. — Лето в Люстдорфе. Соседство Шалом-Алейхема, приезд Фруга, наш люстдорфский симпозиум, сентябрьская ночь на берегу Черного моря. — Возобновление «Восхода» и появление трактата «Об изучении истории». — Первый отклик: петербургский кружок Винавера и Историко-этнографическая комиссия. Московский кружок Брамсона и библиографический указатель. Моя организация исторических работ в Одессе. — Смерть Пинскера и венок Ландау. — Мой проект русского издания Греча принят комитетом Общества просвещения.

Тяжелые предчувствия томили меня накануне нового, 1891 г., который оказался фатальным в истории русских евреев. Волна официальной юдофобии поднималась все выше, официальная пресса вроде «Нового времени» усилила свои нападки на евреев, готовилась новый административный погром. Я писал в эти дни разбор «беллетристического памфлета» известного реакционера В. Крестовского²⁶¹, романа «Тамара Бендавид», где изображалось в лицах коварное «миродержавство» евреев в том духе, как позже в «Мудрецах Сиона». В тенденциозном романе доказывалось, что евреи-капиталисты, с одной стороны, и революционеры, с другой — губят Россию: они повинны и в революционном движении и в неудачах русской армии в балканской войне 1877 г., когда еврейская интендантская компания была уличена в злоупотреблениях и предана суду по приказу тогдашнего главнокомандующего, впоследствии царя Александра III. По всем признакам было ясно, что автор стремится напомнить нынешнему царю и его генеральской камарилье о «еврейском преступлении» и побудить правительство к новым репрессиям. Я воспользовался разбором памфлета Крестовского для того, чтобы познакомить читателей «Восхода» с закулисными влияниями в «высших сферах», насколько это было возможно при тогдашних условиях русской цензуры. К сожалению, Ландау, с целью предохранить журнал от цензурных скорпионов, вставил в мою статью одну патриотическую фразу, крайне для меня неприятную. «Восход» действительно висел на волоске: он имел уже два предостережения от правительства и при третьем подлежал запрещению, что скоро и случилось. Моя статья кончалась призывом к распространителям басни о еврейском миродержавстве, чтобы они заглянули в обители бедствующих еврейских масс и вдумались в трагедию гонимого народа. Конечно, я мало верил в успех моего призыва.

С радостью ушел я на время от публицистики, чтобы снова погрузиться в историю. Я принялся за изложение того плана организации исторических работ, ради

которого я переселился в большой культурный центр. Занимался систематизацией огромного числа актов, разбросанных в сотнях томов, изданных русскими научными учреждениями, составлял план извлечения материалов из общинных Пинкосов, общественных и частных архивов и выработывал проект деятельности имеющего быть учрежденным для этой цели Исторического общества²⁶². Так создавался небольшой трактат «Об изучении истории русских евреев и об учреждении Русско-еврейского Исторического общества». Мой «историзм» сказался уже в первых главах. После motto из Цицерона: «Не знать истории значит постоянно быть младенцем», я в первой главе развил ту мысль, что признаком высшего духовного развития человека является сознательное отношение к прошедшему, ибо сознание настоящего присуще даже ребенку в силу непосредственного восприятия впечатлений, а сознательное отношение к будущему присуще всякому человеку в силу чувства самосохранения и практической целесообразности, между тем как самосознание в прошедшем удовлетворяет лишь высшие потребности Разума в установлении законосообразности явлений как цепи причин и следствий. Во второй главе я установил, что историческое сознание является основой еврейской национальной идеи, так как с утратой материальных признаков нации мы объединены главным образом общностью исторических судеб, причем сослался на ренановское определение национальности. За этими вводными теоретическими главами следовали обзор развития еврейской науки на Западе и в России (тут досталось, между прочим, Гаркави за то, что он историю подчиняет филологии и археологии, а не наоборот), изложение плана истории евреев в Польше и России и подробнейшая классификация источников, как печатных, так и рукописных, наконец, план собирания материалов и проект устава Исторического общества.

Писал я весь этот трактат в состоянии особенного возбуждения и, написав большую половину, вынужден был прервать на полуслове вследствие крайней усталости. В день перерыва (13 марта) я записал: «По мере того как пишу, я сам проникаюсь все более величием идеи, которой готов отдать мою жизнь. Работа сложная, требующая громадных усилий ума. Но все физические муки, которые она мне причиняет, ничто в сравнении с доставляемым ею духовным наслаждением. Забываешь о всех невзгодах и колючих терниях жизни, возносишься высоко в область светлых идеалов». Однако переутомление дало себя почувствовать, и через два дня я писал Ландау: «Я болен — вот роковое слово, которое может послужить ответом на все Ваши вопросы в последнем письме». Вопросы моего издателя касались невольного перерыва в доставке моих критических статей для очередных книг «Восхода». Я убедился, что в дальнейшем историческая работа не позволит мне писать регулярно критические статьи, и поэтому просил Ландау освободить меня от них на полгода. Не успел я окончить это письмо, как у дверей нашей квартиры раздался резкий звонок. Это было утром 15 марта. Вошел агент «Восхода» Сержинский с газетным листом в руках, где была напечатана телеграмма из Петербурга: «Распоряжением министра внутренних дел журналу „Восход“ и газете „Еженедельная хроника Восхода“, за упорствование в своем крайне вредном направлении, объявлено третье предостережение с приостановлением обоих изданий на шесть месяцев».

Удар был двойной: общественный и личный. Закрытие «Восхода» и последовавшая затем приостановка либеральной петербургской газеты «Новости» предвещали новый взрыв репрессий. И действительно, через две недели был издан жестокий указ Александра III об изгнании тысяч еврейских ремесленников и торговцев из Москвы²⁶³, где его свирепый брат великий князь Сергей был назначен генерал-губернатором. Для меня же лично приостановка «Восхода» означала лишение единственного источника существования. Я теперь получил через министра желанный полугодовой отпуск не только от критического отдела, но уже от всякой работы. Я немедленно написал Ландау письмо с выражением горячего сочувствия и со-

ветовал во время полугодового перерыва издать большой сборник статей для удовлетворения подписчиков журнала. На следующий день мы собрались в квартире Абрамовича²⁶⁴. Пришли туда и Моргулис, и сын Абрамовича, многообещавший и потом не оправдавший надежд поэт, который тогда переводил аллегорию «Кляча» своего отца на русский язык и печатал ее в «Восходе». Этот перевод был указан среди перечисленных в декрете министра «вредных» статей журнала. Мы обсуждали новое событие, скорбели, гадали. В записи того дня нахожу отметку: «Я был как-то странно спокоен, хотя меня ударило сильнее, чем всех других коллег». Это наружное спокойствие стоило мне многих душевных сил.

Я напряг последние силы, чтобы дописать эту «Об изучении истории», где чуткий читатель мог в заключительной главе уловить скорбное настроение автора среди его бодрых призывов к коллективной работе. В записи 2 апреля читаю: «Кончил свою большую работу. В последних главах слова лились неудержимо, горячие, убедительные. Порою казалось мне, будто я пишу свое духовное завещание». Я был болен и от умственного напряжения, и от схваченной еще зимою простуды в холодной, сырой квартире. Через пару дней я занес в дневник грустные стихи: «Я видел Смерть. Она стояла у тихого порога моего». Пробовал найти забвение в механической работе. По целым дням переписывал полученный из Польши большой манускрипт, полный вариант сборника антихасидских документов, и упивался этим как опиумом или как учением о нирване в прочитанном тогда трактате Ольденбурга о буддизме.

Скоро и опиум перестал действовать. Ужасы изгнания евреев из Москвы и слухи о предстоящих репрессиях в Петербурге создали атмосферу паники. В самой Одессе ждали пасхального погрома, и Абрамович с горькой усмешкой говорил: моя жена уже приделала колесики к своему сундуку с вещами, чтобы быстрее выкатить его в случае погрома. Я в эти тревожные дни часто встречался с друзьями и доказывал им необходимость послать кого-нибудь за границу с целью поднять шум по поводу зверств русского правительства. Тогда еще верили в «европейскую совесть». Скоро мы узнали, что в Берлине и других местах уже действуют комитеты помощи бегущим из России еврейским массам.

Так печально началась для меня первая одесская весна с ее ярким сиянием и опьяняющим запахом акаций на улицах. В конце мая я оставил жаркий город и поселился с семейством в недалекой немецкой колонии Люстдорф, на берегу Черного моря. Тут я, уроженец лесной полосы, впервые почувствовал красоту второго лика природы, морского. Эту дачную местность расхвалил мне, конечно в суперлативах, мой городской сосед Бен-Ами, который скоро стал и моим дачным соседом. По дороге в Люстдорф я остановился на одной из станций трамвая, проходившего вдоль морского берега мимо летних дач на Фонтанах, чтобы посетить поселившегося там Шалом-Алейхема с семейством. После киевского краха его семья переехала в Одессу, а глава ее скрывался от кредиторов в Румынии и Галиции; теперь он вернулся к семье и жил тихо в дачном убежище близ Одессы, известном только его близким друзьям. Семья, у которой я минувшим летом гостил в роскошной вилле Боярки, ютилась теперь в сырой и полутемной дачке какого-то грека. На всем лежал отпечаток разоренного хозяйства. Теперь мы стали соседями, одинаково необеспеченными писателями. Живя на расстоянии часа езды друг от друга, мы сносили большую часть письменно, пользуясь своеобразной почтой. Дело в том, что до моей деревни почта не доходила и за корреспонденцией приходилось ходить или ездить на почтовую станцию, находившуюся на Большом Фонтане, где жил Шалом-Алейхем. И вот мы условились, что он получает с почты мою корреспонденцию и пересылает мне ее ежедневно через кучера «линейки», омнибуса, возившего пассажиров между Люстдорфом и Фонтаном. Отсылая мне почту, мой друг прилагал к ней шуточные записочки, и я отвечал ему в том же тоне. Мы условились переписываться на смешном жаргонизированном гебреиш, языке хасидских «темных людей»

из сатиры «Мегале тэмирин», и пачка его шуточных записочек сохранилась в моем архиве. То был смех сквозь слезы: ведь оба мы были выбиты из колеи, каждый по-своему.

Люстдорф действительно оказался райским углом. Передо мною расстиралось открытое море, в синей дали которого мне мерещился Константинополь, древний страж на грани Европы и Азии. Ранним утром бродил я по широкому песчаному берегу, зачарованный картиной волнистой морской поверхности, которую восходящее солнце покрывало тысячами бриллиантовых блесток. Днем купался в этих волнах древнего Понта Эвксинского, на берегах которого некогда бродили античные греки и римляне и слышались грустные песни, «тристия», изгнанника Овидия. Теперь место греческих колонистов заняли немецкие, давшие деревне немецкое имя и приютившие нас, потомков третьего античного народа. Приют был очень скромный, деревенский. Глинобитные домики с соломенными крышами, прямо примыкавшие к огородам и далеко тянущимся полям, вся эта сельская простота обстановки действовала успокоительно на наши городские нервы. Я жил с семейством в одном из этих домов, окрашенных в синий цвет, три комнаты были уставлены нашей мебелью и библиотекою, которые хозяин-колонист перевез на своей телеге из города. Я мог бы тут хорошо работать над окончанием «Истории хасидского раскола», если бы не личные и общественные тревоги этого ужасного лета. Чтение газет ежедневно било по нервам. Бегство евреев из России после московского легального погрома все усиливалось. Слухи о готовности барона Гирша²⁶⁵ вывезти из России в Аргентину в течение 25 лет около трех миллионов евреев порождало мессианское настроение. Русские фараоны охотно вели переговоры с новым Моисеем о возможно быстром вывозе сынов Израиля. Посол Гирша, англичанин Уайт²⁶⁶, носился по черте оседлости, чтобы осмотреть назначенный для экспорта живой товар. Обо всем этом мы узнавали из русских и заграничных газет, ибо главный источник нашей информации, «Восход», был закрыт. Неопределенность общего положения усиливала мои терзания. А тут еще крайняя неопределенность личного положения. Ландау изредка посылал небольшие авансы, предупреждая, что обеспечить меня до возобновления «Восхода» не может. Фруг писал мне из Петербурга, что и ему наш «милый редактор» отказал в поддержке.

Скоро сам поэт появился в наших местах. После многолетней терпимости к Фругу со стороны петербургской полиции, градоначальник Грессер лишил его своей милости, так как рассердился на его патрона, адвоката М. Варшавского, который осмелился обжаловать в Сенат одну из драконовских мер градоначальника против евреев. Поэт был лишен прав фиктивного служителя у адвоката и выслан из столицы. Я увидел его под ясным небом Люстдорфа в его обычном веселом настроении: певец народной скорби был грустен в стихах, но бодр и весел в обществе, где слыл интересным, остроумным собеседником. Увидев у меня на столе свои книги стихов в бархатном переплете, он воскликнул по-еврейски: «Вы одели меня в бархатную жупицу, недостает только штраймель!» Но чувствовалось, что у него на душе кошки скребут. Вскоре к числу наших бедствующих писателей, наслаждающихся южной природой, присоединился и Бен-Ами, поселившийся с семьей рядом во дворе нашей дачи и устроивший с нами общее хозяйство. Своими большими нервами и мрачным настроением этот ожесточенный нуждою человек усиливал мою душевную депрессию. Наши долгие прогулки по берегу моря были бы гораздо позитивнее и благотельнее для нас обоих (Бен-Ами тоже страстно любил природу и даже афишировал эту страсть), если бы не наши бесконечные беседы о злобах дня и его склонность видеть все в черном свете.

Нередко приезжали к нам гости из города и дачных Фонтанов. Помню эти наезды Абрамовича с своим неизменным спутником Равницким, Фруга, Шалом-Алейхема, особенно к концу лета, когда большая часть дачников уже разъехалась. Мы устраивали общие прогулки в окрестностях. Особенно памятна мне одна такая

прогулка в дивный солнечный день в начале сентября. По всему берегу носился звон черноморской волны, а дальше, на полях, в садах и виноградниках, царила та глубокая тишина позднего лета, когда в прозрачном воздухе чувствуется ласка южного солнца, недавно еще жгучая, а теперь мягкая, успокаивающая. Мы ходили в соседнюю усадьбу винодела Шульца, сидели в его саду с виноградниками, ели плоды, пили чай и с большой бутылкой свежего вина возвращались домой, то есть ко мне на дачу. До поздней ночи сидели мы в беседе на нашем дворе, пили вино, оживленно беседовали и пели народные песни. Абрамович был неистощим в своих рассказах о прошлом и оригинальных рассуждениях; Фруг прекрасно спел хасидскую пародию: «Вос вет зайн, аз мошиах вет кимен?»; мирно настроенный в тот вечер Бен-Ами спел хасидскую песню без слов с глубоко грустной мелодией, и мы хором повторяли ее. Еврейские народные песни оглашали воздух спящей немецкой колонии, а с берега нам аккомпанировала звенящая морская волна. И так хорошо было в ту ночь нам всем, тоскующим, озабоченным, удрученным личным и народным горем...

В Люстдорфе мне удалось дописать последние главы «Истории хасидского раскола» и составить план следующей серии глав по истории хасидизма. Все это делалось в ожидании возобновления «Восхода» после полугодичного перерыва, а между тем отдохавший за границу Ландау совершенно не считался с моими литературными планами и даже с моим критическим материальным положением. Он присылал мне такие ничтожные авансы, что я вынужден был обратиться за помощью к русскому Литературному фонду для помощи писателям в Петербурге, ссылаясь на кризис, вызванный запрещением «Восхода». Фонд долго медлил и наконец прислал 50 рублей вместо просимых 300. Помню, как в сентябре Фруг привез мне из города среди прочей корреспонденции и этот денежный пакет от Литературного фонда. Призрак нужды встал пред глазами. В таком состоянии острой заботы я поехал в город и нанял там квартиру недалеко от нашей прежней зимней квартиры. Она находилась в том доме № 12 по Базарной улице, который в течение десяти лет был хорошо знаком моим одесским посетителям и иногородним сотрудникам по собиранию исторических материалов. В конце сентября моя сельская идиллия сменилась городской прозой, о характере которой можно судить по следующей записи: «Водворился на новой квартире, — не знаю, для чего: чтобы жить в ней или умирать... Жить нечем». Я послал Ландау категорический запрос: может ли он гарантировать мне минимум в сто рублей ежемесячно, и получил отрицательный ответ. Тогда я отказался от ведения критического отдела в журнале, начиная с 1892 г., и решил отдаться исключительно исторической работе — решение отчаянное, которое обрекало меня на еще большую материальную нужду, чем прежде. Я искал самозабвения в любимой работе.

В начале октября возобновилось издание «Восхода». Вышел большой сборник статей взамен книжек журнала за пропущенное полугодие. Во главе сборника была помещена моя обширная статья «Об изучении истории» с подробным планом организации работ по истории русских евреев. Одновременно эта статья появилась в Петербурге в виде отдельной брошюры, для целей пропаганды. Так я впервые, на десятом году своей литературной деятельности, дождался отдельного издания одной статьи в форме книги. Пафос историзма, сквозивший во всем изложении этой книги, произвел впечатление в разнородных кругах интеллигенции. Первый отклик пришел из Петербурга. От кружка лиц, во главе которого стояли молодой Максим Винавер²⁶⁷, Василий Берман²⁶⁸ и Самуил Грузенберг, получился запрос, чем могут они служить делу организации исторических работ и по какому плану их вести. Я ответил, что петербургский кружок мог бы с наибольшим успехом заниматься собиранием всех относящихся к евреям документов, разбросанных в сотнях томов актов, издаваемых различными архивными комиссиями, с тем чтобы потом объединить их в особых сборниках актов или регест. Мой совет был принят, и вскоре

группа энергичных молодых работников учредила в Петербурге Историко-этнографическую комиссию при Обществе распространения просвещения среди евреев, которая в течение ряда лет подготавливала издание монументальных томов «Регест и надписей». К ней примкнула группа московской университетской молодежи, которая еще раньше занялась составлением «Систематического указателя литературы о евреях на русском языке», образцового библиографического памятника целой литературной эпохи (печатался в приложении к «Восходу» в 1892 г. и вышел также отдельным изданием). Во главе московского кружка стояли Леонтий Брамсон²⁶⁹ и Юлий Бруцкус²⁷⁰, которые еще в конце 1890 г. переписывались со мною о плане распределения материала в указателе. Чувствовалось, что эта молодежь работает с увлечением, готовясь к широкой общественной деятельности. В начале 90-х годов они переселились в Петербург и здесь соединились с группой Винавера—Бермана в Историко-этнографической комиссии. Из этого ядра еврейской интеллигенции в Петербурге вышли те деятели, которые позже играли руководящую роль в общественной и политической жизни русского еврейства. Потом пути их разошлись по разным направлениям и партиям, но мне приятно засвидетельствовать, что первая любовь этого поколения интеллигенции была связана с еврейской историей и литературой.

Историческая комиссия при Обществе просвещения была, таким образом, суррогатом проецированного в моей книге самостоятельного Исторического общества, которое при тогдашних полицейских условиях не могло быть легализовано. А между тем я был отделен от этой организации огромным пространством, лежавшим между севером и югом России. Петербургская группа по своему составу могла осуществить только намеченную мною часть программы подготовительных работ, остальное предстояло организовать мне. Нужно было привлечь к делу собирания материалов все еврейское общество, представителей общин, раввинов и книжных людей в городах черты оседлости. В конце 1891 г. я опубликовал в «Восходе» воззвание о добровольном сотрудничестве в деле собирания исторических материалов, особенно Пинкосим старейших общин, с предложением присылать их по моему адресу. Одновременно это воззвание рассылалось в отдельных плакатах. С тех пор ко мне стали поступать из разных мест документы или сообщения о них; число моих добровольных сотрудников постепенно росло.

Едва я приступил к организации этих подготовительных работ, как пришла весть о смерти нашего историографа Греца (сентябрь 1891). Смерть учителя, которому я следовал в первый период моей научной деятельности, потрясла меня, и я охотно принял предложение Ландау посвятить Грецу обстоятельную статью. Два месяца общался я с духом покойного, вновь перечитывая том за томом его замечательный труд, и пред глазами развернулась такая грандиозная картина исторического пути народа, что я решил воспроизвести ее в связи с биографией Греца и оценкою его научных методов. Так был создан целый трактат, писавшийся в начале 1892 г. и опубликованный в ряде книжек «Восхода» этого года («Историограф еврейства»). Я в следующей главе еще расскажу об этом этюде, характерном для моего тогдашнего настроения.

В ту же зиму (декабрь 1891) умер в Одессе глава палестинофилов доктор Леон Пинскер. Я не успел лично познакомиться с ним по приезде в Одессу: мне было неловко посетить идеолога территориальной самоэмансипации, против которой я когда-то выступил с теорией духовной самоэмансипации. Мне суждено было сделать визит уже мертвому Пинскеру. Я получил от Ландау по телеграфу поручение возложить на гроб венки от имени редакции «Восхода» с следующей странною надписью: «Убежденному, но толерантному другу народа». Родные и близкие покойного, особенно же Лилиенблюм и другие главари «Ховеве Цион», запротестовали против обидного «но» в надписи, и мне пришлось заменить его мирным, хотя в данном случае мало подходящим «и». Ландау по этому поводу поместил заметку в

«Хронике Восхода» с протестом против распорядителей похорон, а мне прислал ругательное письмо с упреками за мою уступчивость одесским «фанатикам», которые помешали ему дать в надписи свободную (в сущности, полемическую) оценку деятельности покойного. Кто хочет полюбоваться полемическими красотами этого письма, может прочесть его в извлечениях из нашей переписки, помещенных мной спустя четверть века в «Еврейской старине» (1916 г., с. 113—114).

Освободившись от срочной работы в «Восходе», веденная критического отдела, я задумал план издания общего курса еврейской истории, которого тогда еще не было на русском языке. Мне казалось ненормальным готовить обширную историю евреев в Польше и России для читающей публики, которая еще не могла ознакомиться с общееврейской историей. Я решил предложить Одесскому комитету Общества просвещения евреев издать в русском переводе недавно появившуюся сокращенную «Историю евреев» Греца в трех томах с моими дополнениями. Я говорил об этом плане с влиятельным членом комитета М. Г. Моргулисом, и он обещал мне свою поддержку. 30 декабря 1891 г. вечером я и Бен-Ами были приглашены в заседание комитета в качестве кооптированных членов-сотрудников. Тут я познакомился с прочими членами комитета, представителями одесской интеллигенции: престарелым доктором А. В. Бертенсоном²⁷¹, основателем курорта на пригородном Лимане, военным врачом Финкельштейном, молодым инженером и богатым мукомолом Г. Э. Вайнштейном, который вскоре стал бессменным председателем комитета, бойким адвокатом Грановым²⁷² и многосторонне образованным доктором Г. Гиммельфарбом²⁷³. В заседании обсуждался вопрос, как употребить имевшийся в распоряжении комитета небольшой фонд, назначенный для распространения знания еврейской истории. Были разные проекты, между прочим, о составлении мною истории русских евреев, но я изложил свой план издания популярной общей истории Греца, и он был принят. Решено было немедленно взяться за перевод. Работа была поручена мне вместе с Бен-Ами. По моему предложению была потом избрана редакционная комиссия с Моргулисом во главе. Эта коллегиальная работа делалась в течение 1892 г. весьма усердно, но, как увидим дальше, не без серьезных препятствий и конфликтов.

Глава 28

Пафос истории (1892)

«Миссионер истории». — Эюд о Греце: «Историограф еврейства». Скорбь настоящего и пафос прошлого. Лирика и критика. — Мой призыв к исторической работе («Нахпеса ве-наххора»), посвященный памяти деда. Тень деда и возврат к национальному языку. — Коллективная работа над переводом «Народной истории евреев» Греца. — Как Бен-Ами воевал с русским языком в переводе. Редакционная комиссия под руководством Моргулиса. Мой корректурный контроль и конфликт с Моргулисом. — Летняя идиллия на Среднем Фонтане; «Бердичев» на берегу Черного моря. — Продолжение истории хасидизма; «Цадик в петербургской крепости». — Введение к труду Греца: «Что такое еврейская история». По линии спиритуализма Цунца и Греца: «мыслить и страдать», «народ-вероучитель и народ-мученик». Периодизация еврейской истории по гегемониям. Оценка талмудизма как военной дисциплины. Лирический синтез вместо философского. — Провал моего введения в комитете. — Запрещение перевода Греца церковной цензурой и уничтожение напечатанных экземпляров. — Неудачная попытка еврейской энциклопедии.

В новогодней записи 1892 г. я отмечал: «Моя цель жизни выяснилась: распространение исторических знаний о еврействе и специальная разработка истории русских евреев. Я стал как бы миссионером истории. Ради этой цели я отказался от

современной критики и публицистики». В те дни я находился под обаянием образа Греца, который я тогда рисовал в обширном этюде «Историограф еврейства». В каком повышенном настроении писался этот этюд, можно судить по следующим страстным тирадам из вступления: «В шумный хор боевых паролей нашего времени: барон Гириш, Аргентина, поголовное переселение русских евреев, заграничные комитеты, съезды — ворвалось вдруг крылатое слово: Грец умер!.. В те самые дни, когда гроб с останками покойного историографа двигался из Мюнхена в Брест-Славль, по всей восточно-прусской границе тянулась цепь не менее печальных, хоть и не похоронных, corteжей. То десятки тысяч сынов народа-скитальца покидали свою родину и направлялись далеко за океан, ища хлеба и уголка оскорбленному сердцу... Историк умер; история готовит материал для будущих еврейских мучеников... Его ли память не увековечить, его, который увековечил все прошедшее нашего народа в одном величественном литературном памятнике?»

Скорбью настоящего и пафосом прошлого проникнута вся эта серия статей. Чувствуется всюду связь автора с душою отошедшего историографа, с ходом его творчества. Содержание каждого тома Греца рисуется тут в живой картине, с лирическими, но порою и критическими комментариями. Я, например, брал под свою защиту против Греца свободомыслящих всех веков, от Ахера до Уриеля Дакосты, Модены²⁷⁴ и Спинозы, героев моего юношеского «романа»; я даже находил смягчающие вину обстоятельства для героинь берлинского салона, объясняя их уход от еврейства «весенним разливом» революционной эпохи; но вместе с тем я угадал в Греце первого выразителя идеи «духовной нации», хотя еще неясно формулированной, «нации вселенской, космополитической». Некоторые из моих друзей говорили и писали мне, что они с глубоким волнением читали мой очерк о Греце.

Меня воодушевляла мысль, что мне суждено будет продолжать великое дело Греца в области истории восточного еврейства (о самостоятельной обработке всеобщей еврейской истории я тогда еще не думал). И я ревностно продолжал свои подготовительные работы. По просьбе Равницкого я написал для издаваемого им литературного сборника «Пардес» статью такого же содержания, как мой трактат «Об изучении истории», но приспособил изложение к уровню понимания читающей по-древнееврейски публики, в особенности раввинов и иешивотской молодежи, на которых я более всего рассчитывал в деле собирания Пинкосим и других материалов в еврейских общинах. Я выразил там сожаление, что раввины прежних веков, оставившие нам ряд ритуальных кодексов, не позаботились об изготовлении кодекса нашей истории, и призывал их потомков исправить этот недостаток путем собирания исторических материалов по изложенной мною программе. Под заглавием «Будемте искать и исследовать!» («Нахпеса ве-нахкора») статья была напечатана в сборнике «Пардес» и одновременно в виде отдельной брошюры для рассылки по общинам. Во время писания получилась весть о смерти моего деда Бенциона в Мстиславле. Местный корреспондент, его ученик, прислал мне некролог с описанием торжественных похорон 85-летнего старца. А я с глубоким волнением хоронил его в моей душе: вспомнил детство и раннюю юность, недавнюю трагическую коллизию между Акивою и Ахером в тишине провинциального города, наше последнее примирительное прощание... И я посвятил свою брошюру на главном листе «памяти того, кто во все дни своей жизни не отлучился из шатра Торы». Я чувствовал, чем я обязан этому герою духа, передавшему мне в наследство привязанность к «шатру Торы», хотя и совершенно иной, широкой и свободной Торы. Я чувствовал потребность посвятить памяти деда маленькое произведение, написанное на том «священном языке», которому он меня впервые обучил.

Прошло 15 лет с тех пор, как я расстался с предметом моей первой детской любви, с древнееврейским языком, на котором я только переписывался с родными и с корреспондентами из «старого мира», но ничего не писал для печати, — и вот теперь я вернулся к нему, хоть и не навсегда, в момент, когда для него настал но-

вый расцвет под пером таких писателей, как Абрамович (второго периода), Ахад-Гаам и Бялик. Знаменательно, что все эти три творца нового ренессанса фигурировали в том самом первом томе «Пардеса», где появилась и моя статья, и что Бялик там напечатал свое первое стихотворение «Эл гацципюр». Я до сих пор благодарен Равницкому за то, что он меня вновь сосватал с моей первой возлюбленной, национальной речью, и помог мне с ней сговориться после долгой разлуки (мой еврейский стиль был еще довольно слаб в то время, и Равницкому пришлось его исправлять). Я, конечно, не совсем вернулся к национальному языку; для этого я слишком сросся с русско-еврейской литературой, но от времени до времени стал печатать небольшие работы на помолодевшем древнем языке, а через 38 лет искупил свою вину перед ним тем, что написал на нем переработанную «Историю хасидизма» так свободно, как если бы всю жизнь писал на этом языке.

В марте 1892 г. я приступил к переводу популярного Греца. Сразу дала себя почувствовать сухость немецкого текста, механически сокращенного (вероятно, не самим автором). Так как изложение начиналось с завоевания Ханаана, то я решил предпослать ему главу о «доисторическом» периоде, составленную по полной истории Греца. Я взял на себя перевод всех глав первого отдела, до вавилонского плена, а перевод следующего отдела первого тома поручил Бен-Ами, как было уговорено в редакционной комиссии. Прежде чем я успел составить первый отдел, работавший параллельно Бен-Ами уже представил комиссии часть своего перевода. Тут оправдались мои наихудшие опасения. Я давно опасался, что Бен-Ами окажется плохим переводчиком с немецкого на русский язык. Его знание русского языка было достаточно для описания еврейского быта, где элемент «жаргонизации» был дозволителен как способ передачи местного колорита, но для перевода научного труда, в особенности с трудного немецкого текста, у него не было достаточного запаса слов и оборотов. Желая быть последовательным в своей русофобии, Бен-Ами воевал где мог с русским языком, на котором поневоле писал: читал как можно меньше по-русски, с своими детьми говорил больше по-французски, вместо того чтобы приучить их к своему родному языку, подольского «идиш», как подобало бы крайнему народнику. В результате он оказался пишущим и говорящим на презираемом им русском языке, что, конечно, отразилось на его стиле. Когда первая переведенная им глава читалась в нашей комиссии, было больно смотреть на присутствовавшего тут же переводчика: почти каждую фразу его нам приходилось при сличении с оригиналом исправлять и со стороны верности передачи, и особенно со стороны русского стиля. Коллективное редактирование отняло много времени у комиссии, заседавшей раз или два в неделю в квартире Моргулиса: ведь нас было там с полдюжины членов (кроме Моргулиса и двух переводчиков участвовали еще Гранов, Гиммельфарб и совершенно обрусевшей адвокат Блюменфельд²⁷¹) и каждый вносил свои поправки. Самолюбие Бен-Ами немало страдало от таких сеансов анатомирования его рукописи, и тем не менее он не отказывался от участия в переводе: он не мог решиться на это при своем тяжелом материальном положении. Мне было вдвойне больно: и за униженного товарища, и за предпринятое по моей инициативе издание, куда и после наложенных комиссией редакционных заплат могло попасть много плохих страниц. Комиссии наконец надоело возиться с исправлением плохого перевода, и Бен-Ами был устранен от работы. Я из корректности отказался принять перевод его части книги, и работа была распределена между другими членами комиссии, причем я взял на себя чтение контрольных корректур. Но и это не избавило меня от больших неприятностей.

Корректуры получались из Петербурга, где наша книга набиралась в типографии Ландау (мы печатали ее в столице, чтобы освободить рукопись от предварительной цензуры). Читая корректурные листы, я убедился, что переведенные под наблюдением Моргулиса главы крайне неудовлетворительны: небрежный стиль и местами неточная передача содержания вследствие недостаточного знакомства пе-

реводчиков с предметом. Я испещрил поправками все поля корректурных гранок и вернул Моргулису с указанием на необходимость более тщательного перевода. Моргулис очень обиделся (в числе реводчиков оказалась и его дочь, а одну главу он сам перевел) и прислал мне резкий ответ с упреками в придирчивости и пристрастии. Тогда я написал ему, что вследствие разногласия в оценке качества переводов я готов выйти из состава редакции с тем, чтобы нести ответственность только за переведенные мною и особо помеченные главы. Моргулис смутился, посылал ко мне для переговоров Абрамовича и Бен-Ами, и в результате установился «худой мир»: мы поделили между собою работу по исправлению корректур. Однако, зная рассеянность и стилистическую небрежность Моргулиса, я не мог успокоиться: от его редакции я мог ожидать всяких сюрпризов. Вообще тут было много лишней суеты. Мною же предложенный коллегиальный способ работы оказался тормозом в небольшом деле, которое было бы по силам одному умелому человеку.

Эта суетливая работа портила мне настроение в те летние месяцы, которые мы провели на Среднем Фонтане близ Одессы. На одной из станций пригородной железной дороги, которая называлась иронически «Бердичев» ввиду обилия еврейских дачников, жил я с семейством в низеньком домике среди огородов, который при большом дожде затоплялся водою. Мы пережили лишь один такой потоп, от остальных нас спасло сухое одесское лето. Тесно было в нашей квартирке. С нами жили приехавшая из Варшавы сестра жены Фанни и мой брат Вольф, прибывший из Ростова вследствие семейных неприяностей. На время как будто воскресла наша мстиславская идиллия, пробудились былые мечты о совместной работе с братом по собиранию исторических материалов: ведь найденный им за три года перед тем мстиславский Пинкос дал мне первый внешний толчок к этой работе, которая теперь стала народным делом. Но злобы дня мешали спокойному сотрудничеству. Мне пришлось в это лето писать еще две вещи: главы истории хасидизма о религиозной борьбе конца XVIII в. и обширное введение к нашему изданию Греца. Ввиду тесноты в дачном домике, я писал в обвитой виноградными листьями беседке, за которую тянулись огороды до берега моря. Между прочим там написана самая драматическая глава истории хасидизма: «Цадик в петербургской крепости», в которой я на основании скудных данных и сложнейших комбинаций реставрировал картину ареста р. Залмана, подлинность которой позже подтвердилась найденными в государственном архиве документами. Окончив эту главу, я с особенным жаром принялся за писание введения к Грецу под заглавием: «Что такое еврейская история».

Памятны мне эти сентябрьские дни 1892 г. Мы оставались на Фонтане поздно, до конца сентября, среди опустевших дач, когда даже в «Бердичеве» стало тихо, и южная осень, «очей очарованье», напомнила мне прошлогодние дни Люстдорфа. Я писал свое введение в еврейскую историю с большим душевным подъемом. Мне хотелось дать здесь синтез наших исторических переживаний и установить вытекающую отсюда национальную идеологию. Весь этот очерк проникнут крайним спиритуализмом Цунца²⁷⁶ и Греца. Их тезис «Geistesgeschichte» и «Leidensgeschichte» выражен у меня в поэтической фразе: «Мыслить и страдать». То был гимн еврейской истории, и автор был псаломпевцем. Я поставил в виде motto слова Паскаля, что продолжительность еврейской истории равна продолжительности истории всего человечества, и характеризовал еврейство как «наиболее исторический» народ, как «Мафусаила среди наций». Содержание еврейской истории я определял строго идеалистически: «повесть о народе-вероучителе» в первой половине, «повесть о народе-мыслителе и подвижнике» во второй половине. Основую национальной идеи является «историческое сознание», эта духовная территория диаспоры. Отдав дань этому идеализму западной историографии, я, однако, в периодизации еврейской истории отступил от историко-литературного метода и впервые провел деление эпох по главным гегемоническим центрам, хотя еще с примесью

старого деления по духовному признаку. Те читатели, которые еще помнили мои филиппики против талмудизма в 1883 г., могли заметить происшедшую за девять лет крупную перемену в моих воззрениях. В новом историческом аспекте я нашел объективное оправдание для Талмуда: «Духовная нация нуждается в духовном оружии. Это оружие деятельно куется и складывается в громадном арсенале, именуемом Талмуд. Талмуд — это сложная дисциплина, приучающая к безусловному послушанию. В дисциплине не спрашивают, почему то или другое нужно. Нужно уже потому, что оно дисциплинирует. Это униформ, мундир с известными знаками, по которому узнают друг друга солдаты одного полка». Эту объективную точку зрения на «духовную диктатуру» Талмуда я развил в моих дальнейших работах, что, однако, не означало признания неизменности талмудической дисциплины и обязательности ее для свободомыслящих.

Мое введение было окончено во второй половине сентября. В своем дневнике нахожу следующую запись (под 25 сентября): «Вчера вечером кончил введение. Работал две недели, но вследствие напряжения часто уставал и делал перерывы. Много сил души ушло на эту работу. Но кажется, что я отчасти достиг своей цели: дал историческую философию и историческое кредо, хоть и в миниатюре». К последней строке мною было приписано позже: «философию нет, но кредо да». Это намек на самокритику, которой я подверг свой первоначальный синтез. По мере дальнейшего углубления в процессы еврейской истории, я внес в этот синтез много существенных поправок и находил, что он не заслуживает названия «философии истории», а скорее может быть назван «поэзия истории», ибо здесь преобладали пафос, лирика, страстная проповедь миссионера. Когда эта лирика историзма появилась в виде статьи в книгах «Восхода», она произвела глубокое впечатление больше своей поэтической, чем научной стороной. Очерк «Что такое еврейская история» особенно пришелся по вкусу западным евреям; впоследствии он был дважды напечатан в Германии в немецком переводе и вышел также в двух английских изданиях (в Америке и в Англии). Но русский оригинал никогда не появился в отдельном издании: я не успел его переработать в духе системы, проведенной в окончательной редакции моей всеобщей истории еврейства, над которой мне еще предстояло работать три десятилетия. Мои априорные тезисы были исправлены апостериорными выводами.

В октябре 1892 г., после моего возвращения в город, я читал свое введение в двух заседаниях комитета Общества просвещения. Читал я с тем же волнением, с каким писал этот очерк. Последовали горячие прения. Большинству членов комитета не понравилось мое подчеркивание идеи духовной нации и пугал самый тон изложения, страстный, проповеднический, могущий навлечь на издание цензурную кару. Главными оппонентами были недовольный мною после недавнего конфликта Моргулис, вообще боявшийся всего яркого, и ассимилированный адвокат Блюменфельд, который иронизировал над моим национальным пафосом. Кто-то назвал мою идеологию «юдофильством» и сравнил ее с славянофильством русских реакционеров. Правы были, конечно, те оппоненты, которые отметили недостаточность социального элемента в моем слишком «духовном» синтезе, и их замечания я готов был принять к сведению. Но когда врачи, адвокаты и инженеры взяли на себя роль историков и навязывали мне советы по существу предмета, я заявил, что не намерен менять свои воззрения в угоду общепринятым в их кругу. Это означало, что я отказываюсь дать свой очерк в виде введения к изданию Грецца. В этом решении укрепило меня чтение дальнейших корректур русского перевода, в которых оказалось множество искажений текста и стилистических курьезов. Само собою вышло так, что я отошел от редактирования книги, а введение к ней взялся писать сам Моргулис. (Позже я видел это введение, туманное «взгляд и нечто» об этике иудаизма.) Я с тревогою ждал бесславного конца задуманного мною дела, но случилось так, что вместо бесславного вышел трагический конец.

Книга, как уже сказано, печаталась в Петербурге без предварительной цензуры, и мы надеялись, что контрольная цензура пропустит этот научный труд, где библейская критика допущена в микроскопической дозе, так как Грец очень осторожно обращался с традицией. Случилось, однако, нечто неожиданное даже при тогдашней цензурной жестокости. Когда первый том (до эпохи Хасмонеев) был уже отпечатан и контрольный экземпляр был отправлен в цензуру, цензор нашел, что книга относится к «священной (библейской) истории» и подлежит контролю «духовной», то есть церковной, цензуры. Духовная же цензура, находившаяся в ведомстве Святейшего Синода, нашла, что книга содержит свободные суждения о библейских преданиях, несогласные с учением православной церкви о «ветхозаветной» религии, а потому ее нельзя выпустить в свет и все ее экземпляры подлежат уничтожению. Это решение было утверждено обер-прокурором св. Синода, «великим инквизитором» Победоносцевым. Типограф Ландау и председатель одесского Общества просвещения Вайнштейн ходатайствовали об отмене приговора, но им удалось добиться только отсрочки казни. Через год 5000 экземпляров осужденной книги были сожжены. Уцелели только несколько экземпляров. Таким образом печальный конец книги навеки скрыл ее литературные недостатки. От издания дальнейших томов Греца комитет отказался, и моя идея популяризации истории потерпела крушение, пока она не всплыла через два года в новой форме.

В ту осень я впервые был втянут в подготовительные работы по изданию еврейской энциклопедии. Венский публицист Исидор Зингер²⁷⁷ носился тогда с проектом издания обширной энциклопедии еврейских знаний на немецком или французском языке. Он одновременно обратился ко мне и к руководителям Исторической комиссии в Петербурге Винаверу и Берману с предложением организовать в России подготовительные работы для всего отдела, касающегося истории и современного положения русских евреев. Я взял на себя составление номенклатуры для исторической части этого отдела, а в Петербурге комиссия приступила к номенклатуре других частей. Зингер сначала уверял нас, что предприятие уже обеспечено содействием еврейских финансистов и ученых в Западной Европе. На самом же деле он только вел переговоры в Берлине, Париже и Лондоне и готов был, в зависимости от желания меценатов, издавать энциклопедию на немецком, французском или английском языке. Переговоры, однако, не увенчались успехом: не нашлось издателя для многолетнего труда и не удалось составить международный редакционный комитет. После долгих странствий по столицам Европы Зингер отложил осуществление своего плана до лучших времен. Только в 1898 г. я получил от него радостное письмо из Нью-Йорка, что ему наконец удалось привлечь к делу крупное американское издательство Фонк-Вагналлс, которое будет издавать еврейскую энциклопедию на английском языке. О моем участии в этой потом прославившейся «Jewish Encyclopedia» будет рассказано дальше.

Глава 29

Подготовительные работы по истории русских евреев (1892—1893)

Тяжелые семейные заботы. — Попытка избавиться от ига монополиста Ландау: проект периодического сборника «Еврейская мысль». Поиски издателей и меценатов. — Возвращение к отделу литературной критики в «Восходе». — Повсеместное собирание исторических материалов. Субсидия одесского Общества просвещения. — Моя «Хронология», фундамент будущего здания истории русских евреев. — «Исторические сообщения». — Неудавшаяся попытка отдельного издания «Истории хасидизма». Отсрочка на 37 лет. — «Литература смутных настроений»: начало ахад-гаамизма и наша скрытая полемика; против смуты Бердичевского и реакции Явца. — Мой путь к синтезу: зародыш

«Писем о еврействе». — Мое приветствие к юбилею Лиlienблума. — Моя возня с «внешкольниками»; Жвиф. — Наш субботний кружок: Абрамович. — Мой сотрудник брат Вольф.

Непрерывная работа, согретая пафосом «миссионера», не избавляла меня от тяжелых материальных забот. Особенно тяжела была осень 1892 г. Жили мы чрезвычайно скромно, хотя и в культурной обстановке, что было возможно лишь благодаря хозяйственному гению и трудолюбию жены. Порядок жизни был спартанский: никаких развлечений или зрелищ, вина, табака и прочих вещей, которыми, по слову Толстого, «люди себя одурманивают и заглушают совесть». Единственным моим развлечением были прогулки с детьми в близком приморском парке. Я сам обучал нашу старшую дочку Софию древнееврейскому языку, Библии и элементарным общим знаниям, с трудом урывая час из моего длинного рабочего дня. И тем не менее у нас не хватало средств к жизни и не было уверенности в завтрашнем дне. Тяжелыми лишениями платился я за решимость отказаться от литературной критики в «Восходе» ради усиления научной работы. Я был лишен ежесемечного фикса, и мой доход состоял только из гонора за научные статьи, печатавшиеся малыми дозами в книжках журнала по хитроумным расчетам издателя. Ландау широко пользовался своим положением монополиста в русско-еврейской печати («Восход» все еще был единственным органом) и жестко эксплуатировал своих сотрудников, в особенности меня, работы которого были исключительно связаны с этим изданием. В одной записи дневника (16 октября 1892) я сделал скорбный вывод из этого положения: «Жить только литературной работой, не уклоняясь от своих заветных целей, влагая душу в каждое произведение, сочиняя по своим, а не чужим темам, — это подвиг, связанный с мученичеством... Часто кажется мне, что я не выдержу и свалюсь в самом разгаре работы, не сделав и части того, что составляет смысл моей жизни, и не оставляя никого, кому я мог бы сказать: паси овец моих!..»

Чтобы освободиться от ига Ландау, я задумал издавать свой периодический сборник, где кроме моих статей печатались бы работы других писателей по еврейской науке и литературе. Был выработан детальный план: полугодовые или трехмесячные выпуски с отборными статьями, с определенным идейным направлением, подлинным отражением «еврейской мысли» (так предполагалось назвать издание) в прошлом и настоящем. Друзья охотно обещали мне свое сотрудничество: Абрамович, Бен-Ами, Моргулис, д-р Кантор, Фруг и другие. Но нужен был издатель или меценат для финансирования издания, и тут начались мои «хождения по мукам». Два месяца я выбивался из сил в поисках таких благодетелей. Влиятельные люди в Одессе (Г. Э. Вайнштейн, нотариус Берман Гурович и др.) водили меня разными обещаниями. Помню свои хождения в контору одесского патриция, нотариуса Гуровича, на углу Греческой и Ришельевской улиц. Любитель литературы, старик Гурович выматывал из меня душу своими проектами составить из паев фонд для издания сборника, и так при проекте и остался. Пока в Одессе велись эти переговоры, узнавший о готовящейся конкуренции Ландау постарался помешать моему плану. Он написал Моргулису письмо с горькими жалобами на мою «неблагодарность» и желание подорвать «Восход» созданием другого периодического издания и просил всячески отклонить меня от этого намерения. Польщенный обращением Ландау, Моргулис ревностно принялся за разрушение моего плана, которому раньше обещал содействовать. Так как он слыл авторитетом для одесских верхов общества, то было ясно, что он в этом успеет. Помню мрачный декабрьский день в квартире Моргулиса на Еврейской улице и нашу беседу в присутствии нотариуса Гуровича. Держа в руках письмо Ландау, Моргулис убеждал меня отказаться от своего «сепаратизма» и возобновить в «Восходе» ведение критического отдела, в котором он сам тоже готов принимать участие. Его поддерживал Гурович, который

обрадовался случаю освободиться от сбора паев. Я не сдавался сразу. Так как меня пугали строгостями одесской цензуры, то я пошел в цензурный комитет справляться о шансах выпуска непериодического издания в виде сборника статей (на периодическое издание требовалось особое разрешение министра внутренних дел, которое давалось лишь в редких случаях, лицам «политически благонадежным»); при этом я попытался выяснить настроение самих цензоров, но вынес впечатление, что «одесская цензура не очень далека от инквизиции» (запись 15 декабря).

При таких обстоятельствах у меня совершенно опустели руки. А тут еще мое семейное положение становилось угрожающим: кончились последние ресурсы, пятилетний сынишка заболел скарлатиной и зараза грозила остальным детям. При полном разрыве с «Восходом» и невозможности издавать свой сборник я не имел места, где печатать и свои исторические работы. И вот после неудавшейся «забастовки» работник вынужден был уступить «хозяину». В январе 1893 г. состоялось соглашение с Ландау: я продолжаю сотрудничество в «Восходе» в полном объеме, то есть и в отделе критики, с тем, однако, чтобы мои научные статьи печатались регулярно. Мой прежний ежемесячный фиксум (100 рублей) был восстановлен. Отказавшись от издания сборника, я утешал себя тем, что в ближайшее время закончу в «Восходе» историю хасидизма и затем переработаю ее для отдельного издания, а параллельно буду продолжать подготовительные работы по истории русских евреев вообще.

Со времени опубликования моих брошюр и воззваний о собирании материалов я получал из разных мест сообщения об имеющихся там исторических памятниках. Одни присылали оригиналы документов или копии с них, другие предлагали присылать только при условии уплаты за манускрипт или за переписку его, и я иногда из своих скудных средств оплачивал труд переписчиков. Приходилось отвечать на множество запросов и руководить работами собирателей в разных местах. Стало ясно, что для расширения дела необходима денежная помощь какой-нибудь общественной организации. Комитет Общества просвещения в Петербурге, куда я обратился с просьбой о субсидии, отклонил просьбу под предлогом недостатка средств. Скоро я узнал, что на этом отказе настаивал член комитета д-р Гаркави, который не мог забыть мои критические отзывы о его методах работы. Будучи проездом в Одессе, Гаркави сам хвалился в кругу моих знакомых, что ему удалось «провалить» мое ходатайство в Петербургском комитете Общества просвещения. Тогда я обратился за помощью к комитету Одесского отделения Общества, где я был членом-сотрудником. В одном из декабрьских заседаний 1892 г. я прочел доклад о том, что сделано в первый год после моих воззваний и что предстоит еще делать по собиранию исторических материалов. Комитет постановил ассигновать на расходы по делу 300 рублей в год и предоставить эту сумму в мое распоряжение. Казначей Общества д-ру Гольду было поручено выдавать мне деньги по мере надобности, но касса его была так бедна, что он мог выдать мне незначительную часть ассигнованной суммы. Тем не менее работа оживилась: приобретали рукописи или копии, старопечатные книги и сборники актов, оживились сношения с сотрудниками на местах. Почти ежедневно почта приносила письма из разных мест со сведениями и справками, предложениями и запросами, и я отвечал на все деловые обращения, каждому корреспонденту на его языке, по-еврейски или по-русски, давал указания, направляя работу. Много времени и сил отнимала у меня эта переписка, но я чувствовал глубокое моральное удовлетворение: ведь тут осуществлялась моя идея коллективной подготовительной работы.

Я все более углублялся в систематизацию источников по истории евреев в Польше и России. Уже приступил к закладке фундамента: завел себе большую книгу для «Хронологии», где каждый год имел свою страницу, и стал заносить все исторические факты, предположения и указания источников, так чтобы книга могла служить при работе и справочником, и хронологической сводкой материала. С какой

любовью составлялась каждая страница этой «Хронологии», где многие заметки были результатом кропотливых изысканий и научных комбинаций! Как часто заглушалась боль от колючих житейских забот в горячих мечтах о том времени, когда над этим фундаментом будет воздвигнуто грандиозное здание, когда все эти тысячи фактов и комбинаций сольются в яркую картину восьмивековой жизни народа в Восточной Европе! Однако я не хотел до той поры скрывать результаты своих исследований от Общества и решил периодически давать ему отчет о ходе работы и важнейших ее результатах. Начиная с июльской книги «Восхода» 1893 г. печатались в течение трех лет мои «Исторические сообщения». В первых сериях шли документированные сообщения и ответы на письменные запросы сотрудников, но постепенно вновь открытый материал комбинировался с прежним и давались целые исследования, как, например, о кагалной автономии в старой Польше и центральных ее органах, областных Ваадах.

Вступая в область специальных исследований, я счел нужным во вступлении к «Историческим сообщениям» отмежеваться от тех «цеховых ученых» с узким умственным кругозором, которые стремятся живейшую из наук — «учительницу жизни» историю превратить в музейную мумию. «История есть наука о народе и для народа, — писал я, — и поэтому она не может быть наукою цеховою. Кастовый жреческий дух особенно ненавистен в историографии: ей место не под ученым колпаком, а на форуме. Мы работаем для целей народного самопознания, а не ради собственного умственного спорта. Скука, которая считается обыкновенно привилегией ученых исследований, вовсе не составляет необходимого атрибута и зависит чаще от темперамента исследователя, чем от предмета исследования». Признаюсь, что при писании этих строк я имел в виду таких муимификаторов науки, как Гаркави, и серую массу спортсменов науки. Возмутившись в ранней юности против умственного спорта талмудистов, я потом в течение всей жизни боролся со всеми видами спорта в современной науке, философии и изящной литературе. Я позже часто говорил своим ученикам, что наука имеет целью достижение истины, а не упражнение мозга.

«Исторические сообщения» начали печататься в «Восходе» непосредственно после того, как там закончились длившиеся шесть лет серии статей по истории хасидизма. Мне хотелось собрать их и переработать на основании накопившегося нового архивного материала для издания в отдельном большом томе. В конце лета 1893 г. я с жаром принялся за переработку, успел составить введение и критический обзор источников и приступил к пересмотру биографии Бешта, но вынужден был прервать вследствие необходимости писать срочные статьи. Я приостановил работу с тем, чтобы возобновить ее в следующем году. Тогда я и думать не мог, что мне придется это сделать только через 37 лет, в конце моего жизненного плана работ, уже вне пределов России.

Мешало больше всего срочное писание статей по литературной критике, которая, по существу, сводилась у меня к идеологическому анализу. Должен сказать, что даже во время сплошных научных занятий меня не переставали волновать современные проблемы. Я чувствовал потребность откликаться на те или другие вопросы дня, но в интересах научной работы я некоторое время подавлял в себе эту потребность. Теперь же, когда я поневоле должен был делить свое время между историей и текущей литературой, я дал волю волновавшим меня думам. «Литературную летопись» 1893 г. я открыл серией статей под заглавием «Литература смутных настроений» («Восход», кн. 2—5). Я хотел проследить настроения национальной интеллигенции по статьям ее руководителей в тогдашних периодических изданиях и вынес впечатление, что настроения эти еще довольно смутны, но кое-где уже замечаются признаки идейного самоопределения. Такие признаки находил я в статьях Ахад-Гаама в одесском сборнике «Пардес». Мне пришлось отметить первые попытки Ахад-Гаама философски обосновать свою идеологию, которую я

тогда называл «неопалестинизмом», а позже «духовным сионизмом». Я анализировал его знаменитую статью о Пинскере, где он впервые сформулировал свою идею: Палестина не может быть надежным убежищем для евреев, но может стать таковым для еврейства, для национальной культуры. Я приветствовал его призыв к духовному совершенствованию нации через совершенствование отдельных личностей — принцип ордена «Бне-Моше», но требовал более определенных указаний путей в этом направлении. В одном из своих философских «Отрывков» («Перурим», крошки) в том же сборнике Ахад-Гаам вел скрытую полемику со мною по поводу моего историзма в трактате «Об изучении истории». Против моей мысли, что самопознание в прошлом есть более высокая интеллектуальная ступень, чем сознательное отношение к будущему, и относится к нему как законосообразность к целесообразности (см. выше, гл. 27), он выставил другую мысль: усиление любви к прошлому есть признак старчества для индивида и коллектива, между тем как культ будущего характеризует молодость души. Я на это возражал, что старчество народа нельзя сравнивать с старчеством индивида, ибо последнее предполагает дряхлость и близкую смерть, между тем как народ-старик, устоявший в бурях истории, может иметь больше жизненных сил, чем иной молодой народ, еще не испытанный в борьбе. В сущности, наш спор был только словесный: мой оппонент выдвигал принцип, что культ прошедшего без идеала будущего обречен на нирвану, а я говорил, что идеал будущего неустойчив без эволюционной связи его с прошедшим, что в конце своей статьи признавал и Ахад-Гаам. В своей заметке Ахад-Гаам не называл ни моего имени, ни моего трактата, но было ясно, что она явилась откликом на этот трактат. Нам обоим так уже суждено было встречаться в литературе в скрытом или явном споре о руководящих идеях момента. Так было в упомянутом выше споре о рабстве в свободе и свободе в рабстве, так и теперь в коллизии истории и практицизма, и так будет дальше в открытом споре между духовным сионизмом и автономизмом.

В своем обзоре «литературы смутных настроений» я слишком сурово отнесся к М. Бердичевскому, который тогда начал европеизироваться и стоял на пути от хасидизма к Ницше. В своих статьях в «Оцар гасафрут» он отвергал все современные движения в еврействе, но в изложении собственных взглядов дал «полнейший сумбур понятий». Позже Бердичевский дал нам ряд более талантливых произведений и имел своих «хасидим» в тех кругах молодежи, которые стояли между талмудической иешивой и европейским университетом, но и тогда ясность мышления не была его добродетелью. Я ценил в нем только страстного искателя правды, освободившегося от цепей догматики. Решительную войну я объявил реакционному идеологу В. Явицу, который тогда выступал в своих палестинских сборниках с кличем: «Назад, домой!», с лозунгом отречения от европеизма и возвращения к самобытной раввинской ортодоксии.

В своей оценке тогдашних идейных направлений я исходил из идеи «духовной нации», служившей мне критерием в еврейской историософии. Во время последней редакции моей статьи «Что такое еврейская история» (сентябрь 1893) я записал: «Сознаю, что мой синтез слишком сжат и краток. Мечтаю еще развить его в применении не только к прошедшему, но и к настоящему в ряде „Писем о еврействе“». Сюжет этот давно не дает мне покою, но надо погодить». Эту мечту мне удалось осуществить лишь через четыре года, в течение которых я сам находился на пути к синтезу старого и нового еврейства.

В эту пору формирования синтеза случай напомнил мне о самом раннем моменте моего антитезиса. В Одессе праздновался литературный юбилей М. Л. Лилиенблюма. Я был приглашен на юбилейное собрание, но не пошел туда, так как предвидел, что чествование будет носить партийный характер; я только передал через моего соседа Бен-Ами письмо, где приветствовал юбиляра как моего духовного руководителя в ранней юности. Предо мною теперь лежит черновик этого письма

(26 сентября 1893), где, между прочим, нахожу следующие фразы: «Мне было 17 лет. Я находился в периоде самого сильного идейного брожения и стоял на пути от Талмуда к Огюсту Конту. В Вильне попались мне два томика Вашей „Исповеди“ („Грехи молодости“), и я с жаром набросился на чтение их. Я читал и перечитывал эти незабвенные страницы, где так ярко и правдиво изображался душевный процесс, вполне сходный с тем, который я сам и многие подобные мне юноши переживали в то время... Я могу сравнить Вашу книгу только с классической автобиографией Соломона Маймона». Не знаю, было ли приятно это напоминание юбиляру о его «Грехах молодости» в то время, когда он уже написал свой «Путь покаяния» («Дерех тешува»), но меня в тот момент взволновало воспоминание о сладких муках, предшествовавших моему идейному бунту.

В то время в Одессе были только две легальные общественные организации: политическая в виде Палестинского общества, действовавшего под филантропической маской «вспомоществования евреям-земледелцам в Палестине», и культурная организация — Общество просвещения евреев. К первой я не принадлежал, а во второй участвовал, посещая как член-сотрудник заседания комитета. В заседаниях обыкновенно обсуждались вопросы о субсидировании еврейских народных училищ и о помощи «внешкольным учащимся», как тогда называли экстернов. Вследствие строгого применения процентной нормы для евреев в средних и высших учебных заведениях, число «внешкольников» росло из года в год в угрожающих размерах. Из всех южных губерний и частью из северо-западных устремились в Одессу сотни юношей в поисках общего образования. Были между ними дети хасидов, только что бросившие иешиву и против воли родителей уехавшие в «безбожную» Одессу; многие из них не знали вовсе русской грамоты и нуждались в самом элементарном образовании; другие прошли курс начальных училищ и готовились к экзаменам при гимназиях по курсу каждого класса в качестве экстернов в надежде, что успешно выдержанный окончательный экзамен за восемь классов даст им в руки заветный аттестат зрелости и откроет перед ними двери университетов. Масса бедных юношей не имела никаких средств к жизни и обращалась за помощью к Обществу просвещения. Комитет не мог удовлетворить всю эту огромную нужду и должен был ограничиться частичною поддержкою: одним давали бесплатные билеты на обеды в еврейской «Дешевой кухне», другим назначали учителей из среды местных гимназистов или студентов, добровольно предлагавших комитету свой труд, и лишь немногие получали ничтожное денежное пособие. Но и эту скудную помощь приходилось оказывать с разбором. Для этого комитет привлек меня, Абрамовича и Бен-Ами к участию в работах комиссии для помощи «внешкольникам»: мы должны были давать отзывы о каждом просителе и определять форму помощи. Фактически выходило так, что учащиеся обращались прямо к нам и получали рекомендательные записки на присказание бесплатных учителей для них, на выдачу им денежной помощи, даровых обедов и учебников. Большинство экстернов обращалось ко мне, так как я особенно интересовался судьбою этих искателей знания, которые напоминали мне мои собственные годы скитаний в юности...

Многих экстернов направлял ко мне добрый опекун всех этих Ломоносовых, старый любитель просвещения Жвиф²⁷⁸. Бедный учитель, зачарованный идеей русского просвещения, как ее понимали в 60-х годах, видел в каждом еврейском гимназисте или студенте будущего спасителя народа и старался облегчать ему тяжелый переход из старого мира в новый. Он постоянно бегал к богатым и образованным людям, выпрашивал для бедных учащихся то денежное пособие, то рекомендацию в разные благотворительные учреждения. Он ловил студентов и гимназистов, имевших уже счастье носить мундир русской школы, и заставлял их давать бесплатные уроки экстернам, которые еще добивались этого «счастья». Живя по соседству со мною, в общественных домах с дешевыми квартирами на конце Базарной улице, Жвиф часто прибегал ко мне с просьбами о рекомендациях

для обращавшихся к нему Ломоносовых, и я никогда не мог отказывать этому доброму идеалисту, который больше заботился о других, чем о себе самом. Бывало, вбегает ко мне этот бедно одетый низенький человек, обросший густой бородой, со своей неизменной курительной трубкой во рту, всегда возбужденный, куда-то спешащий, вкратце излагает свое ходатайство за такого-то, получает требуемую рекомендацию или обещание, и уходит, говоря на прощание на своем плохом русском языке: «Все хорошо, все хорошо!» (вместо «всего хорошего»). В этом приветствии было что-то символическое: наш одесский Кандид был глубоко убежден, что все хорошо в этом лучшем из миров: и то, что молодежь усердно ищет образования, и что ей в этом помогают доброе Общество просвещения, и добрые писатели, и вообще образованные или богатые люди.

Святая простота! Как часто завидовал я этой наивной доброй душе, когда, выслушивая печальную повесть каждого из направляемых ко мне бедных экстернов и оказывая им посильное содействие, я с горечью сознавал, что устранил лишь малую долю их страданий и что редко кто из них достигнет цели, ради которой он эти страдания переносит. Приемные часы (от 4 до 5 пополудни), назначенные мною для бесед с бедствующими экстернами, открывали предо мною глубины идеализма, но вместе с тем и бездну человеческого горя. Еще многие годы возился я с одесскими «внешкольниками», сотни их прошли через мой кабинет, некоторые из них позже поступили в высшее учебное заведение и устроились, но большинство исчезло с моего горизонта. Где вы, мои бывшие одесские посетители? Потонули ли вы в серой народной массе, откуда вышли, ушли ли в революционное движение 1905 г., а еще позже в лагерь большевиков?.. Могу засвидетельствовать, что школа царизма достаточно подготовила вас к роли отчаянных, десперадос...

А наш тесный одесский кружок по-прежнему собирался в субботние вечера то в моей квартирке, то у Абрамовича, который в это время переместился вместе с заведующей им Талмуд-Торой в новый дом этого училища, великолепное трехэтажное здание на Дегтярной улице. Это был кружок друзей, а не единомышленников. Преобладали у нас «палестинцы» (Равницкий, Бен-Ами, член Палестинского комитета д-р Михельсон²⁷⁹ и др.); я и Абрамович были оба беспартийны, но каждый по-своему: я имел определенное направление, а Менделе по своей художественной натуре был «диким», ругал и «палестинцев», и их противников, подтрунивал над национальным движением во всех его формах. Верный идеям 60-х годов, он продолжал видеть в ассимиляции только приобщение к европейской внешней культуре, а не более глубокий процесс отчуждения от еврейской культуры. У нас велись горячие споры, в которых Абрамович блистал своими умными парадоксами, Бен-Ами громял всю новую интеллигенцию, «палестинцы» защищали свою догматику или ересь Ахад-Гаама, а я развивал свой исторический синтез, уяснению которого немало содействовали эти споры. Когда правоверные националисты напоминали мне о моих старых космополитических грехах, Абрамович брал меня под свою защиту. Он делал это на свой манер, с умными параболлами и сравнениями. Чтобы иметь полное представление об архитектуре какого-нибудь здания, говорил он, нужно выйти из его внутренних покоев и смотреть на него снаружи; Дубнов одно время отошел от здания еврейской культуры, и поэтому он теперь более всесторонне судить о нем, чем те, которые в нем безвыходно сидели. С Абрамовичем я часто встречался и вне нашего кружка. Мы ходили друг к другу, гуляли в близком к моей квартире приморском парке и вели длинные беседы. Характеристику этих бесед нахожу в одной короткой записи того времени: «Наши свидания наполнены рассуждениями о вопросах психологических и исторических. У Абрамовича нет широты мысли, системы, но есть оригинальная глубина и тонкий анализ. Он часто углубляет вопрос, освещает его с новой стороны, а я обобщаю и систематизирую... У него много мыслей, но мало убеждений. Это вполне художественная натура».

В кругу одесских друзей я не находил сотрудников для моей коллективной исторической работы. Единственным моим помощником был брат Вольф, который с лета 1892-го до лета 1893 г. жил у нас в Одессе. Он живо радовался всякому полученному документу, рылся в городской библиотеке и извлекал еврейские материалы из старопечатных русских книг. С ним я делился всеми своими литературными планами и всегда находил в нем чуткий отклик. К сожалению, я должен был расстаться с ним. Он уехал в близкий Херсон, где занимался учительством по общим и еврейским предметам. На осенние и весенние праздники он приезжал к нам в гости, и эти дни были наилучшими в моей одесской жизни. Среди куч исторических документов в моем кабинете и в часы долгих прогулок по аллеям парка я ему передавал все, что меня занимало и волновало; брат меня всегда ободрял, давал советы, вникая во все подробности дела. Будучи сам в жизни непрактичным идеалистом, он обладал этой альтруистической способностью всецело проникаться интересами ближнего и морально помогать ему нести бремя жизни.

Глава 30

Путь к синтезу (1894)

Сочетание науки и публицистики. — «Исторические сообщения» и продолжение подготовительных работ. — Новая статья о Ренане. Критика и траур по «чародею мысли и слова». — Моя лекция и собеседования в Харькове. Развитие моей теории духовного национализма и триады новейшей эволюции еврейства. Беседа с студенческой молодежью. — «Взаимодействие идейных направлений». Новый план издания общего курса еврейской истории. Книга Бека. — Смерть Александра III и ожидание нового политического курса. Патриотическое стихотворение Фруга. Невольный грех. — Обманутые ожидания: бессмысленная речь Николая II о «бессмысленных мечтаниях».

В сравнительно бодром настроении встретил я наступление 1894 г. Острота материальных забот несколько притупилась. Расширилась организация коллективных исторических работ, манил творческий план воссоздания прошлого, чувствовалась близость общественного оживления. Сочетание научной и публицистической деятельности все более толкало меня на путь национального синтеза. В новогодней записи нахожу такую фразу: «Идея духовной нации — вот что возвышает мой дух, как еврея и человека. Этот идеал я буду проводить во всех своих трудах, ибо считаю его спасительным для мыслящего еврейства».

На первом плане стояли «Исторические сообщения», как результат подготовительных работ по истории русских евреев. В 1894 г. я дал в «Восходе» ряд исследований по истории еврейского самоуправления в старой Польше, где впервые выяснил роль областных органов кагальной автономии. В это время в моих руках накопилось уже изрядное количество Пинкосов, в том числе и копия Пинкоса Центрального Ваада Литвы XVII и XVIII вв. У меня был целый штаб сотрудников в провинции, которые присылали мне копии манускриптов, а иногда и оригиналы. Постоянными сотрудниками были д-р Иосиф Хазанович²⁸⁰ в Белостоке, известный библиофил и основатель Иерусалимской национальной библиотеки; Я. Гишовский в Вильне, Я. Шапиро в польском Межиречье, М. Бибер в Остроге-Волинском. Среди моих многочисленных провинциальных корреспондентов попадались и курьезные личности. Запомнился один такой курьез. Получаю однажды письмо с адресом: Его сиятельству историографу С. М. Дубнову. Недоумеваю, откуда взялся у меня графский титул, присматриваюсь и вижу, что слово «историограф» разделено посередине черточкой: «историо-граф»; тогда я сообразил, что провинциал принял это звание в смысле «граф истории», а коль скоро я граф, меня нужно титу-

ловать «сиятельством». Должен, однако, отметить, что большая часть моих добровольных сотрудников относилась к своим обязанностям очень серьезно; они часто повторяли в своих письмах, что почитают за счастье «собирать и сносить камни для построения здания нашей историографии».

Ранней весной 1894 г. пришлось мне писать статью на историческую тему, очень близкую к идейной борьбе современности. Я должен был разбирать вышедший тогда посмертно 4-й том «Истории израильского народа» Ренана, где трактуется «эпоха второго храма». Французский историк, прославивший в предыдущих томах универсальный пророческий иудаизм, превратился в новом томе в обличителя иудаизма позднейшего: дал ряд блестящих памфлетов против Эзры и школы «книжников», против освободительного движения Хасмонеев и вообще против всего ненавистного ему национального еврейства. Нельзя было не откликнуться на эту полемическую историю, в особенности после того, как я в свое время отметил достоинства первого, сравнительно объективного тома. Но с другой стороны, у меня был свой пиетет к Ренану как историку-художнику и тонкому мыслителю, который носил в душе тоску по утраченной детской вере. В моей большой статье о четвертом томе книги Ренана («Восход», 1894, кн. 4—5) я во вступительной части выразил эти чувства, дав трогательную характеристику «чародея мысли и слова, Эклизиаста XIX века»; но в самом разборе книги мне пришлось фактическими доводами расшатать весь ее фундамент. Оправдание для Ренана я находил только в том, что он враждебно относился к национальному иудаизму вследствие чрезмерной любви к иудаизму универсальному. «Ренан раз навсегда определил призвание еврейского народа в истории: это миссионер среди народов, призванный распространить в мире религиозное начало. Он требует, чтобы еврейская нация жила для других, а не для себя. Он не прощает ей естественного стремления каждой особи принять свою индивидуальную форму. Пока еврейский народ является проповедником мировых религиозных начал и просвещает язычников, Ренан доволен им, но едва только этот народ начинает жить своей особою жизнью, вырабатывает себе особые религиозные формы, отвечающие его национальным потребностям, наш историк принимается ворчать и жаловаться на упадок, узость воззрений, фанатизм и пр... Еврейский народ не мог сложиться по образцу иудаизма, а наоборот — иудаизм складывался в те или другие формы, сообразно данному состоянию еврейской нации... Да, ошибки Ренана происходят из его чрезмерной идеализации роли древнего еврейства в истории. И если великая тень Ренана нуждается в оправдании перед еврейской историей, то да послужит ему оправданием то, что он искренно желал видеть еврейство лучше и чище, чем оно было и, в силу естественных законов, могло быть на самом деле».

Когда писалась эта статья, я получил приглашение из Харькова приехать туда для чтения публичной лекции по еврейской истории. Приглашала меня местная еврейская интеллигенция через моих одесских приятелей, братьев Шифриных²⁸¹. Я решил, что тема моей статьи о Ренане может заинтересовать широкие круги общества и вполне подойдет для публичной лекции. Я ответил согласием. В конце марта я приехал в Харьков и был встречен на вокзале представителями интеллигенции. Читал я в большом зале одной частной квартиры, так как на мою лекцию не было получено разрешение полиции. Такие разрешения в ту пору, когда публичные лекции были очень редки, были сопряжены с большими хлопотами: текст лекции или конспект ее нужно было представить губернатору, который при малейшей вольнодумной тенденции, политической или религиозной, мог запретить ее. Харьковцы поэтому правильно поступили, войдя втихомолку в соглашение с полицмейстером (конечно, задобренным взяткою), чтобы он не мешал устройству «семейного вечера» с чтением. Этот «семейный вечер» собрал до 200 слушателей из элиты общества. Лектор я тогда был еще непривычный, и чтение по рукописи едва ли могло, при серьезности темы, произвести сильное впечатление на аудито-

рию; тем не менее мне аплодировали, жали руку, а студенты уверяли, что именно такие научные лекции нужны для молодежи. Меня просили прочесть еще одну лекцию на современные темы, но я предложил вместо этого беседу в более тесном кругу.

Этот второй вечер (3 апреля) прошел очень оживленно. Тут я впервые изложил основы той теории духовного или культурно-исторического национализма, которая позже была развита в «Письмах о еврействе». Я начал с определения национальности как коллективной индивидуальности, которая вправе требовать для себя той же свободы развития, как и отдельная личность. Тут замкнулся круг моего мышления: в юности я выставлял миллевскую догму абсолютной свободы личности против дисциплины коллектива, а теперь я ограничил этот абсолютизм тем, что распространил принцип индивидуальной свободы или самоопределения и на коллективный индивид. Далее я говорил о четырех стадиях еврейской национальной идеи, от примитивного расового единства, через государственное и религиозное, до современного культурного единства в свободном национальном союзе. Венцом моей доктрины был современный генезис еврейства, которое переходит от тезиса традиции через антитезис ассимиляции к синтезу прогрессивной культурной нации. Моя речь вызвала оживленные прения. Оппоненты не соглашались с самим принципом еврейской национальности, противоречащим догме ассимиляции. Возражал мне, между прочим, Моисей Оршанский (младший брат известного публициста Или Оршанского), с которым я работал вместе в «Восходе» в начале 80-х годов, когда мы оба находились в полосе антитезиса. Другим оппонентом был местный адвокат Немировский²⁸², впоследствии видный политический деятель кадетской партии. Оппоненты дали мне возможность в возражениях яснее развить мои основные положения. Беседа, затянувшаяся до глубокой ночи, видимо, заставила многих призадуматься.

В следующий вечер я имел такое же собеседование со студентами Харьковского университета и Технологического института. В скромной квартире собралось несколько десятков еврейских студентов, среди которых были и «палестинцы», и еще конспиративные тогда социалисты. На мои тезисы возражали с обеих сторон. Одни находили национальный идеал без Палестины слишком абстрактным, другие отрицали самую идею борьбы за национальное самосохранение, выдвигая против нее социальную борьбу и участие в общерусском революционном движении. Тут я впервые заметил начинающееся влияние марксизма в нашей молодежи, первые признаки социалистической ассимиляции, против которой мне пришлось выступить здесь, как в предыдущий вечер против либеральной ассимиляции. Помню, с каким жаром я доказывал своим молодым слушателям, что с вышей этической точки зрения особая борьба за свободу гонимого еврейства в России, этого пролетариата в семье народов, более обязательна для его молодежи, чем участие в общей борьбе за свободу русских крестьян и рабочих. Много искреннего пафоса было в наших дебатах. На другой день ко мне пришли левые мои оппоненты, и я мог вести с ними более откровенную беседу о волновавших их вопросах. Я заметил, что в харьковских высших школах идейный уровень студенчества был выше, чем в одесских.

6 апреля я попросился с харьковскими друзьями и семьей Шифриных, у которой я гостил в загородной усадьбе, и поехал через Николаев в Одессу. После морской качки около Очакова, я приехал домой, в канун Пасхи. В тот же день прибыл из Херсона брат Вольф, и мы славно провели с ним светлый праздник, гуляя в парке и обсуждая планы будущих литературных работ.

Путь к синтезу старого и нового еврейства все более расширялся. Еще не была достигнута последняя стадия, но вехи на пути уже были расставлены. В том же году я сделал попытку определить свое отношение к другим направлениям национальной идеологии в статье под заглавием «Взаимодействие идейных направлений» («Восход», 1894, кн. 10—11). Я отметил два направления в современности: «запад-

ное» или идеалистическое и «восточное» или реалистическое. К первому примыкают те, которые стремятся сочетать все завоевания западной эмансипации с идеалом духовной или культурной нации и продолжать строительство еврейских центров в диаспоре; ко второму разряду относятся сторонники «реального» или, точнее, территориального центра на нашей древней восточной родине. Я доказывал, что на самом деле реалистами являемся мы, западники, ибо мы исходим из существующего и тянем далее нить еврейской истории в многовековой диаспоре, между тем как «восточники» создают себе утопический идеал новой Иудеи; я говорил, что наша уже созданная историей духовная территория реальнее, чем еще несуществующая земельная территория «палестинцев». С этой точки зрения я в порядке обзора новейших литературных явлений оценивал других искателей в области национальной идеологии, выбрав на сей раз двух: Нахума Соколова как редактора сборника «Гаасиф», и Ахад-Гаама, продолжавшего развивать свою систему в сборнике «Пардес». Я отметил переход Соколова от прежнего оппортунизма к широкой эклектической программе, в которой соединил элементы систем и западников, и восточников; а затем противопоставил упрощенному палестинфильству Лиленблума «нео-палестинство» Ахад-Гаама. Последний тогда яснее формулировал свою идею перемещения «духовного центра» из диаспоры в Палестину, и я ему доказывал, что если духовная гегемония Палестины укрепит национальную диаспору, то ведь создается возможность взаимодействия восточного и западного центров. «Мостик между западниками и восточниками переброшен», — писал я и иронически добавил: «Последние (восточники) стали уже пользоваться этой переправой, и есть надежда, что они пойдут дальше... Скоро произошла ясная дифференциация направлений: Соколов решительно стал в ряды политических сионистов из партии Герцля, Ахад-Гаам стал в оппозицию к Герцлю во имя духовного сионизма, а я создавал теорию автономизма.

Летом 1894 г. я позволил себе роскошь: погрузиться всецело в изучение накопившихся материалов по истории польских евреев. О порядке моего дня в то время нахожу следующие беглые записи: «Сижу с утра, обложенный томами „Волумина Легум“ (решения польских сеймов XV—XVIII веков) и другими источниками, и испытываю истинное наслаждение. Сознаешь, что каждую минуту дело делаешь, исследуешь, выясняешь...» «Чем дальше, тем сложнее работа, и все более убеждаешься, что нужны годы, чтобы добиться крупных результатов...» Но посреди этих приготовлений опять стала преследовать меня мысль: к чему вся эта разработка одной специальной области истории, если у нас все еще нет общего курса еврейской истории на русском языке? Не следует ли отвлечься хотя бы на один год от специальных работ ради составления такого курса по готовым руководствам германских ученых? Опыт с изданием сокращенной книги Грецца не удался вследствие плохого состава редакции и неожиданного удара со стороны церковной цензуры. Нужно, следовательно, взяться за издание другого курса истории, без «опасного» библейского отдела, и работу делать единолично, без постороннего вмешательства. При тогдашнем отсутствии издателей русско-еврейских книг придется мне самому издать книгу путем предварительной подписки, которая обеспечила бы по крайней мере типографские расходы.

Как раз в это время в Германии появилось новое, дополненное издание одно-томной «Истории еврейского народа» д-ра С. Бека²⁸³, которая на первый взгляд показалась мне подходящею, и я решил перевести ее с моими дополнениями по истории восточных евреев. Из разных мест поступали заявления, дававшие основание надеяться на успех подписки. Совершенно неожиданно я получил из Киева письмо от писателя Лазаря Шульмана²⁸⁴, служившего кассиром в конторе миллионеров Бродских²⁸⁵, что ему удалось собрать подписку в размере 500 рублей (позже выяснилось, что большую часть этой суммы дали сами Бродские). Эта полученная в декабре 1894 г. первая сумма дала мне возможность приступить к переговорам с ти-

пографией. Составление книги, рассчитанное на один год, было тогда же начато, но оно потом затянулось больше чем на два года, ибо в процессе работы план ее значительно изменился и расширился, как будет рассказано дальше.

В ту же осень 1894 г. произошли события, подававшие надежду на перемену политического курса в России. С волнением следили мы с начала октября за бюллетенями о ходе болезни царя Александра III, перевезенного тогда в Крым. «Что ждет Россию после этого 14-летнего царствования? — спрашивал я в дневнике. — Что ждет нас, евреев, столько переживших в эти ужасные годы?» В день 20 октября, когда получилась весть о смерти тирана, я писал: «Мы на пороге новой эпохи. Сердце тревожно бьется. Что ждет нас?» На другой день, после получения вести о восшествии Николая II на престол, я записал: «Да создаст новое царствование новую эпоху в России! Пора, пора!.. Я ночью спал плохо, тревожно». Многие ждали перемены курса, пока не наступило жестокое разочарование. Реакционная печать курила фимиам умершему «миротворцу», а либеральная часть общества слишком робко заявляла свои требования, да и трудно было это делать в прессе, подчиненной строгой цензуре. Я с возмущением отмечал тогда в своих записях раблепный тон газет. Между прочим, меня глубоко огорчило стихотворение Фруга на смерть Александра III и воцарение Николая II, написанное в духе официальных од и напечатанное в бульварной «Петербургской газете». В записи дневника я дал волю своему негодованию: «Певец гонимого народа превратился в певца, прославляющего гонителя этого народа. Это — позорное пятно на его репутации... Я отрекаюсь от него; отречься от него должно все честное в еврействе...» Несколько лет после этого мы не переписывались, и только позже, при нашем свидании в Петербурге, я простил Фругу этот грех, вызванный не злой волей, а чьим-нибудь дурным внушением. Подозреваю, что он это сделал по настоянию своего покровителя, русского поэта-патриота Случевского²⁸⁶, редактора «Правительственного вестника», который после упомянутого выше выселения Фруга из Петербурга в 1891 г. исходатайствовал для него право жительства в виде особой милости и теперь потребовал от него доказательства лояльности. В своих воспоминаниях о Фруге, написанных тотчас после его смерти, я напомнил о таком же случае из жизни русского певца народного горя, Некрасова, который однажды сочинил хвалебные стихи в честь русского диктатора в Польше и ярого реакционера Муравьева²⁸⁷, так как надеялся спасти этим от цензурных кар свой радикальный журнал «Современник». Я говорил там, что и Фруг мог бы произнести вместе с Некрасовым эти искренние слова покаяния:

...Бывало,

*Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...
За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! прости!..*

Скоро выяснилась и судьба ожидаемого «нового курса». Николай II, от которого ждали смягчения реакции, оказался податливым орудием в руках самых ярых реакционеров из круга Победоносцева. 17 января 1895 г. он произнес свою наглую речь в Зимнем дворце в ответ на приветствия либеральной земской депутации и выраженное ею робкое требование конституционной реформы: он назвал ожидания лучших людей России «бессмысленными мечтаниями» и объявил, что будет охранять начало самодержавия так же твердо, как его «незабвенный родитель». Я тогда же отметил в дневнике: «Это напоминает манифест 29 апреля 1881 года». Продолжалась ночь реакции. Она длилась еще десять лет, до революционного перерыва 1905 г., но под покровом этой ночи медленно нарастали в еврействе два могучих движения: национальное и революционное.

Глава 31

«Еврейская история» под фирмой Бека и Бранна (1895—1896)

Соединение двух неудовлетворительных курсов еврейской истории, Бека и Бранна, для взаимного исправления и необходимость исправления обоих. — Псевдонимы или книга под чужой фирмой. — Моя система гегемонических центров в периодизации еврейской истории. — Стратегия против цензуры. — Продолжение «Исторических сообщений»: раскрытие источников ритуальной лжи. — Монография «Евреи и реформация в Польше XVI века». — Историческая находка: акты еврейского центрального Ваада в Пинкосо города Тиктина. — В комиссии по изданию энциклопедии по плану Ахад-Гаама. — Лето 1895 г. на Большом Фонтане. Появление призрака юных лет с клеймом дезертира. — Тяжелые издательские заботы и столкновения с цензурой. — Автор, издатель и экспедитор. — Новая статья о франкизме по поводу труда Краусгара; различие в моей оценке между 1883 и 1896 гг. — Доклад о ходе подготовительных исторических работ и слово о смерти Бершадского. — Мой неожиданный юбилей и приветствие в комитете Общества просвещения. — Конфликты с цензурой при печатании второго тома «Еврейской истории». — Студенческий кружок под влиянием моей идеологии. — Окончание «Еврейской истории».

Начало 1895 г. застало меня за переделкою популярного курса еврейской истории Бека. Моя скромная компилятивная работа имела целью, как уже сказано, дать читателям сжатый очерк общей еврейской истории, прежде чем ввести их в обширную историю восточного еврейства. Не мог я тогда предвидеть, что компилятивная работа, рассчитанная на один год, превратится наполовину в оригинальную, расширится в объеме и потребует от меня в течение двух лет большой затраты энергии также на преодоление издательских трудностей.

Переводя первые главы книги Бека, начинающейся с вавилонского плена, я убедился в невозможности передавать немецкий текст без существенных переделок. Слишком элементарно и порою неточно было изложение, слишком приближалось к стилю учебника. И я стал переделывать текст, внося в него поправки и дополнения. Скоро я получил вновь вышедший в Германии двухтомный курс еврейской истории М. Бранна, заместителя Греца в Бреславской семинарии. Для облегчения своей работы я решил соединить оба текста, Бека и Бранна²⁸⁸; в надежде, что они будут исправлять и дополнять друг друга. Но я ошибся в расчете. У Бранна оказались свои специфические недочеты. Его школьно-дидактический тон и тенденция свести историю народа к истории литературы с синагогальной литургией в центре придавали его книге вид благочестивой раввинской проповеди. Вставляя в текст Бека дополнения из Бранна, я должен был очищать их от этих шлаков, так что приходилось править обоих авторов, плохо излагавших их классический труд Греца. Дело от этого только осложнялось, и я решил сбросить чужие путы. Чем больше я втягивался в работу, тем меньше я пользовался текстами Бека и Бранна. Я излагал историю либо по Грецу, либо прямо по источникам и специальным монографиям. Объем книги расширялся, и вместо одного тома пришлось расположить материал в двух томах. Тут я впервые ввел свою периодизацию еврейской истории по географическим центрам и гегемониям. Первый том я озаглавил «Восточный период», так как туда должна была войти вся доевропейская история народа, а второй том получил название «Западный период». Внутри обоих томов проведено деление эпох по центрам национальной гегемонии, но рядом с этой социологической классификацией была оставлена старая религиозно-литературная (например: «Эпоха Гемары или палестинно-вавилонской гегемонии» и т. д.). Таким образом, получилась книга, которая по изложению имела мало общего с компиляциями Бека и Бранна и тем не менее носила их имена рядом с моим, как редактора. Имена их нельзя было снять, так как они фигурировали в объявлениях о подписке раньше, чем в процессе рабо-

ты выяснилась необходимость нового плана. И Ахад-Гаам был отчасти прав, сказав мне после выхода обоих томов, что имена Бека и Бранна на заглавном листе были для меня псевдонимами. Действительно, пришлось поставить чужую фирму над компилятивной работой, так как я тогда не решался еще посвятить себя самостоятельной разработке всей еврейской истории и думал только о воссоздании недостающей истории восточного еврейства.

Первоначальное намерение печатать книгу в Петербурге без предварительной цензуры было оставлено, так как судьба первого тома русского издания Греца уже показала, как страшна карательная цензура. Правда, моя компиляция начиналась с вавилонского плена и опаснейшие подводные камни библейской критики могли быть обойдены, но все же оставался хвостик «священной истории», который мог обратить на себя внимание церковных аргусов. Я поэтому решил печатать книгу в Одессе, сдавая рукопись частями на гнев или милость местного цензурного комитета. Мой типограф Исакович, издатель «Ведомостей Одесского градоначальства», позондировал почву в цензуре и нашел, что можно без большого риска иметь с нею дело. В апреле я сдал в цензуру рукопись первого отдела и уже через несколько дней получил ее с пометкою о разрешении печатать, без всяких сокращений. Обрадовало меня то, что светский цензор не считал нужным послать рукопись в духовную цензуру. Это придало мне смелости, и я решил прибавить вступительную главу в виде краткого обзора библейского периода, для того чтобы читатель имел некоторое представление об эпохе, предшествовавшей вавилонскому плену. Соблюдая осторожность, я переработал для этой цели вступительную главу из книги Бранна, состоящую из подбора библейских цитат, и прибавил к ней отрывки из моего очерка «Что такое еврейская история», как, например, лирическое начало: «В утренних сумерках всемирной истории, в ту раннюю пору, когда трудно отличить действительность от призрака, когда очертания лиц и предметов неясны и неуловимы, перед нами выступает легендарный образ кочевого племени» и т. д. На этот раз и местный духовный цензор пропустил рукопись, не заметив даже коварной критической мысли, скрытой в моей начальной фразе, в подчеркнутых здесь словах и во всей картине. Когда таким образом половина первого тома была уже цензурована, мы приступили к набору рукописи в типографии Исаковича—Бейленсона²⁸⁹. Предварительная подписка, объявленная в «Восходе», дала недурные результаты: подписывались отдельные лица в разных городах, а местами и целые группы, составленные моими друзьями и неизвестными «почитателями».

Занятый компилятивной работой, я, однако, не вполне отказался от своих оригинальных исследований. Результаты их появились в книжках «Восхода» за 1895 г. Мне удалось пролить свет на серию ритуальных процессов в Польше в 1636—1639 гг. («Исторические сообщения», кн. 1—2) и раскрыть в одном из них (Леницком) тайну фабрикации «святых мощей» для католических церквей, причем я дал понять, что вместо мнимого «ритуализма» синагоги следовало бы добраться до тайного ритуала церкви, которая обогащалась от «святых мощей» убиенных младенцев, привлекавших толпы богомольцев. Когда впоследствии, во время процесса Бейлиса, я высказал эту мысль в более ясной форме, меня привлекли к суду по статье закона, карающей за «кощунство», о чем будет рассказано в своем месте. Много времени я отдал монографии «Евреи и реформация в Польше XVI века» (кн. 5—8). Я с увлечением штудировал эту эпоху на рубеже либерализма и реакции в Польше и старался выяснить глубокие причины этого перелома, в особенности фатальное усиление влияния клерикализма на антиеврейскую политику. Автоматически продолжалась и работа по собиранию исторических материалов в общинах. В это время получались особенно ценные памятники, как, например, присланный доктором И. Хазановичем старинный Пинкос кагала в Тиктине (Тыкоцин), где я среди местных документов нашел несколько десятков важнейших актов, взятых из пропавших протокольных книг еврейского сейма или «Ваада четырех областей» в

XVI и XVII вв. Помню, как приглашенный мною переписчик поселился у нас летом на загородной даче и копировал этот пахнувший потом веков Пинкос под моим руководством. Я мог поэтому с спокойною совестью представить одесскому Обществу просвещения отчет об успехах организованных мною подготовительных работ за 1893 и 1894 гг. Я читал об этом подробный доклад в общем собрании членов Общества 9 апреля 1895 г. (напечатан в «Восходе», кн. 5) и удостоился больших оваций.

В то же время я участвовал в заседаниях особой комиссии для издания еврейской энциклопедии по плану Ахад-Гаама и на средства филантропа Высоцкого²⁹⁰. Кроме Ахад-Гаама и меня в заседаниях участвовали старый исследователь мистических движений Давид Кагане, Равницкий и тогда еще молодой кандидат в раввины д-р М. Айзенштадт²⁹¹, исполнявший у нас обязанности секретаря (позже петербургский раввин, а ныне раввин русско-еврейской общины в Париже). Мы судили и редили о плане энциклопедии или, точнее, компендиума по оригинальному ахад-гаамовскому плану, но, к сожалению, задуманное предприятие, о котором шла полемика в печати, не осуществилось. Оно оказалось очень трудным в литературном и финансовом отношениях, и позже Высоцкий решил ассигновать предначтенные для этого предприятия деньги на издание журнала «Гашилоах»²⁹² под редакцией Ахад-Гаама.

Утомленный напряженной работой, я поселился летом с семейством на даче, на Большом Фонтане. Но и здесь я продолжал лихорадочно работать над окончанием первого тома «Еврейской истории», так как первая половина уже набиралась в типографии и должна была печататься, как только получит транспорт заказанной бумаги из Петербурга. Изредка навещали меня здесь друзья из города. Однажды ко мне явился неожиданный гость: господин в форменном костюме учителя русской гимназии, и спросил, узнаю ли я его. Он оказался Герой Израилитиным, который юным сиротой в 1878 г. жил со мною и братом Вольфом в Могилеве, а затем приходил ко мне как гимназист в Смоленске. После 15-летней разлуки он был для меня выходцем «из того света» в особом смысле. До меня доходили смутные слухи, что будучи студентом в Одессе, он крестился и по окончании курса получил должность учителя в гимназии. Теперь он состоял учителем реального училища в Бессарабии и носил принятое при крещении имя Семенов. Его роковой шаг отразился, конечно, на нашей встрече. Я не скрыл от него, что я думаю о дезертирах из осажденного лагеря. А бывший Израилитин рассказывал, как дошел он до этого шага. Первый год его студенчества совпал с погромами на юге России, официальная юдофобия закрывала перед кончившим университет евреем все пути к государственной службе, а он ведь с детства был оторван от еврейства по своему воспитанию, и в его душе не было ничего, что могло бы его побудить осмысленно страдать за свой народ. Позже он меня навещал в Одессе, куда приезжал на летние каникулы. В последний раз я видел его после кишиневского погрома 1903 г., и он, вероятно, почувствовал ту перемену настроения, которая не позволяла мне тогда спокойно говорить с ним о текущих событиях.

Лето прошло в непрерывной работе и издательских заботах, а по возвращении в город эти заботы усилились. Подписка едва покрывала типографские расходы, а нетерпеливые подписчики требовали выпуска книги в объявленный срок. Я одновременно писал очередные главы для набора, читал корректуры набранных листов, контролировал в типографии печатание каждого листа, корреспондировал с организаторами подписки в провинции. Помню, сколько огорчений причиняли мне корректуры. Я их правил два-три раза и каждый раз обнаруживал новые ошибки в поправках и дополнениях. Были еще столкновения с цензурою. Пришлось изменить, то есть обесцветить, маленький параграф о «начале христианства». Цензора смутил даже рассказ об испытании трех религий хазарским царем, который отдал иудейству предпочтение перед христианством и исламом. Я привел остроумное сказание о том, что хазарский царь в беседе с миссионерами трех религий спросил

порознь христианина и мусульманина, какую религию они бы избрали, если бы не были убеждены в истинности своей собственной веры, и получив ответ, что каждый избрал бы иудейскую веру как древнейшую, решился принять иудейство. Цензор усмотрел тут опасную для церкви пропаганду и вычеркнул красивую легенду. Я обжаловал действие цензора в записке, поданной цензурному комитету и представлявшей образец диалектики. Я доказывал, что выбор хазарского царя, отдавшего предпочтение иудейству только за его древность, не может быть оскорбителен для христианства, которое ведь не отрицает своего происхождения от религии Израиля. «Неужели, — писал я, — простой факт, что такой-то царь из трех религий выбрал иудейство, может быть нецензурным? Разве выбор языческого царя что-либо предвещает или доказывает?» Но все мое красноречие было напрасно: цензурный комитет, председателем которого был мой же цензор, отклонил мою жалобу. Так и пришлось хазарскому царю принять иудейство в моей книге без всякой мотивировки.

Этот цензурный конфликт произошел в момент печатания последнего листа первого тома «Еврейской истории». Так, «волнуясь и спеша», закончил я половину своей работы, и в декабре 1895 г. появился первый том: «Восточный период». В моем подробном предисловии была впервые обоснована моя теория гегемонических центров. Книга запоздала выходом против срока, намеченного в объявлениях о подписке, и от абонентов получалась масса требований о скорейшей высылке экземпляров. Теперь я из автора-издателя превратился в экспедитора моего издания. Приходилось посылать одиночным абонентам книги по почте, а коллективным по железной дороге. Мне в этом помогли жена и экспедитор из экстернов, но все руководство делом исполнения заказов, переписки и расчета с агентами лежало на мне. Тут я почувствовал, как мало я пригоден к роли издателя. Всякая мелочь меня расстраивала, всякая жалоба подписчика на замедление в высылке огорчала. А между тем издательский расчет у меня тоже оказался очень плохим. Вопреки советам опытных издателей вроде Ландау, я назначил крайне дешевую подписную цену (2 р. 50 к. за оба тома), желая сделать книгу доступною и для бедных, но оказалось, что при необходимой скидке для книгопродавцев оставалось очень мало для покрытия расходов по изданию и еще меньше для оплаты труда автора. И к концу первого года моей «издательской деятельности» я остался при старом корыте: не вышел из обычного дефицита и не избавился от острых материальных забот. А между тем нужно было еще изыскать средства на издание второго тома.

Из этих низин житейской прозы пытался я уходить на духовные высоты. В начале 1896 г. я снова, после перерыва, взялся за свои специальные исследования. Написал статью о франкизме, по поводу появившейся тогда обширной монографии варшавского историка Краусгара об этом предмете, основанной на богатом новом материале, в особенности на «Темной Библии» сектантов («История франкизма по новооткрытым источникам», «Восход», кн. 3—5). Эта статья должна была служить коррективом к моей юношеской тенденциозной монографии о секте христианствующих, и постоянные читатели «Восхода» могли заметить, какой длинный путь был пройден писателем между 1883 и 1896 гг. Я уже не искал следов реформизма в движении франкистов и резко отметил здесь путь от мистики к мистификации. Мое заключение гласило: «Франкист — это сорвавшийся с цепи еврей XVIII в., это — беглый крепостной, который, сбросив с себя узы рабства, дает волю своим страстям, плюет и на веру и на нравственность, кутит, безобразничает, думая: все равно, семь бед — один ответ!» Может быть, это была слишком резкая характеристика в отрицательную сторону, навеянная «темными» сектантскими писаниями, опубликованными польским историком еврейского происхождения. По поводу моего критического разбора, где указаны и многие недостатки труда Краусгара, я получил от автора любезное письмо, где он признает мои замечания очень ценными. Между прочим, я его упрекнул, что начав в юности с труда (правда, весьма слабо-

го) по истории евреев в Польше, он потом забросил эту область и «пошел стеречь чужие виноградники» в общей польской истории. Только под конец своей жизни, в 1910 г., Краустар²⁹³ вновь издал труд по еврейской истории в Польше: «Дипломатариуш» или сборник государственных актов о польских евреях начиная с XV в. Эту драгоценную коллекцию архивных актов оставил ему в наследство его тесть, варшавский археолог Матиас Берсон, с которым я давно переписывался, убеждая его издать эти акты или предоставить их мне в пользование.

В марте 1896 г. я читал в общем собрании Общества просвещения второй доклад о ходе подготовительных исторических работ. Я указал, что ход этот несколько замедлился в последнее время, так как мне приходится отвлекаться от специальных исследований ради популяризации общей еврейской истории. В заключение я упомянул о свежей утрате в области нашей исторической науки: о смерти профессора Бершадского. В торжественном заседании в зале городской Думы председательствовал гостивший в Одессе барон Гораций Гицбург, председатель центрального комитета Общества просвещения в Петербурге. Он сделал мне «еврейский комплимент» по поводу моего усталого вида: «Тора (наука) ослабляет здоровье человека». Думаю, что эта самая Тора при баронской обеспеченности не подошла бы под талмудическое изречение.

Целый год, от марта 1896-го до марта 1897 г., взяло у меня составление второго тома «Еврейской истории». Тут фирма Бека и Бранна еще менее соответствовала содержанию, чем в первом томе, ибо «Западный период» составлялся без участия обоих авторов, компилятивно в общей части и самостоятельно в части, касающейся истории восточного еврейства. Однажды посреди этой работы я неожиданно очутился в роли юбиляра. 9 мая 1896 г. вечером я по обыкновению пришел в заседание Комитета просвещения, где, между прочим, должен был обсуждаться особенно интересовавший меня вопрос о помощи экстернам. Как только открылось заседание, председатель Г. Э. Вайнштейн от имени комитета поздравил меня с наступлением 15-летия моей литературной деятельности. Затем был прочитан протокол предыдущего заседания, состоявшегося без моего участия: там было решено по случаю моего юбилея ассигновать известную сумму на мою поездку за границу для научных исследований, выдавая мне в течение года по сто рублей в месяц, — сумма весьма значительная по тем временам. Все члены комитета с Моргулисом во главе поздравляли меня, пожимали руку и благословляли на дальнейшую научную работу. В глубоком смущении от неожиданности благодарил я всех и указал на то, что я сам и не думал о своем «юбилее», что я еще очень мало сделал за 15 лет и теперь только готовлюсь к большим трудам. На предложение ехать за границу я ответил, что еще год буду занят составлением и печатанием второго тома популярной истории, а по окончании ее намерен совершить научную экспедицию по России для исследования исторических памятников в еврейских общинах. Поздно вечером возвратился я из заседания в великолепной вилле Вайнштейна на Надеждинской улице; я шел домой по Ришельевской и Базарной улицам и думал об этом странном юбилейном напоминании. В южный майский вечер, среди благоухающих акаций вдоль тротуаров, встала предо мною картина петербургского апрельского дня 1881 г., когда юноша брел по набережной Фонтанки с свежим номером «Русского еврея» в руках, где были опубликованы его первые мятежные мысли о еврейской истории. Кто шепнул членам одесского комитета об этой дате, кто надоумил их сказать ободряющее слово усталому путнику? И хорошо ли я сделал, отказавшись от их поддержки для того, чтобы не отклониться от намеченного плана работ?

Срочность работы по составлению «Еврейской истории», когда абоненты штурмовали меня письмами о скорейшем выпуске книги, заставляла меня чрезмерно напрягать свои силы и часто доводила до переутомления. Я с большим трудом вырвался из города на дачу, но не для отдыха, а для более усиленной работы на свежем воздухе. Мы снова поселились на Большом Фонтане, в той же даче, но в

другой, более просторной квартире, обращенной окнами к огородам и полям. Помню, как в первый час по переезде я пустился бегать с детьми взапуски по дорожкам молодого сада, и сам дивился своей резвости. То была невольная демонстрация замкнутого городского человека против оторванности от природы, клик радости при возвращении к ней. Но и здесь мне пришлось замкнуться в рабочем кабинете: надо было закончить том в 30 печатных листов. Все лето прошло в напряженной работе над средневековой историей. Спешно писалась глава за главой, рукопись отсылалась в цензуру, а затем в типографию, откуда приходили кипы корректур. Часто приходилось ездить в город, чтобы улаживать цензурные или типографские затруднения. Из ряда конфликтов с цензурой помню о следующих. Цензору не понравилось учение Иегуды Галеви²⁹⁴, и он зачеркнул в моей рукописи несколько существенных строк; я к нему съездил и после личных объяснений удалось восстановить зачеркнутое, кроме «непозволительного» афоризма Галеви, что Израиль среди народов исполняет ту же функцию, что сердце в человеческом организме. Заступилась цензура и за честь испанского миссионера-террориста Феррера²⁹⁵ и зачеркнула мою характеристику; мне пришлось указать цензору, что Феррер был осужден даже Констанцским собором и что еврейский историк не обязан быть более благочестивым, чем члены церковного собора, сжегшего реформатора Гуса²⁹⁶.

Поглощенный этой работой, я очень редко писал для литературно-критического отдела «Восхода» и не откликнулся даже на такое явление, как нашумевший «Юденштадт» Герцля²⁹⁷. В Одессе, центре палестинофильства, новый сионизм приобретал все больше adeptов. Волновалась и учащаяся молодежь в поисках новых путей, колебалась между национальным движением и социализмом. В начале августа ко мне на дачу приехали представители студентов Новороссийского университета с просьбой помочь им в деле организации национального кружка для изучения проблем еврейства в прошлом и настоящем. Много говорилось о разброде еврейской университетской молодежи и о необходимости сплотить ее вокруг определенных национальных идеалов. Я обещал свою помощь и тут же подумал, что я действительно в долгу перед этой колеблющейся, ищущей молодежью. «Чувствую, — писал я под впечатлением этого визита, — что в такое время я одною литературною деятельностью не исполняю своих обязанностей по отношению к народу: нужно более тесное общение с ним, нужно будить мыслящих работников — пусть поддержат, пусть спасают дух народа». По возвращении в город я, несмотря на переобременение литературной работой, уделил ряд вечеров для беседований со студентами. В моем кабинете собиралась группа из 10—15 студентов (помню из них будущих сионистов Василевского и Шейнкина²⁹⁸, из которых первый через два года кончил самоубийством, а другой был крупным партийным пропагандистом, поселился позже в Палестине и умер от несчастного случая спустя 30 лет в Америке, куда ездил в качестве уполномоченного от Керен-гауесод²⁹⁹). Я представлял им на обсуждение сначала «общие тезисы», основы национальной идеологии, и потом «специальные тезисы» для практической работы. Общие тезисы легли позже в основание моих первых «Писем о старом и новом еврействе». Помню эти осенние вечера с горячими дебатами о нации как коллективном индивидуе, о еврейском типе духовной или культурно-исторической нации, об ассимиляции, о национальных правах. Все это было тогда так ново, так свежо для формирующегося молодого поколения. Наконец общие тезисы были приняты, и предстояло обсудить план организации историко-литературного кружка. Но зимою спешная работа по изданию «Еврейской истории» отвлекла меня от участия в собраниях молодежи, а весной и летом 1897 г. члены кружка рассеялись: одни примкнули к зарождавшейся тогда сионистской партии, выработавшей свою конституцию на первом Базельском конгрессе, а другие к нелегальной социалистической партии, вскоре организовавшейся в Бунде³⁰⁰.

В начале 1897 г. я дописывал последние главы «Еврейской истории» и дерзнул даже написать заключительную главу в виде краткого обзора событий XIX века, которая кое-как проскочила через цензурные заграждения. Кончая «западный период», я ввиду тогдашнего шума по поводу герцлевского «Юденштадта» заметил, что «палестинцы» «хотят повернуть колесо истории и совершить обратный переход от западного периода к древнему восточному»; я объективно назвал это стремление «односторонним», но признал полезность его для пробуждения национального самосознания.

Наконец в середине марта вышел сильно запоздавший второй том «Истории». Гора с плеч свалилась. Книга быстро рассылалась абонентам, запросы которых свидетельствовали, с каким нетерпением ожидалась первая еврейская история на русском языке. Усилился сбыт книги, напечатанной в количестве 3600 экземпляров, из которых около половины разошлось по подписке. Выручка шла на уплату типографского долга и сравнительно немного оставалось для моего литературного гонора, так как книга продавалась по слишком дешевой цене. Не все агенты по распространению книги присылали вовремя вырученные деньги, и часто бывали моменты нужды. В довершение беды сильно испортилось мое здоровье. Сказались результаты двухлетнего чрезмерного труда. Сильные припадки головокружения, чередование нервного возбуждения с угнетенным состоянием и каким-то болезненным безволием — все это свидетельствовало о глубоком нервном расстройстве и необходимости продолжительного отдыха. Я чувствовал такой упадок сил, что не мог даже совершить ту научную экспедицию по черте оседлости, которую наметил себе раньше в виде отдыха после окончания большого труда. Раньше предполагалось воспользоваться для этой поездки обещанною поддержкою со стороны Общества просвещения, от которой я лично для себя отказался; теперь же мне пришлось просить у комитета пособие на поездку за границу для лечения, и я получил весьма малую часть ассигнованной суммы: двести рублей. В начале мая 1897 г. я составил план своего летнего отдыха: сначала съездить в родной Мстиславль, а затем отправиться в Швейцарию.

Глава 32

На родине и в Швейцарии (1897)

Поездка в Мстиславль. На пароходе по Днепру и Сожу. Остановка в Гомеле. Между родными берегами. Случай на реке: кара за увлечение природой. Уяди в Пропойске. Чериков и Кричев. — Мстиславль. Паломничество к «святым местам» детства. — Бывший Ахер в синагоге, среди иешиботников. Звуки хедера и чтение «Рудина». Два мира. — В Киеве: Мандельштам, Шалом-Алейхем на ущербе. — Возвращение в Одессу. Признаки неврастении. Отъезд в Швейцарию. — Через Подолию и Галицию. Во Львове; гетто и хасидское царство. — Вена на заре герцизма; мой гид Зильбербуш. — В Цюрихе. Роберт Зайчик, крайний индивидуалист, «сверхчеловек», эстет. В пансионе Ницше. Ферстер. — В пансионе на Итлиберге. Загадочный англичанин. Фарбштейн, Белковский, Бен-Ами. Почему я не поехал на Базельский конгресс сионистов. — В очаровательном плену швейцарских Альп. Подъем на Пилатус, первая встреча с духом гор. — Круговое путешествие: Бернер Оберланд; в лаборатории мироздания. Французская Швейцария. Мечта о Невшателе. — Прощание с Швейцарией.

Это был мой первый выезд после почти семилетнего сидения в Одессе. Как сильный магнит притягивал меня к себе Мстиславль, гнездо моего детства и юности, приют позднейшего отшельника. Мне казалось, что я выздоровею от одного прикосновения к родной земле, от притока светлых воспоминаний в мою омраченную душу. Я выехал из Одессы вместе с моей 12-летней дочкой, Софией, физиче-

ски и умственно цветущим созданием. Она обучалась дома, преимущественно под моим руководством, и еще до поступления в старшие классы гимназии усвоила знания, превосходящие все доступное ее сверстницам. Она уже знала Библию в еврейском подлиннике, а по русской литературе была чрезвычайно начитана. Очень рано в ней проявился поэтический талант. Помню, как она мастерски переложила в звучные русские стихи балладу Уланда «Проклятие певца», которую я ей декламировал в немецком оригинале в часы наших летних прогулок, причем воспроизвела весь ритм подлинника. Я взял любимую дочь с собою в мой и ее родной город для того, чтобы она могла присмотреться к еврейской народной жизни в глухой провинции и сохранила бы впечатление всего виденного.

Для расширения круга впечатлений мы ехали кружным путем, с остановками в разных местах. В первых числах мая 1897 г. мы приехали по железной дороге в Киев и оттуда двинулись на пароходе по Днепру и Сожу по направлению к Гомелю. Чудна была днепровская поездка. Пароход шел по реке тридцать часов. Майское небо сияло над успокоившимся после весеннего разлива Днепром, над сверкающей зеленью его прибрежных лугов, а дальше над темною полосой Сожа, затененною густыми лесами. Навстречу нам тянулись вниз по реке, «самоплавом», плоты со срубленным лесом и большие барки (баржи) с дровами: шло с севера на юг все лесное богатство нашего края. Простор реки и лугов оглашался кликами рабочих на плотях и резкими свистками пароходов, предупреждавшими плотовщиков о необходимости посторониться в узких местах реки. Я вспомнил покойного труженика-отца, который десятки лет плавал по этим же водам на юг (на «низ») с партиями леса на плотях и барках в такую же весеннюю пору... На другой день приехали мы в Гомель, город родных и знакомых. Близился субботний вечер, когда мы из гостиницы, где остановились, отправились в дом старого петербургского друга Маркуса Кагана при его большой лесопильне на берегу Сожа. Тут мы попали в плен к гостеприимной семье, которая не отпускала нас до отъезда. Славно провели мы в этом шумном семейном кругу субботний вечер и следующий день. В воскресенье утром пустились в дальнейший путь. Мы сели на маленький пароходик, совершавший рейсы по Сожу между Гомелем и Пропойском, с намерением остановиться в доме дяди Бера, в «веселом местечке».

Целые сутки продолжалось это плавание по узкой полосе Сожа, вверх по реке на маленьком судне, которое с трудом двигалось между плотами и мелями. Леса все ближе надвигались на реку, которая темною лентою извивалась между ними, то расширяясь, то суживаясь. По дороге мелькали убогие деревушки Полесья и Белоруссии, а иногда к пристани на низком берегу сбегались торговцы из еврейского местечка. После южного зноя и пыли меня очаровывали это царство леса, прохладная тень, родные картины, навевавшие грезы детства. Целые часы простаивал я на маленькой палубе, следя за этой дивной панорамой. Тут произошло неприятное приключение. В полдень я стоял на носу пароходика рядом с матросом, который длинным шестом отпихивал наше судно от встречного плота в узком месте реки. Не заметив меня, матрос сделал резкое движение шестом и концом его нечаянно ударил меня в бровь над левым глазом. Стекло в моих очках разбилось, а из ранки над глазом потекла кровь. Сначала мне показалось, что удар пришелся по глазу, которого я не мог открыть. Я вошел в каюту и тут при помощи участливых пассажиров перевязал рану. Скоро выяснилось, что опасности для глаза нет и что ранка заживет. Я лишился только искусственного глаза, стекла в очках, без которых плохо видел, а достать новые астигматические очки можно было только в Петербурге по особому заказу, что требовало много времени. Это приключение потрясло мои нервы, которые начали успокаиваться под влиянием «целительной силы природы». В грустном настроении, сидя в каюте возле моей испуганной девочки, доехал я до Пропойска.

С пристани мы отправились в дом дяди, стоявший на окраине местечка среди фруктового сада на берегу реки. Дядя Бер и тетя Этэ (сестра покойного отца) сильно обрадовались гостям. Дядя шумно выражал свою радость, громко разговаривая и рассказывая смешные анекдоты, а молчаливая добрая тетя сияла счастливой улыбкой. Мы сидели за чаем в саду, под яблонями, и во мне до сих пор живо то блаженное чувство покоя, которое охватило мою мятущуюся душу в этом заброшенном саду над Сожем, под лучами полуденного солнца. Незаметно прошли день и ночь в этой идиллической обстановке. На другое утро мы двинулись дальше. Предстояло проехать на лошадях до Мстиславля порядочное расстояние, около ста верст.

Мы сделали две остановки в пути. Переночевали в городе Черикове, в доме старшего брата моей жены, Симона Зайчика. Я знал его раньше бодрим мужчиною средних лет, немножко «современным», а теперь застал разбитого болезнью старика, в глазах которого горел какой-то огонек не от мира сего. Он читал талмудический «шиур» в синагоге и молился с необыкновенным экстазом. Рано утром спросонья слушал я рыдающие звуки его молитвы: в них было то же предчувствие близкого конца. Когда я через два года посетил Чериков, я уже застал семью шурина в трауре. Вторая остановка была в местечке Кричев, где я встретился с врачом Хейфедем, который в свои студенческие годы помогал мне в борьбе с полицейскими властями в «мстиславском деле». Долго тащились мы по проселочной дороге в фуре патриархального «балаголе» между Кричевом и Мстиславлем. Старый возница рассказывал мне в дороге свою невеселую биографию. Бывший талмудист, затем сельский арендатор и шинкар, лишившийся куска хлеба после недавнего введения государственной винной монополии, он купил старый помещичий тарантас и сделался простым «фурманом».

Наконец, после целого дня езды по скверной дороге, мы усталые приехали в Мстиславль. Мать и сестер я застал опять в состоянии кочевом: они вынуждены были продать свой дом и жить в наемных квартирах. Я нашел их в стареньком доме с садом, где летом было очень уютно. Увидев сразу сына и внуку, мать от умиления расплакалась. Я должен был рассказать ей обо всех подробностях нашей одесской жизни, а мать и сестры жадно слушали, как слушают рассказы путешественника, вернувшегося из дальних стран. Едва я отдохнул с дороги, началось паломничество к «святым местам»: хождение по городу и окрестностям с остановками в памятных с детства местах. Большая перемена произошла в моих отношениях к родному городу за годы разлуки с ним. В предыдущее десятилетие я жил там как чужой, как Ахер, в гордом одиночестве; теперь я пришел к родным местам, чтобы плакать на дорогах могилах, увидеть и братски приветствовать живых свидетелей моего детства, взглянуть на подростое новое поколение. Я, конечно, еще не мог войти в тесное общение с верующей общиной, не мог, например, присутствовать на богослужении в синагоге в дни милого зеленого праздника Шувуос, но я заходил в разные синагоги во внемолитвенные часы. Помню, с каким волнением вошел я в «кагальный бесмидраш», где некогда верующий отрок в слезах шептал скорбные псалмы, сменившиеся потом декламацией вольных стихов Лебенсона-сына. В большом зале оказались еще остатки дедовской иешивы, оживившейся теперь под руководством нового раввина-лектора. Мне показались, что голоса сидевших за длинными столами «бахуров» не звучат так задушевно, как в дни моего детства; но возможно, что молодые люди стеснялись в моем присутствии читать с теми традиционными напевами, как в былое время. Только издали мог я слышать милые старые звуки, когда в солнечные дни проходил по улице и сквозь раскрытые окна хедеров ко мне доносился хор детских голосов, «распевающих» текст Библии или Талмуда.

Однажды стоял я в садике при доме матери, среди цветущих маков, и прислушиваясь к таким напевам, доносившимся из дальнего хедера; я приник к забору са-

да и не мог оторваться: воскресли и радости и печали детства. А возле стояла моя дочка, читавшая мне вслух в том же саду тургеневского «Рудина», и я думал: два мира, два поколения, а между ними человек обоих миров — как сойдется потом эти миры?.. «Смотрю, воспринимаю и припоминаю, — писал я тогда в дневнике. — И что-то бесконечно грустное и вместе с тем бесконечно отрадное чудится мне в этой тихой полусонной жизни еврейского царства, которого не искоренишь, не разрушишь никакими гонениями и погромами. Я был на Шульгофе: те же жалкие дома, оборванные ребятишки на улицах; полусонные женщины, прикорнувшие на порогах своих лавчонок, те же заунывные голоса из хедеров и иешив... Бедные дети! Они потом выйдут из этой душевной, но поэтической атмосферы — и что же встретят они в жизни? Будет мучительный антитезис, а затем — уже не у всех — наступит синтез. И как знать, как примирятся в этом синтезе патриархальное воспитание и непатриархальная жизнь?..»

Ходил по городу с дочкой, желая запечатлеть в ее поэтической душе родные картины. Мы посетили и город мертвых. На кладбище я долго стоял перед могилами отца и деда с опущенной головой, мятущийся, нервный, перед успокоившимися «под сенью крыл Шехины». Все улицы видели эту страстную пару: бледного отца под руку с цветущей дочкой. Ласковые взгляды провожали нас. Не было следов былой отчужденности. Земляки уже простили своего Ахера, который давно искупил свою вину заступничеством за общину в 1890 г. С чувством благодарности рассказывали мне, что после моих разоблачений предводитель дворянства смирился и стал дружно жить с евреями, а уволенный со службы злой товарищ прокурора живет бедно в имении родных. Должен, однако, сказать, что природа Мстиславля действовала на меня лучше, чем его люди. На всем лежала печать застоя и уныния. Только через два-три года застал я то же захоlustье в сильном брожении; везде шумели кружки политических сионистов.

С глубокою тоскою покинул я родной город после двухнедельного пребывания. На обратном пути мы остановились только в Киеве. Там я виделся с спасителем моего зрения доктором Мандельштамом, который готовился стать в ряды армии Герцля. Он возобновил мне рецепт на очки. Посетил и Шалом-Алейхема и заметил, как тяжело ему живется с большой семьей на заработки агента страховых обществ и протеже сахарозаводчиков Бродских, как страдает он от перерыва в литературном творчестве.

В Одессу я вернулся в начале июня и тотчас же стал готовиться к своей заграничной поездке. Невыносимый южный зной, особенно чувствительный при тогдашнем состоянии моих нервов, заставил меня ускорить отъезд. Врачи нашли у меня нечто вроде неврастения. Она действительно проявлялась в моей крайней рассеянности, в несвойственной мне нерешительности, безволии и боязни одиночества. Сама поездка за границу, первая в моей жизни, пугала меня при таком душевном состоянии. Но сознавая, что от этой поездки зависит вся моя дальнейшая работа, я набрался смелости и скоро пустился в путь, в далекую Швейцарию.

21 июня выехал я из Одессы через Подолию и Галицию. За станцией Жмеринка, подъезжая к подольско-галицийской или русско-австрийской границе, я вспомнил о своей предполагавшейся исторической экспедиции в эти места, которая не состоялась из-за моей болезни. Захотелось сделать кой-какие наблюдения хоть в этот короткий переезд. В темных дубовых лесах, среди волнообразных холмистых полей, за которыми на краю горизонта вырисовывались контуры Карпатских гор, мелькали в моем воображении видения XVIII в. Особенно интересовала меня Галиция, и я решил остановиться в двух ее столицах: Львове и Кракове. Подъезжая ко Львову, я спросил у местного еврея, моего попутчика, где мне остановиться в еврейском квартале, и записал указанный им адрес гостиницы. Заехал в типичную «ахсанье», закурил и выпил чай из самовара, поданного оборванным служителем, отдохнул немного и пошел бродить по городу. На другой день я повторил свой обход в со-

провожении местного учителя Г. Бадера³⁰¹, корреспондента еврейских газет. Я с ним сговаривался по-древнееврейски: странным казалось тогда, чтобы два интеллигента могли вести разговор на отверженном «жаргоне». Сильное впечатление произвело на меня старое гетто Львова. «17-й век еще живет в этих узких улицах гетто рядом с 19-м, — писал я в дневнике. — Зашел вчера вечером во время молитвы в одну из хасидских синагог: тесно, беспорядок, гул многих голосов, какое-то завывание вместо пения, грязно, душно... По дороге ко Львову я проезжал мимо Злочова, Збаража и других исторических мест хасидизма. В мелькавших мимо лесах и ущельях гор чудились тень Бешта, молящегося и собирающего в полях целебные травы, тени Михеля из Злочова, Вольфа из Збаража и пр. Не они ли усыпили на целое столетие эту темную массу людей в длинных балахонах с широкими поясами, живущих как будто по гипнотическому внушению, произведенному в 18-м веке?.. Хорошая, полусолнечная, полухмурая погода, какую я люблю; в полях и лесах теперь хорошо, а я дышу воздухом старого гетто и волнуюсь думами пяти столетий. С горечью я должен был сознаться, что чувствую себя здесь чужим. Странно, чтобы я себя так чувствовал в историческом гнезде моих братьев, но у меня так мало общего в языке и понятиях с этими живыми остатками старины, что чувство отчужденности невольно закрадывается в душу».

Пробыв сутки во Львове, я должен был по плану ехать в Краков, но в последнюю минуту отказался от этого намерения: «волноваться думами столетий» едва ли мог советовать врач, посылавший меня в Швейцарию с целью избавить меня от волнений настоящего. Я поехал прямо в Вену. В солнечное утро я очутился в веселой столице Австрии и из окна огромного отеля на Пратерштрассе смотрел на бующий по улицам людской поток. Жутко было мне одному, при моем угнетенном состоянии, бродить по этому Вавилону. Я послал свою визитную карточку в еврейский студенческий кружок «Цион», адрес которого я выписал в Одессе из новой герцлевской газеты «Ди Вельт»³⁰², и просил, чтобы кто-нибудь из российских студентов посетил меня в гостинице. В первый день никто не явился, и я должен был осматривать город при помощи наемного гида, посыльного из галицийских евреев. Вена произвела на меня впечатление сплошного кафе. На другое утро ко мне из кружка «Цион» явился галицко-еврейский литератор Зильбербуш³⁰³ и сообщил, что российские студенты разбежались на летние каникулы и что он предлагает свои услуги в качестве гида по Вене. Опять день прошел в фланерстве по городу в сопровождении этого «коллеги», который хвастал своим знакомством с покойным Смоленским. Вспомнилось, что и Смоленского нужна одно время заставляла быть гидом по Вене для приезжавших из России курортных гостей, но это, конечно, не значило, что Зильбербуш был в духовном родстве с Смоленским... Вечером отходил поезд в Швейцарию. Расплатившись в гостинице и раздав обязательный «трингельд» выстроившимся в шеренгу слугам отеля, от номерного до швейцара на лестнице, я отправился с моим проводником на вокзал. Там я взял билет в Цюрих, а весь остаток австрийских денег, оказавшийся в моем кошельке, я отдал в виде платы за услуги бедному Зильбербушу. «На что вам австрийские деньги в Швейцарии?» — вразумлял он меня. Две ночи и день продолжалось путешествие из Вены в Цюрих в медленном пассажирском поезде, но зато я имел достаточно времени, чтобы любоваться картинами природы в пути, лежавшем через Зальцбург, Инсбрук, баварские и тирольские Альпы. Утром я приехал в Цюрих, где на вокзале ждал меня, предупрежденный телеграммой с дороги, племянник Роберт Зайчик.

Прошло почти десять лет с тех пор, как я на варшавском вокзале прощался с юным Зайчиком при его отъезде в Вену для поступления в университет. За это время он успел кончить университет по философскому факультету и выдержать докторский экзамен в Берне, сделаться там доцентом, а затем занять вольную кафедру по сравнительной литературе при политехникуме в Цюрихе. Как иностранный еврей, он не мог добиться профессуры и все числился в персонале младших препода-

вателей. Вдобавок он не умел ладить с немецкими профессорами или, как он выражался, с профессорскими женами, решавшими участь молодых доцентов. В Берне он рассорился с известным профессором Людвигом Штейном³⁰⁴, покровителем наших эмигрантов — экстернов из России, имел конфликт и с нашей революционно настроенной молодежью и прослыл в швейцарских кружках реакционером. На самом деле он был совершенно аполитичным, крайним индивидуалистом. Это был типичнейший беспочвенник в социальном и национальном смысле. Из обширной переписки, которую он вел со мною, я знал, что он чрезвычайно начитан в европейских литературах и носится с грандиозными литературными планами. Каждый раз он сообщал мне о десятках тем, одновременно занимавших его ум. Только две работы он написал на еврейские темы: диссертацию о правовом положении евреев в средние века и очерк истории эмансипации евреев в Австро-Венгрии (последний в «Восходе», 1892). Затем он всецело отдался общим сюжетам и писал исключительно по-немецки. Печатал книги о Достоевском и Толстом, о швейцарских поэтах, о Гете, итальянском ренессансе и т. п. Когда я его теперь увидел в Цюрихе, он был весь под влиянием Ницше. Теория «иберменша» или «художественной природы» («дер кинстлерише Менш») стала его догмой. Мы теперь стояли на разных полюсах мысли: этическом и эстетическом, национальном и индивидуально-универсальном. От еврейства он был так отчужден, что даже не интересовался его положением и происходящими в нем новыми движениями. Он мог пародировать известное латинское изречение по-своему: я всечеловек, и поэтому все еврейское мне чуждо. В первое время после нашей встречи не было конца нашим идейным спорам, но скоро пришлось их прекратить, так как врач запретил мне всякое умственное напряжение. Ему теперь приходилось нянчиться с большим дядей, который вследствие своего душевного состояния боялся одиночества на чужбине.

С вокзала Роберт отвез меня в пансион «Нептун», близ Цюрихского озера. В этом пансионе, говорил он мне, жил Ницше во время своих приездов в Цюрих, и я ему ответил, что успокоению нервов такое сообщение едва ли может содействовать. Однако пансион оказался очень порядочным. Стеснял меня только швейцарский порядок совместных трапез, «табль-д'от» с его церемониалом взаимного обслуживания. Понравился мне старый город с готическими постройками, с старой церковью Цвингли и другими достопримечательностями. Ласкала глаз светло-зеленая гладь Цюрихского озера, по которому мы часто катались в лодке. Роберт познакомил меня с своими приятелями, из которых наиболее симпатичным был Фридрих Ферстер³⁰⁵, молодой доцент философии, сын знаменитого берлинского астронома, изгнанный из Германии за газетную статью, где суд усмотрел «оскорбление величества» Вильгельма II. Ферстер пропагандировал идеи «Общества этической культуры», основанного его отцом, и постоянно спорил с эстетом Робертом, называя его в шутку «унтерменш». Различие убеждений не мешало, однако, дружбе молодых доцентов, стоявших в центре маленького кружка радикалов, философских индивидуалистов. Спустя двадцать лет, во время мировой войны я узнал, что профессор Ферстер сделался апостолом пацифизма и бросил перчатку всей милитаристической Германии. Это меня столь же обрадовало, как опечалила весть о переходе Роберта к «старокатоликам» и о его кафедре в Кельнском католическом университете.

В этой компании мы часто совершали загородные прогулки. Скоро я и поселился за городом. Цюрихский врач-невропатолог профессор Монаков нашел у меня признаки переутомления мозга и предписал мне жить в горах, не читать и не писать и предаваться абсолютному отдыху. Я поселился на Итлиберге, высоком плато над Цюрихом, среди хвойного леса. Роберт поднимался ко мне из города почти ежедневно, мы обедали вместе в моем комфортабельном пансионе «Аннабург» и гуляли, часто в компании его приятелей. Пансион был полон гостями из разных стран Европы и Америки. Обедавшая с нами за табльдотом итальянская чета наив-

но призналась нам, что вначале они побаивались нас, ибо все молодые люди из России представлялись им «нигилистами» с бомбами в кармане. Сблизился с нами один пожилой «англичанин», очень странный субъект по имени Мэзгров. Он уверял нас, что родился в Петербурге в семье чиновника английского посольства, но в детстве покинул Россию, изучил медицину в Англии и теперь состоит врачом в каком-то учреждении в австралийском городе Аделаиде. Говорил он на нескольких языках и знал также древнееврейский, цитировал библейские стихи в подлиннике и выдавал себя за горячего друга еврейского народа. Он возмущался преследованиями евреев в России и удивлялся, что я еще хочу вернуться в эту страну деспотизма. Чувствовалось, что этот человек что-то скрывает из своего прошлого.

В мою «высокую» резиденцию, на высоту 900 метров, доносились глухие отголоски агитации, предшествовавшей первому конгрессу сионистов в Базеле. В Цюрихе я познакомился с д-ром Давидом Фарбштейном³⁰⁶, одним из первых соотрудников Герцля. Он мне рассказывал обо всех приготовлениях к конгрессу. На Итлиберг приезжал ко мне одесский сионист Г. А. Белковский³⁰⁷, бывший временно профессором в Софии. Он уговаривал меня ехать на конгресс хотя бы в качестве зрителя. Мне очень хотелось участвовать в собрании, которое при всей его партийности должно было продемонстрировать перед миром идею единства еврейской нации, но меня удержали два соображения: боязнь оказаться одиноким с своей национальной концепцией среди патриотов «Юденштадта» (как потом оказался там одиноким даже Ахад-Гаам) и опасения за свое здоровье, за свои неокрепшие нервы. В начале августа приехал в Цюрих Бен-Ами, направлявшийся в Базель. Его воинствующий герцлизм еще более укрепил меня в убеждении, что мне не место на конгрессе новых мессианистов. Нужно было выздороветь и подготовиться к предстоявшей общественной борьбе. И вместо Базеля я отправился в круговое путешествие («Рундрейзе») по Швейцарии.

Величавая красота швейцарских Альп пленила меня еще раньше, когда я с Зайчиком и Ферстером совершили двухдневный «Аусflug» на вершину Пилатуса. Неизгладимое впечатление оставила во мне эта первая встреча с духом гор. В ясное июльское утро выехали мы из Цюриха в Люцерн, оттуда мы в экипаже катались вокруг Фирвальдштетерского озера, у подножья горных гигантов, бросавших свою мрачную тень на поверхность воды. Ночь мы провели у подошвы Пилатуса, в городке Алпнахштадте, а на следующее утро сели в вагон горной железной дороги, везущий путников на вершину, Пилатус-кульм, на высоту 2000 метров. Я привожу тут несколько цитат из длинного письма, посланного мною домой через пару дней после этой поездки: «Поезд наш состоял из одного вагона особой конструкции с локомотивом. Он двигался одним зубчатым колесом и двумя обыкновенными по трем рельсам, из которых средний тоже зубчатый. Этот поезд карабкался на горы и скалы, представлявшие местами наполовину отвесную линию (48 градусов уклона). Он именно карабкался, как кошка, скребя своим зубчатым колесом, ползая и извиваясь на краях страшных обрывов и пропастей, влетая в темные туннели, прорывающиеся сердце гор, и со свистом, как бы торжествуя, оттуда вылетая. Через оконца вагона виднелась сначала зеркальная поверхность озера, горы и долины, поросшие лесами, а затем пошли крутые скалы, громоздящиеся одна на другую, и бездонные пропасти, при виде которых жутко становилось». После полуторачасовой езды я и Зайчик остановились на вершине Пилатуса. Тут мы встретились с нашими спутниками, которые накануне остались внизу и пешком поднялись на эту вершину в течение всей ночи. Закусив в ресторане, мы всей компанией поднялись на самую высокую вершину Пилатуса, Эзель, шагая по узкой тропинке, на краю крутых скал. Боясь головокружения, я местами хватался за зыбкие перила. С Эзеля открывался вид на самые высокие альпийские вершины: сверкали снега Юнгфрау, Мэнх, Эйгер, а внизу стлались облака. «Здесь тучи смиренно идут подо мною» — вспомнился мне стих Пушкина о Кавказских горах. Мы несколько часов

бродили по Пилатусу. Солнце в полдень ярко светит и местами припекает, а в тени холодно. Вдыхаешь морозный воздух под греющимися лучами солнца, как будто ешь мороженое в жаркий день. К вечеру мы вернулись в Альпнахштадт тем же поездом. Теперь вагон спускался вниз замедленным ходом, цепляясь за рельсы зубчатым колесом и еще более напоминая кошку, которая осторожно спускается по стене и цепляется когтями за выступы. Внизу мы сели на парходик, который по озеру доставил нас в Люцерн. Этот центр богатых туристов еще за полночь шумел десятками своих ярко освещенных отелей и ресторанов. В одном из отелей мы переночевали и на следующее утро уехали в Цюрих.

Более продолжительное путешествие мы совершили в последнюю декаду августа по новому стилю. Мы объехали всю немецкую Швейцарию и часть французской. Вместе с Зайчиком и Бен-Ами я выехал из Цюриха в Бруннен и, сойдя там на берег Фирвальдштетерского озера, мы пустились пешком по Аксенштрассе, шоссеиной дороге в горах, проложенной вдоль берега. По этой великолепной, озаренной солнцем дороге шли мы почти весь день, то спускаясь к достопримечательным местам («Теллскапелле» и др.), то поднимаясь на большую высоту. Бен-Ами поминутно испускал крики восторга, как бывший «швейцарец». Вечером мы спустились в идиллическое местечко Флюэльн и там переночевали. Следующий день мы посвятили осмотру исторических мест: старого Альтдорфа с памятником Вильгельму Теллю, знаменитого Рютли с его ключами под тенью вековых дубов. В Фицнау, где мы остановились по случаю дурной погоды, мы расстались с Бен-Ами, который спешил в Базель на конгресс. Странно было видеть рядом этих двух человек: ультра-националиста Бен-Ами и стоящего одной ногой вне еврейства Зайчика. Были попытки споров в дороге, но красоты не располагали к идейным препирательствам. Созерцанию этих красот я всецело отдавался в дальнейшем пути.

Мы вступили в самую гущу швейцарских Альп, в Бернер Оберланд. Среди глетчеров Гриндельвальда, при виде мрачных гигантов с зловещими названиями: Веттергорн, Шрекгорн, Финтсерааргорн, на высотах Шейдегга вблизи Юнгфрау с ее «рогами», в полосе горных водопадов близ Лаутербруннен и Штауббах, где меня между ребром горы и низвергающимся с ее вершины водяным столбом обдавало водяною пылью, — везде я испытывал чувство, которое могу не иначе назвать, как космическим. Я как будто вступил в лабораторию мироздания. Из этого царства буйных стихий мы перешли на тихое лоно вод озера Тун, посетили чистенький город Тун, а затем попали в Берн. Осмотрел исторический город, выслушал ритуальную легенду, стоя посреди площади у колодца, украшенного фигурой еврея с средневековым «ритуальным» названием «Киндли-Фрессер» («Детоед»), видел классическую берлогу с медведями, заглянул в тесные аудитории ветхого здания университета и в светлые апартаменты парламента.

Во французской Швейцарии мы успели совершить «малый тур вокруг Женевского озера», по линии Лозанна—Ве́ве—Кларан—Монтрэ. Тут суровое величие Бернер Оберланд сменилось мягкими контурами юга. Тень Руссо и «Новой Элоизы» сопровождала меня по этим местам. Мирные прогулки между Ве́ве и Шильонским замком, через Кларан и Монтрэ, среди виноградников, настраивали на романтический лад. Восхитил меня на обратном пути чистенький город Невшатель на берегу озера с «островком Руссо» в центре и красивыми домами, смотрящими своими окнами-глазами на зеленую стену лесистых гор Юры. Я сказал своему спутнику: вот где я бы хотел провести всю жизнь в мысли и труде. Некогда наши здесь убежище французские гугеноты — отчего бы не приютиться здесь еврейскому гугеноту из России? Долго еще я грезил среди российских бурь о тихой обители на берегу Невшательского озера, о жизни с Природой и Историей...

Было уже начало сентября по западному стилю, когда я возвратился в свой пансион на Итлиберге. Надо было ехать домой. Прощальную неделю я провел в пансионе, а затем покинул его, напутствуемый благословением загадочного англи-

чанина на библейском языке: «еворехеха Адонай веишмереха» (да благословит тебя Бог и охранит). Я спустился в Цюрих и здесь три дня дожидаясь возвращения Бен-Ами с конгресса, чтобы вместе ехать в Одессу. Я простился с дивной природой Швейцарии, разогнавшей мою тоску. Простился и с моим спутником Зайчиком. Отныне мы были разлучены не только географически, но и духовно. Предомно лежит письмо Зайчика ко мне через некоторое время после нашей разлуки: «Старайтесь только не болеть недугами окружающей Вас жизни. Преследуйте Вашу цель с личною верою, не обращая внимания на общественную жизнь. Если бы Вы могли только стать сознательно эгоистом! Такой эгоизм есть долг всякого по отношению к себе, своему здоровью, своей жене и детям. Из Вашего письма я снова вижу, что Вы окунулись в волны общественных вопросов, что Вы снова принуждены пить этот вредный яд. Приходится в этом случае пожелать Вам Митридатово искусство¹⁰⁸ (противоядие)...» Было ясно: наши пути разошлись. Я вернулся в российский Египет, чтобы принять участие в страданиях братьев, бороться с фараонами и искать путей свободы. «Сознательный эгоист» Зайчик шел своей дорогой, и когда он меня посетил через тридцать лет в Берлине, он уже был «на том берегу»...

Мы ехали с Бен-Ами обратно той же дорогой, через Вену и Галицию. На русской границе, в Волочиске, жандармы разрыли мои чемоданы и забрали книги для цензуры, а затем пригласили в отдельную комнату для личного обыска. Ничего нелегального не нашли. Ближе к Одессе в окна вагона врывалась пыль с высохших за лето степей Новороссии. В начале русского сентября я уже был дома. В моей литературной деятельности началась новая полоса.

КНИГА ШЕСТАЯ

СИНТЕЗ СТАРОГО И НОВОГО ЕВРЕЙСТВА (Одесса, 1897—1903)

Глава 33

Первые «Письма о старом и новом еврействе» (1897—1898)

Общественное пробуждение после долгого затишья. 1897 год как поворотный момент. Сионизм, национализм и социализм. — Одесские кружки. Возбуждение против Ахад-Гаама за его антигерцлизм. — Мое первое «письмо». Исповедь искателя. Против «рабства в свободе» — «свобода в рабстве». Теория гуманистического национализма: не национальный эгоизм, а национальный индивидуализм. Духовный тип нации как наивысшая ступень развития. — Второе «письмо»: осуждение ассимиляции как теоретической ошибки и морального дефекта; право еврейства на почву Европы; требование «национальных прав» наряду с гражданскими; пример Сократа; утопия, ставшая вскоре реальностью. — Наша Историко-литературная комиссия: Моргулис, Сакер, Абрамович, Ахад-Гаам и я. Импровизация Абрамовича и его бунт против доктрин. Плодотворные прения. Отголоски их в писаниях Ахад-Гаама и моих. Мое объяснение с сионистами в третьем «письме». — Ханукальные студенческие вечера.

1897 год открыл новую эру в еврейской общественной жизни в России. Длившееся около 15 лет общественное затишье сменилось движениями национального и социального характера. С осени во многих городах формировались кружки сионистов на основе базельской программы. Молодой герцлевский сионизм шумел на еврейской улице, в кружках и собраниях. Одновременно возникла организация еврейских социал-демократов Бунд, которая при тогдашнем полицейском режиме должна была действовать нелегально. Среди этих течений пролагала себе путь идеология, постепенно развитая в моих «Письмах о старом и новом еврействе». Давно задуманные «Письма», тезисы которых я раньше излагал в харьковских беседах и в одесском студенческом кружке, начали печататься в ту же знаменательную осень 1897 г. и были закончены в общей своей части в 1902 г. Это пятилетие было для меня периодом созидания национально-гуманистического синтеза, который окончательно определил и мою историческую концепцию, и мое отношение к проблемам современности.

Приехав в сентябре из Швейцарии в Одессу, я застал дома перемену декорации. Из тесной квартирki в доме № 12 по Базарной улице моя семья перебралась в более просторную квартиру в том же дворе, во втором этаже, с балконом. В довольно большом кабинете я расположил свою библиотеку и архив и стал готовиться к возобновлению прерванных работ. На первом плане стояли «Письма о еврействе». Я чувствовал особенную потребность исторически обосновать национальную идею, после того как на Базельском конгрессе она была провозглашена в условной форме (еврейство останется нацией при условии создания центра в Палестине). В Одессе тогда звучали отголоски этого первого всееврейского конгресса. Приехавшие делегаты и гости находились под обаянием волшебника Герцля, все, кроме одного:

Ахад-Гаама. Этот трезвый ум не мог поддаться всеобщему упоению новым мессианством. Вернувшись из Базеля, он откровенно заявил в своем журнале «Гашилоах», что он чувствовал себя на конгрессе как «человек в трауре на свадьбе», ибо увидел в герцлизме лишь попытку создать «Юденштадт» путем дипломатии, что может привести к тяжелому разочарованию. Помню, как в вечер «Симхат Тора» собравшиеся в квартире Бен-Ами сионисты напали на Ахад-Гаама за его еретическую статью. Даже его ученики из ордена «Бне-Моше» не могли удержаться от упреков. Горячим головам было неприятно, что их окатили холодной водой. Ахад-Гаам выслушивал все эти упреки с скрытым волнением (это было видно по тому, как краснело его лицо), но отвечал лаконически, с своим обычным наружным спокойствием. Скоро он дал всем политическим сионистам подробный ответ в своих блестящих статьях в журнале «Гашилоах», где заявил, что сионизм может разрешить не проблему материального «горя евреев», а духовного «горя еврейства». Прислушиваясь ко всем этим спорам, я еще более укрепился в мысли, что необходимо поставить национальную проблему во всей ее широте, вне связи с партийными течениями.

В октябре и ноябре я писал первые две статьи под заглавием «Письма о старом и новом еврействе». В моем вступлении чуткий читатель мог уловить ноту исповеди. Я говорил о необходимости для нашей интеллигенции пересмотреть свои устаревшие воззрения. Каждый обязан «с полной искренностью объявить, какие уроки извлек он из прежних ошибок, какие поправки успел внести в свое мирозерцание», а не гордиться «постоянством своих ошибок» и девизом «Semper idem»³⁰⁹, заставляющим человека «наружно исповедовать веру, от которой он в душе отрекся». Вместе с тем не следует при осуждении еврейской проблемы исходить только из внешних обстоятельств данного момента, а из всей совокупности данных еврейской истории. Тут я косвенно отвечал Ахад-Гааму на его давнишнюю полемику со мной в статье «Рабство в свободе». Я писал: «Мы будем внутренне свободны, пока в нас будет жить свободный дух, хотя бы над нами тяготело иго внешнего бесправия. Рабом можно называть того, у кого душа рабопелна, а не того, кто под гнетом деспотизма лишен элементарных прав человека». Я тут установил принцип свободы в рабстве, который, впрочем, не мог отрицать и Ахад-Гаам по отношению к сторонникам национально-освободительного движения. Свое первое «письмо» я начал с сравнения между развитием религиозной и национальной идеи: первая отвергается узкими рационалистами, а вторая космополитами потому, что и ту и другую трудно постичь одним только разумом, и еще потому, что в своем развитии обе идеи часто вырождаются, одна в религиозный фанатизм, а другая в «государственный национализм» или шовинизм. А между тем корень обеих идей лежит в психической природе человека и коллектива. Необходимо только делать резкое различие между национальным эгоизмом и национальным индивидуализмом, подобно тому, как мы делаем различие между религиозностью инквизитора и апостола. Дальше особенно выдвигается основной тезис, что чистый национализм есть коллективный индивидуализм и что нация имеет такое же право на свою индивидуальную свободу, как отдельная личность на свою. Тут и находился тот мост, по которому я сам перешел от миллевской доктрины абсолютной свободы личности к доктрине свободы коллектива. Другой основной тезис заключается в том, что в развитии национальности расовый и государственный моменты стоят ниже, чем духовные или культурно-исторические, и что еврейская «духовная нация» достигла этой высшей ступени развития, на которой она могла удержаться даже без шита территории и государства. Когда я через десять лет перерабатывал свои «Письма о еврействе» для издания отдельной книгой, я особенно радикально переделал это первое «письмо» с целью придать ему более научное обоснование (ср. первоначальный текст в «Восходе», 1897 г., кн. 11, и позднейший в отдельной книге, Петербург, 1907).

Второе мое «письмо», появившееся в январской книге «Восхода» 1898 г., вызвало особенно сильный интерес и у противников, и у сторонников. Там трактовалось о «еврействе как духовно-исторической нации среди политических наций» и был поставлен ребром вопрос об ассимиляции. Ассимиляцию я признал и теоретической ошибкой, и моральным дефектом, поскольку она прикрывает дезертирство из осажденного лагеря. Против сионистов и их лозунга «домой» я выдвинул историческое право еврейской диаспоры на европейскую почву, с которой она связана со времени образования европейских государств на развалинах бывшей Римской империи. Впервые был тут употреблен термин «национальные права», которые должны войти в формулу равноправия наравне с гражданскими правами. Но к концу статьи я подумал: какое впечатление должна произвести эта новая формула в России, где евреи лишены элементарных гражданских прав и даже свободы передвижения? И я предупредил этот вопрос со стороны читателей, напомнив им о примере Сократа, который перед своими судьями «дерзко» заявил, что по справедливости он должен быть «приговорен» к пожизненному содержанию в Пританеуме наравне со всеми заслуженными государственными людьми, оказавшими важные услуги отечеству. Тут следовала горячая речь в защиту наших «дерзких требований» с напоминанием, что ведь ныне на скамье подсудимых сидят вместо Сократа его судьи. Был дан лозунг одновременной борьбы за гражданские и национальные права в расчете на конечное торжество правового государства над полицейским. До сих пор не могу забыть, с каким волнением писались эти патетические речи. Тогда мой лозунг считался выдумкой теоретика, а через семь лет Союз для достижения равноправия евреев в России включил мою формулу в свою программу, а в 1919 г. ареопаг европейских держав в Париже признал права всех национальных меньшинств, в том числе и еврейского, и закрепил это признание в международных трактатах...

Усилившееся в обществе идейное брожение побудило некоторых представителей одесской интеллигенции устроить кружок для обмена мнений по современным вопросам. Пять человек сошлись для этой цели на совещание в начале декабря 1897 г.: М. Г. Моргулис, совмещавший в себе старые навыки ассимиляции с смутным национальным настроением; молодой Я. А. Сакер³¹⁰, сторонник того же идейного синкретизма в более ясной комбинации; Абрамович-Менделе, художественная натура, бунтующая против всякого закрепления мысли в формулах и программах; Ахад-Гаам, строго последовательный в своем направлении «духовного сионизма», и я, только что формулировавший основы «духовного национализма» в первых двух «Письмах о старом и новом еврействе». Все мы согласились, что необходимо нам собираться раз в неделю для обсуждения волнующих теперь общество вопросов и выяснить, возможно ли нам установить план совместной работы. Для легализации кружка мы назвали его Историко-литературной комиссией при Обществе просвещения. Мы действительно думали под фирмою Общества устраивать публичные лекции и издавать популярные книги. После ряда организационных заседаний, мы в январе 1898 г. приступили к «делу», точнее — к словопрениям. Каждую субботу вечером мы собирались в роскошном особняке председателя Общества просвещения, Г. Э. Вайнштейна, на Надеждинской улице. Мы сидели в большом кабинете в мягких креслах и за стаканами чая вели свои беседы. Моргулис был у нас председателем, а Сакер секретарем, который тщательно записывал наши прения. В каждом заседании ставился на обсуждение какой-нибудь вопрос: о национализме вообще и еврейском в частности, о политическом и культурном сионизме, о будущем иудаизма, о нашей современной литературе. При таком маленьком составе комиссии вопросы могли обсуждаться в образцовом порядке и выводы могли быть точно сформулированы. Но не все участники стремились к ясности. Ахад-Гаам, я и Сакер всегда строго держались рамок обсуждаемой проблемы, так что пункты расхождения между нами были ясны, но Моргулис и Абрамович вносили некоторый

беспорядок в дебаты: первый по свойственной ему туманности мысли в устной и письменной речи, второй вследствие своей страсти к импровизации.

Моргулис сначала как будто соглашался со мной в теории, но боялся практических выводов из нее, в особенности требования национальных прав. Абрамович ни с кем не соглашался, а тут же на месте создавал свои теории, каждый раз новую. Обыкновенно он сидел, подпирая голову рукой и морща высокий лоб, как будто внимательно слушая, а на самом деле следил за ходом своих собственных мыслей, вызванных обсуждаемым вопросом. В своем слове он брал не суть вопроса, а какую-либо его деталь, анализировал ее, углублял и превращал в самостоятельную проблему, не давая ответа по существу. Его импровизации и парадоксы были иногда умны, но из них, конечно, нельзя было делать никаких выводов. Абрамович даже недоумевал, когда от него требовали выводов: зачем выводы? Важен обмен мнений сам по себе, а выводы пусть каждый про себя делает. Это давало ему возможность в разных заседаниях развивать противоположные идеи, а когда его уличали в противоречии, он был недоволен. Бывало, Сакер читает протокол предыдущего заседания и все находят, что их слова более или менее точно записаны, один только Абрамович оспаривает точность: мог ли он помнить импровизацию? Прижатый к стене, он сердито говорил: разве я обязан каждую субботу держаться одного и того же мнения? Он сердился на меня за «педантизм», а я ему говорил: «Соломон Моисеевич, вы подражаете Господу Богу, о котором легенда говорит, что он непрерывно создает миры и разрушает их; вы создаете мирозерзерания и разрушаете их для того, чтобы вновь строить». У Я. А. Сакера хранилась книга протоколов наших собеседований, и если бы она уцелела после его смерти, потомство имело бы любопытный документ для характеристики эпохи.

Дебаты в нашем маленьком кружке, собиравшемся регулярно до весны 1898 г., были плодотворны для участников: они толкали мысль дальше, изощряли ее, углубляли. Мне и Ахад-Гааму эти беседы давали импульс для дальнейшего развития наших систем в литературе. Отголоски наших устных споров можно было услышать в появившихся одновременно наших статьях: в его статье «Три ступени» («Шалаш мадрегот») в журнале «Гашилоах» и в моем третьем «письме» («Духовный национализм и сионизм», «Восход», 1898, кн. 3—4). Ахад-Гаам считал мое требование «национальных прав» в диаспоре справедливым, но неосуществимым при современном строе национального государства, а потому полагал, что и я наконец приду к убеждению, что мы должны бороться за «единственное конкретное национальное право», данное нам историей: право на образование национального большинства или создание духовного центра на нашей исторической родине, в Палестине. На это я отвечал Ахад-Гааму позже, но в первую очередь счел нужным объясниться с политическими сионистами, которые тогда спорили со мною и устно и письменно по поводу предыдущих статей. Между прочим, я там привел свой устный ответ «одному из видных деятелей палестинофильской партии» (подразумевается М. Усышкин), который в шутку спросил меня, не обратился ли я уже в его веру. Ответ гласил: «Мне нет надобности быть палестинофилом для того, чтобы быть евреем». В таком же духе я ответил письменно на длинное послание из Киева от студента М. Лозинского³¹¹, секретаря д-ра Мандельштама по сионистским делам. Этот одаренный молодой человек, рано похищенный смертью, писал мне от имени кружка политических сионистов и, по-видимому, с ведома Мандельштама. Он выставил против моих тезисов ряд возражений и решительно заявил, что еврейская интеллигенция совершенно отпадет от народа, если она не проникнется идеями сионизма и идеалом «еврейского государства». Я ему ответил (и ответ затем напечатал в третьем «письме»), что поскольку наша шатающаяся интеллигенция ищет опоры в сионизме, мы не вправе ей мешать, ибо «нельзя отнимать палку у того, кто не твердо стоит на ногах», но по существу этот условный национализм таит в себе много опасностей в будущем: при первом разочаровании в новом поли-

тическом мессианстве отпадение от народа будет еще сильнее; нужно выждать, пока нынешние «язычники национальной идеи», не могущие мыслить существование народа без собственного государства, перейдут к ее высшей духовной форме. Мое третье «письмо» дало толчок к новой полемике в печати, частных письмах и устных дебатах. Между прочим, в моем архиве сохранились длинное письмо, подписанное «Давид Урьевич Гордон»³¹² из местечка Хацевато Подольской губернии. Если не ошибаюсь, это был впоследствии прославившийся идеолог партии трудовых сионистов («Гапоэль Гацаир») в Палестине, который раньше был служащим при сахарном заводе барона Гинцбурга в Подолии. В письме Гордон выразил горячее сочувствие к моей доктрине, но убеждал меня соединиться с вождями сионизма для превращения Базельского конгресса сионистов в Общееврейское национальное собрание.

Общественное оживление коснулось и еврейского студенчества в Одессе. Из моего прошлогоднего студенческого кружка большая часть ушла к политическим сионистам, а другие группировались вокруг Ахад-Гаама. Возникла потребность общения «отцов и детей» в интеллигенции. С декабря 1897 г. студенты стали устраивать ежегодно «маккавейские» или ханукальные вечера. В один из вечеров Хануки собирались несколько десятков студентов и слушательниц женских курсов, а нас, писателей и общественных деятелей, приглашали как почетных гостей. Помню теплую атмосферу этих собраний, где старшие любовались радостным возбуждением молодежи, а молодые жадно прислушивались к словам «учителей». Не скажу, чтобы идеал духовного общения двух поколений тут осуществлялся вполне. На деле «учителя» очень мало могли дать молодежи при разногласии в своей собственной среде, да и молодежь была разношерстная: были сионисты разных толков, националисты, социалисты и безразличные. И тем не менее была налицо видимость объединения. Во время позднего ужина были речи и тосты с обеих сторон. Первым обыкновенно говорил Абрамович, старейший из «старших». Говорил большей частью удачно, то есть образно и остроумно, но в его словах молодежь едва ли могла найти ответ на волнующие ее вопросы. Речь его много выиграла бы, если бы он говорил не по-русски, а по-еврейски, но тогда еще никто из представителей интеллигенции не решился бы публично говорить на «простом идиш», и даже сам творец литературного народного языка считал бы большой дерзостью то, что стало обычным явлением спустя каких-нибудь десять лет. Более содержательно говорил Ахад-Гаам, к словам которого особенно чутко прислушивались. Я говорил в своем духе, не выходя из пределов «ханукальной» речи. Бен-Ами по-своему громял ту интеллигенцию, перед которою говорил. Иногда, если не ошибаюсь, бывал у нас и Лилиенблюм. Моргулис и Сакер бывали, но редко говорили. Веселый А. Л. Левинский³¹³, писавший тогда фельетон в «Гашилоах», произносил фельетонную речь, которая всех сместила; он приглашал всех присутствующих, без различия возраста и пола, доказать свою любовь к еврейской нации особым вниманием к стоявшим на столе бутылкам палестинских вин фирмы «Кармель», представителем которой он был. Из других гостей ханукальных вечеринок помню тихого Равницкого и шумливого А. Э. Любарского³¹⁴, энергичного М. Я. Дизенгофа³¹⁵ (нынешнего мэра Тель-Авива) и поселившихся тогда в Одессе Бялика, Друнова³¹⁶, раввина Черновица³¹⁷. Из студентов помню впоследствии выдвинувшихся в общественной деятельности Шейнклина, д-ра Ландесмана³¹⁸, С. Б. Шапира³¹⁹. Был среди них и свой «анфан террибль», юный студент Коля Тэпер³²⁰, который тогда был пламенным политическим сионистом с социалистической окраской. Он был большой говорун во всех кружках молодежи. На одной из наших ханукальных вечеринок он вызвал целый скандал. Он произнес боевую речь с повторяющимся призывом: «Мы, сыны Маккавеев!», призывал к завоеванию Палестины, к борьбе с религиозным мессианством во имя политического и договорился до бар-кохбаской фразы: «Мы не нуждаемся в помощи Бога Израилева». Этим он возмутил многих

гостей, в особенности «дедушку» Абрамовича. Поднялся скандал, кончившийся тем, что Тэпера удалили из собрания. Позже этот юнец проделал необыкновенную карьеру: он был последовательно социалистом, революционером, террористом, анархистом в разных странах Европы и Америки, а после большевистской революции очутился опять в России, где блуждал между большевизмом и христианским сектантством. Везде он проявлял свой бурный темперамент и несомненно выдающиеся дарования. Его жизнеописание могло бы дать материал для интереснейшего социального романа.

Глава 34

Общественное и личное (1898)

Творческая работа не обеспечивает материально. Необходимость подсобной «полезности». Составление школьного «Учебника еврейской истории». Лавирование между требованиями науки, педагогики и цензуры. — Мой очерк философии еврейской истории в немецком переводе; Израиль Фридендер, мой брат по духу. Подземные толчки революционного движения. — Летний отдых в Полесье, на берегу Днепра. Жизнь на лоне природы, отрешенность от уместности и общезначимости, опрощение, физический труд. Сон в летнюю ночь. Пафос природы как дополнение к пафосу историзма. Зарождение эмоционального пантеизма. — Возвращение в Одессу и тоска разлуки с природой. Новая попытка пересмотра «Истории хасидизма»; новые вводные главы.

Среди нараставшей общественной волны мне все труднее становилось уходить под сень науки и жить уединенно, как прежде. Уже мои «Письма» вводили меня в круг идейной борьбы. С другой стороны, спокойной научной работе мешало старое горе: материальная необеспеченность. Надежда на доходы от издания популярной «Еврейской истории» не оправдалась: при всем успехе книги, сбыт ее дал мне возможность лишь кое-как прожить в годы составления ее, но не отдаться самостоятельной научной работе в следующие годы. Научная же работа, разумеется, не могла обеспечить меня даже прожиточным минимумом, а наоборот, требовала, чтобы я был обеспечен из другого источника. А писать по заказу для заработка я не мог. Мне предлагали писать ежемесячно пару статей по еврейскому вопросу для либеральной газеты «Одесские новости» и сулили приличный гонорар, но я отклонил выгодное предложение, не желая спуститься до уровня газетного сотрудника. В то время я строго различал между литературой и прессой — да простят мне мои друзья-журналисты этот старый предрассудок!.. Но тут вспомнил я дружеский совет, который давно дал мне Абрамович: «Напишите школьный учебник еврейской истории, и вы обеспечите себе возможность спокойно жить и заниматься научными исследованиями». Такой учебник был действительно нужен, так как в школах еврейская история преподавалась тогда по очень плохим руководствам, приспособленным к казенной программе преподавания «Закона Божия». Это могло оправдать меня перед собственной совестью, укорявшей меня за отступление от научного плана. Другим оправданием было то соображение, что стоит потратить некоторое время на такую «полезность» для того, чтобы получить потом возможность отдаваться любимой работе. Ведь если учебник будет ежегодно перепечатываться, он может обеспечить автору хотя бы половину его прожиточного минимума. И вот я решил приступить к составлению учебника, главным образом для учеников учебных заведений, а также для самообразования.

Тут представились немалые трудности с самого начала, при составлении древней, библейской истории. Надо было согласовать противоречивые требования науки, педагогики и цензуры. Наука требовала, чтобы и «священная история» была изложена в свете новейших исследований; педагогика не допускала разрушения по-

этических библейских легенд, имеющих и художественное и воспитательное значение, а цензура просто грозила репрессиями за всякие вольности. Пришлось сделать уступку педагогическим и цензурным требованиям. Первая часть, которую я назвал «Древнейшей историей», начиналась — увы! — с «сотворения мира», с вводным замечанием, что «священные книги евреев так описывают состояние мира и людей от возникновения жизни на земле». Более мелким шрифтом печатались «исторические выводы» из легендарных частей Библии, и тут же незаметно допускалась некоторая доза «науки». Все же изложение в целом было выдержано в духе светского прагматизма, в отличие от библейского религиозного прагматизма. В предисловии к книге я даже осмелился напомнить, что библейская история «является для евреев не только религиозною, но и национальною историей». Я полагал, что цензура пропустит книгу, где еретический прагматизм скрыт под оболочкою священных преданий. И действительно, когда я представил одесскому цензору первые, наиболее «опасные» главы рукописи, он меня успокоил заявлением, что они не попадут в духовную цензуру, а будут просмотрены в обычном порядке. Так была дозволена цензурою вся книжка, которая писалась зимою и весною 1898 г. с большим усердием, но без большого увлечения.

В марте я получил из Берлина только что напечатанный там немецкий перевод моего этюда «Что такое еврейская история»¹. Пятью годами раньше я похоронил этот этюд в книге «Восхода», а теперь он вышел отдельной книжкой в прекрасном переводе, сделанном молодым ученым, тогда только кончавшим Берлинский университет, Израилем Фридендером²¹. Я хочу тут отметить эту личность незнакомого друга, который впервые ввел меня в западноевропейскую литературу. Еще будучи студентом университета и Раввинской семинарии в Берлине, Фридендер стал переписываться со мною по поводу моих работ в «Восходе» (он был родом из Варшавы и читал свободно по-русски). Письма его свидетельствовали о зрелости мысли и о большой чуткости к проблемам истории и современности. В 1897 г. Фридендер мне сообщил, что перевел на немецкий язык мой этюд «Что такое еврейская история», читал перевод в кружках товарищей и убедился, что моя идеология производит впечатление на молодежь, а потому просит меня разрешить ему напечатать перевод. Я разрешил, и вот теперь передо мною лежала хорошо изданная книжка, снабженная очень лестным вступлением переводчика. Он характеризовал мой метод разработки истории и сочувственно цитировал из моих «Исторических сообщений» упомянутые выше горячие тирады против мертвой цеховой учености. Моя «лирика истории», очевидно, нашла отклик в душе молодого ориенталиста и теолога, который был втянут в национальное движение. Он тогда находился между двумя магнитами: Герцлем и Ахад-Гаамом. Когда появились мои первые «Письма о еврействе», он принялся за перевод их на немецкий язык и писал мне, что для западных евреев моя теория «духовной нации» более приемлема, чем идеология сионизма, даже духовного. Но мое третье «письмо», направленное против сионизма, заставило Фридендера вести со мною длинный письменный спор. По-видимому, партийные соображения помешали ему тогда, в разгар герцлизма, опубликовать перевод моих первых двух «писем», который был напечатан лишь через несколько лет. Он сообщал мне о моральном успехе моего исторического этюда, присылал отзывы немецких газет и журналов и, между прочим, передал мне личный привет от Морица Лацаруса²², который одобрительно отзывался о моем историческом синтезе. Вскоре я получил от Лацаруса подарок: только что вышедший том его «Этики иудаизма». Мне хотелось видеть в этом внимании старого вождя ассимилянтов поворот в его воззрениях; я тщательно искал и нашел кой-какие признаки национальной идеологии в его «Этике».

¹ Die Jüdische Geschichte. Ein geschichtsphilosophischer Versuch. Berlin, 1898.

На моем дальнейшем жизненном пути я имел частые сношения с Фридендером, но не личные, а только литературные и письменные. Двадцать лет переписывался со мною сначала берлинский студент, потом нью-йоркский профессор, переводчик моих книг на немецкий и потом на английский язык, и ни разу мы не встречались. Я только знал, что у меня есть где-то младший брат по духу, следящий за всем, что я печатаю, и откликающийся на это в письмах. А когда наконец настала возможность свидания после двадцатилетней литературной дружбы, Россия была в огне гражданской войны, и мой благородный друг попал в этот пожар и погиб. Мне еще придется рассказать о моих сношениях с Фридендером и его страшном конце.

Между тем как на поверхности общественной жизни шумели волны национального движения, снизу слышались подземные толчки революционного движения, которое возродилось в это время в России и охватило значительную часть еврейской молодежи. То было время формирования первых кадров Бунда и организации двух российских партий: социал-демократической и социал-революционной, куда массами вступали и еврейские революционеры. Агенты политической полиции стали хватать еще неопытных гимназистов, гимназисток, студенток и курсисток, вся вина которых заключалась обыкновенно в хранении или раздаче «нелегальной» литературы. Произведен был ряд арестов и в наименее революционной Одессе. Политические обыски и аресты были тогда еще новинкою в еврейской среде, и поэтому они наводили страх на все население. Однажды я получил из тюрьмы письмо от заключенной гимназистки, дочери моего знакомого из Гомеля Соломона Цейтлина (того самого, с которым я некогда сидел под арестом в Петербурге по вине авантюриста Александрова). Она просила прислать ей книги для чтения в одиночной камере. Выяснилось, что девушка была арестована в Екатеринославе, где училась в гимназии, и вместе с ней был арестован ее квартирохозяин, еврейский врач. Еще кое-кто из рядов близкой к нам молодежи был выхвачен охранкой. Тогда мы спрашивали себя: может ли эта муравьиная работа подкапывать крепость царизма и стоит ли ради недостижимой в настоящем цели приносить в жертву наших детей, политических младенцев? Скоро мы, однако, заметили, что замороженная Россия времен Александра III начинает оттаивать под влиянием подземных толчков. Это медленное таяние ледяного покрова длилось еще семь лет и привело к «политической весне» 1905 г.

В июне 1898 г. я закончил все работы по изданию первой части «Учебника еврейской истории». Настала очередь летнего отдыха. Не перенося одесского зноя, я мечтал о прохладных лесах моей северной родины. Такой уголок уже ждал меня. Мой друг Маркус Каган, живший теперь в Полесье, в усадьбе с лесопильнею близ города Речица, пригласил меня на лето погостить в его доме, и я охотно принял приглашение. Я выехал с своим десятилетним сыном Яшей из Одессы через Киев, и утром 2 июля мы уже были в Гомеле. Тут встречал меня на вокзале Цейтлин, чтобы узнать о судьбе арестованной дочери, о которой моя жена заботилась в Одессе. Около четырех часов дня мы приехали на речичкий вокзал и сели в коляску, которая везла нас в усадьбу Кагана.

Мы ехали по широкой «Екатерининской дороге», проложенной через лес в царствование Екатерины II и окаймленной с обеих сторон столетними березами, а затем по извилистой тропинке между спелыми колосьями ржаного поля. В этот момент выглянуло солнце, скрывавшееся перед тем за дождевыми тучами, озарило желтые верхушки колосьев и белые стволы берез. Дивная картина. Какая-то теплая волна прилила к сердцу, стало вдруг спокойно и радостно, словно в объятия матери упал вернувшийся блудный сын. Мы приближались к высокому берегу Днепра. Уже виднелись на берегу крыши лесопильного завода и окружающих его зданий, внизу широкая полоса реки под железнодорожным мостом, а параллельно поднимался могучий сосновый лес. Наша коляска въехала в большой двор, наполненный бревнами и штабелями распиленных досок с приятным запахом смолы, и подкатила

к деревянному дому, где жила семья Кагана. Хозяина и хозяйки в этот момент не оказалось дома, и нас встретила веселая гурьба детей с своей учительницей Верою Г. Она была ученицей зубоврачебной школы в Варшаве и здесь проводила летние каникулы, «на кондиции». Милая девушка напоила нас чаем. Мы разговорились. Кругом резвились дети, которыми судьба одарила моего друга в изобилии. Скоро вернулись хозяева. Пошли разговоры серьезные, литературные, но потом они сменились дачной болтовней, к которой так располагала обстановка. С этого момента началось мое горячо желанное «возвращение к природе».

Два месяца провел я в этом лесном уголке, и никогда еще не имел такого абсолютного отдыха, не был так далек от всякой умственности и общественности, как в этот короткий промежуток. Мой друг часто отлучался по делам, и я был один с лесом, полем, рекою, с доброю, патриархально гостеприимной хозяйкой Шифре-Басей, с детьми и их учительницей, а кругом видел только простых рабочих, «полещук». Каждый день ходил я в сосновый лес, который поднимался высокою стеною за примыкавшим к нашему двору ржаным полем. На меже поля и леса, где кончалась светлая тропинка между колосьями, начиналась темная лесная тропа, и вход в нее имел вид пасти огромного зеленого зверя. Я входил в эту пасть леса, как входят в полумрак святого храма, и шел среди колоннады сосен до крутого спуска к лугу, за которым сверкала под солнцем гладь реки. Вместе с культом природы возродился и мой идеал гармонии умственного и физического труда, для чего тут оказалась подходящая обстановка. Я работал в столярной мастерской при лесопильне, строил садовую скамейку, делал деревянную шкатулку для письменных принадлежностей. От большого усердия при обработке дерева я себе наделал много мозолей на руках, и Каган подтрунивал надо мною, говоря, что производство мозолей идет у меня успешнее, чем постройка садовой скамьи. Но я гордился своими «мозолистыми руками».

В те дни, когда «с природой одною я жизнью дышал», я замечал, что общественные дела волнуют меня гораздо меньше, события воспринимаются спокойнее, без обычной нервности. В то лето гремело дело Дрейфуса—Золя³²³, и все жадно набрасывались на ежедневно приходившую почту с газетами. Много шуму было еще вокруг второго конгресса сионистов в Базеле и фолькконференции в Варшаве. Даже до моего порога достигал прибой общественной волны: из Одессы мне пересылали письма и газетные статьи по поводу моих «Писем о еврействе», в кружках спорили о «дубновизме». А я воспринимал все это как что-то далекое.

Особую романтическую окраску придавало всей этой обстановке присутствие учительницы Веры, одной из тех тихих добрых девушек, которых Петрарки всех времен превращают в «небесных Лаур». Она читала мне вслух «Новь» Тургенева и другие произведения, памятные с ранней юности, а я ей декламировал поэму «Деутшланд» Гейне, и мы громко хохотали над его гениальным остроумием. Дивно хороши были наши прогулки по лесу, вдоль него по полевой меже, ведущей к вокзалу, или по ведущей в город широкой дороге между рядами старых берез. Тихо лилась бесконечная беседа, сливаясь с ароматными струями воздуха. По вечерам велись общие беседы на обширной веранде, и Маркус Каган иногда пел нам народные песни. Памятна мне одна песня, которую только он один мог хорошо исполнить. Это старинная молитва деревенского еврея на смешанном русско-польско-еврейском языке, обращенная к библейским предкам, мольба о помощи и о возвращении в Святую Землю:

Аврогомуню, дедушек ты наш! Яковуню, батька ты наш!

Мойжешуню, пастушек ты наш!

Чему же вы не просите, чему же вы не молитесь пана Бога за нас?

Чтоб нашу хатку выстроити, нашу землю выкупити, в нашу землю отводити, леарцену нас, леарцену нас (в нашу землю нас возвратити)?..

— *Ах ты, сынек, сынек, сынек, не печаль же свое сердце!*

Матка бендзе выкупиона, хатка бендзе выстройона...

Бондзь же мондри, чекай коньцу, внеймаф лфонов шифо хадшо:

*Галлелуиа!**

Каган пел это нарочито надорванным старческим голосом, с такой экспрессией, что трудно было удержаться и от слез, и от смеха, вызванных контрастом между трогательным содержанием молитвы и ее курьезной формой, между плаксивой мелодией вначале и веселым заключительным аккордом.

Помню вечер Тише-беав, когда я с Каганом и его семьей поехали в город для участия в синагогальном трауре. Я сидел в синагоге наравне со всеми на полу, читал «Эйха» и мою любимую элегию «Белел зе ивкаюн» («В эту ночь плачут и рыдают дети мои»). На другое утро мы устроили для детей траурную церемонию дома: я читал им некоторые трогательные «киног» в переводе, с историческими объяснениями, а затем мы спели с Каганом заключительную элегию «Эли Цион», которая по музыкальному ритму кажется мне лучшим произведением элегической литературы... А в поздний вечер того же дня я сидел на построенной мною скамье в саду на высоком берегу Днепра, смотрел на загадочный лик луны, плившей над рекою, и в душе вставало что-то новое, далекое от впечатлений траурного дня. Я чувствовал, что пафос природы становится рядом с пафосом истории...

Что случилось со мною в эту чарующую лунную ночь над Днепром? Нечто вроде того, что с рыцарем в пушкинской строфе:

Он имел одно виденье, непостижное уму,

И глубоко впечатленье в сердце врезалось ему...

Было ли это естественным восстанием против чрезмерного интеллектуализма? Или нечто более сложное: бунт подавленного индивидуализма против растущего увлечения общественными проблемами? На меня, конечно, не могла повлиять прошлогодняя проповедь нищезанца Зайчика о «сознательном эгоизме», но некоторый сдвиг в душе в сторону выравнивания и гармонизации жизни все же совершился. Совершилось и нечто большее, что повлияло на мое мирозерцание. Во мне отныне все более усиливается культ природы, пантеизм особого рода, который я назвал бы «эмоциональным». В нем я нашел примирение между двумя противоположными началами: горячим историзмом и холодным космизмом. То бессознательно-религиозное, что дает нам созерцание природы, в сочетании с сознательно-научным создает основу для более гармонического мирозерцания. Культ природы находит свое наилучшее выражение в лирической поэзии. Что такое чистая лирика, как не пение псалмов перед лицом Природы, молитва, обращенная к Целому, коего я составляю часть? Если из псалма 104 вынуть обращение к Творцу природы, останется обоженная природа, но отнюдь не в языческом, а в духовном смысле. Отсюда мое увлечение лирической поэзией, особенно лирикой Виктора Гюго, в которой преобладает религиозно-пантеистический элемент («Соп-templations» и др.).

Конечно, не один только «сон в летнюю ночь» навеял на меня все эти мысли. Было еще много летних ночей и лучезарных дней с дивными видениями в том тихом уголке Полесья, где я на два месяца совершенно стряхнул с себя пыль городской культуры. Я это отметил потому, что с тех пор усилился во мне тот комплекс Природы и Истории, пантеизма и историзма, который дал мне душевную опору на дальнейшем пути, среди усилившихся социальных бурь.

* Последние польские и еврейские выражения означают: «Мать будет выкуплена, дом будет построен. Будь же мудрым, жди конца, — тогда будем петь перед Ним (Богом) новый гимн: Галлелуиа (славьте Бога!)».

Когда я в конце августа 1898 г. расстался с моим лесным приютом и очутился в шумном кругу гомельских сионистов, возвращавшихся с Базельского конгресса (среди них особенно шумел восторженный доктор Г. Я. Брук³²⁴), я как бы споро-спрашивал себя: к чему весь этот шум? Вернувшись в Одессу, я ходил по ее улицам как выходец из иного мира, вращался среди друзей и знакомых, нося в душе тоску разлуки с летним видением. Кругом кипели партийные споры, и нужно было продолжать «Письма о еврействе», которые тогда волновали многих, развивать дальше свою систему. Но в этот момент не лежало у меня сердце к публицистике, и чтобы заглушить тоску, я прибегаю к сильному средству: взялся за переработку «Истории хасидизма» для издания в форме книги. Я надеялся на излечение по методу «симилия симилибус»: вытолкнуть тоску по любимой природе моим любимейшим трудом. Мой гомельский приятель С. Цейтлин, узнав о моем намерении, достал для меня заем в 500 рублей, чтобы покрыть первые типографские расходы. Я принялся за работу. За два месяца я успел радикально переделать только обширное введение, прибавив к нему главу под названием: «Социальная и духовная жизнь евреев в Польше XVIII века» (она была напечатана в «Восходе», 1899, кн. 1—2). Я там охарактеризовал хасидизм как учение, от которого «становится темнее в голове и светлее в сердце» (по гейневскому стиху из другой области), и чувствовал, что сам как будто нахожусь в таком «хасидском» состоянии. Я записывал тогда: «В идеале жизни не могу теперь отделять Мышление от Природы... Мой идеал — жить на лоне природы и делать ту работу, в которой вижу смысл жизни».

Но мне не суждено было достичь этой гармонии. Пришлось также оторваться от любимой работы. От возобновленного творческого труда пришлось опять перейти к «полезности». Мой учебник еврейской истории, который должен был в будущем обеспечить мне возможность спокойной научной работы, требовал внимания к себе. В октябре 1898 г. получилось из Петербурга извещение Министерства народного просвещения, что ученый комитет при министерстве постановил «допустить» первую часть моего учебника для употребления в еврейских и общих учебных заведениях. Предстояло оживление сбыта книги, но вместе с тем надо было торопиться с составлением второй части ее, выпуска которой требовали педагоги. За этой прозаической работой застало меня начало 1899 г.

Глава 35

В борьбе идейных течений (1899)

Отклики идеологической борьбы в нашей Историко-литературной комиссии. Перевод «Этики иудаизма» Лацаруса. Юбилей Ахад-Гаама. — 4-е «письмо» о еврействе: этика национализма. Poleмика с Нордау и Лиленблумом; объяснение с Ахад-Гааомом. Девизы трех течений: нация прошедшего, нация будущего и нация настоящего. — Второе лето в Полесье. «Из хроники мстиславской общины». — Перемены в русско-еврейской журналистике: новая редакция «Восхода», новый еженедельник «Будущность». Эволюция С. О. Грузенберга от ассимиляции до национализма. — Моя статья «О смене направлений в русско-еврейской журналистике» и чтение ее в одесском собрании; несостоявшаяся дискуссия. Раскол в Историко-литературной комиссии. — Дискуссионные вечера, приведшие к розни вместо объединения. — Атака со стороны ассимиляторов и политических сионистов. Сионистские памфлеты: литературные курьезы.

Борьба идей в обществе усиливалась по мере того, как все большие круги втягивались в сионистское движение. На еврейской улице стоял шум от сионистских кружков, конференций и конгрессов, а в литературе шли споры о политическом и

духовном сионизме, об ассимиляции и духовном национализме (о социализме не позволяла говорить цензура, а нелегальная литература Бунда была еще в зародыше). Продолжались беседы и в нашей одесской Историко-литературной комиссии при Обществе просвещения, но они уже потеряли интерес для участников, которые убедились, что друг друга не переубедят и что каждый останется при своем мнении. Отходя от теоретических споров, мы обсуждали планы практической культурной работы: публичных чтений, издания книг по разным отраслям еврейского знания. В ту пору мы стали готовить русский перевод «Этики иудаизма» Лацаруса, которая была одобрена всеми членами комиссии; один только Абрамович говорил, что он едва одолеет первую главу абстрактно изложенной книги и что у него от чтения ее лоб трещал. Мы в заседаниях читали в рукописи ряд глав русского перевода, сделанного Я. Сакером, и я опасался, что большинство читателей присоединится к мнению Абрамовича, ибо перевод был еще более тяжел, чем оригинал. Книга вышла позже под редакцией Моргулиса и Сакера, без участия прочих членов комиссии, которая к тому времени уже распалась.

Но в данный момент мы еще уживались мирно. Однажды (февраль 1899) мы дружно чествовали Ахад-Гаама в собрании, устроенном его друзьями по случаю десятилетия его литературной деятельности. Юбиляр сидел очень смущенный приветственными речами, и я в своем приветствии выразил ему сочувствие как «жертве публичного чествования». Он, однако, чувствовал, что его чествуют искренно не только друзья, но и противники; даже Моргулис и Сакер выдвинули его заслуги. Кто бы мог подумать, что через два года мы будем стоять друг против друга «вооруженными лагерями» в большом «культуркампфе»?..

Весною 1899 г., после годового перерыва в «Письмах о старом и новом еврействе», я почувствовал потребность вновь откликнуться на современную идейную борьбу. Главный толчок дала мне Дрейфусиада, породившая во Франции отвратительный «национализм» милитаристов и реакционеров. Торжество таких националистов в парламенте передовой республики Европы бросало тень на самую идею национализма. И я почувствовал, что наибольшая опасность в смысле этической оценки национальной идеи грозит тому направлению, которое развито в моих «Письмах», ибо оно не прикрывалось ни теорией «еврейского государства», ни знаменем Сиона вообще. Поэтому я решил посвятить четвертое «письмо» вопросу об «этике национализма» («Восход», кн. 5—6). Тут я провел параллель между религиозной и национальной идеей: религия была скомпрометирована в глазах прогрессивного общества после того, как она стала орудием в руках фанатиков церкви, инквизиторов и клерикалов, а национальная идея ныне компрометируется сторонниками государственного национализма и шовинизма. В своем же чистом виде и религиозный, и национальный принцип не имеют ничего общего с этими искажениями их сущности. Нельзя ставить на одну доску реформатора Гуса, сожженного за свою веру, и Торквемаду³²⁵, который жег других за их веру. Нельзя смешивать наступательный и оборонительный индивидуализм, национальный эгоизм и национальный индивидуализм, высшим выражением которого является идея «духовной нации». Формулу христианского гуманиста Владимира Соловьева³²⁶: «Люби все народности как свою собственную» я видоизменил так: уважай национальную личность всякого человека как свою собственную. Во второй половине «письма» я дал этическую оценку другим направлений в еврействе. Я отметил сервиллизм ассимиляторов, сделав исключение только для идеалистов ассимиляции вроде Риссера³²⁷, Гейгера³²⁸ и Лацаруса.

Главное острие моей критики было направлено против тех крайностей сионистской идеологии, до которых договорился в своих речах тогдашний властитель дум молодежи Макс Нордау³²⁹. Известный возглас Нордау: «Еврейство будет сионистично, или его не будет!» противоречил моему вышеприведенному афоризму: «Я не должен быть сионистом для того, чтобы быть евреем». Но больше всего возму-

тил меня тогда ответ Нордау одному националисту, который в журнале «Гашидоах» поставил ему такой вопрос: вы внушаете еврейской молодежи убеждение, что вне Сиона наш народ обречен на гибель, но этим вы ведь сами толкаете ее на путь отречения от народа после неудачи сионистской утопии, между тем как здоровое ядро восточного еврейства вовсе не думает о национальном самоубийстве и хочет бороться за свое национальное существование даже при тяжких условиях диаспоры. На это Нордау ответил резким письмом, в котором клеймил позором такую «рабскую» психологию людей, готовых по латинскому афоризму «ради самой жизни терять смысл жизни». В полное недоумение повергла меня заключительная фраза письма Нордау: что свободный человек должен «чувствовать отвращение к трусам (несионистам), которые цепляются за жизнь, лишённую чести и идеала», между тем как другие народы «дорожат своей жизнью только ради ее духовного и морального содержания». Выходило, что еврейская «духовная нация» должна брать урок духовности и моральности у политических наций, у которых есть высший смысл жизни. Я ответил новому пророку с необычайной страстностью и напомнил ему строфу Байрона в «Еврейских мелодиях»: «Будь я сердцем коварен, как ты говорил, от Сиона вдали я б теперь не бродил: мне лишь было отречься от веры отцов, чтоб стряхнуть с себя сразу проклятье веков». Тут я снова коснулся проблемы «свободы в рабстве», противопоставленной и сервилizmu ассимиляторов, и «внутренней ассимиляции» политических сионистов или «условных националистов», как я их называл.

В этом же «письме» мне пришлось полемизировать с отцом палестинофильства Лиленблумом, который резко критиковал мою доктрину в особой брошюре о противниках сионизма. Он меня укорял, что я в гораздо большей степени утопист, чем сторонники «еврейского государства», ибо может ли быть большая утопия, чем «надежда на то, что рассеянным повсюду евреям будет дано право на свободное внутреннее развитие в смысле национальной самобытности». Мне не стоило большого труда разбить доводы Лиленблума, а позже их разбила сама жизнь. Более мягко формулировал я свои разногласия с Ахад-Гааомом. В данном фазисе наш спор сводился к следующему: я проповедовал борьбу за «национальные права» в диаспоре, а он меня убеждал, что единственное национальное право, на которое евреи могут претендовать, есть право образовать национальный центр на своей исторической родине. И спор между нами шел о том, что более достижимо. Свое отношение к различным течениям в еврействе я резюмировал в краткой формуле: ассимиляторы видят в еврействе только нацию прошедшего, политические сионисты только нацию будущего, а духовные националисты сверх того и нацию настоящего.

Близилось лето 1899 г. Мой друг М. Г. Каган снова пригласил меня в Полесье на летний отдых, на сей раз со всей семьей. Во дворе своей усадьбы он выстроил небольшой домик, который на лето он предоставил в наше распоряжение. Измученный одесской жарой и еще не оправившись от тяжелого гриппа, я почувствовал «целительную силу природы», как только очутился среди родных лесов. Какие горячие молитвы звучали в душе на просторе полей, среди колоннады лесного храма, на высоком берегу Днепра! Я соблюдал весь ритуал культа природы, которому присягнул в верности минувшим летом в этих же «святых местах». Тут я слабее реагировал на доносившийся издалека общественный шум, на газетные новости, на споры вокруг моего нового «письма». Все лето прошло в «организованном бездельи», которое восстановило мои физические силы. В те каникулы я написал только одну вещь: «Из хроники мстиславской общины» («Восход», кн. 9), документированное описание «еврейского бунта» 1844 г., с которым у меня были связаны слышанные в детстве предания.

Однако надолго укрываться от общественного движения, хотя бы в глубине хвойного леса, было трудно. Из Петербурга доходили вести о переменах в русско-

еврейской журналистике. «Восход» перестал быть монополистом в этой области, и в самой его редакции произошли перемены. Прежний редактор-издатель А. Е. Ландау был болен и в последние годы проводил большую часть времени за границей. В редакции его заменял д-р С. О. Грузенберг, редактировавший недельную «Хронику Восхода». Ассимилятора Ландау смущали новые течения в еврейской общественности: сионизм, национальное движение вообще. Ведь в его собственной крепости автор «Писем о еврействе» вел подкоп под ее основы, и редакции пришлось в примечании ко второму «письму» отмежеваться от направления своего многолетнего сотрудника. Старое знамя ассимиляции держал еще соредатор Грузенберг. В 1896—1898 гг. он вел со мною обширную полемическую переписку, которую я опубликовал позже в извлечениях («Еврейская старина», 1914, с. 385—411). На мои советы позаботиться о реформе программы «Восхода» он отвечал с точки зрения закоренелого западника, что «еврейская история (как национальная) прекратилась с Бар-Кохбой, а далее идет история иудейства» (его выражение в одном письме). Когда появились мои первые «Письма», Грузенберг принял на свой счет мое замечание во вступлении о тех, которые гордятся «постоянством своих заблуждений» и девизом «семпер идем»; он сильно полемизировал со мной в письмах, отчаянно защищая старые позиции, но наконец ему пришлось сдать их. Весною 1899 г. я получил одновременно от Грузенберга и Л. М. Брамсона письма с извещением — первого о его уходе из редакции «Восхода», а второго о переходе журнала в другие руки. Оказалось, что Ландау продал свое право на издание кружку молодых сотрудников, среди которых были Брамсон, А. И. Браудо³⁵⁰, Ю. Д. Бруцкус, С. М. Гинзбург³⁵¹ и др. Новая редакция обещала реформировать журнал и просила меня об усиленном сотрудничестве. Грузенберг с горечью писал, что его обошли при составлении редакционной коллегии и что ему пришлось уйти. Летом, когда я был на даче, пришло от него торжественное извещение, что ему удалось получить от министерства разрешение на издание нового еженедельника «Будущность»³⁵², где ближайшее участие будут принимать Фруг, д-р Л. Каценельсон³⁵³, известный адвокат Оскар Грузенберг³⁵⁴ (брат издателя). С. О. Грузенберг и Фруг просили меня поддержать своим сотрудничеством их новое предприятие, причем мой недавний эпистолярный оппонент заявил, что «в общем мы проводим вашу программу духовного национализма, только без ее ярлыка»^{*}. Это слишком быстрое превращение Савла в Павла внушало мне некоторые сомнения, но я не мог отказать старым товарищам и обещал дать статью на тему дня: «О смене направлений в русско-еврейской журналистике» за сорок лет ее существования, от одесского «Рассвета» до нынешнего времени.

В октябре 1899 г. я писал эту статью с большим увлечением: ведь я сам был одним из строителей русско-еврейской литературы и играл некоторую роль в ответственности ее направлений. Я анализировал все направления в нашей периодической печати за сорок лет не только на русском, но и на еврейском языке. Я проследил тот путь, по которому идеалы «просвещения» и «равноправия» шли от элементарности к возрастающей сложности, пока они наконец завершились в гуманитарно-национальном синтезе. Была дана откровенная характеристика эволюции «Восхода»: указаны его заслуги как боевого органа в борьбе за право, как «последней цитадели, где укрепились зелоты нашего прогресса», но отмечен и факт, что в последние годы в этом журнале «под покровом общего направления перекрещивались разные идейные течения, вызванные неизбежным процессом дифференциации». Нелегко было только что ушедшим редакторам, Ландау и Грузенбергу, выслушивать от меня такие слова: «Знамя умеренной ассимиляции, развевавшееся на редакционных статьях, было уже истрепано... Оно развевалось на позиции, покинутой бойцами, а рядом с ним поднимался новый стяг, знаменующий

* См. вторую серию писем С. О. Грузенберга (с 1899 г.) в «Еврейской старине» 1915 г., с. 367 и сл.

поворот в сторону прогрессивно-национального направления». Я выразил надежду, что в обновленном «Восходе» наконец установится «духовно-национальное направление, чуждое партийных крайностей».

Эти места в моей статье очень огорчили Грузенберга как бывшего соредактора «Восхода» и как нынешнего редактора «Будущности», которая по соображениям конкуренции претендовала на монополию национального органа. Он и секретарь редакции Фруг убеждали меня в письмах согласиться на исключение неприятных для них строк, но я отказал, объяснив, что в споре двух изданий останусь совершенно нейтральным и буду ценить их только по их идейному направлению. Моя статья была напечатана целиком в первых номерах «Будущности», появившихся в конце 1899 г., и должна была служить как бы прогнозом для дальнейшего развития нашей журналистики, в частности «Будущности». Новый еженедельник, однако, не оправдал возлагавшихся на него надежд. В своей публицистике он колебался между различными течениями, а в литературной части был бесцветен, так как кроме Фруга там не было выдающихся сотрудников, да и Фруг скоро ушел из редакции. Грузенбергу пришлось позже предоставить свой орган в распоряжение сионистов, своих бывших противников, но и это не спасло журнал от медленного угасания. Он не мог конкурировать с «Восходом», где работала большая группа демократов, националистов и часть сионистов, располагавших лучшими литературными силами в обоих изданиях, еженедельном и ежемесечном.

Еще до напечатания моей статьи в «Будущности» я, по предложению нашей Историко-литературной комиссии при Обществе просвещения, прочел ее в большом собрании в виде публичной лекции. В обширном зале новой квартиры Г. Э. Вайнштейна на Приморском бульваре, рядом с домом генерал-губернатора, собралось много публики из одесского бомонда и интеллигенции. Я читал с большим подъемом и, видимо, произвел впечатление и на сторонников, и на противников. Чем-то вроде исповеди поколения прозвучали слова об искании путей в литературе после катастрофы 1881 г., когда массы были охвачены идеей «перемещения центра» в Палестину или Америку: «Но оставались еще многие в рядах нашей интеллигенции, которые не могли с легким сердцем бросить тонущий корабль и еще долго оставались в нем, надеясь спасти его от крушения. Они еще долго боролись за прежние идеалы, выкрикивали прежние лозунги под шум бушевавшей кругом стихии, но в этих лозунгах звучали порою новые ноты... Еврейская национальная идея, родившаяся на мостовой разгромленной улицы, была очищена и возвращена в этих сосредоточенных умах, которые вынесли одну из самых жестоких бурь, когда-либо свирепствовавших в нашей тревожной исторической жизни». Ко мне доносились сочувственные вздохи из некоторых рядов слушателей, но также ропот из других рядов. По окончании чтения начались волнения. Оскорбленные в своих лучших чувствах ассимиляторы потребовали от председателя Моргулиса, чтобы он открыл дебаты, но Моргулис и другие члены комитета воспротивились этому, опасаясь неприятностей со стороны полиции, которая допустила чтение только для членов Общества просвещения, между тем как тут было больше посторонней публики и студентов. Особенно волновался, требуя дискуссии, И. М. Бикерман¹³⁵, тогда еще бородачатый студент, вышедший из низов подольского мещанства, но считавший для себя долгом чести помогать ассимилированным верхам в борьбе за «приобщение к русской культуре». Сионисты готовились дать отпор, и предвиделись сильные схватки. Это еще более укрепило комитет в решении не допускать дискуссии, которую желал и сам лектор. Моргулис объявил, что за поздним временем дебаты откладываются на другой вечер.

Когда вслед за тем обсуждали инцидент в нашей Историко-литературной комиссии, наши разногласия выступили особенно выпукло. Моргулис и Сакер были на стороне антинациональной оппозиции, Ахад-Гаам отсутствовал (он тогда уехал в Палестину по поручению одесского Палестинского комитета), а Абрамович сер-

дился на меня и на оппозицию за то, что мы выносим на улицу наши внутренние споры, в которых он по своему обыкновению не видел ничего, кроме идеологических упражнений. Он говорил о себе: я не ассимилятор и не националист, а просто еврей («глат а ид»); и все доводы мои, что в такую эпоху общественной дифференциации необходимо стать на ту либо на другую сторону, не могли сдвинуть его с этой нейтральной позиции. В это время мои споры с ним часто доходили до резкости.

Ввиду пробудившегося в обществе интереса к нашим спорам, Моргулис и Сакер предложили устраивать дискуссионные вечера в частных квартирах. Я согласился, но Абрамович отказался от участия в публичных прениях не только по упомянутым мотивам, но и ввиду своего официального положения заведующего еврейским училищем. В конце 1899 г. я выступал в двух дискуссионных собраниях. «В первом столкнулся с туманными теориями Моргулиса, а во втором с антинациональными доводами» — так записано в моем дневнике под 31 декабря. Помнится особенно резкое выступление Бикермана, который договаривал то, что стеснялись сказать его покровители из высшего общества. Он развивал идею откровенной русификации, «русского народничества» и с возмущением цитировал из моей лекции о журналистике следующую фразу: «Было время, когда еврейский юноша и еврейская девушка, никогда деревни не выдавшие, проливали слезы над строфами Некрасова о тяжелой доле русского крестьянина, не замечая гораздо худших страданий своего брата, живущего впроголодь, унижаемого и гонимого еврейского труженика, рабочего, ремесленника, мелкого торговца». Мой оппонент, который тогда сам находился в элементарной стадии русского народничества, был оскорблен в своих патриотических чувствах и разразился филиппикой против сионистов, националистов и всех обособляющихся от русской культуры. Через пару лет Бикерман повторил все эти доводы в шумевшей статье против сионизма в «Русском богатстве», где немало досталось и автору «Писем о старом и новом еврействе». Репутация крикуна в собраниях и в литературе уже тогда прочно установилась за этим даровитым, но несдержанным человеком, который позже докатился до лагеря правых русских патриотов, исповедующих юдофобию как догму веры.

При таких условиях из попыток «объединения интеллигенции» ничего не могло выйти. Все эти дискуссии показали мне, как глубоко еще коренятся в обществе ассимиляционные тенденции. Это побудило меня вскоре примкнуть к организации национальных групп, объединившихся для борьбы с ассимиляторами, к так называемому Комитету национализации, о чем расскажу дальше.

Отражая с одной стороны атаки ассимиляторов, я должен был с другой выдерживать атаки политических сионистов, получивших тогда гегемонию на еврейской улице. После моего генерального сражения с Нордау и другими вождями партии в упомянутом 4-м «письме» я считал излишним продолжать полемику. Исключение я сделал для одной курьезной книжки, о которой упомяну здесь только ради ее анекдотического содержания. Мой бывший квартирохозяин в Петербурге М. Александров, авантюра которого в 1880 г. стоила жильцам нескольких дней тюремного заключения, после многих приключений появился в Одессе и тут примазался к сионистам. Он напечатал безграмотную книжку под заглавием «Патриотизм антисионистов», где подверг «разбору» мои первые «Письма о еврействе» и доказывал возможность переместить в Палестину в короткое время всех русских евреев. Эту книжку счел нужным распространять сионистский «агитационный центр» для ослабления «опасного» влияния моих статей. Я не стал бы отвечать на такую «нелитературную критику», как я ее назвал, если бы автор не заполнил ее массой извращенных цитат из моих «Писем». В полном неведении литературных обычаев Александров излагал мои мнения своими словами, большей частью с нарушением правил грамматики и стилистики, и эти свои фразы включал в кавычки как подлинные выражения критикуемого автора. Я поэтому счел нужным поместить в «Вос-

ходе» (1899, кн. 12) заметку, где были сопоставлены мои тезисы и фальшивые цитаты из них. Припертый к стене авантюрист ответил позже грубым памфлетом, где старался доказать вредность не только моей публицистики, но и моих исторических трудов («Серьезный вопрос». Одесса, 1902).

Из направленных против моих «Писем» памфлетов помню еще одну хотя более грамотную, но крайне бесполовую книжку некоего д-ра Д. Гордона («Медвежья услуга». Белгород, 1900), которого можно было причислить к разряду истерических сионистов, ибо возражения его состояли сплошь из истерических выкриков. Между прочим, он назвал мою критику взглядов Пинскера «богохульством», ибо пинскеровскую «Автоэмансипацию» «нельзя критиковать: ее надо только изучать и комментировать». На все эти больные выходки я, разумеется, не откликнулся. Должен, однако, отметить, что большинство моих оппонентов, статьи которых появлялись в периодических изданиях, принадлежали к литературному лагерю и в своей полемике соблюдали литературные приличия.

Глава 36

Между русско-еврейской и общееврейской историй (1900)

Снова от публицистики к истории. — Историко-этнографическая комиссия в Петербурге и первый том «Регест»; исповедь молодой интеллигенции. — Моя широко задуманная, но лишь частично выполненная серия очерков по истории еврейской культуры в Польше: «Внутренняя жизнь евреев в Польше и Литве в XVI веке». — Второй фазис работ по общееврейской истории: «Всеобщая история евреев». Библейская критика и научные открытия. Попытка внести их контрабандой в «священную историю». Цензурная стратегия. Мечты и работа в одесском парке. — Третье лето в Полесье: труд и городское настроение. Лесные беседы с Ахад-Гаамом. Нарушенный обет свидания с Шалом-Алейхемом. Моя 15-летняя поэтесса и «тайный зов природы». — Осень в Одессе: издательские заботы, нужда. Усиленная иммиграция экстернов и заботы о них. — Наш тесный кружок вокруг Абрамовича. Единственные стихи Ахад-Гаама. Выпуск 1-го полутома «Всеобщей истории евреев».

К концу «публицистического» 1899 г. я почувствовал новую тягу к исторической работе. Собираание материалов для истории русских евреев шло непрерывно, множились мои заметки в регистрационном томе «Хронологии», а времени для разработки накопленного материала не было. В это время я получил из Петербурга от Историко-этнографической комиссии только что изданный ею первый том «Регест и надписей», плод многолетней работы, сделанной по плану, предложенному мною петербургской группе Бермана и Винавера еще в 1891 г. (В. А. Берман тем временем умер от туберкулеза в Каире в 1896 г.). В своем сопроводительном письме (15 декабря 1899) руководитель комиссии Винавер писал мне: «С особенно отрадным чувством посылаю Вам I том наших „Регест“: это была ведь Ваша мечта. Перечитываю опять Вашу брошюру („Об изучении истории“, 1891) и радуюсь, что нам удалось хоть что-нибудь сделать». Оказалось, что сделано не «что-нибудь», а нечто весьма крупное в смысле подготовительной работы: собраны и расположены в хронологическом порядке извлечения из касающихся евреев актов, надписей и летописей, разбросанных в сотнях старых и новых русских книг, большею частью специальных и редких. Большой первый том заключал свыше тысячи регест, доведенных до середины XVII в., и готовились еще новые тома с обильными документами. Над этим работала группа молодой петербургской интеллигенции под руководством Винавера, А. А. Сева³³⁶, М. Г. Сыркина³³⁷ и А. Г. Горнфельда³³⁸, известного критика в журнале «Русское богатство». Среди названных в книге членов комиссии я нашел еще ряд имен, выдвинувшихся в еврейской литературе и по-

литической жизни: Л. М. Брамсон, Ю. Д. Бруцкус, археолог С. М. Гольдштейн³³⁹, М. Л. Тривус (Шми)³⁴⁰, И. Тувим³⁴¹, библиограф С. Винер. С умилением читал я исповедь молодых составителей сборника «Регест» в предисловии к нему о том, как повлияла на них многолетняя собирательная работа: «Из всех этих источников хлынули на нас факты, картины, идеи — новый богатый мир родной старины раскрылся перед нашими глазами. Чтение сухих документов, ознакомление с самыми повседневными явлениями возымели на нас то же действие, что для Антея прикосновение к матери-земле. Прошедшее сплелось с настоящим, в старом мы увидели новое, в новом старое, и жизнь во всей ее яркости, многообразии и жестокой непосредственности охватила нас со всех сторон. Мы ушли по горло во все ее мелочи и изгибы, но вышли оттуда мы, перед тем еще хмурые и вялые, крепкими, ясными. Мы обрели ту устойчивость, которая придает жизни неисчерпаемую ценность. Снова заговорил разум, снова зацвели надежды». Я был потому тронут этими признаниями, что они оправдали мой давнишний призыв к интеллигенции приобщиться к народу через изучение истории; я почувствовал рост новой народной интеллигенции, с которой мне суждено будет вскоре вместе работать и в литературе, и в общественных движениях.

Тем более укоряла меня совесть, что я сам отвлекаюсь от главного дела моей жизни, разработки истории русских евреев, в особенности по тем ее источникам, которые большинству моих младших товарищей были недоступны. Ведь уже давно прекратились в «Восходе» мои «Исторические сообщения», и все реже появлялись мои специальные монографии. И вот я задумал одну большую монографию: «Внутренняя жизнь евреев в Польше и Литве в XVI веке». Я хотел дать на основании первоисточников (раввинских респонсов и проповедей, общинных Пинкосим и т. п.) картину еврейского быта в век наибольшего расцвета польско-литовского центра. План был рассчитан на ряд глав: воспитание и обучение, домашний и семейный быт, религиозный быт, общинный строй, социально-экономическая жизнь, разговорный язык, нравы и обычаи. Эти главы статички одного столетия должны были войти как составная часть в соответствующий том полной истории русских евреев, составляя одно целое с динамическими главами. Зима 1900 г. прошла у меня в этой работе. Помню те зимние дни и вечера, когда я, обложенный фолиантами раввинской литературы, извлекал из запутанной казуистики «Шаалот утешубот» и из синагогальных проповедей крупицы правды о былой жизни. Успел я написать только две главы: о школьном воспитании и о домашнем быте (напечатаны в «Восходе», 1900, кн. 2, 4). Мне пришлось прервать эту монографию, ибо на очереди стояли другие неотложные работы. Я надеялся скоро вернуться к ней, но эта надежда не осуществилась. Лишь через девять лет мне удалось написать и напечатать главу о разговорном языке польско-русских евреев («Еврейская старина», 1909), а еще через пять лет упомянутые первые главы вошли в состав уже не моего, а коллективного труда по истории евреев, предпринятого московским издательством «Мир»³⁴².

От еврейской истории в Восточной Европе отвлекала меня опять ее соперница, общееврейская история. В это время разошлось все издание моего первого курса еврейской истории под фирмой Бека и Бранна. За четыре года распространилось 3600 экземпляров двухтомной книги, а требования на нее все еще продолжали поступать. Так как я не был удовлетворен первым изданием с его авторскими «псевдонимами» и компилятивным характером, я решил новое издание приблизить к первоисточникам и расширить до трех томов. Прежде всего я счел нужным прибавить то, что из цензурных опасений было опущено в первом издании: библейский период, и дать его в новейшем научном освещении. В те годы начался расцвет свободной библейской науки в Германии. После трудов критической школы Штаде и Вельгаузена появился ряд исследований на основании вновь открытых памятников Древнего Востока. Глиняные плитки Тель-Амарны воскресили перед нами легендарные фигуры мелких ханаанских царей, которые бежали перед нашествием «ха-

бири», кочующих сынов Израиля, и посылали алармистские письма своим египетским суверенам. Все более дешифрировались ассирийские клипописи, превращавшие многое из библейской легенды в живую реальность. Был канун открытия Кодекса Хаммураби. Свет науки разливался в полутемной области древних сказаний. Хотелось бы при помощи этих новых орудий реставрировать здание библейской истории, но поневоле приходилось сдерживаться, чтобы не попасть в когти русской церковной цензуры (с которой, вероятно, дружески сошлась бы синагогальная цензура) и не дать ей материала для нового аутодафе.

Я решил составить и сдать в цензуру рукопись первого отдела в виде пробы: если пропустят, буду продолжать. Тут я употребил все свое стратегическое искусство для обхода неприятеля. В изложении особенно опасного со стороны цензуры «доисторического периода» (патриархов и Моисея) я комбинировал элементы библейских преданий и научных выводов так, чтобы нетеологу не бросалось в глаза различие между этими двумя элементами, но я заранее решил после разрешения рукописи цензором набирать ее в типографии двумя шрифтами: научный текст крупным шрифтом, а предания мелким, как сокращенные библейские цитаты. Сами названия глав должны были дать внимательному читателю возможность различать предание и научный вывод, например: «Доисторический период», «Предания семитов и евреев о временах первобытных», «Предания о времени патриархов» и т. п. Все это очень осложнило работу.

В своем дневнике нахожу такую запись под 6 апреля: «Писал усиленно, в последних градусах утомления, касаясь „опаснейших“ мест библейской истории, а мозг все сверлила мысль: а что, если цензор все это похерит или отправит в духовную цензуру и тем погубит все издание? Эти опасения не сбылись. 29 марта, дописав до конца второй отдела (до эпохи царей), я отнес рукопись в цензуру, а на другой день имел объяснение с цензором Федоровым. Он обещал мне, ввиду строго научного характера моего труда и высокой его цены (книги многотомные с высокой ценой, недоступной для бедного покупателя, тогда легче пропускались цензурой), пропустить написанное целиком и даже на днях подписать разрешение. Вчера я получил рукопись из цензуры целою и невредимою. Теперь мой труд с этой стороны обеспечен». Это был один из дней Пасхи, и я отметил: «Давно уже не переживал я такую светлую Пасху».

Каковы были мои планы, видно из более ранней февральской записи того же года: «Сегодня, сидя в парке на солнышке с Идой, я грезил о будущей деятельности. Вот мои мечты. В 1900—1901 гг. издать переработанную „Всеобщую историю евреев“ (в трех томах), в 1902 г. „Историю хасидизма“, в 1903—1904 гг. собрание моих критических статей, в 1905 г. избранные исторические монографии, а в 1906 г., когда исполнится 25 лет моей литературной деятельности, приступить к „Истории русских евреев“. Последнему труду должно быть посвящено второе 25-летие моей деятельности. В том же 1906 г. мы поселимся в каком-нибудь уголке Полесья, в домике с садом и огородом. Там я буду полдня заниматься своим историческим трудом, а полдня физической работой и сельским хозяйством. Прожить остаток жизни с Природой и Историей, на ниве Божьей и на высях творчества — вот единственное мое желание». Этим мечтам частью не суждено было сбыться вовсе, а частью они сбылись в совершенно иных формах.

Бодрая работа пошла весною. В миниатюре я соединял «историю и природу». Каждое утро, в теплые дни, я уходил в ближний приморский парк, забирая с собою пару томов источников для просмотра и отметок. Там я взбирался на обсаженный кипарисовыми кустами холм с колонною-памятником Александру II, садился на скамью с видом на расстилающуюся внизу море и читал источники с карандашом в руке. Сколько хороших мыслей и ясных исторических образов являлось в эти часы между голубым небом, темной водой Понта Эвксинского и седой древностью Востока! Многие мысли я тут же записывал и, придя домой, писал со-

ответствующий параграф книги. Так проработал я всю весну, успев сделать только половину библейской эпохи. Другую половину пришлось уже писать в нашем летнем гнезде в Полесье, куда снова звал нашу семью неизменный друг М. Г. Каган.

25 мая мы снялись с места и всей семьей двинулись в Полесье. Вагон железной дороги, каюта парохода по Днепру — и через два дня перед нами лесопильня на высоком берегу реки, и наша изба среди пахнущих смолой досок, и ласковые лица наших летних хозяев с их шумной семьей. В это лето наша дачная колония разрослась. Вслед за нами приехал на летний отдых Ахад-Гаам с старшей дочерью. Он тогда вернулся из своей палестинской экспедиции совершенно изнуренный, с разбитыми нервами, и мы вместе с Каганом уговорили его поселиться на лето в нашем лесном уголке для поправки здоровья. Таким образом, мы имели здесь маленькую колонию, которая вносила городской дух в нашу сельскую идиллию. Да и сам я в это лето пришел сюда не только для отдыха, но и для продолжения городской работы. Проза теперь господствовала над поэзией. Ахад-Гаам, хотя провел юность в деревне, в украинском имении своего отца, не разделял моего культа природы и порою даже подтрунивал над ним. Мы жили в Одессе в одном районе, но я почти никогда не встречал его в парке или на берегу моря: в те часы, когда я уходил туда, он отправлялся в центр города, в большое кафе, где получались иностранные газеты. Теперь в часы дачных прогулок, часто с Каганом, мы вели совершенно городские разговоры о личных и общественных делах, о перипетиях сионистского движения. Были и беседы об исторических и философских проблемах. В общих философских воззрениях мы большею частью сходились с Ахад-Гаамом, так как оба были эволюционистами английской школы и к явлениям общественной жизни применяли этический критерий. Спорили мы только об идеале этической культуры: я находил его в приближении к природе и опрошении жизни, а он видел возможность самоусовершенствования в шуме городов и общественных движений. На лоне природы мы избегали только затрагивать наш литературный спор о национальной идеологии. Охотно делился я с Ахад-Гаамом своими мыслями по библейской критике, которые приходили мне в голову во время работы, и очень дорожил его мнением о той или другой научной гипотезе.

А работал я в то лето усердно. С утра садился у примитивного письменного стола в нашей избе и писал до полуденной прогулки. Под низким окном во дворе резвились дети Кагана и наши, лезли ко мне на подоконник и норовили втянуть меня в игру; чуяли они, что я не прочь пошалить, — но я стойко выдерживал их натиск и отгонял всю эту шумную ораву. Особенно доставалось младшей девочке Кагана, чернушке Ханке (ныне госпожа Руппин в Иерусалиме), которой не нравилось, что я уделяю истории больше внимания, чем ей: она атаковывала меня со всех сторон, но ей приходилось вылетать бомбой через дверь или окно, откуда она ловко совершала свои налеты. Под эту музыку, но также под дивные мелодии леса писал я об эпохе пророков и о древней культуре. Зато в предвечерние часы мы все, вместе с детской армией шагали по лесам и полям и исполняли все заповеди дачной жизни. Гуляли мы по широкому «шляху», ведущему в Речицу, и однажды, в вечер Тише-беав, всей колонией вступили в синагогу. Снова, как два года назад, сидел я на полу в синагоге, рядом с Каганом, Ахад-Гаамом и детьми и повторял с хором молящихся траурные строфы «Эйха». Весть об этом распространилась по всей округе и поддерживала в народе прежнюю легенду о моем публичном покаянии (один такой нелепый слух дошел до Абрамовича).

В эти траурные дни минуло ровно десять лет со времени моего первого свидания с Шалом-Алейхемом в Боярке, под Киевом. Еще весной он напомнил мне в письме о нашем тогдашнем уговоре непременно свидеться через десять лет, «в начале XX века». Он обещал приехать летом в Речицу на днепровском пароходе и в своем письме набросал шутливую «программу празднеств по случаю торжественной встречи двух еврейских писателей». Теперь я и Каган послали Шалом-Алей-

хему «торжественное» приглашение пожаловать к нам, но, к сожалению, он не мог приехать: сначала ему помешало мелководье в Днепре, а потом семейные обстоятельства. Он тогда переживал трудное время, полное материальных забот, которые отвлекали его даже от литературы. Он меня просил заехать к нему в Киев на обратном пути из Полесья в Одессу, но я не помню, состоялось ли это свидание. Поэтический замысел 1890 г. осуществился лишь через несколько лет в очень прозаической обстановке.

Во второй половине августа закончил я первую часть древнейшей истории, до вавилонского плена, и решил издать ее в виде I-го полутома «Всеобщей истории евреев». Наша дачная колония стала редеть; уехал Ахад-Гаам с дочерью. Моя семья осталась до сентября, и последние дня в Полесье были посвящены отдыху. В воцарившейся тишине снова слышались заглушенные раньше человеческим говором звуки природы. В моем культе природы я имел одну единовверку, свою 15-летнюю дочку Софию. Уже давно я с ней делил поэтические восторги при совместном чтении русских и иностранных лириков. В свободные вечерние часы моя мечтательная белокурая девочка приходила ко мне с просьбой «почитать стихочки», и мы целыми вечерами декламировали Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, Некрасова, Майкова, Алексея Толстого, Полонского, Надсона, Фруга, Виктор Гюго, Гейне и множество других поэтов. Один день в году, праздник ее рождения, целиком посвящался этой совместной поэтической литургии. Ей дарили в такие дни кучи поэтических произведений, которые она начинала тут же глотать. Соня сама продолжала писать стихи, в которых теперь замечалась большая зрелость творчества. Пребывание в Полесье сильно повлияло на ее лирический талант. В наших одиноких прогулках по лесу, полю и берегу реки моя юная поэтесса иногда складывала гармонические строфы и, придя домой, набрасывала их на бумагу. Мы потом вместе исправляли эти стихи и декламировали их в часы прогулок. Привожу здесь одно из этих стихотворений, особенно дорогое мне потому, что в нем отразились и наш летний пейзаж, и культ природы, овладевший душой отца и дочери в пору их духовного родства:

*Ты говорил ли с лесом в час утренней зари,
Когда туман клубился над озером вдали
И, зелень одевая как сетью золотой,
Светило дня вставало над ширью луговой?
Ты помнишь: смутный шорох, протяжный вздох листвы,
Брильянтовые змейки на бархате травы,
И на троне росистой игру живых теней,
И напротивиков говор у дремлющих корней,
И шум вершин зеленых, их отблеск заревой, —
Звук первый пробужденья, последний вздох ночной...
Беседовал ты с полем в заката тихий час,
Когда над зыбкой нивой последний отблеск гас,
И тучки догорали в лазурной вышине,
И трав благоуханье стирнулось в тишине?
Подслушал ли над узкой краснеющей межой
Берез двух, стражей поля, беседу меж собой,
И гул веселый стада, бредущего домой,
Овеянного пыли волною золотой?
Ты помнишь: звон далекий за дремлющим селом,
Дымок овина серый на небе голубом,
И за опушкой мгlistой протяжный птицы зов,
И отзвук отдаленный проезжих бубенцов.*

*Шептался ль ты с рекою в час ночи голубой,
 Когда струя лепечет, облитая луной,
 Вся в блестках серебристых, во власти чар ночных,
 Таинственные речи средь зарослей густых?
 Ты помнишь: звук свирели с далекого бузга,
 Трепещущее пламя прибрежного костра,
 Белеющие хаты уснувшего села,
 И мельницы забытой два черные крыла,
 И утлый челн рыбацкий на лоне водяном,
 И ропот вольной струйки под режущим веслом...
 Внимал ты смутный шепот прибрежных камышей,
 Плеск рыбки серебристой средь дремлющих зыбей,
 И полный грусти голос кукушки за рекой?
 И тайный зов природы постиг ли ты душой?*

«Тайный зов природы» услышали мы оба, утомленный жизнью отец и в блеске жизненной весны дочь, и мы горячо молились ей в ее храме, между лесом, полем и рекой, вопрошая друг друга: ты помнишь, помнишь?..

В лихорадочной работе прошла следующая осень в Одессе. Когда я вернулся туда, меня обступили издательские заботы. Нужно было перепечатать первую часть учебника, так как первое издание (5000 экз.) все разошлось и не хватало книг в школах для начала учебного года. При всей спешности перепечатки, я не удержался от пересмотра текста и внесения существенных поправок, в смысле большего приспособления к педагогическим требованиям, что привело потом к «одобрению» этой части учебника для школ ученым комитетом Мишистерства просвещения, вместо прежнего «допущения» (в этом мне помог барон Давид Гинцбург, бывший членом ученого комитета). Но главная забота была теперь об издании 1-го полутома «Всеобщей истории евреев». Объявленная в газетах подписка на трехтомное издание шла так туго, что не могла бы покрыть и части типографских расходов. Пришлось в кредит покупать бумагу и печатать в большой типографии Левенсопа. Сложную работу я продельвал в корректуре: я много переделывал, дополнял, шлифовал стиль. Немало было внесено дополнений, рискованных в цензурном смысле, и все время преследовала меня мысль, не заметит ли цензор этих вставок при контроле после выхода книги. Желая выпустить книгу до конца года, согласно объявлению в газетах, я работал «с раннего утра до позднего вечера» (запись в дневнике); вместо ежедневных прогулок в парке, я ходил в типографию на Канатной улице, относил исправленные корректуры и брал новые, читал «ревизию» уже положенных в машину листов, распоряжался, волновался по поводу всякой технической неаккуратности. Острые материальные заботы терзали душу. В записях нахожу указание, что возросший до 200 рублей месячный бюджет был нам не по силам; увеличились расходы на обучение детей (обе дочери и сын учились в частных гимназиях, взимавших высокую плату за учение, и у домашних учителей). «Средства иссякли, предстоят большие платежи типографии, а у меня кроме большого минуса в виде долгов ничего нет».

А кругом я видел еще более горькую нужду. «Я теперь сильнее чувствую и горе ближних, которых волна жизни прибивает к моему берегу. В последнее время вновь участились посещения несчастных самоучек (экстернов), просящих о хлебе, учителях, книгах. Хлопочу о них сколько могу, но вижу, что горю этих сотен юношей, прибывающих в Одессу как „голим лимком Тора“ (странствующие по местам знания), нельзя помочь иначе, как путем твердой организации, требующей массы денег и труда». На очереди стояли устройство курсов для подготовки экстернов к экзаменам и снабжение их книгами из библиотек. Самым большим книгохранилищем в Одессе, кроме городской Публичной библиотеки, была библиотека Обще-

ства евреев-приказчиков, имевшая богатые русский и еврейский отделы. В то время молодой служащий городской управы Д. О. Ландман³⁴³ много работал в этой библиотеке, стараясь расширить ее и превратить в культурный центр. К нему-то я и направляла жаждущих знания юношей с просьбами о снабжении их духовной пищей, и тут им эта пища давалась более щедрой рукой, чем телесная пища в дешевой кухне. Ландман привлек некоторых знатоков еврейской литературы из экстернов для составления систематического каталога еврейского отдела библиотеки, а затем упросил меня и Ахад-Гаама редактировать этот каталог, который содержал не только список книг, но и журнальных статей (впоследствии был напечатан, как хорошее библиографическое пособие). Из работавших под нашим руководством составителей помню крайнего идеалиста Зеличенко³⁴⁴, человека с огромной начитанностью в еврейской и общей литературе и чисто душою младенца. Я его однажды отрекомендовал для приведения в порядок библиотеки Общества просвещения, и когда по окончании трудной работы ему хотели уплатить несколько десятков рублей, он заявил, что не может принять такую «крупную» сумму, так как составление каталога ему самому доставляло большое удовольствие. А между тем он жил бедно и терпел нужду. Об этом честном идеалисте могли бы много порассказать Бялик и Равницкий, с которыми он вместе составлял еврейский перевод «Библейской археологии» Новака. Он умер при большевиках, вероятно с голоду.

После конфликтов в нашей Историко-литературной комиссии члены ее очень редко собирались. Нерегулярно собирался и наш тесный кружок «субботников» с Абрамовичем во главе. Но мои личные встречи с Абрамовичем не прекращались. Насколько Менделе был несносен в коллективной дискуссии в комиссии, где он своими импровизациями нарушал ход прений, настолько он был интересен в интимных беседах, где я ему предоставляла возможность вести длинные монологи. В моей памяти встает живая картина этих бесед в течение ряда лет. Бывало, соскучусь по старому другу, если долго его не вижу, и направляюсь к нему знакомую дорогой, от приморского конца Успенской улицы, до того конца ее, который упирается в Дегтярную улицу, где на углу красуется большое новое здание Талмуд-Торы. Вхожу во двор и поднимаюсь на верхний этаж, где в больших апартаментах живет заведующий. Абрамович недавно встал после дневного отдыха (большей частью я посещал его около 5 часов), и я застаю его одиноко сидящим за письменным столом в кабинете или у столика за занавеской, отделяющей спальню от кабинета. Он читает или пишет и производит впечатление напряженно думающего человека. Обыкновенно он уже с первого слова восклицает: «А знаете, о чем я сейчас думал?» — и пойдет дальше развивать мысль, которая его сейчас занимает. Идет длинная беседа о высших проблемах жизни или о литературных явлениях, часто пересыпанная воспоминаниями прошлого. Если я его заставал за писанием, он мне читал очередную главу рукописи, большей частью главы из «Виншфигера» и позже из автобиографической повести «Шлойме реб Хаимс». В течение ряда лет он мне таким образом прочитал в рукописи много глав из обоих произведений, кроме мелких рассказов. Вот кончена трех- или четырехчасовая беседа, старик меня еще не отпускает, держит в передней, а в летние дни идет меня провожать, проходя подороги, я его провожаю обратно, и так тянется время до позднего вечера. Трогательные были наши прощания каждым летом, когда я уезжал из Одессы. В летний вечер мы прощаемся во время таких взаимных проводов, тут же на улице, и Абрамович мне с чувством говорит: «Трудна мне разлука с вами» (эту фразу он произносил по-древнееврейски: «Кошо олай придосхо»). Мне очень близко было это настроение друга, голова которого всегда полна мыслей, между тем как он редко находил человека, кому он мог бы их высказать. Он обладал редким свойством, присущим только избранным умам: он мог жить один с своими думами, не испытывая той душевной пустоты, которая заставляет людей бежать от самих себя в толпу; он мог непрерывно беседовать с самим собою, если не было близко родст-

венной души, которой он мог бы поведасть свои заветные мысли, искания, догадки и порою гениальные разгадки.

Сходились мы в квартире Абрамовича ежегодно в день его рождения, 20 декабря. В вечер того дня приходили с поздравлениями также учителя Талмуд-Торы. Бен-Ами был также учителем этой школы, но тут у него шли непрерывные разговоры с заведующим на служебной почве, и их прежние дружеские отношения сильно испортились; позже они, однако, помирились. Празднуя день своего рождения, Абрамович тщательно избегал упоминания о своем возрасте. Когда кто-нибудь неосторожно задавал такой вопрос «к порядку дня», старик отвечал: «Вот сидит историк, — (указывая на меня), — он знает хронологию, спросите его». Я, конечно, указывал официальную, принятую в литературе дату рождения: 1835 год; в действительности же наш «именинник» был старше по крайней мере на пять лет. Я заметил эту утайку лет у многих, даже очень умных стариков (у старух она почти стопроцентная) и объяснял ее себе, если она не вытекает из суеверия, каким-то инстинктивным страхом перед близостью конца и нежеланием мерить остающееся короткое расстояние до гроба.

В новогодние вечера обыкновенно собирались в нашей квартире. Я тогда соблюдал обычай празднования гражданского новолетия как основы исторической хронологии. Собирались у нас и по случаю семейных торжеств. Помню праздник «бармица» моего сына. Юнец прочел вместо «дроше» отрывок об учении иудаизма из моего учебника истории. Он обучался древнееврейскому языку, как и его сестра, но знал его слабо. Ахад-Гаам демонстративно подарил ему учебник истории на древнем языке с стихотворным посвящением следующего содержания (в прозаическом переводе): «Не говори: ведь я могу читать всю нашу историю по книге, написанной папою на языке страны, так зачем же мне читать ее еще на нашем языке? Спроси отца, и он тебе объяснит, что если бы он не знал истории из еврейских источников, он не мог бы писать ее на чужом языке». Увы! Тот, кому была посвящена эта строфа, не мог бы даже понимать ее в позднейшее время. Понятия о «чужом» и «нашем» были различны в двух поколениях.

В самом конце 1900 г. появился первый полутом «Всеобщей истории евреев». Перед выпуском книги из цензуры я пережил несколько тревожных дней: боялся, что при контроле цензор заметит мои многочисленные «нецензурные» вставки в корректурах и откажет в выдаче выпускного билета. Такое состояние перед выходом книги Салтыков-Щедрин называл «пребыванием Ионы во чреве китовом». Как редактор радикального журнала «Отечественные записки», он каждый месяц посылал цензору для контроля отпечатанную книгу журнала и по закону ждал ответа в течение трех суток, ровно столько, сколько пребывал пророк Иона в чреве кита; в эти дни он беспокойно гадал: проглотит или выплюнет? К счастью, цензор не проглотил мою книгу, а выплюнул, выдав типографии выпускной билет. Я облегченно вздохнул. Начало большой работе было положено. В предисловии я, однако, оговорил, что рассчитанная на три тома «Всеобщая история евреев» есть только введение к моему будущему специальному труду, «к обширной, разработанной по первоисточникам и архивным материалам „Истории евреев в Польше и России“». Последняя рисовалась мне как исчерпывающий труд в десяти томах, где должна быть подробно описана социальная и духовная жизнь народа с приложением многочисленных архивных документов. С течением времени этот план был опрокинут вверх дном: не общеврейская история стала введением к специальной русско-еврейской, а напротив — последняя вошла только как часть в десяти томную «Всемирную историю еврейского народа». Но до того момента мой жизненный труд должен был пройти через ряд промежуточных ступеней, о которых будет рассказано дальше.

Глава 37

Культурная борьба (1901)

Прогноз на XX в. Революционное и национальное движения. — Начало «культуркампа». Школьный вопрос в русифицированной Одессе. Национальная оппозиция в Обществе просвещения. Еврейская школа или русская школа для евреев? — Первая баталия. Моя речь от имени оппозиции и вызывающий ответ Моргулиса. Обострение борьбы. — Наш Комитет национализации. — Мои работы вне главного плана: третья часть «Учебника еврейской истории» и запрещение ее Министерством просвещения; подготовительные работы для американской «Джуиш энциклопедия». — Квартира в Стурдзовском переулке, ближе к морю. — Последняя поездка в Полесье с Ахад-Гаамом. — Путешествие между Гомелем и Мстиславлем. Шум сионистских кружков. — Последнее посещение родного города, последнее свидание с матерью; встречи с реликвиями детства и юности.

Печальный итог сделала я в новогодней записи 1901 г.: «Мы вступаем в XX столетие. Что даст оно нам, человечеству и особенно еврейству? Судя по истории последних десятилетий отошедшего века, можно думать, что человечество идет к новому средневековью, к ужасам войны и национальной борьбы, к поруганию высших этических принципов в политике и частной жизни. Но не хочется верить в такое обобщение. Нынешняя отвратительная реакция должна вызвать контрреакцию. XVIII век был веком умственных переворотов, XIX — веком политических революций и научно-технического прогресса, XX век должен вызвать революцию нравственную. Должен совершиться этический переворот в сознании большинства, испорченного быстрым ростом материальной культуры за счет духовной. Если этого не будет, то нравственное меньшинство должно будет уйти от мира и спастись в ковчеге от нового потопа зла и неправды». — В этом альтернативном прогнозе есть как будто предчувствие «ужасов войн и национальной борьбы», ознаменовавших первые десятилетия XX в.

В своем прогнозе я упустил из виду только революционное движение в России, предвестники которого показались зимою и весной 1901 г. В это время оно проявлялось преимущественно в форме студенческих демонстраций и забастовок. Правительство отвечало на эти политические протесты жестокими репрессиями: бунтующих студентов стали сдавать в солдаты, перемещали из университета в казарму. На это молодежь, в свою очередь, ответила выстрелом Карповича³⁴⁵, убившего министра просвещения Боголепова. Царь назначил военного министра Ванновского на пост министра просвещения с глупой инструкцией о «сердечном попечении». Дав России «фельдфебеля в Вольтеры», Николай II оставил функцию бессердечной опеки над русским обществом в руках жандармских «охранных отделений», которыми была покрыта вся Россия в ту эпоху «усиленных и чрезвычайных охран». Политический сыск врвался в лучшие круги общества, печать яростно преследовалась... Параллельно с революционным брожением шло национальное. Рост национального движения в русском еврействе дошел до той точки, где открытое его столкновение с ассимилятором было неизбежно. Я цевольно очутился в центре общественной борьбы, разгоревшейся вокруг вопроса о национальном воспитании.

Как это часто бывает, столкновение было следствием неудавшихся попыток объединения или компромисса между представителями разнородных течений. Уже после вышеупомянутых дискуссий в связи с моей лекцией о журналистике выяснилось, что мы в нашей Историко-литературной комиссии при Обществе просвещения приближаемся к расколу. Повод к расколу подал сам комитет одесского Общества просвещения. В это время стал на очередь вопрос об усилении национального элемента в еврейской народной школе, которая систематически русифицировалась не только по языку, но и по программе преподавания. Одесский комитет субсидиро-

вал многие формально частные, но фактически общественные школы, нисколько не заботясь об улучшении их программы и об устранении явной русификации. С усилением национального движения образовалась среди членов Общества значительная оппозиция, которая требовала от комитета, чтобы он повлиял на изменение школьных программ в смысле расширения преподавания еврейской истории, древнееврейского языка и литературы (о разговорном языке или «жаргоне» и о преподавании на нем никто тогда и мечтать не смел). Оппозиция требовала создания еврейской народной школы, между тем как комитет крепко держался старого принципа русской школы для евреев. В этой тенденции его поддерживал Моргулис, который для ассимилированных одесских купцов и интеллигентов являлся крупным авторитетом по еврейским делам. Оппозиция из сионистов и националистов давала сражения комитету в годовых общих собраниях членов Общества просвещения, при чтении отчетов о деятельности комитета. Первая баталия произошла еще в 1900 г., где оппозиция внесла предложение о необходимости программной реформы. На это требование комитет ответил в следующем годовом отчете, что он и впредь будет проводить в школе «начала общеевропейского образования и практически полезных знаний» в отличие от требуемого оппозицией «воспитания в строго религиозном и еврейско-национальном духе». Выражение «строго религиозный» было только полемическим приемом, ибо на деле никто из нас не требовал ортодоксального воспитания.

Таким образом, смысл комитетского ответа сводился к тому, что национальное воспитание несовместимо с общеевропейским образованием. Это заявление вызвало бурные прения в общем собрании членов Общества, состоявшемся 28 апреля 1901 г.

Тут оппозиция решила дать комитету генеральное сражение. К сожалению, с самого начала были допущены тактические ошибки. Резкие выступления несдержанного Бен-Ами и некоторых юных сионистов внесли излишнюю страстность в прения и раскалили атмосферу вместо того, чтобы прояснить ее. Я попытался повернуть прения на принципиальную почву. В своей речи я отметил, что противопоставляя европейское образование еврейскому, комитет не понял требования оппозиции, желающей усиления еврейского элемента в школе без ущерба общеобразовательному. Ни одна живая нация не знает такого различия, ибо общечеловеческое всегда воспринимается через национальное, и если нам недоступно преподавание на национальном языке, то мы должны по крайней мере усилить в программе национальное содержание. Ведь для народа в диаспоре национальное воспитание является суррогатом территории; школа должна быть щитом против ассимилирующего влияния среды, а не только поставщицей «полезных знаний»; кроме утилитарных задач, она имеет моральные и духовные. Против меня комитет выдвинул своего «генерала», Моргулиса, который по обыкновению внес свой туман в мои ясные слова и закончил вопросом: «А пусть оппозиция нам скажет, что такое еврейский национальный дух, которого она требует в школе?» Мне не довелось ответить Моргулису на его странный вопрос, так как я ушел до конца прений, затянувшихся до поздней ночи. Выборы новых членов комитета происходили в атмосфере страстной агитации. Избраны были незначительным большинством кандидаты комитетской партии против меня и Ахад-Гаама. В обществе и прессе было много шума по поводу этого собрания.

Так началось то, что я потом назвал «культуркампом» в Одессе. На очереди стал вопрос о создании единого фронта против ассимиляторов. В июне я и Ахад-Гаам совещались с представителями сионистской организации об учреждении Комитета национализации для усиления национального элемента в еврейских общественных учреждениях и особенно в школе. Первые организационные заседания происходили в квартире инженера М. Я. Дизенгофа, энергичного сионистского деятеля, которому позже суждено было сделать строителем еврейского города Тель-Авив. Мы давно были знакомы семьями, так как жили по соседству на Базар-

ной улице. Его милая жена, стройная красавица с ласковою тихою речью, была украшением нашего общества. На наших совещаниях был выработан план организации, где на одном крыле стояли официальные сионисты, в центре группа Ахад-Гаама, а на другом крыле я, почти без свиты. Абрамович остался вне союза. После раскола в Обществе просвещения потеряло уже смысл существование при нем нашей Историко-литературной комиссии. Когда Моргулис созвал нас и предложил сохранить комиссию только для обмена мнений, его поддержали только Сакер и Абрамович, Ахад-Гаам склонен был к компромиссу, но я заявил, что после вынесения наших разногласий на улицу мы не можем продолжать совместную работу под флагом Общества просвещения. И я оказался прав. Осенью комитет Общества просвещения и наш Комитет национализации стояли уже друг против друга как два враждебных лагеря, готовясь к решительному бою.

Во время этой борьбы вокруг еврейской школы я составлял третью часть «Учебника еврейской истории для школ и самообразования». Туда вошли средние и новые века и краткий обзор XIX в. Когда летом 1901 г. книжка была напечатана и один экземпляр послан в Министерство просвещения для получения апробации ученого комитета, последний после долгого рассмотрения отказался допустить ее для употребления в школах. Записка комитета, где подробно мотивирован этот отказ, была возмутительна по своему юдофобскому тону. «Ученый» рецензент министерства обвинял меня в «пристрастной характеристике еврейского народа» и «одностороннем изобрешении событий еврейской истории», поясняя это следующими примерами: «Преследование евреев в средние века объясняется автором не пороками и недостатками евреев, а завистью христиан к их образованности и промышленным способностям»; «Он (автор) старается выставить в преувеличенном виде заслуги евреев и умалчивает или упоминает в общих выражениях о темных сторонах их деятельности, объясняющих враждебные отношения к ним народов». Министерский юдофоб поставил мне в вину то, что я назвал Маймонида и других еврейских мыслителей «знаменитыми» или «великими»; что в обзоре новейшей истории я позволил себе «неуместную критику мер русского правительства, относящихся к евреям»; что я назвал дело Дрейфуса «роковой судебной ошибкой», между тем как «преступник вторично осужден и только помилован»; что «автор с сожалением упоминает об ассимиляции евреев с коренным населением» и т. п. Так и осталась третья часть моего «Учебника» запрещенною для школ, и ее употребляли там только нелегально.

Наряду с этой «полезностью» я в то время написал несколько незначительных исторических статей («Историческое сообщение» о принудительном казенном просвещении евреев при Николае I, «Восход», 1901, кн. 4—5; эпизод из истории хасидизма по-древнееврейски, в журнале Ахад-Гаама «Гашилоах»). Участвовал я также в подготовительных работах по изданию еврейской энциклопедии на английском языке в Америке. Еще в 1898 г. мой давний корреспондент Исидор Зингер с торжеством сообщил мне из Нью-Йорка, что он наконец нашел солидное издательство в Америке, которое взяло на себя издание большой «Jewish Encyclopedia» в 12 томах, и приглашал меня в сотрудники. Скоро я получил приглашение от самого издательства Функ-Вагналс и от образовавшейся редакционной коллегии. Меня просили о помощи в составлении номенклатуры энциклопедии, в особенности по истории восточно-европейских евреев. Мне присылались в больших свитках на пергаментной бумаге отпечатанные списки статей в алфавитном порядке, с пробелами для вставки недостающих названий, и я возвращал их с дополнениями. Эту работу я делал без вознаграждения в течение двух-трех лет, в качестве «редактора-консультанта» (consulting editor), как меня титуловали в заглавии каждого тома энциклопедии наряду с иностранными учеными. Кроме того, я написал несколько мелких статей для первых томов; более крупные статьи я давал изредка позже. Переписывался я по делам редакции с редактором отдела общеврейской новой ис-

тории Готардом Дейтшем³⁴⁶ и русско-еврейской истории Германом Розенталем³⁴⁷. Выходец из Австрии, ученик венского историка Талмуда А. Г. Вейса³⁴⁸, Дейтш состоял профессором в Еврейском колледже в Синсинати. Главным моим корреспондентом был Розенталь, занимавший должность библиотекаря славянского отдела в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Интеллигентный русский еврей, сотрудник еврейских и русских газет, он после погромов 1881 г. эмигрировал с юга России во главе партии переселенцев, задавшихся целью устроить земледельческие колонии в Соединенных Штатах Америки. Он участвовал в устройстве нескольких фермерских поселков, но после ряда неудач поселился в Нью-Йорке, где сотрудничал в немецких и английских газетах. Свой отдел в энциклопедии он вел прилично, составлял сам много компилятивных статей или заказывал их специалистам. В 1901 г. появился первый толстый том этой первой общееврейской энциклопедии, имевшей больше сотрудников в Европе, чем в самой Америке, а затем в течение пяти лет выходили один за другим остальные одиннадцать томов. День получения каждого увесистого тома был для меня праздником. В первых томах издатели прибавляли к моему имени в списке иностранных соредакторов небывалые титулы: «президент Общества просвещения, присяжный поверенный» (атторней эт лоу), и я с трудом добился, чтобы меня избавили от не принадлежащих мне титулов; тогда они стали меня именовать просто: «автор истории евреев».

Летом 1901 г. совершилось «событие» в моей одесской жизни: мы оставили квартиру в доме № 12 на Базарной улице, где прожили десять лет, и переместились еще ближе к морю, в район вилл на Ланжероне. Мы поселились в Стурдзовском переулке, в доме с садом и балконом, откуда открывался вид на море. Тут было тихо, уединенно, и моя семья решила остаться на лето в этой полудачной квартире. Я сам был так утомлен работой и городской сутолокой, что должен был уехать на отдых на север. На этот раз я изменил свой летний план: я решил заехать только на короткое время в Речицу и оттуда предпринять поездку по родным местам, между Гомелем и Мстиславлем, чтобы посмотреть, как изменилась провинциальная жизнь в последние годы под влиянием национального движения. В июле я выехал из Одессы с Ахад-Гаамом, который в дороге находился под моим наблюдением, так как он тогда страдал припадками сердечной болезни. Две недели провели мы в усадьбе Кагана, в двух комнатах рядом в особом флигеле, а затем я пустился в дальнейший путь.

Мое маленькое путешествие превратилось на этот раз в какое-то шумное шествие. Уже в Гомеле я очутился в шумном кругу родственников, друзей и сионистских агитаторов, под каскадом слов, вопросов, споров. Метался доктор Г. Я. Брук, начальник местной сионистской армии, шумели его адъютанты и наиболее ретивые из рядовых. Здесь и в дальнейшем пути я заметил, как изменилась за последние годы тихая еврейская провинция. Она вся встреонулась, услышав звуки мессианской трубы из сионистских конгрессов и отголоски их в прессе. Местечковые евреи глубокомысленно обсуждали вопросы, что выйдет из последней поездки Герцля в Константинополь и его аудиенции у турецкого султана, что шепнул Герцлю император Вильгельм при встрече в Палестине, каковы виды на «чартер». Молодежь препиралась: вот «Гамелиц» так пишет, а «Гацефира» совсем иначе, а «Восход» отрицает и то и другое; знатоки цитировали самый важный источник: официоз Герцля «Ди Вельт»... Я облегченно вздохнул, вырвавшись из ошалелого города и очутившись в одинокой каюте маленького парохода, который вез меня целые сутки вверх по Сожу: только тут, в этой плавучей избе на лоне родной реки, мог я предаться своим думам. На другой день рано утром я был разбужен сильным толчком: наше судно село на мель. После напрасных усилий снять пароход с мели, он остался там в ожидании другого парохода, который возьмет его на буксир. Это было в 27 верстах от цели нашего путешествия, местечка Пропойск, и я решил проехать остаток пути на лошадях. В жаркий день крестьянская лошадь, запряженная

в маленькую тележку, мчала меня мимо полей и лесов, бедных белорусских деревень и еврейских местечек, и через несколько часов я был уже в Пропойске, в объятиях шумливого дяди Бера и молчаливой тети Эты. Но и тут я не нашел прежней тихой идиллии: у дяди гостили его дети из Петербурга, Эмануилы, и рассказывали мне столичные новости и слухи; приходили «общественные деятели» для совещания о реформе школ и вообще для бесед о вопросах дня. Лишь изредка мне удавалось уходить в «графский сад», на берег Сожа, и помечтать в уединении.

По дороге из Пропойска в Мстиславль я остановился в Черикове. Здесь среди посетителей я увидел фигуру из моего детства. То был старый учитель казенного еврейского училища в Мстиславле, Пахман, занимавший теперь пост смотрителя такого же училища в Черикове. Когда-то он был вхож к моему деду Бенциону и в угоду ему освободил меня от обязательного обучения в «гойской» школе, когда мне было около десяти лет, и теперь должен был убедиться, что его «доброе дело» не пошло мне впрок.

Наконец я добрался до родного города. Я застал родных в маленьком доме в глубине двора. В сенях встретила меня осунувшаяся старушка-мать, а в комнате зашедшие девушка, сестры. Пошли грустные беседы о семейной нужде и заботах, об умерших и живых членах нашей семейной группы, какой-то реквием отходящей жизни. Опять, как четыре года назад, обходил я святые места детства, заглянул в синагоги Шулефа в немолитвенные часы. Ежедневно принимал посетителей, среди которых попадались фигуры давнопрошедшего времени. Вот мой учитель французского языка, Клячкин, уже поседевший и опустившийся. Вот и Михель Капланский, напомнивший мне былые пятницы в книжном раю Лебе Машес. В пришедшем ко мне извозчике я узнал того Иоэля Яхнеса, который в мои детские годы скрывался в нашем доме от рекрутчины и певал раздражающие сердце песни рекрутов и кантонистов... В эту симфонию прошедшего врывались звуки настоящего: беседы о национальном воспитании в кружке сионистов, посещение «образцового хедера» с преподаванием на древнееврейском языке и беседы с детьми. Семь дней я провел в Мстиславле, между гробами отцов и колыбелями детей. Когда я прощался с матерью, обещая еще раз приехать, она много плакала. Предчувствовала бедная, что это наше последнее свидание. Это было и последнее мое свидание с родным городом: с тех пор я его не видел и не увижу...

На обратном пути я заехал в речичкую усадьбу, где меня ждала наша дачная колония. С нею я провел вторую половину августа. В воздухе пахло близкой осенью. Мы гуляли по лесу с Ахад-Гаамом и его дочкой, с семьей Кагана и ее гостями. Для меня это были прощальные прогулки по любимым местам. Мое четвертое лето в Полесье оказалось последним; больше мы здесь не сходились. В конце августа я попрощался с речичким лесом и берегом Днепра и вместе с Ахад-Гаамом вернулся в Одессу, на общественную страду и литературную работу в атмосфере идейной борьбы.

Глава 38

Автономизм и борьба за национальное воспитание (1901—1902)

Новая серия «Писем о старом и новом еврействе». — Объединенная национальная партия. — «Письмо» об автономизме как центральном пункте моей системы: синтез гуманизма и национализма, национальная община как единица самоуправления, секуляризация, борьба за признание евреев нацией. — «Письмо» о национальном воспитании: трагедия отщепенцев, конфликт между кровною и культурною нацией, гармоническое воспитание человека-еврея, усиление еврейского элемента в школьной программе, национальный и народный язык. — Работа в Комитете национализации. Наша записка о школьной ре-

форме. — Возвращение к истории: цензурный удар 2-му полутому «Всеобщей истории евреев» и решение печатать книгу в Петербурге, в приложении к «Восходу». — Национальная оппозиция и ее цитадель в клубе «Беседа». Наши публичные чтения. «Моисей» Ахад-Гаама, мои пуримские размышления. — Генеральное сражение. — Отъезд в Петербург.

Я вернулся в Одессу к сентябрю 1901 г. с решимостью посвятить всю осень публицистике. Нужно было закончить теоретическую часть «Писем о еврействе» и вместе с тем откликнуться на вопросы дня, поскольку они были связаны с моей идеологией. На первой очереди стояла живая тема: о создании единой национальной партии. В эти дни шли организационные заседания нашего Комитета национализации, и сама собою напрашивалась мысль, нельзя ли это местное и временное объединение сионистов и несионистов превратить в общее и постоянное, с более широкою программой деятельности. Эта идея трактовалась в статье «Раздробленная и объединенная национальная партия» («Восход», 1901, кн. 11). Я доказывал, что в логическом порядке сионизм составляет только разновидность освободительного национального движения и, следовательно, сионисты должны войти как фракция в общий национальный союз. Отдельное же существование сионистской организации порождает такие опасности, как «отрицание голуса», то есть отвлечение всех сил нации от многомиллионной диаспоры ради спасения (и еще гадательного) небольшой ее части, как признание еврейской национальности лишь под условием приобретения территории или государства, что фактически означает узаконение ассимиляции в диаспоре. Я поэтому доказывал необходимость перегруппировки партий, объединения прогрессивных национальных сил против ассимиляционных элементов.

Посреди приготовлений к этой работе получилась из Мстислава печальная весть: моя мать, которую я видел за месяц перед тем, внезапно умерла. День Иом-кипура, когда мне передали эту весть, был для меня на сей раз действительно днем печали и «сокрушения души». Вспомнилась вся жизнь этой тихой страдальцы, проведенная в лишениях и тяжелых заботах. Умерла она, как некогда отец, от воспаления легких, простудившись после богослужения в синагоге в день Рош-гашана, когда она пошла к «ташлиху», чтобы сбросить в реку груз своих «грехов». Молила ли она Бога в эти «страшные дни», чтобы он простил и грехи ее далекого от синагоги сына? Ушла ли она из жизни примиренная, смутно понимая, что ее сын по-своему близок к Богу Израиля, что он несет заботы о своей большой народной семье с тем же сознанием долга, как она несла заботы о своей малой семье?..

В октябре писалось «письмо» «Автономизм как основа центральной программы» («Восход», 1901, кн. 12). Это был центральный пункт моей системы. Когда я в 1898 г. пустил в ход лозунг «национальных прав», я сознавал, что должен еще конкретизировать этот основной пункт программы, обосновать его исторически и указать формы применения «национально-культурной автономии». И тут я, вовсе не будучи гегельянцем, прибег к диалектической триаде не как к формально-логическому, а как психологическому методу. Вот кончился XIX век, рассуждал я, век резкого антитезиса против старого тезиса национально-религиозной традиции. Старый тезис требовал замкнутости, обособленности еврея от окружающего мира, запрещал всякое проявление свободной мысли в делах веры и обрядовой дисциплины, подавляла индивидуальную свободу. В XIX в. восстал человек в еврее, поднялась свободная личность. Но и этот антитезис, дойдя до своего логического конца, оказался односторонним: он породил ассимиляцию. Вместо старой автономии стала господствовать гетерономия, отречение от всего своего ради чужого. XIX век гуманизировал еврея, но одновременно денационализировал его. Что же должен делать наступивший XX век, который по всем признакам будет веком синтеза? Он

должен установить гармонию между гуманизмом и национализмом, между требованиями современного еврейского человека и требованиями национального коллектива. Современный автономизм исходит из представления о еврействе не как религиозной нации, а как культурно-исторической нации вообще. Если прежде единицей самоуправления была религиозная община, то теперь такой единицей должна стать национальная община, объединяющая и верующих, и неверующих. Секуляризованная община может ныне стать более сильным орудием национального объединения, чем прежняя религиозная община, автоматически исключающая всю свободомыслящую интеллигенцию. Союз таких общин в каждой стране и всееврейский союз союзов во всей диаспоре должны быть высшими представительными органами нашей интернациональной нации. В то время я еще не знал о только что возникшей теории «персональной автономии» для нетерриториальных наций, развитой австрийским социал-демократом Реннером-Шпрингером³⁴⁹, и таким образом я пришел совершенно самостоятельно к тому же решению вопроса, который позже, после мировой войны, был сформулирован еще проще: автономия национальных меньшинств. Само собой разумеется, что предпосылкою для всей этой системы должно быть международное признание евреев живой и единою во всем мире национальностью, что, однако, оспаривается не только многими христианскими политиками, но и еврейскими ассимиляторами. За это признание надо бороться прежде всего, бороться и против деспотического государственного национализма во имя принципа «государства национальностей», и против внутреннего самоотречения. Тут я мог уже тогда сослаться на ободряющие слова таких борцов за национальную свободу, как нынешний чехословацкий президент Масарик³⁵⁰, который в программу основанной им Чешской народной партии включил пункт о признании за евреями прав национальности вплоть до права образования особой парламентской фракции.

Идя дальше по пути конкретизации идей культурной автономии, я в следующем письме поставил вопрос о «национальном воспитании» («Восход», 1902, кн. 1). На нескольких примерах из современной жизни западных евреев я показал трагическую раздвоенность души в новом поколении, которое по рождению принадлежит еврейству, а по воспитанию народу, культуру которого оно в школе и жизни усвоило. Прежнее поколение ассимилированных даже не чувствовало этой раздвоенности и без колебаний причисляло себя к окружающим народам (я привел пример Георга Брандеса³⁵¹, который просил не вовлекать его в еврейские дела, так как он считает себя датчанином), а новое поколение, оглушенное ударом антисемитизма, шатается между своей «кровной нацией» и чужой «культурной нацией» и в большинстве решает вопрос в пользу последней, ибо «культура важнее, чем кровь» (я привел пример двух молодых еврейско-немецких писателей: Люблинского³⁵² и Якововича³⁵³, автора «Еврейского Вертера»). В форме «исповеди сына века» я изобразил трагедию еврейской молодежи, которую враждебный мир толкает обратно в ряды родной нации, между тем как они отчуждены от нее по своему воспитанию. Чтобы избавить современного еврея от мучительной раздвоенности, нужно воспитывать его так, чтобы еврейский народ был для него не только кровною, но и культурною нацией, чтобы он мог воспринимать общечеловеческое через национальное. И тут нужен синтез. Старая школа, хедер и иешива, воспитывала только еврея, новая воспитывает беспочвенного «человека»; новейшая должна формировать одновременно еврея и человека. Нужно гуманизировать старую школу и национализировать новую. Тут я перешел к проекту осуществления этой задачи в условиях тогдашней России. Я предлагал преобразовать хедер путем введения туда общих знаний (тогда вошел в моду «образцовый хедер» с преподаванием на древнееврейском языке) и усилить преподавание «еврейских предметов» в общеобразовательной школе. В ту пору нельзя было еще говорить о самом решительном способе национального воспитания: преподавании на родном языке

учащихся, на презируемом «жаргоне» или идиш, которое официально не допускалось ни в одной общеобразовательной еврейской школе. Это стало возможно только после революции 1905 г., и когда я в 1907 г. перепечатал в особой книге свое «письмо» о национальном воспитании, я прибавил: «Требование равноправия для нашего живого народного языка, который не менее древнего национального может противодействовать процессу обрусения в школе и жизни».

В конце своего «письма» о национальном воспитании я затронул ту борьбу, которая разгорелась по этому поводу в одесской общественности. В осень и зиму 1901/02 г. стояли друг против друга два «вооруженных лагеря»: комитет Общества просвещения и Комитет национализации. Последний состоял из пленума (около сорока человек) и из пятичленного бюро. Насколько помнится, я председательствовал в пленуме, а Дизенгоф в бюро. Заседания пленума происходили большей частью в моей квартире, в большом зале с окнами в сад и с боковым видом на море. Помню эти собрания и многих из их участников. Вот Ахад-Гаам, расхаживающий по длинному залу с обычной папиросой или с стаканом чая в руках, наружно спокойный, больше слушающий, чем говорящий; вот молчаливый Равницкий и ругающийся Бен-Ами; распорядительный Дизенгоф и юный застрельщик нашей оппозиции в общих собраниях Общества просвещения медик Ландесман; мой свояк (муж сестры моей жены) прекрасный педагог М. Троцкий³⁵⁴ и горячий поборник национальной школы Самуил Пен³⁵⁵, служивший в «еврейском столе» Одесской городской управы и сотрудничавший в одесских либеральных газетах; молодой врач по нервным болезням Раймист и официальный представитель местной сионистской организации доктор Сапир³⁵⁶; секретарь Палестинского комитета бодрый и деятельный А. Друянов и либеральный талмудист Хаим Чернович, писавший под псевдонимом Рав Цаир. Из кружка Ахад-Гаама у нас бывали фельетонист Левинский, вездесущий Аврам-Эли Любарский, Ладыженский³⁵⁷, Франкфельд³⁵⁸. Приходила и «банкир» Барбаш³⁵⁹, старый «ховец-дион», член Палестинского комитета. Он имел несколько смешных привычек: часто вставлял в свою речь бессмысленную присказку «им зоген», и однажды в заседании Ахад-Гаам, забыв про эту странность, серьезно спросил его: «Вемэн зоген?» («Кому сказать?»), что вызвало взрыв смеха. Сидя за стаканом чая в нашем пленуме, Барбаш рассеянно брал из стоявшего на столе блюда чайные бублики, нацеплял их как кольца на каждый из пальцев левой руки и потом высыпал их обратно в блюдо. Среди участников наших собраний я тогда, кажется, впервые увидел молодого Х. Н. Бялика, который незадолго перед тем поселился в Одессе и состоял учителем в одном «образцовом хедере», где он и писатель-педагог Ш. Бен-Цион³⁶⁰ (тоже член нашей организации) преподавали на древнееврейском языке. Молодой поэт скромно сидел в уголке и редко вмешивался в прения. Хотя мы уже тогда любовались его поэтическими произведениями, печатавшимися в «Гашилоах», никто из нас не мог предсказать ему ту громкую славу, которую он приобрел несколько лет спустя, когда его талант развернулся во всей своей силе.

В октябре 1901 г. нашему Комитету национализации удалось собрать около 150 подписей членов Общества просвещения под запискою, поданною комитету этого Общества. В нашей записке подробно, фактами и цифрами, доказывалось, что в субсидируемых Обществом училищах главное внимание обращено на тщательное изучение русского языка и общих предметов, между тем как еврейскому языку (подразумевался библейский) и еврейской истории уделяется ничтожное количество учебных часов и само преподавание этих предметов находится в полном пренебрежении. Мы доказывали, что если не сама тенденция этих училищ, то результат воспитания в них приводит к русификации. Мы поэтому требовали значительного увеличения числа уроков по еврейским предметам и качественного их улучшения, поддержки образцовых хедеров, вечерних курсов для взрослых и специальных учительских курсов. Получив нашу записку, комитет Общества просве-

щения пригласил представителей оппозиции для личных объяснений. В особом заседании я, Ахад-Гаам, Дизенгоф и Равницкий защищали нашу точку зрения, а Моргулис, Сакер, Гранов и Вайнштейн нам возражали. Только один член комитета, «палестинец» д-р Гиммельфарб, стоял на нашей стороне. Не добившись соглашения, обе стороны готовились к решительному бою в годовом собрании Общества, предстоявшем весной 1902 г.

Создание «единого фронта» против ассимиляторов все более укрепило во мне веру в осуществимость моего плана объединенной национальной партии. Эту мысль я развил в своей застольной речи на хануковском вечере студентов, где молодежь по-прежнему прислушивалась к голосам приглашенных писателей. Но трудно было найти единый отклик среди молодежи, которая сама все более распалась на партии и фракции. Уже тогда замечалось в одной части молодежи классовое направление либо против национального (социал-демократы и бундисты первого периода), либо в различных сочетаниях с ним (сионистско-социалистические группы). Еще не было острой борьбы партий, но процесс дифференциации уже начался.

В начале 1902 г., после долгой отлучки в область публицистики, вернулся я к исторической работе. Нужно было взяться за второй полутом «Всеобщей истории евреев», в состав которого должны были войти периоды вавилоно-персидский и эллино-римский. Я с жаром принялся за работу, но с первых же шагов получил цензурный удар. Я сдал в одесский цензурный комитет первые главы книги: о вавилонском плене и реставрации Иудеи, и в ожидании ответа писал дальше. В начале февраля захожу в цензурный комитет для справки и узнаю, к своему ужасу, что рукопись моя отправлена в Петербург в духовную цензуру, так как сданные главы относятся еще к «священной истории». Вспомнилась мне участь нашего издания Греца за десять лет перед тем, и я принял меры к спасению книги. Я написал в Петербург к моему русскому другу, ориенталисту Герману Генкелю³⁶¹, переводчику Иосифа Флавия, чтобы он постарался отвратить удар от моей рукописи посредством связей, которые он имел в ведомстве просвещения и духовных дел, но и он мог сделать лишь немного. Скоро рукопись вырвалась из когтей церковной цензуры «не убитою, а только изувеченною». Два места — о позднейшем происхождении книг Даниил и Эстер — были зачеркнуты, а к параграфу о пророке Исайи-втором ученый цензор, известный архимандрит Антонин, сделал примечание, которое должно было быть напечатано как противоядие к опасному мнению о существовании двух пророков этого имени в разные эпохи. Цензор решительно писал, что все это есть выдумка библейской критики. По моей просьбе Генкель виделся с Антонином, но не добился никаких уступок. Сначала у меня явилась идея напечатать это примечание как цензурный курьез для будущих поколений (с дней юности я еще помнил русское издание книги Бокля, напечатанное с подобными отметками цензора против «безбожника»), но потом подумал, что цензурные пропуски еще более безобразят книгу и что они возможны также и в дальнейшем, особенно в главе о возникновении христианства. Вдобавок я убедился, что для издания трехтомной «Истории» у меня не хватит средств даже при предварительной подписке. И вот я обратился к редакции «Восхода» с предложением печатать мою «Историю» в виде особого приложения к ежемесячным книжкам журнала. Главное преимущество этого плана заключалось в том, что моя книга могла печататься без предварительной цензуры, как приложение к столичному журналу, пользовавшемуся этой привилегией. Новая редакция «Восхода» (в то время издательство перешло к группе Винавера и главным редактором был Л. А. Сев) очень скоро ответила мне телеграммой, что она принимает мое предложение и начнет печатание книги с осени, перед подпиской на следующий год. Я решил использовать этот промежуток для приготовления рукописи целого тома.

Помню свое радостное настроение в те февральские дни: наконец с меня снято иго издательства, которое меня давило с 1894 г., и мне не придется иметь дело с

цензорами, типографами, бумажными фабриками, книгопродавцами, почтовой экспедицией (кроме учебника, который мне еще приходилось самому перепечатывать). Я немедленно приступил к разработке эпохи греческого владычества в Иудее. В солнечные мартовские дни я часами сидел в парке на своем обычном холме, обложенный материалами, обдумывал план работы, делал заметки и чувствовал себя в своей стихии. Но скоро снова налетел общественный вал и отвлек меня в другую сторону.

Весной 1902 г. наш одесский «культуркампф» достиг крайнего напряжения. Обе партии, «просвещенская» и национальная, готовились к решительному бою на общем собрании членов Общества просвещения. Наш Комитет национализации устроил свою цитадель — помещение для собраний и чтения рефератов с целью пропаганды — в еврейском купеческом клубе «Беседа» (на углу Почтовой и Пушкинской улиц, против Бродской синагоги), так как клуб по старому либеральному уставу пользовался правом устраивать без полицейских формальностей публичные чтения под видом «семейных вечеров» для своих членов. Мы все скопом записались в члены клуба и широко пользовались его привилегией. Одной из первых наших бесед в «Беседе» был прекрасный реферат Ахад-Гаама о реальном и легендарном библейском Моисее. Референт развил оригинальную мысль: что если бы даже ученым исследователям удалось реставрировать образ действительного Моисея, то в душе народа реальным лицом был бы не этот реставрированный Моисей, а старый легендарный, давно превратившийся в представлениях народа в живую реальность. Научно восстановленный Моисей был бы только «археологической» фигурой, интересной для ученых, между тем как «исторической» фигурой остался бы герой легенды, как он запечатлен в памяти многих поколений. Не все слушатели поняли этот глубокомысленный, хотя и парадоксальный с научной точки зрения, доклад, и к моему удивлению, среди непонявших оказался и наш Друг Абрамович, который, вероятно, рассеянно слушал. Во время перерыва я подошел к задумчиво сидевшему в соседнем зале Абрамовичу и спросил его, что он думает о реферате. Он сердито ответил: «В Торе сказано, что место погребения Моисея никому не известно, а я сейчас узнал, где он погребен: его похоронил Ахад-Гаам тут, в клубе». Все мои старания убедить Абрамовича, что он неверно понял лектора, который, напротив, укрепляет традицию, хотя и различает между ней и реальностью, не могли разуверить старика, обиженного за критику священных преданий.

В другой раз мы устроили в клубе пуримский вечер. Абрамович прочел несколько отрывков из своих произведений на идиш, а я прочел реферат «Пуримские размышления», где изобразил процесс борьбы ассимиляторов и националистов в лицах героев пуримской истории, которая, как известно, описана позже, в эпоху борьбы эллинистов и хасидеев в древней Иудее. Встречи и публичные чтения в клубе «Беседа», привлекавшие массу слушателей, вносили оживление в одесскую общественность. Это, однако, сильно мешало моей научной работе, и я часто сопротивляясь попыткам тащить меня из кабинета на форум. По этому поводу Ахад-Гаам остроил: «Он хочет сохранить себя для истории». Я внес поправку: «для историографии».

В апреле мы получили наконец ответ комитета Общества просвещения на нашу вышеупомянутую записку. Декларация наших противников была написана в очень решительном тоне: начальная школа должна стоять только на утилитарной почве, должна давать своим питомцам оружие в тяжелой борьбе за существование, каким являются, например, полезные общие знания: русский язык, арифметика, география, и только остающиеся немногие часы могут быть посвящены еврейским предметам. Эта «резолуция» комитета была напечатана вместе с нашей запиской в особой брошюре и вызвала оживленные прения в различных кругах общества. В пасхальные дни все кипело и бурлило в Одессе. Мы организовали национальную оппозицию для общего собрания, «просвещенцы» агитировали среди крупной бур-

жуазии. 26 апреля я записывал: «Писание („Истории“) и заседания, борьба хасидеев с эллинистами в древней Иудее и борьба националистов с ассимиляторами здесь... В начале мая будет общее собрание, к которому готовимся и мы и „они“. Устал. В эти дни солнца и голубого неба хотелось бы быть далеко:

*И просится душа опять в затишье бора,
Туда, в немую даль задумчивых полей...»*

Общее собрание состоялось наконец 15 мая в зале городской Думы. Большой зал был переполнен. Начинаются прения по отчету комитета Общества просвещения, к которому были приложены наша записка и его ответ. Первым говорит Моргулис. Бледная и туманная по существу речь его оживлялась только полемическими выпадами против моей статьи о национальном воспитании и воззрений Ахад-Гаама. Возражая на довод нашей записки о нежелательности воспитания еврейской молодежи в «чужом» (русском) национальном духе, оратор договорился до банальной фразы, что ведь и такое воспитание «содействует поступательному ходу человеческого прогресса». Всю бессмысленность этой фразы раскрыл в своей прекрасной речи Ахад-Гаам, доказывавший, что национальное воспитание означает восприятие общечеловеческого в национальной форме и в сочетании с национальным содержанием; что еврейская школа, отчуждающая своих питомцев от родной нации и ее культуры, творит дело разрушения. По предварительному уговору Ахад-Гаам должен был говорить о теоретической стороне вопроса, а я о способах осуществления школьной реформы. В часовой речи я излагал проект реформы, оперируя фактами и цифрами, собранными по нашей анкете среди педагогов, которые подтвердили возможность значительного усиления еврейского элемента в народной школе без ущерба для общеобразовательного. И Ахад-Гаам, и я говорили совершенно спокойно, не реагируя на полемические выпады Моргулиса против наших общих воззрений. Тем не менее говоривший после меня второй комитетский оратор, Сакер, возбужденный горячею атмосферой собрания, позволял себе резкости. Сакер защищал свой софизм: все национально, что увеличивает запас физических и умственных сил народа, и никакого специфического воспитания нет. Гоняясь за эффектами, он воскликнул: «Мы должны сжечь идол национализма!» Как только он произнес эту фразу, в зале поднялся невообразимый шум. Крики со стороны оппозиции: довольно, возьмите свои слова обратно, долой с кафедры! — слились с яростными воплями комитетской партии: браво, продолжайте! Но оратор не мог продолжать. Оппозиция, в особенности студенты, устроили форменную обструкцию. Сакеру пришлось сойти с кафедры, так и не окончив своей речи. Вмешался представитель полиции и потребовал от председателя, чтобы он закрыл собрание. Представитель разойтись без голосования резолюций. Одесский градоначальник, ввиду «возбужденного состояния умов», запретил продолжать собрание в другой вечер и потребовал от цензуры, чтобы она обуздала поднявшуюся в одесской прессе полемику по волнующему евреев вопросу.

У меня от всей этой шумихи совсем испортилось настроение. «С грустью вижу, — писал я, — как втягиваюсь в общественную борьбу в ущерб главным работам. От истории то и дело урывает время для публицистики, а от последней для непосредственной общественной деятельности. Нельзя так разбрасываться. Это нивелирует ум, обезличивает... Идет 22-й год моей литературной деятельности, а работы у меня осталось больше чем на 25 лет». Я решил поехать в Петербург: чтобы окончательно сговориться с редакцией «Восхода» о порядке издания моей трехтомной «Истории». Я возложил на себя еще две миссии: воздействовать на новую редакцию «Восхода», чтобы сделать журнал органом национально-прогрессивного направления, и переговорить с столичным центральным комитетом Общества просвещения по поводу одесского «культуркампфа».

Глава 39

Между югом и севером (1902—1903)

Белые ночи в Петербурге. Новое поколение писателей и общественных деятелей. Новая редакция «Восхода»: Сев, Тривус, Бруцкус. Статья «Национальное воспитание перед судом одесского собрания». Бесконечные споры с Севом. — Товарищеский ужин на Морской. — Редактор в отставке Ландау и последнее свидание с ним перед его смертью; редактор «Будущности» С. Грузенберг и его печальная изолированность; Фруг будничный и вспышки поэтического вдохновения. — Петербургская общественность: старый барон Гинцбург и молодые юристы, пишущие официальные записки для русских министров; Сляозберг, Брамсон и др. — Беседы с бароном Горацием Гинцбургом и его сыном Давидом. Литературные встречи: д-р Каценельсон, Цинберг, Ю. Гессен. — В Гатчине. — Возвращение в Одессу с планом переселения в Вильну. — Одесские заботы и работы. — Группа «независимцев» и ее эмигрант в Одессе. — Poleмический ответ Моргулису: «О растерявшейся интеллигенции», отповедь и исповедь. — Соседство Ахад-Гаама. Его переход от «Гашилоаха» в чайную фирму Высоцкого. — Возвращение к историческому труду. — Дальнейшие чтения в «Беседе». Мысль о научном отшельничестве.

29 мая 1902 г. я приехал в Петербург, которого не видел почти 12 лет. Остановился в квартире родственников Эмануилов, в доме на углу Большой Подьяческой и Садовой улиц, в районе, где протекали годы моей литературной юности. Меня встретили северные белые ночи, невиданные с лета 1883 г. Но в столице России некогда было предаваться ни созерцанию природы, ни воспоминаниям прошлого. Целый месяц я пробыл там, и почти все время проводил в беседах или спорах с новыми и старыми товарищами. Я знакомился с новым еврейским Петербургом. Ведь за 12 лет здесь вышло на публичную арену младшее поколение писателей и общественных деятелей, которым еще предстояло играть большую или меньшую роль в ближайший исторический период. Уже в редакции «Восхода» я нашел полное обновление. Редакция находилась в старом помещении на углу Офицерской улицы и Театральной площади, рядом с квартирой бывшего редактора Ландау, и когда я ходил туда по Подьяческим улицам или по Екатерининскому каналу и Екатерингофскому проспекту, мне могло казаться, что я продолжаю былые хождения 80-х годов. Но как много изменилось за это время! Вместо единоличного редактора, имевшего «твердое мнение» только в сфере издательских интересов, оказалась редакционная коллегия, имевшая почти столько мнений, сколько членов. Незадолго до моего приезда право на издание журнала «Восход», как ежемесячного, так и еженедельного, перешло к группе М. Винавера и его шурина А. Сева. Последний был общим редактором, а в коллегии участвовали М. Тривус, д-р Ю. Бруцкус и официальный редактор-издатель М. Сыркин. С ними-то мне и пришлось вести переговоры о желательном направлении «Восхода».

Мне сначала казалось, что Сев сочувствует моему направлению, так как после появления в «Восходе» «письма» об автономизме он писал мне, что в общем разделяет мои взгляды; но оказалось иное. Наши первые беседы, длившиеся по нескольку часов, свелись к горячим спорам о направлении «Восхода», о национальном движении и, в частности, об одесском «культуркампе». Своеобразный был собеседник Леопольд Александрович Сев. Человек лет 35, получивший в Германии философское образование, близкий к кругу Владимира Соловьева, носившийся с планом большого труда по истории индивидуализма, он оказался во главе боевого еврейского журнала, в водовороте социальных течений и должен был лавировать между ними. Индивидуалист и эстет по своим склонностям, он мог еще ценить проявления еврейского гения в литературном творчестве, но конкретная нацио-

нальная программа в школе и культурной работе вообще его пугала как нечто «реакционное». Идейный синкретизм, симбиоз русско-еврейского творчества был его идеалом, почерпнутым из немецко-еврейской синкретической философии Германа Когена³⁶². Никакие мои доводы и исторические примеры не могли убедить его в том, что такой синкретизм означает растворение еврейского элемента в общем, обезличение еврейского духовного типа, то есть приводит к такой же ассимиляции, которую он отвергал в ее обычных грубых проявлениях. Спорить с Севом было мучительно: он никак не мог кончить начатый спор и упорно продолжал его даже после того, как пункты расхождения уже выяснились. В редакции «Восхода» вполне соглашался с Севом только Максим Григорьевич Сыркин, такая же туманная философско-эстетическая натура, критик искусства, почти не писавший на еврейские темы. Трезвым националистом был д-р Юлий Давидович Бруцкус, даровитый публицист, вскоре всецело примкнувший к сионистскому лагерю. Между Севом и Бруцкусом стоял Моисей Львович Тривус, много писавший под псевдонимом Шми в еженедельном «Восходе». Сам Сев редко писал, но его статьи были оригинальны по стилю и производили впечатление; как редактор он заботился о стиле статей и охранял журнал от вульгарного тона. Взгляды вдохновителя «восходской» группы Максима Моисеевича Винавера были тогда для меня еще неясны, так как я его не застал в Петербурге (он временно читал курс юридических лекций в Русской высшей школе в Париже) и лично познакомился с ним лишь позже, но не было сомнения, что и в нем русско-еврейский элемент был химически неразложим и «рука Якова держалась за пятаку Исава». Через несколько лет мы, однако, сблизились с ним в практической работе.

При таком составе редакции «Восход» мог только сохранить «дружественный нейтралитет» к представителям определенного национального направления, но не примкнуть к нему. Редакция даже не решилась высказать свое мнение об одесском инциденте. Она только предложила мне, как участнику борьбы, изложить все детали, и я невольно взялся за эту миссию. Моя статья, под названием «Национальное воспитание перед судом одесского собрания» (еженедельник, № 23—26), писалась тут же, в дни пребывания в Петербурге, в огне редакционных споров. Я подробно изложил историю нашего «культуркампфа» и в заключительной главе дал выводы из нашего горького опыта. Я доказывал, что после неудачных попыток объединения интеллигенции в деле национального воспитания необходима дифференцировка, отмежевание национальных элементов от явно или скрыто ассимилированных. «Отныне, — писал я, — национальное воспитание является боевым паролем; это — шиболет, по которому можно отличить направление данной группы. Ни один народ в мире, ни одна в особенности подчиненная культурная нация, не может указать на такой чудовищный пример, чтобы ее родная интеллигенция противопоставила общечеловеческое своему национальному и отрицала необходимость национального воспитания будущих поколений, которым в противном случае грозит неминуемое растворение среди окружающих народов». На требование упразднить кличку «национальная интеллигенция» я отвечал: «Пока существует ассимиляция, должна существовать национализация». Эта заключительная глава задела синкретистов из «Восхода». Перед выпуском последнего номера журнала Сев вызвал меня из Гатчины по телеграфу для объяснений. Редакция предлагала мне либо исключить место о «дифференцировке» и «шиболет», либо допустить возражение редакции в особом примечании. После трехчасового спора я отказался от всяких изменений, и моя статья украсилась примечанием редакции о ее нейтралитете, который в моем тексте клеймился как трусость мысли.

Необычно проводил я время в этот месяц пребывания в Петербурге. С утра до вечера, иногда до поздней ночи, не прерывались визиты, приемы посетителей, встречи, беседы. Однажды меня заманили, под предлогом совещания, на товарище-

ский ужин членов редакции «Восхода» и их друзей, где я оказался почетным гостем. Мы сошлись в «литературном» ресторане «Малоярославец» на Морской улице, где эта группа периодически собиралась. Кроме названных членов редакционной коллегии, я увидел там новых людей, между прочим и Александра Исаевича Браудо, библиотекаря Публичной библиотеки и постоянного члена всех еврейских организаций столицы. Оживленная беседа о высших проблемах еврейства, пересыпанная шутками и анекдотами, затянулась далеко за полночь. Тут завязался узел второго петербургского периода моей жизни. Хорошо помню эту фантастическую белую ночь, когда я в третьем часу возвращался домой по набережной Мойки и Екатерининского канала, между рядами домов-мертвецов, окутанных в белый саван. Загадочная северная ночь шептала мне что-то о былом, пережитом, но в ней таилось также предчувствие близкого будущего, что еще предстоит пережить на этих берегах.

Былое предстало предо мною при трех посещениях: у Ландау, Грузенберга и Фруга. Бывший редактор-издатель «Восхода», которого я посетил в его старой квартире на Театральной площади, теперь отдыхал от трудов праведных. Он говорил с снисходительной улыбкой о «модных идеях» и новых направлениях в журналистике, осуждал шатание «Восхода» при новой редакции и хвалил «твердое направление» журнала в прежнее время. Я ему возразил, что при нем даже каждый сотрудник имел свое направление. Мы, однако, беседовали мирно, не вспоминая о тех конфликтах, которые некогда отравляли мне жизнь. На другой день Ландау явился ко мне с контрвизитом. Он мне рассказывал о своих дальнейших издательских планах: он будет продолжать издание ежегодника «Еврейская библиотека», который предшествовал «Восходу» и теперь должен конкурировать с ним; один том (девятый) уже напечатан, а другой приготовлен к печати. А через полтора месяца, вскоре после моего возвращения в Одессу, получилась весть о смерти Ландау в Берлине, куда он поехал для лечения. Ему было только 60 лет. Я записывал тогда: «Вспомнилась мне целая полоса моей литературной жизни, связанная с этим человеком. Много тяжелого в этих воспоминаниях... Много горя причинил мне этот человек, много грубой прозы вносил в мое литературное священнодействие. И все же: ведь он был восприимчивом моих первых писаний штурм-унд-драмп-периода». И когда я позже печатал отрывки из писем Ландау ко мне (в «Еврейской старине» 1916 г.), я вспомнил о «тернистом пути еврейского редактора-издателя, которому многое простится за перенесенные им тяготы и тревоги, за то, что он в течение 20 лет охранял главный арсенал русско-еврейской литературы».

Тяжелое впечатление произвело на меня свидание с д-ром С. О. Грузенбергом, бывшим соредактором «Восхода», а теперь редактором «Будущности». Еще недавно живой, бодрый товарищ, остроумный в полемической корреспонденции со мной, он стал после двух лет издания собственного журнала мрачным мизантропом. Издание, в которое он вложил все свои сбережения, ради которого забросил свою медицинскую практику, совершенно разорило его: «Будущность» не могла конкурировать с «Восходом» ни по своему содержанию, ни по внешним литературным достоинствам. Немногие хорошие сотрудники (Фруг и др.) ушли из журнала, который не мог платить приличный гонорар, и Грузенберг должен был сам заполнять большую часть своего еженедельника. Он писал статьи, компилировал, переводил, читал все корректуры, работая днем и ночью. Я его и застал в его квартире на Пушкинской улице склоненным над гранками корректур, с измученным, постаревшим лицом. Мы говорили о злобах дня, о культурной борьбе, но у Грузенберга был один критерий для всего: то, чему сочувствует новый «Восход», должно быть ненавистно для «Будущности»; назло «Восходу» стоит даже заигрывать с сионистами. Так как и я печатался в новом «Восходе», Грузенберг считал меня своим врагом. Эта шаткость принципов претила мне, и в беседах с ним я не скрывал своих

чувств, а он, озлобленный и подозрительный, отвечал мне резкостями. Бедный редактор-издатель промучился еще целый год — и прекратил свой журнал. Больше мы не виделись. Только через пять лет, когда я уже переселился в Петербург, мы обменялись дружескими письмами, должны были встретиться, но не суждено было: Грузенберг вскоре после того умер.

Мало приятного сулила мне также встреча с Фругом, моим литературным сверстником. Я опять узнал нечто, крайне меня огорчившее: он писал легкие фельетоны и куплеты в бульварной газете «Петербургский листок», за что получал большой гонорар. Я слишком любил нашего певца народного горя, чтобы мириться с таким сочетанием. Я уже забыл о его первом грехе, вышеупомянутой царской оде, которой он, несомненно, стыдился, но как простить эту деградацию таланта? И все-таки я чувствовал потребность поговорить с Фругом. Он жил летом на даче в Лесном, и я с трудом поймал его на его городской квартире, на Покровской площади. Об этом посещении у меня записано: «В субботу был у Фруга. Semper idem и по внешнему виду и по умственному кругозору. Перерыв поэтического творчества. Пишет фельетоны в пакостном „Петербургском листке“ ради крупного гонорара. На мои упреки отвечал, что ни „Восход“, ни „Будущность“ не могли обеспечить ему заработка, хотя бы скромного, и он должен был уйти в уличный листок, что он, впрочем, готовит материал для крупных поэм. Поговорили по душе после одиннадцатилетней разлуки, и я с грустью расстался с этим человеком, с которым был так близок в первую, блестящую пору его деятельности. Больно думать о нем, но хочется верить в его возрождение». Задатки возрождения были налицо: Фруг тут же подарил мне свой новый сборник стихов «Сиониды», где я нашел многое, напоминавшее мне лучшую пору его творчества. Здесь он по-своему откликнулся на победное шествие политического сионизма. Приветствуя новое мессианское движение, он, однако, выражает опасение:

*Чтобы скитальца в родное лоно зовущая теперь звезда Сиона,
Звезда надежды, не была одной из тех падучих звезд,
Что столько раз являли свой блеск мгновенный в ночь его печали —
И гасли во тьме ночной.*

С каким волнением читал я его близкие к моему пантеизму строфы на текст пророка: «Выйди в поле, и там я буду говорить с тобою»:

*Есть добрый Бог, доступный и понятный незлобивым сердцам,
Спокойным взорам, безмятежным думам жнецов и пастухов.
Молись Ему колосьев светлым шумом и шелестом садов,
Молись Ему благоуханьем сада и росами полей,
В Нем светлый мир и бодрость и отрада души твоей.*

Человек, писавший такие стихи, не мог окунуться в житейскую тину, не мог там осквернить свою душу. Он остался одним из лучших псалмопевцев еврейства, хотя и писал на чужом языке. Я простил ему все мелкие прегрешения. Мне еще предстояла встреча с ним до его печальной кончины.

Еврейская общественность в Петербурге находилась тогда в переходном состоянии. Баронская династия Гинцбургов еще не выпускала из рук монополии представительства еврейских интересов перед правительством. Барон Горадий Осипович исполнял эту миссию как умел, путем «штадлонус» или ходатайств перед министрами о «смягчении участи» евреев в отдельных случаях. В этом помогала ему часть еврейской интеллигенции, преимущественно молодые юристы, работавшие в учреждениях, где барон председательствовал (Общество прощения, Колонизационное общество и др.). Они составляли записки и доклады по еврейскому вопросу для

подачи в разные правительственные инстанции, и сначала верили в благотворность служения народу в такой форме. Выдвинулись тогда в этой работе близкий к барону ученый юрист Генрих Борисович Слиозберг и Леонтий Моисеевич Брамсон, заведовавший училищами Общества просвещения и затем бюро Колонизационного общества. Но уже тогда в некоторой части этой молодой баронской гвардии замечалась неудовлетворенность системой «штадлонства». Из моих тогдашних бесед с А. М. Брамсоном я вынес впечатление, что он разочаровался в пользу официальных записок, которыми барон наполнял архивы разных министерств. Замечался сдвиг в сторону политической оппозиции или революционного движения, которое вскоре втянуло в себя много наших интеллигентских сил.

Виделся я в то лето и с «старым бароном» Горацем Гинцбургом, который в качестве председателя центрального комитета Общества просвещения заинтересовался происходящими в Одессе «беспорядками». Тотчас после бурного собрания в Одессе он послал туда секретаря комитета Саула Моисеевича Гинцбурга для расследования дела и посредничества между борющимися партиями. Гинцбург меня уже не застал в Одессе, и мы свиделись только по его возвращении в Петербург. Я имел две беседы с бароном, которого убеждал ходатайствовать в Министерстве народного просвещения об изменении программ еврейских школ в смысле национального, и услышал от него типичный ответ: «Я с вами согласен относительно усиления преподавания еврейских предметов в школах, но зачем вам выдвигать лозунг „национальное воспитание“? Не могу же я явиться к министру от имени еврейской „нации“ и просить за „национальную школу“». Конечно, он был по-своему прав: добивающийся милости ходатай непригоден к роли борца за право.

С молодым бароном Давидом Гинцбургом, «наследником престола», я виделся по другому поводу. Как раз во время пребывания моего в Петербурге ученый комитет Министерства народного просвещения наложил то вето на третью часть моего «Учебника еврейской истории», о котором я упомянул выше. Давид Гинцбург был членом этого комитета, и я хотел узнать от него о причинах запрета. Он рассказал мне, что моя книжка сначала была отдана на просмотр ему как еврейскому эксперту, и он дал благоприятный отзыв, но затем ее передали для отзыва чиновнику-христианину, который высказался против допущения учебника в школы, и этот отрицательный отзыв был утвержден в заседании ученого комитета, который в сильнейшей степени был заражен юдофобией. В то время возникло опасение, что министерство наложит запрет и на ранее допущенные первые части учебника, но это опасение не оправдалось.

Из посетивших меня в Петербурге лиц я помню тех, с которыми позже мне приходилось работать. Интереснейшим собеседником оказался доктор Л. И. Каценельсон (Буки бен Иогли), живой носитель старой еврейской культуры в новой оболочке: превосходный гебраист, глубокий знаток Талмуда и всей еврейской литературы и талантливый писатель также на русском языке. Тогда я впервые познакомился с С. Л. Цинбергом³⁶³, химиком по специальности и постоянным сотрудником «Восхода», впоследствии усердно работавшим по части истории еврейской литературы. Явился ко мне и молодой Юлий Гессен³⁶⁴, который получил доступ в государственные архивы и собирал там ценные материалы для истории русских евреев. Годом раньше он мне прислал в Одессу копии всех официальных документов об аресте цадика Залмана Шнеерсона³⁶⁵ в 1800 г., которые обогатили соответствующую главу моей «Истории хасидизма» массой нового материала. Раньше в письмах, а теперь в личной беседе этот новичок в еврейской истории советовался со мною о том, какие материалы следует собирать в русских архивах, и я его всячески поощрял в этой работе, которая скоро привела его к самостоятельным исследованиям.

Крайне утомленный от писания статей, от бесед и посещений в Петербурге, я спасался по временам в Гатчине, отдыхая на даче у Эмануилов. Хорошо было, после питерской сутолоки, в этом сонном городке, где еще на моей памяти прятался Александр III после убийства его отца. Я бродил по угрюмым улицам-аллеям, мимо мрачных дворцов с железными затворами ворот, катался с моей маленькой племянницей в каретке, запряженной пони, и разбирался в своих петербургских впечатлениях: «Общественная жизнь осложняется... Неопределенность убеждений, недостаток искренности, дипломатия, мелкие самолюбия... Еще много воды утечет, пока нынешняя умственная смута рассеется... Завтра, — (писано 29 июня, накануне отъезда), — распрощаюсь с холодным севером, где „под туманом густым моя юность цвела“, вероятно, опять надолго. Назад, на жаркий юг, куда зовут неразрывные у меня Работа и Забота!»

Мысль о разлуке с севером надолго не оправдалась. Ибо именно со дня этой разлуки тяга к северу во мне все более усиливалась. Уже по дороге из Петербурга в Одессу и вскоре после возвращения «на жаркий юг» мною овладела мысль о передвижении на жительство к северу. Мотивы были весьма солидные: предстоящее печатание моей трехтомной «Истории» в приложении к «Восходу» в течение трех лет требовало, чтобы я жил ближе к Петербургу и мог бы быстро пересылать туда части рукописи и корректуры, не задерживая выхода книжек; для занятий в библиотеках и архивах также была необходима близость к столице; обе мои дочери кончали гимназию и готовились учиться на Высших женских курсах в Петербурге, и хотелось жить ближе к ним. А так как ограничения по праву жительства затрудняли для меня переселение в столицу, то возникла мысль о переселении в Вильну, которая имела преимущество близости к Петербургу и более, чем Одесса, подходила по климатическим условиям: ведь я не переносил южной жары. Одним из мотивов было также желание покинуть Одессу, где общественная деятельность сильно мешала моей литературной работе. Тогда я еще не мог предвидеть, что и в тихой Вильне меня скоро захватит не только общественное, но и революционное движение. Пока было решено остаться в Одессе до весны 1903 г. и тогда двинуться на север.

Вернувшись в Одессу, я сразу попал и в июльский зной, и в жаркую общественную атмосферу. Опять пошли заседания Комитета национализации и школьных комиссий, где при участии опытных педагогов выработывались программы преподавания еврейских предметов, затем заботы о бедных экстернах, вновь приваливших в Одессу массами и обращавших ко мне за помощью. А тут доносился шум из всероссийского съезда сионистов в Минске (летом 1902 г.), где, между прочим, Ахад-Гаам читал свой замечательный доклад о культурном возрождении («Возрождение духа»). В связи с Минском мне вспоминается другой эпизод того же лета. В то время Минск был центром группы «независимцев», то есть Еврейской независимой рабочей партии³⁶⁶, вожди которой добились легализации у русской политической полиции (Зубатов) под условием, что партия будет стремиться только к улучшению экономического положения рабочих без всякой политической агитации против царского режима. Один из этих людей, журналист Ю. Волин, приехал из Минска в Одессу для образования там отдела партии и вступил в сношения с нашим Комитетом национализации. Он заявил Дизенгофу и другим членам нашего бюро, что его единомышленники готовы основать такой же комитет в Минске и привлечь к делу внепартийные рабочие массы. Посетил он также Ахад-Гаама и меня. Вскоре, однако, мы узнали с осведомленной стороны о действительной миссии Волина, и наш комитет отказался от дальнейших сношений с ним. Я упоминаю здесь об этом случае для опровержения неверных сведений, сообщенных об одесских переговорах Волина в недавно вышедшей книге Бухбиндера «История еврейского рабочего движения в России» (Ленинград, 1925). Здесь цитируются письма

Волина к своим минским друзьям, где он хвастливо уверяет, что успел завоевать симпатии «умнейших людей одесской еврейской интеллигенции, Ахад-Гаама и Дубнова», которые «поняли наше дело и очень ему сочувствуют». На основании этого сообщения шеф охранной полиции в Москве Зубатов писал в Департамент полиции, что вождь «независимцев» уже привлек лучших людей еврейства к делу «оздоровления еврейского рабочего класса» (с. 232—233). Волин уверял, что с Ахад-Гаамом вел частые беседы и уходил от него ежедневно очарованный его умом. Сомневаюсь, чтобы Ахад-Гаам был очарован беседою с Волиным. Что касается меня, то едва ли я мог выразить сочувствие идеям «независимцев», которые шли прямо вразрез с моими убеждениями: я считал, и вскоре развил эти мысли в печати, что политическая революция должна предшествовать экономической или социальной, и никоим образом не мог одобрить программу, которая отказывалась от борьбы за политическую свободу ради свободы экономических стачек под охраною царской полиции.

Среди суеты дня я с трудом урывал время для небольших научных работ, не терпящих отлагательства. В эти летние дни я написал статьи «Франкизм» и «Хасидизм» для большой «Русской энциклопедии» Брокгауза—Ефрона, о вааде четырех областей в старой Польше (Council of four lands) для американской «Джуши энциклопедия» и статью об отношении этого ваада к каалам для юбилейного сборника Н. Соколова (последнюю по-древнееврейски). Эту уплатою мелких литературных долгов я хотел расчистить путь для моей большой исторической работы, но тут пришлось уплатить еще один публицистический долг, результат нашей культурной борьбы, и конец лета был посвящен этой работе, опубликованной в серии «Писем о старом и новом еврействе».

Еще будучи в Петербурге, я прочел в только что вышедшей книжке «Восхода» первую часть большой статьи Моргулиса «Национализация и ассимиляция», а затем редакция дала мне для прочтения в корректурных листах продолжение этой статьи, печатавшейся в трех летних книжках журнала. Статья была направлена против моих двух последних «писем» — об автономизме и национальном воспитании. Мне были хорошо знакомы и стиль Моргулиса, и туманность его мышления, но то, что я прочел в его статье, превзошло мои наихудшие опасения. Это был бесконечный сумбур идей не только самого критика, но и навязанный им критикуемому автору. Моей системе идей Моргулис противопоставил нечто бессистемное и даже малопонятное. Я бы, может быть, не ответил на эту критику моих «Писем», как не отвечал и на многие другие, если бы она не исходила от человека с именем и если бы сама по себе не была характерна для известной части нашей интеллигенции, совершенно растерявшейся под напавшим новым идеям. Свою антикритику я так и озаглавил: «О растерявшейся интеллигенции» («Восход», 1902, кн. 11—12). Прежде всего я отметил, что мой критик избрал для меня орудием наказания одну из десяти египетских казней: тьму, ибо систематически затемняет самые ясные мои мысли. Целым рядом курьезных цитат из статьи Моргулиса я установил его метод трактовки чужих мыслей и развития своих собственных*. Когда я теперь, спустя

* Укажу на один из многих примеров «диалектики» моего противника. Я в своем «письме» об автономизме указывал, что в обитателе гетто «еврей» преобладал иад «человеком», то есть строгая национально-религиозная регламентация стесняла законную свободу личности, национальное противопоставило гуманистическому, а не совмещалось с ним. На это Моргулис отвечал мне такими бессмысленными фразами: «В сущности, средневековый еврей был также и человеком, но не был лишен своих человеческих чувств. Это прекрасно выражено в протесте Шейлока... В еврее жил, мыслил и чувствовал человек со всеми свойственными ему физиологическими и психическими законами...» Я установил, что мой оппонент понял мою мысль как отрицание в средневековом еврее человеческих чувств и даже физиологических потребностей. В другом месте Моргулис писал: «Национализация есть нечто неслыханное в жизни народов... Это значило бы загнать еврея в человека так глубоко, чтобы никакая культура не могла его оттуда извлечь». Тут я резонно спрашивал, желает ли мой оппонент, что-

тридцать лет, перечитываю свою горячую полемическую отповедь, многое кажется мне слишком резким (в отдельном издании «Писем» кое-что смягчено), но не нахожу там ни одной строки, которая была бы неправдива или несправедлива. Там не было ни одного положения, которое не было бы подкреплено фактами или добросовестными цитатами, и не моя вина, что эти цитаты оказались убийственными для оппонента. Я, конечно, воспользовался своей антикритикой, чтобы доказательствами «от противоположного» подкреплять мои позитивные взгляды. К концу моей отповеди мне пришлось дать несколько строк литературной исповеди. Ввиду указания Моргулиса на мой «грех молодости», статью о религиозных реформах, которую он в свое время критиковал весьма умеренно, я привел чудные стихи Виктора Гюго, где поэт отвечает маркизу, упрекнувшему его за переход от роялизма к республиканизму: «Горизонт изменился, маркиз, а не душа. Ничто не изменилось внутри меня, но все вокруг меня. Я остался с тем же глазом, но вижу другое небо»¹. Моя отповедь заставила Моргулиса замолчать. Когда я через несколько лет беседовал в Петербурге с Севом, он мне рассказал, что Моргулис в разговоре с ним о моей статье расплакался. Мне было больно слушать этот рассказ. Я не хотел обидеть прежнего приятеля и позднейшего противника, но считал своим долгом восстановить правду и ясность в идеологическом споре. С тех пор я с Моргулисом больше не встречался ни в обществе, ни в литературе.

Окончив в сентябре свое новое «письмо», я отметил в дневнике: «Ныне отпускаешь от журналистики. Ждет история». 5 октября начала уже печататься в приложении к «Восходу» моя «Всеобщая история евреев от вавилонского плена», а в рукописи я стоял на эпохе Хасмонеев. Нужно было интенсивно работать, чтобы не было перерывов в печатании. Вся зима прошла в этой работе. Помню эту последнюю одесскую зиму в нашей вилле, где так хорошо было летом и где мы изрядно мерзли зимою. Поблизости, в том же Стурдзовском переулке, поселился Ахад-Гаам, и мы часто встречались. Однажды он зашел ко мне и сказал, что в его жизни произойдет перемена: он прекращает редактирование своего журнала «Гашилоах» после пяти лет непрерывного труда и поступает на службу в чайную фирму Высоцкого, который некогда дал средства на издание журнала и теперь перестал его поддерживать. Он будет работать в одесском филиале этой московской фирмы и несколько раз в год будет объезжать в качестве инспектора другие города, где имеются отделения торгового дома. Я слушал его с глубокою грустью и выразил опасение, что он уже отойдет от литературы, но он утешал меня и себя самого тем, что он ведь будет занят в конторе Высоцкого только полдня, а свободное время может отдавать собственным литературным работам вместо того, чтобы исправлять плохие статьи сотрудников журнала. Я тогда записал: «Каков режим, при котором редактор и выдающийся писатель должен превратиться в коммерсанта! Теперь остаюсь я один, писатель профессиональный...» Остался при профессии, которая в данный момент обеспечивала меня ежемесячным доходом в сто рублей от «Восхода» и приблизительно столько же от сбыта учебника.

Интенсивная работа над «Историей» заставила меня в ту зиму отойти от общественной деятельности. Мое предстоящее переселение в Вильну давало мне повод для ликвидации моего участия в Комитете национализации. Я участвовал в выработке нового устава для него, но сам отказался войти в бюро. Наша писательская группа продолжала, однако, свою культурную работу в клубе «Беседа». Абрамо-

бы еврей в человеке сидел неглубоко, дабы его можно было во всякое время «извлечь», то есть оставить человека без еврея.

¹ L'horizon a changé, marquis, non pas l'âme.

Rein au dedans de moi, mais tout autour de moi...

Je restai le même, œil voyant un autre ciel.

вич, Ахад-Гаам и я читали там от времени до времени. Я однажды прочел главу из моей «Истории», где впервые развил новую социальную концепцию трех направлений в древней Иудее: фарисеев, цадукеев и ессеев. В тот же вечер Ахад-Гаам читал там на тему об аскетизме, где выдвинул те же три направления в таком порядке: политический материализм цадукеев, политический аскетизм ессеев и синтез духовно-национальной политики фарисеев. Не стоворившись, мы пришли к аналогичным заключениям с двух концов, исторического и философского.

Мои друзья сокрушались по поводу моего решения оставить Одессу, но оно было непреклонно. Многие напоминали мне, что пора прекратить разбросанность и сосредоточиться на исполнении задачи жизни, исторического труда. В это время Еврейское издательское общество в Америке печатало мой этюд «Что такое еврейская история» в английском переводе, сделанном с немецкого издания секретаршей общества Генриеттой Солд³⁶⁷ (впоследствии член сионистской экзекютивы). И я с горечью подумал, что до сих пор не удосужился переработать этот этюд и издать его в русском оригинале, что еще не приступлено к отдельному изданию «Хасидизма» и что я стою только в преддверии многотомной истории русских евреев: на введении к нему в виде общего курса еврейской истории. В один светлый мартовский день 1903 г. я сидел в своем кабинете и записывал: «Силы уходят, жизнь уходит, все чаще считаешь, сколько еще осталось жить. Десятками лет откладываются крупнейшие работы...» Наступила весна, и я готовился ехать в Вильну, на разведку того места, где надеялся вести жизнь научного отшельника. Вдруг произошло событие, потрясшее все мое существо: кишиневский погром.

Глава 40

Кишиневский погром и переезд в Вильну (1903)

Апрельский вечер в «Беседе», чтение Жаботинского о народе-призраке и страшный призрак Кишинева. — Совещание об организации самообороны и информационного бюро. — Тайное воззвание нашей писательской группы о самообороне. — Моя разведочная поездка в Вильну. Толки о Кишиневе, брожение среди молодежи. — Продолжение кишиневских тревог в Одессе; собрание материалов для книги о погроме. Командировка Бялика в Кишинев. — Моя статья «Исторический момент» под дамокловым мечом цензуры: прогноз о перемещении еврейского центра в Америку; эмиграция как социальный и национальный фактор. — Авторское предисловие к немецкому переводу «Писем о еврействе». — Последняя глава «Истории» в Одессе. — Прощание с морем и с друзьями. Банкет и тоска разлуки. Странный случай в день отъезда. — Конец одесского периода. Отъезд в Вильну.

Был вечер 7 апреля 1903 г., второй вечер православной Пасхи. Из-за праздников газеты уже второй день не выходили, и мы не знали, что делается на свете. Узнали мы только кое-что от «живых» газет в этот вечер, когда публика собралась в клубе «Беседа», чтобы выслушать доклад юного сиониста, одесского «вундеркинда» В. Жаботинского³⁶⁸, писавшего под псевдонимом Альталена шаловливые фельетоны в одесских газетах. То была одна из первых агитационных речей даровитого оратора, впоследствии вождя сионистов-максималистов. Речь представляла собою красивый фельетон на тему «Автомансипации» Пинскера. Жаботинский развил образную мысль Пинскера, что развеванный по миру еврейский народ бродит повсюду как тень, как призрак нации, как мертвый среди живых, и потому все боятся его; отсюда и юдофобия, которая прекратится лишь тогда, когда народ-

призрак превратится в живую государственную нацию на собственной территории. Молодой агитатор имел успех у публики, но на меня эта односторонняя трактовка нашей исторической проблемы произвела удручающее впечатление: много ли нужно, чтобы внушить колеблющейся еврейской молодежи страх перед собственной национальной тенью?.. Во время перерыва, когда я ходил по соседнему залу, я услышал среди возбужденной публики тревожную весть: сегодня прибыли в Одессу беженцы из близкого Кишинева и рассказали, что там идет кровавый погром.

В ближайшие дни мы узнали страшную правду. Был не обыкновенный погром, а резня, которая была подготовлена на глазах местных властей и продолжалась три дня. Насколько я слабо реагировал в юности на апрельские погромы 1881 г., которые казались случайным откликом на царевбийство 1 марта, настолько сильно потрясла меня эта новая апрельская эра кровавых погромов. «Ровно неделю назад, — писал я 18 апреля, — я забросил всякую работу, мечусь, волнуюсь и не могу ни о чем думать кроме этого... Юдофобская травля сверху привела к убийству снизу. Русский народ многое вынес из 22-летней школы юдофобии: начал с погромов и теперь дошел до резни». Мне не сиделось дома, в залитом солнцем кабинете с окном в сад. Я ходил к друзьям и знакомым, расспрашивал о подробностях, так как цензура Плеве¹⁶⁹, которого мы считали виновником погрома, не пропускала в печати ничего, кроме лживых официальных известий о «драке между евреями и христианами». В совещаниях с друзьями я настаивал на устройстве тайного информационного бюро, которое собирало бы сведения на месте и рассылало бы их в большие еврейские общины Западной Европы для агитации в обществе и прессе. Затем у нас, как и у многих в то время, возникла идея об организации самообороны, чтобы снять с еврейских масс позор смерти без сопротивления. За информационное дело взялось бюро нашего Комитета национализации с Дизенгофом во главе.

Группа писателей (я, Ахад-Гаам, Равницкий, Бен-Ами и Бялик) решила немедленно разослать циркуляр о необходимости самообороны. В целях конспирации было решено написать его по-древнееврейски и поручить это Ахад-Гааму. Составленный им проект воззвания оказался превосходным. Там было дано психологическое объяснение совершившемуся: в течение многих лет русские массы, наблюдая действия высшего правительства и местных органов власти по отношению к евреям, прониклись убеждением, что евреи не только бесправны, но и беззащитны; в Кишиневе это подтвердилось; нужно поэтому показать озверелым толпам, что если правительство нас не защищает, мы сами готовы к защите своей жизни и чести, что нельзя на нас нападать безнаказанно, а для этого мы должны везде организовать отряды самообороны. «Братья! — говорилось в нашем воззвании. — Кровь наших братьев в Кишиневе вопиет к нам: поднимитесь из праха, перестаньте плакать и молить, перестаньте простирать руки к вашим врагам, чтобы они вам помогли! Пусть поможет вам ваша рука!» Мы призывали к созданию постоянной организации самообороны во всякой общине и при этом выразили надежду, что правительство не запретит нам защищаться против нападений, не отнимет у нас права всякой твари на самозащиту. Мы предлагали созвать съезд делегатов главных общин для обсуждения этого вопроса, а также для урегулирования предстоящей массовой эмиграции*. Это воззвание было отпечатано в паре сот экземпляров на гектографе и рассылалось еврейским общинам, по адресам раввинов и знакомых общественных деятелей. Из осторожности оно было подписано анонимно: «Группа еврейских писателей».

* Этот циркуляр напечатан спустя четверть века, в сборнике «Гатекуфа», том XXV, с. 416—420, с моими объяснениями (Берлин, 1928). В моем архиве сохранилась еще горячая статья Ю. Брудкуса с призывом к организации самообороны. Она была напечатана в «Восходе», но вследствие конфискации номера была размножена на пишущей машине и разослана в копиях разным лицам и учреждениям.

Скоро мы узнали, что мы совершили наказуемое деяние, ибо циркуляр Плеве оповещал всех губернаторов о запрещении евреям устраивать кружки самообороны. Тем не менее такие кружки во многих местах устраивались молодежью различных партий, между прочим и в Одессе. Боеспособность этих кружков была потом доказана в гомельском погроме, в конце лета. Одно из сообщений о катастрофе для заграничной прессы было составлено мною и отправлено в Берлин и дальше нашим Комитетом национализации. По поручению комитета выехал в Кишинев для собирания сведений на месте наш поэт Бялик, который позже вернулся из «города резины» с потрясающими картинами для своей известной поэмы.

Волнения «кишиневских дней» не прошли для меня бесследно. Нервная депрессия заставила меня на время уехать из Одессы. Я решил совершить ту поездку в Вильну, которая тогда стояла на очереди. Я ехал туда для разведки перед намеченным переселением. Выехал из Одессы 23 апреля. По мере движения поезда к северу я чувствовал, что нервы мои успокаиваются. «Ласково, с ясной весенней улыбкой встретили меня леса и поля Полесья и Литвы... Бедная старая Вильна показалась мне как будто родной». Помню, как я приехал на виленский вокзал под вечер. Велел извозчику везти меня в отель «Бристоль» на Георгиевском проспекте. Он вез меня через знакомую с юности Завальную улицу, и я с грустью смотрел на весь этот серый еврейский центр города; только широкий и чистый Георгиевский проспект напомнил мне лучшие улицы Одессы. Вечером я вышел один, шагал по этому «нееврейскому» проспекту до лесной дачи «Зверинец» и убедился, что и тут есть места, где можно укрыться от городского шума. На другой день я виделся с «хозяевами» Вильны, известными сионистами братьями Гольдбергами³⁷⁰, и опять бродил по городу. Наступление субботнего вечера застало меня в районе бывшего гетто. Я ходил по узким и грязным закоулкам, окружающим школьный двор, видел, как торопятся мелкие торговцы закрывать свои лавочки, чтобы не опоздать к встрече «невесты-Субботы». Наконец вступил в самый школьный двор с древнею большою синагогою в центре и малыми молельнями по сторонам, заглянул и в «бес-гамидраш» Или Гаона, с которым я так много возился в своей истории хасидизма. В древнюю синагогу XVI в. я вошел, спустившись по нескольким ступенькам в подвал. Из этих глубин («мимаамаким», де профундис) неслись к высокому темному куполу грустные звуки «Лехо доди», призывающие павшую нацию подняться из юдоли плача. На другой день я осматривал вместе с И. Л. Гольдбергом расположенный выше старого города район Погулянки и решил тут поселиться: жить здесь, ближе к лесу Закрета и Зверинца, а в старый город спускаться как в музей древностей — символ гармонии Природы и Истории. Я поручил друзьям нанять для моей семьи квартиру ко времени нашего летнего переезда. С крупной книгопродавческой фирмой Сыркин в Вильне я заключил договор о передаче ей на комиссию всех моих изданий. Это должно было избавить меня в будущем от противнейших забот о сбыте моих учебников и прочих книг.

В течение недели, проведенной в Вильне, не умолкали толки о Кишиневе. Даже тихая столица Литвы была возбуждена. Особенно сильное брожение замечалось в еврейской революционной молодежи, действовавшей конспиративно. В Вильне я встретил кишиневского общественного раввина Эттингера, который в дни погрома вел себя по отношению к властям не так, как подобает представителю истекающей кровью общины. Я резко упрекал его за отсутствие гражданского мужества и национального достоинства в такой страшный момент, а он удивленно смотрел на меня, явно не понимая, как можно спорить с губернатором и начальниками полиции. Помнится, что присутствовавший при нашем разговоре глава минских сионистов С. Я. Розенберг³⁷¹ тоже находил мое требование слишком смелым. Но через несколько месяцев настроение повсюду повысилось. И в России, и за границей «Кишинев» стал боевым паролем во всех общественных слоях.

В начале мая Одесса вновь приняла меня в свои объятия. Не южная жара, а поднявшаяся до точки кипения общественная температура не давала мне покоя. В заседаниях мы занимались только «кишиневскими делами». Помню заседание в квартире Дизенгофа, где приехавший из Кишинева сионистский вождь д-р Коган-Бернштейн³⁷² докладывал нам о своей поездке в Петербург в составе еврейской делегации, посланной к министру Плеве и другим сановникам. В столице были глухи ко всем доводам послов разгромленной общины. Надо было продолжать нашу антиправительственную пропаганду в России и особенно за границей, где протесты прессы все-таки смущали правительство Плеве. Мы решили собирать еще материалы о погроме и тайных махинациях властей и издать это за границей в виде книги. Мне предложили редактировать этот сборник, но для этого надо было столкнуться с петербургскими единомышленниками, готовившими такое же издание, а пока на очереди стояло дальнейшее собрание материалов. Мы решили снова послать для этой цели в Кишинев Х. Н. Бялика. О результатах своей первой поездки он уже писал мне, а затем по приезде докладывал нашему комитету в заседании, происходившем в моей квартире. Мы сидели опустив головы и слушали это жуткое «сказание о Немирове»³⁷³ от поэта, который вскоре облек его в форму национального протеста. Я долго не поднимал глаз со стола, чтобы скрыть следы слез. Вторая поездка Бялика в Кишинев обещала дать еще много дополнений к страшному «сказанию». Об этом мы переписывались позже, когда я очутился уже вне Одессы.

Во второй половине мая я настолько собрался с мыслями, что мог откликнуться в печати на пережитый кошмар. Уже под первым впечатлением катастрофы я записал: «„Кишиневская резня“ — поворотный момент в еврейской истории. Вторая критическая дата после 1881 года — 1903 год. Давно начавшаяся эмиграция должна усилиться и принять форму постепенной эвакуации второй Испании. В Америке должна утвердиться гегемония еврейства. Но это долгий, вековой процесс». Эту набросанную сгоряча мысль я развил в своей статье «Исторический момент», напечатанной с цензурными сокращениями в майских номерах «Восхода». Никогда еще не чувствовал я так мучительно тисков цензуры, как при писании этой статьи. «Восход» в это время уже имел два предостережения от Министерства внутренних дел, из них одно за статьи о кишиневском погроме, и третье предостережение приостановило бы журнал на полгода. Приходилось дать волю накипевшему гневу только в скорбных размышлениях. Цитирую начало статьи как показание поворота в моем личном настроении: «Мы снова переживаем события, доказывающие, что история имеет более кругообразное, чем прямолинейное движение. Сейчас только мартиролог еврейства на юге России совершил полный круг — от уманской резни до кишиневской, от 1768 до 1903 года. Двадцать два года тому назад мы, догматики прямолинейного прогресса, впервые с изумлением и ужасом увидели, как круто загнулась „прямая“ линия новейшей истории и пошла по направлению, приближающему нас к исходной точке, к мрачному прошлому. Теперь круг замкнулся, конечная и исходная точки сошлись... Но к постигнутому нас новому удару мы оказались в смысле психическом более подготовленными, чем к ударам начала 1880-х годов. Чего же другого могли мы ожидать после 22 лет, в которые „каждый день убийцей был какой-нибудь мечты?“ ...Пережитое двадцатилетие завещало нам один великий лозунг: национальная самопомощь». Эта самопомощь должна идти в двух направлениях: борьба за гражданские и национально-культурные права на теперешних местах жительства и создание нового крупного центра еврейства путем массовой

* Так как я цитирую по позднему отдельному изданию моих «Писем о еврействе» (1907), где были восстановлены некоторые цензурные пропуски прежнего времени, то у меня нет уверенности, что эта цитата вполне соответствует первоначальному тексту в недельном «Восходе», который сейчас не имеется у меня под рукой.

эмиграции в Америку. Позже оказалось пророчеством мое указание, что если средняя годовая цифра эмиграции в Америку до сих пор составляла 50 000, то отныне она повысится до ста тысяч: с 1903 г. такова именно была в течение нескольких лет средняя цифра эмиграции, превратившей наш американский центр ко времени мировой войны в трехмиллионный, а затем в четырехмиллионный. Я требовал, чтобы эмиграция регулировалась не только как социально-экономический, но и как национальный фактор. Нужно стремиться к концентрации больших масс на новых местах, а не к рассеянию их, причем рядом с широким потоком американской эмиграции предметом наших забот должен быть и ручеек палестинской колонизации.

Моя статья «Исторический момент» появилась в печати в урезанной форме. Приехавший вскоре в Одессу редактор «Восхода» Сев рассказал мне, что даже в этой форме статья показалась цензуре непозволительной; цензурный комитет хотел уже подвести журнал под фатальное третье предостережение, но начальник Главного управления по делам печати не утвердил предложения комитета. То, что не было договорено в моей статье, я дополнил тогда же в небольшой статье, предназначенной для заграничного издания. Мой немецкий переводчик, д-р Фридендер, готовился издать перевод моих первых «Писем о еврействе» и просил меня написать особое предисловие к немецкому изданию. Я начал свое предисловие с замечания, что я пишу в траурные дни после кишиневского погрома, и затем вкратце развил свою идею самопомощи. Это предисловие было напечатано в немецком издании «Писем» лишь через два года (1905), когда в России уже поднялась революционная волна и дала борцам за право возможность расширить план своей деятельности.

Мне стоило больших усилий воли, чтобы при таком настроении вернуться к прерванному историческому труду. Главы моей древней истории печатались быстро в ежемесячных приложениях к «Восходу» и нужно было иметь наготове новые главы. С большим трудом дописал я эпоху «римского протектората» (31 мая) — и остановился. Надо было готовиться к переезду в Вильну. Глубокая тоска охватила меня, когда я дописал последние строки одного отдела истории с тем, чтобы начать следующий уже в другом месте. Кончался одесский период моей литературной деятельности. В те июньские дни я часто выходил из виллы в Стурдзовском переулке, бродил по парку и любимому Ланжерону и прощался с морем.

*Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые...*

Настала пора проститься и с друзьями. Мне хотелось проститься с ними так же тихо, уединенно, как с морем, но я должен был уступить их настояниям и пойти на публичное прощание, на банкет, устроенный по случаю моего отъезда. Вечером 14 июня собрались в ресторане Симона три десятка друзей. Были Абрамович, Ахад-Гаам, Бен-Ами, Равницкий, Бялик, Дизенгоф, раввин Черновиц, Дряунов и еще многие литературные и общественные деятели. В речах звучала тоска разлуки, особенно в речи Абрамовича. Он вспомнил о первых годах нашей совместной одесской жизни, когда еще не было всех этих официальных «заседаний» с прениями и раздражающими спорами, а были тихие дружеские беседы о высших проблемах жизни и литературы. В некоторых речах слышался мягкий упрек, почему я покидаю Одессу в разгар борьбы. Сильно взволнованный, объяснил я в своей ответной речи, как произошла перемена, о которой говорил Абрамович, и почему я выхожу из строя бойцов: за тринадцать лет моего пребывания в Одессе наша общественная жизнь вышла из периода затишья и вступила в полосу бурь; я сам был захвачен этой борьбой, но меня зовет другой долг перед народом, долг историка, и я ухожу

в более тихую гавань, где общественная деятельность не будет так сильно соперничать с научно-литературною, как в столице юга. В тот момент я еще не предвидел, что бурная волна покатится за мною и на север и что скоро меня захлестнет более сильная политическая волна — первой русской революции...

Наш отъезд был назначен на полдень 16 июня. Уже было ликвидировано все: продана мебель, отправлена в Вильну библиотека, уложен дорожный багаж и взяты билеты для проезда в скором поезде. Вдруг в день отъезда, утром, когда второпях укладывались последние вещи пред отъездом на вокзал, произошел странный случай: пропал у меня пакет со всеми деньгами (около 500 рублей) и железнодорожными билетами. Поднялась суматоха. Подозрение пало на украинскую прислугу, на дворника, который упаковывал багаж, и на извозчиков, отвозивших купленную мебель к новым хозяевам, но допускалось также, что пакет затерялся в куче наваленных вещей, и все домашние вместе с некоторыми пришедшими прощаться друзьями ревностно искали пропавшее. Положение было отчаянное: без денег и проездных билетов нельзя было двинуться в путь. Тут для меня самого раскрылся весь ужас нашей материальной беспомощности: пропажа нескольких сот рублей остановила весь план переезда. Мы всегда скрывали от людей ограниченность наших средств. Благодаря исключительным хозяйственным талантам жены, мы всегда жили так «прилично», что никто не мог бы догадаться, что мы живем на границе нужды, о которой я, по привычной с детских лет стыдливости, не любил рассказывать. Мои друзья, узнав о беде, старались меня выручить: Бялик бегал из нашей квартиры в полицейский участок, чтобы заявить о пропаже; Ахад-Гаам взял для меня заем в 500 руб. у банкира Барбаша. Все волновались, сочувствовали... И вдруг пропавший пакет нашелся. Он лежал под кучею мелких вещей на подоконнике большой комнаты, загроможденной вещами. Неизвестно, положил ли я его туда по рассеянности или похититель сунул его туда, когда началась суматоха. Так глупая случайность внесла скверную прозу в поэтический момент моего прощания с югом. Во всяком случае, мы к поезду уже опоздали и остались до следующего дня.

Оставшиеся сутки мы провели в соседнем доме, в квартире Ахад-Гаама. Тут шли последние беседы двух дружеских семейств; наши дети (каждый из нас имел двух дочерей и сына, почти одних лет) учились вместе и дружили между собой, так что и для них разлука была тяжела. На память о чуть ли не потерянном денежном пакете Ахад-Гаам подарил мне хороший кожаный бумажник, до сих пор хранящийся у меня. На другой день, в ясное июньское утро, мы уже были на вокзале, окруженные толпою прощающихся друзей. Говорили о возможных встречах в будущем, чтобы смягчить тоску разлуки. Раздался последний звонок, мы расстались.

Мы сидели впятером в купе вагона, и я вспоминал тот ненастный октябрьский вечер, когда мы в том же семейном составе приехали в Одессу за 13 лет перед тем. За эти годы малые дети превратились в молодежь цветущего возраста, а у отца появилось немало седины в волосах. Было пережито много тяжелого, но и немало светлого, хорошего. Кончавшийся одесский период был жарким полуднем моей жизни. До заката было еще далеко, но лучшие годы жизни были уже позади. Семейное гнездо переносилось в новое место, где оно уже не останется полным, ибо у птенцов подросли крылья и им предстояло улететь в разные стороны, рассеяться не только физически, но и духовно... А я покидал теплый юг, теплое море, друзей и соратников и ехал «на север далекий, угрюмый, холодный, но сердцу родной». Ища покоя для измученной души и тишины для научной работы, я менял место. Увы! не от меня зависело менять время. А предстоявшие годы жизни совпали с эпохой социальных бурь...

С. М. ДУБНОВ

КНИГА ЖИЗНИ

Том II

(1903—1922)

КО ВТОРОМУ ТОМУ

В предыдущем томе, обнимающем последние десятилетия XIX в. и первые годы XX, преобладали описания старого быта и новой культурной динамики. Настоящий же том, обнимающий период в 19 лет (1903—1922), содержит больше материала для истории политических движений. Первая русская революция с погромами 1905—1906 гг., мировая война и параллельная война русских властей с евреями, февральская революция 1917 г. и сменившая ее диктатура большевиков, гражданская война и «военный коммунизм» — все это не могло не отразиться на судьбе историка, лично пережившего эти исторические перевороты. Отсюда и перемена в способе изложения в соответствующих главах настоящего тома. Если в первой части его выдержки из дневников являются дополнениями к основному тексту описания, то во второй части они сплошь заполняют текст. Я считал нужным давать об этих фатальных годах сведения, записанные под первым впечатлением пережитых событий. Конечно, и здесь приводятся лишь самые существенные цитаты из подробнейших записей, так как я не желал слишком расширить объем «Книги жизни» и нарушить пропорциональность ее частей.

Как указано дальше в тексте, я вел свои дневники и затем вывез их из Советской России с опасностью для моей свободы и даже жизни. Такая опасность заставляла многих воздерживаться от ведения записей в годы террора и инквизиции Чеки или уничтожать сделанные записи при оставлении России, когда око чекиста проникало во всякую бумажку. Но мне какой-то исторический императив не позволял расстаться с многолетними записями, которые могут служить материалом для истории нашего «смутного времени».

Как я ни старался сжимать изложение и сокращать выписи из дневников, мне не удалось закончить свои воспоминания во втором томе. Я должен был прервать их на весне 1922 г., моменте моего исхода из Советской России. Остается еще заграничный период моей жизни, описание которого я намерен закончить моментом исхода из гитлеровской Германии (1933). Эта заключительная часть войдет уже в третий и последний том «Книги жизни», где будет помещен и отдел «Размышлений».

*Рига, Лесной парк
Май 1935*

КНИГА СЕДЬМАЯ

ГОДЫ ПОГРОМОВ И ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(Вильна, 1903—1906)

Глава 41

Гомель и Вильна (июнь—декабрь 1903)

Приезд в Вильну. — Летний слет близ Гомеля. Встречи с реликвиями прошлого и политической молодежью. — Устройство гнезда в Вильне и улет птенцов. — Беседа с инакомыслящими (Бунд) и первое размежевание национальной и классовой политики. — Гомельский погром и «страшные дни» в виленской синагоге. — Встреча с д-ром Кантором. — Окончание первого тома «Всеобщей истории евреев»; глава о возникновении христианства в первой редакции.

18 июня 1903 г. мы приехали в Вильну. Вследствие летнего разъезда на дачи, мы лишены были помощи знакомых при устройстве нового гнезда. Мы временно приютились в свободной квартире известного сиониста Исаака Гольдберга на Виленской улице, так как семья его уехала на лето за границу. Посещали мы его брата, сиониста-писателя Бориса, жившего в пригородной дачной местности Зверинец. Там я встречался с первыми революционными сионистами из недавно возникшей рабочей партии «Поале Цион»³⁷⁴. Молодые люди радовали меня своим бодрым настроением и готовностью к самообороне против погромов, но мне казалось, что чрезмерно развитый в них классовый дух несовместим с всенародным принципом в программе сионизма.

Две недели прошли в поисках квартиры. Это было чрезвычайно трудно в городе, где дома на узких и кривых улицах старого центра, среди шума и духоты, были совершенно непригодны для спокойной умственной работы. Наконец мы нашли квартиру в верхней части города, на Большой Погулянке, недалеко от крутого спуска этой улицы по направлению к центральным улицам, Завальной и Трокской. В одном из домов, построенном по правилам новой архитектуры, мы наняли в верхнем этаже квартиру из пяти комнат с большим кабинетом, с балкона которого открывался вид на нижний старый город до замыкающих его высот Замковой горы. Крайне утомленный от недавних переживаний на юге и от трудностей переселения, я не мог думать о немедленном возобновлении прерванных работ. Поэтому я в начале июля, оставив семью в Вильне, уехал на отдых в Полесье, куда звал меня мой старый друг и дачный устроитель М. Каган.

На этот раз я поселился не в усадьбе с лесопильней близ Речицы, а в дачной местности близ Гомеля, главной резиденции Кагана. В этом дачном пригороде, под названием Чонка, среди соснового леса на высоком берегу Сожа понастроили себе много дач зажиточные гомельские евреи; здесь жили семьи их в летние месяцы, образуя сплошной поселок родственных или знакомых семейств. Шумно было среди нагроможденных дачных домиков, среди дамского говора и детского крика, суетного летнего безделья, в лесу, где поминутно можно было наткнуться на гуляющих дачников. Я попал сразу в шумный круг родственников, друзей и знакомых, мешавших мне беседовать с лесом, рекою и полем на непонятном для других языке.

Хозяин нашей обители, М. Каган, уехал тогда за границу для лечения и оставил меня в компании, где лишь немногие могли меня интересовать.

Были, однако, случайные интересные встречи. В Чонке я встретил своего родственника Саула Гурвича³⁷⁵, которого не видел больше двадцати лет, со времени его отъезда из Петербурга. С тех пор он почти оторвался от литературы и вел обывательскую жизнь в провинциальном украинском городке Глухове, где устроил маленький кредитный банк. Теперь он присматривался к новым течениям в еврействе и хотел выслушать мое мнение. Из наших бесед в чонкинском лесу я вынес впечатление, что он ищет пути среди различных направлений. Политический сионизм привлекал Гурвича лишь условно: если это движение гарантирует скорое практическое разрешение еврейского вопроса; духовный же сионизм и мой автономизм были ему, как практику, просто непонятны, и он долго допрашивал меня, какую пользу может из них извлечь отдельный еврей в ближайшее время. Меня очень сердил тогда этот узко практический подход к сложной исторической проблеме. Через несколько лет, когда он очутился в более культурной берлинской среде, он несколько шире поставил проблему, но опять-таки альтернативно: или сионизм устранил и житейское горе еврея, и опасность ассимиляции для еврейства в целом, или же нужно мириться даже с самой крайней ассимиляцией, чтобы избавить от страдания будущие поколения.

Когда через несколько лет появились нашумевшие статьи Гурвича «К вопросу о существовании еврейства» («Kium hājahadut», 1907), некоторые обвинили его в союзе с миссионерами, желающими оскластить евреев крещением. Такое подозрение было, конечно, бессмысленно по отношению к человеку, который по своему воспитанию был соткан с идеалами иудаизма. Он, напротив, забил тревогу потому, что, очутившись в Берлине, сам ужаснулся перед чудовищным ростом ассимиляции, до крещения включительно, и думал, что это неизбежно везде, если сейчас не подоспел скорая помощь. В письмах я упрекал его только в том, что он слишком упростил культурную проблему и свел ее к бухгалтерскому расчету.

Одну реликвию еще более ранней юности увидел я в то лето. Сижу однажды в субботу утром на балконе нашей дачи и прислушиваюсь к звукам еврейского богослужения, доносящимся из соседней дачи, где собралась группа молящихся. Меня привлек голос кантора, звучавший искренним религиозным чувством, и я спросил, кто это. Мне ответили: содержатель аптеки в Гомеле Эфрат. Оказалось, что это бывший смотритель казенного еврейского училища в Мстиславле Моисей Эфрат, у которого я учился в 1874 г. (т. I, гл. 8). В тот же день я увиделся с ним. Он, кажется, имел смутное представление о тождестве известного ему писателя Дубнова с одним из мальчиков, учившихся у него в мстиславской школе тридцать лет тому назад, и был очень тронут, когда я установил это тождество. Я же был глубоко взволнован встречей с человеком, который на заре моей юности казался мне красивым символом просвещения. Вспомнились фигуры молодого учителя и его жены в саду при училище, где мы резвились на переменах между уроками, мое первое приобщение к русскому образованию, все очарование тех дней, «когда мне были новы все впечатленья бытия». Мы сидели на скамье в лесу и беседовали о пережитом за три десятилетия. Бывший мстиславский «апикойрес» оказался сионистом и вместе с тем религиозным человеком. Потеряв службу в закрывшемся еврейском училище, он поступил на фармацевтические курсы и сделался аптекарем. После лесной беседы мы расстались с взаимными обещаниями свидеться в Гомеле, но нам не суждено было больше встретиться. Когда я в следующем году приехал в Гомель, то узнал о смерти аптекаря Эфрата.

Людской шум разлучал меня с природой. Я скучал среди праздной дачной толпы и делал экскурсии в разные места поблизости. Несколько дней провел у родственников в Гомеле и Новозыбкове. Большой русской деревней показался мне старообрядческий город Новозыбков, где за короткое время выросла значительная

еврейская община. Я встретился там с бедным еврейским учителем, С. Л. Цитроном³⁷⁶, который занимался также писанием повестей и журнальных статей. Он был в числе тех, которых когда-то коснулась очищающая метла Критикуса в «Восходе», и я заметил в разговоре, что он еще хранит чувство обиды на меня. Позже он сделался бойким газетным работником (в виленской газете «Газман») и автором анекдотических мемуаров.

Когда я возвратился из своих экскурсий в Чонку, обстановка там несколько изменилась. Приехали погостить Ахад-Гаам с дочерью³⁷⁷, провели пару дней Б. Гольдберг из Вильны и знакомый из Одессы, молодой Соломон Поляков³⁷⁸, побывавший в Париже и позже ставший талантливым журналистом под псевдонимом Литовцев. Наша группа прибавила немного общественного шума к обывательскому шуму кругом. С отъездом гостей я остался на даче вдвоем с Ахад-Гаамом. Мы жили в одной комнате, ежедневно гуляли по лесу, ходили к пароходной пристани для получения газет и писем. Разговоры вращались вокруг волнующих событий дня: поездки Герцля в Петербург для переговоров с Плеве и его предстоящих заявлений на конгрессе сионистов в Базеле. Все это переплеталось с неулегшей еще общественной тревогой, вызванной кишиневским погромом, и с предчувствием новых бед, которые вскоре разразились в месте нашего летнего отдыха, в самом Гомеле.

В середине августа я вернулся в Вильну. Лихорадочно строилось новое семейное гнездо в просторной квартире на Погулянке, столяр прилаживал высокие книжные шкафы к двум длинным стенам кабинета; манила перспектива долгих лет работы в этой научной лаборатории. Но в первые же дни птенцы улетели из семейного гнезда: старшая дочь уехала в Петербург³⁷⁹ для поступления на Высшие женские курсы (Бестужевские), а младшая в Новозыбков для обучения в последнем классе гимназии; остались мы с сыном-гимназистом. Это был первый случай разлуки в нашей семье, радостный для молодежи, грустный для старших. Чувствовалось, что единый сложный организм распадается, рвется связь поколений. Хотелось объединиться для работы в своей «лаборатории», но общественность меня завлекла в свой водоворот. Шумели кругом сионисты, только что вернувшиеся из «конгресса Уганды» в Базеле, конгресса «плачущих»³⁸⁰, по ироническому выражению Ахад-Гаама. Понаехали гости из других мест, делавшие останковку в Вильне, расположенной на узле железных дорог. Заехал по пути в Одессу и Ахад-Гаам. Я привлек его к участию в одном собеседовании, которое впоследствии оказалось знаменательным началом расхождения в наших политических направлениях.

Мне передали, что представители тогда еще нелегальной партии еврейских социал-демократов Бунд, главный центр которой находился в Вильне, желают беседовать со мною для выяснения некоторых идеологических вопросов. Не знаю, интересовала ли их моя теория автономизма и отношение ее к бундовскому проекту национально-культурной автономии или они надеялись на некоторое общее сближение между нами. Я охотно согласился на собеседование в моей квартире, предупредив, что к участию в нем мною приглашен и наш гость Ахад-Гаам. В условленный вечер, 31 августа, в мой кабинет вошли поодиночке четыре или пять человек, назвавшихся конспиративными именами, так что настоящих имен я и до сих пор не знаю; полагаю, однако, что между ними были члены центрального комитета партии. Конспирация была естественна, ибо за вождями Бунда усердно шпионила полиция, и появление группы их в одной квартире могло навлечь беду и на них, и на квартирохозяина. С тем большей предупредительностью принял я своих таинственных гостей. Их бледные интеллигентские лица, на которых лежала печать политического мученичества, расположили меня к ним. Тихо велась наша беседа. Ахад-Гаам почти не участвовал в ней; он только внимательно слушал, сидя на диване, и непрерывно курил. Он заранее считал всякое соглашение невозможным, да и бундисты, по-видимому, не возлагали на него больших надежд. Я вел с ними систематическую беседу и к концу формулировал наши разногласия в двух основных пунк-

тах: как историк я не могу разделять учение исторического материализма, которое, по моему мнению, в особенности противоречит выводам еврейской истории; как публицист я нахожу, что обостренная классовая борьба внутри еврейства несовместима с национальною в момент, когда наш народ как целое подвергается нападению и должен защищаться тоже как целое против общего врага. Было ясно, что нам не сойтись. Поздно вечером мои гости тихо ушли, опять поодиночке, через парадный и задний ход, чтобы не обратить на себя внимания полиции. Мы расстались мирно, установив наши разногласия, пока еще теоретические. Через два года наступила та революция, о которой мы все страстно мечтали, и тут наши разногласия проявились далеко не в мирной форме: вопрос о примате либо классовой, либо общенародной политики разделил нас на два лагеря.

Через два дня после нашей беседы жизнь снова поставила перед нами страшный акт нашей национальной трагедии. Пришли вести о кровавом погроме в том самом Гомеле³⁸¹, откуда я только недавно вернулся. То был второй Кишинев, хотя и меньший по размерам и без его позора пассивности. Еще летом я заметил в Гомеле, что бундовская и сионистская молодежь готовится к самообороне, которая в это время стала популярною в различных слоях общества. Эта самоотверженная молодежь отбила гомельских погромщиков при первой попытке, но должна была отступить при втором приступе перед соединенными силами гомил, полиции и войска. Правительство Плеве заботилось больше об аресте оборонявшихся, чем нападавших, и сулило дальнейшие расправы с евреями за участие молодежи в революции. Все эти вести меня огушили в те дни, когда я готовился к возобновлению прерванной научной работы. Была растравлена еще незажившая рана Кишинева. Наступили дни Рош-гаšana 5664 г., и я почувствовал глубокую потребность быть в эти дни вместе с скорбящими братьями в синагоге. В патриархальной Вильне мне сверх того грудно было бы уклониться от посещения торжественного богослужения. Правление хоральной синагоги «Тагарас гакодеш» отвело мне почетное место у восточной стены, и я снова, как в дни детства, стоял среди верующих общины. В душу проникало грустное пение кантора Бернштейна в торжественном гимне «Унесане токеф», и когда он вопрошал, какой род гибели предначертан каждому в наступающем году, мне казалось, что у каждого из молящихся мелькнула мысль о жертвах недавней резни. Во время поминовения душ («азкара») в Иом-кишпур я настоял, чтобы кантор особо помянул души мучеников Кишинева и Гомеля; он это сделал с опаскою, чтобы это не было сочтено за политическую демонстрацию. Когда он сдавленным голосом произнес: «...и души павших за святость Имени в Кишиневе и Гомеле», синагога содрогнулась от рыданий.

Снова на моем горизонте появилась фигура давно минувших дней. В один сентябрьский день посетил меня д-р А. Кантор, восприимчив моего литературного первенца в Петербурге. Я не виделся с ним с конца 80-х годов, когда он покинул столицу и литературную деятельность и успокоился на посту общественного раввина в Либаве. Мы вспоминали былые дни и нашли, что новые погромы хуже старых. Крик боли вырвался у меня в одной тогдашней записи: «Нет покоя. Работа из рук валится. Хочется кричать от боли, раскрывать эту бездну зла, — какая уж тут спокойная научная работа! Душа истерзана... В Вильне то же, что в Одессе. Не укрыться от общего горя...»

Но я все-таки с большими усилиями втянулся в историческую работу. Ее нельзя было откладывать: кончился уже запас глав «Всеобщей истории евреев», приготовленный еще в Одессе для печатания в приложениях к ежемесячным книжкам «Восхода», и теперь нужно было писать новые главы. В ту осень я писал последний отдел древней истории, главы о римском владычестве в Иудее и национальной войне. Помню, как при описании погрома в Александрии во времена безумного императора Калигулы перед моими глазами носились картины Кишинева, образы российских «префектов» из полицейской армии Плеве и слабоумного Николая II.

Много пафоса было вложено в описание великой национальной войны с Римом, где последний аккорд прозвучал в лапидарной фразе: «Это была не столько героическая победа (римлян), сколько победа над героями». С особенным увлечением писались параграфы о возникновении христианства. Волновали и самая глубина темы, и опасность ее в смысле цензурном. Тут я впервые провел мысль, что первоначальное христианство, как продолжение ессейства, было протестом индивидуализма против национализма и вследствие этого должно было разрушить рамки национальной религии. В позднейших изданиях, при лучших цензурных условиях, я расширял и совершенствовал эту главу, пока она не появилась в окончательной редакции во втором томе «Всемирной истории еврейского народа» (русское издание 1925 г., немецкое 1926 г.).

Глава 42

Японская война и начало «политической весны» (1904)

Война и предчувствие суда над российским Вавилоном. Стихи юной Сивилы. — Работа над вторым томом «Истории». — Виленские друзья. — Летняя поездка в Троки, видения прошлого и тревоги настоящего. Антитезис молодежи. — Убийство Плеве. — Летние дни в Либаве. Поэзия и проза на берегу Балтийского моря. — Объезд родных гнезд и размышления в глухом местечке. — Возвращение в Вильну. Начало «политической весны» и мобилизационные погромы. — Канун революционного года.

В начале 1904 г. вспыхнула японская война. «Уже десять дней, — писал я 4 февраля, — атмосфера насыщена военной тревогой. Победы японцев на море, гибель русских судов, растерянность правительства. Теперь общее возбуждение, патриотические манифестации, воинственные клики. Даже студенчество славословит „мировую роль“ России. В день патриотических манифестаций группа интеллигентов хоронила умершего вождя Н. Михайловского, и вздох свободы был заглушен грубым кликом войны... Еврей видит теперь простертую с театра войны руку, чертящую „Мене Текель Уфарсин“³⁸². Это расплата за кровь Кишинева и Гомеля, за стоны миллионов париев. Древние пророки так облегчали себе душу, размышляя о судьбах Вавилона...»

Эта пророческая дума о высшем суде над преступным государством явилась у меня и у моей дочери Софии, учившейся тогда на Высших женских курсах в Петербурге. Она написала и прислала мне стихотворение, которое я озаглавил «Новому Гаману»³⁸³. Под Гаманом подразумевался всесильный министр Плеве, попуститель кишиневского погрома, который хотел «утопить русскую революцию в еврейской крови». В стихотворении изображен момент, когда в темной душе Плеве «зрел чудовищный план преступленья» и он заранее торжествовал победу над евреями:

*Я спущу на вас стаю голодных зверей, дикой злобе расчищу дорогу,
И рабов моих верных послушную рать тем зверям я пошлю на подмогу...
Все последние искорки я погашу, чтобы ночь над страной настала.
В этой тьме не увидят той властной руки, что зверей на арену послала...*

Поэт отвечает коварному тирану:

*Ты ошибся, налад. Пусть сгущается мрак, своего ты не скроешь позора.
В этой жуткой ночи свет мерцает вдали: то немеркнущий свет приговора...
Вспомни старую дивную повесть: в тот час, как безумец другой,
Над святыней глумясь, восседал среди шумного пира,*

*Чей-то перст роковые чертил письменна,
А по стограм, молчащим в объятиях сна,
Тихо двигались полчища Кира...*

Царский Вавилон, наказанный японским Киром за пленение евреев, штурм Порт-Артура как возмездие за погромы Кишинева и Гомеля — эту пророческую думу мне хотелось провести контрабандою в печать мимо аргусов цензуры. Я послал стихотворение в редакцию «Восхода» для напечатания в еженедельном издании, в том номере, который должен был выйти в Пурим, для того чтобы титульная маска «Гаману» подходила к этому празднику. Песнь 19-летней Сивиллы³⁸⁴ была напечатана за ее подписью в № 7 недельного «Восхода», но обмануть цензуру не удалось: она угадала в «Гамане» намек на Плеве или даже на Николая II, а в «полчищах Кира» карающую руку японцев — и конфисковала номер. Пришлось его перепечатать с пропуском запрещенного стихотворения. Через несколько месяцев Плеве был разорван бомбою Сазонова³⁸⁵ на площади Варшавского вокзала в Петербурге, и соредактор «Восхода» Тривус, встретив мою дочь, воскликнул: «Ведь вы ему напророчили эту беду!» Однако сама пророчица еще раньше пострадала: она вместе с другими «революционерками» была исключена из Высших курсов за участие в протесте студентов против профессоров, подписавших патристический адрес правительству. В апреле цензурная кара постигла и «Восход»: еженедельник был по распоряжению министра внутренних дел приостановлен на полгода «за вредное направление», и только ежемесячные книги продолжали выходить в увеличенном объеме.

Ярость правительственной реакции, однако, не так угнетала, как прежде. Чувствовалось приближение карающей руки: «Чей-то перст роковые чертил письменна». В конце апреля я писал: «За то, что ты всех топил, топят теперь тебя» (изречение Мишны). Японцы потопили красу русского флота броненосец «Петропавловск» с командой и нанесли русской армии еще целый ряд поражений. И я спрашивал: «Готовится ли новый Севастополь³⁸⁶, будут ли последствия его для внутренней жизни такие же, как полвека назад?» Историческое чутье подсказывало, что будут реформы, если не революция. В ожидании кризиса российского «третьего Рима» я уходил в эпоху второго Рима, с увлечением писал о росте Византии, предшественницы православной Руси. В общественной жизни было затишье перед грозой, и я мог в этот промежуток спокойно работать и аккуратно доставлять главы второго тома «Истории» для ежемесячных книг «Восхода».

В Вильне у меня не было своего литературного кружка, как в Одессе. Были только частые встречи с представителями местной интеллигенции. Моим соседом был Борис Александрович Гольдберг, живший в том же доме на Погулянке. Работая полдня в правлении торгового дома Сегалы (фирма аптекарских товаров), он все свободное время отдавал сионистской работе и порою писал по-русски или по-немецки статьи по экономическим вопросам. Сионизм не мешал ему заниматься «работою голуса», и он был непременным членом различных общественных организаций. Мягкий и незлобивый по натуре, он везде стремился к примирению партий. Помню его частые вечерние посещения, когда он мне передавал все городские новости и политические сообщения приезжих из Петербурга и других центров; мы с ним часто совещались по общественным вопросам, сходились в собраниях и заседаниях.

Противоположностью спокойному и уравновешенному Гольдбергу был другой мой сосед по Погулянке, бурный и говорливый Шмарья Левин³⁸⁷. Он в это время переселился из Екатеринослава в Вильну и занял здесь пост проповедника при хоральной синагоге. Из Германии, где он получил свое высшее образование, он привез вместе с титулом доктора роль проповедника нового типа, но он был гораздо оригинальнее своих германских образцов. На хорошем народном идише он искусно

связывал цитаты из библейского текста, Агады и Мидраша, приправлял их перцем собственных острот и анекдотов и воодушевлял слушателей этой смесью пафоса и остроумия. В частной беседе он был неистощимым в импровизациях мыслей и анекдотов. Раз навсегда прижкнув к сионизму, он остался в этой области догматиком, не допускавшим никаких отклонений от «генеральной линии» партии, что в связи с его оригинальным ораторским талантом сделало его впоследствии шефом партийной пропаганды. Спорить с ним было невозможно: он оглушал противника каскадом слов, не давая ему даже возможности высказаться. Мы поэтому избегали споров и вели мирные беседы в те вечера, когда он приходил к нам, часто вместе с другими соседями. Был у нас один раз в неделю и сборный пункт — в доме старшего Гольдберга, Исаака Александровича, одного из тех сионистов, которые мало говорят и много делают. В пятничные вечера мы сходились в его большой квартире на Виленской улице. Туда приходили некоторые виленские «маскилим»; из них самым симпатичным был А. Найшул³⁸⁸, член общинного правления. Частыми посетителями этих вечеров были проезжавшие через Вильну общественные деятели. Беседовали о политических и литературных новостях, слушали остроты Ш. Левина и к полуночи мирно расходились по домам.

Из других виленских встреч упомяну о старике Йошув Штейнберге³⁸⁹, реликвии первой эпохи Гаскалы. Он был цензором еврейских книг, инспектором еврейского Учительского института и лексикографом, составителем известных еврейских словарей. Как чиновника, особенно цензора, Штейнберга не любили и в ортодоксальных, и в либеральных кругах, но собеседник он был интересный. Он был очень польщен моим визитом и добродушно напомнил мне, что в одной из своих статей я крепко пожурил его за казенное отношение к еврейскому образованию. При всем различии наших воззрений мы дружески беседовали, преимущественно о прошлом; он был живой историей виленской Гаскалы, зять поэта Лебенсона-отца, товарищ рано погибшего Лебенсона-сына, стихи которого он перевел на немецкий язык. Я его уговаривал писать воспоминания, но когда он через пару лет взялся за них и написал одну главу, она оказалась очень сухой, как казенный рапорт. Он был лексикограф, а не литератор. Ему было около 75 лет, и тем не менее он был еще очень бодр, имел молодую жену и маленькую дочку и не отрывался от своих работ по составлению словаря и грамматического комментария к Библии. Через несколько лет старец посетил меня в Петербурге. Мы говорили о продолжении его воспоминаний, но это было уже незадолго до его смерти.

Встретил я в Вильне и своего старого петербургского противника, Файвеля Геца, который двадцатью годами раньше ругал меня в немецкой прессе за мои статьи о реформах и, в свою очередь, получал крепкие пинки от Критикуса в «Восходе». Теперь Гец состоял «ученым евреем» при попечителе Виленского учебного округа и свой ортодоксизм демонстрировал официально. Тем не менее мы, оставаясь идейными противниками, встретились без неприязни. Я даже не очень сердился на него, когда узнал, что он представил своему начальству неодобрительный отзыв о библейской части моего «Учебника еврейской истории». Автор, докладывая он, приводит библейские предания каждый раз с оговоркой, что Библия так рассказывает, оставляя открытым вопрос, считает ли он сам эти предания истинными, а это не годится при преподавании «Закона Божия» в школе. Виленский попечитель поэтому не допустил моего учебника в школы своего округа, вопреки одобрению этой части со стороны ученого комитета Министерства просвещения. Гец был не только строгим ортодоксом, но и крайним политическим консерватором, и мы еще увидим его в смешной позе во время революции 1905 г.

Поэтическое воспоминание осталось у меня от одной летней экскурсии, сделанной в короткий промежуток между трудовыми днями. Мне хотелось уехать на пару дней и отдохнуть в местности, где «дивно сочетались природа и история»: в древнем еврейско-караимском городке Троки, в двух часах езды от Вильны. В солнеч-

ное июньское утро я подъехал на лошадях к Трокам, остановился в мезонине старой гостиницы, близ главной достопримечательности города — разрушенного замка великих князей литовских. В сопровождении местного аптекаря я бродил по сонному городку и его окрестностям. Не могу иначе передать свои впечатления, как лаконическими фразами тогдашней записи: «Тихий, уснувший городок. С моим чичероне начал обход. Зашел к караимскому хазану. Час-полтора в разговорах о караимстве в Троках, о древностях. Был рядом в кенассе (синагоге караимов), которая теперь ремонтируется*. Караимщизна (караимский квартал) дремлет среди огородов и садов, спускающихся позади домиков к озеру. Потом мы пошли на караимское кладбище, над которым витеает тень пяти веков. Древние надгробные памятники вросли в землю, и надписи стерты... Городской сад на горе, над озером, катание по озеру, к развалинам древнего замка на островке... Полтора часа дивных, незабвенных впечатлений. Я слышал вздохи древней Литвы, плач соловья в роще, окружающей развалины замка. Я чуял грусть умирающей культуры. Купался в потоке лучей заката, зажигших это дивное озеро, упивался ароматом воздуха, пахнущего крепким медом. Я жил в XV в., говорил с тенистыми дубами, дубовыми людьми, видел блуждающие тени моих предков среди этой мужицко-княжеской обстановки. Что-то создавалось здесь пять веков назад, при Витовте³⁹⁰. А теперь остались пни, обломки. Бегут из страны, служившей с 1388 г. приютом для гонимых. Тихое Трокское озеро и бурная даль океана — какие концы!»

В это время предо мною впервые встал, в непосредственной близости, вопрос об антитезисе молодого поколения. Я сам в юности прошел полосу антитезиса, даже очень резкого, но когда после долгой внутренней борьбы у меня установился синтез гуманизма и национализма, он мне казался естественным достижением нашего переходного поколения, которое обязано его передать идущей нам на смену молодежи. Мы были уверены, что молодое поколение примет наш новый, в муках рожденный, синтез как основу для дальнейшего развития своего мирозерцания. Но вот нам приходилось наблюдать, что наш национальный синтез, воспринятый одною частью молодого поколения, является для другой части таким же отжившим тезисом, каким был для наших реформаторов действительно устарелый режим былых веков. Та молодежь, которая не успела спастись от потопа ассимиляции в тесном ковчеге партийного сионизма, очутилась в опасном положении. Родители из близких мне кругов руководящей интеллигенции с ужасом наблюдали, как выстраданные ими убеждения казались их подросткам детям чем-то отжившим. Часто идеология этих руководителей, воспринятая широкими кругами общества, отвергалась или игнорировалась близкими, своими. Вопль таких разочарованных отцов нашел отклик в следующей моей записи (июнь 1904): «Как страшно разочароваться в детях! Следить с первого дня за ростом дорогой души, отдавать силы, внимание, покой этому семени будущего, видеть себя лучшим, более совершенным в детях — и потом убедиться, что все это самообман, что любой прохожий может разрушить эти надежды, угасить возвышенный дух тлетворным дыханием улицы, — как это больно! Устоят ли наши дети в героической борьбе за еврейство при слабости нравственного императива, при модном эстетизме, отрицающем наш национальный этизм? Ведь тут не антитезис идей, а нравов...» Мне вспомнилась судьба семьи Мендельсона и «берлинского салона»³⁹¹.

* Помню, как в приделе этой молельни застал помощника хазана, который переписывал какой-то старый манускрипт. Оказалось, что это апология иудаизма против христианства «Хизук эмуна», написанная в XVI в. рационалистом Исааком Троки³⁹². На мое замечание, что эта книга уже давно издана за границей (в России она была запрещена), переписчик ответил, что караимы ценят больше всего рукописные копии и покупают их охотнее, чем печатные книги. То же высказал мне когда-то и караимский хахам Савускан в Одессе, когда я застал его у сундука, наполненного рукописями. Это характерно для «народа Писания», застывшего на букве священных книг. Караимы имели мертвую письменность, а не живую литературу.

От нравственного одиночества спасало меня, как всегда, общение с духом Истории. Я писал непрерывно и летом кончил «Восточный период». 15 июля в три часа дня, когда я сидел за обедом, мне с улицы принесли весть, что утром убит в Петербурге Плеве. Люди передавали друг другу это известие как радостную новость: пал Гамац, злой гений России. Чувствовалось, что этот террористический акт, в связи с поражениями на Дальнем Востоке, вызовет перелом во внутренней политике...

Крайне утомленный, я уехал на летний отдых. Я принял приглашение семьи И. А. Гольдберга погостить у них в Либаве, на приморской даче. 21 июля я уже стоял на пляже Балтийского порта и смотрел на высоко вздымающуюся грудь бурного моря. В Либаве я очутился в кругу старых и новых знакомых. На Кургауштрассе, где мы жили, сошлось несколько членов исполнительного комитета сионистской организации: постоянный житель Либавы сионистский министр финансов Н. Каценельсон¹⁹³, гостившие там д-р Г. Брук и Белковский. Наши разговоры вращались главным образом вокруг недавней смерти Герцля и раскола в сионистской партии. Скоро вся эта группа уехала на партийное совещание в Вену, и кругом затихли политические разговоры. Я вел мирные беседы с старым другом А. Кантором, проповедником онемеченной еврейской общины в Либаве. Он в это время носился с планом переселения в свою родную Вильну, чтобы занять вакантный пост общественного раввина, и я очень поддерживал этот план приращения нашего виленского кружка.

Мой летний отдых на берегу Балтийского моря был однажды омрачен картиной, которая открылась передо мною на этом же берегу. С некоторыми знакомыми я однажды пошел в либавский порт, чтобы видеть отправку большого парохода с еврейскими эмигрантами в Америку. Местные агенты пароходной компании Кни и Фальк показывали нам все помещения парохода для того, чтобы мы убедились в его благоустройстве, но я вынес иное впечатление. Несколько сот эмигрантов были сдавлены в межпалубных каютах-клетках, расположенных ярусами; люди были буквально упакованы, как вещи в чемоданах; мужчины, женщины и дети имели испуганный вид, женщины плакали, и порою казалось, что это — баржа, отвозящая приговоренных к каторге преступников. А между тем эти либавские пароходы в течение десятков лет везли через океан наше будущее, наших братьев, искавших в Новом Свете свободы и хлеба и создавших за полвека величайший центр нашей диаспоры. Больно было смотреть на эти муки рождения новых центров, но пусть будут благословенны эти страдалцы, создатели еврейской Америки, которая потом не раз спасала от гибели свою мать, европейскую диаспору.

В августе я попал в свои старые летние гнезда. Проведши несколько дней в Чонке, в обществе М. Кагана и Ахад-Гаама, я затем поехал на пароходике по Сожу к дяде в Пропойск, чтобы в этой глуши отдохнуть от прежнего шумного отдыха. Памятна мне эта неделя добровольного пропойского пленения, последнего посещения родного края. Грустные, часто пасмурные дни позднего лета. Тихие прогулки в запущенном «графском» парке или по загородному шоссе. На улицах и в домах местечка следы военного времени: страх перед мобилизацией и массовое бегство в Америку. Даже дядя Бер потерял прежнюю веселость. Я много передумал в эти дни уединения. «Думалось о будущих работах, и остающиеся годы жизни верстались по ним. Мне скоро минет 44 года... Но впереди не видно личных радостей, осуществленных идеалов, сбывшихся надежд... В общественной жизни, может быть, взойдет бледная заря, но мне не дожидаться полного рассвета. И остается одно: окончить труд жизни, труд о прошлом для будущего, и „когда для смертного умолкнет шумный день“, отойти в мире, как пахарь от нивы своей. И в этот тихий августовский вечер в заброшенном уголке земли мне слышится голос: довольно терзаться! Пора смотреть на жизнь спокойнее, под углом зрения вечности. Стань у своей борозды и воздвигай ее, вложи в работу весь жар души, ищи в ней то, чего

не дала тебе личная жизнь, а когда тебя призовет Пославший тебя, иди и скажи: я готов, я свое дело сделал». Не думалось мне, когда я давал этот обет, что я уже стою на пороге великих переворотов, которые наполнят вторую половину моего земного странствия большими тревогами, чем прежде, и что мне придется сильно бороться за право спокойной работы «у своей борозды»...

Когда я в конце августа вернулся в Вильну, мне уже на вокзале сообщили крупную новость: виленский генерал-губернатор, либеральный князь Святополк-Мирский³⁹⁴ назначен министром внутренних дел. Заговорили о широких реформах, о желании правительства примириться с обществом после ненавистного режима Плеве. Приближалась так называемая «политическая весна», но в воздухе еще вили злые зимние ветры. Военные поражения на Дальнем Востоке, непрерывные мобилизации и мобилизационные погромы (нападения резервистов на евреев во многих городах) — все это волновало, угнетало душу. Я старался исполнить обет, данный в августовский вечер в глухом местечке: всю осень и часть зимы работал непрерывно над окончанием второго тома «Истории», средневекового периода. Как раз в дни мобилизационных погромов в России я писал о погромах цивилизованных крестоносцев XI и XII вв. «История повторяется, — писал я в дневнике. — Логика изуверов, что нужно разделаться с „внутренними врагами“ прежде, чем идти против внешних, сказалась и тут... Безумное время. Печать, поощренная словами Святополка-Мирского, говорит о правовом порядке, свободе, равенстве национальностей, а народ творит свое безобразное дело. Разбирающийся теперь в Гомеле процесс раскрывает ужасы прошлых погромов... Что же дальше? Найти забвение в историческом созерцании теперь нельзя: звуки прошлого и настоящего сливаются в один страшный аккорд. Тревоги дня, газеты, беседы, вечерние гости, приезжие посетители — все переносит из ада прошлого в ад современности». В ноябре я писал: «Перипетии „весны“ Святополка-Мирского, признаки поворота к прежней репрессивной системе, политические демонстрации, земские резолюции, погромы, гомельский процесс, океан горя, капли радости...» В декабре настроение еще больше понизилось. Грубый окрик Николая II против намеков на конституцию в либеральных земских резолюциях и манифест 12 декабря, где намечались бюрократические, а не социальные реформы, окатили общество холодной водой. «Реформу при помощи общества грубо оттолкнули и таким образом предоставили решение вопроса революции», — писал я под конец 1904 г. Революция стояла у порога.

Глава 43

Революция и резолюции. Союз полноправия (январь—июль 1905)

Красное воскресенье в Петербурге. Революционное движение и резолюционный штурм. — Неудавшаяся попытка демократического объединения. — Учредительный съезд Союза полноправия в Вильне. Мой доклад и формула «национальных прав» в программе Союза. — Обыск и арест в нашей квартире. — Пасха, житомирский погром и моя неподанная записка-протест на имя Витте. — Попытка объединения национальных меньшинств. — Протест против предполагавшегося лишения евреев избирательных прав. — Лето в Верках. Былое и думы в дни революционной грозы.

Начало революционного года застало меня в напряженной работе над последними главами второго тома «Всеобщей истории евреев». Тут пришла в Вильну весть о кровавом воскресенье 9 января в Петербурге. «Как будто канун революции, — писал я на другой день. — Сегодня началась и в Вильне забастовка (рабочих), которая, вероятно, пойдет по всей Руси... Каждый день может принести не-

что чрезвычайно важное». Зашевелилось и еврейское общество. Из Вильны решили послать в Петербург уполномоченных на совещание о способах борьбы за равноправие. Выбрали меня, Шмарью Левина и Б. Гольдберга. Однако нам ехать не пришлось, так как наши петербургские политики решили послать в провинциальные центры своих уполномоченных для обсуждения вопроса на местах. 22 января я, до крайности утомленный длительной исторической работой, закончил ее и окунулся в общественную деятельность.

31 января 1905 г. я отметил: «Как много пережито в последние недели!» С одной стороны летали царские пули в бастующих рабочих и демонстрантов и царские окрики против «бунтующих» либералов, требующих конституции, а с другой — все громче звучали эти требования в общественных собраниях, в массе петиций и резолюций, принятых союзами писателей, адвокатов, инженеров, студентов. Образовалась Конституционно-демократическая партия (к.-д.), а рядом с нею выступали из подполья левые организации. Еврейская интеллигенция участвовала в политических манифестациях всех партий, но «еврейский протест утонул в общем» (мое выражение в той записи). И мне не давала покоя мысль о необходимости особого еврейского протеста наряду с участием евреев в общем протесте.

В феврале оппозиционное или революционное движение охватило уже все еврейское общество. Революционный террор (убийство московского генерал-губернатора, великого князя Сергея³⁹⁵ и других) заставил Николая II пойти на уступки. Было назначено «особое совещание» (булыгинское)³⁹⁶ для выработки проекта конституции и разрешено всем слоям населения обращаться туда с петициями. Пошел петиционный и резолюционный штурм наряду с революционным. Он застал еврейское общество уже готовым к бою. В обеих столицах и в провинциальных центрах горячо обсуждались проекты резолюций с умеренным или резким протестом против еврейского бесправия. Впереди шел Петербург. В «баронских» кругах (барона Гицбурга) был составлен умеренный проект петиции и рассылался в крупнейшие общины для собирания подписей. Мы обсуждали этот проект в Вильне, в многолюдном собрании общественных деятелей под председательством д-ра А. Кантора (он уже переселился в Вильну). Мне не понравился тон петиции, где вместо требования права и справедливости доказывалось, что евреи полезны для государства, а преследование их вредно. Я долго разъяснял собранию, что мы теперь должны явиться к правительству как обвинители, а не как обвиняемые. Большинство высказалось за подписание петиции, а я с меньшинством отказался ее подписать. Через несколько дней происходило другое собрание, где обсуждался привезенный из Петербурга более радикальный проект декларации для опубликования в прессе. Привез его, помнится, молодой адвокат Я. Г. Фрумкин³⁹⁷. С основным текстом этой декларации я согласился, но настаивал на включении в него требования национальных прав рядом с гражданскими и политическими. После долгих прений моя поправка была принята. В моей записи значится: «Любопытны были прения представителей разных течений: националистов, ассимиляторов, бундовцев».

При этой общественной дифференциации естественно было подумать о создании еврейской демократической партии. Инициатива исходила и тут из Петербурга, от Л. М. Брамсона и его друзей, стоявших на левом фланге еврейской оппозиции. Он прислал доктору Ц. Шабаду³⁹⁸ и мне программу новой организации с предложением устроить в Вильне местный отдел и послать в столицу делегата на учредительный съезд партии. Мы несколько вечеров обсуждали это предложение вместе с представителями Бунда (помнятся имена Гожанского³⁹⁹ и Ленского⁴⁰⁰). По обыкновению шли горячие прения; я с общими пунктами демократической программы согласился, но крайняя скудость национального элемента в ней внушала опасения, что в партию проникнут ассимиляторы. Мне предлагали поехать делегатом на учредительный съезд партии в Петербург и там отстаивать свои поправки, но меня

удержала от поездки научная работа. Выяснившиеся из наших дебатов разногласия могли быть улажены на съезде. Вся затея кончилась организацией небольшой «Еврейской демократической группы» с центром в Петербурге, куда входили потом, кроме Брамсона и А. И. Браудо, мои бывшие одесские противники Бикерман и Сакер. Д-р Шабад был представителем группы в Вильне. Мне же предстояло участвовать в образовании более широкой надпартийной организации, о которой сейчас расскажу.

В 20-х числах марта из Петербурга и других больших городов прибыли в Вильну представители еврейской интеллигенции с целью создать народный союз для участия в общем освободительном движении. Инициаторами дела были столичные адвокаты, члены «Союза защиты»⁴⁰¹, ранее организованного для защиты еврейских интересов в судебных процессах, возникших в связи с погромами в Кишиневе и Гомеле. Цельный штаб адвокатов был мобилизован на эти процессы с целью доказать ответственность правительства за погромы. Адвокаты, превратившиеся в прокуроров, действовали особенно энергично в гомельском процессе, где им пришлось защищать евреев, обвинявшихся в самообороне; после долгой борьбы с произволом председателя суда, мешавшего их разоблачениям, все они демонстративно покинули зал суда с мотивированными резкими заявлениями, звучавшими как обвинительный акт против правительства. Эта политическая манифестация, происшедшая накануне революции (конец декабря 1904), сделала популярными имена вождей «Союза защиты»: Винавера, Слиозберга, Брамсона, М. Ратнера. Теперь эти вожди прибыли к нам, чтобы вместе с представителями различных партий учредить обще-еврейский союз для борьбы за равноправие.

Тут я впервые лично познакомился с Максимом Моисеевичем Винавером, с которым издавна переписывался по делам Историко-этнографической комиссии. Человек небольшого роста, с высоким лбом над глубоко сидящими пронизательными глазами, с ясно убедительною речью и редким умением не только говорить, но и слушать, глубоко проникать в строй чужих мыслей, Винавер сразу произвел на меня впечатление политического вождя по призванию. Мне стало понятно, почему он занял такое видное место рядом с Милюковым⁴⁰² в новой русской Конституционно-демократической партии, главной двигательнице оппозиции 1905 г. Его политический ум и такт проявились уже в ведении нашей конференции, председателем которой он был избран. В ней участвовало 67 делегатов самых разнообразных направлений и темпераментов, и Винавер умел управлять этим пестрым собранием, успокаивать страсти, сглаживать шероховатости и в своем резюме прений создавать почву для примиряющего синтетического решения. Его речи были обаятельны не по пустому блеску красноречия, а по ясности плана и покоряющей логичности доводов; отдельные лапидарные выражения врезывались в память. Рядом с ним Генрих Борисович Слиозберг производил впечатление горячего адвоката еврейства, отличного законоведа, знающего все извилины «русского законодательства о евреях» и привыкшего бороться с ним в министерских канцеляриях и сенатских заседаниях. В отличие от политического деятеля Винавера, Слиозберг был больше общественным деятелем. Он был ходатаем перед властями, против которых Винавер организовывал оппозицию. Слиозберг примыкал к правому крылу кадетской партии, где Винавер принадлежал к центру. Левее стоял Леонтий Моисеевич Брамсон, позже член партии «трудовиков» в Государственной Думе. Еще далее влево стоял молодой киевский адвокат Марк Борисович Ратнер⁴⁰³, примыкавший к партии со-

* В моей слишком беглой характеристике деятельности Г. Б. Слиозберга в одной из предыдущих глав (том I) не отмечена эта главная его роль: в течение десятилетий он неустанно боролся путем подачи жалоб в Сенат с произвольным толкованием законов во вред евреям со стороны губернаторов и других чинов местной администрации. Таким путем «адвокату еврейства» удавалось не раз предотвращать массовое изгнание евреев из различных мест и отнятые у них и без того ограниченных прав по жительство и промыслам. См.: Слиозберг Г. Б. Дела минувших дней, т. 1 и 2. Париж, 1933.

циалистов-революционеров и к еврейской группе «Возрождение», стороннике автономизма. Сплоченную группу на съезде составляли сионисты: Гольдберги, Ш. Левин, московский раввин Мазэ⁴⁰⁴, В. Темкин⁴⁰⁵, С. Розенбаум, Г. Брук, М. Динзенофф и другие. На съезде я встретил и своих одесских противников из Общества просвещения, Вейнштейна⁴⁰⁶ и Гранова. На крайнем правом крыле стояли ковенский духовный раввин Гирш Рабинович⁴⁰⁷ и Ф. Гец. Отсутствовали только крайне левые, бундисты, которые с тех пор отказывались вступать в междупартийные объединения. Но и без них конференция была достаточно пестрая.

В те дни свобода союзов и собраний еще не была узаконена в России и ее брали «явочным порядком», как тогда выражались, по революционному праву. Мы не заявили властям о нашем съезде, но из опасения вторжения полиции мы устраивали закрытые собрания в квартирах частных лиц, где имелся большой зал; из предосторожности мы несколько раз меняли эти помещения в течение трех дней и трех ночей нашего совещания (25—27 марта). Настроение у всех было торжественное: ведь тут в первый раз собрались послы (правда, не выборные) русского еврейства для решения вопроса о борьбе за равноправие в новом правовом государстве. Впервые языки развязались для свободных политических прений, говорили много и страстно. В первый день обсуждался вопрос об обеспечении еврейского представительства в будущем русском парламенте, и тут полились речи о различных избирательных системах, об отношении к парламентским фракциям и об особой еврейской фракции. Во второй день я читал доклад о задачах нашего будущего Союза. Сущность доклада заключалась в том, что Союз должен добиваться не только гражданских и политических, но и национальных прав для евреев в России. Под национальными правами подразумевались автономия общин, признание прав еврейского языка и национальной школы. Желая утвердить наш Союз на исторической базе еврейской автономии, я сперва предлагал назвать его «Союз еврейских общин для защиты гражданских, политических и национальных прав евреев в России»; я имел в виду, что этот Союз, по окончании своих временных функций по достижению равноправия, может превратиться в постоянный высший орган нашей национально-культурной автономии, в основе которой лежит община. В прениях по моему докладу организационная его часть подверглась критике: возражали, что временная организация для борьбы за право не должна быть связана с будущей реорганизацией нашего внутреннего быта, и я под конец должен был признать справедливость этого довода.

Самые горячие прения шли по принципиальной части моего доклада: о включении «национальных прав» в программу Союза. Одни (мои одесские противники, ассимиляторы и «практики») боялись самой формулы «национальные права» и считали такое требование опасным; они указывали, что этому не было примера и в борьбе за эмансипацию в Западной Европе. Другие полагали, что сперва нужно добиваться только насущного, гражданского равноправия, а заботу о национальных правах предоставить будущему. Я рассчитывал на поддержку сионистов; они меня поддержали при голосовании, но очень мало в дебатах. Помнится, что их минский делегат С. Я. Розенбаум что-то возражал мне по существу идеи автономизма в «голусе»; он тогда не мог еще предвидеть, что ему самому через 15 лет придется строить еврейскую автономию в Литве. Горячо и красноречиво защищал мой проект М. Б. Ратнер, который стыдил и трусливых ассимиляторов, и «отрицателей голуса» из сионистской партии. Нейтральное положение занимала сначала Винавер и его группа, но при голосовании они, как и большинство сионистов, присоединились к моей формуле. Таким образом, была принята значительным большинством первая статья нашей программы: «Цель Союза: осуществление в полной мере гражданских, политических и национальных прав еврейского народа в России». Я сознавал, что обязан этим результатом поддержке Винавера, и был тем более признателен ему, что он сам не вполне разделял мои взгляды на еврейский национальный

вопрос. Он считал, что евреи составляют часть российской «политической нации» и образуют в ней только «народную группу». С моей формулой, которую он мог толковать в смысле права на «культурное самоопределение», он мирился, по-видимому, из тактических соображений, не желая терять симпатии националистов и сионистов.

На третий день съезд решил вопрос о названии Союза. С левого крыла было предложено название «Лига борьбы за равноправие евреев». Мне понравилось это смелое название, и я готов был присоединиться к предложению. Но справа поднялся протест. Сидевший в президиуме старый московский адвокат В. О. Гаркави⁴⁰⁸ заявил, что название «Лига борьбы» кладет на всю организацию печать революционности и может отпугивать умеренные элементы. Набожный консерватор и «чиновник» Ф. Гец усмотрел в этом названии объявление войны правительству. Он испуганно крикнул: «Ведь это будет второе издание Бунда!» (от волнения он выговорил последнее слово мягко, по-немецки: Пунта) — и выбежал из зала заседаний. После долгих прений было принято компромиссное название: «Союз для достижения полноправия еврейского народа в России». В нем было выражено требование «полноправия» для «еврейского народа», но слово «достижение» давало впоследствии повод для иронии со стороны бундистов и «левых» неопределенной окраски, которые в прессе и в публичных собраниях полемизировали с «достиженцами». Съезд закончился избранием исполнительного бюро в составе 22 членов, из коих половина должна иметь свое местопребывание в Петербурге, а половина в провинции. Во главе петербургской группы стояли Винавер и Слиозберг. От Вильны были избраны я, Б. Гольдберг и Шмарья Левин. Я охотно принял избрание в организацию, в основу которой была положена идея национальной борьбы за эмансипацию. Впервые увидел я свои идеи воплощенными в программу политического союза и надеялся, что при успехе освободительного движения они войдут в жизнь.

Эта политическая деятельность плохо отразилась на моей научной работе. Писался третий том «Всеобщей истории евреев» с перерывами, в состоянии крайнего нервного утомления. «Горишь с двух концов: научная работа и общественные волнения» (запись 28 марта). Еще не успел отдохнуть от съезда, как пришла «ночь ужасов»: в полночь 30 марта в дверях моей квартиры раздался «вечерний звон» агентов политической полиции («охранного отдела»). Они произвели обыск в комнате моей младшей дочери, недавно кончившей гимназию. Нашли на столе недописанное письмо к кузену-гимназисту, который имел какие-то сношения с социалистами-революционерами и, вероятно, был так же «опасен для государства», как моя аполитичная дочь. Забрали переписку и ушли, а под утро снова явились и в карете увезли дочь в тюрьму. Нас встревожил этот арест еще потому, что мы связывали его с судьбой старшей дочери, поэтессы, которая тогда была школьной учительницей в гнезде еврейской революции, Гомеле, и действительно была причастна к нелегальным кружкам. Мы вызвали ее телеграммой и успокоились лишь после того, как увидели ее невредимой. Скоро возвратилась домой и узница, освобожденная под залог до расследования ее «дела». Теперь был снят и наложенный во время ее ареста полицейский контроль над моей корреспонденцией.

Праздник освобождения, еврейскую Пасху 1905 г., встретили мы в невеселом настроении. Революционное движение наносило тяжелые удары деспотизму, но получало от него не менее страшные. «Нужны нечеловеческие силы, — писал я 10 апреля, — чтобы в такое время, когда живешь между двумя террорами, сверху и снизу, писать историю XVI в. Гнусная реакция в Петербурге, зловещий ропот общества, истощившееся терпение народа — что-то будет скоро. Будут еще кровавые уличные демонстрации, обострятся волнения рабочих, будут пасхальные еврейские логромы». Через две недели сбилось последнее опасение. В дни русской Пасхи произошли в нескольких местах обычные погромы, а в Житомире — резня, устроенная «черной сотней» при содействии полиции. Это был «второй Кишинев»,

уже в разгар освободительного движения, прямой вызов ему. «Голова горит, — записывал я 7 мая, — наполнена мыслями о протесте, о декларации по поводу беззащитности, присоединившейся к нашему бесправию. Нельзя молчать». Проект такого протеста я составил в форме записки на имя премьер-министра Витте⁴⁰⁹, которую предполагалось подать либо от имени Союза полноправия, либо как массовую петицию. Исходным пунктом моей записки было правительственное сообщение по поводу житомирского погрома, представлявшее его как месть верноподданного народа за революционную деятельность евреев. Я указывал на противоречие между этим объяснением и недавним заявлением главы правительства Витте в заседании Комитета министров, что революционное движение среди евреев питается их бесправием и может быть лишь усилено погромами. Я послал свой проект записки в Петербург через Ш. Левина, который ездил туда на заседание бюро Союза полноправия. В бюро записку сначала решили подать Витте с редакционными поправками, но потом поколебались. С каждым днем надвигались решающие события.

Военная катастрофа при Цусиме должна была толкнуть правительство на уступки освободительному движению. Со дня на день ждали манифеста из Царского Села, где шли совещания о конституции. Я писал тогда (22 мая): «Немезида Цусимы после Житомира, как вся японская война после Кишинева. Хочется видеть карающую руку правосудия в слепом ходе событий». Политическая работа усиливалась. Вместе с Левиним и Б. Гольдбергом я организовывал отдел Союза полноправия в Вильне. Была сделана попытка создать параллельно союз четырех народностей — поляков, евреев, белорусов и литовцев — на почве краевой автономии и культурного самоопределения. Смутно помню несколько совещаний по этому поводу с представителями этих народностей. Было избрано организационное бюро, куда вошли от нас врачи Шабад и Выгодский⁴¹⁰, но из всей этой затеи ничего не вышло. Тормозили дело поляки, которые не признавали равенства других народностей в Литве.

В это время нас занимала другая забота. Разнесся слух, что в совещании царя с сановниками о проекте народного представительства решено лишить евреев избирательных прав. Это означало, что евреи остаются в положении иностранцев. Союз полноправия дал директиву отовсюду посылать резолюции протеста в Петербург. Я написал резолюцию от имени виленского еврейского общества в таком резком тоне, что многие побоялись ее подписать. Однако она собрала достаточное количество подписей и была напечатана в газетах вместе с другими протестами (в июньских номерах «Восхода»). Протесты подействовали. Совещание сановников отказалось от своего намерения, не желая усилить раздражение среди евреев. Таким образом, евреи, еще не имея гражданских прав, получили политическое право избирать и быть избираемыми в парламент.

В таком состоянии мне приходилось писать главы о Польше XVI—XVII вв. для очередных приложений к книгам «Восхода». С крайними усилиями закончил эту работу и уехал на отдых в пригородную дачную местность Верки, бывшее имение германского канцлера Гогенлоэ. Я поселился в доме еврея-фермера, арендатора у новых владельцев имения. Дом среди огородов на берегу Вилии был бы хорош, если бы там не было слишком много надоедливых людей и мух. Но все неудобства искупались близостью Вилии и огромного княжеского парка, где одна часть была культурно обработана, с правильными аллеями, а другая представляла собою густой лес с тропинками, спускавшимися к реке. Тут я предавался своим думам, заглушенным в городском шуме. Думал о дуализме научной и политической работы. «Как жаждет гишины усталая душа! Хотелось бы кое-как отдохнуть и затем довести до конца исторический труд, высказаться в последних его главах об истории XIX в. Но писать историю в эпоху русской революции, среди баррикад и грома выстрелов — возможно ли это?» (запись 3 июля). Другая дума тех дней была опять об антитезисе или центробежном устремлении значительной части нашей молоде-

жи. Тревожил вопрос: для кого мы, отцы, строим новое здание на национальной почве, если наши дети уходят от нас и строят себе самоновейшее здание вне нашей духовной территории? Вот мы добиваемся, в силу решения Союза полноправия, не только гражданских, но и национальных прав, а между тем наша молодежь денационализируется и ей эта святая для нас борьба совершенно не нужна. Помню, как однажды мне принесли из города только что изданный в Берлине немецкий перевод моих первых «Писем о старом и новом еврействе». В сопроводительном письме переводчика Фридлендера говорилось о распространении моей идеологии на Западе, об успехе английского перевода моего философско-исторического этюда и т. п. Все это меня радовало, но к радости примешивалось чувство глубокой скорби: где-то далеко мои идеи получают хотя бы теоретическое признание, а здесь, близко, в родной среде, они будут отвергнуты или к ним отнесутся равнодушно. Я в это время перечитывал биографию Мендельсона и записывал (27 июля): «Философ с ясным духом Сократа среди пораженного народа, упрощенность и вместе с тем возвышенность мирозерцания. А дети этого Сократа погибли для еврейства в весеннем потоке новейшей истории». Думалось о новых вешних водах, уносящих наших детей...

В эти летние дни на берегу Вилии я много думал о своем прошлом и набросал первые заметки для автобиографии. Странно было это бегство в глубь прошлого от бури современности, но я впоследствии пережил много таких моментов и убедился, что именно в дни революционных кризисов истрепанная бурей душа ищет уюта в воспоминаниях прошлого, спасается путем интеграции своих переживаний... А между тем в мое уединение доносились вопли жертв летних погромов 1905 г. и возникало сомнение в исходе освободительного движения. В тогдашних записках читаю: «Тени братьев, растерзанных в Белостоке, стоят перед глазами. Жертвы новых погромов в Екатеринославе, Керчи и других городах... Не окончатся ли родовые муки новой России жалким выкидышем?..»

Глава 44

Октябрьские погромы и «Уроки страшных дней» (1905—1906)

Августовский манифест о Государственной Думе и воззвание Союза полноправия. Приготовления к выборам и обструкция бундистов в Вильне. — Всероссийская забастовка, манифест 17 октября и всероссийский погром. — Революционные дни в Вильне. «Уроки страшных дней» и вопль Кассандры на траурном митинге. — Второй съезд Союза полноправия в Петербурге и его участники. Резолюция о созыве Еврейского национального собрания. — Призрак лесной идиллии в «омраченном Петрограде». — В пылу борьбы: «Рабство в революции» и альтернатива: национальная или классовая политика? — Заключительная глава «Уроков» и моя политическая программа. — Московское вооруженное восстание и вопрос: почему революционная стихия губит революционный разум?

6 августа 1905 г. вышел царский манифест о Государственной Думе, законодательной и цензовой. На другой день я записал: «Вчерашний манифест едва ли кого успокоит. Что это за конституция, которую объявляют при отсутствии предварительных гарантий свободы собраний и печати, при полном отсутствии даже элементарной законности, при военном положении и белом терроре! Радоваться ли, что евреи допущены в такую Думу? Может быть, это результат наших протестов. Но сколько будет наших депутатов и каков вообще будет состав Думы при полицейском режиме? И все-таки надо работать, агитировать». Мы тогда и приступили к работе в Вильне. В обществе шли ожесточенные споры о том, участвовать

ли в выборах, или бойкотировать их, так как Дума с цензовыми депутатами и совещательными функциями не соответствует требованиям демократии. Бюро нашего Союза полноправия решило выпустить воззвание об участии в выборах с тем, чтобы «сделать плохую Думу орудием борьбы за лучшую». По предложению бюро я составил проект воззвания в этом смысле. Мы предлагали повсюду где только возможно избирать кандидатов-евреев, а в крайнем случае подавать голос за таких не-евреев, которые обязуются защищать полноправие. Мы предупреждали против партийного дробления на выборах и против полного их бойкота. Тут мы имели в виду партию Бунд, которая не только решила бойкотировать выборы, но и поручила своей виленской организации мешать нашей избирательной кампании. Бундисты врывались в наши публичные собрания и производили там obstruction; от нее больше всего страдал мой терпеливый сосед Борис Гольдберг, который руководил этими собраниями, так что пришлось заменить публичные собрания закрытыми. Я осуждал эту уступчивость насилию и извинял ее только тем, что «избиратели-цензники вправе быть трусами».

В этот момент борьбы русских евреев за эмансипацию меня сильно тянуло к работе над историей эмансипации западных евреев, но я в третьем томе своей «Истории» еще не дошел до французской революции. В сентябре я с жаром принялся за последние главы предреволюционной истории и писал непрерывно до начала октября. Я уже воображал, что научился искусству «стоя на вулкане современности, вникать в прошлое и изображать его», и мечтал о скором приступе к тем главам, где я сумею показать современникам, как их предки боролись за свободу в революционные эпохи. Но тут «вулкан», на котором я стоял, стал извергать пламя. Разгорелась всероссийская забастовка, приведшая к перевороту 17 октября.

В течение недели мы были отрезаны от мира: поезда железной дороги не шли, и мы сидели без газет, без писем, не зная, что делается в других местах. А делалось в эти дни многое и страшное. Приказ генерала Трепова⁴¹¹ «Патронов не жалеть!» для расстрела революционеров применялся по всей России. В Вильне первая кровавая стычка произошла 16 октября. Во время проезда губернатора Палена⁴¹² по переполненному народом Георгиевскому проспекту возле его кареты грянул выстрел — неизвестно, со стороны ли революционера или полицейского провокатора. Тотчас полиция и солдаты стали стрелять в толпу. Было несколько убитых и много раненых, преимущественно евреев. На другой день мы торжественно хоронили первую группу убитых. Необычайный вид имела Вильна в день 17 октября. С утра около еврейского госпиталя на Завальной, откуда предстоял вынос убитых, собирались депутации от разных обществ с венками, на которых красовались революционные надписи вроде: «Жертвам полицейского произвола» или «Жертвам самодержавия». Огромная толпа загрозила улицы. Я шел в депутации Союза полноправия. Сначала губернатор велел расставить по улице полицейские отряды и цепи войск, так что опасались столкновений. Но вдруг произошло нечто странное: полиция и солдаты исчезли, даже обыкновенные полицейские посты были сняты. «Начальство ушло», как во многих городах в те дни. Торжественная процессия из нескольких десятков тысяч человек двигалась по улицам, где по случаю всеобщей забастовки все магазины были закрыты, по направлению к еврейскому кладбищу на Заречье. У могил говорились пламенные речи. Шмарья Левин говорил от имени общины; представители левых партий, Бунда и других, говорили с резкостью людей, только что вышедших «из подполья», с призывами к немедленной революции. Только к вечеру вернулись мы домой, и всех нас томил вопрос: что готовит нам завтрашний день?

Утром 18 октября, сидя в своем кабинете, слышу звонок и затем шум нескольких голосов в передней. Вбежали Ш. Левин, братья Гольдберги и еще кто-то с радостным криком: конституция! Они принесли первую весть о манифесте 17 октября⁴¹³. Царь дал народу все гражданские свободы и законодательную Думу с всеоб-

щим избирательным правом. Был ясный полдень, совсем не осенний, когда я вышел на улицу. На углу Завальной и Трокской толпился и шумел народ. Встречались знакомые с радостными лицами и приветствиями. Встретил д-ра Кантора, и мы обнялись; вспомнили начало 1881 г. в Петербурге, когда мы ждали конституции и дождались погромов. Мы еще не знали, что и сейчас был дан сигнал к погромам по всей России. Меня тревожили сомнения. В этот день я записал: «Неужели близко осуществление мечты, которую в течение четверти века убивал каждый день? Неужели мы накануне настоящего конституционного строя?.. С нетерпением жду текста телеграммы (о манифесте) и вообще телеграмм и газет, если сегодня-завтра прекратится всеобщая забастовка».

Прошло еще несколько дней в состоянии изолированности от всего мира, так как железнодорожная забастовка еще продолжалась. Мы не знали о тех ужасах, что творились по всей стране вслед за объявлением манифеста, когда на арену выпустили зверей из «черных сотен». Вильна еще была в руках красных. Армией бундистов командовал молодой энтузиаст из иешиботников Девенишский (Вайтер по литературному псевдониму)⁴¹⁴. 20 октября состоялось в городской Думе собрание гласных вместе с делегатами от всех обществ и союзов. Были и наши от Союза полноправия. Отцам города, полякам и русским, пришлось выслушать революционные речи ораторов левых партий, ставших на несколько дней хозяевами положения. Разгорелись страсти, спорили, голосовали политические резолюции. Я ушел с головной болью, не дождавшись очереди своего слова, и не помню, чем дело кончилось. 21 октября наконец прекратилась забастовка железных дорог, и мы с часа на час ждали поездов с почтой. В ожидании я записывал кое-что из местных впечатлений: «Манифест о свободах использован широко в смысле свободы собраний. Шумит социалистическая волна, затопляя конституционную основу. Кричат о господстве пролетариата и о демократической республике... Свободная Россия! Неужели это не кратковременный эпизод, за которым последует реакция? Немой народ заговорил, рабы сбросят оковы, если захотят. Быть свободным — трудное искусство для воспитанных в школе рабства...»

Едва я дописал эти последние строки, оказавшиеся, к несчастью, пророческими, как послышался крик с Завальной улицы: стычка войск с демонстрантами, убитые и раненые. Очевидно, «начальство пришло». Тут же вбежал к нам вестник с сообщением, что получены телеграммы о погромах в Киеве, Одессе и других городах. То была первая весть о страшных октябрьских погромах. За нею последовали новые события, убедившие нас, что погромная волна затопила почти всю черту оседлости с 18 октября, тотчас после объявления манифеста. Уже 25 октября мне пришлось продолжать свои наблюдения о «свободной России» в таком тоне: «Свободная Россия и одолевающая ее варварская, рабская, кровожадная Россия! Небывалая кровавая контрреволюция, пред которой бледнеет Вандея, — и кто же ее главные жертвы? Евреи. Дни 18—25 октября — сплошная Варфоломеевская ночь, и она еще не кончилась».

В Вильне мы ждали погрома со дня на день и решили принять меры. По инициативе нашего отдела Союза полноправия было созвано совещание членов общинного правления и всех общественных организаций для обсуждения плана предупреждения погрома и приготовления самообороны на случай, если он вспыхнет. Весь субботний день и вечер 22 октября прошли в совещаниях, где участвовали и представители христианских обществ. Помню этот тревожный день. Мы сидели в зале старинного дома графа Тышкевича на углу Трокской и Завальной улиц, в том доме, который впервые поразил меня своей архитектурой и огромными Геркулесами на фронтоне, когда я мальчиком приехал в Вильну. Собралось около ста человек из всех классов и партий. За окнами виднелись возбужденные толпы народа на улицах, и чудилось, что вот-вот «начнется». Я составил воззвание «К гражданам города Вильны», где, между прочим, гово-

рилось: «По городу распространяются слухи о готовящемся погроме против евреев. Мы, представители города Вильно, выражаем глубокое возмущение против тайных подстрекателей. Мы предупреждаем, что малейшая попытка к погрому встретит со стороны всех наших объединенных сил самый энергичный отпор». Путем переговоров удалось склонить к подписанию этого воззвания представителей двенадцати организаций, из которых три были еврейские (Союз полноправия, сионистическая организация и «Еврейская демократическая группа»), а прочие общие (союзы инженеров, медиков, адвокатов, педагогов, железнодорожных служащих и рабочих). Не без труда удалось нам склонить и городскую Думу к выпуску особого воззвания против погромы. Оба эти воззвания были отпечатаны и расклеены по городу. Они произвели надлежащее впечатление. Подготовители погромы не могли не знать, что мы учредили комитет самообороны, который собирал оружие и деньги на покупку оружия. Бунд и «Поале Цион» организовали особые отряды самообороны и готовились к решительным действиям. Это обстоятельство могло охладить пыл погромщиков, тем более что русский реакционный элемент был незначителен в польско-литовской Вильне.

Для меня началась сплошной траур. По целым дням я читал получавшиеся из разных мест газеты с сообщениями о сотнях еврейских погромов в страшную неделю 18—25 октября. Личные тревоги (в разгромленной Одессе находились двое моих детей, родные и литературные друзья) тонули в общем горе. 31 октября я записывал: «Сердце разрывается, нет сил переносить эти ужасы, о которых ежечасно читаешь, слышишь, говоришь. Кипел ум, хотелось писать, кричать, но руки опускаются перед грудой трупов. Стон и плач стоит над всем еврейством, отдельный голос не будет услышан. А все-таки попытаюсь: к другой работе я совершенно неспособен. Забросил все, только с утра до позднего вечера впитываю яд газетных известий». К середине ноября я написал первые главы «в муках рожденной» статьи «Уроки страшных дней». Первая глава под названием «Что сделал нам Амалек?»⁴⁵ вышла из глубины наболевшего сердца как стихотворение в прозе, с особым ритмом коротких фраз. Ведь тут я первый раз в жизни мог высказать свободно, без цензурного контроля, все накопившееся на душе за долгие годы гнета. Я читал эту главу в многолюдном траурном собрании, состоявшемся в Вильне 17 ноября, в тридцатый день гибели первых мучеников погромной недели. Огромный зал клуба железнодорожников был переполнен. Говорили многие. Я прочел свою страстную филиппику: вскрыл механизм царского режима бесправия и погромов, эту палку о двух концах: одним били, а другим убивали; я дал прямой ответ на вопрос о виновниках погромов: не только правительство, а та огромная масса «черных сотен», на которые оно опиралось, тот Амалек, который напал на Израиля в момент его освобождения от египетского рабства, на пути в обетованную землю свободы. Я закончил словами: «Не доверяйте Амалеку, ни правительственному, ни народному, ибо старая Россия может еще проявиться в новой!» Тогда многие сердились на меня за этот вопль Кассандры, но думается, что люди, пережившие следующие два десятилетия, согласятся с моим предостережением.

Через три дня после виленского траурного собрания я уехал в Петербург для участия во втором съезде Союза полноправия. В Петербурге я попал в кипящий котел. Столица шумела сотнями собраний и конференций, тысячами делегатов из всех концов России, гулом прежнего революционного подполья, поднявшегося на поверхность общественной жизни. Политическая температура кипения чувствовалась в эти памятные дни, и не раз холодный ноябрьский ветер ударял в разгоряченные лица людей, выходивших на мокрые улицы Петербурга. Четыре дня и ночи (22—25 ноября) пришлось и мне провести между этими полюсами огня и холода. Заседания нашего съезда, в котором участвовало около ста делегатов из разных городов, происходили в салонах богатых петербуржцев, которые охотно или неохотно предоставляли для этого свои роскошные квартиры (помню квартиры баро-

на Гиндбурга и издателя газеты «Речь» Ю. Бака⁴¹⁶). Заседания длились с утра до двух часов ночи, с трехчасовым перерывом для обеда и отдыха. Уже в наших предварительных беседах сказалось возбужденное состояние делегатов, большинство которых только что пережило ужасы погромов. Нужно было иметь много мужества, чтобы в такой момент, с наболевшим сердцем, обсуждать вопросы строительства нового свободного еврейства.

Первые два дня съезда были посвящены вопросу о погромах. Открывший первое заседание Михаил Игнатьевич Кулишер говорил дрожащим голосом о поверии дикарей, что здание, построенное на крови, особенно прочно, и призывал строить новую жизнь на крови наших октябрьских мучеников. На очереди стоял вопрос, как реагировать на погромы, подготовленные реакционерами в виде демонстрации против манифеста 17 октября: протестом, обращенным к обществу или к правительству, посылкой депутатий к премьеру Витте или организацией еврейской самообороны. Большинство делегатов высказалось против посылки депутатии к Витте с требованием равноправия на основании манифеста. Помню страстное восклицание молодого адвоката Моисея Леонтьевича Гольдштейна⁴¹⁷: «Мы не примем равноправия из окровавленных рук самодержавия, мы возьмем его у свободного всероссийского парламента!» Была принята резолюция, резко осуждавшая правительство, которое не предало суду губернаторов и других начальников, виновных в бездействии или даже в прямом содействии во время эксцессов. Были также избраны одна комиссия для расследования погромов, а другая для повсеместной организации самообороны.

Только на другой день съезд добрался до внутренних организационных вопросов. Лидер сионистов М. Усышкин, автономист М. Б. Ратнер и я привлекли внимание съезда к этим вопросам. Мы заранее сговорились внести предложение о созыве еврейского учредительного собрания, но цели у нас были разные. У Усышкина тут была тайная партийная цель: прокламирование сионизма как главной основы еврейской автономии. Я в своем докладе конкретно формулировал диаспорные задачи учредительного собрания: создание союза всех еврейских общин с центральным органом, Ваадам или сеймом как исторически испытанной формой нашей автономии. Как на первом съезде, меня и тут горячо поддерживал «сеймовец» М. Б. Ратнер, с которым мы сошлись на формуле «национальное собрание». Благодаря нашим усилиям и вопреки желанию ассимиляторов была принята смелая резолюция, имевшая более демонстративный, чем актуальный характер для того момента: «В целях осуществления гражданских, политических и национальных прав еврейского народа в России съезд постановил: безотлагательно приступить к созыву, на началах всеобщего избирательного права, всероссийского еврейского национально-общинного собрания для установления, согласно воле всего еврейского населения, форм и принципов его национального самоопределения и основ внутренней его организации». Помню вечер и часы ночи, когда велись прения по этому вопросу. Ратнер по своему обыкновению не сидел на месте, а стоял или ходил между рядами делегатов, взволнованный, обдумывающий свои поправки к вносимым формулам или готовясь к блестящей реплике. Он часто подходил ко мне и вызывал в соседнюю комнату, чтобы сообща формулировать то или другое предложение. С каким увлечением делал это молодой энтузиаст, как радостно сияли его глаза, когда формула Дубнова—Ратнера была принята при восторженных аплодисментах! Я лично мог быть вполне удовлетворен резолюцией о национальном собрании: ведь это было второе, более конкретное признание моей теории автономизма после общего признания ее на первом съезде.

Но зато я встретил сильную оппозицию в другой части моего доклада: чтобы перестроить наш Союз полноправия как политический орган с общей программой Конституционно-демократической партии. Весь одиум левого крыла съезда был направлен против этого сближения нашей программы с тактикой кадетов, которая

тогда казалась слишком умеренной. Не было принято во внимание, что я имел в виду программу-минимум, с целью отмежеваться от правых элементов, как это я вскоре объяснил в особой главе «Уроков страшных дней». Уже тогда обнаружилась в нашем Союзе симптомы развития центробежных сил.

Много встреч было у меня на съезде со старыми и новыми знакомыми. Здесь я впервые познакомился с М. И. Кулишером, представителем группы ассимиляторов в Петербурге, который уже давно оставил еврейскую публицистику ради юридических исследований. Я очень удивился, когда после моего доклада о национальной автономии он подошел ко мне и, пожимая руку, сказал, что одну мысль (не помню, какую именно) я заимствовал у него. Я ему ответил: «Если бы плагиат был взаимный, мы были бы единомышленниками». Впоследствии я убедился, что от такой идейной взаимности со мною Кулишер был очень далек. Недурно охарактеризовал различие между нами Усышкин, который в своей речи указывал на пестрый состав нашего Союза, в центральном бюро которого работают «любящий евреев Кулишер и любящий еврейство Дубнов». Видел я на съезде и Нахума Соколова, редактора варшавской газеты «Гацефира», которая тогда преследовалась цензурой. Он мало изменился за 18 лет, с тех пор, как я видел его в Варшаве, только казался более озабоченным. Был и мой одесский оппонент Я. А. Сакер, примыкавший к крылу «левее кадетов». Здесь же я познакомился с прославленным адвокатом Оскаром Осиповичем Грузенбергом, братом моего петербургского коллеги по «Восходу». Как защитник в «ритуальных» и политических процессах, он тогда уже был очень популярен. Памятно мне его выступление на нашем съезде с резолюцией, требовавшей амнистии для студента Дашевского⁴¹⁸, который за невинное покушение на виновника кишиневской резни Крушевана⁴¹⁹ был приговорен к пяти годам содержания в арестантских отделениях, несмотря на блестящую защиту Грузенберга. Предо мною лежит эта резолюция, красиво написанная Грузенбергом: «Брызги крови кишиневской резни пали на впечатлительную душу юноши и зажгли ее отчаянием и гневом. Он ждал применения закона к одному из самых тяжелых виновников погрома, Крушевану, и не дождался. Дашевский решил возбудить общественное мнение и пошел на насилие как на жертву». Резолюция была принята вместе с решением послать восторженный привет заключенному Дашевскому от имени съезда. Помню также пламенные речи Грузенберга в наших заседаниях. В них было больше эмоциональной силы, чем логической последовательности; своим блеском они больше ослепляли, чем освещали. У этого Златоуста слово владело мыслью, между тем как у его соперника Винавера мысль владела словом. Всякое слово у Винавера было насыщено мыслью, не было лишних слов и цветов красноречия, а вся речь в целом отличалась необычайной красотой именно своей архитектурной, ясностью линий и симметричностью частей. Красота и свет мысли Винавера действовали на слушателей, между тем как красота и пламень слова Грузенберга могли зажигать массы.

Среди встреч этих бурных дней была одна странная, совсем «не от мира сего». Посреди политической революции она напомнила мне о личной, никому не ведомой душевной революции, совершившейся за семь лет перед тем в глуши Полесья. На другой день по окончании съезда, под вечер, я подъехал к одному дому на Песках, где у подъезда висела вывеска с надписью: «Зубной врач», и вошел в квартиру партера. В небольшой полутемной комнате предо мною стояла бледная девушка, та «Лаура», которая в 1898 г. показалась на моем горизонте под летним небом Полесья. В записи от 26 ноября 1905 г. нахожу следующие отрывистые строки: «Недавно вернулся от В. И. Как странна эта встреча среди тусклой петербургской осени, после лучезарных речичких дней 1898 года!.. Бесконечно грустно, чего-то бесконечно жаль, что когда-то грело, переносило в сияющую даль. Я ее завтра опять увижу и снова оставлю, чтобы долго не слышать, не знать об этой реликвии светлой поры, огонь которой уже погас, но искра иногда вспыхивает под пеплом».

В следующий вечер я опять увидел лесной призрак среди шумной толпы на Невском проспекте. Мы шли по главной улице столицы, где блеск фонарей отражался на мокрой поверхности мостовой, затем посидели в кафе Филиппова и, под шумный говор публики, тихо беседовали. Прошлое не упоминалось, но оно сквозило в нашем молчании... Было поздно. Проводив свою спутницу до Знаменской площади, я попрощался с нею и вернулся на Подьяческую, где гостил у Эмануилов. И рядом со мной по холодным улицам двигался призрак между высокими соснами над далеким Днепром, в сиянии летнего дня, и две фигуры мелькали на узкой полевой меже, среди колосьев высокой ржи. И сквозь сумрак ноябрьской ночи откуда-то издали светился мираж, былой «сон в летнюю ночь», греза о том, «что было и не будет вновь...»

Но романтике нечего было делать среди политической бури, которая меня увлекла на путь борьбы. Одновременно с ноябрьским съездом Союза полноправия начала печататься в еженедельнике «Восход» моя серия статей «Уроки страшных дней». Вслед за первой статьей, вышеупомянутой публичной речью «Что сделал нам Амалек?», печатались статьи «Рабство в революции» и «Национальная или классовая политика?». Здесь я высказал все, что волновало меня в течение всего революционного года. Меня глубоко огорчало то, что еврейские революционеры в рядах русских социалистических партий и даже в еврейской рабочей партии Бунд выступали исключительно с общими политическими или классовыми лозунгами, а не с национальными требованиями, как то делали поляки, финляндцы и другие угнетенные национальности. Точнее говоря, я возмущался тем, что еврейский революционный протест терялся в общерусском, что в нем не слышался гнев наиболее униженной и оскорбленной нации. Я назвал это «рабством в революции», как результат ассимилированности партийной интеллигенции. Бунд, например, не примкнул к нашему междупартийному Союзу полноправия, не желая работать вместе с «еврейской буржуазией» в общей борьбе за эмансипацию, хотя в Союзе преобладали внеклассовые интеллигенты, демократы и частью революционеры или социалисты. Далее предо мною стоял вопрос: политическая или социальная революция? Из истории я вынес глубокое убеждение, что политическая революция должна предшествовать социально-экономической, ибо нужно раньше завоевать свободу для того, чтобы в свободном демократическом государстве вести борьбу за эмансипацию пролетариата. Сразу вести и политическую, и социальную революцию значит погубить обе вместе, ибо это оттолкнуло бы от движения сильную либеральную буржуазию, которая могла бы принять демократию без социализма и тем дать возможность левым партиям впоследствии бороться за социализм на почве демократии. Я с тревогою думал о возможном провале революции 1905 г. при преждевременных республиканских требованиях, так как эволюционно русское общество пока досрочно только до конституционной монархии, а русские массы только что показали свою политическую примитивность в октябрьских погромах против интеллигенции и евреев. Наконец, по вопросу «Национальная или классовая политика?» я определенно высказался, что вожди преследуемой нации не имеют права вести классовую политику и тем разбить осажденный лагерь изнутри, до тех пор пока не будет снята осада извне. В пылу спора у меня часто вырывались резкие суждения по адресу разрушителей народного единства перед лицом врагов, только что нанесших нам ряд страшных ударов в сотнях городов еврейской черты (в позднейшем издании «Писем о еврействе» я смягчил эти резкости). Этим я навлек на себя недовольство Бунда и крайне левых еврейских групп в российских партиях, что выразилось в полемических статьях против меня. Мои противники особенно ухватились за последнюю главу моих «Уроков», где был изложен мой доклад на съезде о превращении Союза полноправия в политическую организацию с программой-минимум Конституционно-демократической партии. Тут меня ругали и «кадетом», и «достиженцем» (по имени «Союза для достижения полноправия»).

Свойственная революционным эпохам показная левизна мешала многим солидаризоваться с моими воззрениями: боялись отлучения от лагеря левых (я сам по убеждениям был левым кадетом, а по отношению к социализму мог быть причислен к реформистам или ревизионистам из школы Эдуарда Бернштейна⁴²⁰).

Эта последняя глава «Уроков» писалась уже в Вильне, после возвращения из «траурного» петербургского съезда. Я все еще носил траур по убиенным в октябрьские дни, и это настроение сказалось в заключительной части «Уроков страшных дней». В разгар российского освободительного движения я думал и о другой проблеме освобождения, которая мне всегда казалась важнейшей в динамике еврейской истории: о перемещении национального центра путем планомерной эмиграции. В декабре 1905 г. я писал в указанной статье: «Мы стоим на вулкане, который уже поглотил десятки тысяч еврейских жертв и кратер которого еще дымится... Люди охвачены великим смятением. Они бегут вон из страны, где вся бездна мрака и гнили раскрылась, чтобы отравить свежие веяния свободы. Наибольшая масса беглецов направляется по старому пути из российского Египта, через пустыню Атлантического океана, в обетованную землю Америки, где можно тотчас получить свободу, а после тяжелой борьбы и кусок хлеба... И теперь, когда Россия, готовясь стать страной свободы, не перестает быть страной погромов, наш вечный странник идет туда же, за океан. Удержите ли вы его, скажете ли ему, чтобы он остановил свой стремительный исход из Египта (в 1905 г. эмиграция в Америку приняла огромные размеры), чтобы он ждал падения фараонов, гибели „черных сотен“ в волнах к р а с н о г о моря? Нет, вы этого не скажете мятущейся массе, преследуемой кровавым призраком погромов, вы не можете предсказать светлый безоблачный день после зари, взошедшей в кровавом тумане... Есть еще страна, родная страна предков, озаренная лучами нашей далекой национальной юности. Туда рвутся тоскующие сердца, но ноги не идут. Тоска еще не превратилась в напряженную волю, порыв сердца в активную энергию масс. Совершится ли когда-нибудь это превращение, приведет ли к осуществлению грандиозной мечты сионизма? Увы, диаспора никогда не исчезнет, но осветить диаспору хотя бы небольшим факелом, зажженным на вершине Сиона, создать в исторической колыбели еврейства хотя бы небольшой национально-духовный центр — это уже задача великая».

В этом состоянии тревоги за исход революции я продолжал свою общественную работу. Вместе с виленскими интеллигентами (Гольдберги, Найшул, д-р Выгодский, д-р Ромм и др.) организовал еврейскую группу кадетской партии, читал доклады в политических собраниях, но в то же время ясно видел, как здоровое ядро революции уничтожается между эксцессами справа и слева. В декабре произошло вооруженное восстание рабочих в Москве с новой генеральной забастовкой, попытка социального переворота, которая чуть не погубила завоевания политической революции. Жутко было в дни забастовки. Опять газеты не получались, и во тьме неизвестности рисовались страшные картины. Где-то сцепились в мертвой схватке левые и правые террористы, и между ними была стиснута завоеванная свобода. В нашей виленской квартире собирались друзья и знакомые и мучительно гадали о завтрашнем дне. Дети наши ходили на митинги, а старшая дочь тайно работала в какой-то военно-революционной организации. К нам приходили юные революционеры с загадочными лицами, с видом хранителей глубокой тайны, но в речах было больше тоски, чем надежды. Помню, как молодой человек иешиботского типа, социалист-революционер и «сеймовец», известный под партийною кличкой Иеремия (Новиковский)⁴²¹, пел у нас хасидскую мелодию: «Fregt di Welt dialte Kasche»:

*Миф ставит все старый вопрос,
Сказать можно так или так, —
И все ж остается тот вечный вопрос...*

Замогильный голос тонет в какой-то бездне, откуда доносится уже песня без слов, плач души о мировых загадках. Как нравился мне тогда этот юноша, в котором революционный экстаз сливался с хасидским! Позже он присылал мне из своей родной южнорусской колонии записи хасидских песен и легенд, но еще позже перешел в лагерь большевиков, сделался их финансовым агентом и недавно кончил свои дни в Москве в качестве редактора антирелигиозного еврейского журнала «Безбожник» («Дер Апикойрес»)... Таков путь от хасидского опиума веры до «трезвого» безбожия по заказу начальства.

А я в те жуткие декабрьские дни искал ответа на вопрос: почему людская стихия губит в слепом порыве то, что завоевано разумом и сознательной волей? Почему социальный переворот, который по естественному ходу вещей должен быть следствием политической революции, вторгается в незаконченный ее процесс и тем губит и свободу и равенство, расчищая поле для старого или нового деспотизма?..

Глава 45

Первая Дума и победа контрреволюции (1906)

Окончание III тома «Всеобщей истории евреев». — Политическая работа. — Третий съезд Союза полноправия (Петербург, февраль). Наши разногласия; Ахад-Гаам, Ан-ский. — Избирательная кампания в Вильне: кандидатура Винавера и обструкция в избирательном собрании; мой отказ от собственной кандидатуры; борьба кандидатов Ш. Левина и О. Грузенберга и победа Левина. — Банкет и мой тост о кадетях-жирондистах. — 27 апреля в Петербурге (открытие первой Думы) и его отголосок в Верках. — Светлый май; пересмотр истории эмансипации 1789 г. — Пересмотр «Писем о еврействе». — Приглашение в Петербург на кафедру еврейской истории. — Погром в Белостоке и закат первой Думы. — Террор справа и слева. — Поездка в Петербург. — Последние дни в Верках и в Вильне. — Переселение в Петербург (сентябрь 1906).

Накануне новолетия 1906 я вспомнил о своей неоконченной исторической работе. Я стал лихорадочно писать последние главы третьего тома «Всеобщей истории евреев» и остановился на грани новейшей истории, 1789 года. 21 января я отослал в «Восход» конец манускрипта с «Письмом в редакцию» для напечатания. В «Письме» я объяснил читателям, почему я прерываю свой труд в приложениях к книгам «Восхода»: трудно писать историю в такое время, когда нужно делать ее, когда текущая жизнь буйно врывается в кабинет летописца.

Действительно, настроение и обстановка были совершенно неподходящи для научной работы. В записи 31 января читаю: «Еще месяц прошел в аду гнусной реакции Витте—Дурново⁴²², среди торжества палачей, заливающих Россию кровью после неудачного московского восстания. Непрерывно слышишь и читаешь об арестах, обысках, расстрелах. Накануне 9 января (в годовщину „красного воскресенья“ ожидалось революционные демонстрации) я не ночевал дома, после нелепого ареста моего соседа Б. Гольдберга». Через несколько дней я записал: «Сил нет переносить эту вакханалию реакции. Ждешь обыска, ареста, заточения в тюрьме. Говорят о проSCRIPTIONных списках у местных властей, где есть и мое имя и имена других общественных деятелей».

Освободившись от научной работы, я всецело отдался политической. Началась агитация перед выборами в первую Государственную Думу. Для этой цели образовался комитет из членов Союза полноправия и еврейской кадетской группы в Вильне. Мы готовились к третьему съезду Союза полноправия, который должен был выработать план выборной кампании для всего русского еврейства. Этот съезд состоялся в Петербурге, 10—13 февраля. К поехавшей туда нашей виленской делегации присоединился и Ахад-Гаам, который ехал на съезд через Вильну в качестве

одного из одесских делегатов. В Петербурге мы блять очутились в раскаленной атмосфере. Третий съезд выявил больше наши разногласия, чем единодушие в столь ответственный момент. Страстные прения разгорелись по вопросу об участии евреев в думских выборах. Люди, напуганные недавними погромами и возбужденные контрреволюцией правительства, опиравшегося на «черные сотни», потеряли веру в возможность свободных выборов и создания прогрессивного парламента; это настроение повело их по иррациональному пути: вместо того чтобы ответить на правительственный террор активным участием в выборах с целью создать возможно более оппозиционную Думу, они придумали пассивный протест в виде бойкота выборов, чем, конечно, могли только обрадовать реакционеров. Многие на нашем съезде, преимущественно делегаты левого крыла, стояли за бойкот выборов в будущую «реакционную» Думу, не предвидя, что она-то именно станет оппозиционной, «думою народного гнева». В лежащем предо мною печатном отчете о съезде я читаю горячие прения по этому поводу, кажущиеся теперь наивными, речи генеральных ораторов со стороны группы бойкотистов (М. Кроля⁴²³ и М. Ратнера) и доводы нашей группы (М. Винавера и Ш. Левина). Огромным большинством голосов была принята резолюция об активном участии в выборах.

Далее обсуждался вопрос об организации и тактике выборов, главным образом о коалиции или блоке с нееврейскими партиями. Наше большинство стояло за блок с русскими прогрессивными партиями не правее кадетской, между тем как некоторые ораторы допускали соглашение даже с более правыми партиями, например октябристами, если они признают принцип равноправия. В защиту последнего мнения говорил, к сожалению, Ахад-Гаам, доказывавший, что нам нет дела до общеполитических программ и что мы должны считаться исключительно с нашими национальными интересами. В центре дальнейших прений стоял ряд предложений, внесенных мною вместе с сионистскими делегатами (Б. Гольдберг, Ю. Бруцкус): 1) избирать в Думу лишь таких депутатов, которые стоят на платформе Союза полноправия; 2) еврейские депутаты могут принадлежать к различным политическим партиям, признающим равноправие, но не к чужим национальным фракциям в парламенте (я указывал на позорную роль еврейских депутатов, которые в австрийском рейхсрате и галицийском сейме входили в состав польского клуба); 3) еврейские депутаты должны образовать в Думе особую национальную фракцию с обязательной дисциплиной по вопросам еврейской жизни; 4) они должны требовать обсуждения вопроса о равноправии в первую очередь, в связи с основными законами о гражданских свободах. Особенно много спорили по поводу третьего пункта — создания еврейской парламентской фракции, так как кандидаты, состоявшие членами русских политических партий, боялись коллизий между директивами еврейской и русской фракций. Наконец было решено не устраивать особую фракцию, но обязать еврейских депутатов «объединяться для обсуждения и совместных действий в целях достижения полноправия евреев». Остальные предложения прошли с некоторыми поправками.

Как один из авторов национальной программы Союза я иногда бывал вынужден играть цензорскую роль Катона по отношению к некоторым делегатам съезда, которые еще не могли примириться с нашей национальной программой. Кто-то из них осмелился назвать противников «истинно еврейскими людьми», по аналогии с реакционными «истинно русскими». Я поставил вопрос, допустимо ли участие в съезде делегата, осмеивающего национальную программу нашего Союза, а затем внес предложение, чтобы при вербовке новых членов в Союз обращали их внимание на обязательность этой части программы. Вообще, на третьем съезде я работал усиленно, участвуя в заседаниях как член президиума, с раннего утра до поздней ночи. Как утомляли тогда эти заседания, но сколько было в них душевного подъема и веры в светлое будущее!

Политические споры кипели и вне съезда. Когда я посетил редакцию «Восхода» (она тогда помещалась на Лиговке, близ Невского), мне пришлось выдержать двухчасовой бой с редактором Севом из-за моих «Уроков страшных дней», недавно напечатанных в еженедельнике. В споре участвовал и вернувшийся из заграничной эмиграции Семен Акимович Ан-ский (Рапорт)⁴², с которым я недавно познакомился. Наша встреча была очень сердечная. Я ценил Ан-ского как бытописателя и народника-революционера и с интересом читал его автобиографический роман «Пионеры», печатавшийся в книгах «Восхода». В споре Ан-ский признался мне, что при чтении некоторых мест моих «Уроков» он был тронут до слез, и тем не менее будет возражать мне в «Восходе», особенно на главу «Рабство в революции». Эта глава, очевидно, задела его как члена российской партии социалистов-революционеров. Но уже тогда я заметил, что в душе Ан-ского еврейский революционизм борется с российским. У него вообще было больше политического темперамента, чем твердой идеологии; через несколько лет он вступил в нашу «Фолкс-партей», а позже примкнул к сионизму. Но в данный момент он счел своим долгом заступиться за честь еврейских революционеров, которых я упрекал в том, что они ведут борьбу не под еврейским революционным знаменем и ставят классовую политику выше национальной. Вскоре, в мартовских номерах еженедельника «Восход», Ан-ский напечатал ряд статей под заглавием «Уроки страшных веков», в ответ на мои «Уроки страшных дней». Тут он старался доказать неизбежность классового антагонизма и сепаратной политики пролетариата, причем сам проговорился, что этот естественный процесс «имеет тенденцией разрушение национального единства еврейского народа», но он не видит в этом опасности для существования нации. Мне нетрудно было бы разрушить эту слабую идеологическую постройку в небольшой заметке, но я воспользовался данным поводом для развития взглядов, слишком бегло затронутых в моих «Уроках», и напечатал в апрельских номерах «Восхода» целую статью под заглавием «О суверенитете национальной политики в жизни угнетенных наций», с подзаголовком: «Объяснения к „Урокам“». Я указывал, что отрицаю не законность классовой борьбы, а господство классовой политики в жизни народа, угнетенного в целом. Сами классовые противоречия в марксистском духе искусственно раздуты в еврейской массе, где фабричных рабочих очень мало, в «буржуазии» преобладает торговый и ремесленный пролетариат, а интеллигенция является внеклассовым элементом. «Разрушение национального единства», безопасное в народе государственном и территориальном, представляет смертельную опасность для безгосударственного еврейского народа, «территория» которого заключается в его национально-культурном единстве. У такого народа, вдобавок угнетенного и преследуемого, национальная политика должна быть «суверенна», то есть должна иметь примат над всякой другой политикой, партийной или классовой. Сторонники примата классовой политики, которые даже осмеивают национальную политику (презрительный термин «клар-исроэл-политик» у Бунда и других), сами изолируют себя от остального еврейства, от его огромных трудовых масс. Моя формула гласила: единая национальная политика есть суррогат территориального единства для диаспоры, которой грозит длительная опасность растворения в территориальных нациях. Если для господствующих народов национальная политика есть орудие угнетения национальных меньшинств, то для последних она является орудием защиты своей свободы самоопределения.

Март и половина апреля прошли в Вильне в горячке избирательной кампании. Как председатель отдела Союза полноправия я должен был руководить и местным избирательным комитетом, в чем мне особенно помогал мой сосед Борис Гольдберг. Комитет наметил кандидатом в Государственную Думу от Вильны М. Винавера, в котором мы видели политического деятеля первого ранга. В начале марта он приехал в Вильну для своего кандидатского выступления. Состоялось многолюдное избирательное собрание под моим председательством. Не успел я открыть собра-

ние, как к нам явился кто-то из группы Бунда и предложил открыть прения по вопросу, идти ли в Думу или бойкотировать ее. Мы ответили посланцу, что имеем официальное разрешение только на избирательное собрание для выслушания программной речи кандидата и что всякое отступление от программы может повлечь за собою закрытие собрания полицией. Открыв собрание приветствием кандидату, я дал ему слово для доклада о политическом моменте. Он хорошо охарактеризовал политику Витте, «главный принцип которой заключается в беспринципности», и наметил программу демократической оппозиции в будущей Думе. По желанию оратора был объявлен перерыв, после которого он должен был окончить свою речь и затем отвечать на вопросы избирателей. Во время перерыва мне опять пришлось отказать посланцам Бунда в их требовании превратить избирательное собрание в митинг с дебатами о бойкоте Думы. Едва Винавер приступил ко второй части своего доклада, из публики потребовали слова к порядку. Понимая, что это поведет к беспорядку, я заявил, что слово будет дано после окончания доклада. Тут поднялся невообразимый шум. Бойкотисты требовали открытия прений немедленно, я апеллировал к собранию, и оно решило раньше выслушать доклад. Оратор продолжал, но предшествовавшая обструкция явно испортила его настроение и заставила его скомкать вторую половину своей речи. По окончании речи Винавера повторилась попытка бундистов превратить собрание в митинг, но тут вмешался представитель полиции и закрыл собрание. Руководителем обструкции был молодой человек, известный впоследствии лидер меньшевиков Абрамович-Рейн⁴²⁵, который попытался произнести речь в тот момент, когда полиция распорядилась закрыть собрание. Полицейские агенты потом искали его в толпе, но ему, к счастью, удалось скрыться. На другой день полиция арестовала одного из членов нашего избирательного комитета, «левого» Илью Ромма⁴²⁶, и мы опасались дальнейших репрессий, которые, однако, не последовали.

Больно было видеть это дробление демократического фронта, шедшее на пользу реакции. «Ждешь Думы с тревогой и надеждой, — писал я в эти дни, — или она спасет нас от баши-бузуков правительства, или будет разогнана. Предвидится в ней сильный элемент прогрессистов, конституционных демократов, вопреки всем козням черной сотни». И мы напрягали все силы, чтобы создать такую оппозиционную Думу. В этот момент мне пришлось решать вопрос о своей личной кандидатуре в депутаты Думы. Из Петербурга приехал Ш. Левин и сообщил, что Винавер имеет шансы пройти в депутаты там как один из кандидатов кадетской партии, а потому виленская кандидатура свободна. Мне настойчиво предлагали принять ее, но я отказался. «Не могу жертвовать литературной деятельностью ради политической... Напомнил об одесском вопле, что я „сохраняю себя для истории“, т. е. для историографии. Я не вправе поступить иначе, менять цель жизни. Надо быть стойким до конца» (дневник 19 и 27 марта). И я вместе с другими членами избирательного комитета склонил Левина поставить свою кандидатуру. Тут появился сильный конкурент: Оскар Грузенберг, который считал себя единственным достойным кандидатом от Вильны, где он за пять лет перед тем победил в ритуальном процессе Блондеса⁴²⁷. В нашем комитете мнения разделились: сионисты стояли больше за Левина, а другие выдвигали превосходство Грузенберга как оратора. Мне Грузенберг казался менее подходящим вследствие неопределенности его политических и национальных воззрений, главным же образом потому, что он по характеру не поддавался организационной дисциплине. Я опасался, что Грузенберг не удержится в рамках программы нашего Союза полноправия, в котором он не принимал активного участия вследствие личных неладов с Винавером; он вообще мог легко поддаваться минутным настроениям или аффектам слова. В наших избирательных собраниях шла горячая борьба между сторонниками Грузенберга и Левина. За Грузенберга сильно агитировал клуб ассимилированной еврейской интеллигенции и купечества, где обыкновенно больше занимались карточной игрой, чем политикой.

Шансы Левина были сильнее в национальных кругах общества. В собраниях слышались голоса: нам нужны не адвокаты, а прокуроры, которые в Думе должны выступать с обвинениями против правительства.

В начале апреля наши шансы выяснились. Выборы были двухстепенные, и наш избирательный комитет провел 50 еврейских выборщиков из общего числа 80 для Вильны. Таким образом, мы могли бы, пользуясь большинством, провести двух еврейских депутатов в Думу, но мы заранее решили предоставить второе место полякам (прошел потом епископ Рооп). Перед выборами депутата большинство в нашем собрании выборщиков постановило голосовать за Левина; мы отправили Грузенбергу телеграмму с просьбой снять свою кандидатуру, чтобы не разбить голосов. Он ответил мне сердитой телеграммой следующего содержания: «Недостаточно, что выборщики связаны подпиской против меня, — необходимо, чтобы я сам был против себя! Извольте. Телеграмма управе послана (об отказе от кандидатуры)». Долго Грузенберг сердился на комитет Союза полноправия за отклонение его кандидатуры. Наконец 17 апреля состоялись выборы депутата: прошел Левин.

В тот же день состоялся банкет с участием приехавшего из Петербурга Винавера, который там уже был избран в депутаты от кадетской партии. Были обычные тосты. Я сравнил кадетов с жирондистами французской революции и выразил пожелание, чтобы их не постигла судьба жирондистов в годы Конвента. Помню брошенный на меня при этих словах быстрый взгляд сидевшего рядом Винавера. Предчувствовали ли мы оба трагедию русской Жиронды: тюремное заключение депутатов первой Думы за «выборское воззвание», убийство Герценштейна⁴²⁸ и Иоллоса⁴²⁹ черносотенцами, а через 12 лет убийство Шингарева⁴³⁰ и Кокошкина⁴³¹ большевиками, бегство кадетских лидеров, в том числе и самого Винавера?.. Русская Жиронда была раздавлена в тисках черного и красного террора.

27 апреля, в день открытия первой Думы, я ушел на покой: переехал с семьей на дачу в Верки. Никогда не забуду этих светлых весенних дней. На берегу Вилии мне вспомнился иной весенний день, 29 апреля 1881 г. в Петербурге, когда манифест Александра III разрушил наши надежды на свободную Россию. А теперь пришла новая весна, и из того же Петербурга доносятся клики освобожденной России, манифестации первого парламента. 30 апреля 1906 г. я записал: «Две музыки в душе — тихая музыка цветущей природы и боевой марш новой России, звуки из первых заседаний Государственной Думы, вести о том, что творится в Петербурге в эти первые конституционные дни... К полудню привозят газеты, бросаешься на них и жадно глотаешь вести о первых днях медового месяца парламентаризма. Бессодержательная тронная речь, крик первого собрания Думы об амнистии, явно оппозиционное настроение большинства Думы, готовность к борьбе за свободу». Только люди моего поколения, которые четверть века в оковах мечтали о конституции и Учредительном собрании, могут понять это праздничное настроение весны 1906 г., когда истомленная душа жаждала веры в новую Россию и обновленное еврейство в ней, именно веры, вопреки черным тучам, скопившимся вокруг весеннего солнца на тогдашнем политическом горизонте. Бывало, запоздает почтальон с газетами — и я бегу к нему навстречу далеко, через Снипишки, по направлению к городу, чтобы схватить петербургскую газету, прочесть в ней отчет о заседании Думы, дебаты по поводу тронной речи, речи Муромцева⁴³², Родичева⁴³³, Винавера, смелые ответы на циничные заявления правительства. Ведь это были первые свободные речи в первом русском парламенте...

В бодром настроении я принялся за работу, которая стояла на очереди моего исторического плана и вместе с тем соответствовала политическому настроению в тот момент: за пересмотр моего очерка «Эмансипация евреев во время великой французской революции», напечатанного впервые под цензурой в 1889 г. Этот очерк, который должен был составить первую главу «Новейшей истории евреев», предполагалось в ближайшее время издать отдельной книжкой как материал для

наших борцов за эмансипацию в России. О моем настроении в те майские дни свидетельствует следующая запись: «История, природа, политика. После упорной двухнедельной работы вчера кончила „Эмансипацию“, получившую совсем другой вид, чем в 1889 г. Сразу бросается в глаза, как опыт и размышления расширили кругозор автора за 17 лет*. Работа мысли и пера в тишине этого дивного уголка, на лоне природы лучезарного мая, под отдаленные звуки, иногда раскаты грома, политики, ежедневно приносимые газетами, — все это составляло сложную гамму внутренней жизни. Утром речи Грегуара⁴³⁴, Мирабо⁴³⁵, Клермон-Тоннера, Годара, Бертолио в парижском Национальном собрании или Коммуне 1789—1791 гг.; вечером речи Родичева, Ковалевского⁴³⁶ и ответы на тронную речь в русской Думе, а в промежутках ласковый шепот сосны, пруда, поля». Для моего очерка скоро нашлось издательство, под фирмой «Правда» в Варшаве. Книжка была напечатана в то же лето и, кажется, распространилась в большом количестве экземпляров.

Те же политические мотивы побудили меня переработать для издания отдельной книгой мои «Письма о старом и новом еврействе» и примыкающие к ним статьи, рассеянные в периодических изданиях за последние десять лет. «Читаю всю литературу последних лет по национальному вопросу вообще и еврейскому в частности. Радует мысль, что мои воззрения на нацию как на духовную или культурную коллективность совпадают с преобладающим новейшим направлением в науке. Даже мой автономизм во многом сходен с персональной национальной автономией Шпрингера (Реннера), с трудом которого я теперь только познакомился. Самостоятельный процесс мысли привел меня ко многому, что теперь принято, но также ко многому, что пока еще не признано и что для меня вытекает из всей эволюции еврейской истории» (запись 19 июля). При пересмотре «Писем» я совершенно переработал вступительное «письмо», а следующие исправил и дополнил, с перераспределением материала. Летние месяцы 1906 г. были заняты этой работой, и к осени половина книги была готова в новой редакции. «Если бы не эта работа, — писал я в июне, — истерзали бы душу кровавые тени Белостока, потрясающий трагизм бессильной борьбы Думы с правителями-палачами». Действительно, мое настроение омрачилось с момента белостокского погрома⁴³⁷, показавшего нам, что и среди бела дня парламентского строя не исчезли еще кровавые призраки прежних варфоломеевских ночей.

Широкие литературные планы и возможность их осуществления при новой свободе печати, одним из немногих завоеваний революции, тянули меня в Петербург. Опять пробудилась тяга «на север далекий, угрюмый», где цвела моя литературная юность. Но я нескоро решился бы на переселение, если бы не одно случайное обстоятельство. В один летний день в Верках, когда я после обеденного отдыха вышел на балкон нашей дачи, я увидел там гостя. Уполномоченный Петербургского комитета Общества просвещения евреев, педагог П. Коган⁴³⁸, приехал ко мне с предложением от имени комитета: занять кафедру еврейской истории в петербургском «вольном университете» или Вольной высшей школе профессора Лесгафта. В этой школе естественных наук был большой процент евреев и евреек из недопущенной в университеты молодежи; открывался тогда и факультет социальных наук с историей в центре, и Общество просвещения решило содержать там кафедру еврейской истории и литературы. Радостно было услышать о свежих ростках академической жизни, которые связали бы меня со столицей двойными узами: устного и печатного слова. Теперь, когда в либеральной Государственной Думе стоял на оче-

* Между прочим, я в этой второй редакции «Эмансипации» впервые осветил отношение ораторов французского Национального собрания к еврейскому национальному вопросу: спор между либеральной группой Клермон-Тоннера и реакционной аббата Мори, отрицание еврейской национальности как условие эмансипации у первой и признание еврейской нации как довод против эмансипации у второй. Позже я поставил этот момент как исходный пункт в истории эмансипационного движения XIX в.

реди вопрос о равноправии евреев, не было бы препятствия и со стороны права жительства, да и посол Общества просвещения уверял меня, что эта сторона дела будет улажена. Я принял предложение. Переезд должен был состояться к осени, началу академического года, после того как совет нового факультета изберет меня в лекторы еврейской истории.

Перед мною открывались широкие перспективы, но солнце политической весны уже клонилось к закату и темная тень ложилась на мою дорогу. В июле я записал: «9-го июля в мою верховскую келью ворвалась потрясающая весть о роспуске Думы. Перо выпало из рук. В каких муках родилось это чадо — и каково потерять его в момент, когда в нем была единственная наша опора!.. Реакция и репрессии, свирепые гонения за Выборгский манифест, этот последний вопль негодования народного представительства... Надо сизнова начинать сизифову работу... Любимая работа и природа спасают меня от политических терзаний. В одинокие прогулки по *via dolorosa*, между полями, вдоль реки, не раз слеза скатывалась под пение забытого псалма. Читал любимые «Contemplations» Виктора Гюго. Вчера, в Тише-беав, тихое чтение «Эйха» в лесу, а в предыдущий вечер пение *Beleil ze jiwkajun*... Теряешь веру в скорое восстановление нормальной жизни». Каждый день приносил вести о подвигах реакции и ответном красном терроре. Августовский взрыв дачи Столыпина⁴³⁹ был ответом на июльский «взрыв» Думы, произведенный этим фатальным министром.

Через несколько дней после взрыва на Аптекарском острове, когда правительство Столыпина готовилось к введению военно-полевых судов, я поехал по делам в Петербург. Нужно было окончательно выяснить вопрос о переселении, который оказался не таким легким, как предполагалось. На пути стало право жительства, которого евреи вследствие разгона Думы не получили. Кроме того, нужно было переговорить с комитетом Общества просвещения и с профессором Лесгафтом об устройстве новой кафедры. Город по случаю летнего разъезда был малолюден; мрачно выглядел Таврический дворец, где еще недавно гремели речи «Думы народного гнева». Я виделся с бароном Давидом Гинцбургом, временным председателем комитета Общества просвещения, и услышал от него, что право жительства для меня будет обеспечено. Встреча наша на этот раз была холодная: барон косился на меня как на радикала в Союзе полноправия, куда он не входил, ибо был лично знаком с некоторыми министрами и ему не подошло работать с оппозицией. Он, по-видимому, недоверчиво относился к Вольной высшей школе, которая считалась гнездом революции по составу слушателей. Там предстояли выборы новых лекторов, так что и тут дело не было еще выяснено. В тяжелом настроении проводил я дни в пустой квартире моих родственников Эмануилов на Большой Подьяческой. Эта семья жила на даче, в близком финляндском курорте Териоки, и я там гостил один день. Там я посетил свежую могилу убитого черносотенцами думского депутата Герценштейна, одного из лучших «жирондистов» первой Думы, который причислял себя, несмотря на крещение, к еврейской национальности. В городе я посетил другую «могилу»: зашел в редакцию недавно приостановившегося журнала «Восход» и увидел, как ликвидируется этот центральный орган нашей периодической печати из-за недостатка средств. «Это после 25 лет! — писал я. — А ведь я еще нянчил „Восход“—дита на руках, с 1882 года!..»

Вечер я провел в заседании политической организации, которая тоже приближалась к смерти: в комитете Союза полноправия. Мы собирались в квартире Слиозберга в Ковенском переулке. Куда девалось прежнее оживление! Уныние царило в экзекutive учреждения, где еще недавно кипел идейный бой, где подготавлилась армия бойцов для Государственной Думы. После заседания переночевал в квартире Ю. Гессена на Бассейной, опасаясь ночевать в пустой квартире на Подьяческой, чтобы не попасть в руки свирепствовавшей тогда полиции (я, конечно, не был зарегистрирован). Остальные дни я сидел одиноко в пустой квартире и предавался гру-

ственным думам. В один из таких августовских дней зашла ко мне дочь Соня, приехавшая в Петербург для продолжения прерванного высшего образования. Я взял со стола только что купленную маленькую Библию на древнееврейском языке и вручил ей как талисман против «злых духов». Позже я еще много лет видел этот талисман на ее столе.

Вернувшись из Петербурга, я провел несколько прощальных дней в Верках. Здесь получилась весть о кровавом погроме в Седлеце⁴⁶. Она меня расстроила еще больше, чем белостокская резня. Там за контрреволюционным злодейством последовал негодующий окрик Думы, а тут кричать было некому. В начале сентября мы переехали в Вильну, чтобы там подготовиться к переселению в Петербург. Пришла телеграмма, что факультет социальных наук Вольного университета избрал меня лектором. Телеграмма получилась в годовщину моего рождения, и я накануне перемены в моей судьбе предавался печальным размышлениям (запись в дневнике): «По силам ли, о Боже, труд подьемлю? Не вправе ли я, после 25-летнего служения, уйти за границу, среди других изгнанников, и там посвятить остаток жизни любимой исторической работе, в скромных размерах, возможных вне России? А другой голос говорит: оставайся, уезжай в русскую столицу и бери на себя максимум работы, кипи, гори, пока не сгоришь. И я иду».

19 сентября 1906 г. я с женою покинули Вильну, после трехлетнего пребывания. Тихий город оказался слишком шумным после того, как меня там настигла политическая буря. Отказался от прощального банкета, на котором настаивали друзья: не до банкетов в такое время. Не было торжественных проводов Одессы. Только на вокзале мы наскоро распрощались с группой друзей и знакомых. На следующее утро, в канун праздника Сукот, мы прибыли в Петербург. Началась новая эпоха в моей жизни, эпоха «второго Петербурга» (1906—1922).

КНИГА ВОСЬМАЯ

МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И НАУКОЮ (Петербург—Финляндия, 1906—1909)

Глава 46

Лекции в Высшей школе и программа «Фолкспартей» (1906—1907)

Приезд в Петербург. Право жительства, запрашиваемое у министерства Столыпина. Старая обстановка и новое человеческое окружение. — Лекции еврейской истории в Вольной высшей школе. Древнейшая история в революционной аудитории. Закрытие Вольной школы. — Политическое положение. Распад Союза полноправия и организация «Фолкспартей». Программа новой партии, опубликованная с моей вступительной статьей. Выборы во вторую Думу. Партийные дискуссии и литературная полемика. Мои первые статьи на идиш. Конец Союза полноправия и четыре группы в общественных коалициях. — Подготовительные работы к русско-еврейской энциклопедии, составление редакционной коллегии, конфликты. — Окончание редакции «Писем о старом и новом еврействе» и появление их в виде отдельной книги.

В холодное утро 20 сентября 1906 г. на петербургском вокзале встречали нас наша младшая дочь и уполномоченный комитета Общества просвещения. На мой вопрос, получено ли для нас разрешение на жительство, уполномоченный смущенно ответил, что барон Давид Гинцбург ходатайствует о разрешении пока на один год и что мне лично придется подать прошение об этом в Министерство внутренних дел. Поведение барона удивило меня: ведь мне обещали исходатайствовать право постоянного жительства еще до моего приезда. Потом мне все стало ясно: усиление реакции после июльского разгона Думы и августовского взрыва на даче Столыпина сделало для барона неудобным личное ходатайство у премьера, и ему пришлось иметь дело с директором департамента, который мог предоставить только временное право жительства. Мы заехали в гостиницу на Измайловском проспекте, где дочь заранее заказала для нас комнату. Чуть ли не на другой день мне пришлось быть в Министерстве внутренних дел. Я подал прошение из нескольких строк директору Департамента общих дел Арбузову, с которым барон раньше говорил обо мне. Противно было просить министерство об изъятии меня из общего закона, отмена которого не состоялась только вследствие разгона Думы главою министерства, и я с угрюмым видом подал бумагу его помощнику. Директор, с своей стороны, холодно принял меня и обещал дать ход делу, а на мой вопрос, как быть сейчас с полицейской пропиской, ответил, что немедленно сообщит градоначальнику, чтобы полиция не беспокоила меня.

В такой обстановке начался второй петербургский период моей жизни, после долгожданной революции, которая теперь сменилась жестокой реакцией. Все наминало мне о Петербурге моей юности. Наша гостиница находилась рядом с домом, где некогда была редакция «Русского еврея» и где я жил с Фругом в 1883—1884 гг. Самостоятельную квартиру заняли мы вскоре на Малой Подьяческой, близ прежней моей обители на Средней Подьяческой и у Львиного мостика, на пути в

бую редакцию «Восхода». Старая обстановка, но без старого человеческого окружения. Давно умер Ландау, недавно скончался «Восход». Д-р Грузенберг отошел от журналистики и от общественной деятельности. Я его не видал ни в одном собрании Союза полноправия. Не встречал и Фруга, который уединился где-то на окраине города и прятался от общества. Еще в самом начале революции он пел ей отходную. В начале 1905 г. он напечатал в сионистском журнале «Еврейская жизнь» пессимистическое стихотворение, где пророчил, что новая политическая весна кончится так же печально, как весна 1881 г.: погромами.

...Четверть века минуло.

*Я помню и сладкие сны той призрачной, яркой весны,
И как мы проснулись от гула свиреной и дикой орды,
Дышавшей огнем истребления и ядом смертельной вражды...
И годы, ужасные годы прошли чередою... И вот
С далеких туманных высот вновь призрак желанной свободы
Мерцает и снова зовет. И снова мы верить готовы,
Что близко весны торжество, весны небывалой в России...
Не верьте, о братья, не верьте!..*

Октябрьский манифест потонул для Фруга в кровавой волне октябрьских погромов, и он призывал только к борьбе мучеников (в газете «Фрайнд»⁴⁴¹):

*Chawerim un Brüder! Di finstere Zait
fun Klog un Gebet is arüber:
Gekumen di Zait zu fallen in Strait,
zu fallen wi Schimschon bagiber!..*

Флексер-Вольнский давно уже отошел от всех еврейских интересов, как от социальных интересов вообще. После европейского успеха его монографии о Леонардо да Винчи он считал себя жрецом эстетизма. В данное время он увлеклся русско-византийской иконописью, ездил для изучения старинных икон в монастыри на горе Афон и дружил с православными монахами. В разгар революции 1905 г. он не нашел лучшей темы для декларации, как заявить в послании к петербургскому митрополиту Антонию⁴⁴², что он, Вольнский, чувствует себя крещеным в духе, хотя и не во плоти. Я поэтому не имел охоты встречаться с старым другом, когда он после моего приезда, в разговоре с моей дочерью, выразил желание побеседовать и обменяться со мною своими произведениями. Вообще из старых товарищей никто не стоял со мною теперь на общественной арене. Кругом были новые люди, большей частью члены Союза полноправия, с которыми я во «втором Петербурге» работал как с единомышленниками или союзниками.

В первые дни по приезде я посетил директора Вольной высшей школы, профессора Лесгафта⁴⁴³, замечательного старика. Популярный в Петербурге анатом, он уже давно вследствие политического конфликта с начальством (Лесгафт сочувствовал левым радикалам) ушел из Медицинской академии и основал частные курсы естествознания, где обучались женщины, «лесгафтички». В год революции эти курсы сделали общими для лиц обоего пола и затем были легализованы как Вольная высшая школа с тремя отделениями: биологическим, педагогическим и социологическим. Новый университет привлек лучших, большей частью оппозиционных, профессоров и огромную массу слушателей, преимущественно из революционной молодежи. Четырехэтажное здание на Английском проспекте, пожертвованное для школы каким-то либеральным меценатом, часто служило местом политических сборищ и конспиративных совещаний. Сам Лесгафт жил поблизости, во дворе старого дома, в скромной квартирке, где я застал его за лабораторной работой. Я изложил ему свой план лекций для ближайшего семестра, а именно что я намерен читать

курс новейшей истории евреев, со времен французской революции, так как это может больше заинтересовать слушателей в нынешнее беспокойное время, чем лекции по древней истории. Лесгафт с этим не согласился. Он полагал, что факультетский совет не одобрит обратного хода от новейшей истории к древней и будет настаивать на чтении в хронологическом порядке. И действительно, через несколько дней совет в своем заседании, где я участвовал, высказался за хронологический порядок. Я тут повторил свое опасение, что занятое социальными вопросами большинство слушателей едва ли сможет сосредоточить свое внимание на древнейшей эпохе, изложенной по научному методу библейской критики и востоковедения; но коллеги успокаивали меня, а известный профессор Дьяконов⁴⁴ (историк русского права) сказал, что он сам готов слушать такой интересный курс. Из других преподавателей нашего факультета, с которыми я тогда и после заседал в совете, помню экономистов Посникова⁴⁵ и Туган-Барановского⁴⁶, юриста Пергамента⁴⁷ и историков Преснякова, Тарле⁴⁸ и Мякотина⁴⁹.

Я стал готовиться к курсу лекций, который раньше не был намечен в моей программе. Помню свои хождения на Васильевский остров, где я в Азиатском музее Академии наук искал новинок по библейской науке. Я с увлечением перечитывал новейшие исследования Шрадера, Винклера и Иеремиаса о Библии в свете ассирологии, а также монографии о недавно открытом кодексе Гаммураби; кипевший тогда спор Bibel-Babel придавал этим исследованиям интерес актуальной проблемы. Возвращаясь домой через Дворцовый или Николаевский мост и обдуваемый резким холодным ветром с Невы, я схватил простуду и вынужден был отложить начало чтения лекций. 19 октября вечером, еще не вполне оправившись от болезни, я прочел свою вступительную лекцию, на которую явились студенты разных факультетов. Большая аудитория была переполнена. Я начал с приветствия по адресу Вольной школы, которая совершила научную вольность: открытие кафедры еврейской истории, да еще в отделении социальных наук, чем отступила от научной рутины, включающей еврейскую историю в группу теологических или филологических наук. Тут я снова развил свою социологическую концепцию еврейской истории и иллюстрировал ее примерами из различных эпох. Лекция представляла собою краткое введение в библейскую историю и кончилась гимном свободному исследованию в будущей свободной стране. Двухчасовое чтение, прослушанное внимательно и награжденное аплодисментами, утомило полубольного лектора, которому пришлось особенно напрягать свой голос для большой аудитории. Я объявил, что через неделю начну читать специальный курс по древнейшей истории евреев, предупредив, что для слушания его требуется известная подготовка, в особенности знание библейской литературы и истории Древнего Востока.

На следующие лекции являлось несколько десятков слушателей, записавшихся на мой специальный курс. Но оказалось, что и среди них очень мало знакомых с Библией, причем наблюдалось странное явление: среди христиан еще иногда попадались помнящие кое-что из заученной в детстве «священной истории», а среди евреев таких не было. Не желая ронять престиж высшего учебного заведения пересказыванием преданий Книги Бытия, я только излагал теории библейских критиков и ориенталистов о сходстве этих преданий с легендами Древнего Востока вообще. Под конец у меня осталось около двух десятков слушателей, в большинстве тоже неквалифицированных. Так сбылось то, чего я опасался: в тревожной политической атмосфере не могло быть интереса к такому специальному предмету, как библейская наука. Были полны аудитории политической экономии, социологии, новейшей политической истории, но не специальных дисциплин. Вольная высшая школа, как уже сказано, была приютом политических кружков; сам Лесгафт жаловался на это в заседаниях совета преподавателей и говорил, что Министерство просвещения косо смотрит на его школу. Действительно, скоро наступили преждевременные каникулы. В начале декабря министерство предложило нашему совету

прекратить чтение лекций еще до наступления новогоднего перерыва, и совет подчинился, ибо знал о нашем грехе: были обнаружены конспиративные собрания студентов социалистических партий в здании школы с участием посторонних лиц. Когда в середине января 1907 г. чтение лекций возобновилось, я заявил Лесгафту, что готов продолжать чтение при условии, что наберется не менее тридцати студентов, подготовленных к слушанию данного курса (я хотел читать в тот семестр о параллелизме законов Торы и Кодекса Гаммураби). Так как такой группы не оказалось, я прекратил чтение, несмотря на просьбы явившейся ко мне депутации слушателей. Впрочем, и сама Вольная школа оказалась недолговечной. В том же году она была закрыта министерством по требованию Департамента полиции. Даже самому Лесгафту грозили репрессии. Позже школа воскресла как Биологический институт: «социальная опасность» была устранена.

У меня самого научная работа в это время сильно тормозилась общественной деятельностью. С момента приезда в Петербург мне не давали покоя почти ежедневные заседания по политическим вопросам. Заседал центральный комитет Союза полноправия, готоваясь к выборам во вторую Государственную Думу, совещались и отдельные его группы. Тогда уже выяснилась неизбежность распада Союза. Первый удар нашему междупартийному объединению нанесли сионисты, которые на съезде в Гельсингфорсе (ноябрь 1906) включили в свою программу все принципы Союза полноправия, даже борьбу за национальные права в «голусе», но решили проводить их только под своим партийным флагом. Это побудило антисионистов с Винавером во главе образовать свою организацию, «Еврейскую народную группу», которая восприняла лишь минимум национальной программы Союза (общий принцип самоопределения) и выступила с воззванием против «принципиальных эмигрантов», как они называли сионистов. Выделилась из Союза и «Еврейская демократическая группа» Брамсона и товарищей. При таких обстоятельствах шли подготовительные работы к организации национальной группы в духе моей доктрины, под названием «Фолкспартей». В Петербурге у меня нашлись единомышленники в лице М. Н. Крейнина⁴⁵⁰, д-ра А. В. Залкинда⁴⁵¹ и адвокатов В. С. Манделя⁴⁵² и С. И. Хоронжицкого⁴⁵³, за которыми стояли еще некоторые представители петербургской интеллигенции. Наиболее активным в этой группе был Крейнин, энергичный, культурный работник и борец за национальную школу в петербургском Обществе просвещения, человек прямолинейный, с ясным практическим умом. Активен был и д-р Залкинд, некогда член революционной партии, преследуемый властями и «черной сотней» в Гомеле, откуда ему пришлось бежать в Петербург; по своим демократическим убеждениям и чутью реального политика он вполне подходил к нашей группе. В ряде совещаний мы разрабатывали программу нашей «Народной партии» в обеих ее частях: общей и национальной. В основу общей программы были положены принципы русской Конституционно-демократической партии в духе ее левого крыла; национальная же программа представляла собою дальнейшее развитие принципов Союза полноправия: в ней более конкретно были указаны формы осуществления автономии на основе организации общин с местными и центральными органами самоуправления. Между прочим, был установлен принцип национальной общины (вместо религиозной) как единицы самоуправления, но принадлежность к ней обуславливалась «фактическим и официальным пребыванием данного лица в составе еврейского народа». Против пункта, преграждающего доступ в общину выкрестам, возражал кто-то из меньшинства, и это пришлось внести в программу как «особое мнение». Помню горячие прения, которые велись у нас по поводу каждого пункта программы.

В декабре 1906 г. я написал вступительную статью к этой программе. Обе были напечатаны в газетах на русском и еврейском языках («Рассвет» и «Фрайнд») и в отдельных брошюрах. Вступительная статья, вошедшая потом и в мои «Письма о старом и новом еврействе», представляла собою сгущенный экстракт всего переду-

манного за два года. Ясно очерчен был наш путь: мы должны были продолжать борьбу за эмансипацию, в которую мы «ринулись с гневом униженных и страстно-стью мучеников», должны бороться как «единая еврейская нация, входящая в состав различных государств, а не в состав различных наций»; в противном случае мы можем «завоевать для себя свободную гражданскую жизнь, но не будем застрахованы от национальной смерти». В заключение я указал на надпартийный характер нашей «Фолкспартей», которая стремится к объединению всех прогрессивных сил нации в одной всенародной организации: «Фолкспартей» в смысле организованного народа.

На несколько дней я укрылся от общественного шума в близкой к Петербургу Финляндии. 26 декабря я приехал в дачный городок Териоки. Тихо было там среди глухой зимы, на берегу замерзшего Финского залива. Тут я предавался думам: «Иду ли верным путем? Зачем давать своей индивидуальности стираться от этого постоянного политического трения? Тени покинутых научных трудов укоризненно смотрят на меня...» Из Териоки я поехал в Выборг и по дороге, в вагоне, узнал из газет, что в Питере убит пулею террориста главный прокурор военно-полевого суда Павлов⁴⁵⁴. Это был ответ революционной пули на правительственную веревку, «стольпинский галстук»⁴⁵⁵, который завязывался вокруг шеи вешаемых революционеров. В Выборге я остановился в отеле «Бельведер», где пятью месяцами раньше было подписано историческое «Выборгское воззвание»⁴⁵⁶ членов первой Думы. Обедал в большом зале ресторана, где тогда заседали мятежные депутаты, о чем гласила надпись на стене. Из окон я смотрел на белое ледяное поле залива и думал: скоро замерзнет и недавно кипевшая Россия. После нескольких дней уединения в Выборге я решил «из пустыни безлюдья возвратиться в пустыню многолюдства», в Петербург. В первый день 1907 г. я уже был в Петербурге.

Тут меня ждали заседания и собрания, дискуссии и литературная полемика. Партийный бой кипел по всей линии. Сионисты с редактором «Рассвета» А. Идельсоном⁴⁵⁷ во главе нападали на «Народную группу» Винавера и Слюзберга, а последняя парировала удары «принципиальных эмигрантов» в своем еженедельнике «Свобода и равенство». Нашей «Народной партии» пришлось отмежеваться от «Народной группы», с которой ее могли смешать по сходству эпитетов, и мы об этом напечатали заявление в газетах, что вызвало большое недовольство Винавера и его сторонников. Скоро в «Свободе и равенстве» поднялась полемика и против нашей программы, и особенно моего вступления к ней, а затем последовали публичные дискуссии в собраниях. На время мое согласие с Винавером расстроилось. Еще недавно он в заседании Союза полноправия уговаривал меня выставить свою кандидатуру во вторую Думу, куда он уже не мог попасть как лишенный избирательных прав за подписание «Выборгского воззвания»; я тогда почти без колебаний отказался, не желая прибавить к литературе и кафедре еще третью трибуну: парламентскую. Теперь я оказался бы для «Народной группы» неподходящим кандидатом.

Винаверовская «Народная группа» дала сигнал к атаке на сионистов и «Фолкспартей». В агитационном собрании однажды выступил с тяжелой артиллерией сам Винавер. Он тут развил свой взгляд на национальный вопрос: русский народ есть наша политическая нация, а еврейство наша культурная нация, поэтому нельзя говорить о полноценной и автономной еврейской нации, а только о еврейской «народной группе» среди русской политической нации. В личных беседах со мною Винавер раньше старался склонить меня к этому воззрению и обещал взамен ряд уступок программе «Фолкспартей», но я оказался неуступчивым, и наш спор был вынесен в публичную арену. В публичной дискуссии Винавер упрекал «Фолкспартей», что она идет в Каноссу⁴⁵⁸ к сионистам, «принципиальным эмигрантам», а я отвечал ему упреком, что «Народная группа» держится системы «открытых дверей», через которые она гостеприимно пропускает всех ассимиляторов. В органе

группы «Свобода и равенство», который должен был заменить прежний «Восход», полемизировали со мною публицисты Тривус-Шми и Л. Я. Штернберг⁴⁵⁹ (бывший народоволец, известный этнограф). Тривус доказывал, что светская «национальная община» как основа еврейской автономии никогда не будет признана еврейским народом, состоящим из религиозных общин, а Штернберг упрекал меня в недостатке веры в живучесть еврейства, которому вовсе не нужна строгая национальная дисциплина. Я отвечал своим критикам в петербургской газете «Фрайнд». Тут мне впервые пришлось писать на нашем народном языке, идиш, и я опасался, что с этой задачей не справлюсь; но к моему радостному удивлению, я написал статью без большого труда и недурным народным стилем. «Во время писания, — читаю я в дневнике (20 февраля 1907), — какая-то теплая струя прилила к сердцу: Mameloschen».

В то же время мне пришлось написать и напечатать во «Фрайнде» другую статью на «материнском языке»: ответ на обращенное ко мне «Открытое письмо» д-ра Х. Д. Гуревича⁴⁶⁰, соредатора этой газеты, который выразил недоумение по поводу моей программной статьи о «Фолкспартей», где рядом поставлены два способа разрешения еврейского вопроса в России: путем борьбы за равноправие и путем планомерной большой эмиграции. Критику казалось, что тут возможно не совмещение обоих способов, а лишь альтернатива: или политическая борьба в России, или эмиграция в Америку. Мой ответ, под заглавием «Освободительное движение и эмиграционное движение», был напечатан в двух номерах «Фрайнда» (21—22 февраля) и представлял собою принципиальный трактат о роли нашей эмиграции, хотя и в полемической форме. Я доказывал, что пафос политической борьбы отнюдь не умалется от параллельной эмиграционной работы, которая может служить страхованием в моменты неудачи борьбы за право. «Если после долгой борьбы мы не достигнем цели, если мы получим хартию равноправия, завернутую в погром, если еще долго русская конституция будет шагать как арестантка между конвоем жандармов и бандами „черных сотен“, — тогда вы снова услышите в стане Израила клич: вон из российского Египта!»* Как часто потом это горькое предупреждение оправдывалось!

Когда я писал эту статью на родном языке детства, усовершенствованном в литературе последних лет, я окончательно убедился в пригодности его для выражения современных мыслей. Через пару месяцев мне пришлось самому переводить эту статью на русский язык для печатавшегося в отдельной книге собрания моих «Писем о еврействе», и я почти ничего не изменил в еврейском тексте: так полно и точно передавал он все нюансы моей мысли и стиля.

Вся эта общественная и литературная работа делалась в видах организации «Фолкспартей». К сожалению, у нас оказалось мало сотрудников. Я не мог взять на себя агитационную работу в Петербурге и в провинции, а наш организационный комитет ограничивался рассылкою наших программ и брошюр на еврейском и русском языках. Из провинции требовали присылки агитаторов и сулили большой успех (из Минска, например, писали, что в «Фолкспартей» готовы вступить тысячи членов из городской демократии, ремесленников и торговцев, если придет организатор); но трудно было рассчитывать на возможность свободной агитации в ту пору лютой реакции. И делоглохло. Идеология «Фолкспартей» овладевала умами, но не было благоприятных условий для образования партийных ячеек. Так и остались только стройная программа «Фолкспартей» и небольшая группа членов в Петербурге, к которой позже примкнули более радикальные элементы. Осталось общественное и литературное течение, представители которого впоследствии входили в состав различных политических коалиций.

* В моем русском переводе, в конце «Писем о старом и новом еврействе». Петербург, 1907.

В феврале 1907 г. открылась вторая Дума с ее двумя крайними флангами, черным и красным, и слабым центром. Еврейских депутатов попало только трое, да и то слабые, политические новички. Комитет Союза полноправия напрягал последние силы, чтобы помочь депутатам в их думской работе по еврейскому вопросу. Мы устраивали совещания с тремя нашими депутатами и с лидерами думской оппозиции, кадетской и социалистической. Помню участие в наших заседаниях двух депутатов: кадета Пергамента и трудовика Караваева⁴⁶¹. Но наш Союз полноправия доживал уже последние дни. Дифференциация групп разрушила его изнутри. Оставалось два выхода: либо вовсе упразднить Союз, либо превратить его в федерацию различных групп. Я горячо защищал этот последний выход. В конце марта этот вопрос обсуждался на малой конференции делегатов Союза. Было решено сохранить его в виде федерации четырех групп: сионистов, «Народной группы», «Народной партии», «Демократической группы» и пятой беспартийной. Предполагалось созвать особый съезд для реорганизации Союза. Но потом выяснилась невозможность соглашения. Больше всех этому мешали сионисты, решившие «идти под собственным флагом» во всякой политической работе. 16 мая в нашем совещании было решено, что незачем созывать съезд, так как группы не пришли к соглашению относительно реорганизации. Так погиб Союз полноправия, прожив два года: год расцвета и год упадка. Однако идея федерации не совсем заглохла. Вместо постоянной федерации возникали потом временные коалиции групп, представленных в различных организациях: в совещаниях с еврейскими депутатами Думы и в культурных учреждениях.

Пока я метался между политикой и наукою, возникло одно литературное предприятие, которое грозило поглотить часть моих сил. Готовилось издание большой «Еврейской энциклопедии» на русском языке, по образцу недавно законченной в Америке «Jewish Encyclopedia». Инициаторами дела были издатель русского «Энциклопедического словаря» Эфрон⁴⁶², барон Давид Гинцбург и еще неоформившийся историк Юлий Гессен. Осенью 1906 г. начались совещания о подготовительных работах к энциклопедии и о формировании редакционной коллегии. В совещаниях, кроме названных инициаторов и меня, участвовали М. И. Кулишер, д-р Л. Каценельсон (Буки бен Иогли), профессор-эллинист Ф. Зелинский⁴⁶³, переводчик Мишны на русский язык Переферкович⁴⁶⁴, филолог Герман Генкель (русский немец) и сотрудник «Восхода» С. А. Цинберг, впоследствии историк еврейской литературы. Между этими лицами предполагалось делить редакционную работу. Мне не все намеченные лица казались подходящими в качестве редакторов, хотя сотрудничество их я очень ценил; не все сознавали трудность задачи и ответственность руководителей. Мне было предложено главное редакторство, но я обусловил свое согласие привлечением новых сил для редактирования отделов. Так как новых сил не нашлось, я согласился взять на себя только редакцию одного отдела, самого обширного (европейский период истории), другие же отделы по выработанному мною плану были распределены так: библейский отдел был поручен Н. Переферковичу, который в нем мог быть только компилятором; иудео-эллинистический отдел отдан Зелинскому, отличному эллинисту, но не иудаисту и даже не антииудаисту, в смысле отрицательного отношения к иудаизму; талмудический отдел взял Каценельсон, весьма компетентный в письменности Талмуда; гаонейско-арабский период достался двум «ориенталистам», барону Гинцбургу и Генкелю, из которых первый при специальных знаниях был лишен дара литературного изложения, а второй был хорошим переводчиком; Цинберг получил отдел новейшей еврейской литературы, раввин Драбкин — раввинскую литературу, а Гессен — историю русских евреев, точнее еврейского вопроса в России, со времен разделов Польши. Он же состоял секретарем редакционной коллегии и тут проявил большую энергию. Общим редактором был сначала избран М. Кулишер, хороший юрист, но далеко не энциклопедист в еврейской науке. Наши подготовительные работы длились це-

лый год и сводились к составлению номенклатуры всех отделов и распределению материала между их редакторами.

Тут я убедился в слабости нашего аппарата. Помню ряд конфликтов в нашей редакционной коллегии. Обсуждался вопрос о транскрипции еврейских имен в энциклопедии. Я настаивал на близости к еврейской форме в сефардском произношении, как принято в европейской науке, обрусевший же Переферкович стоял за греко-славянскую транскрипцию, принятую в русской церковной («синодальной») Библии. Я приводил курьезные примеры искажения библейских имен на греко-русский лад (Нафан вместо Натан, Веселиил вместо Бецалель, Фамарь вместо Тамар, Асир вместо Ашер и т. д.). Эллинист Зелинский поддерживал Переферковича, желая этим подтвердить свою любимую идею о прямой связи славянства с греческой культурой. Я выразил недоумение по поводу греко-славянских тенденций в чисто еврейском деле и однажды привел такой пример искажения национальной формы: «Что сказали бы вы, — спросил я Зелинского, — если бы русский переводчик Мицкевича передал название его поэмы „Пан Тадеуш“ словами „Господин Фаддей“?» Зелинский покраснел, и я спохватился, что ведь он сам, обрусевший поляк, именуется Фаддей Францевич. Он что-то ответил мне и мимоходом сказал, что чувствует себя одновременно и поляком и русским. Большинство коллегии приняло, однако, предложенную мною сефардскую транскрипцию.

Помню еще одно объяснение с Зелинским. Я его спросил, как он, поклонник греко-римской культуры, отрицательно относящийся к иудаизму, намерен трактовать моменты столкновений между этими античными культурами, в особенности в эпоху национальной войны Иудеи против Рима. Я, собственно, имел в виду предупредить односторонний подбор фактов со стороны эллинофильского профессора. Зелинский понял меня и ответил: я вижу во всей этой борьбе историческую трагедию и с этой точки зрения буду ее рассматривать. Были, однако, в нашей коллегии и более тяжелые конфликты. Когда однажды главный редактор Кулишер дал нелепую оценку статьи Переферковича по библейской истории, автор обиделся и наговорил грубостей почтенному редактору. Мы все сочувствовали оскорбленному Кулишеру. Скоро, однако, выяснилось, что и Кулишер не подходит к своей задаче общего редактора: для этого ему не хватало еврейского энциклопедического знания. Ему пришлось уйти, как позже и Переферковичу.

Полное удовлетворение я находил только в одной работе: пересмотре «Писем о старом и новом еврействе». Зимой 1907 г. я возобновил эту работу, начатую предыдущим летом в Верках. Я с увлечением систематизировал идеи, развившиеся в связи с переживаниями целого десятилетия (1897—1907) и проверенные на опыте бурной эпохи. Вся моя публицистика этого десятилетия вошла в большой том «Писем» и разместилась в трех его отделах: 1. Общие принципы; 2. Между общественными течениями; 3. Между инквизицией и эмансипацией. Работа была закончена в апреле 1907 г., и в моем предисловии к книге отразились общественные настроения того момента. Я там дал краткую характеристику только что завершившейся дифференциации наших политических групп. Между прочим, одна характеристика оказалась пророческою: я назвал В. Жаботинского и его товарищей из сионистского «Рассвета» максималистами сионизма, так как они выкинули лозунг: «Середины нет. Или экзод (исход из диаспоры в Сион), или ассимиляция!». Судьбе угодно было через десять лет сделать Жаботинского вождем еврейского легиона и затем партии ревизионистов, максимализм которых оказался неприемлемым даже для большинства сионистской организации. Помнится, когда тотчас после выхода книги «Писем» меня посетил Жаботинский, он в шутку сказал: «Вы меня называете максималистом, а ведь я еще экспроприациями не занимаюсь» (в ту пору максималистами назывались крайние революционеры, нападавшие на государственные казначейства или почтовые конторы с целью экспроприации). Моя собственная идеология заняла место между крайними тече-

ниями и разделяла участь всякой средней позиции: ее штурмовали и справа и слева.

Глава 47

«Еврейская энциклопедия» и еврейская «академия» (1907—1908)

Постоянная летняя «резиденция» в Финляндии. — Государственный переворот 3 июня 1907 г. — Мечты об отшельничестве в Выборге и вместо этого новая обитель на Васильевском острове в Петербурге. — Новый пересмотр «Учебника еврейской истории» и редактирование перевода Ренана. — Думы в финляндском лесу, лесная молитва в Рош-гашана. — Schutzjude в столице. — Работа в «Еврейской энциклопедии» и мое вынужденное общее редакторство. — Еврейская «академия» или Курсы востоковедения барона Гинцбурга. — «Сторожо чужие виноградники». «Мой день клонится к закату». — Отход от политики и публицистики. — Последнее прощание с Ахад-Гаамом.

Крайне утомленный разнородными работами, я мечтал о летнем отдыхе, точнее о более спокойной работе, в Финляндии. Счастливым случай сделал меня постоянным летним гостем этой тихой страны озер и лесов, создал для меня корректив к душевной столице тут же, под боком, в двух часах езды от нее. Мои родственники Эмануилы купили близ деревни Усикирки, станции железной дороги между Петербургом и Выборгом, большое имение под названием Линка, с несколькими хорошими жилыми домами. Еще на Пасхе, когда снега таяли, я ездил туда вместе с новым владельцем для осмотра и был восхищен этим тихим уголком на берегу озера Кирка-Ярве. Закончив свои работы в городе, я в конце мая переехал с семейством в Линку. Мы поселились в небольшом домике близ молочной фермы и стали вести жизнь мирных поселян. Но и сюда доносились звуки политической борьбы.

В воскресенье, 3 июня, утром я по делу поехал в Петербург и в вагоне раскрыл только что купленную газету. У меня потемнело в глазах: совершился государственный переворот. Манифест Николая II возвестил о роспуске второй Думы, в которой угнездилась «крамола» социалистических партий, и об изменении избирательного закона с целью усиления консервативного элемента дворянства и духовенства. Мы все предвидели разгон Думы после отказа ее выдать правительству фракции социалистических депутатов для предания их суду по обвинению в государственной измене, но не ожидали произвольного изменения конституции. «Стиль манифеста 3 июня есть стиль „Союза русского народа“. На истерзанную страну надвигается новая черная туча», — писал я в эти дни. Были окончательно похоронены надежды весны 1906 г. И такими странными казались мне на другой день в заседании редакционной коллегии энциклопедии наши прения о мелочах подготовительных работ.

Когда я вернулся в «зеленые объятия леса», я снова задумался над вопросом: смогу ли завершить задачу жизни в атмосфере реакции. «Мне 47-й год, — писал я, — недолго уже период расцвета умственных сил, — могу ли я дольше откладывать труды, требующие 15—20 лет жизни?» Явился план — отойдя от общественности, покинуть Петербург и поселиться на постоянное жительство в Финляндии. В часы долгих летних прогулок с женой я рисовал нашу тихую жизнь в Выборге, где никто и ничто не будет мешать мне писать «Историю». В конце июля я даже съездил в Выборг, был у губернатора и заручился его обещанием разрешить мне жительство под условием получения благоприятной справки обо мне из Петербурга. Дело в том, что по старым законам не разрешалось селиться в Финляндии даже привилегированным петербургским евреям, а давалось губернатором только право временного пребывания. Мне выборгский либеральный губернатор обещал при ука-

занном условии выдать полугодовой паспорт и затем возобновлять его каждое полугодие. Я уже ходил по улицам Выборга в сопровождении единственного знакомого туземца, молодого ориенталиста д-ра Зарзовского (он вскоре умер от чахотки), и присматривался к подходящим квартирам. Однако в последнюю минуту мое решение «уйти от мира» поколебалось. Я решил остаться в Петербурге, если Министерство внутренних дел возобновит там мое жительство бессрочно.

Уже близился конец годового срока, данного мне по приезду в столицу, и барон Давид Гицбург уверял меня, что сделает все возможное, чтобы вырвать у Столыпина разрешение на бессрочное жительство. Помню, как он летом заехал ко мне на временную городскую квартиру у родственников, на Большой Подъяческой, поднялся по крутой лестнице на 4-й этаж и еле говорил от одышки. Я ему прочел свое прошение на имя Столыпина, которое он должен был лично передать ему, но заметил, что он недоволен тоном прошения, где не было достаточного выражения верноподданнических чувств. Тем не менее он обещал стараться, хотя и не скрывал трудностей: Столыпин, который для царя и его черносотенной камарилы был «либералом», боялся делать какие бы то ни было уступки в пользу евреев. В ожидании более или менее успешного исхода ходатайства я решил заранее снять квартиру в Петербурге. Мы оставили тесную квартиру в грязноватом доме на Малой Подъяческой улице и переселились на Васильевский остров, где сняли квартиру из четырех комнат на 8-й линии. И такова была амплитуда моих колебаний в ту пору, что после недавнего финляндского плана я рисовал себе план прочной оседлости в Питере: «Довольно, надо осесть на одном месте, хотя бы на этом академическом острове Невы, и доживать там остаток дней в непрерывном труде, пока не позовут тебя в последний далекий путь. Если свыкнуться с политическим вулканом кругом, если одолеть в себе бациллу общественности, можно на этой сравнительно тихой и чистой окраине Петербурга, среди библиотек Университета и Академии наук, предасться научной работе, а летом ежегодно исцелять усталую душу воздухом Финляндии» (август).

Лето 1907 г. в Финляндии прошло в пестрой работе. Я занимался исправлением первой и третьей частей «Учебника еврейской истории» для нового издания. После плохих провинциальных изданий приятно было смотреть на новые книжки, напечатанные в одной из лучших типографий Петербурга («Общественная польза»). С тех пор учебник ежегодно перепечатывался по стереотипам каждое лето и появлялся к учебному сезону. Большая часть книг отправлялась в Вильну к главным комиссионерам братьям Сыркиным, которые снабжали учебниками всю черту оседлости евреев, а остальные продавались из склада при типографии. Ежегодный расход книг выражался приблизительно в цифре 7000 экземпляров (около 4000 первой части, 2000 второй и 1000 третьей). Чистый доход от этого издания был основой моего скромного годового бюджета, обеспечивая его наполовину. Это делало меня в материальном отношении до некоторой степени независимым, и я мог свободно строить свои литературные планы. Пророчество моего старого друга Абрамовича сбылось: «Камень, отброшенный строителями, стал во главу угла»: учебник давал экзистенц-минимум в течение двух десятков лет.

В то же лето я редактировал русский перевод «Истории израильского народа» Ренана. Я уговорил крупного издателя Эфрона издать этот перевод книги, которая некогда очаровывала меня больше своим стилем, чем содержанием. Моя дочь София, поэтесса, была как бы призвана передавать красоты ренановского стиля, а я тщательно редактировал перевод, сличая с оригиналом. Но большую часть моего времени поглощала энциклопедия, и это грозило моим планам научных работ.

В это первое финляндское лето мой культ природы принял постоянные эмоциональные формы, державшиеся в течение ряда лет. В известные моменты лес превращался для меня в синагогу, мысль — в молитву, которая иногда выражалась также в словах и мелодиях, всплывавших на поверхность из глубин памяти. В день

Рош-гашана (годовщина моего рождения по еврейскому календарю) я на глухой лесной тропинке устроил импровизированное «богослужение». Читаю в утренней записи 27 августа: «Я сейчас молился в своеобразной синагоге. Рано утром вышел в лес, улыбающийся солнцем сквозь слезы дождя или росы, и несколько минут озаренная душа молилась в знакомых с детства словах. И личное и народное горе вылилось в этих словах... Страшно стало за народ и за детей, которые уходят от этого истерзанного народа... Святые мученики 1903—1906 гг! Я поминаю вас здесь, в глуши финляндского леса, в слезах напевая: „Эль моле рахамим, шохен бамром-мим!“»

Я не молил Бога, как велит традиция, чтобы он «записал меня на хороший год». Об этом уже позаботился Столыпин. Из Питера пришло извещение, что «министр признал возможным» разрешить мне жительство только на один год. «Правительство, инспирируемое „Союзом русского народа“, иначе не могло поступить... Итак, ежегодное хождение по мукам, милость Гаманов! Нет, в будущем году положить конец этому: либо постоянное жительство, либо отъезд из Петербурга. Третья Дума, конечно, равноправия евреям не даст, а in spe еще возможно министерство Пуришкевича⁴⁶⁵—Дубровина⁴⁶⁶» (запись 29 августа). Переехав на жительство в город в начале сентября и устраивая в новой квартире свою библиотеку, я думал: «И все это при сознании, что, может быть, через год опять придется разорить гнездо и скитаться! В роли Schutzjude я долго и сам не хочу быть».

В городе возобновились заседания редакционной коллегии «энциклопедистов». «За лето, — писал я о своем впечатлении, — участники не стали более призванными к своей роли. Но я решил предоставить все ходу вещей: пусть дело в неумелых руках само валится, я не нанесу ему первого удара выходом из коллегии. Напротив, выгорожу свой отдел, а в комитете буду помогать коллегам по мере сил». Меня, однако, скоро втянули в более ответственную роль общего редактора. После ухода Кулишера главное редакторство энциклопедии было предложено мне, а когда я стал отказываться, мне заявили, что я обязан согласиться ради спасения дела. Я просил дать мне «три дня на размышление», и 20 февраля 1908 г. уехал в снежные сугробы Линки, чтобы там в уединении обдумать и решить. Думы были очень серьезные. «Это (принятие общего редакторства) значит продаться на пять лет, хотя за высокое ежегодное жалованье в 5000 рублей, какого я никогда не получал, спасти энциклопедию, но погубить свои очередные большие труды. Никогда в литературе я не шел на материально заманчивые предложения, предпочитая бедность с любимыми работами богатству с постылыми. Но энциклопедия не постылая работа, и без меня она, пожалуй, погибнет, т. е. выйдет в исковерканном виде. Это — национальный памятник еврейства, хотя и на чужом языке. Что же? Пожертвовать ей пять лет из немногих оставшихся мне в жизни, когда и без того боишься умереть, не сделав своего большого дела? А в Петербурге ждут ответа. В понедельник я должен вернуться туда и в тот же вечер в заседании комитета дать решительный ответ. Вопрос еще осложняется необходимостью реорганизации редакционной коллегии, начатой по моему предложению» (запись 21 февраля). После трехдневных размышлений я решил: от общего редакторства отказаться, а в крайнем случае принять редактирование только первого тома в течение ближайших месяцев.

Когда я по возвращении в Петербург заявил о своем решении в заседании комитета, поднялся общий ропот. Издатель Эфрон и барон Давид Гинцбург вызвали меня в соседнюю комнату и объявили, что мой отказ заставит их немедленно прекратить все дело. Мне не хотелось взять на свою совесть гибель энциклопедии после долгого участия в подготовительных работах, и я с тяжелым сердцем согласился редактировать первый том с тем, чтобы делить работу с д-ром Каценельсоном: я беру на себя пять отделов по истории и социальной жизни, а Каценельсону пере-

даются четыре литературных отдела (библейский, талмудический и др.). Секретарями были назначены Ю. Гессен и Г. Генкель. Однако первый же месяц совместной работы убедил меня, что фактически я один являюсь ответственным редактором всей энциклопедии. Д-р Каценельсон представлял собою тип еврейского ученого старой школы: обилие знаний в одной или нескольких областях и недостаточные в других. Он был превосходным медиком, талмудистом и знатоком раввинской литературы, изложение его было ясное и живое, но недостаток научно-исторических знаний вводил его часто в ошибки. Пренебрежение к хронологии однажды чуть не привело к катастрофе. Просматривая корректурные гранки, я обратил внимание на одну статью в отделе Каценельсона, где продолжительность всего периода первого персидского владычества определялась в сорок лет (согласно темному талмудическому преданию) вместо двух столетий. Когда я разъяснил ошибку Каценельсону, он только добродушно смеялся. В другой раз я ему советовал исправить статью на основании бесспорного вывода библейской критики, к которой я сам относился без критики; он рассердился и воскликнул: «Да мало ли что там выдумал Вельгаузен!⁴⁶⁷ Немец, пива напился и по-своему Библию толкует!» — и тут же сам разохотался над своим чересчур образным выражением. Статьи Давида Гиццбурга в еврейско-арабском отделе были просто неудобочитаемы. Помню, как я стал исправлять одну из его статей и наконец бросил: изложение было такое путаное, что пришлось забраковать статью, а чтобы не обидеть автора, я убедил его перенести ее содержание в более общую статью, которая в алфавитном порядке имела появиться в одном из последних томов. Корректуру забракованной статьи хранил у себя Эфрон, и когда сотрудники собирались в редакционной комнате при его типографии (в знаменитом Прачечном переулке), он приносил этот листок и читал его вслух при всеобщем смехе. Таким образом, мне приходилось строго следить за всеми статьями, кроме статей компетентных сотрудников, чтобы предохранить издание от скандальных ошибок. Большую часть статей, скомпилированных из «Джуши энциклопедия», я должен был сверять с оригиналом. Корректурные гранки были испещрены моими поправками.

В ту же зиму 1907/08 г. я был втянут еще в одно научное предприятие, прекрасное по идее, но несовершенное в исполнении. Уже давно, с момента моего переселения в Петербург, Давид Гиццбург привлекал меня к собраниям об учреждении высшего института еврейских знаний или еврейской «академии». Помню первое совещание в доме старого барона Горация Гиццбурга на Конногвардейском бульваре. Большой старик, уже с печатью близкой смерти на лице, полулежал в глубоком кресле за столом и молча слушал доклад сына и наши прения. В беседе участвовали д-р Каценельсон, чиновник Министерства юстиции Яков Гальперн⁴⁶⁸ и еще некоторые нотабли, которых уже не помню. У меня осталось от этого совещания впечатление чего-то безжизненного, и я писал (26 ноября 1906): «Великое дело втиснуто в футляр частного баронского предприятия, с заскорузлыми „профессорами“, заранее припасенными, среди которых мне предлагают кафедру истории». Целый год продолжались хлопоты Давида Гиццбурга в Министерстве просвещения о разрешении ему открыть высшие курсы еврейского знания, и наконец ему удалось учредить их под скромным названием «Курсы востоковедения». Правительство не хотело разрешить высшую школу под еврейским именем и поэтому прикрыло этот грех вывеской «восточных наук», которую предложил барон как бывший студент Восточного факультета и ученик ориенталиста Хвольсона⁴⁶⁹. Соответственно была прикроена и программа: древнееврейский, арамейский и арабский языки, талмудическая и средневековая литература, история еврейского народа и литература. Предметы были распределены между преподавателями так: по истории читаю я, по Талмуду (история устного учения) — доктор Каценельсон, по средневековой философии — барон, по арабскому и другим предметам — И. Маркон⁴⁷⁰ и И. Гиццбург⁴⁷¹. Наши слушатели набирались преимущественно из провинциальных

самоучек или экстернов, бывших иешивотников, подготовленных к слушанию специальных еврейских предметов, но не обладавших достаточным общим образованием; последнему требованию удовлетворяли лишь немногие из них, да еще студенты университета, которые являлись на наши вечерние лекции. Были и некоторые слушательницы Высших женских курсов.

В январе 1908 г. открылись Курсы востоковедения, сначала в помещении еврейской гимназии, а потом в особом помещении в том доме Васильевского острова, где жил и я. В первый семестр я читал «Введение в еврейскую историю»: методологию, периодизацию и общий обзор исторического материала. Слушатели, хорошо знакомые с еврейскими источниками, жадно слушали лекции, которые преподавали им традиционное в свете научной критики. Со вниманием слушались и живые лекции Каценельсона по истории развития устного учения, Мишны и Талмуда. Диссонанс в преподавание вносил Давид Гинцбург, «ректор» нашей школы. Он не подчинялся никаким программам, а «читал» по вдохновению, и не столько читал, сколько заставлял слушателей читать. Брал он какую-нибудь средневековую философскую книгу, например «Море невухим» Маймонида или «Милхамог Адонай» Ралбага, и предлагал ученику читать вслух, а сам объяснял прочитанные отрывки, сообщая разные сведения, большей частью к тексту не относящиеся. Такие занятия происходили часто не в помещении курсов, а на квартире барона, на 1-й линии Васильевского острова, в его огромной библиотечной комнате, где на столах были разложены редкие фолианты рукописей и старопечатных книг. Это было скорее любительство, книжный спорт, чем научная лекция. Так же бессистемно читали и двое «восточных» протеже барона: немножко о казарах, о караимах, о гаонах, о Талмуде и т. п. Тяжело было видеть такое неудовлетворительное осуществление хорошей идеи, но я все-таки еще надеялся, что со временем дело улучшится хотя бы в силу естественного подбора среди преподавателей.

От политической деятельности я в это время почти отошел. По временам только участвовал в «придумских» совещаниях наших двух депутатов в третьей Думе (Нисселовича⁴⁷² и Фридмана⁴⁷³) с представителями политических групп. Изредка я откликался на вопросы дня в прессе. Однажды (в начале 1908 г.) я ответил на анкету газеты «Фрайнд» по вопросу о своевременности широкой борьбы за еврейское равноправие вне Думы и в ней самой. Многие считали эту борьбу бесполезной при реакционном составе Думы, но я доказывал, что борьба путем массовых петиций и протестов нужна уже для того, чтобы не дать народу примириться с бесправием и политически деморализоваться. Не имея возможности регулярно посещать наши «придумские» совещания, я успокаивал свою совесть тем, что мои товарищи по «Фолкспартей», Крейнин и Залкинд, добросовестно работают там вместе с представителями других направлений. Я и без того часто укорял себя за то, что разбрасываюсь, отвлекаясь от главного жизненного труда. «Меня сделали сторожем чужих виноградников, а своего виноградника я не сторожу», — жаловался я в дневнике библейским стихом. В виде предостережения самому себе я написал на своем бюро на письменном столе стих средневекового поэта: «Iomi pata laagov» («Мой день клонится к закату»), а на портфеле с текущей корреспонденцией, висевшем над столом, сделал латинскую надпись: «Scripta manent» («Написанное остается»). Та осень была вообще грустная: долго болела и лежала в больнице жена, дети рассеялись, и я в часы уединения размышлял о превратности жизни. В моем дневнике есть волнующие строки об «интеграции души»... Прошлое вспомнилось, когда я писал предисловие к оконченному тогда в русском переводе первому тому «Истории израильского народа» Ренана. Тут, как в моей публичной лекции 1894 г., отразились и моя первая любовь к «папе свободомыслящих», и позднейшая критика его оценки иудаизма.

Совершенно не тянуло меня в ту пору к публицистике. Я не реагировал на полемические статьи по поводу «Писем о старом и новом еврействе», появившиеся в

журнале «Гашилоах» (под редакцией «отрицателя голуса» д-ра Клаузнера⁴⁷⁴), и на большую статью д-ра Житловского в сборнике «сеймистов» («Серп»⁴⁷⁵). В этой статье меня удивил полемический тон критика, который, несмотря на близость наших взглядов, старался отмежеваться от моей системы автономизма.

В начале мая приехал в Петербург Ахад-Гаам, которого я не видел уже больше двух лет. Это было свидание с целью прощания: мой друг явился, чтобы проститься со мною перед его окончательным переселением в Лондон, где он занял место управляющего конторой чайной фирмы Высоцкого. Нахожу такую запись в моем дневнике от 6 мая: «Второй день в беседе с А. Г., уезжающим завтра навсегда в Лондон. Второй день излияний души, грустных бесед о распаде нашей маленькой литературной семьи, о личном и народном горе, обо всем, что волнует и мучит. Завтра утром мы на пароходной пристани скажем друг другу „прощайте!“ — насколько? Он будет нравственно одинок в Лондоне, я здесь... Целая полоса жизни с 1891 г. завершается этой разлукой». Помню, как во время наших бесед Ахад-Гаам вынул из кармана записную книжку и показал мне тезисы двух намеченных им трудов: «Развитие этики иудаизма» и «Развитие еврейской национальной идеи». Я его заклинал, чтобы он в Лондоне не забывал об этих трудах, которые должны увенчать его литературную деятельность. Увы, мои ожидания не сбылись: лондонская атмосфера оказалась неблагоприятной для его творчества. На другой день мы простились на Гутевском острове, на борту большого парохода, отходившего в Стокгольм. С тех пор мы переписывались в течение 19 лет, но больше я уже Ахад-Гаама не видел. В дальнейшем мне придется рассказать только о наших встречах в литературе и в дружеской переписке.

Глава 48

Литературное и Историко-этнографическое общества (1908)

Второе лето в Финляндии, белые ночи на «белой даче». — Решение отказаться от энциклопедии. Мольбы Каценельсона. Его и моя трагедия. — Учреждение Еврейского Литературного общества. Учредительное собрание. Мой тезис о трехязычии еврейской литературы. Черновицкая конференция и начало языковой проблемы. Идишисты и гебраисты. Отделения Литературного общества в провинции и культурное оживление. — Учреждение Еврейского Историко-этнографического общества, осуществление мечты 1891 г. Учредительное собрание: моя грустная речь и речь-исповедь Винавера. — Комитет Историко-этнографического общества. — Конкуренция «Пережитого». — Мой реферат «Процессы гуманизации и национализации».

С конца мая 1908 г. я снова в Финляндии, в поэтической обстановке Линки. Мы живем на высоком берегу озера Кирка-Ярве, на верхнем этаже «белой дачи». Об этой пустовавшей раньше большой вилле ходили среди местного населения странные легенды как о средневековом волшебном замке. Говорили, что какой-то рок преследовал бывших владельцев виллы и что в годы ее запустения там появлялись какие-то привидения. Я нашел там совсем реальные следы этих «привидений»: надписи на стенах балкона вроде «Долой самодержавие!», «Николай Кровавый». Оказалось, что еще недавно, в 1905 г., скрывавшиеся в Финляндии революционеры устраивали в пустой вилле тайные собрания и отводили себе душу мятежными надписями по адресу царизма. Мне, однако, печальный «замок» приносил в течение ряда лет такую радость творчества с природой, какую я редко имел раньше. Под моим высоким балконом сталось пестрое поле клевера, за ним гладь озера, а с боков дом охватывался густыми рядами сосен, елей и берез. Памятны мне летние вечера, когда я с высоты балкона часами следил за медленным угасанием заката и чувствовал наступление белой ночи по внезапному замиранию шелеста

листьев на верхушках деревьев и по таинственному свету над озером. Очаровывало это дивное слияние дня и ночи, заката и восхода, и грезился такой же символический переход в конце жизненного пути, «когда для смертного умолкнет шумный день...»

В этой идиллической обстановке меня с особенною силою влекло к творческой работе. Хотелось погрузиться в переживания XIX в., восстановить образ этого бурного столетия в еврейской истории. Пора уже положить конец вызванному революцией долгому перерыву в исторической работе и вернуться к стоявшей на очереди «Новейшей истории». Но дорогу к любимому труду преграждала коллективная работа по энциклопедии. «С неимоверными усилиями, — писал я 13 июня, — сооружаю энциклопедию, чищу авгиевы конюшни всех девяти отделов, устрояю в каждой гранке корректуры кучу несообразностей, работаю за всех: и за номинальных (по большей части) редакторов отделов, и за сотрудников по общей редакции. Я добьюсь этой работой сверх сил, что первый том энциклопедии через месяц выйдет приличным в научном и литературном отношениях. Но чего это мне стоило! И возможно ли так продолжать?» Я поехал в город и в заседании редакционной коллегии поставил вопрос о моем дальнейшем участии. «Двухдневные совещания о будущем энциклопедии. Я обусловил свое дальнейшее участие в общей редакции и в пятом отделе обновлением состава редакторов отделов, большую часть номинальных. Выяснилось, что нет людей, и другие редакторы вместе с издателем Эфроном решили, что надо дать энциклопедию, хотя и плохую, переводную. Я их поддержал в этом, но заявил, что я тогда уйду совсем. Тут поднялся буря. Мне сделали самые выгодные предложения, чтобы удержать меня хотя бы в пятом отделе, но я стоял на своем: или приличная научная энциклопедия с моим участием, или лубочная без меня» (запись 5 июля).

После моего возвращения на дачу ко мне приехали двое гостей: мой соредaktor Л. Каценельсон и прибывший из Одессы приятель раввин Х. Черновиц⁴⁷⁶. В течение двух дней Каценельсон уговаривал меня не покидать его в общей редакции энциклопедии даже при нынешнем составе сотрудников. Он приводил доводы литературные и житейские: нужно поддержать монументальное издание даже при его несовершенствах; нельзя отнимать возможность заработка у многих нуждающихся сотрудников. При этом Каценельсон со свойственным ему прямодушием признался, что он нарочно сократил свою медицинскую практику для того, чтобы конец жизни посвятить любимой научной работе, и в случае приостановки энциклопедии он одновременно потеряет и задачу жизни, и свой литературный заработок. Я ему возражал, что и мне дорога идея энциклопедии, но именно поэтому не могу мириться с плохим ее осуществлением, что историк по специальности в таком деле несет большую ответственность, чем медик и талмудист, и наконец, что с уходом из редакции я также жертвую доброю половиною своей материальной обеспеченности. Присутствовавший при нашей беседе Черновиц одобрил мое поведение и очень удивился, когда в ответ на мои слова, что я не стану марать свое имя участием в плохом коллективном труде, обиженный Каценельсон воскликнул: а я пойду по колено в грязь, лишь бы спасти энциклопедию! А затем снова сетовал, что я его покидаю в непосильной для него работе, причем у него слезы показались на глазах. Я с болью душевно чувствовал трагедию этого прекрасного человека, желавшего во что бы то ни стало озnamеновать конец своей жизни созданием памятника, но понимал ли он мою трагедию? Я, правда, был моложе его на 13 лет (ему тогда шел 61-й год), но ведь я имел перед собою план работ по крайней мере еще на двадцать лет, и таких работ, в которых я видел весь смысл жизни. Мог ли я из гадательного остатка лет (а я всегда думал, что до глубокой старости не доживу) отдать пять-шесть лет коллективной работе в энциклопедии, рискуя судьбою таких трудов, как общая история еврейского народа, история евреев в Польше и России и переработка истории хасидизма?.. Грустный, расстроенный уехал от меня д-р Каценельсон,

я также был глубоко расстроен. «Хорошо ли я сделал, — спрашивал я себя в дневнике, — лишая себя материальных средств и отнимая у энциклопедии одну силу?» Но тут же отвечал: «Чувствую, что иначе не мог поступить, сохраняя чистую совесть»^{*}.

Вопрос был окончательно решен в совещании издателя Эфрона с редакционной коллегией. Предложенный мною проект реорганизации состава редакции не был принят. Эфрон горячо убеждал меня остаться, неизменно повторяя свой довод, что я вследствие стремления к лучшей энциклопедии разрушаю хорошую и, следовательно, я «враг хорошего» (в силу афоризма «лучшее враг хорошего»). Весь день 20 августа длилось это совещание в Прачечном переулке, и вечером я записал: «Критический день в моей литературной жизни: отказался от дальнейшего участия в редактировании энциклопедии. Больно мне расстаться с мыслью о создании национального памятника; тяжело мне, необеспеченному, лишиться постоянного заработка, но иначе не могу. Сейчас вернулся из типографии. Испытываю чувство возвращения домой, к своим брошенным духовным детям». Увы, не скоро осуществилась и эта надежда. Помню, как в тот же вечер явился ко мне в городе мой молодой друг и позже товарищ по «Фолкспартей», А. Ф. Перельман⁴⁷⁷, с проектом создания нового еврейского ежемесячника на русском языке взамен закрывшегося «Восхода». Я ему сказал, что только что отказался ради своих трудов от более крупного издания. А через несколько месяцев я был уже втянут в состав редакции нового журнала «Еврейский мир». Что-то фатальное было в этом совпадении: король умер — да здравствует король!..

В конце лета я еще в Финляндии пытался возобновить свои приготовления к очередному труду: «Новейшей истории евреев». «Голова полна мыслями о ближайшем труде. Предо мною куча заметок и планов, и я чувствую, что могу и должен дать яркую картину новейшей эволюции еврейства». Я даже записал план дальнейших работ на целых 13 лет вперед, до 1921 г. Накануне переезда в город я прощался с тихим финляндским приютом: «Завтра покидаю тебя, печальный край, безмолвный, с редкой улыбкой солнца, — я, носящий в душе тяжесть безмолвной грусти... Еду в город тюрем и жандармов, „чрезвычайной охраны“ и холеры, — (эпидемия скоро разрослась и похищала сотни жертв ежедневно), — чтобы удивиться в своей келии среди этого мира торжествующего зла». Вместо келии меня ждал шумный форум общественности.

В городе я с аппетитом голодного набросился на историческую работу. Я стал писать обширное введение в «Новейшую историю» («Еврейский мир накануне 1789 года»), где старался дать картину статичности всемирного еврейства накануне динамического XIX в. Но не успел я кончить это введение, как меня самого зацепила общественная динамика. В ту пору, после политических разочарований и вызванного ими гнилого декадентства в некоторых кругах молодежи, в здоровой части еврейского общества почувствовалась сильная потребность в широкой национально-культурной работе. Возрождение литературы на обоих еврейских языках и на государственном языке стало на очередь дня. Для подъема социальной энергии нужно было использовать единственное достижение, уцелевшее от недавней революции: относительную свободу печати и публичных чтений. Новый закон облегчал учреждение обществ и союзов для культурных целей. И вот было решено учредить в Петербурге Еврейское Литературное общество с правом открытия отделений в провинции. Инициаторами дела были С. М. Гинзбург из редакции «жаргон-

^{*} Проверая правильность своего поступка теперь, спустя четверть века, я нахожу, что субъективно я был прав, оставляя коллективную работу ради личного творчества, но объективно, в самой оценке энциклопедии, проявил чрезмерный ригоризм. Напуганный обилием ошибок при редакционной работе, я упускал из виду, что все-таки доброкачественный элемент преобладал над плохим в энциклопедии, тем более что кроме статей, заимствованных из американской энциклопедии, там было много недурных самостоятельных статей.

ной» газеты «Фрайнд», А. Д. Идельсон из сионистского еженедельника «Рассвет» и некоторые другие писатели и политики (между прочим, депутат Думы, адвокат Нисселович, проводивший через инстанции устав общества).

12 октября 1908 г. состоялось учредительное собрание Литературного общества. Открывая собрание, я призывал к усилению культурной работы после усадки политической и напомнил, что именно в эпохи реакций литература призвана стоять на страже и подготавливать новый подъем общественности. В этом собрании впервые была поставлена языковая проблема (это было через два месяца после Черновицкой конференции⁴⁷⁸, которая провозгласила идиш национальным языком наравне с древнееврейским). Здесь, в собрании петербургских интеллигентов, где все говорили по-русски, выяснилось течение в сторону чисто еврейской литературы и против русско-еврейской, то есть против употребления русского языка. Я тогда отметил в записи: «Знамение времени! Давно ли вне русско-еврейской литературы все считалось *batlonus* (пустыми упражнениями)?» Я выдвинул принцип равноправия для всех трех языков и заявил, что дискуссия по языковой проблеме состоится в одном из ближайших собраний нашего общества. В учредительном собрании был избран комитет, в который вошли лица различных направлений. Кроме меня и С. Гинзбурга, как председателей комитета, туда вошли С. Ан-ский, А. Сев, М. Тривус, А. Идельсон, С. Цинберг и даже один бундист (Зельдов-Неманский⁴⁷⁹). Главная работа петербургского комитета состояла в устройстве собраний для рефератов с дискуссией. Собирались обыкновенно в зале училищ Общества просвещения на Офицерской улице.

Первые рефераты касались, разумеется, вопроса о языках. Помню шумные дискуссионные вечера по поводу доклада С. Ан-ского о равноправии языков. Докладчик держался моего мнения о неизбежности трехязычия в еврейской литературе. Оппонентом выступил горячий «идишист» (этого термина тогда еще не было и чаще употреблялось выражение «жаргонист») Н. Штиф⁴⁸⁰, писавший в «Рассвете» под псевдонимом Баал-Диммон. Он первый заговорил публично в наших собраниях на хорошем народном языке. Штиф возражал против тезиса равноправия трех языков, признавая равноправными только оба еврейских языка. Он оспаривал мое обозначение древнееврейского языка как «национального» (в смысле историческом) и идиш как «народного» (в смысле распространенности его преимущественно в народных массах; интеллигенция обратилась к нему позже). Мне пришлось защищать права русского языка в нашей литературе против идишистов и гебраистов, доказывая, что нельзя отнимать национально-культурное орудие у огромных слоев еврейской интеллигенции, говорящей и читающей по-русски. Я допускал, что в смысле национальном еврейский и русский языки неравноценны, но они должны быть признаны равноправными как культурные орудия. В следующих наших собраниях читались рефераты о Шалом-Алейхеме, Переце и других народных писателях, которыми вдруг заинтересовалась даже ассимилированная интеллигенция. Вскоре в центральный комитет Литературного общества стали обращаться из многих городов с предложениями об устройстве там отделений общества, и комитет проводил через министерство легализацию таких отделений. Так возникли провинциальные литературные общества в Одессе, Екатеринославе, Варшаве, Киеве и множестве меньших городов. В течение двух лет число этих обществ возросло до ста. Везде замечалось общественное оживление, везде велись в собраниях дискуссии не только на культурные, но и на политические темы, пока власти не спохватились: в 1911 г. Столыпин запретил все еврейские литературные общества наряду с украинскими и польскими национально-культурными организациями. Я участвовал в центральном комитете только в первый год, а потом вышел из его состава, так как был отвлечен работою в другом, более близком мне Историко-этнографическом обществе.

В один из осенних дней 1908 г. является ко мне мой сосед по Васильевскому острову М. Тривус-Шми и сообщает, что Винаверу удалось получить разрешение на учреждение Еврейского Историко-этнографического общества и что меня просят вступить в ряды учредителей. Мне напомнили, что тут осуществляется мой призыв 1891 г., приведший к образованию Историко-этнографической комиссии при Обществе просвещения в Петербурге, которая теперь превращается в самостоятельное общество. Мог ли я уклониться от участия в деле, о котором мечтал в давние годы? Начался ряд организационных заседаний в квартире Винавера на Захарьевской улице. В том самом кабинете, где мы еще недавно вели политические дебаты в заседаниях Союза полноправия, собирались остатки «регестников» (собрателей регест из исторических актов). Винавер грустно сказал: «Революция оторвала нас от исторических работ, которые мы вели в 90-х годах, — теперь настала пора вернуться к ним».

16 ноября в красивом Александровском зале при синагоге на Офицерской состоялось первое учредительное собрание Еврейского Историко-этнографического общества. Председательствовал М. И. Кулишер. Винавер и я сидели за столом президиума. Сложные чувства волновали меня в этот вечер, когда я должен был приветствовать слишком позднее осуществление мечты молодости, и это настроение сказалось в моей вступительной речи. «Не могу скрыть от вас, — говорил я, — что в этот торжественный момент меня волнует смешанное чувство радости и печали. Радуюсь тому, что наконец возникает учреждение, призванное удовлетворять насущным потребностям нашей национальной жизни; скорблю о том, что так поздно возникает оно, что ядро еврейского народа только сейчас дождалось того, что уже давно имеют меньше группы его на Западе. В этот момент я не могу не вспомнить об одном неосуществленном проекте 1891 года, проекте очень близком мне, о тогдашнем первом призыве к учреждению Еврейского Исторического общества. 17 лет понадобилось для того, чтобы эта мечта нашей юности воплотилась в дело». Сделав обзор подготовительных работ по истории русских евреев и набросав план предстоящей деятельности вновь учреждаемого общества, я закончил свою речь указанием на симптомы умственного пробуждения в последнее время: возникновение культурных обществ и научных учреждений. «В темные промежутки реакции, — повторил я, — мы должны накопить духовную энергию для того, чтобы в грядущую освободительную эпоху ее расходовать»^{*}.

После меня говорил Винавер. Это была одна из его лучших больших речей, замечательная по своему задушевному тону исповеди. Он напомнил о таком же осеннем вечере в Петербурге 1891 г., когда в собрании молодых еврейских юристов и писателей покойный В. Берман показал только что появившуюся книжку мою «Об изучении истории русских евреев и об учреждении Еврейского Исторического общества»; мой призыв привел к образованию Историко-этнографической комиссии, о работах которой в течение десяти лет Винавер подробно и образно рассказывал. Он говорил, с какою любовью эта группа петербургских интеллигентов занималась собиранием регест из исторических актов по программе моей и профессора Бершадского, как живо обсуждались рефераты в собраниях и как в процессе работы росло в участниках чувство связи с народом, прошлое которого изучалось. Грусть юношеских воспоминаний и недавних политических разочарований звучала в последних словах Винавера: «Я вижу вот рядом со мною сидящего Дубнова, и перед глазами моими лежит все тот же, успевший уже истрепаться экземпляр кирпичного цвета, и кругом все старые друзья-соратники, вместе со мной лелеявшие мечту, которая вот сейчас осуществляется. Мечта скромная, не чета тем, что недавно обуревали нас, но за ней своя особая, бесценная прелесть: она — мечта юности. Воскре-

^{*} Цитирую по краткому отчету об учредительном собрании, напечатанному в «Еврейской старине», 1909 г., т. 1, с. 154 и сл.

сают при ее свете и обстановка, в которой зародилась она, и юные порывы, и те скромные деяния, которые дано было свершить нам». С затаенным дыханием слушало собрание задушевную речь Винавера*, а я сидел замороженный воспоминаниями двух десятилетий, взволнованный исповедью моего современника и соратника. Диссонанс в возвышенное настроение аудитории внесла лишь короткая речь председателя М. Кулишера, который почему-то в этот момент счел нужным расхвалить слушателей указанием на угрожающее еврейству духовное вырождение и вообще как-то иронически отнесся ко всему нашему начинанию. Это, однако, не помешало собранию избрать его по заранее розданному списку в число членов комитета Историко-этнографического общества.

На другой день после собрания я записал: «Оно открылось вчера, это Историческое общество, проект которого я писал ранней весной 1891 г. и опубликовал осенью того же года... Предстоит громадная работа: собрание и издание материалов, издание трехмесячника и отдельных книг, лекции и рефераты... Ах, если бы это было 17 лет назад, как я бы отдался этому, сколько бы сделал! Мечта тридцатилетнего, осуществляемая в сорок восемь лет — не слишком ли поздно?..» Я действительно испытывал нечто вроде чувства человека, которого любимое существо отвергло в юности и вернулось к нему через много лет, когда уже прошло все очарование юной страсти и вставал вопрос: надолго ли?..

Избранный в учредительном собрании комитет Историко-этнографического общества выделил из себя президиум, куда вошли Винавер как председатель, я и Кулишер как товарищи председателя, Ю. Гессен как секретарь. Остальные члены комитета были: из группы «восходовцев» Л. Сев, М. Тривус-Шми и М. Сыркин, этнограф А. Штернберг, археолог Сальвиан Гольдштейн и молодой историк Марк Вишницер⁴¹, который незадолго перед тем приехал из Германии и в беседах со мною производил впечатление знатока еврейской научной литературы. Числившиеся в комитете библиотекарь Публичной библиотеки А. И. Браудо, историк по образованию, и литературный критик журнала «Русское богатство» Горнфельд редко посещали наши заседания. Главным делом комитета было издание трехмесячника «Еврейская старина», который я согласился редактировать при помощи комиссии из членов комитета. Продолжение издания «Регест» было поручено Севу и Гольдштейну.

К сожалению, не примкнули к нашему делу некоторые лица, которые могли бы быть ему полезны, как, например, С. М. Гинзбург, редактор еврейского исторического сборника «Пережитое». В этом сборнике, задуманном еще до открытия Историко-этнографического общества, участвовали кроме редактора и С. Цинберг, С. Ан-ский, А. Браудо и я. В нем помещались преимущественно мемуары и документы недавнего прошлого, так что на роль строго научного органа он претендовать не мог. Перед выпуском первого тома «Пережитого» названная группа сотрудников обсудила составленный Гинзбургом проект предисловия, в котором заключался призыв к собиранию исторических материалов и присылке их по адресу редактора сборника. Как раз в эти дни я готовился к учредительному собранию Историко-этнографического общества, которое должно было опубликовать такое же воззвание с целью образовать архив и музей для общего пользования. Я заявил, что теперь, при создании общественной организации с широкой программой деятельности и с фондом для публичного архива, наш частный кружок «Пережитого» теряет значение и должен войти в состав новой организации, во всяком случае не конкурировать с нею. Против моего предложения восстал Гинзбург, который из личной неприязни к Винаверу не хотел работать с ним в одном деле и настаивал на

* Она была напечатана полностью, по рукописи Винавера, в первой книжке «Еврейской старины», 1909 г., с. 41—54, под заглавием «Как мы занимались историей». Но читал ее Винавер без рукописи, едва заглядывая в конспект.

сохранении частного кружка. Тогда я вышел из кружка «Пережитого» с протестом против его антиобщественной тенденции. Частный сборник продолжал выходить даже после того, как большинство его сотрудников перешло в комитет нашего общества и работало в «Еврейской старине».

В начале декабря я открыл серию докладов в Историко-этнографическом обществе. Я прочел реферат на тему «О процессах гуманизации и национализации в новейшей истории евреев», где проводил мысль о нормальности взаимодействия обоих процессов и ненормальности их одностороннего действия, иллюстрируя это примерами из истории XIX в. Я пришел к выводу, что установление гармонии между гуманизмом и национализмом есть важнейшая задача, завещанная XIX веком XX. Доклад вызвал страстные прения, которые заняли два вечера. Тут я, кажется, впервые столкнулся с типичным «присяжным оппонентом» во всех еврейских дискуссионных собраниях, Б. Столпнером⁴⁸². Это был странный тип. Выходец из раввинских иешив, он долго скитался по еврейским студенческим колониям Швейцарии и Германии, усвоил доктрину марксизма и проглотил массу немецких книг. Все это в связи с его прежним талмудическим образованием сделало из него отчаянно-диалектика и спорщика по всевозможным вопросам. Он спорил из любви к искусству, ради самого процесса спора, часто весьма остроумно, но всегда почти бесплодно, ибо свои собственные положительные идеалы он развивал крайне туманно. В них была какая-то странная смесь исторического материализма и мистического спиритуализма, тенденций ассимиляционных и религиозных. Сама внешность Столпнера, неряшливый и неловкого, подслеповатого и совершенно лысого, придавала ему вид какого-то фанатического аскета, но к его словам внимательно прислушивались любители умственного спорта. Я, как противник такого спорта, относился отрицательно к выступлениям Столпнера.

Глава 49

«Еврейский мир» и «Еврейская старина» (1909)

Ежемесячник «Еврейский мир» и его коалиционная редакция; направление «Фолкспартей» как «равнодействующая». — «Молодняк» Фруга и скорбь о «юных листьях». — Мои статьи. Начатые «Думы о вечном народе». — Литературные инциденты: полемика с «отрицателем голуса» из сионистского «Рассвета»; серьезный обмен мнений с Ахад-Гаамом: «Отрицание голуса» и «Утверждение голуса». — Финал драмы в «Еврейской энциклопедии»: журнальная рецензия и пострадавшее русское издание Ренана. — Трехмесячник «Еврейская старина» под моей редакцией, мои сотрудники. Ропот строителя, вынужденного возить камни. — Плохое ведение дела на Курсах востоковедения. — Летние думы и лесные молитвы в Финляндии. Обет возвращения к историографии. — Цензурные опасения: богохульство и оскорбление величества. — Кризис в «Еврейском мире» и мой выход из редакции. Уход из общественных организаций ради исполнения обета.

1909 год прошел у меня в разнообразной работе, но в стороне от моего главного плана. Все мое время было поглощено участием в двух периодических изданиях: в литературном ежемесячнике «Еврейский мир» и в научном трехмесячнике «Еврейская старина». Оба издания имели целью поднять уровень русско-еврейской литературы и науки. Кому же могло тогда прийти в голову, что мы строим здание, которому через десять лет предстоит полное разрушение?..

Давно уже занимала меня и моих друзей мысль о заполнении пустоты, образовавшейся с прекращением «Восхода», где в течение четверти века сосредоточивались наши лучшие литературные силы. Меня манила надежда, что новый журнал будет органом того национально-прогрессивного объединения, которое мы пыта-

лись создать и в Союзе полноправия, и в «Фолкспартей». И когда группа лиц различных направлений предложила мне участвовать в редакции нового журнала, я не мог устоять против искушения. Я согласился быть крестным отцом новорожденного чада и даже придумал для него имя: «Еврейский мир» — символ идеи мирового еврейства. Энергичному А. Ф. Перельману удалось составить издательскую группу для журнала, а я помог ему в составлении редакционной коллегии. После долгих переговоров эта коллегия сформировалась в следующем междупартийном составе: я в роли председателя и Ан-ский от «Фолкспартей», Л. Сев и М. Тривус от «Народной группы», сионист В. Португалов⁴⁸³, член «Демократической группы» А. И. Браудо и примыкавший к «Фолкспартей» Перельман в секретариате. Много времени отнимали редакционные заседания, где приходилось устанавливать «равнодействующую» между различными направлениями; эта линия совпадала большею частью с направлением «Фолкспартей», и мне поэтому досталась руководящая роль. Тем не менее бывали частые конфликты, особенно с упорным Севом. Помню эти бурные заседания, происходившие в конце 1908 г. на моей квартире на Васильевском острове, а с начала 1909 г. в помещении редакции при типографии «Общественная польза», в знакомом литературному Петербургу доме на Б. Подъяческой, выходящем острым углом на Фонтанку. Споры возникали обыкновенно по поводу ежемесячных политических обзоров, которые читались в рукописи или в корректуре в наших заседаниях, или по поводу помещения публицистической статьи с партийной окраской.

Состав сотрудников «Еврейского мира» был весьма почтенный. В отделе беллетристики фигурировали Менделе, Перец, Фруг. Помню, с каким волнением читал я в первой книжке журнала посвященное мне Фругом стихотворение «Молодняк»:

*О, кто же нам придет на смену, старый друг?
И в утро ясное и в темный час чужасть
О чем он шелестит, наш молодняк вокруг?
Какой готовит плод и ждет какого счастья?..
О, листья юные! В морозы и в туманы
Их рост лелеяли мы в муках и слезах,
А нам так чужд порой и темень шум их странный...*

Кто мог подсказать поэту-другу мои думы о нашем «молодняке», мою личную и общественную скорбь о «юных листьях», срываемых с нашего вековечного дерева?.. Мы только случайно встретились незадолго перед тем на литературно-музыкальном вечере в пользу нашего Литературного общества, где Фруг прекрасно декламировал свои русские и еврейские стихи. Он жаловался на тяжелую болезнь почек, которая скоро заставила его покинуть Петербург и уехать на юг. А теперь мы, постоянные соседи по старому «Восходу», встретились так грустно на страницах нового журнала, и каким-то реквиемом звучали дорогие мне строфы в послании друга... Фруг прощался с Петербургом и уходил на покой в тот момент, когда я туда возвратился и вошел в самую гущу общественной и литературной жизни.

На первых порах я часто печатался в «Еврейском мире». В первых книжках журнала были помещены мое обширное введение в новейшую историю, под заглавием «Еврейский мир накануне 1789 года», вышеупомянутый реферат «Гуманизация и национализация» и начало серии статей под заглавием «Думы о вечном народе» за подписью Historicus. В форме шопенгауэровских «Паралипомена» я хотел давать от времени до времени результаты моих размышлений о высших проблемах еврейства, на основании беглых заметок в записных книжках. В первой статье я проводил мысль, что исторически обоснованная вера в вечность еврейского народа может заменить свободомыслящему еврею веру в личное бессмертие и таким образом вернуть его к первоначальной библейской идее коллективного бессмертия. Эти «слова верующего» весьма характерны для тогдашней стадии развития моего ми-

росозерцания, когда душа цеплялась за национальную догму как за суррогат религиозной догмы. Первая статья «Дум» оказалась и последнею. Продолжению помешали большие работы. Мечтаю о таком продолжении в отделе «Размышлений», в конце настоящей «Книги жизни», когда я уже сам буду стоять на пороге неведомой вечности...

Расскажу о нескольких литературных инцидентах в связи с моей годовой работой в редакции «Еврейского мира». Петербургский еженедельник сионистов «Рассвет», под редакцией А. Д. Идельсона, принял в то время боевую позицию по отношению ко всем остальным направлениям. Я хорошо знал Идельсона как соседа по Васильевскому острову и встречался с ним в разных собраниях: он был остроумный собеседник, анекдотист, насмешник, но когда он эти свойства проявлял в серьезной публицистике, он становился часто несносным. Он превращал в фельетон самую серьезную проблему и нередко высмеивал то, что и для него как отличного знатока еврейства должно было быть дорогим. Так, он в длинном ряде статей осмеивал наши культурные организации того времени, единственно положительное, что осталось у нас от завоеваний 1905 г.: Литературное и Историческое общества, энциклопедию и Курсы востоковедения. То был самый дурной тон в сионистской пропаганде «отрицания голуса». Возмущенный этим циничным отношением к нашим идеалам, я поместил в февральской книге «Еврейского мира» заметку под заглавием «Нигилизм или одичание?», подписав ее самым глухим псевдонимом Аяк Бахар (известная анаграмма еврейского алфавита). Я говорил там о нигилизме «отрицателей диаспоры», которые не признают ничего из созданной ею тысячелетней культуры, кроме тоски по Сиону. Заметка, хотя и резкая по тону, была весьма солидна по своему материалу: masse цитат из статей Идельсона, писавшего под псевдонимом Ибн-Дауд, Давидсон и другими. Сотрудникам «Рассвета» этот удар попал не в бровь, а в глаз. Посыпались ругательные статьи против «Еврейского мира». На первых порах тайна псевдонима Аяк Бахар не была раскрыта, но впоследствии, когда она раскрылась, в «Рассвете» стали применять ко мне оригинальную систему бойкота: всячески замалчивали мое выступление в литературе или в публичных собраниях, избегали упоминать об Историко-этнографическом обществе и редактируемой мною «Еврейской старине», а если говорили, то холодным или враждебным тоном. Надо, впрочем, упомянуть, что и многие сионисты были недовольны партийными крайностями редактора «Рассвета».

Этой вынужденной примитивной полемике я хочу противопоставить поистине рыцарский публичный спор — вернее, продолжение старого спора — между Ахад-Гаамом и мною на ту же тему: отрицание голуса. В журнале «Гашилоах» появилась тогда статья Ахад-Гаама «Отрицание голуса» («Шелилат га-галут»), составляющая ответ на одно из моих «Писем о еврействе» («Нация настоящего и нация будущего»), где я упрекал Ахад-Гаама в непоследовательности: кто признает Палестину лишь притягательным духовным центром еврейства, не может отрицать автономизм в диаспоре, то есть на всей периферии, которая количественно всегда будет неизмеримо больше центра. В своем ответе Ахад-Гаам сделал один шаг навстречу мне. Он установил различие между объективным и субъективным отрицанием голуса: нельзя игнорировать диаспору не только теперь, но и в далеком будущем, а можно только признавать такую форму жизни ненормальной. На эту статью, написанную с тонким анализом и в лаконическом ясном стиле Ахад-Гаама, я ответил тоже короткой статьей «Утверждение голуса» («Еврейский мир», 1909, кн. 5). Я доказывал, что если положение диаспоры ненормально, между тем как сама диаспора неизбежна, то нужно по мере возможности нормализовать это положение теми средствами, которые современное правосознание дает в руки национальным меньшинствам во всех государствах; теоретический монизм Палестины, даже ставшей духовным центром, не устоит против фактического дуализма Палестина — диаспора. В связи с этим я возражал против отрицательного отношения моего оппо-

нента к «жargonу» и доказывал, какой грех берут на душу те, которые пренебрегают «могучим орудием нашей автономии в диаспоре: народным языком семи миллионов евреев». Статья Ахад-Гаама и мой ответ представляли собою скорее мирный диалог, чем полемику, и я рекомендую этот диалог как образчик честного спора между идейными противниками, которые, впрочем, имели много точек соприкосновения в своей идеологии.

В то время разыгрался финал моей драмы с «Еврейской энциклопедией» Эфрона. После моего ухода в этом издании частично изменился состав редакции: мое место в общей редакции занял рядом с Каценельсоном Д. Гинцбург, а в редактировании европейского отдела д-р М. Вишницер и С. Лозинский⁴⁶⁴; библейский отдел перешел к молодому адвокату Г. Красному⁴⁶⁵. Барон Гинцбург, конечно, только номинально фигурировал на заглавных листах каждого тома (с IX тома его заменил А. Гаркави); Вишницер был полезен в компилятивных работах, но еще нуждался в исправлении русского языка (он раньше писал по-немецки), а Красный был очень далек от необходимой для энциклопедии научной осторожности в выводах. За эти недостатки ухватился рецензент второго тома энциклопедии, некий С. Марголин⁴⁶⁶, поместивший статью о нем в «Еврейском мире». Строгий критик привел ряд цитат с целью доказать свою эрудицию путем оспаривания эрудиции критикуемых авторов, и мне пришлось кое-где смягчить его резкие отзывы; от себя я прибавил характеристику «Джуш энциклопедия», на которой базировалось русское издание в большей части статей. Обширная рецензия, подписанная Эмден, была воспринята болезненно и главным редактором, и издателем энциклопедии. Каценельсон напечатал в газете «Фрайнд» письмо с протестом против рецензента, который разобрал его статью «Ам-Гаарец» так, чтобы «самого автора выставить ам-гаарцем», и вообще искал грехов с целью опорочить всю энциклопедию. Жаль было видеть огорчение доброго Каценельсона, и я потом очень сожалел, что еще более не смягчил резкости Марголина; еще досаднее было то, что меня самого как ушедшего редактора могли подозревать в желании свести счесть с прежними коллегами. Во всяком случае, я нес ответственность за рецензию как редактор научного отдела «Еврейского мира».

По-своему, по-купеческому, реагировал на рецензию издатель Эфрон, боявшийся, что неблагоприятный отзыв повредит сбыту энциклопедии. Он объявил мне в письме, что решил приостановить издание реновской «Истории Израиля», первый том которого (содержавший два тома французского оригинала) вышел в переводе моей дочери под моей редакцией. Эфрон думал этим сугубо наказать меня за неприятную рецензию, но потом оказалось, что он наказал только себя и еще больше читателей Ренана в русском переводе. Второй том компактного русского издания (III—V тома французского оригинала) вышел в 1911—1912 гг. под редакцией С. Лозинского и некоего И. Берлина⁴⁶⁷, из которых первый знал европейские языки, а второй едва ли в достаточной степени (это был весьма начитанный иешивотник, писавший хаотические статьи для раввинского отдела энциклопедии). Когда этот том Ренана позже попал в мои руки, я просмотрел там несколько десятков страниц и ужаснулся: оказались невероятные курьезы. Стих «Шма Исраэль» вышел в переводе Ренана в таком виде (II, 106): «Слушай, Израиль: Ягве, наш Бог, есть совершенно короткий Ягве». Я сейчас догадался, что переводчик так передал французскую фразу Ренана, который вместо «единый Ягве» употребил хлесткое выражение *Jahve tout court*, что означает «Ягве попросту, без оговорок». В другом месте (II, 108) Моисеева заповедь: «Явись к судье, который будет в то время» (в Ханаане) была передана так: «изложить свое дело... судьбе времен», ибо так понял переводчик французские слова *juge du temps*. Много еще таких курьезов было расcеяно в просмотренных мною страницах, и я уверен, что во всем втором томе их можно будет насытить сотнями. Так писались и редактировались русские переводы классических трудов даже в крупнейших издательствах. Переводили часто

учащиеся, плохо знающие иностранный язык, значившиеся на заглавных листах редакторы не читали рукописей и корректур или читали на пробу лишь отдельные страницы. Так поступали даже известные профессора, получавшие редакторский гонорар только за свое имя на заглавном листе. Что же говорить об изданиях не-солидных фирм и неведомых редакторов! В одной из рецензий «Еврейского мира» в том же году мне пришлось отметить изданный в Одессе русский перевод большой «Истории евреев» Греца, полный искажений немецкого текста и сплошь безграмотный.

Большую часть своего времени я отдавал трехмесячнику Историко-этнографического общества, «Еврейской старине». Мы с самого начала решили в комитете, чтобы в журнале печатались исследования только по истории и этнографии польско-русских евреев, так как эта область гораздо менее разработана, чем история евреев Западной Европы. И тут мне хотелось создать особый тип журнала, который был бы и строго научным, и вместе с тем давал бы импульс к тому «историческому мышлению, которое не уводит от жизни, а вводит в ее глубины, ведет через старое еврейство к новому, так чтобы в нашей стране новизна слышалась» — как я формулировал задачу журнала в предисловии к первой его книжке. Так как в России не хватало специальных научных сил, я привлекал сотрудников и из-за границы. С первых же книжек сделался моим постоянным сотрудником тогда еще молодой историк польского еврейства д-р Меир Балабан⁴⁸⁸ из Львова, а по временам присылали свои статьи галицийские коллеги д-р Моисей Шорр⁴⁸⁹ и д-р Шиппер⁴⁹⁰. Их статьи переводились с немецкого или польского на русский язык. Постоянными местными сотрудниками были: Ю. Гессен по истории русских евреев, д-р Вишницер по критике и библиографии, С. М. Гольдштейн по археологии, С. Ан-ский и С. Бейлин⁴⁹¹ по фольклору и д-р И. Тувим, переводивший для нас полный текст Литовского Линкоса XVII и XVIII вв. на русский язык (его перевод помещался вместе с еврейским текстом в приложении ко всем книжкам «Старины»). Я помещал статьи и заметки почти в каждой книжке. Для первого выпуска я написал специальное исследование «Разговорный язык польско-литовских евреев в XVI и XVII веках», имевшее и живой интерес для занимавшей тогда умы языковой проблемы. На основании многочисленных документов, особенно из раввинских респонсов, я доказывал, что обиходным языком в ту пору был немецко-еврейский жаргон, идиш, вопреки мнению Гаркави и Бершадского, что евреи тогда говорили на языке страны, польском или русском. В отделе «Документы и сообщения» я помещал в каждой книжке «Старины» документы из своего архива и из присылаемых сотрудниками материалов с моими историческими объяснениями. В первых книжках печаталась одна из поданных в паленскую комиссию записок (о погромах 1881—1882 гг.) той же серии, к которой принадлежала и моя упомянутая выше записка 1884 г. (т. I, гл. 18). В предисловии к этому документу я рассказал об этом деле давно минувших дней.

Таким образом, с каждым выпуском «Еврейской старины» расширялся тот фундамент научных исследований и сырых материалов, на котором должна была строиться история евреев Восточной Европы. Эта работа меня захватывала до того, что мне некогда было делать свои короткие записи в дневнике. И когда я однажды после трехмесячного перерыва (20 апреля 1909) нашел свободную минуту для «отчета души», я себя спросил: «И что же, доволен я? Жизнь полна, делаешь любимое дело, осуществляешь идеал юности. Но отчего же я не только физически утомился, но и душа устала и не умолкает в ней ропот: не то, не то! Я созидая Историческое общество, исторический журнал, который за полвека подготовит достаточно материала для еврейского историографа. Но не поздно ли для меня?.. Отдать теперь остаток жизни на свозку исторического материала и отказаться от надежды строить! Такое самопожертвование было бы еще разумно, если бы я видел за собою рать строителей, творцов. Но где они? Пока даже в „Старине“ вся

тяжесть черной редакторской работы падает на меня одного, нет помощников, мало сотрудников, статьи которых не приходилось бы переделывать».

Немало забот доставляли мне Курсы востоковедения, наша «академия», которая помещалась в том же доме на 8-й линии Васильевского острова, где я жил. При Курсах было и маленькое общежитие для нескольких слушателей. При такой близости к «академии» чтение лекций меня не затрудняло, но эта близость открывала мне изъяны нашего предприятия, которые меня глубоко огорчали. Я читал в 1909 г. подробный курс древней истории на основании новейших исследований, очень интересовавший слушателей, но за мою спину шептались в кругу «ректора» Давида Гинцбурга, что я сею ересь. Кроме двух курсов: моего и Каценельсона, да еще нового лектора Вишницера, читавшего по экономической истории евреев в средние века, в остальных был полнейший хаос. Лучшие слушатели жаловались мне на бесплодность лекций по «философии» и «литературе», где их кормили чтением отрывков из старых книг или перечислением источников. Чтобы установить контроль над преподавателями, я с большим трудом провел в педагогическом совете решение об экзаменах или коллоквиумах для слушателей в присутствии ассистентов. Барон Гинцбург и его камарилья понимали, что я имею в виду экзаменовать таким способом и преподавателей, но не могли противоречить. Я был ассистентом на некоторых экзаменах и вынес тяжелое впечатление. Из моих слушателей отвечали хорошо немногие (помню, между прочим, З. Рубашова⁴² и Рахиль Каценельсон, впоследствии пожившихся и ныне стоящих во главе Еврейской рабочей партии в Палестине); некоторые оказались недостаточно подготовленными к слушанию высшего курса вследствие недостатка общего образования.

Свободно предаваться размышлениям я мог только в летние месяцы в своем финляндском уголке, «где молчат люди и говорит природа». Опять появилась мысль о постоянной квартире в Финляндии. В ту пору мне пришлось повторить глубоко противный акт: подать в Министерство внутренних дел прошение о продлении срока жительства в столице еще на год. И я решил бросить жребий: просить о продлении на два года, и если разрешат — остаться в Питере, а если нет — переселиться в Выборг. Вероятность отказа была тогда велика ввиду реакционности третьей Думы и усиливавшейся юдофобской ярости «Союза русского народа», «опоры престола». Поэтому я был очень удивлен, когда в июне мне прислали извещение министерства о разрешении двухлетнего жительства «преподавателю Курсов востоковедения и редактору „Еврейской старины“». Таким образом, жребий выпал в пользу Петербурга.

В конце мая я сидел в час заката на берегу Кирка-Ярве и предавался воспоминаниям. Душа наполнилась неизъяснимым блаженством, и тут я постиг психологический закон «интеграции души» путем воспоминаний. «Великий праздник для души, — писал я, — обрести вновь кусок прежней жизни, реставрировать часть самого себя. Ибо душа есть совокупность пережитого, передуманного и пережитого. Воссоединение частей этой совокупности есть акт интеграции души». Это, конечно, не означало, что на лоне природы я весь отдавался созерцанию. Я и тут много работал. Вот запись о порядке моего дачного дня: «С утра, после первого обмена приветствиями с озером с балкона („белой дачи“), работа над редактированием „Еврейского мира“ и „Старины“, писание писем (корреспонденция с сотрудниками сильно разрослась), затем небольшая лесная прогулка до обеда. После дневного отдыха, в 5-м часу, получение почты, вносящей в эту тишину гул жизни: газеты, письма, книги, манускрипты. Погружаешься на пару часов в эти звуки из шумного мира, затем прогулка в лесу, изредка в лодке перед закатом, ужин и — долгое созерцание тайны белых ночей».

«Иногда я задавал себе вопрос, который часто ставился мне из разных кругов: правильно ли поступаю, что пишу для евреев на русском языке? Отмечая растущее дезертирство из еврейского лагеря ради карьеры, я писал: «Моя миссия — быть

апостолом язычников, отчужденных от еврейства, — делается все труднее. Как часто, под влиянием таких картин или напоминаний извне, чувствуешь потребность бросить эту миссию и ее орудие — русский язык, начать писать на национальном языке для более здоровой части народа! Я лично нашел бы в этом перевороте глубокое нравственное удовлетворение, я приобщился бы к моим литературным предкам, творцам духа с библейских времен. Но кто будет пасти моих заблудших овец?..» В один сентябрьский день, совпавший с праздником Рош-гашана 5670 года, я снова, как два года назад, совершал по-своему лесное богослужение. Опять северный лес внимал звукам: «Не покидай нас в пору старости, когда наши силы на исходе — не оставляй нас!» Молился о том, чтоб мне дано было окончить заветный труд, прежде чем уйти из мира. И в непостижимой тайне сливался с шепотом сосен и берез грустный аккорд из нашего реквиема: «Человек как тень проходящая, как сновидение мимолетное». На коре березы, в конце маленькой лесной тропинки, записал я по-еврейски: «Здесь молился я дважды: в Рош-гашана 5668 и 5670, в полдень, когда пригревало солнце. 3.IX.1909». У меня до сих пор сохранился этот кусок коры, срезанный позже при разлуке с Финляндией.

В один из таких моментов в лесном уединении я снова дал себе обет: с осени, по возвращении в город, ликвидировать все «посторонние» общественные и литературные дела, кроме «Старины», и с 1910 г. отдатья осуществлению большого историографического плана. А в осеннем Петербурге ждала меня не только работа, но и забота. В «Еврейском мире» вышел конфликт с цензурой. Была конфискована августовская книга журнала за статью «Синагога и церковь», компиляцию английского трактата, где непочтительно говорилось о христианской догматике и иконопочитании. Официальный редактор наш, Португалов, мог быть привлечен к ответственности по статье закона, карающей за кощунство или богоульство. Так как фактически я редактировал статью, то я решил заявить об этом при разборе дела в суде. К счастью, мне не пришлось посидеть в тюрьме. Выручил нас О. Грузенберг, которому еще в стадии предварительного следствия удалось добиться у прокуратуры снятия ареста с журнала и затем прекращения дела.

Через несколько месяцев появилась другая цензурная опасность. В последней книжке «Еврейской старины» 1909 г. были напечатаны в отделе материалов «Анекдоты о еврейском бесправии» известного фольклориста С. Бейлина. В одном анекдоте рассказывалось, как однажды, «по случаю коронавания правителя, начало царствования которого ознаменовалось погромами и гонениями на евреев», хитроумный еврей произнес в общественном клубе тост за правителя и окончил, тыча пальцем в его портрет, кликом «ура!» (Нигга). Это слово, произнесенное с паузой между слогами, звучало по-древнееврейски как hu га, то есть «Он — злодей!» В обществе этот анекдот рассказывался в связи с коронацией Александра III, и вся моя анонимика не помогла. Черносотенная газета «Земщина» подхватила его и напечатала заметку, что «жиды начинают поносить священную память царя Александра III» под именем «правителя, чье царствование началось погромами». Этот донос грозил тяжкими последствиями для нашего Исторического общества, для журнала и меня, его редактора. Мы уже приняли меры, припрятали оставшиеся экземпляры книжки «Старины» и готовились к защите. Но цензура не обратила внимания на злостный донос или решила, что неудобно создать судебный процесс, который только раскрыл бы перед обществом имя анонима в анекдоте. Гроза прошла мимо.

Осенью произошел в «Еврейском мире» кризис. Ежемесячный журнал был материально не обеспечен, так как имел недостаточное число подписчиков, и редакция решила превратить его в еженедельник, который чаще откликался бы на вопросы дня. Я присоединился к этому решению, но заявил, что в редакции еженедельника не могу участвовать, ибо это завлекло бы меня в публицистическую работу в ущерб научной. Велись переговоры об образовании хозяйственного коми-

тета под руководством Винавера, который обещал составить денежный фонд для нового издания; из прежнего состава редакции намечались Сев, Шми, Ан-ский и я. Винавер обусловил свое участие в издательстве непременно моим участием, либо как главного редактора, либо как члена тесной коллегии, ибо считал меня более надежным арбитром при партийных коллизиях между редакторами. Он горячо убеждал меня не отказываться от этой роли, но я не мог идти против своего обета. Мой отказ повлек за собою и отказ Винавера и членов его «Народной группы», Сева и Шми. Новая редакция еженедельного «Еврейского мира» составила из членов «Демократической группы» А. Браудо, моего бывшего одесского оппонента Я. Сакера и сына покойного редактора «Восхода» Г. Ландау⁴⁹³; из примыкающих к «Фолкспартей» там остались Ан-ский и Перельман. Я обещал им лишь редкое сотрудничество. Вслед за тем создала свой еженедельник и «Народная группа»; он назывался «Новый Восход» и должен был выходить под редакцией Сева. Здесь меня тоже просили дать свое имя для списка сотрудников. Ради памяти старого «Восхода» я бы это сделал, но не мог решиться на участие в партийном органе после того, как обещал сотрудничество в коалиционном «Еврейском мире». Так появились в начале 1910 г. сразу два еженедельника, нередко полемизировавшие между собою. Оба были содержательны и интересны, но «Еврейский мир» должен был бороться с финансовыми затруднениями и мог продержаться только немногим более одного года, между тем как «Новый Восход», дефицит которого покрывался винаверовской группой, просуществовал еще почти десять лет, до уничтожения русско-еврейской свободной печати при торжестве большевизма.

Моя борьба с соблазнами общности продолжалась. Со времени прекращения Союза полноправия Винавер не переставал думать о создании другой межпартийной организации, которая вместе с еврейскими депутатами Думы могла бы претендовать на представительство еврейских интересов. В ноябре 1909 г. Винавер и Слиозберг созвали в Ковне совещание представителей партий и нотаблей некоторых общин для выработки программы деятельности нового союза. Я не мог участвовать в ковенском съезде, так как был переобременен работой, но мои друзья из «Фолкспартей» там были. Были и сионисты, но они из соображений партийных амбиций больше мешали делу, где инициатива исходила от «Народной группы». Совещание выработало особый статут и избрало центральный комитет с исполнительской в Петербурге; в числе избранников оказался и я. Винавер торжествовал. Помню, как он по возвращении из Ковны вбежал в мой кабинет с радостной вестью об образовании новой организации под именем «Ковенский комитет» и на радостях даже расцеловался со мною. Видно было, как дорога ему эта идея объединения общественных сил под его руководством. Увы, ему не суждено было много радости от новорожденного союза. Сионисты стали в оппозицию к Ковенскому комитету, где «групписты» составляли большинство, и настаивали на сохранении прежнего «придумского» совещания. Эти мелочные партийные дрязги я пытался устранить и потратил ряд вечеров в заседаниях на бесплодные старания примирить соперников. Сам же я заявил о своем выходе из обеих организаций, исключительно по личному мотиву: потому, что не могу совместить участие в них с предстоящим усилением моей научной работы. В то же время я получил отпуск и от центрального комитета Литературного общества, где уже давно манкировал обязанностями председателя. Я уступил место товарищу председателя С. Гинзбургу. Выбросив, таким образом, весь балласт, я, прежде чем начать «новую жизнь», уехал на отдых в Одессу (21 декабря 1909).

КНИГА ДЕВЯТАЯ

В ПОЛОСЕ ИСТОРИОГРАФИИ (Петербург—Финляндия, 1910—1914)

Глава 50

Пересмотр древней истории (1910)

Посещение Одессы. В кругу старых друзей. Прощание в парке в январское утро. — В Петербурге: возвращение к большой исторической работе. Пересмотр древней истории. — Мой доклад в Историческом обществе: «О современном состоянии еврейской историографии». — Работа в «Старине». — Перевод моих трудов на еврейский язык. — Новая обитель на Васильевском острове с сумеречным светом. — Лето в Финляндии. Юбилейные думы на берегу озера. — Глава о возникновении христианства в новой редакции. Окончание пересмотра древней истории и общее введение о моей социологической концепции. — Публичные чтения и дискуссии. — Отклик на смерть Толстого. Полоса смертей. — Литературные искушения. — Зимняя экскурсия в Финляндию.

В один из зимних дней перед наступлением 1910 г. я сидел в тесной одесской каморке, в квартире моих родственников Троцких⁴⁹⁴, и писал в дневнике: «Прежде чем перейти к обновленному строю (работ), я пришел, усталый, отдохнуть там, откуда шесть лет назад ушел, также измученный непосильным трудом и волнениями». За этот промежуток времени Одесса пережила многое: кровавый октябрьский погром 1905 г. и разгул «черной сотни» следующих годов. В этой столице русской Вандеи еще свирепствовал укротитель революции Толмачев, и евреи чувствовали себя как овцы среди волков его армии, членов «Союза русского народа». Настроение было унылое. Вот что я писал в полночь на новый год:

«Сейчас родился новый год в старом городе, где протекла почти половина моей литературной жизни. Уже видел старых друзей и знакомых... Третьего дня гуляли компанией в парке. А сегодня вечером я бродил один по знакомому кварталу Базарной улицы. Было тихо и малолюдно на плохо освещенных улицах, но я хорошо разглядел силуэты знакомых домов, и предо мною пронеслись 1891—1903 гг., и тени былого шли со мною рядом, шептали о былых порывах, о последнем периоде молодости с его душевными кризисами и внешней борьбой. Теперь брожу здесь как по кладбищу: одних уж нет, а те далече. Постарел, опустился город, и как будто глубокий траур навис над ним после кровавых октябрьских дней. Хожу по улицам и часто думаю: вот этот тротуар был обогрен кровью моих братьев, вот тут горсть героев самообороны была расстреляна солдатами, охранявшими громил и убийц. Некогда сияющий, жизнерадостный город притих под дыханием этих кровавых призраков, под прессом черной толмачевской реакции».

С самого начала по приезде в Одессу я заявил небольшому кружку друзей, что я хотел бы пожить здесь пару недель спокойно и поменьше бывать в обществе. Первый, с которым я увиделся, был Абрамович-Менделе. За годы нашей разлуки он многое пережил. Октябрьский погром заставил его бежать из Одессы. Около двух лет он прожил в Швейцарии, где встретился с другим беженцем, Бен-Ами, покинувшим Россию навсегда (разумеется, с проклятиями). Незадолго до нашего сви-

дания Абрамович совершил лекторское турне по Литве и Польше, где в некоторых городах его шумно чествовали. С детской радостью рассказывал мне об этом 75-летний старец, еще бодрый, занятый планом издания своих «жаргонных» произведений на обновленном им древнееврейском языке. Ему помогали в этом наши друзья Бялик и Равницкий, основавшие в Одессе издательство «Мория». Теперь мы опять сидели вместе в большой квартире Абрамовича при Талмуд-Торе и вели нашу прерванную много лет назад беседу. Бялик тогда приближался к вершине своей поэтической славы: готовилось полное собрание его стихотворений. Вместе с Равницким он только что издал составленную ими большую антологию талмудической Агады («Сефер га-Агада») и мечтал больше о широкой издательской деятельности, чем о поэтическом творчестве. Оба убеждали меня писать по-древнееврейски мой новый текст «Истории» и передать издание ее «Мории»; я охотно обещал редактировать перевод, ибо тогда уже принял твердое решение печатать свои главные труды параллельно на русском и еврейском языке.

Незадолго до моего приезда поселился в Одессе и Фруг, но я его не видел, так как вследствие тяжелой болезни он никого не принимал и вообще жил на первых порах крайне замкнуто. Лишь несколько человек собрались в моей квартирке перед отъездом (от банкета я отказался), и мы провели вечер в задушевной беседе. Абрамович умно импровизировал всякие мысли; Левинский поил нас палестинским вином из бутылки, которую по старой привычке принес из заведываемого им склада «Кармель»; Бялик и Равницкий поднесли мне свою «Агаду» с надписью Бялика в виде четверостишия. Еще было несколько человек из прежних соратников в борьбе с ассимиляторами из Общества просвещения. «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Теперь уже и борьба пошла по новой линии: не между сторонниками и противниками национального воспитания, а между гебраистами и идишистами среди самих сторонников еврейской школы.

В одно зимнее утро я забрался один на холмик приморского парка, сел возле памятника Александру II и записал карандашом в дневнике следующие строки (4 января 1910): «Пишу на холмике, у колонны, где в былые годы сживал, обдумывая свои произведения, читая, мечтая. Как будто не 6 1/2 лет тому назад, а только вчера был здесь. Все то же, только в легкой дымке тумана обычно ясное небо, и все говорит: была Троя...» Затем пошел дальше, побродил по родному Стурдзовскому переулку, мимо двух разрушенных гнезд, из которых я был выброшен в Петербург, а Ахад-Гаам в Лондон. Через пару дней десяток друзей прощался со мною на одесском вокзале, и снова скорый поезд железной дороги помчал меня на север.

«Я вернулся к самому себе, — писал я в Петербурге в середине января 1910 г. — Вот уже восемь дней сижу за письменным столом, как в былые годы, отрываясь от него только для моциона, обеда и сна. Углубился во второе тысячелетие дохристианской эры, радикально перерабатывая древнейшую историю евреев для нового издания. Работаю с увлечением, сознавая, что творю новое на основании открытого (материала), всего продуманного и высказанного в лекциях за последние годы. Ах, если бы дальше так! Но придется делать отступления для Исторического общества, для „Академии“, затем большой перерыв для „Старины“... А за стенами моего кабинета шум, гремят витии в собраниях обществ, в редакциях и кружках; борьба идет по всей линии между „группистами“ и их противниками националистами». Через некоторое время я отмечал: «Я далек от нашей мутной общественности, где кипит борьба лиц, а не идей, но иногда эта мутная волна чуть не достигает моего порога». Я не поддавался искушению. «Я верен обету. Веду жизнь назорей историографии. Отрываюсь только на несколько дней для чтения рукописей „Старины“, да по субботам для приготовления и чтения (вечерних) лекций по средневековой истории на Курсах». Мой курс слушали около сорока человек, между которыми были и хорошо подготовленные по части еврейской литера-

туры (особенно «одесская группа», к которой принадлежали известные впоследствии в литературе Барух Крупник⁴⁹⁵, Иехезкель Кауфман⁴⁹⁶, Ц. Войславский⁴⁹⁷, Иошуа Гутман⁴⁹⁸). Цель моего последнего «декабрьского переворота» была достигнута: «Я все-таки стал двигаться по магистральной линии жизненных задач» и не выходил из круга истории.

В годовом собрании членов Еврейского Историко-этнографического общества (февраль 1910) я читал обширный доклад: «О современном состоянии еврейской историографии». Тут я развил свою социологическую концепцию еврейской истории, в отличие от прежних схоластических концепций, и установил новую периодизацию по гегемоническим центрам. В собрании было очень мало людей, которые могли бы понять, что затронутый вопрос составляет поворотный пункт в еврейской историографии. В самом комитете нашего общества не было у меня таких коллег, для которых то или другое понимание истории было бы вопросом научной совести. Зато были неприятные личные трения, вытекавшие из сторонних оскорблений. Были конфликты в редакционной коллегии «Старины», которая мне ни в чем не помогала, но позволяла себе *critique aisée* при всяком удобном случае. Хотелось уйти от этих мелких дразг, но не мог я бросить «Старину», мое детище, ради которого я приносил немало жертв. Нелишне здесь упомянуть, что моя редакторская работа по собственной инициативе крайне скудно оплачивалась, ввиду ограниченности ресурсов общества: я получал 15 рублей с печатного листа, так что за редактирование каждой трехмесячной книги мне причиталось около 100 руб., а за год около 400 руб. Сотрудники получали гонорар в среднем размере 40 руб. за печатный лист. Статьи иностранных сотрудников приходилось читать дважды: в немецком, польском или еврейском оригинале и в русском переводе. Многие статьи сотрудников нуждались в коренной переработке. Я сам читал две-три корректуры, пользуясь лишь технической помощью секретаря редакции, Ицхака Лурье⁴⁹⁹.

Это был своеобразный тип еврейского Диогена. Человек лет тридцати, некрасивый и небрежно одетый, заикающийся и страдающий от хронического насморка, Лурье не имел семьи и не думал о ней, жил бобылем, питался очень скудно, но зато в умственном отношении он был ненасытен. Типичный книжный червяк, он читал без разбора все на обоих еврейских языках и на нескольких европейских, особенно же по части востоковедения. Когда-то он слушал лекции в Париже, а в Петербурге был вольнослушателем на Восточном факультете и непременным моим слушателем на Курсах востоковедения. Социалист по убеждениям, он был вместе с тем и пламенным националистом и постоянно укорял меня, что я издаю «Старину» на русском, а не на еврейском языке. Он добросовестно исполнял свои скромные функции в редакции «Старины»: копировал текст Литовского Пинкоса для каждой книжки журнала, бегал в типографию, вел инвентарь поступавшим в архив документам. Жил он на месячное скудное жалованье и ухитрился даже из него сделать сбережения на расходы по экскурсии в Палестину. Как помощник в архивном деле и в добывании книг из библиотек он был незаменим, и в этом отношении оказывал мне важные услуги. В течение 12 лет он верою и правдою служил Историко-этнографическому обществу.

В то время начала осуществляться в скромных размерах мысль о переложении моих трудов на еврейский язык. Мой слушатель в академии гебраист Барух Крупник перевел под моей редакцией новый текст введения в «Историю хасидизма» для сборника «Геатид», издававшегося С. Гурвичем в Берлине. В то же время моя «Всеобщая история» переводилась на идиш З. Кальмановичем⁵⁰⁰ в Вильне и печаталась в ряде выпусков издателем газеты «Газман» Ф. Марголиным. В предисловии к этому изданию я выразил свою радость по поводу того, что моя книга идет в гущу народных масс. Сам я по-прежнему не вмешивался в спор между гебраистами и идишистами. Вообще я всячески удалялся от общественной деятельности, но со стороны зорко следил за всем. «Стою вне, упорно отвергаю всякие приглашения

на совещания. И все же слезу за мелочами, и каждый удар отзывается болью в душе. Молчу и работаю в уединении над проблемами прошлого. На этой высоте болящая душа набирается сил. Да, уединение спасительно, тяжело только нравственное одиночество».

Весна прошла в работе над древней историей, усовершенствованию которой я «отдавался с упоением». В конце мая я прервал работу с тем, чтобы продолжить ее в Финляндии, но перед выездом переменял свою городскую квартиру, в пределах Васильевского острова. Из шумной 8-й линии мы передвинулись в более тихую 18-ю линию и попали в один из тех каменных мешков, каких много в Петербурге. Квартира в надворном флигеле пятиэтажного дома выходила окнами на узкий и глубокий двор-колодец, доставлявший скупой свет даже летом; осенью и зимой дни превращались в вечные сумерки. Этот двор был для меня символом нелюбимого Города, восставшего на Природу, и я заранее решил жить как можно дольше в Финляндии. В начале июня я уже сидел в чаще линковского леса и писал: «Я опять пришел к тебе, давно покинутый лес, и ты встретил меня знойной ласкою солнца, опьяняющим ароматом трав, говором птиц и колючими поделуями твоих комаров. Сажу на мшистом камне и без слов молюсь тому Вечному, что есть во мне». В то лето во мне усилилось религиозно-пантеистическое настроение. Однажды, заехав на пару дней в город и очутившись один в квартире с ее сумеречным светом, я раскрыл книгу Псалмов и в каком-то состоянии экстаза писал: «Так близок мне Бог: Он во мне, в каждом порыве моем к вечности, во всем напряженном духовном устремлении моем... Так должен жить слуга Духа, назорей Божий. Так жил мой дед Бенцион, так живу и я с того момента, когда дед и внук на двух параллельных улицах Мстислава, в тиши своих библиотек, трудились каждый по-своему над исанием Вечного. И еще ближе я к нему теперь, когда в душе гудит торжественный псалом и с уст срывается та же чудная молитва с тем же насыщенным слезами напевом, какой слышало дитя от высокого старика с неземным выражением в очах, стоявшего у „омуда“ в торжественные дни. Так близка ты мне, родная душа, может быть витающая теперь надо мною, — нет, живущая во мне в другом „гилгул“ (метеопсихозе)...» Да, в известном смысле сбылось пророчество деда о моем «возвращении»: я возвратился, хотя и без догмата и обряда, к питавшему нас обоим Источнику Духа. Ведь в той же записи дневника я повторил свой любимый стих псалма (27, 4), который наполнил смыслом всю жизнь деда, как и мою: «Одного прошу я у Бога, одного желаю: сидеть в доме Божием во все дни моей жизни, наслаждаться Божией красотой и посещать Его храм». Я всегда понимал эти слова в смысле непрерывного духовного творчества.

Из впечатлений того лета памятна мне поездка к С. Ан-скому в Антреа, один из красивейших уголков Финляндии. В те годы Ан-ский жил больше в Финляндии, чем в Петербурге. Обыкновенно жил он в Териоках, в одном часе езды от Петербурга, и приезжал в столицу только по делам, главным образом на заседания и собрания. Когда он вечером засиживался поздно в заседании и должен был остаться в городе, он отправлялся на ночлег к кому-либо из друзей не только потому, что не имел постоянной квартиры, но и потому, что не имел права жительства в столице и вынужден был ютиться в тех квартирах, где не было риска полицейской облавы. Иногда ночевал он в моем кабинете, на большом клеенчатом диване. В это лето я гостил у него сутки на даче в Антреа, где он жил с молодой женой (он перед этим женился). Радостно было думать, что этот вечный скиталец наконец обретет семейный покой, но это длилось недолго. Вследствие ли неравного брака, или по другим причинам, Ан-ский скоро опять остался одиноким. Тогда он задумал свою этнографическую экспедицию по черте оседлости, которая длилась около двух лет. Это давало еврейскому народнику и собирателю фольклора нравственное удовлетворение, а может быть, и успокоение от житейских невгод.

50-я годовщина моего рождения, 10 сентября, застала меня еще в Финляндии, над последними главами древней истории. Когда я бродил по берегу озера, мне вдруг пришел в голову библейский стих (Лев. 25, 13): «В этот год юбилей каждый должен вернуться в свое поместье», и я тут увидел нечто символическое: я тоже на пятидесятом году жизни возвратился в свое поместье, на территорию историографии.

Переехав осенью в город, я с жаром работал над окончанием первого тома древней истории в новой редакции. С особенным увлечением перерабатывал главу «Возникновение христианства», которую в предыдущем издании 1904 г. мне пришлось скомкать из-за цензуры. Вся эта глава построена на антиномии христианского индивидуализма и иудейского национализма, дошедшей до высоты мировой трагедии в момент восстания Иудеи против римского гиганта. Глубоким пафосом звучали заключительные страницы этой главы, прошедшей через ряд редакций (в окончательной редакции 1925 г. она помещена в конце второго тома «Всемирной истории еврейского народа»). До сих пор не могу забыть, с каким волнением писались эти страницы, результат многолетних дум... В ноябре я написал введение к новому изданию «Всеобщей истории евреев» — о ее социологической концепции и соответственной периодизации. Тут были изложены более систематически те мысли, которые я развил в вышеупомянутом докладе в собрании Исторического общества. Вспомнив о том, что когда-то в моем плане курс всеобщей еврейской истории фигурировал только как краткий вводный очерк к обширной и специальной истории польско-русского еврейства, я в конце своего предисловия писал: «То, что должно было служить введением к главному труду жизни, само стало трудом жизни. Пришлось оторваться от систематической работы по истории евреев в Польше и России, план которой обнародован мною в 1891 г. Я не теряю надежды, что мне удастся еще выполнить этот обет юности, отсроченную половину жизненной задачи». Тогда я еще не предвидел, что через несколько лет придется оставить эту надежду. План моей всееврейской истории постепенно так разросся, что он втянул в себя прежний монографический план и включил его в свои рамки, конечно в иной, концентрированной форме. Останется только единый «главный труд жизни», для окончания которого понадобится еще двадцать лет.

Выпустив большой том древней истории, я позволил себе кратковременный возврат к общественности. В конце ноября я читал в многолюдном собрании Еврейского Литературного общества доклад «Прошлое и настоящее русско-еврейской журналистики», по случаю ее 50-летия. В первой половине доклада я повторил вкратце то, что в 1899 г. читал в Одессе: «О смене направлений в русско-еврейской журналистике», а во второй половине мне уже пришлось откликнуться на новую проблему языков в литературе, а именно возражать тем, которые считали еврейскую литературу законною только на национальном или народном языке, но не на государственном. Вызванные докладом горячие прения, потребовавшие еще одного вечера, были очень характерны для перемены общественного настроения. Одиннадцатью годами раньше мне оппонировали одесские ассимиляторы, недовольные моей схемой развития журналистики от ассимиляционной к национальной идеологии, а теперь меня атаковали с двух сторон: петербургские ассимиляторы («присяжный оппонент» Столпнер и мой бывший одесский оппонент Бикерман, перекочевавший в столицу) и национальная молодежь обоих лагерей, гебраисты и идишисты, требовавшие полного изгнания русского языка из еврейской литературы. Старым противникам не было надобности отвечать, с новыми же пришлось объясниться начистоту. Я упрекал их в игнорировании действительности, которая с каждым поколением выдвигает все новые кадры еврейской молодежи, для которой русский язык является орудием культуры. Если мы в силу стихийного процесса языковой ассимиляции имеем интеллигенцию, не читающую на еврейском языке, то мы обязаны подносить ей литературу на государственном языке с еврейским содержанием.

Я предложил фанатикам языка простой опыт: выбросить из мировой еврейской литературы всех эпох все написанное на «чужих» языках и решить, можно ли отказаться от таких творцов еврейской мысли, как Филон, Маймонид, Мендельсон, Грец и многие другие.

В Историческом обществе мы ознаменовали 50-летие журналистики вечером бесед и воспоминаний. Вспоминали о первом одесском «Рассвете» и «Дне» старейший в нашей среде М. Кулишер, о «Русском еврее» — его бывший редактор Л. Кантор, о втором петербургском «Рассвете» — я, а председательствовавший Винавер покрыл все эти сообщения красивой резюмирующей речью. У меня сохранилось впечатление интимности и задушевности этой публичной беседы.

В те дни моя мысль обратилась к одному из кумиров моей юности: к Льву Толстому, о трагической смерти которого тогда шумела вся печать. 13 ноября я записал: «Все втянуто теперь в атмосферу этого великого духа. Когда-то мне, мстиславскому отшельнику, был так близок мыслитель Ясной Поляны, так близки были душе „опрощение жизни“, смирение, мистический универсализм. Чуть ли не сделался тогда толстовцем. Позже равновесие восстановилось, после короткого *salto mortale* от позитивизма к толстовству. Пред одним только я все еще преклоняюсь в Толстом: перед его решительным переходом от эллинского эстетизма к иудейскому (точнее, иудео-христианскому) этизму». Эту последнюю мысль я высказал слушателям во время лекции на Курсах востоковедения, а позже развил ее в небольшой статье на древнееврейском языке, напечатанной в журнале «Гашилоах» (1911).

А учредитель Курсов востоковедения, Давид Гинцбург, в ту же осень неожиданно умер. Рак желудка скопил его во цвете лет. Под впечатлением этой смерти я писал: «Для своей среды он был феноменом: любил еврейскую науку, был по-своему предан народу и хотел что-то для него сделать. Правда, наука не любила его: он был лишен дара ясно мыслить и передавать мысль; таким же неудачником он был и в общественной деятельности, и я часто, работая с ним, не мог выносить его хаотичности. Мы оба любили идею еврейской академии, но он был доволен малым, а я видел в этом умаление идеи и был недоволен. И все же безвременно умер человек духовного склада. На очереди задача реорганизации академии».

В 1910 г. вообще пошла полоса смертей в близких кругах. В начале года пришла весть о смерти Лиленблума в Одессе, и предо мною встал образ юноши, для которого «Грехи молодости» покойного были глубоким личным переживанием. Я написал о нем заметку «Две встречи» («Ште пегишот», в виленском еженедельнике «Гаолам»), где сопоставил впечатление, произведенное на меня «Исповедью» Лиленблума в 1877 г. и его первой палестинофильской статьей в «Рассвете» 1881 г. К концу года умер в Одессе же А. Левинский, добродушный фельетонист Рабби Кореv, увеселитель нашего былого кружка, который только в начале года угощал нас палестинским вином на прощание в Одессе. В то же время умер во Франкфурте-на-Майне мой старый варшавский корреспондент историк Шефер-Рабинович⁵⁰¹, приславший мне перед этим статью, которую я напечатал в «Старине» уже после его смерти, предпослав ей некролог.

Как только я издал в новой редакции том «Древней истории», настала очередь давно ждавшей «Новейшей истории», прерванной на введении. От падения Иудеи и возникновения христианства я должен был перескочить к французской революции 1789 г. В это время опять появились искушения, которые могли отвлечь меня от планомерной работы. Большим издательством «Мир» в Москве было предпринято издание коллективной «Истории евреев в России», и меня усиленно просили взять на себя редакторство и часть текста. Из Америки «Еврейское издательское общество» («Jewish publication society») просило меня, через моего переводчика Фридендера, составить книгу по истории евреев в России издания на английском языке; мне был предложен большой для того времени гонорар — 2000 долларов. Оба предложения были мне симпатичны и вдобавок могли облегчить мое мате-

риальное положение, но они в данный момент не совпадали с планом моих работ, и я отклонил их. «Большие жертвы, и материальные и нравственные, приходится нести ради осуществления своих жизненных задач», — отмечал я по этому поводу в дневнике. Американское предложение я принял только спустя три года, когда довел до конца «Новейшую историю», а для московского коллективного издания дал ранее напечатанные в «Восходе» пару глав по культурной истории евреев в Польше.

В ту осень мы имели в Петербурге интересного гостя: Натана Бирнбаума⁵⁰² из Австрии. Даровитый публицист и оратор находился тогда в стадии автономизма, а Черновицкая конференция сделала его даже идишистом. Все его таланты не избавили, однако, Бирнбаума от тяжелой нужды после того, как он отстал от Герцля и официального сионизма и находился как бы под «херемом». В начале октября я получил от Бирнбаума, еще лично мне незнакомого, письмо, полное отчаяния: он запутался в долгах до того, что ему с семьей грозит разорение и голод, а потому просит меня организовать в Петербурге помощь для него. Письмо меня потрясло, но мне пришлось ответить, что я в таких делах плохой организатор и постараюсь мобилизовать друзей. Тогда пришло новое письмо, смысл которого сводился к тому, что «промедление смерти подобно». Немедленно была собрана некоторая сумма и послана в Черновци при письме, в котором Бирнбаум приглашался в Петербург для прочтения публичной лекции, что даст нам возможность собрать гораздо большую сумму. Бирнбаум приехал, и мы устроили ему в Литературном обществе вечер, где он прочел лекцию на современную тему. Красивая фигура лектора, его вдохновенное лицо, пафос и необычайная красота его немецкой речи очаровали слушателей. Перед отъездом мы устроили нашему гостю банкет, где вели задушевную беседу и пели еврейские народные песни. Расслались мы с обетом борьбы за национальные права еврейского народа.

Вывравшись в середине декабря из «клещей города», я на пару недель зарылся в снежных сугробах Финляндии. Тут я наслаждался «отдыхом, приправленным скукою». Неделя, проведенная с женою в пустынной Линке, казалась длинной полярной ночью. Несколько дней мы провели в Гельсингфорсе, затем поехали на Иматру, где знаменитый водопад производил особенно сильное впечатление среди зимних льдов. Повинность отдыха была закончена в Выборге. С этих ледяных полей я отправил старому другу Абрамовичу в Одессу телеграмму с горячим поздравлением по поводу его 75-летия. В поучение дерущимся гебраистам и идишистам, я демонстративно приветствовал в юбиляре мастера «двуединого еврейского языка», так как он в своей работе совмещал оба языка. А в начале января 1911 г. я уже сидел в своем полутемном кабинете на Васильевском острове, всецело погруженный в источники истории XIX в.

Глава 51

Начало «Новейшей истории». Тревожный год (1911)

План «Новейшей истории». Главные процессы в ней. Эпоха первой эмансипации. — Лекции по новейшей истории на Курсах востоковедения. — Некролог на смерть еврейского экстерна. Избиение школьных младенцев. Начало дела Бейлиса. — Конфликт с Перцем на банкете в Петербурге. — Моя публичная лекция в Москве и банкет с упоминанием тридцатилетия эры погромов. — Агония «Еврейского мира». — Уход в Финляндию. Необычайное «богослужение» в дни Шовуоса на «белой даче». — Опасная болезнь жены, тревожные дни в Петербурге и поездка в Берлин; операция рака. Берлинское лето: в семье Абрамовичей; работа в государственной библиотеке над источниками эпохи «берлинского салона»; думы в Тиргартене. — Возвращение в Россию. Снова в

Финляндии. — Отказ министра в продлении моего права жительства. — Убийство Столыпина в Киеве. — Отсрочка изгнания. Прощение в министерстве и лекция на Высших женских курсах. — Дополненная программа «Объединенной национальной группы» («Фолкспартей»).

Начало 1911 года прошло в разработке плана новейшей истории. Всегда этот подготовительный момент казался мне самым творческим во всякой работе. Тут создается скелет истории, расчленяется весь материал, в хаос событий вносится система, причинная связь, выделяются эпохи, каждая с своим лицом, своими функциями в процессе роста и развития общественного организма. Так была создана моя периодизация новейшей истории: эпоха первой эмансипации и первой реакции, эпоха второй эмансипации и второй реакции. С этим чередованием эмансипационных и реакционных эпох в политической жизни я связал смену процессов ассимиляции и национализации в культурном движении, с их различными оттенками в Западной и Восточной Европе. Я изложил это теоретическое введение, под заглавием «Главные процессы в новейшей истории евреев», в виде второй части к ранее написанному фактическому введению, содержащему обзор предшествовавшей эпохи («Еврейский мир накануне 1789 года»). Когда Ахад-Гаам из Лондона попросил меня дать ему статью для издаваемого там при его участии англо-еврейского журнала Нормана Бентвича¹⁰³ «Jewish Review», я послал туда свои только что написанные «Главные процессы». Вслед за введением я написал первую большую главу об эмансипации евреев во Франции во время революции и империи. В части, касающейся революции, это была третья редакция монографии, опубликованной впервые в «Восходе» в 1889 г. и переработанной для отдельного издания в 1906 г. Теперь я включил ее в рамки систематической истории и дополнил изображением наполеоновской контрэмансипации, которую я здесь впервые представил на основании новейших исследований. В начале весны я написал вторую главу — об эмансипации в странах французского владычества. Но тут произошел продолжительный перерыв в моей работе, вызванный и обычными, и чрезвычайными обстоятельствами.

В то время, после смерти барона Гинцбурга, Курсы востоковедения переживали тяжелый кризис. Иссякли скудные средства, которые собирались покойным учредителем на содержание «академии», но с другой стороны, открывалась перспектива внутренней реформы преподавания, которую консервативный барон тормозил. Я начал там читать курс новейшей истории, привлечший самую большую аудиторию. Трогательно было видеть эту жажду знания в молодых людях, из которых многие жили очень бедно и вдобавок не имели права жительства в столице. Они проживали нелегально по милости дворников или швейцаров, которым давали рублики за то, чтобы те не заявляли о них в полицейском участке. У них принято было говорить между собою на эзоповском языке: «Я живу на дворянских правах, а мой товарищ на швейцарских». Питались многие обедами в еврейской студенческой кухне на Васильевском острове, при которой пристроились и наши Курсы (на 6-й линии). Нашими стараниями, в особенности благодаря заботам нового ректора д-ра Каценельсона, удалось собрать кое-какие средства для найма помещения и для поддержки бедных учащихся, но преподаватели едва ли получали гонорар в это время. Я участвовал в совещаниях с «гвирами» о материальном обеспечении Курсов, писал в «Еврейском мире» о необходимости реформы всего дела, но из этого ничего не вышло.

Между тем российская реакция еще усилила ограничения в области высшего образования. Министр просвещения Кассо¹⁰⁴ установил процентную норму даже для еврейских экстернов, которые вследствие недопущения в гимназии сдавали ежегодно экзамены по каждому классу и таким образом добирались иногда до аттестата зрелости. Новая «норма» отняла у них и эту возможность, так как экстерны-христиане попадались крайне редко. Вспомнились мне эти мученики

знания, с которыми я столько лет нянчился в Одессе, и я напечатал в «Еврейском мире» (еженедельнике) «некролог», который начинался словами: «Убит еврейский экстерн». Я требовал устройства частных гимназий для «внешкольных» еврейских детей, которые здесь могли бы получать не только общее, но и еврейское образование.

Ярость реакции обрушилась тогда с особенной силой на протестующих еврейских студентов. Пострадал мой сын, студент последнего курса в Одессе: его исключили из университета, посадили в тюрьму и затем выслали из города. Помню, как я ходил в здание министерства у Чернышева моста, чтобы просить о допущении «преступника» к университетским окончательным экзаменам в качестве экстерна. Больше пяти часов дождался я в приемной министра, чтобы выслушать остроумный ответ: будет допущен к экзаменам, если представит свидетельство о политической благонадежности от одесской полиции, признавшей его неблагонадежным.

Время было жестокое. «Союз русского народа» при помощи министра юстиции Щегловитова⁵⁰⁵ только что приступил к созданию ритуального процесса, ставшего потом известным под именем «дела Бейлиса», и черносотенные депутаты готовили по этому поводу агитационный запрос в Государственной Думе (апрель 1911). Мы устроили совещание с еврейскими депутатами об их тактике при обсуждении запроса. На другой день запрос в Думе провалился, не благодаря красноречию наших слабых депутатов (Нисселовича и Фридмана), а после блестящей речи Родичева. В ответ на обличение «еврейских сектантов-изуверов», Родичев сказал, что есть только одна секта изуверов в России — «Союз русского народа», изобретающий изуверские сказки.

Здесь я должен рассказать об одном общественном эпизоде, который в свое время вызвал много толков и, кажется, даже проник в печать. Было это около Пасхи того же года. В Петербург приехал из Варшавы Л. Перец, чтобы вербовать здесь меценатов для задуманного еврейского художественного театра. Приехал он в сопровождении молодого писателя Вайтера и удостоился шумных оваций во время своего публичного чтения в собрании Еврейского Литературного общества. В собрании я не присутствовал, но принял участие в заседании комитета этого общества, где Перец излагал нам проект театра. Все жадно слушали популярного писателя, но мне, видевшему Переца впервые, его манера говорить и вообще держаться в обществе не понравилась: было в ней что-то заносчивое, манифестирование своей популярности, отсутствовала природная скромность истинно духовной природы. Привыкши играть роль «ребенка» среди варшавских литераторов, Перец не мог расстаться с тоном ментора, изрекающего высокие истины. Он составлял резкий контраст с стоявшим поодаль, как бы прячась от взоров людей, Вайтером, грустное лицо которого показалось мне необыкновенно симпатичным. Я вспомнил, как этот юный революционер командовал в Вильне в 1905 г. бундовской армией, как он потом добровольно отошел от роли кумира толпы, где-то тихо думал о проблемах жизни и изливал свои думы в формах драматических поэм. Теперь мне кажется, что над этой трагической фигурой витала уже тогда тень его будущего мученического конца, известие о котором потрясло меня в 1919 г.

Что Перец не принадлежал к этому типу целомудренных, я окончательно убедился в вечер банкета, который устроили ему петербургские почитатели. Тостмейстером был избран Ан-ский, который тогда с пиететом новообращенного «символиста» ухаживал за Перцем. Были речи и на идиш, и на русском языке. Ан-ский просил меня говорить по-еврейски, но я тогда не мог еще свободно излагать свои мысли на этом языке, который именно в те годы только формировался как разговорный язык интеллигенции (самому Ан-скому я однажды заметил, что он говорит на идиш как отставной николаевский солдат, «иевонише идиш»), и я поэтому предпочел говорить по-русски. Я говорил о фатальном трехязычии нашей литера-

туры в России, повторил свою мысль о «двудеином еврейском языке» в его национальной и живой народной форме и т. п. В своем ответе Перец вдруг изобразил негодование по поводу того, что в его присутствии говорят по-русски. По просьбе Ан-ского он потом полуизвинился, но я скоро ушел, не простившись с рядом сидевшим Перцем. За мной ушли и некоторые другие. А после, как мне рассказали, полемика еще продолжалась и окончилась «капральскою» речью чествуемого, оскорбившею многих. Банкет был испорчен, пострадала и миссия Перца по делу еврейского театра. Когда я потом думал о причине бестактного поведения Перца, я нашел, что тут действовала не ревность идишиста (при мне он вел частные разговоры по-польски и по-русски), а старая затаенная вражда к Критикусу, который когда-то давал плохие отзывы о его первых произведениях, где замечались та же претенциозность и поза. Вспомнил и о том, что мне когда-то передал Ахад-Гаам: около 1900 г., когда в Варшаве праздновали первый юбилей Перца и одесские писатели послали ему приветственную телеграмму, под нею не было подписей Ахад-Гаама и моей, а когда вслед за тем Ахад-Гаам проехал через Варшаву, он узнал, что Перец открыто выразил свое недовольство по этому поводу. Впоследствии талант Перца меня покорила, но его самообожание и манеры цадика меня отталкивали, ибо в цадикизме я всегда видел некоторый элемент фальши.

Через несколько дней после этого инцидента, в середине апреля, я поехал в Москву. Московские друзья нашего Исторического общества пригласили меня приехать туда для публичной лекции в целях привлечения новых членов общества. Со мною ехал и А. Ф. Перельман, секретарь «Еврейского мира», который имел другую миссию: создать в Москве какой-нибудь фонд для спасения погибавшего журнала. Три дня я гостил в доме известного адвоката В. Гаркави, председателем разных еврейских обществ в Москве⁷. В большом собрании, устроенном «Обществом распространения правильных сведений о еврействе», я прочел лекцию «О задачах еврейской историографии в России». За лекцией последовал оживленный обмен мнениями по вопросам самоновейшей истории. Не избежал и обычного банкета. Чествовали меня вместе с гостившим тогда в Москве популярным судьей Я. А. Тейтелем⁸, которого министр Щегловитов решил уволить от должности члена окружного суда за его принадлежность к еврейству. Были речи раввина Я. Мазе, лидера сионистов Членова, писателя П. Марека⁹, литератора-врача С. Вермеля¹⁰, В. Гаркави и других. В своей ответной речи я напомнил собравшимся, что тридцать лет назад в эти самые дни (15—16 апреля 1881 г.) произошел елизаветградский погром, создавший эру юдофобской реакции в России. Я, конечно, умолчал о том, что с теми же днями совпал и тридцатилетний юбилей моей литературной деятельности. Еще в Питере я записал для себя накануне отъезда: «Хорошо, что эта дата в моей жизни составляет мою тайну и не вынесена на улицу, на дешевый рынок юбилеев. Мечтал на этот день уехать в глушь и предаться своим думам, а вот приходится осквернить его — поехать в шумный город, быть не с собой». Вернулся я из Москвы уставшим от речей и бесед и сразу окунулся в заботы дня.

В то время кончался срок данного мне министром внутренних дел разрешения на двухлетнее пребывание в Петербурге. Нужно было возобновить ходатайство о продлении срока, «ненавистное ходатайство» (запись 25 апреля). Кончалась долгая агония «Еврейского мира». В мае я записал: «Расторжение второго несчастного

⁷ В доме Гаркави я тогда встретился с его родственником Григорием Гуревичем, бывшим революционером из моголевской группы Аксельрода (см. т. I) и подсудимым в берлинском процессе социалистов 1879 г. Когда-то я с грустью читал его покаянные «Записки отщепенца» («Восход», 1884 г.), а теперь видел пред собою совершенно раскаявшегося в юношеском социализме. Он жил в Киеве и имел почетный титул датского консула. Позже, в берлинской эмиграции, я часто встречался с уже старым и больным Гуревичем.

брака „Еврейского мира“ с „Демократической группой“ потребовало моего участия, как и расторжение первого брака с „Народной группой“. Опять пошли совещания: проектировалось сделать журнал органом «Фолкспартей», но из этого ничего не вышло. Еще шли совещания о реорганизации Курсов востоковедения. Был план превращения их в богословский институт по западному образцу, для подготовки «модерных» раввинов. Я стоял за тип высшего института еврейских знаний. Опять ничего не вышло.

От всех этих забот я ушел в мае на летнее пребывание в Финляндии. С какой-то глубокой грустью, как бы в предчувствии беды, оставил я на этот раз нашу городскую обитель. В последнее время долго болела жена, и врачи сначала не могли определить ее болезнь. Думали, что тишина и лесной воздух Финляндии принесут ей облегчение. Я взял с собою недавно купленную пишущую машину Ремингтона (которую я сразу полюбил как домашнюю типографию), чтобы копировать написанные главы «Истории» и привлечь к переписке жену как сотрудницу. Мы поселились в Линке, во вновь построенном «лесном домике». Это было в дни Шовуоса. Но едва я поработал несколько дней, как стряслась беда. Возобновилась болезнь жены, и многие признаки свидетельствовали об опасном недуге. 1 июня мы оба вернулись в город, чтобы советоваться с врачами. Врачи поставили страшный диагноз: рак желудка, в Петербурге помочь нельзя, надо ехать в Берлин, к знаменитым хирургам, авось спасут. Мы решили несколько дней отдохнуть в Финляндии, чтобы набраться сил на дорогу. Помню, как мы однажды утром стояли безмолвно в лесу, у забора нашего двора, и «молились солнцу», думая о том, что через несколько дней мы должны предстать перед главным трибуналом в Берлине, чтобы выслушать окончательный приговор эскулапов. В Петербурге помнится мне грустный летний вечер накануне отъезда в Берлин, когда мы гуляли по Никольскому саду в районе Подьяческих улиц и вспоминали о наших прогулках в том же саду тридцатью годами раньше, на заре нашей совместной жизни. Тут встреча зари с закатом волновала, как глубокий символ.

В предвечерний час 20 июня (4 июля н. с.) нас встречал на вокзале Фридрихштрассе в Берлине наш бывший виленский друг Шмарья Левин, поселившийся в Германии после роспуска первой Думы. Начался скорбный путь от терапевта к хирургу, из одной клиники в другую. Моим посредником в переговорах с врачами был молодой врач З. Темкин, брат известного сиониста⁵⁰⁹. Когда на консилиуме врачей выяснилась неизбежность операции, мы решили поручить ее знаменитому хирургу профессору Биру. Он запросил за операцию 2000 марок, кроме большой поденной платы за содержание в его клинике. С трудом удалось знакомым склонить профессора к уменьшению платы за операцию наполовину, так как ему объяснили, что пациентка — жена небогатого писателя. Пошли тревожные дни. Сам Бир не скрывал опасности сложной операции и не ручался за предупреждение рецидива, но выбора не было: либо верная смерть, либо операция с малой вероятностью успеха. После долгих приготовлений было приступлено к операции. Она была сделана с немецкой основательностью: было вырезано не только пораженное место, но и примыкающие части, где могли образоваться новые гнезда раковых опухолей. Прошло несколько дней, пока миновала опасность от операции, а затем больная медленно приходила в себя и пролежала в клинике несколько недель, прежде чем могла подняться с постели. Непосредственная опасность миновала, но возможность рецидива еще не была исключена.

Это проведенное в Берлине лето было исключительно жаркое во всей Европе. Раскаленный воздух города из камня и железа усиливал мои глухие душевные страдания. При этом африканском зное я ежедневно маршировал или ездил между моей квартирой в Шарлотенбурге, клинику в том же районе и далекою государственную библиотекою возле университета. Жил я в квартире г-жи Абрамович-

Фревиль, разведенной жены Меира Абрамовича, сына моего друга Менделе. Я знал молодого Абрамовича в Петербурге в дни моей юности, когда он выступал в литературе рядом с Фругом и обещал быть вторым русско-еврейским поэтом. Позже он женился на образованной русской девушке и совершенно отошел от еврейского общества; от поэзии он перешел к самой крайней прозе: сделался представителем германских обществ перестрахования в России. Во время моего пребывания в Берлине госпожа Абрамович жила там в просторной квартире на Курфирстенштрассе вместе с дочкою и сыном Всеволодом, двадцатилетним юношей, который вскоре прославился как один из первых авиаторов, пролетевших расстояние от Берлина до Петербурга. Мать постоянно тревожилась за сына, когда он уходил на аэродром для опытов, которые нередко кончались катастрофой. Через два года юноша действительно погиб при таком полете.

От летнего зноя и внутренних волнений я спасался за толстыми стенами Прусской государственной библиотеки, куда ходил почти ежедневно. Я изучал там материалы для ближайших глав «Новой истории»: редкие книги и брошюры в оригинальных изданиях эпохи «берлинского салона» и полямики Фридендер—Теллер⁵¹⁰. Меня захватывали эти серые страницы, в которых сохранился пепел погасших страстей. И когда я возвращался домой через Тиргартен, я искал по описаниям виллу, где когда-то жила красавица Генриетта Герц⁵¹¹, аллеи, по которым в ее салон ходили Доротея Мендельсон⁵¹², Рахель Левин, Шлейермахер, братья Шлегели и Гумбольдты⁵¹³. Пред глазами носились фигуры еврейских красавиц или умниц и прусских рыцарей духа, и воскресала вся та эпоха «революции нравов» в Германии, параллель политической революции во Франции. Хотелось найти оправдание старым грехам в тогдашнем «зеленом шуме» весны, в опьяняющем аромате романтики, в надеждах на слияние народов и на «религию Разума», будущую религию объединенного человечества. Я мысленно жил в Берлине конца XVIII в., реально шагал по Берлину Вильгельма II в начале XX в., а сейчас пишу эти строки в Берлине Гитлера*, пропитанном расовой ненавистью и фанатическою верою в догму: народ народу волк... Таковы зигзаги истории.

В эту берлинскую симфонию ворвались звуки из Петербурга: правительство Столыпина закрыло Еврейское Литературное общество с его центром в столице и 120 отделениями в провинции. Нашу организацию и другие общества (украинское, польское) еще раньше предупреждали, что поскольку мы усиливаем национальное самосознание «подчиненных» народностей, мы вредны для российской государственности. А теперь нас прихлопнули, погасили культурные очаги во всей стране. В вечер Тише-беав я писал в дневнике: «„В эту ночь плачут и рыдают мои дети“ (начало чудной элегии в „Кинот“). Двадцать лет назад этот аккорд рыдал в душе в Люстдорфе, лет десять тому — в синагоге Речицы, а теперь в тягостном берлинском изгнании. Но там я справлял траур среди своих, теперь на чужбине, одинокий в шумном космополисе». Редкие встречи рассеивали мою тоску. Помнится встреча в Берлине с Саулом Гурвичем, в его большой квартире на Курфирстендамме. Посещал меня Х. Черновиц, который тогда насыщался западною наукою ради получения докторского диплома в дополнение к раввинскому. В кулуарах библиотеки беседовал с Нахумом Соколовым и другими делегатами, ехавшими на Базельский конгресс сионистов. С благодарностью вспоминаю об одном молодом враче Бермане из Минска, который учился в Берлине и часто навещал меня, давая мне возможность ориентироваться в чужом городе.

Но вот пришел конец нашему берлинскому сидению. Моя больная, все еще крайне слабая, оправилась настолько, чтобы ее можно было увезти в Россию. Профессор Бир предупредил, что хотя операция прошла хорошо, опасность реци-

* Писано весной 1933 г.

дива еще не миновала, но если в течение одного года положение не ухудшится, то можно успокоиться: болезнь не вернется. С таким прогнозом уехали мы домой, и целый год мы находились под дамокловым мечом. Но случилось чудо, редкое в истории раковых заболеваний: больная медленно поправлялась, а затем и совсем выздоровела, и свыше двадцати лет прошло без повторения опасного недуга. Только на 22-м году совершенно неожиданно вернулась страшная болезнь и в течение нескольких месяцев скосила свою жертву...

К началу русского августа мы уже были в Финляндии и с наслаждением вдыхали прохладу ее лесов и озер после знойного Берлина. Но после короткого отдыха наступили новые тревоги. Неожиданно пришло известие из Петербурга, что в ответ на мое прошение о продлении срока жительства на три года получен от Министерства внутренних дел полный отказ. Я поехал в министерство для объяснений, но обычно принимавший меня директор Департамента общих дел Арбузов оказался «занятым», и меня направили к одному из его чиновников. Этот господин, явный черносотенец, порылся в моем «деле», которое, к моему удивлению, оказалось в довольно объемистой папке, и сухо сказал: объяснять наши мотивы мы не обязаны, но мы вам отказываем, не желая превратить временное жительство в постоянное. Значит, я должен покинуть Петербург немедленно? — спросил я. Нет, вы можете ходатайствовать об отсрочке для приготовлений к отъезду — был ответ. Я подал прошение об отсрочке до весны для ликвидации дел. Из того, что директор департамента уклонился от объяснений со мною, а его чиновник не хотел сообщить мотив отказа, я понял, что от меня что-то скрывают. Только гораздо позже я случайно узнал, что среди моих слушателей на Курсах востоковедения затесался агент политической полиции, охранки, которого подозревали в доносе на некоторых товарищей-сионистов, и я догадывался, что заодно он мог донести и на меня, так как я в том же году читал курс новейшей истории и не стеснялся в выражениях, говоря о России. Помнится, что через три года этот доносчик, бывший иешиботник, уличенный своими товарищами, сам требовал суда чести над собой, и я с Ан-ским рассматривали его дело. Мы не нашли прямых улик, но косвенные улики были очень вески, и мы постановили: оставить его в сильном подозрении. После войны и большевизма, как только я очутился в берлинской эмиграции, этот субъект вынырнул предо мною и снова просил о реабилитации, но я его прогнал. Возможно, что подобно многим царским охранникам он потом поступил на службу к большевикам.

Август прошел в тяжелых заботах. Думал о переселении, а пока о том, чтобы зазимовать в Финляндии. Министерство отсрочило мое выселение из Петербурга до 1 января 1912 г. Скоро личные тревоги отступили перед общественными. В начале сентября в Киеве, во время торжеств в театре в присутствии царской семьи, был убит Дмитрием Богровым¹¹⁴ министр Столыпин. Эту весть привез нам на дачу вместе с газетами приехавший из Петербурга молодой авиатор В. Абрамович¹¹⁵. Тотчас явилась мысль о погроме: скопившиеся в Киеве черносотенцы могли, в ответ на террористический акт еврея, устроить там резню среди евреев. Там уже начались паника и бегство из города. Но Николай II дал знать, что погром в его присутствии нежелателен, и страсти улеглись. Власти сообразили, что незачем устраивать кровавый погром, смущающий Европу, когда можно искоренить еврейство путем перманентного погрома, бесправия и гонений. Весь сентябрь провели мы на нашей финляндской даче. Наше одиночество скрашивалось только приездами молодой четы, нашей дочери Софии, вышедшей тогда замуж за лидера Бунда Г. Эрлиха¹¹⁶.

С первым снегом мы переехали на городскую квартиру. Было решено все-таки добиться продления права жительства. Хлопотали об этом А. И. Браудо и адвокат Л. Айзенберг¹¹⁷. Помню один скверный декабрьский день, когда я подавал проше-

ние товарищу министра Харузину, повторяя «дерзкое» требование о продлении права жительства еще на три года для окончания ближайших научных работ. Вернулся домой под вечер в том тяжелом настроении, какое у меня всегда бывало после таких официальных визитов у Чернышева моста, а через пару часов я уже читал на Васильевском острове в здании Высших женских курсов (Бестужевских) лекцию о значении еврейской истории. Аудитория была полна курсистками, образовавшими кружок для изучения еврейской истории под руководством профессора Карташева⁵¹⁸. Чувствовалось особенное созвучие душ между слушательницами и лектором, когда он им говорил: историческое наследие живет в вас бессознательно, в ваших физических и психических особенностях, превратите же его в сознательное орудие вашей национальной воли! — Через две недели получилось от министерства «милостивое» разрешение жительства еще на один год.

В ту зиму наш комитет «Фолкспартей» был реорганизован и пополнен новыми лицами. В комитет вошли некоторые единомышленники с социалистическими убеждениями, которые раньше свободно примыкали к «Фолкспартей»: С. Ан-ский, И. Р. Ефройкин⁵¹⁹, А. Ф. Перельман. Особенно деятельным членом нашего комитета стал Ефройкин, писавший в «Еврейском мире» под псевдонимом Эфрен и принадлежавший прежде к группе «Возрождение» или «сеймистов». Соответственно изменению нашего состава мы изменили название нашей группы; мы ее отныне называли «Объединенная национальная группа». После ряда совещаний мы обновили и нашу программу. Из программы 1906 г. были исключены ее общеполитические «кадетские» пункты, а специальные были изложены в нескольких коротких тезисах, которые должны были определить наше отношение к языковому и религиозному вопросам, а также к сионизму. К основным пунктам программы «Фолкспартей», сводящимся к «автономизации нашей внутренней жизни», были прибавлены следующие пункты: 1) языки народный (так называемый «жаргон») и исторический древнееврейский должны занимать подобающее место в нашей общественной и культурной жизни. Еврейская школа, по крайней мере низшая, должна быть национальна и народна в смысле преподавания на родном языке учащихся; 2) не включая религиозных задач в круг своей деятельности, но считаясь с религией как исторически сложившимся элементом еврейской национальной жизни, группа считает нужным установить свое отношение к лицам, формально отрекшимся от еврейской религии и перешедшим в другое исповедание: таких людей группа признает также отрекшимися и от еврейской национальности; 3) сочувствуя планомерной колонизации Палестины, группа готова поддерживать всякие целесообразные шаги, клонящиеся к направлению части еврейской эмиграции в Палестину и сопредельные с нею страны. Об обстоятельствах, побудивших нас определить свое отношение к религиозному вопросу, я расскажу в следующей главе.

Глава 52

Два года в переживаниях XIX века (1912—1913)

Историческая работа «Эпоха первой эмансипации». — Публицистика: «После тридцатилетней войны». — Дело Бейлиса и исторический материал о ритуальных процессах в «Старине». Короленко в Историческом обществе. — Трудовое лето в Финляндии. «Эпоха первой реакции». Эволюция моих взглядов на реформацию, Берне и Гейне. Последнее лето на «белой даче». Реликвии прошлого. Смерть Моргулиса. — В новой квартире на Петербургской стороне; телефонифобия. — Политический шум: выборы в четвертую Думу и польско-еврейский конфликт. — Очередное ходатайство о праве жительства, вмешательство академика Радлова. — Мысли о возвращении к национальному языку. Отповедь Венгерову, отказ фигурировать в «Словаре русских писателей». —

В центральном комитете Общества просвещения. — 1913 год. «Эпоха второй эмансипации». Доклады и дискуссии в Историческом обществе. — Живая легенда: Хася Шур. Декларация по поводу эпидемии крещений («Об уходящих»). — Тюрисево (Финляндия). У колыбели внука. — «Источники ритуальной лжи» накануне процесса Бейлиса и цензурная кара. — Выход «Новейшей истории». Отъезд в Одессу на отдых.

После тревог 1911 г., расстроивших мой научный план, я в начале 1912 г. возобновил работу над новейшей историей с твердой решимостью довести ее до конца. С тех пор я почти два года подряд мысленно переживал события XIX в., изучал материалы, обдумывал и воссоздавал картину жизни близких к нам поколений в этот критический век нашей истории, продуктом которого был я сам. Главы по истории евреев в России и Польше я печатал в «Еврейской старине», а затем вместе с общими главами включил в большой том «Новейшей истории еврейского народа», появившийся в свет в конце 1913 г.

Начал я с того места, на котором раньше прервал работу: с главы о Германии в эпоху первой эмансипации. С особенным увлечением писались параграфы о культурном перевороте на грани двух веков, о «берлинском салоне» и следующей стадии ассимиляции, для которых я недавно изучал «человеческие документы» в Прусской государственной библиотеке.

Быстро шла работа в главном своем течении, а рядом текли меньшие ручейки: лекции, рефераты, мелкие статьи. В ту пору наша объединенная «Фолкспартей» стала издавать ежемесячник на идиш «Ди идише Вельт», по имени покойного «Еврейского мира». Ближайшими участниками, кроме меня, были Х. Д. Гуревич, Ефройкин, Ан-ский и Перельман. В первом выпуске я поместил программную статью «После тридцатилетней войны» — об итогах войны русского правительства с евреями начиная с погромов 1881 г. Я поставил вопрос: после тридцати лет гнета побеждены ли мы, ослабели ли у нас национальное чувство, культурное движение, даже наши экономические позиции? И ответ получился отрицательный. В страданиях мы закалились для новой борьбы за народное существование, за созидание новых центров в Америке и Палестине, за равноправие в старых центрах, за укрепление наших экономических позиций. Так используем же и дальше нашу энергию мученичества для освободительной борьбы. «Думаете ли вы, — писал я, — что только герои спасают народ? Нет, также и мученики, страдающие за народ, ибо дети и внуки мучеников будут героями, ибо скрытая энергия первых превратится в открытую энергию последних». Я призывал к борьбе с пессимизмом и упадком духа под влиянием продолжающихся ударов извне, против малодушного дезертирства из еврейского лагеря.

В ту пору нас всех волновало бесконечное дело Бейлиса. Министр юстиции Щегловитов поддерживал черносотенцев из «Союза русского народа», желавших инсценировать большой ритуальный процесс. Носилась слухи, что когда царь с министрами были в Киеве на тех торжествах, при которых был убит Столыпин, Щегловитов сказал царю, что нельзя сомневаться в виновности евреев в убийстве Ющинского, и связанный этим словом, он в дальнейшем направлял следствие так, чтобы подтвердить свое мнение; он заменял местных следователей и прокуроров специально присланными из Петербурга, которые должны были непременно установить наличие «ритуала» в убийстве, совершенном русской воровской шайкой в киевском притоне госпожи Чеберяк. Я решил, что наше Историческое общество обязано доставлять научный материал для занимавшей всех ритуальной проблемы, и в 1912 г. я поместил в «Старине» ряд исследований по истории таких процессов в Польше и России. Помню тогдашний доклад М. А. Тривуса о Саратовском процессе¹²⁰, прочитанный в собрании Исторического общества. Во время чтения появился В. Г. Короленко¹²¹, который подписал известный протест русских писателей

против ритуального навета. Председательствовавший Винавер приветствовал почетного гостя как нашего соратника и выразителя совести лучших русских людей, и я заметил, как смутился похвалами славный писатель, олицетворение правды-справедливости; он коротко ответил, что борясь с вредными предрассудками, он просто исполняет свой долг.

Длинное трудовое лето провел я в 1912 г. в Финляндии. 2 мая мы были уже в нашей милой Линке. «Бежал из города, бросил все дела, совещания, заседания, ради одного заветного дела: писания любимого труда, который, как все любимое, требует жертв». Мне предстояло писать самую интересную часть новейшей истории: «эпоху первой реакции», время религиозных реформ и «науки иудаизма» в Германии и солдатского режима в России Николая I. «В праздник Торы (Шовуос) я начал писать свою Тору... Развертывается огромная историческая картина» (запись 9 мая). Эту картину я рисовал в весьма картинной обстановке: в кабинете или рядом, на обширном балконе второго этажа «белой дачи», высоко над полем клевера на берегу озера. Помню, с каким душевным подъемом писалась глава о реформации в германском еврействе. Реформаторский пафос моей юности лежал тут трепещущий под хирургическим ножом научной критики, в свете нового мирозерцания, которое оправдывало реформу иудаизма лишь как обновление, а не как разрушение национальной культуры. Параграф о «вне стоящих» Берне и Гейне вызвал во мне рой воспоминаний, что отмечено в дневнике (14 июля): «Какой далекий путь от моих взглядов на Берне и Гейне в давние годы до нынешних! Мое первое политическое воспитание на сочинениях Берне в 1876 г., культ Берне-борца и отражение его в моем переводе „Вечного жида“ и в юбилейной статье (1882 и 1886), преклонение перед гейневским романтическим скептицизмом в те же годы. А теперь я сужу обоих как „вне стоящих“, но вспоминаю любовь юности и к трибуну и к поэту, и тоска звучит в моем историческом приговоре». Кто прочтет соответствующий параграф в моей истории, почувствует эту тоску автора, рисующего национальную трагедию в лицах обоих героев. Легче было мне суждение о Марксе в тот период, когда он был не только «вне стоящим», но и стоящим в противном лагере (в его антиеврейском памфлете).

То лето, шестое и последнее в Линке, мы провели в шумном кругу родных и близких. Только в самом начале потеряли мы хозяина Линки, нашего родственника Я. Эмануила, внезапно умершего в Берлине, куда поехал для лечения порока сердца. Эту весть я получил в один из моих приездов в город, на квартире покойного на Большой Подъяческой, и волна грустных воспоминаний поднялась в голове; начало 80-х годов в этом же районе Петербурга, помощь доброго родственника нуждающемуся экстерну, теплое гостеприимство кухни Розы во время моих позднейших приездов в Петербург и, наконец, ежегодное летнее соседство в Финляндии. Со смертью хозяина Линки решилась и судьба этого имени: оно было вскоре продано, и мы теперь проводили там последнее поэтическое лето. Приехали дети: Соня с мужем и исключенный из университета Яша¹²²; гостили наши одесские родственники Троцкие с детьми. Среди этого шума промелькнула и тень смерти: умер Моргулис в Одессе. В час уединенной прогулки в чаще леса я думал о прежнем друге и позднейшем противнике, с которым был связан одесский период моей жизни. За несколько недель до смерти Моргулиса, по случаю его 75-летнего юбилея, я в собрании Исторического общества предложил избрать его в почетные члены. Дошел ли до него этот примирительный жест идейного противника?..

К концу лета гости разъехались и наступило прежнее затишье. Возобновилась моя ежедневная беседа с лесом и озером в часы одиноких прогулок. В те дни я писал о нашем мартирологе в царствование Николая I. Я уже подходил к концу «эпохи первой реакции», когда наступил сентябрь и нужно было собираться в город, на зимнюю квартиру. На этот раз разлука с летним гнездом была особенно грустна. Уже приехали новые владельцы Линки, и наши шансы на возвращение ту-

да будущим летом были очень слабы. Накануне нашего переезда в город к нам с шумом ворвался Ан-ский, который привез с собою целую коллекцию фотографических снимков из своей этнографической экспедиции по Волини и Подолии.

В городе мы очутились в новой обстановке. Из тесной квартиры на окраине Васильевского острова мы переместились в просторную квартиру, нанятую в новопопстроенном огромном доме моего приятеля, адвоката Манделя, на Петербургской стороне (Б. Монетная, 21). В доме, построенном на берлинский лад, с центральным отоплением, пришлось ввести и электрическое освещение, и я после сельской идиллии должен был признать удобства городской культуры. Только с одним культурным удобством я все еще не мог мириться: с телефоном. Как ни трудно было обойтись в большом городе без телефона, я сопротивлялся всем попыткам устроить в моей обители эти «уши в стенах», через которые в любой момент может ворваться шум улицы и мешать моей сосредоточенной работе. Избегая заседаний, за исключением самых необходимых, я таким образом избавлялся от экстренных заседаний, которые устраивались по телефонным вызовам, что вызывало недовольство моих друзей. Посетителей я принимал в обычный час, от 5 до 6 пополудни, как значилось на моей карточке у входных дверей во всех местах, от Одессы до Петербурга.

А попал я в город как раз во время политического шума. Шли выборы в четвертую Думу, «выборы в полицейском участке», как их называли. В Польше они сопровождалась террором антисемитов против «еврейской кандидатуры». В конце октября я отмечал: «Насилиями и грубой фальсификацией создана Дума по образу и подобию правительства — черная, юдофобская, погромная. В ней три бесцветных еврейских депутата; более ярких (Кальмановича¹²³ и Слюозберга) мерзкими способами устранили. В Варшаве так сложились обстоятельства, что еврейские выборщики должны были голосовать за поляка-социалиста, а не за еврея, да и то евреев ждет бойкот со стороны остервеневших шовинистов. Я тоже был втянут в сеть интервьюеров и высказался за польскую левую кандидатуру, если кандидат признает не только гражданские, но и национальные права евреев... Но что ждет нас? Гаманы изо дня в день становятся злее, свирепее». Небольшой иллюстрацией к последней фразе была моя новая канитель с правом жительства. Мне давно опротивело ежегодное выпрашивание «собачьего права» у Министерства внутренних дел, и я решил на новую «дерзость»: опять просить о продлении права жительства на более продолжительный срок. Мои ходатаи Браудо и Айзенберг заручились обещанием известного ориенталиста академика Радлова¹²⁴ лично просить об этом министра Макарова¹²⁵. По разным причинам дело затянулось. Радлов представил Макарову меморандум о моей научной деятельности и просил о разрешении мне жительства на четыре года; министр обещал по возможности исполнить просьбу, но тут выяснилось, что одновременно товарищ министра уже подписал на моем прошении резолюцию о продлении срока только на один год. Так из-за промедления добрых посредников я опять был обречен на ежегодные ходатайства.

Часто являлась мне мысль бросить Петербург и поселиться где-нибудь в провинции, но жаль было оставить Историческое общество, «Старину», «академию», библиотеки и лишить себя возможности печатать под своим наблюдением тома большой «Истории» в столичной типографии. Иногда являлась даже мысль о том, чтобы перестать писать по-русски и вернуться к национальному языку ранней юности. Мои одесские друзья Бялик и Равницкий неустанно просили меня об этом и предлагали мне пользоваться услугами их издательства «Мория». Но я им отвечал в библейском стиле: «Охотно вернул бы свою разведенную еврейскую жену, но что же мне делать, когда моя инородная жена народила мне кучу детей? На кого мне оставить эту паству, читающих по-русски?» Тем не менее когда ко мне обратился известный историк русской литературы С. А. Венгеров с просьбой дать ему биографические сведения для статьи обо мне в его новом «Словаре русских писателей», я отказался, объяснив, что считаю себя не русским, а еврейским писателем,

который только силою обстоятельств вынужден писать на русском языке для говорящих на нем людей нового поколения. Венгеров написал мне вторично, что в словарь входят имена пишущих по-русски, независимо от содержания их произведений, но я ему возразил, что так как термин «русский писатель» может быть истолкован и в другом смысле, я не могу фигурировать под этим титулом. Сознаю, что тут действовало больше настроение, чем твердое убеждение. Накипело на душе от всего, что творилось в России, и я дал этому чувству исход в маленькой демонстрации.

В конце 1912 г. мне снова пришлось отвлекаться для общественных дел. Я не мог противиться избранию меня в члены комитета Общества просвещения, так как вместе с единомышленниками Крейниным и Залкиндо, при поддержке д-ра Кацнельсона и некоторых других членов, мы могли создать большинство при решении школьных вопросов в духе национального воспитания. В декабре нам удалось провести резолюцию о реформе хедера в совещании с провинциальными делегатами. Был Бялик из Одессы, и мы вспомнили, как трудно было нам десятью годами раньше бороться за еврейскую школу с одесскими ассимиляторами.

Зима и весна 1913 г. прошли в писании «Эпохи второй эмансипации» (1848—1881). Здесь меня захватывала новизна темы, картина столь близкой эпохи, конец которой совпадает с юностью моего поколения. Помню, с каким жаром я обрабатывал сырой материал периодической печати и обдумывал все детали архитектурного плана в часы одиноких прогулок по Петербургской стороне. Эмансипация в Средней Европе и либеральные реформы в России, культурный перелом на Западе и на Востоке — все это изображалось в рамках общих эволюционных процессов, намеченных в моем методологическом введении. Тут я заметил, что объем моей «Новейшей истории» до того разросся, что невозможно будет ограничиться одним томом. Уже главы до 1881 г. составили том в сорок печатных листов большого формата. Я поэтому решился напечатать пока этот том, а главы последней эпохи (1881—1905) писать и издать позже особо, тем более что в России было бы рискованно включить их сейчас в книгу по цензурным соображениям: описание событий последнего времени побудило бы цензуру конфисковать всю книгу. Так началось летом 1913 г. печатание большого тома «Новейшей истории еврейского народа», который вышел в свет к концу года. Вся тяжесть издательских забот падала на автора, ибо приличного издателя для моей книги я тогда не мог найти.

Если вспомнить, что «между делом» я редактировал «Старину», читал на Курсах востоковедения обычные лекции и в Историческом обществе доклады, то понятно будет, почему у меня так мало сил и времени оставалось для политической деятельности. В это время наше Историческое общество и Курсы получили великолепные помещения в большом доме еврейской богадельни, построенном на 5-й линии Васильевского острова на средства миллионера, «порт-артурского» Гинзбурга¹²⁶, разбогатевшего во время русско-японской войны. Нам отвели в двух этажах залы для лекций и докладов, «железную комнату» для архива и большой зал для этнографического музея общества, начало которому положил Ан-ский своей этнографической коллекцией. Здесь тогда читались частые рефераты, большую часть с дискуссией. Помню свой реферат о еврейской реформации в Германии (февраль), вызвавший через неделю кореферат моего обычного оппонента Столпнера. Странная помесь казуиста и мистика, с болезненно развитой склонностью к формуле: «а может быть наоборот?» («ипха миставра»), Столпнер часто в своих возражениях искажал мысль докладчика и полемизировал неприлично. Иногда он выдвигал явный парадокс и страстно защищал его. Так он однажды в докладе о еврейской мистике выдвинул тезис, что хасидизм по существу есть ассимиляционный фактор и только внешние обстоятельства помешали проявлению его с этой стороны; я неопровержимыми доводами разбил в дискуссии этот парадокс и был уверен, что в душе сам референт соглашался со мною, но публично не признал себя побе-

жденным. Можно было считать Столпнера неисправимым мозгляком, софистом, но я был свидетелем двух сцен, когда в нем проявилась скрытая религиозная эмоция. Когда оппоненты однажды упрекали его в сочетании таких несоединимых элементов, как марксизм и мистицизм, он не оправдывался и кончил свои возражения истерическим выкриком: «Шма Исраэль!» Однажды я встретился с ним на пасхальном сейдере в доме Винавера. Читали Гагаду вполголоса, без увлечения. Кто-то предложил Столпнеру в шутку быть запевалой в хоре чтецов, и вдруг он оживился и стал читать громко, с сильным волнением, раскачиваясь как иешиботник при изучении Талмуда.

Помнится одна тогдашняя встреча, которая перенесла меня в другой мир. В майский день появляется в моем кабинете почтенная дама, уже седая, и рекомендует: Хася Шур, ныне Долгополова. Волна далеких воспоминаний прихлынула к голове. Когда я учился экстерном в Могилеве, там шла молва о молодой девушке из богатой семьи Шур, которая увлеклась русским революционным движением, примкнула к кружку Аксельрода и Гуревича, ездила в Берлин и наконец была арестована русской полицией и сослана в Сибирь^{*}. Теперь эта живая легенда стояла предо мною. «Еще следы былого огня и былой красоты под пеплом седин, бойкие цитаты из подлинника Библии в разговоре, сознание неразрывной связи с брошенным народом при несомненном факте разрыва» (запись в дневнике 18 июня). Она была крещеная, так как в ссылке вышла замуж за русского социалиста-революционера Долгополова, бывшего депутата Думы. Теперь муж ее умер, и она приехала в Петербург по делам. В записи читаю: «Два часа горячей беседы, почти исповеди. Орел революционной деятельности, каторги, могилевского романтизма — и грустное восклицание: ведь я — гоя!» На прощание я дал ей экземпляр своих «Писем о еврействе», о чем она упоминает в книжке своих воспоминаний, напечатанных недавно в советской России.

Этот эпизод напомнил мне сейчас, по ассоциации идей, о волновавшем нас в то время явление новых крещений по мотивам далеко не романтическим. В конце предыдущей главы я отметил принятую нашей «Национальной группой» резолюцию, в силу которой выкредсты считаются исключенными из еврейского национального союза. Это был наболевший вопрос. Среди еврейской молодежи свирепствовала эпидемия крещений. Ежегодно перед наступлением учебного сезона массы абитуриентов, не допущенных в высшую школу в силу процентной нормы, принимали крещение с целью облегчить себе будущую карьеру в свободных профессиях и на государственной службе. В обществе уже привыкли к этому явлению и относились к нему как к чему-то неизбежному. Это побудило нас тогда, в конце 1911 г., принять вышеозначенную резолюцию и вместе с тем устроить совещание с представителями других партий о том, как реагировать публично на это деморализующее явление. Мне было поручено составить проект воззвания к еврейскому обществу о необходимости противодействовать эпидемии крещений путем морального осуждения дезертиров и возможной их изоляции. Воззвание начиналось с картины нынешней осады «стана израильского» новым Амалеком, армией русских черносотенцев, и указания на признаки разложения внутри осажденного лагеря. В то время, как одних тяжелый молот угнетателей кует как железо и закаляет для борьбы за гонимый народ, он других дробит и гонит к ренегатству. И я требовал от общества, чтобы оно установило определенное отношение к ренегатам, которые в момент мученичества нации не могут стоять рядом с борцами за нее. «Кто отрекся от своей нации, заслуживает того, чтобы нация от него отреклась». Я обращался с призывом к колеблющимся, готовым уйти: «Вы стоите на пороге измены. Остановитесь, одумайтесь! Вы приобретете гражданские права и личные выгоды, но вы навсегда лишитесь великой исторической привилегии — принадлежать к на-

^{*} См. т. I, гл. II (где следует читать: «Хася или Саша») и гл. 23.

ции духовных героев и мучеников». Я говорил стойким и верным: «Принадлежность к духовной армии борющихся за еврейство обязывает к известной дисциплине. „Пусть будет свят твой стан!“ — эта древняя заповедь требует нравственной чистоты и цельности от народной организации, спянной веками исторических подвигов. Не может быть братства между держащим знамя и бросившим его, между поносимым за имя еврей и избегнувшим поношения под маскою христианина».

Текст этой декларации вызвал горячие прения в нашем совещании. Выяснилось, что одни не могут его подписать, так как имеют выкrestов среди родных или друзей и не могут порвать сношения с ними; другие находили здесь призыв к общественному бойкоту и боялись неприятных последствий; лишь немногие согласились со мною. Было ясно, что декларация не соберет достаточного количества подписей, и я поэтому решил опубликовать ее со временем только за своей подписью, как неосуществившийся проект. Долго лежали у меня машинные копии декларации, пока, спустя полтора года, жизнь мне не напомнила, что пора ее опубликовать. Эпидемия крещений все росла. Летом 1913 г. газеты сообщили о переходе в православие 80 еврейских студентов, исключенных из Коммерческого института в Киеве, после чего их снова приняли в институт. Раввин большой общины на юге России, преподаватель еврейской религии в гимназиях, сообщил мне, что его ученики-абитуриенты откровенно признались ему, что они намерены совершить «роковой шаг» ради поступления в университет. Наконец, до меня донесся вопль отца, которому сын-абитуриент писал, что решил креститься, чтобы «поступить в университет и потом сделаться присяжным поверенным», причем цинично называл возражения отца «реакционными» и «наивными». С разных сторон меня уверяли, что декларация против «шмад» может подействовать по меньшей мере на часть кандидатов в выкrestы. Тогда я напечатал декларацию в «Новом Восходе» (№ 29) и других газетах, под названием «Об уходящих». Пресса живо откликнулась на мой призыв и разно комментировала его; были и возражения: одним декларация казалась слишком резкой, другие винили во всем свободомыслящую интеллигенцию, которая не воспитывает детей в ортодоксальном духе, как будто дети ортодоксов были иммунизованы против эпидемии крещений...

То лето я провел уже в новом месте: на Пухтула-горе близ станции Тюрисево, по той же дороге Петербург—Выборг. Все лето читал корректуры печатавшегося большого тома «Новейшей истории». В минуты отдыха убаюкивал в коляске-колыбельке полугодовалого внука, первенца моей дочери Софии Эрлих. Она жила тогда с нами без мужа, которого царская охранка арестовала на партийном съезде в Москве и крепко держала в одиночном заключении. Молодая мать часто оставляла ребенка на наше попечение и ездила в город, чтобы хлопотать в инстанциях об освобождении мужа. Он был освобожден только через два-три месяца. Он тогда руководил нелегальной работой Бунда, редактировал партийную газету и легально работал в петербургской радикальной газете «День».

По возвращении в город я попал в полосу общественной бури. 25 сентября начинался разбор дела Бейлиса в киевском суде, и еврейское общество через своих лучших адвокатов и экспертов готовилось дать бой правительству Щегловитова. Я написал статью под заглавием «Источники ритуальной лжи», где дал краткое историческое и психологическое объяснение ритуальной легенды и выступил скорее в роли обвинителя, чем защитника. Я указал на четыре исторических мотива ритуальных обвинений: способ разгадки загадочных преступлений, намеренное прикрывание тайных преступлений (например, убийство незаконных детей матерями), фабрикация мучеников и святых мощей в христианских монастырях ради привлечения паломников и доходов от суеверной толпы, наконец, потребность у гонителей еврейства верить, что их жертвы тайно мстят им убиением детей. Статья кончалась предсмертным двустушием моего любимца юности Кондорсе:

*Мне сказали они: выбирай, будь тираном или жертвой.
Я избрал себе муку, а им преступленье оставил.*

Рукопись статьи я передал в кадетскую газету «Речь», но редакторы Гессен⁵²⁷ или Ганфман⁵²⁸ боялись печатать ее, чтобы не навлечь на газету цензурную кару, а может быть, опасались, чтобы «Речь» не ославила «еврейской газетой». Согласилась поместить статью радикальная газета «День», где сотрудничал и мой зять Эрлих. Статья была напечатана за три дня до начала громкого процесса в Киеве и произвела впечатление не только на публику, но и на цензуру. Позже, когда потерпевшие неудачу в суде вдохновители процесса вымещали свою злобу на противниках, петербургский Цензурный комитет нашел в моей статье, особенно в пункте о фабрикации святых мощей для церквей, признаки «кощунства» и привлек к судебной ответственности номинального редактора газеты «День». Дело разбиралось в окружном суде только в июне 1914 г. и кончилось осуждением обвиняемого на один год крепости⁵²⁹. Были попытки добраться и до меня, но редакция «Дня» заботливо скрывала мой адрес, и суд должен был удовольствоваться одной жертвой.

Когда я печатал свою статью, я не скрывал от себя, что она может навлечь на меня и полицейские преследования. Накануне ее опубликования я писал: «Не обманываю себя насчет возможных последствий: через три месяца истекает мое „право жительство“, и меня могут изгнать из Петербурга. Но молчать не могу. Среди вакханалии ритуальной лжи должен прозвучать и голос еврейского историка». Мои опасения в этом смысле не оправдались: в декабре министерство возобновило мое право жительства на год.

В ноябре закончилось печатание большого тома «Новейшей истории» (1789—1881). В предисловии я подтвердил свою верность биосоциологическому методу, охарактеризованному раньше во введении к древней истории: я рассматриваю «процесс развития национальной особи, ее роста или упадка». Крайне утомленный продолжительной работой и участвовавшим тогда заседаниями разных организаций, я решил дать себе отдых вне Петербурга. В середине декабря я с женою уехал на зимние каникулы в Одессу.

Глава 53

Накануне мировой войны (1913—1914)

Поездка в Одессу. Хануковский вечер среди старых друзей. Традиционный вечер Абрамовича. Банкет и прощальное слово Фруга. Моя лекция о проблеме языка и дискуссия. Последнее «прости» Одессе. — В холодных объятиях Петербурга. План полного пересмотра еврейской истории и возвращение к древности. — Юбилейная статья об Ахад-Гааме и речь в юбилейном собрании. — Тени прошлого. — Повторение реферата о языковой проблеме. — «Историческая тайна Крыма». — Герман Коген и Н. Бирнбаум. — Статья о еврейском университете на Западе. — Последняя встреча с Шалом-Алейхемом. — Начало большого труда и перерыв для отдыха в Финляндии. Териоки, Або, Нодендаль. — Приближение мировой войны. Паника в Финляндии. Возвращение в Петербург среди бегущих дачников и движения воинских поездов.

Когда я теперь вспоминаю о своих переживаниях в полугодие, предшествовавшее мировой войне, мне кажется, что в них было какое-то смутное предчувствие надвигающейся катастрофы. Было какое-то смятение духа, как у иных нервных

* *Ils m'ont dit: choisis d'être oppresseur ou victime.
J'embrassai le malheur et leur laissai le crime.*

людей перед грозой; эфемерные работы и заботы отрывали меня от главного жизненного труда, от начато перестройки всего здания нашей историографии; были знаменательные встречи с друзьями, которых мне уже больше не суждено было видеть. Был канун новой жуткой эпохи.

18 декабря 1913 г. приехал я с женою в Одессу и сразу очутился в кругу старых друзей. По случаю Хануки местное Литературное общество (после правительственного запрета оно переименовалось в «Научно-литературное») устроило литературно-музыкальный вечер с участием Абрамовича, Фруга, Бялика и других. Еще усталый с дороги, я попал в шумный круг друзей и знакомых. С Фругом я тут встретился после долгой разлуки. Он был болен и слаб, но когда он стоял на эстраде и декламировал наизусть свое только что написанное длинное стихотворение, казалось, что воскрес мой друг юности, который когда-то в Петербурге читал мне свои первые произведения. Через несколько дней я посетил его в его квартире, на Французском бульваре. Он лежал в постели и жаловался, что и после операции (ему вырезали одну почку) болезнь ему не дает покоя. Возле него стояла жена, та добрая русская женщина, которая в молодости пошла за ним как верная Рут за Боазом⁵³⁰, а теперь ухаживала за ним как сестра милосердия. Несмотря на физические страдания, Фруга не покидал его обычный юмор. Мы вспоминали минувшие дни, общих друзей и недругов, и его остроумные характеристики были весьма далеки от сентиментальности.

В прошедшее перенес меня вечер 20 декабря в квартире Абрамовича, в здании Талмуд-Торы. То был традиционный вечер, в который мы по случаю годовщины рождения старика раньше собирались в той же квартире. 83-летний Менделе (официально на пять лет моложе) был еще бодр и говорил, что не уступит Богу ни одного года из положенного максимума человеческой жизни — 120 лет. По-прежнему он вносил оживление в беседу, провоцировал парадоксами, и ему вторили Бялик и другие из увлеченной старой гвардии. С Абрамовичем я виделся тогда почти ежедневно (мы жили близко друг к другу), и мы продолжали ткать нить наших былых длинных бесед.

Остался в моей памяти вечер банкета, данного мне Литературным обществом 23 декабря. Не знаю сам, что побудило меня согласиться на банкет, вопреки моему нерасположению к такого рода празднествам. Не было ли тут предчувствия, что это последней наш симпозиум со старейшими из круга друзей?.. Собрались в том же зале ресторана Симона, где я когда-то прощался с друзьями перед моим переселением с юга на север. Теперь некоторых уже не было, но все же собралось около 40—50 человек. Я сидел между Фругом и Абрамовичем, другом юности и другом средних лет, слушал речи, излияния души и отклики идейной борьбы. Взволновала меня речь Фруга. Он вспомнил прошлое, когда мы оба ютились рядом в двух комнатах на Измайловском проспекте в Петербурге, как он, возвращаясь поздно вечером из кружка молодой богемы, заставлял меня погруженным в книги или рукописи. Голос его дрогнул, когда он, положив мне руку на плечо, сказал: «Вы работали, друг мой, а я пил...» Последние слова он произнес почти шепотом. В своем ответе я нашел самые нежные ноты для «друга юности унылой» и указал на символический смысл нашего сидения между дедушкой Менделе и внуком Бяликом, так как мы оба представляем среднее поколение. В этом собрании я с Фругом символизировали былой ренессанс русско-еврейской литературы среди гебраистов и идишистов, которые в своих речах звали меня в свой лагерь. Языковая проблема текущего дня внесла некоторый диссонанс в этот вечер воспоминаний, и я должен был обещать организаторам его прочесть в собрании Литературного общества особый реферат об этой волнующей проблеме.

4 января 1914 г. состоялась в многолюдном собрании беседа на тему «Проблема литературного языка в истории еврейства». Я развил ряд тезисов, в которых проводилась мысль, что почти во все времена в нашей литературе господствовал либо

дуализм, либо плюрализм языков и что в этом можно видеть мощь национальной культуры, пользующейся всяким орудием для своего распространения. Новейшее национальное движение вызвало перемещение сил внутри нашей трехязычной литературы в России, увеличило ценность иврит в одних кругах и идиш в других, но не устранило необходимости литературы на русском языке. Вопрос стоит так: монизм, дуализм или триединство? Монизм или даже дуализм невозможны без ущерба для огромного круга лиц, где русский язык стал обиходным, и следовательно, приходится мириться с трехязычием. Не соперничество, а сотрудничество языков нам нужно, распределение их в различных слоях общества, в литературе и школе. Я кончил свой доклад словами: «Догме единства народа в рассеянии должна соответствовать догма единства культуры в разноязычии». В последовавших затем прениях главным оппонентом со стороны гебраистов был Бялик, а со стороны идишистов бундист Мережин⁵¹¹, который позже сделался ярым большевиком и стоял во главе печальной памяти Евсекции⁵¹² (еврейской секции коммунистической партии) в Москве. Бялик проводил свою обычную идею об эфемерности всех еврейских «жаргонов» и литературного творчества на чужих языках (что историей не подтверждается), но в общем проявил еще толерантность. Мережин же воспользовался случаем, чтобы ругать и «буржуазный» национализм, и древнееврейский язык во славу бундовского идиш.

Так прошли три недели моего отдыха в Одессе в собраниях и встречах. Кроме названных лиц и прочих членов бывшего одесского кружка (Равницкий, Друянов, Ландесман, Пэн⁵¹³ и др.), мне тогда довелось беседовать с воинствующим антииудистом редактором «Гашилоах» Клаузнером и с «железным канцлером» сионизма Усьшкиным. Ежедневные встречи с людьми мешали моим одиноким прогулкам по памятным местам. Только один раз, перед отъездом, я снова уединился в приморском парке на том холме, где я некогда впервые обдумывал план «Всеобщей истории евреев». Сидел там на скамье и записал в книжке: «Легкий морозец, туман над морем... Сидеть бы тут часами и вспоминать жизнь тринадцати лет, переживать ее вновь». Уходя, я сорвал ветку кипариса на откосе холма и взял с собою. До сих пор хранится у меня эта последняя одесская реликвия, наклеенная при записи дневника от 4 января 1914 г. Вечером того же дня состоялась вышеупомянутая публичная беседа, а 6 января я с женою уехал из Одессы. Распрощались с родной семьей Троцких, где мы гостили, и с старыми друзьями, не предвидя, что многих мы уже более не увидим и что мы в последний раз видим тот прекрасный южный город, в котором протекали лучшие годы нашей жизни...

Снова приняла нас в свои холодные объятия северная столица. Мне предстояло приступить к осуществлению большого плана, рассчитанного на много лет: к полному пересмотру общей истории евреев. Так как том новейшей истории был составлен по более широкому масштабу, чем предыдущие тома, то я решил переработать и их в таком же масштабе и превратить прежний четырехтомный план в пятитомный (вследствие этого «Новейшая история» была обозначена на заглавном листе: том V). Позже, в процессе работы, план еще более расширился, дошел до шести и, наконец, до десяти томов. К этому времени уже кончились запасы экземпляров первых трех томов «Всеобщей истории» (в издании «Восхода» 1905 г. и во втором издании «Древней истории» 1910 г.), и новое издание стояло на очереди. Дойдя недавно до конца XIX в., я должен был снова вернуться к древнейшей истории. Я выписал из-за границы появившиеся в последние годы новые исследования и в ожидании получения книг занялся мелкими очередными работами.

Приближался 25-летний юбилей литературной деятельности Ахад-Гаама, и Клаузнер требовал у меня статью для юбилейной книжки «Гашилоах». Я написал (по-древнееврейски) статью под заглавием «Отрицание и утверждение голоса в учении Ахад-Гаама», где дан итог нашего 25-летнего спора по этому вопросу. Я доказы-

вал, что в нашем споре мы постепенно дошли до такого сближения наших точек зрения, которое могло бы привести к синтезу, если бы творец духовного сионизма признал, что его теория палестинского культурного центра и мой голусный автономизм суть две стороны одной медали, на которой должно быть начертано: «Возрождение большинства нации в диаспоре и меньшинства в Сионе». Вскоре я в юбилейном собрании петербургского Научного общества произнес речь, где дал характеристику Ахад-Гаама в связи с некоторыми воспоминаниями о нем. В записи дневника читаю: «Тихая грусть сквозила в моей речи; волновали образы былого». Перед самым чтением я встретил в кулуарах ту Лауру, которая впервые явилась мне в Полесье летом 1898 г. и позже была спутницей наших лесных прогулок с Ахад-Гаамом в тех же лесах. Она представила мне своего мужа, петербургского врача, обычного посетителя наших собраний. «И тени речичких лесов пронеслись в душном зале, и может быть, они навеяли на меня грусть, звучащую потом в моей речи» (запись 12 марта).

В Петербурге пришлось повторить в многолюдном собрании тот реферат о языках, который я читал раньше в Одессе, но на сей раз обошлось, насколько помнится, без дебатов. Предполагалось реферат напечатать, но он так и остался неизданным; сохранилась лишь копия стенограммы, предназначенная для второго тома «Писем о еврействе», которому тоже не суждено было увидеть свет. В феврале я прочел публичную лекцию о хасидизме для усиления средств нашего Исторического общества. Если прибавить сюда лекции на Курсах востоковедения (в этот и следующие семестры я читал о иудео-эллинистическом периоде) и самые необходимые заседания, то понятно будет, почему я в своих записях упрекал себя: «Живу не своей жизнью, не сосредоточенною, а разбросанною... За главный труд еще не взялся, а с самим собою мало и редко говорю. А ведь существо моей природы — мало говорить с людьми, много с своей душой» (4 марта). Много времени по-прежнему отнимало редактирование «Старины». В это время меня занимал вопрос об «Исторической тайне Крыма» (таков заголовок моей статьи в первой книжке «Старины» 1914 г.) Один крымский житель, Гидалевич, доставил нашему комитету Исторического общества много эстампажей (оттисков из бумажной массы), сделанных с старинных надгробных надписей еврейского кладбища в городе Мангуп-Кале. Я вместе с своим секретарем Лурье разобрал эти оттиски и нашел там около 50 надписей XVI и XVII вв., освещающих темную эпоху татарского Крыма. С нового года я завел в «Старине» отдел научно-литературной хроники, где в коротеньких рецензиях отмечались по возможности все новинки в области еврейской науки. Большую часть этих заметок я писал сам, для чего приходилось просматривать десятки книг и брошюр на многих языках.

При такой перегруженности работой я должен был отклонять всякие литературные предложения со стороны, даже самые заманчивые. Один такой отказ привел к неприятному конфликту. Московское издательство «Мир» рекламировало тогда предпринятое им издание коллективной «Истории еврейского народа» в 15 томах и в опубликованном проспекте поместило мое имя, без моего ведома, в списке ближайших участников. Так как я двумя годами раньше отклонил предложение о редактировании этого издания, то я заявил в печати, что не принадлежу к числу ответственных участников. Инициативная группа (А. Браудо, С. Гинзбург, Ю. Гессен, М. Вишницер, М. Соловейчик, С. Цинберг) обиделась этим опровержением и упрекала меня в подрыве нового дела. Повторялось то же, что было в энциклопедии. Мой ригоризм и тут удержал меня от участия в ненадежной работе, которая, впрочем, оборвалась на первых двух томах вследствие мировой войны. Я шел своим путем: мне предстояло в ближайшие кошмарные годы строить здание еврейской историографии собственными силами, по определенному, в течение многих лет продуманному плану.

Только в конце марта я приступил к своему главному труду. «Втягиваюсь в пересмотр доисторической эпохи. Прочитываю сотни страниц (новых исследований) для исправления и дополнения двух-трех десятков страниц (моего текста). Новые раскопки на Востоке придадут все более реальную историческую физиономию библейским сказаниям, и придойдет немало исправлять в этой эпохе». Но после кратковременной изоляции меня снова захватил общественный шум. Волновали политические события в удушливой атмосфере режима, колебавшегося между Распутиным³³⁴ и Пуришкевичем, утомляли собрания и совещания. В апреле гостил в Петербурге философ Герман Коген³³⁵, которому еврейское общество устроило торжественную встречу. Прошел ряд вечеров с лекциями и банкетам. На банкете в квартире Слюизберга я тоже присутствовал, но не мог присоединить свой голос к хору прославляющих философа, признающего абстрактный иудаизм без живой еврейской нации. По этой причине я даже уехал на пару дней в Финляндию, чтобы не участвовать в особом чествовании гостя, столь любезного сердцу ассимиляторов. Я не имел повода жалеть о своем поступке впоследствии: через полгода, в начале мировой войны, Коген присоединился к воинственным манифестациям германских профессоров и в своей известной брошюре провел знак равенства между германизмом и иудаизмом. Зато я охотно принял участие в чествовании антипода Когена в немецко-еврейской интеллигенции: Натана Бирнбаума. Когда весной 1914 г. в Берлине праздновался 50-летний юбилей Бирнбаума, его ученик редактор журнала «Фрейштат» Фриц-Мордехай Кауфман³³⁶ обратился ко мне с просьбой дать заметку для юбилейного выпуска журнала, который в духе юбиляра поставил себе целью сближение восточного и западного еврейства. Что-то меня осенило — и я написал приветственную заметку в лирическом стиле. Она начиналась так: «Он (Бирнбаум) пришел к нам от торжествующего политического сионизма и сказал: слишком глубока историческая проблема еврейства, чтобы она могла быть разрешена дипломатией, колонизацией и маленькой территорией для малой части великой нации». Тогда я получил горячее благодарственное письмо от Бирнбаума. А через восемь лет, когда я приехал из Советской России в Берлин, я узнал, что этот вечный искатель правды нашел ее уже на новом или, точнее, совсем старом пути и примкнул к самой крайней ортодоксии.

В ту пору стал особенно актуальным вопрос об открытии особого университета в одном из городов Западной Европы для еврейской академической эмиграции. Это была моя давнишняя идея, высказанная еще в 1902 г. в «Письмах о еврействе». С 1913 г. в Петербурге действовала организация, под названием «Просветительный фонд», для осуществления этой идеи. Имелось в виду собирать большие деньги для помощи еврейским студентам, которых «процентная норма» выгоняла из России на Запад, и для учреждения там особого университета, где могла учиться часть этих студентов, вытесняемая антисемитской молодежью из западных университетов. В то время как кружок лиц в Петербурге (Винавер, Штернберг, Р. Бланк³³⁷, инженеры Канегиссер³³⁸ и Пресс³³⁹, я и другие) совещался о способах осуществления этого трудного дела, на сионистском конгрессе было с энтузиазмом принято предложение Усышкина о создании еврейского университета в Иерусалиме. Столкнулись между собою два плана, а партийная нетерпимость придала этому спору политическую окраску. «Отрицатели голуса» из сионистской прессы («Рассвет», «Гаолам», «Гашилоах») нападали на отрицателей догмы «Тора из Сиона». Я взял слово для перемещения вопроса с политической почвы на культурную. В двух статьях («Еврейская высшая школа на Западе», «Новый Восход», 1914, № 18 и 25) я доказывал, что между двумя планами не должно быть соперничества, а только разграничение сфер. Как раньше конкуренция между американскою и палестинскою эмиграцией кончилась тем, что в Америку пошли сотни тысяч, а в Палестину только тысячи, так должна кончиться новая университетская конкуренция: в Иерусалим пойдет сионистско-гебраистское меньшинство, а в Цюрих (предполагаемое

место европейского университета) хлынет большинство эмигрантского студенчества. Вопрос тогда горячо обсуждался в еврейских студенческих конференциях в Берне, Цюрихе и Гейдельберге. Даже в нашей петербургской группе «Фолкспартей» были разногласия по поводу моих выводов. Вторая моя статья была напечатана в конце июня, а через месяц раздалась первые громы, возвестившие мировую войну. Между Востоком и Западом встал кровавый призрак обезумевшей Европы, студенческая эмиграция была растерта в порошок, университет отступил перед казармой и фронтовыми окопами.

На этой грани эпох произошла моя последняя встреча с Шалом-Алейхемом. Я его не видел с сентября 1904 г., когда он несколько дней гостил у меня в Вильне, так как через пару лет болезнь забросила его в Швейцарию. Теперь он приехал с женой из Лозанны для лекторского турне по России и остановился на пару дней в Петербурге (14 мая). По состоянию здоровья ему трудно было захватить ко мне, и я посетил его в отеле «Астория», на площади Исаакиевского собора. В моей памяти ярко запечатлелась картина этого солнечного майского дня, когда мы мирно сидели на балконе пятого этажа фешенебельного отеля, против верхних колонн соборного купола. Внизу колыхалось людское море, в самом отеле, переполненном гостями и служащими, гудело как в улье, а мы сидели на балконе и вспоминали лето в Боярке 1890 г., в Люстдорфе 1891 г. Тут Шалом-Алейхем мне сказал, что пишет свою автобиографию, где упоминает также о наших встречах в литературе и в жизни. Он мне рассказывал о красоте и покое Лозанны, а я говорил, как был бы счастлив дописать свой исторический труд в этом городе, где некогда Гиббон¹⁴⁰ кончал свою «Историю падения Римской империи». Не думалось нам тогда, что мы беседуем в последний раз, что мы как будто исповедались друг перед другом перед вечной разлукой. Через три месяца буря войны забросила моего друга в Скандинавию и оттуда в Америку, а через два года получилась весть о его смерти в Нью-Йорке.

В то лето я поздно сидел в городской квартире, не выезжая на дачу. Нужно было наверстать потерянное в мелких работах время и сделать хоть часть большого труда, первый том которого я надеялся кончить и издать осенью. С большими усилиями я в переработке древней истории дотянул до эпохи двударствия — и сделал перерыв. Не было больше сил работать в знойные июньские дни в душном городе, где единственным местом прогулок был для меня жалкий Ботанический сад поблизости. Еще душнее стала общественная атмосфера. Министр юстиции Щегловитов судил группу адвокатов за принятую против него резолюцию протеста в связи с делом Бейлиса; многие были приговорены к тюрьме, среди них некоторые из моих знакомых, но скоро война спасла их от заточения. Мне самому тогда грозил суд за статью «Источники ритуальной лжи», за которую в те июньские дни был осужден редактор «Дня», как рассказано выше, но и тут шум войны отвлек внимание преследователей от поисков новых жертв. От всех этих впечатлений и от городской духоты я наконец бежал в Финляндию.

1 июля мы приехали в Териоки. Мы собирались ехать в глубь Финляндии, в окрестности Або или еще дальше, на Аландские острова, и сделали первую остановку в Териоках, где жила на даче семья нашей дочери Софии. Оттуда поехали в приморский курорт Нодендаль, близ Або. Курорт был переполнен гостями из Питера, Москвы и еще более дальних городов, и мы с большим трудом нашли для себя мансардную комнату в доме финнов, которые ни слова не понимали ни по-русски, ни по-немецки; со шведами нам было легче столкнуться при помощи немецкого языка. Мы вошли во вкус дачной и ресторанной жизни. Обедали в переполненных ресторанах, где по финскому обычаю гости сами себя обслуживали, шатались по улочкам и садам в знойные дни; я купался в заливе среди гула мужчин и детей. Скоро, однако, в этот мирный дачный шум ворвались тревожные звуки из

Петербурга. Там происходила трехдневная политическая забастовка трамвайных рабочих, совпавшая с приездом французского президента Пуанкаре. А через несколько дней появились первые грозные вести о близкой войне.

Некоторые записи в дневнике от 16—18 июля, то есть фатальных дней 29—31 июля западного стиля, воскрешают в моей памяти тревожные переживания того момента. «Над Россией навис ужас войны. Австрийский ультиматум и натиск на Сербию, русское заступничество, которое при переходе от слова к делу вызовет германское выступление в пользу Австрии, а там и вмешательство Франции, русской союзницы — вот и общеевропейская война. Еще шипят дипломатические змеи, в сегодняшних петербургских газетах успокаивают, а из Гельсингфорса и Або идут вести о разрыве дипломатических сношений между Россией и Австрией. Что же это? Неужели Россия, где правительством яростно воюет с народом, особенно с инородцами, пойдет теперь на внешнюю войну, которая пожаром охватит весь западный край: Польшу, черту оседлости, Прибалтику? У вооруженных гигантов руки чешутся, но ведь Россия только через год-два достигнет предела чудовищных вооружений, а теперь едва ли готова. Не повторится ли в 1914 г. катастрофа 1904-го, а затем не придет ли новый 1905 г., на сей раз более роковой, ибо черносотенная Вандея жаждет крови, прежде всего еврейской...» Это опасение погромов чередовалось с надеждою на революцию: «У нас психология узников, приветствующих пожар, который сожжет их тюрьму, может быть вместе с ними самими. Пусть умрет душа моя с филистимлянами! Жертвам свирепой российской реакции рисуются второй Севастополь, новый Мукден¹⁴¹ — катастрофы, унимавшие лютошь реакционного зверя...»

С объявлением мобилизации в России паника в Нодендале усилилась. «В нашем курорте тревога. Опасаются сокращения железнодорожного и пароходного движения, возникает и страх блокады берегов германскими судами, а здесь наше Або на первом плане на финляндском побережье. Курс рубля упал». 20 июля (2 августа), в день Тише-беав, я писал: «Катаклизм надвигается. Германия объявила войну России в ответ на мобилизацию. Уже немецкие отряды переступили французскую границу, Финляндия на военном положении, пароходы и поезда из Або курсируют реже. Является мысль о блокаде Або. В нашем Нодендале паника сегодня достигла высшей точки. С утра толпятся на улицах, переводят телеграммы последних шведских и финских газет, массажи уезжают на автомобилях в Або. Я принадлежу к спокойным, выжидающим, хотя ум мутится перед ужасом предстоящей резни народов, перед самоистреблением Европы». А через два дня торопливая заметка: «Мечешься в тревоге. С утра на пристани, ловишь вести из последних шведских или финских газет (русские получают на третий день). Нет конца смутным слухам. Нодендаль пустеет».

Ранним утром 23 июля (5 августа) мы покинули Нодендаль. На пароходной пристани собралось много беженцев, каждый старался захватить место на пароходу, ибо носились слухи, что это последний, отходящий в Або. А на абоском вокзале железной дороги еще большая сутолока пассажиров, сбежавшихся из окрестных мест. Вагоны брались штурмом. По дороге мы встретились с Л. Штернбергом. Мы сидели на своих чемоданах в чрезвычайной давке. Часто мимо нас проносились переполненные солдатами поезда: на фронт отправляли пушечное мясо. Из раскрытых окон вагонов солдаты кричали нам: прощайте! а мы им в ответ: счастливо возвращаться! Помню, как старый революционер Штернберг, узник Сахалина, восторженно кричал им: счастливо! Воинские поезда задерживали пассажирское движение. То и дело поезд наш останавливался. Одну ночь мы провели в квартире финского кондуктора железной дороги. Наконец притащились в Териоки. Приехали на вокзал под вечер и отправились на дачу, где жила наша дочь с семьей. Уже по дороге порезила нас пустота улиц в недавно еще кипучем дачном городе.

Подошли к даче: все квартиры заперты. С трудом отыскали садовника и узнали, что дочь с мужем и ребенком уехали на днях в Петербург. Наступила ночь, поезда в Петербург не было, и нам пришлось переночевать в полупустом отеле. Большую часть следующего дня мы провели на териокском вокзале в ожидании поезда. Здесь слонялись еще несколько скитальцев. Одна дама рассказывала, что с противоположного берега залива, где стоит Кронштадт, слышалась пальба: уже идет морское сражение русских с немцами, прорывающимися к Петербургу. Казалось, что кровавая лавина идет по нашим пятам... Все эти слухи оказались неверными, но позднейшая действительность была страшнее слухов.

После трехдневных скитаний по финским дорогам, мы под вечер 25 июля (7 августа) приехали на Финляндский вокзал в Петербурге и через полчаса были уже на старом пепелище. Мы стояли на грани нового периода истории...

КНИГА ДЕСЯТАЯ

ГОДЫ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ (1914—1917)

Глава 54

Первое полугодие войны (июль—декабрь 1914)

Дневник летописца. — Патриотические манифестации. — Наше Политическое совещание военного времени. — Беженцы из Германии и фронтовой полосы. — Воззвание главнокомандующего к полякам. Польская агитация на фронте: «австрийская ориентация» и выселение евреев из прифронтовой полосы. Проекты декларации от еврейского общества. — Заседание с левой оппозицией. Гибель братьев за Россию и от России. Настроение безнадежности в еврейской массе. — Моя первая статья из серии «Inter arma».

По дороге из Финляндии в Петербург А. Я. Штернберг сказал мне: «Наступают времена великих событий, надо записывать». Я в не меньшей мере чувствовал близость исторических переворотов и решил подробнее отмечать в дневнике свои впечатления. А семилетие мировой войны, русской революции и гражданской войны (1914—1921) дало этих впечатлений в таком количестве и качестве, что нельзя было не делиться ими со своим дневником, тем более что их нельзя было высказывать в печати. Полагаю поэтому, что я вернее передам тогдашние переживания, если вместо нового изложения буду приводить краткие выдержки из моих дневников, где еще сохранилась свежесть восприятия. Выдержки будут по необходимости кратки: иначе мне пришлось бы слишком расширить свою автобиографию; но и то, что будет дано, представит достаточно яркую картину переживаний историка в одну из самых критических эпох всемирной истории.

Я вернулся в Петербург накануне чрезвычайного заседания Государственной Думы, которая должна была откликнуться на царский манифест с объявлением войны. 27 июля* я писал об этом заседании и предшествовавших ему патриотических манифестациях:

«Вчерашнее экстренное заседание Государственной Думы. Гром патриотических возгласов в декларациях представителей партий и национальностей. Жалко прозвучала речь еврейского депутата, столь смиренная, что ей аплодировали даже правые. Искренно и правдиво говорил только трудовик Керенский⁵⁴²: не на роде война вызвана, но народ ее вынесет на своих плечах, а потом предъявит правительству счет. Перед заседанием Думы представление (царю) и речи в Зимнем дворце. Ни одного намека на реформы, на амнистию: все „как встарь“. Только Пуришкевич пожимает руку Милюкову. Печальное зрелище! Много постыдного было в еврейской манифестации на улицах Петербурга на прошлой неделе, с коленопреклонением перед памятником Александру III. Со стыдом читал в вагоне, по пути в Петербург, об этой выходке. После десятилетий заточения и пыток узник покорно благодарит и рад стараться, не упоминая даже о своих му-

* Мне приходится здесь цитировать записи по старому стилю, как они обозначались в дневниках до перехода России к новому стилю.

ОБЪ ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ РУССКИХЪ ЕвРЕЕВЪ

И ОБЪ УЧРЕЖДЕНИИ РУССКО-ЕВРЕЙСКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО
ОБЩЕСТВА.

С. М. Дубнова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литография А. В. Ланге. Изд. Второе. Т. 1.

1891.

Титульный лист книги С. М. Дубнова «Об изучении истории русских евреев»

Дорогой есеудам. Исхак, Саул, Рахм и Тинда
Оксса, $\frac{22}{\lambda\alpha}$ 95 отъ Селена

ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

ОТЪ КОНЦА БИБЛЕЙСКАГО ПЕРЮДА ДО НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ.

Томъ I.

ВОСТОЧНЫЙ ПЕРЮДЪ.



Титульный лист «Еврейской истории» С. М. Дубнова с посвящением

С. М. Дубновъ.

ПИСЬМА

СТАРОМЪ И НОВОМЪ ЕВРЕЙСТВѢ

(1897—1907).

Систематически обработанное и дополненное издание.

С-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія тов. «Отечественная Вѣдѣль», Большая Морская, 39.

1907.

Титульный лист книги С. М. Дубнова «Письма о старом и новом еврействе»

**ЧЕРТА ЕВРЕЙСКОЙ ОСЕДЛОСТИ
В РОССИИ, 1835–1917 ГГ.**



Иллюстрация из книги Мантина Гилберта «Атлас по истории еврейского народа». Иерусалим, 1990

ках. Надо идти в бой за отечество, но в то же время и за себя, как часть отечества, как нацию среди наций...

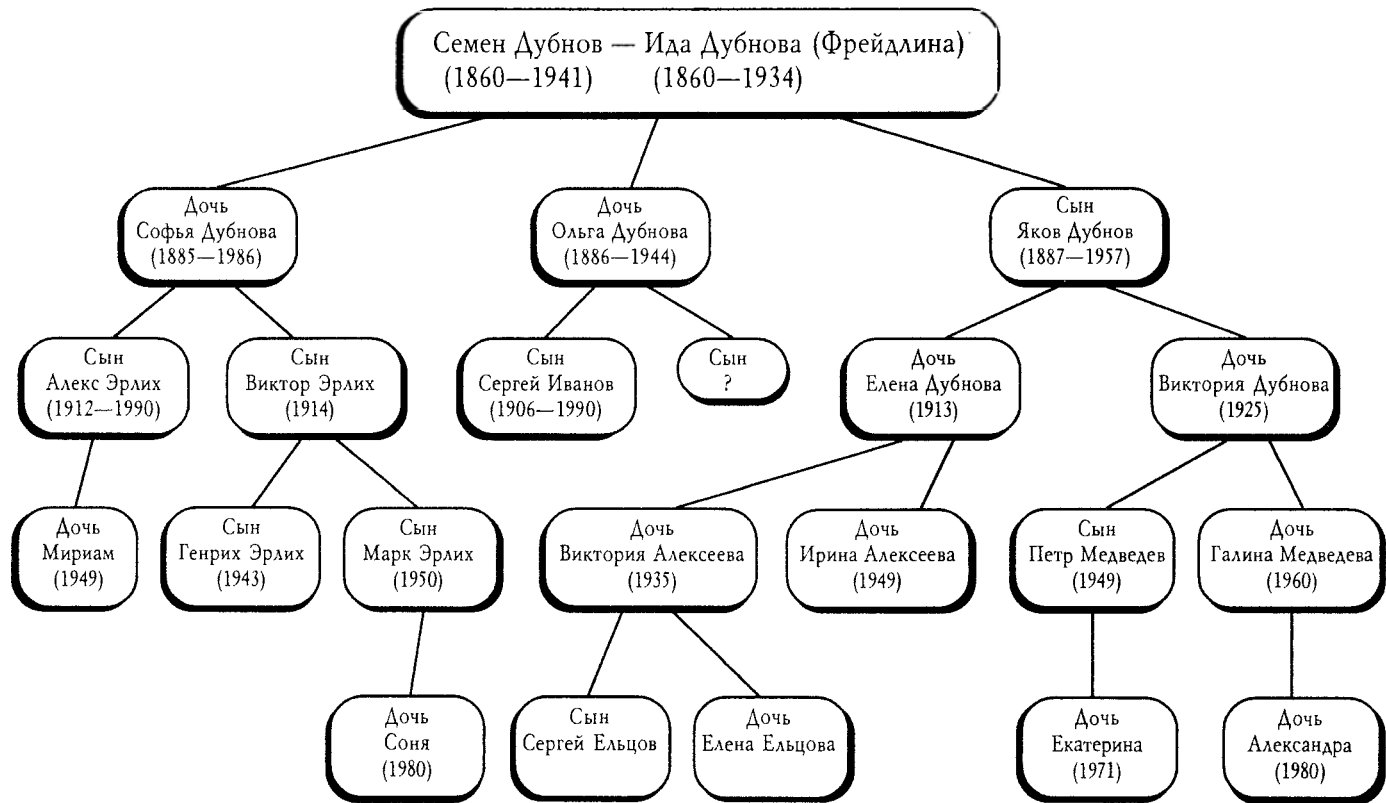
Не могу ни о чем думать, кроме этой мировой катастрофы, готовящей переворот в истории... Поражение Германии, этого паука милитаризма, опутавшего своей паутиной всю Европу, принесет избавление миру. Совокупная победа России, Франции и Англии не грозит усилением внутренней реакции в России — напротив, атмосфера может очиститься в стране политической инквизиции... Но пока, пока — „красная смерть“, бойня, гибель культуры, опустошение душ».

Таково было общее настроение в первые дни войны. Я только не разделял безудовольного патриотизма многих представителей нашего общества, полагавших, что и порабощенный народ морально обязан защищать отечество, превращенное для него в чужбину. Я думал, что если рабов гоняют в бой наравне с гражданами, то они должны громко заявить, что они сражаются только в надежде на завоевание для себя равенства и свободы. Эту мысль я проводил во всех наших политических совещаниях, особенно после того, как к гражданским преследованиям прибавились военные, на фронте.

31 июля состоялось в Петербурге первое совещание еврейских общественных деятелей по вопросам военного времени. Состав участников был сначала небольшой, так как многие еще не вернулись из заграничных летних курортов, где их захватила война, и возвращались постепенно, в течение нескольких месяцев. Но впоследствии была создана большая организация из представителей всех еврейских партий, кроме Бунда, с постоянным участием трех еврейских депутатов Думы и случайным участием русской думской оппозиции. Это Политическое совещание состояло из пленума, доходившего до 80 членов, и экзекутивы или бюро из 15 членов. Вот что у меня записано под 1 августа о состоявшемся накануне (в квартире моего домохозяина В. Мандела) первом нашем совещании:

«Шумно обсуждались вопросы дня: о воззвании к еврейскому населению, о широкой организации помощи жертвам войны, о ходатайстве перед правительством, чтобы оно остановило выселения и разрешило бегущим евреям черты оседлости, ставшей театром войны, жить вне черты. Воззвание отвергнуто, ибо оно поневоле свелось бы к патриотическим излияниям, остальное одобрено. Хочется верить в обновление человечества после войны, но пока мы возвращаемся в атмосфере озверения и одичания даже культурнейших народов. Прибывающие ежедневно через Швецию и Финляндию изгнанные из Германии рассказывают ужасы о немецких жестокостях. Сейчас приехавший студент рассказывал мне, как его били в Берлине. Немецкие евреи идут воевать с „варварской Россией“ и говорят о мести за Кишинев и октябрьские погромы. Месть кому? Ведь в русской армии десятки тысяч евреев, и немецкой армии придется опустошать ту же „черту“, где раньше хозяйничали русские погромщики... Трагизм момента не опишем. Вот наш д-р Виши[иц], запасной австрийский офицер, застрявший за границей, скоро, может быть, попадет в австрийскую армию, громящую Воынь, его родину...»

В атмосфере крови и железа трудно было вернуться к научной работе, но я чувствовал, что без нее не выдержу гнета страшных впечатлений. «Где найти спокойствие, необходимое для работы? Как взяться за работу, необходимую для спокойствия, для душевного равновесия? Заколдованный круг!» Особенно взволновало меня воззвание русского главнокомандующего к полякам с обещаниями политических льгот после войны. Я спрашивал (запись 2 августа): «Ну, а миллионы евреев, выносящих на своих плечах ужасы войны рядом с поляками?... Пока приходится лишь выпрашивать через влиятельных маклеров, председателя Думы Родзянко⁵⁴³ и других, чтобы евреям позволяли спасать жизнь бегством за черту». Я утешался мыслью, что после войны и евреи предъявят свой счет правительству, и писал: «Да, на том берегу моря крови взойдет новая заря, но каково



Составитель А. Я. Гинзбург (Россия, г. Кириши Ленинградской области), внучатый племянник С. М. Дубнова

перейти это море!» Не поверилось бы тогда, что «на том берегу» откроется другое кровавое море... С глубокою тоскою делал я 10 августа последнюю запись в толстой книжке своего дневника, обнимающей четыре года: «Внимая ужасам войны, закрываю эту книжку записей, гроб четырехлетних переживаний. Взволнованный, стою перед могилою прошлого и загадкою близкого будущего. Какой-то великий перелом готовится в мировой истории и в истории моего народа. Буду вести дальше летопись одной жизни, сотканной с жизнью нации в прошлом и настоящем».

Это была летопись душевных мук. Ежедневное чтение русских газет с кровавыми реляциями с фронта: «Мы зарубили у неприятеля столько-то, закололи столько-то» — кололо душу. Мы ведь хорошо знали, что военная цензура скрывала чудовищные потери русской армии в Восточной Пруссии и в других местах. Душу терзала неотвязная мысль: ведь у моих гибнущих братьев нет даже утешения, что они отдадут жизнь за что-то святое, дорогое. 12 августа я записал: «Вчера вечером второе совещание о помощи жертвам войны. Вся необъятность задачи предстала перед глазами: спасти от голодной смерти чуть ли не половину населения черты оседлости, бегущего, разоренного... Политическая помощь сомнительна. Позондировали почву относительно дозволения беженцам переходить за черту. Председатель Совета министров, ветхий реакционер Горемыкин¹⁴⁴, ответил: „Откуда у вас, евреев, берется такой оптимизм? Неужели вы думаете, что теперь вам все дозволят?“ А Кассо (министр просвещения) заявил, что процентная норма в учебных заведениях для него свята и нерушима. Так с нами говорят в дни, когда тысячи наших братьев лежат на полях Польши, Волыни, Подолии, сраженные в борьбе за Россию. Рассказы приезжих из черты (Ан-ского и др.) наводят ужас. В какие-нибудь две недели уничтожены источники существования сотен тысяч.

Я сделал над собою огромное усилие и взялся за работу, прерванную пред войной: стал писать главу о древнеизраильской культуре эпохи двучарствия. «Под грохот орудий предаюсь своей умственной работе. В юности я, вместе с Берне, некогда на Гете, который в дни сражения при Иене занимался своей „Farbenlehre“. Теперь глубже смотрю на дело. Если для Гете наука была спортом, такое сочетание возмутительно, но если она являлась для него, как должна быть для всех, глубокою потребностью души, то в указанном факте можно видеть только величие духа, стоящего над судьбами людей... Однако мне трудно себя заморозить на этой высоте. Сердце тает, и тихий плач его чувствуется в часы одиноких дум...»

К концу августа положение на фронте ухудшилось. Там из кругов польских юдофобов пущена была молва об «австрийской ориентации» евреев, которые будто бы шпионят в пользу врагов («С большой головы на здоровую: на самом деле половина польского общества за Австрию», — отмечал я тогда). Это дало повод русскому главнокомандующему Николаю Николаевичу¹⁴⁵ и командирам отдельных частей усилить гонения на еврейских жителей фронтовой полосы. Начались бесчеловечные изгнания целых еврейских общин. Из Люблина писал мне историк местной еврейской общины Нисенбаум¹⁴⁶ об изгнании всех евреев из города Новая Александрия и о взятии заложников у евреев другого близкого местечка и просил сделать что-нибудь в Петербурге для спасения несчастных.

Продолжаю выписки из дневника.

24 августа. Опять пошла полоса заседаний экстренных, «военных», решили издать воззвание от имени петербургского еврейского общества по поводу прокламаций австрийского командования к евреям Царства Польского с указанием на наше бесправие (в России). Основной мотив нашего ответа — не формальный призыв к лояльности, а удобный повод к выражению нашей уверенности, что война принесет свободу и нам. Сего-

дня вернулся из второго заседания редакционной комиссии, где окончено составление этого акта, в общем сильного и достойного по тону.

27 августа. *Velut larik kochachem* (Потрачены будут впустую ваши силы) — вот проклятие наших заседаний. Бились в трех заседаниях над составлением воззвания, где были бы подчеркнуты ожидания еврейства, а вчера в новом пленуме с массою новых лиц все это похерено. Признав неудобным повод для воззвания — австрийские прокламации, отвергли всю нашу декларацию, имевшую целью осмыслить наши военные жертвы. Решили послать делегатов в Варшаву для организации отпора опасной (польской) агитации на местах; меня тоже наметили, но я отказался. Вчерашнее многолюдное заседание явило пример нашей розни. Встретились старые знакомые, из них много вернувшихся из австрийского и германского курортного плена. Опять сходятся участники Союза полнопровария 1905—1906 гг., и опять, вероятно, разойдутся, когда дойдет до дела.

25 августа⁵⁴⁷. «Пьяный бюджет» сходит со сцены. После благих результатов первого месяца закрытия царских кабаков, казенных винных лавок (в первые дни войны правительство запретило продажу водки), последовал сегодня указ о закрытии их на все время войны. Петербург неузнаваем за последний месяц: нет шатающихся пьяных фигур на тротуарах. Итак, пьяная Россия уступит место трезвой. Ну, а пьяные погромы тоже будут заменены трезвыми?..

8 сентября (*первый день Рош-гашана 5675 г.*). Вчера с трех до 8 часов заседание у Крейнина о польско-еврейских отношениях. Выслушаны доклады наших делегатов Клейзмана⁵⁴⁸ и Браудо и варшавянина Гринбаума⁵⁴⁹. *Furog polonicus* не ослабеваает. Обсуждался план декларации протеста. Страстные, порою истерические прения, свидетельствующие о боли душевной. Сегодня редакционная комиссия составляет проект...

10 сентября. Снова памятный день (моего рождения). 54 года жизни позади. Уже 54? Только 54? Таков двойственный вопрос. Много сделано, но еще очень многое не сделано... Сейчас тянет меня пройтись по местам, где протекла моя унылая юность, петербургская ее полоса.

11 сентября. Вчера после полудня ходил по *kinne avot* (могилам предков). В серые полуосенние часы бродил по Никольскому садику, прошел по *Via dolorosa*⁵⁵⁰ 1883 и 1885—1886 гг. от бывшей квартиры по Средней Подьяческой (все так же стоит тот старый желтый дом № 16), через Львиный мостик, мимо Казанского участка, к редакции «Восхода». Теснились в голове образы былого, когда я спешно, под накрапывающим дождем, проходил по этим могилам прошлого... А вечером и за полночь мы сидели в собрании и взволнованно обсуждали меры против польской агитации и прочие злобы дня. Мое предложение, чтобы в предстоящем совещании с русскими депутатами Гос. Думы мы настаивали на резолюции протеста против польской интриги, не принято; решили только «побеседовать». Предстоят еще работы в комиссии по составлению записок, деклараций и т. п. Избрано бюро, но и пленум будет часто заседать. Предстоит волнующая работа: полуночные заседания, бесконечные прения, неосуществленные решения, — работа нужная, но с массою бесплодно потраченных сил. И снова предо мною трагический вопрос: неужели опять гореть в переживаниях дня, утром при чтении газет, вечером в заседаниях, а среди дня, между двумя адами, творить историографию?

Так урывками продолжал я переработку древнейшей истории. В сентябре я прервал эту работу для редактирования очередной книги «Старины». Пришлось из-за опоздания издать двойной номер за полугодие. Тут впервые почувствовался

недостаток материала. Я был отрезан от моих западных сотрудников, М. Балабана и других, и поэтому решил расширить в журнале элемент мемуаров и переписки. Я порылся в своем архиве и нашел пачку писем С. О. Грузенберга от 1896—1899 гг., где он полемизировал со мною по национальному вопросу. Содержание писем было очень характерно для идейной борьбы того времени, которое теперь, среди крушения Европы, казалось столь далеким, давно прошедшим, и я нашел, что пора опубликовать их. Перечитывая их снова, я вспомнил безвременно угасшего товарища, «и заукопная молитва об отошедших годах громко зазвучала в душе» (запись 16 сентября). В утро Йом-киппура (17 сентября) я «хорошо поплакал в короткой, уединенной молитве. Сердце защемило на словах: „Сжался же над нами скорей, ибо очень мы пали духом; не покидай нас, когда наши силы истощаются!“ Как хотелось бы сейчас стоять среди тех, которые молятся за жизнь сотен тысяч сыновей и братьев, из которых десятки тысяч, может быть, уже заколоты и застрелены на полях сражений!» А в вечер того же дня я сидел в одном из клубов на Невском проспекте, на совместном совещании нашего политического бюро с русскими оппозиционными депутатами Думы. Вот короткое описание этого вечера в моем дневнике (18 сентября):

«Вчера до поздней ночи совещание наших общественных деятелей с думской оппозицией, от прогрессистов до социал-демократов включительно. Обсуждался жгучий польско-еврейский вопрос. После длинного доклада Клейнмана (сотрудника «Речи») пошли прения. Первые очереди были оставлены *tacito consensu*⁵⁵¹ русским, чтобы узнать их настроение. Говорили Соколов⁵⁵² (Н. Д., известный адвокат-радикал, выступавший в больших политических процессах), Мякотин (историк), Милюков и Родичев (дважды каждый), Керенский, Некрасов⁵⁵³, Брамсон и другие. Наш Генрих (мой зять-бундист Эрлих, присутствовавший в качестве наблюдателя) высказал еретическую мысль о законности австрийской ориентации, чем вызвал отповедь Милюкова, что такая ориентация граничит с изменой; напоминание его (Генриха) о существовании не только польской, но и русской юдофобии, особенно в армии, было правильно и необходимо. Была попытка поставить вопрос на почве фракционных счетов, но в общем, после холодной речи Милюкова, были задушевные речи Мякотина, Керенского, Родичева, Некрасова. Все ссылались на бессилие думской оппозиции в переговорах с поляками (депутатами); однако, ввиду грозящей опасности (в армии говорят: вот расправимся с пруссаками, а потом с жидами-предателями), признали необходимость воздействия на прогрессивные элементы Польши. Назначили комиссию до ближайшего заседания, через неделю. Общее впечатление грустное: бессилие оппозиции *inter arma* вообще и наша чрезмерная сдержанность. Из евреев выступили только 2—3 (Брамсон, Слиозберг); до прочих очередь не дошла...»

На следующем заседании, где предполагалось и мое выступление, я по болезни не мог присутствовать. Но и оно кончилось без существенных результатов. Одну из причин неудачи я вижу в том, что среди нас не было Винавера, второго после Милюкова лидера кадетской партии: он нашел бы выход из положения. А он тогда был за границей, в курортном плену, и вернулся только поздней осенью.

Привожу дальнейшие отрывки из дневника.

4 октября. ...Новый градоначальник Оболенский⁵⁵⁴ свирепствует в Петербурге. Вчера и сегодня слухи, что велено отобрать у всех евреев паспорта для проверки. Начнется, вероятно, изгнание из столицы... И мы переносим это и молчим в те дни, когда еврейская кровь льется за спасение России! Вяло и дрябло наше политическое совещание. Надо было бы идти не с мольбами, а с протестами к министрам, да еще двинуть на протест влиятельных депутатов и председателя Гос. Думы, членов Гос. Совета. Нужно кричать против издевательств над нами... В последнем заседании

нашего совещания (плenums), где я изнемог от председательствования в течение пяти часов, принято много решений: и мемориал к военным властям о прекращении юдофобской агитации в армии, и петиции городских дум и еврейских общин о пропуске беженцев за черту оседлости, и воздействие на общественное мнение дружественной Англии и пр. А что сделано?.. Близится новый фазис решения еврейского вопроса: международный...

Жизнь «в осадном положении». С первого момента войны приостановилось печатание или приготовление к печати моих книг в Петербурге, Вильне, Одессе, Берлине и Нью-Йорке, на пяти языках*. Сбыт моих изданий остановился. Книгопродавцы не платят. Приходится жить на небольшие сбережения... Почти прекращены сношения к внешним миром: вместо ежедневной корреспонденции очень редко прибывают письма.

16 октября. Сейчас тревожная весть в вечерней газете: Турция начала войну с Россией. Ее флот двинулся к Одессе... Россия окружена с запада и с юга. Вчера до поздней ночи мы слушали в заседании доклады об ужасах войны в Польше и Галиции, о разгроме и расстреле сотен евреев русскими войсками, о гибели наших братьев за Россию и от России. Преподались до хрипоты о допустимости переговоров с местными поляками-прогрессистами по поводу польско-еврейских отношений. Большинство отвергло такие переговоры... Решили пригласить поляков в наши совещания с думской оппозицией только в случае настояния последней... Мучительно бесплодны наши заседания. Возвращаясь домой в 2 часа ночи, измученный, в сознании, что дело с места не движается.

Пока мы совещались, как пресечь опасность от агитации на фронте, катастрофа разразилась. Ввиду наступления и отступления немцев по путям к Варшаве, началась «эвакуация» целого ряда местечек от еврейского населения. Вот короткие выдержки из записей.

9 ноября. ...Сердце разрывается от заглушенных стонов еврейства, от воплей тысяч изгнанников Гродзиска, Скерневиц и др., вытолкнутых из родных гнезд «родною» русскою властью после ухода германцев.

10 ноября. ...Огромный сдвиг совершился в настроении еврейских масс за эти три месяца. Патристический налет первых дней войны исчез, и на смену ему пришло отчаяние, доходящее до... германофильства. И не диво: эти расправы русской армии с мирным еврейским населением в Польше и Галиции, это грядущее хамство, сулящее неприкосновенность еврейского бесправия повсеместно, это издевательство над отцами и братьями умирающих за отечество, — что иное могло оно вызвать? Говорят, что когда изгнанные бесчеловечным приказом командующего армией евреи Скерневиц и Гродзиска встретили в пути (шли около 80 верст до Варшавы пешком старики, женщины, дети) русский полк, они обратились к еврейским солдатам (этого полка) с мольбою: смотрите, братья, что делают с нами! Еврей-солдаты заплакали, но ничего не могли сделать. Так сообщил докладчик, приехавший на днях из Варшавы... У меня лежат донесения из

* В Петербурге готовился к печати переработанный первый том древней истории, для которого уже бумага была заказана на фабрике. В Вильне должно было продолжаться издание на идиш (в переводе Калмановича) прежнего текста «Всеобщей истории евреев», прерванное на первых выпусках. В Одессе готовилось издание «Новейшей истории» в древнееврейском переводе И. Триуша, который я редактировала (издательство «Мория», Бялика и Равницкого). В Берлине «Идишер Ферлаг» предпринял перед самой войной издание «Новейшей истории» в немецком переводе А. Элиасберга, но дело было приостановлено с объявлением войны. А в Нью-Йорке готовилось издание монографии по истории польско-русских евреев на английском языке.

массы городов Царства Польского о военных погромах и польско-русских расправах над евреями*.

29 ноября. Грустные думы при тусклом свете ханукальной свечи, думы о цепи былых Ханук моей жизни. Теперь наши Маккавеи сражаются за свободу разных народов, но не за свою. Даже за свободу наших поработителей и мучителей мы проливаем кровь, когда те сулят нам продолжение рабства... Вчера сильная статья Леонида Андреева¹⁵⁵, запрещенная в Петербурге и появившаяся в Москве в «Утре России»: автор призывает снять клеймо варварства с России, терзающей евреев. У нас же (евреев) не хватает мужества всему свету заявить: мы сражаемся под условием завоевания нашей свободы и равенства. Таков был смысл декларации, предложенной мною и отвергнутой совещанием.

2 декабря. Одной вечерней поездки на другой конец города в скверную погоду было достаточно, чтобы свалить меня (заболел инфлюэнцей)... Невольно является мысль: да следует ли рисковать силами, ассигнованными для науки, и тратить их на деятельность низшего разряда? Ведь не пробить мне толстой брони оппортунизма наших патентованных общественных деятелей. Вчера говорил об этом и многом другом с Винавером, вернувшимся из-за границы. Не уверен, чтобы он пошел против течения. Он сам говорит, что за две недели (после возвращения) его засосала петербургская тина.

В те дни меня потянуло к публицистике. «Хочется кричать, а нельзя говорить даже шепотом, полусловами, — писал я 19 декабря. — Мне покою не дает план серии коротких статей под заглавием „Inter arma“ — конечно, с недомолвками, с обходом опасных пунктов». Ближайший толчок к первой статье дала мне опубликованная беседа О. О. Грузенберга с представителями прессы по поводу какого-то патриотического акта (кажется, отправки пищевых пакетиков, «даров любви» для фронтовых солдат). Увлекающийся оратор, слишком поддающийся минутным настроениям, сказал: «Если бы надо было формулировать отношение евреев к войне, я сказал бы: евреи сейчас думают не о своих правах, а только о своих обязанностях в отношении своей великой родины». Эта мысль шла вразрез со всем, что меня водновало с первого дня войны. Я немедленно написал первую заметку из серии «Inter arma» под заглавием «Права и обязанности». Я поставил вопрос: «Действительно ли евреи, несомненно думающие о своих обязанностях и самоотверженно их исполняющие, так быстро, выражаясь по-военному, эвакуировали свои головы от всяких мыслей о правах, о бесправии в настоящем и устранении его в будущем?» Со сдержанным негодованием, остерегаясь шипов военной цензуры, я отвечал: «Народу, наиболее обездоленному в гражданском отношении, советуют не думать во время войны, для которой он приносит колоссальные жертвы, о своих правах, о том простом акте гражданской справедливости, который по велению совести должен последовать за нынешней войной, с опозданием по крайней мере на сто лет... Создалось бы представление о евреях как об илотах, идущих даже в бой с клеймом вечного рабства». Нет, «евреи в своей интеллигенции и массе не только крепко думают о своих правах, среди жгучих забот об исполнении обязанностей, но именно в сопоставлении с обязанностями народная дума о правах приобретает особенную остроту, сложность и трагичность». Статья кончалась призывом к борьбе против безнадежности: «Давайте подумаем, что можно сделать теперь же для борьбы с разъедающей нас безнадежностью, для исцеления глубоко раненной еврейской души, для укрепле-

* Я получал копии сообщений, которые присылались в наше бюро уполномоченными Комитета помощи еврейским жертвам войны, ездившими легально в прифронтовую полосу.

ния нашего духа таким идеалом, который совмещал бы элемент надежды с элементом непрерывного действия».

С трепетом ждал я выхода последнего за 1914 г. номера «Нового Восхода», где должна была появиться моя статья, не безупречная с точки зрения военной цензуры. Однако статья проскочила сквозь колючие проволоки с легкой раной: цензурской купюрой в виде небольшого пробела в тексте.

Глава 55

Из дневника второго полугодия войны (январь—июнь 1915)

Переживания войны на «еврейском фронте». — Новогодние гадания. — Болеутоляющий наркос воспоминаний. — «Inter arma», проект декларации, план исторических работ. — Ужасы фронта и невозможность укрыться, «пока пройдет гнев». — Доклад о Польше в Историческом обществе. — Мысли вслух о политической ориентации. — Статья о перспективах войны: международный фазис еврейского вопроса. — Пасхальный «сейдер». — Посещение А. Я. Гаркави. — Изменение моего исторического плана: «Всеобщая история» поглощает специальную историю польско-русских евреев. — В собрании «Лиги борьбы с антисемитизмом» (Горький и др.). — Беженцы из «черты», заложники, протест петербургской общины. — Работа для американского издания монографии об истории евреев в Польше и России. — Смерть Переца. — Проект всенародного поста-протеста. — Выселения из Курляндии. «Новый Восход» запрещен. — Выселения из Литвы. — Навет предательства в Литве. — Непрерывные совещания. Принят мой проект петиции. Судьба его.

Продолжаю свои выписки из дневника за первое полугодие 1915 г., когда ужасы войны на «еврейском фронте» отзывались душевными терзаниями в нашем петербургском обществе и толкали нас на путь протеста, большую часть заглушенного, бессильного. Я не мог бы теперь воспроизводить тогдашние переживания более четко, чем в этих давних строках, писанных бегом, под напором впечатлений страшных дней.

1 января. Весь мир стоит теперь, на пороге нового года, перед огромным вопросительным знаком. Еврейский вопрос потонул бы в мировом, если бы в данный момент наш исторический трагизм не выделялся слишком ярко из вселенского. Среди десятков воюющих народностей только шесть миллионов людей еврейской национальности сражается за отечество, третирующее их как илотов. Не дальше как третьего дня опубликован указ о призыве новобранцев с указанием, что у евреев нужно брать в армию и льготных первого разряда, т. е. единственных сыновей (у всех других набор идет не дальше второго разряда). Еврей должен отдать жизнь единственного сына за привилегию рабства и бесправия. Таково чудовищное извращение права...

...Составлял библиографию новых источников для следующих томов «Всеобщей истории», но затем опять погрузился в свой личный архив. Выбраны (для помещения в «Еврейской старине») палестинские письма брата⁵⁶ от 1882—1884 гг. и письма Ландау 80-х и 90-х годов; найдено много черновиков старых моих писем. Как дивно действует этот своеобразный опиум, не усыпляющий, а проясняющий самосознание, утоляющий боль настоящего! Третьего дня совершил прогулку с И[дой] в Лесной, прошли мимо того места Парголового проспекта, где мы вместе в мезонине дачки провели летние месяцы 1883 г. 31 год я не был в этих местах...

А на прошлой неделе, в ответ на мое поздравительное письмо к С. М. Абрамовичу, получилось коллективное письмо всех собравшихся у него в вечер 20 декабря, и воскресла полоса Одессы. Мое письмо было даже напечатано в местной газете и перепечатано.

20 января. Сейчас только вернулся из египетской Элефантины V в. дохристианской эры в редакции «Истории». А в промежутках жуткие впечатления войны... Откликнулся на нашу злобу дня во 2-й статье «Inter arma» сдвинутым подцензурным голосом*. На днях составлял вместе с Винавером и Слиозбергерам проект декларации от еврейского общества. Не сошлись в заключительной части декларации.

3 февраля. ...Едва дописав последние строки отдела «Истории», взялся за редактирование 1-й книжки «Старины» (мы решили в комитете издавать ее и в 1915 г.)... Весь февраль пройдет в этой работе, а параллельно будет тянуться американский очерк: составление первого отдела «History of the Jews in Poland and Russia»** — не считая публицистических заметок «Интер арма»...

В торжественном заседании Думы (27 января) министр иностранных дел Сазонов⁵⁷ опровергал «клевету» относительно военных еврейских погромов и уверял, что евреи в районе военных действий терпят не более других, подчеркнув, что хочет этим успокоить возмущенное общественное мнение Соединенных Штатов. А в эти же дни новые 20 000 изгнанников-евреев шли из разных городов Польши в Варшаву, с замерзшими детьми на руках, так как командующие армиями нашли их пребывание в районе военных действий нежелательным и выгнали их в несколько часов. Сцены Гродзиска и Скерневиц повторяются еще в больших размерах. А еще раньше генерал Рузский⁵⁸ издал приказ (я его читал в копии), чтобы во всех отнимаемых у немцев польско-русских городах брать у еврейского населения заложников в обеспечение того, что евреи не будут шпионить в пользу немцев... Все эти и прочие ужасы были известны Сазонову, и все-таки он на весь мир солгал...

Накануне думского заседания наше совещание с депутатами обсуждало до поздней ночи текст декларации депутата Фридмана. Под давлением общего настроения Думы пришлось ограничиться новым изъяснением патриотизма, но с оговоркою, что за полгода войны мы «пережили многое и страшное». Кадеты кадили на алтаре патриотизма, смело говорили только с.-д. и трудовики, но их речи не напечатаны.

13 февраля. Немного излил душу в 3-й статье «Inter arma», просочившей через цензуру с небольшим уроном.

Сейчас, цитируя эти строки дневника, беру в руки вырезку упомянутой в них статьи с подзаголовком «Нынешняя война на масштаб еврейской истории» («Новый Восход», 1915, № 6) и перечитываю ее. Слова падали тут как тяжелые, крупные капли слез. Она начинается стихом пророка: «Иди, народ мой, войди в свои покои и укройся на малое время, пока пройдет гнев». Я спрашивал, можно ли нам теперь укрыться, когда наши дети гибнут на всех полях сражения. «Говорят о трагедии

* Она появилась в «Новом Восходе», 1915, № 1, с подзаголовком «Народные интересы и народная честь». Основная идея та же, что в первой статье. По поводу патриотического заявления нашего депутата Фридмана в Думе, что и еврейство «исполнит свой долг до конца», я указывал, что и государство перед нами «находится в неоплатном долгу». «В акте нашей воли борьба за отечество органически сливается с борьбой за наше гражданство, готовность умереть за родину — с решимостью жить на ней не иначе, как в качестве свободных граждан».

** Речь идет о том очерке истории евреев в Польше и России, который был давно обещан мною Еврейскому издательскому обществу Америки для издания в английском переводе И. Фридендера. Это было извлечение из моей «Всеобщей истории» в новой редакции.

Польши, сыны которой сражаются в армиях трех государств. Но что же сказать о трагедии нации, дети которой проливают свою кровь в армиях восьми государств, из коих пять стоят на одной стороне, а три на другой...» Статья кончается следующим прогнозом: «Ветеран истории, стоящий в самом центре мирового пожара, не может теперь укрыться, „дока пройдет гнев“, но он может и должен сказать себе: я устоял в веках посреди борьбы титанов, когда „менялось лицо земли“, я устою и теперь, когда меняется карта Европы, а когда кончатся ужасы войны, в совете народов будет услышан и мой голос, в котором будет звучать не только вопль мученика, но и требование героя». Мысль о требованиях еврейства на будущем конгрессе мира не покидала меня во все годы войны.

24 февраля. Третьего дня читал в собрании Исторического общества, в переполненном зале на Васильевском острове, доклад «Итоги еврейской истории в Польше», где провел следующую идею: тезис внегражданственности и национальной автономии в старой Польше, антитезис гражданственности без национальных прав в идеологии новой Польши, синтез гражданских и национальных прав в будущей Польше. Были оживленные прения, переходившие на большие вопросы дня. Я возражал. Резюмировал председатель Винавер. А теперь толкуют о докладе в газетных отчетах.

Вчера до двух часов ночи беседа в тесном кругу, в квартире Винавера, о больном вопросе: об «ориентации безнадежности» еврейских масс. Сидели десять человек и «думали вслух», как я выразился, об установлении ориентации надежды, связанной с исходом войны. А жуткие вести о военных погромах и перспектива погромной эпидемии как венца войны леденили душу. Седая голова Кулишера склонилась под тяжестью страшного прогноза. Мы часто говорили с надрывом в голосе, выдававшим рану души. Мрачный пессимизм чередовался с призывом к надежде, с самоунижением надежды. И в результате признали, что нужно установить российскую ориентацию и внушить ее массам. А как — о том речь будет впереди, в другом совещании.

Откликом всех этих бесед или «мыслей вслух» была большая статья о перспективе войны в серии «Inter arma» («Новый Восход», 1915, март, № 10—11). Военная цензура ее пропустила с небольшими сокращениями, потому что автор заявил, что прогноз его связан с «политическими переменами, ожидаемыми от благоприятного для тройственного согласия исхода войны», ибо именно Антанта заявила о «свободе малых наций» как цели войны. Нарисованный мною образ еврейского Иова на пепелище мирового пожара был спасен от цензорских ножиц лишь потому, что я тут же предостерегал от отчаяния и «перспективы безнадежности». Главная мысль моей статьи заключалась в том, что в результате мировой войны еврейский вопрос должен вступить в новый фазис: международный. Я доказывал эту мысль такими соображениями, которые впоследствии стали фактами (образование новых государств и защита национальных меньшинств по международному соглашению). Своими доводами я хотел поднять упавший дух еврейского общества и, признаться, преодолеть упадок духа в самом себе. Помню, как в те пасхальные дни, когда появилась моя статья, у меня самого посветлело на душе от этого призыва к действительной вере в лучшее будущее. Но события скоро опять омрачили душу. Даю слово автору дневника.

6 марта. ...Вчера в пленуме доклад Слиозберга: скорбная летопись месяца. Наши думские депутаты были у Сазонова и Горемыкина, рассказали о военных расправах с евреями Польши и Галиции, выслушали несколько якобы сочувственных слов и заявление, что все зависит от военных властей...

17 марта. Несколько дней все на людях: заседания, совещания, а вчера пасхальный «сейдер» в большом обществе у Винавера. Говорились бодрящие речи. Винавер поставил вопрос «ма ништане?»: чем отличается эта ночь ужасов и мрака от прежних ночей нашей истории? Я ответил историческими параллелями о четырех Египтах — фараоновском, времен Элефантины, иудео-эллиническом и маймонидском — для освещения круговорота еврейской истории. Читали Гагаду, веселились, а все-таки чувствовалось, что всех точит червь переживаемой ночи ужасов...

Выселения из военного района докатились и до нас: запрещено евреям селиться на дачах в приморской полосе Выборгской губернии (Финляндия). Наши бедные депутаты мыкаются по министрам... и все идет по-прежнему.

18 марта. Пишу, точнее составляю из прежде написанного, «американский» очерк истории евреев в Польше, но как тяжело теперь писать! Порою снова тянет к личным воспоминаниям, в святая святых души, куда заглядываешь только в Иом-киппур, в дни очищения, просветления душевного.

Был с Гольдштейном (Сальв. Мавр.) у Гаркави, просил о передаче его архива в наше Историческое общество. Вспоминается, как я, еще безвестный юноша, ходил к нему весной 1881 или 1882 г., чтобы расписаться в получении пособия от Общества просвещения. Потом — как я задел его в критике и как вообще наши дороги разошлись. Прошло 30 лет, и я с ним минувшею весной встретился в собрании нашего Исторического общества, а на днях впервые переступил порог квартиры 75-летнего старца. Как все тут безжизненно! Вот могила истории! Пробовал я расшевелить мертвеца, предлагал темы маленьких научных работ (о новом хазарском фрагменте), собиравшие жизненного труда — все, что должно волновать и привлекать уходящего от жизни. Никакого отклика. Все мертво, как было и 30 лет назад, мертвая наука, мумия истории, зарытая в квартире-склепе среди книг и бумаг. И тут я снова убедился, что мне с этим человеком действительно не по пути, мне, для которого история — родник кипучей жизни, борьбы, творчества живого духа, источник мирозозерцания, священная легенда веков...

24 марта. Неделя тишины, в переработке польских глав истории для американского издания. Невольно мысль тянулась к завету жизни: завершению «Всеобщей истории» и других трудов. И тут впервые созрело решение: изменить программу работ второй очереди, в центре которой стояла обширная история евреев в Польше и России как отдельный труд в нескольких томах. Часть этого труда я перенесу в работы первой очереди, т. е. во «Всеобщую историю», где удвою объем польско-русского отдела на основании собранного огромного материала. Пусть уже эта «Всеобщая история», которую стараюсь довести до возможного совершенства, осуществит и старый мой обет и станет моим единственным большим трудом... Остаток жизни (я намерен) посвятить монографической разработке истории евреев в Польше и России, вместо систематического курса, который уже будет дан во «Всеобщей истории». Это не связывает как многолетний труд. Когда ангел смерти потребует, можно в любой момент сказать: я готов...

Как странно, однако, думать об этом, стоя на современном вулкане!.. С нами в России творится ужасное, а готовится еще более ужасное. Гнусный навет шпионажа отравляет души темных масс и даже многих интеллигентов. Кн. Е. Трубецкой⁵⁵⁹ (либеральный профессор) в Москве

согласился подписать воззвание русских писателей о равноправии с дикой оговоркой: чтобы евреям запрещалось жить в пограничной полосе. Некоторые радикалы против допущения еврея в деревню во избежание «эксплуатации». Вчера обо всем этом докладывали в собрании «Лиги борьбы с антисемитизмом», учрежденной Горьким⁵⁶⁰, Л. Андреевым и Сологубом⁵⁶¹. Говорил Горький о задачах Лиги (читал по бумаге), подробно докладывали о первых ее шагах Кускова⁵⁶² и Калмыкова⁵⁶³, в прениях — депутат Керенский. Публика наполовину была из евреев, но говорили почти исключительно русские... Говорили горячо... Досталось молчаливым кадетам, которые отсутствовали. Председательствовал ветеран революции Чайковский⁵⁶⁴, в публике была старая Вера Засулич⁵⁶⁵. Говорилось много смело, нецензурного (в отсутствие полицейского чина).

Депутат Бомаш⁵⁶⁶ рассказал мне о визите нашей депутации к министру Маклакову⁵⁶⁷ по поводу изгнаний из пограничной полосы. Конечно, все валит на военные власти, советует не шуметь в газетах и не раздражать главнокомандующего. Министр заявил, что не может пустить массу еврейских беженцев за «черту», ибо это прорвет плотину, а потом у него, Маклакова, спросят: «Городовой! зачем ты евреев напустил во внутреннюю Россию?»

Вчера правление здешней еврейской общины отважилось на смелый шаг: послало главнокомандующему письмо с протестом против обвинения евреев в шпионаже и вытекающих отсюда зверств (в Полтаву сосланы 70 еврейских заложников из Царства Польского). Поможет ли? Здешних евреев наконец пробрало запрещение селиться на дачах на всем побережье Финского залива... Ныне все проводят праздничные каникулы узниками города.

4 апреля. Вчера кончил «американскую» переработку, превратившуюся в сложную работу с значительными прибавлениями к тексту отдела XVI—XVIII вв. Отослал в Америку, а душа неспокойна: дойдет ли при нынешнем военном пиратстве на морях?

Умер Перец. Совещались о соединенном траурном собрании представителей всех обществ. Доклад о «Хасидизме в творчестве Переца» требовали от меня, но я уклонился, так как в последние годы не следил за мистико-символическими писаниями Переца. Вспомнились острые углы в наших литературных отношениях, особенно последняя встреча в 1911 г.

7 апреля. Опять перекладываю источники и литературу на специальном столике: перехожу в эллинский период. И тянется при этом обычная, насыщенная тоскою песенка пахаря мысли... Длинные сумерки, предвестники белых ночей, смотрят в окно, и кажется вот-вот «раздастся над вселенной песнь торжественных времен», песнь весны, зов в поле, в лес. «Зачем отравили вы песню мою?..»

8 апреля. Какое-то особенно теплое, солнечное утро. Недавно явилась мысль посетить в это лето Мстиславль, поехать по Сожу и Днепру, побывать в районе Гомеля и Речицы. Сегодня посетил меня С. Гурвич (писатель), недавний берлинец, и предложил мне пожить в июне в его доме на окраине Гомеля. Возможно, что так разрешится летний вопрос, что скоро побываю на могилах юности и позднейших юных порывов... Для меня это приобщение к былому — религиозный акт...

12 апреля, сумерки. Шагаю взволнованный по кабинету, и сами собою льются траурные звуки Псалмов и Селихот... Сейчас были у меня представители здешнего районного комитета для сбора пожертвований в пользу беженцев. Советовались об устройстве всенародного поста в Петербурге и других центрах по поводу нынешних ужасов. Идея сразу меня

пленила. Я расширил ее до идеи поста-протеста, поста-апелляции к Высшей Силе, так чтобы она была приемлема для верующих и неверующих... Обещал свое содействие, указал пути действия... И теперь заранее, в уединении, напеваю «Ав гарахмим», и сердце щемит, щемит... До обеда был в заседании комитета Исторического общества, после принимал посетителей, а сейчас так взволнован, что к работе боюсь приступить.

3 мая. Третьего дня кончил эпоху «греческого владычества» и опять попал всецело под владычество ужасов дня, от которых спасался в часы исторической работы... Евреи изгнаны из всей Курляндии с женами и детьми. Митаву они очистили в сутки и бросились в Ригу. Оттуда их погнали в глубь черты. Россия ведет две войны: одну общую, другую против шести миллионов своих евреев, у которых она берет полмиллиона солдат и в то же время — заложников... Говорить о фактах не дает цензура. «Новый Восход» закрыт на все время военного положения.

Вчера вечером собеседование с молодежью высших учебных заведений. Выдвинул следующие тезисы: освободительные лозунги войны — «против милитаризма» и «борьба за свободу малых наций...» Обмен мыслей затянулся поздно...

5 мая. Ужасы продолжают. Евреев изгоняют из Ковны и Поневежа... Закрыты пути исхода, пути борьбы.

6 мая (первый день Шовуоса). Вчера был обыск в здешней главной синагоге: искали — аппарат для сношений с неприятелем по беспроволочному телеграфу! Был обыск и у председателя общинного правления Варшавского¹⁶⁸, человека консервативного и патриотичного...

7 мая. Ведется открытая официальная агитация с адскою целью — свалить ответственность за военные поражения на евреев. Сейчас прочел сообщение из военной газеты «Наш вестник», органа штаба северо-западной армии, что в местечке (Кужи) близ Шавли евреи предали русский отряд в руки немцев, спрятав последних в подвале и затем сигналом вызвав их оттуда... В результате сотни повешенных и сосланных невинных людей... Сейчас сообщили, что это известие напечатано и в «Правительственном вестнике» и расклеено на улицах. Что делать? Послать на имя царя или Совета министров всенародную петицию о том, что играют жизнью шестимиллионного народа, полмиллиона которого сражается в рядах армии? Но поможет ли крик ужаса убиваемого перед палачом, занесшим топор?

Часто думаешь: откуда это безумие юдофобии в такой момент? Психологически это объяснимо. Палач по-своему боится своей жертвы. Юдофобам, тиранившим евреев тридцать лет, совесть подсказывает, что евреи должны мстить своим гонителям, и это должное превращается в умах палачей в сущее.

8 мая. Мучительные, тревожные беседы, совещания без конца. Вчера вечером развивал идею массовой петиции-протеста в «Национальной группе» («Фолксартей»). Предстоит заседание пленума. Сейчас лихорадочно набросал план массовой петиции для совещания. Будут, конечно, возражения, но все же верится, что готовность к гражданской жертве выросла в последние дни.

10 мая. Кошмар усиливается. Творится безумное и преступное. Из Ковны и губернии выселены в один день (5 мая) несколько десятков тысяч евреев. В приказе командующего армией, опубликованном сегодня, говорится о поголовном выселении евреев... и о ссылке их в Полтавскую и Екатеринославскую губернии. Несчастных изгнанников заперли в скотские вагоны и на вопрос: «Куда нас везут?» отвечали: «Куда приказа-

но...» Работа заброшена. Ум лихорадочно работает в одном направлении: крикнуть от боли на весь мир! Но мир разгорожен военными кордонами... Где наши русские защитники, друзья, недавно твердившие о пробудившейся совести? Пока молчат.

11 мая. Ярость врага несколько унимается. Есть надежда на приостановку дальнейших выселений из Литвы и даже на возвращение ковенских евреев, уже изгнанных и разоренных. Это, по-видимому, результат последнего заседания Совета министров, где Маклаков заявил, на основании донесений губернаторов, что поголовные выселения евреев разоряют край... Было решено сделать представление верховному главнокомандующему или царю о горькой необходимости пощадить евреев.

16 мая. Что творится в Литве с евреями — не поддается описанию. Рассказывают о десятках тысяч изгнанников, нахлынувших в Шовуос в Вильну, с малютками на подводах. Возврат ковенцев, рассеявшихся по России, пока фикция...

24 мая. Сейчас принесли мне копию письма думского депутата Фридмана на имя Горемыкина. Выражен сильный протест против предложения (властей) изгнанникам дать заложников за право вернуться на родину. Но этого мало, и у меня все еще зреет план всенародной петиции-протеста...

27 мая. Заседания дневные, вечерние, ночные. Уходишь (из заседания) в фантастических утренних сумерках, измученный волнующими прениями, чтобы в следующий вечер опять проделать то же. Вчера мои два предложения в пленуме страстно дебатировались и приняты. Первое (о кредитах помощи еврейским жертвам войны в союзных и нейтральных странах) принято целиком, а второе (о петиции протеста) в урезанном виде: подписи представителей общин и учреждений вместо массовых подписей, протест без элемента «петиции», хотя я доказывал, что в этом элементе только сгущенный протест. О последнем ограничении особенно сожалею, ибо придаю большое моральное значение требованию официального акта, который бы нам сказал, чего мы должны ждать от войны: освобождения или дальнейшего порабощения.

Третьего дня в кругу молодых, будущих (политических) деятелей, развивал тезисы о проблемах момента. Был в ударе и горячо говорил; кажется, отчасти заразил слушателей, хотя среди них оказались и совсем отчужденные от еврейства из молодых адвокатов.

Наши ковенские и курляндские изгнанники все еще скитаются. Бывший здесь съезд еврейских деятелей единодушно отверг предложение дать заложников за право возвращения... В ставке (главнокомандующего) орудует генерал Янушкевич⁵⁶⁹, гнуснейший черносотенец, который до войны вдохновлял «Русское собрание» и «Союз объединенных дворян» и сочинял проекты об изгнании евреев из армии. Нагло выдуманно донесение о еврейском «предательстве» в Куже, как выяснило расследование депутатов Фридмана и Керенского.

3 июня. Как верующий в высшие идеалы, я хотел бы верить, что после беспримерного взаимоистребления человечество возопиет о вечном мире и пацифизм станет лозунгом века; но скептик, иногда пробуждающийся во мне, недоверчиво качает головой.

Написал для московского журнала «Национальные проблемы» заметку о еврейском вопросе в перспективах войны. Обесцветил ради цензуры, да и то сомневаюсь, пропустят ли. (P. S. Было напечатано.)

7 июня. Ряд дней в попытках излить «великий гнев» в пределах российской цензуры. После «Национальных проблем» написал заметку для

«Еврейской недели» в Москве*, опасаясь за ее участь в цензуре. Некоторое удовлетворение дала мне только новая редакция «петиции» или декларации, составленная, может быть, слишком ярко для официального акта, но в яркости ведь весь смысл этого народного вопля... Ликвидирую дела, готовясь ехать; но в Финляндии новые строгости: требуется разрешение на въезд. Негде преклонить голову.

9 июня. ...Закрыли «Рассвет» здесь, «Национальные проблемы» в Москве. Не прихlopнут ли скоро и «Еврейскую неделю»? Тогда останемся в полном египетском мраке**.

10 июня. В вихре событий незаметно прошла смерть старого приятеля Л. О. Кантора в Риге. В 1881 г. он, как редактор «Русского еврея», был моим литературным воспитанником... а теперь конец в Риге, куда хлынули толпы изгнанников (из Курляндии). 1881 и 1915 гг. — два полюса горя, а между ними целая жизнь.

14 июня. Два дня я в Вырице, на даче у детей, с Алею, который встретил меня трогательной жалобой: «Дедушки не было», а провожал протестом: «Аля не хочет прощай»... Надо заседать в редакционной комиссии для окончательного установления текста декларации на основе моего проекта. В вечер пред отъездом на дачу дебатировался до полуночи этот проект... Завтра вечером предстоят еще бесконечные прения.

16 июня. Вчера до двух часов ночи (до рассвета) в заседании редакционной комиссии. Редактировали мой проект петиции или просто «представления». После горячих споров выпустили «опасные места» или смягчили их, но много еще «ереси» осталось в содержании и тоне. Сомневаюсь, чтобы общины подписали. Что будет с делом после моего отъезда, неизвестно***.

Глава 56

Из дневника третьего полугодия войны (июль—декабрь 1915)

Летние думы в Финляндии, на берегу Саймы: Вильманстранд, Нейшлот, Пунка-Харью. — Открытие Государственной Думы и еврейский протест. — Перемена в литературном плане: писание последних глав истории евреев в России (1881—1911) для американского издания; «история тридцатилетней войны». Душевные волнения историка-современника. — Тревоги дня. Как была отменена черта оседлости Николаем II после отмены ее Вильгельмом. Статья «Уступки». — Рост оппозиционного движения. Прогрессивный блок. — Реорганизация наше-

* Она выходила вместо петербургского «Нового Восхода», запрещенного правительством.

** «Рассвет» потом выходил под именем «Еврейская жизнь».

*** Записка на имя председателя Совета министров Горемыкина была, в смягченной редакции, разослана нашим политическим бюро представителям еврейских общин Петербурга, Москвы, Киева, Одессы с предложением подписать ее, но не все осмелились это сделать и записка не была подана. Я позже напечатал свой первоначальный проект (в «Еврейской старине», т. 9, 1918 г., с. 227—230). Заключительная фраза, особенно пугавшая многих членов комиссии, гласила в моем проекте так: «Еврейский народ должен ныне же знать: за что проливает он в этой войне кровь своих сынов, за что гибнет цвет его молодежи, за что вдвоят его жены и сиротеют дети, — за то ли, чтобы после всех этих великих жертв остаться рабом и мучеником на русской земле, или чтобы зажить на ней свободным, полноправным гражданином? Определенным, ясно выраженным актом верховная власть может дать ответ на этот вопрос, терзающий души миллионов. Этого акта ждет до глубины души потрясенный народ, ждут войны на полях битвы для осмысленного продолжения своего подвига, ждут шесть миллионов людей, принадлежащих к древнейшей культурной нации и не могущих дольше мириться с клеймом гражданского рабства».

го политического бюро. — Запрещение еврейских слов в тексте «Старины». — Доклад «Борьба индивидуального и национального начала в истории иудаизма». — Статья «De profundis». — Новый эпизод из истории моего права жительства: отказ министерства, запрос в бюджетной комиссии Государственной Думы и отступление министерских чинов.

Не могу забыть о грустном очаровании тех летних дней, когда я, вырвавшись из петербургского ада, отдыхал в Финляндии. На этот раз я с женою жили в новых местах, далеко от запретной приморской полосы, в городке Нейшлот (Нислот) на озере Сайма. Успокаивали душу полное уединение после бурных столичных заседаний, тишина немой страны, где и война почти не чувствовалась (финские войска не утроблялись для службы на фронте). Вот короткие отрывки из дневника.

19 июня, Вильманstrand. Вчера утром выехал с И[дой] из П-га и в 4 часа дня приехали сюда. Сидишь в тихом отеле, с сонным садиком и бессонными птичками в нем, бродишь по сонному городу на берегу Саймы... Все манит к покою и миру, и даже гарнизонные солдаты, часто падающие, мало напоминают о войне...

23 июня, Нислот (Савонлинна). Четвертый день мы здесь. После ночи на пароходе и дивного утра на озере Сайма, мы остановились в двух комнатах дома местного адвоката, в тихом уголке... Сажу в креслах-качелях на дворе, под тенью деревьев, или брожу по городку, обычно тихому, но теперь оживленному шумом курортной публики.

1 июля. Счастливым, тихим край, не давшим ни одного солдата для мировой резни и могущим верить в реставрацию своей свободы. А мой народ истекает кровью, поработанный вчера, истребляемый сегодня, угрожаемый завтра.

4 июля. Вчера поездка в Пунка-Харью. Четыре часа туда и обратно на пароходе... Дивное видение хребта (Пунка-Харью значит «свиной хребет»), растянувшегося на высоте между рядами гигантских сосен, сбегаящими по обеим сторонам к сверкающим внизу озерам. На аллее хребта случайная встреча с петербургским адвокатом Гордоном (Исидор)⁵⁷⁰, первым человеком, с которым можно было вести членораздельную речь...

С утра почтальон приносит петербургскую газету «Речь» и, как в городе, к утреннему чаю уже отравляешься чтением. Хорош только час до 8 1/2 утра, момента получения газеты. Сидишь на дворе в кресле-качели и грезишь, любуясь лучезарным утром.

6 июля. Знойный день. Дочитал «Детство» Горького. Удивительная книга. Невольно сравниваешь этот мирок русского мещанства с еврейским местечком...

7 июля. Заглянул в календарь: сегодня Тише-беав. Иначе думалось провести этот траурный день в наш страшный траурный год: хотелось сидеть в синагоге Мстиславля, на полу, и плакать с родными. А теперь заброшен на чужбину, среди спокойных.

Порою летний сон прерывается, и сегодня утром я волновался мыслью о петициях еврейских абитуриентов, не попавших в высшие учебные заведения и поэтому имеющих попасть тотчас в ряды армии. Лишенные гражданских прав должны умирать на войне в то время, как их товарищи-христиане спокойно учатся в университете, пользуясь отсрочкой...

8 июля. Si je n'étais 'captif j'aimerais ce pays⁵⁷¹... Хороша эта патриархальная тишь, которую даже курортные гости не успели испортить. Хорошо тихо шагать по тенистой березовой аллее против нашей калитки, сидеть на пристани в вечерний час или в садике против старого замка Олафсборг...

13 июля. Все еврейские газеты и журналы в Варшаве, Вильне и Одессе закрыты на время военного положения... Министр просвещения Игнатъев⁵⁷² велит принимать в пределах процентной нормы в высшие учебные заведения тех еврейских юношей, которые либо сами участвовали в войне, либо принесли в жертву этому Молоху своих отцов или братьев... Такова полоса «примирения»...

14 июля. Кошмар войны все страшнее. Пожар все ближе к Варшаве, Ковне, Риге. ...Луч света ожидается от Думы, собирающейся 19-го. Оппозиция, видно, готовится к разоблачениям...

Все больше думаю о книге печали и гнева: об истории эпохи с 1881 г., ближайшей работе.

17 июля. Вчера в древнем замке Олафсборг, остатке шведского средневековья. Деревья и кусты поросли в развалинах бывших палат. Только лики библейских царей, пророков и апостолов смотрят со стен, напоминая об искорененном в стране католичестве или насажденном лютеранстве.

19 июля. Сегодня открывается Гос. Дума. В ответ на декларацию правительства будут говорить не только лидеры фракций, но и представители национальных групп. Хватит ли мужества у еврейских депутатов высказать ужасную правду о положении своего народа? — Сегодня годовщина страшной мировой войны. Год назад, в Нодендале, думалось ли, что через год не видно будет конца резне народов?..

21 июля. Долгожданное открытие Думы. Речи с критикой, вот уже год вышедшей из употребления. Признаны ошибки, даже преступления власти, раздался голос об ответственном министерстве. Затронуто бездонное еврейское горе (в речах Милюкова и Чхеидзе⁵⁷³), но еврейский депутат говорить не будет, ибо все национальные группы поручили прочесть от своего имени общую декларацию мусульманскому депутату. Это меня сегодня волнует. Разве может молчать евр. депутат и разве можно сравнить «издевательство над еврейским народом» (выражение Милюкова) с неприятностями прочих наций?..

22 июля. Вопреки ожиданию, еврейский депутат в Думе (Фридман) говорил и выдвинул страшные факты. Однако резолюция о равноправии национальностей Думой отвергнута.

Последний день в Нейшлоте. Завтра утром едем на пароходе в Выборг, а затем в Петербург. Прощай, мирный уголок, давший временный приют взломанной душе!

Возвращаясь в Петербург, я на вокзале в Выборге раскрыл купленную газету и узнал о взятии Варшавы немцами. В Питере застал беженцев из Польши и Прибалтики, между прочим, сиониста И. Гринбаума, который рассказал мне о еврейских настроениях в Польше. Повидался с депутатом Фридманом, недавно огласившим еврейские жалобы с думской трибуны, и убедился, что «плохой он борец»: сам он не верит в успех борьбы за право. Я же считаю эту борьбу необходимою именно теперь, когда в русском обществе усилилось оппозиционное настроение и возникла возможность информировать о нашем положении влиятельные еврейские круги за границей. Предвидя усиленную деятельность в нашем политическом совещании, я решил изменить план своих литературных работ: прервать переработку древней истории, ввиду невозможности скоро печатать первые томы моего большого труда, и взяться за окончание «Новейшей истории», прерванной на 1881 г. Это было необходимо еще ввиду того, что Еврейское издательское общество в Америке, получив от меня для вышеупомянутой монографии весь материал до 1881 г., требовало последних глав для немедленного печатания книги в английском переводе д-ра Фридендера. От последнего, профессора Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке, я получал такие

напоминания в письмах. Кроме того, у меня была личная потребность именно теперь писать о «тридцатилетней войне с евреями в России», как я характеризовал эпоху 1881—1911 гг., рассказать о событиях лично пережитых. Эта близкая моей душе работа в связи с политическими волнениями дня определила все мое настроение во второй половине 1915 г. С начала августа я уже сидел у письменного стола, погруженный в чтение материала, и записывал.

1 августа. Сажу в тишине кабинета (нередко, впрочем, нарушаемой шумом посетителей, приезжих) и составляю по периодической печати хронологию эпохи с 1881 г. С волнением пересматриваю старые номера «Рассвета»... Моя юность соткана с началом этой эпохи, а вся моя жизнь с продолжением ее, и без волнующих личных воспоминаний не обойдется в этой работе. Пусть эти святые волнения хоть на время заглушают тревогу нынешнего дня!

4 августа. Наконец в Думе раздался голос о евреях: запрос социал-демократов и трудовиков о глумлениях над еврейскими выселенцами, жертвами военно-гражданской ярости. Сотую долю ужаса еврейской действительности изобразили депутаты Чхеидзе и Дзюбинский⁷⁴. Другие ораторы вскрывали язвы российской жизни... Поможет ли?

Сажу над обзорами деяний 80-х годов. Сердце щемит, когда вспомнаешь теперь, под гром пушек, о том тихом омуте реакции, давившем душу...

7 августа. Dies irae⁷⁵. Поражения непрерывны. Ковна взята, что повлечет сдачу Вильны; Белосток накануне сдачи... Все рушится со страшной быстротой. В Гос. Думе странно уже звучит лозунг «Организация победы», когда до изготовления снарядов немец пол-России успеет забрать. Все чаще, хотя и робко, в частных разговорах мелькает «сепаратный мир». Но что станет тогда с Западом? Неужели торжество германского милитаризма и шесть «реваншей» вместо одного?.. А еврейство растирается в порошок между этими мировыми жерновами... К небу вопиют ужасы, творимые над беженцами. Вчера посетил приют беженцев из Малкина (польского городка) в богадельне здесь, на Вас. острове, рядом с нашим архивом Исторического общества. Измученные мужчины и женщины рассказывали о неизвестном чудовищном факте в близлежащем посаде Заремба-Косцельна. Населению посада было приказано уйти в определенный срок, а когда к сроку несчастные не выбрались, казаки оцепили местечко и подожгли его со всех сторон. Поляков выпустили, а многие евреи, замкнутые в этом костре, погибли.

Теперь нас сверху манят перспективную отмены черты оседлости. По неволе, может быть, снимут кордон черты, половина которой станет германскую, но для народа, физически и нравственно истерзанного, что значит этот запоздалый «дар»?

8 августа. «Дар» поднесен. Вчера в заседании Слюозберг докладывал нам о вчерашней беседе еврейской депутации с министром внутренних дел Щербатовым⁷⁶, который сообщил, что на днях последует высочайшее утверждение решения Совета министров об отмене черты оседлости на время войны или «впредь до распоряжения»; можно будет селиться везде, кроме столиц и казачьих областей... В заседании мы до ночи препирались о том, следует ли сейчас внести в Думу законопроект только о полной отмене черты или о равноправии вообще (в связи с формулой национальных групп о «равенстве национальностей»). Мнения разделились, я присоединился к последнему, но до голосования не дошло. В час ночи я сообщил собранию о костре в Зарембе; решено расследовать дело.

11 августа. Моя душа мечется между двумя бурями: 1904—1905 и 1914—1915. Пересматриваю анналы тех лет, и раскрываются старые раны...

14 августа. Кругом настроение катастрофы. В городе недостаток припасов, граничащий с голодом, бешеная дороговизна, недостаток рабочих рук... Я по целым дням зарываюсь в события 1906—1911 гг., стою между черной реакцией, ныне как будто издыхающей, и красной смертью нынешней войны. Задыхаешься в этом «вредном пространстве».

15 августа. В кулуарах Думы говорили, что черту оседлости отменил Вильгельм⁵⁷⁷, а в наших «сферах» предположенный акт застрял в гортани проглотить, ни выплюнуть... Развал полный. Оппозиция все повышает тон, требует «общественного министерства», а отклика нет. А Ганнибал у ворот...⁵⁷⁸

16 августа. Все «начало эмансипации» окончилось жалким министерским циркуляром: ввиду военного времени и впредь до пересмотра законодательства о евреях, допустить их в города вне черты, кроме столиц, царских резиденций и казачьих областей. «Восход» («Еврейская неделя») просит меня написать об этой «милости», да боюсь, что выйдет нецензурно.

18 августа. Написал для «Е. н.» заметку об «уступке» правительства по части черты оседлости, втиснув кое-как нецензурную мысль в легальную оболочку*.

24 августа. Растет внутреннее освободительное движение. Московская городская Дума и вслед за ней другие выносят и посылают царю резолюции о необходимости образования правительства, пользующегося доверием страны... Назревает огромный конфликт. Образуется прогрессивный блок фракций Гос. Думы и Гос. Совета с программой обновления правительства и примирения национальностей, а черные агитируют за разгон «мятежной» Думы. Прогресс в общественном сознании большой: в 1904 г. радовались заявлению Святополка-Мирского о доверии правительства к обществу, а теперь требуют правительства, которое бы пользовалось доверием общества. Но реакционная бюрократия неподвижна: она ведет страну к катастрофе.

10 сентября. 55-я годовщина жизни застала меня среди работы над историей эпохи, пережитой мною в молодые годы. С жаром, почти непрерывно, писал трагедию 1881—1882 гг., пока вчера пришлось невольно прервать: силы надорвались.

Вчера был у меня давно освобожденный заложник из Царства Польского, промучившийся в Полтаве полгода. Рассказывал ужасы о казнях в Польше осенью 1914 г.

20 сентября. Повторяется старый внутренний конфликт между писателем и политиком. Согласно решению, мною же проведенному через пленум, предстоит выбор президиума (экскутивы) из трех лиц... В беседе с Винавером я предложил ему войти в президиум как председателю и назвал беспартийного Г-на⁵⁷⁹ как его заместителя, но он поставил сегодня

* Просматриваю теперь эту статью («Уступки», в «Еврейской неделе», 1915, № 14) и удивляюсь, как она могла пройти целиком под свирепую военную цензуру того времени: не иначе, как начальство растерялось ввиду военных поражений. Для примера приведу только заключительные строки статьи: «Среди глубокого траура нашего народа, на могилах тысяч наших братьев, жертв не только вражеского меча, но и внутренней чудовищной расправы, на пепелищах наших городов, в наших измученных сердцах нет места радости по случаю брошенной нам подачки. Молча примет народ скупой дар оттуда, откуда привык всегда получать удары, и по-прежнему будет требовать возвращения отнятых у него человеческих прав».

условием своего согласия, чтобы я вошел в президиум в качестве заместителя. Я отказался, изложив мотивы, но вижу, что дело рухнет при моем упорстве. Вот и повторилось со мною обычное: я провожу проект реформы, имея в виду привлечь исполнителей, а меня самого тащат в исполнители. Изволь заниматься такими делами и писать историю!..

Был Ан-ский в военной форме, после объезда Галиции и Волыни. Насмотрелся ужасов немало... Ан-ский заразился романтизмом Жаботинского⁵⁸⁰: рвется в Англию для пропаганды идеи англо-еврейских легионов, призванных освободить Палестину...

28 сентября. В ответ на московские (либеральные) резолюции царь назначил министром внутр. дел Хвостова⁵⁸¹, лидера крайних правых в Гос. Думе. Пощечина внушительная... О влиянии Распутина на царя говорят все.

В своем писании я стою на 1890 годе, кануне «фурор юдофибикус» конца царствования Александра III. Пишу сжато и спешно, ибо нужно посылать частями в Америку для английского перевода.

1 октября. Распутываю клубок событий «страшных лет», 1890—1891. Перерыл десятки газетных фолиантов, книг и брошюр; пришлось обратиться к моему дневнику того времени... Мне удалось распутать клубок, и в стройном конспекте лежат теперь передо мною ряды событий, тогда пережитых, теперь исторически оцененных.

10 октября. Сейчас кончил царствование Александра III. Просмотрю, отправлю в Америку и сделаю перерыв для редактирования III—IV книжки «Старины». Пугают только предстоящие помехи. После долгого сопротивления я уступил: согласился войти в переизбранное бюро... Еще один вечер еженедельно, а то и часть ночи, будут похищены от прямой задачи жизни.

Кошмар войны все более душит. Чудовище распространяет свое глетворное дыхание на Петербург: улицы и трамваи переполнены; дороговизна, отсутствие многих припасов напоминают осажденный город...

23 октября. Совершенно завертелся в вихре спешных работ, заседаний, кошмарных впечатлений. На прошлой неделе отправил в Америку часть манускрипта, из которого старался вытравить нецензурное, но все еще неспокоен за участь пакета в чистилище военной цензуры. Теперь редактирую книжку «Старины» и снова переделываю первые главы той же работы (1881 г.) для помещения в этой книжке; выбрасываются «трефные» места, но расширяется научный аппарат примечаний.

А после трудового дня сидишь нередко вечером в бюро и слушаешь доклады о злобах дня. В губерниях близкого тыла армии, особенно Минской, происходят сплошные погромы. Казаки повсюду творят ужасы: кроме убийств и грабежей, изнасилование женщин стало обычным: где-то обесчестили чуть ли не всех еврейских женщин местечка. Сам читал прошение на имя царя от двух братьев, больной отец которых был застрелен казачьим офицером в Сморгони за то, что по болезни не успел бежать при эвакуации местечка... И странно: посреди этой пляски смерти мы еще способны заседать и в комитете Исторического общества, беседовать об исторических сюжетах, о литературных предприяттиях (совещание у М. Горького по поводу еврейского национального сборника⁵⁸²), а я редактирую «Старину».

31 октября. Сейчас прочел один из сотен страшных документов нашего времени, не подлежащих оглашению в силу военной цензуры... В селе Лемешевичи близ Пинска, в последний Йом-киппур и следующие дни, были ограблены казаками все евреи и изнасилованы все еврейки... Много

начитался таких актов, но сейчас не мог удержаться от рыданий. «Вспомни, Боже, что делается с нами! Посмотри на позор наш!»

Сейчас иду на заседание бюро. Что можем мы делать? Кричать не дают, но надо протестовать хотя бы в официальной бумаге.

1 ноября. «Sol dos schoin a'sof nemen!» — этот окрик рабби Леви-Ицхока⁵⁸³ на Бога, который мучит свой избранный народ, вызвал у меня слезы на днях, когда певец пропел «кадиш» этого цадика на вечере Общества еврейской народной музыки. Хватала за душу эта «песня, подобная стону», и я отметил эту особенность нашей народной песни в своем слове на банкете в честь лектора Энгеля⁵⁸⁴ (композитора)...

Вторники в политическом бюро с депутатами. Мильон терзаний. Пишем записки и к военному министру, и к главнокомандующим... На прошлой неделе прихлопнули народившуюся в Петербурге еврейскую прессу на основании летнего циркуляра о запрещении газет на еврейском языке.

21 ноября. ...Получил на днях письмо от Ахад-Гаама из Лондона после полугодового молчания. В «центре мировой совести» он убедился, что эта совесть — призрак. Моя статья «Из истории восьмидесяти годов» в печатающейся книжке «Старины» опустошена цензором; оставил зияющие пробелы.

27 ноября. Уже заканчиваю печатание «Евр. старины», а мне звонят по телефону из типографии, что инспектор типографий приостановил печатание. Объясняюсь по телефону с инспектором — оказывается, что он или Управление по делам печати запросили начальника военной цензуры, можно ли печатать «Евр. старину» после запрещения периодических изданий на еврейском языке, ибо в ней среди русского текста попадаетея и еврейский...

30 ноября. Помиловали книжку «Старины», казнив в ней два десятка еврейских слов. Третьего дня меня (как редактора) и издателя Гольдштейна (археолога) пригласили в канцелярию старшего инспектора и объявили нам «волю» главного военного цензора Струкова: пропустить книжку, если в ней будут исключены все еврейские слова. В одном уже отпечатанном листе оказалось в разных местах по два-три еврейских слова; решено штампом замазать эти слова. От нас взяли подписку впредь до распоряжения ничего не печатать в журнале на древнееврейском языке и жаргоне... Так в нашем историческом журнале будет историческое клеймо: замазанные еврейские слова и пустые места, — клеймо позора для режима, воевавшего с языком Библии и еврейской массы. А пока приходится молчать.

В тот же день мы открыли наши Курсы еврейских знаний («востоковедения») для студентов, заседали в комитете Исторического общества и судили об открытии музея из коллекций Ан-ского. А сейчас я кончил конспект доклада, который прочту в собрании Исторического общества: «Борьба индивидуального и национального начала в истории иудаизма»...

7 декабря. Третьего дня прочел свой доклад в Обществе. Присутствие полиции заставило меня скомкать вступление о контрасте сюжета с переживаниями дня, но сам доклад прошел с подъемом. Начавшиеся прения были прерваны вследствие полицейской необходимости закрыть собрание в 11 часов.

Заботы о «Старине» не кончились: приходится перепечатать лист с цензурными пробелами (вместо штамповки).

Сегодня отправил вторую часть манускрипта «Истории» (1883—1894) в Америку. Дойдет ли? Первая дошла. А третью нужно писать...

11 декабря. Сейчас дописал статью «De profundis» для «Еврейской недели»*. Как ни обесцвечивал текст под маскою «исторических размышлений», все же боюсь, что цензура статью не пропустит, а если проскочит, то пострадает издание.

Не обошлось без трагедии с моим правом жительства в нынешний декабрь. На сей раз я передал обычное прошение в Министерство внутренних дел через Айзенберга (моего адвоката) и спокойно ждал его ответа. Сейчас спрашиваю его по телефону — оказывается, он сам изумлен: новый директор Департамента общих дел Шадурский дал отрицательный отзыв, а товарищ министра Волконский⁸⁵ подписал отказ мне в дальнейшем жительстве в Петербурге. Айзенберг уверяет, что через пару дней ему удастся добиться разрешения, но я чую недоброе... Правое министерство Хвостова все более развертывает свою деятельность...

16 декабря. Сегодня, в один из жестоких морозных дней, ездил по городу по делам жительства. Был утром у Айз-га и узнал о мерзостях хвостовского курса. На указание вице-директора, что я пользуюсь таким разрешением уже десять лет, директор Шадурский ответил: «А на 11-й год мы его выселим!» На указание, что такое решение вызовет протесты сильных людей, знающих меня, директор ответил: «Если министр прикажет, я отменю». Айзенберг говорит, что даже в черном министерстве некоторые недовольны этой резолюцией, и уверен, что ему удастся добиться ее отмены. Сейчас сообщил мне по телефону Фрумкин (Яков Григ., адвокат), что в Гос. Думе идут прения в бюджетной комиссии по смете Министерства внутренних дел с участием Хвостова и его товарищей и что один депутат (Керенский) намерен иллюстрировать политику министерства также случаем со мной, о котором пошли слухи. Я разрешил это сделать для пользы общей, хотя для меня могут отсюда выйти и затруднения. Подождем завтрашнего отчета о заседании комиссии.

20 декабря. В печати отчеты о заседании бюджетной комиссии появились с громадными цензурными пробелами, так как там были сплошные нападки на общую политику Хвостова. Депутат Керенский в своей речи (целиком не пропущена цензурой) упомянул о том, как министерство Хвостова поступило со мной, отказав в возобновлении права жительства, которое давалось раньше при трех реакционнейших министрах. Присутствовавший в заседании тов. министра Волконский, сам подписавший отказ и забывший об этом, смутился, пошептался с вице-директором и затем потребовал дело для пересмотра. Теперь он хочет отменить необдуманный отказ, переговорив сначала с Хвостовым. Обо всем этом рассказал мне третьего дня Айзенберг во время заседания нашего пленума.

22 декабря. Дни и вечера сплошных посетителей — местных, приезжих, беженцев. Видишь странный блуждающий взгляд потрясенного беженца, слышишь за ним стоны тысяч... Цензура порядком опустошила мою «De profundis». Роятся в голове еще главы «Inter arma», да вянут мысли от цензурного мороза. Конца не видно. Царь вчера опять повторил

* В этой статье («Евр. неделя», 1915, № 31—32) слышался сдавленный крик человека, который в то время перечитывал сотни документов об антиеврейских военных погромах. Они поступали в наше политическое бюро от ЕКОПо (Еврейского комитета помощи жертвам войны) и других организаций, имевших своих агентов во всей прифронтовой полосе, и копии их передавались мне. Во второй половине статьи я откликнулся на последнее письмо ко мне Ахад-Гаама, где он писал, что сидя в Лондоне, центре «европейской совести», он потерял веру в эту совесть. Я ему возражал, что без веры в пробуждение мировой совести после бесовнейшей резни человечество потеряло бы смысл жизни и что международная фаза еврейского вопроса после войны неизбежна, — что отчасти и оправдалось.

свой афоризм о невозможности заключить мир, «пока хоть один неприятельский воин будет на русской земле»...

24 декабря. От бездны потянуло к вершинам жизни. Боже, какое там опустошение!.. Недостроенным стоит главное здание, большой исторический труд, а за ним осиротевшие, заброшенные дети духа... На ближайшей очереди американская работа: там ждут, телеграфируют. Надо дописать главу о 1895—1905 гг., хотя бы в виде обзора.

30 декабря. Пишу о 1895—1902 гг. Сейчас, во время моциона, случайно узнал об аресте Брамсона (А. М., члена нашего политического бюро) вместе с Мякотиным и Водовозовым⁵⁸⁶ по странному обвинению в принадлежности к с.-р. (партии социалистов-революционеров; арестованные принадлежали к партии трудовиков или народных социалистов). В последнее время часто встречал этого видного общественного деятеля, а на днях лишь получил от него письмо по поводу моего отказа фигурировать в списке сотрудников будущего журнала «Новый путь» как слишком одностороннего.

31 декабря (11 час. вечера). Последний вечер самого кровавого в истории года, когда Молоху войны принесено 10—15 миллионов жертв. Будет ли он последним годом войны?..

Глава 57

Четвертое полугодие войны (январь—июль 1916)

Продолжение истории современности. Чтение о том же на Курсах. Сущность историзма. — Секретный циркуляр Департамента полиции о кознях евреев. Волнения в наших совещаниях. Прогрессивный блок в Думе и наша тактика. — Борьба гебраистов и идишистов на съезде Общества просвещения; средняя позиция комитета ОПЕ. — Совещание с лидерами кадетской фракции; печальный финал еврейского запроса в Думе. — «История еврейского солдата» в котлах цензуры. — Спор с марксистами. — Юбилей Бялика. — Смерть Шалом-Алейхема. Предсмертные стихи Фруга. — Арест моего манускрипта на пути в Америку. — Еврейский политехникум. — Аньяла и север Финляндии.

Перебираю в памяти свои «дни и труды» в первое полугодие 1916 г., то есть в четвертое полугодие войны. Дни проходили между историей и современностью, в волнующих совещаниях об отражении нападений на «внутреннем фронте», антиеврейском. Особенно опасным казался нам секретный циркуляр Департамента полиции, обвинявший евреев в истреблении запасов продовольствия для усиления догровизны и подготовки революции, — глупое и подлое изобретение с целью отклонить народный гнев от правительства в сторону евреев. В порядке моих трудов в это полугодие произошел перелом. До весны я продолжал работать над главами самоновейшей истории, конца XIX и начала XX в., предназначенными для американской монографии. Затем, «внимая ужасам войны», написал взволнованным стилем ритмической прозы очерк «История еврейского солдата»⁵⁸⁷, предсмертную исповедь солдата мировой войны, который до того был мучеником тридцатилетней войны с евреями в России. Цензура прекратила печатание этого очерка на первых главах, и его спасла только через год февральская революция. По окончании этих работ я вернулся к прерванному пересмотру древней истории и перенесся в эпоху Хасмонеев. Летом я из политически раскаленного Петербурга удалился в прохладу лесов и озер Финляндии, где объехал значительную часть страны до северного города Куопио. Мои дневники могут дать мозаичную картину этого полугодия.

2 января (утро). Сейчас дописал § 9 (до 1902 г. в истории современности). Предстоит еще писать о национальном движении этого периода, quomodo pars magna fui...⁵⁸⁸ Вечером читаю на Курсах (востоковедения) о 80-х годах.

Новый год и старый кошмар. Нет охоты оглядываться на пространстве Содома, чтобы не превратиться подобно Лотовой жене в соляной столб.

7 января. ...Вчера написал статейку «Ди Вельтфраге» для выпусков «Идише Ворт», выходящих вместо запрещенного «Тог»*. Пришлось умудриться писать так, чтобы было ясно для читателя и неясно для цензора, — задача нелегкая...

10 января (вечер). Медленно втягиваюсь в писание § 10: «Национальное пробуждение» (1897—1903). По ассоциации потянуло к дневникам тех лет, будто для справки о впечатлении сионистских конгрессов. Опять развернулся свиток жизни той бурной поры, когда среди шума конгрессов и кружков писались «Письма о старом и новом еврействе».

А вчера после лекции мои слушатели, студенческая молодежь, попросили меня выделить вечер для беседы о моей доктрине автономизма. Я обещал сделать это в связи с предстоящими лекциями о конце XIX в.

16 января (полночь). В «Еврейской жизни» появилась заметка, что мне отказали в праве жительствова, — запоздалый отклик декабрьского инцидента. Повсюду в обществе вопросы или вопросительные взгляды. На деле тов. министра Волконский до сих пор еще не доложил министру Хвостову об этом «важном государственном вопросе».

Из Америки телеграфируют, что вторая часть моей рукописи еще не дошла до них. Очевидно, задержала военная цензура. Что делать, как быть дальше?

Сегодня вечером читал на Курсах обычную лекцию, приближаясь все больше к современности. Я сказал слушателям: «Сущность историзма в том, чтобы прошлое воспринимать с живостью текущего момента, а современность мыслить исторически». Поняли ли они?

Дописал параграф «Национальное пробуждение».

20 января. Сегодня уволен Горемыкин, назначен премьером реакционер Штюрмер⁵⁸⁹, бывший сподвижник Плеве. Все останется по-прежнему. О созыве Думы ни слова. А Хвостовы хозяйничают вовсю: облавы «на спекулянтов и евреев» на биржах в Москве, Петербурге и др., чтобы создать ассоциацию: евреи виновники дороговизны... Военные власти свирепствуют. На волынском фронте вешают десятки евреев по обвинению в сочувствии немцам. Очевидно, там идут поражения и хотят свалить вину на евреев. На северном фронте отдан приказ об удалении евреев из учреждений городского и земского союзов. И много еще таких расправ, обсуждаемых нами с депутатами по вторникам (в заседаниях политического бюро): решаем поднимать протесты, представлять записки, но что поделаешь против вооруженных погромщиков, которым отдана вся власть?..

Начинаю писать о годах Кишинева и японской войны...

21 января (утро). Сейчас принесли мне извещение от Министерства внутренних дел, что мне разрешено жить в Петербурге «на текущий учебный год», т. е. до лета этого года. Это новая гадость директора департамента Шадуурского, который, как сообщает Айзенберг, опять докладывал это дело товарищу министра Волконскому...

Из Нью-Йорка телеграмма о получении моей рукописи. Ждут последней части, которую теперь пишу.

* Летучие политические брошюрки, издававшиеся нашей «Фолкспартей» (А. Ф. Перельман).

23 января (вечер). Как мучительно тяжела жизнь в Петербурге, обычном аде, превращенном войною в преисподнюю! Уже не думаешь о давно гнетущей дороговизне, недостатке одних припасов и полном отсутствии других, — все здесь отравляет жизнь: скверные сообщения (сейчас не поехал на лекцию, ибо нельзя было добиться ни свободного вагона трамвая, ни извозчика), калечение людей в переполненных трамваях, сокращение освещения по вечерам до темноты.

8 февраля (вечер). Все время жил в двух мирах: 1903—1916 гг. Писал об одном, в котором еще недавно горел, горю в другом. Третьего дня, возвратясь с лекции о 1903 г., застал присланный пакет: копию секретного циркуляра Департамента полиции от 9 января 1916 г., обвиняющего евреев в подготовке революционного движения на почве дороговизны, — косвенное подстрекательство к резне евреев как виновников дороговизны и всех постигающих Россию бед. Экстренное совещание (бюро) вчера утром, бурное заседание пленума вечером; обсуждали, как реагировать на это в речах депутатов в Думе, которая наконец открывается. Еще намечены запрос, протест общественный...

Устал нервно. Третьего дня, на лекции голос оборвался, когда цитировал стихи Бялика «Беир гагарега». Большая, жадно слушающая аудитория.

Сегодня дописал 1906 г. Остается последний параграф.

16 февраля (вечер). Третьего дня дописал последние строки периода 1881—1911 гг. Сейчас пересматриваю переписанные листы для отсылки в Америку. Полгода писал историю наших дней, вновь переживая пережитое; часто искал в своих дневниках отражений былых настроений. Судил сурово, по-тацитовски, но глубоко правдиво, — а теперь как будто осиротел без этой работы...

Стало шумнее и несколько свежее в общественной атмосфере. С 9-го (февраля) заседает Дума. На молебне при открытии был царь, пять месяцев назад распустивший Думу. Мумию реакции (Горемыкина) сменил еще не балзамированный Штюрмер, читавший декларацию правительства. Ораторы прогрессивного блока (центральных партий) и левой оппозиции дружно говорили о невозможности работать с таким правительством. Огромный циркуляр Департамента полиции попал неожиданно в речь социал-демократа Чхеидзе, предупредившего намеченного нами Маклакова. Речь нашего Фридмана напечатана с цензурными сокращениями; конец — о погромном циркуляре — звучит декларацией, но самое страшное, погромы и насилия армии в августе-сентябре 1915-го, «страха ради» почти обойдены молчанием. Вообще это неполный отчет о нашем мартирологе.

Заседания без конца. Решено посылать и от общин заявления на имя депутатов Думы о тревоге и возмущении, вызванных мерзким циркуляром, детищем Хвостова.

23 февраля (утро). Заседания, съезды. Съезд Общества просвещения с пламенными дебатами об «идишизме» и «гебраизме». Последний монополизирован сионистами для партийных целей; среди идишистов — народники вообще и бундисты в частности. Два дня дебатировался один лишь вопрос о языке и программе преподавания в школах для беженцев. Как генерал-реднеры выступили Бялик от гебраистов и Штиф от идишистов. Докладчик комитета д-р Эйгер¹⁹⁰ и я защищали среднюю позицию, которая обстреливалась с обеих сторон. Приняты с небольшими поправками тезисы комитета: идиш — общий язык преподавания, кроме случаев, когда можно преподавать иврит бейврит (древнееврейский язык по натуральному методу); отстаивали преподавание религии, доказав, что религия в

школе не означает «религиозная школа» (против идишистов), а также разговорно-еврейский язык как предмет преподавания (против сионистов). На прочих заседаниях съезда я не присутствовал.

Сидя там, думал о двух вещах: 1) 14—15 лет назад на собраниях ОПЕ стояли друг против друга два лагеря: ассимиляторы и националисты, и я ломал копья за национальное воспитание, а теперь идет уже на общепринятой позиции национальной школы спор о преимуществе того или другого из двух еврейских языков. (Рядом со мною за комитетским столом сидел Вейнштейн, председатель одесского отделения ОПЕ во время былой борьбы, а ныне член Государственного Совета.) 2) В этих страстных выступлениях по культурному вопросу на нынешнем вулкане можно ли видеть проявление духовной мощи народа или, наоборот, — наркоз, самоусыпление потрясенных умов? Склоняюсь более к первому мнению.

Сейчас послал в Америку последнюю часть «Истории» (время Николая II). Долго буду с тревогою ждать ответа.

29 февраля (сумерки). Два тяжелых дня и вечера до поздней ночи в совещании (думских депутатов с членами политического бюро и провинциальными делегатами)... Нескончаемые речи здешних и провинциальных деятелей, большей частью с дилетантским политиканством, об отношении к прогрессивному блоку, о выходе трех депутатов-евреев из партии к.-д. и т. п. Вчера Слиозберг читал доклад вместо заболевшего Винавера, а Грузенберг бешено оппонировал, произнес блестящую, но малосодержательную речь с одной лишь целью — разбить тезисы Винавера. Сионисты и «демократы» подтягивали, моя группа («Фолкспартей») разбилась, а я доказывал нелепость смешения двух программ: нормальной и чрезвычайной, для военного времени, поддержал депутатов в их желании остаться в кадетской фракции до мирного времени, с тем только, чтобы усилить свою боевую тактику, пользуясь в еврейском вопросе автономией. Ушел в пылу спора во втором часу ночи, а сегодня узнал, что лишь к 4-му часу совещание кончилось без ясных резолюций. Остались крайнее утомление и скверный осадок...

Начинаю писать для «Еврейской недели» («Новый Восход») давно задуманную «Историю еврейского солдата» под заглавием «Исповедь одного из многих». Редактор Сев не дает покою, торопит, а я крайне устал.

6 марта, воскресенье (Пуриш, вечер). Сегодня от 12 до 5 час. совещание нашего бюро с депутатами кадетской фракции Думы, их лидерами Милюковым, Родичевым, Аджемовым¹⁹¹, Александровым¹⁹². Все еще обсуждался большой вопрос о внесении запроса по поводу циркуляра 9 января, ввиду выяснившейся опасности выступления правых со ссылками на лживые «документы». Мы, согласно прежнему решению, настаивали на вторичном внесении спешного запроса и развертывании прений, что бы ни случилось. Депутаты к.-д. убеждали нас, что запрос обречен на провал, если правые свяжут его с военным источником, ибо армия теперь святая, которую трогать нельзя. После ухода депутатов мы вновь обсуждали тактику в Думе и решили, что еврейские депутаты внесут запрос с требованием «спешности» и только в случае очевидной опасности провала предоставят прогрессивному блоку провести «срочность», что равносильно похоронам в комиссии. С глубокою болью в душе ушел из заседания: вот мы правы, а нельзя защищаться, момент не позволяет...

Треплет нервы этот ад заседаний, да еще при работе (продолжаю «Историю солдата», начало которой уже сдал в «Евр. неделю»). Вчера начал читать на Курсах об эпохе Хасмонеев.

В городе неспокойно. Фабричные забастовки. Хвостова уволили, назначен Штюрмер (министром внутренних дел).

13 марта (вечер). Перипетии еврейского запроса в Думе и неожиданный финал: после речи директора Департамента полиции, защищавшегося «высокоавторитетным источником» своего циркуляра (подразумевалась ставка главнокомандующего), правое крыло прогрессивного блока грозило провалить запрос, и испугавшиеся еврейские депутаты, отчасти под давлением кадетов, заявили, что снимают его и «удовлетворены объяснениями правительства». Этот печальный исход сильно волнует теперь всех, и мне пришлось вчера объяснить дело даже своим слушателям, посреди лекции о Хасмонеях, так как они говорили, что студенчество волнуется, готовит резолюции и т. п.

23 марта (вечер). Дописал с глубоким волнением «Историю солдата». Начало повилось в «Еврейской неделе» без вступления, 2-я глава появится с цензурными урезками, а следующие главы вовсе не пройдут. Для России пока пропадет эта работа, но она рассчитана на более широкий круг читателей. Как до них дойдет эта «исповедь»?.. В промежутки работал для «Старины», для «жаргонных» сборничков изд. «Тог» (о думской эпопее), заседал, волновался и устал, устал.

5 апреля (первый день Пасхи 5676 г., вечер). Вчера «сейдер» у нас в семейном кругу с несколькими гостями. Читал вместо Гагады главу из «Истории солдата»... На днях в собрании еврейских марксистов шло собеседование о воспитании, куда меня пригласили. По окончании на Курсах субботней лекции о партиях времен Хасмонеев спустился вниз в зал собрания (в здании еврейской богадельни на Васильевском острове). Услышал детский лепет 1905 г.: те же выкрики об отречении от «старья», исторической культуры, кроме говора «идиш»*. Пришлось напомнить им, что нация есть не только совокупность людей, но и совокупность поколений, живущая всей эволюцией своей исторической жизни.

Удивляет меня лихорадка «культуризма», обувавшая еврейское общество. Как грибы вырастают новые литературные, художественные, театральные общества. Кое-куда тащат и меня, я не иду. Что это: игра детей у кратера вулкана? Ведь и военная и, еще более, послевоенная буря может смести все эти постройки. Нужно все внимание направить в одну точку: планомерные действия в момент, когда будут решаться судьбы народов. Я почти одинок в этом понимании перспективы.

Юбилей Бялика. Послал ему теплое письмо, где вспомнил о чтении его первых стихов в нашем одесском кружке 1891 г.; напомнил о необходимости дальнейшего поэтического служения, прерванного им в последние годы.

Вчера на «сейдере» у нас осколок старой Одессы: вторая дочь Ахад-Гаама...

15 апреля (вечер). Исправлял еврейский перевод «Новейшей истории» для [изд-ва] «Мория». Трудная работа: пришлось править перевод старого, опытного габраиста (И. Тривуша⁵⁹³) и созидать новые формы. Еще ряд мелких дел — и наконец подхожу к главному: продолжению редакции I тома (II по новому плану) «Всеобщей истории», от которой оторвался вот уже целый год. Печатать нельзя: нет ни бумаги, ни наборщиков, но готовить свой большой труд нужно к моменту наступления мира... Цензу-

* Помнится, что главным оратором в этом собрании был бундист Рафес⁵⁹⁴, впоследствии перекинувшийся к большевикам.

ра разорила 2-ю главу «Истории одного из многих» (еврейского солдата): выкинула одну треть в «Евр. неделе» — и работа испорчена.

Следующие главы не пойдут и останутся в рукописи до лучших времен...

16 апреля (вечер). Сейчас, читая материалы о древней Александрии, вспомнил, что вчера минуло 35-летие моей литературной деятельности. Конечно, судьба могла бы быть милостивее ко мне и не допустить, чтобы по прошествии 35 лет я стоял перед незаконченным главным трудом жизни... Но все же моя жизнь была полна, даже переполнена духовным содержанием, и такую останется до конца...

6 мая (вечер). За две недели просмотрел весь отдел «Хасмонейской эпохи» и внес множество поправок, с переделкой плана... А теперь опять началась общественная сутолока. Занялся «Стариною»...

Весть о смерти Шалом-Алейхема в Америке. Вспомнилось многое, связанное в прошлом с этим человеком... Вспомнил последнюю нашу встречу здесь в П-ге, перед отъездом в Нодендаль, ровно два года назад. Он мне говорил, что пишет свою автобиографию, где отмечены и наши встречи.

10 мая (день). От Фруга из Одессы получились вчера, вместо ответа на мое письмо, два предсмертных стихотворения на древнееврейском языке*. Кольнул меня в сердце этот «виддуй» поэта, как будто умирающего. Тревожные слухи доходили в последнее время, да он и сам писал мне с месяц назад, что прикован к постели. Жутко это ожидание смерти. Что-то особенно болит душа. Вспоминается наша первая встреча, в 1881 г. в редакции «Рассвета» в Петербурге, и последняя, в конце 1913 г. в Одессе, на ужине с друзьями.

22 мая (утро). Опять полоса заседаний и собраний, вперемежку с спешными корректурами и т. п. На днях общее собрание Общества просвещения с горячими прениями о национальной школе. Бундист требовал светско-демократической школы, которая не была бы «лабораторией национального духа»; сионист жаловался на недостаточную гебраизацию школы. Я ответил обоим: напомнил о борьбе 15 лет назад вокруг одесского ОПЕ; тогда боролись националисты и ассимиляторы, победила идея национальной школы, а теперь с одной стороны отрицают ассимиляцию и требуют анациональной школы, а с другой предьявляют фантастическое требование гебраизации нормальной школы по языку... Закончил призывом думать побольше о иудаизме (еврейской культуре) в школе, чем о гебраизме и идишизме. После этого прения разгорелись и затянулись далеко за полночь. Выборы были благоприятны комитету (я переизбран максимумом голосов)...

В политическом бюро совещания о выступлениях наших депутатов в связи с думскими законопроектами и их обычными «кроме евреев» или «впредь до пересмотра» (законов о евреях). Тоже страстные споры о тактике.

В Красноярске еврейский погром на почве дороговизны (7 мая)... В газетах об этом ни звука...

Разыскал переписку Шалом-Алейхема 1888—1890 гг. Развернулась картина мстиславско-киевских сношений. Опять святое волнение воспоминаний...

26 мая (утро). Весенний разброд в мыслях и делах. День в тихих комнатах, оживляемых на несколько часов проказами Али и его веселой бол-

* Стихи были озаглавлены «На одре болезни» («Алэрес двой»). См. «Воспоминания о С. Г. Фруге», в «Еврейской старине», 1916 г.

товней, а иногда беседую с посетителями. Вечер часто в заседаниях, начинающихся в час белого вечера и кончающихся в час белой ночи. Возвращаешься в 1—2 часа ночи по странно белым, мертвым улицам, торопишься прийти домой и с трудом засыпаешь до 7 часов утра...

31 мая. ...Общее собрание Исторического общества с докладом Кулишера (М. И.) об эмансипации 1791 г., о Клермон-Тоннере и его афоризме: «Ничего для евреев как нации», с явной тенденцией к защите его под маской объективности. Я мягко возражал, а Винавер в своем резюме выдвинул опять двусмысленную идею «политической нации», хотя с оговоркою о национальном равноправии*.

В бюро и пленуме развал полный. Вчера последнее заседание до вакансий. Заявление Слиозберга о выступлении из организации, беседа с Винавером и депутатами Фридманом и Бомашем после заседания: жалуются на партийную разногласицу, склонны упразднить единую политическую организацию. Я им напомнил о долге поддержать хотя бы плохое единение до окончания войны и о задачах предстоящего осенью съезда, согласно принятому в пленуме моему предложению. Действительно, противна и вредна грызня сионистов и «демократов» с «Народной группой», но наша «Национальная группа» здесь держится принципа честной работы, а не интриг...

Опять мое жительство в П-ге продлено на год, до 1 июня 1917 г., что провел Айзенберг без всякого участия с моей стороны. А через неделю придется опять хлопотать — о разрешении летнего пребывания в Финляндии. Везде запреты и рогатки...

11 июня. ...Последняя большая глава моей «американской» «Истории», вся эпоха 1894—1911 гг., погибла в недрах военно-полицейской цензуры. На мои справки в почтамте ответили, что от цензурной комиссии ответа нет (уже больше трех месяцев там лежит этот пакет, адресованный в Америку), а когда я выразил желание лично отправиться в комиссию для объяснений, мне сказали, что адрес комиссии — тайна. С отчаяния написал в Америку, где I том моей «Истории» уже вышел, чтобы печатали II том без этой главы, которую позже можно издать как дополнение. Еще советовал попытаться получить манускрипт через здешнее Американское посольство, но сомневаюсь в успехе.

А моя «История солдата», намеченная М. Горьким для журнала «Летопись» и В. И. Семеvским⁹⁵ для «Голоса минувшего» (оба писали, что вещь производит сильное впечатление), там, конечно, через нынешнюю цензуру не пройдет.

Последние предотъездные заседания, частые и подчас тяжелые. В бюро толковали о выступлении нашего депутата в Гос. Думе по поводу крестьянского законопроекта: речь Фридмана была недурна на этот раз, да и вообще левая оппозиция развернула прения по еврейскому вопросу, но вотум по еврейской поправке получился отрицательный.

В ОПЕ ряд заседаний с уполномоченными (провинциальными) и московскими делегатами. В комиссии ОПЕ по вопросу о Курсах востоковедения — мерзость: Н. Н. переносит прения на личную почву, почему-то озлобленный против меня; ему помогает компания бездарных лекторов, не имеющих вольных слушателей и желающих поэтому обеспечить себя

* Доклад Кулишера был замаскированной полемикой против моего тезиса в «Новейшей истории», что еще первая французская революция совершила ошибку, обусловив эмансипацию евреев отказом их от национальных прав и даже от признания их отдельной нацией.

невольными, слушающими за стипендию. (Они хотят создать закрытое заведение с десятком наемных слушателей, получающих полное содержание.) Меня они боятся как привлекающего большую вольную аудиторию. Вследствие этой тяжелой атмосферы в комиссии я вышел из ее состава. В августе, по возвращении, постараюсь отстоять в комитете дело упречения Курсов.

Винавер недавно предложил мне кафедру еврейской истории в политехникуме для евреев в Екатеринославе (недавно разрешен министром), но я отказался: издание «Истории» и прочее связывает меня с ненавистным Петербургом.

...Все уже истомилось (от войны). Нечего есть, нет обуви, одежды. Стоимость жизни утроилась, когда ценность жизни упала до нуля.

Послезавтра утром еду с И. в Финляндию. Предстоит крестный путь: едем в С. Михель, чтобы «испросить» у губернатора разрешение (Выборгская губерния закрыта для евреев), а потом поедем в Хейнола, где рискуем вследствие наплыва дачников остаться без квартиры.

19 июня (2 июля), Аньяла (Финляндия). ...13 июня я с И. двинулись из П-га на поиски места дачного отдыха. Вечером приехали в С. Михель, очаровательный город-сад, чистенький, сонный, как бы грезящий в лучах солнца. На другой день проза: разрешение губернатора получено легко, но только жительство в Хейнола, курорт, куда в этом году ссылают евреев. Поехали в Хейнола, ночь на пароходе, приехали утром: ни одного свободного номера в гостинице, ни одной комнаты. Все кипит, мечется, ищет: дача черты. Слонялись по городу днем, две ночи в пустой комнате у Брамсонов. Встретились несколько знакомых питерцев, судили, рядили. Случайный знакомый сообщил о пансионе в Аньяла. Мы опять в пути. Сутки в Лахти, типичном финском городке, затем Коуволла, Инкеройнен — и вчера, в 7 час. вечера, нас в коляске доставили со станции ж. д. сюда, в имение Аньяла, на берегу Кюмене, принадлежавшее некогда финляндскому генерал-губернатору. В его доме, ныне превращенном в пансион, мы теперь и живем... Дом стоит у водопада или «водоската» Аньяла, этой Иматры в миниатюре.

20 июня (6 час. вечера). Медовые дни возвращения к природе, упоения ею. Бродишь берегом Кюмене к водопаду, что шумит под нашими окнами, по аллеям парка, по дороге к почтовому ящику. Снова входишь в общение с полем, лесом, рекою, с говором природы и святой ее тишиною. Душа наполняется тою мудростью, которая в шумных умственных центрах слышит наивностью, но которая глубже тамошнего «ума». Нет газет (пока еще не наладились почтовые сношения)... Отрешаешься от мира политического, забываешь иногда про войну...

29 июня. ...Написал статейку по поводу недавно читанного в Историческом обществе доклада Кулишера, ныне напечатанного в «Евр. неделе». Тогда, в собрании, я возражал на его полемику со мною по поводу национального вопроса в эпоху французской революции. Теперь я расширил спор ввиду скрытой ассимиляционной тенденции К. Вчера отослал статейку («Современная критика и исторический критерий») — и облегчил душу.

...Потянуло к воспоминаниям прошлого. Все еще думаю о встречах с Шалом-Алейхемом. На днях газетная статья перенесла меня в Швейцарию 1897 г. Вспомнил Р. Зайчика и его товарища Ферстера. Оба они теперь в Германии: один в Кельне, другой в Мюнхене, профессора университетов,

сочувствуют неокатолицизму. Гуманист Ферстер вызывает к пацифизму, и о нем пишут, что он находился под влиянием «бывшего еврея из России», Зайчика...

30 июня. В поэтические думы ворвался звук полицейской прозы. Затруднения с правом жительства со стороны Ленсмана (уездного начальника), ибо у меня разрешение от с. михельского губернатора, а здесь губерния нюландская, где нужно разрешение от местного губернатора...

3 июля (утро). Творю утреннюю молитву в поле озаренном, среди шепота колосьев, между лесом и рекой. Как будто суббота и я возглашаю в синагоге «Нишмаскол хай теворех...» Душа светлеет.

Спустя час. Вчера и третьего дня писал воспоминания о встречах с Шалом-Алейхемом. Вспоминали некоторые эпизоды: договор на веранде в Боярке (1890), последний наш разговор в «Астории» в П-ге в мае 1914-го... Никогда не думал, что при таком различии наших характеров, я с таким глубоким волнением буду вспоминать о наших встречах. Было в нем что-то человечески простое, что импонирует натуре более сложной, идеологической, ищущей системы во всем...

9 июля (утро). Все более склоняюсь к мысли, что после этой опустошительной войны человеческое сознание начнет проясняться, что народы возненавидят милитаризм, доведенный до абсурда, что возникнет жажда мира и переменится отношение к угнетенным национальностям... Будет движение небывалое, будет строение новой жизни в течение многих лет, и наша еврейская жизнь будет строиться на начале «нация среди наций». Но знаю также, что мне лично не суждено участвовать в том движении, которого мы были предтечами. Жить и работать мне остается, если внезапно не прервется нить жизни, около 15 лет. В эти остающиеся годы нужно ликвидировать труд жизни, достроить здание...

11 июля (утро, в саду). Тень города. Вчера утром неожиданно явился Лурье (мой секретарь по «Еврейской старине»). Оказался пустяк: надо подписать чеки Исторического общества... От почтамта ответ, что рукопись конца «Истории» для Америки задержана цензурой, — подтверждение давних опасений.

13 июля. Записываю воспоминания былых лет наскоро, конспективно. Сейчас записывал воспоминания 1884—1885 гг., сидя на балконе, над шумящим водопадом. Душа рыдала над судьбою двух существ, ныне, спустя 32 года, отдыхающих в глуши Финляндии, на закате жизни, полной тревог и скитаний...

19 июля. Сегодня двухлетие войны... «Мабул» крови, а радуга в кровавых облаках еще не показалась. Еще нет знака мира и спасения человечества...

Прощание со «святыми местами» не то, что в Линке, где в тишине молилась душа от мая до сентября, где каждый уголок был полон воспоминаний...

21 июля (вечер), на пароходе между Нейшлотом и Куопио. Второй день в пути. Вчера днем выехали из Аньяла, к вечеру прибыли в Вильманстранд, пошатались пару часов, закусили в гостинице, а с полуночи устроились с трудом на переполненном пароходе, шедшем в Нейшлот. Сегодня после полудня в Нейшлоте пересели на пароход, отходящий в Куопио. День серый, дождливый, Сайма лишена всех красок.

22 июля (вечер), Куопио. С 8 час. утра здесь. Шатались по магазинам и делали необходимые покупки, ныне невозможные в Петербурге. Завтракали в своей гостинице, обедали в красивом парке над озером, дежурили на вокзале в ожидании газет из П-га.

23 июля (вечер). Второй день суеты, беготни по городу, по магазинам для утоления одежного и обувного голода. Купцы воют: сидят без товара. Война отразилась и в Финляндии; платили за все двойные и тройные цены... Завтра едем отсюда по железной дороге прямо в Петербург. Конец летним скитаниям.

Глава 58

Пятое полугодие войны, до Февральской революции (1916—1917)

Возвращение в Петербург накануне Тише-беав. — Цензурные муки. — Типографские заботы. — Грустное письмо Ахад-Гаама. Как рвется ткань жизни. — Болезнь сына. Поездка в Москву. — Уединение в Петербурге. — Известие о смерти Фруга в Одессе. Пишу воспоминания о нем. Панихида в петербургской синагоге и мое хождение на место нашей былой обители. — Мой уход из политического бюро и других организаций ради возобновления исторической работы. — Опять в эпохе Ирода. Цель и предел жизни. — Доклад о Фруге в Историческом обществе. — Политические терзания и бегство в прошедшее. Смысл войны в растущем сознании ее бессмысленности. Короткий отдых в Финляндии и столичные впечатления. — Отклонение кафедры в политехникуме и посторонних литературных предложений. — Пацифистская нота Вильсона. Ярость Германии. — Спасаясь в древней истории. — Болезнь прерывает работу. — Начало февральских волнений в Петербурге.

Покидая Финляндию в конце июля 1916 г., я не мог предвидеть, что это будет мое последнее лето в стране, где я провел подряд десять летних сезонов, полных или неполных. На этот раз я возвращался с твердым намерением отойти от политической работы к научной. Ряд личных переживаний также не располагал меня к общественной деятельности. Стали уходить из жизни друзья, начала рваться ткань моего поколения. Смерть Шалом-Алейхема и особенно последовавшая в сентябре смерть Фруга перенесли мою мысль в область воспоминаний. В то время, когда я оплакивал обоих в особых статьях (в «Еврейской старине»), я получил от Ахад-Гаама из Лондона письмо с намеками, что и его здоровье пошатнулось и что он готовится писать завещание. Тем временем опасно заболел мой сын-математик в Москве, и я должен был отправиться туда, чтобы выслушать приговор врачей. Все это заставило меня сократить свою общественную деятельность и искать успокоения в исторической работе. Я успел довести до конца переработку дохристианского периода и в начале 1917 г. уже приступил к эпохе палестинского патриархата. На этой работе, прерванной продолжительной болезнью, застала меня февральская революция в Петербурге, которая на время открыла перед нами светлые перспективы среди мрака затянувшейся войны.

26 июля 1916 г. (Тише-беав 5676 г.), Петроград. Вчера утром приехал в приневский Содом. Уже по дороге, по мере приближения к нему, чувствовалось тлетворное дыхание войны. Задержки в пути, давка в вагонах, ночная пересадка и бессонная ночь, таможенный осмотр, отсутствие извозчиков — все предвещало недоброе. А теперь сидим в необустроенной квартире без прислуги, с трудом доставая скудные съестные припасы... День Тише-беав. Так сильно хотелось бы читать кино в родном кругу...

27 июля. По случаю двухлетия войны английский премьер Асквит⁵⁹⁶ повторяет свои речи о высоких освободительных идеалах союзников (Антанты)... Ну, а тот союзник, который за два года войны поступил с

шестимиллионным еврейством хуже, чем турки с армянами, чем германцы с бельгийцами?..

1 августа. Приготавливаю к печати двойную книжку «Старины». Сразу погрузился в заботы редакционные (не хватает статей), типографские (недостаток наборщиков) и бумажные (почти нет бумаги по доступной цене). А тут обрушиваются на меня еще заботы цензурные. Вчера был Перельман и сообщил, что цензор «Старины» Грейс отстранен от должности за то, что пропустил мою статью «Из истории 80-х годов» в последней книжке «Старины», ту самую, где он произвел опустошения... А я сейчас редактирую для будущей книжки следующую главу этой серии, т. е. иду в пасть цензуры...

8 августа. В складах оказался распроданным весь запас моего «Учебника», надо перепечатать, — и вот пошли острые заботы о типографии, о бумаге... Сижу и составляю книгу «Старины». Пара сотрудников не доставила обещанных статей. Дополняю пустоту переводом архиспециальной статьи Шюрера о боспорских евреях из «Сообщений Берлинской Академии наук», бьюсь над переводом греческих надписей и фрагментов, даю дополнения по новейшим источникам...

10 августа (вечер). ...Среди принесенной почты увидел письмо Г-га [Ахад-Гаама] из какого-то курорта в Англии. Серьезно болен и в конце письма намекает на близкую смерть*. Взволнованный, ушел в спальню и хорошо поплакал; вспомнилась вся наша жизнь в Одессе, летние беседы в лесах Речицы и Чонки. Больно стало за друга. Я немедленно взялся за перо и написал ему длинное письмо, убеждая бросить конторскую службу, вернуть себе цельность души и спасти остаток жизни...

Люди, встречи, совместная радость или горе, все переживания в определенном кругу образуют ткань жизни. Сначала ткань становится все гуще: вплетаются все новые и новые нити, близкие, друзья; затем смерть начинает выдергивать из ткани по ниточке, то одного унесет, то другого. Чувствуешь постепенное разрушение ткани, рвутся нити в твоей душе. Умирает твой круг, твоё поколение... «И мнится, очередь за мною» — вот чувство, испытываемое при этом...

19 августа. Румыния примкнула к англо-франко-русской коалиции. Ускорит ли это конец войны, которую теперь проклинают даже ее виновники?..

В темную, мрачную пору захотелось мне солнца, и ряд дней ушел на перемещение кабинета с библиотекой и архивом из прежней большой комнаты на северной стороне в солнечные две комнатки, откуда открыва-

* Привожу соответствующий отрывок из этого письма, которое не напечатано в сборнике писем Ахад-Гаама как слишком интимное. В те годы мы переписывались по-русски, согласно требованиям военной цензуры. Вот его слова: «Ваши грустные мысли по поводу смерти Шалом-Алейхема — мысли, которые меня лично занимают уже несколько лет, со дня смерти Левинского, — дают мне возможность заговорить с Вами на эту тему. Я это давно хотел сделать, но все откладывал, не желая огорчить Вас. Если бы у меня когда-либо промелькнула мысль о „духовном“ завещании (материальное завещание у меня давно хранится, по-английски конечно), то завещания Шалом-Алейхема и того, что из него сделали всякие ораторы и журналисты, было бы достаточно, чтобы отбить всякую охоту сделать что-нибудь в этом смысле. Но Вас лично я прошу вот о чем: в случае моей смерти, старайтесь защищать мою память от всех этих вульгарных «геспедим» (траурных речей), словесных или письменных. Вы знаете, как мне противна всякая вульгарность. Вы бы могли напечатать письмо в еврейских газетах о том, что, как старый близкий друг, Вы достоверно знаете, что „покойный“ был противник всяких шумных проявлений чувств (между нами говоря, в большинстве случаев ведь и чувства-то нет совсем) и наверное протестовал бы против этого по отношению к себе. Ну, будет об этом. „Dixi et animam levavi“¹⁹⁷...»

Мне до сих пор кажется, что эти странные строки были написаны в момент душевной депрессии.

ется вид на Петропавловскую крепость, мечеть и пр... Новый кабинет сильно напоминает мой маленький кабинет в Стурдзовском переулке в Одессе 1901—1903 гг. В этом уютном гнезде духа надо спешить завершить дело жизни...

21 августа (вечер). ...Переписывал вчера и сегодня на машине воспоминания о Шалом-Алейхеме, писанные недавно, в конце июня, на балконе пансиона в Аньяла...

24 августа. Вчера тяжелый день. Тревожная весть из Москвы: осложняется болезнь Яши. Экстренно выехал туда Генрих; может быть, и мне придется ехать...

27 августа, Москва (в меблированных комнатах). Тревожная телеграмма третьего дня сорвала с места меня и Иду. В один час мы собрались. Вечер и ночь терзаний в вагоне железной дороги. Вчерашнее утро в больнице, у постели опасно больного... День в квартире братьев Гейликманов, у которых я некогда гостил проездом через Гомель. Запрет жительства в Москве развлек меня с И. Она осталась там, а я переночевал в грязноватых меблированных комнатах, приготовленных Гейл.

Холодные, дождливые дни. Мечемся трое (с Генр.) по грязному городу, в переполненных трамваях, с горем в душе.

29 августа. К несчастью, все стало ясно. Не тиф, а общий туберкулез — вот роковое заключение профессора. Выслушал смертный приговор и должен был подавить волнение в коридоре (больницы), чтобы больной не заметил, а затем войти в комнату и сделать спокойное лицо у постели обреченного. Возвращались вдвоем с И. осиротелые. Родственное участие семьи, у которой живем, смягчило боль безнадежного страдания. Вспоминали вместе покойников в ряде поколений Дубновых—Гейликманов, былые детские годы...

30 августа. Вчера смертный приговор, сегодня неожиданное помилование. Новый бактериологический анализ обнаружил наконец давно искомую бактерию тифа и опрокинул вчерашний диагноз о губительном миллиарном туберкулезе. Сам ординатор больницы прибежал с этим радостным известием в палату, где мы дежурили. Приговоренный помилован. Есть надежда на выздоровление... Оставляю И. здесь и еду сегодня домой.

1 сентября, Петроград. После тяжелого переезда из Москвы вернулся сегодня утром сюда. Вошел в пустую квартиру, в недавно покинутый храм, и жгучая тоска охватила душу. Внезапно оторванный, вновь приобщаясь к своей духовной стихии, надолго ли?.. Становлюсь опять на служение у алтаря, в моем маленьком храме-кабинете. Здесь в часы досуга будет молиться одинокая душа, видящая близкий конец своего бытия и отдаленность своей заветной цели...

2 сентября. Жизнь кругом жестокая: бешеная дороговизна, голод, призрак надвигающихся худших бедствий... Уйду в очередную работу — корректуры «Старины», накопившиеся на письменном столе.

7 сентября. Сейчас узнал о смерти С. Г. Фруга (Соня передала о получении известия в редакции «Дня»). Еще одна нить выдернута из ткани жизни нашего поколения 80-х годов. Эта смерть сейчас не так сильно потрясла меня, потому что я ждал ее. Медленное умирание поэта мучило меня с того дня, как я в конце 1913 г. видел его в Одессе. Письма из Одессы от минувшей весны были особенно тревожны, а его последние стихи на древнееврейском языке, присланные мне в мае, возвещали близость конца. Не могу на расстоянии 2000 верст отдать последний долг «другу юности унылой», моему литературному сверстнику, близкому

в годы 1881—1884. Но чувствую потребность вспоминать о нем и напомнить о забытом поэте, незаслуженно забытом...

Сегодняшний вечер я должен был провести в одном из двух заседаний: в ОПЕ или у депутата Фридмана, но не поехал ни на одно и остался дома с своими грустными думами...

10 сентября. Опять эта годовщина, 56-я, среди грустных дум о близящемся конце жизни и отдаленности исполнения жизненной задачи, среди крушения европейской культуры и высших ценностей духа...

18 сентября. «Дни воспоминаний», наш «Рош-гашана», провел в писании дум и воспоминаний о Фруге. Сегодня утром в синагоге на панихиде по Фругу. Вышла холодная панихида, с жалкою речью раввина. Стало тяжело, и во время «Эль моле рахамим» я не мог удержаться от слез.

Потом пошел с И. на «кивре овес», к тому двухэтажному дому на площади Троицкой церкви, у Измайловского проспекта, где мы провели с Фругом осень, зиму и весну 1883—1884 гг. Стоит ветхий домик в прежнем виде, но весь занят фабрикой. Еще побродили по двум Подьяческим и обедали у Розы Эмануил, помнящей те годы...

21 сентября. Кончил «Воспоминания о Фруге», просидев таким образом дважды «Шиве», проделав двойной траур. Сегодня был опять в том районе, где мы жили. Прошел через памятный Львиный мостик на Офицерскую, немножко поднялся по лестнице дома № 17, где в 1882—1885 гг. была редакция «Восхода» (поблизости жил там Фруг), затем прошел по площади Большого театра¹⁹⁸, где была типография с редакцией с 1886 г. Опять бродил по кладбищу прошлого, и дивны, священны переживания этих минут...

24 сентября. Ликвидирую мелкие работы. Послал Бялику для его сборника серию шуточных писем Шалом-Алейхема от 1891 г. с моим предисловием*. Опять вспомнилось то лето в Люстдорфе, и наша смехотворная переписка — смех сквозь слезы, и старое горе, и поэзия молодости, люстдорфские «симпозионы» при съезде нашего кружка (Абрамович, Бен-Ами, Равницкий, Фруг-гость и др.), и памятный вечер у нас с пением еврейских мелодий...

Вчера и сегодня ликвидировал свою переписку, ответил на корреспонденцию, урегулировал дела. Расчищаю путь для большой исторической работы. На заседания и собрания не хожу. Послал депутату Фридману письмо о выходе из политического бюро, которое у меня в последний год отняло столько сил и времени; не бываю и в ОПЕ. Нынешняя осень-зима будет у меня замкнутая, сосредоточенная в кабинете.

Набор «Старины» прерван: нет наборщиков. Последняя чудовищная мобилизация опустошила типографии. Все расстроено, вплоть до покупки булочки хлеба, фунта сахару или масла. Дивисься терпению народа в этих бесконечных «хвостах» у лавок с съестными припасами...

Умер русский историк-идеалист Семевский. Только весною я с ним виделся и переписывался.

4 октября. Вошел в большую работу. Опять в эпохе Ирода, как 13 лет тому назад. Строю, перестраиваю храм историографии и молюсь в нем в святой тишине. Как чиста душа без всех этих заседаний и собраний, от которых я сразу отказался! Ложусь раньше спать и в 7 часов утра уже становлюсь на молитву, т. е. на работу. Ворвутся острые житейские заботы — и отхлынут; сдавит на час кошмар мирового озверения — и легче станет от кислорода тех высот, куда поднимается историк. Ободряет

* Они не были напечатаны.

сознание, что в работе приближаешься к цели и пределу жизни. Крепнет вера, что цель и предел жизни будут достигнуты одновременно...

11 октября. Идет новая мобилизация, поистине опустошительная... Миллионы новых жертв ведутся на убой, ибо прежние армии наполовину уничтожены... Кругом из моей среды вырываются люди, гибнут дела без работников, вдовеют жены, сиротеют дети. Повсюду продовольственная разруха; на улицах тысячи осаждают лавки с съестными припасами... Надежды евреев на нового министра внутренних дел Протопопова⁵⁹⁹ не оправдались: вошедши в «совет нечестивых» (министров), он стал таким же.

Сегодня заседание с нашими депутатами Думы, завтра в ОПЕ. Не буду ни здесь, ни там. В депутатском бюро не приняли моей «отставки»: просят бывать хоть на важнейших заседаниях. Но это непосильно. Нервы так плохи, а заседания, как в прошлом году, могут с ума свести. Даже маленькое заседание нашей «Национальной группы» вчера расстроило меня...

21 октября. ...Раздражение в народных массах растет: здесь и в других городах на почве голода вспыхивают эксцессы улицы...

2 ноября. Вчера читал о Фруге в Историческом обществе. Мои «думы и воспоминания» создали в собрании «настроение», как мне говорили*. Дополняли Ан-ский и другие.

Перед докладом, в зале нашего музея, Винавер опять предложил мне, уже официально, занять место преподавателя еврейской истории в еврейском политехникуме, который откроется в Екатеринославе в январе. Я ему сказал, что меня очень тянет к кафедре, но не могу оставить Петербург из-за своего главного труда. Он просил меня еще подумать...

Вчера открылась Гос. Дума. Была прочитана довольно резкая декларация прогрессивного блока, сегодня изуродованная цензурой в газетах. Милюков произнес блестящую речь с резкой характеристикой нынешнего мошеннического правительства Штюрмера, с намеками на роль Распутина при царе (знаменитая фраза: «Что это — глупость или измена?»).

В моем гнезде стало немного шумнее: жильцы, посетители, Яша приехал на поправку, ежедневные визиты Али. А тянет к сосредоточенности, к легенде веков...

21 ноября. Да, я на три недели погрузился в эту легенду веков, но устал чрезвычайно. Успел переработать две главы «Истории», дополнив их обзором апокрифической литературы I в. дохристианской эры... Еду на днях с Яшей в Финляндию на двухнедельный отдых, если военные власти оттуда не выелят...

Теперь выясняется, что все народы закончат войну с сознанием ее бессмысленности и бесцельности, т. е. бессмысленности принципа войны как способа решения международных споров... Сознание бессмысленности войны — вот где ее смысл...

Умер Франц Иосиф⁶⁰⁰, а с ним 70 лет европейской истории. Скоро ли умрет весь этот период высшей технической и умственной культуры и вместе с тем крайнего развития милитаризма? Роковое противоречие, мучившее меня с ранней юности, потонет ли скоро в этом море крови?..

* Живю помню это настроение. В зале царя торжественная тишина. Еврейское общество старого и нового Петербурга с глубоким вниманием, часто с заметным волнением слушало повесть о жизни Фруга и характерные выдержки из его стихов. Казалось, тень петербургского поэта витала в притихшем зале; по крайней мере, предо мною она стояла как живая и вдохновляла меня на эту траурную речь, прочитанную с глубоким волнением. На этот раз я читал по рукописи. Она напечатана в последней книге «Еврейской старины» за 1916 г.

27 ноября, Мустамяки (Финляндия). Третий день здесь с Яшей. Отдыхаю в скромном старом пансионе Линде, среди сосен и берез... Два вечера накануне отъезда (из Петербурга) в горячих заседаниях. С последнего заседания пленума вернулся во 2-м часу ночи, ушедши посреди прений...

28 ноября. Вспоминаются недавние городские впечатления... Посетил меня герой Мариамполя, мученик Гершанович⁶⁰¹, обвиненный в германофильстве, как бургомистр во время германской оккупации, и пробывший на каторге год и десять месяцев, пока высший военный суд не пересмотрел дело и признал его невиновным. Высокий красивый старик рассказывал мне о своей жизни в ярославской каторжной тюрьме, рядом с осужденным комендантом Ковны, истребителем евреев, а потом перешел к вопросам, возникшим у него при чтении моей «Истории» в тюрьме. Его особенно вдохновила глава о возникновении христианства, но смутили некоторые элементы библейской критики, относительно которых просил разъяснения. Излив душу, расцеловался и ушел. В другой раз заходит юная курсистка, смущает меня обращением «учитель!», произнесенным с душевным волнением. Она вчиталась в мою «Историю», пришла советовать о своих первых литературных опытах... Из многих мест несутся вопли: где ваша «История еврейского народа»? Ее нет на книжном рынке. А я уже третий год возжусь с переработкой, стою только в начале второго тома и не издаю из-за ужасов войны, между тем как кошмар войны и заставляет многих вдуматься глубже в мудрость истории, искать в ней ответов на проклятые вопросы.

Решил не позже января приступить к переизданию первого тома и продолжать усиленно переработку второго. Не надо только отвлекаться в сторону. Отказал, между прочим, и М. Горькому, усиленно просившему, чтобы я написал историческое предисловие к его «Еврейскому сборнику».

2 декабря. Завтра еду в город. Твердая решимость отдаться планомерной работе, не отвлекаясь в сторону...

Искра блеснула: германское предложение о мире — и гаснет во мраке. «Нет конца разрушенью». Обе воюющие коалиции в заколдованном кругу. Германия напоминает охотника, который пошел на медведя. Его окликают товарищ: взял медведя? — Да. — Так отчего ж ты там сидишь? — Да ведь медведь не пускает...

9 декабря, Петроград. ...Приходится завоевывать право назорейства, ибо со всех сторон напирает волна жизни. В еврейских газетах разгласили, что я уже с января буду читать лекции в екатеринославском политехникуме, между тем как едва через год или два я смогу туда переехать. Сейчас приехал студент-делегат из Москвы и от имени 350 студентов-евреев университета Шаняевского умолял приезжать раз в неделю для чтения лекций по еврейской истории. С болью в душе отказал, и юноша ушел в отчаянии. Вчера вечером в пленуме объяснял тем же недостатком сил свой уход из бюро.

Тихо горит ханукальная свечка рядом с моей лампой. В последние вечера зажигаю свечки для увеселения Али, моего обычного посетителя в эти часы. Мир нисходит в усталую душу. Тихий огонек веков среди страшного мирового пожара... Сегодня детство вспомнилось: проездом являлась сестра Рися из глуши Могилевской губернии.

12 декабря. Нота американского президента Вильсона о мире... Россия на краю бездны, а правительство, ошельмованное в обеих палатах и на съездах (общественных деятелей), все еще воюет с обществом. Полицией разогнаны земско-городские съезды в Москве. Царь, в пику резолюциям о «темных влияниях» Распутина и грязной камарильи, демонстрирует свое

расположение к ним, держит на посту изолгавшегося министра внутренних дел Протопопова. Если будет мир и возобновится внутреннее освободительное движение, потрясение будет сильнее, чем в 1905 г.

15 декабря. Конец мечтам о мире. Сегодня царский приказ по армии: мир невозможен до «полной победы», до взятия Царьграда и Дарданелл. Вся фикция «оборонительной войны» рассеяна... Моральному престижу Согласия (Антанты) нанесен сильный удар.

18 декабря (вечер). Убит в великосветском доме Распутин, «темная сила», о которой анонимно говорилось в Гос. Думе. Газетам запретили даже говорить об этом. Может быть, труп спрятали и через некоторое время совершится чудо воскресения в русской церкви. А Думу распустили на каникулы внезапно...

28 декабря. Снова разрушил храм вместе с Титом...⁶⁰² Снова погружаюсь в проблемы века возникновения христианства. Душа чиста, мысль зреет, и только сомнение в физических силах одолевает. «По силам ли, о Боже, труд подъемлю?» — в 56 лет!..

6 января 1917. 1917 год должен быть решающим в мировом катаклизме. Иначе солнце 1918 года взойдет над трупом Европы...

8 января (вечер). Сейчас с панихиды по доктору Каценельсону. Литературные смерти без конца. Работал с покойным последние десять лет в разных учреждениях, но сойтись мы не могли. Не было в нем той твердости убеждений и последовательности действий, которые я так ценю в человеке. Но человек он был все-таки хороший и талантливый. И я стоял над его гробом, с трудом сдерживая волнение. Вспоминаются совместные работы в «Евр. энциклопедии» и на Курсах, надежды и разочарования...

19 января. Еле выбрался из исторической гущи I в. Опять приковал образ Филона и великое брожение диаспоры. Много прибавил, лучше осветил.

Были минуты подъема. Послание Вильсона к сенату о переустройстве мира на основах вечного мира и международной справедливости... Эта проповедь пацифизма напомнила, что еще не все человечество озверело. В душе, омраченной трехлетними ужасами, засияла заря юных идеалов, былых верований и порывов. Но в ответ на голос человека послышался рев звериный: нет мира, пока не выпустим всю кровь из противника. И бойня идет с удвоенной силой. Готовятся к весенней резне, такой, какой еще свет не видал.

...На днях был по делу в районе Офицерской и Конногвардейского бульвара в солнечный морозный день. Проходил мимо дома барона Гинцбурга и вспомнил, как в такой же день 1889 г. я сидел за этими озаренными окнами темного палатца и копировал с жаром рукопись «Semig atizim» для «Истории хасидского раскола»... Святые волнения молодости, устремленной вперед; святая грусть старости, смотрящей на пройденный путь...

28 января. Кровавый узел запутывается. Германия объявила беспощадную подводную войну... Вильсон вынужден был протестовать... В кровавую игру может вступить еще один участник.

Вчера вечером кончил редакцию главы «Возникновение христианства», которую в предыдущей редакции составлял осенью 1910 г... В последние месяцы служил непрерывную мессу истории, и счастье творчества превозмогло физическую усталость. Тянет к дальнейшим, еще более сложным отделам...

Сегодня редкая суббота: сплошной отдых. Утром побывал в старой черте⁶⁰³, по делам типографским. Побродил по набережной Екатеринин-

ского канала, где жил в марте-апреле 1881 г., около Кукушкина моста, прошел мимо Таирова переуллка, где ютился перед тем. Кладбище юных страданий и первых литературных порывов. А вернувшись домой, провел остальную часть дня с Алей, который сегодня особенно ласкался ко мне, как будто чувствуя мою сердечную тоску. «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть»...

6 февраля. Развязался с противными типографскими заботами по «Старине» и вновь ухожу в древность, в курорт, где лечу душу от современных ужасов. Редактирую эпоху 73—138 гг., ту самую, которую писал в Вильне ровно 13 лет назад, в начале японской войны...

Россия — специальный ад в общемировом, ибо тут свирепствует и внутренняя война. Арестовали рабочих представителей в петербургском Военно-промышленном комитете, по обвинению в подготовке «социал-демократической республики»...

16 февраля. Посреди увлекательной работы (стою на Адриане и Бар-Кохбе⁶⁰⁴) внезапное недомогание. Положил перо. Разбираюсь в впечатлениях последних дней. Гос. Дума третьего дня открылась, но никаких уличных демонстраций рабочих, ожидавшихся в огромных размерах, не было: министр Протопопов приготовил казаков и пулеметы... Озлобление растет; по улицам мечутся люди в поисках фунта хлеба...

Читал на днях, что Брандес спасал душу от кошмара войны писани-ем книги о Гете, а теперь принял за Вольтера: «иначе не выдержу» — говорит он. Вполне понимаю его.

22 февраля. Лежал в постели пять дней, в тяжелой инфлюэнце. Кругом заболели все: Ида, жилец, ходившая к нам Соня с детьми. Даже приход-дящая прислуга не являлась, и мы лежали беспомощные, как раненые на поле битвы... В дни болезни как-то странно тускнеют краски жизни, как будто из глубин могильных поднимается дух тления и красит все в жел-тый цвет смерти... Лежит мертвая рукописная работа, еще несколько дней назад животворная; стоят стройными рядами трупы книг, вчера еще жи-вых друзей, с которыми горячо беседовал и спорил...

23 февраля. ...Сегодня в городе во многих пунктах громили хлебные лавки, требовали хлеба; заводы бастовали. Действительно, найти фунт хлеба — подвиг. Мы, больные, кормились кусочками белого хлеба сквернейшего, приносимого добрыми соседями. Третий день посылаем за суха-рями — нет.

В былые годы в эти часы — «сеуда» (пуримская), беседы; теперь мо-гильная тишина, безлюдье. Все слова сказаны, «morituri»⁶⁰⁵ тупо молчат.

Умер за границей М. Ратнер, мой полудиномышленник на съездах Союза полноправия, блестящий оратор 1905—1906 гг. Погиб на чужбине изгнанник, преждевременно увядший. И те годы вспоминаются как трупы: трупы Житомира, Троянова, Белостока, Седлеца... На фундаменте тел октябрьских мучеников мы в ноябре 1905-го строили с Ратнером еврей-ское национальное собрание, о чем резолюцию провели на втором съезде Союза полноправия. Что вышло?..

Мы в царстве смерти людей, эпох, культур.

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

ПЯТЬ ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (Петербург, 1917—1922)

Глава 59

Февральская революция (февраль—июнь 1917)

Голодный бунт в Петербурге. Переход бунта в революцию. — Забастовка, без газет и путей сообщения. Ловля бюллетеней на улицах. — Отречение Николая II. — Опасность анархии и кошмар внешней войны. — Третья эмансипация: акт о равноправии (22 марта). — Освобождение моих рукописей из цензурного плена. — Попытка обновления «Фолкспартей». — Возвращение к древней истории. Работа над первыми веками христианства под гул призывов к диктатуре пролетариата. — Радость освобождения тонет в тревогах анархии. Удаление от современности во времени. — Ночные митинги вокруг штаб-квартиры Ленина. — Антиномия внешней войны и революции. — На антибольшевистском митинге: «гипертрофия классовизма»; о евреях-большевиках под русскими псевдонимами; лозунги демократической республики и пацифизма. — Распад России: отпадение Украины, Литвы, Латвии.

Февральская революция застала меня в состоянии болезни. В Петербурге свирепствовала инфлюэнца, и все в нашей семье переболели ею в острой форме. Нельзя было выходить на улицу, где в последние дни февраля голодный бунт превратился в революцию. Ежедневно приносили с улицы новости и слухи, так как в первую неделю революции вследствие общей забастовки не выходили газеты. Как только я попытался сам выйти на улицу, я получил жестокий рецидив инфлюэнцы, долго державший меня дома. В этом состоянии я особенно болезненно переживал все конвульсии революции, в которой великая радость обновления чередовалась с опасениями анархии. Одинокó отпраздновал я на Пасхе дни освобождения России и еврейства, «третью эмансипацию» по моей терминологии, и готовил большую статью под этим заглавием с программой предстоящей политической и культурной работы. Революция освободила из цензурного плена заключительную главу моей «Истории евреев в России» для американского издания, а также мою лирическую «Историю еврейского солдата». Начались совещания по реорганизации «Фолкспартей» и подготовке всероссийского еврейского съезда с программой национального учредительного собрания. Между тем нарастала тревога, отравлявшая нам праздник освобождения. Усиливались конфликты между высшими органами власти: Временным правительством и Советом рабочих депутатов, а в самом Совете между меньшевиками, социалистами-революционерами и большевиками. Уже чувствовалось грозное шествие большевизма с лозунгом «диктатуры пролетариата», то есть гражданской войны. Политическая температура накалялась. В начале июня я принял участие в огромном антибольшевистском митинге и протестовал против гипертрофии «классовизма» в программах крайних левых партий. С самыми черными предчувствиями оставил я летом взволнованную столицу и удалился на отдых в Эстляндию. Мои записи той поры полны такими историческими подробностями, что мне приходится извлекать из них больше, чем я это делал в предыдущих главах.

25 февраля 1917 г. (вечер). ...Уже третий день на улицах Петербурга «голодный бунт». На Невском движение толпы среди рядов полиции и войск. Пока особенно резких столкновений не было, но говорят: кое-где полицейские убили, кое-где полицейских убивали. В газетах ни звука: цензура военная. Только о запросах и прениях в Думе еще пишут, умалчивая о поводе для запросов. Движение стихийное, слепое, во что оно выльется? Из тупика, куда мы зажаты ходом войны внешней и внутренней, неужели выведет нас голодный бунт, на который, кажется, только и способен русский народ?.. Перейдет ли бунт в революцию?..

26 февраля (вечер). Сегодня не вышли газеты, не ходят трамваи. Забастовка принимает размеры 1905 г. На улицах, говорят, тихо, ибо объявлено, что будут стрелять во всякое скопище. Неизвестно, что вчера решила Гос. Дума, но говорят, что прения оборвались и никакой резолюции политической не вынесли. Это позор, полное проявление бессилия народного представительства. Предоставить политические лозунги темной, голодной улице, а самим в такой момент воздержаться, не сказать нужного слова, не бросить зажигающего лозунга обновления — вот свидетельство гнили! Ни одного Мирабо среди умеренных, ни одного Дантона⁶⁰⁶ среди крайних. Надвигается какая-то революция, но впереди идет брюхо голодное, вопиющее, а головы не видно. Не жду спасения от рук и ног, не направляемых разумной волей, святым огнем политического вдохновения...

Сидишь молча целые дни и вечера, читаешь Тацита, талмудическую Агаду, историю церкви, холодно, без обычного исторического волнения. Из дому еще не выхожу из-за холодов...

27 февраля (понедельник, 2 часа дня). Нет, это, кажется, не бунт, а действительная революция, по крайней мере зародыш ее. Уже вчера были кровавые столкновения на Невском, войска стреляли в толпу, но среди других частей войск обнаруживалось сочувствие народу; убит командир Павловского полка. Сегодня, как передают по телефону, в центре города творится необычное. Восстали четыре гвардейских полка, взяли арсенал, будто бы снабжают оружием население, готовы идти к Гос. Думе. Дума объявлена распущенною по царскому указу, но депутаты колеблются: разойтись или не подчиниться указу. Мы, жители заречных частей, отрезаны от центра: мосты заняты патрулями, и в город не пропускают. Сейчас ходил по Каменноостровскому (главная улица Петербургской стороны): обычное движение, без трамваев, хвосты у лавок. Объявление военного начальника, что бастующие рабочие продались немцам и будут сданы в солдаты. Забастовка общая, газет и сегодня нет.

Наступил великий исторический момент. Не окажется ли для него общество слишком малым?.. Если теперь сама Гос. Дума не объявит свои заседания непрерывными и не назначит временного парламентского правительства, то она сама погибнет бесславно...

Сейчас вернулся из квартиры Сони, где проведаль детей. Долго сидели и выслушивали поминутные телефонные донесения из думских и других кругов.

Спустя полчаса. Сейчас Соня принесла известие, что войска открыли политическую тюрьму «Кресты», выпустили арестованных рабочих депутатов и других узников. На Выборгской стороне движение. К Гос. Думе войска будто бы подошли с целью защиты ее, но она оказалась пустою. Неужели депутаты разошлись? Это было бы преступлением, изменой парламента народу.

28 февраля (2-й час дня). Сейчас с улицы. Революция в разгаре. Вчера днем войска подошли к Думе и отдали себя в ее распоряжение. Образо-

вался временный комитет из лидеров думских фракций, от Родзянки до Чхеидзе. Тут же открыл свои заседания Совет рабочих депутатов вместе с комиссией делегатов от войска. Появились воззвания: Думского комитета к порядку и спокойствию, Совета рабочих — к борьбе с старым правительством. Родзянко телеграфировал царю, ответ царя неизвестен (он спрятался в Могилеве, в ставке). В городе столкновения частей войск, стрельба полицейских засад из домов и чердаков в народ и революционную армию. Подожгли окружной суд, дом предварительного заключения и здание охраны. Забраны все полицейские участки; арестован и заключен в павильон Думы мерзкий Щегловитов (бывший министр юстиции), нынешний председатель Государственного Совета.

Сейчас ходил по Каменноостровскому и прилегающим улицам. Мчатся вооруженные автомобили с торчащими наружу штыками революционной армии, едут для умирения полицейско-черносотенных засад. Треск выстрелов во времена доносится; местами опасно ходить. Встретил меня с распростертыми объятиями поляк Ц. (позже коммунист), идущий из центра и ликующий. Ходим, читаем воззвания, но газет нет.

8-й час вечера. Арестованы (министры) Штюрмер, Курлов⁶⁰⁷, Голицын⁶⁰⁸ и другие; ищут скрывшегося Протопопова. Петропавловская крепость, взятая восставшей армией, стала цитаделью революции. Сейчас там левый депутат Скобелев⁶⁰⁹ говорил речь народу. А кругом стрельба из засад, из черных гнезд Вандей...⁶¹⁰

Три часа назад странная сцена. Приходят в нашу квартиру три солдата, один с винтовкой. Спрашивают, не живет ли тут офицер, нет ли оружия, не обижают ли служащих, русские или евреи и т. п. Я вышел в середине разговора, ибо отдыхал после обеда, объявил, что я писатель и не имею служащих, спросил солдат, за народ ли они, и услышал ответ: да здравствует революция! Рукопожатия, пожелания успеха — и конец курьезному визиту, все же загадочному. Сейчас топот ног по лестнице. Открываю дверь: солдаты спускаются сверху. Куда, зачем?..

10 час. вечера. Еще пришла группа вооруженных солдат с дворником сейчас, осмотрели всю квартиру, даже шкафы раскрывали, и молча ушли. Так обыскиваются и другие квартиры в нашем громадном доме. Говорят: ищут стреляющих из засады, из верхних этажей нашего дома, — ищут, значит, полицейских и черносотенцев... Жутко. Не знаешь, что делается в городе. Хожу по одинокой квартире, ухаживаю за больной Идой; нет живой души, даже прислуги. Днем еще приходят люди, а теперь тишина, изредка прерываемая неопределенным шумом или треском. А душа преисполнена величием момента, и даже хандра моя улетучилась. Нас обманул 1905 г.; может быть, не обманет 1917-й. А если?.. Тогда нет спасения для России.

1 марта (6 час. вечера). Все еще без газет, ловим известия из случайных бюллетеней, разбрасываемых по улицам. Между Думским комитетом и Советом рабочих депутатов трения как будто сглаживаются; иначе раскол революционных сил погубит все дело... Протопопов сам явился в Думу, и его арестовали. Зимний дворец в руках народной армии. Полки за полками с офицерами во главе объявляют верность Думе; но речи Родзянко, проникнутые монархизмом, не отвечают настроению. От царя еще нет ответа. Ходил сегодня по улицам. Возбуждение еще не прошло. Были у меня сосед Гредескул (профессор, бывший тов. председателя 1-й Думы)⁶¹¹ и другие. Судишь, рядишь: что будет? Продовольственный кризис длится, есть почти ничего. Трамваи не ходят.

11-й час вечера. Сейчас Соня принесла известие от имени члена Думы: царь, подъезжавший с войском к Царскому Селу, арестован народной армией в Бологом*. В Гос. Думе Временный комитет объявлен Временным правительством, и войска ему присягают. Теперь в Думе сильнейшее волнение: вопрос о низложении Николая решен; спорят лишь о том, назначить ли регента из Романовых или путем созыва учредительного собрания провозгласить республику.

2 марта (вечер). О судьбе царя в задержанном поезде пока ничего неизвестно. Царскосельский дворец, где царица с семьей, под присмотром народной армии. Зверинец из арестованных экс-министров растет: приволокли и Горемыкина, и Сухомлинова⁶¹² (последнего солдаты чуть не растерзали). Гнезда черных уменьшаются, перестрелки реже. Но тревога еще не ушла. Временное правительство все еще не окончательно сформировалось. Идет отчаянная борьба между Думским комитетом и Советом рабочих депутатов... Бегаешь утром по улицам, чтобы поймать бюллетень, и часто возвращаешься ни с чем...

3 марта (вечер). Царь в Пскове отрекся от престола за себя и наследника, а предположивший регент Михаил⁶¹³ будто заявил отказ до Учредительного собрания... Утром объявлено о новом Временном правительстве (Львов⁶¹⁴, Милюков, Керенский, Шингарев, Гучков⁶¹⁵ и др.), вступившем во власть с согласия Совета рабочих депутатов... Из провинции мало известий. Признали новое правительство Москва, Нижний и еще несколько городов. А что в других? Не идут ли там погромы, особенно на юге? Бродишь впотьмах. Трамваи не ходят, и ездить на заседания к нашим депутатам нельзя; газет еще нет. Утром выйдешь на улицу, встретишь кучку людей, читающих новый бюллетень, подойдешь, читаешь вслух листок окружающим, и так получаешь возможность знакомиться с событиями, стоя на улице, на морозе и ветре. Иногда Генрих дает сведения из заседаний Совета рабочих депутатов**.

4 марта (вечер). ...А все-таки оно грандиозно, это падение династии Романовых... 14 лет я проклинал Александра III, 23 года — Николая II, и вот теперь дождался падения династии. Еще в тайниках цензуры лежит моя история евреев в царствование Николая II, посланная в Америку, а теперь окажется возможным опубликовать это даже в России...

7 марта (утро). Целые дни читаю газеты, которые наконец стали выходить, и слушаю рассказы посетителей. Не могу ничем другим заниматься. Повторяется состояние 1905 г...

8 марта (утро). Что-то странное в этой революции: как в погоде нынешней, весеннее солнце и суровый зимний холод. Есть свет, но нет тепла. Оттого ли, что на фронтах назревают страшные события, оттого ли, что в толще армии и в крестьянстве могут скоро переплестись в кровавый узел революция и контрреволюция, — но в душе беспокойно. Все, казалось бы, хорошо: равноправие свалилось как снег на голову; то, за что мы боролись десятки лет, как будто достигнуто, и гнусное полицейское государство низвергнуто; нашим еврейским деятелям здесь (Винаверу, Грузенбергу) предлагают места сенаторов, а другим должности в министерствах. И все же нет весны в душе.

Вчера вечером, в заседании политического пленума, мы друг друга поздравляли, говорили «Schehechajanu lizman haze»⁶¹⁶, постановили послать приветствие Временному правительству и Совету рабочих депутатов, но

* Был задержан царский поезд.

** Мой зять Г. Эрлих был там делегатом от Бунда.

пафоса не было в суждениях и в самом решении... Кошмар войны давит на революцию...

12 марта (вечер). Опять слег в постель на три дня: рецидив инфлюэнцы... Опять могильное настроение. Мучит сознание инвалидности, когда нужно со всеми идти в бой... Много передумал лежа в постели, даже набросал заметки для статьи об историческом моменте с еврейской точки зрения. Но я физически ослабел до крайности, писать рискованно, ходить на собрания еще хуже. Обстановка дома мрачная: болезнь, беспомощность двух одиноких людей среди царящей военной нужды... Открываются огромные светлые дали, но открываются и темные бездны. Между этими полюсами мечется ум...

15 марта (вечер, в постели). Ужасны эти ежедневные приговоры термометра, эти головные боли при попытке перейти из спальни в кабинет, это истощение сил в такой великий исторический момент.

17 марта (сумерки). Уже месяц длятся эти муки, нравственная боль от физической болезни, высасывающей силы, отрывающей от всего дорогого и святого... Весь день лежу или сижу, читая при сильной головной боли газеты, изучая все детали хода революции в России. Открылась светлая эра, но пройдем-то мы в нее, кажется, через реки крови в гражданской и внешней войне... К царизму возврата нет, но другой темный лик России, анархизм пугачевщины, стоит на горизонте. Еврейство в этой революции не выдвигается, не бросается вперед — тактический шаг, урок 1905 г...

22 марта (вечер). Знаменательный день: сегодня опубликован акт Временного правительства об отмене всех национальных и вероисповедных ограничений, т. е. акт еврейской эмансипации в России. Осуществилась мечта целой жизни, цель страданий и борьбы четырех десятилетий. В этот момент я еще не могу постигнуть все его драматическое величие. Позже, когда исчезнут страшные спутники этого солнца на историческом горизонте: германский Ганнибал у ворот и призрак контрреволюции или анархии, мы почувствуем свет и тепло нового светила...

Вернулся с улицы, где видел людей, бегущих с «добычей» — фунтиком хлеба из лавки, и подумал: не стоим ли мы уже на краю пропасти? Величие революции и бессилие в борьбе с голодом, все политические свободы и недостаток хлеба — как подействует этот контраст на темные массы?..

25 марта (первый день Пасхи, утро). Первую Пасху эмансипированного еврейства в русском Египте праздную в грустном одиночестве. Больничная обстановка дома и еще неокрепшее здоровье держат меня вдали от общества в эти бурные дни. Вчера не мог принять приглашение явиться в депутации (от политического бюро с еврейскими депутатами Гос. Думы) к Временному правительству для изъявления по поводу акта эмансипации. Вечером отклонил приглашение на «сейдер» к Винаверу, где на этот раз обычная пасхальная вечеря превратилась в политический раут. Одинокó провел этот вечер, впервые за много лет, без мацы, без «сейдер»... В 8-м часу вечера вошел в свою маленькую библиотечную: через окно смотрела мне в глаза полная пасхальная луна; я запел сквозь слезы грустные синагогальные мелодии, вспомнил бывшее... Иногда думаешь: слишком поздно пришла свобода, о которой мечтал, за которую боролся всю жизнь узник гетто... Вот «свершились заветные грезы», но мне ведь скоро 57 лет, а кругом идет крушение миров среди военного катаклизма, а после потопа начнется переустройство жизни с фундамента... а силы убывают, и нужно еще закончить труд жизни, исполнить обет...

28 марта (днем). Мои нецензурные писания прошлого года «Евреи в царствование Николая II» (для американского издания) и «История еврейского солдата» стали теперь темами дня. Вновь пересмотрел похороненную «Историю солдата» для еврейского перевода, который скоро появится в новом журнале («Гаткуфа»). Одновременно думаю поместить оригинал в журнале «Летопись» Горького (который год назад не мог его печатать из-за цензуры).

Вчера ездил в почтамт и в цензурную военную комиссию для освобождения конфискованной в прошлом году главы (в манускрипте) о Николае II, не отправленной в Америку. Прошел все мытарства, обещали рассмотреть; сегодня послал в комиссию узнать результат...

7 апреля (утро). Постепенно вхожу в свою обычную трудовую стихию. Дополнял «Царствование Николая II» (посланную в Америку копию мне вернули из «черного кабинета» цензуры, где она пролежала 13 месяцев), выяснил роль царя в погромной политике и вчера вновь отправил в Америку. Теперь цензура ее пропустит, но германская подводная лодка может ее уничтожить по пути.

Даже эта побочная работа оздоровила меня духовно и физически. Возвращается обычное бодрое настроение. Еще избегаю больших собраний, но в заседаниях уже участвую, а с посетителями веду длинные разговоры на темы дня... Готовится возрождение «Фолкспартей» на развалинах «Национальной группы». Из группы вышли некоторые члены из-за пустой языковой распри (доктор Залкинд, Ан-ский, С. Гинзбург и др.)... Ведет переговоры о воссоединении с нами группа «Демократическое объединение» (Ефройкин, Перельман), лидеры которой раньше числились в «Национальной группе». Предстоит большое собрание с моим докладом, затем приготовления к еврейскому съезду, который может превратиться в национальное собрание...

9 апреля. Из мира политических волнений перенесся на день-два на вершины древней истории: закончил в новой редакции главу, на которой оборвалась моя работа до революции, 16 февраля (восстание Бар-Кохбы). И казалось: опять найдена ариаднина нить в лабиринте жизни, недавно выпущенная из рук... Когда-то я искал бури, теперь ищу покоя, но не найду его. Да я и не вправе уклониться от участия в строительстве новой жизни, где архитекторам придется во многом пользоваться планами «Писем о еврействе»...

21 апреля (сумерки). Да, я еще десять дней провел на вершинах: писал о христианстве первых веков, евангелиях, апокалипсисах, и еще пишу. А кругом кипела жизнь: продолжалась революция. Большевики из партии Ленина призывали к диктатуре пролетариата. 1 мая (18 апр.) манифестации, митинги. Вчера целый день демонстрации рабочих и солдат против Временного правительства и особенно Милюкова, за ноту к союзным государствам о продолжении войны. Видел эти шествия, когда ехал по Литейному вечером на совещание о еврейском съезде (там партии грызутся уже в нескольких заседаниях из-за программы съезда) и возвращался после полуночи по Невскому. Казалось, что город, стоящий на пороховом погребке, будет взорван, что революция будет потоплена в собственной крови... Антиномия революции и войны становится все страшнее.

* Ан-ский и А. В. Залкинд находились тогда в стадии перехода к сионистской партии и требовали включения в программу «Фолкспартей» пункта о первенстве древнееврейского языка, что противоречило нашей программе культурной автономии с признанием прав идиш в публичной жизни. С. Гинзбург лишь временно примыкал к «Фолкспартей».

Опять холодные дни, с скупым солнцем, но уже с задатками белых ночей. Длинные сумерки. Хотелось бы еще думать и грезить ввиду этого розового заката. Но нужно идти одновременно в апокалиптику II в. и 1917 г. Разве и это не «конец времен», грань между старой и новой эпохой?..

1 мая. Закончил «культурную» главу эпохи 73—138 гг. Писалось медленно, да и диво, что писалось на этом политическом вулкане, кратер которого в Петербурге. Для меня уже началась полоса заседаний.

Анархия в армии и среди рабочих растет... «Диктатура пролетариата» носится как зараза в воздухе, но она, по плану Ленина и братии, может привести лишь к грабегам и экспроприациям, каких уже немало и сейчас, — а вот как бы не вынырнул диктатор из «черной сотни», ныне запрятавшейся! Даже министр-социалист Керенский ужасается перед этим зрелищем «бунтующих рабов», не сумевших стать свободными гражданами... Надо высказаться об историческом моменте «третьей эмансипации» и ближайших задачах...

4 мая. Темная завеса скрывает ближайшее будущее. Нет охоты писать «третью эмансипацию» перед этой таинственной завесой...

8 мая (вечер). Под влиянием непрекращающихся распрей в совещаниях о съезде (где я и вчера был) написал сейчас заметку для «Еврейской недели»: «Что мешает созыву еврейского съезда?» Возмутительно политиканство в этом деле сионистов и бундистов, отошедших от дела организации из-за мелкой партийной тактики...

9 мая (сумерки). Розовые сумерки. Осветилась даль времен. Вспомнилось былое с глубокою тоскою, как давно уже не было... Подумал: как странно! Совершился исход из Египта, пали фараоны; подданный деспотии, я теперь гражданин архидемократической республики; сын бесправного народа, я теперь свободен. Откуда же эта тоска, эта тревога? Да все оттого, что перетягивает другая чаша весов: ужасы войны и гражданская анархия, неопределенность завтрашнего дня и страх за новорожденную свободу...

Сдал для печатания в «Евр. неделе» ту «Историю еврейского солдата», которая год назад была прервана вследствие запрещения цензуры. Приспособил предисловие к текущему моменту, но текст оставил нетронутым. С какой болью писал я эту вещьцу весной 1916 года!..

10 мая. Окончательно решил отказаться от попытки вновь организовать «Фолкспартей». Та маленькая «Национальная группа», которая с 1907 г. кое-как донесла нашу программу до настоящего времени и была как таковая представлена в различных учреждениях, эта группа теперь распалась. Одни ушли в образовавшуюся теперь левую группу «Демократическое объединение», другие не выдержали программной дисциплины и отпали по недостатку принципиальности... Сейчас старый член «Фолкспартей» Крейнин и другие образуют «Народный союз» из наших и беспартийных, на основе компромиссной платформы. Я туда не примкнул, ибо в программе компромиссов не допускаю. Останусь одинок в своей идеологии и буду развивать ее в литературе, как в эпоху «Писем о еврействе»*.

14 мая (первый день Шовуоса, сумерки). После некоторых колебаний, я все-таки взобрался на исторический Олимп. Перестраиваю план истории Востока в период христианского Рима, Византии и Арабского халифата, совершенствуя план 1904 г. Увлечся, порою забывался, но в те часы, ко-

* Вскоре единство в «Фолкспартей» восстановилось, и я продолжал работать в ней.

гда приходилось спускаться вниз, в текущую действительность, становилось страшно. Настроение такое, как в предпогромные дни при царизме: тогда работали черные банды, натравливаемые царской полицией, теперь — те же банды, опьяненные политической анархией и экономическим террором. Вырождение российской революции в пугачевщину идет вовсю. Европейская революция в русском переводе означает погром слева вместо реакционного погрома справа... Что будет с Россией через месяц-два? Гражданская война, террор бегущей с фронта солдатни, государственное банкротство, полный голод и истощение.

Вчера в два часа ночи (т. е. на рассвете) возвращался вдоль Невы по белым улицам из заседания для выбора представителей от еврейской национальности в комиссию по подготовке Учредительного собрания. Засиделись поздно из-за грызни социалистов между собою и с нами. А на улицах, на границе белой ночи и рассвета уже дежурили очереди женщин у хлебных лавок в ожидании фунта хлеба на следующее утро, да на Троицкой площади маленькие митинги солдат и рабочих близ штаб-квартиры ленинцев. Что-то выйдет страшное из этих ночных кучек там и здесь...

20 мая. ...Историк, терзаясь злобами дня, удаляется ежедневно на 6—8 часов в глубь веков. Не имея возможности удалиться от современности в пространстве, он удаляется от него во времени. Читает и пишет о галилейских патриархах II—IV вв., о Юстине Мученике, его апологиях и диалогах, о волнениях минувшего...

28 мая. Юстин, Цельз, Ориген, палестинский патриархат III в. — и призрак кровавой парижской коммуны в Петербурге, и грубое засилье улицы... Был на днях на открытии съезда сионистов, приветствовал его с оговоркой о необходимости заменить антитезис Сион—Голус синтезом...

3 июня. Среди общих тревог и острых личных забот, после коротенького перерыва, опять ухожу в век Константина, Феодосия и Юстиниана. Этому душеспасительному уходу за 1500 лет скоро помешает уход на пару сотен верст от Петербурга: предстоящий отъезд на дачу в Прибалтийский край.

Анархия растет... Продолжение войны грозит дальнейшим ростом анархии, голода и эпидемий; сепаратное прекращение войны — разрывом с союзниками и полным крахом государства. *Circulus vitiosus*⁶¹⁷, в котором задыхается Россия.

9 июня. Жаркие, знойные дни в политически раскаленном Петербурге, пылающем десятками съездов, митингов, потоком зажигательных лозунгов, бросаемых демагогами в темную массу. В одном собрании я вчера участвовал, большом еврейском митинге в зале Биржи, где выступали Винавер, Слиозберг, военные делегаты и другие. Цель — протест против царящей анархии. Я указал на глубокий корень зла: «гипертрофию классовизма» в революционном движении, извращающую ход революции, поскольку классовое начало не подчиняется национальному и государственному*.

* В своем архиве я нашел набросок этой речи, из которой приведу здесь несколько характерных для того момента отрывков: «На полпути между революцией, освободившей нас, и Учредительным собранием, имеющим установить формы нашей свободной жизни, застигла нас ныне царящая анархия. Мы еще не успели высказать всенародно свои чувства по поводу провозглашения нашей гражданской эмансипации и свои мысли о нашем будущем национальном строе — и мы вынуждены на первом обще-еврейском собрании определить свое отношение к промежуточному грозному моменту, стоящему между революцией и контрреволюцией, между зарею свободы и варфоломеевской ночью погромов... Древнейший культурный народ, который 2500 лет тому назад имел своих «социалистов-революционеров» в лице пророков, который умел говорить своим властвующим царям то, что мы теперь говорим царю

И в эти дни я сидел в залитом солнцем кабинете и думал две думы: о великом историческом кризисе 1917 г. и о кризисе еврейства в Римской империи IV в. В IV в. я лечился от свежих ран XX в...

Вот впечатления одного только газетного дня: военный бунт в Севастопольском флоте; забастовка рабочих в Петербурге, на Выборгской стороне, из сочувствия к анархистам, выселяемым из захваченной ими дачи Дурново; на украинском съезде граждан и солдат в Киеве решено устроить самостоятельную Украинскую республику, причем печатаются книжки против «москалей, ляхов и жидов»; в разных местах призывы большевиков к немедленной социальной революции... Заседающий здесь литовский сейм, подобно украинскому съезду, объявил Литву самостоятельным государством... Готовится и Латвия — Латышская республика...

11 июня (вечер). Вчера грозила катастрофа: огромная уличная демонстрация большевиков против Временного правительства, «буржуазии» и т. п. Могла бы повториться парижская коммуна. Вмешался Совет рабочих депутатов... Пока на три дня запрещены демонстрации, а что дальше?

12 июня. Кратер дымится. Большевики из рабочих и солдат грозят вооруженными выступлениями... Предстоят кровавые дни, может быть критические для всей революции... Жутко уехать из Петербурга в такие критические дни и в глуши томиться ожиданием известий из центра гражданской войны. Да и уезжать нелегко: метался сегодня, не дают билетов по железной дороге...

Глава 60

Февральская революция на ущербе (июнь—октябрь 1917)

В глухом углу Эстонии. Тревожные вести из Петербурга. — Возрождение «Фолкспартей» в Москве и Одессе. — Брошюра «Чего хотят евреи». — Июльский «путч» большевиков в Петербурге. — Трехлетие войны. «Война губит революцию, революция губит войну». — Личный вопрос: отдаться ли политической стихии или оставаться в своей научной стихии? — Проект кафедры в еврейском политехникуме в Екатеринославе. — Книга Илиодора о Распутине. «Запачканный грязью монархизм пропал навсегда». — Пацифист среди борьбы государств, наций, классов. — Этический социализм. — Возвращение в Петербург. — Участие в обновленной «Фолкспартей». — Спаваю душу в истории IV и V вв. — Поход Корнилова на Петербург и дебаты в нашей конференции «Фолкспартей». Тень былого. — Голодающая столица. Упразднение книгопечатания. — Предчувствие близкой катастрофы.

Два летних месяца, от середины июня до середины августа, я провел с женой и семьей дочери в приморской дачной местности Силломяги, в Эстляндии (Эстония). Хотелось отдохнуть от политической лихорадки столицы и восстановить силы, истощенные длительной весенней болезнью, но тревожные вести отовсюду мешали отдыху. Июльский «путч» большевиков в Петербурге был репетицией позднейшего

низложенному, — такой ветеран культуры может ли мирволить анархии, этой детской болезни малокультурных народов?.. Правда, и из нашей среды вышло несколько демагогов, присоединившихся к героям улицы и пророкам захвата. Они выступают под русскими псевдонимами, стыдясь своего еврейского происхождения (Троцкий⁶¹⁸, Зиновьев⁶¹⁹ и др.), но скорее псевдонимами являются их еврейские имена: в нашем народе они коренные не имеют...» «Под знаменем демократической республики мы пойдем с теми, которые оберегают это завоевание революции от эксцессов справа и слева. Пацифисты по исторической традиции, мы будем бороться за такое окончание нынешней фатальной войны, которое уничтожит господство милитаризма. Мы будем отстаивать подчинение классового начала национальному, надклассовому...»

октябрьского переворота; созидательные силы февральской революции уступали напору разрушительных сил большевизма. Разлагалась «великая Россия», и миллионы ее защитников на фронтах готовились стать ее разорителями. Временное правительство изнемогало в борьбе с страшной разрухой, с разбушевавшейся социальной стихией. Между тем шли приготовления к выборам в Учредительное собрание, а в еврейском обществе перестраивались политические партии, готовясь к новой жизни в свободной российской республике. Меня, конечно, влекло к этому великому делу строительства, да и друзья тянули меня туда, но с другой стороны, я сознавал, что в предстоящей борьбе не хватит моих сил на два фронта — политический и научный. На унылом берегу Финского залива я бродил с своими думами и решал вопрос: какую из двух задач жизни пожертвовать? После долгой внутренней борьбы, я решил пожертвовать политикой ради науки. Я дал себе обет продолжать свой исторический труд даже под свистом пуль и отказался выставить свою кандидатуру на выборах в Учредительное собрание. Вернувшись в Петербург ко времени наступления Корнилова, я должен был сделать некоторые отступления от своего обета, но все же продолжал научную работу среди анархии и забот о куске хлеба в голодающей столице. В этом положении застал меня фатальный октябрьский переворот, приведший к власти тех, которых я считал разрушителями России и еврейства, губителями всей этической культуры человечества. Мои душевные борения в это промежуточное время отразились в приводимых дальше отрывках из дневников.

17 июня (утро), Силломяги. После российских мук передвижения, я уже трое суток здесь, в предельном уголке Прибалтики, старом дачном поселке в имении немецкого барона. Сухой сосновый лес, тихий берег залива, куда по мелководью не пристаю пароходы, сравнительное малолюдство в кургаузе, где столуемся, и вокруг дачи, где живем, очарование солнечных дней и белых ночей. А рядом два маленьких внука, сильно привязанных ко мне. Приехавший с нами их отец Генрих (Эрлих) вчера уехал в Стокгольм как член делегации Совета рабочих депутатов...

10 час. вечера. Запись прервана полученными петербургскими газетами. В тихую гармонию природы ворвались крики улицы... Анархия продолжается. Временное правительство «царствует, но не управляет»... Большевик мутит. Предстоящая завтра в П-ге манифестация, легкомысленно объявленная Советом рабочих и солдатских депутатов, может кончиться анархией, ибо большевики выступают со своими лозунгами. К опасному классовому террору присоединяется национальный. Украинская Рада в Киеве объявила себя правительством самостоятельной Украины, чуть ли не «от Карпат до Кавказа». Сепаратизм прочих областей на очереди.

21 июня. Шум детский, соседский, газетный, гул потрясенной России — все мешает сосредоточиться в тишине ласковой природы, гадать о тайне белых ночей, о шепоте леса, о ропоте моря. С утра до полудня чтение газет, затем ряд часов среди детей, хождение в кургауз, писание писем. Пришлось отписываться на приглашение двух новых организаций, воспринявших мою идеологию: «Демократического объединения» (звали на конференцию в Москву) и Одесской национально-демократической партии*. Поздно мне заниматься организацией партий. Пусть эти левые и правые течения «Фолкспартей» прокладывают себе путь при помощи молодых сил.

* Первую организовал И. Р. Ефройкин из нашей прежней «Фолкспартей» («Национальной группы»), а вторую готовили профессор математики в Одессе В. Ф. Каган⁶²⁰ и его товарищи.

Из Петербурга вести: манифестация 18 июня не удалась, лозунги большевиков подавляли все остальное и ярко выступило бессилие Совета рабочих депутатов...

25 июня. ...Вот прогноз, вытекающий из жутких фактов наших дней. Кровавый потоп войны скоро перевалит за третью годовщину. Нынешний полуголод превратится в полный голод... Когда война продлится и голод усилится, пойдет сплошное озверение. Начнется всеобщая резня под флагом «классовой борьбы», «истребления буржуев». Ко всероссийскому погрому левых присоединятся погромы правых черносотенцев в маске и без маски. Посреди этого потопа зверства в России позорно кончится бессмысленная бойня народов. Государство российское будет разрезано на части автономными народами... Мы — современники «поколения потопа». Таков апокалипсис близкого будущего*.

30 июня. ...С утра газеты отравляют душу эксцессами истинно русских слева, как некогда такими же эксцессами справа. Мы переменили черный террор на красный — вот результат революции...

Нужно написать небольшую вещь для политического книгоиздательства, издающего серию брошюр о национальных требованиях различных народностей России к предстоящему Учредительному собранию. Завтра начну писать на эту тему. Название — «Чего хотят евреи»**. Как-то странно среди террора писать о строе будущего, но я связан обещанием.

5 июля. Пришли газеты. Опасения подтвердились. И вчера продолжался в П-ге террор: стрельба по улицам, с убитыми и ранеными, погромы солдатчины и толпы, где смешались подонки революции и реакции. Были и призывы к еврейскому погрому на Александровском рынке...

6 июля. Рано утром вышел сегодня в сад, не совсем здоровый, чтобы молиться безмолвно среди озаренных сосен. Вдруг появилась приезжая из П-га (Б. Лацкая), видевшая все, что там творилось в последние дни. Вторник (3 июля) был кошмарный день: бессмысленная гражданская война с сотнями убитых и раненых, уличный террор, дикий разгул большевиков и хулиганов... Только вчера в настроении масс произошел поворот: армия с фронта заявила о своей готовности идти на анархическую столицу, парализованное правительство и Советы депутатов решили действовать — и банды испугались... Что будет дальше?.. Будет ли скомпрометирован преступный большевизм?..

А небо ласково-голубое, а сосны золотятся закатом, и так задумчива лесная тропинка...

8 июля. Целые дни в чтении утренних и вечерних газет, получаемых по почте и через приезжих из Петербурга. С вызовом частей армии с фронта и приходом Керенского хулиганский бунт 3—5 июля затихает... Формируется новое правительство с Керенским во главе...

19 июля. Трехлетие войны. Был такой же день, ровно три года назад, в Нодендале, жаркий, душный. Тревога шла по маленьким мирным улочкам-аллеям, мимо древней церкви св. Бригиты, по площади близ пристани. В воздухе носились ультиматумы... Что было бы, если б тогда сказали: через три года войне не видно будет конца, а в России будет революция и демократическая республика. Мы бы обезумели от ужаса перед перспективою войны и от радости перед перспективой революции. А теперь? Еще

* К несчастью, этот прогноз скоро оправдался.

** Под этим заглавием появилась к осени 1917 г. брошюрка (31 с. малого формата) в коллекции «Задачи свободной России», серия: «Чего хотят народы России», Петроград, издательство «Муравей».

душит война, внушает ужас судьба революции. Сошлись огонь и вода. Война губит революцию, революция губит войну. И возможно, что мы одинаково плохо кончим и ту и другую...

22 июля. ...Теперь раскрывается ужасный факт: при своем «блестящем» наступлении в июне (в Галиции) русские войска, особенно казаки, вырезали и разгромили в галицийском городе Калуц все еврейское население, насиловали женщин и т. п., все по обряду тех же войск при царизме... Недавно напечатана в «Евр. неделе», а теперь выходит отдельной брошюрой моя «История еврейского солдата» — и вот повторяются те же сцены...

30 июля (утро). Утренний туман окутывает лес. Сижу на балконе в тишине еще не проснувшегося дома и предаю тем мыслям, которые в последнее время особенно не дают покоя. Решаю вопрос, что мне делать с остатком моей жизни: отдать ли его в жертву политической стихии, идти по ветру, потонуть в новой общественной волне, или же отказаться от всего, «уйти от мира» и исполнить свой обет завершения жизненного труда. В первом случае я должен по возвращении в Петербург войти в водоворот политической деятельности, выступать в собраниях, организовать «Фолкспартей», пойти в еврейский съезд, поставить свою кандидатуру в Учредительное собрание и кипеть в этом всероссийском котле ряд лет, а параллельно заниматься публицистикой. Это значит изменить план своей жизни в момент его завершения, оставить все здание недостроенным. Но если не решиться на это самопожертвование, то нужна жертва иного рода: порвать со всем окружающим, отвечать на все призывы к политической работе: *pop possumus!*⁶²¹ и, замкнувшись среди бури, ткать нить истории от IV в. до наших дней, а затем привести в порядок весь литературный труд 40 или 50 лет. На этом пути я сохраню цельность души и смогу спокойно умереть со словами «мое дело сделано»... Как решить этот вопрос жизни?

31 июля. ...Прислушиваясь к голосу души, убеждаюсь, что во мне созревает второе из волнующих меня решений вопроса: уйти от политики в историю, спасти свою подлинную душу... Уходя от непосредственной политической деятельности, я не уйду от напряженной политической мысли, которая будет выражаться в публицистических откликах на важнейшие вопросы... Для того, чтобы последовательно проводить это решение, нужно было бы покинуть политическое пекло, Петербург. Есть даже и повод: переезд в Екатеринослав для чтения лекций в политехникуме. Но на беду, я в своей главной научной работе связан с петербургскими библиотеками, а ведь ради этого я долго мирился даже с муками бесправия. (Если б не революция, мне бы еще нынешним летом пришлось возобновить ходатайство о праве жительства)...

3 августа. Значит, решено. Остаюсь верным обету юности. Недаром воскресло во мне на днях воспоминание о том солнечном мартовском дне 1889 г. в Мстиславле, когда такой обет был дан на принесенном Владимиром (брат Вольф) от деда местном Пинкосе. С тех пор научный план расширился...

4 августа. Прочел книгу бывшего иеромонаха Илиодора⁶²² «Святой черт» (о Распутине). С ужасающей реальностью раскрыты тайны царско-сельского дворца... Запятнанный кровью монархизм мог бы еще возродиться, но запачканный грязью пропал навсегда. Россия станет демократической республикой не потому, что доросла в своей массе до этой формы правления, а потому, что царизм в ней опозорен и простолюдин потерял веру в святость царя... Вчерашние газеты принесли известие, что

Николая и прочих узников Царского Села перевезли в более отдаленное место, без указания куда именно... Единственным справедливым исходом был бы гласный суд над этой преступной бандой. Хотел бы дожить до этого исторического суда, который я пламенно призывал в течение 23 лет...

6 августа. ...Готовлюсь ехать в «город холода, мглы и тоски», но узнаю, что это будет и город голода... Как сообщают газеты, молоко будет выдаваться только грудным детям и больным... Если бы не сложная историческая работа, прикрепляющая меня к библиотекам столицы, я остался бы на зиму здесь, среди эстонцев, которые, хотя и дорого, продают съестные припасы... И все-таки поеду в город голода и холода — ради утоления голода духовного...

7 августа (вечер). Сейчас на балконе нашей дачи сидели мы и слушали еврейские народные песни, грустные, за душу хватающие. В полутьме я мог скрыть свое волнение. Ведь эти песни, как плуг, вскапывают почву жизни, поднимают вверх глубокие пласты детства, юности...

14 августа (вечер). С ранней юности идея пацифизма казалась мне основой прогресса: пока люди воюют, они не вышли из дикого состояния. А на старости я дожил до самой чудовищной войны в трех видах: войны государств, войны наций внутри государств и войны классов внутри наций. Это и есть потоп, истребляющий преступное человечество. Страшно будет умереть, если не будет уверенности, что не повторится этот потоп, если не будет радуги мира между государствами, нациями, классами...

16 августа. ...Дочитал брошюру о Генри Джордже⁶²³, проповеднике национализации земли. Вспомнил, как в 1884 г. меня воодушевила статья о том же в «Отечественных записках». Окрылил тогда этический социализм, а не марксистский, «без грана этики»...

21 августа, Петербург. В прохладный лунный вечер оставил с Идою Силломяги. После ночного переезда в тесноте и давке, мы утром очутились в своей квартире, одинокие, без прислуги. ...Посетители: давние товарищи по «Фолкспартей», Крейнин и Перельман. На летней конференции в Москве «Демократическое объединение» принял программу «Фолкспартей» с некоторыми элементами социал-реформизма и назвал себя «Идише Фолкспартей». Наиболее деятельные мои единомышленники уже вступили в комитет этой обновленной «Фолкспартей» и оставили место для меня. С предложением вступить в комитет и явились ко мне его представители. Я объяснил, что решил уйти от политической деятельности, но должен в силу веления совести согласиться на номинальное вступление в комитет, ибо мой отказ бросил бы тень на задачи обновленной партии. На днях предстоит здесь новая конференция партии для установления ее отношений к Еврейскому съезду, российскому Учредительному собранию и всей избирательной компании... Нарушен ли мой обет? В слабой степени, да... Научная совесть у меня теперь неспокойна, но при этом решении меня мучила бы общественная совесть.

А прикосновение ко действительности ужасно. В городе голод, уныние, отчаяние. Мы держимся привезенными запасами пищи да хозяйственным гением Иды; когда запасы истощатся, начнется погоня за куском хлеба и истощение от недоедания. В городе жутко: пусто в лавках... На фронте печально. Немцы наступают на Ригу. Скоро и столица будет в огне непосредственной войны.

22 августа. С улицы вчера вечером принесли слух о взятии Риги. Плохо спал ночью, а утром газеты принесли подробности нового поражения.

Россия не может воевать и не может прекратить войну — вот в чем ужас...

23 августа. Раскрыл записи и планы работы, прерванной на Феодосии I и отца церкви... Тяжело начинать большую работу, когда скоро придется, может быть, оставить Петербург из-за голода или приближения немцев и стать беженцем. Тревожусь за Соню и детей, оставшихся на даче в Эстляндии...

24 августа. ...Я занялся Кодексом Феодосия, но работа не ладится...

Сегодня был у меня владелец книжного магазина «Эзро», забрал жалкие остатки моих изданий. Теперь не будет новых изданий до восстановления книгопечатания в одичавшей России...

28 августа (9 час. вечера). Войска главнокомандующего Корнилова⁶²⁴ идут на Петербург с целью свержения Временного правительства... Час назад я вернулся с Офицерской улицы, из конференции «Фолкспартей», и кроме известий вечерних газет ничего не слышал. Но теперь, вероятно, уже идет бой, а ночью в городе может разгореться гражданская война, погром и резня... Удивляюсь самому себе: отчего я так странно спокоен?.. Оттого, что мы насыщены ужасом и кровопролитием, совершающимся уже 4-й год на земле...

Вчера утром отправился на конференцию обновленной «Фолкспартей». Перед заседанием знакомился с приезжими делегатами и на несколько минут перенесся в давние юные годы. Один делегат, уроженец Могилевской губернии*, рассказал мне, как в детстве он слышал от своего «ребя» страшную легенду о Шимоне Дубнове, который в Иом-киппур сидит дома, читает и пишет... Мне вспомнилась моя жизнь Ахера в Мстиславле в 1884—1890 гг. Но вот открывается заседание. Приветствие председателя (Ефройкина) идеологу «Фолкспартей», аплодисменты, мало волнующие меня. Затем дебаты о секуляризации общины, долгие, горячие. В вечернем заседании дебаты о выборах в Учредительное собрание, блоке партий и пр.

Сегодня утром приезжаю на конференцию, не зная, что делается в мире, ибо понедельник безгазетный день. В вестибюле дома заседаний мне показывают экстренный выпуск газет о заговоре Корнилова. Вхожу наверх, все знают жуткую новость, но — *nil admirari*⁶²⁵ — докладчик мимоходом упоминает о кризисе и переходит к возражениям оппонентов по вопросу о выборах в Учред. собрание. И так весь день... Был еще оглашен список намеченных партией кандидатов в Учред. собрание, где фигурировало и мое имя, но я заявил, что свою кандидатуру выставить не намерен...

29 августа (6 час. вечера). Положение все то же. Где-то близ Гатчины и Царского Села встретились правительственные войска с корниловцами, а что произошло — неизвестно. В городе пока спокойно... Хлебная карточка сокращена до полуфунта...

10 час. вечера. Не выдержал. В сумерках пошел на проспект, купил вечернюю газету, стоя в очереди... Есть надежда, что авантюра Корнилова будет ликвидирована.

30 августа. Понемногу рассеиваются политические тучи. Рассеялись и обыкновенные осенние тучи, и сегодня я сижу в залитом солнцем кабинете. В душу нисходит покой Вечности. И я говорю себе: будь что будет. Пока в мою обитель не ворвется ни русский погромщик, ни герман-

* Позже я с ним встречался в Берлине: бывший московский адвокат Паткин⁶²⁶ (ныне в Австралии).

ский завоеватель, я буду здесь стоять у алтаря и служить Вечному... Ухожу в IV в.

31 августа (сумерки). Провел сегодня три часа в Публичной библиотеке, где уже давно не был. Обложил себя огромными томами Иоанна Златоуста и погрузился в выписки. И вспомнился худенький юноша, провадивший почти целые дни в этой библиотеке в 1880—1884 гг...

4 сентября (первый день Рош-гашана, сумерки). День прошел в писании эпохи Феодосия II, и только теперь, в сумерках, я совершил краткую новогоднюю молитву, т. е. поплакал над знакомыми страницами «Махзор»... Корниловщина подавлена, но анархия продолжается... Опасаются повторения июльских дней: большевики и их красная гвардия вооружены... И я ухожу в V в.

10 сентября (день моего рождения). Опять веха на пути жизни. Все ближе туда, к роковой грани. Здесь путь становится все короче, а там, в историографии, он измеряется многими веками, т. е. для меня многими годами мысли и труда... Уже теперь мы благодарим судьбу за каждый кое-как прожитый день, ибо мы не уверены в следующем. Бывают дни, когда надрывающаяся от забот и труда Ида, после долгого стояния в очередях, не достает даже хлеба...

11 сентября (вечер). Вот как прошел вчерашний день. День хмурый, осенний. Утром прогулка по Лицейской улице с приехавшими накануне Сонею и детьми. Дождик загнал нас домой. Короткая научная беседа с ожидавшим посетителем, ориенталистом Израильсоном⁶²⁷ из Киева. Обед и отдых с Алей, восторженно выражавшим свою радость по поводу возобновления наших суботников (хотя вчера было воскресенье). Слезы катились у меня по щекам, когда я пропел ему недавно слышанную в Силломяге песенку: «Amol is giwen a maasse, die maasse is gor nit freilech...» А вечером пришел мой давний виленский сосед Б. Гольдберг, сионистский деятель, два года проведенный в Стокгольме, Лондоне, Нью-Йорке и недавно вернувшийся. Рассказывал о встречах и впечатлениях. Во время беседы пришел и Генрих, который присоединил впечатления своей поездки в составе «мирной делегации» от Совета рабочих депутатов. Судили и рядили об ужасах переживаемого момента, и перед всеми стоял вопрос: что будет завтра?..

20 сентября (вечер). Из глубин веков опять вышел вчера на поле сражения текущего дня. Война везде: на фронтах, война между Балтийским флотом и Временным правительством, бунты и погромы во многих местах России, опасность погромов везде. Настоящая война идет в Демократическом совещании, где столкнулись раздробленные партии русской демократии в вопросе о реорганизации правительства... Улицу завоевали большевики... В хвостах у лавок зловещие разговоры о том, что все зло от жидов, богатеющих от войны и народных бедствий, что евреи захватили власть в городских думах и правительственных учреждениях... Голод, эксцессы, шествие немцев к Двинску, предупреждение власти о возможности налета цеппелинов на Петербург.

Сегодня был в типографии Стасюлевича, ныне перешедшей к сионистам. Некогда собирался печатать свои книги в этом образцовом заведении. Теперь хотел печатать «Старину». Оказывается, стоимость набора вздорожала в 12 раз... Книгопечатание упразднено; не могу даже перепечатать учебник для школ, где вопль стоит... Все мы предчувствуем близкую катастрофу.

24 сентября. ...Кончилось Демократическое совещание, выделив совет, ядро «предпарламента» до Учред. собрания. Ведутся переговоры о новом

коалиционном министерстве... но никакое правительство не поднимет «боеспособности» армии, которая не хочет воевать. Армия не защитит населения даже от внутренних погромщиков и грабителей: она сама участвует в погромах. Надо заключить мир хотя бы с уступкой территории... «Великая Россия» при нынешнем культурном уровне масс невозможна. Сколоченная кровью и рабством шестая часть света может продержаться только как федеративное государство...

Сейчас вернулся из совещания о нашем политехникуме в Екатеринославе. Обещал в течение месяца решить вопрос: поеду ли туда на зиму для чтения лекций и организации еврейских кафедр... Шел на заседание через Летний сад и вспомнил былое, далекое...

26 сентября. Грозные волны со всех сторон, а я не покидаю ковчега, везущего ценный груз прошлого. Вчера окончательно отказался выставить свою кандидатуру на выборах в Учред. собрание. Но по настоянию единомышленников разрешил поставить мое имя в кандидатском списке «Фолкс-партей». Неприятная фикция, «почетная» кандидатура... Зовут еще на Еврейский съезд и в здешний совет общины... Затем тянут в Совет национальностей при Временном правительстве, в качестве еврейского представителя, чтобы выработать проект национальной автономии. Обещал подумать, но был бы рад, если б избрали другого... Смотрю на эту избирательную пляску и думаю: дети, разве не видите, что дом горит?..

В эти дни живу в римской диаспоре и Вавилонии III в., кроме тех часов, когда приходится переживать текущие страшные события... Наконец составилось коалиционное Временное правительство, счетом 4-е или 5-е, но спасет ли оно Россию?..

1 октября. ...По России катится погромная волна. Местами еврейские погромы (Тамбов, Бендеры, Подольская губерния) вносят старый мотив в новую музыку... Пока не будет утолена терзающая всех жажда мира, ужасы в России будут возрастать. Но о мире каждый упорно думает, и никто не смеет публично заявить об этом, кроме большевиков, которым нужен мир внешний ради гражданской войны.

8 октября. Сегодня потащили меня на избирательное собрание еврейской общины, и я должен был создать (в своей речи) связь между выборами в общину и «политическим моментом»... Вчера открылся временный Совет Российской Республики — «предпарламент»: шаблонные патриотические речи о борьбе с врагом, когда сами ораторы не верят в возможность этого... Правительство эвакуирует в Москву свои учреждения и скоро само переедет туда, а здесь у нас водворится коммуна большевиков.

19 октября. Так живем. Утром спрашиваем: дадут ли сегодня хлеба в лавках? Выдаваемая порция (три четверти фунта) недостаточна, и часто заменяешь хлеб картофелем, тоже вздорожавшим в десять раз. Продолжаются развал армии и анархия тыла. В Совете Республики идут прения об обороне и внешней политике, а большевики готовят кровавое восстание, волнуящее город. Оно приурочено к завтрашнему дню, но может быть будет отложено на пару дней... Сегодня вечером должен был состояться на большом митинге мой доклад «О национально-политической роли еврейской общины». Вспомнил о нем вчера, во время моциона, когда на Каменноостровском проспекте мне бросились в глаза огромные буквы на афишах об этом докладе, о котором я сам забыл среди тревог дня. Остался дома и писал об экономическом быте эпохи Талмуда.

Глава 61

Октябрьский переворот (октябрь 1917—март 1918)

Контрреволюция слева. — Столичный гарнизон, совершивший революцию в феврале, губит ее в октябре. Бомбардировка Зимнего дворца, падение Временного правительства и образование Совета народных комиссаров. — Террор и голод. — Выборы в Учредительное собрание. — Декларация Бальфура и надежды сионистов. — Мои публицистические статьи. — Смерть Абрамовича-Менделе и мой траур. «Воспоминания об Абрамовиче». — Разгон Учредительного собрания. Убийство Шингарева и Кокошкина. Кровавые январские дни 1905 и 1918 гг., царизм и большевизм. — Ждут германской оккупации. — Мое выступление в избирательном собрании против самодержавия большевиков и возражение официального их защитника. — Гражданская война в провинции. — Европейский календарь у азиатских «социалистов». Москва в красным Иваном Грозным во главе. Превращение «большевиков» в «коммунистов». — Ленин официально отрекается от демократии. — Перенесение столицы в Москву и «вольная трудовая коммуна» в Петербурге. — «Вселение» рабочих и солдат в «буржуазные» квартиры.

Я подошел к самому жуткому моменту моих воспоминаний, к черным дням октября 1917 г. Как все сторонники февральской революции, которая свергла царизм и создала демократическую республику, я воспринял октябрьский переворот как контрреволюцию слева, как преступление против демократии. Это скоро было доказано актом разгона Учредительного собрания за то только, что выборы дали большинство противникам большевизма, и террором правительства Ленина—Троцкого. Свои переживания в эти дни я поверял дневнику, но несколько раз я мог также публично выступать против нового режима, который на первых порах еще не успел совсем задуть свободу слова. Среди ужасных условий тогдашней петербургской жизни я путем величайшего напряжения воли занимался исторической работой (я тогда перерабатывал средневековую часть восточного периода), которая спасала мою душу от политического кошмара. На короткое время я погрузился в воспоминания прошлого, когда через месяц после октябрьского переворота пришла весть о смерти моего старого друга Абрамовича-Менделе в Одессе. Солнце былых дней Одессы на миг осветило и согрело душу в «омраченном Петрограде». По особой милости судьбы мне удалось через несколько лет с величайшим риском вывести свои дневники из советской России, и я могу здесь реставрировать свои переживания в большевистском царстве по записям, сделанным под непосредственным впечатлением событий. Надеюсь, что эти «человеческие документы» станут и историческими, материалом для «повести о смутном времени» в России XX в.

1917 г.

24 октября (вечер). Большевики объявили войну правительству республики, назначив свои военно-революционные комитеты. Огромная часть гарнизона на их стороне, и правительство не сможет вызвать на помощь верные ему войска с фронта. Сейчас в городе что-то происходит. Мосты разведены, наши заречные части отрезаны от центра, и мы с часа на час ждем известий о кровавых уличных столкновениях.

Читаю страшные столбцы газетного листа и в то же время исследования о семейном быте талмудической эпохи. А ведь в любую минуту может ворваться в квартиру орда хулиганов с улицы. Наш домовый комитет ставит охрану, но что она значит против разъяренных зверей? Я только завесил географической картой дверцу сейфа в стене, где хранятся дорогие рукописи и небольшая сумма денег на текущие расходы...

25 октября (11 1/2 час. вечера). Восстание большевиков началось. Они уже захватили власть и, может быть, в данную минуту арестовали Временное правительство, которое лишь вчера решилось подавить восстание. Большевики распустили Совет Республики, захватили вокзалы, государственные учреждения. Сию минуту слышались орудийные и пулеметные выстрелы. Где-то на улицах сражаются. Ничего не знаю, кроме того, что сообщал по телефону Генрих часа три назад из Совета рабочих депутатов. Образовалось будто бы большевистское министерство Ленина—Троцкого и компании. Гарнизон в их распоряжении. Тот гарнизон, который восемь месяцев назад сделал революцию, теперь и губит ее анархией.

27 октября (пятница, утро). Стрельба в полночь 25 октября выяснилась: бомбардировали Зимний дворец, где заседало Временное правительство. Снаряды летели со стороны прибывшего из Кронштадта крейсера и из Петропавловской крепости. Министры мужественно держались и не сдавались; их арестовали, когда дворец был взят, а защищавшие его отряды юнкеров и женского батальона отступили. (Говорят, что некоторых женщин победители изнасиловали.) Только Керенскому удалось уехать на фронт, откуда он призывает верные войска к захваченной большевиками столице... Большевики объявили Временное правительство низложенным и управляют при помощи самозванного делегатского съезда Советов, откуда ушли делегаты социалистических партий, кроме левых эсеров... Все газеты («Речь» и др.), кроме крайних левых, закрыты и сегодня не вышли... Городская Дума объявила самооборону граждан, вооружая домовые комитеты... Новое правительство обратилось ко всем народам и правительствам с предложением о немедленном перемирии, но кто будет считаться с узурпаторами, опирающимися на чернь?... Слабый луч надежды блеснул, когда три дня назад Совет Республики принял резолюцию об ускорении мирных переговоров; теперь Совет разогнан, а предложенное большевиками перемирие является в данной обстановке утопией.

28 октября (вечер). В момент, когда пишу эти строки, вокруг вокзалов идут, вероятно, уже бои наступающих из Гатчины войск Керенского с высланными навстречу им частями восставшего гарнизона... Образовавшееся сегодня утром большевистское правительство Ленина—Троцкого, под названием «Совет народных комиссаров», уже покинуло, говорят, свою цитадель в Смольном институте и поместилось на крейсере «Аврора», на котором в случае беды уберут в резиденцию морских разбойников, Кронштадт... Пока все, не примкнувшее к восстанию, сосредоточивается в Комитете спасения революции при городской Думе... Сегодня солдаты гарнизона и отряды «красной гвардии» (большевистской) из вооруженных рабочих метались по городу. Вполне возможны грабежи и погромы. Еще два часа назад пришла Соня и сообщила, что в соседних домах солдаты производят «обыски» и скоро к нам придут. У наших ворот стоит домовая охрана...

Все-таки пописал немного утром сегодня о древнем школьном обучении. Я перестал удивляться этой способности работать на вулкане: ведь едят же, пьют и спят и на поле битвы. Когда духовная пища стала такою же ежедневною потребностью, как физическая, то принимаешь ее и на вулкане. А для меня историческая работа — и пища, и воздух, без которого задыхаюсь. Никакой заслуги тут нет, а просто акт самосохранения души.

29 октября (вечер). А сегодня пришлось жить без этого воздуха души. С утра до вечера читал газеты и разговаривал с соседями о грозных событиях... Сегодня творится что-то страшное: кровавое столкновение сол-

дат с юнкерами на нашей Петербургской стороне. Говорят еще о кровавых стычках. Что делается в наступающей армии, неизвестно. Сегодня к вечеру ее ждали в городе...

31 октября. Гражданская война и резня здесь, в Москве, Киеве...

2 ноября. Армия Керенского оказалась бессильной против полчищ большевиков, мятежных солдат и красногвардейцев... Керенский под давлением партий и Комитета железнодорожного союза согласился на перемирие, но правительство Ленина—Троцкого в упоении победой идет дальше по кровавому пути. В Петербурге голод: через пару дней не будет и полуфунта, и четверти хлеба на душу. Москва уже залита кровью... Разгромлены Кремль и центр города. Казаки с Калединым⁶²⁸ завладели югом и идут к Москве... Здесь в П-ге мы накануне головной резни... Пока делаю моцион каждый день, но скоро, может быть, нельзя будет и на улицу выходить... Спасая каждый день пару часов для работы; погрузился в литературу Агады и Мидраша, которая согревает душу...

5 ноября (вечер). Странный вечер. Давно у меня не было посетителей, а сегодня привалило их сразу несколько, и иные с предложениями не от мира сего. Представители еврейского кружка Военно-медицинской академии просят прочесть им пару лекций по истории, редактор «Геовар» — дать что-нибудь для нового исторического журнала. Я спрашивал студентов: разве вы можете теперь со вниманием прослушать лекцию по истории? Спросил редактора: до исторического ли журнала нам теперь? Ведь это все — допотопное, а сейчас самая гуща потопа. О нем-то говорил с другими посетителями, из Комитета спасения и пр. Никто не знает, что будет завтра... Что делается в провинции, не знаем: Петербург отрезан от нее. Почта не получается в последние дни. Не идут ли уже еврейские погромы на юге?..

7 ноября. Порядок дня в эти две недели: утром занятия по истории (частью при лампе, если есть электричество), около полудня хождение на проспект (Каменноостровский) за газетою, так как получавшаяся по почте «Речь» запрещена жандармами большевизма. Часто долго ищешь социалистических газет, которые конфискуются на улицах хулиганами из красной гвардии. Читаешь по дороге газету (это уже и моцион мой) и приходишь домой расстроенный, с трудом опять успокаиваешь нервы наркомом научной работы. И так изо дня в день... Живем вдвоем упрощенно, без прислуги, недоступной при нынешнем голоде. Ида делает все работы по дому, ходит за покупками, варит, печет, моет и занята с раннего утра до позднего вечера. Кое в чем помогаю ей... Каждый раз после завтрака или обеда, когда кое-как утолишь голод, думаешь: слава Богу, ведь могло и этого не быть. Часто не хватает хлеба, заменяешь его картофелем, и так с другими продуктами...

13 ноября. Вчера утром дописал статику талмудической эпохи и кончил отдел... И опять стою без исторического панциря перед лицом страшной действительности. ... «Штыкократия» душит страну, и под штыками начались вчера выборы в Учредительное собрание. Сегодня опушу свой бюллетень, за кадетский список. Хотя я не совсем одобряю тактику этой партии, но она единственная надклассовая партия, обладающая крупными политическими силами в европейском масштабе...

16 ноября. Городские выборы в Учред. собрание дали 6 мест большевикам, 4 кадетам и 2 эсерам. Умеренные социалисты провалились. Что еще скажут выборы в провинции?

«Мир Ленина и Троцкого» двигается: германский штаб принял русских парламентариев на фронте и выразил согласие на перемирие. Больше-

вистское правительство грозно требует от наших союзников немедленного согласия на перемирие. А те яростно воюют. Английские войска занимают Палестину, уже взяли Яффу, подходят к Иерусалиму. На днях английское правительство официально обещало осуществить желания сионистов в Палестине (Бальфуровская декларация⁶²⁹).

Сегодня восстановлена «свобода печати»: вышла и получилась «Речь», выходят и другие «буржуазные» газеты. Уже не придется утром бегать за газетой.

Вчера написал для «Геовар» пару исторических заметок к архивным документам («Из мстиславских Пинкосов»)... А сегодня я уже перешел в проклятую современность и сейчас дописал первую статейку из серии «Дер найер мабул» («Новый потоп») для «Идишес Фолксблат», органа нашей «Фолкспартей» (статья ярко пацифистская и антибольшевицкая)...

20 ноября. Сижу обложенный кучей источников эпохи гаонов (халифата). Вот уже третий день перечитываю, комбинирую параллельные места, блуждаю в лабиринте темной эпохи и порою прокладываю пути... А оторвусь на час-другой от работы — и весь ужас момента встает перед глазами. Террор большевиков растет...

Ликуют только сионисты по поводу английской декларации (Бальфура). Не преждевременно ли? Уже пишут в своих газетах о «еврейском государстве», устраивают торжества как во время Саббатая Цеви. Это новый наркоз, но пробуждение будет ужасно. Меня радует английская декларация как обращение к еврейской нации, но мотивы ее невысоки (приманка для евреев, как воззвание Бонапарта 1799 г.⁶³⁰), а последствия проблематичны при нынешнем торжестве Германии и Турции. Как хорошо было бы в такое ужасное время иметь свой спокойный уголок или хоть надежду на него! Блаженны верующие.

21 ноября. От истории ислама, в которую погрузился с утра, оторвался в полдень и вышел на улицу купить газету. Большинство газет не вышло, и пришлось купить живую большевицкую «Правду». Весть ужасающая: взята армией большевиков ставка верховного главнокомандующего в Могилеве, главнокомандующий Духонин⁶³¹ убит зверями-солдатами... Штыкокрация свирепствует.

24 ноября. Волна растет. Накануне созыва Учред. собрания Мараты из Смольного решили сорвать его, заглушить народный голос. Арестована комиссия по выборам в Учр. собрание. В день открытия собрания возможна резня...

27 ноября. На научном островке, куда я спасаюсь от бури, кипит работа мысли. Прочитываю и просматриваю десятки томов новых или ранее недоступных источников. Расширяется план «Истории», чувствуется восторг усовершенствования и грусть зодчего, призванного строить среди всеобщего разрушения... Завтра день открытия Учред. собрания, и не знаешь, откроется ли, дадут ли открыть...

Весть об опасной болезни старца Менделе в Одессе. Тоска сжимает сердце. Мы все быстро катимся «туда». Отчего так мучительно тревожен закат жизни?..

28 ноября (10-й час вечера). Сейчас получил из Одессы телеграмму о смерти Абрамовича-Менделе. Ушел из жизни 85-летний старец, а из моей жизни вырвана полоса наиболее яркая, из лета моего бытия. И теперь, в суровую зимнюю ночь, в северной столице, среди пожара гражданской войны я оплакиваю и смерть друга, и память тех одесских лет, когда я имел общение с этим сильным умом. Вспоминается мое первое посещение

А-ча, в ноябре 1890 г., а затем долгие беседы в течение 13 лет, эти размышления вдвоем... Предался бы воспоминаниям, но жду вестей о событиях нынешнего дня: открылось ли Учред. собрание или разогнано штыками.

29 ноября. Гаснет надежда. Учредительное собрание, о котором мечтали поколения, «открылось» вчера при жалком составе 30 депутатов, которые, конечно, решили отложить настоящее открытие до появления правомочного числа. Одни депутаты еще не избраны (во многих местах идут выборы), другие не успели приехать, третьи прячутся от арестов. Приехавших московских депутатов к.-д. вчера большевики арестовали, невзирая на депутатскую неприкосновенность...

Заглянул сейчас в записи 1890/91 г. 14 ноября 1890 г. впервые посетил Абрамовича. Помню тот вечер... 27 лет минуло, и сейчас приходится жить среди ужасов охлократии, в той самой столице, откуда был изгнан в октябре 1890 г. царской полицией «бесправный еврей»...

6 декабря (утро). Топил свое горе в византийской эпохе... А в промежутки было страшно. Ежедневные «пьяные погромы»: солдаты и чернь грабят винные погреба и магазины, перепиваются, ведут перестрелку с красногвардейцами, убивают и ранят прохожих. Политика «народных комиссаров» упразднила своими декретами все: собственность, суд, городское управление, свободу печати и всякие другие свободы, кроме свободы грабежа и насилия. Ежедневные аресты, обыски, угрозы «гильотиною на Дворцовой площади». Кадеты объявлены «врагами народа» и прячутся от арестов. Им и умеренным социалистам большевики готовят участь жирондистов⁶³²...

Английские войска вступили в Иерусалим. Кончилась турецкая эпоха Палестины: 1517—1917, ровно 400 лет. Под влиянием агитации сионистов наша масса уже верит в свободную еврейскую Палестину, но будет, конечно, разочарована. Кой-какие перспективы, однако, открываются для нашего палестинского центра, и это светлая точка в египетском мраке...

Вечером. На прошлой неделе была Ханука. Хотелось согреть душу воспоминаниями... Два раза были внуки, я зажигал им хануковские свечи. Для вспоминал о прошлогодней иллюминации. Он у нас обедает и проводит полдня по субботам, это для него лучший в неделю, и в эти часы он уже меня заставляет соблюдать «субботный отдых». Иногда в глубокой тоске пою ему песню; он любит слушать «Брожу ли» и т. п. Вспомнились мне сейчас волнующие строки Фруга к ребенку:

*Когда-нибудь, придет пора, ты взор пылливый
На строки скорбные случайно наведешь.
Тогда... ты все, дитя, поймешь:
Поймешь, какими я сомненьями томился,
О ком тогда так жарко я молился,
Чего у неба я просил...*

Думаю о скорбных зимах последних военных лет... Помню, как в такие декабрьские дни я терзался унижениями права жительства. Куда больше герцазья в нынешней «свободной России», где царит толпа самодержцев...

* * * Около этого времени я потерял из виду М. М. Винавера, одного из лучших лидеров партии к.-д. Он скрывался в Петербурге, затем и Москве, пока не уехал на юг и позже стал членом правительства эфемерной Крымской Республики.

14 декабря. Надвигается полный голод вместо нынешнего полуголода. Украина, Дон, Кавказ, Сибирь отказываются посылать хлеб большевистскому Петербургу; отовсюду кричат: только Учредительному собранию дадим хлеб!.. Гражданская война продолжается... Самовольно демобилизующиеся солдаты опустошают целые города (страшные вести сегодня из Бессарабии о еврейских погромах)... Здесь по улицам вечером опасно ходить: снимают пальто, обувь и отпускают на мороз. Действует «революционный трибунал» с малограмотными судьями из рабочих и солдат. Судят за «контрреволюцию», т. е. контрбольшевизм. Пока приговаривают к тюрьме, скоро начнут рубить головы, по учебнику французской революции. Обезьяны подумывают еще о «конvente» как противовесе Учредительному собранию...

В перерыве написал кое-что публицистическое*, а сейчас опять перехожу к арабскому периоду истории...

21 декабря. Углубился в Коран, в еврейские его части... Замыкаюсь, никуда не хожу. Ходить на заседания тяжело и порою опасно в этом разбойничьем вертепе, особенно по вечерам. Не был даже третьего дня на открытии нового Совета еврейской общины, куда я избран недавно...

24 декабря (вечер). Сегодня «Эль моле рахамим» (заупокойная молитва) Абрамовичу в далекой синагоге на Офицерской, а затем торжественное заседание с речами. Головная боль, снежная вьюга и остановка трамваев помешали мне оплакивать публично, но сейчас, очутившись один в квартире, я громко прочел «Эль моле рахамим» старому другу и сильно рыдал в маленькой библиотечной... Начал писать воспоминания о покойном...

29 декабря (утром при лампе). В снежных сугробах, как глухое село, лежал Петербург, без газет по случаю разгула Рождества, без трамваев, среди трескучих морозов, а я писал четыре дня подряд воспоминания об Абрамовиче («Sichronos wegen Mendele»). Четыре дня, с раннего утра до позднего вечера, переживал 13 лет одесской жизни. Вставляли картины полудня моего бытия среди нынешнего мрачного вечера, и сердце ныло, и грустный гимн звучал непрерывно, как в храме при богослужении...**

30 декабря. Столица мерзнет: нет топлива, сижу в пальто, пальцы стыннут, трудно писать. Нет электрического тока, дают только на 3—4 часа в вечер, и большую часть вечера и раннего утра работаю при плохой керосиновой лампочке (при недостатке керосина). Недоедание, конечно, продолжается, что при холоде в квартире истощает организм... При такой обстановке перехожу от личных воспоминаний, согревших душу, на холодные вершины истории, в век Омара и халифов.

1918 г.

7 января (вечер). Кровь, голод, холод, тьма — вот под каким знаком вступаем в новый год. Третьего дня улицы Петербурга обагрились кровью участников мирной манифестации в честь Учредительного собрания: их

* Статья «Мошиахс цайтен» («Мессианские времена», на идиш) по поводу Бальфуровской декларации. Напечатана в петербургском еженедельнике «Фолксблат» в январе 1918 г. Приветствовал декларацию, но предупреждал против преувеличенных надежд.

** Первая глава писанных на идиш воспоминаний появилась в начале 1918 г. в брошюре из серии «Фун цайт цу цайт» в Петербурге. Летом того же года я перевел всю статью на русский язык и поместил в третьем сборнике «Сафрут» (изд. А. Яффе в Москве). Первая фраза гласила: «Он (Абрамович) пришел в мир в мрачные времена самодержавия царя Николая I и ушел в первые дни самодержавия Николая Ленина». Фраза прошла беспрепятственно: большевистская цензура просто не заметила еврейского сборника, да и не было еще тогда позднейшего полного запрета свободного слова.

расстреливала армия большевиков. Единственное заседание Учред. собрания прошло под штыками озверевшей солдатни; вчера уже депутатов не впускали в Таврический дворец, а сегодня вышел декрет Совета народных комиссаров о роспуске собрания.

Сейчас принесли мне весть, от которой леденеет кровь: в больнице матросы убили давно арестованных лидеров к.-д. Шингарева и Кокошкина, перевезенных туда из Петропавловской крепости, — двух благороднейших борцов за свободу, светлые типы жирондистов. Уже несколько дней говорят о возможности избияния всех политических заключенных в тюрьмах, — повторение сентябрьских убийств 1792 г.⁶¹³

... Не хотелось подводить итоги в день нового года. Итог жуткий: потопление революции в грязи низменных инстинктов масс. В 1905 г. растоптали революцию крайние правые, а теперь крайние левые... Но нам (евреям) не забудут участия еврейских революционеров в терроре большевиков. Сподвижники Ленина: Троцкие, Зиновьевы, Урицкие⁶¹⁴ и другие заслонят его самого. Смольный называют втихомолку «центрожид». Позднее об этом будут говорить громко, и юдофобия во всех слоях русского общества глубоко укоренится... Не простят. Почва для антисемитизма готова.

Сравниваю эту кровавую пятницу 5 января с кровавым воскресеньем 9 января 1905 г. Полное сходство царизма и большевизма, но там хоть убийцы испугались теней убитых, а тут продолжают убивать. Там была надежда, вера в народ; эта вера теперь погибла. Надвигается ночь террора. Кто обречен?..

8 января. Вспоминается апрельский день 1906 г. в Вильне. Банкет после выборов в первую Гос. Думу. В своем госте я, обращаясь к Винаверу, сравнил партию к.-д. с жирондистами — и тут же спохватился: ведь в этом было печальное пророчество. Теперь пророчество исполняется: два жирондиста (Шингарев и Кокошкин) пали от рук убийц...

9 января. Годовщина. Сегодня, через 12 лет после 9 января 1905 г., хоронили жертв последнего 5 января, жертв революционного царизма... Голод вступает в последнюю стадию: уже дают лишь одну четверть фунта хлеба в день на человека... Переговоры о мире в Бресте опять прерваны: там немцы по карте отрезали для себя весь запад России и не думают уходить из оккупированных провинций. Если после перерыва не примут их условий, германская армия займет Ревель и, пожалуй, скоро будет в Петербурге. Что ж, немецкий бронированный кулак спасет трехмиллионный город от истребления его сотнею тысяч баши-бузуков⁶¹⁵ с тиранами Смольного во главе...

14 января. ...Сегодня у нас обедали дети, хлеба не было, пришлось заменить его картофелем. Сейчас ушли, и мы вспомнили, что у них в квартире нет ни хлеба, ни картофеля; Ида поспешила отнести им немного из оставшегося у нас запаса, которого хватит на день-два... А Ленин с братией на съезде, нагло назвавшем себя «учредительным собранием», ликует по поводу диктатуры пролетариата, оправдывает деспотизм черни... и объявляет войну демократической республике.

Румыно-русская война... Весь юг пылает в огне гражданской войны... Киев в опасности. В Москве сотни трупов и раненых при уличной демонстрации. Петербург так запуган, что голодающее население не смеет выходить на улицу с криком: дайте хлеба! Большевики расстреляют голодающий народ быстрее, чем царские слуги.

Надежды на обновление жизни гибнут. Предстоят выборы на Еврейский съезд, просят меня выступать в собраниях — отказываюсь: не до

того. После разгона Учредительного собрания наш съезд теряет свою ценность...

22 января (вечер). Среди ужасов гражданской войны, голода и террора залушал боль эпоху халифата, а на полуслове, в параграфе об экзилархе в арабской легенде, отправился вчера днем на предвыборное собрание, для доклада «Современное положение и Еврейский съезд». В аудитории Высших женских курсов на Васильевском острове я вел беседу, отказавшись от шаблона «развития программы»; я сказал, что кроме своих прямых задач съезд должен определить свое отношение к общему политическому моменту, к грубому самодержавию большевиков, которое подвергает опасности политическую и гражданскую свободу, а не только национальную. За это нас (на съезде) могут разогнать, как разогнали российское Учредительное собрание, но мы постараемся умереть не так бесславно, как оно.

Пошли прения, неожиданно ставшие интересными. Выступил неизвестный оппонент, типа иешиботника-социалиста, и заявил, что когда-то считал меня своим учителем или «духовным отцом», ибо учился на моих книгах, но потом ушел далеко и, после десятилетнего политического стажа в тюрьме, примкнул к крайней левой, т. е. большевикам*. Теперь он обижен моей характеристикой большевиков-евреев как ренегатов или спекулянтов революции; он смущен моим предложением, чтобы съезд высказался о большевизме и от имени еврейства отмежевался от него; он, наконец, напоминает, что против штыков кронштадтских матросов никакая храбрость не устоит. Настроение собрания поднялось. Дело в том, что выступивший оппонент оказался помощником только что назначенного большевиками комиссара по еврейским делам, о чем утром в газетах был напечатан декрет**. Мне об этом сообщили во время прений. Тем резче я ответил оппоненту, сказав, что люди, пережившие царствования Александра III и Николая II, не потеряют самообладания и перед штыками кронштадтских матросов. Говорил еще о кулаческом и этическом социализме, о крайностях классовизма, при горячих рукоплесканиях аудитории***. Не дождался конца и ушел. Вышел на гудящие улицы, где с утра проходил крестный ход для протеста против захвата большевиками Александрово-Невской лавры. Вернулся домой и думал, думал. Одни мои «ученики» очутились среди большевиков, другие (выступавшие некоторые курсистки) жаждут слова историка и льнут к своему народу, а «учитель» должен уходить в эпоху халифата, чтобы спасти свое душевное равновесие...

24 января. Большевики завоевывают Россию. Киев занят их войсками, и Украинская Рада бежала. Они окружают казаков на Дону, татар в Крыму, казаков на Урале. Финляндия имеет свою красную гвардию, которая обратила Сенат в бегство. В Петербурге уличные грабежи и убийства днем и ночью. По вечерам опасно выходить: снимают одежду, отнимают деньги, часы, избивают запоздалых путников...

* Потом оказалось, что он имел в виду левых эсеров, которые тогда еще шли вместе с большевиками, пока последние не отказались от невыгодного союза.

** Еврейским членом Комиссарната по национальным делам (им тогда заведовал Сталин⁶³⁶) был назначен некий Диманштейн⁶³⁷, а его помощником левый эсер Добковский⁶³⁸, упомянутый здесь оппонент мой. После развода большевиков с левыми эсерами Добковского удалили и даже нашли в его прошлом какой-то политический грех. Позже я случайно встретил его в Берлине в жалком состоянии эмигранта.

*** Из других ораторов этого собрания помню Н. Штифа и И. Ефройкина.

27 января. Стою на Саади Гаоне и его борьбе с Бен-Меиром: вновь открытый эпизод антагонизма Палестины и диаспоры. Отклонил сейчас предложение из Стокгольма написать обзор еврейской истории для шведского издания «Библиотеки национальностей». Нельзя уклоняться от ликвидации труда жизни. Опять не посещаю заседаний, нигде не бываю. Ношу траур по умирающей стране...

Киев залит кровью, горит и разгромлен, переходя то к украинцам, то к большевикам. В Белоруссии война польских войск с большевиками. В Бессарабии воюют румыны... С Дона движется бывший главнокомандующий Алексеев...⁶³⁹

30 января. Не только греюсь у костра истории, но сжигаю себя. Работаю запоем... Пишу десятки страниц, а перечитываю для них десятки томов материала. Чувствую надлом здоровья, хudeю сильно; нервность выражается в крайней рассеянности.

6 (19) февраля. «Азиаты социализма», большевики, ввели европейский календарь в России, и мы сразу стали старше на две недели. Давно назревшая реформа календаря — единственная из реформ этих Тамерланов⁶⁴⁰, произведенная без разбоя и кровопролития... Германия объявила перемирие оконченным ввиду неподписания мирного договора. Носятся слухи, что уже заняты немцами Двинск, Минск и Ревель... Кажется, что у всех в России, кроме большевиков, с этим новым вторжением Германии связана надежда: придут враги и спасут нас от худших еще врагов...

Иногда луч былого согреет душу. Дважды в последние дни подтвердили мне с разных сторон, что мой очерк «Что такое еврейская история», писанный 25 лет назад и признанный мною устарелым, еще производит свое действие на умы. Думал было его исключить из собрания сочинений или переделать, но раздумал: ведь столько души вложено было в эту поэму истории, опыт спиритуалистического освящения евр. истории. Пусть останется как памятник моих исканий.

24 февраля н. с. ...Немцы подходили к Ревелю, Пскову, Петербургу. Их ждали здесь, и большинство населения думало: пусть немец придет, избавимся от большевиков... Когда наконец получился ответ Германии о согласии на мир на еще худших условиях, чем в Бресте, большевики приняли эти позорные условия, лишь бы «спасти власть Советов», т. е. сохранить свои головы на плечах. Теперь Россия продана, предана. Отходят как отдельные государства Украина, Финляндия, Литва с Белоруссией, Курляндия, Эстляндия, Лифляндия, и все будут в сфере германского влияния. Останется старая Московия с красным Иваном Грозным во главе... Что ж, не сумела Московия создать, спаять великое государство, свободную федерацию народов, и не заслужила лучшей участи. Россию постигла судьба Багдадского халифата... Но увьи! это — вивисекция и моего народа. Шестимиллионный еврейский центр разрезан на шесть кусков...

2 марта. ...Основная дилемма такова: продолжение большевистской оккупации или начало немецкой оккупации Петербурга?.. Сегодня утром грозная весть: мирные переговоры в Бресте снова прерваны.

11 марта н. с. ...Большевики, ныне назвавшие себя уже официально коммунистами, продили свое существование подписанием позорнейшего мира с Германией в Бресте. Совет комиссаров уже эвакуируется в Москву, а с ним все правительственные учреждения... На днях вышел декрет о принудительном водворении («вселении») красногвардейцев и рабочих в «буржуазных» квартирах, и я, например, должен очистить свой кабинет для какого-нибудь грабителя с казенной винтовкой. Это все делается для

подкупа черни. Ленин и другие лидеры «коммунистов» на вчерашнем съезде партии официально отреклись от парламентаризма, всеобщего избирательного права, демократизма, разделения исполнительной и законодательной власти и прочих «предрассудков буржуазии»...

Писал, а вчера (воскресенье) был перерыв между одной главой и другой. Поехал с И. на обед к Эмануилам на Подьяческую. Впервые за долгое время сыто поели, а все время говорили о голоде, о героических усилиях добыть кой-какой запас на несколько дней. Вечером возвращались домой среди выстрелов на темных улицах. В одном месте за нашей спиной грянул выстрел, в другом мы чуть не были раздавлены в толпе, вошедшей в вагон трамвая...

18 марта н. с. (сумерки). В ожидании электрического освещения записываю здесь, прервав работу на полуслове... Столица перенесена в Москву, куда переехал Совет народных комиссаров, а Петербург объявлен «Вольной трудовой коммуной», вольной для грабежа и убийства... Жить в такие дни — великое испытание. И я большую часть дня и вечера живу в XII в., в государстве крестоносцев на Востоке, в Багдаде, в Египте.

Послал письмо о выходе из состава нового Совета общины. Не суждено мне строить еврейскую автономию, к которой так давно призывал. Нет сил, времени, настроения.

Глава 62

В «Северной Коммуне» (март—август 1918)

Переход от восточного периода к западному в историческом труде. — «Мы Архимеды при взятии Сиракуз». — «Хлеб бедности» в Пасху. — Интеллигенты пилат дрова, а дровосеки управляют государством. — «Хасидиана». — Борьба с Богом. — Смерть Сакера. — Открытие нашего Национального совета. — Новая гайдамачина на Украине. — Попытка реквизиции архива и музея Историко-этнографического общества. — Курсы палестиноведения. — Ужасы гражданской войны; красноармейские погромы. — Голод в «Северной Коммуне»; «хлеб рабочим, запах хлеба буржуйам». — «Распад еврейского центра в России»: мои филиппики о царизме и большевизме, идея еврейского Интернационала. — Убийство царской семьи. Убийство Володарского и Мирбаха. Бунт левых эсеров. — Речь в день памяти Германа Когена о «пляске вокруг идола марксизма». — Распад Национального совета. — Хлебные карточки по категориям. — Вымирающий Петербург. — Сборник «Еврейской старины». — Конец свободной прессы. — Отъезд родных. — Одинокое заключение.

В марте 1918 г. Совет народных комиссаров с правительственными учреждениями покинул Петербург. Столица была перенесена в Москву. Правительство Ленина—Троцкого благоразумно устроилось подальше от северной столицы, которой угрожала оккупация сначала со стороны Германии, а потом со стороны Антанты. Петербург был превращен в «Вольную трудовую коммуну», позже «Северную Коммуну», под владичеством Зиновьева. Основным законом коммуны в ту пору голода и разрухи было классовое деление жителей по отношению к праву на ежедневный хлебный паек: выдавали приблизительно фунт хлеба рабочим и красноармейцам и одну четверть или восьмую фунта «буржуйам» и интеллигенции, не состоявшим на службе у большевиков. Гражданская война и распад России порождали полный хаос. Среди этого хаоса мы искали дороги к лучшему будущему. Ввиду раздробления России, недавно избранный Всероссийский Еврейский съезд (ВЕС) не мог состояться, и петербургские его делегаты вместе с членами бывшего политического бюро решили образовать из своей среды Национальный совет для осуществления в малом виде больших задач съезда. В совете были пропорционально пред-

ставлены все еврейские партии и группы, частью и социалистические. Я участвовал в нем вместе с другими представителями «Фолкспартей» (Ефройкин, Крейнин, Перельман, Штиф, временно О. Грузенберг и др.). Заседали мы большею частью в новом Еврейском клубе, в помещении бывшего клуба членов Государственного Совета, близ здания последнего у Синего моста. В наши организационные совещания врывался политический хаос и делал всю нашу работу бесплодной. К концу лета, когда Украина «успокоилась» под властью германского ставленника Скоропадского⁶⁴¹, туда устремилось много голодных и ограбленных петербуржцев, и наши ряды стали редеть. Наконец, наш Национальный совет самоупразднился ввиду того, что в это время в Москве образовался Центральный ваад еврейских общин (Цеваад), который имел более широкие полномочия.

Я остался в Петербурге и продолжал свою историческую работу (по истории раннего средневековья в Европе). Только один раз я выступил со статьей о политическом моменте в еврейской прессе, накануне убийства ее большевиками. В еженедельнике «Новый путь», издававшемся Л. Брамсоном и его «Демократической группой» в Москве, появилась в конце июня моя статья «Распад российско-еврейского центра». Там я говорил об исторической Немезиде, проявляющейся в распадении конгломерата «Великой России», и о трагедии разрушения шестимиллионного еврейского центра. Я вложил в уста древнего пророка гневные слова о заслуженной гибели российской Ниневии⁶⁴², царской России, но нашел такие же слова для характеристики «чудовищного всероссийского погрома, именуемого октябрьской революцией». Через несколько месяцев, когда начался массовый «красный террор», такая статья не могла бы появиться без страшных последствий для автора, но тогда можно было еще безнаказанно говорить правду. В то же лето я выступил в собрании для чествования памяти Германа Когена, состоявшемся в зале городской Думы при участии русского писателя Куприна⁶⁴³, проф. Сперанского⁶⁴⁴ и других; я говорил о российских дикарях, пляшущих вокруг идола Маркса, и меня не наказали за богохульство. Мы еще были так уверены в эфемерности большевизма, что готовили ему заранее некролог. Нашелся в Киеве богатый еврей, который ассигновал деньги на издание сборника «Евреи в русской революции», где было бы документально изложено все относящееся к участию евреев в февральской и октябрьской революциях, причем имелась в виду апологическая цель: показать, что евреи были больше жертвами большевистского переворота, чем двигателями его. Редакторами сборника были журналисты И. Яшунский⁶⁴⁵, Д. Заславский⁶⁴⁶ и В. Канторович⁶⁴⁷, которые должны были работать под руководством коллегии «старших» (Л. Брамсон, я, Ефройкин, Л. Штернберг). Мы часто собирались в то лето в квартире на Литейном, где жил издатель (Лифшиц). Один из редакторов, сотрудник газеты «День» Заславский, был тогда бундистом и ярким противником большевиков, но позже он перебежал к ним и сделался столь же ярким преследователем своих прежних единомышленников. Из нашей затеи, конечно, ничего не вышло.

Из дневника 1918 г. (март—август).

26 марта н. с. Вчера кончил II том «Истории»*. Сейчас справлялся в записях: начал составлять его около 1 октября 1916 г. — значит, полтора года работал. Условия работы небывалые: война плюс революция плюс диктатура, по полугодию на каждый плюс. В последнее время писал запоем: наркоз средневекового Востока спасал меня от невыносимой душевной боли... Кончил восточный период еврейской истории, предстоит западный в двух больших томах**, почти сплошь подлежащих переделке.

* Конец II и весь III том в позднейшем десятитомном издании на немецком и еврейском языках.

** Тома IV, V, VI и VII в упомянутом полном издании.

...Хочу бежать в такое место, где можно иметь фунт хлеба в день и быть уверенным, что тебя не убьют и не ограбят. Но мы заперты в этой пещере разбойников, именуемой «Трудовой Коммуной»: дают билеты (на проезд) только солдатам и эвакуируемым рабочим... То, на что я не решился в самые темные времена царского деспотизма: провести остаток жизни за границей — представляется мне теперь единственным исходом...

В последние дни серьезно думаю о том, чтобы мне самому переложить свою «Историю» на древнееврейский язык, так как переводчики портят. Но на это нужны еще несколько лет жизни.

Странные мысли! Мир гибнет: в России гражданская война, на Западе возобновляется кровавая бойня... а я думаю о своих исторических трудах! Не странно ли? Нет. Это только свидетельствует о вечности Духа, о его живучести в смерти. Мы Архимеды при взятии Сиракуз: *Noli tangere circulos teos!*⁶⁴⁸ Это не равнодушие, а напротив — результат чрезмерной восприимчивости, заставляющей искать спасения в Духе, в неистребимом среди истребления.

27 марта (10 час. вечера). Первый вечер Песаха 5678 г. Справляла сейчас «сейдер». Пара лепешек наподобие мацы, испеченных из горсти муки, полученной вместо хлебного дневного пайка (три восьмых фунта), еще кое-что, разделенное с приглашенными внуками и их родителями, — а в результате все остались голодны. В нынешнюю Пасху многие сидят за «сейдером» без мацы и без хлеба. «Нет надобности в „истреблении хомеца“» (заповедь уничтожения остатков квашеного хлеба пред Пасхой), ибо это уже исполнено в будни. Невозможно также прославлять исход из Египта, ибо нас уже нагнали полчища фараонов и вернули в Египет. В нынешнем году мы рабы, а в прошлом (пасха 1917) были свободными — такова Гагада нынешней Пасхи...»

30 марта. ...Страшно жить в хакратии, республике буйной черни и льящихся ей демагогов. Интеллигенция растоптана. Мои соседи профессор Г. и член судебной палаты А. занимаются распиливанием дров у нас на дворе; бывшие адвокаты и лица других интеллигентских профессий продают по улицам газеты, выкрикивая рядом с мальчиками, — а бывшие дровосеки и чернорабочие, большую часть неграмотные, строят государство. И за несколько месяцев их строительства от России остались только клочки...

Третьего дня в совещании об организации Национального совета. Встретились бывшие члены политического бюро, проводившие вечера и ночи в дебатах о делах военного времени (1914—1916)... Вчера, в тусклый день, ходил по Сергиевской улице (был с визитом у виленского соседа Б. Гольдберга) и вспоминал, как в 1882—1884 гг. ходил к Лескову и Бильбасову бледный юноша в плохом пальтишке с пледом, в зимние морозы. Проходил мимо дома № 56 (запомнился даже номер) с тем же строгим темным фасадом, как большинство домов на этой аристократической, а ныне запущенной, грязной улице. 35 лет!..

А вечером принял за «Хасидиану» для «Геовар». Вновь просматриваю страницы, волновавшие меня в годы писания «Хасидизма», манускрипты, собиравшиеся с энтузиазмом в Петербурге, Варшаве, Мстиславле, Одессе в те далекие времена, когда я готовил монументальную постройку еврейской истории... Теперь я достраиваю спешно, не зная, придется ли закончить и «где мне смерть пошлет судьбина»...

31 марта. Яркое солнце в моем кабинете. Сейчас вернулся с моциона. О гнусном настоящем напомнили только грязные тротуары и мостовые, которые отказываются чистить граждане-дворники «трудоустройной коммуны»,

да еще афиши на стенах о национализации и муниципализации разных предприятий. Около одной афиши, возвещающей о митинге с лекцией «Борьба с Богом», стоят женщины и вздыхают... Сколько мести все это будит в стане православия!..

На прошлой неделе, среди работы, узнал из газет о смерти Я. А. Сакера. Вспомнились длинные soirées d'Odessa⁶⁴⁹ в Историко-этнографической комиссии при Обществе просвещения в 1898—1900 гг., с участием Моргулиса, Абрамовича, Ахад-Гаама. Сакер был секретарем и записывал наши прения по национально-культурным вопросам. Еще несколько лет назад при встрече он сказал мне, что книга протоколов у него сохранилась. В Петербурге мы встречались во время издания «Еврейского мира», где он с 1910 г. участвовал, а затем в разных совещаниях с думскими депутатами, в политическом пленуме 1914—1916 гг. В последние годы он ушел в русскую литературу (редактировал «Северные записки»). Умер слишком рано... Я не мог быть на его похоронах, о чем крайне сожалею. Помешали петербургские расстояния и первобытные пути сообщения.

Вышла 1-я книга «Геовар». Прочел дневник Л. О. Гордона за последний год его жизни (1892). Мелко, незначительно; но свидетельствует о богатстве внутренней жизни поэта.

7 апреля. ...На днях мы, здесь живущие делегаты Всероссийского Еврейского съезда и представители партий, наконец учредили тот Национальный совет, который временно должен исполнять некоторые функции несостоявшегося из-за гражданской войны съезда. Я в самом начале произнес горячую, может быть слишком резкую, речь о нашей политической распыленности, не дававшей нам в течение целого года революции созвать съезд, между тем как в России создали свои национальные органы даже полудикие народности. Предстоят еще трения внутри совета. От «Фолкс-партей» туда вошло 8 человек, и я, вероятно, буду самым неаккуратным участником этого «синедриона» (предполагается 70 членов). Уже на этой неделе меня утомили одно заседание там (в Еврейском клубе, рядом с Мариинским дворцом, бывшим Гос. Советом) и пара других поблизости.

Полоса ужасов продолжается. Украинская война кипит... Местами кровавые еврейские погромы. Сегодня читал более точное сообщение о погроме в Глухове: несколько сот убитых или изувеченных евреев. Второй Кишинев, а власть замолчала погром, как в свое время Плевне: для большевиков это лишь мелкий эпизод «гражданской войны»*. Таких, менее кровавых, погромов очень много, но их даже не отмечают. В Киеве еврейские члены Рады вышли из нее в знак протеста против новой гайдамачины. Украинские войска ныне называются «гайдамацкими», и мы в 1918 г. переживаем гайдамачину 1768 г.

Думаю над статьей о раздроблении шестимиллионного еврейского центра в распадающейся России. Но душа болит от современности, и уже тянет к наркозу средних веков. Составляю планы III тома «Истории» (IV и V полного издания). Предстоит сложная переработка. Новая классификация (периодизация): колониционный период Европы (до VIII в.). Организационный период до крестовых походов, затем эпоха испанской гегемонии и т. д. Придется, за отсутствием новых крупных монографий, копаться в материалах научных журналов за 40—50 лет («Revue des études juives» и мн. др.). Но чем труднее работа, тем больше она захватывает...

* Потом оказалось, что большевики замолчали глуховский погром, как и новгород-северский, потому что оба погрома были делом рук красной армии. См. дальнейшие записи.

10 апреля (вечер). Опять разорванность души. Пересказываю от древней Галлии и римских катакомб к публицистическим итогам «Дер хурбан фун Русланд»*, к заседаниям и злобам дня. Вчера сижу в заседании Национального совета, вбегает Лурье (мой секретарь по «Еврейской старине») и сообщает, что явились юнцы из большевистского Комиссариата по еврейским делам и опечатали двери помещения нашего архива-музея (Историко-этнографического общества) на Васильевском острове; обещали прийти завтра, чтобы взять архив в свое ведение. Сегодня получил официальное сообщение от отдела «культуры» в комиссариате: ввиду слухов о «расхищении вещей в музее и архиве», они произведут ревизию. Двое членов этого отдела комиссариата мне известны: книжный клептоман, Бесталковский Берлин, ходивший ко мне года три назад с заметками для «Старины», и некий Бухбиндер⁶⁵⁰, год назад доставивший мне статью о Леванде, переделанную по моим указаниям**. Эти субъекты, очутившиеся в ведомстве Луначарского⁶⁵¹, теперь занялись реквизицией музеев и архивов. Я написал в Академию наук и просил протестовать против экспроприации научного общества.

Завтра придется быть в заседании президиума Нац. совета, куда я избран вчера в квартире старого созаседателя Слюзберга. Опять в Ковенском переулке — как давно это было!

15 апреля (утро). В непривычной суете прошли последние дни. Хлопоты по делу архива, объяснения с помощником комиссара просвещения, неким молодым человеком Гринбергом⁶⁵², который после моего протеста обещал снять печати с архива и музея. Странное чувство было у меня, когда я сидел в том самом зале для ожидающих приема (в здании бывшего Министерства просвещения), где я лет семь назад ожидал товарища министра, чтобы выпросить допущения Яши к экзамену после исключения из университета. Разница была в том, что тогда меня принял последним, после пяти часов ожидания, сухой чиновник-профессор, а теперь принял через несколько минут, вне очереди, болливый молодой человек, который рассыпался в комплиментах «историку», протестовавшему против приемов большевистского правительства***. Пока, однако, архив еще не распечатан. Приехал Ан-ский, и я на него возложу все дело, которое ему и по плечу.

Идя к зданию Министерства просвещения, у Чернышева моста, проходил мимо бывшего департамента Министерства внутренних дел, куда ежегодно раньше ходил за правом жительства. Желтый дворец стоит как-то

* Позднейшая статья на русском языке под заглавием «Распад еврейского центра в России», которую раньше предполагал печатать на еврейском языке в «Фолксблат», между тем прекратившемся. См. дальше под 15 апреля и 12 июня.

** И. Берлин, сумбурная голова с большой эрудицией, был перед тем редактором раввинского дела «Русско-еврейской энциклопедии» (изд. Эфраона), куда внес немало путаницы. Человек аполитичный, он примазался к большевикам, посулившим ему работу. Его книжная клептомания выражалась в том, что он не возвращал библиотекам одолженных научных книг, из которых составил себе домашнюю библиотеку. Он скоро умер, всеми отверженный. — Бухбиндер был позже слушателем моих лекций в Еврейском университете. Он напечатал толковую книгу по истории еврейского рабочего движения в России.

*** Помню беседу с этим юным сановником в бывшем министерском кабинете, в присутствии его чиновников. Я откровенно говорил то, что думал о большевизме и его системе искоренения свободной культуры. Гринбергнисходительно улыбался или слабо возражал, выставляя заслуги большевиков перед еврейством, а русские чиновники за столом с удивлением слушали критику системы, которой сами служили, вероятно прокаянная ее в душе. Лично Гринберг производил хорошее впечатление и скоро оказал много услуг культурным учреждениям и, между прочим, Еврейскому университету. Впоследствии его заподозрили в партийной неблагонадежности и удалили с ответственного поста.

запущенный среди грязной площади, старые жандармы ушли, но пришли новые, которые душат не специально евреев, а всю страну, по другой системе. У меня теперь есть право жительства, но нет многих других гражданских и политических прав, и я задыхаюсь в этой «республике Советов», как раньше в полицейской России. Стоимость моих прав не больше ценности русского рубля, который теперь идет за 5—10 копеек внутри страны.

Среди хождений по делам и заседаний написал статейку для «Фолксблат», под заглавием «Дер хурбан фун Русланд». Говорю открыто, что лучшей участи Россия не заслужила... Спасение для разгромленного еврейского центра вижу только в единении со всемирным еврейством как организованным целым.

Манят изболевшую душу тома «Conzilien-Geschichte» (истории церковных соборов) и прочего научного материала, нагроможденного на моем столе для построения «колониационного периода Европы». А мысль грызет: когда еще это будет издано в стране, упразднившей книгопечатание?..

Вечером. Сейчас прочел новые сведения о резне в Глухове. Убивали и грабили евреев красная армия и крестьяне из окрестностей. Взволнованный, я вставил еще несколько гневных строк в только что написанную статью о гибели России...

26 апреля. ...Вчера в заседании Национального совета принята декларация об антиеврейских погромах. К концу заседания явился Крейнин и, взволнованный, сделал внеочередное заявление о том, что в Москве германский посол Мирбах предъявил неисполнимые требования и что через пару часов может быть объявлена война Германии. Мы выслушали, кто-то шутливо сказал в подражание известному жесту Карно⁶⁵³: «заседание продолжается», и прения продолжались...

Третьего дня заседание по вопросу о еврейском факультете в нашем политехникуме в Екатеринославе, теперь занятом украинцами и немцами. Судили и рядили о программах, хотя указывалось, что неизвестна и будущая судьба Екатеринослава и участь политехникума. Участвовали писатели, профессора, инженеры... Ходил на заседание через Летний сад, мимо памятника Крылову, вокруг которого резвились дети, как 35 лет назад, когда я впервые гулял с И. по этому саду. Предвечернее небо сияло ласковой улыбкой над адом «Петроградской Коммуны».

28 апреля. Сегодня объявлено об уменьшении дневного пайка хлеба до одной восьмой фунта. До сих пор голодали при трех восьмых, а теперь придется медленно умирать с голоду. Сегодня мы купили для наших двух семейств один пуд картофеля (он давно исчез с рынка) за 120 руб. вместо прежней цены 80 коп. Зато большевики готовят для «народа» веселую манифестацию 1 мая. А кровь льется везде, от Финляндии до Кавказа...

30 апреля. Сижу усталый над Италией остготов. Вчера вечером прочел вступительную лекцию на Курсах палестиноведения, при открытии их*. В антракте, когда разговаривал с Крейниным по поводу его выхода из «Фолкспартей», прибежал О. Грузенберг, не заставший меня дома, с заявлением, что он выходит из партии, к которой лишь недавно примкнул**.

* Петербургские сионисты открыли тогда временные Курсы палестиноведения. Читали, насколько помнится, Б. Гольдберг, А. Идельсон, основатель «Гехалуц»⁶⁵⁴ Трумпельдор⁶⁵⁵, братья Бруцкусы и др. Я читал историю Палестины после падения Иудейского государства.

** М. Н. Крейнин, насколько помню, вышел не из партии, а из фракции «Фолкспартей» в Национальном совете, вследствие разногласий в тактике ее по отношению к сионистским членам.

Мотив (тщательно скрываемый) — неизбрание его в президиум Национального совета... Этот талантливый, прославленный адвокат страдает манией представительства...

7 мая. ...Финляндия, Балтика, Украина, Крым — все захвачено немцами, которые ведут себя как звери. В Украине они только что сбросили левую Раду и поставили диктатора Скоропадского, из правых полковников бывшей русской армии... На всем русско-украинском фронте банды большевистской красной армии, отступая трусливо перед немцами и гайдамаками, вознаграждают себя еврейскими погромами, а гайдамаки особо исполняют свою историческую миссию Железняка и Гонт...⁶⁵⁶ Кровь, безумие, голод, нищета, диктатура слева и справа, беспросветность и бесконечность этого ужаса — вот что убивает душу... Сейчас у меня было заседание «Фолкспартей» — судили, рядили, забывая, что мы обреченные. Вот в нашей маленькой семье осталась пара фунтов муки — еще раз спечь хлеб на три дня, а затем голод, ибо нельзя жить на выдаваемый паек, одну восьмую фунта хлеба. Кругом то же: голодают дети малые, хотя отдаешь им последнее. Мои маленькие внуки подбирают крошки хлеба со стола даже после еды...

10 мая. Открытая погромная агитация против евреев в Петербурге, Москве и других городах. Об этом говорят в очередях у лавок, на улицах и в трамваях. Народ, озлобленный большевистским режимом, валит все на евреев...

Сегодня прочел случайно дошедшее описание резни в Новгород-Северске: вырезано около полусотни неповинных евреев (19 апреля). Между убитыми старый писатель Слуцкий⁶⁵⁷, который меня знал еще в детстве, когда он слушал «шиур» моего деда в Мстиславле... До чего мы дожили! К р а с н а я армия с душой прежней «черной сотни» льет нашу кровь, а скоро это повторится уже под открытым черносотенным флагом, по обвинению нас в большевизме и в погублении России... Мы гибнем от большевиков и погибнем з а них.

29 мая. Сегодня кончил крайне сложный отдел «Истории» — колониационный период Европы, написанный заново...

Антисемитизм растет даже в интеллигенции. Нас винят за большевизм царствующих ныне ренегатов еврейства: Троцкого, Зиновьева, Володарского⁶⁵⁸ и тысяч мелких карьеристов, примазавшихся к платящему жалованье правительству Ленина.

...Удлинились белые ночи, и сейчас смотрит на меня через окно этот белый ночной призрак Петербурга. Пролетел милый Шовуос с памятью о Линке.

1 июня. Вчера закончил лекции на Курсах палестиноведения, дочитав лишь до конца средних веков. Оттуда отправился к депутату Фридману на заседание бывшего политического бюро для ликвидации архива войны и прочих документов; их решено передать нашему Историческому обществу, а копии некоторым учреждениям. Опять встретился участнику поздних ночных заседаний 1914—1916 гг. Опять прошла по *Via dolorosa*⁶⁵⁹ на Захарьевскую и вспомнил темные холодные вечера до революции, когда мы до двух часов ночи терзались и друг друга терзали бесплодными спорами о борьбе с ужасами военной инквизиции...

Днем раньше заседание по поводу издания книги «Евреи в русской революции». Кто-то дает крупную сумму на это издание, пригласили меня в редакторы с большим гонораром; я отказался, а вошел только в совет для содействия собиранию материалов последнего бурного года, которые потом поступят в архив Историко-этнографического общества. Авось эта

книга хоть кой-кого убедит, что еврейство и большевизм не одно и то же, да и послужит материалом для истории нашего безумного времени. А сейчас у меня заседал комитет «Фолкспартей». Судили о нашей московской конференции, откуда вернулись делегаты, о Национальном совете, о поездке Ефройкина в Киев для занятия поста товарища министра по еврейским делам. Тут же оживленно болтали, шутили, как будто не все мы обреченные morituri...⁶⁶⁰ Что будет дальше, когда осуществится наглая угроза Зиновьева, главы «Петроградской Коммуны»: «Мы дадим полфунта хлеба в день рабочим, а буржуям только одну шестнадцатую, чтобы не забыли запаха хлеба, а потом переведем буржуев на размолотую солому»? Другой представитель «Коммуны», Володарский, темная личность из евреев, душит всю местную оппозиционную печать, закрывает газеты. В революционном трибунале он на днях заявил, что задушит всю враждебную большевикам прессу как «контрреволюционную».

7 июня. Три дня писал на машинке по-русски воспоминания об Абрамовиче, написанные по-еврейски в конце минувшего декабря, в траурный месяц. Кое-где дополнил. И опять щемило сердце при воспоминании о «допотопном» периоде моей жизни... Вчера в заседании Национального совета. Мелко, вяло, малолюдно; страсти разгораются только при партийных пререканиях. У всех руки опустились.

12 июня. ...Написал для московского «Нового пути» статью о распаде русско-еврейского центра (переделка статьи, недавно написанной по-еврейски для другого издания). Статья нецензурна для нынешних тиранов, как были нецензурны для царских жандармов мои статьи, писавшиеся три года назад («Inter arma»).

На днях говорилось о поездке в Мстиславль, единственное место, где я мог бы провести лето без научного наркоза. Я бродил бы там по могилам детства и юности, говорил бы с живыми реликвиями былого, шептался бы с тихими улицами, садами, синагогой, рекой и синевшим за нею лесом, поплакал бы на могилах деда и родителей. Но добраться туда очень трудно по железной дороге, а часть пути на лошадах не безопасна от разбойников...

Опять вхожу в эпоху Карла Великого.

19 июня. После трудового дня над историей ездил на Сергиевскую улицу к Гольдбергу за обещанными десятью фунтами муки, которые он уступил из своего запаса. Без нее мы через пару дней остались бы без хлеба...

Из Сибири луч надежды. Там свергнуты большевики. В Самаре чехословаки; восстановлен режим Временного правительства с лозунгом Учредительного собрания.

23 июня. Упорные слухи об убийстве Николая II в Екатеринбурге, при наступлении чехословаков. Убили красноармейцы. Совет (народных комиссаров) опровергает, чуя опасность монархического движения. Михаил Романов бежал из Перми и будто бы пустил манифест по Сибири. Здесь, в П-ге, убит один из наиболее подлых членов Совета «Коммуны», Володарский, душивший печать, закрывший сразу все оппозиционные газеты. Сегодня большевики хоронят его на Марсовом поле. Грозят мстостью и «беспощадным истреблением» противников. Сколько еще впоследствии падет невинных еврейских голов от рук черносотенцев, которые будут мстить соплеменникам Володарского за его деятельность!..

Голод здесь чудовищный: даже одну восьмую хлеба перестали выдавать. Зато «рабочим» выдают массу продуктов... Морят голодом всю оппозицию, т. е. девять десятых населения, над которым издевается одна

десятая вооруженных наемников, опричников «коммунизма». — Бегут из Петербурга в Украину и другие места...

7 июля. Знойные дни, а Пенелопа неустанно ткала свою бесконечную ткань. Стол завален источниками, голова полна историческими комбинациями, и рисуются картины загадочных веков Италии и Византии, от VIII до конца XI вв. Сегодня закончил эту главу и даю простор душам дня...

Вчера в Москве убили германского посла Мирбаха, которого лишь накануне эсеры (левые) обозвали на съезде негодяем и кричали ему: вон, долой!.. Весьма вероятно оккупация немцами Петербурга и Москвы... Сейчас доносится со стороны Невского пальба, и думаешь: не начинается ли?..

35 лет ежедневно проклинал царский деспотизм, теперь кляню его занку: «диктатуру пролетариата»... Дней десять назад произнес речь в собрании в память Германа Когена и заключил ее сопоставлением его этического социализма с нынешним кулачским, идеала с идолом, вокруг которого пляшут дикари.

Намечается возобновление «Еврейской старины». Совет общины здесь ассигновал для нее субсидию в 10 000 рублей, ждем от Москвы столько же, и тогда приступлю к приготовлению годового тома.

8 июля. Стрельба, слышавшаяся вчера, оказалась эпизодом гражданской войны: перестреливались из пулеметов боевая дружина левых эсеров, засевшая в Пажеском корпусе, и красноармейцы-большевики. Дружина сдалась... Посол Мирбах убит эсерами⁶⁶¹. Что еще скажет Германия, неизвестно...

19 июля (вечер). Вернулся сейчас расстроенный из заседания Национального совета, где обсуждался вопрос, быть или не быть этому органу ввиду избранного московским съездом Центрального совета Союза еврейских общин, к которому должны перейти и политические функции. Я с «Фолкспартей» стоял за роспуск Нац. совета (в П-ге) и сосредоточение сил в Центральном совете (московском «Цеваад»); сионисты и другие возражали. Прения были горячие и за поздним временем не закончились.

Сегодня жуткое известие: в Екатеринбурге расстрелян развенчанный царь Николай II по решению местного совдепа, т. е. нескольких рабочих и красноармейцев, ввиду наступления чехословаков и «белогвардейцев». Для узника, терзавшего Россию 23 года, готовился суд всенародный, суд Учредительного собрания, а его убила шайка темных, едва ли трезвых людей...

Людям 3-й и 4-й категории по хлебному пайку, т. е. интеллигентам и «буржуйам», сегодня приказано подметать улицы, чистить дворы, служить санитарями при холерных больных, в то время как высший класс, т. е. рабочие и красноармейцы, будут творить политику России... Вчера был Тише-беав.

25 июля. Вчера окончил «организационный период» в Европе, до крепостных походов. Работал с 8 час. (т. е. с 6 час. по солнцу) утра до 10 час. вечера... Надо взяться за редактирование большого сборника «Старины». Уже сегодня сняты со стола груды средневековых источников и заменены рукописями из «портфеля редакции»...

Восставший Ярославль после трехнедельного геройского сопротивления разрушен, сожжен, и сотни вождей восстания расстреляны большевиками... Голод, вместо гибели, принесет правящим насильникам спасение: к ним бегут на гражданскую и военную службу ради увеличения хлебного пайка. Иначе теперешняя военная мобилизация среди рабочих

не удалась бы. Только у этих продавшихся сытые лица, а все другие еле передвигают ноги на улицах.

Жутко ходить теперь по Петербургу. Город вымирает. Огромные массы уехали. У новейших полицейских участков, «комиссариатов», сотни несчастных в очереди, ждут хлебных карточек с удостоверением «категории». Рабочие причислены к первой, высшей категории, получающей больше хлеба, а часто яйца и жиры, между тем как интеллигенция причислена к третьей категории с восьмушкой фунта хлеба, без жиров и прочего... Так водворяется «равенство». Свобода осуществлена запрещением всех газет, кроме большевистских... Здесь уцелела лишь одна «Речь» («Век») благодаря своей осторожности.

С запада свет: побеждает франко-англо-американская армия и отгоняет немцев... Опять слухи о близких мирных переговорах... Но до спасения Петербурга далеко. Без потоков крови хозяева «Северной Коммуны» не уйдут, а немцы их временно поддерживают против западных союзников.

3 августа. Углубился в редактирование «Старины» и долгими часами заглашу в себе звуки дня, страшные звуки Бедама, соединенного с бойней... Третьего дня миновало четырехлетие мировой войны... А сегодня телеграмма с речью кайзера Вильгельма, что он «с Божьей помощью» вступает в пятый год войны и т. д.

5 августа. Со вчерашнего дня закрыты «Речь» («Век») и все вечерние «буржуазные» газеты. Остались только большевистская «Правда» да еще уличная «Красная газета» маратовского типа⁶². Теперь мы в полном мраке...

9 августа. При отсутствии независимой печати мы во власти слухов, лишь намеками подтверждаемых в официальной «Ажи», выходящей под псевдонимом «Правда». Близится как будто оккупация Петербурга немцами... Большевики будут сжаты между надвигающимися с севера и востока союзниками и германской оккупацией Петербурга. Они теперь мечутся, скликают красноармейцев...

18 августа. Где-то далеко грохочут смертоносные орудия, кипит гражданская война в бывшей России, готовится новое Ватерлоо на севере Франции для нового Наполеона, Вильгельма. А здесь, в вертепе «Северной Коммуны», опять тихо: не ждем ни немца, ни англичанина. Вымирает голодающий город... В вечерние моционы хожу по этому кладбищу. Предомно огромный труп Петербурга: пустынные улицы, малообитаемые дома, редкие прохожие с унылыми лицами и походкой расслабленных. Сегодня, устав от редактирования статей (для «Старины»), решил отдохнуть. Днем гулял с внуками, вечером один в Ботаническом саду с томиком Гюго в кармане.

26 августа (вечер). Осиротел. Уехала Соня с детьми и мужем, в надежде прорваться сквозь кордон военных оккупаций к родным в Люблин. Часа три назад вернулся с проводов на вокзал с щемящею болью в сердце. Как вынесут малютки тяжесть долгого пути, как узнать, что с ними там, за большевистскими, германскими и австрийскими кордонами? Считаю для них спасением отъезд в край, где нет голода, дикого террора и сплошного разбоя, но сам-то я отрезан от них. Погасли последние искры. Субботы будут без Али к обеду и Вити после обеда, без детского шума, без вдумчивых вопросов Али по библейской истории, которую он почти уже знает по моим устным рассказам...

Последние дни внуки почти сплошь проводили у нас, а работа по «Старине» шла усиленно. Проредактировал и сдал в набор большую половину книги. Устал. Надо отдохнуть в полном уединении, но жутко это

одиночество в тюрьме, где ежедневно истязают и истребляют заключенных... Жутко в логовище зверей. Год назад в августовские дни бродил по берегу тихого залива Балтики, тосковал о мире в залитом кровью мире... Мира нет: к международной войне на Западе прибавилась звериная гражданская война в России... Нет покоя внутреннего, о котором я мечтал, и теперь, в полупасмурный день петербургского августа, я спрашиваю: когда же конец?..

Глава 63

В дни красного террора (сентябрь—декабрь 1918)

Массовый красный террор в ответ на попытки «белого террора». Самоотверженный юноша и «дева-змиенида» против «Маратовых жрецов». — Страшный аппарат Чрезвычайной комиссии для борьбы с контрреволюцией (ЧЕКА). — Бегство из Петербурга. — В котлах голода и холода. — Бежать или остаться? — Первые вестники мира в Западной Европе. — Мои статьи «Что нам делать на конгрессе мира?» и «Национальные права еврейского народа». — Советская орфография. — Голос из английской Палестины и грезы древней родины. — «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Гаснущий мировой пожар войны. Ноябрьская революция в Германии. «Демократическая Европа пойдет освобождать Россию от тисков анархии». — Работа по истории еврейских средних веков. — Обед в общественных столовых. «Когда же придут англичане?» Потеря хлебных карточек. В очереди за дровами. Троцкий запретил подвоз продовольствия в Петербург. Овес вместо хлеба. — Работа в ученых комиссиях. Учреждение Еврейского университета (декабрь 1918).

Ранней осенью 1918 г. мы вступили в новый круг большевистского ада, в полосу массового красного террора. Убийство Урицкого и покушение на Ленина разъярили большевиков, и они решили осуществлять свою диктатуру во всей ее жестокости. Отныне настоящим правительством Советской Республики становится Чека, Чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией. С сентября 1918 г. она призывает к массовому красному террору, арестовывает и посылает людей на казнь целыми сотнями. Расстреливают не только за действия против советской власти, но даже за слово и за мысль. Как в военное время, хватают заложников из противных партий и при первой неудаче убивают их. С этого момента усилилась и красная армия, создание рук Троцкого. В красную армию шли десятки тысяч голодных, чтобы «подкормиться», и военные власти вырывали у гражданского населения последний кусок хлеба изо рта для прокормления этих наемников, спасавших трон Ленина. Жизнь в Петербурге стала еще более кошмарной, чем прежде. И единственной светящейся точкой во мраке были великие события на Западе: прекращение войны, разгром монархической Германии и ожидаемое вмешательство Антанты в русские дела. В конце 1918 г. Петербург ожидал англичан как спасителей, но у союзников было слишком много дела для залечивания ран войны у себя дома, и они медлили с интервенцией. А мы в «Северной Коммуне» погибали от голода и холода, ибо кроме хлеба исчезли и дрова. Как жилось и работалось при этих условиях, подробно рассказывают мои записи, из которых здесь делаю лишь самые краткие извлечения, характерные для положения всех узников тогдашнего «красного Петербурга».

3 сентября. Террор оппозиции является как логический ответ на террор правительства. Та самая партия эсеров, которая некогда бросала бомбы в царских инквизиторов, Плеве и т. п., теперь выдвигает «боевиков», которые стреляют в деспотов большевизма. В один и тот же день, 30 августа, здесь убит Урицкий, начальник Комиссии для борьбы с контр-

революцией, подписавший за последнее время сотни приказов об арестах и казнях, а в Москве ранен сам большевистский царь, Ленин; Урицкого (к нашему позору — еврея) убил молодой еврей Каннегисер⁶⁶³, отца которого, инженера и директора заводов, я встречал в заседаниях по еврейским общественным делам. Ленина тяжело ранила еврейская девушка Каплан⁶⁶⁴, кажется курсистка, новая Шарлотта Корде, пошедшая на Марата⁶⁶⁵. И самоотверженный юноша, и «дева-Эвменида», двинувшиеся против «Маратовых жрецов», заявили, что мстят за поруганную свободу, растоптанную демократию, разогнанное Учредительное собрание, расстрелы тысяч честных борцов... Хорошо, что именно евреи совершили этот подвиг: это — искупление страшной вины участия евреев в большевизме...

Пока ответом на единоличный террор является свирепый массовый террор со стороны большевиков. Уже на могиле Урицкого призывали в речах к полному «истреблению буржуазии и белогвардейцев»; в газетах — сотни кровавых резолюций с призывом к мести, массовым казням и расстрелам без суда. Идут чудовищные аресты здесь и в Москве, хватают всех заметных деятелей оппозиционных партий. Здесь и в Москве разгромлены английские консульства; при обыске убиты здесь агенты английского правительства, арестованы прочие...

Длится усиленная редакционная работа «Старины»... Страшит неизвестность близкого будущего. Давит петля голода... Своей разбойничьей гражданской войной большевистская армия отрезала Петербург от всех источников питания, и огромный город умирает... В Самаре организуется новое правительство, подготавливается учредительное собрание...

4 сентября. Ужасы. Массовые расстрелы. Говорят о нескольких сотнях расстрелянных «буржуев» и антибольшевиков, о кучах трупов за городом. «Красная газета» оповестила о 500 расстрелянных, обещав опубликовать имена, а сегодня в этом пропитанном кровью листке Зиновьева появился декрет комиссара внутренних дел Петровского⁶⁶⁶ (бывшего депутата 4-й Думы) о сплошных арестах буржуев, правых эсеров и вообще «белогвардейцев» в качестве заложников, которые будут уничтожаться тысячами. В городе тревога. Были обыски и аресты у знакомых. Каждый прикосновенный к политической деятельности боится: ночью к нему могут ворваться и забрать. Московская Корде (Каплан-Ройде) уже расстреляна: суд скорый, который поднимет Ленина с постели.

6 сентября. Чудовищное случилось. Официально объявлено, что на днях расстреляно 512 «контрреволюционеров и белогвардейцев», в том числе и 10 правых эсеров, во исполнение резолюции рабочих-большевиков о «беспощадном красном терроре». Имена казненных, как водится у инквизиторов большевизма, не опубликованы, и мы даже не знаем, кто эти мученики. Зато опубликован список арестованных заложников, которые будут казнены при первом покушении на большевика. Пестрый список уцелевших членов дома Романовых, банкиров, купцов, офицеров и малоизвестных правых эсеров (между ними знакомый юноша, сын покойного В. Бермана⁶⁶⁷, оставшийся сиротой после смерти отца). Комиссия по борьбе с контрреволюцией объявляет, что «продолжение будет» и список еще пополнится... Троцкий говорит о «крови и железе», подобно Бисмарку...⁶⁶⁸ Странно, что личного-страха я при этом не испытываю. Ведь и меня могут взять в заложники от «белогвардейцев» (хотя я никогда таким не был) и улчить меня в ненависти к новому абсолютизму на основании этого дневника. Дорогой мне дневник иногда прячу среди книг моей

библиотеки, как некогда в дни ярости царизма, при ожидании обыска. Тогда мне грозила бы ссылка в Сибирь, теперь — расстрел.

8 сентября н. с. (второй день Рош-гашана, когда мне исполнилось 58 лет). Ввиду перехода от старого стиля к новому, мое старое 10 сентября потеряло прежнее значение, и я решил отныне приурочить годовщину рождения к подлинной еврейской дате: второму дню Рош-гашана, когда, по словам покойной моей матери, я появился на свет. Этот день я провел так. Утром — корректура Пинкоса (Литовского, приложение к «Старине»). Затем чтение «Правды» с кровавыми речами Зиновьева и прочих Маратов, разжигающих зверские инстинкты масс, с резолюциями большевиков, объявляющими «вне закона» всех белогвардейцев, меньшевиков и правых эсеров... Убитый палач Урицкий провозглашен святым, и Таврический дворец, где он разогнал Учредительное собрание, будет назван «Дворцом Урицкого». Ленин же, находящийся на пути к выздоровлению, возведен просто в божество, и его именем клянутся истреблять, казнить, расстреливать. Комиссия для борьбы с контрреволюцией (т. е. контрбольшевизмом) объявлена дорогим народом учреждением («Народ любит эту комиссию», — нагло сказал Зиновьев в своей речи).

Отравив душу этим чтением, поехал с И. на обед к Розе Эмануил, чтобы вспомнить старое. Но и тут ворвались страшные звуки ддя: одного юношу-прапорщика из нашей среды взяли заложником в Москве... После обеда пошел к [живущему] поблизости сотруднику «Старины» (д-ру И. Тувиму) с корректурой и нарочно завернул на угол Троицкой и Измайловского проспекта, где взглянул на нашу обитель 1883—1884 гг...

11 сентября. ...Декрет о замене нынешних домовых комитетов «комитетами бедноты» (комбед) из большевистских жильцов, которые должны быть расселены в «буржуазных» квартирах для «наблюдения», т. е. шпионства. Они не должны допускать в этих квартирах собраний, совещаний и даже покупки предметов первой необходимости у «мешочников». А так как при отсутствии хлебного пайка мы все покупаем у этих разносчиков муку по 12 руб. за фунт и прочие предметы, то это значит обречь десятки тысяч семейств на голодную смерть.

Днем посетители... Отовсюду один стон: надо бежать из петербургской бойни, от голода и пули, ареста и разбоя... Но куда? Как же мне оторваться от того, что меня живит: писания, дум, книг? Ведь в мою опустевшую квартиру тотчас вселят хулиганов, которые уничтожат весь труд моей жизни... Следует ли спасти жизнь, отказавшись от смысла жизни?

15 сентября (вечер Иом-киппур). Сейчас дописал «Библиографию» для тома «Старины», а теперь творю молитву без слов: «Кто от меча и кто от голода?» Как близка эта альтернатива: смерть от голода или от пули красноармейца!.. Случайно узнал, что первыми жертвами после покушения на Ленина пали наши недавние лютые враги, царские министры Щегловитов, Маклаков, Хвостов и др. Полтора года сидели они в заточении и ждали народного суда, открытого, справедливого воздаяния, а вместо этого исторического акта люди-звери просто растерзали их во мраке тюрем и даже в газетах об этом не помянули... Люди бегут отсюда в отчаянии, бросая все.

16 сентября (вечер, Иом-киппур). С утра хмурилось небо над преступной землей. После полудня оделся, впервые по-осеннему, и пошел в Ботанический сад. Сел на скамью, смотрел на опавшие листья... Думал: среди голода, холода, красного террора уже доживу кое-как, лишь бы не по-

рвалась связь с прошлым, цельность души. Но если в мою обитель ворвутся и отнимут плод многолетнего труда — манускрипт «Истории», заберут мои дневники за 33 года, — они отнимут часть моей души, разрушат и смысл жизни, и цельность жизни... Возвращался по липовой аллее на берегу Невы и думал: уйти или остаться? Оторваться от алтаря и спасти жизнь или остаться на посту и спасти душу, не разрывая нитей прошлого?

Выслушал посетителя, приехавшего из Украины, Дона, Белоруссии и рассказавшего, как живет там под немцем, гетманом и атаманами. Печально везде...

20 сентября. Вчера сделал опыт, о котором давно думал: стал писать духовное завещание, на случай если нынешний ангел смерти внезапно прервет мою жизнь. Написал вступление и первые пункты, касающиеся моих «осиротевших детей духа», незаконченных больших трудов, попечение о которых поручаю исполнителям моей последней воли, — и бросил. Опять ясно увидел, что нет пользы поручать другим достраивать недостроенное здание, план которого унесу с собою в могилу... А как важно пристроить детей духа, убедил меня сейчас один из многих примеров. От стокгольмского раввина Эренпрейса получил письмо, что не дождавшись от меня нового введения в «Историю еврейского народа» для сборника о евреях на шведском языке, он поручил перевести для этой цели мой старый очерк «Что такое еврейская история» с немецкого перевода Фридендера. А между тем мои исторические воззрения давно уже опередили этот поэтический очерк, написанный в 1892 г. Давно думал о его переделке... Такой же переработки ждут многие исторические монографии...

22 сентября. ...После того, как лозунг Ленина «Грабь награбленное!» привел к полной почти экспроприации имущих классов и даже неимущей интеллигенции, теперь пущен в ход лозунг: «Пролетариат есть господствующий класс и должен проявить свое господство лишением прав всех своих классовых и политических противников». При этом «лишение прав» понимается шире, чем в царские времена: лишают права на хлеб (классовый паек 3-й и 4-й категорий) и пр...

Прервал меня приход Лурье, секретаря нашего комитета (Исторического о-ва), которого в качестве «буржуя» (он получает у нас жалование, которого теперь не хватает на хлеб) тащили в последние дни на «трудовую повинность»: грузить снаряды в вагоны. Он с целой партией интеллигентов проработал полдня без еды и даже глотка чаю и вернулся больной.

Все грознее вопрос питания... То не хватает хлеба, то картофеля, молока, масла, сахара, дров. Ида ходит на базар и часто возвращается ни с чем. Я колю щепы для маленького переносного очага и помогаю чем могу. Приходит мешочник с мукой, картофелем, молоком — покупаем по базисной цене, расходуем по несколько сот рублей, а через несколько дней опять остаемся без припасов. Скоро истощатся наши сбережения (денежные), и тогда...

28 сентября. ...Уже тянусь к работе по средним векам, строю широкие планы, но ежечасно грызут заботы о хлебе, дровах, одежде и приходится делать часть домашней работы...

8 октября. Ближится что-то грандиозное. После выхода из войны, поражения турок в Палестине и победного шествия союзников на французском фронте Германия взмолилась о мире. И она, и Австрия уже соглашаются на всю программу Вильсона...⁶⁹ Мир, затаив дыхание, ждет ответа союзников... Неужели близится конец мировой войны, перевер-

нувшей всю нашу жизнь? Неужели возродится мирная культура, будет раздавлен милитаризм, возникнет Лига народов, все то, о чем мы мечтали? Неужели после примирения народов будет положен конец и дикой гражданской войне в России, и крестоносцы возродившейся цивилизации пойдут усмирять зверей, надевших социалистические маски? Неужели мы скоро вернем себе элементарные гражданские права, безопасность личности, неприкосновенность жилищ, свободу слова и собраний? Неужели скоро перестанем голодать?..

14 октября (утро). Все еще возился с корректурами «Старины». Вчера написал для книжки «Фолкспартей» статейку на тему дня: «Что нам делать на конгрессе мира?» * ...Теперь на очереди другая работа, от которой не могу отказаться ввиду возможной близости мирного конгресса: статья о еврейской национальной автономии для издаваемого в Стокгольме на нескольких языках сборника статей политических деятелей — Нордау, Зангвиля⁶⁷⁰, Эд. Бернштейна, Трульстра⁶⁷¹ и других...⁶⁴

Вечер. Близость освобождения не только Петербурга, но и всего мира от долгого кошмара ободряет, поднимает дух. И на вопрос едущего в Украину Ефройкина, не поеду ли и я, я ответил отрицательно. Останусь здесь в ожидании освободителей, международной оккупации или чего-либо в этом роде...

16 октября. Для того, чтобы меня перевели из третьей категории по хлебным карточкам в первую, дающую теперь право на три восьмых фунта вместо одной шестнадцатой (в силу нового декрета о преподавателях высших учебных заведений), я и Ида уже несколько дней ходим по канцеляриям за удостоверениями, подписями, печатями. Чтобы получить по рецепту врача фунт сухарей и полфунта кухонного жира, бедная Ида должна стоять в десятках очередей на холоде, а затем целый день в кухне на маленьком очаге (дров для плиты нет) стряпать из скудных припасов, чтобы утолить голод. Рубим старую мебель на щепы для очагов, ибо дров нет, да они так дороги, что дешевле разрубить шкаф и топить щепами (200—250 руб. сажень дров)...

20 октября. Пишу статью «Национальные права еврейского народа» для стокгольмского сборника. Посреди работы на машине глаз упал на старую книжку: «Tusculanae Disputationes» Цицерона⁶⁷². Текст первых страниц испещрен моими замечаниями. Надпись «1 ноября 1884» перенесла меня в другой мир: кабинет в Мстиславле, юный отшельник над грудою книг...

24 октября. Новая репрессия: для получения из банка денег из своих, ныне жалких, сбережений нужно удостоверение от домового комитета и

* Статья на идиш, напечатанная в октябрьском выпуске летучих брошюр «Фун цайт цу цайт», в Петербурге. Там развита идея о борьбе за права еврейского национального меньшинства на предстоящем всемирном конгрессе мира. Относительно политики российских еврейства я ограничился указанием на «нынешнюю свободу прессы» в царстве большевиков, которая заставляет меня умолять о многом.

** С этим предложением обратились ко мне летом и затем осенью 1918 г. из Стокгольма Л. Хазанович и А. Моцкин⁶⁷³. В октябре я написал обширную статью «Национальные права еврейского народа» (см. ниже под 20.X), где доказывал необходимость отстаивать на мирном конгрессе прежде всего международное признание евреев нацией, против стремлений правительств (в особенности польского) и ассимилированной части еврейства. Ввиду расстройств путей сообщений и еще не снятых военных кордонов, я послал свою статью в Копенгаген или Стокгольм окольными путями, и я несколько лет не знал, дошла ли она по назначению. Позже, уже в Берлине, я узнал от Хазановича, что статья дошла, но издание сборника не состоялось. Так она и осталась ненапечатанною.

совдепа (совета депутатов) районного, и то выдадут только «прожиточный минимум»...

Договорились. «Государство есть насилие, — сказал недавно Ленин, — раньше творила насилие буржуазия, теперь пролетариат...» А мы-то думали иначе: что государство должно быть результатом свободного соглашения всего народа в целях замены насилия справедливостью и законностью...

26 октября. Погрузился сейчас опять в эпоху крестовых походов... Сижу, после дня острых мелких забот, в своем холодном кабинете и греюсь в лучах воспоминаний...

31 октября. Колоссальный политический переворот, назревающий во всем мире, заслонен от нас завесой варварства, именуемого большевизмом. Мы отрезаны от мира, от свободной прессы, лишены почтовых и телеграфных сношений. Австро-Венгрия распадается... Униженная Германия уверяет Вильсона, что мир готово заключить народное правительство, подчиненное парламенту. Уходят боги войны: Гинденбург⁶⁷⁴, Людендорф⁶⁷⁵, ждут отречения Вильгельма... Брестский мир лопнет с падением Германии... Зараза большевизма пугает весь мир, и если только мирные переговоры приведут к желанному результату, цивилизованная Европа двинется крестовым походом на большевистскую Азию... Говорят о скорой оккупации Петербурга по соглашению между Германией и союзниками...

...А пока у нас то же: торжество хамократии... Некий Лисовский⁶⁷⁶, комиссар печати в «Северной Коммуне», запретил выпустить в свет даже к н и г и, напечатанные не по новой, безграмотной орфографии, декретированной большевиками. И приходится для выпуска тома «Старины», заканчивающегося в печати, согласиться на то, чтобы заглавный лист и последние три страницы печатались по старой орфографии. Для этого я поместил на обороте заглавного листа, где раньше помещалось «дозволено цензурою», заметку редакции, что по предписанию комиссара печати такие-то страницы печатаются по орфографии, «декретированной в Российской Советской Республике». Хамы не заметят иронии, а читатель поймет и потомок узнает...

Читал сейчас номера иерусалимской газеты «Хадашот ме-гаарец» от августа нынешнего года, проникшие сюда через Стокгольм. В оккупированной англичанами Палестине радостно и спокойно. Заложен фундамент Еврейского университета на Гаргацофим с большим торжеством. Организатором торжества был старый приятель Мордохай бен Гилель Гакоген из Гомеля и Речицы... Вспомнилось давнее, дотюремное время. Грезилось путешествие в Палестину через два-три года, когда кончу главный жизненный труд, согласно давнему обету. И кто знает, не зачарует ли меня историческая родина, не прикует ли новый университет, не убавляет ли песнь Иудеи истомленного сына диаспоры? Может быть, мне суждено умереть там, где мне хотелось бы начать жить, если бы я мог иметь вторую жизнь... Так горячи эти грезы под сводами холодной тюрьмы...

9 ноября. Живем как будто не в Петербурге, а в деревенской глуши. Отрезаны от мира, где совершаются великие перевороты. Даже живые газеты большевиков не выходят: уже третий день они празднуют, справляя годовщину своей «великой революции», т. е. прошлогоднего октябрьского захвата власти, уничтожения свободы и водворения кровавой диктатуры «пролетариата». Торжества, иллюминации, митинги, афиши, на которых пестрят лозунги разбойников: «За горло буржуазию и колена ей на грудь!», «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем». По-

следний возглас, стишки уличного поэта*, я слышал также от бегущих по улице мальчишек...

А всеобщее перемирие близится в Европе... Близится момент международной оккупации России... Английский флот будто уже прошел через Дарданеллы в Черное море...

Я весь ушел в эпоху крестовых походов. Работаю с раннего утра до позднего вечера. Утром — при лампе, как некогда дед в Мстиславе. Сижу в пальто, в нетопленной комнате; питаюсь чем Бог пошлал...

11 ноября (полдень, посреди работы). Наконец-то: революция в Германии. Отречение Вильгельма II. Свалился столп монархизма и милитаризма. В Баварии республика. В некоторых частях — советы рабочих и солдат по русскому образцу, если верить телеграммам большевистских газет. Творится в муках новый мир. Величайшая война должна была вызвать величайшую революцию. Но пойдет ли она нормальным путем, от монархии к демократической республике, а не к анархо-коммунистическому режиму или классовой диктатуре, как в России? Не хочется верить, чтобы Европа одичала и подражала темной массе восточной ее половины. Мы ждем иного: демократическая Западная Европа пойдет освобождать Россию из тисков анархии...

19 ноября. На Западе в муках рождается новый мир... Все народы после прекращения небывалой войны готовятся к новой жизни. Только мы в России продолжаем жить среди террора, гражданской войны и ждем... Скоро ожидается оккупация России союзниками... Большевики и матросы-анархисты готовятся — к чему? Легче им устроить Варфоломеевскую ночь⁶⁷⁷ в Петербурге и Кронштадте, чем бороться с англичанами. Уже Зиновьев призывает к «чистке» города и губернии от «белогвардейцев» и друзей англо-французов...

Слышал о новых арестах кадетов, умеренных социалистов и др. Недавно был у меня старик-типограф Флейтман⁶⁷⁸. Его сын-прапорщик, арестованный еще летом, «пропал без вести» в тюрьме; он отмечен уже в списке расстрелянных во время красного террора, но старик уверяет, что в списке могла быть ошибка. Этим он живет... В Швеции Брантинг⁶⁷⁹ (лидер с.-д.) призывает к крестовому походу против большевиков. Новое германское правительство, чисто социалистическое, объявило, что «азиатского социализма», т. е. большевизма, оно не допустит...

2 декабря. Еще одну главу составил: кончил XII в. на Маймониде. А в эти дни мировой ураган продолжался. Германия бьется в судорогах революции и голода... После ухода немцев (из России) красная армия взяла Псков и Нарву. Мы ждали англичан в Нарву, но они еще и до Ревеля не дошли. Придут, может быть, когда половина Петербурга вымрет от голода и холода. Сидим без дров. Кухня не отапливается. Спасает столовая при Медицинском институте, откуда Ида ежедневно приносит обеды, разумеется без мяса и прочей роскоши. Из нашего обихода совсем исчезли молоко и мясо, исчезают масло и сахар...

В очищенной от немцев Польше антиеврейские погромы (Львов и др.)... С ужасом думаю о детях в Люблине...

Все преклоняются перед силою, успехом. Меньшевики идут в Каноссу большевизма: они, растоптанные, с задушенной прессой, печатают воззвания о правильности общей политики большевиков и протестуют против вмешательства союзников в русские дела. То же делает М. Горький, газе-

* Тут сбоку в дневнике приписка: «Нет, позже узнал: это стихи Блока в поэме „Двенадцать“, вложенные в уста красноармейца». [Ред.]

та которого («Новая жизнь») уже давно закрыта большевиками: он пресмыкается перед Лениным и компанией, которые позволили ему открыть рот только для благословения их преступного дела и для того, чтобы смутить англичан и американцев, идущих на спасение свободы и демократии в России.

В Украине тревога. С уходом немцев пошатнулось положение гетмана Скоропадского; Петлюра⁶⁸⁰ во главе «самостийников» берет город за городом. Тоже гражданская война... Поднимают голову большевики. Что там происходит, мы знаем: мы отрезаны... Мы все в России в огромной тюрьме, лишенные всех прав состояния, лишенные газет, писем, свиданий с людьми «с воли»... Когда же придут англичане?..

7 декабря. Всю неделю был погружен в изучение материалов по истории Франции XII в. В пальто и перчатках, коченея в холодной квартире, сидел с утра при лампе до полуночи над десятками томов архивных материалов и исследований, перестраивая весь план соответствующей главы «Истории». Внешняя обстановка обогатилась следующим эпизодом. Поздно вечером вчера Ида спохватилась, что потеряла в общественной столовой кошелек с деньгами и хлебной нашей карточкой на декабрь. Углубленный в историю Нарбонны, я выслушал это сообщение, точнее приговор: на три недели мы лишаемся тех трех четвертей фунта хлеба в день, которые главным образом поддерживали наше существование... Стало жутко. Молча легли спать. Посреди ночи бессонные часы, с мыслью: как быть без хлеба?.. И тут же, чувствуя, что дух не выдержит ужаса давящей материи, я снова ушел в заветные думы: строил планы окончания III тома (позже V) к марту, а затем приступа к IV тому по новой конструкции с большими дополнениями. Успокоился, заснул. Утром встал — и опять за историческую работу...

Изнемогаю от нужды, я устоял все-таки против двух соблазнов. Мне предложили вступить в комиссию при Комиссариате народного просвещения для собирания и разработки архивных материалов по истории образования евреев в России. Я заявил, что в комиссию большевистского правительства официально не вступаю, но готов работать в архиве с тем, чтобы не иметь сношений с официальными лицами. Другой случай: комитет нашего Исторического общества ходатайствует в Комиссариате просвещения о крупной субсидии, которая дала бы возможность покрыть долги «Старины» и обеспечить ее редактора ежемесячным жалованьем. Я отказался лично ходатайствовать перед комиссаром Гринбергом, и дело ведут другие члены комитета. А между тем мне сообщили, что оно может провалиться, ибо знающий меня комиссар удивлен и обижен тем, что я лично не обратился к нему. Я же не могу органически соприкоснуться с этими представителями чудовищного режима, не могу...

13 декабря (вечер). История одного дня. Встал рано утром, оделся, облекся в пальто, кашоши и шапку (в комнатах 7 градусов тепла) и сел за письменный стол. Писал околочеными пальцами о доминиканцах и французской инквизиции XIII в. В 10 часов закусил, просмотрел газету и пошел в дровяной отдел районного Совета за ордером на дрова. Очутился в очереди сотен людей, растянувшейся по ступенькам задней лестницы огромного дома (на Каменноостровском проспекте), от нижнего этажа до 4-го. Два часа простоял в этой гуще несчастных, волнующихся людей и вместе с сотнями ушел ни с чем: до нас не дошла очередь, и служащий с верхней площадки объявил, что больше ордеров сегодня выдавать не будет; велел приходить завтра, а многие ходят уже по нескольку дней. Ес-

ли б слышали «власти» эти проклятия по их адресу! Не обошлось, конечно, и без шипения по адресу «евреев, всем завладевших»... Разбитый пришел домой, купив по дороге полтора фунта хлеба по восстановленным хлебным карточкам, утерянными недавно. На дворе нашего дома и счастье и горе: знакомый оказал услугу и прислал на подводе полторы сажени дров, купленных для нас за 450 рублей, но некому их поднести к сараю и складывать. Оставлять на дворе опасно: мигом растащат при дровяном голоде. Выручили дворники, за 20 руб. перенесли в сарай. Я и Ида дежурили поочередно на морозе, наскоро пообедав в промежутки. Свечерело. Усталый взялся за прерванную на полуслове работу, дописал конец параграфа, и теперь сижу и думаю. Мы «счастливы»: будет чем топить кухню (я сам внес несколько тяжелых вязанок дров наверх), и бедная Ида не будет мерзнуть или бегать по чужим кухням, чтобы выпросить позволения поставить горшок или спечь что-нибудь. На два месяца кухня обеспечена, но центральное отопление дома не обеспечено: мы мерзнем и чахнем от холода больше, чем от голода...

Носятся упорные слухи, что «вождь красной армии» Троцкий приказал, ввиду приближения англичан к Петербургу, прекратить подвоз припасов сюда, дабы неприятель (читай: спаситель) погиб здесь с голоду. Что еще раньше погибнет миллионное население — до этого злодеям дела нет... Понимаю теперь весь ужас пророчества: «И согнулся человек, и опустился человек». Растоптано все духовное в человеке. Люди, кроме красных, не ходят, а пресмыкаются, измученные голодом, холодом, приниженные насилием...

14 декабря. Стою на Людовике Святом⁶⁸¹. Сейчас пришли и сказали, что наш дом может быть превращен в казарму для красной армии, и тогда жильцы в несколько дней будут выселены. Это теперь проводится с особой жестокостью... Город наводнен мобилизованными, для которых старые казармы неудобны: холодные, неремонтированные, грязные. И вот гонят обывателей на улицы, ибо красноармеец теперь хозяин земли русской и перед ним трепещут Зиновьевы и другие тираны, держащиеся на наемных штыках...

28 декабря. В Петербурге мы уже дошли до истощения казенного хлеба: с завтрашнего дня будут выдавать вместо хлеба овес в зерне, как для лошадей. Теперь лошади будут падать с голоду, а когда мы съедем их овес, мы начнем падать как покорный скот... Весь этот ужас — результат бесчеловечного ноябрьского приказа Троцкого: не подвозить продовольствия к Петербургу, т. е. заморить миллионный город, чтобы ожидаемым союзникам ничего не досталось... А союзники к нам не идут, занятые ликвидацией войны на Западе. Немцы уходят из оккупированных областей западной России, и туда лезут большевики...

Невмоготу стало жить, истощились материальные средства при удесятенных расходах на полугодное существование. И я вынужден был отступить от своего правила и принять несколько побочных работ, оплачиваемых по нынешним высоким тарифам. По предложению Лозинского (С. Г.), согласился участвовать в редактировании сборника архивных материалов по истории просвещения евреев, издаваемых Комиссариатом просвещения, но поставил условием, что не вхожу в официальную комиссию и не имею сношений с официальными лицами, а просто принимаю заказ на кабинетную работу.

С Лозинским же вместе редактирую Библиографический указатель русско-еврейской литературы с 1890 г., продолжение некогда изданного.

Это тоже субсидируется Комиссариатом просвещения*. Затем буду читать лекции в Еврейском народном университете, на который Гринберг (подкомиссар) ассигновал четверть миллиона. Даже нашему Историческому обществу он ассигновал 250 000 рублей в год, по ходатайству двух членов нашего комитета (я отказался ходатайствовать в качестве председателя, что, говорят, обидело Гринберга)...

Я уже сегодня перескочил из Англии XIII в. в Арагонию того же века, зачитываясь новыми архивными документами. Сейчас был Ю. Бруцукс, старый сотрудник «Восхода», сообщил о написанной им для «Старины» исторической статье, и как-то на миг мы перенеслись в старую погибшую культуру духа...

30 декабря. Сейчас принесли странный, сенсационный слух: союзники у Нарвы, послали ультиматум с требованием сдачи Петербурга во избежание кровопролития; горит будто бы Сестрорецк и т. п. Мы уже перестали верить таким слухам, а верить хочется, ибо неумогу жить. Стон стоит на улицах, в домах, стон голодных, больных, мерзнущих, ограбленных, униженных.

Вчера днем был в заседании лекторов организуемого Еврейского народного университета. Сидели в роскошном особняке на Английской набережной, бывшем палаццо Полякова⁶², а теперь издателя «Биржевки» Проппера⁶³, где будут наши аудитории**. Дамы подносили кофе с скудными печеньями. Кончилось заседание, вышел я с дамами к трамваю, и тут пошел разговор о злобе дня: продовольствии. Тут вылилось все горе бывших богатых матерей, живущих теперь с детьми в голоде, холоде, нужде.

Ходишь по улице, стоит стон, проклятия носятся в воздухе, особенно теперь, когда вместо пайка хлеба выдают лошадиный овес... Ходишь по засыпанному снегом мертвым улицам, с закрытыми магазинами без товаров, видишь изможденные лица. В вагонах трамвая нет возможности проезжать из-за мобилизованных красноармейцев, наполняющих все вагоны... Ах, как омерзителен этот классовый милитаризм! Весь мир на пороге извращения от международного милитаризма, а тут все ужасы внутренней войны.

Глава 64

Вымирающий Петербург в ожидании «спасителей» (1919)

Обзор страшного года. — «Безумие держится, крепнет и ширится». — Измена Горького. — Вести из Германии, из Украины. — Мерзнем и голодаем в Петербурге. — Слухи о мирной конференции в Париже. — «Труп Петербурга». — Открытие Еврейского народного университета. — Пишу средневековую историю на Западе. — Работа в научных комиссиях. — Смерть Гаркави. — «Горе побежденным» на мирной конференции. — Пишу о «черной смерти» посреди ужасов красной смерти. — Надежды на интервенцию союзников и на «белых», которые потом оказались черными. — Окружение Петербурга белыми. Май-

* В комиссию по истории образования я, вследствие поставленного мною условия, не вошел. Вместо меня работал там с Дозинским С. М. Гинзбург. Они вскоре выпустили большой том актов⁶⁴. Библиографическая комиссия не закончила своих работ.

** Ловкий издатель «Биржевых ведомостей» Проппер предоставил свой дом в распоряжение Еврейского университета для того, чтобы спасти его от превращения в солдатскую казарму и полного уничтожения обстановки.

ские надежды. — Опасные записи в дневниках. — Вести об ужасах новой гайдамачины на Украине. — Террор Чека в Петербурге. — Подготовительные работы для энциклопедии на идиш. — Обломки «Фолкспартей». — Пишу об «эпохе второй реакции» (1881—1914) на Западе. — Вся Россия в огне гражданской войны. — Слухи о возрождении Палестины; грезы об обетованной земле. — Еще об измене Горького. Изменники из нашей среды. — Угроза выселений и «вселений». — Осенний поход белых на Петербург (армия Юденича), новые надежды узников и новое разочарование. — Обреченные. Египетская казнь: тьма. Без освещения в домах. — Смерть М. Кулишера и мое слово на его поминках. — Комиссия для исследования материалов по ритуальным процессам и наши заседания в бывшем сенатском Архиве.

1919 год был самым жестоким годом гражданской войны. Вся Россия была в пламени. Шли бои между красной и белой армией. Колчак на востоке, Деникин на юге и в центре, Юденич на северо-западе, на подступах к Петербургу, стремились сдавить красную армию железным кольцом. На Украине в этот кровавый узел вплелась гайдамацкая армия Петлюры и его атаманов, усердно выполнявшая свою историческую миссию истребления евреев, на сей раз под лозунгом: «жид — большевик». Под этим же лозунгом громили евреев белые офицеры добровольческой армии Деникина. Мы в Петербурге, отрезанном от большей части России, получали очень смутные сведения обо всех этих движениях. Официальной большевистской прессе мы не доверяли даже в тех редких случаях, когда она говорила правду, а других источников у нас не было, кроме случайных сообщений частных лиц, вырвавшихся из того или другого отделения российского ада и попавших в Петербург. Для меня, как для всех верных идеалам февральской революции, вопрос состоял в том, идут ли «белые» под лозунгом Учредительного собрания или же реставрации монархии. Воззвания вождей белой армии заставляли думать, что они под давлением Англии и Франции обязались защищать завоевания февральской революции, но ведь в этой армии было множество офицеров, кровно связанных с царизмом и черносотенством. Мы все-таки верили, что здравый смысл подскажет белым, что они не смогут победить под черным знаменем реставрации и мести евреям за «большевизм». Мы в Петербурге имели то преимущество, что город не переходил из рук в руки и таким образом был избавлен от погромов, но зато мы в полной мере испытали на себе последствия совершенного большевиками всероссийского погрома. Голод и холод косили петербуржцев тысячами. Отчаяние в вымирающем городе заставляло жителей страстно ждать оккупантов: лучше пережить даже эксцессы оккупантов, чем томиться в голодной и холодной большевистской тюрьме. Мы были жестоко обмануты. Белое движение разложилось вследствие внутренней гнилости своего состава, где преобладали бывшие слуги царизма. И мы, после года ожиданий мнимых спасителей, остались в пасти красного зверя и в когтях его спутников: террора, голода, холода, позорнейшего рабства...

Как жилось нам в этот страшный год в «красном Петербурге», отрезанном от большей части России и блокированном иностранными государствами, пусть расскажут нижеприводимые краткие выдержки из обширных записей. Ни о какой общественности, конечно, не могло быть речи в царстве диких стихий. Встречались мы, остатки еврейской интеллигенции, только изредка в искусственно возвращенном Еврейском народном университете, придуманном лишь для того, чтобы дать кусок хлеба десятку-другому писателей и художников. Открыли мы его в феврале 1919 г. в вышеупомянутом доме на Английской набережной, а к концу года переместились в другой реквизированный дом, на Троицкой улице, близ Невского проспекта. Лекции читались преимущественно по-русски, но некоторые читали на идиш. Постоянными лекторами в первый год были, кроме меня, Михаил Кулишер (еврейское право), его сын профессор Иосиф Кулишер⁶⁸⁵ (экономическая история

евреев), Г. Я. Красный (библейская наука), д-р А. З. Штейнберг⁶⁸⁶ (введение в философию и еврейская философия), С. Г. Лозинский (новейшая история евреев), д-р Ю. Бруцкус (история евреев в России), С. Гинзбург (новоеврейская литература), С. Цинберг (средневековая еврейская литература), скульптор Илья Гинзбург⁶⁸⁷ (пластика у евреев), художник М. Маймон⁶⁸⁸ (история еврейской живописи), С. Розовский⁶⁸⁹ (история еврейской музыки) и некоторые другие, временно читавшие (д-р Эльяшев-Баал-Махшовос⁶⁹⁰, его сестра Э. Гурлянд-Эльяшева⁶⁹¹, М. Лазерсон⁶⁹², раввин М. Айзенштадт). Позже прибавились И. Маркон, Ю. Гессен и другие. Многих слушателей привлекали хлебные пайки, выдававшиеся по карточкам Комиссариата просвещения. Иногда такие же «выдачи» жаловались и лекторам или «профессорам».

Но «голь на выдумки хитра», и некоторые предприимчивые интеллигенты находили еще другие пути для добывания средств к существованию. Уцелевшие культурные общества, влачившие жалкое существование, в том числе и наше Историко-этнографическое общество, получали по особому ходатайству пособие от Комиссариата просвещения, благодаря отзывчивости подкомиссара, упомянутого Гринберга. Как уже сказано, я в этих ходатайствах не участвовал, хотя был председателем общества, но некоторые члены нашего комитета (археолог С. Гольдштейн, адвокат Г. Гольдберг⁶⁹³ и др.) преуспели в этой миссии. Деньги получал казначей общества С. М. Гольдштейн, и я помню, как этот честный педант периодически приносил мне мою председательскую долю, в четырех- или пятизначных числах инфляционного рубля, и почтительно клал предо мною кучи бумажек, радуясь тому, что он этим хоть отчасти облегчает нашу нужду. Он и лично получал такое же пособие, но стоило посмотреть на наши изможденные лица, чтобы убедиться, как мало это облегчало наши физические лишения. Некоторые литераторы сумели еще лучше подойти к еврейскому подкомиссару и другим чинам ведомства просвещения. Они являлись туда с проектами учреждения разных исследовательских комиссий, члены которых получали жалованье за свою работу. Так С. Лозинский и С. Гинзбург выхлопотали учреждение вышеупомянутой архивной комиссии по истории образования русских евреев. Особенно ловкий адвокат Г. Красный, благодаря своим связям в «сферах», побудил их учредить две комиссии: для исследования погромов и для разработки архивных актов по ритуальным процессам. Я работал в двух последних комиссиях, ни разу не видев «начальства». Вместе с Красным я редактировал том «Материалов для истории антиеврейских погромов в России», в который вошли архивные документы по кишиневскому погрому 1903 г. (Петроград, 1919). О судьбе ритуальной комиссии, в которой работы шли главным образом в 1920 г., будет рассказано в следующей главе.

1 января н. с. Вопросать сфинкс нового года, гадать, принесет ли он избавление или ужасы будут продолжаться — хотелось бы, но мы изверились в оракулах. Если б год назад нам сказали, что утвердившийся тогда режим удержится еще год, что огромная страна будет выносить иго позорнейшего деспотизма, мы бы такое пророчество считали безумием. А между тем безумие держится, крепнет и ширится... Сидим в глубоком трауре, измученные тюрьмою, голодом и холодом, и думаем, хватит ли сил жить так дальше.

Целый день читал и комбинировал в своих заметках арагонские архивные акты XIII века... Пишу, не зная, для кого, для какого печатного станка, ибо в опустошенной России мои писания никому не нужны...

2 января. На днях были новые выборы в совдеп (совет депутатов) петербургской коммуны. При выборах президиума переизбран в председатели Зиновьев, а в состав членов М. Горький. Честный Горький стал това-

рищем людей, терзающих Россию... Писатель себя опозорил навсегда. Кто ненавидел старый царский деспотизм, обязан ненавидеть новый, еще худший деспотизм...

12 января. В Берлине уличные бои между спартаковцами (тамошними коммунистами) и правительством Шейдемана—Эберта⁶⁴. Конечно, спартаковцы будут разбиты и азиатский социализм не восторжествует в Европе...

10 час. вечера. Часа три тому назад в дверь моей тюрьмы вошел долго отсутствовавший А. Ф. П[ерельман], побывавший в Киеве, т. е. за границей. Обрадовался ему, забросал вопросами об общем положении Украины, о наших еврейских делах. Он видел там кризис власти, падение Скоропадского, вступление Петлюры и утверждение Директории. А накануне кризиса состоялось еврейское национальное собрание (делегаты общин) со скандалами между сионистами и левыми из-за языка и пр.; избрана делегация на мирную конференцию. Привез мне письменный привет от товарищей по «Фолкспартей», с подписями всех участников банкета во время съезда. Там создано большое издательство «Фолксферлаг», которое готовится издать и мои книги на разговорно-еврейском языке и даже прислало мне гонорар авансом...

26 января. ...Сегодня опять совещание о народном университете. Начнем читать лекции с 8 февраля.

31 января (вечер). Приготовления к главе о Германии XIII в. Писать надо, да плохо работается. Руки от холода (6—7 градусов в комнатах) потрескались, сижу в шубе, шапке и калошах... Где-то далеко, в Париже, строится фундамент новой исторической эпохи: мирная конференция решает мировые вопросы, а мы знаем только то, что наши тюремщики нам подносят в своих лживых и политически безграмотных газетах. Между прочим, на очереди еврейско-палестинский вопрос: сионисты будто бы имеют на конференции (или около нее) двух представителей. Все это предварительные совещания, вестибюль всемирного конгресса. К нему надо готовиться, но можно ли это делать в плену у варваров? В Украине выбраны члены большой еврейской делегации, намечалась и моя кандидатура...

Ходил вчера по Невскому: мертвая, грязная, унылая улица, с заколоченными магазинами, с измученными, стонущими прохожими. Убитый город, труп Петербурга лежал предо мною. На морозе, в ясную погоду, согрелся немного, а дома холод. Топлива город не дает; дали нам на слом соседний деревянный домик, ветхий; сегодня разбирают его и топят балками и досками, но остывшие трубы еле нагреваются. А дальше что? Ведь еще два-три месяца северной зимы...

15 февраля. Кончил главу о Германии XIII в. и сейчас переменяю на столе научную декорацию: разложил источники для истории Италии и Византии...

Теперь уже Петербург — военный лагерь, фронт. Большевикам грозит опасность от соединенных сил Финляндии и Эстляндии, за которыми в балтийских водах находится сила английской эскадры. «Красный Питер» забил тревогу. Троцкий и Зиновьев мобилизуют всех рабочих и готовят мясо для пушек; юношей-студентов заманивают сытной едой и деньгами в военные школы и тотчас шлют на убой, на фронт...

В Германии свет и тени. Национальное собрание в Веймаре, демократическая республика с Эбертом и Шейдеманом во главе, а в то же время Антанта на мирной конференции беспощадна к побежденной, и внутри

спартаковцы бунтуют... В свободной Польше тьма одолевает свет: дикий шовинизм, юдофобия. Вся польская пресса замолчала чудовищную львовскую резню, о которой страшно читать: евреев жарили на кострах в их собственных домах, подоженных польскими солдатами в старом историческом гетто...

На прошлой неделе сказал вступительное слово к лекциям в Еврейском народном университете (при открытии его 8 февраля), в присутствии лекторов и трех десятков слушателей. Грустное вступление. Говорил о кризисе нынешнем, в котором трудно распознать, идем ли мы к новой заре культуры или к сумеркам; о новом гражданском милитаризме в момент торжества международного пацифизма и идеи Лиги народов; призывал учиться у еврейской истории. Предстоят дальнейшие лекции, но кому читать, что и как читать — еще неясно для меня при нынешнем развале высшего образования...

5 марта. Наконец-то дописал большой отдел «Истории» и перешагнул в XIV век... Мы все еще в страшном кольце огня и меча. Гражданская война заливает кровью Украину. Большая часть ее в руках большевиков (с Киевом и др.); Директория и петлюровцы отступают к галицийской границе, а гайдамаки по пути творят страшные еврейские погромы, в Бердичеве и других местах...

Часа три назад возвратился из Еврейского университета, где читал лекцию об этической культуре библейской эпохи. Можно было оживить даже мертвецов, но унылы и мрачны были лица слушателей, может быть голодных, отчаявшихся. Обратное, вследствие прекращения трамвайного движения с 6 часов, ехал на извозчике в санях. Над Невую, далеко ко взморью, догорала полоса заката солнечного зимнего дня. Что-то звало ввысь, к выплывшему серпу луны... Вспомнилось, что за решеткою нашей тюрьмы есть еще широкий, бесконечный мир...

8 марта. ...Два дня читал варшавские еврейские газеты от конца января и начала февраля, случайно кем-то привезенные. Жадно ловил всякую весть о том, что делается в мире... В Польше прежняя юдофобии плюс погромы легионеров. На Украине, на Вольни, где войска Директории сражаются с польскими, громят евреев и те и другие, особенно при переходе городов из рук в руки (Новоград-Вольнск, Овруч и др.). Антанта душист растоптанную Германию, где растет большевизм. Призрак этой социальной эпидемии, этой «красной смерти» носится над всем полем мертвых костей, недавним полем мировой войны...

Положение выясняется. Международной Лиге мира, о которой мы так восторженно мечтаем, противопоставляется новая международная лига войны, гражданской, классовой войны. На днях в Москве создан Третий Интернационал, призванный сменить Второй Интернационал...

Россия обречена быть полицейским государством, раньше с черным, теперь с красным оттенком. И опять трагедия моей жизни выступает во всем своем ужасе: «Что тебе здесь и кто у тебя здесь?» Прошлое, долгая жизнь идеалов и труда, надежд и борьбы связали меня с этой худшей частью земного шара. Оторваться от нее под конец жизни, обрывая сразу все нити большого труда, смысла моего существования?.. На днях видение над Невую в час заката перенесло меня в прошлое, а со вчерашнего дня меня преследует следующее видение будущего*.

* Следует «видение» на древнееврейском языке о переселении в Палестину после окончания «Истории». [Ред.]

11 марта. Сегодня, посреди работы, открываю дверь стучащему: явился Ефройкин, наш главный деятель «Фолкспартей», вернувшийся из Киева, куда месяца три назад уехал для работы. Пережил падение и гетманщины, и Директории и бежал сюда обратно после перехода Украинцы к большевикам. Украинская погромная атмосфера душит, по его словам, больше, чем произвол коммунистов. Последние с трудом сдерживают юдофобские эксцессы, а когда они уйдут, будет еще хуже: будет новая хмельничина под лозунгом «жиды-большевики загубили Украину»... А между тем в Киеве налаживался большой аппарат политической и культурной работы. Полгода назад бежали туда, теперь бегут оттуда, в голодный, холодный Петербург... Много волнующего рассказал Ефройкин о судьбе знакомых. И — странная черта времени — тут же изложил план большой энциклопедии на народном языке, идиш, обеспеченной большими деньгами от комиссара просвещения здесь, и предложил мне редактирование еврейского отдела. И одновременно другие предложения: ехать делегатом в Америку, Париж, Швейцарию...

16 марта (Пурим 5679 г.). Вчерашний день прошел необычно. С утра меня в кабинете заседания комиссий библиографической и архивной (по погромам). Среди членов был и Кауфман (А. Е.), старый петербургско-одесский знакомец, которому я еще в 1880 г. вручил в редакции «Русско-го еврея» свою первую статью для печати...

22 марта. Среди гнева и печали, бесконечного мрака и самозабвения в непрерывном труде — сейчас светлое мгновение. Роясь в бумагах, случайно открыл старый дневник 1889 г... Сердце защемило. Взял книжку в бархатном переплете моего тогдашнего любимого поэта и прочел любимые стихи:

*Пусть разбит и поруган святой идеал и струится невинная кровь,
Верь: настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на землю любовь...*

Тогда был Ваал царизма, теперь Ваал красного деспотизма. Да, но дождусь ли я крушения этого Ваала?..

Умер на днях А. Гаркави, на 84-м году. Умер и похоронен как все нынче: о его смерти узнали из объявления в казенной газете, когда уже было поздно быть на выносе и на похоронах. Говорят, что всего несколько человек провожали его на кладбище. А я хотел проститься с его прахом именно потому, что наши отношения были недружеские... В критической статье «Восхода» 1883 г. по поводу его дополнений к «Истории» Греца я, может быть, обидел ученого, сказав, что он подобрал много щепок, отброшенных при работе великого архитектора. Меня, яркого реформиста, злило тогда отношение Гаркави-ортодокса даже к умеренному вольнодумству Греца. После появления моей буйной статьи о реформах Г. ходил с «депутацией» к Ландау с просьбою обуздать меня во избежание херема против «Восхода». Позже, в 1891 г., он удержал комитет ОПЕ от поддержки моей работы по собиранию исторических материалов. Так разошлись наши пути, людей раз но воспринимавших историческую науку...

Представители сионизма (Соколов, Усышкин и др.) были в качестве депутации в заседании мирной конференции в Париже и заручились обещанием еврейского national home в Палестине под покровительством Лиги народов, при управлении ее мандатора, Англии. Радостная весть о новой эре в нашей истории: возникновение старо-нового национального центра среди развала старых центров. Но и тут сомнение: войдет ли наше поко-

ление в эту Обетованную Землю и не ждут ли нас там еще долгие «ханаанские войны»?

27 марта. Парижская конференция держит в одной руке знамя вечно-го мира (Лига Наций), а в другой — «горе побежденным!» Она загнала Венгрию в объятия большевизма... Это — грозное предостережение. Ведь завтра может то же случиться и с Германией, униженной и оскорбляемой... И тогда вместо лиги мира создастся лига новой войны с единым большевистским фронтом...

Перехожу к Германии конца средневековья. Не знаю усталости в работе... По средам читаю двухчасовую лекцию в Народном университете. Заинтересовал слушателей анализом возникновения христианства с точки зрения национально-политической борьбы в Иудее... Вчера на лекции говорил слушателям об умершем Гаркави... Сейчас вернулся с вечерней прогулки. Давно уж ее не было. Всю зиму довольствовался утренним моционом, большей частью торопливым, деловым (за хлебом в лавку по карточкам и т. п.)...

10 апреля (первый день Пасхи 5679 г.). Сегодня кончил главу о Германии. Писал о «черной смерти», а перед глазами носились ужасы красной смерти наших дней: погромы красной армии в Гомеле, Борисове, а с другой стороны антибольшевистские, украинские и польские... Уже началась расплата евреев за большевизм, а ведь нас ждет еще гораздо худшее при ликвидации этого строя. Предвижу ужасы. Пророчество Достоевского «Евреи погубят Россию» станет лозунгом мести. Не подумают о том, что большевистская Россия уже погубила евреев...

Армия Колчака идет на Самару и Симбирск и может скоро грозить Москве, столице Ленина. Этот зверь завопил: спасите, идите все на восточный фронт! Но когда ему в собрании посоветовали смягчить репрессии против оппозиции, меньшевиков и эсеров, он ответил: нашим политическим врагам мы свободы не дадим, пусть занимаются политикой в тюрьме!..

Еще упорно держится слух о готовящемся мире с советской Россией при условии интернационализации Петербурга с округом: Петербург будет вольным городом под протекторатом Скандинавии. Не верится: было бы слишком уже хорошо; мы сразу отделились бы от большевистской Азии и соединились бы с Европой, со всем миром.

А пока сидим еще в голодной, холодной и грязной тюрьме... Заботы о еде убийственны. Отвлекает от работы ежедневная беготня по лавкам, советам, управам, столовым. В разгар писания вдруг вскакиваю: надо идти за порцией хлеба в лавку, на разведку — есть ли керосин, в продовольственную управу за ордером или удостоверением, — иначе голод, холод, мрак...

Сегодня зашел ко мне Крейнин, вернувшийся из Киева, рассказал об украинских ужасах; собирается ехать с еврейской делегацией в Берн. Тоже пострадавший, разоренный.

18 апреля. ...Пошел в Испанию XV в. — искать в тогдашней инквизиции убежища от нынешней. Подробности погрома в Проскурове 15 февраля только теперь дошли до нас; они меня потрясли: 3000 убитых евреев, не считая раненых. Новая гайдамачина хуже старой, потомки Гонты превзошли предков...

23 апреля. Спасемся ли от этого кошмара через месяц-два? Придет ли избавитель с востока? Колчак гонит красную армию непрерывно. Она

терпит поражения и на других фронтах: Вильна отнята у русско-литовских большевиков, и близится конец «красной Литвы». Только ужасает мысль: не грянут ли там победители-поляки евреев?..*

8 мая. Дивно прекрасные дни весны, голубое небо, озаренная и согретая земля — и темные, холодно жестокие, озверевшие люди на ней. В Петербурге «осадное положение». Боятся наступления финнов, имевших большой успех в Олонецкой губернии... Объявлена свирепая мобилизация: хватают всех до 40-летнего возраста... В городе стоит стон, а весьма часто слышится и скрежет зубовой — против «правящих жидов». Положение наше ужасно: желаем избавиться от большевиков, хотя знаем, что избавление принесет прежде всего еврейский погром...

9 мая (сумерки). Утром произвел первую весеннюю уборку кабинета, раскрыл окна, закрытые полгода назад, в сумрачную осень, когда я улегся в этот каменный зимний гроб. Волны теплого воздуха и ликующего света влились в обитель недавно еще коченевшей здесь писателя. Принесли газету, официально лгущую «Правду». Прочел наскоро известия со всех внутренних фронтов, где красная армия заливает кровью землю, на которой нужно пахать и сеять, — и бросил подлый листок: не хотелось сегодня грязнить душу чтением кроважанных статей-прокламаций... Под вечер пошел в Ботанический сад с томиком Musset в кармане. А сейчас северная белая ночь смотрит в окно.

14 мая. Возвратился с лекции о Боспорском царстве в университете, пешком с далекой Английской набережной. Устал.

Сейчас дочитал пункты мирного договора. Нечто ужасное. Новый Версальский договор 1919 г. хуже бисмарковского Версальского договора 1871 г.⁶⁹⁵: там схватили за горло Францию, тут хотят задушить Германию. И это делает Лига мира, Лига наций!.. Хороню еще одну мечту: о торжестве пацифизма, о священном союзе наций для вечного мира.

24 мая. Петербург почти окружен белыми войсками финно-эсто-рускими (армия Юденича). Одна часть уже у Гатчины, другая у Белоострова, третья на море между Нарвою и Кронштадтом. Красный дьявол мечется в накинутаю на него петле, мобилизует весь Петербург от 18 до 40 лет... А мы ждем. Ждем освобождения города-мученика, хотя ожидаются вместе с тем бои на улицах, анархия в момент перехода и — что страшнее всего — кровавый антиеврейский погром. Пусть пройдет над нашей головой и этот девятый вал, ужасный, но, может быть, спасительный в конечном результате...

1 июня. Вчера почти кончил III том «Истории» (позже IV и V). Дописал последнюю главу западного средневековья и остается только дополнительная глава о быте этого периода. Близится Шовуос, и стоят дивные дни. Хочется пережить молитвенный экстаз этих дней среди обстановки почти осажденного города... Из красных газет очень трудно узнать правду. Сегодня стояла в очереди за покупкою «Правды», лгущей менее, чем кроважанный листок Зиновьева «Красная газета». Вот один из тысячи примеров искажения фактов: на днях на митинге мобилизованных Зиновьев произнес громовую речь и предложил всем принять резолюцию: «Клянемся защищать красный Петроград!» При голосовании поднялось 200 рук из нескольких тысяч за резолюцию, несколько десятков против,

* Мои опасения оправдались: 19 апреля поляки убили в Вильне многих евреев по подозрению в сочувствии большевикам. Среди погибших был и симпатичный писатель А. Вайтер, бывший революционер, которого я видел в 1911 г. в Петербурге. Едва избеги опасности арестованные там С. Ан-ский, С. Нигер⁶⁹⁶ и Л. Яффе⁶⁹⁷.

а все остальные воздержались, боясь голосовать против. Зиновьев разразился бранью, грозил расстрелом «белогвардейцам». А в газетах было сказано об этом митинге, что все 10 000 его участников восторженно приняли клятвенную резолюцию...

4 июня (первый день Шовуоса, полдень). В 10-м часу утра пошел сегодня в Ботанический сад. По дороге купил газету, на ходу узнал о замедлении военных операций около Гатчины и о ликованиях красных... Вдоль Карповки пошел в пышно разросшийся сад. Хотел по-своему молиться, как некогда в Шовуос на берегу Кирка-Ярве, на балконе «белой дачи», в святом храме леса... Давно знал, что я глубоко религиозный человек, но никогда так ясно не выступала в сознании эта религия, пантеистическая вера без личного внешнего Бога, но с Богом внутри меня и в природе, эта святая троица Природы, Бога и Человека...

Знаю, что политические записи в этой книжке подвергают меня опасности еще в большей степени, чем в былое время при шпионах царизма. И все-таки не могу не записывать. Террор опять усиливается. Говорят о готовящемся аресте тысяч виднейших граждан в качестве заложников в момент опасности для «красного Питера». Нужно быть готовым ко всему.

Принесли из типографии «Кадима» авторские экземпляры перепечатанного I тома моей «Новейшей истории». Печальные технические дефекты эпохи упадка книгопечатания в некогда образцовой типографии (б. Стасюлевича)... «Кадима» намерена приступить к изданию II тома, для которого мне предстоит еще написать период 1881—1914 гг. в Западной Европе...

8 июня (утро). Сейчас из «экспедиции» для покупки газеты. Кризис близок. Белоостров, Сестрорецк, Кронштадт в огне наступления белых. Красные отходят. В ближайшие дни огненное кольцо сомкнется, и в центре будет Петербург. Неужели спасение близко? Город спасется, но спасутся ли все граждане среди пламени красного и белого террора?.. И все-таки: да будет воля Твоя! Был бы только конец этому невыносимому состоянию!..

Вечерние сумерки. Ужасны подробности новой гайдамачины на Украине в меморандуме Комитета еврейских делегаций, представленном Мирной конференции в Париже. Бердичев, Житомир, Проскуров — сплошной кошмар... Регулярные украинские войска вырезывали целые еврейские общины, под предлогом истребления большевиков. Это тянулось с декабря 1918 г. до мая нынешнего года...

16 июня (утро). Важное событие в моей жизни: вчера я окончил III том (позже IV—V) моей шеститомной Мишны — «Всеобщей истории» и вышел из юдоли плача средних веков. Год и два месяца работал над этим томом, в страшные дни мрака, голода и холода, хаоса и смерти. Эта святая работа ослабила мои силы, но спасла душу от ангела смерти, свирепствующего и в мире духовном*.

Террор снова усилился. Напряженное ожидание медлящего «врага»-спасителя извне чередовалось с ежечасным ожиданием нападения со стороны внутреннего врага, разъяренного зверя большевизма, мечущегося среди охотящихся на него людей. Сюда прислали из Москвы обер-палача «чрезвычайки» (Чека), Петерса⁶⁹⁶. Аресты, обыски, облавы, поиски оружия и «дезертиров», контрреволюционеров. Выпустили десятки тысяч вооруженных рабочих и работниц для повального обыска в домах, причем

* Этот абзац переведен здесь с записи на древнееврейском языке. [Ред.]

забирают и скромные запасы продовольствия, с муками заготовленные голодающим петербуржцем. На днях работаю утром; вбегает соседка, жена проф. Гредескула, с вестью: в ближайшем доме повальный обыск, тащат пакеты с провизией, отбирают даже два фунта масла, сахара, муки; скоро будут и в нашем доме... Суматоха: запикиваем подальше запасы муки, сахара, чтобы не умереть завтра с голоду. Гроза миновала, но ее ждут каждый день, каждую ночь...

Мы задыхаемся среди террора. Огромные успехи армии Деникина на юге, возможное соединение ее с армией Колчака на востоке и соединение последней с северной архангельской армией для наступления на Петербург — все это дает надежду на спасение, но мы ждать устали. Люди истекают кровью в когтях зверей, изнемогают, падают. (Постскриптум: Увы! белые оказались потом не лучше красных в местах, временно занятых ими.)

Вечером. ...Сейчас дежурил час у ворот (по правилам осадного положения), где в эти часы образуются маленькие клубы жильцов... Общее настроение: если скоро не придут и не избавят, конец нам. Следующую зиму под большевиками не переживем...

17 июня. После долгих колебаний решил: нарушить хронологический порядок и приняться сейчас за писание недостающего отдела VI (позже X) тома, об «эпохе второй реакции» 1881—1914 гг. на Западе. Такой же перерыв был сделан осенью 1915 г. для русского отдела той же эпохи, вошедшего в английское издание (в Америке), которого я до сих пор еще не видел...

21 июня. Сегодня идиотский декрет Комиссариата по еврейским делам: закрыть автономные советы еврейских общин и их центральный орган «Цеваад» в Москве как учреждения «буржуазные», т. е. избранные всеобщее подачею голосов на демократических началах... В декрете говорится: «закрыть навсегда». Эти проходимцы решили навсегда упразднить 25-вековую национальную автономию. Жалкие пигмеи!.. Вчера шум газетный: «святому» портняжному подмастерью Володарскому, убитому в прошлом году за инквизиторство над прессой, ставят памятник на Конногвардейском бульваре...

23 июня. Жаркие дни. Обычно встаю в 8 час. (т. е. по солнцу в 5 час. утра*), слушаю у раскрытого окна гимн просыпающихся птиц, музыку небес, а через час или два бегу за газетой, и меня там оглушает лай кровавадных псов. Террор, расстрел сотен и тысяч узников за «контрреволюцию», спекуляцию, хранение оружия. Расстреливают тайно, без суда, в тюрьмах (вчера говорили о расстрелянных в Петропавловской крепости 500 офицерах, явившихся для регистрации). Хватают заложников. Продолжаются обыски. Новый диктатор Петерс купается в крови по горло.

Сижу дома, терзаюсь и читаю, заглушая боль эпохою германского антисемитизма (80-х годов). Как все прежнее выходит мелко в сравнении с мировым кризисом нынешнего момента!.. После землетрясения последних лет изменится и лицо мира, и психика его. Потоки лавы смывают старую культуру, расчищая дорогу для новой — лучшей или худшей? Я склонен думать: худшей. Вероятно, опять придется пройти стадию низшей этической культуры, прежде чем добраться до высшей...*

* В летние сезоны часовая стрелка передвигалась на 2—3 часа вперед.

** С приходом Гитлера к власти в Германии это предсказание или предчувствие, к несчастью, в полной мере оправдилось.

Принял предложение Ефр[ойки]на от имени киевского «Фолксферлаг» участвовать в редактировании энциклопедии на разговорно-еврейском языке. Поставил условием, чтобы мне дали помощника по подготовительной работе в моем отделе. Сейчас был у меня рекомендованный помощник С., и мы сговорились о плане работы по номенклатуре и пр. Хорошо ли я сделал, взяв на себя постороннюю работу? Не отступил ли я от принципа 1908 г., после опыта «Евр. энциклопедии» на русском языке?.. Не мог отказать в содействии первой народной энциклопедии. А между тем как-то странно: закладывать фундамент среди содомского разрушения...

29 июня. Заглушаю боль души в механической работе: составлении библиографии для предстоящей работы («антисемитика») и номенклатуры для народной энциклопедии. Хожу, заседаю понемногу с сознанием бесплодности заседаний и решений в такое время. При встречах рассказываем друг другу жуткие вещи: о повальных обысках, о тайных массовых расстрелах в тюрьмах... Вчера вечером сидел в дежурстве у ворот среди группы жильцов нашего дома, смотрели на кружащиеся аэропланы, слышали с высот выстрелы — знак воздушного столкновения...

1 июля. Сегодня опубликован полный текст ответа Колчака союзникам: обязуется тотчас по уничтожении большевизма созвать учредительное собрание, заявляет, что нет возврата к дореволюционному порядку, обещает оставить всю землю в руках трудящихся. А рядом прокламация большевиков: Колчак хочет восстановить власть царя, вернуть землю помещикам и т. д.

На днях был в совещании «Фолкспартей» (уже давно не созывалось). Обсуждался вопрос, как реагировать на разгон еврейских общинных советов. Одни стояли за резолюцию протеста национального, другие против, ввиду недостаточности национального протеста без общеполитического, за который грозит расстрел... Заседание было в конторе бывшей типографии Эфрона. Вспомнил хождения 1907—1908 гг. в эту контору, где редактировался I том «Евр. энциклопедии»... Теперь там пусто, глухо, не гудят машины в типографии, не снуют конторщики, секретари, наборщики с корректурами. Мертво. Кладбище.

2 июля. ...Сегодня утром и вчера были у меня представители двух издательств, здешнего и киевского, для переговоров об издании моей большой «Истории» на русском и еврейском языках. Сейчас в муках приступаю к одному отделу этого труда, а вдруг все это может оборваться бессмысленно, как обрываются ныне тысячи жизней...

Принесли единственную уцелевшую сионистскую «Хронику» (заменившую «Рассвет»): потрясающие вести о погромах на Украине... Вышел на улицу: встречи с соседями, разговоры все о том же, о сокращении хлебного пайка, терроре красных и медлительности белых... Иду дальше. На Каменноостровском лживые телеграммы РОСТА (Рос. телеграфного агентства) на стенах, упитанные фигуры красноармейцев на улицах и бледные, исхудалые фигуры граждан, только что прочитавших в окнах хлебных лавок, что с 3 июля даже по первой категории будет выдаваться только четверть фунта хлеба вместо полуфунта. Конечно, рабочим оставлен добавочный трудовой паек в полфунта: ведь их надо подкупать, чтобы не свергли преступных правителей. И все же возможность голодного бунта не исключена! В народе говорят: все равно померем от голода, пусть нас расстреляют! Конечно, слова «жид» и «большевик» часто идут вместе.

7 июля. Три дня в ликвидационной работе: составлял список всего мною напечатанного с 1880 по 1919 гг., в хронологическом порядке... Сильно увлекся этой работой, вновь переживая былое. Главная цель —

приготовить план будущего собрания моих сочинений, преимущественно статей и монографий, разбросанных в периодических изданиях за десятки лет под моим именем и разными псевдонимами. Доживу ли до этого момента собирания рассеянного? Если доживу, буду счастлив; если нет, не умру спокойно: здание останется недоконченным. Мне нужно еще десять лет жизни, чтобы достроить его, а можно ли ныне ручаться даже за десять месяцев?..

13 июля. Наконец начал сегодня писать «эпоху второй реакции» (1881—1914).

16 июля (день). В последнее время каждое утро рано, еще до чая, ходил на почту за газетой; сегодня пошел на полчаса позже, не нашел уже «Правды», лгущей на 95 %, вынужден был купить «Красную газету», лгущую на 99 %. Красные палачи ликуют: ими взят Екатеринбург. Победа большая, и если дальше так пойдет, Колчак может быть отогнан за Урал, в Сибирь... Стоит эскадра (английская) недалеко от Кронштадта и ничего не делает, чтобы взять этот труп военного порта и проложить себе путь в столицу. Петербуржец чахнет от танталовых мук. Невольно многие кланут оказывать помощь России, зачем же двигать эти гнилые армии белых и тем усиливать террор красных? Блокада, обрекающая население на голодную смерть, не устроит красных: пусть население вымрет, а для палачей хватит хлеба...

С этими мыслями в голове и кровожадным листком в руках ходил я сегодня, в час дивного летнего утра, по аллеям Ботанического сада. В лучах солнца сверкала роса на листьях, хор птиц заливался в торжественном псалме. Хотелось тоже подпевать этому псалму, но дух святой не снисходил в омраченную душу... Сегодня в газете проскользнуло известие о Еврейском учредительном собрании в Иерусалиме, о временном палестинском управлении... Газетка красных дикарей озаглавила это известие презрительно: «Еще одна учредилка», считая учредительное собрание по народному выбору чем-то устарелым, жалким в сравнении с классовыми «советами», где несколько ловких демагогов фабрикуют резолюции через тысячу дураков. Ведь в этих голосовательных фабриках все проходит без прений и заготовленные Зиновьевыми резолюции всегда «единогласно» принимаются «голосующим скотом». Как больно, что возрождение нашей исторической родины совершается в то время, когда миллионы в главном центре диаспоры отрезаны от нее и не могут послать ей даже привета! «Сион, ведь ты спросишь о состоянии твоих пленных!..» Во мраке тюрьмы гложет привет узника дорогой родине...

6 час. вечера. Часто думаю о своем отношении к палестинскому вопросу и сионизму в течение десятков лет. Недавно объяснил в сионистской «Хронике», что считаю долгом националистов уплатить «шекел гагеула» (взнос освобождения для выкупа палестинской земли), при условии участия их в общееврейском, а не в партийном конгрессе по делу возрождения Палестины... Именно теперь выяснится, что Эрец-Исраэль может быть приютом, как в эпоху древней Иудеи, лишь для части нации, и то после невероятных трудов в течение десятилетий, диаспора же останется со всей грозностью своих проблем... Хотел бы быть среди спасающихся, но могу ли бросить погибающих?*

* Тут следует приписка на древнееврейском языке: мечта об окончании исторического труда с тем, чтобы потом поселиться в Палестине и облечь его в «священные одежды национального языка», но выражено опасение, что мечта не сбудется, что мне суждено остаться в пустыне и накануне смерти услышать голос: ты в обетованную землю не войдешь!.. [Ред.]

31 июля. Две недели работал над главою о Германии 1881—1897 гг... Удалось кое-как воссоздать образ той эпохи, еще памятной с той поры, когда я вел в «Рассвете» 1881 г. заграничную хронику...

5 августа (утро). Тantalовы муки продолжаются. В последние дни Петербург был опоясан огнем: на всех прилегающих фронтах шли или готовились серьезные бои при наступлении белых, самолеты сбрасывали бомбы в Кронштадте... А сегодня вдруг победные клики кроваво-красных: Ямбург взят нами! Значит, разбит главный штаб белой армии Родзянко. Помощь «союзников» опять обманула...

Вечером. Написав утром предыдущие строки, подумал: в эти дни должен быть Тише-беав. Заглянул в календарь: да, именно сегодня. Вчерашний вечер прошел без «Эйха». Взял «Кинот», сел, прочел главу «Эйха», ряд «кинот», пропел «Эли Цин», все вполголоса, среди подступающих слез. Затем стали приходить посетители, редкое явление в последнее время. Был Еф[ройки]н с планом издания моих писаний на идиш в киевском «Фолксферлаг». Кроме перевода моих больших трудов, хотят издать сборник статей, писанных мною самим на идиш между 1907 и 1918 гг., и воспоминания о Менделе и Шалом-Алейхеме под заглавием «Дер зейде ун дер эйникл». Еще говорили о «Идише энциклопедия». Кончив беседу, поехал в дровяную контору, где записан пайщиком, и получил отказ в отпуске одной сажени дров. Перспектива замерзания будущей зимою становится очевидной. Вернулся домой. Пришел казначей Исторического общества Гольдштейн по делам общества и получкам от Комиссариата просвещения. Запоздалый обед. Опять посетители — и конечно: 7-й час, трамвай прекратил движение, и мое уединение обеспечено, если не помешает близкий сосед...

Мутится ум от торжества зла, безумия и озверения. М. Горький, автор вдохновенного «Детства», подает руку палачу Зиновьеву и на съезде красноармейцев заявляет: бейтесь до смерти за красных!.. Год назад в «Новой жизни», прежде чем ее закрыл тот же Зиновьев, Горький еще способен был возмущаться зверством большевиков и верил в демократию. Своим бестактным заявлением о первенстве евреев в революции (большевицкой) Горький оказал нам медвежью услугу: желая расположить красных к евреям, он усилит погромы со стороны белых, истребляющих евреев под предлогом мести большевикам.

В наших социалистических партиях полное вырождение: большинство бундовцев, «объединенных» и «Поале Цин» перебежало к коммунистам. На Украине знаменитый бундовец Рафес донес на сионистов и добился закрытия их организации; он и его товарищи лично участвовали в обысках и арестах среди сионистов. Сегодня мне передали, что он и еще двое перебежчиков, члены еврейской секции трибунала, приговорили к расстрелу духовного раввина в Нежине, как «контрреволюционера». Один из судей — мой давний знакомый Иеремия Новаковский, сам полураввин, певший мне сквозь слезы в Вильне 1905 г. хасидские мелодии...

18 августа. Мои издатели, перепечатавшие три месяца назад V том «Истории» (новейший период) в 3000 экз., почти распродали все издание и не могут удовлетворять новые заказы... ** Они готовы сейчас приступить

* Последние слухи нуждаются в проверке.

** Потом оказалось, что большая часть книг разошлась по массовым заказам Комиссариата просвещения, рассылавшего их по народным библиотекам в города и деревни. Позже мои книги, вероятно, были оттуда изъяты. Моими издателями были владельцы большой типографии «Кадима» сионисты А. Раппопорт⁶⁹⁹, Гепштейн⁷⁰⁰ и др.

к набору VI тома... Между делом читал корректуры «Погромной книги» (материалы для истории кишиневского погрома), составлял номенклатуру энциклопедии, писал письма, заседал, ходил по хозяйственным делам...

2 сентября. Переписывал на машине недавно написанные две главы и готовился сегодня отнести их в издательство «Кадима», чтобы сдать в набор для VI тома. Но вчера поздно вечером принесли известие, что все правление «Кадима» и сионистский «мерказ» (петербургский комитет) арестованы и сидят в узилище Чрезвычайной комиссии, среди них люди, которых я на днях видел (д-р Бруцкус, Зайденман⁷⁰¹)...

3 сентября. Сегодня заседание в Еврейском университете о возобновлении занятий, программе, перемене помещения. Еду неохотно: не верю в это дело, в науку, преподаваемую под террором... Есть проект, чтобы мне переселиться на холодные месяцы в комнату при университете, который с Английской набережной переводится на Троицкую улицу, в центр города, и будет обеспечен топливом...

4 сентября. Аресты общественных деятелей продолжаются. Хватают заложников «буржуазии», т. е. меньшевиков, чтобы страшать приближающихся врагов... Чего доброго, доберутся и до меня: ведь своей антипатии к большевикам я не скрывал и еще в 1918 г. говорил об этом в печати и на собраниях. Эту дорогую книжечку и вообще дневники последних лет надо спрятать среди книг библиотеки не столько для сокрытия «улик», сколько для спасения самих записей. Затем, если уж суждено очутиться в тюрьме, хотел бы отсрочки еще на несколько дней, чтобы я мог приготовить к печати и сдать в набор серию глав VI тома.

По-видимому, Киев взят войсками Деникина... Что теперь творится в Киеве? (*Постскриптум* 29.1.1920: Страшные погромы и резня евреев, как я узнал потом...¹)

15 сентября. Уже второй вечер сидим впотьмах: нет электрического света. Не считают даже нужным предупреждать жителей о таком бедствии: просто вспыхнет свет на несколько минут, пропадет вдруг на несколько часов — и сиди впотьмах. Все это — страшные предвестники грядущей зимы. Дров тоже не будет...

16 сентября. Начал писать главу о Франции и малых центрах в конце XIX в., а мрак облекает душу... Вернулся в сумерках под дождем из заседания совета Народного университета; судили и рядили о программе, учебном плане, лекторах — а ведь университет в новом помещении (Троицкая ул.) еще не обеспечен топливом. Мне, живущему далеко, придется возвращаться в осеннее и зимнее время пешком в 8—9 час., так как занятия вечерние, а трамвай с 7 часов прекращается, извозчиков почти нет. Да еще будем ли мы живы? Не окончат ли лекторы в своих квартирах посреди зимнего семестра?..

Вчера посетил гомельского беженца Ноту Певзнера, 75-летнего старика, давнего знакомца... Старик бежал от большевиков ограбленный, под страхом попасть в заложники. Вспоминаются летние дни Гомеля, Чонки и Речицы...

21 сентября (канун Рош-гашана 5680 г.). Новый год застиг меня среди дела Дрейфуса... Настроение обреченного, как у большинства питерцев: или медленно будем умирать с голода, или замерзнем, или станем жертвами выселения, «вселения» и «уплотнения». Велики также шансы быть обсыканным, арестованным, расстрелянным или попасть в заложники. В Москве и П-ге на днях расстреляны по приговору «чрезвычайки», ны-

¹ Еще позже узнал, что это была известная «пытка страхом» и тихое избиение в домах.

нешней инквизиции, 68 членов антибольшевистского «Национального центра»⁷⁰², тайной организации для освобождения обеих столиц. Погибли Щепкин, Черносивитов, Астровы, лучшие представители кадетской партии. Падают головы жирондистов... Опять, как в прошлом году, «сентябрьские убийства». Впрочем, богаты ими и другие месяцы...

Сегодня посетил освобожденного Брудкуса (Ю. А.) на даче, в конце Каменноостровского. Рассказывал о тюрьме, где сидел с профессорами-кадетами и уголовными преступниками в одной камере. Другие знакомые еще сидят там...

26 сентября (вечер на исходе Рош-гашана). Сегодня моя 59-я годовщина жизни... Провел буднично и этот и вчерашний день. Вчера после обеда заседал в Доме литераторов на Бассейной, в нашей комиссии по изданию погромных документов. Сегодня хождение по хозяйственным делам, в перерыв — писание о деле Дрейфуса. В сумерках направился в квартиру арестованного соседа Зайдена, а в дверях встречаю его с женою, идущих к нам. Обрадовался, привел их к себе и за чашкою чая поговорили обо всем, что волнует всех сейчас... В Москве брошена бомба в собрание коммунистов, убито и ранено 26 человек и разрушено все помещение... Очевидно, это имеет связь с последними расстрелами кадетов...

Много слышал о тюремном режиме. То и дело из общей камеры уводят людей на расстрел. Расстреливают по приговору «чрезвычайки» палачи-китайцы. У нас во дворе живет в одной квартире такой китаец, «начальник отряда расстреливающих», т. е. обер-палач.

3 октября (вечер Иом-кипура). «Иомим норойм» (страшные дни) в подлинном смысле. Обреченный петербуржец тешится мыслью, что скоро Деникин освободит Москву, а затем и Питер. Белые подвигаются к Орлу и скоро могут подойти к Туле...

4 октября (утро Иом-кипура). В это озаренное солнцем утро хочется молиться по-своему. На днях случайная справка в биографии Дж. Дарместетера, искателя религии будущего, напомнила мне о сходстве его религиозной эволюции с моей: тот же позитивизм в юности, занятия по контовской системе наук, а позже совмещение научного мирозерцания с профетизмом. Разница в том, что он прошел через Авесту и парсизм, а я через хасидизм. И на днях же случайно попала мне в новейшей американской книге («Zionism» Готгейля) параллель между мною и Дарместетером на основании наших общих обзоров еврейской истории. Настроения наши действительно совпадали, но с тех пор моя национальная эволюция ушла далеко вперед, в связи с концепцией истории...

Вечером. Пошел к «неила» в Ботанический сад. Вечерние сумерки, полупасмурно, пустынные дорожки с покровом желтых листьев, безлюдно. Молился с деревьями. Одни стояли уже почти оголенные, другие шелестели красноватою листвою и молились истою, громким шепотом, читая предсмертную исповедь, с красными от слез глазами... Темнело. Последняя человеческая тень исчезла из сада. Тишина. Где-то за садом звонили в церкви (вечер под воскресенье). Мне вспомнились поздние дни Линки и лесные молитвы. Еще темнее. Надо уйти из сада. Шагнул вдоль Карповки и снова увидел людей на полумертвых улицах.

Сегодня в газетах публика предупреждает, чтобы в случае налета аэропланов не скопляться на улицах; пешеходам велено прятаться в подъездах домов, а жильцам верхних этажей спускаться в нижний...

5 октября. На днях узнал о погромах в Балашове и Козлове во время недавнего набега Мамонтова с казаками. В Балашове казаки спрашивали уличных мальчишек, где тут живут евреи; получив указание, врывались

в дома, секли, рубили мужчин, женщин и детей, приговаривая: это вам за Троцкого, это за Свердлова! Вырезали 50 семейств, остальных выгнали из города. В Козлове нечто подобное, без подробностей... Таковы наши «спасители».

6 октября. Сейчас вернулся из типографии «Кадима». Говорим о делах. Входит пожилая еврейка с газетным листком в руках и говорит, что там есть печальная весть. Открываем: вчерашний номер газетки, издаваемой в Кронштадте, с коротеньким известием из Чернигова, что 30 сентября в Одессе умер еврейский поэт Бялик... Не хотелось верить этому известию. (*Постскриптум*: к счастью, слух не оправдался...) Разбитый, возвратился домой. Царит смерть. Умирает и печатный станок, для которого приготовлен мой труд. Типография и издательство «Кадима» накануне закрытия. Пишу для далекого будущего, которого не увижу...

16 октября (вечер). Белые приближаются к Петербургу. Бои у Гатчины... Сейчас вернулся от соседа по лестнице, проф. Г[редескула]. Он сообщил новость: наш домовый комитет получил уведомление, что из нашего дома будут выселены все жильцы и поселены какие-то коммунисты. Это значит: 60 семейств будут выброшены на улицу... Мы решили добровольно не выселяться, пусть выбрасывают... Введено осадное положение: после 8 час. вечера нельзя выходить из дому. Вчера в заседании лекторов нашего университета обсуждался вопрос, как быть с лекциями, которые идут от 6 до 10 час. вечера. Сократили, скомкали — будет фикция школы. Да и до того ли теперь?

17 октября. Рано утром вышел за газетой. На стенах объявления: из морских артиллерийских орудий будут обстреливать противника и публике предлагается соблюдать спокойствие. В плакате от матросов Балтийского флота — угроза уничтожить врага из дредноутов или сдать ему Петербург только «в развалинах». Люди толпятся около объявлений в панике... Ждем событий с часу на час.

18 октября. Взятые белыми Гатчина, Красное Село, бои продолжаются у Красной Горки, и вероятно, Кронштадту конец. Предвидя вступление белых в Петербург, Троцкий и Зиновьев решили дать им бой на улицах города. Сегодня приказ о вооружении всех рабочих для «внутренней обороны», сражения на улицах. Город разделен на районы и секторы, где будут расставлены отряды с пулеметами, проволочными заграждениями и пр...

20 октября. Состояние напряженного ожидания продолжается. Каждое утро бегаешь в поисках газеты и читаешь заголовки: «Враги у ворот», «Грозное положение Петрограда». В городе огромное возбуждение... Ложишься вечером спать и думаешь: ночью в город могут войти белые. Ведь и «Красная газета» сегодня говорит о возможности внезапного их появления на Петергофском шоссе и за Нарвской заставой. Листок Зиновьева говорит об этом с тревогою, а жители читают с надеждой.

21 октября. Всю ночь и сегодня с утра слышна канонада. С кораблей на Неве или с окраин палят по приближающимся белым. В городе приготовления к обороне: патрули, пушки на углах улиц: готовится декорация баррикад...

24 октября. Белые были уже у ворот П-га, но красные в порыве отчаяния, ценою огромных жертв, взяли назад Царское Село, «после ожесточенного боя на улицах», и Павловск... Душевная пытка питерца ужасна... Его агония продолжается.

Вчера и сегодня занимался устройством зимнего уголка, который обеспечил бы нас от замерзания. Для этого я соединил маленькую биб-

лиотечную комнатку (бывшую каморку для прислуги) с кухней, а через нее и кабинет, так что будем питаться скудным теплом от кухонной плиты... В крайнем случае (если не будет дров) будем топить мебелью и менее нужными книгами...

30 октября. У нас подходят к концу ничтожные запасы муки и крупы. В последние дни давила мысль: а что будет через неделю, десять дней? Вдруг чудо: часа три назад мне понадобилась справка в стихах Мориса Розенфельда⁷⁰³; пошел в шкаф доставать книгу, где есть цитаты из этих стихов, и наткнулся позади книг на что-то мягкое в газетной бумаге; оказалось — мешочек с 10 фунтами ржаной муки, некогда запрятынный на случай обыска и забытый в шкафу с лета. Радость: еще на 10—15 дней мы застрахованы от голода, а вместе с прежними запасами приблизительно на один месяц...

2 ноября. С крайними усилиями дописал главу о малых и новых центрах еврейства в конце XIX в. Сказались умственное утомление и физическое истощение. Сегодня дурной признак — головокружение. Холод с каждым днем крепнет. Несмотря на перемещение в район кухни и ежедневную топку плиты, согреваешься только на 2—3 часа, а в остальное время мерзнешь при 7—9 градусах. Третья египетская казнь (после голода и холода) — тьма начинает теперь донимать. В последнее время стали давать электрический свет с 6—6½ час. вечера, так что около часа приходится сидеть в потемках. Сегодня подали только в 8 час.

5 ноября. Белые оставили Гатчину... Они уходят после октябрьской репетиции, столь же неудачной, как и майская. Последние искры надежды гаснут... Послезавтра двухлетняя годовщина большевистского переворота, и сама судьба как будто поднесла им сюрприз к празднику.

...Поражает эта приниженность питерского населения. Ежедневно гонят из каждого дома десятки людей на окопные работы в окрестностях — и покорно идут все: слабые, больные, женщины, от 17 до 50 лет, идут на защиту города от тех, кого ждут как спасителей, идут для укрепления власти своих палачей. Слышал, будто Зиновьев с циничным торжеством сказал: «Я уверен, что если бы питерцам приказали явиться на Марсово поле для сечения их, то там установилась бы длинная очередь ожидающих своей порции». Недалеко от правды...

10 ноября. Последние надежды меркнут: Гдов взят красными, которые идут на Ямбург. Финляндия, по-видимому, на помощь не идет, и весь освободительный поход Юденича на Петербург может теперь быть назван безрассудной авантюрой. Красные деспоты ликуют... Но город в глубоком трауре.

Читал вчера первую лекцию «Введения в еврейскую историю» при большой для нынешнего времени аудитории: от 20 до 25 человек. Не было расположения читать в такую пору, перед случайными слушателями, преимущественно женщинами (мужчины мобилизованы), в холодной комнате, где все сидели в пальто...

18 ноября. Дальнейшие победы царящего зла: красными взяты Ямбург на петербургском фронте и Омск, резиденция Колчака, на сибирском. Дела Деникина на южном фронте неважны... Нет надежды на освобождение.

Вчера в собрании жильцов нашего огромного дома мы подписали себе смертный приговор на зиму: решили не отапливать дом по центральной системе, так как остывшие трубы от морозов лопаются и вода заливает квартиры. Возможно, что лопнет и водопровод, и мы останемся без воды.

Без света сидим уже несколько часов каждый вечер, а часто и весь вечер. Холод невыносимый, хотя все живут в кухнях... Сейчас иду в сарай с двумя топорами колоть дрова и затем носить их наверх*.

Вечером. Пишу дрожащею рукою, еще не оправившейся от дневной рубки дров тяжелым тупым топором. Молитвенное настроение не покидало меня и сегодня, спасая душу от замерзания. Как несчастны люди, не умеющие так молиться в минуты жизни трудные, люди житейские, без внутреннего Бога, прикованные к земле, лишенные крыльев, чтобы подняться над ее ужасами!

24 ноября. Полная безнадежность. На прошлой неделе красными взят Курск, и они подвигаются к Киеву и Харькову. В армии Деникина разложение: казаки громят евреев, кругом крестьянские восстания, хаос. Дошло до того, что евреи от белых бегут под защиту красных...

Сегодня путешествовал, при расстроенном трамвайном сообщении, к Чернышеву мосту, чтобы получить 15 фунтов мерзлой капусты из кооператива Комиссариата просвещения. Усталый принес домой в сумерках эту богатую добычу. Проходил мимо бывшего Министерства внутренних дел и подумал: несколько лет назад в такие же зимние дни ходил в эти места, чтобы хлопотать о праве жительства, а теперь хожу для добывания капусты, чтобы не умереть с голоду. Что хуже?..

27 ноября. Сейчас забота о перетаскивании, распиловке и расколке нашей доли балок и досок из разбросанного по соседству деревянного дома: нет сил и орудий для такой тяжелой работы. А не взять дров — совсем замерзнешь...

Сегодняшний вечер я мог бы провести в стане ликующих: меня пригласили на обед по случаю издания «погромной книги», в редактировании которой я участвовал, но я отказался. Нельзя плясать на трупах Кишинева и устраивать обед по случаю появления траурной книги; во-вторых, там будет комиссар просвещения Гринберг, и выходит, что я участвую в чествовании его как поощрителя издания. Остаюсь в своей тюрьме, скванный, но свободный духом, не обедающий, но со спокойной, чистой совестью.

1 декабря. Вчера в полдень, шагая обычно по Литейному с только что купленной газетой (читаю лекции в университете по воскресеньям, когда трамваи не ходят), наткнулся на заметку: умер М. И. Кулишер. В прошлое воскресенье он еще читал лекцию после меня, читал — по словам слушателей — еле слышно, а в субботу умер одинокий, беспомощный. Ему было 72 года, но он мог бы еще жить, если бы не нынешние физические муки. Сказал о нем несколько слов на лекции, напомнил о человеке двух эпох... Вернулся домой усталый, разбитый. В голове теснились мысли о прошлом. С К. я мало был близок: мы не сходились во взглядах и мы оппонировали друг другу на докладах в Историческом обществе, но в его смерти вижу уход последнего из могиканов. Ужасная трагедия: юность на заре реформ и светлых надежд, старость и смерть в безнадежности русского хаоса...

5 декабря (вечер). Два часа назад вернулся из заседания новой Комиссии для исследования материалов по ритуальным процессам. Комиссия состоит из восьми человек: четверо евреев (я, Слиозберг, Штернберг и Красный, последний сосватал нас с Комиссариатом просвещения) и четве-

* Помню процесс рубки и расколки дров в сарае двумя топорами, большим (колун) и малым. О надежды, когда я колот большим топором толстую колоду, у меня от крайнего напряжения кровь хлынула к горлу, и я подумал, что это разрыв какого-то сосуда и что сейчас упаду. Удивился, что уцелел.

ро христиан (проф. Платонов⁷⁰⁴, Карсавин⁷⁰⁵, Дружинин⁷⁰⁶ и архивариус Блинов⁷⁰⁷). Заседали в старинном здании Архива Сената... Так странна эта встреча под сводами Сената, в беседах о Велижском деле и других процессах, вместе с русскими людьми, может быть не вполне свободными от предрассудка. Слиозберг не преминул в речи вернуть комплимент православию, которое в отличие от католичества не пропагандировало ритуальной легенды, — неверно и неприятно (я на это мимоходом возражил). Красный предлагал пригласить экспертов-богословов в комиссию для перевода еврейских цитат: священника и раввина (для гарантии объективности). Я возражал против этой феерии, настаивая на чисто научной и технической задаче комиссии: публиковать материалы. Комиссия согласилась с этим. Решено заседать еженедельно, по вторникам, между 12 и 2 час. дня в Архиве Сената... К чему все это? Успеем ли сделать что-либо существенное, будучи зависимы от материальной помощи комиссариата?..

10 декабря. Власть торжествует победу на Всероссийском съезде Советов в Москве... На жалобы Мартова⁷⁰⁸ по поводу терроризма большевиков и «чрезвычайек» и уничтожения оппозиционной печати последовал грубый окрик Ленина: «чрезвычайка» — великолепное учреждение, уничтожающее наших противников; свободу печати давать противникам, чтобы агитировать против нас, — дураки мы, что ли? Ответ, достойный царских жандармов...

28—29 декабря. ...Сегодня вместо лекции был там же (в университете) на собрании памяти Кулишера... В холодном зале сидели мы в шубах, шапках и кашолах и говорили о покойном. Старые знакомые: Слиозберг, Острогорский⁷⁰⁹, Бикерман и др., остатки былого «общества». Я говорил о контрасте момента: люди, отброшенные ко временам первобытной культуры, чувствуют память деятеля и историка культуры. Кратко охарактеризовал деятельность К. на заре культуртрегерства в «Дне», «Рассвете», «Заре» — изданиях с лучезарными названиями, с верою в прогресс, характерною для эпохи нашего гуманистического антитезиса. Он не перешел к национальному синтезу, но сохранил ли он к концу дней веру в культуру и прогресс, видя этот новый потоп варварства? Если да, то легче ушедшему, чем остающимся. Я кончил призывом сохранить эту веру: иначе затмится разум, умрет Бог в душе людей... Говоривший за мной Слиозберг подтвердил, что покойный сохранил свою веру в прогресс. Так полумертвые хоронили мертвых в этом собрании теней...

Глава 65

На академическом пайке (1920)

Итоги записей. — Новогодние гадания у кухонной плиты. — Мои функции дровосека и дворника вперемежку с исторической работой. — Благая весть об академическом пайке. — Запоздалая правда об украинских погромах и «Иизкор» в тиши моего кабинета. — Отыскание моей старой записки для паленской комиссии. — Как мы занимались в Комиссии по ритуальным процессам в сенатском Архиве. — Переход от новейшей истории к новой. — Польско-советская война. — Американско-еврейский делегат в Петербурге. — Мысли об эмиграции. — Мое завещание. — Летние дни в доме отдыха за Невой; палата литераторов; речь Ленина о несвободе и неравенстве; напоминание о «святой троице» великой французской революции. — Весть о гибели Израи-

ля Фридендера. — Встречи: С. Гурвич, Флексер-Вольнский. — Отсроченный юбилей. — Портфель ученого, превращенный в суму нищего. — Смерть Ан-ского. — Московские «ревизоры» и ликвидация ритуальной комиссии. — Картина одного дня в советском Петербурге: начала и концы жизни.

К началу 1920 г. результаты гражданской войны выяснились: все три белые армии, Колчака, Деникина и Юденича, были разбиты, а желтая армия Петлюры после «побед» над мирным еврейским населением также отступила перед красной армией. Теперь окончательно выяснилось, что и белая армия Деникина состояла в большинстве из черносотенцев, которые соперничали на Украине с петлюровцами в производстве еврейских погромов. Нам, замкнутым в красном Питере, стало ясно, кто были те, от кого мы ждали спасения, доверяя их притворным республиканским или демократическим лозунгам. Раскрывшиеся теперь подробности украинской гайдамачины, о которых большевистская пресса раньше сообщала лишь как о мелких эпизодах гражданской войны, теперь потрясли меня своим историческим сходством с гайдамачиной XVII и XVIII вв., и я мог только в тиши своего кабинета сделать «Эль моле рахамим» над мучениками 1919 г... В 1920 г. нас волновал эпизод гражданской войны: польская офенсива в западном крае, ответное наступление красной армии на Варшаву и последняя антибольшевистская кампания армии Врангеля на юге. Теперь мы уже знали, что нас никто не освободит из тюрьмы, именуемой «Советской Россией», и я начал думать об эмиграции, но решил не трогаться с места, пока не будет закончена в рукописи новая редакция «Истории еврейского народа». И весь 1920 г. прошел у меня в этой ликвидационной работе, которая закончилась только в следующем году.

В этом тюремном режиме произошло одно облегчение: по ходатайству М. Горького была учреждена Комиссия для улучшения быта ученых (КВБУ), которая стала выдавать академический паек работникам науки, преимущественно преподавателям высших учебных заведений. Наш Еврейский университет был тоже причислен к высшему разряду, и его постоянным лекторам, в том числе и мне, выдавался паек, состоявший из хлеба, масла, изредка мяса, крупы, картофеля и прочих предметов первой необходимости. Это спасало сотни ученых от голода и от прежней мучительной борьбы за кусочек хлеба, но самый процесс получения этих «выдач», нищенских подаваний советской власти, был связан с унижениями и физическими страданиями. Место выдачи продуктов находилось в Доме ученых, бывшем дворце великого князя Владимира Александровича на Миллионной улице, недалеко от Зимнего дворца. Туда надо было являться раз в месяц, чтобы записываться на паек, а каждую неделю ходить за получением продуктов. Там приходилось стоять в очереди и получать продукты на целую неделю, а затем уносить этот драгоценный груз, доходивший иногда до пуда весом. Так как у меня, как у большей части ученых того времени, прислуги не было, то приходилось самому тащить этот груз. Я жил довольно далеко от Миллионной улицы, которая находилась в стороне от трамвайной линии, а извозчиков или автомобилей тогда почти не было в городе, и мне поэтому приходилось поддороги тащить груз в мешке на плечах до и от трамвайной остановки; в зимнее время мы иногда возили его на ручных санках по снегу. Помню эти еженедельные очереди на Миллионной, в длинном хвосте ученых, часто престарелых, которые приходили с женами или детьми за получением спасительного пайка и потом тащили продукты общими силами.

Академический паек составил эпоху в жизни ученых. Теперь заботы о питании значительно облегчились, голод не мучил, но продолжал мучить холод, ибо центральное отопление было расстроено, а топливо, исчезнувшее с рынка, лишь в очень редких случаях выдавалось из Дома ученых. Приходилось, как и раньше, жить и работать в кухне, получая скудное тепло от плиты или маленькой печурки,

«буржуйки» (как ее прозвали пролетарские «аристократы»), на которой готовилась пища в те дни пещерной жизни.

В этом году я успел дописать недостающие главы новейшей истории до 1914 г. и затем вернулся назад к новой истории (XVI—XVIII вв.). Кроме этой главной работы, я продолжал чтение лекций в университете и работу в Комиссии для исследования ритуальных процессов.

То была очень оригинальная комиссия. Предприимчивый Г. Я. Красный столкнулся с одним из бывших обер-секретарей Сената И. А. Блиновым о том, чтобы составить комиссию из 8 членов, русских и евреев, на паритетных началах, с целью издавать хранящиеся в сенатском Архиве акты по ритуальным процессам времен царизма⁷⁰. В комиссию вошли, кроме двух инициаторов, с русской стороны: известный историк профессор С. Ф. Платонов (тогда товарищ заведующего Государственным архивом, позже арестован большевиками и умер в тюрьме), проф. А. П. Карсавин и археолог В. Г. Дружинин; с еврейской стороны: Г. Б. Слюозберг, а после его отъезда из России С. Г. Лозинский, А. Я. Штернберг и я; сверх того были два секретаря: бывший сенатский делопроизводитель Нечаев и журналист Волковьский⁷¹. Паритетное начало в составе комиссии было установлено обоими инициаторами как гарантия беспристрастности в подборе материала и его комментировании, но это уже вносило элемент недоверия. Действительно, оказалось, что русские члены комиссии не были совсем свободны от веры в ритуальный обычай, хотя бы у одной еврейской секты, и старались подыскивать этому доказательства в актах ритуальных процессов. Как я потом выразился в одном заседании комиссии, для наших русских сочленов было теоремою то, что для нас, евреев, было аксиомой: ложность ритуального обвинения. Весьма подозрительным казался мне чиновник Блинов, когда-то близкий к виновнику дела Бейлиса министру юстиции Щегловитову, для которого он, может быть, искал оправдания в старых процессах. Мне часто казалось, что он при содействии кой-кого из русских товарищей саботирует дело.

Имелось в виду в первую очередь издать акты огромного Велижского процесса 1823—1835 гг.⁷¹, занимавшего 24 толстых фолианта в сенатском Архиве. Я, как единственный член, знавший Велижское дело по источникам, предложил издать из всех этих томов один, заключающий в себе сводку всего дела в виде записки Сената, указывая на то, что мы не сможем напечатать десятки томов по одному только процессу; но большинство комиссии (при поддержке посредника Красного) отклонило мое предложение и решило печатать весь материал, то есть фактически отдать ряд лет только на подготовку его к печати. С трудом добился я, чтобы в хронологическом порядке был издан предварительно один том актов по небольшому Гродненскому ритуальному процессу 1816 г. Но и тут прошел ряд заседаний в обсуждении мельчайших деталей вопросов об орфографии, примечаниях, указателях, библиографии и даже биографиях причастных к процессу русских чиновников. Я непрестанно напоминал о необходимости приступить к сути дела, к редакции текстов и составлению введения; мне вместе с председателем комиссии Платоновым поручено было написать историческое введение, но и тут пошли бесконечные прения о том, как обеспечить строжайшую «объективность» до того, чтобы не предрешать даже самый вопрос, существовали ли ритуальные убийства. Тут мне пришлось дать генеральное сражение. Я доказывал, что поскольку мы готовим научное издание, мы обязаны исходить из научно установленного факта, что не было ритуальных убийств, как не было злодейств со стороны ведьм, которых средневековые суеверы сжигали на кострах; я говорил, что мы призваны исследовать историю процессов, но не расследовать дело по существу. Мне возражали, что ввиду веры многих христиан в ритуальные убийства мы не должны давать им повода думать,

* См. в предыдущей главе, запись от 5 декабря 1919 г.

что мы предрешили вопрос в отрицательном смысле. Слишком усердный Г. Красный, стараясь доказать свою объективность, предложил пригласить еще двух русских гевраистов для проверки порученного мне и ему: еврейских выражений в русском тексте документов, что было радостно подхвачено русскими членами. Кончилось тем, что после целого года заседаний (декабрь 1919—декабрь 1920) мы успели подготовить к печати только актовый текст одного тома (Гродненское дело) без введений, а печатать его нам не суждено было. Наша комиссия, числившаяся раньше в ведомстве Комиссариата просвещения, перешла в ведение еврейского отдела Комиссариата национальных меньшинств. Этот отдел (будущая Евсекция) послал из Москвы ревизоров для осмотра Еврейского университета и научных комиссий. Одним из ревизоров был киевский журналист Литваков⁷¹², только что перебежавший от Бунда к коммунистам (еще в 1919 г. он посетил меня по делу «Еврейской энциклопедии» и на мой вопрос категорически ответил, что он антибольшевик). В Москве решили объединить все научные комиссии в один еврейский исследовательский институт, но из этого проекта ничего не вышло и комиссии были просто закрыты.

Предо мною лежит теперь памятник наших заседаний — большой том протоколов с изложением прений в ритуальной комиссии. Неизгладимое впечатление осталось у меня от обстановки этих заседаний, вследствие ассоциации с одним переживанием давнего прошлого. Летом 1893 г. в Одессе я получил из Велижа от Л. Эттингена большой фолиант сенатской записки по Велижскому делу, случайно найденный у частного лица. Я погрузился в чтение этих официальных актов и — до сих пор не могу забыть — чувствовал себя так, как если бы меня самого держали в инквизиционной камере, где пытали моих предков. А в 1920 г. я в самом помещении высшего суда, Сената, перелистывал десятки томов страшного процесса и видел среди вклеенных вещественных доказательств перехваченную переписку несчастных заключенных с своими семьями, часто писанные углем на лучинках записки с намеками к родным, застывшие слезы и заглушенные вопли жертв навета. Вот сижу в сенатском Архиве, в сенаторском кресле, и предо мною папка для бумаг с наклеенною фамилией сенатора, сидевшего раньше на этом месте, и под сводами старинного здания реют тени страшного былого, века Николая I, тени моих замученных братьев и сестер. А за стенами здания, на исторической Сенатской площади, маршируют красноармейцы, еле волочат ноги изголодавшиеся петербургские обыватели, и новая деспотия царит на месте старой...

Узник большевистского царства, я в это время имел только один раз общение с «потусторонним» миром Европы и Америки, но оно связано было с потрясающей трагедией. В мае в Петербург приехал член американской делегации для помощи разгромленным украинским евреям Г. Пайн⁷¹³, которого пропустили в Россию как представителя еврейских рабочих союзов в Нью-Йорке. Он сообщил мне, что близко, в эстонском Ревеле, находится другой член делегации, профессор Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке Израиль Фридлендер, переводчик моих трудов на немецкий и английский языки, который не был допущен в советский Петербург. С нетерпением ждал я свидания с этим другом, с которым два десятка лет корреспондировал, а в последние годы был отделен от него блокадой. Но он не приезжал, а через три месяца пришла страшная весть, что он погиб на Украине, где раздавал помощь от американского комитета семьям пострадавших от погромов. В Подолии он с своим спутником очутился близ польско-украинско-советского фронта и был убит бандитами с целью ограбления.

Из дневника 1920 г.

7 января. Гадать на новый год не было охоты. Погибли все наши надежды на освобождение из тюрьмы. Диктатура черни, власть стихий, бесилие духа против восставшего первобытного хаоса... Петербург дошел

до такого состояния, что дольше выдержать не может: люди стонут, кричат на улицах, гибнут как мухи... Холод заставил меня перенести свою научную работу из кабинета в кухню. Пишу близ плиты, в тесноте, вплемжку с хозяйственными работами.

Страстно хочется верить, что 1920 год, третий год нашего заточения, будет последним, что перед узниками откроется свет в двойном смысле этого слова.

16 января. ...Маленькой реформой удалось смягчить муки холода. Раньше тепло от кухонной плиты питало три комнаты рядом: кухню, библиотеку (бывшую «людскую») и кабинет; в последнее время я кабинет закрываю с 10 утра до 10 час. вечера, и в течение дня в остальных двух комнатах гораздо теплее (9—10 градусов Реомюра); кабинет же, служащий спальней, открывается на ночь, и при 5 градусах тепла спится сносно. В кухне стоит столик с «ремингтоном», и я теперь заканчиваю переписку недавно написанной главы. Только примитивные работы расхищают время: носить дрова из сарая, колоть и рубить их, молотить зерна в крупу на кофейной мельнице... Устроил себе особый уголок для послеобеденного отдыха. Сажу в кресле среди полок с книгами, вынимаю старые книги, волновавшие меня в юности, и перечитываю или перелистываю вновь. В последние дни читаю «Историю французской литературы XVIII века» Гетнера, книгу, сделавшую меня в 1878 г. рационалистом. Помню ту весну, после возвращения из Динабурга, и книгу, взятую у сестер Фрейдлиных, тот же экземпляр, подаренный мне. «На много дум наводит он...»

18 января (воскресенье, вечер). Сегодня утром по дороге в университет (возобновил лекции после каникул) купил газету на углу Литейного и Бассейной, и мне бросились в глаза слова, напечатанные огромными буквами: «Блокада снята». Верховный совет Антанты в Париже решил снять блокаду и допускать товарообмен с Россией. Весть огромной важности*. Будет не только смягчена нужда в пище, одежде и других вещах, но получится возможность кое-как сообщаться с миром, с родными, близкими, далекими, а для многих — бежать из каторжной тюрьмы, именуемой «Советской Республикой». Просвет открылся: я теперь имею счастье мечтать о доле изгнанника, эмигранта, о том, что при нормальных условиях было бы несчастьем.

Обещают ученым добавочный паек, около полуфунта хлеба в день. Попаду ли в разряд счастливой тысячи, для которой М. Горький выхлопотал эту милость? И здесь приходится мечтать о «счастье». Как легко фабриковать «счастливых» в советской республике!..

21 января. Все больше узнаем об ужасах, которые натворили гайдамаки Петлюры на Украине и денкикинские добровольцы в местах, очищенных от большевиков. Везде были кровавые еврейские погромы под знаком «жиды — коммунисты». Теперь только глухо доходят летние и осенние вести прошлого года. Генералы и офицеры, спасавшие Россию от красных, остались теми же черносотенцами как при царе, а казаки теми же зверьми. Доходило до того, что евреи с радостью встречали возвращавшихся большевиков. Еврей мечется между белыми и красными, между специально еврейским погромом и всероссийским...

27 января. Упорный холод вынудил новую реформу: сегодня переместил всю библиотеку в большой кабинет и закрыл его до теплого времени. Вследствие усилившихся морозов спать там оказалось невозможным, при

* Фактически не оправдалась. См. дальше.

2 градусах тепла, и мы решили еще более сжаться — в кухне и прилегающей «людской»...

Снятие блокады пока звук пустой...

29 января. Не пишется. Отбился от работы из-за перемещения и губительных хозяйственных забот. Аккуратно тащу на спине из сарая вязанки дров, как заправский дворник, но я стал зато неаккуратным историком... Возобновились сильные морозы, а плита плохо греет. Стынут мысли, стынет мозг с его волнами дум, как леденеют зимою волны северного моря у берега, где они раньше шумно плескались.

1 февраля (воскресенье, вечер). Сегодня утром, придя пешком при морозе и ветре в Евр. университет для чтения лекции, услышал от Лозинского радостную по нынешним временам весть: меня и еще некоторых профессоров признали достойными получить «пак для ученых». Он будет выдаваться на Миллионной, в Доме ученых, бывшем дворце в. к. Владимира Александровича. Что будут давать, неизвестно. Говорят, целый фунт хлеба в день, пару фунтов жиров в месяц, еще кое-что. Комиссия ученых, заведующая раздачей, не хочет разглашать подробностей, чтобы не возбудить зависти заводских рабочих, правящей аристократии нашего времени.

8 февраля. ...На этой неделе, благодаря почтовой посылке и ожидаемому академическому пайку, мы впервые ели хлеба вдоволь, без опасения остаться на следующий день без еды. Заношу в дневник это событие, после с лишком двухлетнего недоедания. Сколько лет еще уйдет, пока нам станут вновь доступны молоко, масло, мясо, сахар, ванна, частая смена белья, новая одежда вместо нынешних лохмотьев, обувь, новые книги, свободные газеты, свобода собраний, свобода слова, неприкосновенность личности, возможность сообщаться со всем миром и тому подобные блага, отнятые у нас и ныне недостижимые?..

9 февраля. Вчера вечером, после предыдущей записи, принесли от соседа случайно привезенные в Питер номера русско-еврейских газет, вышедших в Харькове в августе—ноябре (1919), когда на юге одерживали победы белые из добровольческой армии Деникина, а между нею и красной армией большевиков стояли разнузданные украинские банды Петлюры и других атаманов-разбойников. Известия о еврейских погромах оказались страшнее всего, ранее слышанного. Сплошная резня во всей Украине, в тех самых городах, где гуляла гайдамачина XVII и XVIII вв... 353 общины были уничтожены или рассеяны; убитых, раненых, изнасилованных женщин, замученных детей больше 30 000 за одни летние месяцы 1919 г... Читал, а глаза застилались слезами, и я тихо шептал «Иизкор» над новыми мучениками, убиенными в 5679 году...*

А сегодня утром я шагал с Идой по Миллионной улице, таща на плечах богатую добычу: 18 фунтов хлеба и 15 ф. картофеля, полученные в счет академического пайка, спасающего нас теперь от дальнейшего истощения. Рядом шли еще профессора с такими же грузами на плечах, в руках или санках, ибо извозчиков нет. Несколько минут переезда на трамвае — и опять пешее хождение с тяжелым, но спасительным грузом, до самого дома.

16 февраля (полдень). Сейчас поднялся с обычной «прогулки» в сарай, откуда принес на плечах три вязанки дров, а Ида с нижних этажей принесла воду. Так нас превратили в дровосеков и водоносов (как библейских

* Следует на древнееврейском языке особая поминальная молитва в стиле средневековых элегий.
[Ред.]

гивеонитов). Я с юности ценил физическую работу как противовес односторонней умственной, но теперь приходится работать сверх сил. А на письменном столе ждет работа большая, сложная.

2 марта (сумерки). Третьего дня посетил Слиозберга в его квартирке на Знаменской, с ходом через кухню, вместо прежних роскошных апартаментов в Ковенском переулке. Пишет мемуары, укладывает архив и библиотеку, готовится уехать далеко. Он вручил мне красиво переписанную, в изящном переплете рукопись из архива барона Гинцбурга: «История законодательства о евреях в России», в которой я узнал свою пропавшую записку для паленской комиссии 1884 г. Это уже доисторический период. Узнал свои тогдашние приемы писания и радикальные реформаторские взгляды. Записка писана как будто мудрым старцем, с холодным логическим анализом, в миллевском стиле — а ведь писал ее горячий юноша, стыдившийся своей горячности и сдерживавший ее, оковавшийся льдом.

...Сегодня ликующая телеграмма: «Архангельск наш!» Белые ушли из города и предали его большевикам. Так от крайнего севера до юга белые провалились. Почему? Теперь тайна выясняется: потому, что эти белые были на самом деле черными, погромщиками, а не героями. Деморализованная погромами черно-белая армия, покрасневшая только от еврейской крови, не могла устоять против напора большевистских масс...

14 марта (вечер). ...Недавно отказали в поддержке нашему университету от (петербургского) Комиссариата просвещения. После перемещения покровителя университета Гринберга в Москву его коллеги из коммунистов-ассимиляторов решили уничтожить еврейские культурные учреждения. В заседании коллегии комиссариата Лилина⁷¹⁴ (еврейка Злата Ионовна, жена нашего правителя Зиновьева) заметила в списке профессоров мое имя и воскликнула: «Ну, разве это совместимо с советской школой!»... Лозинский и Красный поехали сегодня в Москву хлопотать о причислении нашего университета ко всероссийскому центру в Москве, чтобы освободить его от опеки петербургских хамов. А я сегодня нарочно читал в университете свою обычную воскресную лекцию, чтобы поддержать дело, лишившееся пособия от казны.

3 апреля (первый день Песаха 5680 г., 12 час. утра по советскому времени, 9 час. по солнечному). Два часа тому назад дописал последние строки VI (позже X) тома «Истории», доведенной до 1914 г. Вчерашний вечер прошел уныло, частью в кухне за куском «хлеба бедности», привезенным из Москвы Г. Красным (действительно маца нищих), частью за письменным столиком в соседней каморке...

И все же весеннее солнце проникает в омраченную душу и будит мертвецов, надежды былого. Вот сегодня-завтра раздвину пределы своей зимней тюремной камеры, присоединю к ней давно закрытый кабинет на солнечной стороне, буду молиться Солнцу, спасшему меня, и работать при большем просторе...

4 апреля. Я уже в своем кабинете. Все в этом опустевшем гнезде приведено в порядок, и я сижу за большим письменным столом... Весь день, расставляя книги и раскладывая бумаги, изгнанник молился своим пенатам... Устраивался сегодня и думал: надолго ли?..

17 апреля. Вчера в полночь окончательно распрощался с VI (X) томом «Истории», переписав и пересмотрев последнюю главу... Справился в прежних записях: с июля 1919 г. писал эпоху 1881—1914 г. (кроме ранее написанных глав о России), значит, больше 9 месяцев. Последние главы меня замучили. Приходилось писать картину «еврейского мира накануне мировой войны» (1901—1914) на основании газетного материала, рыться

в тысячах заметок «заграничных хроник» и т. п. Только сознание близости конца напрягало силы, а теперь упадок сил пропорционален их прежнему напряжению. Неизбежен перерыв, прежде чем приступить к переработке IV (VI—VII) тома — «новых веков».

Что делается на свете, из моей тюрьмы ничего не видно. Газет в продаже почти нет. Иной раз наклеят на стенах и заборах, пройдешь по улице и кое-что узнаешь, а часто не наклеивают — и ничего не знаешь. В последние дни полоса мирных переговоров: с Финляндией... Польшей... Латвией и Литвой...

Из отогнанных впечатлений жутких зимних дней. Ежедневно по вторникам ездил в сенатский Архив, на заседания Комиссии по ритуальным процессам. Дело подвигается, первый том (Гродненское дело 1816 г.) готовится к печати, работа редакционная между членами комиссии распределена, все делается в образцовом порядке, при двух секретарях, составляющих подробные протоколы наших прений и подготавливающих архивный материал. Прения интересные. Русские члены несомненно верят отчасти в ритуальную легенду, но тщательно скрывают это; однако профессор Платонов проговорился о возможности существования тайной секты, совсем в духе Костомарова. После долгих трудов удалось выработать модус совместной редакции. Был принят выдвинутый мною принцип: историческая наука не признает ритуальной лжи, а так как наше издание научное, мы должны исходить из этой предпосылки... Скрепя сердце Блинов и Платонов пошли на уступку... Мне приходится направлять чисто историческую, специальную работу комиссии, так как там есть хорошие специалисты, только не по этой части. После отъезда Слиозберга его заменил Лозинский; хотели ввести профессора-выкреста Пергамента⁷¹⁵, но я запротестовал. Для рьяных русских членов комиссии я, кажется, неудобен: они предпочли бы более покладистого человека...

23 апреля. Целые дни в составлении библиографии IV (VI—VII) тома. А будут ли силы для писания книги или переработки ее на основании этих сотен книг и статей? Чувствую небывалую слабость... Стал выходить (после болезни) на мочион под вечер, читаю газеты на заборах соседней Архирейской улицы. Мирные переговоры с Финляндией и другими пока не идут на лад. Польша воюет, переговоры с Англией в неопределенном состоянии — всем страшно снять «санитарный кордон» и стать близко к российской заразе. Сегодня 50-летний юбилей Ленина, и его безобразная фигура косоглазого хитрого мужика красуется на заборах среди газетных статей, где его превозносят до небес как «величайшего человека новейшего времени». Кто против? — никто: ведь нет ни одной свободной, оппозиционной газеты...

Трехлетний опыт блестяще доказал невозможность коммунизма в больших государственных размерах впредь до нравственного усовершенствования людей. Теперь возможны в мире лишь маленькие коммуны-братства честных и чистых людей одинакового духовного уровня, желающих вести общее хозяйство во имя высших целей...

29 апреля. Все рассеялось как дым: мирные переговоры прерваны с Финляндией, Польшей, Латвией, требующими территориальных уступок и гарантий от заразы большевизма. Война возобновилась по всему западу. Сегодня известие о взятии поляками Бердичева и Житомира и движении к Киеву... Большевистский волк оскалил зубы и пустил в ход когти. «Чрезвычайка» арестовала деятелей кооперативного Центросоюза, который должен был вести переговоры о товарообмене с Антантой... А в плакатах о празднике 1 мая волки блеют по-овечьему: «Мы создадим обще-

житие без гнета и насилия». Это при диктатуре Ленина и «чрезвычайки»!.. (В Москву поехали отсюда д-р Бруцкус и другие делегаты на конференцию сионистов, но вся конференция там арестована.)

Сегодня с утра ходил на Миллионную, чтобы зарегистрироваться на май на академический паек, источник нашего существования; оттуда отправился в контору издательства Брокгауз—Ефрон, чтобы поговорить с Перельманом об издании моей «Истории»... Предполагается печатать мою книгу среди целой серии исторических трудов («История Востока», «История Индии» и пр. лучших профессоров здешнего университета) в Лейпциге, у компаньона фирмы Брокгауза... Если бы переговоры достигли цели, я должен был бы переселиться в Германию... Как же это произойдет, когда не выпускают и не впускают?.. И наконец, для кого этот труд, история еврейства на русском языке, языке погибающей страны, умирающей культуры?..

20 мая. Польско-украинская война тянется... Делегация английских рабочих партий была в Петербурге, теперь уехала в Москву. К ней примкнул член другой делегации, американско-еврейской, занимающейся распределением помощи русскому еврейству. От американца узнал, что с ним ехал сюда в еврейской делегации и мой переводчик Израиль Фридендер, профессор Теологической семинарии в Нью-Йорке, но он застрял в Ревеле еще с одним делегатом, которых русская миссия не пропустила в Россию как представителя «буржуазии». А как хотелось бы видеться с Фр., с которым переписывался больше 20 лет, не зная его лично, и который стал мне симпатичен по письмам! До сих пор не видел переведенной им на английский язык моей «Истории евреев в Польше и России»: раньше не пускала царская война, теперь — большевистская.

Вчера и сегодня читал изданную недавно в Киеве книгу о евреях на Украине в 1918—1919 гг. С одной стороны, еврейская автономия, еврейское министерство в составе украинской Директории, съезды и пр., а с другой — страшные антиеврейские погромы с десятками тысяч жертв... Странно действует это сочетание: осуществление моего идеала автономии для XX в. и погромы, рецидив 1648 года...

24 мая (исход Шовуоса). Любимый зеленый праздник проведен так. Вчера мы кончили вдвоем уборку закрытых на зиму комнат и переехали в нашу бывшую столовую и спальню — своего рода переезд на дачу. Сегодня утром обычное понедельничье путешествие вдвоем с сумою на Миллионную, для получения подаяния — академического пайка на неделю. Да, от сумы и тюрьмы не откажись: в тюрьме давно сидим, а суму надели несколько месяцев тому назад, тащим как нищие «торбу» на плечах и счастливы, что дают «добрые люди»... К вечеру сегодня ознаменовал Шовуос прогулкой в Ботанический сад... И теперь, возвратясь, сижу у окна в полночь и вопрошаю белую загадочную ночь. Скажи мне, белая волшебница, что тянет меня к тебе? Есть ли это тяготение частицы к целому или все это мираж? Может быть, душа человеческая полна, а мир пуст, бездушен и моя душа не часть мировой души, а какой-то случайный комплекс ощущений и эмоций, имеющих ценность муравьиной возни?..

После двух лет молчания получил письмо от брата Влад. (Вольфа) из Ростова: он жив и здоров... Усердно читаю материалы для новой главы: об Италии. Живу в XVI в.

13 июня (утро). Сейчас с улицы. Киев взят обратно красными, после того как поляки взорвали вокзал, электрическую станцию и даже Владимирский собор (последнее мало вероятно при наличии польско-украинской коалиции)... Кровь льется рекою на минско-витебском фронте: там

побеждают поляки, которые скоро достигнут желанных границ 1772 г... Пишу о католической реакции в Италии XVI в. теперь, под диктатурой новой церкви, мнимо коммунистической, но столь же фанатичной, деспотической...

27 июня. ...После двухлетнего молчания получилось вчера из Одессы письмо от родных. Живы, но много пострадали от напастей гражданской войны. Спрашивают, суждено ли нам свидеться. Да, при нынешних фронтах и блокадах это неразрешимый вопрос. Родная, милая Одесса, неужели не увижу тебя, а если увижу, то когда и кого в тебе застану, кроме высокого парка над морем, где протекло лето моей жизни?.. Недавно Пер[ельман] намекнул мне на желание моих почитателей чествовать меня в сентябре по случаю 60-летия. Я ему сказал, что всегда отклонял юбилеи, а тем более теперь, во время траура, в тюрьме... Я думаю о П. в связи с другим делом: хочу оставить ему на всякий случай свое завещание и поручить ему распорядиться моим литературным наследием после моей смерти...

28 июня. ...Отправился на Миллионную записаться на июльский академический паек. Встреча с Кауфманом (А. Е.), который в 65 лет совсем развалился. В Доме ученых встретил еще Гессена и Красного. Мелькали мимо полужнакомые лица. В канцелярии мне сказали, что я принят в санаторию (Дома ученых) на месяц...

4 июля. Сегодня в Евр. университете на Троицкой утреннее заседание комитета Исторического общества, после годичного перерыва. Собрались пять-шесть человек (половина из новых, кооптированных) на развалинах некогда живой организации и судили о способах ее оживления. Нет книг «Старины», нет собраний и докладов — и не будет... Возвращался с Пер[ельманом] по Литейному. Сообщил ему свой план: ходатайствовать о разрешении мне выехать за границу для печатания «Истории». Он ответил, что меня и мне подобных из России не выпустят, как ему сказал представитель высшей власти в Москве. Ученого или писателя вообще выпускать за границу значит раскрыть правду о красном терроре... Я попросил ничего не устраивать в сентябре в день 60-летия и отложить эту «казнь» до апреля 1921 г., когда кончу последний том «Истории» и сам буду расположен беседовать о пройденном пути, продолжавшемся сорок лет (в апреле 1881 г. напечатана моя первая статья).

17 июля, дом отдыха за Невой. Со вчерашнего дня я здесь, на бывшей даче богатого купца, превращенной в дом отдыха для рабочих и маленькой группы умственных тружеников. Через Общество взаимопомощи литераторов и ученых сюда попала группа в десять человек для отдыха в течение двух недель... Шум сотни отдыхающих, беспорядок, теснота. Встреча с знакомыми журналистами, давно невиданным одесситом Рашковским⁷¹⁶, Кауфманом и др. Кое-как устроился в комнате для шести человек...

В ходе войны произошел перелом: поляки стремительно отступают на северо-западном фронте. Красные взяли Минск и приближаются к Вильне. Заключение мира с Литвой приведет к передаче ей Вильны. Встретил Хоронжицкого, приехавшего из Москвы; он там виделся с литовским тов. министра Розенбаумом (сионистом) и готовится уже ехать на родину. Завидно...

22 июля, в доме отдыха. Дни проходят в полном бездельи. Очереди за завтраком, обедом, дневным кофе, ужином, вечерним чаем и разными «даяниями»: молоком, хлебом, сахаром и пр. — отнимают вместе с процессом самой еды несколько часов в день. Остальное время отдается бол-

товне с соседями по палате (10 человек), чтению, прогулкам по саду и литературно-музыкальным вечерам. Все у нас в палате успели перезнакомиться. Оказался здесь и старый присяжный поверенный Мыш⁷¹⁷, которого как-то встречал в 80-х годах. Некогда видный адвокат и издатель юридических книг, он теперь разоренный хилый старик, получающий «хлеб милости». Есть тут и русские писатели, старцы и юные. Уживаемся недурно, беседуем и почти все одинаково настроены по отношению к современности...

В Петербурге шум, гремят витии на втором конгрессе Коммунистического Интернационала, приехал Ленин... Он откровенно заявил о своих принципах: «несвобода» и «неравенство» для капиталистов, а под ними подразумеваются все некоммунисты, даже «социалисты-соглашатели», не признающие диктатуры. Формула великой французской революции развенчана: свобода и равенство только в пределах класса-диктатора, вместо братства — гражданская война.

26 июля. Трудно уединиться для беседы с самим собою. Сошлись тесной группой десять обитателей нашей «литературной палаты», беседуем, организуем вечерние чтения и концерты для сотни отдыхающих. Мирно уживаемся в нашей маленькой группе, жертвы нынешнего режима. Вот русский драматург Урванцов⁷¹⁸, автор бойких пьес, милый человек, не теряющий бодрости, хотя сын у него где-то пропал. С другой стороны, старик Мыш, теперь разбитый физически, разоренный; он стонет, вздыхает и сейчас сказал мне, что ждет смерти-избавительницы. Вот еще бодрый 75-летний В-в, бывший учитель гимназии (русский), пишущий книгу о графе Блудове и его эпохе; бывший редактор иллюстрированных журналов Мерц⁷¹⁹, пара журналистов, художник, полупоэт из декадентов, эпилептик. А старый одесский журналист Рашковский чаще всего сопровождает меня в прогулках, поет, рвется из тюрьмы...

30 июля. Кончатся дни в доме отдыха. Необычно для меня прошли они: больше с людьми, чем с природой. Бесконечные беседы с сожителем по палате о политике, к которой в общем одинаково относимся, о литературе и даже о вечных вопросах... В городе обыски, аресты: ищут дезертиров из армии... Красные стремительно идут к Варшаве...

В устраиваемых нашей литературной группой чтениях некоторые заискивали перед «товарищами», ненавидя их в душе. Я после некоторых колебаний решил читать на опасную тему (косвенный ответ Ленину на вышеприведенную речь о «несвободе» и «неравенстве»): «Свобода, равенство и братство как лозунги великой французской революции». Третьего дня прочел. Представил вкратце историческое развитие этой «святой троицы» в XIX в., намекнул на отсутствие свободы и равенства в современном (советском) строе. Иллюстрировать это современною действительностью было опасно, и конец пришлось скомкать. Судя по бурным аплодисментам, многие поняли^{*}.

1 августа, Петербург. Вчера вернулся в город... После шума и сутолоки общежития приятна тишина в просторной квартире, вдвоем, в мирных беседах...

5 августа. Вчера тягостные впечатления в заседании совета нашего университета. Комиссия Дома ученых чуть не исключила всех нас из спи-

*. Вспоминаю, как на том же вечере декламировала свой стихотворный перевод псалма «Де profundis» молодая русская поэтесса Гл...⁷²⁰ И теперь стоит предо мною эта высокая фигура белокурой красавицы с вдохновенным взором и слышится ее скорбная молитва. Незнакомые, мы после чтения обменялись крепким рукопожатием.

ска получателей пайка на том основании, что университет не признан петербургским Комиссариатом просвещения. Им доказали, что он признан в Москве, и теперь наши права на кусок хлеба восстанавливаются... Больше двух часов судили и рядили об этих вопросах желудка и не дошли даже до обсуждения очередного вопроса о факультетских программах.

Возвращался пешком с Троицкой на Каменноостровский проспект с Ю. Бруцкусом, недавним узником Москвы, арестованным за сионизм. Он мне рассказывал о палестинских делах, о пасхальном погроме в Иерусалиме... Сам хочет уехать в Литву... Интеллигенция массами переходит в стан торжествующих. Проф. Гредескул агитирует здесь за большевизм... Встретил его третьего дня, сухо поздоровался и поспешил уйти...

8 августа. Государственный коммунизм в его российской форме останется деспотичным: правительство — единый капиталист-помещик вместо прежнего множества; оно раздает хлеб, работу, но не поровну: кто ближе к власти больше берет, ворует, грабит...

18 августа. ...Польша отчаянно отбивается от красной армии у Варшавы... Запоздалая весть о детях в Варшаве: приезжий видел их минувшей весной; здоровы, беспокоятся о нас. Ну, а сейчас что творится в Варшаве, где Ганнибал у ворот? Винавер в Париже, отошел от общерусской политики «белых», соединившихся с черными, издает «Еврейскую трибуну» и ушел в еврейскую работу, что делает ему честь...

22 августа. Красная опасность пробудила поляков, и они отбросили красную армию от Варшавы... Страшную весть узнал вчера: мой переводчик Израиль Фридлендер из Нью-Йорка, бывший в составе американской делегации и поехавший на Украину для раздачи помощи погромленным, убит по дороге, по-видимому с целью ограбления. Святой мученик!... Человек духа попал в страну людей крови и погиб, помогая жертвам разбойников. Не могу мириться с этой смертью. Все еще хочется думать, что это не тот Фридлендер, а другой, хотя его товарищ по делегации Пайн раньше назвал мне именно его...

24 августа. Вчера впервые осквернился соприкосновением с нынешней властью. Был утром в Комиссариате просвещения на заседании с заведующими школьным отделом Зеликсоном⁷²¹ и Кристи⁷²², вместе с Лозинским, Красным и проф. Платоновым. Обсуждался наш проект института истории и культуры еврейства, в котором объединятся Историко-этнографическое общество, наши архивные комиссии (погромная, ритуальная, библиографическая) и, эвентуально, наш университет. Проект одобрен здесь, и Кристи едет с ним в Москву, но что скажут там, в центре? Завелась там банда в Комиссариате просвещения, в «секции национальных меньшинств», где бывшие учительшики и коммивояжеры просвещения пакостят нашим петербургским начинаниям. Орудует там еврейская «Культур-Лиге», которую я назвал «Lÿge-Kultur» (культура лжи)... Заседавшие с нами «чины» производят впечатление «примазавшихся»: Зеликсон — бывший служащий в канцелярии одного еврейского комитета, Кристи — из южнорусских дворян... Мы ожидали приглашенного на заседание Вольтского, но он не явился: не удалось мне повидать старого приятеля А. А. Флексера, которого не видел 30 лет и считал свихнувшимся...

29 августа. Начал главу о Германии, но отвлекла забота о борьбе с предстоящим холодом. Мы купили переносную печку с трубами и пару саженей дров, и есть надежда, что будет нагреваться зимой и кабинет. Чувствую себя так, как будто одолел опасного врага, от которого ждал верной гибели...

Под вечер зашел П[ерельман]. Опять напомнил о предстоящем собрании друзей по случаю моего 60-летия в сентябре. Сообщил, что к моему литературному юбилею (28 апреля 1921) организуется официальное чествование. Я попросил в сентябре ничего не устраивать... Мои доводы убедили П., и таким образом до будущей весны я свободен от повинности быть юбиляром. — Сегодня же вручил П-ну свое завещание, написанное в июле...

2 сентября. Встречи. Явился Шай (С.) Гурвич, изгнанный из Берлина еще в начале войны и скитавшийся в последние годы по Украине. Приехал из Харькова. Вспомнили старину, поохали о новизне. Два конца жизни, два полюса: Мстиславль 1877, Петербург 1881 и — 1920! Вчера с ним задал в совете нашего университета, где он намечен лектором, эфемерным в эфемерном университете.

Во втором заседании по поводу института* встретился с А. Л. Флексером-Вольинским. Тот же, худой, безволосый и безбородый, с монашеским лицом, грустный, ужасающийся современностью. Не выделись с 1890 г., ровно 30 лет. Он заметил, что я мало изменился, только сильно поседел. Я сказал: «Раньше седел от старого царизма, теперь сугубо седею от нового». Не было, однако, того чувства, которое должно быть после тридцатилетней разлуки, ибо духовно мы давно разлучены, после того как жили вместе, изучали «Логику» Милля и курсы римского, уголовного и международного права. Он ушел в эстетику, я в этику, в этический смысл истории и современности; он стал эллином, я остался иудеем. Сообщил мне, что приготавил большой труд по истории греческого театра...

14 сентября (второй день Рош-гашана=5681). Сегодня мне минуло 60 лет. Вступаю в полосу старости. Пока еще не чувствую себя стариком и готов работать с энергией юности, но сознаю, что в любой момент ближайшего десятилетия может наступить перелом. Следовательно, если мне суждено еще прожить это десятилетие, я должен в его пределах закончить всю работу жизни...

В последнее время часто волнует вопрос: для кого я тружусь? Сорок лет назад такой же вопрос волновал поэта А. Гордона⁷²³ с другой стороны: он видел рост нового поколения, которое покидало еврейский язык ради русского. Мне приходится жить при полном разрушении российского еврейства. Теперь русский язык теряет свое значение по сравнению с национальным или народным языком (еврейским) и с европейскими языками. Чтобы работать для большинства народа, нужно будет писать либо на древнем нашем языке, либо на идиш или на немецком языке, а к концу жизни переход на новые рельсы невозможен. Остается деятельное участие в переводе моих главных трудов при помощи сотрудников...

15 сентября (вечер). Во время нашего раннего обеда пришел С. Гурвич, и с ним вместе мы поехали на заседание совета в университет. Шум, толки, слухи согноли мой кошмар. Опять говорят о развале советской власти, о бунтах в разбитой армии на польском фронте... Люди мрут как мухи. Сегодня узнал о смерти С. А. Венгерова, который лишь недавно лишился сына и дочери. Вспомнил мимолетнюю встречу с ним в 1882 г. летом, в редакции «Рассвета»...

12 октября. Перевожу свою обитель на зимний порядок. Сжимаюсь, перемещаю, чтобы сосредоточиться в одной-двух комнатках, ближе к очагу. При перемещении бумаг и книг бывают волнующие часы. Разбирая переписку за много лет, нашел часть писем трагически погибшего

* См. выше, запись от 24 августа.

Изр. Фридлендера (увы, подтвердилось, что именно он был растерзан грабителями в Подолии вместе с спутником-делегатом). Еще студентом, из Берлина и Страсбурга, он мне писал с 1897-го до 1899 г. Хотел бы написать его некролог, но где? Нет печати, нет литературы. От приезжавшего сюда из Москвы Клебанова⁷²⁴ узнал, что Фридлендер погиб летом этого года при отступлении красной армии или поляков из Украины: попал между двумя армиями, но убили и ограбили его красноармейцы...

14 октября. Прочел несколько новых номеров виленской газеты «Тог» от последних чисел сентября. Узнал, что делается в новой Вильне, пережившей столько оккупаций. Литовское правительство в эти дни переместилось из Ковны в Вильну, а тут на Вильну наступает польская армия, отгоняя красную армию. Посреди этой сутолоки наши виленцы (д-р Шабад и др.) занимаются культурным строительством. Умудрились даже праздновать мой «юбилей», который я предотвратил здесь. Устроили собрание с речами, решили послать мне приветствие с предложением помочь им строить высший институт еврейской науки... Победы Польши в последние недели тоже сопровождались погромами, особенно там, где евреи (бундовцы и коммунисты) стояли во главе управления при большевиках.

17 октября. Три дня в беготне по заседаниям и по другим делам. Заседания с ревизорами из Москвы в ритуальной комиссии (в Архиве Сената) и Еврейском университете, затем сегодняшнее пешее хождение. Утро мрачное, зловещее. Шагаю при холоде и резком ветре через Троицкий мост и Марсово поле, читаю вступительную лекцию в университете (теперь Институт еврейских знаний) о иудео-эллинистическом периоде, при переполненной аудитории, сижу на студенческой сходке, затем выслушиваю сообщение о наших переговорах с ревизорами, проект С. Гурвича о компетенции еврейских знаний, который будет издаваться в Берлине, наконец, последний разговор с пришедшим ревизором Литваковым. Возвратился домой в 6-м часу вечера. Снег с дождем, буйный ветер, разъяренная Нева, окоченевшая рука, держащая на голове край срываемой ветром шляпы...

25 октября. ...Мой виленский издатель Марголин после шестилетнего отсутствия явился с кучей выпусков моей «Истории» в еврейском переводе (с старого издания). Три дня томил меня договорами, претензиями и издательскими крючками. Сначала обрадовался ему, пришельцу из оторванной Литвы, но к концу он опротивел мне своими коммерческими замашками...

3 ноября. Смесь научной работы и хозяйственной возни. Вчера рано утром такая сцена: вдруг водопровод испортился, а дома ни кружки воды. Вооружился большим ведром, иду к соседям — тоже нет воды. Встречаюсь с проф. Гр[едескулом], тоже идущим с ведром. Выходим на улицу, врываемся в соседний дом и наливаем воду из крана в грязном месте, под брань какой-то злой бабы. После завтрака хождение в Дом ученых за недельным пайком...

9 ноября. Ходил по унылым улицам в дни советского праздника, вчера и третьего дня. На улицах, среди наклеенных праздничных плакатов, значится под одним рисунком:

*У печей стоит рабочий, у печей,
И куст он бесперывно сталь мечей, сталь мечей.*

Да, таково пророчество Исаи «И сломают мечи на плуги» — наизнанку...

23 ноября. Составил большую часть главы о Польше. А между тем совершились события: крымская белая армия Врангеля совершенно разбита.

28 ноября. Маленький перерыв, заполненный побочными работами: редактированием погромной книги (том II: материалы для истории погромов 1881 г.). Сегодня в нашем университете участвовал в публичном докладе о библейском законодательстве и кодексе Гаммураби. Перед лекцией подошел служащий в канцелярии и подал дажные университета: три фунта хлеба. Я вынул книги из портфеля и положил туда хлеб. «Вот как портфель ученого превращается в суму нищего», — сказал я близстоящему человеку.

29 ноября. Сегодня, читая на Каменноостровском проспекте газету на стене, узнал о смерти Ан-ского в Варшаве. Не удивился: ведь теперь жатва смерти. В памяти многое зашевелилось. Первая встреча с Ан-ским в хмурый ноябрьский день 1905 г., в редакции «Восхода» на Лиговке, когда начали печататься мои «Уроки страшных дней»: горячая беседа обо всем, что тогда волновало, и дружеское прощание. Следующей весной он полемизировал со мною в статьях «Уроки страшных веков», а с конца 1906 г., после моего переезда в Петербург, мы встречались часто. Особенно сблизился в 1909 г. в редакции «Еврейского мира», затем в Литературном обществе, в Историко-этнографическом и в «Объединенной национальной группе» («Фолкспартей»). Его натура *perpetuum mobile* и скачки в области идей привели в последние годы к охлаждению между нами, но отношения оставались вполне корректными. Я с болью смотрел, как сгорал этот человек, вечный скиталец: в мирной этнографической экспедиции, в военной экспедиции на фронте погромов в Галиции в страшные 1915—1916 гг., в революционных волнениях 1917 г., когда он одновременно ушел от «Фолкспартей» к сионистам и от кадетизма к эсерам, своим старым друзьям, наконец, под кошмаром большевизма и его антипода, черной Польши. Уже два года я потерял его из виду. Знал, что он пережил кровавую расправу поляков в Вильне весной 1919 г. и потом болел в Варшаве... Он успокоился теперь, но как доживал он последние годы, мы не знаем...

14 декабря. Сегодня кончил главу о Польше, а с нею весь отдел до 1648 г. Приехал из Москвы журналист Литваков с поручением перестроить по-новому наш университет и архивные комиссии или закрыть их. Пришлось бороться, но в конце концов достигнуто соглашение. Образовалась из нескольких комиссий единая Еврейская историко-архивная комиссия, в которой мне, к сожалению, придется занять роль руководителя за неимением других. А ведь я стою одной ногой здесь, а другой за рубежом...

22 декабря. Кончил свою обычную утреннюю порцию распилки дров и сел за письменный стол. Готовлю главу о Саббатае Цеви. Опять связываю начала и концы: осенью 1882 г. появилась в «Восходе» моя первая монография о С. Цеви, плод незрелой юношеской мысли, а теперь, после ряда редакций в общем курсе истории, делаю последнюю редакцию, результат продуманного в течение 38 лет.

А в промежутках идут заседания. Организуется объединенная Архивная комиссия со сменой состава, с интригами и тенденциями разных участников. Вчера заседание в одной из комнат Музея революции, в Зимнем дворце. Я доложил проект распределения работ между 7 членами комиссии и их сотрудниками в порядке секций, для собирания архивного материала. Присутствовавший проф. Платонов колеблет-

ся, войти ли ему с археологом Дружининым в еврейскую «племенную» комиссию, если другие русские не войдут. В случае их ухода я уже наметил кандидатов-евреев.

Вечером. Так странно иногда сплетаются начала и концы жизни. Вот нынешний день. С утра Ида ушла далеко в лавку за керосином. Вчера она простояла в очереди три часа и не дождалась. В полдень явился С. Гурвич с неожиданной вестью, что он получил разрешение уехать в Берлин к семье. Пред прощанием разговорились о наших семейных судьбах, о старом, давнем. Вспомнили, как в конце 1877 г. он приехал в Мстиславль с моим отцом, как мы читали вместе «Хатос неурим» Либиенблюма, о нашей встрече летом 1881 г. в Петербурге, о том, как вы вместе изучали английский язык, о моем радикализме и т. п. Мы говорили о возможной нашей встрече в Берлине, где нам придется, вероятно, провести остаток жизни. Он ждал возвращения Иды, желая с ней проститься. Ведь он ее тоже помнит с 1877 г. молодой девушкой того типа «новых людей», пред которым тогда преклонялись провинциальные «маскилим». Он не дождался: было три часа, а она все еще стояла где-то на холодной улице в хвосте огромной массы чающих керосина. Мы в большом волнении распрощались. А я вышел искать пропавшую. Шел по Вульфовой на Дворянскую. У порога лавки встретил ее в слезах возвращающейся с пустым кувшином... Мы оба шли домой, и каким далеким казался февральский вечер 1878 г., такой же снежный, с легким морозом, когда мы ходили вокруг мстиславского бульвара и наши молодые голоса звенели на улицах сонного городка!..

24 декабря (вечер). Сегодня днем последнее ликвидационное заседание ритуальной комиссии. Проф. Платонов и Дружинин, под приличными предложениями, отказались войти в новую общую комиссию без товарищей. Красный и Штернберг приобщились к их горю, а мне пришлось только смягчить резкую правду: в старой комиссии не столько работали, сколько обменивались мнениями по поводу работы, что было бы излишне при малейшем знакомстве русской части комиссии с предметом. Вспоминаю теперь первое наше заседание год назад, в декабре. После заседания подходит ко мне Дружинин и говорит, что его друг, покойный барон Давид Гинцбург, сказал ему по поводу ритуального навета: «А кто их знает! Может быть, есть у евреев неизвестная изуверская секта, совершающая ритуальные убийства». Я был поражен и сказал спокойно: «Ну, барон был слишком низкого мнения о своих познаниях». Теперь этому эфемерному созданию конец, и я об этом не жалею...

Глава 66

Окончание главного труда и прощальный юбилей (январь—июнь 1921)

Наступление 1921 г. под знаком исхода из России. Зов из Литвы. Луч света в темнице. — Письмо от больного Ахад-Гаама из Лондона, номер «Еврейской трибуны» из Парижа, первые вести с воли. Гости из Берлина, восстановление связи с немецким издательством. — Волнения рабочих в Петербурге. Кронштадтское восстание. Наши надежды. Думы на одре болезни. Подавление восстания: «последняя надежда рухнула». — Лихорадочная работа над окончанием «Истории». — «Сейдер» в советском Египте. — Мой сорокалетний литературный юбилей. Торжественность и трагичность юбилейного собрания

(28 апреля); моя речь-исповедь. Прощальный банкет. Боль разлуки. Прощальное письмо Бялика. — Ожидание разрешения на выезд и молчание Москвы. — «Советское правительство неохотно отпускает своих граждан за границу».

1921 год пришел под знаком исхода из «дома рабства». Я был уже близок к исполнению обета, к окончанию многотомной «Истории еврейского народа» в рукописи, и стал упорно думать об эмиграции. Начало было многообещающее. В первые дни января получилось через Литовскую миссию в Москве письмо из Ковны, на бланке которого значилось: «Д-р М. Соловейчик⁷²⁵, министр по еврейским делам в Литве». Молодого Соловейчика я знал еще раньше, когда он в Петербурге работал для Историко-этнографического общества и для «Еврейской старины». Я слышал, что после образования литовского правительства он получил там портфель министра по еврейским делам, а его старший товарищ по сионистской партии С. Я. Розенбаум был избран председателем Еврейского национального совета в Ковне. В те медовые месяцы юной республики там носились с идеей еврейской автономии и вспомнили, что где-то в отрезанном от мира большевистском царстве сидит человек, имеющий некоторое отношение к идеологии автономизма. В полученном из Ковны письме от 10 декабря 1920 г. Соловейчик меня извещал, что тамошний Еврейский национальный совет возбудил через Литовскую миссию в Москве ходатайство перед российским правительством о разрешении мне выехать через Литву за границу. Вместе с тем сообщалось, что по случаю моего юбилея Национальный совет учредил премию моего имени за лучшую монографию по истории литовских евреев.

Можно себе представить, какое впечатление произвела на меня эта весть о возможности скорого освобождения из советской тюрьмы. Я твердо решил употребить все усилия, чтобы к весне закончить последние главы последнего (в порядке писания) тома «Истории» и быть свободным к празднику освобождения из Египта; к Пасхе 1921 г. Я работал с чрезвычайным напряжением. Посреди этой работы застало меня мартовское восстание в Кронштадте, последняя попытка свержения советской власти. Из нижеприводимых записей в дневниках можно видеть, какие надежды были пробуждены этим восстанием и как быстро наступило разочарование. Беспросветная ночь снова воцарилась над Россией, но в моей душе светился огонек: я скоро выйду на волю. Радость исхода омрачалась только мыслью о вечной разлуке с родиной. Эту тоску хотелось излить в последнем прощании с еврейским обществом, с друзьями, с уцелевшим остатком нашей петербургской колонии.

Тут кстати подошел подготовленный друзьями юбилей моей сорокалетней литературной деятельности, 28 апреля (15 апреля по старому стилю). Если я раньше, вследствие моего нерасположения к юбилейным торжествам, не мирился с этим празднованием, то теперь я нашел ему моральное оправдание: я мог этим способом удовлетворить свою глубокую потребность — проститься с родиной и друзьями, с читателями и слушателями. Это было прощание уходящего на волю со своими остающимися в тюрьме товарищами. То, что я выслушал и говорил на юбилейном собрании в нашем университете и на последовавшем через несколько дней банкете, носило характер торжественных похорон. Мы хоронили прошлую еврейскую Россию, русско-еврейскую литературу, разрушенный петербургский центр, все прошлое нашего поколения интеллигенции, которое теперь рассеивалось по всему свету. Выписи из моих дневников дадут только бледную картину того, что я тогда испытывал...

По окончании юбилейных дней я стал готовиться к эмиграции. Еще раньше я послал в Комиссариат иностранных дел прошение о разрешении мне уехать из России и теперь ждал ответа, который мне казался обеспеченным в положительном смысле, так как там же должна была хлопотать о разрешении Литовская миссия. В ожидании ответа я стал приводить в порядок свои архив и библио-

теку, распределяя, что оставить и что взять с собою. Это тоже были похороны: при пересмотре тысяч книг, рукописей и пачек корреспонденции за полвека вторично переживалось многое, что было связано с покидаемой родиной. Но всю эту горечь разлуки смягчало сознание, что я ухожу в страну, где мне все-таки удастся увенчать здание жизни. Оказалось, однако, что фараоны не так-то легко выпустят меня из Египта. Вместе со всеми правами человека они отнимали у своих подданных и элементарное право эмиграции. Особенно зорко следили Ленин и его сателлиты, чтобы не выпускать из России писателей, так как ряд вырвавшихся на волю писателей раскрыли в заграничной прессе часть страшной правды о советской России. Вдобавок и Литовская миссия в Москве плохо исполняла свою миссию по отношению ко мне. И вот мне, упаковавшему свои чемоданы для отъезда, пришлось сидеть на них почти целый год, переживая все «казни египетские» перед исходом, о чем будет рассказано в этой и следующей главе.

Из дневника 1921 г.

6 января (утро). ...Что-то сулит наступивший год. Прежде всего это год окончания главного труда моей жизни: весной надеюсь довести до конца всю «Историю». К тому моменту приурочен исход из большевистского Египта. Из Литвы через Москву получил на днях письмо Соловейчика, министра по еврейским делам, с известием о решении Еврейского национального совета в Ковне вызвать меня в Литву и ходатайстве литовского правительства перед советским о выпуске меня из России. Но удовлетворят ли в Москве ходатайство Ковны? Принцип «закрытых дверей» для граждан советской республики строго охраняется инквизицией «чрезвычайки»; испытывают каждого кандидата на исход, и прикосновенных к литературе за границу не пропускают; в крайнем случае выпускают временно просителя, но оставляют в виде заложников его жену или детей. Нелегко будет вырваться из тюрьмы даже при помощи дипломатического вмешательства... И все же нужно вырваться. Иначе задохнусь, отрезанный от культурного мира, от свободного слова, в атмосфере проклятий и ненависти. Нужно слышать эти проклятия на улицах, в трамваях, в очередях за получением каждого лота продуктов...

На днях, зайдя из Дома ученых в Музей революции, что в Зимнем дворце, бродил там по пустынным огромным залам и коридорам, безлюдным, мертвым, где некого было даже спрашивать о направлении, входе и выходе. Прошел через Николаевский зал, где произносились тронные речи: еще стоит высокий помост со столом, сотни кресел и стульев. Вспомнил о речи Николая II в январе 1895 г. в этом самом зале о «бессмысленных мечтаниях». Немезида сделала свое дело.

15 января. Всю неделю писал и болел, не выходя из дому. Несколько дней гостил Яша из Москвы, не видевший нас с конца 1916 г... Сегодня утром был [Церельман], говорили об издании «Истории»: невесело, типография Ефрона уже отнята коммунистами, издательство висит на волоске, а ведь оно-то должно издать главный труд моей жизни. Вчера получил письма из Москвы, от друзей из «Фолксферлага» (Киев): они едут в Берлин, чтобы там устроить издательство; будут печатать еврейское издание моей «Истории». Может быть, через полгода буду близко к ним. Ответил Соловейчику и жду дальнейших вестей из Литвы. Неужели через полгода буду снова в своей бедной, тихой Вильне, брошенной в 1906 г.?

*10 января*⁷²⁶. Приготовил материал для сборника «Украинер Пинкос»: рукопись народного «Сказания о бедствиях в Умани и Украине» (1768) в разных вариантах, с моим предисловием. Вспомнились давние дни, когда собирал этот материал: Шалом-Алейхем тогда прислал мне одну копию,

д-р Хазанович другую. Впереди было еще много лет жизни, и готовились многие тома «Истории евреев в Польше». Теперь спешная ликвидация; стараюсь втиснуть побольше выводов из разработанного материала в предстоящую главу о Польше 1648—1789 гг. Сейчас строю эту главу в новой редакции...

Принесли ходящее по рукам в списках письмо Амфитеатрова⁷²⁷ к английскому писателю Уэлсу⁷²⁸, недавно посетившему Петербург и теперь хвальному большевиков в Англии. Амф. рисует жизнь писателей и интеллигенции в петербургском аду: «богадельню» в Доме ученых, нищенство, полное упразднение свободной книги и газеты, террор «чрезвычайки»...

В последнее время споры и раскол в коммунистической партии. Спорят Ленин с Троцким о роли профессиональных союзов при советской власти, осуществляемой теми же рабочими и т. п. Ленин с друзьями ругают Троцкого и его приверженцев «демагогами», «несерьезными». Сямские близнецы Ленини—Троцкий оторвались друг от друга...

6 февраля (воскресенье, вечер). Воскресенье теперь для меня единственный день общения с людьми, с аудиторией в университете, с посетителями, которые туда являются для беседы со мною. Пред лекцией сегодня утром приносит мне М. Закс⁷²⁹ письмо от Ахад-Гаама из Лондона, привезенное приезжим. После 3½ лет молчания печальная весть: он болен неврастенией уже 15 месяцев и, по его словам, стал «живым трупом». «Нервы не выдержали» при жизни в Лондоне, наименее пострадавшем от всемирного потопа, а мы тут, в центре потопа, уцелели!.. Летом собирается в Палестину, зовет меня. Суждено ли нам свидеться?..

Там же, перед получением письма, просматривал случайно принесенный номер «Еврейской трибуны», выходящей в Париже. Я наткнулся на заметку из «Jewish Chronicle», где д-р Вишницер напечатал статью по поводу моего 60-летия, а редакция выразила желание, чтобы западные ученые присылали мне новые труды по еврейской науке, не доходящие до России...

13 февраля (вечер). ...Вернулся сегодня из университета после беседы с читающими заграничную прессу (служащими в советских комиссариатах). Принес с собою кучу номеров «Еврейской трибуны» прошлого года и погружен теперь в чтение их. Многого узнал о том, что делалось вне нашей тюрьмы. Страшный рост антисемитизма в Европе, теперь на почве большевизма. И все же собираюсь эмигрировать в эту Европу, если тюремщики выпустят...

20 февраля (воскресенье, сумерки). Странны, фантастичны в моей тюремной жизни эти воскресные дни. Целую неделю сижу в своей каморке и лихорадочно работаю над «Историей» (сейчас стою на франкизме, о чем писал еще в 1883 г.), никого не вижу, никто в мою обитель на окраине города не приходит (трамваи совсем не ходят). А в воскресенье утром в университете ждут желающие говорить со мною. Сегодня, только вошел с мороза, встречают меня двое берлинцев и просят дать им экземпляр третьего тома моей «Истории» для немецкого издательства «Jüdischer Verlag». Там не знают, что за последние семь лет я много писал, но ничего не печатал. А между тем там, видно, печатается немецкий перевод моего прежнего устарелого издания. Сноситься же с Берлином не могу: почта в России почти упразднена внутри страны, а тем более для заграничной переписки...

22 февраля (вечер). Целый день сегодня в хождениях, характерных для нашего положения. Утром отправился в далекий «Hotel International» к той иностранке, которая должна была передать мне подробности поруче-

ния «Jüdischer Verlag». Берлин вообще превратился теперь в центр еврейского и даже русского издательского дела. Значит, мое влечение туда не напрасно, и теперь я еще более страстно рвусь в эту Мекку, где смогу исполнить свой обет. Успокоился также относительно вопроса, не умру ли я там с голоду. Оказывается, берлинское издательство оплачивает авторский гонорар весьма прилично. Передал иностранке письмо и книгу «Новейшей истории» для перевода*; это пойдет через Германскую миссию и дойдет до Берлина очень скоро. Значит, одна связь с миром восстановлена. Но как пережить здесь остающиеся месяцы, в городе, обреченном на гибель? Был на обратном пути в Доме ученых: академический паек уже низведен до жалкого минимума... Собрание уполномоченных от ученых учреждений постановило просить советское правительство выпустить желающих ученых за границу, если оно не может их кормить, но, конечно, получится грубый отказ.

27 февраля (воскресенье, вечер). Уже несколько дней в городе тревожно. На уцелевших заводах волнуются рабочие, выносят резолюции о негодности советской власти, не могущей дать хлеб и топливо населению, требуют свободы торговли, свободы собраний, печати и даже учредительного собрания. На Васильевском острове чуть не дошло до перестрелки между рабочими и военными курсантами... Пока объявлено военное положение в Петербурге: хватают, арестовывают. Забрали Штернберга, старого больного эсера, в последние годы отставшего от политики. Возобновился террор «чрезвычайки». В ежедневно расклеиваемых воззваниях дурачат рабочих разными посулами, идиотскими доводами, что «учредилка» и царизм одно и то же. В газетах лгут, что во всем мире голод еще хуже, чем в России, что скоро весь мир будет большевистским...

4 марта (сумерки). Вчера утром, направляясь в Дом ученых за пайком, прочел на углу «правительственное сообщение»: в Кронштадте восстание матросов, принявших резолюцию эсеров. Арестован комиссар Балтфлота Кузьмин⁷³⁰, который еще на днях призывал к подавлению голодного бунта в Петербурге. Здесь объявлено «осадное положение», после «военного» минувшей недели... Шел пешком на Миллионную улицу и обратно, по тающему снегу, и думал: неужели спасение близко? Если за флотом Кронштадта стоит французская эскадра в Ревеле или Гельсингфорсе или по пути туда, а на границах находятся те, кто готовы принять власть (Чернов⁷³¹ и др.), то это дело серьезное; но ведь эсеры против иностранной интервенции. В Петербурге настроение красной армии таково, что она против красных матросов едва ли пойдет, а рабочие массы возмущены последними репрессиями и ждут спасителей с хлебом и топливом. Но с другой стороны, неизбежен промежуток анархии и... еврейский погром.

...Погрузился в чтение заграничных газет за последние месяцы. Их принес мне целую кипу М., общие и еврейские, на русском, еврейском, немецком, английском и других языках. Мне уже стала ясна картина жизни еврейства во всей диаспоре и в Палестине... Я жадно ловил вести о воскресающей жизни духа, о новых книгах. Их много выходит, особенно в Берлине. Преобладают переводы. Из одного объявления узнал, что моя «Новейшая история» появилась уже в солидном немецком переводе в двух томах (1789—1881). В некоторых газетах сообщено о моем переезде в Литву при содействии литовского правительства...

* Оказалось, что эта книга (русское издание 1914 г.) уже была напечатана в немецком переводе и «Jüdischer Verlag» ждал продолжения, бывшего у меня в рукописи.

6 марта (воскресенье, вечер). Приехал Троцкий с военной свитой и объявил Кронштадту ультиматум: если не сдастся, он будет уничтожен, т. е. будет бомбардирован и погибнет даже гражданское население. Сегодня мне передали читавшие кронштадтскую резолюцию, что требования ее самые умеренные: не учредительное собрание, а только свободные выборы в Советы на основании избирательного права для всех трудящихся с тайным голосованием. И даже эту резолюцию советская власть отвергла и запрещает ее публиковать, ибо тогда даже для слепых станет ясно, на чем эта власть держится. Если допустить к выборам всех крестьян и рабочих, независимо от партии, то при тайном голосовании по совести большевики окажутся везде в ничтожном меньшинстве; откроется, что ничтожная горсть насильников управляла Россией 3½ года...

9 марта. Уже два дня бомбардируется Кронштадт, а результаты неизвестны. По лживым официальным газетам, полным истерических прокламаций, нельзя судить о положении: сражается ли красная армия, или отказывается расстреливать братьев... Черный день сегодня: нездоровится, и есть опасение, что совсем расхвораюсь. В воскресенье, когда ходил в университет, сильно прохватил ветер, а я был одет по-весеннему. Боюсь повторения инфлюэнцы 1917 г., которая так подорвала мои силы. В последние дни весь погрузился в чтение материалов для главы о Германии...

10 марта. ...Больной, с несколько повышенной температурой, позволяю себе роскошь лежать в постели пару часов после обеда. Уже полгода мой былой послеобеденный отдых превратился в спартанское сидение в кресле с головой, прислоненной к стене... Сегодня прочел у Виктора Гюго строки, прекрасно выражающие и мое восприятие Бога. В стихотворении «*À l'évêque qui m'appelle athée*» («Епископу, называющему меня атеистом») поэт говорит:

*Mais s'il s'agit de l'être absolu, qui condense
Là haut tout l'idéal dans toute l'evidence,
De l'être dont je sens l'âme au fond de mon âme,
Qui n'a pas de contour, qui n'a pas de visage,
Qu'on aperçoit dans tout sans le saisir dans rien,
Qui, clarté hors de nous, est en nous conscience,
Et qui, faute d'un nom plus grand, s'appelle Dieu, --
Alors tout change...
Et c'est moi le croyant, prêtre, et c'est toi l'athée*.*

12 марта. Сегодня годовщина революции 1917 г. (27 февр. ст. ст.). Четыре года — и во что превратилась та светлая, почти бескровная революция! Тогда я в этот день тоже лежал больной. С улицы приносили вести освобождения. Теперь в Кронштадте революция против большевистской реакции, и мы не знаем, что творится... Неужели четвертая годовщина восстановит истинную февраль-мартовскую революцию 1917 г.?

13 марта (вечер). ...Днем пришла соседка, переводчица Вайнбаум⁷³², и сообщила, что русский сосед при встрече сказал ей по-французски конфиденциально, что советует завтра не выходить на улицу. Тотчас мельк-

* «Но если речь идет об абсолютном существе, которое там на высотах сосредоточивает в себе все идеальное в полной ясности, о существе, душу которого я чувствую в глубине своей души, о существе, которое не имеет ни очертаний, ни лица, которое ощущается во всем, но не осязается ни в чем, которое является сиянием вне нас и совестью внутри нас и которое я, за исключением другого, более высокого имени, называю Богом, — тогда все меняется: тогда я верующий, а ты, поп, атеист».

нула мысль о еврейском погроме, ибо совет был обращен к еврейке... «Что день грядущий нам готовит?..»

18 марта (вечерние сумерки). Кронштадт взят, смирен, залит кровью. Об этом сегодня с торжеством кричат кроваво-красные газеты. В течение двух суток он обстреливался из 12-дюймовых орудий, красные наконец ворвались в крепость под ураганным огнем, громоздя кучи трупов по пути. Гнали в бой надежные войска башкиров, людской скот, и победили... Итак, последняя надежда рухнула... И мое последнее колебание устранено: не останусь здесь, как ни тяжело предстоящее скитальчество...

5 апреля. Две недели непрерывной работы — и глава о Германии до конца XVIII в. готова. Какая радость после болезни, когда я боялся за свою трудоспособность! *Impetus*⁷³³ работы меня оживляет... Оживляет теплая, чудная весна, солнце, заливающее мой письменный стол и шепчущее мне приветы из дальних лет, лучших лет. Сегодня я уже ходил на Миллионную в весеннем пальто. Записывались на апрель для получения подаения в сокращенных порциях. В очереди беседовал с знакомыми. Все на отлете, готовятся уехать в качестве польских, литовских, латвийских, эстонских подданных. Посылаю через Бруцкуса письмо в Москву, в Литовскую миссию. Нет известий о результатах ходатайства. Неужели не выпустят?

А в Совдепии полный ералаш. Резко ломается ее дикая хозяйственная система: обещана свобода продажи хлебных излишков, открытие недавно еще закрытых рынков (НЭП). Уступка вопиющему пустому желудку, но ни малейшей уступки уму, совести, элементарной справедливости: ни перевыборов Советов на основе общей подачи голосов, ни свободы слова, печати, собраний даже в царистской дозе...

16 апреля. Быстро шагаю к концу: еще одна глава окончена (Италия, Голландия и пр. до конца XVIII в.) Теперь до Пасхи осталась еще одна глава...

Все еще жду вестей из Москвы. Боюсь, что откажут в разрешении уехать из России. Тогда придется обратиться к Ленину⁷³⁴. Вчера набросал проект письма, с следующими доводами: как историк, я противник исторического материализма, возведенного в советской России в государственную догму, — следовательно, подлежу изгнанию из государства, как в Испании при господстве там начала единой веры... Думаю передать это письмо через Горького, если он согласится, — иначе ответом будет ответ «чрезвычайки», обыск и арест.

Доходят вести, что здесь готовятся усиленно к моему 40-летнему юбилею 28 (15) апреля. Слишком уж торжественно хотят обставить, а мне это не нравится. Неприятно сидеть как богдыхан и слушать восхваления. Думаю внести в своей ответной речи корректив в этот шаблон, повернуть с личной на общественную почву...

22 апреля (первый вечер Пасхи 5681 г.). Сейчас справлял короткий импровизированный «сейдер». Депутация от моих слушателей в Еврейском университете принесла мне сегодня в дар короб с мацою, рыбою, яйцами и вином. Ида наскоро изготовила кое-что, и мы выпили по рюмке вина домашнего изделия. С волнением произнес: «Кто дал нам дожить до этого времени» (благословение), — действительное чудо.

Сегодня дописал параграф о «предвестниках эмансипации» во Франции. Предстоит еще кончить главу до утомительного юбилейного дня, к которому, по слухам, делаются слишком широкие приготовления...

27 апреля. Сегодня дописана предпоследняя глава «Истории»...

Наконец-то долгожданное письмо из Москвы: задержка в ходатайстве о моем выезде, советское правительство опирается; ждут более серьезной ноты из Литвы, чтобы действовать энергичнее. Слышал, что Бялик, приехавшему в Москву, сначала разрешили выезд в Палестину с группой сионистов, а потом запретил страшный «особый отдел» «чрезвычайки». Говорят, что донесла Евсекция (Еврейская секция при Комиссариате национальных меньшинств) о том, что Бялик — контрреволюционер, хотя он никогда в политике не участвовал...

29 апреля. Вчерашний день был действительно какой-то особенный. Лучезарное утро. На поздравление Иды ответил выражением благодарности ей за то, что почти сорок лет она помогала мне нести бремя жизни. Слезы душили меня, когда я говорил, что если бы она не решилась на лишения и нужду, я бы не мог принести столько жертв ради исполнения духовного обета... Выпили кофе, вспоминали. Я вынул из шкафа давно не троганные две книги, некогда заветные: «Позитивная философия» Конта и «О свободе» Милля, которые в 1881 г. были для меня Библией. Читал заметки на полях, подчеркнутые места и вспомнил многое. К полудню явился юбилейный комитет с поздравлениями. Не ждал их, и мой тесный кабинет едва вместил пришедших (Пер[ельман], Цин[берг], Лоз[инский], Клейн[ман] и др.). К 6 часам вечера за мною и И. прислали извозчика (редкий подвиг в нынешнее время), и мы попали на торжественное собрание в Еврейском университете, многолюдное, шумное, возбужденное. Приехал М. Н. Крейнин из Москвы, привез кучу писем и приветствий и, что особенно меня обрадовало, два тома немецкого перевода моей «Новейшей истории евреев», напечатанные в Берлине в 1920 г.

Собрание открылось. Большой зал полон. Аплодисменты, речи, удачные и неудачные, искренние и с деланным пафосом, чтение адресов от разных — увы, разрушенных — учреждений, от студентов и пр. Поздно вышла моя ответная речь. Говорил о моей радости видеть опять в собрании тех, которые некогда так часто сходились для рефератов, прений и поздних ночных заседаний по общественным делам, а в последние годы разъединены, разбросаны. Говорил о различной оценке читателя и писателя: один видит, что уже сделано, другой — что еще не сделано. Упомянул о дне 15 апреля 1881 г., о моей первой бунтарской статье, где я пытался представить еврейскую историю с точки зрения Элиши—Ахера, о том, как я с того момента всматривался в сложный процесс еврейской истории, раньше сквозь чужие очки, а потом собственными глазами, «сошел с чужого стола» (agor fun Kest) и лишь теперь завершил главный труд, но уже при разрушении книгопечатания. Я отвечал на упреки, почему не пишу по-еврейски: в 1881 г. трагический крик Гордона «Для кого я тружусь?» гнал в русско-еврейскую литературу, потом выросла литература на обоих языках, национальном и народном, но я не мог перейти на другие рельсы, творить одновременно новую мысль и новые формы языка, а теперь, при разрушении еврейского центра в России, я сам дошел до рокового вопроса: для кого пишу на русском языке, языке бывшего центра? Говорил о поколении 40-летнего периода, «поколении пустыни», но с Синаем и великими национально-культурными достижениями, о старейшем Интернационале, еврейском, который спасет нас после всемирного потопа... Говорил горячо, но ясно и четко, при напряженной тишине заль, где порою слышались глубокие вздохи... Жаль, если речь эта не записана.

Разошлись к полуночи, взволнованные, но как будто обновленные встречей, беседою о пережитом, гордым вызовом ненавистному режиму

нынешнего момента, вызовом для всех ясным, кроме шпионов «чрезвычайки», которым официально не к чему придраться.

Вечерние сумерки. Читал сегодня приветственные письма, которые каким-то чудом дошли при нынешних порядках. Среди обычных юбилейных деклараций попадались искренние, глубоко трогательные изъяснения. Известные мне весьма интеллигентные люди моих лет признаются, что они с первых моих статей читали все, учились на моих трудах, вдохновлялись ими и теперь считают себя моими учениками... В общем странен этот юбилей в тюрьме. Без газет, без малейшей публикации, собрались по уговору случайно узнавшие узники, другие ничего не знают и не узнают...

2 мая (вечер). Сейчас ушли от меня приехавшие из Москвы Крейнин и другие кандидаты эмиграции. Совершается грандиозный исход интеллигенции — общественных деятелей и писателей. Многие направляют в Берлин. Там развернет свою деятельность «Фолксферлаг», готовится гебраистское издательство Бялика, уже расширяется «Jüdischer Verlag», вероятно, будет и русско-еврейский издательский уголок, так что создастся литературный центр многоязычного еврейского Интернационала. За поколением потопа придет поколение разделения языков, с той разницей, что разноязычные не рассеются, а сойдутся... Берлин — единственная точка земного шара, где я могу в течение нескольких лет ликвидировать свой жизненный литературный труд...

4 мая (утро). Вчера вечером юбилейный банкет, многолюдный, затянувшийся до полуночи. Много знакомых лиц увидел, и большинство на отлете. Вновь собрались остатки бывшего Петербурга, и настроение было приподнятое. Говорились речи горячие, волнующие, главным образом по поводу моей ответной речи в предыдущем юбилейном собрании. Ораторы (Цинб[ерг], Клейн[ан], В. Бруцук и др.) отмечали влияние «Писем о еврействе» на их мировоззрение; некоторые старались смягчить мой «пессимизм» или направить его в другую сторону. — Говорил даже сторонник большевиков, мой слушатель в университете Б., что и его единомышленники восприняли у меня идею культурной автономии. (В кулуарах я ему сказал: вы взяли сосуд, но выбросили содержимое.) Было поздно, готовились тушить электричество, и я вынужден был ограничиться короткою речью, которую опять нашли слишком элегическою. Я говорил о трещине еврейского мира, проходящей через сердце нашего поколения, о муках перемещения исторических центров диаспоры... Кончил тем, что мы скоро рассеемся по разным странам, но где бы мы ни были, будем чувствовать себя частицами единого целого. Грустью был насыщен воздух, печалью разлуки, распада петербургского центра. У меня душа болела, хотелось отойти в сторону и плакать на могиле бывшего... Мы возвращались домой по мокрым от дождя улицам, пешком от Лиговки до Монетной. У меня такое настроение: fuit Troja⁷³⁵. «Петербургу быть пусту».

5 мая. Начитался варшавских и прочих еврейских газет за прошлый март. Кипит национальная борьба, безуспешная для нас в Польше, успешная в Литве и частью в Латвии. Но все заглушается воплем разбитого украинского еврейства, волнами эмигрантов, скопившихся в Румынии, Польше и других странах на пути в Америку... Вот это и льет отраву в душу. На банкете третьего дня один оратор пытался объяснить, почему юбилар так грустен, когда его идеи автономизма теперь либо уже осуществляются в новых государствах, либо близки к осуществлению. Но ответ прост: распад величайшего центра диаспоры — вот причина тоски.

6 мая. Все еще это глубокое волнение интегрированной души, в которой воскресли переживания сорока лет. Сесть бы и написать воспомина-

ния, исповедь души, но разве это возможно, когда стоишь перед великим переселением, а затем перед сложной работой ликвидации?.. Я получу право писать историю своей жизни лишь после того, как кончу историю своего народа...

7 мая. Кажется, труп Совдепии уже начинает разлагаться. Экономические уступки, вроде разрешения частной торговли, не помогают: хлеба все-таки не хватает, да и торговать нечем. Даже в своей недавней речи о смягчении экономической политики Ленин не удержался от восклицания: а все-таки меньшевиков будем крепко держать в тюрьме! С «чрезвычайной» не расстанутся, ибо ею только и держатся. В народе страшное одичание. Месяц назад уехала в деревню за молоком для своей девочки жена нашего соседа Гредескула (профессора) и была убита близ станции железной дороги кузнецом, бывшим красноармейцем, ставшим с нее мужские сапоги. Несчастный муж, после долгих тревог, на прошлой неделе разыскал ее труп у болота...

Вернулся из Ботанического сада. Увидел его впервые после семи месяцев зимнего заточения... Дома ждал меня Лурье, пришедший проститься пред отъездом в Туркестан для собирания исторических материалов. Оставляет меня единственный человек, нужный мне пред отъездом для ликвидации дел Исторического общества.

...В перспективе ряд лет в Берлине, а в мечте — самые последние годы жизни на покое в Эрец-Исраэль. Поздно ехать туда жить и работать, но авось еще успею поехать туда, чтобы перед смертью посмотреть небо, вдохновившее моих предков-пророков...

13 мая. ...Ряд светлых жарких дней, в душе музыка небес, а на земле жизнь влачится черная, с кровавыми пятнами, и темная тень ложится на небесную лазурь души. Визит виленского крупного книгопродавца Сыркина, многолетнего распространителя моих книг, рассказ о его злоключениях в Питере в последние годы: нападения шантажистов из «чрезвычайки», разорение, унижение, страх смерти; только сейчас готовятся к отъезду в родную Вильну... Вчера письмо Шабада из оккупированной поляками Вильны, где он ведет активную еврейскую политику. Приветствует по случаю юбилея, зовет в Вильну — строить новую жизнь на началах, мною некогда установленных... Все получаемые письма и приветствия в зарубежной прессе убеждают в том, что мои идеи пустили корни, что строится новая автономная жизнь, но строится она среди бури, среди еще не вполне схлынувших вод мирового потопа...

17 мая. Стал готовиться к последней главе «Истории», но убедился в недостатке материалов, которые можно достать только в Берлине, и решил отложить эту небольшую экзотическую главу (о Востоке)...

19 мая. Вчера получил запоздалое письмо с приветствием от Бялика из Москвы: ему наконец разрешили выезд из России вместе с группой одесских писателей. Письмо, полное тоски, тронувшее меня до слез. «Еще одно слово пожеланий — и слеза скатится», — пишет он в своем приветствии. «Мы встретимся» — где, когда: в Берлине, Литве или Палестине?..

26 мая. В томительном ожидании московского разрешения на выезд провожу целые дни в разборе личного и научного архива, отделяя то, что нужно взять с собою, от того, что оставляется здесь научным учреждениям... Очень много рукописей придется взять с собою для будущих работ. Для автобиографии придется забрать в качестве материала дневники и всю переписку, начиная с 1877 г. Вместе с готовыми манускриптами новой редакции «Всеобщей истории» это составит солидный груз. А как все это провезти при условиях полицейской цензуры?.. Приступаю к ликвидации

имущества... Сильно заботит судьба библиотеки, четыре пятых которой придется здесь оставить.

29 мая. Ликвидация библиотеки. Составил каталог общей части для продажи. Тени четырех десятилетий толпились кругом, когда записывал названия книг с наклейкой. Так разрушаются пенаты...

9 июня. Из Москвы обнадеживают: скоро будет разрешение на выезд. И все же пока бумага не будет в руках, уверенности нет... Несколько дней рылся в пачках писем ко мне от 1877 до 1920 гг., выделяя из них литературную переписку по авторам. Приступил к делу с самыми разрушительными намерениями: уничтожить все личное, семейное, чтобы облегчить груз для переезда, но рука не поднялась, выбросил очень мало. Не мог решиться на уничтожение могил, где похоронены волнения, горе, радости двух поколений... Придется возить с собою много. Но как все это провезти через границу? При обязательности предъявления всех рукописей в цензуре пред отъездом, как уцелеют мои дневники последних лет?.. Вся надежда на поддержку Литовской миссии...

12 июня. М., доставляющий мне зарубежную литературу, принес вчера книжку «Русской мысли», возобновившейся в Софии под прежней редакцией Струве⁷⁵. Отраднo одно: даже консервативные русские люди наконец поняли, что большевизм — истинно русская, национальная революция... Пусть не путают в эту революцию всех евреев на том основании, что Троцкие и Зиновьевы ассимилировались душою с Разиными и Пугачевыми. И все-таки это не избавит евреев при реставрации России от кровавой мести той же красной России, которая тогда почернеет.

18 июня. ...«Покидаю Россию навсегда» — эти написанные сегодня слова закрепляют мое прощальное настроение. Хотелось бы проститься непосредственно со всем, с чем связана была моя жизнь в стране исхода. С каким святым волнением поехал бы теперь старой дорогой Двинск—Витебск—Смоленск—Мстиславль, ходил бы по улицам родного города, вошел бы в синагогу и на «биме» тихонько воскресил бы слезы юности, крепко пожал бы руку помнящему меня старцу, поплакал бы на могилах деда, отца, матери. Но изволь теперь ехать туда и доехать живым!..

21 июня. Последние дни прошли в непрерывной «архитектурной» работе, перестраивал план «Всеобщей истории» из шеститомного в десяти томный. Два мотива: а) при новом делении книга лучше располагается по эпохам, с гармоническим расположением циклов по группам томов («Восточный период», «Западный период», «Новейшее время»); б) это удобно в издательском и техническом отношении... А между тем становится страшно: 10 томов! Сколько лет нужно на печатание такой энциклопедии!

Решительной вести (из Москвы) все нет и нет. Нелегко дается право эмиграции, право быть изгнанником...

25 июня. Наконец вести из Москвы: «Советское правительство неохотно отпускает за границу своих граждан». Конечно, тюремное начальство неохотно отпускает. Советуют запастись терпением и ждать.

29 июня. Новая катастрофа надвигается на Россию. Страшный неурожай на Волге. В Самаре, Саратове, Нижнем нет хлеба, люди мрут массаи от голода и холеры. Говорят, Ленин мечется в отчаянии, готов идти на самые крайние уступки... Может быть, предстоящий год будет годом крушения большевизма, но что придет ему на смену?..

А там на Западе, куда стремлюсь, как там проходит грозный кризис после всемирного потопа? Тяжело и там, но все же не растоптаны там высшие достижения культуры и цивилизации.

Глава 67

Муки исхода из «дома рабства» (1921—1922)

Писание мемуаров в ожидании исхода. «Тени предков». Вопрос о языке. — «Еврейской России не воскреснуть!» — Литовская миссия плохо выполняет свою миссию в деле моего переселения. Вызовы в Берлин. — Что скажет Чека? Как спасти свой архив? — Ликвидация дел в Петербурге. Упаковка книг. — Открытие комитета помощи голодающим. Расстрел таганцевской группы. — Раскрытие семьи в тесной обители. — «Удирают» писатели. — Отдых в Царском Селе, в холоде и темноте. «Осенняя песнь Сандомуча». — «История одного преступления». Литовская миссия наконец передает мое дело в Наркоминдел. Запрос у профессора Покровского. Обращение еврейского историка к русскому. — Брошюра «Евреи в царствование Николая II». — Чтение в университете. — Проект письма к Ленину, просьба о предоставлении права эмиграции. — Телеграмма из Ковны о назначении меня профессором Литовского университета. — «Виза наложена». Прощание с Еврейским университетом в Петербурге. — Опасения за архив, дневники и их автора. — Наконец получен паспорт. Ревизоры осматривают мои чемоданы с рукописями; «опасный» архив спасен. — Приключения при отъезде. Бегство из Содома.

Наихудшим временем для меня в советской России были последние десять месяцев перед исходом из «дома рабства», от лета 1921-го до середины весны 1922 г. Представьте себе душевное состояние узника, которому в одно прекрасное утро возвестили свободу и затем в течение трехсот дней, изо дня в день откладывали освобождение. Литовская миссия в Москве, которой из Ковны поручили содействовать моему выезду из России, очень плохо исполняла свою миссию. Сначала она вообще откладывала ходатайство в советском Комиссариате иностранных дел о разрешении мне покинуть Россию. После моих запросов в Ковне и в Москве, миссия испросила у своего правительства письменную ноту о моем деле для представления комиссариату, но тогда дело застряло в недрах советского ведомства. Еврейский юрисконсульт при Литовской миссии уверял меня в письмах, что дело движется, но проходил месяц за месяцем без всякого результата. Кроме заботы о паспорте для меня и жены, меня терзала забота о том, что я называл «паспортом для моего архива и библиотеки». По советским правилам из России выпускали книги в ограниченном числе, а рукописи после тщательного их просмотра в цензуре. Если бы мой архив попал в цензуру, я бы очутился вместо заграницы в одном из казематов Чека и был бы приговорен к вечному заточению, если не к «высшей мере наказания», ибо содержание дневников уличило бы их автора как непримиримого антибольшевика, готового раскрыть за границей тайны советского режима. Заодно с дневниками и их автором пропал бы и весь архив с огромным манускриптом десяти томной «Истории», предназначенным для печатания за границей. Риск был очень велик, и я придумывал всякие хитрости для спасения дорогих рукописей: послал заявление в Ковну, что я готов пожертвовать весь архив и библиотеку для будущего еврейского университета, и просил распорядиться о перевозке этого дара в качестве дипломатического багажа, свободного от контроля; но из этого ничего не вышло.

Только в начале 1922 г. вопрос о моей визе вступил в решительную стадию. Перед этим я с отчаяния написал письмо на имя Ленина с просьбой дать мне то право, которым он сам когда-то воспользовался, оставив царскую Россию: право эмиграции. Письмо я отослал одному московскому другу с предложением позондировать почву в «сферах» вместе с раввином Я. Мазэ и, если будут шансы на успех, передать мое «прошение» по назначению. Друзья, однако, не нашли удобным прибегнуть к этой радикальной мере, и обещали воздействовать на Литовскую миссию

и на Комиссариат иностранных дел. Последний затребовал отзыва комиссара просвещения проф. Покровского⁷³⁷, большевистского историка. Я послал Покровскому письмо с признанием, что я не разделяю теории исторического материализма и именно поэтому должен издавать свои труды за границей. Я очень опасался, что этот фанатик марксизма может повредить мне, но как мне сообщили со стороны, его отзыв оказался благоприятным: пускай, мол, уйдет, если не признает нашей веры. Однако тут дело вступило в самую опасную стадию: оно было передано на рассмотрение ВЧК, Всероссийской Чрезвычайной комиссии, которая тогда преобразовывалась в ГПУ (Государственное политическое управление). Тут не могли не знать о моих антисоветских убеждениях: ведь в начале большевизма я открыто выступал против него в печати и в собраниях; кроме того, могли напасть доносчики по профессии, члены еврейской секции коммунистической партии (Евсекции), от которой зависело также разрешение на вывоз моего архива. Было еще и формальное препятствие: считать ли меня уроженцем Белоруссии или Литвы, так как в первом случае я не мог бы опираться в Литве. Все это задерживало ответ на наше ходатайство, вызывало ряд колебаний, которые на моем настроении отзывались катастрофически. Я себя так плохо чувствовал, что еще осенью должен был уехать на некоторое время в дом отдыха для ученых в Царском Селе.

Я бы, может быть, не выдержал этого мучительного состояния человека, который больше полугода сидел на своих упакованных чемоданах в ожидании отъезда, если бы мне не пришла в голову спасительная мысль. Заниматься научной работой не было возможности, когда моя специальная библиотека была уже запакована, и я решил писать черновики моих воспоминаний, чтобы путем «интеграции» души спасти ее от гнета повседневных впечатлений. Начал я писать летом 1921 г. и продолжал особенно интенсивно осенью и зимою, так что весной 1922 г. мне удалось довести автобиографию до конца 1910 г. Я буквально спас себя этим психическим лечением.

Наконец подошла весна освобождения. Мои друзья в Ковне, в особенности М. Соловейчик, не молчали. В конце февраля 1922 г. Соловейчик телеграфировал мне, что при торжественном открытии Литовского университета в Ковне министр просвещения огласил список первых профессоров и в их числе назвал меня как преподавателя еврейской истории. Теперь Литовская миссия в Москве могла уже действовать энергичнее. И тем не менее прошло еще полтора месяца, пока мой паспорт с визой вышел из недр ВЧК. Я его получил через литовского консула в Петербурге только в начале апреля.

Теперь оставалось решить вопрос о вывозе опасного архива и хоть небольшой библиотеки, без риска попасть в руки цензуры и в подвалы инквизиции. Случилось чудо. По особому ходатайству моих близких, петербургские власти освободили меня от обязанности тащить мой большой архив в здание цензуры на далекой Почтамтской улице и обещали прислать ко мне цензора на дом для осмотра рукописей в моем присутствии. К назначенному дню большой кожаный чемодан с рукописями был уже тщательно уложен. Внизу покоилось самое опасное: мои дневники последних лет, размещенные среди папок со всякими заметками и научными планами. Затем шел пласт старинных исторических документов, а над ними десять толстых фолиантов машинной копии моей «Всемирной истории еврейского народа». В полдень явился ревизор, студент университета с польской фамилией. Когда он мне представился, я его спросил, кем он приходится своему однофамильцу, известному польскому писателю эмиграции, другу Мицкевича, и так завязался исторический разговор. Затем я раскрыл чемодан, и перед глазами ревизора появился ряд внушительных фолиантов, которые я раскрывал, разъясняя ему их содержание в ответ на его вопросы. Явно проникнутый почтением к фолиантам истории и к их автору, молодой человек не стал рыться в нижних пластах и велел пришедшему с ним таможенному досмотрщику закрыть чемодан и наложить на него пломбы транзитного

багажа до самой Ковны. То же сделал сам досмотрщик с большой корзиной вещей, почти не взглянувши в нее. Так благодаря тому, что власти не догадались послать ко мне опытного чекиста, был спасен не только мой архив с главным трудом жизни и дорогими реликвиями, но, может быть, и сам владелец их. Я один из очень немногих, которые рискнули вывезти из советской России рукописи и в особенности свои дневники. Благодаря этому я мог издать на нескольких языках за рубежом многотомную «Историю» и документировать настоящие тома воспоминаний.

В последние месяцы своего пребывания в Петербурге я получил возможность напечатать там и подготовить к печати некоторые отделы последнего тома моей «Истории», в которых даже советская цензура не могла найти ничего предосудительного: «Евреи в царствование Николая II» и главы из предшествующих эпох.

Эти предварительные заметки облегчат читателю понимание нижеследующих извлечений из дневников, которые дадут конкретную картину моих десятимесячных мук перед исходом из «дома рабства».

1921 г.

30 июня. Принял важное решение: не откладывать писания автобиографии до окончания всех литературных трудов, а писать ее в свободные промежутки между одной работой и другой, начиная с нынешнего дня. Надо торопиться, ибо неизвестно, оставит ли мне судьба время для автобиографии... Я уже начал писать первую главу: «Тени предков». Колблюсь, писать ли по-еврейски или по-русски: и то и другое имеет свои достоинства и недостатки. В еврейском опять спор между национальным и народным языком.

1 июля. Жду со дня на день точных вестей из Москвы. Если право эмиграции будет дано, я предлагаю пожертвовать свою библиотеку и архив не здешнему Историческому обществу, существование которого сомнительно, а еврейскому Nationalrat Литвы для будущего еврейского университета. Книги и рукописи будут тогда спасены от гибели. Говорил об этом сегодня с литовским консулом, с которым заседал по делу о возвращении Литовской Метрики в Литву. Пока еще есть трудности. Очень мне по сердцу этот дар литовскому еврейству, среди которого, может быть, проведу остаток жизни. Еврейской России, кажется, не воскреснуть, да же после возрождения страны.

В связи с приступом к автобиографии сличал сегодня тексты «Jessod Joset» и «Kaw hajaschar». Последний оказался в большей своей части полным плагиатом... Начал писать первую главу сначала по-русски, потом по-древнееврейски. Но еврейский язык тесен для свободной мысли, да и писание медленно идет.

4 июля. Написал вчерне первую главу автобиографии. Для ускорения писал по-русски... Завтра жду вестника из Москвы с ответом на многие тревожные вопросы: когда выпустят из тюрьмы, как узаконить провоз книг и рукописей...

6 июля. Наконец пришел «вестник избавления». Здешнее Литовское консульство получило для меня бланк заграничного паспорта, который после заполнения анкеты будет отослан в Москву для подписи... Возможно, что в конце этого месяца нам удастся уехать, — какое «счастье»! Чающих этого счастья я видел много вчера и сегодня в консульствах. Комнаты битком набиты беженцами...

11 июля. Ради спасения от цензуры моих орудий производства, книжной и рукописной коллекции, пишу заявления, письма, описи, обращаюсь в Москву и в Ковну, веду переговоры здесь. Силы уходят на борьбу с рабством, бесправием личности... Страх быть задержанным в последнюю

минуту из-за отсутствия какой-либо полицейской бумажки, потерять рукопись труда в пути, лишиться хотя бы этой книжки (дневника), могилы двухлетних переживаний, — это парализует силы...

16 июля. ...Сегодня читал ревельские эмигрантские газеты: все то же томление изгнанников и мечты о чудесном спасении России. Русские люди могут, должны верить, но мы, евреи, не можем: для нас гибель шестимиллионного нашего центра — непреложный факт...

20 июля. Новая беда: курьер здешнего Литовского консульства потерял пакет, в котором посланы в Москву заполненные мною анкеты и бланк паспорта с фотографиями. Об этом мне вчера сообщил консул, который вообще меня «утешает», что меня нескоро выпустят, а мою библиотеку с архивом, пожалуйста, вообще не пропустят. Расстроенный вернулся под вечер от консула, ночью тревожно спал, а сегодня иду в консульство с папкою новой «литературы»: анкетами, заявлениями, письмами для Москвы... Теряю душевное равновесие. Душит это абсолютное рабство... полное прикрепление к месту жительства. В старой России были крепостные крестьяне, теперь крепостные — все классы, кроме «совбуров», советских буржуев, чиновников, едущих даром по командировкам. Мир еще не видел такого гнусного крепостничества.

Вчера долго беседовал с приехавшим из Вильны доктором Шабаром. Рассказал всю историю польско-литовского конфликта из-за Вильны. Много там тревог и бедствий, но люди все же свободны в политической борьбе. Сам Ш. бодро настроен. А мы тут рабы рабов...

Из Берлина получилось запоздалое письмо от С. Гурвича (уже второе: первое пропало в недрах российского «черного кабинета»), где меня усиленно зовут в Берлин, уверяя, что там для меня широкое поле научной деятельности. Да, но как выйти из Египта?..

22 июля. Вчера под вечер шагали мы трое (с гостящим здесь Яшей) по Невскому под проливным дождем, направляясь на Николаевскую, в квартиру Эмануилов, по случаю свадьбы Сони Эм. В моих ботинках с рваными подошвами хлюпала вода, и пришлось переобуться после первых приветствий.

24 июля. ...Вчера читал анкетный лист Комиссариата иностранных дел для уезжающих. Один вопрос гласит: «Кто из остающихся в Советской России может поручиться в том, что ваша деятельность за границей будет лояльной по отношению к РСФСР (Росс. Совет. Федерат. Соц. Республика)?» Рядом оставлено место для подписи двух поручителей, в сущности заложников, которые отвечают головой за «нелояльность» уезжающих. Тут же вопрос: «Кто из родственников остается в Советской России?» Ясно... Мне в анкете первого вопроса не предложили, не потому ли, что меня как будто оптирует Литва?..

27 июля. ...Силы падают, нервы напряжены до крайности, — выдержу ли? А между тем в Берлине дело налаживается и предвидится возможность издавать книги на нескольких языках. Печатные станки ждут там тех рукописей, которые мне предстоит перевезти с опасностью для них и для их автора. Голова идет кругом.

В советском аду становится все страшнее. «Красная смерть» косит людей. Раскрыт здесь и в Москве новый заговор против красного дракона: «эсеры, кадеты и меньшевики» готовились к свержению советской власти путем террора. Во главе организации стоял Таганцев⁷³⁸, сын известного криминалиста. Сотни арестованных и десятки кандидатов на расстрел, о чем вчера с торжеством возвестила Чека в длиннейшем правительственном сообщении, в стиле старого департамента полиции...

5 августа. Вернулся из заседания комитета Историко-этнографического общества, с похорон, которым старались придать вид воскресения. Уже год или больше не заседали, а сегодня старые и новые члены — остатки бывшего общественного круга — собрались в канцелярии комитета на 5-й линии Вас. острова, чтобы принять у меня пред отъездом дела... Решили созвать через неделю «общее собрание» для выбора нового комитета, а затем поддерживать существование комитета чтением научных докладов со взиманием платы. Я передал свои обязанности председателю А. Я. Штернбергу и вернул комитету редакционный портфель «Старины». Решили несколько вопросов о нашем архиве и музее, о наследии Ан-ского и пр...

8 августа. На прошлой неделе забывался в писании воспоминаний детства. Прервал работу, чтобы готовиться в путь. Теперь опять бросаю приготовления к отъезду и делаю над собою усилие, чтобы писать. Иначе душа не выдержит пытки ожидания и поминутных тревог.

25 августа. Сейчас из моей квартиры вывезли дорогих покойников: около 250 книг моей общей библиотеки, проданных книжному складу за обесцененные советские бумажки. Со многими из этих книг сколько воспоминаний связано! Шлоссер, Дрэпер, Спенсер, Тэн, латинские и греческие классики, Шиллер, Сент-Бэв и многие другие, приобретенные на последние гроши в 80-х годах...

28 августа. Сегодня и завтра будем паковать книги в ящики для перевозки в помещение Литовского консульства, откуда они будут отправлены в Ковну. А когда мне самому суждено выехать и суждено ли — об этом жду решения из Москвы каждый день. Казнят или помилуют?..

31 августа. Разумеется, консульство еще не прислало ни ящиков, ни людей для упаковки. Упакованные мною три ящика стоят в кабинете как символ разрушения. Отчаявшись, опять взялся за автобиографию. Пишу главу о 1880 и 1881 гг. в Петербурге. Все муки ожидания как будто придуманы для того, чтобы я мог сейчас писать воспоминания...

Закрыт здешний общественный Комитет помощи голодающим⁷³⁹, а сейчас прихлопнули и Всероссийский комитет в Москве. Гнусное правительственное сообщение прямо объясняет это тем, что в комитете образовались «политические группировки». Раньше власти запретили делегации комитета ехать за границу для организации помощи, а когда комитет заявил о невозможности работать без посылки делегации, его закрыли указом ВЦИКа. Боялись инквизиторы, чтобы часть их тайн не была раскрыта за границей. Слухи носят, что члены комитета арестованы (Головина, Кишкин, Прокопович). Европа и Америка после этого, конечно, откажутся от помощи голодающим, не имея гарантий общественной организации, — но какое дело до этого Ленину и Троцкому: пусть умрет еще десяток миллионов людей — для «опытов» еще людей хватит.

2 сентября. Сегодня толпятся люди на улицах, у расклеенных газет. Читают длинный список расстрелянных «заговорщиков» из таганцевской группы (61 человек). Кроме молодых Таганцева с женой, расстреляны проф. Лазаревский⁷⁴⁰, поэт Гумилев⁷⁴¹, многие меньшевики, эсеры, кадеты, а лживое сообщение Чека говорит о «монархическом заговоре», о «еврейских погромах» в программе заговорщиков... Страшно читать список: масса молодых жен и сестер, оставивших малых детей. Многие, говорят, только вчера и сегодня по газетным спискам узнали о казни их любимых, родных, друзей, знакомых...

3 сентября. ...Собираюсь писать главу (воспоминаний) о 1881—1884 гг. и сейчас принимаюсь за чтение материалов — уцелевших писем. Чтение

волнует, но само писание не очень: пишу о себе как будто о постороннем, анализируя его душу. На первом плане процесс развития моих идей в полосе антитезиса. Допишу ли новую главу в Петербурге или уже за границей?

4 сентября (вечер). С утра сел писать. Потом взялся приделывать крышки к запакованным книжным ящикам: вытягивал кривые гвозди из досок, ранил руки, пилил, рубил. Затем пошел в сарай пилить и колоть дрова. Опять за крышки. Звонки: жильцы с разными нуждами. Сели обедать. Звонок. Через кухню входит Оля, приехавшая утром из Сибири⁷⁴² с своими двумя мальчиками и остановившаяся у Р. Эмануил. Не видел ее с начала 1907 г. Встретил, как будто недавно только расстались. Ушла, а завтра придет с детьми и поселится в нашей квартире. Сблизились дальние концы жизни... Трагедия отдельной семьи — трагедия нации. Нет виновных...

8 сентября. Вчера фотограф-художник (Чернов) снимал меня в моем кабинете в разных позах: одна из них — за заколачиванием ящика с книгами, типичное мое занятие в последнее время.

11 сентября. «За границу удрала группа писателей» — извещала вчера «Красная газета» и возмущалась тем, что одного из них (Ремизова⁷⁴³) советская власть раньше баловала: давала комнату в отеле и дрова. Да, есть такая страна в мире, откуда писатель и вообще всякий подданный может только «удирать», рискуя быть застреленным на границе или арестованным и водворенным в тюрьму. При всей опасности бегства, я бы тоже недавно бежал, если бы на моих руках не были гири: пуды моих же рукописей...

17 сентября. ...Опять сжидание приговора Москвы... И опять, чтобы смягчить адскую боль, упиваюсь опиумом воспоминаний, болеутоляющим напитком Мнемозины. Этот наркоз не влияет, однако, на способ изложения: я ничего не приукрашиваю в прошлом, а продолжаю тот строгий самоанализ, который проводился в предыдущих главах. Эта работа — усыпление боли настоящего, но просветление в прошлом...

4 октября (на исходе Рош-гашана). Как провел я эти два дня? Вчера долго «молился»: читал, как материал, дневники и письма 1891—1893 гг. в Одессе, и столько горячих «кино» и «слихот» было в этих писаниях, что не нужно было их заимствовать из «Махзор»... А сегодня, в 61-ю годовщину моего рождения, я провел время уже по-«советскому»: с утра поехал в Дом ученых, три часа простоял в очереди для получения новых карточек, на ноябрь—декабрь (в очереди близко стоял старик Н. Морозов⁷⁴⁴, известный узник Шлиссельбурга), и первой выдачи в виде нескольких фунтов фасолеи, макарон и крупы. Навьюченный этим добром, возвращался домой, пронизываемый холодным ветром. Пообедал, лег в постель, опасаясь рецидива инфлюэнцы; пришел П-н [Перельман А. Ф.] и сообщил от имени приехавшего из Москвы, что литовский посол, поэт Балтрушайтис⁷⁴⁵, вернулся из Ковны, где председатель еврейского Националрата Розенбаум говорил с ним обо мне и решил наконец добиться моего выезда. Плохо верится... Пишу ему письмо, поможет ли? Напишу и в Ковну друзьям и скажу им, как Самуил Саулу: зачем вы меня потревожили, подняв из гроба? Лежал я больше трех лет в советском гробу, а теперь избавители замутили мою душу...

8 октября. В последние дни читал еврейские газеты, издающиеся в Америке. Был поражен их верою в советскую Россию: верят, что здесь творится истинная революция пролетарская, и не знают, что это гнуснейшая из всех когда-либо бывших деспотий, где растоптаны все права

личности... В унисон с ними поет бундовская пресса Варшавы. Слепление, угар после мировой бойни...

11 октября. Сегодня с 9 утра до 3 час. дня был занят «делами». С утра дождался в амбулатории Дома ученых привилегии на «усиленное питание», как для больного, и легко получил ее от врача по представленному удостоверению. Сидело нас человек сорок в очереди ожидавших. Зашел высокий красивый старик, записался: Н. И. Кареев⁷⁴⁶. Известный историк, еще недавно богатый профессор (доход от его многочисленных сочинений был весьма значителен), он теперь добывается «усиленного питания», т. е. пары лишних фунтов муки, крупы и жиров в месяц. Ему сказали, что ученые старше 65 лет не нуждаются в осмотре врача и могут прямо в очереди получить добавочные продукты. Затем часа два простоял в очереди обычного недельного пайка и наконец совершил все формальности по отъезду в санаторий. Еду в Царское Село послезавтра...

13 октября (вечер). Повесть о том, как я сегодня путешествовал в Царское Село и вернулся домой, не увидав Ц. Села. Тронулись мы в путь из дому, я и Оля, в два часа дня с тяжелым пакетом в руках. Добрались до трамвая № 2 и поехали. Сошли на Михайловской площади, чтобы пересесть в № 9, но оказалось, что остановка последнего изменена; пришлось пешком тащить с вещами на угол Садовой и Инженерной. Доехали в давке до Царскосельского вокзала — и опять сюрприз: поезд отменен, придется ждать до десятого часа вечера, т. е. приехать в санаторий слишком поздно. И я оставил вещи на руках у дочери, у ее знакомых, а сам вернулся домой. Завтра встану на рассвете и поеду на вокзал, а в 9 час. уеду в Ц. Село, если и утренний поезд не будет отменен. Так получасовая поездка превратилась в двухдневное путешествие.

14 октября (вечер), Царское (Детское) Село. «Кончен, кончен дальний путь...» В 10 час. туманного утра приехал сюда и водворился в доме отдыха для ученых. Настроение очень близкое к тому, которое я испытал в декабрьский день 1886 г., когда приехал в Царское Село как изгнанник из царского Петербурга. Теперь я — изгнанник из советского Петрограда: добровольно ухожу на время за черту города, не имея возможности уйти совсем из Совдепии.

Пока впечатление тусклое. Тусклая погода, тусклый человеческий антураж, тускло светит электрическая лампа под потолком. Был сегодня за общим столом: нет известных в науке имен, преобладают седые люди, часто члены семьи ученого. Мои два соседа по комнате — «профессор»-педагог и какой-то интеллигент неопределенной профессии. Скуки будет много, поэзии в это осеннее ненастье мало, отдых сомнительный...

16 октября. Усиливается впечатление холода и мрака... Вчера посетил в старой санатории Айзмана (Д. Я., известного беллетриста)⁷⁴⁷, живущего там уже больше года. Он говорит, что прошлой зимой жил при 8—4 градусах, часто без освещения, которого там нет и теперь. Невесело...

22 октября. Вчера вечером нас лишили электрического освещения. Явился какой-то субъект и выключил наш дом из сети. Сидели впотьмах и будем сидеть еще много вечеров. Решил на днях бросить этот милый «отдых» в холоде и темноте.

27 октября. Сегодня утром вернулся из города, где провел два дня. Войдя в нашу городскую квартиру, увидел такую картину: в кабинете стоит печник и кладет между письменным столом и стеною кирпичную печь в форме плиты, с железными трубами, идущими в кухню. В комнатах пыль, глина, кирпич. Кабинет получает вид кухни. Большая часть библиотеки давно из него взята и покоится в ящиках в передней; картина разрушения

довершена, но зато будет теплее в этом кабинете-кухне, если будет чем топить. В тот же день явился ко мне приехавший из Москвы Р. (юрисконсульт Литовской миссии). Оказалось нечто страшное: мое дело до сих пор, после 9 месяцев от начала ходатайства, еще не поступило в Комиссариат иностранных дел и в особый отдел В. Ч. К., т. е. советская власть его еще не рассматривала. Р. сказал, что это целая история, а я добавил, что это «история одного преступления» миссии, не исполнившей данного ей поручения. Р. признался, что в Ковне и в Карлсбаде на сионистском конгрессе его спрашивали, почему меня все еще нет за границей после всех газетных известий, и что он сейчас получил от д-ра Солов. [Соловейчика] письмо с требованием энергично действовать. Обещал привести дело так, чтобы я через пару недель мог получить паспорт, и телеграфировать мне о ходе дела каждые три дня... Но что из этого выйдет?.. Кошмар!

А теперь я опять здесь, среди гробниц Царского Села. На дворе уже зима. В комнатах санатории греет только зимнее солнце, но отопление не началось. Освещение тоже еще не восстановлено. Несколько дней назад я вписал следующие гекзаметры в альбом нашей санатории, именуемой сокращенно Сандомуч (Санатория Дома ученых):

*В Новь ковчег Сандомуча сознал нас потоп всероссийский,
Здесь обрести мы мечтали покой, и тепло, и уют.
Поздно пришли мы. Октябрь дохнул на нас северной стужей,
А в очаге не пылал огонек «за отсутствием дров».
Раз некто темный пришел и сказал: мы отнимем и свет.
Мигом погасли все лампы, и дом в темноту погрузился.
Стали ученые думать: покой среди стужи и тьмы
Можем найти и в могиле, поближе к негатам родным.
Пусть же домучит столица печальных клиентов Домуча!
И потянулись в ту бездну потопа, откуда искали спасенья.*

29 октября. Холод, холод. Сижу в пальто в неотопленной комнате. Кругом все кутаются и жалуются на холод. Вчера ходил в старую санаторию к Айзману. Встретил у него старушку Калмыкову, педагога-гуманистку, которая держала меня два часа под каскадом своих речей, впрочем довольно интересных воспоминаний о долгой жизни (ей 72 года). Другая литературная старушка, М. Ватсон¹⁴⁸, громила целый час М. Горького, теперь уехавшего в Финляндию. Вечером, чтобы прогнать скуку в неосвещенных комнатах, собрался в моей комнате обитатели нашей санатории (около 20 человек) и я сделал сообщение о современном состоянии еврейства во всем мире — совершенную импровизацию, тут же составленную по просьбе слушателей. Для аудитории, преимущественно русской, были новы и мои элементарные сведения... Был вместе с соседями в царском дворце, излюбленной резиденции Николая II. Осматривал парадные залы, но личные апартаменты царя закрыты.

3 ноября, Петербург. С 1-го я здесь. С большим трудом устроил зимнее гнездо в кабинете. Сижу за маленьким письменным столиком, рядом топится кухонная печь, наша благодетельница, безобразная, обмазанная глиною, с железными трубами... Возьмусь за прерванную автобиографию.

11 ноября. Телеграмма из Москвы о том, что в добрый час (после 9-месячной проволочки) мое дело наконец поступило в Наркоминдел...

14 ноября. Вторая телеграмма: дело передано на заключение заместителю комиссара просвещения Покровскому, тому самому историку России, который недавно проектировал упразднение гуманитарных факультетов, не исключая исторического. Что скажет он? Выпустит или не

выпустит за границу еврейского историка, ненужного в Совдепии уже потому, что он не признает догмата господствующей религии — исторического материализма? Сейчас написал ему письмо. Апеллировал к нему «как еврейский историк к русскому». Подействует ли это, а если да, то будут ли еще справляться о моей политической благонадежности в В. Ч. К.?

18 ноября. Явился ко мне знакомый сионист Кауф[ман] и сообщил, что на основании новых законов группа их устроила издательский кооператив «Кадима» и хочет начать свою деятельность с моего труда. Я согласился дать ему из моей новейшей истории главу «Царствование Николая II», которую раньше приготовил для «Старины». И вот три дня сижу над этой обширной главой и приспособляю ее к изданию в виде монографии. Сегодня сдал К[ауфману]. Он передаст рукопись в цензуру и надеется, что пропустят... Меня это на мгновение оживило: хоть часть моего большого труда выйдет из гроба... Гонорар же пригодится для предстоящих миллионных расходов на переезд за границу.

Теперь возвращаюсь к воспоминаниям, прерванным тоже на начале царствования Николая II.

26 ноября. От Р. телеграмма, что дело все еще в Наркомпросе. Может быть, свирепый марксист в истории Покровский прочел мою страницу о Марксе в «Новейшей истории» и возмутился оскорблением величества.

Освобожденный из тюрьмы сосед Н. Н. рассказал ужасы о сентябрьских (или августовских) убийствах: о расстреле шестидесяти из группы Таганцева. В три часа ночи их вытащили из камер на Гороховой, сквали попарно ручными кандалами, взвалили на грузовые автомобили, грохот которых заглушал крики несчастных, повезли на Ириновский вокзал и там на поле расстреляли. Палач подходил к каждому сзади и стрелял из пистолета в затылок... Все дело — гнуснейшая провокация: гибли невинные люди во славу красной инквизиции.

Пляска декретов бешеная. «Снимают с пайка» все население, которое раньше кормила власть, все ограбившая. Теперь ограбленное промотано и ограбленным говорят: идите, кормитесь как знаете. Прежде запретили честную торговлю, а теперь поощряют свободу не только торговли, но и преступнейшей спекуляции... Страна мечется в экономических судорогах. На Волге десятки миллионов людей умирают в муках голода, бросая детей как кошек... Кажется, наступают последние дни стихийной гибели, когда жертвы погибнут вместе с палачами...

3 декабря. Пришел П. с новостями из Москвы: Покровский еще до моего письма ответил, что не находит препятствий к моему отъезду; Р. обещал справиться в Наркоминделе и телеграфировать.

10 декабря. Издатель моей брошюры «Евреи в царствование Николая II» сегодня сообщил мне, что она сдана в набор. Гражданская цензура разрешила, а военная должна еще по отпечатании положить свой штампель Д. В. Ц., т. е. «Дозволено военной цензурой». Принес мне гонорар — два миллиона рублей...

18 декабря. ...Прервал писание (мемуаров) для чтения корректур брошюры «Евреи в царствование Николая II». Давно не держал корректур в стране, почти уничтожившей книгопечатание.

Из Берлина от С. Гурвича случайно дошло письмо (другие пропали): зовет опять в Берлин, ручается за наличность издателей для моих трудов.

Сейчас начал писать заметку об Израиле Фридендере («Памяти родной души») для возникающего здесь еврейского журнала «Летопись» (вышел потом под именем «Еврейский вестник»). Вчера и сегодня про-

смотривал с глубоким волнением его письма ко мне между 1897 и 1917 гг. Предо мною стоял прекрасный образ родственной души. Так и не пришлось нам встретиться на жизненном пути, но души наши издали тяготели друг к другу, душа автора и его переводчика, который обещал быть самостоятельным мыслителем.

Недавно, в сентябре, был у меня молодой фотограф-художник, снявший меня в нескольких позах. Чудная душа светилась в глазах и в детской улыбке этого болезненного человека, мечтавшего о художественной деятельности. Теперь я узнал, что он умер от скоротечной чахотки, оставив молодую жену. Очевидно, жестокое лихолетье ускорило его смерть... Опять вспышка сыпного тифа, идущего из Поволжья. Там мрут сотни тысяч от голода и от вшивой заразы...

23 декабря. Вчера начал читать курс новейшей еврейской истории для группы слушателей Еврейского университета, согласившихся приходить ко мне. Трогательно было видеть этих юношей и девушек, пришедших из разных пунктов на мою окраину и сосредоточенно слушавших вступительную лекцию об эпохах XIX в. Моя тесная келья — бывший кабинет, превращенный в спальню, кухню, столовую, — превратилась в аудиторию. Сказал слушателям: «Когда-нибудь вспомните о странной обстановке наших лекций».

Сегодня в полдень был на Невском по делам университета у Н. Н. Встретился там с раввином Айзенштадтом и узнал о трех смертях: здесь умер вчера А. Е. Кауфман, а в Берлине недавно умерли А. Д. Идельсон и М. И. Бердичевский... Кто еще из нашей братии умер в последние годы? Кто знает, какие имена покойников услышу я по переезде через границу, между ними и дороге имена...

29 декабря. В Москве Всероссийский съезд Советов. «Тронная речь» Ленина — вялая, пустая: мы делали ошибки, надо идти назад, к капитализму, на время, пока... 2000 членов съезда постановили не открывать прений по поводу этой речи: зачем обсуждать внутреннюю политику? Ленин и товарищи лучше знают! Так «голосующий скот» принял все резолюции по докладам, как ни кошмарны выводы: за четыре года опытов большевизма рабочий пролетариат в городах почти уничтожен вместе с фабриками и заводами, сельское хозяйство разорено, финансы разрушены, голод, холод и эпидемия прочно утвердились, страна вымирает — а правительству выражают доверие!

Сегодня читал свою лекцию в университете, на Троицкой, так как мне обеспечена возможность возвращаться домой на лошади.

Умер в Полтаве В. Г. Короленко. Ушло последнее воплощение совести русского народа, светлый идеалист, всегда близкий моей душе. Помню нашу случайную встречу в 1912 г., в Историко-этнографическом обществе... Что думал этот идеалист революции, пережив за четыре года небывалое поругание революционного идеала, революцию без этики, без совести, без разума, дикую, стихийную?..

1922 г.

1 января. ...Встречаю новый год в небывало мрачном настроении узника, которому возвестили освобождение, а затем продлили срок заключения на неопределенное время. Одинокий, почти не общаясь с обитателями других камер тюрьмы, упорно делаю свою тюремную работу, спасающую меня от отчаяния...

3 января. Отвез сегодня утром корректуру в сенатскую типографию и поговорил с членом издательства «Кадима». Они согласны издать после

брошюры о Николае II еще одну: о времени Александра III, а затем, пожалуй, издадут остальную часть последнего тома «Истории»... Если мне суждено мучиться здесь еще до весны, то печатание одного тома «Истории», хотя бы в кусочках, даст мне некоторое нравственное удовлетворение и смягчит мою тоску.

9 января. Сейчас кончил бессмысленную работу, чтобы приспособить копию «Александра III» для советского издания. Переделал грамотный текст на безграмотный (орфографию) и жду издателя для передачи ему.

Уже примиряюсь с мыслью остаться здесь до весны.

13 января. Опять пришла в голову мысль: написать письмо Ленину, как председателю Совнаркома, и просить о разрешении выезда за границу для издания моих книг. Немедленно набросал черновик, а сегодня переписал на машине. Просил о восстановлении для меня элементарного права эмиграции, о разрешении вывезти свои рукописи и книги без формальностей цензуры, ибо задержка в России убивает мой смысл жизни — научный труд... Постараюсь переслать письмо с оказией в Москву, но не уверен, что оно дойдет до нового самодержца, а если дойдет, подействует ли. Ведь над Лениным стоит Чека, «опора трона», как в свое время камарилья из «Союза русского народа» при Николае II.

14 января. Сейчас отправил в Москву д-ру В. письмо с приложением «прошения на высочайшее имя», моего письма к Ленину*.

16 января. Все новые проекты исхода. Написал Гурвичу в Берлин, чтобы он достал для меня визу на въезд в Германию для издания моих книг, так как мои издатели находятся в Берлине. Виза может ускорить получение разрешения в Москве в связи с моим обращением к Совнаркому. Только вот вопрос: как отправить письмо? По почте велик риск пропажи при перлюстрации...

21 января. Узнал о смерти за границей А. Сева, редактора «Восхода». Сейчас, когда пишу эти строки, в центре города поминают покойного в собрании Евр. Исторического общества (Штернберг), но я при всем желании не могу там быть: вечером нет трамваев, через Марсово поле жутко ходить, очень далеко, сил нет. Вспоминаю в тишине ряд лет работы с ним в «Восходе» (1902—1906), в «Еврейском мире» (1909), в Историческом обществе. Бывали между нами конфликты, но всегда идейные, честные. Надеялся его встретить скоро за границей, а вот умер человек...

30 января. Из Москвы получил сведения, что Наркоминдел уже выдал было паспорт, но какая-то анонимная инстанция (В. Ч. К.?) задержала. Литовский представитель Балтрушайтис послал Наркоминделу новую ноту.

Вчера из Берлина письмо от «Jüdischer Verlag» с требованием рукописи третьего тома «Новейшей истории» для немецкого перевода, ибо после выхода первых двух томов издательство объявило о скором выходе третьего. Но как переслать рукопись в Берлин?..

2 февраля. Вчера в мою темницу ворвались лучи света. Телеграмма из Москвы извещает, что мой паспорт окончательно подан к визе и, вероятно, на днях будет готов. А приехавший из Ковны и Москвы М. привез мне корреспонденцию: письма из Берлина, Нью-Йорка, Варшавы и др. Все рады отклику живого из царства смерти, ждут моего приезда. В Ковне меня ждет кафедра еврейской истории в государственном университете... Как будто открыли форточку в моей тюремной камере, а скоро, может быть, раскроют и дверь. К моим тюремщикам присоединились и евреи-

* Друзья не нашли возможным передать это «прошение».

коммунисты: говорят, что причиною недавнего отказа в визе был отзыв московской Евсекции в ответ на запрос особого отдела Чека при Наркоминделе. Хлопцы, конечно, донесли, что я антибольшевик и что меня нельзя выпустить за границу.

12 февраля. Упразднили «чрезвычайку» и учредили взамен «Политическую охрану» (потом Г. П. У.). Это напоминает мне упразднение Третьего отделения в 1880 г. и замену его не менее свирепым Департаментом полиции с охранными отделениями по всей России.

22 февраля. Вышла в издании «Кадима» моя книжка «Евреи в царствование Николая II», уродливое создание советского книгопечатания: серая оберточная бумага, серая печатная краска. Тошно смотреть. Такая же книжка об Александре III лежит в цензуре. В последние дни просматривал копию рукописи для третьей книжки этой серии — о евреях Западной Европы в эпоху 1881—1914 гг. Так приходится давать разные главы последнего тома «Истории» в виде крошки.

Посреди этой скучной работы сегодня ряд вестей о близком исходе. Письмо от С. Гурвича из Берлина о получении для меня германской визы, о ждущем меня берлинском издательстве «Клаалферлаг» и пр. Длинная телеграмма из Ковны от Соловейчика, что я официально зачислен профессором еврейской истории в только что открытом Литовском университете... Придется еще решить вопрос: Ковна или Берлин?

2 марта. ...Мой паспорт, подписанный уже в Комиссариате иностранных дел, поступил в Ч. К. и ждет решения. Теперь это уже факт, а не предположение, как раньше...

3 марта. Из Москвы сейчас телеграмма об избрании меня профессором в ковновском университете, но ничего о паспорте. Значит, Ч. К. еще размышляет. Опасное раздумье... Теперь она, переименованная в «Политическое управление», взялась за эсеров: объявлено об аресте членов центрального комитета партии...

11 марта. Сейчас принесли телеграмму из Москвы: «Виза наложена». Значит, паспорт вышел из чрева кита, Ч. К. Я наконец еду. Но где же паспорт для моей библиотеки и архива? Не придется ли из-за них задержаться?..

17 марта. Вчера читал последнюю лекцию в университете. Последняя наша беседа, по желанию слушателей, была о перспективах дробей бывшего русско-еврейского центра в Литве, Польше и других новообразованных государствах. Трогательное прощание с слушателями.

18 марта. По городу носят слухи о столкновении народа с властями в церквях при изъятии церковных ценностей в пользу голодающих. Говорят даже о стрельбе и убийстве комиссара в церкви. В связи с этим толки о «врагах Христа», «жидах». Настроение вообще грозное в связи с безумно растущей инфляцией.

24 марта. ...Гонит из России, кроме политического рабства, это безумие, написанное теперь на всех лицах. Люди мечутся, одни в буйном, другие в тихом помешательстве. Пол-России умирает с голоду или спасается людоедством, а другая половина летит в пропасть... Картины в консульствах кошмарные: беженцы, опанты толпятся, вопят от тысяч формальностей, опутывающих их выезд в Латвию, Польшу, Литву, Эстонию, на Запад вообще. Ходишь по улицам: ухабы, бургистый лед на тротуарах, ледяные баррикады, тающие от оттепели и превращающие улицу в топкое болото; ряд домов-трупов с выбитыми рамами окон и вынутыми деревянными внутренностями для топлива (деревянные дома «съедены» еще в прошлые годы).

25 марта. Сейчас дописал 17-ю главу автобиографии, остановившись на начале 1911 г. Это — последние строки моего петербургского писания. В течение девяти месяцев (с конца июня прошлого года) эта работа спасала меня от отчаяния и упадка духа... Обозрены «с вершин Писта» 50 лет моей жизни, остальное будет уже писаться там, на Западе, по окончании важнейших трудов.

Стою на пороге Обетованной Земли и все же беспокоен, пока не вступлю туда со всем дорогим мне из моего духовного багажа. Еще предстоит пройти через цензуру, которая будет решать участь заветных страниц. Уцелеешь ли ты, моя книжка, где пишу эти строки, мой дневник, спутник и собеседник в течение почти трех лет? Не попадешь ли в руки врагов, не подвергнешься ли, может быть, вместе с автором — лютой казни за мысль, за стон наболевшей души, за слезу?..

29 марта. Жду паспорта из Москвы, жду сведений о возможности перевезти библиотеку с архивом... Отклонил предложенный мне прощальный банкет: не до банкетов в этой первобытной обстановке.. Запакованы манускрипты «Истории» с материалами и проч. Составляются описи вещей.

1 апреля. Назначенный на 6 апреля отъезд отложен: не доставлен еще из Москвы паспорт, не исполнены сотни формальностей в канцеляриях... Я охотно выехал бы в первый день нашей Пасхи, во исполнение сказанного: «В этот самый день vyšли сыны Израилевы из Египта...» В Берлине, куда собираюсь, черносотенные русские офицеры покушались на Милюкова и убили Набокова...⁷⁴⁹

9 апреля. Наконец-то вчера получил от литовского консула присланный из Москвы заграничный паспорт. После целого года непрерывных волнений, крепостной получил увольнительное свидетельство. Из консульства отправился в отдел Наркоминдела, чтобы условиться об отъезде в заграничном поезде... В ближайшие дни предстоит еще закончить ряд тяжелых формальностей: получить разрешение на вывоз вещей в ряде учреждений, подвергнуть цензуре те рукописи и книги, которые беру с собой, и т. п...

14 апреля (второй день Пасхи). Дни не воспоминаний об исходе из Египта, а самого исхода, со всеми его мучительными заботами. В вечер первого «сейдера» моя тесная обитель была наполнена корзинами с упакованными вещами, а на другой день упаковка продолжалась до прихода агентов таможи и цензуры при Госполитуправлении (бывшая Ч. К.), которые, осмотрев мои вещи, рукописи и книги, опечатали их и тем самым избавили меня от таскания пудов рукописей в цензуру. Это сделано в виде особой милости к уезжающему ученому... Сегодня утром был в здешнем отделе Наркоминдела для получения двух билетов на проезд в Ревель в вагоне комиссариата. Новое препятствие: лицам, едущим за границу не по официальной командировке, нужно особое разрешение для проезда в этом вагоне. С трудом, при посредстве знающего меня служащего, удалось получить разрешение от начальника учреждения. Но это еще не гарантирует получение свободных мест в вагоне. Предстоит через три дня опять ходить туда, на Морскую у арки, чтобы вымолить билеты на два места в вагоне...

Открылась Генуэзская конференция. Принесет ли она спасение развалившейся Европе и провалившейся России? Знаю, что еду на «развалины Европы», как выразился Ллойд-Джордж⁷⁵⁰, но убежден, что мне все-таки поможет европейская культурная ванна после долгих лет заточения. Мне

будет возвращена хотя бы доля той индивидуальной свободы, которая была моей священной догмой с ранней юности...

16 апреля. ...Вчера был М. из Москвы, и выяснилось, что к перевозке библиотеки отсюда в Москву и оттуда в Ковну встречаются большие препятствия: нужны сотни миллионов рублей или десятки тысяч марок, нет гарантии целостности груза в дороге; предстоят переговоры в Ковне, после чего ящики с книгами будут лишь частями отправляться, и т. д. Пока М. обещал взять с собою в Москву только ящик с историческим архивом, а десять ящиков книг останутся пока здесь, у египтян. Уеду неспокойным...

Вчера в мою тесную келью приходили прощаться давно невиданные родные, рассеянные в Петербурге (Эмануилы и др.). Жалкие реликвии дальних лет. Здешним литературным коллегам посылаю прощальные письма...

17 апреля. Длинные сумерки, предвестники любимых белых ночей, которых я уже не увижу в северной столице. В симфонии моей жизни доигрывается что-то, завершающее ее петербургский и вообще российский период. Прощание с городом, куда я прибыл 42 года тому назад, было бы трогательно, если бы не эта атмосфера безумия, откуда я бегу...

20 апреля. На этом месте дневника я должен был бы писать уже в вагоне, на границе покидаемой родины, но опять пишу на старом пепелище, в опустевшем кабинете на Монетной улице. Сегодня в полдень мы покинули свою обитель и отправились на Балтийский вокзал с вещами, целым обозом, чтобы уехать в Ревель с четырехчасовым поездом. Но оказалось, что специальный заграничный вагон Наркоминдела, где для нас были уже куплены места, не прибыл из Москвы, а другого сообщения с заграничными пунктами моего маршрута нет. После мучительных часов ожидания на вокзале, пришлось чемоданы с рукописями и корзины с вещами оставить на частной квартире близ вокзала, а самим вернуться домой, чтобы в муках дожидаться следующего поезда, который неизвестно когда прибудет.

Пережит день поистине страшный. После года приготовлений к переселению и непрерывных тревог, такой эпизод в момент, когда измученный странник уже пустился в путь, может окончательно пришибить. Сижу за пустым столиком в кабинете, душевно и физически разбитый. С берега Ямсиф я опять отброшен в Мицраим: сегодня — последний день Пасхи... День жестоко холодный, с сильным ветром; мы, кажется, все простудились от путешествия на вокзал и обратно.

21 апреля (на закате). Сегодня утром ездил в Наркоминдел и узнал свою судьбу: вагон пойдет только в воскресенье, 23-го. Остается ждать еще два дня. Пошел в Литовское консульство и запасаюсь предписанием консула к властям о свободном пропуске и содействии в пути. Оттуда поехал на Измайловский проспект, на место хранения моих рукописей и вещей, и обеспечил дальнейшее хранение до воскресенья. Вернулся домой сравнительно спокойным, примирившись с 101-й задержкой.

Все усиливается ощущение не исхода из Египта, а бегства из Содомы... Сейчас читал вести из края голода и людоедства, Поволжья: сплошной кошмар. А в Генуе делают большую политику: неожиданный договор России с Германией поразил Антанту и конференция близка к распаду.

22 апреля. Ясный день, бывший кабинет залит солнцем, а былой мягкой грусти разлуки нет в душе. Обитель, превращенная в тюрьму, теряет прелесть былого. Вчера, проезжая по району Измайловского проспекта и Садовой, видел памятные места: бывшее помещение «Восхода» на площади большого театра, ветхий дом у Троицкой церкви — приют

1884 г., 11-ю Роту, где издали виднелся дом, приютивший меня в 1882 г. Но я проехал мимо, удрученный заботами узника, и нежная грусть разлуки потускнела от их ледяющего дыхания...

И все же, если это — моя последняя запись в Петербурге, я хотел бы сердечно проститься с этим «городом холода, мглы и тоски», куда я прибыл почти 42 года назад. Тогда было «много дум в голове, много в сердце огня», теперь и того и другого тоже много, но иного свойства: думы зари сменились думами заката, огонь юности — догорающим огнем старости с отблеском холодной вечности... Закат часто бывает красивее утренней зари. Суждено ли мне иметь такой закат после бурного дня? Оправлюсь ли от ударов последних лет настолько, чтобы на закате довести до конца труд, начатый на заре?..

Нарва (Эстония), в вагоне, 24 апреля 1922 г. (8 час. вечера). Вчера в 4 часа дня выехал с Идою из Петербурга...

Конец второго тома

С. М. ДУБНОВ

КНИГА ЖИЗНИ

Т о м III

(1922—1933)

К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

В настоящем томе описаны одиннадцать лет жизни, которые мне суждено было провести в Германии (1922—1933). То был короткий период веймарской конституции, единственный в истории Германии, когда это государство было свободной демократической республикой. Скептики иронически называли тогдашнюю Германию республикой без республиканцев и демократией без демократов, но это было верно лишь постольку, поскольку республика давала неограниченную свободу антиреспубликанским и антидемократическим элементам, которые воспользовались этим для того, чтобы погубить ее. Я был свидетелем и этой гибели, конца демократической Германии, так как провел семь месяцев 1933 г. под новым режимом диктатуры. Таким образом, то, что здесь описывается, является уже достоянием истории и может занять место среди «материалов для истории моего времени».

Для меня 20-е годы XX в. в Германии были началом завершения большого исторического труда, вполне законченного в следующее десятилетие в Балтике. Однако фатальный в европейской и особенно еврейской истории 1933 г. остается в «Книге жизни» конечной вехой, дальше которой мои воспоминания не идут.

Второй отдел этой книги занят «Размышлениями». Здесь распределены по группам многие из мыслей, бегло записанных на протяжении моего жизненного пути, думы юности и старости, *juventilia et senilia*. В первых трех главах «Размышлений» изложены некоторые элементы философского трактата, который мне не суждено было написать («Интеграция души», «Высший критерий этики», «Эволюционная триада» — в связи с учением историзма, основой моего мирозерцания). В следующих главах сгруппированы отдельные мысли, которые частью могут служить дополнением к указанным элементам моего мирозерцания.

В конце помещена «Автобиблиография» — хронологический список моих книг и статей на разных языках, в оригиналах и переводах, напечатанных от 1881-го до 1939 г. включительно. Здесь материал распределен по группе языков, причем из переводов указаны лишь те, которые мне известны. Эта автобиблиография может служить дополнением к той литературной автобиографии, которая составляет существенную часть «Книги жизни».

*Межа-парк близ Риги
20 февраля 1940*

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ НА РАЗВАЛИНАХ ЕВРОПЫ (1922—1924)

Глава 68

Между Россией и Германией (апрель—август 1922)

Послевоенные пограничные фронты. — Между Петербургом и Ревелем. Ревельский плен моего литературного багажа. — В плену гостеприимной Риги. — Месяц в Ковне: встречи у колыбели новорожденной автономии. — Вопрос дня: Ковна или Берлин, кафедра истории или издание исторического труда? — Партийные распри. — Лето на берегу моря близ Данцига. — Отказ от ковенской кафедры и ориентация на Берлин. Конкуренция берлинских издательств в праве издания «Истории» на четырех языках. — Убийство Ратенау, инфляция и тревоги в Германии. — Призыв в «польский ад», вопли из России, судороги Германии, английский мандат на Палестину и мой призыв к объединению. — Переезд в Берлин. — Выписи из дневников.

Направляясь из замкнутого царства большевизма на Запад, я знал, что еду на «развалины Европы» (по выражению Ллойд-Джорджа на тогдашней Генуэзской конференции⁷⁵¹), но только в пути я почувствовал, что значит послевоенная разруха. Во время войны были фронты и окопы, где царил ужас смерти; теперь были пограничные кордоны, перегородки между новообразованными государствами, эти фронты виз, таможен и осмотров, страшные для мирных путешественников. Было уничтожено самое дорогое право довоенного времени: свобода передвижения, которая была особенно нужна в эти годы переселения народов, после мировой войны, изменившей карту Европы. Во время моих скитаний между Россией и Германией, весной и летом 1922 г., я успел изведать горечь пораженного путника, которая отравляла мне радость исхода из «дома рабства». А в самой Германии меня ждали политические тревоги и все бедствия инфляции. Все это, однако, терпеливо переносилось ввиду широкой и светлой перспективы: возможности завершить в большом научном центре главный труд моей жизни.

Выехав из Петербурга днем, 23 апреля 1922 г., мы только в 10 часов вечера достигли до пограничного с Эстонией городка Ямбурга, где пассажиры и их багаж подвергались строгому осмотру. Пассажиры в переполненном вагоне трепетали: ведь у многих были припрятаны иностранная валюта или драгоценности, которые запрещалось вывозить из России. Многих таскали на вокзал для личного осмотра: раздевали донага и в случае обнаружения запретного имущества арестовывали виновных и отнимали все, что при них имелось. Нас, меня и жену, миновала эта гроза, хотя и у нас была иностранная валюта: небольшое количество германских марок, тщательно зашитых в меховых рукавах пальто жены, — чтобы иметь на первые расходы за границей. На границе я отдал кондуктору кучу обесцененных советских денег, которые тоже нельзя было вывезти за границу. Всю ночь наш поезд кружился в пограничной полосе между русским Ямбургом и эстонской Нарвой. Утром был эстонский таможенный осмотр, и мы должны были двинуться дальше, но почему-то наш вагон был отцеплен от уходящего поезда, и мы остались в Нарве до вечера. Только поздно вечером мы уехали в Ревель.

В Ревель мы прибыли рано утром и решили дожидаться на вокзале поезда, который в четыре часа дня должен был отвезти нас в Ригу. Я отправился в ревельскую Советскую миссию, чтобы взять обратно свой паспорт, забранный сопровождавшим нас из России советским агентом. Тут меня принял молодой чиновник, некий Рабинович, оказавшийся одесситом из когда-то знакомой бедной семьи. Вернувшись на вокзал, я стал терпеливо дожидаться отхода поезда в Ригу, но когда я купил у кассы билет и предъявил квитанцию для дальнейшей отправки багажа, оказалось, что моего багажа нет на вокзале: он был отправлен на таможенную гавань, так как в момент прибытия в Ревель я не заявил о том, что он должен следовать транзитом дальше. Я немедленно поехал в гавань, но там не могли разыскать мои чемоданы среди сотен вагонов и пакгаузов. Между тем поезд в Ригу ушел, и я возвращался на вокзал с горькой мыслью о том, что чемоданы с рукописью моего труда и важнейшего частью моего архива затеряны где-то между грузами огромной гавани Балтийского моря.

Едва вошел я на вокзал, я впал в объятия огромного человека: то был хорошо знакомый петербургский адвокат С. Е. Кальманович, состоявший тогда юрисконсультом при Советской миссии в Ревеле. От случайно встретившего меня на вокзале представителя «Орт» Файнлейба⁷⁵² он узнал о моей задержке в Ревеле и явился вместе с председателем местного общинного совета Айзенштатом⁷⁵³, чтобы упрощить мне остаться до следующего дня в городе. Мы остановились в прекрасной вилле Айзенштата и весь вечер провели в оживленной беседе с хозяевами и пришедшими гостями из местной интеллигенции. Утром я проснулся с тревожной мыслью об участии моего чемодана с рукописями. Вместе с экспедитором Айзенштата, шефа торговой фирмы, я отправился в ревельский порт на поиски моего багажа. Три часа метались мы среди сотен грузовых вагонов, разыскивая тот вагон, куда ретивый таможенный чиновник засунул мои вещи. Наконец нашли, в таможенной камере проделали все формальности и отвезли под конвоем таможенного чиновника на вокзал. До сих пор не могу забыть пережитый страх за участь рукописей: без них не было бы моей десятитомной «Истории».

Днем мы тронулись в дальнейший путь, мечтая о непрерывной езде до Ковны. На вокзале провожавшие нас говорили между собою о необходимости телеграфировать знакомым в Ригу, чтобы меня там встречали: я воспротивился этому, сказав, что я хочу ехать в Ковну без остановок, но ревельцы, по-видимому, сделали свое. Когда мы на следующее утро прибыли в Ригу, столицу новой Латвии, нас встретила на вокзале целая фаланга депутатов: от еврейского департамента Министерства просвещения, от еврейских школ, редакций газет и других учреждений. Нас водворили в комфортабельной квартире сиониста М. Лулова⁷⁵⁴ на Елизаветинской улице. Туда непрерывно приходили посетители для бесед на общественные темы. Из собеседников помню сеймовых депутатов М. Нурока⁷⁵⁵ и Я. Гельмана⁷⁵⁶, сионистского деятеля д-ра Вассермана⁷⁵⁷, фолкиста З. Левитаса⁷⁵⁸, директора еврейского департамента просвещения Я. Ландау⁷⁵⁹ и его помощника В. Полоцкого⁷⁶⁰, моего бывшего слушателя на Курсах востоковедения. Меня водили по культурным учреждениям; я посетил обе гимназии, где в одной преподавание велось на иврите, а в другой на идиш, выслушивал приветствия от учащихся на обоих языках и отвечал на тех же языках. Языковая распря уже тогда волновала еврейское общество Риги, и меня упростили прочесть публичный реферат об этой проблеме. Я читал его на идиш в большом зале Черноголовых, в вечер 30 апреля. Я указывал, что в нашей культуре всегда господствовал дуализм языков, а часто и плюрализм, и что каждый из двух теперь борющихся языков — национальный и народный — исполняет свои функции в школе, литературе и публичной жизни; однако интересы широких масс требуют, чтобы в большинстве школ преподавание велось на живом разговорном языке учащихся, идиш. После лекции состоялся банкет с обычными речами представителей общественных организаций. В своей ответной речи (на русском языке) я говорил

о великом переломе еврейской истории после мировой войны и о задачах культурной автономии в новообразованных государствах, обломках разрушенного русско-еврейского центра.

Таким образом, я неожиданно задержался в Риге почти на целую неделю. В торопливых записях дневников нахожу отражение моего настроения в те шумные дни: «Скорбный путь неожиданно превратился в триумфальное шествие... Беспорывные приемы посетителей, газетных интервьюеров и корреспондентов, разъезды по учреждениям, выслушивание приветствий и ответные речи... Меня глубоко трогает это проявление горячих чувств преданности историку со стороны интеллигенции, радуют эти признаки кипучей жизни после царства смерти, откуда я ушел, но все это крайне утомляет. Меня внезапно застигли в пути, заставили прервать путешествие, ходить на шумные собрания в дорожном костюме и в шубе в теплые весенние дни, ибо остальные вещи запакованы в багаже на вокзале» (записи 28 и 30 апреля). Помню, как я выступал публично в своей домашней шведской куртке, в которой я выехал из Петербурга, и как меня в этом виде, обросшего бородою, снимали в рижских фотографиях.

2 мая в два часа дня я приехал с женою в Ковну. Еще с утра, по дороге, встречали нас делегации от еврейских обществ, стоявшие на перронах вокзалов в Шавлях, Радзивилицах, Кейданах. На ковненском вокзале ждали нас министр по еврейским делам М. Соловейчик, президент Еврейского Национального совета С. Розенбаум, мой недавний петербургский сосед Ю. Д. Бруцук, делегации от студентов и от разных обществ. На площади перед вокзалом выстроились еврейские бойскауты и провожали увозивший нас в гостиницу автомобиль звуками «Гатиква». Отвезли нас в единственный тогда приличный отель Ковны, «Метрополь», где останавливались дипломаты и знатные иностранцы. Не считаясь с моей усталостью, друзья в тот же вечер чествовали меня банкетом. Многолюдно и тесно было в ветхом зале библиотеки Мапу, где состоялось это чествование, но горячие речи приветствовавших, звавших меня, идеолога автономизма, поселиться в Литве и строить там признанную конституцией широкую еврейскую автономию. В этот момент мне представился образ многострадальной еврейской Литвы, каким он стоял предо мною весной 1915 г., в самый страшный момент мировой войны, когда мы в наших петербургских совещаниях проводили ряд бессонных ночей в обсуждении вопроса о помощи десяткам тысяч изгнанников из Ковны и ее округа. Теперь эти изгнанники вернулись и зовут меня строить вместе с ними новую жизнь. Вся жалость и любовь к страдающим братьям вылились в моей ответной речи, где я сказал, что чувствую себя литовским евреем по духу и с радостью готов служить своей обновленной родине.

Вслед за тем пошел ряд дней, которые в моей памяти запечатлелись как светлые дни возрождения, озаренные тем радостным чувством, какое испытывает выздоровевший от долгой опасной болезни. Оторванный в течение нескольких лет от всего мира в «мертвом доме» советской России, я теперь возобновил связи с этим миром. В канцелярии еврейского министерства в Ковне меня ждали кучи писем от разбросанных по всему свету друзей и родных, которые прослышали о моем освобождении. Соловейчик пересылал мне ежедневно получавшиеся по адресу министерства письма и телеграммы, где меня поздравляли с избавлением и возможностью осуществления моих литературных планов в свободной Европе. Среди полученных для меня пакетов я впервые нашел сделанный покойным Фридендером английский перевод моей монографии «История евреев в Польше и России» (извлечение из моего десятиугольного труда), изданный в Америке в трех томах в 1916—1920 гг. В предисловии издателей к последнему тому меня потрясли слова, что этот том был подготовлен Фридендером к печати накануне его роковой поездки в Украину для раздачи помощи от комитета Джойнта. В пояснительных примечаниях и подробнейшем указателе я видел любящую руку друга, некролог которого

я с таким волнением писал накануне моего исхода из России. Тут же, в куче корреспонденции из Германии, я находил ряд писем от расплывшихся в Берлине издательств с предложениями предоставить им право на издание моей полной десяти-томной «Истории еврейского народа» на русском, немецком и обоих еврейских языках.

Тут встал предо мною вопрос о том, где мне жить: в Ковне или в Берлине? С Ковной меня связывала официально утвержденная кафедра еврейской истории в литовском университете, для которой я был приглашен еще в бытность в России. Берлин же был для меня единственным пунктом, где я мог не только издавать свой главный труд на разных языках, но и усовершенствовать текст его последней редакции, пользуясь богатыми библиотеками германской столицы. На первых порах и Соловейчик, и литовский министр просвещения Йодакис торопили меня открытием курса лекций, но из разговоров с деканом социологического факультета, впоследствии печально прославившимся министром Вольдемарасом⁷⁶¹, я заключил, что вокруг еврейской кафедры ведется глухая борьба в правительственных кругах. Сам Вольдемарас, который при первой нашей беседе произвел на меня дурное впечатление, не скрыл от меня своей вражды к «вторгшимся» в факультет еврейским дисциплинам. Тогда я еще не знал, что в правящих кругах уже зародилась та тенденция к сокращению еврейской общинной и культурной автономии, которая позже проявилась в упразднении еврейского министерства и Национального совета. Соловейчик не считал нужным открыть мне этот секрет министерских канцелярий. Мне только было сообщено, что при обсуждении устава нового факультета и распределении работ между преподавателями проверялись права всех номинированных профессоров, в том числе и мои, на занятие кафедры. Ввиду этих колебаний я решил не начинать чтение лекций и отложить их до осени, начала нового семестра. Предполагалось устроить такой компромисс: провожу один семестр в Ковне и другой в Берлине. Скоро, однако, выяснилось, что в тогдашней Ковне трудно найти даже порядочную квартиру и что в этой провинциальной столице будут мешать моей научной работе местные политиканы.

Действительно, с первого дня моего приезда меня пытались втянуть в мелкие партийные распри. Шла борьба между гебраистами и идишистами, между сионистской газетой «Штимме» и фолксистской «Найс», где работали Н. Штиф⁷⁶², З. Калманович и неистовый Чернихов⁷⁶³, вечный оппозиционер, часто менявший свои принципы, по-видимому из оппозиции к самому себе. Мне приходилось унимать ярость враждующих партий, и я опубликовал статью под заглавием «Не ссорьтесь в пути!» (на идиш с библейским заголовком: «Al tirgsu baderech»). При моем содействии было учреждено в Ковне Еврейское Историко-этнографическое общество, которое открылось речами Соловейчика, Брудска и моей в здании городского театра. Но вся эта локальная работа не могла удовлетворить меня в то время, когда мне предстояло завершение задачи жизни, возможное только в таком большом академическом центре, как Берлин. И я после долгих колебаний решил уехать на летний отдых и затем двинуться в столицу тогдашней свободной демократической Германии, хотя бы для временного пребывания, ради устройства моих изданий.

После месячного пребывания в Ковне, мы 1 июня поехали на дачу близ Данцига, где устроилась на лето семья нашей варшавской дочери Софии Эрлих. Нужно было проехать через восточную Германию и «данцигский коридор», вокруг которого кипела немецко-польская злоба. Тут я снова наглядно убедился, — как записано в моем дневнике, — что и по окончании мировой войны сохранились военные фронты в форме таможенных границ, где запрещенным к ввозу и вывозу оказывается не только багаж, но и сам пассажир. Злоключения начались с Эйдкунена. Багаж остался на литовской границе, в Вирбалене (Вержболово), и в ожидании его пришлось пропустить первый поезд. После тягостного досмотра на германской границе, мы двинулись в дальнейший путь и остановились на ночлег в лучшей гос-

тинице Кенигсберга. На следующее утро я отправился к польскому консулу за визой для проезда через «польский коридор». Из толпы просителей, ожидавших на лестнице, меня извлекла визитная карточка, посланная консулу. Последний (или его секретарь) принял меня очень любезно, объяснил, что слышал о моем исходе из России, и под видом беседы устроил мне целое политическое интервью. 3—4 часа ожидания — и польская виза на проезд через «данцигский коридор» дана. Едем из Кенигсберга в Данциг. За Мариенбургом нам, всем пассажирам, велят выгашить вещи из вагонов и идти на досмотр в какой-то сарай. Это была freistaat-данцигская ревизия... Проезжаем еще полчаса: стоп! Польская ревизия в Диршау. Свирепые ревизоры забирают паспорта и мне заявляют, что по характеру польской визы я должен высадиться, ибо не имею права ехать этим поездом. Мой резкий ответ с такой же отповедью «чина» — и дело улаживается. Попадаем наконец в 10 часов вечера в Данциг, где нас на вокзале встречает Генрих (зять).

Мы поселились в прекрасной вилле на берегу моря в Брезене, близ Данцига. С нами жила дочь с семьей, с которыми мы не виделись почти четыре года, со времени их бегства из голодного большевистского Петербурга. Мои два внука подросли, и далеким детским сном казались им петербургские годы. Хорош был бы здесь летний отдых, на берегу Балтийского моря, если б не заботы о будущем нашем устройстве. Нужно было окончательно решить вопрос: Ковна или Берлин? От Соловейчика из Ковны получались письма о борьбе против еврейской кафедры в тамошней профессорской коллегии. «Чтобы уничтожить кафедру еврейской истории, поднимают вопрос: можно ли утвердить меня профессором на основании только моих научных трудов, без ученой степени, то есть бумажки-диплома?» (запись 17 июня). В газетах появилось известие телеграфного агентства, что факультет в Ковне не утвердил меня по кафедре еврейской истории. «Сейчас я послал письмо Соловейчику с заявлением на имя литовского министра просвещения, что я отказываюсь от кафедры даже в случае, если газетное известие не подтвердится, ибо не могу работать в ученой коллегии, где перевес клонится в сторону бумажки-диплома против десятков научных трудов. Соловейчику написал решительно, что переселяюсь в Берлин, где издания без меня не могут выходить. Спасибо ковенским профессорам: они меня вывели из трудного положения... Отныне на очереди переселение в Берлин...» (запись 21 июня). Соловейчик в своем ответе сообщил, что газетное известие неверно и что вопрос о кафедре еще не разрешен окончательно, но он подчиняется моему категорическому требованию и подает мое заявление министру просвещения. «Итак, — писал я 8 июля, — finis Ковны. Я свободен от обещания, могу поселиться в Берлине и отдаться главному труду»^{*}.

В этот момент кончились и мои колебания между предложениями различных берлинских издателей, домогавшихся права издания моей десятилетней «Истории» на четырех языках. Что-то странное происходило тогда в Берлине: в момент инфляции германской марки началась инфляция книжного рынка; появились десятки издательских фирм, преимущественно среди русско-еврейской эмиграции, которые стали издавать сочинения русских классиков в оригинале и произведения еврейских писателей на русском и других языках. Тогда еще рассчитывали на возможность сбыта этих книг в России, где большевики почти убили книгопечатание, — что впоследствии, однако, не оправдалось. Надеялись также на усиленный аппетит чи-

^{*} Что в отказе утвердить меня руководителем кафедры еврейской истории сыграли роль реакционеры из группы Вольдемараса, недовольные самим учреждением этой кафедры, свидетельствует такое компетентное лицо, как ректор литовского университета либеральный М. Биржишка. Через несколько лет после этого инцидента он в беседе с журналистами высказал сожаление, что «из-за реакционеров не осуществлялся план создания иудаистического факультета и благодаря этому мы лишились чести иметь в числе преподавателей нашего университета такого человека, как проф. С. Дубнов, который был назначен руководителем этого факультета» (цитирую по берлинской «Jüdische Rundschau» от 2.XI.1926).

тающей публики после голодных лет войны и разрухи. Несколько издательств занимались специально изданием книг еврейского содержания. При большом немецком издательстве Ульштейна образовался еврейский отдел, основанный по инициативе моего родственника Саула Гурвича, под именем «Клал-ферлаг». Эмигрантское книгоиздательство «Грани» стало издавать наряду с русскими книгами и еврейские, основан особый отдел для печатания книг на еврейском языке под руководством И. М. Чериковера⁷⁶⁴. Одесское издательство «Мория», слившееся с новым предприятием «Двир», переместилось в Берлин и под руководством эмигрировавших туда Бялика и Равницкого развило широкую деятельность. Наконец, давно существовавший в Берлине «Jüdischer Verlag», уже издавший в немецком переводе два тома моей «Новейшей истории», претендовал теперь на издание других томов. Его право было бесспорно, и я еще из Брезена послал ему манускрипт русского оригинала третьего тома для перевода. На остальные издания, особенно на оба еврейских, претендовал «Клал-ферлаг», ссылаясь на мои давние переговоры с Гурвичем; но последний в то лето лежал в клинике тяжело больной и умер еще до моего приезда в Берлин; вдобавок мне сообщили, то это предприятие непрочно, что впоследствии и подтвердилось. Против передачи издания на иврит другому издательству протестовал также Блялик от имени «Двира», так как наши давние переговоры еще в России давали ему право приоритета, и я должен был с этим согласиться. В это время ко мне на дачу приезжал Чериковер, как уполномоченный издательства «Грани» и еврейского отдела при нем («Литераришер-ферлаг»), и убедил меня отдать им право на русское и еврейское издание (идиш). Таким образом я, не имевший в России ни одного издателя даже для оригинальных моих трудов, получил сразу четырех издателей для оригинала и переводов. Однако не все издательства оказались прочными: при наступившем вскоре кризисе книжного дела две фирмы обанкротились и повлекли за собою перерыв в издании моего много-томного труда, как будет рассказано дальше.

Предстояла огромная работа редактирования русского оригинала и трех переводов. Нужно было спешить в Берлин и создать там подходящую обстановку для работы. А между тем из Германии приходили печальные вести. В конце июня был убит в Берлине министр иностранных дел Ратенау⁷⁶⁵ — зловещий акт реакции против свободной демократической республики. Инфляция усилилась, германская марка катастрофически падала, жилищная нужда в Берлине привела к *Wohnungszwang*, тягостной регламентации права на наем квартиры; дороговизна росла с каждым днем. А тут еще тревоги, связанные со страной исхода: моя специальная библиотека (юдаика) все еще оставалась в Петербурге и через Литовское посольство делались усилия вывезти ее, между тем как газетные интервью со мною о советской России могли испортить весь результат наших ходатайств. Из России приходили по-прежнему печальные вести (продолжение голода, ужасы Чека, процесс эсеров); в Польше свирепствовала акция диких шовинистов и юдофобов из партии народных демократов; в странах Западной Европы не наступила еще стабилизация потрясенного войною общественного порядка. Я лишь изредка откликался на тогдашние вопросы дня. Только по случаю утверждения за Англией мандата на Палестину я высказался в сионистском «Рассвете», издававшемся в Берлине, в том смысле, что теперь, когда утопия сионизма вылилась в скромную реальность, а идея голусной автономии принимает также конкретные формы в ряде стран, наступила пора объединения национального еврейства для общей работы.

О некоторых моих впечатлениях во время трехмесячного пребывания близ Данцига пусть расскажут следующие отрывки из дневников.

10 июня 1922. Отдыхаю, читаю, изучаю Запад, от которого столько лет был оторван. Вчерашняя поездка в данцигский пригород Лангфур

привела меня в восторг: вот мой идеальный город-сад, но поселиться в нем мне не дано...

8 июля. Заботы о переселении в Берлин, о перевозке туда всего нужного для работы из России, Ковны и Данцига. Сложные, волнующие мысли при нынешней разрухе, кордонах и визах. Смущает катастрофическое положение Германии: политическая смута после убийства Ратенау, беспрецедентное падение марки и ежедневно растущая дороговизна. А я иду на вулкан и должен идти, ибо там есть печатный станок, а я должен исполнить обет жизни... Тронула меня теплая статья давнего львовского сотрудника по «Старине», М. Балабана, недавно посетившего меня здесь. Статья в варшавской газете (польской) написана по поводу этого свидания.

15 июля. Был Прилуцкий⁷⁶⁶ (депутат польского сейма), звал в Варшаву, чтобы окунуться в тамошнюю общественность. Отказался. Избави меня Бог от польского ада! Я свое сделал, отбыл стаж в русском аду...

23 июля. Читаю много газет и дышу тревожною атмосферой Европы, еще не залечившей своих ран, не отстроившей разрушенных гнезд. Гаагская конференция кончилась ничем, как и Генуэзская: с большевиками нельзя сговориться, и Россия обречена на дальнейшее вымирание. В Москве близится к концу процесс партии с.р., который, вероятно, кончится смертными приговорами, несмотря на протесты всего мира. Ленин безнадежно болен, но еще имеются в резерве Троцкие, Бухарины и *dii minores*⁷⁶⁷. В Польше черная реакция и гнуснейшая юдофобия; вижу здесь кругом, среди дачников из Варшавы, этих мучеников возрождающегося в Польше царского режима бесправия и погромов... А Германия корчится в экономических судорогах, которые могут привести к политическим потрясениям. И в этой стране мне суждено строить свое гнездо, последнее в жизни!

27 июля. На днях узнал о смерти в Палестине Б. Гольдберга, видного сионистского деятеля, некогда моего виленского соседа. Всего недели три назад от него получилось письмо — приветствие из Яффы. Вспомнились 1903—1906 гг. в Вильне и 1917—1919-е в Петербурге. В последнем письме покойный напомнил о нашем прощании в зимний день 1919 г. в Петербурге, в холодной квартире-могиле... Не дожид, бедный, до осуществления мечты — утверждения палестинского мандата за Англией.

Этот состоявшийся на днях акт, несомненно значительный в истории еврейства, теряет, однако, много в своем значении после тех урезок в определении термина «national home» былой Бальфуровской декларации, которые были произведены под давлением арабских угроз и протестов. Получается *in spe*⁷⁶⁸ тот малый национальный центр, который мы предвидели с возникновения сионизма, да и то несвободный от тревог при враждебном арабском окружении. Этим никогда не будет разрешена не только общая проблема голуса, но даже проблема эмиграции, которой только небольшая часть пойдет в Палестину, хотя было бы крайне важно, чтобы туда пошло больше евреев, для создания хотя бы значительного национального меньшинства рядом с арабским большинством.

2 августа. На днях телеграмма из Ковны, что книги мои из России прибыли*. Значит, специальная часть моей библиотеки спасена. Но остается еще открытым вопрос о перевозке книг, рукописей и других вещей

* Вывозом этой библиотеки я обязан стараниям Бенциона Каца⁷⁶⁹, ездившего из Берлина в Россию с поручением спасти библиотеку барона Гинцбурга, что не удалось.

из Ковны в Берлин, где не легко будет квартиру найти при страшном наплыве туда нашей интеллигентской эмиграции...

Дожили мы до того, что упразднено и на Западе элементарное право передвижения. Сегодня письмо из Ковны: для получения германской визы на временный проезд в Берлин нужен мой личный проезд в Ковну, хотя туда уже послан мой паспорт и там ходатайствуют за меня. Ровно год назад я терзался в Петербурге в ожидании визы от большевиков на право эмиграции, вел лихорадочную переписку с Москвой и Ковной, а теперь приходится снова метаться между Ковной и Берлином и вести бесконечную переписку о визах, вывозе рукописей и книг и т. п.

Среди многочисленных посетителей попадаются интересные. Третьего дня был Шолом Аш⁷⁷⁰, сегодня — Опатошу⁷⁷¹, новая звезда нашей беллетристики, роман которого «In poilsche welder» теперь читаю. Оба приехали из Америки...

11 августа. Ежедневно сижу на окраине парка, на берегу моря, люблю красотой природы, а былого экстаза нет. Нет уединения, нет той тишины внешней и внутренней, при которой возможна молитвенная беседа души... В советской России ужасы голода и террора. Процесс эсеров в Москве кончился: 14 лидеров (Гоц⁷⁷² и др.) осуждены на смертную казнь, но казнь пока отсрочена и приговоренные остаются заложниками Чехи, могущей ежеминутно расстрелять их...

Смерть в рядах литературных деятелей. На днях умер в Берлине Д. Фришман⁷⁷³. Сейчас прочел в берлинских газетах о смерти С. Гурвича. С последним связаны у меня самые ранние воспоминания... Думал увидеть его в Берлине скоро, осенью, и вспомнить октябрь 1877 г. — а вдруг смерть!

20 августа. Переписка о найме квартиры в Берлине... А сейчас вернулся из Оливы, где возвратил визит Гиршгорну, депутату-фолкисту варшавского сейма, и узнал от приезжего, что в Берлине паника: опасаются коммунистического или монархического переворота в связи с репарационным вопросом... Выжду несколько дней, пока выяснится политическое положение. А в промежутке попытаюсь написать кое-что по вопросу о союзе сионистов с фолкистами, с целью образования твердого центра между крайними партиями справа и слева. Повод кстати — почти одновременное утверждение английского мандата в Палестине и конституционное признание еврейской автономии в Литве... Повторяю попытку 1901 г., когда призывал к созданию объединенной национальной партии.

26 августа. Писал для берлинского «Рассвета»⁷⁷⁴ статью «Национальное объединение», но почувствовал, как буднично ее содержание сейчас, при судорогах Европы... Сегодня одержал победу на всех «фронтах»: получил в Данциге и германскую визу на Берлин, и польскую визу на проезд через «польский коридор». В Берлине уже нашлась для нас скромная квартира в Галензее. Рисуетя тихий угол в шумном Вавилоне, центре нашей интеллигентской эмиграции, где-нибудь на окраине. Устал от шума нынешнего лета здесь, в дачных колониях Варшавы, Вильны и Литвы, образовавшихся вокруг Данцига.

В газетах напечатана телеграмма из Нью-Йорка, что меня приглашают туда на кафедру еврейской истории в раввинской семинарии*. Вероятно,

* Официальное приглашение от Стифена Вайза⁷⁷⁵, основателя свободного Теологического института в Нью-Йорке, было послано, но не дошло до меня во время моих скитаний. Позже, при встрече с Вайзом в Швейцарии в 1927 г., он меня упрекнул в том, что я не ответил на его письмо. Я ему открыл, что письмо не дошло до меня, но что я все равно не мог бы принять приглашение.

скоро получу приглашение — и, конечно, откажусь, как ни приятно теперь жить в спокойной и богатой стране долларов, далеко от европейского вулкана. Я теперь прикован к Берлину, а там паника растет...

Глава 69

В Берлине. Издательская горячка и бедствия инфляции (1922—1923)

Приезд в Берлин и тихий приют в «гартенгауз» Галензее. Первые впечатления в эмигрантском кругу. Тени прошлого. — Редактирование «Новейшей истории еврейского народа» на четырех языках. Мои переводчики. — Кипучая работа на холодной чужбине. Инфляция, квартирная нужда и бешеные немецкие хозяйки. Квартира в Груневальде. Право жительства и право на жилище. — Жизнь вне города, в Лихтенраде. — Окончание русского издания и немецкого перевода «Новейшей истории». Отношение ассимиляторов к моей концепции истории (Ригер и Штерн). — Неудавшаяся встреча с Ахад-Гаамом. Последняя встреча с Бен-Ами. — Осень 1923 г.: политический и экономический хаос, путч Гитлера в Мюнхене. — Банкротство моих издателей и перерыв в издании русского оригинала «Истории». Печальные перспективы. — Работа для «спасения души»: редактирование «Древней истории» и «Литовского Пиккоса». — «Третья гайдамачина». — Бегство из сельской идиллии в город. — Выписи из дневников.

Было ясное, прохладное утро 6 сентября 1922 г., когда данцигский поезд причал нас на шарлоттенбургский вокзал в Берлине. Ряд перронов для дальнего и местного сообщения открылся передо мною, ряд туннелей и лестниц с катящимися вверх и вниз людскими волнами, а я тут один посреди бурного людского потока, ищущий тихого приюта для работы в огромном космополисе. Немецкий носильщик, взявший наш багаж и нагрузивший его на автомобиль, с недовольным видом принял от меня за труд сотни германских марок, которые вследствие инфляции могли на другой день потерять половину своей стоимости. Через четверть часа автомобиль доставил нас в соседний квартал западного Берлина, Галензее, где заранее была приготовлена для нас квартирка. Секретарь еврейской общины молодой историк Иосиф Майзель⁷⁷⁶ и его жена (дочь покойного историка Рабиновича-Шефера) позаботились о найме для нас двух комнат в квартире одной еврейской семьи в партере дома, где они сами жили. Мы поселились на тихой Гальберштетерштрассе, недалеко от главной артерии западного Берлина, Курфирстендамм. Наши комнаты в тихичном «гартенгауз» (надворный флигель) выходили окнами на заросший кустами двор, который скрывал нас от человеческих взоров, но также от лучей солнца, лишь изредка проникавших в нашу обитель. Ввиду квартирной нужды в тогдашнем Берлине, нужно было радоваться и этому приюту.

О своих впечатлениях в эти первые дни берлинской жизни я записал 14 сентября (1922): «Нелегко разбираться в сложных переживаниях этих дней, где чередуются одиночество и многолюдство, ощущение чужбины и отклики родного. Приходят давно невиданные спутники разных полос жизни. Были Бялик с компанией из одесской эпохи, Ю. Бруцкус, д-р Вишницер и М. Крейнин из петербургской, Б. Кац из виленской, Соловейчик и Эльяшева из недавней литовской эпопеи и еще случайные люди. Часто трогательные встречи изгнанников из разных концов разрушенной России. Знаю, что стоит мне появиться в каком-нибудь собрании, чтобы встретиться еще с десятками таких реликвий... Беседы большей частью деловые — о предстоящих изданиях. Интимные же беседы — грустные, эмигрантские...

Колесо работы уже захватило меня. Просматриваю (в рукописи) немецкий перевод последнего тома „Истории“ и восстанавливаю там немецкие цитаты перед

сдачей в типографию, что заставляет рыться в источниках и добывать их из библиотек. Исправляю и русский текст для печати и переводов. Так проходят часы и дни в тишине нашего „гартенгауз“. А в промежутки тишина нарушается появлением живых теней прошлого. Были Шмария Левин, Равничкий с Бяликом, еще одеситы, ковенцы. Сам был на заседании „огромной комиссии“, видел архив украинского ада 1918—1920 гг., встретил там Лацкого⁷⁷⁷ и других. Уже начал отказываться от заседаний и выступлений в собраниях, куда меня приглашают, и провожу принцип изоляции для научной работы, поистине огромной». (Вскоре я опубликовал письмо в «Рассвете» и «Jüdische Rundschau», что я вынужден отклонить все такие приглашения в силу принципа *respirare finem*⁷⁷⁸ при ликвидации моего исторического труда.)

Надо всем доминировало сознание, что я наконец дождался возможности осуществить свой завет еще в большей степени, чем раньше мечтал. Труд моей жизни, обновленная «Всемирная история еврейского народа», начинает печататься одновременно на четырех языках под моим непосредственным наблюдением. Было решено начинать печатание не с первого тома, древней истории, а с последних трех томов, заключающих в себе всю новейшую историю, от французской революции 1789 г. до мировой войны 1914 г. Эти три тома должны были составить особый цикл под заглавием «Новейшая история еврейского народа». Из этого цикла уже раньше были напечатаны две части в русском оригинале (Петербург, 1914) и в немецком переводе А. Элиасберга (Берлин, 1920), а на обоих еврейских языках имелись начатые переводы в рукописях. Третий том переводился д-ром Элиасом Гурвичем (сын недавно умершего Саула) и начал печататься в издании «Jüdischer Verlag» в момент моего приезда в Берлин. Перевод на идиш первых двух частей был сделан Н. Штифом еще в Киеве, в годы гражданской войны, и теперь привезен в Берлин переводчиком. Большой знаток еврейского народного языка и исследователь его истории, Штиф, однако, позволяя себе в переводе разные неологизмы и синтаксические вольности; но я не желал, чтобы на переводе моего труда делались эксперименты в развитии литературного идиш, и поэтому отбрасывал слишком смелые новшества при авторской редакции, что приводило к конфликтам с горячим Штифом, влюбленным в свой стиль. Немало работы было у меня и при редактировании перевода на древнееврейский язык. Еще в годы войны начал переводить мою «Новейшую историю» старый гебраист И. Тривуш, переводивший и романы А. Толстого, и мне приходилось много исправлять в его архаическом стиле. Теперь же перевод был поручен моему бывшему петербургскому слушателю Б. Крупнику, жившему в Берлине, очень хорошему гебраисту, но так как в этой области нет границ усвершенствованию передачи, то мы редактировали его перевод вместе, выискивая все лучшие формы из богатого арсенала тысячелетней литературы.

Между тем как готовились переводы, я пересматривал и исправлял печатающийся русский оригинал «Новейшей истории», ибо в Берлине оказались дополнительные источники, которые были мне недоступны в Петербурге. В деле снабжения книгами большие услуги оказывал мне мой сосед, д-р Майзель, который доставал их для меня из библиотеки берлинской еврейской общины и из прусской государственной библиотеки, величайшего книгохранилища в Европе. В этой кипучей работе пересмотра оригинала и переводов трех томов прошли конец 1922-го и большая часть 1923 г. Мой письменный стол был завален рукописями и корректурами четырех изданий. Непрерывная работа в этой лаборатории давала мне огромное нравственное удовлетворение, но внешняя обстановка часто портила настроение. Из тесного и полутемного партера в доме на Гальберштетерштрассе пришлось к началу зимы переехать в лучшее помещение в близком районе Груневальда: две большие светлые комнаты в комфортабельной квартире на Шарлоттенбруннерштрассе оказались бы мне домашним раем, если бы там не сторожил злой цербер в образе немецкой квартирной хозяйки. В то время чудовищной инфляции и недостатка квар-

тир эта порода «домашних животных» сделалась бичом для всех эмигрантов, которые не могли иметь самостоятельных квартир. Большею частью вдовы, жившие на наследственную банковскую ренту, которая теперь быстро таяла из-за инфляции, эти хозяйки обезумели от горя. Вынужденные сдавать часть своих квартир жильцам из переполонивших Берлин иностранцев, они требовали огромной наемной платы, опасаясь обесценения всех этих десятков тысяч марок; многие сдавали комнаты только при условии платежа иностранной твердой валютой, преимущественно долларами. Часто хозяйки-фурии отравляли жизнь своим квартирантам разными придирками. При встречах мы, эмигранты, обыкновенно осведомляли друг друга о качествах наших хозяек и о способах борьбы с этой породой хищников. Наша хозяйка на новой квартире, некая вдова Мейер, устроила нам сюрприз в самый момент нашего переезда на ее квартиру, объявив, что она раздумала и не хочет сдавать комнаты, которые за неделю перед тем сдала нам под расписку в получении задатка. Наш резкий протест заставил ее одуматься, но потом в течение четырех месяцев нашего пребывания в ее квартире она устраивала всевозможные пакости, хотя с каждым месяцем мы ей удваивали и утраивали квартирную плату.

Для получения права на наем комнат приходилось ходатайствовать в жилищных комитетах городского управления, причем центральный комитет отсылал просителей к районным, а районные в центральный. Нелегко было также добиться продления права жительства в Берлине. Вследствие наплыва огромной массы эмигрантов и иностранцев вообще, в том числе спекулянтов на инфляцию, полицией-президиум давал новоприбывшим право жительства только на короткие сроки. За меня ходатайствовал профессор-ориенталист Собернгейм⁷⁹, занимавший высокий пост в министерстве иностранных дел, и даже после этого мне выдали разрешение на жительство только в течение двух месяцев, так что впоследствии приходилось каждый раз просить о продлении срока. Позже отсрочивали на полгода и на год, пока не дали в 1926 г. разрешения на бессрочное жительство (*bis auf Weiteres*).

С января 1923 г. политическая тревога в Германии усилилась. Вследствие отказа немцев от платежа репараций, началась французская оккупация в бассейне Рура. Обезоруженная Германия металась в муках бессилия. Она могла только оказывать пассивное сопротивление, саботируя работу оккупантов. Атмосфера ненависти и злобы отравляла жизнь в Берлине. В марте я переехал на жительство в окрестности Берлина, в селение Лихтенраде. Мы поселились в двух комнатах небольшой виллы, у немецких хозяек, и мне казалось, что тут моя работа пойдет спокойнее и успешнее. Я действительно много успевал, двигая к печатному станку сразу четыре издания большого труда, но спокойствия не было. Подводя итоги годовщине моего исхода из России (23 апреля), я писал: «Ровно год тому назад в этот день я покинул Петербург и Россию после долгих мук заточения в царстве нового деспотизма. Я знал, что еду на „развалины Европы“, но момент исхода из тюрьмы был светел и сулил многое впереди. Прошел год. Я свободен, я в Берлине, у печатного станка, ежедневно с разных сторон шлют корректуры, я погружен в работу ликвидации жизненного труда. И что же, счастлив я? Нет. Нельзя быть спокойным, дыша атмосферой тревоги. „Развалины Европы“ на моих глазах рассыпаются все больше, погребая под собою идеалы и мечты недавнего времени. В Литву и затем в Германию я приехал к моменту, когда еще не погасли последние огоньки надежды. С тех пор там потускнел светлый призрак автономии, а тут гаснет надежда на европейский мир. Облетели цветы, догорели огни... Призрак покоя манил весной 1922 г., он растаял весной 1923-го».

В этом «холоде чужбины» часто грели встречи с другими пришельцами из покинутой родины. Некоторые из них давно тут укоренились, еще до войны. Таковы были Шмария Левин и Виктор Якобсон⁸⁰. Левин, завоевавший Америку для сионизма в своих агитаторских поездках, ничего не хотел знать вне Сиона и обрекал голос на полное вырождение. Мне казалось, что он больше хотел верить в спаси-

тельность сионизма, чем действительно верил, ибо он обыкновенно был пессимистически настроен и только в моменты горячих споров или проповедей воодушевлялся, точнее воодушевлял самого себя. Более уравновешенным был Якобсон, типичный российский интеллигент, бывший корреспондент либеральных «Русских ведомостей», вовлеченный в ряды германских сионистов как хороший политический работник, особенно по дипломатической части (он знал европейские языки). Когда я с ним встретился, он состоял в правлении «Jüdischer Verlag», которое предприняло немецкое издание моего большого исторического труда и намеревалось также издать перевод моих «Писем о старом и новом еврействе». За последний перевод взялся было сам В. Якобсон, но ему не удалось осуществить это намерение. Довольно часто я встречался с Якобсоном, бывал у него, или он приезжал ко мне за город, и мы всегда находили общий язык в беседах на общие и еврейские темы. Он был женат (кажется, вторым браком) на обратившейся в иудейство добродушной немке и имел двух прелестных близнецов-девочек, обучавшихся древнееврейскому языку. Вскоре он ушел из издательства, оставив ведение дела молодому и предприимчивому д-ру С. Каценельсону, и занял место дипломатического представителя сионистской организации сначала в Париже, а потом в Женеве, при Лиге Наций. Я с грустью узнал о его неожиданной кончине в конце 1934 г.

В это время я стал часто встречаться с нашим экономистом Яковом Лещинским⁷⁸¹, который тоже поселился в Берлине, в качестве постоянного сотрудника нью-йоркского еврейского «Форвертса». Он ко мне явился с предложением от редактора этой газеты, Кагана, написать несколько статей для литературного отдела. Не имея охоты работать в ежедневной прессе, я, однако, на сей раз принял предложение и записал этот «грех» в дневнике (31 января 1923): «Впервые в жизни соблазнился гонораром: минимум 25 долларов за статью, что при теперешнем курсе составит миллион германских марок. Это меня, может быть, спасет от квартирного террора: куплю часть виллы или буду платить миллионную контрибуцию квартирным хозяевам, чтобы унять их ярость, и тогда моя большая научная работа пойдет спокойно, поскольку это возможно на вулкане». Я написал на идиш статью о еврейских погромах в Эльзасе во время французских революций 1789 и 1848 гг. Она была вскоре напечатана в двух номерах «Форвертса», под сочиненным редакцией кричащим заголовком: «Во время французской революции тоже были еврейские погромы!» В нашей беседе Лещинский напомнил мне, что он когда-то был в Одессе среди тех самоучек, которым я через Общество просвещения доставлял бесплатных учителей или карточки на бесплатные обеды. В Берлине Лещинский сделался одним из наиболее частых моих посетителей и вместе с И. Чериковером, в котором я давно обнаружил писательский талант, вошел в наш тесный берлинский кружок, о чем дальше.

Однажды ко мне явился гость из давно забытой эпохи: старый революционер-народоволец Лев Дейч⁷⁸², пришедший вместе с С. Е. Кальмановичем. Длинный зимний вечер провели мы в беседе о революционном движении 70-х годов и о роли в нем евреев. При следующей нашей встрече в отеле Дейч читал мне главы из своей книги «Евреи в революции». Сидела при этом и его жена, вспоминали давно прошедшее, и странное казалось это соединение дальних эпох: зари русской революции с ее кровавым закатом в большевистском перевороте. Скоро Дейч вернулся в советскую Россию, и я о нем больше не слышал.

Печальным эпизодом в берлинской эмигрантской жизни было появление еврейских реакционеров под главенством бывшего демократа-радикала И. Бикермана. Вместе с некоторыми кающимися демократами он основал «Отечественный союз русских евреев» и издал сборник статей⁷⁸³, где доказывал, что вожди русского еврейства не исполнили своего патриотического долга, не соединившись с белыми против большевиков, то есть с теми белогвардейцами, которые во время гражданской войны оказались яркими черносотенцами и погромщиками. Сам Бикерман, по-

видимому, уже сблизился с вождями правой русской эмиграции в Берлине и Париже. Это возбудило пламенные споры в берлинской колонии, в собраниях, где Бикерман выступал для пропаганды своей новой веры. Я стоял вдали от этой свалки. Попытка объединения евреев с их бывшими (и, вероятно, будущими) погромщиками потерпела, конечно, полное фиаско. «Отечественный союз» скоро исчез с горизонта.

Весною 1923 г. вышел из печати немецкий перевод третьего тома «Новейшей истории», а летом появился и русский оригинал (все три тома в новой редакции). История была доведена до 1914 г. В предисловии к русскому изданию сказало настроение момента: «В результате долгих веков культурного развития мы теперь попали в полосу хаоса, из которого должен родиться новый мир. Будет ли этот мир лучше или хуже прежнего, переживаем ли мы закат европейской культуры или темный час перед рассветом?» ...К немецкому переводу я написал особое предисловие. Предвидя недовольство ассимилированного немецкого еврейства моей национальной концепцией истории, я писал: «Признание моей системы будет меня радовать как признак прояснения умов, отрицание же ее меня не будет удивлять, ибо именно в этой книге представлен тот процесс, который фатальным образом привел к отрицанию национального еврейства вообще». Тут я в примечании указал на появившееся в то время предисловие историка-раввина П. Ригера⁷⁸⁴ к новому изданию Филюппсоновской «Новейшей истории евреев»⁷⁸⁵, где он резко осудил мою антиассимиляторскую точку зрения. После выхода третьего тома на меня обрушился с гневной рецензией главарь берлинских «либеральных» ассимиляторов Генрих Штерн⁷⁸⁶, в органе «Центрального союза германских граждан иудейского исповедания». Его, между прочим, взволновала одна фраза в конце моего обзора событий в Германии накануне мировой войны. Там указывалось на майские дебаты 1914 г. в рейхстаге о недопущении евреев в армии к офицерскому званию и других нарушениях равноправия, а к концу главы было сказано: «А через три месяца десятки тысяч еврейских солдат двигались в рядах германской армии к русской и французской границам, чтобы сражаться за славу страны милитаризма и антисемитизма». Возмущенный германский патриот в своей рецензии воскликнул: «А возместит ли нам г. Дубнов стоимость разбитых окон в еврейских домах и магазинах в случае погрома, вызванного подобными выражениями?» Рецензенту, однако, суждено было дожить до того момента, когда разбивались не только окна в еврейских домах, но разбита была вся жизнь еврейского населения Германии, несмотря на весь его патриотизм и германский национализм...

Летом в Лихтенраде гостили родные из Варшавы и появились гости из дальних стран. Не удалось мне только видеть старого друга Ахад-Гаама, приехавшего для лечения в Германию. Годом раньше, когда я еще был в России, он, тяжело больной, побывал в Берлине, по пути из Лондона в Палестину; теперь он вторично приехал и провел два летних месяца в курорте Гомбург близ Франкфурта вместе с Бяликом и другими нашими друзьями. Мы переписывались о том, где нам встретиться, в Берлине или в Гомбурге. Мне трудно было уезжать, так как я был занят срочными корректурами разных изданий, а между тем Ахад-Гаам спешно покинул Германию по настоянию родных, советовавших ему оставить беспокойную страну. Так мы и не виделись после 15 лет разлуки, а потом мне уже не суждено было его увидеть. Мы продолжали переписываться несколько лет, когда он в Палестине издавал свою старую литературную переписку с друзьями, между прочим и со мной, но в письмах больного друга, часто писанных другими под его диктовку, уже чувствовалось приближение рокового конца, наступившего в начале 1927 г.

Зато удалось мне в то лето увидеть своего одесского друга-противника Бен-Ами, приехавшего из Женевы в Берлин для глазной операции. Я встретил его впервые после моего отъезда из Одессы в год кишиневского погрома. Вот что я нахожу об этом в своих записях (1 июля): «Все тот же, со своими достоинствами и недо-

статками, со своими „честными мыслями“ (хотя крайне односторонними), „в которых так много и злости и боли, в которых так много любви“, как я однажды сказал о нем (словами Некрасова) в собрании в Петербурге». Позже он поселился в Палестине и, как я слышал, очень сердился на меня за то, что я не упомянул его имени в последнем томе «Новейшей истории». Я не сделал этого потому, что вообще отводил литературной истории весьма ограниченное место, лишь в пределах общего социально-культурного движения. Только в позднейшем немецком издании было мимолодно упомянуто и имя Бен-Ами.

Кончалось лето, и наступила тяжелая осень 1923 г., время полной экономической разрухи и политических бурь в Германии. Инфляция уже вошла в полосу миллиардов, а затем билионов (в начале ноября за доллар платили 420 миллиардов марок, а хлеб в два кило весом стоил 25 миллиардов), и все острее чувствовалась продовольственная нужда; радикалы справа и слева, реакционеры и коммунисты готовились погубить юную демократическую республику с президентом социалистом Эбертом и коалиционным министерством Штреземана—Гильфердинга. Вспыхивали грозные огни путчей: Бавария была в руках правых, в Саксонии подбирались к власти коммунисты, на Рейне самоуправление городов переходило к сепаратистам. В Мюнхене разыгрался путч Гитлера—Людендорфа. 11 ноября я записывал: «Пережита кошмарная неделя, а кто знает, что еще предстоит? Три дня голодные грабежи и погромы в Берлине, но у немцев грабили лавки, а у евреев в их квартале (Гренадиштрассе) врвались в квартиры, грабили имущество и били жильцов. Квартал, правда, изобилует спекулянтами, торгующими иностранной валютой, но агитация антисемитов велась против всех евреев. Это — первый еврейский погром в Берлине. Едва утихли эти тревоги, как пришли грозные вести из Баварии: вождь националистов Гитлер и генерал Людендорф — воплощение кровавого призрака последней войны — объявили диктатуру для всей Германии при помощи легального диктатора в Мюнхене фон Кара. Мерещились ужасы: поход на Берлин, торжество черных террористов. Вдруг получается весть: Людендорф арестован, Гитлер бежал, Кар отрекся от них. Значит, путч покончен, можно успокоиться. Но сегодня утром приносят почту, а берлинских газет нет: газеты не вышли из-за забастовки печатников... Мы висим между правой и левой диктатурой: обе могут привести к хаосу».

Эта общая разруха отразилась и на издательском деле: начались банкротства эмигрантских издательств, русских и еврейских. Большая фирма «Грани», выпускавшая массу книг и, между прочим, русский оригинал моей «Новейшей истории», могла выдать мне вместо гонорара только известное количество экземпляров (около 500 из 5000 напечатанных комплектов). Еще печальнее было то, что я потерял надежду на издание остальных семи томов русского оригинала. Продолжалось только издание на иврит трех томов «Новейшей истории» в издательстве «Двир» Бялика и Равницкого, но и положение этого издательства пошатнулось, и надежды на окончание всего труда были очень слабы. Даже солидное немецкое издательство приостановило дальнейшую работу, выжидая минования кризиса на книжном рынке. Мне трудно было мириться с мыслью, что столь успешно начатое завершение моего жизненного труда прервется, и я продолжал — для «спасения души» — редактировать рукописи остальных томов, начиная с «Древнейшей истории».

Одновременно я занимался другой работой, в которой мне слышался отклик дальних лет, когда я увлекался разработкою материалов для истории польских евреев. Толчок был дан извне. В один летний день ко мне в Лихтенраде явились молодой студент Берлинского университета Симон Равидович⁷⁸⁷ и молодой раввин Илия Каплан⁷⁸⁸ и предложили мне передать еврейскому издательству «Аянот», выпустившему ряд литературных памятников, право на издание еврейского текста «Литовского Пинкоса», который под моей редакцией печатался в «Еврейской старине» вместе с русским переводом. Я принял это предложение и в течение цело-

го года вторично редактировал текст «Пинкоса» с вариантами, на сей раз для «академического» издания, с примечаниями и большим введением. Каплан, преподаватель Талмуда в Берлинской ортодоксальной семинарии, должен был помогать мне в чтении корректур и дополнять мои примечания объяснениями из области талмудического права; но он успел сделать только часть этой работы, так как вскоре заболел и умер. Моим сотрудником по чтению корректур остался только Равидович, который одновременно печатал критический текст «Море невухе газман» Крохмала⁷⁸⁹ с обширной монографией об авторе. Впоследствии этот молодой ученый и публицист вошел в наш тесный берлинский кружок вместе со своей милой женой, дочерью известного сиониста А. Клея⁷⁹⁰.

Наряду с крупными работами писались в промежутках и мелкие статьи. В начале 1923 г. я написал вступительную статью к первому тому «Истории погромного движения на Украине 1917—1921 гг.», изданному «Восточно-еврейским архивом» в Берлине на основании огромной массы документов, вывезенных из Киева И. М. Чериковером и его друзьями. Первый том содержал систематическую историю погромов 1917—1918 гг., прекрасно составленную Чериковером. Моя вступительная статья, под заглавием «Третья гайдамачина», была написана под впечатлением этих потрясающих документов, чем и объясняется ее публицистический тон. Когда я вскоре после этого прочел жуткие описания очевидцев украинской резни 1919 г. (в специальном томе сборника «Решумот» под редакцией Бялика), я еще более убедился, что «третья гайдамачина» XX в. не уступала в жестокости однородным движениям XVII и XVIII вв.

Осенью 1923 г. мы снова стали жертвами квартирного кризиса. Пришлось оставить летнюю квартиру и пристыдиться в другой вилле в том же Лихтенраде. Мы поселились в мезонине старого дома, с балкона которого открывался вид на огороды, поля и лес. Домовладелица уверяла нас, что зимой тут будет тепло, так как вилла имела центральное отопление. Это нас успокоило, и мы согласились платить ей за комнаты с пансионом порядочную сумму в долларах. Пока еще грело сентябрьское солнце, было очень хорошо, и я чувствовал присутствие «духа святого» в те часы уединения, когда сидел на озаренном солнцем балконе и всматривался в даль полей, окаймленных лесом. Среди острых забот о дальнейшей судьбе моих книг я принялся за приготовление к печати томов «Древней истории», не зная, суждено ли им появиться в свет. Но с наступлением осенних холодов работать в новой квартире становилось все труднее. Новая хозяйка обманула нас: центральное отопление было испорчено, а простых печей в наших комнатах не было. Мы мерзли, и когда нам в конце декабря грозило замерзание при пяти градусах Цельсия, мы бежали в Берлин и поселились в пансионе в центре города. Так я дорого заплатил за свою сельскую идилию, за мечту о жизни на лоне природы, вдали от шума городского.

Приведу в дополнение несколько записей из дневников 1922—1923 гг.

1922

17 октября. Кончился процесс убийц Ратенау. Суд возгласил анафему антисемитизму, лежавшему в основе заговора германской «черной сотни». А третьего дня в Берлине произошли уличные столкновения между этой «черной сотней» и коммунистами. Непокорно в холодной и голодной Германии... Гниющий труп мировой войны все еще отравляет атмосферу. Что это: Untergang des Abendlandes Шпенглера⁷⁹¹ или один из тех исторических маразмов, которые в предыдущие эпохи не ощущались так болезненно, как теперь, после мирового кровопускания?

27 октября. Вчера вечером были у меня братья Черновицы. Старшего («Рав-цаир») не видел, кажется, с 1911 г.; он все время жил в Швейцарии и Германии. Младший брат («Сефог», журналист) приехал из Иерусалима

с поручением вербовать профессоров для открывающегося там историко-филологического факультета. Меня будто бы приглашают на кафедру еврейской истории. Я ответил, что в ближайшие три-четыре года, до моего «заключения Талмуда» — издания многоязычной истории, я прикован к Берлину. Обещал через год приехать на один семестр или триместр в Палестину для открытия курса. Глубокое желание у меня есть. Всплывает затаенная мечта — провести последние годы жизни в Эрец-Исраэль. Но сколько трудностей на пути к этой цели!..

14 декабря. ...Написал вчера для «Jüdische Rundschau» заметку к юбилею Бялика: об апофеозе духа в его трилогии «На пороге бетгамидраш» и др. Писал взволнованно, переносясь мыслью в Одессу 1897—1903 гг. Недавно Бялик и Равницкий просидели у меня вечер; мы беседовали обо всем, как в былые годы, и мнилось: тень одесского кружка пронеслась по комнате...

1923

1 января. Серые утренние сумерки на чужбине. Не так рисовалась мне эта чужбина год тому назад, среди руин Петербурга, когда родное стало чужим, когда дом стал тюрьмой. Я ждал ясного и тихого заката жизни в непрерывной ликвидации жизненного труда. Ликвидация идет, но кругом не тихо и не ясно: живем в тревожной атмосфере. Дает себя чувствовать горечь чужбины; ее собственное горе, разруха и нужда вдвойне гнетут иностранца. Мировые перспективы мрачны. Нет мира на земле и в душах людей.

Стал писать приложения к томам «Новейшей истории» на основании новых источников. В промежутки пишу мелочи для некоторых журналов. Вчера написал (по-древнееврейски) «Обрывки воспоминаний и мыслей» о Сауле Гурвиче для художественного журнала «Римон». На миг перенесся в далекое прошлое, пролетел путь 1877—1922. Ровно год тому назад я еще переписывался с покойным о моем «исходе», а два года назад прощался с ним в Петербурге.

19 января. ...Были в последние дни поэт Черниховский⁷⁹² и один из моих лучших слушателей в петербургской «академии» Рубашов, теперь видный сионистский деятель и писатель. Сейчас прочел в газете о смерти Нордау в Париже, а через несколько минут мне позволили по телефону, чтобы я дал лаконическую его характеристику для Еврейского телеграфного агентства. Я сказал, что ушла большая сила, деятель «героической эпохи» сионизма, что я когда-то полемизировал с его крайними выводами из великой правды о «еврейском горе», но фигура оратора сионистских конгрессов мне не раз напоминала фигуры библейских пророков.

1 февраля. Сейчас вернулся из «Кант»-отель, где посетил Бялика и Равницкого, приехавших на пару дней из Гамбурга. Всегда в наших свиданиях есть элемент тоски по прошедшему... Простился с ними, с Р[убашовым], вероятно, надолго: он в марте уезжает в Палестину. Когда после беседы на Кантштрассе о прошлом, о старых друзьях, мы расстались у вокзала Савиньплатц, сердце у меня сжалось безграничной тоской...

27 апреля. Несколько дней в непрерывном чтении книг для дополнений к III тому «Новейшей истории»: об инциденте Грец—Трейчке⁷⁹³, о Германе Когене, о «Tagebücher» Герцля. Толстые два тома Герцля одолев в три дня, прикованный к этой блестящей исповеди. Моя характеристика Герцля в тексте подтвердилась вполне, и в дополнениях мне придется дать лишь несколько деталей.

Приходили посетители. Между ними один баварский еврей, молодой доктор-юрист, горячий ортодокс из «Агудас Исраэль»⁷⁹⁴, но некогда вынесший глубокое впечатление из моего историко-философского опыта «Что такое еврейская история» в немецком переводе. Еще пример сильного действия этого патетического творения юных дней, ныне отвергнутого автором. Еще минувшей зимой я отказал в разрешении итальянского перевода этого очерка корреспонденту из Рима, а на днях получил из Стокгольма сборник на шведском языке с извлечением из того же очерка. Вспоминаю, как покойный философ Лацарус в 1898 г. был тронут этой работой. Эмоциональное действует сильнее, чем идеологическое. Некогда думать о переработке «опыта», ибо захватила сложная работа дня.

5 июля. Вчера копировал для «Архива революции»⁷⁹⁵ Чериковера отрывки из моих дневников 1917—1918 гг. Брал только относящиеся к еврейству строки... Сегодня принялся писать статью «Jüdische Geschichte» (концепция и методология) для краткой еврейской энциклопедии на немецком языке.

11 сентября (Рош-гашана 5684 г.). Второе Рош-гашана в Берлине. Год назад я был здесь еще новичком. Кругом кипело, шумели издатели, налаживалась большая работа — полиглотная «История». Прошел год: часть работы сделана, но издательский кризис грозит оставшейся части ее, более крупной и важной...

Последнее небывалое землетрясение в Японии, уничтожившее столицу и много городов, увлекло мысль в область космического, самую опасную для душевного равновесия. С этих ледящих высот кидало мысль в крошечный ад Украины 1919—1920 гг. В последние дни читал кошмарную книгу «Решумот». Одно описание (о резне в Теплике) особенно потрясло меня: типичная история украинского местечка 1919 г., модель ужаса, пережитого сотнями таких местечек... Читая об этих ужасах человеческой стихии, я думаю: куда счастливее японцы, истребленные природной стихией! Космические потрясения омрачают ум, человеческие — ранят сердце. Такова моя молитва в эти «ямим нораим», в утренние лучезарные часы на залитом солнцем балконе, в редкие часы прогулок по нашей улице, среди сжатых полей, мимо садов и вилл.

28 сентября. Политический кризис Германии как будто близится к концу. Правительство отказалось от пассивного сопротивления на Руре. Теперь слово за Францией и Англией. Но в Германии опасаются восстаний справа и слева...

4 октября. Германия снова на краю пропасти: отставка кабинета Штреземана и разрушение надежды на большую министерскую коалицию... Население так измучено, что оно жаждет какого бы то ни было переворота, лишь бы избавиться от кошмарного дня, когда дороговизна скачет уже по часам и подходит к миллиардам. Содержатель обувного магазина, у которого я вчера купил теплые комнатные туфли за полмиллиарда, сказал: «Besser ein Eide mit Schrecken, als Schrecken ohne Eide»⁷⁹⁶ — девиз всей обывательской Германии.

25 октября. За прошедшие две недели в Германии произошли события, из которых каждое в отдельности могло бы свергнуть в бездну анархии любое государство. «Путчи» справа и слева, разгул монархистов в Баварии и прямой ее вызов имперскому правительству, коммунистические министры в правительстве Саксонии, захваты городов сепаратистами на Рейне, вчерашняя попытка коммунистов захватить власть в Гамбурге и сражение на улицах... По всей Германии катится волна голодных демон-

страций и бунтов. В Берлине тоже разгромлено толпою немало булочных, а в последние дни совсем трудно было достать хлеб.

6 ноября. Дожили: в Берлине репетиция уличного погрома с избиением евреев. Вчера цена одного хлеба вскочила с 25 на 140 миллиардов. И вот толпа громила хлебные лавки, а в еврейских районах били прохожих евреев... Германия стоит перед решительным кризисом: она может со всей своей культурой потонуть либо в черном море, либо в красном.

Глава 70

Издательский кризис и авторские заботы (1924)

Зимняя сказка в окрестностях Берлина. Переселение в центр города. — Заботы об издании дальнейших томов «Истории». — Студенческая эмиграция в Берлине: картина-символ. — Прощание с Бяликом. — Квартира близ парка Груневальд, но у хозяйки-мегеры. — Соседи: мученик немецкой философской словесности; бывший советский комиссар, ставший рыцарем этического социализма; иррациональный рационалист, мой суженый немецкий переводчик. — Еврейское научное общество, объединение восточных и западных ученых. Наш «West-östlicher Divan». — Новая редакция введения во «Всемирную историю еврейского народа». Появление первого тома «Древней истории» и акция друзей в Париже для издания второго тома. — Академическое издание «Литовского Пинкоса». — Мой политический обзор в американском «Тог». — Выписи из дневника.

Как полная страхов зимняя сказка вспоминается мне это бегство из деревни в город при лютых морозах, свирепствовавших в ту зиму в Германии. В морозное утро 4 января (1924) мы, оставив в лихтенрадской вилле всю библиотеку с архивом и большую часть вещей, переехали в Берлин и поселились в пансионе временно, до приискания квартиры. Пансион находился в самом центре Шарлоттенбурга, на углу улиц Грольмана и Шиллера. Помню один январский вечер, когда я вернулся в Лихтенраде, чтобы распорядиться о вывозе вещей в город. Побывав на замерзшей вилле, я отправился на ночлег к знакомой семье, жившей среди полей по дороге из Лихтенраде в Мариенфельд. Свирепствовала снежная вьюга, занесшая все дороги. Я сбился с дороги и никак не мог найти одинокий домик, затерянный среди белых полей, а спросить некого: ни одной живой души кругом. Стало жутко. С великим трудом разыскал я знакомый домик по огоньку лампы, светившейся у одного окна. На другое утро вещи были перевезены в город, и мученик любви к природе почувствовал, что и городская культура с хорошим центральным отоплением имеет свои преимущества.

Но тут меня окружили заботы. «Издательский кризис затягивается, личное положение непрочное, туманится недавно еще ясная перспектива ликвидации, и густое облако ложится на конец жизненного пути» (запись 13 января 1924). Я вел переговоры с новыми издателями, вероятно будущими банкротами, о продолжении русского издания, но они ставили условием, чтобы книги печатались по советской орфографии, а я не хотел идти в Каноссу и принять то, что навязано большевиками, которые запрещают ввоз в Россию книг со старой орфографией: «...ведь для уже напечатанных трех томов новейшей истории я закрыл доступ в Россию книг старой орфографией и несчастным упоминанием о большевизме в предисловиях» (запись 29 января). Вскоре, однако, любовь к моему духовному чаду пересилила во мне отвращение к новой орфографии, и я разрешил маленькому издательству «Гешер» печатать первый том «Древней истории» на этом условии, что, однако, не открыло перед ним двери советской России.

В это время из России пришло известие о смерти Ленина. «Умер Ленин, давно убитый душевно после страшного эксперимента над Россией. Сейчас его канонизируют, и тысячные толпы преклоняются перед его гробом, но, может быть, эта смерть даст толчок начавшемуся уже процессу внутреннего разложения коммунистической партии» (запись 29 января). Надежды, конечно, не оправдались. В России все еще свирепствовало ГПУ, подавлявшее оппозицию даже внутри коммунистической партии. А кругом эмиграция томилась, все более теряя надежду на возвращение в Россию.

Ко мне являлись представители союза еврейских студентов, огромной армии учащихся из России и Польши, наполнивших высшие учебные заведения Германии. Они устраивали конференции с участием почетных гостей вроде Эйнштейна⁷⁹⁷ и Эдуарда Берштейна; иногда и я участвовал в таких собраниях. При всей своей организованности, студентам приходилось немало бедствовать. Пред моими глазами стоит картина-символ, виденная мною однажды в Берлине на Доротеенштрассе, близ университета. Среди толпы пешеходов и скучившихся на узкой улице автомобилей стоит бледный молодой человек с провинциальным иешиботским сундуком в руках, видимо растерявшийся в водовороте незнакомой ему столицы. Он, по видимому, только что сошел с поезда железной дороги на вокзале Фридрихштрассе, куда прибывают все пришельцы из Восточной Европы, и не зная, куда ему идти, направился к зданию университета. Я думал: вот он, тип старого иешиботника из России, идущий в европейскую высшую иешиву, германский университет, чтобы учиться и мучиться, — атавизм ряда поколений, рвавшихся вверх, к истокам знания. И каждый раз, когда я сталкивался с горем и нуждой студенческой эмиграции, предо мною вставал образ этого худого, растерянного юноши близ Берлинского университета, на перекрестке дорог от старого мира к новому. Тысячи их возвращались с желанным докторским дипломом в кармане, вливались в массу нашей интеллигенции и творили динамику нашей общественности в различных направлениях. Кто бы мог предвидеть, что скоро эта интеллигенция будет обесценена вследствие перепроизводства и что в наши дни этот высший слой станет низшим на социальной лестнице в смысле материальной обеспеченности?..

В начале весны из нашей эмигрантской литературной колонии выбыл Бялик. Почти два года провел он в Германии в попытках устроить здесь большое ивритское издательство («Двир») и успел издать во время инфляции ряд солидных книг, но общий кризис отразился и на его предприятии, от чего пострадал и мой труд, из которого успели напечатать только три тома «Новейшей истории». Бялик поэтому решил перенести издательство в Палестину, куда раньше уехал его постоянный сотрудник Равницкий. В середине марта еврейский Берлин устроил прощальный вечер уезжающему поэту в зале Ложенгауз на Клейштрассе. Было произнесено много речей на иврит, большую часть плохом. Как пишущий, но не свободно говорящий на иврит, я сначала хотел прочесть свою речь по бумаге, но потом воздержался и на другой день, при личном прощании, передал написанную речь Бялику как напутствие*. У меня сохранилась копия ее. Я ему пожелал возобновить в стране наших классических поэтов свое прерванное в голусе поэтическое творчество и создать там мировой центр для еврейской книги. Трогательно было наше прощание. Он поднес мне новое роскошное издание своих сочинений с надписью: «На память о хороших и плохих временах». Так ушел из моего круга послед-

* Для характеристики ивритской устной речи в те годы ее зарождения приведу рассказ об отношении к ней Ахад-Гаама, первоклассного мастера писаной речи. Однажды он, неохотно говоривший на иврит, вынужден был уступить просьбам собравшихся и произнес речь на этом языке. Когда после закрытия собрания слушатели сказали ему, что он прекрасно выразил свои мысли на языке, на котором не привык говорить, Ахад-Гаам иронически ответил: «Откуда вы это знаете? Ведь вы выслушали только то, что я сказал, но не то, что я хотел сказать».

ний из друзей одесской эпохи, с которым я позже встречался только урывками, во время его летних приездов в Европу.

Какая-то глубокая тоска охватила меня в ту раннюю весну. К ней присоединились и новые квартирные волнения. Надоела жизнь в шумном пансионе в центре города; обильное, но безвкусное немецкое питание отбило у меня аппетит, и я решил искать снова квартиру в Груневальде, поближе к парку. После долгих поисков при помощи знакомых, удалось найти в этом районе две комнаты в квартире онемеченной вдовы-еврейки, жившей комфортабельно на том конце длинного проспекта Гогенцоллерндамм, который примыкает к парку (Розенек). Эта дама сумела извлечь все выгоды из моей любви к лесу и парку и сдала мне комнаты на таких условиях, которые считались разорительными в то время, когда прежняя цифровая дороговизна инфляции превратилась в реальную дороговизну стабилизации. Зато жадная хозяйка утешала нас обещанием, что мы себя будем чувствовать у нее, как в родной семье. В действительности она оказалась впоследствии одним из худших экземпляров породы хищников, терзавших нашу берлинскую эмиграцию.

Волнения житейские и усталость от напряженной умственной работы осложнили постигшую меня тогда болезнь гриппа. Двухнедельный ее визит высосал из меня последние силы, и в состоянии полубольного я переехал на свою новую груневальдскую квартиру, чтобы набраться сил в ближнем лесу. Весеннее солнце постепенно укрепило меня, и я мог вернуться к своей работе. У меня оказались два интересных соседа по району: философ Давид Койген⁷⁹⁸ и политик Исаак Штейнберг⁷⁹⁹, бывший короткое время комиссаром юстиции в первом советском правительстве и затем покинувший «совет нечестивых».

Потомок вольинского раввина-каббалиста Нафтали Когена⁸⁰⁰, проведший молодость в университетских кругах Швейцарии и Германии, Койген впитал в себя крайнюю утонченность немецкого философского мышления. Вооруженный острым ножом анализа, он разрезывал абстрактные понятия на такие тончайшие атомы, что они становились незаметными для нормального глаза. В его произведениях («Ideen zur Philosophie der Kultur», «Der moralische Gott» и др.) глубокие мысли часто тонут в море немецкой философской словесности или покрыты густым туманом. В годы нашего знакомства он носился с системой обширной «культурной философии», которую развивал в своем журнале «Ethos». В приложении к его книге «Der Aufbau der sozialen Welt» имеется таблица социологической структуры, которая по своей абстрактности напоминает каббалистические фигуры его предка. Там фигурируют четыре принципа: универсализация, генерализация, сингуляризация и плюрализация; затем четыре круга социального развития: эволюция, деволуция, революция, инволюция, и еще ряд мельчайших подразделений. Часто во время наших бесед и прогулок в парке Койген втолковывал эти идеи мне, давнему противнику немецкой философской «словесности», но без успеха. Он собирался написать также абстрактную историю иудаизма, которую он мне предварительно излагал, но мои указания на противоречия между некоторыми его выводами и действительной историей заставили его немало изменить в плане его труда, который так и остался незаконченным. А между тем это был человек сильного ума, только раненного острой философской фразеологией, к которой применимы слова Гете, что там, где недостает конкретных понятий, на их место становится слово. Койген с увлечением ткал свою «мозговую паутину», творил все новые микроскопические анализы отвлеченных понятий и был уверен, что читатели его понимают. А его книги читали только несколько немецких профессоров, которым автор посылал их, между тем как кипы экземпляров покоились в складах издателей и на полках магазинов, не давая автору никакого гонорара за потраченные труд и время. Материально стесненный Койген жил всегда в ожидании кафедры философии в каком-нибудь германском университете, но цеховые ремесленники науки не принимали его в свой цех на платную должность. Мне было глубоко жаль этого честного, самоотвер-

женного труженика, который не знал, для кого он трудится. Он был мягкий человек и хороший собеседник, и я немало часов провел в беседах с ним, в присутствии его умной жены, некогда одновременно учившейся с ним в швейцарском университете. Помню его маленький кабинет на Мариенбадерштрассе, близ парка, весь прокопченный табачным дымом непрерывно курившего мыслителя. Я ему говорил, что этот дым дурно влияет на мысль, отделяет ее «дымовой завесой» от действительности.

Человеком иного склада был мой сосед И. З. Штейнберг, живший рядом на Карлсбадерштрассе. Он спасся из советского ада, после того как убедился, что это не социалистический рай, о котором он мечтал. Теперь он поднял «Знамя борьбы» (так назывался издававшийся им боевой антибольшевистский журнал, орган левых эсеров в эмиграции) против бывших соратников по октябрьской революции. Помню, как он при первом посещении поднес мне свою только что напечатанную книгу «Нравственный лик революции». Я его спросил: как мог он, чистый демократ и приверженец этического социализма, идти хотя бы временно в рядах людей 25 октября, разогнавших демократическое Учредительное собрание. Он ответил, что октябрьский переворот сам по себе был великим актом социалистической революции, но большевики скоро изменили «заветам октября», пошли по пути безудержного террора и разрушили основы социальной этики. Таково было его несомненно искреннее, но глубоко субъективное убеждение: кто шел с Лениным и Троцким, не мог верить, что они творят этический социализм. Это было тем более странно в человеке, у которого этический социализм сочетался с еврейской религиозностью. Позже мы дружески сблизились с Исааком Штейнбергом и с его младшим братом, Ароном⁸⁰¹, которому суждено было сделаться моим сотрудником и образцовым переводчиком моих исторических трудов на немецкий язык.

А. З. Штейнберга я знал еще из Петербурга, как одного из лучших преподавателей Еврейского университета времен военного коммунизма. Питомец трех культур — еврейской, русской и германской, он по окончании Гейдельбергского университета застрял в годы войны в Германии и вернулся в Россию только к моменту, когда разгорелась гражданская война. Уже тогда, а еще более при позднейших встречах, меня поражало разнообразие его духовного мира: строгая еврейская религиозность вплоть до соблюдения многих обрядов, любовь к русской литературе и даже к модным тогда декадентским и символистическим ее течениям (он вместе с Бердяевым⁸⁰² и другими православными богоискателями участвовал в «Вольфиле» — Вольной философской ассоциации), наконец, крепкая германская подкладка мышления, хотя без философских «туманностей» Койгена. Штейнберг junior представлял собою синтез рационального и иррационального. Когда он после оставления России явился ко мне в Берлине в мой пансион на Грольманштрассе, я почувствовал, что именно этот молодой человек призван быть посредником между нашей восточно-еврейской и окружающей западной интеллигенцией. Позже я на деле убедился в его больших литературных способностях и тонком стилистическом чутье, проявившемся в его переводных и оригинальных произведениях. Помню, как началось наше сотрудничество по немецкому изданию моей десятитомной «Истории». Оправившийся от издательского кризиса «Jüdischer Verlag» решил возобновить издание немецкого перевода по подписке, начиная с «Древней истории». Директор издательства д-р С. Каценельсон искал вместе со мною подходящего переводчика (В. Якобсон, претендовавший на эту работу, оказался слишком занятым для издания книги в быстром темпе). Однажды, осенью 1924 г., мы гуляем с Штейнбергом в парке и обсуждаем этот вопрос, и я его спрашиваю, взялся ли бы он за перевод моего труда на немецкий язык. Он скромно ответил, что сделает опыт и, если удастся, будет продолжать. Опыт оказался удачным, а потом даже блестящим. Штейнберг не принадлежал к числу тех переводчиков-ремесленников, которые тащатся за каждую строкою оригинала и перелагают слова с одного языка

на другой; он овладевал мыслью каждой фразы и перелагал ее целою и живою на другой язык, не меняя стиля автора и вместе с тем оставаясь верным духу немецкого языка, сложный синтаксис которого резко отличается от простого русского синтаксиса.

Вне моего круга остался человек, который некогда был моим единомышленником, а потом ушел на самое правое крыло ортодоксизма. По приезде в Германию я узнал, что бывший автономист Натан Бирнбаум сделался крайним ортодоксом, членом клерикальной организации «Агудас Исраэль», имевшей свой главный штаб во Франкфурте-на-Майне. Я прочел его книги «Народ Божий» и «Вокруг вечности» («Gottes Volk», «Um die Ewigkeit», 1917—1920) и понял эту мятущуюся душу странника в области идей, искавшего правды на всех путях и нашедшего ее среди тех, кому само искание истины кажется грехом. Бирнбаум жил тогда в Берлине и в Гамбурге, но я с ним не встречался. Когда его приверженцы решили издать сборник статей по случаю его шестидесятилетия (1924) и обратились ко мне, я написал коротенькую статью под заглавием «Три ступени национализма», где различал три формы национализма еврейского: политический или сионизм, духовно-культурный или автономизм, религиозный или ортодоксизм. Я указал, что Бирнбаум последовательно прошел все эти три ступени, и поставил вопрос: подьем ли это или падение? Прямого ответа я не дал, но косвенный ответ был сформулирован ясно. И политический, и религиозный национализм подчиняют национальную идею одному принципу: либо царству земному, либо небесному, то есть делают ее условной. Политические сионисты отрицают голус, отрекаются от подавляющего большинства народа, которое останется вне Палестины, а агудисты отрекаются от подавляющего большинства новых поколений, которое мыслит свободно и не может мириться с обрядовым иудаизмом. Единственная безусловная форма национализма есть культурный автономизм, который может объединить и старое и новое еврейство повсюду, в еврейском государстве и вне его, в синагоге и вне ее. Эта статья была напечатана в юбилейном сборнике Бирнбаума («Vom Sinn des Judentums», 1925), причем редакция прибавила к ней мое приветствие Бирнбауму, опубликованное в 1914 г. в журнале «Freistaat» по случаю его пятидесятилетия, когда он еще был автономистом. Так была дана здесь историческая оценка.

В майский вечер 1924 г. в моем груневальдском кабинете происходило совещание друзей (Соловейчик, Койген, братья Штейнберги и др.) об учреждении в Берлине еврейского научного общества для чтения докладов, обмена мнений, а также устройства семинарских занятий со студентами. Я имел в виду тесную группу в пределах нашей восточно-еврейской эмиграции, но некоторые друзья предложили расширить ее привлечением немецко-еврейских ученых. В следующем совещании нам сообщили, что наши немецкие коллеги очень сочувствуют этой идее и торопят с осуществлением ее. 13 июня состоялось в помещении еврейского Ложенгауз учредительное заседание этого научного объединения (Jüdische Wissenschaftliche Vereinigung). Собралось около полусотни лиц, наших и «немцев». К нашей инициативной группе примкнули ректор «Высшей школы еврейских знаний» Эльбоген⁸⁰³, один из директоров прусской Штаатсбиблиотек профессор Г. Вейль⁸⁰⁴, известный писатель Симон Берифельд⁸⁰⁵ и другие. Ослепший, но все еще бодрый Берифельд открыл заседание словом на иврит, а я говорил на идиш, «языке разрушенного еврейского центра, откуда мы пришли». Я указал на повторяющийся в истории обмен духовными силами между восточным и западным еврейством: в средние века Германия посылала в юные еврейские колонии Польши ученых и раввинов, а после катастроф XVII в. польский центр посылал своих талмудистов в Германию; со второй половины XVIII в. Берлин посылал в Польшу и Россию своих эмиссаров просвещения, а мы теперь возвращаем ему деятелей современной еврейской науки, зародившейся в Германии. Д-р А. Штейнберг изложил проект нашей организации, и собра-

ние его одобрило. Избран был комитет из девяти лиц, куда вошла почти вся инициативная группа.

В начале июля я открыл деятельность общества чтением реферата о новой социологической концепции еврейской истории. Содержание реферата совпадает с содержанием моего общего введения к десятитомной «Истории», которое для большинства наших германских коллег являлось большой ересью, в особенности принцип секуляризации еврейской истории. Предстояли большие дебаты, которые были отложены на следующее собрание. Оно состоялось через неделю в том же зале Ложенгауз. Я нахожу в своих записях следующий краткий отчет об этой дискуссии: «Вчера *wikucha gabba* (великий диспут) по поводу моего реферата о концепции истории. Я повторил тезисы реферата, а затем пошли прения. Десяток оппонентов — наших и „немцев“ — пришли, как видно, с заготовленными речами. Только Берифельд, единственный историк-энциклопедист, поддержал в общем мою концепцию, предложив лишь несколько поправок в периодизации. Все прочие возражали. С. провозгласил сионистскую классификацию истории на государственную и безгосударственную; В[ейль] взял под защиту Цунца и Греца, а другие — идеологию спиритуализма против моего „социологизма“. Я в своем ответе указал на смешение понятий понимание (*Auffassung*, концепция) и содержание истории: можно вложить в историю все содержание религии и литературы, но ценить все с точки зрения социологической или эволюции национального организма, создавшего культуру иудаизма (вместо догмы: иудаизм создал нацию). На возглас С., что о живой нации можно говорить только в государственный период, я ответил, что с его точки зрения 2000 лет еврейской истории были безнациональными, а с моей — они были „государственными“ в смысле замены государства общественной автономией. Упрекнувшим меня в отрицании духовности (*Geistigkeit*) я напомнил, что я создал термин „духовная нация“. Мой ответ был горяч и, по-видимому, произвел впечатление. Толчок дан, фермент брошен и, когда осенью вновь соберутся члены нашего Научного общества, будет о чем говорить по части проблем еврейской истории». Но нашей организации не суждена была долгая жизнь. пленум сходилась несколько раз для выслушивания рефератов, несколько раз заседал наш комитет, который фактически составлял все объединение. Один из наших остряков (кажется, проф. Вейль) назвал это объединение западных и восточных ученых *West-östlicher Divan*, так как весь комитет мог усаживаться на одном диване. Спустя год от всей организации ничего не осталось.

Вместо того, чтобы тратить силы и время на вразумление отдельных групп путем устного слова, я счел более разумным писать историю для всех по своей системе. В то лето я снова редактировал свое общее введение в еврейскую «Историю» для нового издания первого тома, который должен был скоро выйти из печати. Как всегда, устная дискуссия способствовала углублению мысли автора, и я внес в новую редакцию ряд доводов, предусматривающих возможные возражения. В русском издании введения я прибавил одну главку под названием «История этой „Истории“» (в переводах она опущена), где рассказал, как разрастался план «Всеобщей истории евреев» от ее эмбриона в виде комбинации с трудами Греца, Бека и Бранна⁸⁰⁶ до нынешней редакции, основанной на самостоятельной разработке материала и на новой концепции. К концу я прибавил особый пассаж (тоже не вошедший в переводы) о том, что над всеми критериями исторических деяний стоит этический критерий, который и творит «суд истории». Как часто с тех пор я задумывался над важностью этого принципа, наблюдая, как история извращается в угоду тем или другим партийным доктринам или политическим системам, идущим вразрез с общим законом этики, категорическим императивом!

В этот момент я решил изменить имя моего главного труда: «Всемирная история еврейского народа» (вместо эпитета «Всеобщая»). Для немецкого перевода я придумал название «*Weltgeschichte des jüdischen Volkes*» и советовался с знатоками

немецкого языка Койгеном и Штейнбергом, допустим ли в этом сочетании термин «Вельтгешихте». Они сначала колебались, но потом решили, что это допустимо в особом смысле, а именно в смысле истории евреев во всем мире с важным для меня оттенком «история всемирного народа» (Weltvolk), не ограниченного особой территорией. По-французски тот же термин звучал бы «histoire universelle du peuple juif». Некоторые немецкие рецензенты порицали мой неологизм, но большинству он понравился, и потом он даже стал очень популярным.

Но с выходом в свет первого тома «Древней истории» (сентябрь 1924) умерло напечатавшее его издательство («Гешер»). Основанное без капитала, в расчете на кредит, оно не в состоянии было даже расплатиться с типографией, не говоря уже об уплате авторского гонорара. Мне грозила и материальная необеспеченность, и новая задержка в «ликвидационной» работе. В отчаянии я обратился в Париж к Винаверу, которому очень понравилась моя «Новейшая история», с просьбой составить группу лиц для издания второго тома «Древней истории». В ноябре я получил от него ответ, что он приступает к образованию такой группы. Я послал ему смету только на типографские расходы, отказываясь от авторского гонорара, и Винавер впоследствии прислал эту сумму с такой предупредительностью, которая меня тронула. Мы тогда вели дружескую переписку, из которой я узнал, что он, отличный цивилист, хорошо устроился в эмиграции как консультант по гражданским процессам для русских и даже для французских адвокатов. Он вынужден был прекратить издание своего еженедельника «Еврейская трибуна»⁸⁰⁷, но поддерживал газету Милюкова «Последние новости»⁸⁰⁸ и литературное приложение к ней («Звено»).

В октябре я закончил редактирование текста «Литовского Пинкоса» и написал обширное введение к нему на иврит. Вышло большое академическое издание с полным научным аппаратом, но в эмигрантских кругах и в нашей скудной научной литературе оно на первых порах прошло почти не замеченным.

Только один раз в том году я проник в область публицистики. По просьбе редакции большой американской газеты «Тог» я написал для ее юбилейного номера статью на идиш о политических итогах десятилетия 1914—1924 гг. в еврейской жизни. «Подвел итоги под „красной“ и „черной“ чертой современности, а в конце указал на голоса из Лондона и Женевы (из конференций о разоружении), на призыв к миру, к которому начинает прислушиваться измученное человечество. Кончил статью призывом: „Прислушайтесь!“» (запись 11 сентября).

О прочих эпизодах и настроениях пусть расскажут мои дневники.

9 февраля. ...Отклонил вчера предложение группы берлинских ученых (Эльбогена и других) составить вместе «нового Греца», переработать целиком его многотомную историю. Объяснил принципиальным несогласием портить переделкою классический труд, хотя и устаревший, и бесцельностью для меня параллельной работы в собственном издании и чужом.

19 апреля. Вчерашний пасхальный «сейдер» в странной обстановке: в семье бывшего комиссара юстиции Штейнберга, приверженной к религиозным обычаям... Были эмигранты молодые и средних лет, между ними и Эмма Гольдман⁸⁰⁹, лидер американских анархистов. Она рассказывала мне, как она во время войны сидела в тюрьме в Америке за политическую агитацию, затем была выслана из страны, попала в Россию при большевиках и наконец рада была вырваться оттуда...

7 мая. ...Получил из Палестины третий том «Писем Ахад-Гаама». В нем напечатано много писем А.-Г. ко мне за годы 1902—1907, и я тотчас просмотрел их все. Перенесся мыслью в те годы — «допотопные», полные тревог, но также и надежд...

9 мая. ...Сейчас написал короткое письмо одному призраку былого: Р. Зайчику, которого потерял из виду уже 20 лет. Он, говорят, теперь профессор в Кельне, давно перешел в католичество и органически чужд нам. И все-таки я решил написать ему; прямо поставил ему вопрос: «С нами ли ты, или с врагами нашими?» Отправляю на авось по адресу Кельнского университета...

Получил на днях из Франкфурта-на-М[айне] второе издание моего очерка «Что такое еврейская история» в немецком переводе Фридлендера. Перепечатано с берлинского издания 1898 г. Очерк писался в 1892 г. и ныне меня не удовлетворяет, но сколько жара души вложено было в эту работу! Жаркое лето Одессы, беседка, обитая виноградом, и горячие мысли, изливаемые на бумагу. А позже, в марте 1898 г., радость первого появления моих мыслей в Западной Европе...

14 мая. Получил из Петербурга новый, XI том «Еврейской старины» — радостный признак еще не угасшей духовной жизни в стране смерти и разрушения. Редакционная коллегия (Л. Штернберг и др.) отмечает в предисловии факт выхода книги «Старины» впервые после моего отъезда. Да, вспоминается мое десятилетие «Старины», от 1909-го до конца 1918 г. Соперница моей «Истории», «Старина» отвлекала меня от главного дела жизни, но все же я любил ее и отдал много сил и жара души...

5 июня. Сегодня утром получил от «Jüdischer Verlag» кучу рецензий на первые два тома моей «Neueste Geschichte», вышедшие в Берлине в 1920 г. Я испытывал странное чувство, читая эти отклики немецкой печати — часто горячие, страстные, про и контра — в те годы, когда я пребывал в петербургском гробу. Общий вывод: книга произвела сильное впечатление на друзей и врагов, заметивших в ней новую концепцию истории...

4 июля. В журналах здешних ассимиляторов появляются рецензии о III томе немецкого издания «Новейшей истории», свидетельствующие, что книга попала не в бровь, а в глаз. Возмущаются моим отношением к истинным немцам из евреев и их вильгельмовскому патриотизму прежней эпохи...

23 июля. Был Бялик, приехавший на короткое время из Палестины. Восторгается впечатлениями возрождающейся страны и зовет меня туда, зовут все тамошние друзья. Но как мне ехать? Можно там осуществить только еврейское издание моей «Истории», но как быть с русским, еще не доведенным даже до половины? Я должен издать оригинал и на его основании уже строить переводы, а для этого нужно еще два года жить в Берлине, у русского печатного станка, и здесь страдать от хищных и злых квартирных хозяек, от издателей-банкротов, а может быть, и от злой нужды...

5 августа. Полоса посетителей, приезжих. Были приехавшие из Петербурга А. И. Браудо и Л. Я. Штернберг. Шт[ернберг] вчера долго сидел и рассказывал о нашем интеллигентском быте в Питере. Профессора и студенты выбрасываются из школ или лгут и пресмыкаются перед властью. Изгнанный из университета историк, 75-летний Кареев, живет на пенсию в 50 рублей. Недавняя «чистка» высших учебных заведений от «непролетарских элементов» выбросила на улицу несколько десятков тысяч студентов, в том числе несколько тысяч еврейских. Интеллигенция бедствует, и тут в Западной Европе придется организовать помощь для нее.

6 августа. Сегодня буду вечером на докладе Лацко-Бертольди об Аргентине и Чили, откуда он недавно вернулся. Он был у меня на днях с предложением от редакции «Mundo Israelita» в Буэнос-Айресе разрешить ей издание моей «Новейшей истории» в испанском переводе. Я послал разрешение и написал, по просьбе издателей, коротенькое предисловие к испанскому переводу. Отметил возрождение еврейско-испанского центра в Южной Америке, где вновь послышались звуки кастильской речи среди пришельцев из России... Абраваель⁸¹⁰ скитался среди испанских изгнанников в Италии, завершая на чужбине труд жизни. Дано ли будет мне на германской чужбине закончить свой труд?

9 августа. День Тише-беав. Вчерашний день прошел необычно. До обеда работал над последней редакцией общего введения (к «Истории»), к обеду пришли Бялик и Штернберг. Живая беседа до вечера, а вечером я с соседом Штейнбергом сидел в маленькой синагоге на близкой Франценсбадерштрассе и читал «Эйха», вторя заунывному пению кантора. Возвращался в разношерстной компании «немцев» и выходцев из России (среди них бывший защитник большевиков⁸¹¹ в январском собрании 1918 г. в Петербурге, ныне бежавший оттуда...) Вспоминается вечер Тише-беав 1898 г. в Речице, на досках на полу в переполненной синагоге, шествие по полям и березовой аллее, а в следующий вечер тихая беседа в огороде над Днепром, осиянным луною, и начало чудного миража, неповторимого...

20 августа. Лондонская конференция кончилась пактом с Германией. Чуждое, давно забытое слово «мир» прозвучало над ямою грызущихся народов, именуемой Европой. Заговорили о «новой эре».

3 сентября. Новая конференция Лиги Наций в Женеве, с широкой программой разоружения и арбитража. У всех на устах лозунги пацифизма, но редко у кого они на сердце. (Германия готовилась тогда вступить в Лигу Наций.)

14 ноября. Внезапно умер в Лондоне А. И. Браудо, которого мы ждали здесь на обратном пути его в Россию... Летом он посетил меня здесь грустный, разбитый в борьбе за существование в Совдепии.

26 ноября. Целую неделю готовился к публичной лекции о возникновении христианства в «Союзе русских евреев». План лекции был у меня уже давно готов в голове, но увлекся чтением новинок: Эдуарда Мейера⁸¹² «Ursprung d. Christentums» и Клаузнера «Jeschu hanozri». Моего мнения они не изменили, и схема лекции осталась давняя: религиозный индивидуализм против религиозного национализма, христианское непротивление злу против пассивного сопротивления фарисеев и активного zelотов, универсальная религия Павла, позже выродившаяся в государственную религию Константина Великого. Аудитория была большая и напряженно слушала двухчасовую лекцию, но из начавшихся прений видно было, что плохо поняты оппонентами мои ясные и отчетливо изложенные идеи. За поздним временем дискуссия была прервана в самом начале и назначен особый дискуссионный вечер через две недели. Придется преподавать новый урок: историзм вместо догматизма.

10 декабря. Вчера вечер дискуссии по моей лекции о христианстве. Оппоненты бесконечно долго защищали избитые апологетические доводы против моей ясной постановки христианской антитезы, доводы от религии против национального момента в истории. Я им ответил, но ответ пришлось скомкать за поздним временем.

13 декабря. Третьего дня был вместе с д-ром Койгеном у Эйнштейна, который пригласил нас, чтобы поговорить о давнишней идее еврейского

университета в Европе*. Я предложил ограничиться созданием маленького ядра университета — педагогической высшей школы. Эйнштейн предложил нам выработать план и составить комиссию для этой цели. Мы беседовали полтора часа. Эйнштейн производит впечатление бодрого, скромного человека. Слава не вскружила ему голову. Он признает себя плохим организатором, непрактичным, могущим помочь только письмами и рекомендациями, насколько «иллюзия других придает им значение». В нем большие задатки национального еврея, но он еще не знает о национальном еврействе вне сионизма.

Сейчас вернулся из заседания, где приезжий из Украины докладывал о деятельности еврейской самообороны в последние годы. Эта героическая организация из тысяч человек спасала многие общины от бандитских налетов и погромов, но большевистские власти наконец запретили самооборону, как некогда запрещали ее царские министры и губернаторы.

29 декабря. Были д-р Эренпрайс⁸¹³ из Стокгольма и Шолом Аш из Варшавы, провели вечер в душевной беседе. Обычные разговоры, волнующие: о пароксизмах польской юдофобии, о партийной грызне в Варшаве, доведшей до голосования еврейского коло в сейме (сионистского) против школы на идиш. Я тоже подписал воззвание протеста...

Все более колеблется во мне догма scripta manent⁸¹⁴, вера в бумажное бессмертие, когда я вижу растущую до неба бумажную башню. «Остерегайся, сын мой, делать много книг без конца» — это было последнее разочарование Когелета: не только жизнь ничего не стоит, но и писать о ней, философствовать бесцельно. «Все суета». Хмурый день, глядящий в окно, и недомогание физическое располагают к этому печальному рефрену.

* В то время явился к Эйнштейну, Койгену и ко мне какой-то прожектор, богатый польский еврей Докторович и предложил построить еврейский университет на участке земли, который он готов пожертвовать в Данциге или в Чехословакии. Наш визит у Эйнштейна был отчасти связан с этим проектом, который потом не осуществился.

КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕСЯТИТОМНОЙ «ИСТОРИИ» (1925—1929)

Глава 71

Переход от русского к немецкому изданию (1925)

Перерыв в русском издании «Истории» и продолжение немецкого. — Отход от общественной деятельности. — Отклик на языковую борьбу. Серия статей «От жаргона к идиш». — Студенческие вечера. Эдуарда Бернштейн. Картина-символ. — Лето в Фихтенгрунде и Иоганисбаде. — Тихая обитель в Груневальде. — Уступка моей коллекции иудаика библиотеке берлинской общины. Берлинское книжное богатство в моем распоряжении. — Исследование о фальсификации писем Бешта и творцов хасидизма. — Редактирование III тома «Истории». — Из дневника.

1925 год был переходным в моей берлинской жизни. Делалась последняя попытка закончить издание «Всемирной истории еврейского народа» в русском оригинале, перерабатывался и печатался второй том «Древней истории», кончающийся главой о возникновении христианства, но дальше этого тома издание не пошло: окончательно пропала надежда на возможность распространения книги в России, а бедная эмиграция не могла покрывать расходы на десятитомную громаду. В этот момент, однако, открылась более широкая перспектива: возможность полного издания моего труда в немецком переводе, который сделал бы его доступным всему образованному миру. Открытая издательством «Jüdischer Verlag» подписка на все десять томов имела большой успех, особенно после выхода в свет первых двух томов «Древней истории»; было решено продолжать издание усиленным темпом, по два или три тома в год. Со второй половины 1925 г. я мог всецело отдаваться любимой работе усовершенствования моего труда в последней редакции. Я усердно исправлял петербургскую рукопись на основании новых, доступных мне в Берлине источников и параллельно читал корректуры немецкого перевода Штейнберга с этой рукописи для сличения с оригиналом. В это же время кончились и наши квартирные бедствия, горе всего эмигрантского Берлина: мы достали в районе Груневальда весьма удобные четыре комнаты в квартире одной профессорской вдовы, которая большую часть года жила в деревне, в своем имении, да и в остальное время не стесняла нас. Впервые я почувствовал настоящий уют берлинской жизни, столь важный для умственного труженика, в связи с роскошью берлинских библиотек.

Чтобы всецело отдаваться этой «ликвидационной» работе, я по-прежнему уклонялся от участия в различных общественных организациях, куда меня привлекали. Я обыкновенно отвечал приглашающим, что ликвидатор не может быть организатором. В начале 1925 г. шли выборы в комитет только что созданного «Союза еврейских общин в Пруссии» (Landesverband der jüdischen Gemeinde in Preussen), и группа лиц выставила мою кандидатуру как представителя восточных евреев. Помню, как приходили ко мне, когда я лежал в постели с высокой температурой от

очередного гриппа, и убеждали меня не отказываться от вступления в союзный комитет, центральный орган общинной автономии. Я нахожу у себя запись: «Я на днях устоял против соблазна: окончательно запретил поставить мое имя в список кандидатов, избираемых в Ландесфербанд. Ко мне ходили, убеждали поставить в списке кандидатов от Ostjudee свое имя, как программу. Я сам сознавал, что теоретику автономизма нужно было бы поддержать первый опыт централизации автономных общин в ассимилированном немецком еврействе. Но для этого нужна борьба, долгая борьба с ассимиляцией в ее главной цитадели, а с меня хватит былой борьбы в России. Я указал приглашавшим меня, что мое имя вызовет бурю среди „штаатсбиргер“ из „Централферейна“, которые охарактеризованы в третьем томе моей „Новейшей истории“; будут кричать о кандидатуре врага германского патриотизма, что повредит моим единомышленникам. Поладили на том, что вместо меня в списке будут Соловейчик, Лацкий, Крейнин».

Еще один раз в это время меня вовлекли в полемику. В Польше, кипящем котле партийных страстей, обострилась борьба между гебраистами и идишистами. Еврейская фракция в сейме, сплошь сионистская, голосовала против государственной субсидии для школ с преподаванием на идиш, после того как сейм отверг двужычную школу на идиш и иврит. Против этого вотума был опубликован протест, к которому я присоединил и свою подпись, так как я находил, что из партийных соображений нельзя вредить народной школе с преподаванием на родном языке учащихся. Тогда на меня ополчились фанатики гебраизма, и один из них в сионистских официозах «Гаолам» и «Jüdische Rundschau» упрекал меня в солидарности с крайними идишистами, врагами древнееврейского языка. Он это сделал в форме «открытого письма» ко мне в обоих органах, и я вынужден был отвечать. В своем «Ответе фанатикам», помещенном в обоих еженедельниках, я отмежевавшись от партийных гебраистов и идишистов, упрекал обе стороны в крайнем фанатизме, в презрении к тому или другому языку. Здесь я проводил свой обычный принцип, что в странах диаспоры нормальная школа должна вестись на родном языке учащихся, кроме тех школ, воспитанники которых готовятся к эмиграции в Палестину, но что во всяком случае древний язык должен быть одним из предметов преподавания в связи с изучением Библии и литературы.

Спустя несколько месяцев я подошел к проблеме языков с историко-литературной стороны. По предложению редакции большой американской газеты «Тог» я начал писать серию статей под заглавием «Fun Jargon zu Idisch» — воспоминания о моих встречах с творцами «жаргонной» литературы (Спектор, Динесон, Шалом-Алейхем, Менделе) и о моих былых отношениях к ней в роли Критикуса. В моих записях значится (17 мая): «Внутренний толчок к писанию дало мне одно странное совпадение: в № 35 „Рассвета“ 1881 г. появились одновременно окончание моей боевой статьи за эмиграцию в Америку и моя же анонимная статья „Народная еврейская газета“, где я доказывал необходимость издания еженедельника на идиш... Что-то символическое показалось мне в том, что юноша, писавший 44 года тому назад за Америку и идиш, сам пишет теперь в американской газете на идиш, после того как за эти полвека выросли и американский центр, и „жаргонная“ литература...»

По-прежнему меня интересовало положение еврейской эмигрантской молодежи в германских университетах, которая росла из года в год и организовывалась в местные и центральные союзы. Помню студенческие конференции, в которых иногда участвовал. Одна из них была оригинальна по составу «почетных гостей». Их было трое за столом президиума: 75-летний Эдуард Бернштейн, представитель ортодоксальной еврейской общины в Берлине Меир Гильдесгеймер⁸¹⁵ и я. Я приветствовал организованность молодежи как признак здорового строительства после эпохи разрушения; Бернштейн напомнил о необходимости сочетать национальные стремления с заветами великой французской революции; Гильдесгеймер ставил студен-

там в образец бывших иешивотников. Одна еврейская газета поместила фотографический снимок нашего президиума и отметила символический смысл того, что за одним столом на эстраде сидели лидер социализма, вождь ортодоксии и идеолог свободного национального еврейства.

С Бернштейном я познакомился в доме Койгенов, с которыми он издавна дружил. При встречах он мне много рассказывал о своих юных годах и о старом еврейском Берлине. Чудное впечатление производил этот красивый старик с бородой патриарха, с живыми смеющимися глазами и добродушным юмором. Он со вниманием относился ко мне, очевидно тронутый моим замечанием в последнем томе «Истории», что в его учении ревизионизма отражается этический социализм библейских пороков и что он призван искупить юношеский грех Маркса против еврейства. Вскоре он сделался покровителем поалэ-сионистов⁸¹⁶ в Германии и «Лиги трудящейся Палестины». Однажды в майский вечер возвращались мы поздно из одного собрания с группой знакомых, и Бернштейн рассказывал нам о своей дружбе в годы изгнания с П. Аксельродом, который научил его нескольким русским фразам и песням; тут же на улице он спел нам «Вниз по матушке по Волге» с очень смешным выговором русских слов.

1 мая 1925 г. я отметил в дневнике: «Сегодня подписал к печати последние листы II тома русского издания „Истории“, может быть, последнего тома обреченного издания. *Le roi est mort, vive le roi!*⁸¹⁷ На столе у меня лежит только что вышедший изящный экземпляр I тома „Истории“ в немецком издании, которому так хорошо идет имя „Weltgeschichte des jüdischen Volkes“. Странная судьба! Через полвека после окончания труда Греца, историк с Востока, заброшенный на родину своего предшественника, продолжает его дело на его же языке, хотя и при помощи переводчика. Ближайшее время покажет, как будет принята моя еретическая концепция истории в стране традиционной „Wissenschaft des Judentums“».

Летний отдых 1925 г. мы провели сначала в Фихтенгрунде близ Берлина, а потом в чехословацком курорте Йоганисбаде, где мы жили в примитивном домике на горе. Устроились мы плохо. Лето было холодное, а квартиры и пансионы неудобные. Оставалось только любоваться издали видом исполинских гор (Ризенгебирге) на чешско-германской границе и спотыкаться по горбатым лесным дорожкам вблизи. Отдыху мешала спешная работа: нужно было читать и возвращать в Берлин корректуры немецкого перевода II тома и продолжать серию статей «От жаргона к идиш». Без сожаления расстался мы с курортом в конце июля, когда из Берлина пришла благая весть, что знакомая эмигрантская семья уступает нам свои четыре комнаты в вышеупомянутой квартире профессорской вдовы.

В начале августа мы уже устроились в этой уютной квартире на Шарлоттенбруннерштрассе, визави того дома, где мы провели печальную зиму 1922/23 г. Новая обитель положила конец нашим квартирным странствованиям: в ней мне суждено было прожить пять лет, лучшие годы нашей берлинской жизни, и довести до конца свой главный труд. Квартира была значительно дальше от груневальдского парка, чем прежняя у Розенка, но поблизости были Бисмарковская аллея с садиком на Йоганнаплатц и аристократический район вилл вокруг Кенигсаллее (где был убит Ратенау), и я там обычно совершал свои моционы, заглядывая в тихие улицы этого очаровательного города-сада.

К сожалению, мне и в новой просторной квартире не удалось устроиться с той специальной библиотекой иудаика, которую удалось вывезти из советской России. Долгое время эта часть моей библиотеки оставалась в Ковне, и когда я теперь решил перевезти ее в Берлин, мне пришлось отдать ее берлинской общине для присоединения к ее обширной библиотеке. Причина была двоякая: я все еще находился на положении эмигранта и не мог себе позволить роскошь оседлого устройства с большой библиотекой; во-вторых, нужда заставила меня продать ее общине за тысячу долларов, которые должны были покрыть дефицит моего домашнего

бюджета. Таким образом, после того как в России осталась и разошлась по рукам моя общая библиотека, а берлинской общине была отдана специальная (около тысячи томов), я остался при нескольких сотнях, преимущественно справочных, книг, над которыми постепенно нарастала груда новой литературы. Впрочем, нужды в книгах у меня в Берлине не было: мне их присылали на дом массами из государственной и общинной библиотек.

В это время я, между делом, написал маленькое исследование на иврит: «Подлинны или поддельны письма Бешта?» (для библиографического журнала «Кириат сефер» в Иерусалиме.) Уже несколько лет шли прения между учеными о подлинности недавно найденной обширной коллекции писем Бешта и других основателей хасидизма, которая распространялась в рукописных и печатных копиях. У меня были рукописная копия, присланная одним хасидом из Ростова, и полное собрание писем, только что напечатанное хасидами в Палестине. Как первый историк хасидизма, собиравший когда-то все крупницы материалов для построения критической истории, я с жадностью набросился на новые материалы, которые могли частью подтвердить мои выводы, частью дополнить их, и я был бы счастлив, если б эти материалы оказались подлинными. Но увы! После тщательной проверки оказалось, что «найденные» письма столпов хасидизма являются очень ловкою подделкою, совершенною знатоком старохасидской письменности и «житий святых», который приспособлял переписку святых мужей к известным легендам о них и таким образом якобы подтверждал легенду с тем, чтобы легенда подтвердила подлинность его «открытий». Путем анализа фактов и дат я установил фальсификацию переписки, а для большей верности я публично обратился к владельцам «подлинников», чтобы они их предъявили на суд экспертов. Но эти субъекты («Любавичер ребе» из династии Шнеерсонов⁸¹⁵ и его свиты) не откликнулись и тем сами себя изобличили.

Однако главная работа не позволила мне «баловаться» такими побочными научными экскурсиями. Я должен был взяться за окончательный пересмотр оригинала III тома «Истории» для сдачи немецкому переводчику. Эта сложная работа поглощала меня до конца 1925 г. С великим наслаждением делал я эту трудную работу усовершенствования, пользуясь вновь открытыми источниками по истории периода «палестинско-вавилонской гегемонии» (по моей периодизации) или «эпохи Талмуда и Гаонов» (по старой терминологии). Том почти в 600 страниц, который писался в Петербурге в бурные годы 1917—1918, был проредактирован в русской рукописи с сентября по декабрь 1925 г., а в немецких корректурах в первую половину следующего года.

Следующие выписи из дневников дополняют картину описываемого года.

2 марта. Сейчас послал письмо на имя Ахад-Гаама с приветствием к открытию иерусалимского университета. Как различны наши судьбы! Мой друг на покое, в своем доме в любимой стране, среди родных и близких, в привычной обстановке, но дух его ослаб, нервы больны и внешний покой не уравнивает душевную тревогу. А я выдерживаю давление чужбины и скитаний, лишен своего угла, оторван от друзей, и все же не лишен того душевного покоя, который так необходим для моей гигантской работы...

Тревожно кругом. Умер президент германской республики Эберт, честный республиканец-демократ. Скоро начнется борьба вокруг выборов президента. Черный стан готовится. Мнимоумершая юнкерская Германия пробуждается, а с нею призрак реванша, милитаризма и возобновления всемирного потопа.

10 апреля. В Германии кипят страсти перед выборами президента республики. Правые партии выставили кандидатуру Гинденбурга, живого символа милитаризма, преданного слуги Вильгельма; левые партии объ-

единились на кандидатуре лидера центра Маркса. Предстоит *vox populi*: за республику или монархию, за постепенный возврат к старому порядку.

24 апреля. ...Я сделал справку. В 1914 г. я доказывал необходимость еврейского университета в Западной Европе наряду с университетом в Иерусалиме и возражал фанатикам, запрещавшим университет вне Палестины. Эта справка мне понадобилась ввиду появления в американском журнале «Гадоар» неверного указания, будто я в 1914 г. был против университета в Иерусалиме (напечатано в номере журнала, где появилось мое приветствие по случаю открытия иерусалимского университета в нынешнем апреле). Сегодня отправил короткое письмо в редакцию, где восставил истину...

27 апреля. Президентом германской республики избран солдат-монархист Гинденбург. Эта неожиданная весть потрясает всех пацифистов и демократов... Снова запахнет порохом в международных отношениях. Еще более чуждою стала мне сейчас германская чужбина.

10 мая. ...Третьего дня слушал доклад проф. Сперанского из Петербурга об отношениях к евреям в России. Доклад малосодержательный, фразистый, с юдофильскими излияниями. Прения были неприятные. Бикерман и его друзья выдвинули свою идею об ответственности евреев за большевизм, им хорошо ответил с.-д. Португейс⁸¹⁹, что это — автоантисемитизм. Ряд оппонентов — и среди них редактор «Руля» Гессен — сочли нужным заявить, что им неприятен филосемитизм так же, как антисемитизм, и пытались уличить лектора в антисемитском настроении. Лектор всякому отдельно возражал. Мое положение было отвратительное: Тейтель посадил меня «почетным председателем» и я должен был сидеть до конца, чтобы не обидеть лектора. И все-таки не выдержал: взял слово, присоединился к возражениям Португейса и отметил неуместность прений такого рода при докладе информационном. В час ночи ушел из собрания, которое еще продолжалось.

На моем письменном столе множатся тома моих книг в переводах на разные языки. Часто причиняются неприятности. Сейчас лежат три тома, прекрасно изданных и перелетенных: «An outline of Jewish History», New York, 1925. Это — мой скудный школьный учебник, старый, нуждающийся в переработке, изданный ловким американцем в английском переводе под видом полного курса истории. В американской рецензии выражено было удивление, что моя «полная» история начинается с легенд об Адаме и Еве. Я уже разъяснил этот «благочестивый обман» издателя в письме в редакцию «Тог»...

29 июня. Лещинский передал мне последние номера получаемых из России еврейских газет (большевистских, разумеется), где на мой счет лгут бессовестно. Меня там причисляют к «монархистам» из группы Бикермана, против которого я недавно резко протестовал в берлинском собрании...

10 августа. Вчера был на конференции эмиграционных обществ. Встретил многих старых приятелей. Председатель Моцкин, между прочим, приветствовал присутствие «des Seniors der jüdischen Geschichtsschreibung», что вызвало овацию по моему адресу. Я молча кланялся, но потом пожалел, что не говорил: нужно было отметить различие между 1881-м и 1925 г., началом и концом еврейской иммиграции в Соединенные Штаты С. Америки. Иногда жалеешь о высказанном слове, но иногда — о невысказанном.

12 октября. Газеты печатают мое ответное письмо на запрос Еврейского телеграфного агентства относительно Jewish Agency (сионистской),

где я повторил свою мысль о переходе от партийного сионизма к народному...

20 октября. Пакт в Локарно⁸²⁰ — знаменует ли он начало пацифизма в Европе? Год назад сессия Лиги Наций в Женеве внушила мне такую веру, которая потом гасла под напором событий. Теперь душа старого пацифиста снова хватается за соломинку, чтобы не утонуть в безнадежности... Доживу ли до действительного пацифизма, до замирения душ, до начала Соединенных Штатов Европы? — Конечно, нет.

*Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути.*

25 ноября. «Дух Локарно», но рядом тлетворный дух фашизма и большевизма, поляризация политической мысли...

27 ноября. Голос из России. Гостящий в Берлине комиссар просвещения Луначарский изрек в собрании журналистов, что в России полная свобода научной мысли, «конечно, в пределах марксистского учения». Так же могли говорить инквизиторы времен Галилея, что у них полная свобода науки в пределах католической догмы. И этому изуверу новой церкви кланяются государственные люди Германии; этого «красного кардинала» принимают как некогда черных кардиналов церкви.

16 декабря. ...Сменяются события дня, могущие стать вехами века. 1 декабря ратифицирован договор в Локарно — первый задаток на европейский мир. Сейчас при Лиге Наций учреждается комиссия по разоружению. Скоро Германия войдет в Лигу Наций, а потом, может быть, и Россия, страна красного милитаризма. Будет ли поворот в истории? Вопрос будущего. Но сейчас меня занимает больше вопрос прошлого: о временной гегемонии еврейской Палестины XI в. Стою на этом пункте, утомленный напряженной работой... Сержусь на приглашения в заседания и собрания...

20 декабря. Нарушил обет: уступил настойчивым просьбам и вчера председательствовал на юбилейном банкете 75-летнего Тейтеля, затянувшимся до 2-го часа ночи. Моя вступительная речь о гуманисте, адреса, речи представителей разных обществ, русских и немецких, единение евреев и русских, восточных и западных евреев, националистов и ассимиляторов...

29 декабря. Маленький этап: сегодня кончил пересмотр манускрипта всего III тома (конец «Восточного периода»). Осталось только писать экскурсы, библиографию и прочие приложения.

Глава 72

Пересмотр «Западного периода» (1926—1927)

Два года работы над усовершенствованием того, что писалось в России в годы военного коммунизма. «Колонизационный период Европы». Хвалебные рецензии. Проекты французского и английского переводов. — Утреннее чтение телеграмм ИТА и весть о подвиге Шварцбарта в Париже. Организация комитета защиты. — Сближение с Моцкиным. — Лето в Альбеке. — Смерть Винавера. — Смерть Ахад-Гаама. Наша последняя переписка. Речи в берлинском траурном собрании. Мое слово о человеке светлой правды в темную ночь мистической веры. «Некрополь». — Подготовка конференции для защиты прав еврейских национальных меньшинств. Оппозиция ассимиляторов. Конференция в Цюрихе (август 1927). Мой доклад «Борьба за эмансипацию прежде и

теперь». — Образование Совета для защиты прав еврейских меньшинств. Его печальная судьба. — Процесс Шварцбарта и оправдательный приговор. — Выписи из дневника.

С изданием III тома «Weltgeschichte des jüdischen Volkes» был закончен «Восточный период» еврейской истории по моей периодизации. Теперь мне предстояло пересмотреть весь «Западный период», следующие четыре тома, охватывающие средние и новые века в Европе до революции 1789 г. Эта огромная работа была выполнена в два года, 1926-й и 1927-й. По условиям подписки издательство должно было выпускать каждое полугодие том в 500—550 страниц. В этот срок я должен был пересмотреть рукопись, составленную в советской России при условиях военного коммунизма, так что многое приходилось теперь основательно переработать; параллельно Штейнберг переводил русский текст, и затем мы оба читали корректуры. Никогда еще не работал я так интенсивно, но давно уже не испытывал такого душевного удовлетворения. Нет большей радости творчества, как в момент завершения и усовершенствования своего произведения, когда историк, как художник при последней отделке картины, сознает, что он сделал все возможное для воссоздания верной картины эпохи, для воскрешения прошлого.

В начале 1926 г. я еще дописывал эскурсы к III тому и читал корректуры, но уже в марте перешел с Востока на Запад и принялся за пересмотр IV тома, начиная с «Колонизационного периода Европы», который я впервые ввел в еврейскую историю как самостоятельный отдел. Между этим томом и следующим я позволил себе только недельный отдых в окрестностях Берлина, в Фихтенгрунде, где на границе зимы и весны беседовал с лесом. Там сопровождал меня на прогулках молодой беллетрист Самуил Левин⁸²¹, читавший мне с акцентом польского идиш свои драмы и романы из хасидского быта. Этот бедный эмигрант имел самородный некультивированный талант и был одержим писательской лихорадкой; он успел напечатать пару романов на идиш и в немецком переводе, но горькая доля на чужбине не дала ему возможности развить свой талант и занять подобающее место в литературе.

Вскоре после моего возвращения в Берлин полиция поднесла мне приятный сюрприз: полицией-президиум предоставил мне бессрочное право жительства (bis auf Weiteres), избавив меня от необходимости ежегодно ходатайствовать об этом праве.

Пришла благодатная весна. Как некогда в Одессе, я свои ежедневные прогулки соединял с любимой работой. Нахожу об этом в своей записи (25 апреля): «Разгар весны, но и разгар работы. Тянет в лес, в парк, но не отпускает письменный стол с грудой рукописей и книг. Ведь в июне надо кончить еще том. Иногда соединяю и то и другое, бегу на час-другой с книгами в парк, там читаю и делаю заметки под пение птиц, под шум детей, играющих рядом в песочном ящике. Книга выходит быстро, том за томом, и по свидетельству многих — производит переворот в умах. Вернусь к Габиролю⁸²² и Ренессансу XI в. в Испании. Сегодня на этом стою».

О вышедших томах «Истории» появились одобрительные рецензии, часто подписанные именами авторитетных германских ученых (Рудольф Киттель, Грессман, Лэр и др.). Еврейский ориенталист Феликс Перлес⁸²³ из Кенигсберга часто переписывался со мною. Он внимательно прочитывал каждый том тотчас по выходе и присылал мне свои замечания, особенно по части транскрипции восточных названий, где он был большим педантом. Трогательны были эти периодические послания, в которых проявлялось глубокое внимание к каждой мелочи моего труда. Книгою заинтересовались и за границей. Большое книгоиздательство Пайо (Payot) в Париже получило от меня разрешение на печатание трех томов моей «Новейшей истории» во французском переводе, но работа над переводом затянулась, а другие причины (о них будет рассказано дальше) задержали выход книги до

1933 г. В это же время был заключен договор с одной лейпцигской фирмой об издании английского перевода всех десяти томов моего труда, но это предприятие имело такой печальный «фатум», что о нем следует рассказать особо в одной из следующих глав.

При интенсивной научной работе я, конечно, вынужден был еще больше прежнего удаляться от общественной деятельности и побочных литературных работ. Однако я никогда не переставал следить за общей и еврейской прессой. Телеграммы Еврейского телеграфного агентства (ИТА в Берлине) приносили мне каждое утро вести из всех концов диаспоры, и я часто должен был делать над собою большое усилие, чтобы удержаться от реагирования на то или другое событие. Только в исключительных случаях я принимал участие в политических совещаниях. В конце мая 1926 г. меня взволновал выстрел Шварцбарта⁸²⁴, убившего в Париже главного виновника украинской резни Петлюру. 2 июня я записал: «Громко прозвучала национальная месть за украинскую резню 1918—1919 гг... Такие выстрелы нужны были скоро после преступления, но и теперь героический акт Шварцбарта потряс людей, забывших о пролитой невинной крови, о Проскурове, Житомире и других „городах резни“. На днях мы совещались тут, как нашему погрому архиву прийти на помощь защите на предстоящем суде. Писали в Париж». В Берлине одним из главных инициаторов в этом деле был историк украинских погромов И. М. Чериковер, приведший в порядок весь вывезенный из Украины архив при помощи своей жены-сотрудницы Ревекки Наумовны. Образовалась комиссия, в которой кроме нас участвовали люди, лично пережившие украинскую трагедию: Я. Лещинский, Н. Гергель⁸²⁵ и И. Клинов⁸²⁶. Руководителем работ в нашей комиссии был неутомимый политический деятель Лео Моцкин, стоявший во главе Комитета еврейских делегаций в Париже и часто приезжавший к своей семье в Берлин. В Париже организовался комитет защиты в деле Шварцбарта, привлечший знаменитейших адвокатов (Торреса и др.), а мы в Берлине составляли комиссию экспертов, которая приготавливала материал для защиты. Помню наши совещания, происходившие в моей квартире с осени 1926-го до осени 1927 г., когда состоялся процесс Шварцбарта. Моцкин докладывал нам о ходе следствия и организации защиты в Париже, о контрорганизации со стороны обвинителей — тамошних украинских политиков, о публикации наших материалов на французском и английском языках и о пропаганде в прессе. Был какой-то скрытый пафос во всех наших беседах, сознание, что мы заступаемся за того, кто заступился за честь наших мучеников и воскресил их память перед равнодушным миром.

Тут я научился ценить Моцкина, его самоотверженную преданность общеврейскому делу. Активнейший член и затем председатель исполнительного комитета сионистской организации, он еще со времен Парижской мирной конференции вел борьбу за права еврейских национальных меньшинств, а после гарантирования этих прав в международных трактатах заботился через упомянутый комитет делегаций о том, чтобы эти гарантии проводились в жизнь. Как представитель комитета он вступил во Всемирный союз национальных меньшинств, созывавший ежегодно свои конгрессы в Женеве. В августе 1926 г. Моцкин произнес на конгрессе замечательную речь, которую начал словами: «Я являюсь к вам как представитель древнейшего национального меньшинства — еврейского народа». Это повторение моей мысли о «древнейшем интернационале» внушило мне симпатию к Моцкину, и при встрече я его горячо благодарил за его достойное представительство на интернациональном форуме. Эта деятельность привела через год к созыву еврейской конференции меньшинств в Цюрихе, о чем будет рассказано дальше.

Июль 1926 г. я провел в приморском Альбеке, в четырех часах езды от Берлина. Здесь купание в море чередовалось с чтением корректур, немецких и еврейских (для томов на идиш, печатавшихся в Варшаве). По возвращении в Берлин я принялся за пересмотр текста V тома. С осени в нашей тихой обители стало шумнее:

приехала из Варшавы дочь София с обоими внуками⁸²⁷ на зиму. Мальчики помогали бабушке в переписке моих книг на машине и были моими неизменными спутниками в прогулках по Груневальду. Воскресла иллюзия бывшего Петербурга.

Но в это самое время сошел со сцены человек, с которым для меня связана была память о петербургской общественной жизни: в октябре умер на юге Франции М. М. Винавер. Смерть эта была совершенной неожиданностью для меня. Мы в последние годы переписывались, и эта переписка между Берлином и Парижем была полна тоски о прошлом. Еще летом 1926 г. прислал он мне новое издание своей книги «воспоминаний и характеристик», под заглавием «Недавнее», с теплою надписью: «На память об общей эмансипационной борьбе». Он сообщил мне, что намерен вскоре писать свои воспоминания о нашем Союзе полноправия, во главе которого он стоял в 1905—1906 гг., и спрашивал, нет ли у меня материалов для этой темы, так как весь его богатый архив остался в Петербурге. Я поспешил послать ему то, что у меня осталось из протоколов и актов Союза. Я был уверен, что воспоминания Винавера выйдут блестящими, так как он был замечательным стилистом, в особенности по мемуарной части. Я ждал писем, вопросов об общих наших переживаниях — и вдруг газеты принесли весть о смерти друга в его вилле на Ривьере. Через некоторое время вдова вернула мне пакет с моими материалами для истории Союза, по-видимому еще не тронутыми покойным. Я со скорбью думал, как совершенно иначе сложились бы судьбы России и русского еврейства, если бы февральская революция 1917 г. могла осуществить идеал демократической республики, и сильный политический ум Винавера мог бы вместе со всеми вождями русской демократии направлять жизнь великой страны.

Вскоре после смерти моего политического друга я потерял еще более близкого духовного друга, Ахад-Гаама. Оба представляли собою *esprits forts* нашего поколения, каждый по-своему, но, к несчастью, ясный ум Ахад-Гаама потускнел под конец жизни вследствие тяжелой нервной болезни. Годы отдыха в Палестине не улучшили его здоровья. Сначала он находил успокоение в издании своей обширной переписки, которая развернула перед ним свиток его прежней кипучей жизни, но когда и это кончилось, он снова почувствовал пустоту, так как писать он уже не мог, а упадок сил увеличивался с каждым днем. Даже свои письма он вынужден был диктовать.

В июне 1926 г. я получил от него письмо, где нашел следующие грустные строки: «Через месяц мне минет 70 лет, следовательно, моя жизнь кончена, ибо что будет потом, не идет в счет, если я даже буду еще жить. Особенно больно мне, что у меня нет надежды видеть Вас в скором времени, так как Вы отложили свой приезд в Палестину до 1928 года. Сомневаюсь, буду ли я тогда в живых». С глубокою тоскою написал я ему из Альбека поздравительное письмо к юбилею. «Я писал ему слова ободрения, а душа плакала над могилою тридцатилетних переживаний, над судьбою Иова, над муками праведных» (запись 18 июля 1926 г.). Жуткий ответ получился через три месяца: собственноручное письмо Ахад-Гаама, но написанное так, что становилось больно. Кривые строки, неразборчивый дрожащий почерк, предсмертное настроение. Врач советовал ему писать по четверти часа ежедневно, и он решил первые строки написать мне, а потом прибавлять понемногу в течение нескольких дней. Через два месяца весь мир облетело известие о смерти Ахад-Гаама в Тель-Авиве. Я получил эту весть в бюллетене ИТА, рано утром 4 января 1927 г. Через несколько дней мы устроили траурное собрание в большом зале берлинского Ложенгауз. Говорили Мартин Бубер⁸²⁸, я, проф. Ю. Гутман и Я. Кляцкин⁸²⁹. Я говорил по-древнееврейски, читая с рукописи. Я напомнил о красивой талмудической легенде, что днем на небе показывается фигура со знаком правды на лбу, а ночью со знаком веры; покойный поднял знамя правды в одну из темнейших ночей нашей истории, когда измученный народ жаждал только веры и самозабвения. Он вышел в юности из круга учеников Бешта и попал в круг учени-

ков Маймонида, глашатая «власти разума». Он умер, не написав своих главных трудов об этике и национальной идее иудаизма, планы которых показывал мне перед нашей последней разлукой в 1908 г.

Я чувствовал: пусто становится вокруг меня, уходят лучшие люди моего поколения и нужно увековечить их память. Давно я носился с мыслью о «Некрополе» — собрании характеристик моих умерших друзей в связи с воспоминаниями о них. Позже мне пришлось отказаться от этой мысли и ограничиться короткими отрывками, посвященными памяти друзей в настоящей «Книге жизни».

Смерть моих сверстников напомнила мне, что и мне надо поторопиться с ликвидацией жизненного труда, прежде чем явится неизбежный зов «оттуда». В том же январе я составил себе расписание работ на ближайшие четыре года, до предела 70 лет. Было намечено окончить за это время всеобщую историю, историю хасидизма, автобиографию и прочее. Эту программу мне суждено было осуществить, но в более продолжительный срок.

В 1927 г. меня отвлекала от научной работы новая общественная волна. Назрела идея преобразования парижского Комитета еврейских делегаций в смысле усиления его деятельности по защите гарантированных международными трактатами прав еврейских национальных меньшинств. Между парижским комитетом в лице Моцкина и Американским еврейским конгрессом в лице его президента Стифена Вайза состоялось соглашение о созыве в Женеве конференции для создания такого активного органа. Весною начались приготовления к конференции, но тут же началась атака со стороны ассимиляторов, которые в этом увидели затею сионистов и националистов. Соперник Вайза в американском еврействе президент Еврейского комитета в Нью-Йорке Луи Маршал⁸³⁰ высказался в интервью для прессы против созыва конференции. Выступил с протестом и главный раввин Франции Израиль Леви⁸³¹, отказались от участия в конференции парижский «Альянс Израэлит», Лондонский союз общин и Англо-еврейская ассоциация; откликнулось и черное клерикальное гнездо «Агудас Исраэль» во Франкфурте наивным заявлением, что евреи сумеют сговориться в каждой стране с правительством о своих религиозных нуждах и нет надобности создавать интернациональную организацию для защиты каких-то «национальных прав». Вся эта оппозиция мертвого западного еврейства возмутила меня, и я выступил против нее в обширном интервью, данном Еврейскому телеграфному агентству в Берлине (бюллетень 6 июля, перепечатанный во всей еврейской прессе). Я доказывал, что мы обязаны организовать защиту прав еврейских меньшинств в Польше, Румынии, балтийских и балканских странах на основании гарантий, данных Версальским трактатом и другими мирными договорами, что мы будем защищать через Лигу Наций не только национально-культурную автономию, но и гражданское равноправие евреев, часто нарушаемое в этих странах; что нужно вести борьбу за право на международном форуме, а не путем хода тайств в министерских передних; что даже западные ассимиляторы могли бы признать личность если не национальных, то религиозных меньшинств. Конечно, переубедить противников не удалось, и мы решили своими силами созвать конференцию, только не в Женеве, а в Цюрихе.

Я лично не мог уклониться от участия в конференции, призванной установить основы новой еврейской политики в международном масштабе. Отдыхая летом в Обергофе, я писал доклад для конференции на тему: «Старые и новые пути борьбы за эмансипацию». В середине августа я уже был в Цюрихе и остановился в отеле «Савой», где поместился главный штаб конференции: Моцкин, Вайз, Нахум Соколов, Усышкин и много американских делегатов. Приехали еврейские парламентарии из Польши, Латвии, Литвы, Чехословакии и других стран, много делегатов от сионистов, фолкистов и других срединных партий. Привожу здесь свои беглые записки во время конференции.

17 августа (11 час. вечера), Цюрих. Дивный солнечный день, весь в слушании и говорении на конференции, в кулуарах, при встречах с многочисленными знакомыми, в ресторанах и кафе. С утра до обеда — парадная часть: открытие конференции, речи председателей Моцкина, Соколова, Вайза. Затем приветствия. К концу неожиданно вызывают меня для приветствия. Экспромтом я сказал: «Не уполномоченный никакой организацией, могу лишь приветствовать от имени еврейской истории, которая учит нас, что еврейство — древнейший интернационал в мире, и проблема его может быть разрешена только интернациональным путем». В последнем заседании прочел свой доклад «Борьба за эмансипацию прежде и теперь». Затем ряд английских речей (американцев) и длинный доклад Моцкина о положении меньшинств. Кончили вечером, и я недавно вернулся из кафе, где ужинал в компании старых и новых знакомых. В течение суток встретил Соколова (в последний раз видел его до войны), Темкина, Ефройкина, Усышкина (не видел с 1917-го) и многих других. Представились новые лица обоих полушарий... Теперь сижу (в стеле) у открытого балкона в теплый вечер, гудят трамваи и ауто, а в голове проносятся, в связи с новыми встречами, тени былого, былой России.

20 августа (утро). Еще два дня на конференции. Речи в пленуме. работы в комиссиях, кипение страстей. Страсти разгорелись не по главному вопросу о создании интернационального органа защиты прав евреев, а по второстепенному: спор о языках в школе. Крайние гебраисты вроде Усышкина и идишисты (Чернихов, Номберг⁸³²) внесли эту фанатическую страстность. Чернихов, по обыкновению, устроил несколько скандалов. Резолюции проходили вчера в атмосфере «бегале», среди криков и шума. Американцы своими 24 голосами давали перевес гебраистам, хотя они плохо знакомы с школьным вопросом в странах еврейских меньшинств. Они победили и в главном вопросе об органе, добившись перемены его имени и места: Council for protection of the rights of Jewish Minorities⁸³³ вместо Comité des délégations juives⁸³⁴ и Женева вместо Парижа... За наступлением субботы не удалось огласить последние резолюции и придется кончать сегодня вечером. Сегодня (суббота) приглашен на обед к д-ру Гиршкопу, идеалисту и мечтателю, автору книги «В чем смысл жизни», который в 1923 г. ходил ко мне в Берлине и потом писал из Парижа.

22 августа (в вагоне Цюрих—Шафгаузен). Снова в вагоне, быстро мчащем меня домой, в Берлин. В субботу днем особое заседание комиссии Шварцбарта, с американцами. Вчера заключительное заседание конференции. К концу настроение сильно поднялось. Новый орган составлен. Меня выбрали не только в Совет (Council), но и в президиум, куда вошли Моцкин, Вайз, Соколов, Гринбаум и др. Последние речи дышали надеждой. Я говорил о единении евреев двух полушарий и о соучастии маленькой страны с большой будущностью — Эрец-Исраэль; напомнил о призыве к синтезу Цион—голус, который здесь осуществляется после преодоления «детской болезни» отрицания голуса, ибо здесь Сион пришел к голусу. Усышкин в своей речи последнее, конечно, отказался признать, но говорил примирительно. Простились трогательно, разошлись в два часа ночи.

Так создалась организация, которая при нормальном развитии могла бы сыграть очень важную роль в еврейской политике, призванной заменить старую и малопочетную еврейскую дипломатию. Но окруженное атмосферой вражды или равнодушия, новое начинание не имело воздуха для своего роста. Прежде всего не оправдали наших ожиданий американские друзья. Они покрывали лишь малую часть возложенного на них бюджета, поддерживая информационное бюро нашего

Совета в Женеве под управлением Ц. Аберсона⁸³⁵ и оставляя без средств главный парижский комитет, руководимый Моцкиным. Дипломаты и «ходатаи» из старых учреждений не переставали пугать общество нашей открытой национальной политикой, и обер-дипломат Люсьен Вольф⁸³⁶, «министр иностранных дел» при «Союзе еврейских общин в Лондоне» (Foreign office of the Board of Deputies), полемизировал на страницах своего «Jewish Guardian» против моего доклада на Цюрихской конференции о старой и новой политике («The new diplomacy», по его выражению). Парижские ассимиляторы также мешали Моцкину в его самоотверженной работе.

Осенью наступил разбор дела Шварцбарта в парижском суде. Наш комитет защиты удвоил свое рвение. Моцкин и Чериковер усердно работали в Париже. Я опубликовал через ИТА в день Рош-гашана воззвание, которое кончалось словами молитвы: «О земля, не покрывай моей крови, и пусть не будет места, куда бы не донесся мой крик!» Я пояснил: «Не мести мы хотим, но раскрытия страшной правды (о трехлетней резне евреев на Украине бандами Петлюры). Весь еврейский народ должен прийти на помощь нашему комитету защиты». Действительно, на процессе раскрылась страшная картина еврейского мученичества и гайдамацкого зверства, и дело кончилось полным оправданием Шварцбарта. Через семь лет после исторического преступления суд мировой совести осудил преступников и выразил сочувствие их жертвам.

Я в это время работал над редактированием седьмого тома «Истории». Целые параграфы были вновь написаны, особенно в главах об Австрии и Германии XVII—XVIII вв. Польский центр занимал главное место в этом томе. Яснее была установлена связь между украинской катастрофой 1648 г. и мессиянским движением Саббатая Цеви⁸³⁷. Вся сложная драма эпохи, начавшейся мартирологом XVII и кончившейся просветительным движением XVIII в., была не только написана, а мысленно вновь пережита. Пересмотр VII тома был закончен только в феврале 1928 г.

К этой динамике двух лет прибавлю некоторые выписи из дневников.

1926

1 января. Мировые перспективы все еще темны, несмотря на «дух Локкарно». Внутренно, морально народы еще не разоружились. Фашизм справа и большевизм слева грозят неисчислимыми бедствиями. Хулиганствует антисемитская толпа, преимущественно студенческая молодежь в Германии, Венгрии, Румынии, Польше... В центре Берлина «гакенкрейцеры» на днях избili престарелого еврейского ученого Ительсона (моего бывшего оппонента в дебатах о начале христианства). А в России царит инквизиция красных доминиканцев и уничтожает всех, без различия исповеданий. Там растет поколение в рабстве, и само понятие о свободе личности и коллектива ему будет чуждо. Нужны гигантские силы, чтобы побороть зверя в человеке после озверения мира в годы войны. Нужны борцы-мученики за святое дело очеловечения национализма, сочетания гуманного с национальным.

15 января. Был на днях варшавский раввин, проф. Шор. Принес ряд статей обо мне, которые он напечатал в краковской газете в 1920 г., когда я еще был заперт в России... Он зовет меня в Варшаву — читать лекции в имеющем открыться еврейском научном институте, и я ему должен был арифметически доказать, что у меня не хватит лет жизни для окончания работ нужнейших.

22 января. Соблюдаю обет отшельничества: работаю и никуда не хожу. Вопреки настояниям друзей, не пошел вчера на юбилей Житловского, а послал письмо с оценкою деятельности юбиляра...

5 февраля. Чрезмерный наплыв посетителей нарушает мое отшельничество. Были ученые (Блау⁸³⁸ из Венгрии, здешние Эльбоген и д-р Бернфельд), политики и журналисты. Две газеты на идиш в Риге спорят за мое сотрудничество, и когда я одной («Фриморген») дал для перепечатки прошлогодние мои статьи из американских газет («От жаргона к идиш»), другая газета заявила претензию. Телеграммы, письма, полемика...

Сейчас читал в корректуре параграф об историческом значении Талмуда. Какая цепь мыслей протянулась от моих бурных юношеских статей 1881 и 1883 гг., через ряд изданий моей «Истории», до этой последней редакции оценки Талмуда! И все же под холодным покровом исторического синтеза, продуманного 45 лет, слышен еще трепет мысли юного революционера... Эмбрион идеи остался. Это вернейшая проба всякой идеи.

11 мая. ...Получил из России предложение (письмом и телеграммой) дать статью для выходящего в Харькове «беспартийного» журнала «Еврейский мир», где пишу несколько знакомых. Я ответил, что беспартийность в советской России не означает независимости и что я не могу писать, пока там не будет свободы печати или, по крайней мере, возможности бороться за нее. Писал ответ с волнением: ведь это отклик на зов с родины, навсегда для меня закрытой.

16 мая. Неделя «крестовых походов». Пересмотрел и исправил эту главу, опять напевая во время работы рыдающие гимны, но не теряя философско-исторической нити. А в эту неделю «отбунтовала вновь Варшава»: военный переворот Пилсудского⁸³⁹ в Польше, падение реакционного правительства и новый режим *in spe*. Обошлось пока без еврейских погромов...

Сегодня выборы в берлинскую еврейскую общину. Я дал свое имя национальному списку («Фолкспартей»), чтобы противодействовать ассимиляторам-«либералам», выкинувшим лозунг: «Keine Volksgemeinde, nur Religionsgemeinde»⁸⁴⁰.

1 июня. Странный день вчера: день поминок. Утром стал просматривать материал о Фруге для чтения на вечере памяти поэта в клубе «Союза русских евреев». Весь охваченный воспоминаниями, повторял грустные стихи Фруга. Вечером в большом собрании читал отрывки из воспоминаний, читанных десять лет назад в Историческом обществе в Петербурге после смерти Фруга, и прибавил кое-что для оценки его как певца гнева и печали. Затем читал Айхенвальд⁸⁴¹ (художественная оценка Фруга), декламировали и пели его стихи на трех языках... Затянулось собрание за полночь...

14 июля, Альбек. Вчера прочел в одной газете известие о смерти Вольнского-Флексера в Петербурге. Всплыли воспоминания далеких лет. Встречи с юношей-«спинозистом» у Фруга, в нашей общей квартире 1883—1884 гг. Затем совместные занятия по курсу юридических наук зимою и весной 1886 г., во время моего глазного недуга... Осень 1886 г. в квартире Эмануилов на Литейном, совместное житье с изучением «Логики» Милля, с хлопотами о праве жительства. Мой невольный отъезд и переписка 1887 г. И вдруг все обрывается... Мы стали жить в двух мирах, чуждые, далекие... И только в дни ужаса, в 1920 г., встретились мы в канцелярии большевистского субкомиссара, где обсуждали вопрос о какой-то научной комиссии. Встреча не соответствовала ни воспоминаниям былого, ни трагизму момента...

4 ноября. ...Чтение корректур библиографии всех моих статей и книг, составленной д-ром Майзелем для здешнего сборника Сончино-гезельшафт. Туда усердный библиограф включил даже все мои мелкие рецен-

зии, сокращенные в моей рукописной автобиблиографии... Я исправлял эти корректуры, и предо мною носились картины 46 лет непрерывного труда.

О прошлом мне напомнила и книга М. Кагана (Мардохай бен-Гилель Гакокен) — его автобиография «Olami». Там есть глава о «первом появлении Дубнова» в 1880—1881 гг. в Петербурге. Помню: Нарвская застава, 6-я Рота, Таиров переулок, редакции «Русского еврея», «Рассвета».

Когда думаю о своей жизни, убеждаюсь, что самая характерная ее черта в том, что я всегда, с ранней юности, шел своим путем, не уклоняясь ни вправо, ни влево. Я всегда выработывал себе определенный идеал или план и строго следовал ему. Я делал иногда ошибки, исправлял их позже, но не под чужим влиянием. С ранней юности я стал на путь self-made man⁶⁴² и остался на нем поныне... То же в моих планах научных работ, которым я приносил в жертву сотни заманчивых предложений со стороны: Non possumus⁶⁴³. Я сам делал свою жизнь. И я мог бы сказать своему Создателю, отступая от обычной формулы: «Боже, душа, которую ты в меня вложил, я ее творил, я ее создал...»

1927

20 января. Думалось о том, чтобы свою автобиографию писать под заглавием «История одной души», с введением «Интеграция души». Это будет история нарастания пластов души от первых моментов сознания до конца — материал для психогенезиса...

27 января, Дрезден. Сегодня до обеда бродил по улицам Дрездена. Прощел мимо Исторического музея, но прочел надпись: «Gewehr, Porzellan»⁶⁴⁴ — и не зашел. Не тянет меня к истории, творящейся между Марсом и Бахусом.

29 января, Дрезден. Силою воли эвакуировал голову, приостановил творческую работу ума, как бы заморозил душу... Но начинаю чувствовать «боязнь пустоты». В такие редкие минуты понимаешь людей, бегущих от себя, от внутренней пустоты на зрелища и собрания, в гости. Только при полноте души в живой работе человек доверяет себе, остается цельным микрокосмом. В этом микрокосме человек находит себя, в макрокосме же, в космосе, он теряет себя, становится невидимым атомом. Космический холод проникает в васиит души.

26 февраля. Умер Брандес, мой любимец 80-х годов, в годы моего космополитизма; позже вышедший из моего кругозора, он сейчас стал мне как будто ближе, и я теперь не повторил бы таких резкостей о нем, как в «Письме о национальном воспитании» в 1902 г. Он был сыном своего поколения, где были титаны и пигмеи, — он ближе к титанизму. Он умер 85 лет, при ясном сознании; писал большие труды еще в последние годы (о Цезаре, о Христе). Для нас, стоящих на грани жизни, это — большое утешение. Боже мой, сколько бы я успел сделать, если бы прожил еще 18 лет при полной трудоспособности!..

10 апреля. Ах, эта непрерывная лихорадочная работа, эта спешная «упаковка вещей» перед отходом поезда на тот свет, как я называю свою ликвидацию жизненного труда!.. Одна молитва в душе: чтобы поезд не отошел до упаковки дорожных вещей...

17 апреля (первый день Пасхи). На днях посетил нас редкий гость: Роберт Зайчик, которого я не видел с 1897 г. в Швейцарии, а его тетя Ида — с 1885 г. в Мстиславле. Он уже давно стал «католиш» в душе, если не официально, и между нами нет общего языка. Тем не менее мы пару часов оживленно беседовали, затрагивая большие вопросы слегка, без

дискуссии... На прощание я дал ему пару томов «Новейшей истории», чтобы он понял мою позицию. Его же позиция для меня темна, но догадки о ней невеселые.

15 июля, Обергоф. Только что прочел драму И. Штейнберга из времени большевистской революции 1917—1918 гг. Сплошь идейная драма: борьба индивидуальной этики с культом революции. Автор, как временный комиссар юстиции в ленинском правительстве, сам это пережил. Он теперь искупает свою вину страстной борьбой против советского режима, и все же не отрекся от культа революции. Я ему напомнил стихи Гюго:

*Les révolutions, qui viennent tout venger,
Font un bien éternel dans leur mal passager,*

но прибавил, что их невозможно применять к большевистской перманентной революции, которая не может уже считаться «переходным злом».

21 июля. ...Надо написать заметку о Житловском для его юбилейного сборника... Просмотрел три тома его публицистики и многое узнал о его «автономизме», понял причины его полемики со мною в 1907 г., субъективные и объективные. Употреблю все усилия, чтобы быть объективным, воздать должное его заслугам и преодолеть неприятное чувство от его полемического приема...

22 августа, Цюрих. ...Вчера ездил на Итлиберг (близ Цюриха) вместе с семьей Гиршкоп, в квартире которой провел день и ночь до отъезда. Был у пансиона Аннабург, где жил в 1897 г. Когда сказал на дворе прислуге, что я тут жил тридцать лет назад, она была тронута.

27 августа. Умер еще один из нашего петербургского кружка: А. Я. Штернберг. Три года назад он здесь был проездом, и мы говорили о печальной судьбе оставшихся в советской России. Нас связывала некогда работа в комитете Еврейского Историко-этнографического общества, и перед отъездом из России в 1922 г. я передал ему председательство в комитете и редактирование «Старины». Он успел издать один том «Старины», готовил другой, но недокончил...

31 августа. Два вечера в интересной научной беседе с Балабаном из Варшавы. В газетах отголоски Цюрихской конференции; польские фолкисты и бундисты ругают ее. В бюллетене ИТА сегодня появился мой ответ на запросы о результатах конференции.

28 сентября (2-й день Рош-гашана). 67 лет жизни. Жизнь подвигается к концу, но и работа жизни подвигается. В этом мое утешение. Моя мечта и молитва — чтобы оба конца совпали.

23 октября. Дожди, сильный листопад. Шагаю по мокрым трупам листьев на улицах, в аллеях. Многие красуются еще на ветвях, с желтой печатью смерти. Чья очередь? Круг их жизни — от весны до осени. Наша жизнь, людей духа и письма, длиннее и сравнится с жизнью ветви, а жизнь избранных — с жизнью ствола. Но ведь обе жизни, земная и по-смертная, в памяти людей. И это есть «вечность», и для нее мы пишем об «исторической вечности», которая через тысячу лет может быть стерта с поверхности земли!.. Когда-то я написал себе девиз: Scripta manent!⁸⁴³ Теперь пишу: Scripta manent? Восклицательный знак для нашего муравьиного века, вопросительный — для вечности. Бог есть результат цепляния человека за вечность. «Человек — как трава его век, но ты, Боже, жив и вечно». Эта антитеза лежит в основе религии.

27 декабря. Весть о смерти В. Темкина в Париже. Еще в августе мы встретились в Цюрихе на конференции, жили рядом в отеле «Савой», гу-

ляли на берегу Цюрихского озера, вспоминали былое. Он жаловался на бессонные ночи, слабое сердце, на тревоги за сына, оставшегося у большевиков. Теперь умер, мой ровесник. Вспомнился вечер в одесском клубе «Беседа» (в конце 1902-го или начале 1903-го), когда он меня в речи величал «Нестором еврейской истории» (Нестор в 42 года!) ...Валяются деревья в нашем лесу. Умирает поколение...

Глава 73

Последняя редакция «Новейшей истории» (1928—1929)

Лучшее время моей берлинской жизни. Переработка трех томов «Новейшей истории» для включения их в рамки десятилетнего труда. — Предисловие к VIII тому. Новое в X томе. Эпилог, 1914—1928 гг. — Погром в Палестине (1929) и «галут-араб». — Отклики из советской России. Ответ на приглашение в Киев: нет свободной науки без свободы мысли и совести. Ответ президенту Совета Белорусской республики: «Живется ли евреям в России лучше, чем в других странах?» — Статьи для «Еврейской старины» и донос литературного чекиста. Закрытие Общества просвещения и Исторического общества в Петербурге. — Судьба Совета для защиты прав национальных меньшинств; неутомимый Моцкин. — Выписи из дневников.

В начале 1928 г. я мог с удовлетворением сказать себе, что семь десятых моего большого труда закончены. Остались только последние три тома, которые раньше вышли в форме монографии: «Новейшая история еврейского народа». Теперь предстояло включить эти три тома, период в 125 лет от французской революции до мировой войны, в рамки истории трех тысячелетий и приспособить эту надстройку с увеличенным масштабом к архитектуре всего здания. И тут живущий во мне дух перфекционизма, жажда усовершенствования, подсказал мне, что необходимо внести ряд улучшений в недавно еще редактированную монографию, сокращать в одних местах и значительно дополнять в других, наконец, увенчать всю историческую драму эпилогом, доводящим ее до наших дней. Полтора года, отданные этой работе, я считаю лучшим временем моей берлинской жизни.

Введение к восьмому тому было перестроено в дверь, ведущую из новой истории в новейшую. В тексте подверглись основательной переработке главы, относящиеся к борьбе за эмансипацию в Германии и Австрии. Параграф об эпохе «берлинского салона» был дополнен по новым источникам и превращен в картину «весеннего разлива», затопившего стан израильский. В конце его (§ 33) прибавлена оценка, значительно смягчающая суровость моего прежнего приговора над этой эпохой антитезиса, когда еще не созрел синтез «человека» и «еврея». Австрийскую главу мне удалось дополнить по вновь опубликованным документам в большом сборнике Прибрама. Перед выпуском VIII тома я написал предисловие к нему *ad usum delphini*⁸⁴⁶, для ассимилированного западного читателя. Я выразил опасение, что многие читатели, следовавшие за мною в изложении истории еврейского народа до порога XIX в., откажутся идти дальше за историком, исследующим национальную эволюцию еврейства в тот век, когда оно уже перестало быть цельным народом и от него откололись эмансипированные элементы, считавшие себя органическими частями господствующих национальностей. Таким читателям я предлагал запастись терпением и узнать из моей книги, как это могло случиться, что прожившая тридцать веков древняя нация вдруг в тридцать первом веке была объявлена «бывшей нацией», но затем все-таки воскресла для новой национальной жизни.

В таком же порядке шло исправление девятого тома, «эпохи первой реакции» и «второй эмансипации». Опять были шире развиты «западные» главы, между тем

как «восточные» (о России), прежде слишком подробно изложенные, были несколько сокращены. Особенно тщательной перелелке подвергся десятый том, эпоха 1880—1914 гг. Параллельно с историей западного антисемитизма изображалось «национальное марранство»⁸⁴⁷ ассимилированных кругов, которое отличалось от средневекового религиозного марранства своим внутренним самоотречением. Вся эпоха была разделена на две части: «Антисемитическое движение и великое переселение» (1880—1900) и «Национальное и революционное движение» (1900—1914). Во второй половине ярче изображена идейная борьба внутри национального еврейства. Много душевных сил было потрачено написание эпилога, в котором сжато изложены и освещены события со времени мировой войны (1914—1928). Тут мне во многом помог тацитовский метод описания современности в кратком, лапидарном стиле. Я переписывал эпилог несколько раз, стараясь быть как можно объективнее в описании лично пережитого. Нелегко было, например, писать такие параграфы, как «Гражданская война и резня на Украине» или «Красное самодержавие в России и гибель русского центра». Я чувствовал себя как Иеремия на развалинах Иерусалима, но никто не скажет, чтобы мое описание было «иеремиадой»... Только в самом конце эпилога я позволил себе заключить всю десяти томную «Историю» маленьким прогнозом. Я поставил вопрос: Quo vadis, Israel? — и ответил на него апофеозом гуманизма.

Еще до выхода X тома из печати, эпилог был опубликован в английском переводе в американском сборнике, посвященном памяти Герцля, по случаю 25-летия со дня его смерти («Herzls Memorial Book», Нью-Йорк, 1929).

Когда я читал корректуры последних листов X тома, получилось известие об арабских погромах в Палестине (август 1929), и я успел отметить это событие только в примечании к эпилогу. Указал на трагический факт, что кроме «галут-Эдом» в христианском мире еврейство имеет еще «галут-араб» в мусульманском мире, на своей исторической родине. В прессе я откликнулся на арабский погром призывом к еврейскому народу ответить на это усилением иммиграции в Палестину.

Вспоминаю те дни непрерывной работы в тогда еще спокойном Берлине, до появления нацистских банд. Я все еще работал в своем большом кабинете на Шарлоттенбруннерштрассе, но расширил круг своих прогулок, во время которых обдумывал свои планы. Поблизости находились садики на Иоганнаплатц в Груневальде и на Киссингерплатц в Шмаргендорфе, туда я ходил на короткие часовые прогулки, но нередко отправлялся в большой груневальдский парк и еще дальше, в глубь Далема, где у меня были излюбленные места для отдыха и размышлений (сады и аллеи Имдоль, Цецилиеналле, Кронпринценалле и др.). Очаровывали меня тихие, почти безлюдные улочки Далема, с красивыми вилами в глубине садов; восхищала эта божественная тишина на окраине огромного города, в каких-нибудь двадцати минутах езды от центра, от шума Курфирстендамма, Потсдаммерплатц или Фридрихштрассе, где бушевало море людей и автомобилей. Для летнего отдыха я нашел прекрасный курорт в средней Силезии, старый Рейнерц, минеральные воды которого славилась еще при Фридрихе Великом. Красивое горное плато на высоте 600 метров, с подъемом в гору еще на 200 метров по чудной террасной дороге, вьющейся зигзагами в гуще могучего леса, — эта местность была идеальным местом отдыха. Мы ездили туда ежегодно, в конце лета. Обыкновенно мы жили в расположенном у подошвы горы пансионе, носившем библейское название «Эбен-зер» (по-немецки произносилось «Эбен-эзер»). Его основатели имели какое-то отношение к местному католическому монастырю, и отсюда его символическое имя: «Камень помощи».

Иногда откликался я на политические злобы дня. Вести из советской России о положении деклассированных еврейских масс разрывали сердце. Больно было думать о физическом вымирании тысяч еврейских городов и местечек и о духовном вырождении молодежи, воспитываемой в духе большевизма. Из России мне очень

редко писали: боялись гнева чекистов. Поэтому очень удивило меня полученное в январе 1928 г. приглашение от Украинской академии наук в Киеве пожаловать на торжественное открытие еврейской отдела при ней. Приглашение было подписано Н. Штифом, который за пару лет перед тем переселился из Берлина в Киев в надежде найти там работу, и еще двумя неизвестными мне особами, управляющим и секретарем отдела. Я ответил письмом, в котором благодарил за приглашение и пожелал новому научному учреждению «только одного: свободы, то есть чистого, свежего воздуха для научной работы». «Без свободы совести и мысли, — писал я, — объективное исследование невозможно, а без политической свободы не могут быть свободны ни совесть, ни мысль. Было бы хорошо, если бы мое пожелание не оказалось напрасным». Мое письмо вызвало возмущение в еврейской советской прессе и в кругах Евсекции. Киевским «академиком» сделали строгий выговор за приглашение «контрреволюционера»; в московской газете «Эмес» появилась громовая статья, где от согрешивших киевлян требовали покаяния и внушали им, что вся работа еврейских академиков «должна быть пропитана научным методом, господствующим в нашей стране пролетарской диктатуры, марксистско-ленинским методом». Высеченные киевляне испугались и напечатали в «Эмес» покаянное письмо, где обещали впредь «быть благочестивыми, как бог Маркс заповедал и как батюшка Ленин велит» (по моему ироническому выражению в дальнейшей полемике).

Вскоре произошла новая стычка. Президент Совета Белорусской республики, некто Червяков⁸⁴⁸, прочел мой доклад на Цюрихской конференции и нашел там следующую фразу: «Из большевистского Содома спаслись три миллиона евреев в отделившихся странах бывшей Российской империи: Польше, Латвии и Литве». Малосведущий в еврейских делах белорусский президент, посоветовавшись с товарищами из еврейской секции коммунистической партии, выступил против меня на съезде еврейских крестьян в Минске (январь 1928) с речью, в которой выложил обычные доводы, что именно в буржуазных странах Европы евреи ограничены в гражданских правах и часто подвергаются гонениям, а только в советской России они являются хозяевами и строителями новой жизни наравне со всеми трудящимися. Получив стенограмму этой речи в минской газете «Октябрь», я написал ответ под заглавием: «Живется ли евреям в России лучше, чем в других странах?» (напечатана в американской газете «Тог», 7 апреля 1928). Мой друг, экономист Я. Лещинский, снабдил меня статистическим материалом из советских же источников, на основании которого я доказывал, что в типичном еврейском местечке западной России около половины населения, бывшие торговцы, «деклассированы» и быстро вымирают, ремесленники и кустари живут впроголодь и только около 15 % (рабочие, служащие, земледельцы) живут более или менее обеспеченно. Очень плохо, конечно, и хозяйственное положение широких масс в Польше и других частях бывшей России, но там есть возможность борьбы за существование, чего нет в советской России, где средний класс и некоммунистическая интеллигенция просто истребляются. Тут я воспользовался случаем, чтобы ответить Евсекции на ее приказ киевским ученым «пропитать всю науку господствующим марксистско-ленинским методом». Я напомнил, что инквизиторы, судившие Джордано Бруно и Галилея, тоже были пропитаны известными догмами, но им пришлось услышать смелый возглас Галилея: «А все-таки движется!» Духовный мир постоянно движется, и наступит пора, когда люди в порабощенной стране почувствуют, что им недостает воздуха свободы, и тогда они поднимутся, чтобы разрушить новую Бастилию. Моя статья вызвала новую речь Червякова в заседании президиума белорусского Исполнительного комитета, где обсуждался вопрос о колонизации евреев в Биробиджане⁸⁴⁹. С длинными полемическими статьями выступил против меня и сотрудник нью-йоркской коммунистической газеты «Фрайгайт» (июнь 1928), но я уже не считал нужным продолжать полемику.

Осенью 1928 г. я получил от редакции «Еврейской старины» в Петербурге (Ленинграде) извещение, что они готовят к печати новый том этого журнала, который будет юбилейным, так как он выйдет в двадцатую годовщину учреждения Историко-этнографического общества и возникновения «Старины» под моей редакцией; они поэтому просят меня прислать для сборника научную статью и несколько страниц воспоминаний. Я послал главу из седьмого тома моей большой «Истории» (о реставрации польского еврейства после погромов XVII в.), а позже написал воспоминания о Еврейском Историческом обществе начиная с моего проекта 1891 г. Из Петербурга мне ответили, что обе статьи сданы в цензуру, что первая уже пропущена и поступила в типографию, а во второй понадобятся поправки. Я догадывался, что мои воспоминания, где упоминаются имена Винавера и других «контрреволюционеров», могут быть задержаны цензурой. После долгого молчания я, уже осенью 1929 г., получил из Петербурга обратно машинные копии обеих статей с типографскими пометками, свидетельствовавшими, что они уже были набраны; в воспоминаниях многие места были зачеркнуты из страха перед цензурой. Было очевидно, что власти спохватились в последнюю минуту перед выпуском книги и запретили обе статьи из-за имени автора.

Скоро выяснились причины этого запрета. В советском журнальце «Трибуна» появилась статья-донос некоего литературного чекиста Непомнящего⁸⁵⁰ о том, что в Ленинграде действуют еще два старых еврейских общества: Общество просвещения и Историко-этнографическое, которые устраивают научные доклады и издают сборники статей не в советском духе, а «белый эмигрант (?) Дубнов, выступающий в печати против советской власти», посылает из-за границы статьи для сборников «Еврейской старины»; Дубнов — «это символ идеалистического и, конечно, антимарксистского подхода к еврейской истории; его сырые материалы, выкопанные из архивов, мы, конечно, будем использовать, но весь его метод и его надстройки мы должны похерить и выбросить в помойку ненаучного идеализма». Вывод из этих дурно пахнущих слов был тот, что нужно оба общества закрыть и изгнать из науки врагов советской власти. Печатный донос подействовал. В конце декабря Еврейское телеграфное агентство ИТА в Берлине прислало мне оттиск только что полученной из Москвы телеграммы, в которой сообщалось, что совещание Евсекции в Ленинграде постановило учредить «марксистское научное общество», куда должны перейти библиотеки и архивы ликвидированных Общества просвещения и Историко-этнографического. Корреспондент прибавляет, что «красный профессор Томсинский⁸⁵¹ (перед отъездом из России я случайно видел этого полуграмотного субъекта) произнес речь, где сильно ругал Дубнова и Греца и осмеял историков из Историко-этнографического общества». Так я узнал, что две старейшие культурные организации закрыты. Через пару дней (29 декабря) в бюллетене ИТА была опубликована новая телеграмма из Москвы об этом факте с следующими официальными мотивами: 1) идеология обоих закрытых обществ чужда советской власти; 2) они поддерживали сношения с белогвардейским (?) эмигрантом С. Дубновым; 3) многие из хранившихся в еврейском музее (Историко-этнографического общества) вещей могут пригодиться для советской антирелигиозной пропаганды. Все газеты обошло тогда это известие о новом вандализме. Думаю, что в связи с этим разгромом могли пострадать и мои корреспонденты из России. С тех пор я не получил от них ни одного письма.

Мое участие в работах учрежденного в Цюрихе Совета для защиты прав еврейских меньшинств (парижского Комитета делегаций) ограничивалось в эти годы деловой перепиской с Л. Моцкиным. Он выносил всю тяжесть работ и забот этой организации, старался составить в Париже междупартийный комитет, пытаясь привлечь даже противников нашей идеи.

Преодо мною лежит подробное письмо Моцкина от ноября 1928 г. с описанием горячих дебатов в двух совещаниях в Париже, где единственным непримиримым

нашим противником выступил Г. Слюзберг. В совещании было оглашено мое программное письмо на имя председательствующего М. А. Гольдштейна, известного петербургского адвоката, примкнувшего к нашему делу. Все доводы моих друзей не могли подействовать на нашего «штадлана», который предлагал вместо Совета меньшинств учредить общество борьбы с антисемитизмом. При голосовании один только Слюзберг поднял руку против нашей программы, о чем Моцкин с торжеством сообщил мне. Помню посещения Моцкина каждый раз, когда он приезжал из Парижа в Берлин. Бывало, сижу за работой, звонит телефон, и слышится знакомый тихий голос: «Можно к вам сегодня?» Отвечаю: «С приездом, Лев Ефимович! Конечно можно, с пяти часов». И в назначенный час входит Моцкин, садится и начинает докладывать обо всем, что сделано по нашему делу за данный промежуток времени: о последней сессии всемирного конгресса меньшинств, где он был членом президиума, о последних заседаниях нашего парижского комитета, о равнодушии американских друзей, о заботах по обеспечению бюджета нашего бюро, наконец, о своей главной работе как президента сионистского исполнительного комитета и почти бессменного председателя больших сионистских конгрессов. Он часто являлся ко мне в промежутки между одной конференцией и другой, между поездками в Париж, Лондон, Женева, Базель. Бывало, кончит свой «отчет», выслушает мои замечания и, поднимаясь, чтобы уходить, скажет: «Ах, как хорошо у вас здесь! Так тихо, а в эту тишину к вам проникают все звуки жизни!» Вся тоска скитальца, вечного участника комитетов и конгрессов, слышалась мне в этих словах.

Многие частности о делах и настроениях 1928—1929 гг. я предпочитаю изложить в виде кратких отрывков из дневников.

1928

24 февраля. ...Заботы о литературном контроле над переводами «Истории»: еврейскими (иврит и идиш), английским, французским и другими. Нет у меня сил и времени для этого...

27 февраля. Вчера был И. Гольдберг⁸⁵² из Палестины. Рассказал о тамошних друзьях. Из другого полюса, «бывшей» России, приходят печальные вести: опять террор над крестьянами (колхозы), растущее обнищание еврейского города. Умерла в Питере Роза Эмануил. Рой воспоминаний...

5 марта. Сегодня написал для «Гатекуфа» предисловие к нашему воззванию 1903 г. о самообороне, составленному Ахад-Гааомом. Вновь перечитал это прекрасное по стилю воззвание и перенесся в ту роковую весну в Одессе.

16 марта. Написал для сборника Лещинского «Экономише шрифтен» статейку (на идиш) под заглавием: «Чего нам недостает в экономической истории?»

23 марта. Сделал еще одну промежуточную работу: рецензию на книгу Ньюмана: «Jewish influence on Christian reform movements». Отослал сегодня в «Цукунфт», редактору которого давно обещал. Это — последний литературный долг, который плачу в этот промежуток. Еще несколько дней — и я возьмусь за VIII том.

13 апреля. Переделал большую часть введения (в новейшую историю) и передал вчера Штейнбергу на нашем традиционном вечере последнего дня Пасхи. Были Лещинские, Койгены, Штейнберги и другие. Много нового в переработке, особенно в архитектуре VIII тома, включаемого в главный корпус «Истории». Штейнберг назвал это сооружение «Волькенкрацер» нашей историографии.

23 апреля. Вчера и сегодня «вышел из своей ограды»: заседал в экзекutive Совета для защиты национальных меньшинств, с Моцкиным, варшавским депутатом Гринбаумом, А. Клеем и другими. Надежды нашей Цюрихской конференции не сбылись: американские члены Совета не работают... Станным кажется назорею возвращение к прежней «суете мирской»: езда в центр города, заседания и прения в табачном дыму, волнения, споры. Понимаю всю важность дела, осуществляющего и мою идеологию, но, овеянный дыханием веков, чувствую, что есть нечто более важное и нужное...

2 мая. Сегодня кладу начало новому делу: посылаю в Тель-Авив первые отделы «Древней истории» в переводе на иврит, обязуясь тем послать дальше перевод всех семи томов до ранее изданной «Новейшей истории». Редактировал введение и кое-где в тексте. Приятно читать о библейском периоде на библейском языке: это настоящая реставрация.

На Балканах землетрясение: разрушены Филиппополь, древний Коринф. Что значит вся наша история на колеблющейся планете, что значит история перед геологией, человечество перед космосом?..

19 мая. ...На прогулках прочитывал старую «Маймониана» Вольфа: о Соломоне Маймоне, который полтора года лет тому назад явился в Берлин как литовский эмигрант. Ведь вот и я — литовский эмигрант, уже в пятом поколении, и пишу теперь историю этих пяти поколений...

25 мая (1-й день Шовуоса). Сегодня с утра мои Andachts-Stunden в парке. Читал биографию Генриетты Герц. Бродил по очаровательной Цецилиеналле и новой Тильлале, забрел в Далемдорф. Лучшего празднования Шовуоса не могло быть...

31 мая. ...Вот отрываюсь от гула веков за письменным столом, шагаю по зеленому царству Груневальда и Далема, и гремит надо мною в вышине птичий хор, псалмы небес. В эти «звуки небес» часто врываются «скучные песни земли», но я стараюсь отгонять их, ибо я душою ведь больше принадлежу туда, чем сюда. Туда? Не знаю, но тихо молюсь Великому Неведомому, непостижимой вечной тайне, прежде чем я сам растаю в этом мировом пространстве. Замрет и мой звук, но кажется — в нем не были только «песни земли», а была хорошая примесь «звуков небес»...

25 июня. Как хороша беззвучная утренняя молитва в час прогулки по просыпающимся улочкам, среди дремлющих в густых садах вилл! Сегодня нарушил утреннюю работу, чтобы проводить гостью, племянницу из Питера, доцентку...

30 июня. Кончил исправление текста VIII тома. Пошел в парк. Упоителен сосновый аромат в первый жаркий день Мечты. Так хотелось бы ходить между этими колоннами сосен и тихо беседовать с чутким сердцем, читать ему исповедь жизни и слушать его исповедь, порою забыть, что стоишь у грани жизни... Неисправимый романтик, мечтатель? Но как безобразна была бы нагота жизни без этого романтического плаща! С этим связан мой пантеизм, мой культ природы.

23 июля. Были И. Гольдберг, затем Дизенгоф. Последнего не видел с 1903 г., когда оставил Одессу (только мельком встретил его весной 1905-го в Вильне, на первом съезде Союза полноправия). Он покинул Россию и уехал в Палестину, строил Тель-Авив и был там бургомистром... В памяти воскресли одесские годы, соседство на Базарной улице, комитет национализации, клуб «Беседа» и наша борьба за национальную школу.

Получил коллективное письмо от группы читателей моей «Вельтгешихте», отдыхающих в санатории близ Вены. Люди из высшей немецко-еврейской интеллигенции, среди них пара известных имен, искренно выражают чувства, вынесенные ими из чтения ряда томов: «Мы все находимся под обаянием вашего увлекательного, с недостижимым жаром написанного труда». На закате жизни я далек от пустого тщеславия, но благословляю судьбу, которая, дав мне возможность почти полвека быть учителем еврейской истории для двух поколений интеллигенции в России, плодобила меня продолжать это учительство среди западно-еврейской интеллигенции. Вымирает моя бывшая аудитория на несчастной родине, но растет аудитория на Западе, чуткая, высокоинтеллигентная...

8 сентября, Рейнец. В парке сидел и читал речи в собрании Лиги Наций. Призывы к разоружению со ссылкой на недавно подписанный в Париже пакт Келлога⁸⁵³ об осуждении войны как способа разрешения международных конфликтов. С великим трудом прокладывает себе дорогу идея пацифизма среди политиков, пропитанных военной психологией.

19 октября, Берлин. Недавно был М. С. Абрамович (сын Менделеев), которого я не видел около 30 лет. Слушал его рассказы о бегстве из России, о скитаниях по Западной Европе (теперь живет в Брюсселе)... Отстал от наших интересов, отчужден... А сегодня другие посетители: организатор еврейского научного института из Вильны д-р Вейнрейх⁸⁵⁴, с здешними Лещинским] и Черик[овером]. Совещались о делах института. Надо собирать деньги на постройку дома и на организацию широко развивающегося дела...

1 ноября. На днях вечер прощания с Крейниным в клубе Шалом-Алейхема. Вспомнил о нашей общей работе, о петербургских вечерах 1906—1917 гг. Председатель банкета Брамсон тоже перенес мою мысль в старый Петербург...

6 ноября. Вчера и третьего дня пересматривал свои воспоминания о Фруге и написал к ним дополнительную главу о стихах Ф. на идиш для издающейся в Варшаве книжки «Фун жаргон цу идиш». Сердце ныло во время писания...

В еврейских газетах участились статьи моих посетителей обо мне, в которых не подозревал интервьюеров. Есть глупые, но попадают и порядочные...

15 ноября. Сегодня кончил последнюю редакцию «эпохи первой реакции» для IX тома. Справился в старом дневнике: в первой редакции она была закончена в Питере, 5 января 1913 г., среди обычных российских волнений. Теперь сижу в просторном берлинском кабинете, снизу доносится мягкий шум катящихся по асфальту автомобилей; так же гладко и ровно катится к последнему пределу моя трудовая жизнь, завершается ее задача и завершится, если не вся, то почти вся. Чего же недостает? Одно: нет России, нет того российского еврейства, для которого я почти полвека трудился... Пишу для мирового еврейства, кроме замкнутого в советском царстве, печатаюсь на разных языках, но не на том, на котором больше всего писал...

18 ноября. Тревоги в Палестине, столкновения у Западной Стены (в Иерусалиме), явно назревающая арабская опасность в гнезде надежд... Растущий антисемитизм в Германии: армия «национал-социалистов», пользующихся демократической свободой Германии для словесных погромов и разрушения еврейских кладбищ, чтобы потом перейти к настоящим погромам и истреблению людей.

1929

23 февраля. Чередовал переделку первой главы X тома с чтением корректур IX тома. Много дополнил в этой главе (особенно § 2: «Декларации самоотречения»)… Днем, на оттепели, в парке. Вынул из кармана новую книжку французско-еврейского журнала с переводом моей «Истории солдата»⁸⁵. Вспомнил жуткие дни, когда она писалась: кажется, начало 1916 г., под кошмаром войны. Это — своеобразная поэма, с ритмическим стилем, страстная, насыщенная слезами…

5 марта. О еврейских бедствиях во всем мире знаю детально, ибо читаю ежедневно телеграммы ИТА и газеты. Но все бледнеет перед физическим и моральным вымиранием трех миллионов евреев в советской России. Рвется из души гневное слово… В эпилоге к X тому дам характеристику режима…

19 марта. Вчера некоторый «шикзалстаг», предпрещающий мои работы в ближайшие годы. Весь вечер в совещаниях с д-ром Кацен. из «Идишер-ферлаг» и А. Штейнб[ергом]. Заключаю с издательством договор на новые три издания на немецком языке: 1) «Письма о еврействе» — осенью 1929 г., после выхода X тома «Weltgeschichte»^{*}; 2) «История хасидизма» в 1930 г.; 3) сокращенная «Weltgeschichte» в трех томах, которую составит Штейнберг^{**}.

С особенным блаженством сидел сегодня в садику на Киссингерплатц, купался в волнах солнца и заглядывал в старые записи. Сейчас сижу за работой, и музыка десятков весен звучит в душе, изливаясь в грустных напевах. Какая дивная поэма — долгая жизнь, богатая переживаниями целой исторической эпохи, двух-трех поколений! Сейчас стою на § «Внутренний кризис 80-х годов в России». Буду просматривать его с тем же скрытым волнением, с каким впервые писал его в страшную осень 1915 г. Ведь это и мой кризис, кризис моего поколения…

10 апреля. Решил прервать пересмотр дальнейших глав и написать вне очереди эпилог о событиях 1914—1928 гг. Роящиеся в голове мысли и планы не дают покоя, и я хочу сейчас приступить к эпилогу, тем более что я обещал дать копию его для одного сионистского журнала в Америке.

13 мая. Целый месяц писал и переписывал эпилог. Вышло больше, чем думал: больше двух печатных листов.

16 июля. Сию минуту окончил в последней редакции последнюю страницу (текста) X тома… Теперь остается только пересмотреть недавно написанный эпилог и читать корректуры.

20 июля. Время уходит на мелкие промежуточные работы. Вышла моя вторая книжка «Фун жаргон цу идиш», вообще приличная, но во второй половине, где идет не мой текст идиш, а перевод с русского, вышли скандальные ошибки.

Вчера и сегодня сижу над исправлением текста «Писем о еврействе» для ивритского и немецкого переводов. Сокращаю сильно, выбрасываю устарелое, хотя решил сохранить колорит времени, когда «Письма» писались. Трудная задача.

Вчера известие из Америки о появлении моего эпилога на английском языке в «Herzls Memorial Book», вышедшем в 100 000 экз.

^{*} Не осуществилось.

^{**} Напечатана только в 1937—1938 гг.

30 июля. ...Исправляю для сокращенного издания «Письма о еврействе». Теперь, после просева, осталась чистая мука: небольшой том, памятник былой идейной борьбы, материал для истории, могущий, однако, еще действовать на умы, особенно на Западе, в смысле прояснения национальной идеологии.

Наплыв посетителей не прекращается: палестинцы, американцы, здешние. Вчера неожиданно явился Белкинд, которого не видел с 1902 г., в Одессе. Первый «билуец», он превратился в палестинского «мешулаха», который выпрашивает в Европе и Америке денег на свою школу для украинских сирот. Вспоминали о давних временах и людях. Был и М. Закс, вспоминали о старом Питере. Были и Ефройкин из Парижа, Лацкий из Риги и др.

4 августа. Сию минуту кончил пересмотр эпилога к последнему тому «Истории». С глубоким волнением писал заключительный апофеоз о пророческом «конце дней».

10 августа, Рейнец. Третьего дня приехали сюда. Встречал на вокзале Лещ[инский], завез в пансион «Эбен-эцер». Комната с балконом, в доме, стоящем у подошвы горы, с дивным видом на поднимающийся лес и на зеленые скаты... Много людей кругом, еще не было уединения.

18 августа. Начитался о сионистском конгрессе и о конференции Еврейского агентства в Цюрихе. Новая эра в сионизме?.. Был вызван Моцкиным по телеграфу в Цюрих для участия в совещании нашего Совета национальных меньшинств. Ответил, что не приеду. А жаль: на очереди важные вопросы...

29 августа. ИТА и общие газеты принесли известие о кровавых погромах арабов в Палестине, о резне в Хевроне, о стычках в Иерусалиме и окрестностях... Преступление английского правительства в Палестине: оно могло предвидеть опасность, но не принимало мер, даже не оставило войск в Палестине...

4 сентября. Написал статью о нынешних погромах в Палестине для телеграфного агентства (ИТА).

8 сентября (утро). ...Завтра утром отъезд. Еду в Берлин на новую литературную кампанию. В бессонные ночи строю планы «Хасидизма» и дальнейших работ. Фатальная цифра «70» стоит совсем близко, и хотя я с каждым годом «молодею», я все же боюсь оставить неоконченной слишком много ликвидационной работы.

10 сентября, Берлин. Ушел от лесных и горных духов, от сутолоки пансионеров и вступил в царство домашних пенатов. Каждый год, на границе лета и осени, испытываешь это особое обаяние возвращения к пенатам, в свой кабинет, к письменному столу, где хранятся «труды и дни» жизни: манускрипты, дневники, переписка полувека, памятки. Радуетесь, что случайная катастрофа в твое отсутствие не уничтожила этих следов жизни... Вот начнется череда городской жизни: тишина и труд кабинета, вторгающиеся сюда звуки мира, думы на улицах и в садах Груневальда и Далема, новый этап ликвидации дела жизни, один из последних этапов долгого пути.

КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В БЕРЛИНЕ (1930—1933)

Глава 74

Переработка «Истории хасидизма» и ликвидация жизненного труда (1929—1931)

Труд 30-летнего, заверченный 70-летним. Пишу «справа налево»: полная переработка «Истории хасидизма» на иврит. Слияние зари и заката жизни. — Новая квартира у груневальдского парка, мнимый «последний приют» на пути странника. — Мечта о спокойном закате рушится перед надвигающейся грозой гитлеризма. — Мой юбилей и первая победа национал-социалистов на выборах в рейхстаг. — Тревожный 1931 год: экономический кризис и безработица. Террор национал-социалистов. Погром на Курфирстендамме. — Еврейская история, рассказанная детям. — Французский и английский переводы большой «Истории». — Из дневников.

Труд моей юности «История хасидизма» ждал 37 лет, пока наступила его очередь окончательной обработки. После постройки здания всемирной истории я вернулся к «Хасидизму» с тем нежным чувством, с каким возвращаются к своей первой любви, освещенной лучами жизненной зари. Был еще момент, который грел душу при этой работе: вместо первоначального русского текста, я теперь писал на том древнем национальном языке, который в детстве впервые ввел меня в мир книги. Я счел своим долгом написать на этом языке свой наиболее оригинальный труд, основанный на исследованиях по не доступным для других рукописным источникам; мое обещание Ахад-Гааму писать эту книгу вновь на иврит было тут подсобным стимулом. Я теперь мог восстановить в еврейском оригинале все цитаты из хасидской литературы и все документы из моей обширной рукописной коллекции и дать полную картину не только хасидского, но и миснагдского движения на фоне общеврейской истории. В эту работу я мог внести весь накопленный за много лет научный опыт: строже стал анализ источников, преданий и «благочестивых вымыслов»; часто приходилось с сожалением выбрасывать лирические места из первоначального русского текста, но общая структура осталась та же.

За эту работу я взялся в сентябре 1929 г., после возвращения из Рейнерца, места моего обычного летнего отдыха, и продолжалась она весь 1930 г., последний год моей спокойной жизни в Берлине. Мне тогда рисовалась картина ясного заката трудовой жизни, слитого с зарей ее: вот пристрою своего любимого первенца и возьмусь за «Книгу жизни», за «исповедь сына века», к чему меня особенно тянуло. Близилось мое семидесятилетие, до меня доносились слухи о приготовлениях к шумному празднованию его во многих странах, а я мечтал о том, чтобы провести этот день в тихом размышлении о пройденном пути и готовиться к «отчету души» перед собою и современниками. Чтобы создать себе уютный уголок для этой работы, я решил придвинуться ближе к груневальдскому парку и нанял квартиру из трех «элегантных» комнат во вновь строившемся доме, на границе Шмаргендорфа и Далема, в тихом переулке Рулерштрассе, который я уже давно облюбовал во

время своих прогулок. Я считал этот уголок последним приютом своей скитальческой жизни и не скупился на самую высокую наемную плату и на покупку мебели, лишь бы жить ближе к природе и в своем собственном углу, без немецкой хозяйки.

Но действительность очень скоро разрушила мои мечты. В Германии усилилось и вышло на улицу прежде подпольное движение, которое два года держало страну под знаком уличного террора, а на третий привело к власти Гитлера и его соратников. В начале августа 1930 г. мы переселились на новую идиллическую квартиру, через две недели уехали на отдых в Рейнерц, а вернувшись в сентябре в Берлин, пережили первую парламентскую победу национал-социалистов: на выборах в рейхстаг они провели 107 депутатов вместо прежней жалкой кучки в 12 человек. Через месяц, при открытии рейхстага, победители отметили свое торжество битьем стекла в «еврейских» универсальных магазинах (13 октября). Между этими двумя датами праздновался публично в Берлине мой юбилей, — впрочем, без участия юбиляра. Не до «jubeln» было. С этой осени постепенно исчезало чувство безопасности в Германии. В 1931 г. уже дали себя чувствовать мировой экономической кризис и безработица миллионов, а это отчаянное положение масс питало политический террор справа и слева, со стороны национал-социалистов и коммунистов. Кровавые уличные стычки между обеими партиями стали повседневным явлением. В сентябре 1931 г. гитлеровцы громили в центре Берлина, на Курфюрстендамме, выходящих из синагог и гулявших по случаю праздника Рош-гашана евреев.

В этой тревожной атмосфере мне приходилось заканчивать работу над «Хасидизмом» в трех его изданиях: иврит, идиш и немецком. Вместе с тем я взялся за одну промежуточную работу. Издавна я хотел написать коротенькую еврейскую историю для детей на народном идиш, и я решил сделать это в промежуток между «Хасидизмом» и «Книгой жизни». Я составляла эту книжку летом и осенью 1931 г.

Общий экономический кризис отозвался и на моих издателях. Берлинский «Юдишер-ферлаг» еще держался и мог напечатать немецкий перевод «Хасидизма» в двух томах (Штейнберг его хорошо перевел с иврит), но другие издательства сильно пострадали. Палестинский «Двир» очень медленно, в небольших выпусках, печатал оригинал «Хасидизма» и дальнейшие тома большой «Истории». Варшавские издатели на идиш стояли накануне банкротства. Из «Истории хасидизма» вышла на идиш только первая часть в издании нашего виленского научного института (ИВО), которому я пожертвовал свой авторский гонорар. Произошла задержка и в издании французского перевода «Новейшей истории», к которому было приступлено еще в 1926 г. Когда ассимилированные еврейские круги в Париже узнали, что крупный издатель Пайо собирается выпустить мою книгу, они дали ему понять, что это издание едва ли будет иметь успех у француженско-еврейской публики, далекой от национального понимания своей истории. Мне конфиденциально сообщали, что такая агитация шла из кругов «Альянс Израэлит» и парижского раввината. Когда же между тем появилось по-немецки переработанное издание «Новейшей истории» в последних трех томах «Weltgeschichte», Пайо потребовал от переводчика, чтобы он внес в уже печатавшиеся листы изменения и дополнения нового текста. Это задержало выпуск книги на ряд лет, и она появилась только в 1933 г., когда гитлеровский режим в Германии вызвал во всем мире усиленный интерес к судьбам еврейства.

Тут стоит рассказать о странной судьбе намеченного английского издания десятилетней истории, которое могло иметь особенно большое значение для еврейского центра в Америке. Весною 1926 г. ко мне явился известный не с хорошей стороны эмигрант, разорившийся виленский издатель, и привел с собою двух немцев, представителей лейпцигской фирмы, которые заявили о своей готовности издать мой труд в английском переводе. Я согласился, выговорив для себя только право выбора компетентных переводчиков и контроля перевода. Вскоре та же группа явилась с проектом договора от имени специально для этой цели основанного из-

дательства («Пенина-ферлаг»). Мне показались подозрительными и еврейское имя новой фирмы, и то, что рядом с подписью немца в договоре стояла и подпись сомнительного виленского посредника, и тем не менее я подписал, так как издатели тут же гарантировали уплату гонорара переводчиком. С большим трудом отыскал я в Лондоне переводчика, который в течение двух лет перевел первые два тома и высылал мне манускрипты. Но когда дело дошло до печатания, оказались препятствия юридические и финансовые: по закону о «копирайт» в Америку запрещалось ввозить напечатанные в Европе английские книги иначе, как под англо-американской фирмой; главной же помехой было то, что у издателей после оплаты труда переводчика не оказалось денег на типографские расходы. Тогда ловкий посредник поехал в Америку. Большое нью-йоркское издательство «Макмиллан», имевшее отделение и в Лондоне, согласилось вложить в это предприятие 25 000 долларов под условием, если такую же сумму внесут американско-еврейские меценаты, но таких меценатов не нашлось, кроме миллионера Розенвальда, который подписался только на 5000 долларов. Казалось, что дело провалилось. Однако после долгого шатания по Америке посредник вернулся в Берлин и от имени несостоятельного издательства потребовал выдачи ему рукописи для печатания в Америке, где он будто бы имеет кредит в типографиях и берет на себя лично распространение книги. Но я уже слышал о махинациях этого человека в Европе и Америке: он заманивал издателей планами разных предприятий, а затем ходил с напечатанными книгами по домам богатых людей и упрасивал их покупать книги для поддержки еврейской науки. Поэтому я решительно отказался выдать рукопись, которая стала бы орудием попрошайничества со стороны маклера. С тех пор он и одураченные им «издатели» шантажировали меня, ссылаясь на наш договор, пока я не обратился к адвокату-эксперту, который признал этот договор юридически недействительным вследствие явной несостоятельности издателей. Так и не удалось до сих пор осуществить план распространения нового исторического труда среди говорящих по-английски евреев Америки и Великобритании.

Выписи из дневников 1929—1931 гг.

1929

12 сентября, Берлин. Новая декорация на моем письменном столе или, точнее, совсем старая: книги и манускрипты, материалы для «Истории хасидизма». Начинает осуществляться мечта многих лет: издание этого труда в форме книги. Ровно 36 лет назад, в августе и сентябре 1893 г. в Одессе, я после окончания последних глав «Хасидизма» в «Восходе» лихорадочно работал над пересмотром текста для отдельного издания, но вынужден был прервать. Вторую попытку сделал осенью 1898 г., но успел только переработать введение и часть научного аппарата. ...Теперь я вне родины и не на ее языке, а на древнем языке моей нации буду писать «Хасидизм» и редактировать его еще на двух языках: немецком и идиш... Да, редкий случай — кончать на закате жизни труд, начатый на заре. Отныне я целый год буду работать под обаянием этой мысли.

6 октября (второй день Рош-гашана). Часы жизни пробили: 69. Уже совсем близко к пределу... Сегодня хотелось бы быть в полном уединении и предаться думам, но к вечеру соберутся гости, и тишина моей обители сменится шумом. Вчера мне тоже не удалось совершить обычную «молитву» Рош-гашана в лесу: очутился в Ботаническом саду в шумной компании и спорили о палестинской трагедии.

7 октября. Только час тишины был вчера в дальнем парке Имдоль, в полдень. Вечерние часы прошли в шуме гостей (около 15 человек). Был и Бялик, и пошли опять разговоры о больном палестинском вопросе и всякие споры о злобах дня.

11 октября. Свои воспоминания об Историческом обществе, возвращенные редакцией «Еврейской старины», я перевел в сокращенном виде на идиш и послал в нью-йоркский «Тог», редакция которого телеграфно просила меня о статье. В предисловии рассказал, почему в России нельзя было печатать эту статью, и озаглавил: «Запрещенные воспоминания».

4 ноября. Написал статью «Хасидизм» для «Энциклопедия Юдаика», как в 1902 г. писал для русской энциклопедии Брокгауза—Ефрона.

11 ноября. На днях кончены последние корректуры последнего тома «Weltgeschichte». Ровно пять лет продолжалось издание монументального труда и параллельно шла переработка русского оригинала... По-видимому, этому немецкому изданию суждено стать основным, так как едва ли доживу до возможности опубликования русского оригинала полностью... ..Снова и всецело погружаюсь в «Хасидизм».

21 ноября. Кончил введение в «Историю хасидизма». Пишу справа налево, как будто не переставал писать на иврит с ранней юности.

Возродилось средневековое кулачное право. Коммунисты и национал-социалисты дерутся до крови на улицах и в собраниях. Студенты-фашисты устраивают погромы евреям и социалистам в Вене, Будапеште, Праге, Берлине, Варшаве. Какое поколение растет! Как эти буяны будут через десять-двадцать лет строить государство? Страшно подумать...

25 ноября. Вчера вечером скромный ужин с сотрудниками по изданию моей «Истории» на вилле издателя, д-ра Кацен. Благодаря моему настоянию, это не превратилось в шумное торжество «сиум», как хотели другие. Были только Штейнберг, Майзель и еще трое от издательства...

13 декабря. Кончил главу о Беште, напряженную работу трех недель. Та же глава под именем «Возникновение хасидизма» (по-русски) писалась между 5 и 28 марта 1888 г. в Мстиславле. 41 год! ...Помню ту весну и мое погружение в стихию легенды.

Недавно полученное из Висбадена от незнакомого врача Р. письмо перенесло меня в еще более раннюю юность. Корреспондент был мальчиком в Могилеве, когда я там готовился к экзамену зрелости (1878), и помнит, что его родители боялись пригласить меня учителем к нему, как «апикойреса».

1930

1 января. Начало года, который я всегда считал предельным в своей жизни, а я не только живу, но и усиленно работаю. В последние дни продолжал работать над сложным библиографическим обзором «Хасидиана».

27 января. Пишу усердно главу «Магид из Межерича», бывшее «Возникновение цадикизма», что писал летом 1889 г. Перехожу к § о Якове-Иосифе и вспоминаю, с какими муками при больных глазах писал это и читал тома материалов, напечатанных мелким шрифтом 40 лет тому назад...

Вечером И. читает мне автобиографию Троцкого. Все здесь кричит о мнимом «сверхчеловеке», между тем как Троцкий представляет собою тип мыслящего человека с крайне ограниченным кругозором, с полным отсутствием высших запросов вне «перманентной революции». Признание его, что он в юности был психологически чужд «потребности в иных мирах» и всегда был материалистом, очень характерно.

* См. выше, гл. 73.

** Это осуществилось позже, в 1936—1939 гг. в Риге.

11 февраля. Дочитал до конца автобиографию Троцкого. В последних частях это — апология и полемика со сталинской группой. Но диктатура вообще не отпугивает Троцкого: «великий разбой» он находит необходимым. Отвратительны его насмешки над демократией, европейским социализмом, парламентаризмом. А в Германии растет черная реакция национал-социалистов, партии кулачного права. Везде в Европе экономический кризис, безработица чудовищная.

16 марта. Почти закончен 1-й том «Хасидизма» (до 1781 г.). Книга будет печататься в Палестине, в издании «Двир». Борьба двух издательств за эту книгу кончилась победою «Двира»: Бялик и Равницкий пишут, что они уже анонсировали это издание...

13 апреля. Morituri te salutant⁸⁵⁶. Недавно получил трогательное письмо от 90-летней старухи из Кенигсберга, Р. Перлес, вдовы историка и матери ориенталиста. Она читает мою «Weltgeschichte», стоит на III томе и боится, что «будет отозвана» прежде, чем дойдет до последнего тома, и не успеет меня поздравить к 70-летию юбилею; поэтому спешит поздравить сейчас.

18 мая. Моя «Weltgeschichte» все больше распространяется. Пишут, что она имеет больший успех, чем в свое время «большой Грец». В умах немецких евреев она должна произвести известный переворот...

В Берлине сейчас конгресс Пан-Европа, из Парижа и Женевы рассылаются воззвания Бриана⁸⁵⁷ о союзе европейских государств. «Мир, мир, а нет мира!»... Читаю прессу слишком много (пять-шесть ежедневных изданий, не считая десятка еженедельных, месячных и т. д.). Вижу перспективу — пока безотрадную...

31 мая. Вчера подписал пятилетний контракт на квартиру в новостроящемся доме. Странно на 70-м году устраиваться на новой квартире, покупать мебель, обязываться на пять лет, когда мы гости не только в чужой стране, но и на земле вообще. И тем не менее хочется последние годы жизни провести в своем уголке, тихо работать, тихо напевать старые мелодии, жить возле моего молитвенного дома-леса, писать «воспоминания и размышления», прощаться с жизнью.

5 августа, Rublaerstrasse 8. Неделя переселения, упаковки и распаковки библиотеки и архива, тревог и забот по устройству нового гнезда, среди разрухи недостроенного дома... Хороший уголок на самой границе шумящего города и молчащего леса. Конец моей улочки упирается в Фриденальштрассе, улицы вилл, ведущей в парк.

Усталость крайняя, нужно ехать на отдых, но нужно обеспечить материалом типографии и переводчиков, занятых «Хасидизмом».

С чувством тоски оставил 1 августа старую квартиру на Шарлоттенбруннер, где прожил ровно пять лет, где сделал последнюю редакцию восьми томов «Истории» и большей части «Хасидизма». Самая деятельная пора ликвидации жизненного труда...

17 августа, Рейнефц. Позавчера, в серое утро, под проливным дождем оставили Берлин, и вот уже второй день мы здесь под тем же свинцовым небом, плачущим то мелкими, то крупными слезами... Завтра начнется режим ванн и вод, унылое блуждание по Курпарку, без солнца, без улыбки леса, стоящего сейчас темною стеною с высоким гребнем перед нашим окном...

30 августа. ...Чарующие дни. Утром восхождение на Фридрихсберг, переход из темных лесных зигзагов на ширь полей на высоте; под вечер прогулки по долине Шмельце, по Бадеалле и кривым улицам старого города...

1 сентября. Прощальные дни. Через четыре дня покидаем Рейнерц. Краток был отдых, но силой воли удалось успокоить городские нервы, отстранить заботы... Хотелось бы вернуться в Берлин тихий, дремлющий в сонных переулках, возле парка и леса... Неприятны мне «юбилейные» перспективы: собираются, кажется, чествовать меня по случаю 70-летия, в Рош-гашана или позже. Ничего публичного, при моем участии, не допущу...

7 сентября, Берлин, Шмаргендорф. ...Радостное чувство вернувшегося, застающего дорогие реликвии в целости: целы рукописи еще не напечатанных глав «Хасидизма», копии «Истории», переписка, материал для будущей автобиографии...

9 сентября. Избирательная борьба в Германии проходит под знаком разгула антисемитской партии национал-социалистов, выступающих в собраниях с бьющими доказательствами.

15 сентября. На выборах в рейхстаг победа партии национал-социалистов: она провела 107 депутатов. Ее лозунги: ненависть к Франции, реванш, антисемитизм, диктатура, фашизм, кулачное право. Вместе с правыми из партии Дейч национале больше трети рейхстага — антисемиты зверские. И здесь решает судьбу страны не народ, а толпа, не демократия, а охлократия. Спасение теперь в большой коалиции социал-демократов с центром. Коммунисты тоже получили больше мандатов и вместе с фашистами справа будут тормозить обструкцией деятельность парламента. Печальные времена настают для Германии в связи с ростом безработицы. Злобный антисемитизм побежденных в 1918 г. страшнее антисемитизма победителей 1871 г.

23 сентября (первый день Рош-гашана). Новый год, день рождения (завтра) и юбилейный шум по случаю 70-летия. Как ни старался отсрочить шумиху, не удалось. Успел только в том, что отклонил прием депутатий от берлинской общины и других организаций, которые могли нагрянуть на меня с поздравлениями. Зато письменным приветствиям по почте и телеграфу нет конца. Завтра вечером тесный круг друзей (до 20 человек) соберется в нашей квартире, без помпы и разглашения. Выходит «Festschrift» и готовятся еще юбилейные сборники. Статьи в газетах, предстоящие собрания в разных городах. А весь этот шум мне не в пору: занят чтением рукописи второй части «Хасидизма» в еврейском оригинале и корректур обоих еврейских изданий, и все это спешно. Настроение все не праздничное.

25 сентября. Все-таки вчерашний юбилейный день прошел шумно. Кроме потока телеграмм и писем от лиц и учреждений всех стран (до Канады и Бразилии включительно), приходили непрерывно посетители, обходя мой запрет тем, что являлись без телефонного предупреждения. Группа бывших петербургских слушателей «академии», К., Т., В. и др. Принесли «Фестшрифт» в двух изящных переплетах — один экземпляр от берлинской общины, другой от «Юдишер-ферлаг». Много там ценных статей ученых коллег разных стран. Хорошие письма были от Эйнштейна и старца Эд. Бернштейна, который выразил желание посетить меня. Вечер, до поздней ночи, провел в тесном кругу берлинских друзей... Берлинский юбилей нашел отклик во всем мире, кроме России, как питерский юбилей 1922 г. в замкнутой России, без остального мира... С полным философским спокойствием отношусь ко всему этому. Единственный вывод: я недаром трудился полвека, объединил в одном чувстве Восток и Запад. Скоро смогу сказать: My work is done («мое дело сделано» — выражение Милля).

6 октября. Вчера состоялось большое юбилейное собрание, при участии многих представителей берлинской интеллигенции, но без участия юбиляра... Были речи, приветствия от разных учреждений... Многие удивлялись моему отсутствию... В зале ходило мое «крылатое слово», что я являюсь на свой юбилей по случаю 90-летия, если тогда впаду в детство.

16 октября. ...Кругом атмосфера тревоги. Открытие рейхстага ознаменовалось битьем стекол в центре Берлина бандами национал-социалистов... Читаю кое-что из юбилейной литературы, обильной во всех частях света. Скоро появится в прессе мой общий ответ на приветствия: благодарность говорившим на Западе и привет молчавшим в России.

29 октября. Возобновляю писание «Хасидизма», прерванное в конце июля «великим переселением» и затем юбилейным шумом... Тревога в Германии чуть улеглась, после парламентских вотумов за политику «правительства середины»...

16 ноября. Странные бывают сцепления концов жизни. Месяца полтора назад, к юбилею, я получил приветственное письмо от бактериолога Хавкина⁸⁵⁸ из Парижа, который напомнил мне, что в 1892 г. мы встретились в Одессе, у Бен-Ами. Я собирался ему отвечать, но на днях пришло известие, что он внезапно умер в Лозанне.

20 ноября. Вчера провел вечер у Эдуарда Бернштейна, Нестора социал-демократии... 80-летний был менее словоохотлив, чем прежде, и имел усталый вид, но беседа была оживленная (участвовали Койгены и др.). Со мною был Аля. Я выразил опасение, что XX век будет веком антидемократизма, антитезой XIX веку.

Теперь в Польше победили, на выборах в сейм, фашисты из лагеря Пилсудского. В России растет красный террор: новый процесс «вредителей» и предстоящие казни.

31 декабря. Сегодня утром кончил последнюю главу «Хасидизма» в новой еврейской редакции (иврит: «Быт и нравы хасидов»). Почти 38 лет назад, 11 января 1893 г., я кончил в Одессе эту же главу в ее первоначальной русской редакции (печаталась в «Восходе» того года).

1931

7 января. ...Многие признаки предвещают новую бурю. Страна, где мне суждено провести остаток жизни, стоит на распутье, между фашизмом и коммунизмом. Победит ли середина или крайность?..

12 января. Два дня недомогания — и сегодня опять за немецкую корректуру «Хасидизма». Нездоровье избавило меня от председательства на вчерашнем собрании, по поводу 80-летнего юбилея Тейтеля. Я послал юбиляру и собранию приветственное письмо, где указал на символ новой исторической встречи восточных и западных ашкеназов: из Германии бежали в XIV в. в Польшу от черной смерти, теперь из России бегут в Германию от красной смерти, а в самой Германии катится черно-красная волна нацистов и коммунистов...

24 января. Сегодня дописал предисловие к «Истории хасидизма» на иврит. Говорю о моем первенце, ставшем последышем, о труде, писавшемся в тихом городе, среди русских лесов, и теперь законченном в Берлине, у леса Груневальда...

7 февраля. ...Берлин перестал быть спокойным уголком: ежедневные террористические акты нацистов и коммунистов, отголоски вулканических потрясений в глубинах масс. В любой момент может последовать извержение вулкана.

15 февраля. Вчера на конференции по изданию энциклопедии на идиш. Председательствовал Брамсон, рядом сидели старые и новые друзья. Председатель отметил, что энциклопедия связана с Дубнов-фондом, и не удержался от юбилейных изъяснений. Я сказал, что считаю за большую честь для себя решение связать мое имя с энциклопедией, и дал «историческое предисловие» к конференции: рассказал о попытках энциклопедий начиная с 1891 г. до подготовительных работ 1919 г. в Петербурге к энциклопедии, где предполагалось участие Абрамовича-Рейна⁸⁵⁹ (он тут же сидел на конференции)...

6 марта. На днях вышел первый том «Хасидизма» по-немецки, в прекрасном переводе Штейнберга. Послал один экземпляр М. Буберу, вспомнив, что он в конце 1906 г. прислал мне свою первую «хасидскую» книгу. В письме указал на различие наших воззрений — историзма и догматизма.

В Москве процесс меньшевиков, у которых вынудили сознание в «преступном» общении с берлинской делегацией партии, с Абрамовичем и другими.

13 марта. Вчера и сегодня читал посвященную мне автором книгу д-ра Либлиха (из Штутгарта) «Wir jungen Juden — die internationale Nation». Он в последнее время переписывался со мной по поводу основанного им кружка «Союз нового еврейства» (Bund für neues Judentum). В книге — красиво изложенная идеология национальной идеи как ее постигает еврей немецкой культуры, переброшенный на еврейский берег волною антисемитизма. Тут много от моей системы, но без ее конкретной оболочки, еще в области абстракций... Сегодня пишу автору. Да, дух веет, где хочет: мои идеи пускают корни кое-где на Западе...

19 марта. ...Эпидемия партийного террора. Наци стреляют направо и налево; безграничная свобода пропаганды разожгла умы толпы и юных буршей. Бешеный антисемитизм. Политическая атмосфера в Германии отравлена... Умер в Берлине В. С. Мандель, мой сотрудник по учреждению «Фолкспартей», хозяин дома, где я жил последние десять лет в Петербурге, соучастник в политических собраниях 1907—1918 гг. В берлинской эмиграции впал в монархизм, создал с Бикерманом «Отечественный союз», и в последние годы мы здесь не выдalisся.

27 марта. Приводил в порядок свой хасидский архив, отбрасывал ненужные заметки к первоначальному русскому тексту 1887—1893 гг. Оставил только две реликвии: свою русскую рукопись «Хасидизма», с которой он набирался для «Восхода», и последнюю еврейскую рукопись. Пусть сохранятся на память о начале и конце моего пути в научной литературе.

28 марта. В последнее время боролись во мне два плана ближайших работ: 1) «Книга жизни — воспоминания и размышления» и 2) небольшая книга еврейской истории для детей, вместо моего устарелого учебника, который мне не удалось переработать вследствие разрушения еврейской школы в России. Решил в первую очередь взяться за детскую книжку, которую можно написать в полгода. Это будет томик в 20 печатных листов, на идиш — история одной народной семьи на протяжении тысячелетий. Хочу оставить будущим детским поколениям книгу, которая заставит их любить свой народ и вместе с тем внушит им идеалы человечности. Без этого я считал бы свой долг народу неуплаченным.

3 апреля. Второй день Пасхи. Первый «сейдер» у Лещинского, второй у Ландмана в Целендорфе. Шумно, а праздничной весенней радости нет. Еврейские газеты полны воплями о нужде во всей Восточной Европе. В Россию непрерывно посылаем родным пакеты с продуктами питания...

В Палестине умер доктор А. В. Залкинд, работавший со мною в 1907—1916 гг. в «Фолкспартей» и обратившийся в сионизм после Бальфуровской декларации. Года два назад он посетил меня проездом через Берлин. Множится число уходящих...

18 апреля. Тучи на политическом горизонте. Только один просвет: бескровная революция в Испании, превращение монархии в республику. Это ущерб эпидемии фашизма... Кризис сионизма обостряется. Арабско-еврейскому конфликту не видать конца.

15 июля. Тревожные дни в Германии: финансовый кризис, лопаются крупные банки, паника на бирже, призрак инфляции. Все это — результат политического кошмара, давящего страну со времени прошлогодних парламентских выборов, когда партия нацистов получила семь миллионов голосов. Правый террор толкает Германию в бездну, ибо вызывает во Франции опасения реванша. Правительство Брюнинга⁸⁶⁰ недостаточно энергично борется против террора нацистов и юнкерского Штальгельма, открыто призывающих к ниспровержению республики... Посетители, встречи: американские пионеры эмиграции 1882 г. (редактор Аб. Каган⁸⁶¹ и лексикограф А. Гаркави), молодые доценты юдаики, мечущиеся в поисках работы.

2 августа. Семейный шум, зеленый шум: Соня с сыновьями. Вчера провели день в Биркенвердере. Скоро поедем туда на короткий отдых.

...Предстоит плебисцит о роспуске прусского ландтага, и если правые победят, может наступить хаос в Германии.

13 августа, Биркенвердер. Перед отъездом (из города) политические волнения, к счастью с хорошим концом: провалился «фолксэнтшейд», плебисцит о роспуске прусского ландтага, задуманный с целью свалить левое правительство Брауна и водворить режим черной реакции. Не помогло нацистам, что с ними шли и коммунисты. Не хватило трех миллионов голосов для успеха дьявольского плана. Германия избавилась от хаоса и ужасов гражданской войны, осложненной международной войною. Но экономический кризис все еще длится...

13 сентября (второй день Рош-гашана), Берлин. Я встал сегодня рано с мыслью открыть этот новый том дневника в 71-ю годовщину моего рождения обычно беседую с собою. Раскрыл «Берлинер Тагеблат» и узнал, что вчера вечером произошел антиеврейский погром на Курфирстендамм, в лучшем центре города. Организованные нацисты нападали на прохожих евреев, избивали их, падавших топтали ногами, разрушили одно кафе — и все это под крики: «Jude verrecke, Deutschland erwache!»⁸⁶² Ровно год назад, в день открытия рейхстага, хулиганы разбивали окна в еврейских универсальных магазинах, теперь осмелели и разбивают головы. Берлин стал центром политического бандитизма: ежедневно рожутся коммунисты с нацистами, ежедневно в газетах и речах разжигаются зверские инстинкты толпы призывами к истреблению евреев, выпускаются вооруженные банды из казарм нацистов на подвиги избиения и убийства, а власть бессильна, полиция поспекает поздно и арестовывает только попутчиков диких банд... Девять лет живу в Германии и не запомню такого момента. С осени 1923 г., после неудачного путча Гитлера, его армия увеличилась во много раз и теперь властвует на улице или делит власть с коммунистами.

Печальный Рош-гашана, печальный день рождения... Сегодня вечером соберутся друзья, но настроение у меня скорее траурное, чем «именинное».

23 сентября. Еще длится мрачное настроение, отражение мировой депрессии. Финансовый кризис коснулся и Англии, потряс даже твердыню

английского фунта. Везде крахи, банкротства, ликвидация дел, чудовищно растет безработица. Сегодня опубликован приговор по делу погрома на Курфирстендамм: суровые наказания (длительное тюремное заключение) для большинства хулиганов. Герои улицы оказались трусами на суде, отрекались даже от своей партии.

10 октября. Положение все тревожнее. Гинденбург готов обновить кабинет Брюнинга правыми министрами и сегодня принимает Гитлера в аудиенции. Большой пощечины республике, Франции и пацифизму нельзя и придумать. Завтра съезд правых в Гарцбурге с пронунциаменто против либерализма, потом открытие рейхстага, может быть министерство правых, разрыв наладившихся международных связей.

Встречи, посетители (Моцкин и др.), беседы над вулканом о нормальных проблемах. Вместе прогоняем заботу, отдельно она каждого нагоняет и душит...

15 октября. Вчера окончил краткую «Еврейскую историю для детей», которую начал писать в апреле. 4000 лет истории в маленькой книжке — это было нелегко. Не знаю, нашел ли я путь к детскому уму и сердцу. Когда-то у меня был другой план — писать эту книжку в форме задушевных бесед дедушки с внуком, затем — в форме биографических эпизодов или истории героев. Но вышло ни то, ни другое, а краткий учебник. Героем истории остался весь народ, историческая схема пробивается сквозь элементарную форму рассказа. Теперь надо подобрать иллюстрации, искать издателей в Европе и Америке, что нелегко в настоящее время кризиса.

17 октября. Кабинет Брюнинга спасен незначительным большинством. На этот раз хаос избегнут. Заговор черной реакции провалился, но нечистая сила еще мутит... Вчера был в собрании квартирноманимателей по судебному процессу с нашим домоуправлением. И здесь банкротство, пропадут наши задатки на квартиры, значительные суммы.

5 ноября. Исправлял самые последние корректуры «Истории хасидизма» (иврит), указатель и пр. Вчера отослал все это в Тель-Авив. Стало легче на душе... Вчера закончил и будничную работу: деловую корреспонденцию, квартирные расчеты, покупки для нуждающихся родных в России — и стряхнув груз забот, принимаюсь сегодня за дело «интеграции души»: приготовления к «Книге жизни».

9 ноября. Кончил автобиографию на всем протяжении 1880—1931 гг...

19 ноября. В Польше эпидемия студенческих погромов... В Германии побеждает реакция: выборы в Гессене дали подавляющее число голосов за нацистов. Это безумие миллионов может привести весной, при выборах в прусский ландтаг, к падению республиканского правительства и торжеству гитлеровцев с их лозунгом «рубить головы».

Вчера внезапно умер Н. Гергель, недавно ездивший в Америку для сборов на фонд энциклопедии моего имени. Горел, бедняга, в общественном пекле — и сгорел.

От всех этих ужасов спасаюсь в разборе и упорядочении моего архива...

27 ноября. Живу в двух мирах: нынешнем мире кризисов и в былом, среди гула готовящихся общественных взрывов и среди руин былых храмов, разрушенных давними взрывами. Утром, еще при свете лампы, волнующее чтение «Берлинер Тагеблат» о готовящемся перевороте нацистов. В Гессене открыт план диктатуры с казнями, расстрелами и режимом уморения голодом для евреев. Потом ранний завтрак и почта с воплями из всех стран света, а затем разбор архива старых писем 70-х и 80-х годов

прошлого века... Та же смена повторяется после вечерней газеты. Только в часы полного погружения в прошлое нисходит святой дух...

7 декабря. Целые недели жил этою двойною жизнью: пара часов в современности, а все остальные часы дня и вечера в разборе старой переписки за ряд десятилетий. Чудное было настроение, при быстром мелькании сотен старых писем, авторы которых давно оставили земную юдоль. Воскресали мертвые, часто сердце щемило... Забывал в эти часы нынешний мир, который стоит накануне нового потопа варварства. В Германии творится невозможное: Гитлер и его сподвижники открыто выступают кандидатами в новые правители Германии, а правительство Брюнинга молчит, чувствуя свое бессилие. Надвигается новая муссолиниада в Германии: в Италии чернорубашечники, тут коричневорубашечники.

Глава 75

«Книга жизни» среди германского хаоса (1932)

Переходный год от демократии к диктатуре в Германии. Воспоминания прошлого как убежище от тревог настоящего. — Политический хаос: студенческие эксцессы, уличная песня нацистов. Новые выборы президента республики, ожидания «спасения» от Гинденбурга, провал Гитлера. — Выборы в прусский ландтаг, победа нацистов, опасность для демократии. Измена Гинденбурга, отставка Брюнинга и правительство Папена. — Государственный переворот в Пруссии: свержение правительства Брауна и назначение рейхскомиссара. Дни террора в Кенигсберге. Переговоры Папена с Гитлером. — Всемирная еврейская конференция в Женеве для создания представительства при Лиге Наций. — Последний летний отдых в Рейнерце. — Правительство Шлейхера. — Смерть Эд. Бернштейна.

В течение многих десятилетий, пока строился по большому плану мой исторический труд, я мечтал о тихом конце жизни, посвященном обзору ее, отчету о содеянном и пережитом. Для этого предполагалась спокойная обстановка, тихий вечер жизни, когда пахарь отдыхает от трудового дня и предается размышлениям. Но мне не суждено было писать свою «Книгу жизни» в такой обстановке. Как первый набросок моих воспоминаний писался под знаком террора в советской России, за год до моего исхода из нее, так и окончательная их обработка началась в год политического хаоса в Германии, приведшего к моему исходу из нового Египта. В 1921—1922 гг. я уносился в воспоминания прошлого от ужасной российской действительности, а в 1932—1933 гг. от столь же ужасного политического кошмара в Германии.

1932 г. был годом шествия Гитлера к власти, а пришествие совершилось в начале 1933-го. В этот промежуток потерявшая голову Германия закружилась в вихре переворотов. Имперское правительство центра (Брюнинг) сменяется правым правительством Папена⁸⁶³ и потом Шлейхера⁸⁶⁴, левое прусское правительство Брауна насильственно свергается; одряхлевший президент Гинденбург, забыв свою присягу конституции, катится по наклонной плоскости Папен—Шлейхер—Гитлер; выборы в рейхстаг дают новую победу национал-социалистам, и президентом рейхстага избирается его разрушитель Геринг; свирепая армия штурмистов владеет улицей, готовая «рубить головы» демократам и истреблять евреев. Республика катится в пропасть. Германское еврейство стоит между террором улицы и готовящимся ударом диктатора. У нас возникает идея созыва всемирного еврейского конгресса для организации защиты против нового крестового похода гакенкрейца. Вместо конгресса созывается в конце лета в Женеве большая конференция. Но катастрофа

надвигается: если против нее бессильна демократическая Германия, что же может сделать горсть еврейства?

При таких условиях писание мемуаров стало для меня убежищем от кругом бешавшей бури. Я спасался в этой работе от колючих впечатлений дня. Быстро писалась глава за главой, которые читались в тесном кружке друзей, собиравшихся еженедельно у нас или в другой квартире; первые отделы «Книги жизни» переводились с русского оригинала на идиш и печатались в американских журналах и газетах (ежемесячник «Цукунфт» и ежедневная газета «Тог») и оттуда перепечатывались в варшавских газетах.

Переживания 1932 г., кануна гитлеровской диктатуры я считаю более удобным передать в виде подлинных свидетельств — кратких отрывков из дневников.

1 января. Минимальное пожелание на новый год, чтобы он не был еще хуже, чем старый, чтобы не приходилось покинуть Берлин, который я считал последним этапом моих скитаний... Грустное новолетие. Сейчас ходил по безлюдному парку, скованному морозом. Пишу эти строки, перелистывая заметки для воспоминаний, писанные в разные годы, преимущественно в Финляндии. Это общение с целым смягчает уныние дня.

7 января. ...Надо успокоиться и войти в святую работу воскресения мертвых. Но беспокойство продолжается. «Нотферорднунг»^{*} запутала все дела. Банкротство новых домовладельцев, «цвангсфервалтер», адвокат, процесс — все это отравляет жизнь. А банкротство всех издательств, кроме немецкого, сулит недоброе в будущем.

Пишу сейчас статью «Еврейская автономия» для «Энциклопедии социальных наук» в Америке (по-английски).

14 января. Третьего дня вечером свидание с Бяликом на квартире Моцкина^{**}. Уже несколько месяцев Бялик разъезжает по Европе с лекциями о необходимости спасти еврейскую книгу в связи с банкротством «Двир» и других палестинских издательств. Грустно прошел вечер в беседе о печальном положении Палестины и о других делах. Не было задушевности в беседе. Всех гнетет страх завтрашнего дня: «может быть еще хуже».

8 февраля. Неделя «интеграции души»: под этим заглавием писал первую главу «Книги жизни»...^{***} В политической жизни хаос. Японо-китайская война в момент, когда открылась в Женеве конференция по разоружению. Германия накануне фатальных выборов президента (республики) и прусского ландтага. Дикая разгул антисемитизма; в Берлинском университете снова хулиганские нападения нацистов на еврейских студентов. Экономический кризис охватил весь мир. В издательском деле полная депрессия, и все издания моих книг остановились. Еще не знаю, где будет печататься автобиография, которую теперь пишу... Я ее пишу по-русски, но придется печатать ее в еврейском переводе (идиш), в одной из больших американских газет.

15 февраля. Написал и вторую главу «Книги жизни» о Иосифе Дубно и «Иесод Иосеф». Вчера читал обе главы в нашем кружке, в нашей квартире... Но в эту исповедь врывается шум улицы: квартирный процесс, процесс английского издания — результаты моей житейской неопытности...

* Чрезвычайный декрет правительства.

** Это было мое последнее свидание с поэтом, умершим в 1934 г.

*** В настоящем издании она помещена в конце этого тома, в отделе «Размышления», № 1.

Умер в Палестине Бен-Ами, 78 лет. Встали в памяти одесские годы, соседство на Базарной улице, жизнь в Люстдорфе летом 1891 г. Но на этот раз не так волновали эти воспоминания. Не было у меня душевной связи с Бен-Ами, воплощением «шефов хамосхо» и «хасидского» фанатизма.

26 февраля. Вчера слушал в радио речь рейхсканцлера Брюнинга в рейхстаге и крики нацистов, не дававших ему говорить. Впечатление дикой орды, готовой растерзать культурного человека. Людоеды, надеющиеся завтра управлять Германией! Сегодня с трибуны рейхстага цитировалась их уличная песня (в речи республиканца): «Wenn Judenblut vom Messer spritzt, Dann geht's nochmal so gut...»⁸⁶⁵ Таким воздухом приходится теперь дышать в Германии!..

15 марта. Позавчера до после полуночи стоял у нашего радио и слушал сообщения о результатах президентских выборов. Вчера утром узнали последний результат: Гинденбургу недостает немногого до большинства, Гитлер потерпел поражение. Предстоит второй тур, где Гинденбург имеет все шансы на относительное большинство. Германия спасена от хаоса и позора. А как сильна была паника накануне выборов, особенно среди евреев, которых гитлеровцы обещали уничтожить!

24 марта. Я вошел в такую полосу работы, когда описание пережитого становится вторым переживанием, особенно в промежутки чтения старых писем и записей. Сегодня стою на Смоленске 1879 г...

4 апреля. Дошел до 1881 г., времени первого антитезиса в литературе. Пишу с увлечением небывалым, но мешают обстановка и заботы... Сразу весна перешла в лето: чудные теплые дни, уединенные прогулки в Груневальде и Далеме, когда мысленно ходишь по вершинам жизни, подводишь итоги, строишь планы автобиографии, делишь жизнь на эпохи. Ах, если бы ничто не мешало извне этому истинно религиозному настроению!

13 апреля. Вторично провалился Гитлер на президентских выборах, но решающее слово скажут прусские выборы (в ландтаг) 24 апреля: быть ли Германии страной права или кулака. Во всяком случае, мы еще нескоро выйдем из полосы хозяйственных катастроф, если даже освободимся от политических.

Ведутся переговоры о печатании мемуаров на идиш в американской прессе...

22 апреля. Стою в мемуарах на рубеже 1882 и 1883 гг. Сейчас сумерки солнечного дня в Берлине, а мои мысли в Питере, 50 лет тому назад. Как глубока тайна жизни на закате ее! Как длинен этот полувековой путь, переплетенный с волнениями и переворотами двух поколений! Сейчас прочел письма к Иде от зимы 1882/83 г., а сама она сейчас здесь, у врача с большой рукой, усталая от бремени жизни...

26 апреля. От нужды помутился германский ум. Прусские выборы дали победу нацистам; социал-демократы и демократы потеряли свои прежние позиции. Удержался центр, отныне маятник между правыми и левыми. Перевес дают коммунисты, голосующие с гитлеровцами, если это им нужно для хаоса и гражданской войны. В Пруссии, после 12 лет демократии, теперь пойдет полоса тревог.

28 мая. Как давно не записывал здесь! Описание целой жизни вытеснило записи дня. Инстинктивно отворачиваешься от переживаний нынешнего подлого времени в сторону прежних, не столь безнадежных времен. Бывают святые минуты в писании «Книги жизни». Для каждой главы перечитываю черновик, переписку, дневник, сидя у пишущей машины, или на дахгартен нашего дома, или же на скамье в груневальдском парке. Тут

я снова переживаю прошлое. Часто волнение доводит до слез, как, например, на днях, когда описывал последнюю беседу с отцом, накануне Рош-гаšana, и его смерть через две недели...

31 мая. День ужаса. Утром узнал о самоубийстве племянника Бенциона с женою. Их трупы нашли в Гавеле, где они утопились несколько дней назад. Я этого исхода давно опасался. Меланхолик уже в Палестине покушался на самоубийство, и тут не раз говорил нам и знакомым, что видит в этом простейший исход из трудностей жизни. Теперь, когда после трех семестров ему предстояло оставить университет и вернуться в Палестину, он прибег к этому решению и увлек в смерть жену-ребенка...

4 июня. Вчера были похороны. «Вырыта заступом яма глубокая», даже не одна, а две... Эти же дни — дни ужаса в Германии. Солдатским сапогом Гинденбург растоптал конституцию, призвал к власти ярых реакционеров, феодалов и юнкеров, распустил рейхстаг (новый), не созвав его, ибо новое черное правительство побоялось явиться перед рейхстагом. Сейчас появился манифест нового правительства (Папена), направленный против всех завоеваний демократической республики с 1918 г.

20 июня. Все еще тень гражданской войны над Германией. Разрешены вновь военные формации штурмиров с особым униформом. Они маршируют по улицам, временами бьют и громят...

29 июня. Сажу и пишу о российской эпидемии юдофобии 1891 г. в охваченной еще более злокачественной эпидемией Германии 1932 г. Несколько дней тому назад гитлеровцы провели в прусском ландтаге решение о конфискации имущества всех Ostjuden. (P. S. Этот демонстративный вотум не получил силы закона.)

23 июля. Первый шаг к диктатуре сделан. Гинденбург назначил рейхс-комиссара для Пруссии, сместил прусских министров и полицей-президентов и объявил «исклнительное положение». Третьего дня слушал в радио, как рейхсканцлер Папен оправдывал этот государственный переворот. Валит все на коммунистов, но просто исполняет все желания нацистов. Готовятся к рейхстагским выборам 31 июля. От исхода их зависит, быть ли германской демократии, или придет das dritte Reich.

1 августа. До поздней ночи вчера стоял у радио и записывал результаты выборов. Гитлеровцы не получили большинства, но все-таки прошли в рейхстаг в числе 229 депутатов... Они будут давить на нынешнее реакционное правительство Папена, чтобы передвинуть его еще больше вправо...

10 августа. Десять дней террора нацистов в Кенигсберге и других городах. Бросают бомбы в учреждения социал-демократов, рейхсбаннеров и коммунистов, в синагоги и еврейские магазины. Масса взрывов, много убитых и раненых. «Ангриф» (Геббельса) заявляет, что террор не прекратится, пока не дадут Гитлеру полновластия в Германии.

Отклонил приглашение на всемирную еврейскую конференцию в Женеве и сегодня послал приветственное письмо программно-го характера. Указано наступление новой эпохи крестовых походов под знаком такен-крейца, необходимость организованной борьбы с антисемитизмом и создания еврейского вельтконгресса как постоянного органа для представительства при Лиге Наций*. Что выйдет из конференции? Справа и слева ее атакуют: ортодоксы, ассимиляторы и «классовики».

* Напечатано в «Protokoll der Jüdischen Weltkonferenz». S. 20 (Berlin, 1932).

Корректуры на идиш и иврит, посетители преимущественно из американских туристов (Д. Пинский⁸⁶⁶, редактор «Тог», и др.), тихие прогулки в парке и в лесу, тревожные мысли и думы вечности — все перемешано.

31 августа, Рейнерц. Вчера вечером приехал с И. в старую обитель Рейнерца, пансион «Эбен-эцер», где мы в последний раз жили в 1930 г. Солнце озаряло дорогу от Берлина до Глаца, где оно великолепно закатилось в пышных складках лесистых гор. Ночь в опустелом пансионе, недавно еще переполненном гостями, крепкий долгий сон, утро лучезарное после освежительного ночного дождя. Тянуло на улицу, на чудные аллеи, на горные тропинки, к памятным местам... В полуденные часы прогулка по липовой аллее, между двумя рядами «патриархов леса»... Купил по дороге «Берлинер Тагесблат». Первое заседание рейхстага прошло спокойно, вопреки ожиданию. Спокойно выслушали даже буйные нацисты речь старой коммунистки, «алтерс»-президент Клары Цеткиной, приехавшей для этого из Москвы. Президентом рейхстага избран Геринг. Перерыв на несколько дней — и тогда решится судьба новорожденного рейхстага...

6 сентября. Чуден Рейнерц в эти солнечно-свежие дни, овеванный нежной грустью уходящего лета... Сегодня минуло 10 лет со дня нашего переезда на жительство в Берлин. Много пришлось пережить здесь за эти годы. Вначале ужасы инфляции и разрухи, потом полоса благополучия и кипучей работы, а теперь вырождение политическое, коллективное безумие.

21 сентября, Берлин. Чудным закатом прощался со мною Рейнерц на Бадеалле, между зелеными лугами и зелеными горами. Он улыбнулся мне вчера ранним утром, в момент отъезда, восходящим солнцем в нежных изгибах холмов и долин. Еще до вокзала Герлиц в Берлине проводило нас сilesкое солнце. Там нас встретил А[ещинский] в ауто и отвез на квартиру... Вечером были Чер[иковеры], рассказали о городских делах...

2 октября (второй день Рош-гашана). Мне сегодня минуло 72 года. Вступаю в год, который должен стоять под знаком Мнемозины. Уже появились первые главы воспоминаний в «Цукунфт» и «Момент»; сейчас печатаются главы с 1881 г. в американском «Тог». А я буду продолжать писать дальше, с 90-х годов...

8 октября. Прошли новые выборы в рейхстаг. Нацисты потеряли 35 мест, но они все еще самая сильная партия в рейхстаге (195 мест). Выиграли коммунисты и дейснационале, пострадали социал-демократы и средние партии. Политический психоз длится. Крайне правые и крайне левые владеют умами отчаявшихся. Парламент неработоспособен. Путь к диктатуре свободен... Среди политических бурь я две недели укрывался под сенью прошлого. Написал еще пару глав мемуаров. Сейчас стою на пороге 1894 г...

26 ноября. Раннее утро, еще темно, а газета («Фосс») уже подана, и отрываешься от эпопеи прошлого ради трагедии дня. Гитлер на днях был только на один шаг от власти, от диктатуры над Германией. Старец Гинденбург в последнюю минуту испугался и не назначил его рейхсканцлером. Германия избавилась от диктатуры, но она не может иметь и законное правительство: этому мешает фракция в 200 нацистов в рейхстаге, при ста коммунистах. Будет, вероятно, снова назначен Папен или ему подобный реакционер.

9 декабря. В Германии еще не кончилась полоса хаоса. Царит пока новый канцлер, генерал Шлейхер. Хозяйственный кризис все еще длится: 6—7 миллионов безработных, кричащая нужда.

26 декабря. Стою в мемуарах на 1900 г... На днях был в крематории, у гроба Эдуарда Бернштейна. Два года назад я был у него, и он обещал меня посетить, но он все время болел и почти не выходил. Теперь я пришел проститься с мертвым. В речах членов с.-д. партии никто даже не упомянул, что он был еврей...

31 декабря. Умерла в Петербурге Фанни, моя сверстница, член нашей мстиславской семьи. Роятся воспоминания в голове, нанизываются на длинную нить лет... Только что собрался послать ей мои воспоминания детства и юности. Вырвана еще нить из ткани, выпало звено из длинной цепи...

Глава 76

Конец демократической Германии (1933)

Два момента: октябрь 1917-го и январь 1933 г. — Приход Гитлера к власти (30 января). Роспуск рейхстага и новые выборы под террором. — Речь вождя по радио об уничтожении республики «ноябрьских преступников». — Пожар рейхстага и «глас народа». — Террор штурмистов. — Варфоломеевские ночи. — Смерть Койгена; тайна кладбища. — Закон рейхстага о чрезвычайных полномочиях, легализация диктатуры. — Протесты мира и жестокая кара евреям за эти протесты. — День 1 апреля: бойкот против евреев по приказу правительства. — «Национальная революция». — Бегство из Германии. — Сожжение книг в Берлине, аутодафе свободной мысли. Деградация моей «Истории». — Моя гомеопатия: лечу новое горе воспоминаниями о старом. — Целебное действие моих книг на разочарованных ассимиляторов. — «Хурбан Ашкеназ». — Препятствия к моему исходу из Германии. Преодоление их и отъезд из Берлина (23 августа).

В октябре 1917 г. мне суждено было в Петербурге стоять у могилы новорожденной демократической России; в январе 1933 г. я видел похороны демократической Германии. 30 января 1933 г. Гинденбург изменил своей конституционной присяге и предал демократию в руки ее противников, назначив их вождя рейхсканцлером. Страна подпала под власть штурмовых колонн нацистов. Начались варфоломеевские ночи, аресты, пытки, концентрационные лагеря, «легализованный террор». В России я прожил под властью большевиков четыре с половиною года; в гитлеровской Германии не мог выдержать больше семи месяцев. В конце августа я оставил страну, где завершил свой научный труд и где надеялся провести остаток жизни. Впечатления пережитого за эти семь месяцев пусть передают следующие весьма сокращенные записи из дневников.

30 января. Сейчас принесли вечернюю «Фосс». Худшие опасения последних дней сбылись: назначен кабинет Гитлер—Папен—Гугенбург. Еще недавно заявивший о своей верности присяге и республике, Гинденбург составил правительство из ярых врагов демократической республики. Ближайшие дни могут принести самое страшное: coup d'état⁶⁶⁷, диктатуру справа, восстание слева, панику, погромы. Продолжаю воспоминания (стою на кишиневском погроме 1903 г.).

* Помню этот морозный день в переполненных залах вильмерсдорфского крематория, близ Ферберлинерплатц, речи депутатов Вельса, редактора «Форвертса» Штамффера и других. Мне казалось, что тут хоронят героический период германской социал-демократии, которая, к сожалению, под конец оказалась не геройской... Через месяц пришел к власти тот, который похоронил не только социал-демократию в Германии, но и всю демократию.

6 февраля. Дописал на днях первый том «Книги жизни», до отъезда из Одессы летом 1903 г. Теперь делаю промежуточные мелкие работы. ...Почти одиннадцать лет назад я бросил страну красной диктатуры ради свободной демократической Германии. Теперь Германия стоит на пути черной диктатуры. Прежний рейхстаг распущен, начинается избирательная кампания, а левые газеты закрываются и собрания запрещаются. Сегодня, вероятно, будет распущен и прусский ландтаг. Гитлер объявил «четырёхлетний план» для оздоровления Германии — явное подражание советской пятилетке.

13 февраля. Я на днях слушал в радио речи новых властителей — Гитлера, Гугенбурга и других. Искоренить все, сделанное за период республики с 1918 г., «уничтожить марксистов» и их пособников, т. е. всех республиканцев-демократов, — таков лозунг этих людей... 8 марта будут парламентские выборы. Если правящие партии получат большинство, они легальным путем разрушат веймарскую конституцию, а в противном случае разгонят рейхстаг.

Вчера читал в нашем кружке последние главы из «Книги жизни».

2 марта. Пожар рейхстага, который правительство приписывает коммунистам, а голос народа — самому правительству. Террор власти, аресты всех депутатов-коммунистов, многих социал-демократов, «чрезвычайные декреты», упраздняющие свободу личности, слова и собраний, запрещение всей коммунистической и даже социал-демократической прессы и избирательных плакатов. Весь Берлин во власти штурмовых колонн нацистов, производящих обыски, стреляющих в левых. Не проходит дня без десятков убийств и ранений. ...Послезавтра выборы, ждут вотума народа. Вчера в радио Гитлер опять говорил об уничтожении республики «ноябрьских преступников».

4 марта. Прусский министр Геринг заявляет в своих публичных выступлениях: «Мое дело не творить правосудие, а уничтожать и искоренять». Это ответ на требование справедливости и равного отношения ко всем гражданам.

6 марта. Результат вчерашних выборов в рейхстаг: 44% нацистов плюс 8% дейснационале. Значит, обе правительственные партии имеют 52%, большинство. Реакция в Германии обеспечена. Теперь она сможет все делать «легально»...

10 марта. Уже отменены конституции в Баварии и всей южной Германии, после того, как Пруссия была «покорена». По всей стране носятся отряды штурмистов, срывают республиканский флаг и поднимают свой гакенкрейц или военный флаг. Насильственно низлагаются носители власти: министры, полицей-президенты, бюргермейстеры из республиканцев, и замещаются комиссарами из нацистов. Обыски, аресты и избиения не только коммунистов, но и социал-демократов. Нападения на еврейские лавки, на евреев-пешеходов и т. п... Нет исхода, разве в исходе из Германии, но куда?

Сегодня был на кладбище. Хоронили внезапно умершего Д. М. Койгена. Лег на диван и умер от разрыва сердца. Помню случайные встречи с ним в Питере в годы войны, затем наши берлинские встречи с 1923 г., соседство по Шмаргендорфу, беседы, общие встречи с Эд. Бернштейном. Тяжело жилось ему, метафизику в реальной науке социологии, без литературного и академического заработка; последнюю университетскую субсидию отняли у него новые антисемитские власти. На кладбище сегодня

сошелся весь наш кружок. Все были взволнованы, говорили о злобе дня — терроре*.

12 марта (Пурим). Вчера утром сообщили об аресте Я. Лещинского, с которым я виделся на похоронах Койгена. Взяли его как журналиста, посылающего телеграммы в нью-йоркский «Форвертс». День волнений. Каждый из нас может ждать обыска и ареста. Многие покидают Берлин.

16 марта. Освободили Лещинского и высылают из Германии. Вчера он был у нас в обществе близких друзей (была и гостья, вдова Шалом-Алейхема, из Америки). Атмосфера паники: все говорят о бегстве. Третьего дня по телефону простился со мною лидер меньшевиков Абрамович, уехавший со всей группой в Париж. Теперь при встречах с друзьями спрашивают: куда думаете ехать? Разрушается наш берлинский центр, продержавшийся десять лет. Я все-таки выжидаю... Как верен мой прогноз в эпилоге «Истории»: мир колеблется между большевизмом и фашизмом!

25 марта. *Finis Germaniae!* Конец свободной демократической республики, где я так охотно поселился 11 лет тому назад. Новый рейхстаг собрался, принял гитлеровский «закон о полномочиях» (*Ermächtigungsgesetz*) на 4 года, т. е. уполномочил вождей нацистов на диктатуру. Диктатура узаконена, но массовый террор не прекращается. Желторубашечники врываются в дома, бьют «марксистов», пацифистов и евреев. В провинции врываются в больницы, здания суда и городских управлений, выгоняют еврейских врачей, адвокатов, судей, чиновников; часто высшее начальство прямо отнимает должности у евреев и назначает на их места нацистов. Вообще, смещаются с должностей десятки тысяч чиновников запрещенных трех категорий, не говоря уже о коммунистах, для которых устроены концентрационные лагеря. Когда штурмисты нападают и избивают, полиция задерживает не бьющих, а избитых, и берет их под «охранный арест» (*Schulzhaft*), якобы для защиты от ярости толпы.

В Англии, Америке и других странах огромное движение против этой «тевтонской ярости»; в заграничной прессе даже преувеличивают ужасы «германских жестокостей». Митинги посылают резолюции протеста правительствам, дипломаты делают представления германскому правительству. Последнее притворно возмущается «ужасающими известиями» (*Greuelnachrichten*), распространенными за границей, но не мешает своим офицерам «Фелкишер Беобахтер» и «Ангриф» подстрекать к погромам. А кругом паника. Бегут и собираются эмигрировать люди и из нашего кружка.

30 марта. На антигерманские манифестации, устроенные 27 марта в Нью-Йорке, Лондоне, Варшаве и многих других городах, правительство Гитлера ответило бойкотом еврейских торговых фирм и бюро свободных профессий во всей стране. Бойкот должен быть полностью проведен в день 1 апреля. Не помогли вынужденные протесты лояльных немецко-еврейских организаций против заграничных манифестаций — власти прямо заявили, что мстят всем германским евреям за демонстрации их братьев за границей.

* Помню, как мне рассказывал там же шепотом секретарь еврейского общинного правления М., что накануне ночью нацисты бросили на кладбище кучу еврейских трупов, жертв варфоломеевских почей, велели немедленно зарыть их и никому не говорить о таинственных покойниках. В те ночи часто врываются нацисты в еврейские квартиры, арестовывали людей и таскали их в свои казармы, где замучивали до смерти.

2 апреля (воскресенье). Вчера позорный день Германии. Берлин и вся страна точно исполнили приказ бойкота евреев. Желторубашечники с гакенкрейцем стояли у всех еврейских магазинов с плакатами: «Немцы, обороняйтесь! Не покупайте у евреев!» — и не давали никому войти в магазин. Не пускали к еврейским адвокатам и врачам, гнали евреев из учреждений, из государственной библиотеки. В провинции были кровавые столкновения. На всех еврейских магазинах и бюро были наклеены плакаты бойкота, местами желтого цвета. На столбах: «Евреи всего мира хотят уничтожить Германию!» и т. п. Мир бессильно негодует. Паническое бегство продолжается. Министр пропаганды Геббельс объявил, что новая «национальная революция» призвана искоренить либерализм XIX в. и принципы французской революции 1789 г.

8 апреля. Подобно многим, я тоже нахожусь в этом мучительном состоянии, на отлете... Я все еще цепляюсь за мысль: а нельзя ли все-таки остаться, замкнуться в этом тихом углу Груневальда? Но как жить хотя бы в тихом углу леса среди воющих кругом волков?.. И куда идти? В шумный Париж, в тихую Швейцарию, в Чехословакию, Латвию или Литву? Вырваться из Германии теперь не легче, чем 11 лет назад из советской России. Сам себе удивляюсь, как при таком состоянии я еще в последние дни продолжал «Книгу жизни». Пишу о 1905 г.

17 апреля (7-й день Пасхи). Ежедневные встречи, визиты, приемы посетителей. Разговоры о злобе дня в расплозающемся нашем муравейнике. Куда и когда едете? — обычный вопрос друг другу. Из бесед узнаешь еще многое о домашних погромах нацистов: в отличие от бывших русских черносотенцев, они устраивают не уличные, а тихие погромы в домах, в своих казармах, куда увозят еврейских врачей, адвокатов, купцов, бьют, истязают. Наслушаешься таких рассказов и уходишь разбитый. В последние дни находят утешение в английском парламентском протесте, в крике по адресу Германии: нельзя приходить в Лигу Наций с окровавленными руками! Гитлер уже изолировал Германию, погубил ее внешнюю политику. Мировой еврейский бойкот нанесет ей экономический удар.

19 апреля. Умер в Киеве Н. Штиф. Он мелькал в моей жизни в разные моменты. В Питере 1909—1917 гг., где он в собраниях выступал в защиту идиш, особенно на бурной конференции ОПЕ в 1916 г., в споре с Бяликом и другими гебраистами. В 1917-м примкнул к нашей «Фолкспартей», затем очутился в Киеве, где переводил на идиш мою «Новейшую историю». В 1922 г. наша встреча в Ковне, где он работал в газете «Найс». Затем Берлин, совместная работа над переводом, частые встречи, проект еврейского научного института (ИВО). Наконец отъезд в Россию, под иго большевизма, и самобичевание кающегося; филология по «социальному заказу» в Киеве, невольное отречение от заграничной эмиграции. Согрешил ради куска хлеба, но нашел ли он хоть хлеб в стране голода?..

27 апреля. Каждый день в 7 час. утра и в 5 час. дня всасываешь из прессы яд известий об искоренении «неарийцев». Сейчас идет изгнание еврейских профессоров из всех университетов. ...Наша колония в Берлине все больше пустеет. Вчера уехал в Париж с женой самый живой член нашей колонии Ч-р. ...Весна цветет. Перечитываю в парке или на дахгартен черновики (мемуаров) или дневники. Эти черновики я писал в 1921—1922 гг. в Питере, готовясь покинуть Россию, как теперь готовюсь покинуть Германию.

6 мая. Делил свое время между газетной отравой, писанием мемуаров и исправлением еврейского перевода V тома «Истории» для палестинского издания. Задыхаюсь в царстве зла, ненависти и насилия. Нет мочи

больше дышать этим отравленным воздухом, а взять посох странника в 72 года нелегко. Закрыты все свободные рабочие союзы с тремя миллионными членами и переданы во власть нацистов. Никто не пикнул. В ближайшие дни будут публично жечь «еврейские и марксистские» книги на улицах — неслыханное варварство. Но протестующий мир уже привыкает к варварству, и мало-помалу протесты затихают. Наши беженцы из Германии рассеяны по всему свету. Комитеты помощи не справляются с делом.

А май сияет «бесстыдной красотой» над этим Содомом, над кликами торжествующих и воплями их жертв.

10 мая. В моих планах перемена. Вместо дорогого и чуждого Цюриха я остановился на Риге. Более близкая среда, ближе к детям в Польше и России, более дешевая жизнь, лето на берегу моря. Строим с И. новые планы...

11 мая. Вчера вечером в Берлине (на площади близ университета) и в других городах Германии жгли на кострах книги «undeutscher Literatur» — социалистов, либералов, пацифистов, главным образом евреев. Делали это студенты с благословения «вождей». Позорная картина, которая сделает Германию еще более ненавистною во всем мире. Мне передали, что моя десяти томная «Weltgeschichte», стоявшая в читальном зале Штаатсбиблиотек среди наиболее читаемых книг, удалена оттуда наряду с историей Греца.

29 мая. Из иностранных газет (германская цензура это замалчивает) узнал, что моя «Weltgeschichte» запрещена в Германии для общественных библиотек и книжных магазинов. Книга изъята, не будет ли изъята и автор? Я спокойно отношусь к этому: не тронут меня, как иностранца, хотя и пишущего книги, «противные германскому духу» (таков мотив запрета). Готовлюсь в путь, но препятствия к отъезду еще не устранены: квартирный контракт, спасение сбережений... Кругом бегут. Вчера простился с семьей И. Штейнберга, уехавшей в Лондон...

1 июня (утро Шовуоса). Сажу в парке и отмечаю день Шовуоса, как бывало в Финляндии в годы, о которых теперь пишу в воспоминаниях. Еще месяц-полтора — и я прощусь с этими местами моих уединенных дум и одинокой тоски. Сегодня вечером соберется у нас остаток нашего кружка.

10 июня. Приходится спасаться, как из горящего дома... Ежедневные хождения, переговоры, заботы. Стремлюсь выбраться не позже 15 июля. Удастся ли?

26 июня (Im Dol, Finkenstrasse). Пришел сюда, как раньше, в перерыв работ, чтобы отметить особый перерыв: сегодня дописал период 1910—1914 гг. в мемуарах, остановившись на возвращении из Нодендала в Питер в первые дни войны. Чудный день после ряда дождливых. Лес немолчно гудит, поет торжественный псалом. А я должен скоро оставить эти святые места вокруг Содома.

1 июля. Те же переживания, что в 1921 г. в Питере. Там задерживался исход из-за паспорта, здесь — из-за квартирного процесса. Лишь в августе можно будет приступить к расторжению контракта... «Сердце сожмется мучительной думой», как подумаешь о необходимости уйти из тихого уголка, в котором надеялся найти последнее пристанище в моей скитальческой жизни. Так хорошо мечталось в этих парках Груневальда и Далема, в зачарованных безлюдных переулках, среди романтических вилл...

Написал главу о первом полугодии войны (1914).

13 июля. Изменил способ изложения: большею частью цитирую дневники, дающие яркую картину тогдашних переживаний. Так будет и дальше... Опять колют душу впечатления дня. Старый социалист Шейдеман, бежавший в Прагу, назвал Германию «домом умалишенных». Безумие заразительно, и эпидемия распространяется. Во многих странах уже есть очаги этой заразы.

17 июля. Введена система заложников: за протест Шейдемана за границей арестованы здесь и брошены в концентрационный лагерь его родственники. Тем же грозят остальным политическим эмигрантам. Всем беженцам вообще грозит конфискация имущества в Германии. У натурализовавшихся между 1918 и 1933 гг. иностранных евреев отнимут германское подданство, и тысячи мечутся в страхе перед лишением прав и куска хлеба...

22 июля. Similia similibus curantur⁸⁶⁸. Лечу новое горе старым. Пишу о 1915 г.

Уже два дня не получается бюллетень берлинского отдела Еврейского телеграфного агентства. Власти запретили этот единственный орган осведомления после того, как отняли у него свободу. Много лет подряд я каждое утро получал и внимательно читал эту коллективную телеграмму от моей народной семьи на всем земном шаре...

27 июля. Свирепствует «легалитизованный террор», как «Таймс» назвал нынешний режим в Германии. Каждый может быть обыскан дома или на улице и арестован; каждый связан тысячами «законов», создающих преступление из каждого свободного шага.

31 июля. ...Атмосфера бегства. Приходят люди уезжающие, прощающиеся навсегда или скорбящие о невозможности уехать. Вчера печальная вдова Койген, Рав-чи, Майзель. Палестина — главная цель бегущих... Страшно видеть развал исторического центра. Сейчас «хурбан Ашкеназ»⁸⁶⁹. Вековой период эмансипации и ассимиляции кончается, и новая эпоха начинается среди крушения старых идеалов. Будут ли они заменены новыми? Я призывал к этому в последних томах «Weltgeschichte». Теперь эту книгу читают в невольные досуги и те интеллигенты — лишённые работы адвокаты, врачи и др., — которые раньше не могли вдуматься в нашу национальную проблему. На днях встретился на нашем дахгартен с одним из них, бывшим судьей. Он читает систематически мои десять томов и начинает понимать средние века. И таких много, как мне рассказывают. Расстаюсь с Германией в сознании, что недаром жил и работал здесь, что оставляю духовную опору для людей, потрясенных катастрофою, выбитых из колеи.

Сегодня вечер Тише-беав, и я сижу над старыми «Кинот» и читаю любимую элегию: «В эту ночь рыдают мои дети, в эту ночь был разрушен мой храм и сожжены мои дворцы...» Нужно было собраться в одной из синагог Берлина, сесть на пол и оплакивать разрушение германского еврейства, которое только началось и будет продолжаться еще годы.

18 августа. Прошли дни тревог, остались только хлопоты предотъездные. Тоска разлуки с местом, которое связано с переживаниями одиннадцати лет моей жизни, может быть самых плодотворных. Едем 23 августа, после упаковки вещей в присутствии таможенного чиновника... Ходил сегодня в Цолаамт по центральным улицам Шарлоттенбурга. Уныние, мерзость запустения.

19 августа. Быстрая смена тревог и успокоения. Жуткие думы бессонных ночей и просветленная мысль солнечного утра. Все связано с мелки-

ми заботами, могущими иметь крупные последствия (страх за дорогой груз рукописей и т. п.)...

26 августа, Рига, Межа-парк. Берлин покинут 23 августа вечером. Пережиты дни новой эмиграции, тяжелые, тревожные. В последние дни пред отъездом посещали нас друзья и знакомые, остатки «былого величия». Трогательны были напутствия соседей и знакомых.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На этом фатальном годе европейской и еврейской истории (1933) я прекращаю повесть жизни. Рано еще рассказывать о том, что пережито в следующие, 30-е годы XX в., годы злокачественной антисемитской эпидемии, проникшей из Германии в другие еврейские центры Европы. После исхода из германского Египта, я поселился в тихом лесном уголке Балтики (Лесной парк близ Риги) и отсюда следил за теми жуткими событиями, которые вкратце описаны в эпилоге к последнему тому моей «Истории», и за их продолжением вплоть до нынешнего момента — новой европейской войны. Я следил за постепенным уничтожением еврейских центров в Германии, Австрии и Чехословакии, за дальнейшим засыханием отрезанной еврейской ветви в советской России и, наконец, дождал до полного разгрома нашего крупнейшего духовного центра в Польше, разрушенной германскими бомбами. Я от времени до времени откликался на эти зигзаги живой еврейской истории, но главная моя работа лежала вне современности — в области прошлого. В смысле научной и литературной работы последние шесть лет, проведенные в Балтике, были не менее продуктивны, чем предыдущий берлинский период. В Берлине я переработал весь текст десятитомной «Всемирной истории еврейского народа» для немецкого издания, а в Риге успел издать целиком ее пересмотренный русский оригинал (1936—1939) и вдобавок первые два тома настоящей «Книги жизни» (1934—1935), которые должны служить тоже материалом для истории.

Заканчивая ныне третий том этой книги на грани жизни, стоя «на роковой черте», я хотел бы проститься с этой долгой жизнью по-своему, *more historico*, но сознаю, что при нынешних условиях это недостижимая мечта, фантазия историка. И мне остается только набросать тут план того фантастического путешествия, которым я хотел бы закончить свою странническую жизнь, если бы перегородки между странами новой Европы не сделали это совершенно невозможным.

Прежде всего я хотел бы посетить родной город Мстиславль, которого не видел уже 38 лет. Там я хотел бы поклониться могилам предков. Постоял бы благоговейно на могиле деда, великого талмудиста рабби Бенциона, и шепотом сказал бы ему: «Здесь я, твой внук, достигший почти того же возраста, в котором ты ушел из мира. Помнишь мой бунт против священной для тебя традиции, твои волнение и грустное пророчество, что я когда-нибудь вернусь к покинутому источнику? Твое пророчество сбылось, хотя и в другой форме. Мы — две вехи на распутье веков, но обе вехи укажут путь к истокам еврейства». Затем «я хотел бы рыдать на могиле далекой, где лежит моя бедная мать» и рядом мой преждевременно умерший отец, с которым я в печальный осенний день простился молитвой «кадиш». После этого я перешел бы с кладбища мертвых на кладбище живых, в город, где когда-то цвели мое детство и юность. Что увидел бы я там, на родном пепелище? «Племя молодое, незнакомое» советских граждан без гражданских свобод, комсомольцев и пионеров, клянущихся именами новых богов. И я для них оказался бы незнакомым, чужим, выходцем из другого мира, давно потонувшего в волнах большевизма. Но в том мире, где были и волнения, и горе, цвели надежды, шла борьба против само-

державия, борьба за свободу и равенство, за новые идеалы против устарелых традиций, было разнообразие идейных течений, кипела жизнь, и это кипение отражалось даже в глухом городе над притоком Днепра. А теперь тут захудалый городок, где насильственно искоренены и традиция, и свободомыслие, где мысль и слово и даже совесть скованы железной догмой, не допускающей никаких уклонов, как догмы католической церкви времен инквизиции. Если бы тут на моем месте появился новый Ахер и поднял бы бунт против новой догмы, его бы не оставили в покое, как меня за полвека перед тем, — он был бы «выведен в расход». Для меня это была бы культурная пустыня, населенная племенем, оторванным от своих исторических корней и обреченным на вымирание.

Далее я двинулся бы на юг и посетил бы Одессу, озаренную полуденным солнцем моей жизни. Я постоял бы на могиле старого друга, Абрамовича-Менделе, но в живых не нашел бы ни одного из прочих друзей: «одних уж нет, а те далече». Где умственное кипение 90-х годов и следующих десятилетий, где собрания, кружки, партии, где люди, хотя бы в малейшей степени напоминающие Ахад-Гаама или Бялика? Опять духовная пустыня...

Наконец я вернулся бы в свою литературную колыбель: в Петербург, потом превращенный в Петроград и Ленинград. «Я любил этот город туманов, город холода, мглы и тоски», потому что я здесь приобщился к литературе, ставшей смыслом моей жизни. Где он, Петербург моей молодости, где мы даже под царской цензурой умели высказывать запретные мысли, где созидалась русско-еврейская литература в европейском масштабе, где молодое поколение нашей интеллигенции ополчалось на бой с царским режимом, готовилось к завоеванию свободы и эмансипации? Где эти бойцы? Мы шли вместе, хотя и разными группами, в новом Петербурге, после революции 1905 г., которая не дала нам всего, за что мы боролись, но дала новые орудия борьбы: частичную свободу печати, союзов и собраний. Где эти литературные органы, эти собрания и заседания с страстными прениями до поздней ночи, эти бои идейных армий, это упоение идеалами свободы и справедливости? Много таких бойцов было в Петербурге и Петрограде, их нет теперь в Ленинграде. И я ушел бы с этого кладбища былого умственного центра с горьким сознанием, что все великие идеалы, за которые мы боролись, здесь не достигнуты...

От этого тягостного прощания с прошлым меня избавляет одно: меня ныне не допустили бы к тем местам, с которыми я хотел бы проститься, а если бы допустили, то не выпустили бы обратно. Еврейскому историку нет доступа в бывшей величайший центр еврейства даже для того, чтобы поплакать на его развалинах...

РАЗМЫШЛЕНИЯ

I. ИНТЕГРАЦИЯ ДУШИ (К психологии воспоминания)

Я всегда стремился уяснить себе то особенное состояние души, которое создается воспоминанием, поворотом внимания от настоящего к прошедшему, от переживаемого к пережитому. Я пытался проникнуть в тайну древней богини памяти Мнемозины, матери девяти муз. Мои самонаблюдения привели меня к выводам, которые могут дать дополнительный материал для исследования этой отрасли психологии.

С ранней юности я привык оглядываться на пройденный путь жизни. Четырнадцатилетним мальчиком я писал свою «автобиографию», конечно очень наивную, и позже периодически подводил итоги пройденным этапам. На заглавном листе первой книги моего дневника красовалась надпись: «Мнемозина» с двумя мотто: греческая надпись на Дельфийском храме «Познай самого себя» и вергилиевский стих «*Forsan et haec olim meminisse juvabit*» («Может быть, и об этом когда-нибудь приятно будет вспомнить»). По мере приближения к зениту жизни и затем к закату ее, я наблюдал следующее явление: каждый раз, когда среди трудов и забот дня мне вспоминалось что-либо из глубоких переживаний прошлого, которое по ассоциации вызывало в памяти ряд других представлений о целой полосе жизни, я испытывал какой-то подъем духа, восстановление душевного равновесия, успокоение от острых тревог настоящего, как будто от прикосновения к давно пережитому духа освобождалась от житейской суеты данного момента. И я уверен, что такое же душевное состояние возникает в подобных случаях у всякого вдумчивого человека, привыкшего к самоанализу, умеющего от времени до времени останавливаться в беге жизни, оглядываться на пройденный путь и соединять переживаемое с пережитым в одну цепь, образующую комплекс души.

Было бы очень полезно распространить следующую психологическую анкету. Когда вы заняты своей повседневной работой или заботой и вдруг в вашей памяти встает картина прошлого, всплывают образы людей, спутников различных этапов вашей жизни, — что чувствуете вы в этот момент? Не ощущаете ли вы некий сдвиг настроения, не кажутся ли вам острые заботы менее колючими, менее важными в сравнении с тем, что сейчас зародилось в вашей душе? Чувствуете ли вы, что вы поднимаетесь над злобой дня и приобщаетесь к чему-то цельному? Какие эмоции возникают в вашей душе, когда вы посещаете родной город после многолетнего отсутствия, входите в дома, где прошли ваше детство и юность, заглядываете в храм, где вы когда-то горячо молились? Что чувствуете вы, когда роетесь в старой переписке, перечитываете давние записи дневников, переноситесь в далекие времена — не слетаются ли к вам тогда со всех концов вашей жизни бывшие радости и печали, ясные зори и грустные закаты и не сливается ли все это в одно гармоническое целое, в какое-то психическое единство, в котором вы находите себя, весь свой внутренний мир, свой микрокосм? Не видите ли вы теперь в сочетании бывшего с настоящим нечто новое, цельное, закономерное и какое состояние души рождается от этого соединения всех нитей жизни в один узел вашего я?

Я называю это состояние интеграцией души, восстановлением ее цельности. Память есть хранилище следов от впечатлений личности на всем протяжении ее бытия, а воспоминание есть акт, извлекающий эти следы из их хранилища и объединяющий настоящее с прошлым в одно душевное целое, образующее данную индивидуальность. В обычном состоянии душа дифференцирована, занята мыслями и заботами данного дня; нижние пласты былых впечатлений закрыты верхним пластом текущих восприятий. Когда же силою воспоминания приводятся в движение и нижние, глубокие пласты памяти и пережитое воссоединяется с переживаемым, тогда душа интегрируется, становится цельною и устойчивою. Это и есть «душевное равновесие». Отсюда и тот душевный подъем, о котором говорилось выше. В еврейской мистике различаются два состояния сознания: «умаление мозгов» (*katnut hamochin*) и «увеличение мозгов» (*gadlut hamochin*), коррелятивы малодушия и великодущия в буквальном смысле этих слов. В человеке активна обыкновенно будничная «малая душа», погруженная в мелочи жизни («В заботы суетного света он малодушно погружен» — у Пушкина); большая же душа, источник полного самосознания, является лишь в известные благодатные моменты интеграции души, восстановления ее цельности.

Придя к заключению о роли воспоминания в интеграции души, я неоднократно проверял этот вывод особым экспериментом. В очень трудные минуты жизни, когда под гнетом личных или общественных забот «умалаясь душа», в моменты депрессии я соединял эти моменты с цепью давно пережитых впечатлений как аккумулятором душевной энергии: переносился мыслью в прошлое, перечитывал старые записи или перебирал в памяти моменты, аналогичные с нынешним. В знаменательные дни, в годовщины рождения или новолетия, в дни праздников или траура, при известии о смерти далекого друга, я перебирал в памяти все, связанное с данной датой или данным лицом в прошлом, и сцепляя таким образом звенья длинной цепи переживаний, чувствовал подлинное «вознесение духа». Злоба нынешнего дня бледнела перед испытаниями минувших дней, «умаленная душа» расширялась, депрессия сменялась либо душевным подъемом, либо тихой резигнацией. Это психическое воздействие смягчало остроту реального горя, растворяло его в массе пережитого и заполняло образовавшуюся в душе пустоту...

Я нашел в мировой поэзии подтверждение моим выводам. Виктор Гюго не раз изображал эмоцию воспоминания:

*O souvenirs! trésor dans l'ombre accru!
Sombre horizon des anciennes pensées!
Chère lueur des choses éclipsées!
Rayonnement du passé disparu!
Comme du seuil et du dehors d'un temple
L'œil de l'esprit en rêvant vous contemple*.*

Альфред Мюссе глубоко определил действие воспоминания в двух строчках:

*Un souvenir heureux est, peut être, sur terre
Plus réel que le bonheur**.*

Известному пушкинскому стиху «И что прошло, то будет мило» соответствует у Виктора Гюго строка:

* «О воспоминания, сокровище, возросшее в тени, темный горизонт былых дум, милый отблеск вещей на закате, сияние исчезнувшего прошлого! Как будто с порога храма око духа созерцает вас в мечтах» (*Contemplations I, 130*).

** «Счастливое воспоминание является на земле, может быть, большей реальностью, чем само счастье».

*Se tourner presque en pleurs vers
le malheur passé*.*

Эта тоска о пережитом объясняется тем, что в темные минуты жизни счастливого мгновение прошлого всплывает в памяти, как лучезарный летний день в сумрачный день осени, а перенесенное горе будит в душе радостное чувство преодоленной опасности. И эти тени прошлого можно вызывать силою воспоминания.

Сознательная интеграция души доступна всем тем, у которых есть смысл жизни, которые в шуме дня не забывают заглядывать в свой внутренний мир и проверять, насколько этот смысл жизни неуклонно осуществляется. К сожалению, наше душевно болезненное время все меньше дает таких вдумчивых людей. Необычайный разгар политических страстей и партийного фанатизма, с одной стороны, и неутолимая жажда новых впечатлений в публичной жизни (собрания, театр, кино, спорт и всякие развлечения), с другой, заглушают в человеке голоса из его внутреннего мира, не дают ему сосредоточиться и обезличивают его. Стадность, стадные мысли и чувства, партийные шаблоны, часто социальные психозы составляют главный порок современности. Идеи ловятся в воздухе, убеждения достаются легко, как готовое платье, без родовых мук мысли. Большинство даже интеллигентных людей делит свое время между своей профессией и публичными собраниями или развлечениями, не оставляя себе ни малейшего досуга для рефлексии, для осмысливания своих переживаний. Болезненная жажда новых впечатлений гонит человека в толпу; он не успевает перерабатывать в уме все воспринятые впечатления: и они ложатся камнем на душу, как непереваренная пища в желудке. Эта гипертрофия впечатлений засоряет ум, задерживает его самодеятельность. Раздробленная между бесчисленными восприятиями душа не может собраться, интегрироваться, самоопределиться. На шумном торжище жизни индивидуальность стирается. Духовная индивидуальность может окрепнуть только в сосредоточенной работе мысли над притекающими извне впечатлениями. Древний завет: «Познай самого себя!» можно формулировать более ясно: «В беге жизни остановись на время, человек, оглянься на пройденный путь, сведи воедино свои прежние и теперешние переживания, интегрируй свою дифференцированную душу — и тогда ты познаешь себя».

Я менее всего склонен проповедовать возврат к крайнему индивидуализму. Напротив, я думаю, что процесс душевной интеграции как орудие самопознания следует распространить и на коллективные индивиды. То, что воспоминание дает единичной личности, дает народу история. Чем больше народ оглядывается на свое прошлое и чем яснее его национальное самосознание, тем больше может оно предохранить его от национального самоотречения, с одной стороны, и от извращения национального чувства или шовинизма — с другой. Тот, кто проследил историю своего народа в связи с историей человечества, во всех стадиях развития, будет предохранен от односторонних выводов, вытекающих из отдельных исторических моментов с их увлечениями и страстями. В этом корень того мировоззрения историзма, которое противопоставляется слепому догматизму, источнику многих зол в жизни человечества. Индивидуальная душа есть продукт переживаний личности на всем протяжении ее бытия; коллективная душа — продукт совокупности исторических переживаний. В обоих случаях непременным условием самопознания является активное проявление памяти: воспоминание. Если можно еще сомневаться, что Мнемозина была матерью всех девяти муз, то муза истории, Клио, несомненно была ее родной дочерью. Ни отдельный, ни коллективный индивид не могут быть цельными без цемента воспоминаний. Если принцип целесообразности велит человеку смотреть вперед, то принцип законосообразности или закономерности явлений велит ему также оглядываться назад, на опыт прошлого, ибо и для целесооб-

* «Оглянуться почти со слезами на миновавшее горе».

разности действий в настоящем необходима помощь накопленного опыта прошлого и вытекающих из него законов жизни.

* * *

На основании этих наблюдений можно было бы прибавить еще одну гипотезу к тем, которые имеются в изобилии по вечному вопросу психологии: о природе души. Есть ли душа отдельная субстанция или энергия, субстрат или функция организма, существует ли дуализм души и тела или монизм? Эти вопросы могли бы быть если не разрешены, то отчасти уяснены при помощи того психического процесса, который проявляется в воспоминании. Абстрактную теорию, которая рассматривает душу как совокупность состояний сознания, можно было бы заменить конкретной теорией о душе как совокупности следов от восприятий или переживаний в течение всей жизни индивида. Душа не создана, а непрерывно образуется из материала впечатлений, накапливающегося в человеке от первых проблесков сознания до конца жизни. Философы представляли себе душу новорожденного как *tabula rasa* или гладкую доску, на которой потом отпечатлеваются переживания личности. Это механическое представление следует исправить в том смысле, что «гладкая доска» является чем-то вроде фотографической пластинки, чувствительной ко всякому предмету и дающей точный снимок его. Из совокупности таких снимков на протяжении жизни образуется полная картина индивидуальной души. Как из тканей, нервов, мускулов, крови образуется тело, так из впечатлений и переживаний слагается душа, духовная часть человеческого организма. И чем сознательнее воспринимаются впечатления, тем яснее тот духовный комплекс, который мы называем душой.

Память или воспоминание играет в душевном складе роль цемента, связывающего все переживания в одну цепь сознания. Утрата памяти или способности воспоминания разрушает эту цепь, вносит хаос в душевный склад. Человек, лишившийся памяти и забывший свое прошлое, теряет свою индивидуальность и является дефектным типом. До известной степени дефектны и те, которые не способны предаваться воспоминаниям и совершать периодически процесс перехода от дифференциации к интеграции души: у них нет цельного душевного склада, нет духовной физиономии.

II. ВЫСШИЙ КРИТЕРИЙ ЭТИКИ

В общем введении ко «Всемирной истории еврейского народа» я уже вкратце указал на необходимость признания примата этического критерия в оценке исторических явлений как высшей инстанции для различных и часто противоположных идеологических критериев. Здесь я хочу развить этот тезис также в применении к оценке явлений личной и общественной жизни современности.

Есть много критериев в оценке явлений: религиозный, психологический, национальный, политический, социально-экономический, интеллектуальный, эстетический, — но над всеми этими частными критериями стоит один общий, всеми признанный: этический. Ведь на что уже сильно в душе верующих религиозное чувство, однако нашелся в древности великий праведник Иов, который апеллировал против самого Бога к инстанции высшего нравственного закона, и отголоски этого протеста звучат уже тридцать веков в миллионах человеческих душ. Своим примером Иовы всех времен доказывают, что нравственное сознание присуще человеческой душе (поскольку она не извращена) в еще большей мере, чем религиозное, что потребность права и справедливости сильнее потребности веры. Последняя может проявляться в разнообразных формах, от низшей ступени язычества до монотеизма

и философского деизма, между тем как нравственная потребность едина: право и справедливость как регуляторы общежития.

Конечно, бывают бесчисленные отступления от высшего нравственного закона, но и нарушители его часто сознают, что поступают плохо. Это присущее духовной природе человека сознание, которое философы называют «категорическим императивом», а простые люди «совестью», внутренне казнит отступников, в которых оно не совсем заглохло: эта казнь известна под именем «угрызение совести». «Я не могу поступить против совести», «это бессовестно» — так формулирует обыкновенный человек отступление от нравственного закона.

Отрицание этого факта я услышал только из уст одного большевика, который на мое указание о подавлении свободы совести в царстве большевизма, ответил: «Совесть это только интеллигентская выдумка». Мой оппонент сам был интеллигентом, и если совесть стала для него выдумкой, то это только самооценка, свидетельствующая, что есть доктрины, которые заглушают совесть.

Умственные оценки мнений могут быть различны, но нравственная оценка действий едина. Есть много «правд-истин», но лишь одна «правда-справедливость», которая должна быть высшим критерием. Мнение или глубокое убеждение само по себе может стать делом совести, и подавление его деспотической властью есть нарушение нравственного закона.

Достаточно привести несколько примеров, чтобы понять, что без высшего арбитража этики или «суда совести» мы лишены возможности давать общую оценку крупнейшим историческим и современным явлениям. Возьмем, например, мученическую смерть Христа как типичный случай казни за убеждение. Христианский мир осудил за эту казнь иерусалимский синедрион и римского прокуратора Пилата, а еврейские историки объясняют ее политическими условиями того времени: тем, что индивидуалистическая проповедь Иисуса отвлекала иудеев от освободительной борьбы против римского владычества, — но общий приговор суда совести гласит, что нет оправдания этой казни, ибо внутреннее убеждение должно быть свободно. Другой пример: испанская инквизиция. Фердинанд и Изабелла вместе с инквизитором Торквемадой решили, что их страна лишь тогда процветет, если там будет единая христианская вера, и поэтому жгли на кострах насильственно окрещенных евреев, марранов, тайно соблюдавших прежние обряды, а затем изгнали всех иудеев и мусульман. Перед судом человеческой совести стоял вопрос: можно ли ради достижения религиозного единства казнить людей физически и духовно, — и этот суд проклял инквизицию, как и всех средневековых гонителей еврейства. Нужно ли еще приводить примеры из истории нашего времени, когда в известных странах партийная диктатура вводит политическую инквизицию для всех, не признающих догматов господствующей партии? Это издевательство над принципом свободы совести, установленным новейшей историей, роднит нашу современность с давно осужденным режимом средних веков.

Против этого возврата к варварству или средневековью восстает в самое последнее время пробужденная совесть людей в свободных странах. Более здоровая в моральном отношении часть человечества поняла, какая опасность грозит ему, если в междучеловеческих и международных отношениях будет утрачен общеобязательный этический критерий. Эта старая истина остается вечно новой в круговороте всемирной истории.

Следует помнить, что латинское слово *religio* означало по существу совестливость, добросовестность, так что уже в античных представлениях нравственный закон или совесть отождествлялись с теми высокими эмоциями, которые лежат в основе религии. Современное свободомыслие стремится также к превращению догматической религии в этическую.

III. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТРИАДА

Три фазиса мышления: тезис, антитезис и синтез

Путем самонаблюдения и исторических наблюдений в области развития идей я уже давно пришел к новой психологической формулировке закона о трех фазисах мышления, взамен гегелевской логической формулы. Полный круг мышления идет от тезиса предания через антитезис критики или отрицания к синтезу или отбору жизнеспособных элементов того и другого. Вот как я формулировал этот эволюционный процесс в примечании к одному из «Писем о старом и новом еврействе» (Петербург, 1907, с. 74—75):

«Эволюционная триада находится только в отдаленном родстве с гегелевской диалектической триадой. Для меня это не формальный логический метод, а глубокий психологический процесс сочетания дробных долей истины, рассеянных в различных стадиях мышления. Три стадии образуют полный круг развития, и каждой из них соответствуют не абстракция, а жизненные идеи-силы. Тезису соответствует унаследованная от прежних поколений без критики косная традиция, установившееся и отвердевшее мнение или верование, положительная догма. Антитезис есть стремление освободиться из-под власти догматического или традиционного тезиса и разрушить его всецело, не допуская в нем даже той доли исторической истины, которой он обязан своим возникновением; это абсолютная критика, отрицание прежнего, противоположный идеал. Синтез же есть не „отрицание отрицания“ (как в диалектике Гегеля), а процесс творчества более полной идеологии, куда входят очищенные от крайностей доли истины, содержащиеся и в тезисе и в антитезисе, в комбинации с новыми жизненными элементами. Это — основа для более совершенного мировоззрения, удовлетворяющего не одной, а многим потребностям человеческой души, интеллектуальным и эмоциональным, а также потребностям народа в данную историческую эпоху. При тезисе остается нерассуждающая патриархальная масса, старая ортодоксия; к антитезису переходит интеллигентная масса, особенно молодежь, в период крушения старых идеалов и верований; но только люди односторонние или ограниченные застывают в этой стадии отрицания; глубже мыслящие переходят к синтезу, совершая таким образом полный круг развития. Однако и синтез, вошедший в сознание масс, превращается с течением времени в догму, традицию, в тезис, в котором сущность заслонена сторонними примесями и позднейшими наслоениями; против него тогда выступает новый антитезис, а затем создается новый синтез, еще более многосторонний, чем предыдущий, — и так далее вращается круг истории, вырабатывая с каждым фазисом все более проверенные идеи, очищаемые опытом и критикой ряда поколений. В этом — закон духовного прогресса. Я надеюсь в особом этюде подробно развить содержание этого научного закона эволюции идей, в его психологических и социологических проявлениях».

Это последнее намерение не осуществилось, и настоящая заметка не претендует на роль исчерпывающего исследования. Здесь я хочу только добавить к вышеприведенным определениям несколько мыслей из тех, которые являлись у меня в течение десятилетий и неизменно подтверждали мою первоначальную идею. Я расчленил свою триаду и попытаюсь определить природу каждого ее члена в отдельности.

К природе тезиса. Раз навсегда установленная традиция или догма, называемая «тезисом», господствует над умами больших человеческих масс, освещенная силою духовного авторитета или поддерживаемая силою светской власти. Не все люди призваны вырабатывать свое мировоззрение: большинство получает его готовым от предков и не сомневается в его истинности, пока какое-нибудь великое потрясение, личное или общественное, не выведет человека или людскую массу из состояния пассивной мысли. Мы знаем в истории ряд веков, когда определенный религиозный, политический или соци-

альный строй казался столь же неизменным, как законы природы. Десятки поколений исповедовали одни и те же «неоспоримые истины» и считали безумцами или преступниками тех редких людей, которые смели в этом сомневаться. В эпохи застоя мысль работала только над укреплением «тезиса», господствующих идей и верований, без которых, казалось, люди потеряли бы почву под ногами, лишились бы мировоззрения, которое давало им и объяснение мировой загадки, и правила религиозно-нравственного поведения. За тезис цеплялись как за якорь спасения, и религиозные догмы держались в массах даже после того, как потерпели крушение многие другие умственные и социальные устои прежних эпох. Сущность всякого тезиса — консерватизм, статика, сохранение установленного порядка, регулирующего человеческую жизнь, спасающего от хаоса. Но за эпохами статики следуют эпохи динамики, сильных умственных и общественных движений. И тут вступает в свои права антитезис.

К природе антитезиса. С прекращением застоя мысли пробуждается в умственно одаренных натурах и в прогрессивных слоях общества потребность пересмотра старого мировоззрения. В новейшей истории Европы такая динамика наступила в XVIII в. и широко развивалась в XIX. Началась эпоха борьбы «отцов и детей». В годы созревания самостоятельной мысли пытливые умы стремятся найти новые объяснения явлениям жизни, более отвечающие росту научного исследования и свободной критики. Эти искания, при помощи книг или новых учителей, приводят к полному или частичному отрицанию старого тезиса, к антитезису. Прежние догмы, установившиеся мнения и даже разумные выводы из векового опыта разрушаются в угоду мировоззрению, в котором отрицательные элементы сильнее положительных. Есть, конечно, много правды в отрицательной стороне антитезиса, освобождающего ум от бремени слепой традиции, но это ценно лишь постольку, поскольку освобожденный ум может дать новые положительные ответы на вопросы, разрешенные старым тезисом. А между тем антитезис по самой своей природе может давать лишь более или менее односторонние ответы на сложные вопросы. Обыкновенные умы довольствуются этими односторонними воззрениями — многие только потому, что они новы и модны, — и остаются равнодушными к высшим проблемам, требующим участия глубоких эмоций и интуиции в работе критикующего разума. Эти люди застревают на узкой переходной полосе антитезиса. Но более активные духовные натуры не могут мириться с самоограничением одностороннего критицизма и идут глубже в процессе мышления. И тут они доходят до высшей стадии этого процесса: до синтеза.

Синтез по своей природе есть высший арбитр в споре между тезисом и антитезисом. Он исходит из двух положений: если человечество в течение веков выработало известную систему воззрений или правил поведения, которая удовлетворяла духовным запросам масс, значит, в человеческой природе или опыте многих поколений было нечто, что эту систему оправдывало; с другой стороны — если новейшие успехи человеческого ума и накопленный более богатый опыт привели к убеждению в несостоятельности многих сторон старой системы, то это не значит, что исчезли причины, которые веками поддерживали ее существование, а доказывает только, что в нее надо внести более или менее существенные поправки, удовлетворять материальные и духовные потребности людей в новой форме, более отвечающей идеалам правды и справедливости, свободы совести и мысли. Это не компромисс и не эклектизм, а творческий акт отбора жизнеспособных элементов, кроющихся и в тезисе и в антитезисе, результат полного круга мышления в его трех фазах. Это — восхождение развивающейся мысли в высший ее фазис, очищение от слепого догматизма верующих и от зрячего (на один глаз) догматизма отрицателей. Вместо догматизма здесь вступает в свои права историзм.

Я давно задумал философский этюд об «историзме», как мирозерцании и как методе, но не знаю, успею ли осуществить этот замысел. Отмечу здесь несколько основных черт этой доктрины. Историзм в социологии то же, что эволюционизм в биологии и релятивизм в философии. Если человеческое познание в своей основе

относительно, то не могут быть абсолютными построенные на нем выводы и системы. Если наши представления о вещах ограничены пределами наших пяти чувств, то наши идейные представления ограничены нашим историческим кругозором. Нет абсолютных истин, кроме имманентного человеческой душе этического закона. Его контроль должны быть подчинены все наши относительные истины, которые подлежат также проверке в порядке исторической динамики. А историческое мышление есть по необходимости мышление синтетическое. Законченное мышление ведет от слепой гармонии тезиса через дисгармонию антитезиса к сознательной гармонии синтета. Большинство людей остается либо в первой, либо во второй стадии мышления, и только немногие самостоятельно достигают высшей стадии: исторического или эволюционного синтеза.

IV. РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА

1. Религия для одних исходная точка мировоззрения, для других — конечная. Одним она все объясняет, даже то, что к ее ведению не относится; другим она открывает просвет лишь туда, куда не проникает научная мысль, в область непознаваемого.

2. Религия для одних абсолютный ответ на мировые загадки, для других гипотеза (деизм в понимании Вольтера), для третьих созерцание (пантеизм); для большинства же она — потребность сердца. Когда Вольтер сказал, что если бы Бога не было, его следовало бы выдумать, то он имел в виду веление разума найти первопричину вещей, источник закономерности в явлениях природы; но еще важнее «выдумать Бога» ради потребностей человеческого сердца: чтобы скорбящая душа имела к кому обращаться с беседой-молитвой, на кого опираться, когда все опоры в жизни колеблются. Это два разных Бога; первый есть отвлеченный закон бытия, недоступный, не откликающийся на человеческое горе; второй — доступный внутреннему взору человека, слышащий его жалобы, управляющий его судьбой.

3. Плох не тот, кто потерял наивную веру детства, а тот, кто, потерявши, не ищет веры в более совершенной форме, будь то религия, очищенная от суеверия и обрядности, вера философская, этическая, социальная — вообще вера в определенные идеалы, дающие смысл жизни. Необходимо только, чтобы эти идеалы могли заменить человеку тот комплекс духовных стремлений и высших эмоций, которые порождают религию и воплощаются в Высшем Существо. Даже «материалист», посвящающий свою жизнь служению высшим принципам этики и гуманизма, правды и справедливости, является верующим, поскольку он верит в осуществимость своих стремлений, то есть своих идеалов, и следовательно, невольным идеалистом в своем материалистическом мирозерцании. Только идеологи, не признающие высшего этического критерия и принципов гуманизма, являются представителями полного безверия.

4. Бог есть наше духовное представление о Боге, как вещь — наше чувственное представление о вещи. Духовным восприятием мы постигаем Бога вне нас через Бога внутри нас: в нашей совести, высших идеалах добра и правды. В этом смысле может быть сказано: «царство Божие внутри вас». С другой стороны, люди далеко не религиозные связывают с Богом противоположеческие представления: ведь Вильгельм II говорил о «германском Боге» как олицетворении военной мощи и даже Гитлер нередко упоминает о Боге. В этом смысле верно изречение мыслителя XVIII в. (Вольнея): «Не Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а человек сотворил Бога по своему подобию». Старый атеист имел в виду антропоморфизм в религии, но я тут говорю об этическом Боге: каждый представляет его себе по своим нравственным идеалам. В этих представлениях отражается духовная личность человека.

5. Кто не имеет в себе «царства Божия», в смысле порыва к высшим духовным идеалам, является нерелигиозным человеком, хотя бы он исповедовал какую-нибудь из официальных религий. Наименее религиозные люди — те, которые торгуют религией или набожностью, продают ее порциями жаждущим чуда, как маклеры между Богом и человеком: клерикалы и церковные фанатики всех религий. Наоборот, бывает глубокая внутренняя религиозность без официальной религии.

6. Человек есть создание конечное с чутьем или потребностью бесконечного. В этом и его величие, и бессилие. Как примирить конечность бытия человека с бесконечностью его духа? Что значит ропот «мыслящего тростника» перед мощью космоса? Религия дала ответ на этот вопрос, но уже библейские Иов и Когелет не удовлетворились им. Давать ответ рискованно, но искать его необходимо, ибо в самом искании есть нечто от бесконечного.

7. Позитивизм или релятивизм дают разрешение вечной проблемы, пока дух удовлетворяется этим. Релятивизм говорит: не смущайся относительностью твоего познания, ибо не может муравей иметь познание человека, а человек — познание сверхчеловека. Твоя истина для тебя, чужая — для существ низших или высших. Но трагедия в том, что дух устремляется выше данного человеку уровня познания.

8. Есть два мирозерцания: космическое и историческое. Космически я ничтожный атом в потоке мироздания, существующего миллионы лет, и все мои истины, все идеалы, дела и подвиги — ничто, тень промелькнувшая. Исторически я вместе с своим поколением и народом представляю собою уже нечто в малом мире, микрокосме человечества. Тут имеют значение и наши относительные истины и дела наши оставляют некоторый след. Космизм сам по себе страшен, и недаром древние советовали: «Не всматривайся в то, что наверху и что внизу, что недоступно твоему разуму». Историзм же спасает душу, давая ей равновесие и охраняя ее от замерзания в ледяной стихии космизма («*hakerach hanora*» в видении пророка Иехезкеля). Одна только традиционная религия примиряет космизм с историзмом, но для этого нужна слепая вера, что дается не каждому, имеющему научное представление о космосе.

9. Культ истины есть удел высших духовных натур, культ добра — удел эмоциональных натур, культ красоты — эстетических натур. Только сочетание этих трех культов может создать цельную гармоническую натуру.

10. Есть искатели истины и искатели справедливости. Библейские пророки называются «глашатаями истины и справедливости». Русский мыслитель Михайловский хорошо формулировал отношения между «правдой-истиной» и «правдой-справедливостью». Среди людей прежних поколений было больше индивидуалистов, искателей истины путем религии, философии или науки; в новейшее время увеличилось число искателей справедливости путем борьбы за демократию и социализм. Раньше больше стремились к познанию общего смысла жизни, к разрешению вечных вопросов и мировых загадок, но пренебрегали социальными проблемами; ныне добиваются переустройства социального мира на основах справедливости, но часто забывают о высших запросах личности. Народится ли скоро поколение, которое будет гармонически сочетать стремления к правде-истине и правде-справедливости?

11. Мера духовной личности заключается либо в обладании определенным мирозерцанием, либо в стремлении к нему. Верующий простолюдин (истинно религиозный, а не только признающий догмы и исполняющий обряды) выше интеллигента, не чувствующего потребности в определенном мирозерцании. Пора упразднить деление на «интеллигенцию» и народ и заменить его делением на духовные натуры и недуховные натуры, на людей с высшим смыслом жизни и таких, которые не имеют других потребностей, кроме «хлеба и зрелищ».

12. Как много философов, любителей мудрости, которых мудрость не любит!

13. Без веры трудно жить. Или нужно верить в Бога и его мудрое управление миром, хотя это не всегда оправдывается в действительности, или же верить в

нравственный прогресс человечества, хотя и это не всегда оправдывается в истории.

14. В нашей вольнодумной юности мы много смеялись над еврейской молитвой, читаемой после известных физиологических отправлений: «Благословен тот, кто сотворил человека с мудростью и образовал в нем отверстия и трубочки, так что если бы одна из них закрылась, человек не мог бы устоять перед Богом ни одного часа». Но ведь мы из анатомии и физиологии знаем, что действительная порча одного винтика в сложной машине человеческого организма может ее совершенно разрушить. Один врач сказал мне: «Из строения человеческого тела я вижу гениального Творца». В Библии это сказано проще: «Из моей плоти я вижу Бога» (Иов 19, 26). Склонных к вере пусть удовлетворит эта гипотеза, а склонных к научному мышлению — гипотеза Дарвина о «происхождении видов».

15. Есть две этики. Этика борьбы за справедливость, выдвинутая в библейском профетизме, предполагает «святое недовольство» неправдою мира, сопротивление злу. Евангельская этика смирения и всепрощения отказывается от борьбы с насилием, ибо считает земной мир только переходной ступенью к иной жизни, небесной. Ницше назвал и библейскую, и евангельскую этику моралью рабов, в отличие от провозглашенной им «морали господ», для которых право в силе. То, что абстрактно формулировал странный философ, ныне осуществляют в самых примитивных формах германские нацисты: бестиализм против гуманизма, мораль «белокурого зверя». Этика иудаизма говорила: «Кто герой? Тот, кто владеет своими страстями». Сократовская этика тоже выдвинула принцип «воздержания» как гигиены души. Был создан отрицательный термин: «раб своих страстей». И этот раб провозглашает себя теперь приверженцем «морали господ»!

16. Однако и идея смирения не соответствует идее строгой социальной справедливости. Толстой, заимствовавший из Евангелия эту идею в форме «непротивления злу», мог еще проводить ее в личной жизни, и то с грехом пополам, но не выдержал в социальной жизни и под конец гневно крикнул насильникам: «Не могу молчать!»

17. «Пусть человек всегда будет среди гонимых, а не среди гонителей» — это изречение Талмуда имеет большое сходство с изречением Нагорной проповеди в Евангелии: «Блаженны гонимые за правду, ибо им принадлежит Царство небесное». В этих сходных выражениях у людей одной эпохи и разных лагерей замечается, однако, та же разница, что между этикой борьбы за право и этикой смирения. Смысл еврейского завета таков: если тебе поставят на выбор быть гонителем или гонимым, выбирай последнее при невозможности сопротивляться насилию, а не ради смирения и «великой награды в небесах». Это — запрет переходить в лагерь гонителей ради спасения от гонений, идти в лагерь торжествующих. Так писал и философ-жирондист Кондорсе во время французской революции, когда за ним гнались агенты якобинцев:

*Ils m'ont dit: choisis d'être oppresseur ou victime.
J'embrassai le malheur et leur laissai le crime.*

Это выразил и русский поэт Некрасов в своей вдохновенной строфе:

*От ликующих, праздно болтающих, обгабряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви.*

18. «Не увлекайся греческою мудростью, ибо в ней есть только цвет, но нет плода». Это слово Иегуды Галеви, слишком резко характеризующее эллинский эстетизм в отличие от иудейского этизма, содержит, однако, долю истины. Эллинизм, конечно, не был пустоцветом, но поскольку в нем преобладал культ красоты,

* Перевод см. на с. 328. [Ред.]

он уподоблялся ласкающему глаз и быстро опадающему весеннему цветку на дереве, между тем как культ нравственного долга представляет собою скромно прячущийся в листве плод, который остается и питает человеческую душу.

V. ГОСУДАРСТВО, НАЦИЯ, КЛАСС

1. Государство, нация, класс — во имя господства каждого из этих принципов ведутся гражданские войны, партийная и классовая борьба, взрывающие государство изнутри и часто приводящие к международным столкновениям. Величайшая задача человечества состоит в том, чтобы примирить эти враждующие начала и добиться разграничения их сфер власти в социальном организме. Должен быть достигнут справедливый мир между классами внутри нации, между национальностями внутри государства и между государствами внутри союза государств, в форме соединенных штатов Европы и других частей света. Внутренний пацифизм так же важен, как внешний.

2. В каждой из указанных сфер разрушительным элементом является гипертрофия власти. Государственная власть, опекающая все проявления жизни граждан и навязывающая им политическую доктрину одной партии с подавлением всех других, вызывает крайнее напряжение государственной машины, подавление личной инициативы в экономике и личной свободы в области культуры, что неизбежно приводит раньше или позже к революционному взрыву. Такова неизбежная судьба всякой диктатуры. Силы демократии могут быть подавлены надолго, но не навсегда. Это чувствовали и представители старого абсолютизма, когда в ожидании революционного потопа говорили: «После нас хоть потоп!». Это должны помнить и нынешние представители фашизма, нацизма и большевизма.

3. В утешение жертвам деспотизма или диктатуры нужно напомнить, что деспотизм — ледяной дом, прочный только до оборота весеннего солнца, регулируемого законами истории. Первая «политическая весна» — и ледяной дом растает, и замороженные народы (так Победоносцев когда-то советовал царю «заморозить Россию») будут увлечены потоком вешних вод, которые снесут все преграды на пути к политической свободе.

4. Идея единой религии или церкви в государстве создала средневековую инквизицию. Идея единой нации или государственного национализма привела в наше время к террору нацистов-антисемитов в Германии и других странах, куда проникла эта эпидемия (Польша и др.). Идея единого класса привела к большевизму в советской России. Идея единой политической партии осуществляется в различных направлениях большевиками в России, фашистами в Италии и национал-социалистами в Германии, но методы осуществления у всех одинаковы.

5. Между европейскими политическими реакциями XIX и XX вв. есть существенное различие, и не к чести XX в. Длительная реакция 1815—1848 гг. дала нам немало деспотов и душителей свободы: австрийского Меттерниха, десятки мелких тиранов раздробленной Германии, российский «жандарм Европы» Николай I, — но ведь эта эпоха выдвинула также борцов за свободу группы «молодой Германии» (Берне, Гейне и др.), «молодой Италии» (Маццини), молодой России (Белинский, Герцен, петрашевцы), которые в своих странах или вне их пределов умели проводить свои оппозиционные или революционные идеи в сознание поработенных народов. Во время реакций и контрреволюций второй половины XIX в. европейская пресса приобрела такую силу («шестая держава»), что ни одна цензура не могла мешать ее оппозиционной пропаганде. В каждую страну проникала из-за границы запретная литература, да и в самой стране писатели умели обходить цензуру эзоповским языком, намеками и сокровенными выражениями, в которых разумные читатели отлично разбирались. Казалось тогда, что нет преград свободной мысли, что нельзя замкнуть целое государство и отрезать его от «духа, который веет, где хочет», от вольного воздуха культурного мира. Но вот пришли политические реак-

ции (иногда под псевдонимом «революций») XX в. и показали, что это возможно. В нынешних странах диктатуры нельзя даже представить себе обход цензуры в легальной оппозиционной прессе, ибо и самая умеренная оппозиция считается государственным преступлением. Диктаторы совершенно уничтожили оппозиционную прессу и оставили только одну правительственную. Там не может быть ни малейшей критики существующего режима, ни единой книги, речи или простого заявления не сочувствующих ему лиц. Школа воспитывает целое поколение в духе господствующего режима, и так как ни один голос из-за границы не может проникнуть в замкнутое царство, то молодежь даже не знает, что есть в мире страны политически свободные, и верит своим вождям, что именно их страна свободна, а другие порабощены. Может ли такая идейная блокада продолжаться без конца? История всех эпох не раз давала ответ на этот вопрос.

6. То, что раньше называлось абсолютизмом, монархизмом, самодержавием, ныне называется тоталитаризмом, то есть «государство — это все». Не государство для народа, как говорит демократия, а народ для государства, для государственной власти, которая воплощается в личности «дуче» или «фюрера». Это прямой путь к старому лозунгу абсолютного монарха: «государство — это я». Замечательно, что именно после мировой войны, когда много монархов лишилось своих корон, в ряде стран восторжествовал новый абсолютизм. Весь XIX в. прошел под знаком борьбы за «правовое государство» против полицейского, а XX в. явил нам пример возврата к полицейскому государству.

7. Среди политических теорий XIX в. нет ни одной, которая не была бы извращена или фальсифицирована политическими практиками последних десятилетий. Мы знаем страны, где социализм превращен в государственный капитализм и аграрное крепостничество, так что рабочие и крестьяне эксплуатируются не меньше, чем в старых капиталистических странах. Мы знаем страны, где национализм выродился в дикий шовинизм или примитивный расизм, и такие, где под лозунгом демократии проводится самая крайняя автократия.

8. Демократия живет, пока ее не убивает демагогия, пользующаяся демократической свободой для того, чтобы ее погубить. Пример — нацизм, уничтоживший веймарскую конституцию, воспользовавшись ее неограниченной свободой.

9. Наука на службе разрушения. Техника авиации для сбрасывания разрывных бомб над неприятельскими городами и массовых убийств мирного населения. Химия — для уничтожения людей удушливыми газами. Радиотелефон — для развращения умов и одурачения масс лживыми сообщениями деспотических правительств с целью оправдания их внешней и внутренней политики. А сколько благ могли бы давать все эти орудия, если бы ими пользовались для созидания, для строительства!

10. В 1846 г. Виктор Гюго, имея в виду первую французскую революцию 1789 г., мог еще с уверенностью сказать, что «всякая революция, мстящая за прежнюю несправедливость, приносит вечное благо, хотя и сопровождается временным злом». Это применимо ко всем революциям, прокламировавшим «права человека и гражданина», но не к тем, которые под мнимым лозунгом освобождения фактически приводили к подавлению свободы и к неравенству граждан. Таким государственным переворотам не подобает титул «революция». К типу истинных революций можно причислить французские 1789 и 1848 гг., германские, австрийские и итальянские 1848 г. и ноябрьскую революцию 1918 г. в Германии, революцию 1905 г. и февраль-мартовскую революцию 1917 г. в России. К типу «государственных переворотов» относятся *coup d'état* 1851 г. во Франции, октябрьская революция 1917 г. в России, марш фашистов на Рим 1923 г. и, наконец, установление диктатуры в Германии 1933 г., хотя некоторые из этих переворотов величают себя «революциями». Тут, конечно, о «благе» не может быть и речи.

11. Прочна только та революция, которая созрела в душе народа или его лучших людей путем эволюции. Искусственно вызванная преждевременная революция дает обыкновенно результат преждевременных родов — хилое дитя.

12. Есть детские болезни новорожденных государств, достигших независимости после долгой борьбы с империями, часть которых они составляли. Прежде угнетенная нация, которая сама добивалась прав национального меньшинства, превратившись в национальное большинство в собственном государстве, начинает применять все методы господствующей нации, от ига которой она только что избавилась, и угнетает подчиненные ей национальные меньшинства. Устрашающий пример в этом отношении дала Польша. Мировая война дала ей полную независимость после полутора лет порабощения тремя империями, а когда ее идеал осуществился, она стала играть в «великодержавность» и сделалась самым шовинистическим государством в Европе, угнетая свои меньшинства — украинцев, русских и особенно евреев. Не тут ли кроется одна из причин последней катастрофы, приведшей к новому разделу Польши между двумя державами (1939)?

13. Если общество есть совокупность людей данного поколения, то нация есть совокупность поколений, коллектив на известном протяжении истории. И чем больше это протяжение, при непрерывной культурной динамике, тем важнее роль нации в коллективе наций — человечестве.

VI. НАУКА И ЛИТЕРАТУРА

1. Все науки дают знание, история дает кроме того и мудрость как накопленный опыт веков. Речь идет о строго научной и объективной историографии, правдивой, подчиненной высшему критерию этики и гуманности, а не об исторических книгах, служащих орудием той или другой партийной пропаганды. К сожалению, книги последнего рода преобладают. Больше всего фальсифицируется история в школьных учебниках, составленных с целью воспитания молодежи в духе господствующей политической партии или системы управления.

2. Историография как одна из важнейших отраслей социологии отличается от прочих родственных наук тем, что она не только устанавливает законы развития человечества, но и судит действия исторических лиц и коллективов. Поэтому она должна быть особенно осторожна в своих суждениях и приговорах и основывать их не на частных догматах или доктринах, а на общих законах прогресса и на общечеловеческих принципах этики.

3. Слово, которое должно служить орудием проведения мысли в жизнь, может стать при ненормальном употреблении орудием извращения мысли. Очень часто оно становится на место мысли и является формой без содержания. Многие писатели пишут не потому, что у них много мыслей, а потому, что у них много слов. Эту массу вычитанных слов, терминов и модных фраз они комбинируют — и выходит статья или книга. Так являются пустые произведения, состоящие из одних костюмов с манекенами мертвой мысли внутри. Это не литература, а «словесность» в буквальном смысле, набор слов. Мысль должна рождать слово, а не наоборот.

4. Многие произведения немецкой философии являются только продуктами такой «словесности»: бесконечных словосочетаний с воображаемыми понятиями. Это мозговая паутина, которую может сдуть свежий ветер реального мышления.

5. Органический порок символизма и декадентства в поэзии — в том, что тут язык идет гораздо дальше мысли или образа, слово дальше чувства. Ссылка на смутные ощущения не спасает, ибо истинное творчество делает все смутное ясным. Творчество открывает глубины, но не маскирует пустоты.

6. Берегитесь словесного разврата! В русской поэзии XIX в., озаренной солнцем Пушкина и Лермонтова, этого разврата не было; он появился только в начале XX в. Такие «поэты», как Маяковский и Андрей Белый, развратили и поэзию, и

прозу. Кто любит Пушкина и Тургенева, не может переносить писания этих декадентов и жонглеров слова.

7. «В стиле проявляется человек» — это слово Бюффона вовсе не так поверхностно, как думают. Есть люди без стиля, как есть писатели без стиля, точнее с шаблонным стилем, с ходячими мыслями и фразами, но есть и такие, которые самостоятельно мыслят и находят для своих мыслей и образов вполне подходящие формы, отражения их души. Это и есть стиль. Писателю со стилем в литературе соответствует вообще человек с характером и лично выработанным стилем жизни.

8. Писатель, тщательно отделяющий свое изложение, чтобы слово вполне соответствовало мысли или образу, испытывает огорчение, когда его произведение читается без понимания тонких оттенков мысли, скрытых в изгибах стиля. Так огорчается поэт, когда его стихи декламируют как прозу, без чувства ритма. Известный ритм есть и в прозе, писанной в минуты вдохновения, но большинство читателей не чувствует этого ритма. Верно сказал Давид Фридрих Штраус о читающей публике, что она как корова пожирает без разбора ароматные цветы вместе с сорной травой*. Вспоминается мне сравнение Абрамовича (Менделе): опытная в кулинарии хозяйка готовит обед для гостей с любовью художницы своего дела, а гости приходят, набрасываются на еду и пожирают быстро, среди шумных разговоров, совершенно не разбираясь в изысканности изготовленных блюд. И хозяйка спрашивает себя: стоило ли трудиться для них? И писатель спрашивает: для чего все эти заботы о тонкостях стиля, в которых рядовой читатель не разбирается?

9. «Я пою, как птица поет» — говорил Гете о своей лирике. Многие поют так в юности, пишут лирические стихи, пока весна юности сияет или зрел цветет в душе, как поет соловей в майские ночи. Но признак истинного поэта в том, что он поет и после того, как проходит весна жизни (Гете, Виктор Гюго, Гейне и др.).

10. Толстой верно сказал, что автобиография (конечно, правдивая, а не тенденциозная) есть самый лучший вид литературы. В художественном творчестве самые лучшие произведения те, где преобладает автобиографический элемент («Детство и отрочество», «Война и мир» Толстого и т. п.). Я убедился в сильном воспитательном действии искренно и правдиво написанных автобиографий или воспоминаний.

11. Торжественное юбилейное собрание, в котором участвует сам юбиляр, есть выставка его заслуг. Уважающий себя писатель не должен участвовать лично в такой выставке — пусть его чествуют (и свободно критикуют) заочно.

12. Нужен новый Омар, который приказал бы истребить ненужные книги и избавил бы мир от книжного потопа — сказал мне как-то Абрамович-Менделе. Я ответил, что Омар, в своем диком фанатизме сжегший Александрийскую библиотеку (по сомнительному преданию), ценил литературу только с точки зрения Корана и поэту уничтожил многие классические произведения, а кто нам поручится в беспристрастии и компетентности нового Омара? Однако сама мысль о книжном потоке верна, и великое дело совершил бы тот, кто мог бы выпустить 90 процентов воды из мировой литературы. А так как это невозможно, то надо полагать, что сама жизнь предаст забвению литературные произведения, не заслуживающие памяти потомства.

13. Писатели-стилисты часто бывают плохими ораторами, если не читают свои речи по бумаге, а импровизируют их. Люди, привыкшие во время писания взвешивать каждое слово или писать лишь по вдохновению, чувствуют себя неловко там, где нужно импровизировать, говорить что попало на язык, лишь бы произвести эффект. Но замечается и обратное явление: хорошие ораторы, блестящие адвокаты бывают часто беспомощны в своих литературных произведениях, где нужна отчетливость мысли, а не эффектные слова. Многие красивые речи, стенографически пе-

* «Kommt eine Blume ihr vor die Nas', die nimmt sie mit und fragt nicht was? Ist ihr wie andres Futter auch: beschäffigt das Maul und füllt den Bauch».

реданные в печати, производят гораздо более слабое впечатление, чем при слушании их; плохие же речи выходят в печати безграмотными и неудобочитаемыми. Я бы поэтому советовал писателям с строгим стилем, не привыкшим часто выступать с речами, читать по бумаге свои большие речи (рефераты, публичные лекции); ораторам же при печатании своих речей следует тщательно переработать их стилистически.

14. В последние десятилетия укоренился и в еврейской прессе обычай давать длинные романы выдающихся писателей в фельетонах. Я заметил, что с тех пор как писатели стали печатать там свои произведения, они отходили от формы коротких новелл, которые раньше прославили их имена, и стали бесконечно удлинять свои романы, с явным ущербом для своего таланта, хотя с значительным приращением для своего гонорара. Заметно в таких романах, что автор пишет их из недели в неделю, нанизывая главу на главу, часто отходя от первоначального творческого замысла. Это некоторым образом работа на заказ, представляющая много соблазнов для писателей, нетвердых в своих литературных планах. *Nomina sunt odiosa...**

VII. ДУМЫ О ВЕЧНОМ НАРОДЕ

1. Библейское представление о бессмертии личности в ее потомстве, а затем в ее народе заменяло в древности идею личного бессмертия. Продолжение жизни индивида в потомстве, как биологическая метаморфоза, возвысилось у библейских пророков до представления об исторической вечности целого народа. Эта идея могла стать национальным культом для позднейших мыслителей (от Иегуды Галеви до новейших идеологов), поскольку с нею была связана вера в вечность и универсальность тех духовных ценностей, которые созданы еврейской нацией. Для современного еврея, утратившего религиозную веру в загробную жизнь или философскую идею бессмертия души, может служить заменой их эта вера в коллективное бессмертие еврейства. Народ, давший миру великих духовных творцов и проделавший трехтысячелетнюю историю, не может исчезнуть бесследно, растворившись в народах позднейшей культуры**.

2. Еврейский народ, переживший и древние монархии Ассирии, Вавилонии и Египта, и античный греко-римский мир, мог бы сказать нынешним могущественным народам: вы взяли себе пространство, а я взял себе время. Вы владеете огромными территориями в разных частях света, а я расположился в веках, на протяжении всемирной истории. Но и в пространстве еврейский народ в известном смысле опередил другие народы, хотя это была экспансия вынужденная. Велико горе рассеяния еврейского народа, но велико и благо рассеяния. Уже в Талмуде было сказано: «Бог оказал милость Израилю тем, что рассеял его среди народов»: если его преследуют в одной стране, он спасается в других. Если бы еврейский народ, подобно другим, был прикреплён к одной земле, он был бы уничтожен вместе с своей территорией при политических катастрофах трех тысячелетий.

3. Наше великое горе в том, что нас во все века преследовали. Наше величие в том, что мы пережили и преследования, и преследователей, всех Гаманов нашей истории.

4. Процесс ассимиляции приводит к тому, что известные слои общества имеют духовную точку опоры не в своем народе, а вне его. Оттого что точка опоры находится не внутри, а вне родной культуры, получается неустойчивое равновесие, шатание. Однако следует отличать ассимиляцию внешнюю от внутренней. Окруженные чужой культурной стихией по необходимости усваивают многие ее элементы, язык и внешние формы быта: нельзя выйти сухим из воды. Важно только, что-

* Имена ненавистны (*лат.*), т. е. имена нежелательны. [*Ред.*]

** На эту тему я писал подробно в первой статье из незаконченной серии «Думы о вечном народе» («Еврейский мир», 1909, кн. 2).

бы не утонуть. Это умение плавать по чужим морям даже в самые бурные погоды дала евреям история: усваивать формы окружающей культуры и сохранить сущность своей.

5. Два процесса проходят через всю еврейскую историю: гуманизация и национализация. За эпохами крайней национальной замкнутости поднимаются в передовых рядах общества стремления к общечеловеческому, к общению с окружающими культурными народами, а когда это переходит известные пределы и грозит растворением евреев в окружающей среде, пробуждается инстинкт национального самосохранения и создает процесс возвращения, национализации ассимилированных частей. Это — естественное чередование центробежных и центростремительных сил. Проблема состоит в том, чтобы уравнивать действие обоих процессов*.

6. В древней истории иудаизма установлены два периода: а) допророческий, когда народ создавал себе бога-патрона, покровителя племени, наряду с богами-патронами других племен; б) пророческий период, когда возникло представление о Боге всего человечества и стремление превратить еврейство в нацию богоносцев, призванных возвестить миру идею этого универсального Бога, источника правды и справедливости. Во имя этого этического Бога библейские пророки обличали неправду в своем народе и в других. И вот появился творец книги «Иов» и поднял протест против самого Бога, допускающего неправду и несправедливость в управляемом им мире. В Псалмах и в средневековой религиозной поэзии мы слышим жалобы коллективного Иова, гонимой нации, на «избравшего» ее Бога.

7. Если религия есть достижение истины, а философия — искание ее, то в Библии есть и то и другое. Ибо здесь поставлены главные проблемы, до сих пор волнующие мыслящее человечество. Та самая Книга, которая дала нам положительную религию, дала и отрицательную критику ее. Она дала нам тезис и антитезис, предоставив нам делать синтез. Библия не только книга веры, но и сомнений в вере. В этом отличие Ветхого Завета от Нового, который весь основан на догматической вере. Недаром талмудисты хотели позже «спрятать» ряд библейских книг, но затем оставили их в последнем отделе «Писаний», то есть вольной литературы, рангом ниже Священного Писания.

8. «Когелет» — первая книга, отрицающая абсолютную истину во имя относительной, да и то с печальной оговоркой: «И все это суета». В Псалмах и книге «Иов» человек еще спорит с Богом, в «Когелет» он игнорирует Бога. Два полюса: полюс огня и горячих излияний Псалмов и полюс скептического холода в «Когелет», а между ними мировая скорбь Иова.

9. Древнее благословение Бога родоначальнику Израиля: «Я сделаю твое потомство многочисленным как песок на берегу моря» — исполнилось в том смысле, что еврейский народ часто распадается как песок на партии и общественные группы, которые трудно объединить для общего дела. Даже апостол хасидизма когда-то сказал: «Как нельзя сделать нить из песчинок, так нельзя объединить десяток евреев на одном мнении».

10. С осуществлением еврейского государства в Палестине будет создан несомненно важнейший духовный центр нации, но ввиду того, что и тогда останется мировая диаспора, возникает опасение, что еврейский народ опять расколется на две части: Иуда в Палестине и десятиколенный Израиль в рассеянии, одно колено с древним национальным языком и десять колен, говорящих частью на идиш, частью на всех языках земного шара. Задача в том, чтобы установить взаимодействие этих частей.

* Эта проблема развита в моей статье «Процессы гуманизации и национализации в новейшей истории евреев» («Еврейский мир», 1909, кн. 1).

11. Евреев не любят не столько за их недостатки, сколько за их достоинства, за преимущества, унаследованные от долгих веков умственной культуры.

12. Есть тип любителей еврейства, которые любят его как старинную вещь, как историческую редкость. Они желают поэтому сохранить его в виде мумии, а не развивать как живой организм.

13. Римский историк Тацит, сам ненавидевший евреев, приписывал им «ненависть к роду человеческому» (*odium generis humani*). Почему это? Неужели римские законы и нравы были гуманнее еврейских? Ответ на это простой: религиозная и бытовая обособленность евреев делала их загадкой для окружающих народов, а скрытым и замкнутым людям всегда приписывают неприязнь к соседям. Отшельник, хоть и добродушный, часто слышет мизантропом. То же применимо и к средним векам. Забывали, что во все эти исторические эпохи обособленность была вынужденная, вызванная чувством самосохранения малой нации среди чуждого или враждебного мира.

14. Слово юдофобия, понимаемое обыкновенно в смысле ненависти к евреям, означает в действительности страх перед евреями. *Fobos* по-гречески означает боязнь, страх, а *fobeo* — устрашаю или страшусь, боюсь. Таким образом, «юдофобия» означает иудеобоязнь, как гидрофобия — водобоязнь, то есть собачье бешенство или болезнь от укуса бешеной собаки. Какая огромная масса людей страдает ныне от укусов бешеных собак юдофобии или антисемитизма! Есть страны, где эта эпидемия приняла устрашающие размеры. Но пока против болезни юдофобии не нашлось того серума, какой был открыт Пастером для предохранения от болезни гидрофобии.

15. Когда-нибудь ведь кончится эта вакханалия юдофобии, эта страшная эпидемия членовененавистничества, свирепствовавшая в ряде стран в первой половине XX в. Народы одумаются, дикie страсти улягутся, и тогда какая картина откроется перед их глазами? Еврейский народ, измученный от нанесенных ему бесчисленных ран, оплакивающий своих мучеников, но нравственно очищенный в горниле страданий, а мучившие его народы — с поколением развращенной молодежи, со всей этой массой погромщиков под именами «железнодорожников», «штурмистов», «наровцев», «фалангистов», «гакенкрейцлеров», которые никогда не смоят невинную еврейскую кровь с своих рук. Это будет поколение с запятнанной совестью, с загрязненной душой, которое в новом европейском обществе будет нуждаться в исправительных домах для преступников, если только оно само не поймет весь ужас того, что оно натворило в юности под давлением бессовестных вождей. Только после того, как это поколение нравственной пустыни исправится или вымрет, возродится в Европе новое общество, основанное на человеколюбии, братстве и социальной справедливости.

VIII. РАЗНЫЕ МЫСЛИ

1. Мы все похожи на того мальчика, который, опустив руку в наполненный орехами кувшин с узким горлышком, забрал полную горсть их, но когда пришлось вынуть руку из кувшина, вынужден был понемногу выпустить из руки почти все орехи. Так и мы. В начале жизненного пути мы забираем себе в голову слишком много планов и грандиозных замыслов, а потом в тисках жизни мало-помалу сокращаем их так, что к концу очень мало остается. Однако для одаренных людей эти уроки жизни являются средством отбора и определения истинного призвания. Отказавшись от распылчатых целей, они достигают той концентрации сил, без которой невозможно истинное творчество.

2. Чрезмерный идеализм ведет часто к пессимизму. Разочарование в достижимости максимума идеала отнимает у человека и ту энергию, которая достаточна для достижения минимума. Только сильная натура может преодолеть эту опасность и отказаться от максимализма ради достижения того, что при данных обстоятельствах возможно и что с течением времени может приблизиться к максимуму. — Пессимист, не ожидающий ничего хорошего от жизни, часто примиряется со всеми ее подостыями и совершенно утрачивает былые идеалы. Истинный же идеалист, не теряющий веры в конечное торжество добра, никогда не примирится с временным торжеством зла и сохранит то «святое недовольство», то чувство возмущения против всякой несправедливости, без которого невозможен моральный прогресс.

3. Когда Адам был изгнан из рая, Бог преисполнился жалости к нему и, позвав богиню памяти Мнемозину, сказал ей: иди за ним, и если горе омрачит его душу, утешай его воспоминаниями о бывшей райской жизни. И Мнемозина пошла и стала утешительницей рода человеческого. Ибо изгнание из рая детства и юности повторяется в жизни всех детей Адама. (См. выше, «Интеграция души».)

4. Способности усвоения и творчества обратно пропорциональны. Человеку с самостоятельным умом труднее усваивать плоды чужого ума, а ординарному уму легче усваивать чужие мысли. Но если чужая мысль уже усвоена творческим умом и воспринята им, то она, как попавшее в плодородную почву зерно, дает обильный урожай, между тем как ординарный ум воспринимает ее механически и зерно мысли остается на поверхности сознания, не давая никакого плода.

5. Подражательность лежит в основе поведения большинства людей, представляющего собою человеческое стадо. Эта стадность проявляется не только во внешнем образе жизни, но и в идеях, убеждениях и вкусах. Вот почему мы повсюду видим не только модные платья, но также модные идеи и даже модные (часто деланные) увлечения. В житейских делах стадность может быть безвредной, но она может оказаться опасною при массовом увлечении явно вредными идеями. Психические эпидемии не менее опасны, чем физические, и слабые умы скорее поддаются им, как слабые организмы поддаются чумной заразе.

6. Приходится отметить, что житейская подражательность или стадность проявляется особенно сильно в женской половине рода человеческого. Достаточно указать на деспотическую власть моды в дамском обществе. Дамские туалеты каждый год и каждый сезон меняются по усмотрению парижских законодателей мод, конфекционеров и портных, и меняются часто не к лучшему в смысле вкуса или удобства, а к худшему, и тем не менее дамы слепо повинуются этим предписаниям, потому что каждая из них считает нужным быть похожей на всех других и боится казаться смешной, если она появится в костюме прошлогодней, «устарелой» моды. Помню время, когда законодатели мод запретили делать карманы в женском платье и пальто, так что дамы вынуждены были носить свои носовые платки, деньги и ключи в сумочках, иногда теряли их и попадали в печальное положение. Я говорил одной даме: представьте себе, что до введения этой моды вас, в наказание за какой-то поступок, лишили права носить платье с карманами для необходимых мелких вещей, — ведь вы бы возмущались, а теперь вы охотно миритесь с этим лишением, чтобы только не отстать от других. Потом появилась мода на «бубикоп», и все, от девочек до старух, стали стричь себе волосы, даже те, которых это безобразило. От обеих этих «реформ» развились две большие отрасли промышленности: производство дамских сумочек и дамские парикмахерские. Когда вышел «приказ» носить шапочки или шляпки с наклоном набок, вся женская армия появилась на улицах в покосившихся набок головных уборах. А скверная мода красить губы, которая вовсе не красит женское лицо и часто противна самим красильщикам! Где же тут говорить об индивидуальных вкусах или об оригинальности!

7. Фрейд ввел в психологию древнего бога Эроса, который под именем Амура был опошлен уличными романами. Он имел смелость показать, что сексуальный инстинкт гораздо больше переплетен с человеческой психикой (и психиатрией), чем это допускалось раньше. Наилучшим его открытием была теория «сублимации», преодоления инстинкта и отвлечения его энергии в сторону духовного творчества.

8. В Эросе есть не только биологический и психологический, но и космический элемент. Недаром сотворение женщины связано с космогонией в библейской Книге Бытия. Рассказ о сотворении Евы из ребра Адама должен был образно объяснить взаимное тяготение полов, как притяжение некогда слитных частей. Принято думать, что сексуальное влечение основано исключительно на инстинкте размножения рода. Шопенгауэр в своей «Метафизике любви» и Гартман в «Философии бессознательного» показали эту могучую власть «гения рода». Это верно, поскольку половой инстинкт присущ человеку наравне со всеми животными, но это еще не охватывает всю область глубоких эмоций, связанных с Эросом. Чем объяснить, например, взаимное влечение полов и в таком возрасте, когда о продолжении рода не может быть и речи? Влюбившийся на старости поэт Тютчев считает «последнюю любовь» еще более глубокою и нежною, чем юношескую страсть: «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней!» Это «суеверное», мистическое также связано с упомянутой «сублимацией» биологического инстинкта. Платон, как известно, определил Эрос как влечение к «идеям», прототипам вещей, как порыв к познанию мировых тайн. Мы ведь знаем, что этому богу мы обязаны гениальнейшими произведениями мировой поэзии. Мы знаем также, сколько иллюзий порождается в человеческом уме под влиянием Эроса, иллюзий часто возвышенных и благородных, тот «возвышающий нас обман», о котором Пушкин сказал, что он «дороже тьмы низких истин». Тут и заключается мистический элемент.

9. У женщин в период влюбленности замечается в духовной области такое же явление мимикрии, как в физическом отношении у животных в аналогичном состоянии, когда самка принимает цвет самца: влюбленная женщина приспосаблиется к мыслям, чувствам и вкусам любимого человека, так что является иллюзией полной душевной гармонии. Мужчина, смотрящий сквозь розовые очки Эроса, склонен поддаваться этой иллюзии, пока неизбежное понижение любовной температуры не убедит его в том, что эта бессознательная мимикрия есть только одна из шалостей хитроумного божка. Когда проходит время влюбленности, ассимиляция жены сменяется диссимилиацией, а гармония дисгармонией.

10. В Книге Бытия сказано о создании женщины: «А потому мужчина пусть оставляет своего отца и свою мать и прилепится к жене, и да будут они единой плотью». Не сказано «единой душой», ибо это не всегда соответствовало бы действительности. Тут кроется трагедия брачной жизни в обществе культурно дифференцированном. Чем разнообразнее духовная жизнь, тем чаще случаи духовной розни между супругами, что ведет к взаимному отчуждению. Тяжело жить вместе людям, различно относящимся к смыслу жизни, именно в тех случаях, когда один имеет определенный смысл жизни, а другой его не имеет или имеет противоположный. Чаще всего жена не способна понимать высшие духовные устремления мужа (пример — семейная трагедия Толстого). Но бывает и обратное: когда у жены смысл жизни или моральный уровень выше, чем у мужа.

11. Признаком чистой альтруистической любви является жалость, любовь к страждущему, беззащитному, слабому. Любовь к сильному и властному не всегда свободна от эгоистических побуждений, между тем как любовь-жалость альтруистична. Сексуальная любовь без жалости жестока и груба, а порою может превратиться в ненависть. Наоборот, жалость может иногда превратить ненависть в любовь: вы, например, рассердились за что-то на своего друга или родного и возненавидели его, но вот вы узнали о его несчастье, которое было отчасти следст-

вием вашей размолвки, — и в вашей душе растаял лед, появилась потребность простить, просить прощения, восстановить расстроенную дружбу.

12. Современные люди часто заменяют патриархальный культ предков культом детей. Они делают себе кумиров из своих малых детей и дают им чувствовать их превосходство над старшими. Это — другая крайность против бывшего слишком строгого родительского авторитета. Такие дети большею частью делаются маленькими деспотами в семье. Этот детский деспотизм может стать хуже родительского.

13. Принято говорить: тружусь, пока живу. Правильнее было бы сказать: живу, пока тружусь и поскольку занят любимым делом, ибо без такого труда нет осмысленной жизни.

14. Хорошие люди приспособляют свои действия к своим убеждениям, дурные приспособляют свои убеждения к действиям, которые они совершают под давлением извне, против совести. Так большинство людей приспособляется к господствующему режиму, так как это приносит выгоды.

15. Умными мы называем людей опытных в житейских делах со всеми их мелкими условностями. Мудрыми можно называть людей, понимающих процессы жизни во всей их глубине и сложности. Умные часто далеки от мудрости, а мудрые иногда не удовлетворяют требованиям условного практического ума, в котором часто преобладает элемент хитрости. Тут различие между умом, обращенным к корням вещей, и умом, обращенным к мелочам быта.

16. Не заботящийся о завтрашнем дне обеспечивает себе покой сегодня, но рискует тревогою завтра. Заботящийся о завтрашнем дне лишает себя покоя сегодня, но может обеспечить его завтра.

17. Не презирать, а глубоко жалеть нужно людей, которых внутренний мир так беден, что когда они остаются наедине с собою, они испытывают скуку, результат душевной пустоты, и бегут ловить новые впечатления в общество, на зрелища, на шумное торжище жизни. Человек должен иметь такое богатое внутреннее содержание, чтобы он мог быть интересным собеседником не только для других, но и для самого себя. Одного умного, но нескромного человека, избегавшего встреч с пустыми людьми, спросили, почему он охотнее остается наедине с собою, и получили ответ: потому что я хочу иметь интересного собеседника.

18. Есть люди-стволы, растущие из глубины почвы, и люди-плющи, вьющиеся вокруг этих стволов, стремясь приобщиться к долговечному.

19. Есть люди, которые твердо шагают по пути жизни, по определенной линии, и люди, которые кружатся в вихре жизни, как сорванные листья.

20. Не так страшно полное одиночество, как одиночество среди людей, особенно среди близких и родных, когда они становятся духовно далекими. Духовное родство часто сильнее кровного. Тут важна не столько общность идеалов, сколько общность идеализма, духовной устремленности, хотя бы в различных направлениях.

21. Чем объяснить, что эпохи политического затишья дают больший расцвет умственного творчества, чем революционные эпохи? — Потому что усиление индивидуализма более благоприятствует умственному творчеству, чем усиление коллективизма. Индивидуальный ум углубляет мысль, а коллективный расширяет, но делает ее более плоскою, нивелирует по низкому уровню масс.

22. Бывает несчастная молодость, но луч жизненной зари сияет над нею. Бывает счастливая старость, но тень близкой ночи ложится на нее. Все зависит от того, куда обращен взгляд: в свет долгого дня или во тьму вечной ночи.

23. Одурманивание себя курением табака требует серьезного психологического исследования. Человек хочет отогнать заботы, тревожные мысли, иногда и «заглушить совесть» (по выражению Толстого) — и он отделяет себя от окружения дымовой завесой, сквозь которую видит вещи как бы сквозь туман. Не опиум ли это в малой мере? Сколько ясных мыслей затуманивается под видом «просветления» от

выкуренной папиросы! «Мир хочет быть обманутым» и прибегает к наркоткам: в грубой форме к Бахусу, в более приличной — к табаку.

24. Есть нечто от вечного в долгой сознательной и активной жизни на протяжении ряда поколений — конечно, при условии сохранения молодости духа и чуткости ко всем явлениям дня. Такой человек видит динамику поколений, длинную цепь исторической эволюции, в которой он составляет звено, сам проходит целую полосу истории и сливается с целым веком в ней. Люди, не дошедшие до полувека в своей жизни, как бы гениальны они ни были, являются незаконченными созданиями духа: мы не знаем, что могли бы они дать нам во второй половине жизни. Законченными типами являются для нас, например, Гете, Виктор Гюго, Толстой; но если бы Толстой умер в возрасте 50 лет, то мы бы знали только великого художника, а не оригинального мыслителя. Мы не знаем, какие глубокие произведения могли бы нам еще дать Байрон, Шелли, Пушкин, Лермонтов, Миха Лебензон, если бы они не были рано похищены смертью. — Чтобы лично проследить исторический процесс в смене поколений, человек должен пережить три или четыре такие смены. Недостаточно, например, делать выводы из наблюдений над борьбою отцов и детей, а надо наблюдать жизнь следующих поколений внуков и правнуков. Естественный антитезис детей часто кажется полным разрушением идеалов отцов, но потом может оказаться, что внуки или правнуки внесли поправки в антитезис и добрались до синтеза. — Нужна не только качественная, но и количественная полнота жизни, не только внутреннее совершенство, но и внешняя законченность.

IX. ДОПОЛНЕНИЯ К ВОСПОМИНАНИЯМ

1. Осенью и зимою 1870/71 г. я, десятилетний мальчик, прислушивался в малом приделе («штибель») нашей синагоги к разговорам прихожан о тогдашней франко-прусской войне. Обыватели живо обсуждали события войны, известные им из случайно попавших газет и еще больше по слухам, препирались о том, кто лучше — француз или пруссак и кому надо больше желать победы. Помню, как показывали большой плакат, привезенный из-за границы: на нем были нарисованы еврейские солдаты, молившиеся в Иом-киппур в синагоге города Меца во время осады его пруссаками. Это был мой первый политический сеанс.

А следующей весной 1871 г. у нас в хедере читалось полученное из Одессы длинное письмо от жившего там земляка с описанием пасхального погрома, устроенного греками и русскими в еврейских кварталах. Врезалась в мою память одна подробность: как погромщики разрывали перины и подушки в еврейских квартирах и пускали по ветру пух и перья, которыми улицы были покрыты как снегом. Это была первая погромная картина, смутившая тихую пору моего детства, когда о погромах в России еще не было и речи.

2. Двадцатилетним юношей, в начале моей литературной деятельности (1881), я записал следующий афоризм поэта Альфреда де Виньи: «Что такое великая жизнь? Мысль юности, осуществленная в зрелом возрасте». Я тогда приписал к этому оговору: «Но с условием, чтобы сама мысль была зрелая». Теперь я выразил бы ту же максиму проще: цельная жизнь есть та, в которой обет юности исполнен в зрелом возрасте.

3. В ранней юности Берне научил меня ненавидеть политический деспотизм. Джон Стюарт Милль научил меня не подчиняться деспотизму общественного мнения и влиянию «общепринятых истин». Он меня научил правильно мыслить и аргументировать, взвешивать все доводы противника и признавать в них ту долю истины, которая там имеется. Моими учителями стили в истории были Ренан и Тэн, но я все-таки не гнул исторической правды ради красивого афоризма.

4. Прочитанное в «Отечественных записках» 1882 г. изложение книги Генри Джорджа «Прогресс и бедность» на время сделало меня приверженцем этого оригинального социалиста. Я тогда записал: «Алиенация (отчуждение) земель крупных землевладельцев для распределения между земледельцами и устройство коллективных фабричных предприятий на артельных началах — вот два могучих рычага, могущих поднять благосостояние народа и устранить зло от неравномерного распределения богатства». Я поспешил купить английский оригинал книги Джорджа, чтобы основательно изучить ее. Позже узнал, что учение Джорджа сильно повлияло на Л. Толстого.

5. До сих пор не могу забыть, какое потрясающее впечатление произвела на меня «Исповедь» Толстого. Я читал ее в 1888 г. в нелегальной литографированной копии, так как цензура запрещала ее печатать. Я переживал тогда свой собственный внутренний кризис, и первый вопль раненой души Толстого нашел сильный отклик в моей душе. Великий художник развернул предо мною проблему смерти с такой яркостью, как не мог это сделать с детства знакомый мне библейский «Когелет». Мудрец Ясной Поляны раньше представлялся мне счастливейшим человеком на земле: ведь автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» был властителем дум нашего поколения и никто не равнялся с ним в литературной славе, и вдруг этот крик отчаяния, призыв к полному пересмотру своего мирозерцания! Это меня еще более укрепило в мой временной резигнации. Прочитанная вслед за тем повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича» была мрачным художественным комментарием к философской исповеди.

6. Моя резигнация, однако, ослабела в следующем, 1889 г. Столетний юбилей французской революции, вдохновивший меня на большую статью о борьбе за эмансипацию евреев, повернул мою мысль в сторону «сопротивления злу», вопреки проповеди Толстого. Из всех прочитанных мною книг по истории французской революции ни одна не очаровала меня тогда, как ламартиновская «История жирондистов», которую мне читали вслух ввиду моего слабого зрения. Я переживал с автором волнующие грандиозные события изо дня в день. За дивную красоту стиля можно простить Ламартину его недостаточно критическое отношение к источникам. Его «История жирондистов» — поэтическая история революции, как «93-й год» Виктора Гюго — ее историческая поэма.

7. В конце 1889 г. я записал для руководства самому себе: «Карамзин где-то сказал: пишу для себя, а печатаю для денег. Я же говорю: пишу вследствие потребности писать и сознания пользы своей работы, печатаю для поучения других, а беру деньги за свой труд для того, чтобы я мог спокойно писать и исполнять свое назначение. Честный писатель берет деньги для того, чтобы он мог писать, а бесчестный пишет только для того, чтобы брать деньги». — Позже эта мысль вылилась у меня в лаконическом афоризме: «Надо жить, чтобы писать, а не писать, чтобы жить» (жить в смысле зарабатывать).

8. Сознаюсь в одном «грехе». Несмотря на то, что я с юных лет читал газеты и затем всю жизнь следил за ежедневной прессой различных стран, я долгое время считал для себя непозволительным сотрудничать в газетах. Я упорно проводил границу между «литературой» и «прессой», считая последнюю низшим видом литературы. Все периодические издания литературны, кроме ежедневных, эфемерных, — таков был мой лозунг. Не раз в годы тяжелой материальной нужды я отвечал отказом на заманчивые предложения больших газет печатать в них научные или публицистические статьи в фельетонах, с посулами хорошего гонорара. Меня отталкивало сознание, что мое произведение может быть превращено в оберточную бумагу или забыто на другой день. Только в позднейшие годы, когда пресса все более врывается в область серьезной литературы, я позволял себе иногда откликаться в ежедневных газетах на различные политические и культурные вопросы. Сознаю, что мой первоначальный ригоризм был слишком односто-

ронен. Но он объяснялся тем пиететом, который я с детских лет питал к книге, в отличие от листка.

9. Мое поколение интеллигенции начало искать определенное мировоззрение в области индивидуальных проблем: религии, философии, этики, и потом лишь вошло в полосу социальных проблем. Новейшее поколение прямо попало в полосу политических, национальных и социальных вопросов, не имея времени определить свое мировоззрение. Лучшие из представителей этого поколения когда-нибудь остановятся перед вечными вопросами, и тогда им придется проделать на старости тот путь, который мы прошли в юности.

10. Первые дни моей литературной деятельности совпали с первой волною погромов в России (1881), а последние дни совпадают с полным разгромом еврейского центра в Польше (1939). Видно, суждено мне осуществить предсказание: «Im Sturme hast du angefangen, im Sturme sollst du enden» * (D. F. Strauss).

* «В бурю ты должен был появиться, в бурю ты должен будешь окончить свои дни» (нем.). [Ред.]

АВТОБИБЛИОГРАФИЯ

Хронологический список моих книг и статей
на русском и других языках (1881—1939 гг.)

I. На русском языке

1. Названия книг, в отличие от статей, напечатаны крупным шрифтом.
2. Статьи, при которых не указаны псевдонимы или инициалы, напечатаны с полным именем автора.
3. Статьи в отделе «Литературная летопись» в ежемесячнике «Восход» подписаны псевдонимом Критикус, кроме тех, при которых здесь дано другое указание в скобках. Рецензии в отделе «Библиография» подписаны инициалами С. М., если нет другого указания. Многочисленные мелкие рецензии указаны группами*.
4. Сокращения.

Восх. — ежемесячник «Восход», Петербург, 1881—1906.

Хр. Восх. — еженедельник «Хроника Восхода», Петербург, 1882—1906.

Рус. евр. — еженедельник «Русский еврей», Петербург, 1879—1884.

Рассвет — еженедельник «Рассвет», Петербург, 1879—1883.

Евр. ст. — трехмесячник «Еврейская старина», Петербург, 1909—1919.

Евр. мир — еженедельник «Еврейский мир», Петербург, 1909; еженедельник 1910—1911.

1881

1. Несколько моментов в истории развития еврейской мысли. Рус. евр. № 16—18, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 36.
2. Мендельсон русских евреев: жизнь и деятельность И. Б. Левинзона (С. Д.). Рассвет, № 30, 31, 33, 35, 36.
3. Вопрос дня (об эмиграции в Америку). Рассвет, № 34, 35.
4. Народная еврейская газета: о газете на «жаргоне» (аноним.). Рассвет, № 35.
5. К выяснению истины: о необходимости экономической экспедиции (аноним.). Рассвет, № 36.
6. Заграничная хроника (аноним.). Рассвет, № 25, 26, 29—33, 35, 37—40.
7. Деллингер. Евреи в Европе (перевод С. Д.). Рассвет, № 38—43.

1882

8. Исторический очерк поселения евреев в Америке (С. Д.). Рассвет, № 20, 21.
9. Бедствия евреев на Украине в 1648—1652 гг. (С. Мстиславский). Рассвет, № 24, 25, 37, 39, 40.
10. Передовая статья о «Временных правилах» 3 мая (аноним.). Рассвет, № 20.
11. Саббатай Цеви и псевдомессианизм в XVII веке. Восх., кн. 7—8, 9—10.
12. Комперт. Сказки еврейского квартала (перевод С. Д.). Восх., кн. 9—10.
13. Берне. Вечный жид (перевод с предисл. С. Д.). Восх., кн. 11—12.

* Более подробные сведения о мелких рецензиях приведены в Библиографии д-ра Мейзеля: Dubnow's Schriften (Soncino-Blätter, Berlin, 1926); Dubnow-Festschrift (Berlin, 1930).

1883

14. Яков Франк и его секта христианствующих. Восх., кн. 1—4, 9—10.
15. Историческая справка к статье «Саббатай Цеви» (С. Д.). Восх., кн. 3.
16. Какая самоэманипация нужна евреям? Восх., кн. 5—8.
17. Комиссия по еврейскому вопросу во Франции 1785 г. (С. Мстиславский). Восх., кн. 10.
18. Общество еврейской науки в Париже (С. Д-нов). Восх., кн. 7—8.
19. Литературная летопись: Родкинсон. Mazat pizwa (С. Д.). Восх., кн. 1.
20. Грец. История евреев, т. V, рус. перевод с примеч. Гаркави (С. Д.). Восх., кн. 3.
21. Родкинсон. Tefila le-Mosche (С. Д.). Восх., кн. 4.
22. Бершадский. Литовские евреи (С. Д.). Восх., кн. 5—6.
23. Палестинофильство и его проповедник: Смоленский (С. Д.). Восх., кн. 7.
24. Обзор новейшей еврейской литературы. Восх., кн. 9.
25. Линовский. Еврейские силуэты (Z.). Восх., кн. 10.
26. Zschokke. Das Weib im Alten Testament; Hellenbach. Die antisemitische Bewegung. Восх., кн. 11—12.
27. К истории русских евреев: о «Русско-еврейском архиве» Бершадского (С. Д.). Рус. евр., № 15—16.
28. «Жидотрепание» г. Костомарова (С. Мстиславский). Хр. Восх., № 12.
29. Паяцы антисемитизма: о французском листке «Антисемитик» (С. Мстиславский). Хр. Восх., № 35.
30. «Возвращенный» Гейне: по воспоминаниям Вейля (С. Мстиславский). Хр. Восх., № 48.

1884

31. Последнее слово подсудимого еврейства (Экстернус). Восх., кн. 1, 5, 11, 12.
32. Благородный русский голос в защиту евреев: Сан Донато (С. Д.). Восх., кн. 1.
33. Литературная летопись: Лилиенблюм. О возрождении еврейского народа и др. книги. Восх., кн. 2.
34. Фентон. Древнейшая жизнь евреев и др. книги. Восх., кн. 5.
35. Еврейский Некрасов: Стихотворения Л. Гордона (С. Д.). Восх., кн. 7.
36. Kuenen. Volksreligion und Weltreligion. Восх., кн. 9.
37. Loeb. Réflexions sur les juifs. Восх., кн. 10.
38. История русского законодательства о евреях. Анонимная записка для паленской комиссии по еврейскому вопросу. Гектографическая копия, с. 285—581 (первая половина, с. 1—281: Антонович. Евреи в Западной Европе).

1885

39. О реформе еврейского школьного воспитания (Д. С.). Восх., кн. 5, 6, 7.
40. Религиозные поверия еврейского народа (С. Мстиславский). Восх., кн. 11—12 и продолж. 1886, кн. 1, 2.
41. Эдуард Гартман о еврействе (С. Мстиславский). Восх., кн. 9, 10.
42. Литературная летопись: Еврейский вопрос в романе (Немировский. Пробуждение; Север. На бирже). Восх., кн. 10.
43. Галицийские рассказы Самуэли; Ежегодник Н. Соколова. Восх., кн. 11.
44. Среди крайностей (Я. Прилуцер, И. Рабинович, Ф. Гец). Восх., кн. 12.

1886

45. Иммануил Римский, поэт и сатирик XIV века (С. Д.). Восх., кн. 3, 4, 5.

46. Историческая справка: план основания еврейского штата в Америке (С.). Восх., кн. 6.
47. Евреи в Могилевской губернии. Историко-статистический очерк (Мстиславский). Восх., кн. 9—12.
48. Трагизм еврейской жизни в рассказах К. Э. Францоza (Д. С.). Восх., кн. 2.
49. Литературная летопись: Иудея и иудеи в эпоху римских цезарей (Момзен. Римская история, т. V). Восх., кн. 1.
50. О. Квич. Немножко философии и др. Восх., кн. 3.
51. Еврейский вопрос перед ареопагом европейских мыслителей (анкета И. Зингера). Восх., кн. 4.
52. Последние дни Иерусалима в изображении Ренана. Восх., кн. 7.
53. К юбилею Людвиг Берне (Альберти. Биография Берне). Восх., кн. 7.
54. Материалы для истории литовских евреев (Файнштейн. Община Бреста). Восх., кн. 8.
55. Общий взгляд на историю еврейской литературы (по поводу книги Карпелеса). Восх., кн. 9—12.
56. Библиография: о стихах Л. Гордона на народном языке и о других книгах. Рецензии в Восх., кн. 2—6, 11.
57. Сцена из великой трагедии: Короленко, сказание о Флоре Римлянине (С. Мстиславский). Хр. Восх., № 45.

1887

58. Моисей Хаим Луццато, поэт и мистик XVIII века (С. Д.). Восх., кн. 5, 6.
59. Литературная летопись: Ежегодники Соколова и Рабиновича. Восх., кн. 1.
60. И. С. Аксаков и евреи. Восх., кн. 2.
61. Соломон Маймон и его место в истории философии. Восх., кн. 3.
62. Южнорусское духовенство и евреи в XVII веке (Галятовский. Мессия Праведный). Восх., кн. 4.
63. Бедная еврейская беллетристика (о романах Шомера). Восх., кн. 5.
64. Из области серьезного (о еврейской истории Касселя и проч.). Восх., кн. 6.
65. Новые свидетельства о бедности еврейской беллетристики. Восх., кн. 7.
66. П. Смоленский как романист и публицист. Восх., кн. 9.
67. Отрадные симптомы (Шалом-Алейхем и др.). Восх., кн. 10.
68. Печаль современности и утешение истории (Wolski. La Russie juive; Chaikin. Arologie des juifs etc.). Восх., кн. 11.
69. Остатки литературной жатвы 1887 г. (Житловский. Мысли о еврействе и др.). Восх., кн. 12.
70. «Патриотические» отклики: сборник «Дер Веккер» и драма «Зерубавель» Лиленблюма (М-кий). Восх., кн. 12.
71. Библиография (о многих книгах и брошюрах). Восх., кн. 2—12.

1888

72. Введение в историю хасидизма. Восх., кн. 1—3.
73. Возникновение хасидизма: жизнь и деятельность Бешта. Восх., кн. 5—10.
74. Литературная летопись: Литература наших ежегодников. Восх., кн. 1—4.
75. Параллели из жизни: роман Браудеса «Две крайности» (евр.). Восх., кн. 5.
76. Древняя история евреев по Ренану (История израильского народа, т. I). Восх., кн. 8, 9.
77. О жаргонной литературе (Шалом-Алейхем и др.). Восх., кн. 10.
78. Из современного хаоса (роман Ге, Софья Малич). Восх., кн. 11—12.
79. Библиография (о многих книгах). Восх., кн. 1—12.

1889

80. Из еврейской старины: два документа по истории белорусских евреев в 18-м веке. Восх., кн. 1.
81. Французская революция и евреи (С. Мстиславский). Восх., кн. 4—7.
82. Возникновение цадикизма: Бер из Межерича и ученики Бешта. Восх., кн. 9—11; окончание в Восх., 1890, кн. 1.
83. Литературная летопись: Еврейские идилии Захер-Мазоха. Восх., кн. 3.
84. «Тьма египетская» (о романе Вс. Крестовского). Восх., кн. 6.
85. Новости жаргонной литературы (сборник Шалом-Алейхема и др.). Восх., кн. 7.
86. Из области истории (Грец, Бершадский и др.). Восх., кн. 9.
87. Библиография (о разных книгах). Восх., кн. 1—10.
88. Граф А. Н. Толстой и евреи (Д.). Хр. Восх., № 6.

1890

89. История хасидского раскола, гл. I—IX. Восх., кн. 2—12.
90. Литературная летопись: Прежде и теперь (Моргулис. Вопросы еврейской жизни). Восх., кн. 1, 2.
91. Чего стоит юдофобская правда? (Н. Нотович. Правда о евреях). Восх., кн. 3.
92. Наши старые раны (А. Гордон. Рассказы). Восх., кн. 8.
93. Народная и протонародная литература (Шалом-Алейхем, Динесон). Восх., кн. 10.
94. Из еврейской мартирологии (Шульгин. Колиивщина). Восх., кн. 10.
95. Вечные и эфемерные идеалы еврейства (сборники «La Gerbe» и «Kaweret»). Восх., кн. 12.
96. Библиография (краткие рецензии). Восх., кн. 1—12.

1891

97. История хасидского раскола, гл. X—XIII. Восх., кн. 1, 2, 10—12.
98. ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РУССКИХ ЕВРЕЕВ и учреждении Исторического общества. Сборник «Восхода» и отдельная брошюра, 91 с.
99. О совокупной работе по собиранию материалов для истории русских евреев. Воззвание. Восх., кн. 11 и отд.
100. Литературная летопись: Беллетристический памфлет. (Крестовский. Тамара Бендавид). Восх., кн. 1.
101. Чем богаты (о литературных сборниках). Восх., кн. 2.
102. Литература по исследованию Св. Земли (Каган, Лунц). Восх., кн. 3.
103. Итоги Общества просвещения (о книге Розенталя). Восх., кн. 10, 11.
104. Библиография (разные рецензии). Восх., кн. 1—3, 11—12.
105. Историограф еврейства: Грец, его жизнь и труды. Восх., кн. 2—5, 7—9.
106. Религиозная борьба среди русских евреев в конце XVIII века, гл. 1 (продолжение «Истории хасидизма»). Восх., кн. 11, 12.
107. Библиография. Восх., кн. 1.
108. Русский перевод гл. 1 и 6—8 «Народной истории евреев» Греча, т. I. Напечатан в Петербурге, но был конфискован духовной цензурой.

1893

109. Религиозная борьба среди русских евреев в конце XVIII века, гл. 2, 3, 4 (окончание). Восх., кн. 1—5.
110. Исторические сообщения: подготовительные работы по истории русских евреев. № 1—5. (Ружанские мученики 1659 г. — Плач украинского еврея 1768 г. —

- Народное бедствие и секты в Подолии. — Религиозная распря в Литве. — Первые еврейские колонисты в Новороссии). Восх., кн. 7, 8.
111. Что такое еврейская история? Опыт философской характеристики. Восх., кн. 10—12.
112. Литературная летопись: Литература смутных настроений (сб. «Пардес» и др.). Восх., кн. 2—3, 5.
113. Фальсификация современности и истории («Секта согаритов» и др.). Восх., кн. 4.
114. Новые веяния (Бен-Авигдор. «Sifre Agoга»). Восх., кн. 9—10.
115. Еврейские историки из «Наблюдателя» и «Русского архива». Восх., кн. 12.
116. Библиография: Указатель литературы о евреях и др. рецензии. Восх., кн. 4—12.

1894

117. Исторические сообщения. № 6. Кагальные уставы 16—18 вв. Восх., кн. 2.
118. [То же.] № 7. Областные Кагальные сеймы в Волинии и Белоруссии. Восх., кн. 4.
119. [То же.] № 8. Польские сеймы и еврейские синоды. [То же.] № 9. Насилия польской администрации над евреями. Восх., кн. 9.
120. [То же.] № 10. Еврейская старина в г. Остроге. Восх., кн. 10.
121. [То же.] № 11. Еще о средних органах еврейского самоуправления. Восх., кн. 12.
122. Литературная летопись: Национализм и ортодоксия (С. Р. Гириш, «Хорев» и др.). Восх., кн. 1.
123. Период второго храма в освещении Ренана. Восх., кн. 4—5.
124. О народе и для народа (сб. «Гаузфрайнд»). Восх., кн. 6.
125. Новый историк франкизма (Сулима). Восх., кн. 7.
126. Взаимодействие идейных направлений («Пардес», «Гаасиф» и др.). Восх., кн. 10, 11.
127. Библиография (мелкие рецензии). Восх., кн. 2, 6, 7, 11, 12.

1895

128. Исторические сообщения: № 12. Жертвы ложных обвинений в Люблине, Кракове и Ленчице (1636—1639). Восх., кн. 1, 2.
129. Евреи и реформация в Польше в XVI веке. Восх., кн. 5, 7, 8.
130. О ходе подготовительных работ по истории русских евреев. Отчет за 1893 и 1894 гг. Восх., кн. 5.
131. Литературная летопись: Охранители старины (Шугуров. История евреев в России, «Русский архив»). Восх., кн. 1.
132. Статика и динамика жизни (О второй серии «Sifre Agoга» Бен-Авигдора). Восх., кн. 8, 9.
133. Библиография (мелкие рецензии). Восх., кн. 1, 8, 9.

1896

134. БЕК И БРАНН. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ от конца библейского периода до настоящего времени. Переработал и дополнил С. М. Дубнов. Т. I: Восточный период (от вавилонского плена до конца эпохи гаонов). Одесса, XVI+323 с., 3600 экз.
135. История франкизма по новооткрытым источникам (Краусгар). Восх., кн. 3, 5—6.
136. О подготовительных работах по истории русских евреев. Отчет за 1895 г. Восх., кн. 7.

1897

137. БЕК И БРАНН. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ (выше № 134). Т. II: Западный период. Одесса, VIII+474 с., 3600 экз.
138. Письма о старом и новом еврействе. Письмо I: О духовно-историческом национализме. Восх., кн. 11.

1898

139. Письма о старом и новом еврействе. Письмо II: Еврейство как духовно-историческая нация среди политических наций. Восх., кн. 1.
140. [То же.] Письмо III: Духовный национализм и сионизм. Восх., кн. 3, 4.
141. УЧЕБНИК ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ. Ч. I: Древнейшая (библейская) история. Одесса, VII+152 с., 5000 экз.

1899

142. Социальная и духовная жизнь евреев в Польше в первой половине XVIII века (к введению в историю хасидизма). Восх., кн. 1, 2.
143. Письма о старом и новом еврействе. [Письмо] IV: Этика национализма и сионизма. Восх., кн. 5, 6.
144. [То же.] Дополнение к письму IV. Восх., кн. 7.
145. Из хроники мстиславской общины (1844). Восх., кн. 9.
146. Библиография: По поводу брошюры Александра «Патриотизм антисионистов» (Критикус). Восх., кн. 12.
147. О смене направлений в русско-еврейской журналистике. «Письма о еврействе». V). Будущность, № 2—6.
148. УЧЕБНИК ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ для школ и самообразования. Ч. II: Побиблейская история на Востоке. Одесса, 1899, 120 с., 3000 экз.

1900

149. Внутренняя жизнь евреев в Польше и Литве в XVI веке. Гл. I: воспитание и обучение; гл. II: домашний быт. Восх., кн. 2, 4.

1901

150. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ от древнейших времен до настоящего. Т. I: Древнейшая и древняя истории. 1-й полутом: до вавилонского плена. Одесса, XII+228 с.
151. Исторические сообщения: № 13. Бюрократические упражнения в решении еврейского вопроса (1840—1844). Восх., кн. 4, 5.
152. Письма о старом и новом еврействе. VI: Раздробленная и объединенная национальная партия. Восх., кн. 11.
153. [То же.] VII: Автономизм как основа национальной программы. Восх., кн. 12.
154. К истории принудительной ассимиляции. Будущность, № 8.
155. УЧЕБНИК ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ. Ч. III: Средние века и новое время. Одесса, 160 с., 3000 экз.

1902

156. Письма о старом и новом еврействе. VIII: О национальном воспитании. Восх., кн. 1.
157. [То же.] IX: О растерявшейся интеллигенции. Восх., кн. 11, 12.

158. Национальное воспитание пред судом Одесского собрания. Восх. (еженед.), № 23—26.
159. Всеобщая история евреев от вавилонского плена. Приложение к книгам «Восхода», № 10—12 (см. ниже, № 161).
160. Статьи «Франкисты» и «Хасидизм» в Энциклопедическом словаре Брокгауза—Ефрона, т. 71 и 73.

1903

161. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ. Кн. I: Древняя история от вавилонского плена до разрушения иудейского государства римлянами. Приложение к книгам «Восхода», 1—12, и отд. изд.: Петербург, 388 с., 1000 экз.
162. Исторический момент. Эмиграционный вопрос. Восх. (еженед.), № 21, 22.

1904

163. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ. Кн. II: Период талмудический и средневековый. Приложение к книгам «Восхода», 1—12, и отд. изд.: Петербург, 1905, 540 с., 1000 экз.

1905

164. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ. Кн. III: Новое время (1498—1789). Приложение к книгам «Восхода», 1—12, и отд. изд.: Петербург, 1906, 350 с., 1000 экз.
165. Уроки страшных дней. 1: Что сделал нам Амалек? 2: Рабство в революции. 3: Национальная или классовая политика? 4: Внешняя и внутренняя организация. Восх. (еженед.), № 47—50.

1906

166. О суверенитете национальной политики в жизни угнетенных наций. Объяснения к «Урокам» (ответ Ан-скому). Восх. (еженед.), № 16—18.
167. Основные начала еврейского национализма (первое из «Писем о еврействе» в новой ред). Евр. жизнь (ежемес.), кн. 8—9.
168. ЭМАНСИПАЦИЯ ЕВРЕЕВ во время французской революции 1789—1791 (отд. испр. изд. статей № 81). Вильна, 74 с.
169. УЧЕБНИК ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ. Ч. II. 4-е изд., доп., Вильна, 120 с.

1907

170. О целях и задачах «Фолкспартей». Рассвет, № 2, и отд. брошюрой, 30 с.
171. ПИСЬМА О СТАРОМ И НОВОМ ЕВРЕЙСТВЕ (1897—1907). Систематически обработанное и дополненное изд. Петербург, VIII+370 с., 3000 экз.
172. УЧЕБНИК ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ, ч. I и III. Новое дополненное изд. Петербург, 160+160 с. *

* «Учебник еврейской истории» в трех частях, напечатанных впервые в 1898—1901 гг., перепечатывался почти ежегодно до 1917 г. 1-я часть выдержала 17 изданий в количестве 76 000 экз., 2-я часть — 12 изданий (34 000 экз.), а 3-я часть — 6 изданий (13 000 экз.). В 1919—1920 гг. в Иркутске без ведома автора печатались фотографическим способом все три части, как «издание Национального Совета евреев Сибири и Урала» (без обозначения года). На обороте заглавных листов значилось: «Типолиграфия Коммерсиал Пресс, Шанхай, Китай». Перепечатывались, по-видимому, и в Харбине.

1908

173. Еврейская энциклопедия (изд. Брокгауз—Ефрон), т. I и II, статьи: Абрабанель Исаак и Иуда, Абулафия Авр., Август II и III, Автономия в еврейской истории, Акоста Ян, Акты исторические в Западной Европе и Польше, Алексей Михайлович, Алкабиц Сол., Алрой Давид, Анна Иоанновна и др. мелкие.
174. Ренан как историк еврейства. Предисловие к I т. «Истории израильского народа» Ренана, в рус. переводе под ред. С. М. Дубнова. Петербург, 1909.
175. Из моего архива. Дело о еврейском самосуде в Подолии (1838) и пр. Сб. «Пережитое», т. I.

1909

176. Еврейский мир накануне 1789 года. Введение в новейшую историю. Евр. мир (ежемес.), кн. 3, 4.
177. Процессы гуманизации и национализации в новейшей истории евреев. Евр. мир, кн. 1.
178. Думы о вечном народе (Historicus). Евр. мир, кн. 2.
179. Утверждение голуса. По поводу «Отрицания голуса» Ахад-Гаама. Евр. мир, кн. 5.
180. Нигилизм или одичание? Случайные заметки (Аяк Бахар). Евр. мир, кн. 2.
181. Библиография: Грец. История евреев в рус. переводе (Notus); вступ. часть рецензии о II т. «Евр. энциклопедии». Евр. мир, кн. I, 4.
182. От редакции: к I выпуску «Евр. старины». Евр. ст., т. I, с. III—IV.
183. Разговорный язык и народная литература польско-литовских евреев в XVI и XVII вв. Евр. ст., т. I, с. 7—40.
184. Антиеврейское движение в России в 1881—1882 гг. Предисл. к записке паленской комиссии. Евр. ст., т. I, 88, 265.
185. Речь при открытии Еврейского Историко-этнографического общества. Евр. ст., т. I, 154 сл.
186. ОБЛАСТНОЙ ПИНКОС Ваада главных общин Литвы. Евр. текст с рус. переводом Тувима, с предисл. и примеч. Дубнова. Приложение к Евр. ст. 1909—1918 гг. (также отдельно в двух томах).
187. Еврейская Польша в эпоху разделов (к введению в новейшую историю). Евр. ст., т. II, 3 сл.
188. Критика: Отголоски минувшего века (по поводу книги Марека «Очерк истории просвещения евреев в России»). Евр. ст., т. I, 288 сл.; Барац. О еврейском элементе в русской летописи. Евр. ст., т. II, 297 сл. (С. Д.).
189. Материаль: Арендные контракты в Литве 17—18 вв.; Гонения на еврейские книги (1848); Как была введена рекрутская повинность (1827). Евр. ст., т. II, 105, 256.

1910

190. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ. Т. I: Древнейшая и древняя история до разрушения иудейского государства римлянами. Второе переработанное изд., СПб., XVI+639 с., 1300 экз.
191. Вмешательство русского правительства в антихасидскую борьбу (1800—1801). Архивные документы. Евр. ст., т. III, 84 и 253 сл.
192. Саул Пинхас Рабинович (Шефер). Некролог. Евр. ст., т. III, 321 сл.
193. Речь в общем собрании Еврейского Историко-этнографического общества: О современном состоянии еврейской историографии. Евр. ст., т. III, 148; Евр. мир (еженед.), № 10.

194. К вопросу о типе общины. Евр. мир (еженед.), № 4.
195. Новейшая эволюция еврейской национальной идеи. Сборник Кастиелянского «Формы национального движения в современных государствах». СПб., с. 399—423.

1911

196. Еврейская Польша в эпоху последних разделов. Евр. ст., т. IV, 441 сл.
197. Библиография (рецензии, подписанные С. Д.). Евр. ст., т. IV, с. 149, 430, 595 сл.
198. Заметки: Высшие курсы еврейского знания; Смерть экстерна и еврейская средняя школа. Евр. мир (еженед.), № 5 и 12.
199. Мысли о русско-еврейской журналистике — доклад в Еврейском Историко-этнографическом обществе. Евр. мир (еженед.), № 16.

1912

200. Судьбы евреев в России в эпоху западной «первой эмансипации» (1789—1815). Евр. ст., т. V, 3, 113.
201. Евреи в России в эпоху европейской реакции (1815—1848). Евр. ст., т. V, 274, 370.
202. Евреи в генуэзской Кафе в 1455 г. (Г. А. Хокер). Евр. ст., т. V, 66 сл.
203. Акты еврейского коронного сейма или Ваада, 1621—1699 (из тиктинского Пинкоса). Евр. ст., т. V, 70, 178, 453.
204. Ритуальные процессы 1816 года: Межеричское дело (С. Д.). Евр. ст., т. V, 144 сл.
205. Книжная летопись (библиография с подписью С. Д. и без подписи). Евр. ст., т. V, 95, 342, 475.

1913

206. Евреи в России в эпоху европейской реакции (см. выше, № 201). Евр. ст., т. VI, 23, 308 сл.
207. Выдворение евреев из Малороссии во второй четверти 18 века. Перепись евреев в Малороссии в 1736 г. (С. Д.) Евр. ст., т. VI, 123, 400, 526.
208. Книжная летопись (рецензии без подписи). Евр. ст., т. VI, 282, 413.
209. Об уходящих. Письмо в редакцию (Декларация о выкрестах). Новый Восх. (еженед.), № 29; Рассвет, № 29.
210. Проблема общины в новейшей истории еврейства. Вестник евр. общины, СПб., кн. 1.
211. Источники ритуальной лжи. Исторические выводы. Петербургская газета «День» от 22 сентября.

1914

212. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА (1789—1881). Т. IV «Всеобщей истории еврейского народа». СПб., 640 с., 2000 экз.
213. Историческая тайна Крыма (памятники Мангуп-Кале). Евр. ст., т. VII, 1—20.
214. Письма С. О. Грузенберга, с предисл. (1896—1899). Евр. ст., т. VII, 385 сл.
215. Научно-литературная хроника (рецензии без подписи). Евр. ст., т. VII, 128, 292, 501.
216. Объективность или беспринципность? Несколько слов моим критикам. Новый Восх., № 10.

217. Еврейская высшая школа на Западе (план евр. университета). Новый Восх., № 18, 25.
218. Внутренний быт евреев в Польше в XVI веке (вышеуказанные в № 149 статьи с поправками). «История еврейского народа», Москва, изд. «Мир», т. XI, с. 320—351.

1915

219. Из истории восьмидесятых годов, гл. I—III (1881). Евр. ст., т. VIII, 267 сл.
220. Письма билуэца (1882—1884), с предисл. Евр. ст., т. VIII, 100, 201 сл.
221. Письма С. О. Грузенберга. Вторая серия (1899—1907). Евр. ст., т. VIII, 367 сл.
222. Библиография (рецензии, подписанные С. Д.). Евр. ст., т. VIII, 121, 418.
- 223—225. *Inter arma*. I—V. Новый Восх., 1914, № 52 и 1915, № 1, 6, 10—11; [То же.] VI—VII: Скорая помощь и день грядущий; Уступки; *De profundis*. Евр. неделя, № 4, 14, 31; Еврейский вопрос в перспективе мировой войны. Национальные проблемы (журнал), № 2, Москва.

1916

226. Из истории восьмидесятых годов, гл. IV—VII (1882—1889). Евр. ст., т. IX, 1 сл., 353 сл.
227. Иудеи в Боспорском царстве (Шюрер, с предисл. и доп. С. Д.). Евр. ст., т. IX, 137 сл.
228. Церковные легенды об отроке Гаврииле Заблудовском. Евр. ст., т. IX, 309 сл.
229. Библиография (С. Д.). Евр. ст., т. IX, 130 сл.
230. Письма А. Е. Ландау (1884—1896). Материалы для истории «Восхода». Евр. ст., т. IX, 102 сл.
231. Воспоминания о Шалом-Алейхеме и письма его (1888—1890). Евр. ст., т. IX, 227 сл.
232. Воспоминания о С. Г. Фруге и письма его (1888—1890). Евр. ст., т. IX, 441 сл.
233. Записка об антиеврейских погромах 1881 г. Голос минувшего, кн. 3, 243 сл.
234. История одного из многих, гл. 1—2 (начало «Истории еврейского солдата» с цензурными пропусками. См. дальше № 237 и 244). Евр. неделя, № 11, 14.
235. Современная критика в истории и исторический критерий (ответ Кулишеру). Евр. неделя, № 28.
236. Письмо к Х. Н. Бялику по поводу его юбилея. Евр. неделя, № 16.

1917

237. История еврейского солдата 1915 года (полный текст). Евр. неделя, № 19—23.
238. ЧЕГО ХОТЯТ ЕВРЕИ (Общедоступная библиотека: Задачи свободной России). Петербург, изд. «Муравей», 32 с.
239. Что мешает созыву еврейского съезда? Евр. неделя, № 19.
240. Еврейский съезд и Национальный Совет (избирательный листок «Евр. мир», № 1).

1918

241. *Furog judophobicus* в последние годы царствования Александра III. Евр. ст., т. X, 27 сл.
242. Из черной книги российского еврейства (предисл. и заявление на имя Совета министров). Евр. ст., т. X, 195 сл.
243. Критика и библиография (С. Д.). Евр. ст., т. X, 297 сл.
244. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО СОЛДАТА (отд. изд.) (выше № 234 и 237). СПб., «Разум», 32 с.

245. Воспоминания об Абрамовиче-Менделе. Сафрут (сб.), кн. 3, Москва. Во 2-м, берлинском изд. 1922 г. с. 153—171.
246. Распад российско-еврейского центра. Новый путь (еженед.) № 7—8 (июнь).

1919

247. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Т. I (1789—1848), 2-е изд., Пг., изд. «Кадима», VIII+465 с.
248. Погромные эпохи. Введение в «Материалы для истории антиеврейских погромов в России». Т. I: Кишиневское дело. Пг., с. I—IV.

1922

249. ЕВРЕИ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II (1894—1914). Пг., изд. «Кадима», 85 с.
250. Израиль Фридендер. Памяти родной души. Евр. вестник (Петроград), № 1.
251. Национальное объединение (Палестинский мандат и Литовская автономия). Рассвет (Берлин), № 22.
252. Из письма к другу (М. Винаверу о перспективах большевистской России). Евр. трибуна (Париж), № 34.

1923

253. Поэтическая трилогия Бялика. Рассвет (Берлин), № 1.
254. ЕВРЕИ В РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ЭПОХУ АНТИСЕМИТСКОЙ РЕАКЦИИ (1881—1914) (извлечение из III тома «Новейшей истории», с примеч. в рус. отделе). Москва—Петроград, изд. Френкеля, 128+100+148 с.
- 255—257. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Т. I (1789—1815), 3-е изд., доп.; т. II (1815—1881), 3-е изд., доп.; т. III (1881—1914), 1-е изд., Берлин, изд. «Грани», 308+475+538 с.
258. Третья гайдамачина: вступ. к книге Чериковера «Погромы на Украине 1917—1918 гг.», с. 9—15. Берлин, 1923.

1924—1925

- 259—260. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Восточный период. Т. I: Древнейшая история. 3-е изд., испр., Берлин, «Гешер», 484 с.; т. II: Древняя история. Берлин, 536 с. (по новой орфографии).
261. Партийное и народное дело (о Еврейском агентстве). Сверхшение (сб.), Берлин, с. 98—101.

1934—1935

- 262—263. КНИГА ЖИЗНИ. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. Т. I (до 1903 г.), Рига, 428 с., 1000 экз.; т. II (1903—1922), Рига, 376 с., 1000 экз.

1936—1937

- 264—267*. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ В ЕВРОПЕ от начала их поселения до конца XVIII в. Т. I: Средние века до конца крестовых походов. 384 с.; т. II: Позднее

* № 264—273 содержат русский оригинал десятитомной «Всемирной истории еврейского народа», изданный в трех циклах: Западный период (4 т.), Новейшая история (3 т.) и Восточный период (3 т.).

средневековье до изгнания из Испании. 429 с.; т. III: Новое время (XVI—XVII вв.). 384 с.; т. IV: Новое время (XVII—XVIII вв.). 392 с. Рига. 1750 экз.

1937—1938

- 268—270. **НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА** от французской революции до наших дней. Т. I: Эпоха первой эмансипации (1789—1815). 349 с.; т. II: Эпоха первой реакции и второй эмансипации (1815—1880). 408 с.; т. III: Эпоха антисемитской реакции и национального движения (1881—1914), с Эпилогом (1914—1938). Рига, 480 с., 1200 экз. (Эпилог напечатан также отдельно, 100 оттисков).

1939

- 271—273. **ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА НА ВОСТОКЕ** (т. I—III «Всемирной истории еврейского народа»). Т. I: Древнейшая история до конца персидского владычества. 416 с.; т. II: Древняя история до падения иудейского государства. 476 с.; т. III: Древняя и средняя история до упадка автономных центров на Востоке. Рига, 446 с., 1200 экз.
274. Русско-еврейская интеллигенция в историческом аспекте. Евр. мир (ежегод.), Париж, Объединение русско-еврейской интеллигенции, с. 11—16.
275. Пробуждение мировой совести и участь еврейства. Русские записки (ежемес.), кн. 4, с. 140—147, Париж.

II. На немецком языке

1. DIE JÜDISCHE GESCHICHTE: ein Geschichtsphilosophischer Versuch. Autorisierte Übersetzung von I. F. (Friedländer). Berlin, 1898. VI+89 S. — 2. Auflage, Frankfurt a. M., 1921. VIII+111 S. (Перевод этюда «Что такое еврейская история», см. рус. отдел, № 111).
2. DIE GRUNDLAGEN DES NATIONALJUDENTUMS. Übersetzt von I. Friedländer, mit einer Vorrede d. Verfassers. Berlin, Jüdischer Verlag, 1905. 69 S. (Перевод первых двух «Писем о еврействе» по «Восходу» 1897, 1898 гг.).
- 3—5. DIE NEUESTE GESCHICHTE DES JÜDISCHEN VOLKES. Band I—II (1789—1880). Deutsch von A. Eliasberg. Berlin, Jüd. Verlag, 1920. 334+518 S. — Band III (1881—1914). Deutsch v. E. Hurwicz. Berlin, 1923. 586 S. (Первые два тома переведены с рус. изд. 1914 г., а третий том с манускрипта 1922 г.).
6. Die Apotheose des Geistes in der Poesie Bialiks. (Jüdische Rundschau, Berlin, 1922, № 103).
7. Drei Stufen des Nationalismus. Sammelbuch zu Ehren N. Birnbaums: «Vom Sinn des Judentums», S. 44—47. Frankfurt, 1925.
8. Antwort an die Fanatiker (Sprachenstreit). Jüd. Rundschau, Berlin, 1925, № 11.
- 9—18. WELTGESCHICHTE DES JÜDISCHEN VOLKES. Band I—X. Autorisierte Übersetzung aus d. Russischen von Dr. A. Steinberg. Berlin, Jüdischer Verlag, 1925—1929. XXXI+486+604+595+504+527+499+547+444+528+574 S. (Перевод 1—2 томов с рус. изд. 1924—1925 гг., 3—10 томов с рус. манускрипта).
19. Das alte und das neue Judentum, übers. von E. Hurwicz. «Der Jude». Sonderheft: Deutschtum u. Judentum. Berlin, 1926. (Первое из «Писем о еврействе» в новой редакции автора).
20. Autonomismus. Jüdisches Lexikon, Bd. I, 615—617. Berlin, 1927. Jüd. Verlag.
21. Jüdische Geschichtsschreibung. Jüd. Lexikon, Bd. II, 1081—1085. Berlin, 1928.

22. Autonomie in der jüdischen Geschichte. Encyclopedia Judaica, Band III, 749—758. Berlin, 1929. Eschkol-Verlag.
23. Chassidismus. Encyclopedia Judaica, Bd. V, 359—368. Berlin, 1930.
- 24—25. GESCHICHTE DES CHASSIDISMUS. Bd. I—II. Aus d. Hebräischen übersetzt von A. Steinberg. Berlin, Jüd. Verlag, 1931. 340+336 S.
- 26—28. WELTGESCHICHTE DES JÜDISCHEN VOLKES. Kurzgefasste Ausgabe in drei Bänden. In Verbindung mit dem Verfasser bearbeitet von Dr. A. Steinberg. Jüd. Verlag—Hozaah Ivrit. Berlin—Jerusalem 1937—1938. 541+555+704 S.
29. MEIN LEBEN. Herausg. v. Dr. E. Hurwicz. Berlin, 1937, Jüd. Büchervereinigung. 256 S. (Сокращенный перевод «Книги жизни» т. 1—2).

III. На английском языке

1. Jewish Encyclopedia: a) Council of four lands. Vol. IV, 304—308; b) Frank, Jacob — vol. V, 475—478; c) Hasidism — vol. VI, 251—258. New York, 1903—1904. (S. M. D.).
2. JEWISH HISTORY. An essay in the philosophy of history. Philadelphia, 1903, Jewish Publication Society of America. XVI+184 p. in 16°. (Перевод с вышеуказанного (II, № 1) нем. перевода, сделанный Генриеттой Сольд).
3. The leading motives of modern jewish history. Jewish Review, London, May 1911. (Перевод с рукописи § 11—12 «Новейшей истории еврейского народа», см. I, № 212).
- 4—6. HISTORY OF THE JEWS in Russia and Poland. Translated by I. Fridlander. Vols. I—III. Philadelphia, 1916—1920, 413+429+411 p. in 16°. Jew. Publ. Society. (Извлечение из рукописи «Всемирной истории еврейского народа»).
7. A sociological conception of jewish history. «Menorah-Journal», New York, 1928, № 3, p. 257—267. (Перевод части введения к т. I «Weltgeschichte d. jüd. Volkes»).
8. World Jewry since 1914. Herzls Memorial Book, p. 282—296. New York, 1929. Ed. «New Palestine». (Эпилог к «Новейшей истории» в первой редакции).
9. Encyclopedia of Social Sciences: articles Diaspora, Graetz, Josephus Flavius, Jewish Autonomy. New York, 1931—1932, Columbia University.
- 10—12. AN OUTLINE OF JEWISH HISTORY. Vols. I—III, 313+228+324 p. New York, 1925, ed. M. Maisel. (Перевод «Учебника еврейской истории», I—III; см. I, № 172 и VII, № 9).
13. A SHORT HISTORY OF THE JEWISH PEOPLE. Transl. by D. Mowshowich. London, 1936, 319 p. (Перевод краткого учебника, см. VII, № 39).

IV. На французском языке

1. HISTOIRE D'UN SOLDAT JUIF. Paris, 1929. 66 p. 16°. (Перевод «Истории еврейского солдата», см. I, № 244).
- 2—3. HISTOIRE MODERNE du peuple juif. T. I: 1789—1848; t. II: 1848—1914, avec Epilogue. Trad. par S. Jankelewitch. Paris, ed. Payot, 1933, 793+890 p. (Перевод «Новейшей истории», см. I, № 255 и II, № 16—18).
4. Le livre de ma vie. Extraits par N. Gourfinkel. «Cahiers juifs», Paris, 1935, № 13, p. 45—52 (см. I, № 262—263).
5. PRÉCIS DE L'HISTOIRE JUIVE des origines jusqu'à 1934. Trad. par J. Pougatz. Préface d'André Spire. Ed. «Cahiers juifs», Paris, 1936, 320 p. (см. VII, № 39).
6. A propos de la protection des minorités juives. Réponse à M. Sliosberg. (Revue juive de Genève, Fevrier, 1937).

V. На испанском, итальянском, польском, венгерском, румынском, болгарском и шведском языках

- 1—2. HISTORIA CONTEMPORANEA del pueblo judio. 1 parte: 1789—1815. Version castellanea de S. Resnick. Buenos-Aires, 1925. 280 p. ; 2 parte: 1815—1880. Vers. castel. de L. Dujovne. Buenos-Aires, 1928. 415 p. Ed. Sociedad Hebraica Argentina (Перевод I—II томов евр. изд. «Новейшей истории», см. VII, № 13—15).
- 3—5. MANUAL DE LA HISTORIA JUDIA. Version castellanea de S. Resnick. Part I—III. Buenos-Aires, 1932—1935. Ed. «Judaica» (Перевод «Учебника еврейской истории» с евр. перевода, см. VII, № 9).
6. A ZSIDOSAG TÖRTÉNETE az okortol napjainkig. Budapest, 1935. 359 p. (Венг. перевод краткого учебника, см. VII, № 39).
7. ISTORIA EVREILOR pentru scola si adulti. In romaneste de A. Feller. Vol. I. Bucuresti, 1935. 139 p. (Рум. перевод краткого учебника, см. VII, № 39, ч. I).
8. HISTORIA ŻYDÓW. Przekład Z. Erlichowej i C. Słapakowej. Krakow, 1939. 299 Str. (Польск. перевод краткого учебника, см. VII, № 39).
9. L'elemento ebraico nella dottrina Tolstojana. Corriere Israelitico, 1912, № 9, p. 174—175. Roma. (Перевод статьи отдела VI, № 10).
10. Z Ksiegi Życia. Przekład C. Słapakowej. «Opinia» i «Nasza Opinia», 1935—1936, № 113—156. Warszawa—Lwow. (Из «Книги жизни», т. 1—2).
11. Judarnas Historia. Nationeras Bibliotek, red. Ehrenpreis, p. 1—33. Stockholm, 1920. (Швед. сокращенный перевод этюда, см. II, № 1).
12. Judefrugans nationela lösing. «Israels nutid och framtid». Red. Ehrenpreis. Stockholm, 1920. (Швед. перевод 1-го из «Писем о еврействе»).
13. Страница из историята на еврейския народ, по С. Дубнов. Время на френската революция. Бюлетин Еврейската Община. София, 1937. (Болг. перевод из I т. «Новейшей истории»).

VI. На древнееврейском языке (иврит)

(Знак звездочки при номере указывает написанное самим автором на этом языке)

- 1.* נחמשה ונחקודה. קול קרא... לאסוף חסר לבנין תולדות ישראל בפולין ורוסיה. קובץ „פרדס“ כרך ראשון. אוריסה תרנ"ב (1892). וגם בקונטרס מיוחד, 24 עמורים.
- 2.* חסידים הראשונים בארץ ישראל (פרק חדש ס' תולדות החסידות). „פרדס“ כרך שני, אוריסה תרנ"ד (1894). ע' 201—214.
- 3.* עלילת ח'דס בעיר באבאונע ויהודה לנורת מעליוש. „לוח אחיאסף“ תרנ"ה, ווארשא 1894. מלואים לקורות עלילת באבאונע. „לוח אחיאסף“ תרנ"ו (1896).
- 4.* צאן ההרגה. הרוני טאהליב על נהר רניעפר (תמ"ז).—פרדס“ כרך נ', אוריסה תרנ"ו (1896), ע' 94—100.
- 5.* חסידים פורצי גדר (מחקופת הריב בין החסידים והמתנגדים). „השלוח“ כרך שביעי, 814—820. אוריסה 1901.
- 6.* ועד ארבע ארצות בפולין ויחוסו אל וקהלות. ספר היזבל לרינ סוקולוב, עמוד 250—261. ווארשא 1904.
7. קורות העברים לבתי ספר... עברית מאת א. לובשיצקי. חלק א—ג, ווארשא 1908—1910 (ע"פ ספר הלסור הרוסי, נדפס אע"פ רבות עם הוספות החריגים).

8. פנקס הסרינה של ועד הקהלות הראשיות במדינת ליטא (ש"נ—חקכ"א). נדפס מכ"י עם מלואים ושנוי נוסחאות, עם תרגום רוסי מאת הר"ר י. טובים, הקרטה והערות מאת העורך ש. רובנאך. הוספה ל"יבריקס קאספרינא". שנת 1909 עד 1918. (עין לסעלה כהלך הרוסי א' 186, ולמטה א' 23).
9. סבוא לתולדות החסידות. (תרגום ב. קרופניק בהשתתפות המחבר). קובץ "הקהיד", ברלין 1911, כרך שלישי, ע' 78—102.
- 10*. יסוד היהדות שבתורה מול סטוי. שכרי הניזנות. "השלוח" כרך כ"ה. עמוד 627—628. אודיכה 1911.
- 11*. שתי מנישות. לזכרון המנוח ס. ל. לילינבלום. (שכוען "העולם", א' 9, וילנא 1910).
- 12*. סוד הקיום וחוק הקיום של עם ישראל. ("העתיר" כרך ד'. עמוד 112—116). ברלין 1912.
- 13*. שלילת הנצות וחובת בתורת אחריהם. ("השלוח" כרך ל' 206—210. אוריסה 1914).
14. היסטוריה של איש צבא יהודי. תרגום מריבוש. "החקופה" כרך א', מוסקבה 1918 (למעלה חלק רוכי א' 237)...
- 15*. פנקסי קהלת סטסיסלאב (תק"ד, תר"ד). קובץ "העבר" כרך א', ע' 68—76. פטרבורג, 1918.
- 16*. Chassidiana. קובץ כתבים. כרוזים ואנרות בענין המחלוקת בין החסידים והסתנגרים (ספר "זמיר ערצים ותרבות צורים"). "העבר" כרך ב' 6—28. פטרבורג 1918.
- 17*. כתבי התנגדות על כת החסידים (תקל"ב—חקס"א): קונטרס "אחשבות כסילים". קובץ "דביר", כרך א', עמוד 279—305. ברלין 1923.
- 18*. ש"י איש וזרביץ. קסעי וזרונות. ("דמון", חוברת ג'. כ"ט—ל'). ברלין 1923.
- 19*. שלש סדרונות בלאוסיות (לחג היובל של נ. בירנבוים). "העולם" א' 52, לונדון 1924. (II, א' 7).
- 20—22. דברי ימי ישראל כזרות האחרונים. עכרית ב. קרופניק בהשתתפות המחבר. כרך א, ב, ג. ברלין "דביר", 1923—1924. 256+358—402 עמודים. (עין I, א' 265—267).
- 23*. פנקס מדינת ליטא: קובץ חקנות ופסקים משנת ש"ג עד תקכ"א. ערוך בצדף סבוא והערות ע"י ש. רובנאב. ברלין. "עניות", 1926. עם' 868+XXXI.
- 24*. תשובה לקנאים (ריב לשונות). "העולם" 1926, א' 6 (עין II, א' 8).
- 25*. אנרות הכעשים והלמיריו: אבת או יוף? "קריית ספר", שנה ב. 1926 (ירושלים). עם' 204—211.
- 26*. אבסונומיה בתולדות ישראל. "אשכול": אנציקלופדיה ישראלית. חוברת לדונטא. ברלין 1926. (נדפס ג"ב בכרך א' של האנציקלופדיה).
- 27*. מסקנות אחרונות בשאלות הכורים. ספר זכרון לכבוד רש"א מוונסקי, ורשא 1926. (עמוד 1—4 בחלק העברי).
- 28*. איש האמת: על סות אחריהם. ("העולם" 1927, גליון א, לונדון).
29. סגלת סתרים של אחריהם. (כרוז לאחר סכת קישנוכ). "החקופה" 1928. כרך כ"ד, עם' 416—420. ברלין.

- 89—80. דברי ימי עם עולם. תולדות עם ישראל מימי קדם עד היום
הוא. עברית ב. קרופניק בהשחתות הספר. עשרה כרכים, חל-אביב.
"דבר" 1029—1030. (שלושת הכרכים האחרונים הם מהדורא חדשה
של "תולדות האחרונים", למעלה כיוון 20—22, האחרון עם תקנים
ובלואיב).
- 40* תולדות התמידות נתקופת צמיחתה ונידולה. ספר ראשון: תקופת
הצמיחה והפולמוסים הראשונים (ת"ק—תקמ"א); ספר שני: תקופת
הנידול וההתאששות (תקמ"ב—תקע"ה); ספר שלישי: חי החסידים.
תוספות ובלואיב. חל-אביב, "דבר", 1930—1931. XVI+104 עמודים.
- 41* תלמידים יהודים באוניברסיטה שבפרוכה כסאה הי"ו הי"ח. "ספר השנה
ליהודי אמריקה", ניו יארק 1981.
- 42 היסטוריה יהודית לילדים. מתורגם ע"י ג. ברוך. חלק ראשון:
התקופה הסורחית; חלק שני: התקופה הספרדית. חל-אביב, "דבר",
1985, 1988, 170+100 עמוד. (תרגום מאיריש, VII א 89).
- 43 ספר החיים (זכרונות). חרנס ס. בן-אליעזר. ספר ראשון: 1870—
1890. חל-אביב, "דבר". 1986, 289 עמודים, (I, 262).
- 44 מכתבים על היהדות הישנה והחדשה. מהדורה מתוקנת (קיצור).
עברית סאת א. לוינסון בהשחתות הספר. חל-אביב, "דבר" 1987.
144 עמודים.
- 45* פילוסופיה בכתבי הקודש. סתיחה. ספר היובל לקלוזנר, ע'
316—320. חל-אביב 1986.

VII. На еврейском языке (идиш)

(Знак звездочки при номере указывает написанное самим автором на этом языке)

1. רי סאָל קס. סאָרטי. אירע פריינד און נענדר. ("דער פריינד"
1907, 12 פעברואר, א 85 פעטערבורג).
- 2* פרייטיס-באָענאָנאָ און עמינרעציאָנס-באָיענאָנאָ. ("פריינד"
1907, 21—22 פעברואר, אא 42—43).
- 2a. רי יודישע פראַנע און די רוסע (רי אַנקעסע זון פריינד). "פריינד"
1908.
3. אַרבעטטיגע אידישע געשיכטע. איבערנעקעט פון ז. קאַלמאַנאָוויטש,
מיט אַ הקדמה פון ספר. I—II טייל: רי אַלעע געשיכטע. חילנע.
פאַרלאַג סאַרנאַלין, 1910.
- 4* נאָכין דרייסיקערייטן קריי: 1881—1911. ("רי אידישע וועלט" 1912
I א. פעטערבורג).
- 5* עטלעכע ווערטער צום אַרטיקל "רי אַטאַליקע שפּאַך פון רוסישע אירען".
(זאַסלבוך, "דער פּאָקס" 1918).
- 6* רי וועלט-פראַנע; (ב) רי אידישע סאַקסיק אין רוסע ("דאָס אידישע
האַרץ" און "אידישע וועלט". פעטערבורג 1916).
- 7* רער נייער מבול; (ב) משיח'ס צייטן (באַלפור-דעקלאַראַציע). "אירי-
שעס פּאָלקסבאַט" 1917—1918 פעטערבורג. אא 1 און 2.
- 8* שלום-עליכס אין רי אַכצינער יאָרען. נייער, זאַסלבוך צום אַנדערען פון
שלום-עליכס. פעטערבורג 1917. (ז. אָפּטייל I, א 281).
9. אידישע געשיכטע פאַר שול און פּאָלק. איבערנעקעט פון ליבערמאַן
—ליפשיץ, אין דריי טיילען. ניו יארק מיזעל, 1916—1917. (ז. I א 172).

- 10* וואס האָבען מ'ר צו טאָן אויפן שלוס־קאַנגרעס? (העפּטען. פון צייט צו צייט" 1 א, פעטערבורג 1918).
- 11 אַלגעמיינע אידישע געשיכטע, איבערגעזעצט פון ז. קאַלמאַנאָמיס, צעהן מיל (העפּטען): פון עלטסטע צייטען ביז סנשה בן ישראל. ווילנע, סאַרנאָלין 1920 (1 א 3).
- 12* אל תרנוו כדרך. ווענען דעם פאַרמי־שטריט איבער אַהטאַנאַטיע און שפּראַך. (ציטונג „ניסי, קאָיווע 1922, 20 סאי).
- 13—18 די נייסטע געשיכטע פון אידישען פּאָלק. באַנד I (1789—1815). איבערגעזעצט פון נ. שטיף. בערלין 1928. איד. ליטער. סאַלאָנ. VIII+276 ויסן. באַנד II (1815—1880), איבערו. נ. שטיף. האַרשע 1926, קולטור־ליגע. 427 ויסן. באַנד III (1881—1914), איד־בערו. ח. קאושדאָן, וואַרשע 1928. 556 ויסן.
- 16* רעוואָלוציעס מיט אידישע פּאַנראַטען. צווי אַרטיקלען אין „פּאַרווערס" 1928 (8—15 אָפּיל), ניו־יאָרק.
- 17* טרויעריקער סך־הכל פון צעהן יאָר אידישע נעשיכטע: 1914—1924. (דער סאַג" ניו־יאָרק, 28 נאָו. 1924).
- 18 פון סין סאַנבוך (1917—1918). וואַסלובך „אין אינדער תקופה", 145—156. בערלין 1924.
- 19* פון זשאַרנאַן צו אידיש: פעטערבורגער „פּאָלקס־לאַט", סעקטאָר. דינע: סאָן, שלום־עליכס, בענדלע. (דער סאַג", ניו־יאָרק 1926. יוני—אויגוסט: „פּריסאָרין" דינע 1926. יאָנואַר). ז. היטער א 26.
- 20 זכרונות ווען סענדלע־אַפּראַטאַזיס. (ליטעראַרישע בלעטער" 1927, אָא 44—50, וואַרשע. איבערגעזעצט אין פּיך „פענדלע־פּירעס". באַנד 22 „אלע וועק פון בענדלע", 1928 (1. א 246).
- 21* דער קאַמף פאַר אידישע רעכט אַפּאַל און הינט, רעפּראַט אויף דער צייכער קאַנטרענץ פון אידישע נאַציאָנאַלע סינדערהייטען איינסיט 1927. (דער סאַג" ניו־יאָרק אין אַנדערע צייטונגען).
- 22* חאָס פעהלס אינו אין דער פּאַנאַטישען נעשיכטע (פּאַנאַטיש; טרייטן פון אידישען וויסענשאַפֿטליכען אינסטיטוט אין ווילנע. באַנד I 180—183. בערלין 1928).
- 23* לעבען אידען אין דוסלאַנד בעסער חי אין אַנדערע לענדער? ענטפער דעם הייסרוסישען פּרעזירענט. (דער סאַג", ניו־יאָרק פון 7 אָפּיל 1928).
- 24* טרוג אלס פּאָלק־דיכטער. (ליטעראַרישע בלעטער" וואַרשע 1928, א 52: „פּאַרוערס" ניו־יאָרק, רעצ. 1928).
- 25* פון זשאַרנאַן צו אידיש און אַנדערע אַרטיקלען. ליטעראַרישע זכרונות. ווילנע, קלעצקין 1929, 177 ויסען. (ועה אויבן א 19, 20, 24).
- 26* דער צווייטער חורבן פון אוקריינע (1768): דריי טעקסטן פון מעשה גדולה פון אומאן וואַקריינא". היסטאָרישע שריטען פון יח"א, באַנד 1, ווילנע, 1929.
- 27* די בלוטיגע געשעהנישן אין ארץ ישראל. צירקולאַר אַרטיקל אין ITA סעפטעמבער 1929. (נעדרוקט אין אידישע צייטונגען).
- 28* ושימלאַווסקיס אַהטאַנאַטיס. (ושימלאַווסקי־וואַסלובך. וואַרשע 1929, 1. ו 190—195).
- 29* די היסטאָרישע באַדיטונג פון אידישן וויסענשאַפֿטליכען אינסטיטוט (ליט. בלעטער 1929, א 48).

- 49* זווין געהטן מירן (20: מער יארהונדערט געגען 19-טען; געסטאליום געגען הוסאניום, עטישער קריסטעריום) „צוקונסט“ 1985, יוליההקסט, 892—898. (איבערגעדרוקט אין צייטונגען).
- 50* א העלם-אָרנאָוואַציע פאַר אַ וועלם-פּאַלק. „צוקונסט“ 1986, יאָנואַר-העפט, 28—80. (איבערגעדרוקט אין צייטונגען).
- 51* דער ראַסאַנטיקער פון דער רעוואָלוציע (א) ליעסיין „צוקונסט“, פאַרמ 1986. ניויאָרק—168—164).
- 52* א בוך חעגן פראַבלעס פון דער אידישער געשיכטע: רעזעסעך 1987, ז. 765—768. S. Baron, A History of the Jews „צוקונסט“, ניויאָרק.
- 53* חעגען דער אינאַלציע פון „בוגרי“ און דער ציוניסטישער פאַלקס באַוועגונג „צוקונסט“ 1938, יוני. ז. 829. ניויאָרק.
- 54* אינטערנאַציאָנאַלע ליגע קעגן אַנרעסיע אויפן אידישן פאַלק (אויפריף). „דער טאָני, ניויאָרק 18 מאַי 1989. (איבערגעדרוקט אין אַנדערע צייטונגען).
- 55* האָס דערף מען טאָן אין חסנס צייטן? („אויסן שירחעג“ וואַלטיכער 2 מאַי 7—8. פאַריו 1989).
- 56—58 ווערטגעשיכטע פון אידישן פאַלק, III (ביו סוף מורה-תקופה). איבערו. ל. האָרעס, ווילנע יח"א 1988 (565 זימן). —באַנר IV (מערב-הקופה ביו סוף קרייצונגן). איבערו. ו. קאלמאַנאוויטש, ווילנע 1989. 448 זימן. —באַנר V: שפּעטער סימלאַמער ביו נירוש שפּאַניע, ווילנע יח"א 1989 (512 זימן).
40. ס'זיין לעבנס-בוך: די קינדערייאָרן „צוקונסט“ 1982, העפט סעפטעמבער-דעצעמבער, ניויאָרק. —די מאַנער-יאָרן „צוקונסט“ 1983, העפט מאַי-אָטונוס. (איבערגעדרוקט אין „מאַטענא“, וואַרשע 1982—1983). איבערגעקומען ס'זיין אַ שטערקאָווער. —די אָרע סער צייט (1890—1897). „צוקונסט“ 1984, העפט, 1—2, 4—8.
41. ס'זיין זכרונות (1881—1890). „דער טאָני, ניויאָרק 1982—1988. אָקטאָבער-מערץ (א) שטערקאָווער).
42. חעגן דעם גורל פון „די שטע אירן“ (די שטע אירן), רינע, 4 אָקט. 1983.
43. צו וואָס אַ אידישער העלםקאַנרעס? (דער אידישער וועלם-קאַנרעס 1—2. פאַריו 1984).
- 44* העט דער 20-טער יאָרהונדערט זיין אַ קעגנזאָץ צום 19-טען? (דאָס פרייע האָרמ). לאַנדאָן 1984 נוסער 54; איבערגעדרוקט אין אַנדערע צייטונגען).
- 45* אַהטאַנטיע אין דער אידישער געשיכטע (אַלגעמינע ענציקלאָפּעדיע, רובאַן-טאָנר, באַנר I. זיט 286—289. פאַריו 1984).
- 46* אַ מאָנאַרשיע חעגן קרעמיע. (יח"א-בלעטער באַנר VIII, ז. 68—70, ווילנע 1985).
- 47* דער רמב"ם אין דער אידישער געשיכטע, אַ דערע געהאַלטען אין רינע (יח"א-בלעטער VIII, 195—201). ווילנע 1985.
- 48* דער איצטיקער צושטאַנד פון דער אידישער היסטאָריאָגראַפיע, רעפּע-ראַט אויפן צוואַסענטפאַר פון יח"א, ווילנע אָטונוס 1935, יח"א-בלעטער VIII, 280—294.

- 49* זווין געהטן מירן (20: מער יארהונדערט געגען 19-טען; געסטאליום געגען הוסאניום, עטישער קריסטעריום) „צוקונסט“ 1985, יוליההקסט, 892—898. (איבערגעדרוקט אין צייטונגען).
- 50* א העלם-אָרנאָוואַציע פאַר אַ וועלם-פּאַלק. „צוקונסט“ 1986, יאָנואַר-העפט, 28—80. (איבערגעדרוקט אין צייטונגען).
- 51* דער ראַסאַנטיקער פון דער רעוואָלוציע (א) ליעסיין „צוקונסט“, פאַרמ 1986. ניויאָרק—168—164).
- 52* א בוך חעגן פראַבלעס פון דער אידישער געשיכטע: רעזעסעך 1987, ז. 765—768. S. Baron, A History of the Jews „צוקונסט“, ניויאָרק.
- 53* חעגען דער אינאַלציע פון „בוגרי“ און דער ציוניסטישער פאַלקס באַוועגונג „צוקונסט“ 1938, יוני. ז. 829. ניויאָרק.
- 54* אינטערנאַציאָנאַלע ליגע קעגן אַנרעסיע אויפן אידישן פאַלק (אויפריף). „דער טאָני, ניויאָרק 18 מאַי 1989. (איבערגעדרוקט אין אַנדערע צייטונגען).
- 55* האָס דערף מען טאָן אין חסנס צייטן? („אויסן שירחעג“ וואַלטיכער 2 מאַי 7—8. פאַריו 1989).
- 56—58 ווערטגעשיכטע פון אידישן פאַלק, III (ביו סוף מורה-תקופה). איבערו. ל. האָרעס, ווילנע יח"א 1988 (565 זימן). —באַנר IV (מערב-הקופה ביו סוף קרייצונגן). איבערו. ו. קאלמאַנאוויטש, ווילנע 1989. 448 זימן. —באַנר V: שפּעטער סימלאַמער ביו נירוש שפּאַניע, ווילנע יח"א 1989 (512 זימן).

Конец третьего тома

КОММЕНТАРИЙ*

(Опыт биобиблиографического прочтения)

К тому I

¹ *Саббатай Цеви* (1626—1676) — лжемессия, родился в г. Смирна, изучал каббалу, в середине XVII в. возглавил «саббатрианское движение», охватившее территорию Османской империи, Италию, Германию и Польшу. После провала своих планов принял ислам. См. о нем: *Дубнов С. М.* Саббатай Цеви и псевдомессианизм в XVII в. // *Восход*. 1882. № 7—9.

² *Половина еврейской общины была истреблена казаками Хмельницкого*. — Национально-освободительная война украинского народа против Польши (1648—1651) под предводительством Богдана Хмельницкого ознаменовалась массовыми убийствами еврейского населения Украины. Были уничтожены практически все общины. По оценке историков, погибло не менее 500 тысяч человек. См., напр.: *Боровой С.* Национально-освободительная война украинского народа против польского владычества и еврейское население Украины // *Ист. зап. Ин-та истории АН СССР*. 1941. Т. 9; *Костомаров Н.* Богдан Хмельницкий. М., 1992.

³ *Ганновер Натан* — (нач. XVII в.—1663) — историк, каббалист. Пережил погромы времён Богдана Хмельницкого на Украине. После 1648 г. жил в Италии, Польше, Румынии. Погиб во время погрома в Моравии. Один из первых летописцев польского и украинского еврейства XVII в., см. его труд «Богдан Хмельницкий. Летопись еврея-современника о событиях 1648—1653 гг. в Малороссии вообще и о судьбе единоверцев в особенности» (с примеч. С. Манделькерн. Одесса, 1878). Первое издание этой книги было осуществлено в Венеции в 1653 г. Последнее издание: *Еврейские хроники XVII столетия: Эпоха «хмельничины»/Исслед., пер. и коммент. С. Борового. М.; Иерусалим, 1997.*

⁴ *Кайдановер Цеви-Гифш* (XVII—нач. XVIII в.) — ученик рабби Иосифа бен Иуды (Иосифа Дубно), сын раввина г. Франкфурта Аарона Самуила.

⁵ *Перетц Григорий Абрамович* (1788—1855) — участник движения декабристов. С 1809 г. на государственной службе. В 1820 г. вступил в «Союз благоденствия». После 1825 г. был сослан в Сибирь. После освобождения в конце 40-х гг. жил в Одессе.

⁶ *Перетц Абрам Израилевич* (1770—1833) — предприниматель, общественный деятель. С 80-х гг. XVIII в. жил в Петербурге. В 1802 г. был привлечен к работе «Еврейского комитета» по реформированию законодательства о евреях. В 1813 г. принял христианство.

⁷ *Виленский Гаон-Илия* (1720—1797) — известный талмудист и ученый, реформатор системы религиозного образования, противник хасидизма.

* Данное издание главным образом рассчитано на массового читателя в России. Поэтому в нашем комментарии, стремясь ввести в «мир Дубнова», мы, приводя краткие и самые необходимые сведения, отсылаем к литературе на русском языке, имеющейся сегодня в крупных библиотеках страны. Имена собственные, названия организаций, периодических изданий и все прочие термины даются С. Дубновым в принятом во II пол. XIX в.—первых десятилетиях XX в. написании, зафиксированном в «Еврейской энциклопедии» на русском языке, выходящей в Петербурге в 1908—1913 гг. Наиболее очевидные случаи разночтений с современным написанием особо не оговариваются. Дополнительная литература приводится только в тех случаях, когда это необходимо для характеристики научных и общественных взглядов мемуариста и знакомства с его окружением.

⁸ *Пиллуд* — логический метод исследования и анализа Талмуда и раввинской литературы, состоит в том, что в ходе спора каждое положение рассматривается в сравнении с другими положениями и искиваются пути устранения возможных противоречий между ними.

⁹ *Польское восстание (1863 г.)* — национально-освободительное восстание 1863—1864 гг., направленное против русской оккупации. Было подавлено русской армией.

¹⁰ *Миснагид* (миснагим, «противники») — термин, которым хасиды называли противников их религиозных воззрений.

¹¹ *Хасиды-хабадники* — приверженцы одной из наиболее влиятельных ветвей хасидизма — философского течения в иудаизме. Идеиная борьба между миснагидим и хасидами проходила в Галиции, Литве, Белоруссии во 2-й пол. XVIII в. и большую часть XIX в.

¹² *Мендель Шнеерсон из Любавичей (1790—1866)* — представитель рода Шнеерсонов, руководившего хасидами-хабадниками, автор ряда философских трактатов. На протяжении столетия официальной резиденцией этого рода было местечко Любавичи в Белоруссии.

¹³ *Гурбич Саул-Израиль (1861—1922)* — публицист, ученый, опубликовал серию работ о юридическом и социальном положении еврейского народа, а также биографию И. Галеви. С 1910 г. жил в Германии.

¹⁴ *Год польского восстания* — 1863 г.

¹⁵ *Галаха* — нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев.

¹⁶ *Агада* — часть талмудической литературы, содержащая религиозно-нравственные воззрения.

¹⁷ *Кантонисты* — в 1805—1856 гг. так называли детей, взятых на военную службу. За 25 лет в армии они не только навсегда отрывались от семьи, но и подвергались насильственной ассимиляции. Система кантонистов была ликвидирована в ходе военных реформ Александра II.

¹⁸ *Иосиф Флавий (37—100)* — историк, участник антиримского движения, позднее, еще до окончания восстания, сдался в плен и вскоре стал официальным историографом римских полководцев Веспасиана и Тита. Автор книг: «Иудейская война», «Иудейские древности», «Против Апиона» и др. См. о нем: *Тесса Раджак*. Иосиф Флавий: Историк и общество. М.; Иерусалим, 1993.

¹⁹ *«Иосиппон»* — популярное изложение истории древнего мира (Вавилон, Греция, Рим, Иудея). Книга была написана в X в. и впервые издана в Цюрихе в 1546 г. Возможно, ее первым автором был Иосиф бен Горион. В дальнейшем «Иосиппон» многократно переделывался разными авторами, в него приносились отрывки из других исторических произведений, в том числе из Иосифа Флавия.

²⁰ *Претифательства Аббайи и Раввы*. — *Аббайе* (280—338) — выдающийся философ и галахист. Его философские произведения вошли в состав Вавилонского Талмуда, а метод исследования стал основой для последующих комментаторов Талмуда. *Равва* (280—352) — выдающийся философ и галахист. Публичные споры Аббайи и Раввы стали частью всей системы религиозного обучения евреев и вошли в состав Талмуда.

²¹ *Мендельсоновский «Биур»* — комментарий и перевод Библии на немецкий язык, сделанный Моисеем Мендельсоном и изданный впервые в Германии в 1773 г.

²² *Мидраш* — углубленное толкование библейских текстов.

²³ *Бар-Кохба («Сын Звезды»)* — руководитель антиримского восстания в Иудее в 132—135 гг. н. э. После подавления восстания и последовавших вслед за этим массовых казней и убийств он был обвинен во всех неудачах и получил имя «Бар-Козиба» («Сын Лжи»).

²⁴ *Реб Илия* — Илия бен Соломон-Авраам га-Коген (2-я пол. XVII в.—1729) — даян и проповедник из города Смирна, автор многочисленных философских сочинений и комментариев.

²⁵ *Кельмский Магид* (Моше-Ицхак) (1828—1899) — один из руководителей движения «Мусар», противник Гаскалы.

²⁶ *Гаскала* (просвещение) — движение среди части евреев Европы, начавшееся в Германии в середине XVIII в. и ознаменовавшееся модернизацией еврейской культуры и быта сближением ее с мировой гуманистической культурой.

²⁷ *Комтефт Леопольд* (1822—1886) — писатель, публицист, жил в Австро-Венгрии. Автор рассказов о жизни евреев в городах Австрии и Чехии. Писал на немецком языке.

²⁸ *Шульман Калман* (1819—1899) — писатель и переводчик, учился в воложинском иешиве, примкнул к движению маскилим, писал на иврите, преподавал в Виленском раввинском училище.

²⁹ *Вольней Константин-Франсуа* (1757—1820) — французский философ XVIII в. Речь идет о его книге «Руины, или Размышления о революциях империй».

³⁰ *Мапу Авраам* (1808—1867) — писатель, деятель Гаскалы, преподаватель в еврейских школах Вильно и Ковно. См. о нем: *Фихман Я.* Певец любви сионской. Одесса, 1918; *Кантор Л. О.* Аврам Мапу (1808—1867) // *Пережитое*. Т. 1. СПб., 1908.

³¹ *Алхабиц Соломон бен-Моисей Галеви* (1505—1584) — поэт, каббалист. Жил в Эрец-Исраэль и Турции. Автор знаменитого субботнего гимна «Лехо доди».

³² *Бялик Хаим-Нахман* (1873—1934) — поэт, писатель, публицист. В конце XIX—нач. XX в. преподавал в еврейских школах Одессы, редактировал журнал «Гайилоах». Руководил издательством «Мория». В 1921 г. эмигрировал в Германию, а затем в Эрец-Исраэль.

³³ *Лебенсон Авраам-Дов* (1794—1878) — поэт, деятель Гаскалы.

³⁴ *Лебенсон Миха-Иосиф* (1828—1852) — поэт, деятель Гаскалы.

³⁵ «*Гакармель*» — журнал, выходил в свет с 1860 по 1880 гг. в Вильно под редакцией С. Фина. Печатался на иврите. С 1860 по 1863 гг. имел приложение на русском языке.

³⁶ «*Гамелиц*» — еженедельник на иврите, издававшийся в Одессе, а с 1871 г. в Петербурге. С 1860 по 1904 гг. — под редакцией А. Цедербаума и И. Гольдбаума. Находился на позициях Гаскалы.

³⁷ «*Маскилим*» — сторонники идей Гаскалы, светского образования.

³⁸ *Цадик* — «праведник», лидер хасидской общины.

³⁹ «*Гашахар*» — журнал, издававшийся на иврите с 1868 по 1886 гг. в Вене под редакцией П. Смоленскина. Находился на позициях Гаскалы.

⁴⁰ «*Галебанон*» — журнал, выходивший на иврите с 1863 по 1881 гг. сначала в Иерусалиме, затем в Париже и позднее в Майнце. Основан И. Бриллем, в период издания в Майнце редактировался М. Леманом. Находился на ортодоксальных позициях и боролся с идеями Гаскалы.

⁴¹ *Смоленский Перец* (1842—1885) — писатель, окончил иешивот в Шклове, жил в Витебске, служил кантором в синагоге в Могилеве, работал в журнале «Гамелиц» в Одессе. В 1867 г. уехал из России и с 1868 г. в Вене издавал «Гашахар». Противник ассимиляции, позднее палестинофила. См. о нем: *Готтлиб М. П. М.* Смоленский, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1899.

⁴² *Гурвиц Пинхас-Илия* (2-я пол. XVIII в.—1821) — философ, автор труда «Сефер габрит». Жил в Австро-Венгрии и Германии.

⁴³ *Раввинское училище в Вильне* — основано в 1847 г. По замыслу правительства его выпускники должны были взять на себя «духовное воспитание в проправительственном духе». В еврейской среде их считали проводниками идей ассимиляции.

⁴⁴ *Дрейзин Иосиф* (1843—1894) — составитель «Русско-еврейского словаря», преподавал в еврейских казенных училищах, казенный раввин. В 1891 г. принял православие.

⁴⁵ *Берне Людвиг* (1786—1837) — писатель, публицист, общественный деятель, сторонник ассимиляции. В 1818 г. принял христианство. См. о нем: *Порозовская Б. Д.* Людвиг Берне, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1893.

⁴⁶ *Гейне Генрих* (1799—1856) — поэт, публицист, родился в еврейской ассимилированной семье. В 1825 г. принял христианство. См. подробнее: *Генрих Гейне о еврейском вопросе // Еврейские записки*. 1881. Т. 6; *Порозовский Б.* Генрих Гейне. Иерусалим, 1990.

⁴⁷ *Ауэрбах Бертольд* (1812—1882) — писатель, выходец из известной в Германии еврейской семьи, получил широкое как еврейское, так и общее образование. В литературу вошел как автор произведений о еврейской жизни «Поэт и купец», «Спиноза». Позднее выступал в основном как немецкий писатель.

⁴⁸ *Штильгаген Фридрих* (1829—1911) — немецкий писатель. Его произведения широко публиковались в России во 2-й пол. XIX в.

⁴⁹ «*Дело*» — журнал, издававшийся в Петербурге с 1866 по 1888 гг. под редакцией Г. Е. Благосветлова. Фактически был органом одного из течений русского народничества.

⁵⁰ *Писарев Дмитрий Иванович* (1840—1868) — русский критик и публицист народнического направления.

⁵¹ Шеллер-Михайлов Александр Константинович (1838—1900) — русский писатель, популярный в 70-е гг. XIX в., автор большого числа романов и повестей.

⁵² «Московские ведомости» и «Русский вестник» Каткова — русские периодические издания консервативного направления, выходившие в свет во 2-й пол. XIX в. под редакцией известного публициста и политического деятеля Каткова Михаила Никифоровича (1818—1887), при общих националистических тенденциях антисемитские публикации встречались в них крайне редко.

⁵³ «Автобиография» Соломона Маймона... переведенная... в «Еврейской библиотеке» Ландау — эта публикация появилась в 1871—1872 гг. в т. 1, 2 альманаха «Еврейская библиотека» в Петербурге под названием «Из автобиографии Соломона Маймона. Очерки быта польско-русских евреев во второй половине XVIII в.».

⁵⁴ «Записки еврея» Богрова. — Роман Г. И. Богрова, популярный среди русских читателей во 2-й пол. XIX в., впервые был опубликован в 1871—1873 гг. в журнале «Отечественные записки». Первое отдельное издание — Петербург, 1874. См. о нем: Бухбиндер Н. А. Литературные этюды. Л., 1927. См. коммент. 160.

⁵⁵ Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт, переводчик, историк литературы, с 1905 г. почетный академик Российской Академии наук. Автор «Воспоминаний» (Исторический вестник. 1900. № 5; 1908. Т. 3. № 1).

⁵⁶ «Гацефира» — еженедельник, выходивший на иврите в Варшаве в 1862 г. под редакцией Х. З. Слонимского. В 1874 г. был возобновлен в Берлине, а с 1876 г. вновь выходил в Варшаве до 1906 г., с 1885 г. под редакцией Н. Соколова.

⁵⁷ Слонимский Хаим-Зелиг (1810—1904) — ученый и публицист, один из деятелей Гаскалы, редактор газеты «Гацефира», преподавал в Житомирском раввинском училище.

⁵⁸ «Литовский Иерусалим» — так назывался Вильно, бывший центром образования и общественной жизни еврейского народа на протяжении XIX в.

⁵⁹ Лилленблум Моше-Лейб (1843—1910) — писатель, публицист, деятель Гаскалы и сторонник палестинофильства.

⁶⁰ Браудес Реувен-Ашер (1851—1902) — писатель, долгие годы жил в Одессе, автор серии романов на иврите. В 1891—1893 гг. в Польше издавал журнал «Газман». Сторонник сионизма, редактор газеты «Ди Вельт».

⁶¹ Мендельсон Моше (Моисей) (1729—1786) — философ, основатель движения Гаскала в Европе. См. о нем: Шахрай А. М. Моисей Мендельсон, его жизнь и деятельность. Одесса, 1896.

⁶² Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал, один из героев русско-турецкой войны 1876—1878 гг. Участник завоевания Россией Средней Азии.

⁶³ «История евреев в средние века» Деттинга — имеется в виду книга: Деттинг М. История евреев в средних веках. Т. 1—2. СПб., 1848.

⁶⁴ Либерман (Фрейман) Аарон (1845—1880) — публицист, деятель социалистического движения, учился в раввинском училище в Вильно, позднее жил в Лондоне и Вене, где издавал еженедельник «Гаэмет». Один из первых пропагандистов социализма в еврейской среде. См. о нем: Фрумкин Б. Из истории революционного движения среди евреев в 1870-е гг. // Еврейская старина. 1911. Вып. 2, 4.

⁶⁵ Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк. В то время в России была издана его работа «История цивилизации в Англии» (Т. 1—2. СПб., 1873—1876).

⁶⁶ Деизм — философское направление, рассматривающее Бога как первопричину, творца мира, давшего миру законы, которые в дальнейшем действуют вне зависимости от него.

⁶⁷ Маймонид (Моше бен Маймон) (1135—1204) — ученый, его труды стали основой философского осмысления иудаизма.

⁶⁸ Ахад-Гаам (Гинцберг Ашер) (1856—1927) — философ, общественный деятель, основоположник «духовного сионизма». См. о нем: Клаузер И. А. Ахад-Гаам и его духовный сионизм. Одесса, 1905. Часть его творческого наследия вошла в изд.: Избранные сочинения. Т. 1. М., 1919; Избранные статьи. Вып. 1—4. СПб., 1898—1900; Зиппертайн С. Ахад-Гаам как политический деятель // Исторические судьбы евреев в России и СССР: начало диалога: Сб. М., 1992.

⁶⁹ Дрэйпер Джон Вильям (1811—1882) — американский историк. В России в то время вышли в свет его труды: «Гражданское развитие Америки» (СПб., 1866); «История умственно-

го развития Европы» (СПб., 1866); «История Североамериканской междуусобной войны» (СПб., 1871) и др.

⁷⁰ *Засулич Вера Ивановна* (1849—1919) — русская революционерка, в 70-е гг. XIX в. народница, позднее социал-демократ. В 1878 г. совершила покушение на губернатора Петербурга Трепова. Была оправдана судом присяжных. Публицист, переводчик.

⁷¹ *Динесон (Динезон) Яков* (1858—1919) — писатель, один из первых авторов, писавших на идиш, сторонник Гаскалы.

⁷² *Лассаль Фердинанд* (1825—1864) — еврей, немецкий политический деятель, социалист, философ, писатель, создатель Всеобщего Германского рабочего союза. Его произведение «Исповедь» было опубликовано в «Вестнике Европы» (1877. Т. 11). См. о нем: Памяти Лассалья: Сб. ст. Киев, 1925; *Классен В. Ф. Лассаль*. Иерусалим, 1988.

⁷³ *Омулевский Иннокентий Васильевич* (1836—1884) — русский писатель народнического направления. Речь идет о его автобиографическом романе «Шаг за шагом (Светлов, его взгляды, характер и деятельность)» (СПб., 1874).

⁷⁴ «*Земля и воля*» — нелегальный журнал, выпускавшийся одноименной подпольной организацией, существовавшей в России с 1876 по 1879 гг. Первый номер журнала вышел в свет в апреле 1879 г.

⁷⁵ *Аксельрод Павел (Пинхус) Борисович* (1850—1928) — участник русского революционного движения с 70-х гг. XIX в., позднее социал-демократ, меньшевик. Автор мемуаров «Пережитое и передуманное».

⁷⁶ *Гуревич Григорий Евсеевич (Гершон Бадагес)* (1854—?) — публицист, общественный деятель. Начиная свою деятельность в 70-е гг. как социалист, позднее видный еврейский общественный деятель в Киеве. После 1917 г. в эмиграции во Франции. Автор воспоминаний: «Среди революционеров в Цюрихе» (Еврейский сб. 4. Л., 1925).

⁷⁷ *Шур Хася (Саша)* (1861—?) — Шур Шейна-Хася Мовшевна (в замужестве и после крещения Догаполова Вера Фоминична), в 70-е гг. XIX в. участвовала в русском революционном движении. С 1876 по 1878 гг. находилась в Германии и Швейцарии, сотрудничала в еврейском социалистическом еженедельнике «Газмет» в Вене, училась в Женево и Бернском университете. В 1878 г. вернулась в Россию и была арестована, сослана в Сибирь. С 1923 г. жила в Москве, литератор, историк, автор мемуаров «Воспоминания» (Курск, 1928).

⁷⁸ *Соловьев Александр Константинович* (1846—1879) — революционер-народник, 2 апреля 1879 г. совершил в Петербурге неудачное покушение на Александра II. Казнен.

⁷⁹ *Конт Огюст* (1798—1857) — французский философ. В то время в России были изданы лишь работы о его учении, напр.: *Льюис Дж. Г., Милль Дж. С.* Огюст Конт и положительная философия. СПб., 1867; *Полетика И. А.* Критика философской системы Конта. СПб., 1873. Отдельные его работы публиковались в периодической печати.

⁸⁰ *Фейербах Людвиг* (1804—1872) — немецкий философ. В 60—70-е гг. XIX в. в России были опубликованы его «Лекции о сущности религии» (М., 1861), распространялась изданная на русском языке в Лондоне его книга «Сущность христианства» (Лондон, 1861).

⁸¹ *Бюхнер Людвиг* (1824—1899) — немецкий ученый. В то время в России вышли в свет его труды: «Откуда мы, кто мы, куда мы» (СПб., 1872); «Сила и материя» (СПб., 1860); «Физиологические картины» (М., 1862).

⁸² *Молишот Якоб* (1822—1893) — немецкий ученый. В 60—70-е гг. XIX в. в России были изданы его труды: «Единство науки с точки зрения учения о жизни» (СПб., 1879); «Естествознание и медицина» (СПб., 1865); «Круговорот жизни» (Харьков, 1866); «Физиологические эскизы» (М., 1863).

⁸³ *Милль Джон Стюарт* (1806—1873) — английский философ. В 60—70-е гг. XIX в. в России вышли в свет его труды: «О подчинении женщины» (СПб., 1869); «О свободе» (СПб., 1864); «Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона» (СПб., 1869). Дубнов имеет в виду его книгу «Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии» (пер. и доп. Н. Г. Чернышевского. СПб., 1873). Большой популярностью пользовались также его работы «Размышления о представительном правлении» (СПб., 1863) и «Система логики» (СПб., 1867).

⁸⁴ *Бентам Иеремия* (1748—1832) — английский юрист и философ. В 1860 г. в России были изданы его «Избранные сочинения» (СПб., 1860).

⁸⁵ *Знаменитый взрыв в Зимнем дворце*. — 5 февраля 1880 г. в Зимнем дворце член «Народной воли» С. Халтурин произвел взрыв с целью убить Александра II. Покушение было неудачным.

⁸⁶ *«Диктатура сердца» Лорис-Меликова* — период с августа 1880 г. по 1 марта 1881 г., когда во главе внутренней политики России находился А. Т. Лорис-Меликов, предпринявший попытку сближения с либеральными кругами страны.

⁸⁷ *Блан Луи* (1811—1882) — французский историк. В 70-е гг. XIX в. в России были изданы его труды: «История Великой французской революции» (СПб., 1871); «История февральской революции 1848 г.» (СПб., 1872).

⁸⁸ *Спенсер Герберт* (1820—1903) — английский философ, в 60—70-е гг. XIX в. в России были изданы его труды: Собрания сочинений (Т. 1—7. СПб., 1866—1869); «Воспитание умственное, нравственное и физическое» (СПб., 1877); «Изучение социологии» (Т. 1—2. СПб., 1874—1875); «Основания биологии» (СПб., 1870) и др.

⁸⁹ *Александров М.* — публицист, критик политических воззрений С. М. Дубнова, автор направленных против Дубнова памфлетов: «Волки в овечьих шкурах» (Одесса, 1903); «Патриотизм антисоционистов и основательность их идей» (Бендеры, 1899).

⁹⁰ *Казан Маркус Гилелевич (Мордехай бен Гилель Гакоген)* (1856—1936) — писатель, публицист, сторонник Гаскалы, палестинофил 80-х гг., позднее сторонник сионизма. В 80-е гг. в Петербурге — секретарь редакции журнала «Рассвет». В 90-е гг. — крупный предприниматель в Белоруссии. С начала XX в. жил в Эрец-Исраэль. Один из основателей Еврейского университета в Иерусалиме. Автор мемуаров «К истории национального самознания русско-еврейского общества: По личным воспоминаниям» (Пережитое. Т. 3. СПб., 1911).

⁹¹ *«Рассвет»* — еженедельник, издававшийся в Петербурге с 1879 по 1883 гг. на русском языке. В начале его редакторами были А. Цедербаум и А. Гольденблюм, позднее во главе редакции встали Г. Богров и Я. Розенфельд.

⁹² *«Русский еврей»* — еженедельник, выходивший в Петербурге с 1879 по 1884 гг., сначала под редакцией Л. Бермана, а затем Л. Кантора.

⁹³ *Кантор Лев Осипович (Иехуда-Лейб)* (1849—1915) — заведующий редакцией еженедельника «Русский еврей» в Петербурге, получил медицинское образование в Берлине, после закрытия газеты — общественный раввин в Либаве (Латвия), Вильно, Риге.

⁹⁴ *«Орт»* — Общество ремесленного и сельскохозяйственного труда среди евреев России, основано в Петербурге в 1880 г., имело отделения во многих городах страны.

⁹⁵ *Грец Генрих (Гириш)* (1817—1891) — историк, автор фундаментальных трудов по истории евреев. В России в конце XIX — нач. XX в. была издана его «История евреев с древних веков до настоящего времени».

⁹⁶ *Лютостанский Ипполит* (1835—1915) — публицист, активный антисемит конца XIX в., автор серии статей и памфлетов.

⁹⁷ *Минов Шломо-Залман* (1826—1900) — казенный раввин Минска, сторонник Гаскалы, казенный раввин Москвы с 1869 г. В 1891 г. выслан из Москвы, жил в Вильно. Автор памфлетов, направленных против писаний И. Лютостанского и других нападок на иудаизм.

⁹⁸ *Цедербаум Александр Осипович* (1816—1893) — публицист, редактор журналов «Гамелиц», «Кол мевассер», «Вестник русских евреев».

⁹⁹ *Андреевский Сергей Архадьевич* (1847—1918) — адвокат, поэт, автор мемуаров «Книга о смерти» (Т. 1—2. Берлин, 1922—1928).

¹⁰⁰ *Спасович Владимир Данилович* (1829—1906) — юрист, публицист, литературовед.

¹⁰¹ *Цейтлин Соломон Яковлевич* (1876—1913) — общественный деятель, жил в Гомеле. Умер в США.

¹⁰² *Розенфельд Яков Львович* (1839—1885) — юрист, журналист, сторонник палестинофильства, редактор «Рассвета» в 1881—1883 гг.

¹⁰³ *Лурье Соломон (Шнеур-Залман)* (1851—1908) — закончил в Петербурге Институт инженеров путей сообщения, публицист, поэт, переводчик, в 80-е гг. сотрудничал в журналах «Рассвет» и «Восход». Позднее казенный раввин в Киеве, в 80-е гг. палестинофил, автор книги «Будущее в прошедшем» (СПб., 1883).

¹⁰⁴ *Победоносцев Константин Петрович* (1827—1907) — государственный деятель, философ, публицист, историк, обер-прокурор Синода.

¹⁰⁵ *Акоста Уриэль* (1585—1640) — философ, португальский марран, но, бежав в Амстердам, вернулся в иудаизм, выступил с критикой современного иудаизма и был подвергнут херему. В 1640 г. отрекся от своих взглядов. Покончил с собой. Считается первым еврейским вольнодумцем нового времени. Герой драмы К. Гуцкова «Уриэль Акоста».

¹⁰⁶ *Гуцков Карл* (1811—1878) — немецкий писатель, автор знаменитой драмы «Уриэль Акоста».

¹⁰⁷ *Ахива* (ок. 50—135) — выдающийся философ, систематизатор Галахи, участвовал в восстании Бар-Кохбы. Казнен римлянами.

¹⁰⁸ *Элиши* — пророк, персонаж Библии и Талмуда, ближайший последователь пророка Илии.

¹⁰⁹ *Ахер* — жил в эпоху таннаев, упоминается во многих талмудических источниках, прослыл еретиком и отступником.

¹¹⁰ *Спиноза Барух* (1632—1677) — философ. За свои воззрения был подвергнут херему и изгнан из еврейской общины Амстердама в 1656 г.

¹¹¹ *Саади Гаон (Саадия бен Иосиф)* (892—942) — философ, участник общественной и религиозной борьбы в Палестине и Вавилоне.

¹¹² *Штеккер Адольф* (1835—1909) — идеолог антисемитизма в Германии в XIX в., пастор, проповедник императорского двора в Берлине, лидер Христианско-социальной партии, депутат рейхстага.

¹¹³ *Шнеер Георг* (1842—1921) — австрийский политический деятель, лидер антисемитизма, публицист.

¹¹⁴ *Истоци Виктор (Хьюго)* (1842—1915) — идеолог антисемитизма в Венгрии в XIX в., депутат парламента с 1872 г.

¹¹⁵ «*Восход*» — журнал, издававшийся в Петербурге А. Ландау. Первое еврейское периодическое издание на русском языке, сумевшее просуществовать долгие годы (с 1881 по 1903 гг.).

¹¹⁶ *Гордон Иехуда-Лейб* (1830—1892) — поэт, публицист, общественный деятель, один из руководителей Общества распространения просвещения среди евреев, секретарь еврейской общины Петербурга. Автор мемуаров «Тюрьма и ссылка» (Пережитое. Т. 4. СПб., 1913). См. о нем: *Рабинович Г. М.* Речь, произнесенная на юбилейном обеде в честь А. О. Гордона. СПб., 1881.

¹¹⁷ *Кулишер Михаил Игнатьевич* (1847—1919) — юрист, историк, общественный деятель, издатель, преподаватель Еврейского университета, сотрудник основных русско-еврейских периодических изданий, автор ряда работ по истории евреев, противник сионизма.

¹¹⁸ *Варшавский Марк Самойлович* (1853—1897) — юрист, публицист, поэт (выступал под псевдонимом Марк Самойлов), заместитель редактора журнала «Рассвет», общественный деятель.

¹¹⁹ *Фруг Семен Григорьевич* (1860—1916) — поэт, публицист. См. о нем: *Бродовский Г. А.* Поэт народных скорбей и надежд. Одесса, 1918; *Он же. С. Г. Фруг: Национальные мотивы его творчества.* Одесса, 1912. См. также: *Фруг С.* «Иудейская смоковница»: Воспоминания. Очерк. Фельетоны / Сост. и коммент. Н. Портновой. Иерусалим, 1995.

¹²⁰ *Игнатьев Николай Павлович* (1832—1908) — государственный деятель. В 1881—1882 г. министр внутренних дел, ввел в действие антисемитские «Временные правила», ограничившие права евреев на проживание на большей части России, вне черты оседлости.

¹²¹ *Лифшиц Григорий (Гершон бен Гершон)* — писатель, публицист, сотрудник «Восхода» и других еврейских изданий на русском языке, в 90-е гг. жил в Одессе, позднее стал предпринимателем, отошел от литературной деятельности.

¹²² *Ларин Юрий (Лурье Михаил (Иехизль-Михазль) Александрович (Залманович))* (1882—1932) — участник русского социал-демократического движения, до 1918 г. меньшевик, позднее член РКП(б), экономист, автор ряда книг и статей, в том числе «Евреи и антисемитизм в СССР» (М., 1929). Его отец Лурье Шнеур-Залман (у Дубнова — Соломон) (1851—1908) — казенный раввин в Киеве.

¹²³ *Кауфман Абрам Евсеньевич* (1855—1921) — публицист, в 80-е гг. секретарь редакции журнала «Русский еврей», позднее сотрудник русских либеральных газет и журналов, редактировал газету «Одесский листок», позднее жил в Петербурге. Автор воспоминаний «За кулисами печати (Отрывки воспоминаний старого журналиста)» (Исторический вестник. 1913. Т. 133. № 7; Голос минувшего. 1914. № 6; Еврейская старина. 1913. Т. 6. Вып. 2, 3).

¹²⁴ *Левинзон Исаак-Бер* (1788—1860) — публицист, поэт, основатель движения Гаскала в России. См. о нем: *Натанзон Б. А.* Исаак-Бер Левинзон, его жизнь и литературная деятельность. Варшава, 1897; *Цинберг С. А.* Исаак Бер Левинзон и его время. СПб., 1910.

¹²⁵ *«Альянс Израэлит»* (Всемирный еврейский союз) — первая современная (XIX в.) международная еврейская организация. Создана в 1860 г. в Париже для оказания помощи евреям во всем мире.

¹²⁶ *«Ам-Олам»* — в 80-е гг. XIX в. одна из первых организаций, созданных для содействия эмиграции евреев из России.

¹²⁷ *«Idisches Volksblatt»* («Еврейская народная газета») — еженедельник, выходивший в Петербурге с 1881 по 1890 гг. под редакцией А. Цедербаума.

¹²⁸ *«Кол-мебассер»* — журнал на языке идиш, выходивший в России в виде приложения к газете «Гамелиц» с 1864 по 1871 гг. под редакцией А. Цедербаума.

¹²⁹ *Менделе Мойхер-Сфорим (Абрамович Соломон Моисеевич)* (1836—1917) — писатель, служил учителем в еврейских школах. С 80-х гг. XIX в. жил в Одессе, основоположник еврейской литературы в России.

¹³⁰ *Готлобер Аврахам-Бер (Махалалель)* (1810—1899) — поэт, переводчик, публицист, общественный деятель, сторонник Гаскалы, преподавал в раввинских училищах, в том числе в Житомире, в конце жизни сторонник палестинофильства.

¹³¹ *Спектор Мордехай* (1858—1925) — писатель, издатель. В 1920 г. эмигрировал из России. Жил в США.

¹³² *Шолом-Алейхем (Шалом-Алейхем, Рабинович Шолом Нохумович)* (1859—1916) — классик еврейской литературы на языке идиш. См. о нем: *Ременик Г.* Шолом Алейхем. М., 1963; *Шолом-Алейхем — писатель и человек: Статьи и воспоминания.* М., 1984.

¹³³ *Смит Адам* (1723—1790) — английский философ и экономист. В данном случае имеется в виду его работа «Исследование свойств и причин богатства народов».

¹³⁴ *Рикардо Давид* (1772—1823) — экономист, принял крещение, один из крупнейших финансистов Великобритании, член Палаты Общин, автор ряда классических научных трудов.

¹³⁵ *Игнатевские губернские комиссии.* — В 1881 г. по предложению министра внутренних дел Н. П. Игнатьева были созданы губернские комиссии, призванные обосновать экономическую, социальную и политическую необходимость введения в стране нового антиеврейского законодательства.

¹³⁶ *Билу* — аббревиатура библейского стиха «Бейт Я'аков лху ве-нелха» («Дом Иакова! Вставайте и пойдем!»). Организация еврейской молодежи (билюйцы) в России, ставившая своей целью переселение евреев в Палестину. Возникла в 1882 г. Во главе стоял И. Бекина. Центр — Одесса. В Палестине основали несколько сельскохозяйственных поселений. См. об этом: *Хисин Е.* Дневник билюйца. Иерусалим, 1987.

¹³⁷ *Берне против Риссера* — имеется в виду полемика между евреями по происхождению поэтом и публицистом Людвигом Берне (см. коммент. 45) и немецким политическим деятелем Габриелем Риссером (1806—1863). Смысл полемики заключался в определении приоритета между национальным и общедемократическим в общественной борьбе.

¹³⁸ *Погром в Балте* — еврейский погром в г. Балте Подольской губернии, произошедший 29—30 марта 1882 г.

¹³⁹ *Гольдфаден Абрахам* (1840—1908) — актер и режиссер, организатор первых в России театральных трупп, игравших на идиш. В конце XIX в. эмигрировал в США. См. о нем: *Бивевич Е.* Еврейский театр в Одессе // *Вестник Еврейского ун-та в Москве.* 1994. № 3 (7).

¹⁴⁰ *«Временные правила 3 мая».* — В мае 1882 г. были утверждены рекомендованные губернскими комиссиями и специальным комитетом под председательством Готовцева «правила», значительно ограничивавшие права еврейского населения России.

¹⁴¹ *Миинский (Виленкин) Николай Максимович* (1855—1937) — поэт, публицист, в 80-е гг. сотрудник русско-еврейской периодической печати, позднее, приняв православие, полностью перешел в русскую литературу. После 1917 г. в эмиграции.

¹⁴² *Костомаров Николай Иванович* (1817—1885) — украинский историк, автор серии работ по истории Украины периода казачьих войн и погромов XVII—XVIII вв., в том числе очерка «Жидотрепание в начале XVIII в.» (Киевская старина. 1883), который вызвал широкую полемику.

¹⁴³ *Олифант Лоренс* (1829—1888) — шотландец, палестинофил, писатель, в 80-е гг. содействовал становлению первых еврейских поселений в Палестине.

¹⁴⁴ *Венгеров Семен Афанасьевич* (1855—1920) — литературовед, начинал литературную деятельность в русско-еврейской печати. Позднее принял православие и полностью перешел в русскую литературу. См. о нем: *Калентьева А. Г.* Влюбленный в литературу. М., 1964.

¹⁴⁵ *Венгерова Паулина Юлиевна* (1833—1916) — писательница, получила широкую известность своими «Мемуарами бабушки» (Берлин, 1908, на нем. яз.). Главы этой книги «Из далекого прошлого» см.: Книжки восхода. 1902. Т. 10—11.

¹⁴⁶ *Ландау Адольф Ефимович (Ахарон Хаимович)* (1842—1902) — публицист, издатель. В начале 70-х гг. XIX в. начал издавать «Еврейскую библиотеку», а с 1881 г. журнал «Восход» и «Недельную хронику Восхода». Первый крупный русско-еврейский книгоиздатель. См. о нем: *Ландау Г.* Воспоминания // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1993. № 2, 3.

¹⁴⁷ *Ватсон Эрнест Карлович* (1839—1891) — русский литератор, сотрудник русско-еврейского журнала «Восход», переводчик.

¹⁴⁸ *Тисса-Эсларское дело.* — В 1882 г. в Венгрии в городе Тисса-Эслар был возбужден ритуальный навет, обвинение в адрес евреев в убийстве христианской девочки. После долгого разбирательства, несмотря на антисемитскую агитацию, суд снял с обвиняемых евреев все подозрения.

¹⁴⁹ *Казане (Коган) Давид Исаакович* (1838—?) — историк, философ, автор серии работ по истории хасидизма, франкизма и историографии каббалистики.

¹⁵⁰ *Франк Яков* (1726—1791) — в 50-е гг. XVIII в. объявил себя мессией, основатель и глава сектантского направления (франкизм), действовал в основном в Польше.

¹⁵¹ *Гаркави Авраам Яковлевич* (1835—1919) — историк, филолог, автор многочисленных работ по истории и истории литературы евреев. Многолетний сотрудник Императорской Публичной библиотеки в Петербурге. Один из руководителей Петербургской общины.

¹⁵² *Леванда Лев Осипович* (1835—1888) — прозаик, публицист, окончил Виленское раввинское училище, долгие годы служил на должности «ученого еврея» при виленском генерал-губернаторе. Один из основоположников еврейской литературы на русском языке. См. о нем: *Маркиш Ш.* Стоит ли перечитывать Леванду? // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1995. № 3 (10); 1996. № 1 (11).

¹⁵³ *Родкинсон (Фрумкин) Михаил-Лев* (1845—1904) — писатель, автор серии книг о людях хасидизма, издавал периодические издания на идиш в Германии и США.

¹⁵⁴ *Фиркович Авраам бен Самуил* (1785—1874) — историк, коллекционер, караимский общественный деятель. Был заподозрен в фальсификации ряда древних рукописей. См. о нем: *Вихнович В. А.* Караим Авраам Фиркович: Еврейские рукописи. История. Путешествия. СПб., 1997.

¹⁵⁵ *Пинскер Симха* (1801—1864) — историк, основывал свои исследования на документах из коллекции Фирковича.

¹⁵⁶ *Бершадский Сергей Александрович* (1850—1896) — юрист, историк, один из первых русских исследователей истории евреев. Автор серии фундаментальных работ по истории евреев Польши и Литвы. См. о нем: *Браудо А. И. С. И.* Бершадский как историк русских евреев. СПб., 1896.

¹⁵⁷ *Градовский Александр Дмитриевич* (1841—1889) — профессор Государственного права в Петербургском университете, публицист.

¹⁵⁸ *Андреевский Иван Ефимович* (1831—1891) — юрист, профессор С.-Петербургского университета.

¹⁵⁹ *Фришман Давид Саулович* (1859—1922) — писатель, переводчик, редактор. В 1919 г. эмигрировал в Польшу.

¹⁶⁰ *Бозров Григорий Исаакович* (1825—1893) — писатель, автор романа «Записки еврея», один из первых еврейских писателей, писавших на русском языке. В конце жизни принял христианство. См. коммент. 54.

¹⁶¹ *Зак Абрам Исаакович* (1821—1893) — экономист, финансист, общественный деятель, с 1871 г. директор Петербургского учетного и ссудного банка, активный деятель петербургской еврейской общины.

¹⁶² *Лесков Николай Семенович* (1831—1895) — русский писатель, публицист, автор ряда произведений как художественных, так и публицистических, посвященных евреям и еврейскому вопросу в России (напр., «Евреи в России». Пг., 1919).

¹⁶³ *Ренан Эрнест-Жозеф* (1823—1892) — историк, автор трудов по истории евреев, философ. В 60—70-е гг. XIX в. большой популярностью пользовалась запрещенная в России и

изданная на русском языке (Дрезден, 1864—1865; Берлин, 1875) книга «Жизнь Иисуса». Легально эта книга была издана в России только в начале XX в.

¹⁶⁴ *Брафман Яков Александрович* (1825—1879) — публицист, в 50-е гг. принял православие, издал «Книгу Кагала» — сборник документов, ставший основой для русского антисемитизма. В 60-е гг. в Вильно был цензором еврейских книг. Позднее служил цензором в Петербурге. См.: «С глубоким почтением и совершенною преданностью...»: (Из истории «Книги Кагала») // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1996. № 4 (11).

¹⁶⁵ *Прилукер Эммануил Яков (Бен-Сион)* (1860—1935) — одесский учитель, в начале 80-х гг. выдвинул идею коренного реформирования иудаизма и слияния его с христианством. Его книга «Евреи-реформаторы. „Новый Израиль“ и духовно-библейское общество» (СПб., 1882) вызвала широкую полемику в прессе, в том числе статью С. Дубнова (Исторический вестник. 1882. № 12).

¹⁶⁶ *Нотович Осип Константинович* (1849—1912) — журналист, публицист, драматург, издатель. С 1876 г. редактор петербургской газеты «Новости».

¹⁶⁷ *Пинскер Асон (Лев Семенович, Йехуда-Лейб)* (1821—1891) — теоретик и лидер палеофилизма, общественный деятель, публицист, основатель движения «Ховевей Цион». В конце XIX—нач. XX в. в России многократно издавалась его работа «Автоэмансипация». См. о нем: *Ямпольский П. А.* Слово, произнесенное по поводу 10-летия со дня кончины д-ра А. С. Пинскера. Киев, 1902.

¹⁶⁸ *Вельгаузен Юлий* (1844—1918) — философ, востоковед, историк, автор ряда работ по древнееврейской истории и иудаизму.

¹⁶⁹ *Гарнак Адольф* (1851—1930) — протестантский теолог, философ, автор ряда книг по философии и истории религии, в том числе и иудаизма.

¹⁷⁰ *Оршанский Моисей Григорьевич* — публицист, младший брат И. Г. Оршанского. Выступал под псевдонимом М. О. Галеви. *Оршанский Илья Григорьевич* (1846—1875) — юрист, учился в Харьковском и Новороссийском университетах, автор серии исследований в области гражданского права. Как публицист активно участвовал в обсуждении различных сторон жизни евреев в России. См. о нем: *Моргулис М. Г.* И. Г. Оршанский и его литературная деятельность. СПб., 1901; *Ямпольский П. А.* Воспоминания о И. Г. Оршанском. Киев, 1911.

¹⁷¹ *Филлипсон Людвиг* (1811—1889) — общественный деятель, публицист.

¹⁷² *Шатифо Константин Александрович* (1840—1900) — поэт, писал на иврите, работал фотографом, принял христианство.

¹⁷³ *Надсон Семен Яковлевич* (1862—1887) — поэт, сын крещеного еврея. См. о нем: С. Я. Надсон: Сб. журн. и газ. ст., посвященных памяти поэта. СПб., 1887; *Царевский А. А.* С. Я. Надсон и его поэзия «мысли и печали». Казань, 1895.

¹⁷⁴ *Бакст Николай Исаакович* (1842—1904) — профессор, физиолог, публицист, общественный деятель.

¹⁷⁵ *Гинцбург Горащий Осипович (Нафтали Герц)* (1833—1909) — банкир, меценат, общественный деятель. С 1878 г. возглавлял Общество распространения просвещения среди евреев в России. См. о нем: *Слюзберг Г. Б.* Барон Г. О. Гинцбург: Его жизнь и деятельность. Париж, 1933; *Он же:* Барон Г. О.: Гинцбург и правовое положение евреев // Пережитое. Т. 2. СПб., 1909; *Клиер Дж. А.* Круг Гинцбургов и политика штатдланута в императорской России // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1995. № 3 (10).

¹⁷⁶ *Моргулис Михаил Григорьевич* (1837—1912) — публицист, юрист, общественный деятель. См. о нем: *Брамсон А. М.* Общественно-культурная деятельность М. Г. Моргулиса. СПб., 1912; *Памяти М. Г. Моргулиса:* Сб. статей. Одесса, 1914.

¹⁷⁷ *Гец Файвел (Меир-Файвел) Бенционович* (1850—1931) — публицист, в начале XX в. «ученый еврей» при попечителе Виленского учебного округа, автор серии публицистических очерков по еврейскому вопросу в России, корреспондент А. Н. Толстого.

¹⁷⁸ «Высшая комиссия по еврейскому вопросу» под руководством графа Палена. — В феврале 1883 г. была образована Высшая комиссия для пересмотра действующих о евреях в империи законов. С весны 1883 г. ее возглавил К. И. Пален. Комиссия просуществовала до мая 1888 г. и в силу того, что ее выводы о необходимости постепенной отмены антиеврейских законов вызвали недовольство Александра III, была ликвидирована.

¹⁷⁹ *Грегуар Анри Батист* (1750—1831) — французский общественный деятель, аббат, участник Великой Французской революции, член Национального собрания. Был активным сторонником полного равноправия евреев во Франции.

- ¹⁸⁰ *Тьер Адольф* (1797—1877) — французский общественный деятель и публицист, активный сторонник равноправия евреев во Франции.
- ¹⁸¹ *Розенберг Петр Львович* — писатель. Родился в Одессе, учился в Казанском университете, автор повести «Семья Кааадных». В 80-е гг. XIX в. жил в Петербурге, активно участвовал в жизни еврейской общины.
- ¹⁸² *Антонович Максим Алексеевич* (1835—1918) — публицист, критик.
- ¹⁸³ *Бильбасов Алексей Алексеевич* (1848—1904) — чиновник Министерства внутренних дел. В тексте опечатка, следует читать не В. Бильбасов, а А. Бильбасов.
- ¹⁸⁴ *Чернышевский Николай Григорьевич* (1828—1889) — критик, публицист, идеолог русского революционно-демократического движения.
- ¹⁸⁵ *Леванда Виталий Оситович* (1840—1913) — юрист, публицист, составитель справочника «Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев, от уложения царя Алексея Михайловича до настоящего времени, 1649—1873». СПб., 1874.
- ¹⁸⁶ *Слиозберг Генрих Борисович* (1863—1937) — юрист, общественный деятель, автор ряда очерков о юридическом положении евреев России. После 1917 г. в эмиграции. Автор мемуаров «Дела минувших дней» (Т. 1—3. Париж, 1933). См. о нем: *Хоровиц Б.* Генрих Слиозберг: Политический портрет // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1997. № 2 (15).
- ¹⁸⁷ *Драбкин Абрам Нотович* (1844—1917) — петербургский казенный раввин в 1876—1907 гг.
- ¹⁸⁸ *Ландау Иекутиель-Залман* (1821—1891) — духовный раввин Санкт-Петербурга в 1878—1891 гг.
- ¹⁸⁹ *Эмануили.* — Об этой петербургской еврейской семье, бывшей в родстве с Дубновыми, см. подробнее в книге С. Дубновой-Эрлих «Хлеб и маца» (СПб., 1994).
- ¹⁹⁰ *Тиктин Гавриил Андреевич* — в 80-е гг. XIX в. петербургский адвокат, меценат.
- ¹⁹¹ *Кузнен (Кюнен) Авраам* (1828—1891) — голландский историк и теолог.
- ¹⁹² *Классические тогда курсы Моля и Блюнчли* — имеются в виду: *Моль Р.* Энциклопедия государственных наук. СПб., 1868; *Блюнчли И. К.* История общего государственного права и политики от XVI в. по настоящее время. СПб., 1874.
- ¹⁹³ *Шлоссер Фридрих Кристоф* (1776—1861) — историк. В 70—80-е гг. XIX в. в России была опубликована его «Всемирная история» (Т. 1—8. СПб., 1868—1877) и другие труды.
- ¹⁹⁴ «История философии» *Льюиса* — имеется в виду труд Дж. Г. Льюиса «История философии от начала ее в Греции до настоящих времен» (СПб., 1865—1867).
- ¹⁹⁵ «История новой философии» *Купо Фишера* — имеется в виду 4-томное издание, вышедшее в Петербурге в 1862—1865 гг.
- ¹⁹⁶ *Леббок Джон* (1834—1913) — английский философ, историк. В 70—80-е гг. XIX в. в России были изданы его работы: «Доисторические времена» (М., 1876); «Начало цивилизации» (СПб., 1876) и др.
- ¹⁹⁷ *Зайчик Рувим (Роберт)* (1867—1965) — историк литературы, критик, публицист. Родился в России, после окончания гимназии эмигрировал в Германию, позднее жил и преподавал в Швейцарии. В России в 1906 г. была издана его книга «Люди и искусство итальянского Возрождения» (СПб., 1906). Принял католичество.
- ¹⁹⁸ *Белкинд Израэль* (1861—1929) — один из основателей движения билуйцев. В 1882 г. уехал из России в Эрец-Исраэль, автор работ по географии Палестины.
- ¹⁹⁹ *Леонтьев Константин Николаевич* (1831—1891) — философ, публицист, автор теории особого исторического пути России и ее вечного противостояния Западу.
- ²⁰⁰ *Гораций Гинцбург был всееврейским «штадланом» перед русским правительством.* — Г. Гинцбург, имевший обширные связи в правящих кругах, выступал в качестве «штадлана», т. е. ходатая перед царем, отстаивая права своего народа.
- ²⁰¹ *Левин Эммануил Борисович* (1820—1913) — активный деятель Гаскалы в России, публицист, секретарь Общества распространения просвещения среди евреев в России, специалист в области еврейского законодательства в России, один из ближайших сотрудников барона Г. Гинцбурга.
- ²⁰² «*Фолксблат*» — газета, издававшаяся на идиш. Выходила в Петербурге в 80-е гг.
- ²⁰³ «*Гаиом*» — первая еженедельная газета на иврите, выходившая в Петербурге с 1886 по 1888 г. под редакцией А. Кантора.

²⁰⁴ *Грузенберг Самуил Осипович* (1854—1909) — врач по образованию, публицист, работал в «Восходе». С 1900 по 1904 гг. редактор газеты «Будущность». Его переписка с С. М. Дубновым опубликована в «Еврейской старине» (1914. Т. 3; 1915. Т. 4).

²⁰⁵ *Гартман Эдуард* (1842—1905) — немецкий философ, противник предоставления евреям равных гражданских прав.

²⁰⁶ *Соколов Нахман (Нахум)* (1859—1936) — деятель сионистского движения, публицист, делегат сионистских конгрессов, член исполкома этого движения.

²⁰⁷ *Самуэли Натан* (1846—1920) — писатель, жил в Галиции, автор повестей и рассказов из жизни евреев в Австро-Венгрии.

²⁰⁸ *Гайдебуров Павел Александрович* (1841—1893) — издатель, редактор, долгие годы выпускал журнал «Неделя», публицист народнического направления.

²⁰⁹ *Рабинович Иосиф* (1837—1899) — проповедник иудео-христианства, позднее перешел в протестантизм.

²¹⁰ *Кондорсе Мари-Жан Антуан* (1743—1794) — французский философ. В России был издан его труд «Жизнь Вольтера» (СПб., 1882), в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Е. В. Литвинова «Кондорсе, его жизнь и деятельность, научная и политическая» (СПб., 1894).

²¹¹ *Роми Иммануил (Иммануил Римский)* (1270—1330) — выдающийся средневековый еврейский поэт, ученый-энциклопедист, жил в Италии.

²¹² *Арсеньев Константин Константинович* (1837—1919) — публицист, общественный деятель, с 70-х гг. XIX в. до 1918 г. работал в журнале «Вестник Европы», видный деятель либеральной оппозиции, сторонник равноправия евреев в России.

²¹³ *Вольнский Аким (Флексер Хаим Львович)* (1863—1926) — критик, литературовед, искусствовед, свою литературную деятельность начинал в русско-еврейской периодической печати. В 90-е гг. полностью переходит в русскую литературу. См. о нем: Памяти Акима Львовича Вольнского. Л., 1928.

²¹⁴ *Джордж Элиот (Мария Анен Эванс)* (1820—1880) — английская писательница, автор многочисленных романов. В ряде ее произведений (напр., «Даниэль Деронда») героями были евреи.

²¹⁵ *Момзен Теодор* (1817—1903) — немецкий историк, автор популярной «Истории Рима». Как публицист активно участвовал в борьбе за гражданские права евреев.

²¹⁶ *Бен-Ами Мордехай (Марк Яковлевич Рабинович)* (1854—1932) — писатель, учился в Новороссийском университете, сторонник Гаскалы, во время погромов 1881—1882 гг. — организатор самообороны в Одессе, сторонник сионистского движения. С 1923 г. в Эрец-Исраэль. См. о нем: Бухбиндер Н. А. Литературные этюды. Л., 1927; Салман Л. Жизнь и творчество Бен-Ами // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1994. № 3 (7).

²¹⁷ *Француз Карл-Эмиль* (1848—1904) — писатель, журналист. Жил в Австро-Венгрии, автор книг о жизни евреев Австро-Венгрии и Италии.

²¹⁸ *Альберти Конрад (Зитенфельд)* (1862—1925) — писатель, драматург, публицист, автор ряда работ о евреях и еврейском вопросе в Германии, в том числе книги о Людвиге Берне (1886 г.).

²¹⁹ *Кармелес Густав* (1848—1909) — историк литературы, автор работ о Г. Гейне, Л. Берне, автор одного из первых обобщающих трудов по истории еврейской литературы («История еврейской литературы»). СПб., 1887—1889.

²²⁰ *Грессер Павел Аполлонович* (1833—1892) — генерал-лейтенант, градоначальник Петербурга с 1882 г.

²²¹ *Ванель (Вайнель) Гириш Пинхусович* (1846—?) — в 70-е гг. XIX в. входил в кружок революционной молодежи в Вильно. Арестован в 1876 г. и сослан сначала в Архангельскую губернию, затем в Самарскую и Астраханскую губернии. В 80—90-е гг. жил в Вильно, журналист, корреспондент «Восхода».

²²² *Чацкий Тадеуш* (1765—1813) — польский историк и государственный деятель, автор работы «Рассуждения о евреях и караимах».

²²³ *Гумплович Людвиг* (1838—1909) — социолог, историк, автор серии работ по истории еврейского законодательства и истории евреев Польши.

²²⁴ *Аксаков Иван Сергеевич* (1823—1886) — публицист, сторонник славянофильства, один из идеологов русского антисемитизма.

²²⁵ *Луццатто Моисей (Моше-Хаим)* (1707—1747) — философ, поэт, выдающийся деятель еврейской культуры в Италии, оказал глубокое влияние на мировую еврейскую культуру. См. о нем: *Базилевский М. И.* Моисей Хаим Луццатто. Его жизнь и научная деятельность. Тирасполь, 1902.

²²⁶ *Бешт Исраэль (Исраэль бен Элиезер Ба'Ал-Шем-Тов)* (1698—1760) — философ и религиозный реформатор, основатель хасидизма.

²²⁷ *«Гаасиф»* — ежегодник, издававшийся в Варшаве в 1884—1888 гг. и 1893 г. под редакцией Н. Соколова.

²²⁸ *«Книсет Исраэль»* — ежегодник, основанный в 1886 г. и выходивший до 1888 г. в Варшаве. Основная тематика публикаций — палестинофильство. Редактор С. П. Рабинович.

²²⁹ *Рабинович-Шефер Саул-Пинхас* (1845—1910) — историк, общественный деятель, публицист. Один из руководителей «Ховевей Цион». Жил в Вильно, Варшаве, Одессе. После 1905 г. переехал в Германию.

²³⁰ *Бернфельд Симон (Шимон)* (1860—1940) — историк, публицист. С 1886 г. раввин сфардской общины Сербии. С 1894 г. жил в Германии.

²³¹ *Явиц Зеев-Вольф* (1847—1920) — писатель, публицист, историк, общественный деятель. В конце XIX—нач. XX в. создатель и руководитель в России сионистско-религиозной организации «Мизрахи».

²³² *Перец (Перец) Ицхак-Лейбуш* (1851—1915) — писатель, один из основоположников литературы на идиш.

²³³ *Шомер (Шайкевич) Нахум-Меир* (1849—1906) — писатель, писал на идиш, пользовался широкой популярностью в народных кругах. В 1889 г. эмигрировал в США.

²³⁴ *Житловский Хаим* (1865—1943) — философ, публицист, политический деятель, участник русского освободительного движения 80—90-х гг. XIX в., с конца 80-х гг. — один из идеологов еврейского социалистического движения, автономист, противник сионистского движения. С 1908 г. жил в США и издавал газеты и журналы на идиш. Основные политические воззрения изложил в работах «Еврей к евреям» (Лондон, 1892) и «Мысли об исторических судьбах еврейства» (Одесса, 1903).

²³⁵ *Мандельштам Макс-Эммануил* (1839—1912) — известный врач-окулист, активный деятель сионистского движения в России, участник сионистских конгрессов. См. о нем: Памяти Макса Емельяновича Мандельштама. Киев, 1912.

²³⁶ *Калмансон Моисей*. — Возможно, имеется в виду *Калмансон Х. М.*, автор брошюры «Голос еврея. Действительное решение еврейского вопроса» (Киев, 1905) и «Земля и народ» (Киев, 1906).

²³⁷ *Фридберг Авраам-Шалом* (1838—1902) — деятель Гаскалы в России, писатель, общественный деятель.

²³⁸ *Усышкин Михаил Моисеевич* (1863—1941) — один из руководителей сионистского движения в России в конце XIX—нач. XX в., с 1903 по 1919 гг. жил в Одессе. С 1919 г. в Эрец-Исраэль.

²³⁹ *Членов Ехиель Вульфович (Ефим Владимирович)* (1863—1918) — врач, один из руководителей сионистского движения в России, публицист. См. о нем: Памяти Е. В. Членова. М., 1918.

²⁴⁰ *«Игнорабимус» Дюбуа-Реймона* — видимо, имеется в виду работа Э. Дюбуа-Реймона «О пределах познания природы» (М., 1878).

²⁴¹ *Дубнова Софья (в замужестве Эрлих)* (1885—1986) — поэт, общественный деятель, дочь С. М. Дубнова, жена одного из руководителей Бунда, Г. Эрлиха. После эмиграции из СССР жила в Польше и США. Автор книги об отце (С. М. Дубнов: Жизнь и творчество» (Нью-Йорк, 1977) и мемуаров «Хлеб и маца» (СПб., 1995).

²⁴² *Фридлянд Лев (Моше-Арне-Асйб)* (1826—1899) — купец, меценат, владелец крупнейшего петербургского еврейского книжного и рукописного собрания.

²⁴³ *Винер Самуил Еремеевич (Иерухович)* (1860—1929) — историк еврейской культуры, специалист в области еврейских рукописей и старопечатной книги.

²⁴⁴ *Гинцбург Давид Горацевич* (1857—1910) — предприниматель, востоковед, продолжал семейные традиции штадланута. О письмах С. Дубнова к Д. Гинцбургу см.: *Кельнер В. Е.* Из научной биографии Шимона Дубнова // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры в собраниях и архивах ГПБ. История России XIX—XX вв. Л., 1991.

²⁴⁵ *Межеричер Бер* — Бер-Дов из Межерича (1710—1772) — философ, выдающийся теоретик и пропагандист хасидизма, возглавил это движение после смерти Бешта в 1760 г.

²⁴⁶ *Козен Яков-Иосиф* (ум. 1782 г.) — один из первых проповедников хасидизма XVIII в., ученик и сподвижник Бешта.

²⁴⁷ *Мордовцев Даниил Лукич* (1830—1905) — писатель, автор серии исторических романов, в том числе и из истории евреев («Между молотом и наковальней»).

²⁴⁸ *Вайнштейн Григорий Эммануилович* (1861—?) — предприниматель, владелец крупных предприятий в Одессе, в 80-е гг. XIX в. председатель Одесского отделения Общества просвещения среди евреев. С 1915 г. член Государственного Совета.

²⁴⁹ *Герцль Теодор (Беньямин Зеев)* (1860—1904) — юрист по образованию, публицист, общественный деятель, основатель движения политического сионизма. В начале XX в. его труд «Еврейское государство» многократно издавался в России. В 1903 г. он сам посетил Россию, где имел встречи с общественными и государственными деятелями.

²⁵⁰ *Напевал я свои любимые строфы из Некрасова.* — Далее следует неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Что ни год — уменьшаются силы...».

²⁵¹ *Гуревич Любовь Яковлевна* (1866—1940) — литератор, издатель, общественный деятель, основатель и руководитель журнала «Северный вестник». Дочь Якова Григорьевича Гуревича (1843—1906), педагога, издателя, историка, основателя и руководителя частной гимназии в Петербурге, преподавателя Петербургского университета.

²⁵² *Михайловский Николай Константинович* (1842—1904) — философ, публицист, идеолог русского народничества.

²⁵³ *Астрюх Эли-Аристид* (1831—1905) — религиозный деятель, писатель, публицист. В 1865 г. избран главным раввином Франции, а в 1866 г. одновременно и Бельгии. Был одним из основателей «Альянс Израэлит».

²⁵⁴ *Франк Адольф (Яков)* (1809—1893) — философ, исследователь каббалы, общественный деятель, преподавал философию в Сорбонне и других учебных заведениях Франции, президент «Альянс Израэлит» в 60—80-е гг. XIX в.

²⁵⁵ *Дарместетер Джеймс* (1849—1894) — философ, востоковед, профессор ряда учебных заведений Франции.

²⁵⁶ *Каро Иосиф бен Эфраим* (1488—1575) — философ, крупнейший талмудист средневековья, жил в Португалии, а после изгнания — в Турции, позднее переехал в Эрец-Исраэль. Автор книги «Шулхан Арух», ставшей фактически кодексом еврейской жизни.

²⁵⁷ *«Бней-Моше» («Сыны Моисея»)* — организация, созданная Ахад-Гаамом в 1889 г. по образцу масонских лож. Цель ее создателей — духовное возрождение еврейского народа и возвращение в Эрец-Исраэль. Существовала до 1897 г. и была ликвидирована с началом деятельности сионистского движения.

²⁵⁸ *«Ховевей Цион» («Друзья Циона»)* — организация, поставившая целью поддержку колонизации Эрец-Исраэль, возникла в 70-е гг. XIX в. В 90-е гг. XIX в. вошла в состав сионистского движения.

²⁵⁹ *Равницкий Иешуа-Хона* (1859—1944) — педагог, публицист, общественный деятель, издатель. В 1920 г. уехал в Эрец-Исраэль.

²⁶⁰ *Бердичевский Миха-Иосеф* (1865—1921) — писатель, философ. В 1890 г. эмигрировал в Германию.

²⁶¹ *Крестовский Всеволод Владимирович* (1839—1895) — писатель, автор исторических и авантурных романов, в том числе и антисемитских («Тьма египетская», «Тамара Бендавид»).

²⁶² *Историческое общество* — имеется в виду Еврейское Историко-этнографическое общество, которое было основано первоначально в виде комиссии при Обществе распространения просвещения среди евреев, самостоятельно существовало с 1908 г. и прекратило свою деятельность в конце 20-х гг.

²⁶³ *Указ Александра III об изгнании тысяч еврейских ремесленников и торговцев из Москвы* — акция, осуществленная в 1891—1892 гг. генерал-губернатором Москвы вел. кн. Сергеем Владимировичем. В ходе ее из города было изгнано несколько тысяч человек. См. об этом: *Вермель С. С.* Московское изгнание. М., 1924.

²⁶⁴ *Абрамович Меир (Михаил Соломонович)* (1859—1940) — поэт, сын писателя Менделя Мойхер-Сфорима, участвовал в революционном движении. После 1917 г. в эмиграции.

²⁶⁵ *Гирш Морис* (1831—1896) — финансист, филантроп, основатель Еврейского колониационного общества (1891 г.). Выступил за эмиграцию евреев из России и частично осуществил ее организацию в 90-е гг. XIX в., в основном в Аргентине.

²⁶⁶ *Уайт Арнольд* — английский общественный деятель, представитель барона Гирша в России в 90-е гг. XIX в., один из организаторов еврейской эмиграции; позднее антисемит, информатор русского правительства.

²⁶⁷ *Винавер Максим Моисеевич* (1862—1926) — юрист, политический деятель, один из основателей и руководителей Конституционно-демократической партии, депутат I Государственной Думы, входил в ряд еврейских общественных организаций. Автор мемуаров. См. о нем: М. М. Винавер и русская общественность начала XX в. Париж, 1937; *Капитайкин Э.* Максим Винавер // Евреи в культуре русского зарубежья. Вып. 2. Иерусалим, 1993.

²⁶⁸ *Берман Василий Лазаревич* (1863—1896) — поэт, общественный деятель, сторонник палестинфильского движения, один из создателей Историко-этнографической комиссии.

²⁶⁹ *Брамсон Леонтий Моисеевич* (1860—1941) — юрист, общественный деятель, публицист, входил в ряд еврейских организаций. Депутат I Государственной Думы. После 1917 г. в эмиграции. См. о нем: Жизнь и деятельность Л. М. Брамсона // Еврейский мир. Сб. 2. Нью-Йорк, 1944.

²⁷⁰ *Бруцкус Юлий Давидович* (1870—1951) — социолог, историк, деятель сионистского движения, сотрудник «Восхода», «Еврейской жизни», «Рассвета». С 1921 г. министр по еврейским делам правительства Литвы. Позднее жил в Германии, Франции, США. Умер в Израиле.

²⁷¹ *Бертенсон Алексей (Иосиф) Васильевич* (1833—1895) — врач, принял лютеранство, с 1865 г. редактор журнала «Архив судебной медицины и общественной гигиены», руководитель Рождественской больницы в Петербурге, врачебный инспектор Петербурга.

²⁷² *Гранов Владимир Киселевич* — адвокат, член руководства Одесского отделения Общества распространения просвещения среди евреев.

²⁷³ *Гиммельфарб Григорий Ильич* — одесский врач, в начале XX в. входил в руководство Одесского отделения Общества распространения просвещения среди евреев и Общества вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине.

²⁷⁴ *Модена Абталион бен Мордехай* (1529—1611) — итальянский философ, общественный деятель.

²⁷⁵ *Блюменфельд Герман Фадеевич* (1826—1896) — юрист, ученый, общественный деятель.

²⁷⁶ *Цунц Иом-Тов-Липман* (1794—1866) — ученый-энциклопедист, историк, философ, общественный деятель, один из деятелей Гаскалы в Германии.

²⁷⁷ *Зингер Исидор (Исраэль)* (1893—1944) — писатель, публицист, жил в Австрии, Польше, на Украине. С 1933 г. — в США.

²⁷⁸ *Жвиф Моисей Мордкович* — одесский педагог, деятель российской Гаскалы, преподавал в Одесском общественном еврейском народном училище.

²⁷⁹ *Михельсон* — одесский врач и общественный деятель.

²⁸⁰ *Хазанович Иосиф Аронович* (1844—1919) — врач, окончил Кенигсбергский университет, общественный деятель в Белостоке, коллекционер, библиограф, позднее жил в Эрец-Исраэль и участвовал в создании Еврейской национальной библиотеки в Иерусаиме, участником сионистских конгрессов. Умер в Екатеринославе на Украине.

²⁸¹ *Шифрины* — братья Гирш и Давид, одесские предприниматели.

²⁸² *Немировский Эммануил Яковлевич* (1874—1934) — адвокат, член Партии кадетов, преподавал в Новороссийском университете, автор работ по уголовному праву.

²⁸³ *Бек Самуил* (1834—?) — историк, раввин, преподавал религиозные предметы и историю в гимназиях, автор учебника по истории евреев.

²⁸⁴ *Шульман Лазарь* (1837—1903) — писатель, историк литературы и культуры, жил в Киеве.

²⁸⁵ *Бродские* — Израиль (1823—1888), Лазарь (1848—1904), семья киевских предпринимателей-сахарозаводчиков, меценатов, значительные средства тратили на благотворительность. См.: Лазарь Израилевич Бродский. Киев, 1905; *Шолом-Алейхем.* Лазарь Израилевич Бродский как человек и общественный деятель. Варшава, 1905.

²⁸⁶ *Случевский Константин Константинович* (1837—1904) — поэт, редактор «Правительственного вестника».

²⁸⁷ *Муравьев Михаил Николаевич* (1796—1866) — государственный деятель, один из руководителей подавления польского национально-освободительного движения в 60-е гг. XIX в.

²⁸⁸ *Я решил соединить оба текста, Бека и Бранна. — Бек С.* — см. коммент. 283. *Бранн Маркус (Мордехай)* (1849—1920) — историк, преподавал историю евреев в учебных заведениях Германии. С. М. Дубнов, объединив их учебники и переработав, выпустил в свет под названием «Еврейская история от конца библейского периода до настоящего времени» (Одесса, 1896).

²⁸⁹ *Бейленсон (Белинсон) Моисей-Элизер* (1835—1905) — историк, генеалог, издатель, владел одной из крупнейших в Одессе типографий (с 1897 по 1905 гг. совместно с Р. М. Исаковичем).

²⁹⁰ *Высоцкий Калонимос-Зеев* (1824—1904) — московский предприниматель, меценат, сторонник палестинофильского движения, владелец крупнейшей в России чайной фирмы, поддерживал связи с Ахад-Гаамом, который был представителем его фирмы, находился в родственных и дружеских связях с деятелями Партии социалистов-революционеров: братьями Гоц, И. Фундаминским, Гавронскими.

²⁹¹ *Айзенштадт Моисей Григорьевич* (1869—1943) — петербургский общественный раввин в 1911—1923 гг. Преподаватель Петроградского Еврейского университета. После 1917 г. в эмиграции. Умер в США.

²⁹² *«Гашилоах»* — журнал под редакцией Ахад-Гаама, начал выходить в Берлине в 1896 г. Позднее печатался в Кракове под редакцией И. Клаузнера. В 1907 г. его издание было перенесено в Одессу. Печатался на иврите, был органом «духовного сионизма». Выход в свет прекратился в 1910 г.

²⁹³ *Краусгар Александр* (1843—1931) — юрист по образованию, поэт, автор ряда работ по истории польского еврейства.

²⁹⁴ *Галеви Иегуда (Иехуда Ха-Леви)* (1080—1145) — философ, поэт, один из основоположников еврейской литературы в Испании. См. о нем: *Базилевский М. И.* Иегуда Галеви (Абулгасан): Его жизнь и деятельность. Одесса, 1894; *Гаркави А. Я.* Иегуда Галеви. СПб., 1896.

²⁹⁵ *Феррер Виченте* (1350—1419) — католический проповедник, один из сторонников насильственного крещения евреев и изгнания их из Испании.

²⁹⁶ *Гус Ян* (1371—1415) — философ, религиозный деятель, идеолог реформации в Чехии.

²⁹⁷ *Нашумевский «Юденштадт» Герцля* — имеется в виду книга основателя политического сионизма Т. Герцля «Еврейское государство». Впервые отдельным изданием на русском языке эта книга вышла в свет в 1896 г.

²⁹⁸ *Шейнкн Менахем* (1871—1921) — общественный деятель, активный участник сионистского движения. Окончил Новороссийский университет в 1898 г., один из создателей «Бней Цион», руководил сионистской организацией Одессы, делегат ряда сионистских конгрессов, публицист. Позднее жил в Эрец-Исраэль и США.

²⁹⁹ *«Керен Гаיעсод»* — основанная в 1920 г. финансовая организация Всемирного сионистского конгресса.

³⁰⁰ *Бунд* — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России — социал-демократическая организация, созданная в 1897 г. Существовал на территории России до 1920 г. Затем последовал раскол, и правое крыло было ликвидировано, а левое вошло в состав РКП(б). В Польше Бунд существовал до 1948 г.

³⁰¹ *Бадег Гершон* (1868—1953) — один из создателей и руководителей сионистского движения в Галиции и Польше, публицист, издатель. С 1912 г. в США.

³⁰² *«Ди Вельт»* — еженедельник, издававшийся Всемирной сионистской организацией, основан Т. Герцлем в Вене в 1897 г.

³⁰³ *Зильбербуш Давид-Исайя* (1854—1936) — писатель, издатель, публицист, еврейский общественный деятель в Галиции. С 1934 г. в Эрец-Исраэль.

³⁰⁴ *Штейн Людвиг* (1859—1930) — философ, еврейский общественный деятель, профессор университетов Германии и Швейцарии.

³⁰⁵ *Ферстер Фридрих Вильгельм* (1869—1966) — философ, преподавал в университетах Швейцарии и Германии, деятель пацифистского движения.

³⁰⁶ *Фарбштейн Давид-Цви* (1868—1953) — политический и общественный деятель, сторонник левого, социалистического крыла сионистского движения. делегат ряда сионист-

ских конгрессов. После первой мировой войны возглавлял филиал «Керен Гайесод» в Швейцарии.

³⁰⁷ *Белковский Гирш* (1865—1948) — один из основателей и руководителей сионистского движения в России в конце XIX—нач. XX в., делегат конгрессов, член исполкома Всемирной сионистской организации. В 1919—1924 гг. один из руководителей сионистского подпольного движения в Советской России. В 1924 г. арестован и затем выслан из СССР. Жил в Эрец-Исраэль.

³⁰⁸ *Митридатово искусство*. — Понтийский царь Митридат, опасаясь быть отравленным, постоянно принимал яд в малых дозах, причув таким образом свой организм к смертельным для других дозам.

³⁰⁹ *«Semper idem»* — «Всегда тот же» (лат.).

³¹⁰ *Сахер Яков Львович* (1862—1918) — публицист, одесский общественный деятель, в конце XIX в. секретарь Одесского отделения Еврейского Историко-этнографического общества, позднее жил в Петербурге, редактор журнала «Северные записки».

³¹¹ *Лозинский М. (Хаим-Моше)* (1873—1903) — участник сионистского движения на Украине, публицист, корреспондент Дубнова. См.: В спорах о главном: Письма С. Дубнову // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1997. № 3 (15).

³¹² *Гордон Ахарон-Давид* (1856—1922) — теоретик и руководитель левого халуцианского движения в сионизме. С 1904 г. в Эрец-Исраэль, где был инициатором создания ряда сельскохозяйственных поселений.

³¹³ *Левинский Эльханан-Лейб* (1858—1910) — одесский журналист, сотрудник журналов «Гашилоах» и «Гамелиц», сионистский деятель, член «Ховевей Цион» и «Бней-Моше», участвовал в создании издательства «Мория». В 1910 г. основал первую в Одессе газету на идиш «Гут морген».

³¹⁴ *Любарский Авраам-Эли* — деятель еврейского национального движения в Одессе в начале XX в.

³¹⁵ *Дизенгоф Меир* (1861—1936) — активный деятель сионистского движения в Одессе, позднее мэр Тель-Авива.

³¹⁶ *Дружнов Аятер* (1870—1930) — учился в воложинской иешиве, журналист, деятель сионистского движения. В 1909—1914 гг. редактор журнала «Га-олам». Позднее в Эрец-Исраэль.

³¹⁷ *Черновиц Хаим* (1870—1949) — исследователь Талмуда, публицист, писал под псевдонимом Рав Цаир, в начале XX в. духовный раввин в Одессе, позднее жил в Швейцарии и Германии. С 1923 г. в США.

³¹⁸ *Ландесман Яков Ушерович* (1875—1934) — одесский врач, общественный деятель.

³¹⁹ *Шапиро Соломон Борисович* — юрист, еврейский общественный деятель в Одессе в начале XX в. С начала 30-х гг. в Эрец-Исраэль.

³²⁰ *Тэтер (Тенер) Нисон (Николай) Калман (Коля)* (1879—?) — публицист, общественный деятель. В конце XIX в. — сионист. Позднее член Бунда. В эмиграции в Германии, США. С 1917 г. в России, анархист. В 20-е гг. переводчик на идиш произведений русских писателей.

³²¹ *Фридендер Израиль* (1876—1920) — историк, переводчик и издатель произведений С. Дубнова в Германии в начале XX в., позднее профессор Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. В 1920 г. приехал в Россию для оказания помощи еврейскому населению Украины как представитель «Джойнта». Убит в Подолии бандами в 1920 г.

³²² *Лацариус Мориц (Моше)* (1824—1903) — философ, историк, окончил Берлинский университет, профессор, автор серии работ по психологии и иудаизму, в том числе книги «Этика иудаизма» (Одесса, 1903). Долгие годы был членом совета еврейской общины Берлина.

³²³ *Гремело дело Дрейфуса—Золя*. — В 1894 г. во Франции по обвинению в шпионаже был арестован офицер французской армии еврей Альфред Дрейфус (1859—1935). Этот арест послужил поводом для начала широкой антисемитской кампании. В защиту Дрейфуса выступил писатель Эмиль Золя, который был также отдан под суд за «оскорбление армии и суда». Процесс Дрейфуса длился с перерывами до 1906 г., когда обвиняемый был оправдан. Процесс вызвал широкий общественный резонанс во всем мире. Среди обширной литературы об этом см.: *Дрейфус А. Пять лет моей жизни*. М., 1901; *Дело Дрейфуса: Пересмотр процесса: Речи* (М., 1899); *Прайсман Л. Дело Дрейфуса*. Таллинн, 1992.

³²⁴ *Брук Григорий (Цви, Гирш) Яковлевич* (1869—1922) — один из руководителей сионистской организации в России, депутат сионистских конгрессов, по образованию врач. В 1901—1906 гг. — общественный раввин Витебска. Редактор газеты «Витебская жизнь». В 1905 г. избран в I Государственную Думу от Конституционно-демократической партии. С 1920 г. в Эрец-Исраэль.

³²⁵ *Торхведада* (1388—1468) — испанский религиозный деятель, «великий инквизитор», один из инициаторов и организаторов изгнания евреев из Испании.

³²⁶ *Соловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900) — философ, поэт. автор ряда работ по еврейскому вопросу. См. о нем: *Гец Ф.* Об отношении Вл. Соловьева к еврейскому вопросу. СПб., 1906; *Лосев А. Ф.* Вл. Соловьев. М., 1983.

³²⁷ *Риссер Габриель* (1806—1863) — юрист, философ, общественный деятель, сторонник эмансипации евреев Германии.

³²⁸ *Гейзер Аврахам* (1810—1874) — философ, раввин, автор работ по философии иудаизма, один из лидеров реформаторского движения в иудаизме, возглавлял Высшую школу иудаистики в Берлине.

³²⁹ *Нордау Макс (Зюдфельд Симха-Меир)* (1849—1923) — философ, писатель, деятель сионистского движения. Его политические работы многократно издавались в России, напр.: «Избранные речи и статьи» (Вильна, 1909); «Речи» (Киев, 1903) и др. Художественные произведения вошли в дважды выпускавшиеся (в 1902—1903 гг. в Киеве и в 1913 г. в Москве) «Собрания сочинений».

³³⁰ *Браудо Александр Исаевич* (1864—1924) — историк, общественный деятель, участник еврейского национального движения, после 1917 г. вице-директор Публичной библиотеки в Петрограде. См. о нем: А. И. Браудо. Воспоминания. Париж, 1936; *Кельнер В. Е.* А. И. Браудо и борьба с антисемитизмом в России // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1993. № 2; *Андреев Д. А.* И. Браудо: Штрихи к политическому портрету // Там же. 1994. № 1 (5).

³³¹ *Гинзбург Саул (Шаул) Моисеевич* (1866—1940) — историк евреев России. В 1930 г. эмигрировал во Францию, где участвовал в деятельности Объединения русско-еврейской интеллигенции. С 1933 г. жил в США. Автор мемуаров, вышедших в США на идиш.

³³² «*Будущность*» — еврейское периодическое издание, выходившее на русском языке в 1900—1904 гг. под редакцией С. О. Грузенберга.

³³³ *Каценельсон Лев Израилевич* (1846—1917) — врач, историк еврейской литературы, публицист (писал под псевдонимом Буки бен Иогли), редактор «Еврейской энциклопедии», ректор Петербургских курсов востоковедения.

³³⁴ *Грузенберг Оскар Оскарович* (1865—1940) — адвокат, общественный деятель. С 1919 г. в эмиграции в Германии, Латвии, Франции. В 20—30-е гг. был близок к сионистскому движению. Автор мемуаров «Вчера». Париж, 1938. См. также: Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1994—1995. № 6, 7.

³³⁵ *Бикерман Иосиф Менахасевич* (1867—1945) — общественный деятель, публицист, один из руководителей Еврейской демократической группы. После 1917 г. в эмиграции в Германии. Один из руководителей Отечественного объединения русских евреев за границей, автор и издатель сборника «Россия и евреи» (Берлин, 1924). Автор мемуаров, см.: Воспоминания // Возрождение. Париж. 1951. № 18, 19; 1964. 153, 154. См. коммент. 783.

³³⁶ *Сев Леопольд Александрович* (1867—1922) — публицист, общественный деятель, редактор журнала «Восход» после ухода из него А. Ландау, получил философское образование в Германии.

³³⁷ *Сыржин Максим (Нахман) Григорьевич* (1868—1924) — публицист, активный деятель сионистского движения, редактировал с 1899 по 1906 гг. «Восход», позднее, с 1910 г., «Новый Восход», делегат ряда сионистских конгрессов, член исполкома Всемирной сионистской организации и ЦК Российской сионистской организации. Умер в США.

³³⁸ *Горнфельд Аркадий Георгиевич* (1867—1941) — критик, переводчик, начинал свою деятельность в русско-еврейской журналистике, позднее заведовал отделом критики в журнале «Русское богатство». Автор ряда статей в «Еврейской энциклопедии» и в русско-еврейской периодике.

³³⁹ *Гольдштейн Сальвиний Маврикович* (1855—1926) — историк, специалист по источниковедению истории евреев России, Польши и Литвы, профессор Петербургского Археологического института. Позднее преподавал в Еврейском университете в Петрограде.

³⁴⁰ *Тривус Моисей Львович* (1882—1955) — юрист, историк, публицист (печатался под псевдонимом Шми), член Еврейской народной группы, после 1917 г. на государственной службе.

³⁴¹ *Тувим Исаак Иосифович* — один из создателей Еврейского Историко-этнографического общества, врач, в конце XIX—нач. XX в. работал в больницах Петербурга.

³⁴² *Коллективный труд по истории евреев, предпринятый московским издательством «Мир»* — имеется в виду «История евреев в России». Т. 1. «История еврейского народа». Т. II (М., 1914).

³⁴³ *Ландман Давид Осипович (Иосифович)* — служащий одесской городской управы, библиограф, книговед. Жил в Одессе.

³⁴⁴ *Зеличенко Аврам Яковлевич* — специалист по истории еврейской книги, активный деятель Общества распространения просвещения среди евреев, руководитель созданного им в Одессе еврейского музея.

³⁴⁵ *Молодежь... ответила выстрелом Карповича.* — 14 февраля 1901 г. студент Петербургского университета П. В. Карпович (1875—1917) совершил покушение на министра народного просвещения Н. П. Боголепова (1846—1901), бывшего одним из авторов закона «об отдаче студентов в солдаты». Новым министром стал бывший до этого, с 1881 по 1897 гг., военным министром генерал П. С. Ванновский (1822—1904).

³⁴⁶ *Дейтш Готтгард* (1859—1921) — родился в Австро-Венгрии, позднее американский историк, специалист по истории евреев, сотрудник редакции «Еврейской энциклопедии», издававшейся в начале XX в. в США.

³⁴⁷ *Розенталь Герман* (1843—1917) — родился в России, эмигрировал в США после прогрома 1881 г., журналист, поэт, американский историк, сотрудник «Еврейской энциклопедии», издававшейся в США в начале XX в.; редактор русского отдела. Заведовал славянским отделом Нью-йоркской публичной библиотеки.

³⁴⁸ *Вейс Айзик-Гириш* (1815—1905) — историк, выдающийся исследователь древнееврейской литературы и Талмуда, деятель Гаскалы, преподавал в еврейских учебных заведениях Австро-Венгрии.

³⁴⁹ *Реннер (Шпрингер) Карл* (1870—1950) — австро-венгерский социал-демократ, специалист по национальному вопросу. В начале XX в. в России была издана его работа «Государство и нация».

³⁵⁰ *Масафик Томаш* (1850—1937) — руководитель чешского национального движения, президент Чехословакии с 1918 по 1935 г. Последовательно выступал против антисемитизма.

³⁵¹ *Брандес Георг (Моррис-Кохен)* (1842—1927) — писатель, критик. Будучи сторонником ассимиляции, тем не менее выступал в защиту Дрейфуса, приветствовал Бальфурскую декларацию.

³⁵² *Люблинский Самуил* (1868—1910) — писатель, публицист, автор книг о еврейской жизни в Германии и серии статей об антисемитизме в конце XIX в.

³⁵³ *Якобович (Якобовский) Людвиг* (1868—1900) — писатель и поэт, автор произведений из жизни немецких евреев.

³⁵⁴ *Троцкий Моисей Исаикович* — одесский педагог, автор книг «Краткая грамматика древнееврейского языка» (Одесса, 1905) и «Учебник русской грамматики для инородческих училищ» (Одесса, 1911—1915).

³⁵⁵ *Пен Самуил Самсонович* (1864—1925) — деятель сионистского движения в России, одесский педагог, журналист, историк, автор серии научно-популярных книг по истории евреев.

³⁵⁶ *Сапир Иосиф* (1869—1935) — активный деятель сионистского движения, руководил сионистским комитетом в Одессе в начале XX в., делегат ряда конгрессов, член исполкома Всемирной сионистской организации. Издатель книг на русском, иврите и идиш. После 1917 г. один из руководителей сионистской организации юга России. В 1920 г. эмигрировал, жил в Румынии. С 1925 г. в Эрец-Исраэль, публицист, общественный деятель.

³⁵⁷ *Ладыженский.* — Возможно, имеется в виду *Ладыженский Г. А.* — художник, преподаватель одесской художественной школы, участник еврейского национального движения в Одессе.

³⁵⁸ *Франкфельд Г. В.* — участник еврейского национального движения в Одессе в начале XX в., один из руководителей Еврейского палестинского комитета.

³⁵⁹ *Барбаш Шмуэль Матусович* (1850—?) — одесский предприниматель, сторонник идей палестинофильства, позднее преподаватель банковского дела в учебных заведениях Петербурга.

³⁶⁰ *Бен-Цион Ш. (Гутман Симха-Алтер)* (1870—1932) — педагог, публицист, писатель. С 1905 г. в Эрец-Исраэль.

³⁶¹ *Генкель Герман Германович* (1865—после 1932) — историк, филолог, востоковед, в конце XIX—нач. XX в. цензор еврейских книг в Петербурге. Автор воспоминаний: «В старом Востоке» (Еврейская летопись. Сб. 2. Пг., 1923); «Из чиновничьего мира» (Там же. Сб. 1. Пг., 1923).

³⁶² *Коген Герман (Иехезкель)* (1842—1918) — философ, сторонник ассимиляции немецко-еврейства, выступал со статьями против антисемитизма, имел огромное влияние на еврейскую интеллигенцию начала XX в. См.: *Гурлянд А. Герман Коген и его философское обоснование еврейства*. Пг., 1915.

³⁶³ *Цинберг Израиль (Сергей) Лазаревич* (1872—1939?) — химик по образованию, историк, автор ряда фундаментальных исследований по истории еврейской культуры в России. Репрессирован, погиб в заключении. Среди его трудов наиболее значимые: «История еврейской литературы европейского периода: Средние века» (Киев, 1919); «И.-Б. Левинзон» (СПб., 1900); «Два течения в еврейской жизни» (СПб., 1906); «История еврейской печати в России в связи с общественными течениями» (Пг., 1915).

³⁶⁴ *Гессен Юлий Исидорович* (1871—1939) — историк, общественный деятель, автор серии фундаментальных трудов по истории евреев в России. В 30-е гг. автор работ по истории рабочего движения в России.

³⁶⁵ *Шнеерсон Залман (Шнеур-Залман бен Барух)* (1747—1812) — основатель движения Хабат во 2-й пол. XVIII в., родоначальник любавичской династии, идеолог хасидизма.

³⁶⁶ *Еврейская независимая рабочая партия* — была основана в 1901 г. в Минске, привлекла к себе внимание одного из крупных деятелей Департамента полиции полковника С. В. Зубатова (1864—1917), стремившегося использовать эту партию в борьбе с Бундом. Ю. Волин, один из лидеров этой партии, в 1902 г. пытался организовать работу в Одессе. В 1903 г. «независимцы» организовали массовую забастовку. После провала своей деятельности в Минске, Вильно и Одессе, в 1903 г. партия прекратила свое существование. См. об этом: *Фрумкин Б. М. Зубатовщина и еврейское рабочее движение // Пережитое*. Т. 3.

³⁶⁷ *Солд Генриетта* (1860—1945) — журналистка, переводчица, активный деятель сионистского движения в США, основатель движения Хадасса. С 1920 г. возглавляла ряд благотворительных и филантропических организаций в Эрец-Исраэль.

³⁶⁸ *Жаботинский Владимир (Зеев) Евгеньевич (Ионович)* (1880—1940) — публицист, писатель, поэт, драматург, переводчик, один из руководителей российского и мирового сионистского движения. Автор мемуаров «Повесть моих дней», «Слово о полку». См. о нем: *Недава И. Вехи жизни*. М., 1991; *Бела М. Мир Жаботинского*. М., 1992.

³⁶⁹ *Плеве Вячеслав Константинович* (1850—1904) — русский государственный деятель, министр внутренних дел с 1902 по 1904 гг. Один из организаторов антиеврейских кампаний в России с 80-х гг. XIX в. Убит 15 июня 1904 г. эсером Е. Созоновым. См. о нем: *Рахманова Н. Плеве и еврейский вопрос // Вестник Еврейского ун-та в Москве*. 1995. № 8.

³⁷⁰ *Братья Гольдберги*. — *Гольдберг Борис (Борух)* (1866—1922) — экономист, публицист, получил образование в университетах Германии. В конце XIX в. поселился в Вильно. С начала XX в. один из лидеров сионистского движения в России, делегат Всемирных сионистских конгрессов, член исполкома. В 1919 г. — представитель русских евреев в Комитете еврейских делегаций на Парижской мирной конференции. С 1921 г. в Эрец-Исраэль. *Гольдберг Исаак (Ицхак-Лейб)* (1860—1935) — видный деятель сионистского движения в России. С 1918 г. в Эрец-Исраэль.

³⁷¹ *С. Я. Розенберг*. — В тексте опечатка; видимо, имеется в виду *Розенбаум Семен (Шимон)* (1860—1934) — юрист, политический деятель, сионист, руководитель сионистской организации Минска в начале XX в., публицист, делегат II—XI сионистских конгрессов, член исполкома, депутат I Государственной Думы. В годы первой мировой войны руководил сионистской организацией в Литве. В начале 20-х гг. председатель Еврейского национально-го совета, представитель еврейского населения в правительстве Литвы. С 1924 г. в Эрец-Исраэль, был консулом Литвы, с 1927 по 1933 гг. — председателем Верховного суда Ишува.

³⁷² *Коган-Бернштейн Яков Матвеевич* (1859—1929) — врач по образованию, активный деятель сионистского движения, один из руководителей этого движения в Кишиневе, а позднее в Харькове, член руководства сионистской организации в России. С 1907 г. в Эрец-Исраэль, работал врачом, занимался общественной и политической деятельностью.

³⁷³ *«Сказание о Немирофе»* — имеется в виду поэма Х.-Н. Бляика «Сказание о погроме» («В граде избияния»), которая из-за цензурных затруднений была названа «Немировской хроникой» и хронологически отнесена в XVII в., во времена погромов времен Б. Хмельницкого.

К тому II

³⁷⁴ *«Поалей Цион»* («Трудящиеся Сиона») — политическое движение, сочетающее сионизм с социалистической идеологией. Возникло в России в конце XIX в., пользовалось влиянием среди евреев-социалистов в России, Польше, Румынии и США. Представители этого движения сыграли видную роль в создании государства Израиль. См.: Из истории партии. М., 1924; Гейман А. Социалистическая фракция в сионизме. СПб., 1906.

³⁷⁵ *Гурвич Саул-Израиль* (1861—1922) — писатель, публицист, литературный критик. В 1908 г. в Германии основал журнал «Хеатид». С 1921 г. вместе с Х.-Н. Бляиком возглавил в Германии издательство «Клаал».

³⁷⁶ *Цитрон Шмуэль-Лейб* (1860—1930) — журналист, историк, общественный деятель, участник сионистского движения в Литве и Польше, делегат сионистских конгрессов. Автор работ, опубликованных на иврите и идиш, по истории еврейской печати. В 20-е гг. XX в. председатель Виленского союза идишистских писателей и журналистов. Автор мемуаров «Люди и книги» (на идиш).

³⁷⁷ *Приехали погостить Ахад-Гаам с дочерью.* — Дочь Ахад-Гаама Роза (Рахель) Гинцберг (1885—1957) — юрист, училась в университетах Италии, вышла замуж за русского эмигранта, писателя М. Осоргина. В годы гражданской войны находилась в России. В 1922 г. эмигрировала с мужем в Германию. Позже жила во Франции. В 1932 г., после развода, приехала в Эрец-Исраэль и занималась юридической практикой. См. о ней: Елина Н. Роза Гинцберг-Осоргина — дочь Ахад-ха-Ама // Евреи в культуре русского зарубежья: Сб. 2. Иерусалим, 1993.

³⁷⁸ *Поляков Соломон Львович* (1875—1945) — журналист, писатель. После 1917 г. в эмиграции во Франции и США. В эмигрантской литературе известен под псевдонимом Литовцев. В 20—30-е гг. активно сотрудничал в газете «Последние новости», издаваемой П. Н. Милюковым во Франции.

³⁷⁹ *Старшая дочь уехала в Петербург* — см. об этом: Дубнова-Эрлих С. Хлеб и маца. СПб., 1994.

³⁸⁰ *«Конгресс Уганды»; «конгресс плачущих».* — В 1903 г. на VI Всемирном сионистском конгрессе было принято большинством голосов предложение о согласии на создание еврейского национального очага в Британской Восточной Африке (Уганде). Это вызвало раскол в сионистском движении. Российская делегация покинула зал заседаний и устроила обструкцию в виде ритуала оплакивания умершего (палестинской идеи). В 1905 г., на VII конгрессе, угандийский план был отвергнут. Подробнее см.: Вейцман Х. Выбор пути. Иерусалим, 1990.

³⁸¹ *Кровавый погром в... Гомеле* — еврейский погром, произошедший 29 августа—1 сентября 1903 г. Уголовное дело, возбужденное по поводу этих событий, и ход судебного разбирательства стали важным общественным явлением. См.: Гомельский процесс: Подробный отчет. СПб., 1907.

³⁸² *«Мене Текель Уфарсин»* — имеется в виду библейское предание о том, что в последнюю ночь перед взятием Вавилона персами царь Валтасар устроил пир, в разгар которого на стене появились таинственные слова, предсказавшие гибель Вавилонского царства: «Мене, Мене, Текел, Упарсин», призванный в залу пророк Даниил объяснил эти слова следующим образом: «Исчислил Б-г царство твое и положил конец ему; ты взвешен и найден очень легким; разделено царство твое и отдано мидянам и персам».

- ³⁸³ *Гаман* — персонаж книги «Эстер», содержащей рассказ о победе над Гаманом, советником персидского царя Ахашвероша, пытавшегося истребить евреев, живших в Персии.
- ³⁸⁴ *Сивилла* — в греческой мифологии прорицательница будущего.
- ³⁸⁵ *Созонов Егор Сергеевич* (1880—1910) — член Партии социалистов-революционеров, член «Боевой организации». 15 июля 1904 г. убил министра внутренних дел В. К. Плеве. Осужден на каторгу. Покончил жизнь самоубийством.
- ³⁸⁶ *Готовится ли новый Севастополь* — имеется в виду оборона и падение Севастополя в Крымской войне 1853—1856 гг. и последовавшие затем реформы Александра II.
- ³⁸⁷ *Левин Шмарья* (1867—1935) — философ, публицист, политический деятель, лидер сионистского движения в России, депутат I Государственной Думы. В конце XIX—нач. XX в. был казенным раввином в Гродно, затем в Екатеринославе. В 1908 г. эмигрировал в Германию. С 1924 г. в Эрец-Исраэль.
- ³⁸⁸ *Найшул А.* — общественный деятель, в начале XX в. активист еврейской общины в Вильно.
- ³⁸⁹ *Штейнберг Иошуа* — один из деятелей движения просвещения (Гаскалы) в России во 2-й пол. XIX в., в начале XX в. работал инспектором Еврейского учительского института и цензором еврейских книг в Вильно, составитель «Еврейско-русского словаря». Поэт, автор стихотворений на иврите.
- ³⁹⁰ *Витовт* (1350—1430) — великий князь Литвы (1392—1430), успешно воевал с Московским государством, участник Грюнвальдской битвы.
- ³⁹¹ *Судьба семьи Мендельсона и «берлинского салона»*. — Дети еврейского философа, основателя Гаскалы М. Мендельсона впоследствии приняли христианство. Все они вместе с представителями других известных еврейских семей в 80-е гг. XVIII в. составляли так называемый «берлинский салон» — место встреч и дискуссий по вопросам философии и искусства с интеллектуальной элитой Пруссии. Впоследствии большинство евреев — посетителей этого салона приняли христианство.
- ³⁹² *Трохи Исаак* (1533—1594) — караимский философ, полемист, автор ряда антииудейских произведений.
- ³⁹³ *Каценельсон Нисон Исосифович* (1862—1923) — общественный и политический деятель, делегат съездов сионистов, член руководства ОПЕ и ЕКО. Окончил Берлинский университет, по образованию математик. В 1905 г. директор Еврейского колониального банка в Лондоне. В 1906 г. депутат I Государственной Думы в России. С 1907 г. жил в Либаве, возглавлял Еврейский эмиграционный комитет. В 1914—1917 гг. — в Петрограде. В 1918 г. вернулся в Латвию.
- ³⁹⁴ *Святополк-Мирский Петр Дмитриевич* (1857—1914) — государственный деятель, генерал, князь, в начале XX в. виленский генерал-губернатор, с 1904 по 1905 гг. министр внутренних дел. В период его министерства был проведен ряд либеральных реформ.
- ³⁹⁵ *Убийство московского генерал-губернатора, великого князя Сергея*. — Великий князь Сергей Александрович был убит эсером И. П. Калевым в феврале 1905 г. в Москве.
- ³⁹⁶ *Особое совещание (булыгинское)* — особое совещание «для предварительной разработки законодательных предположений», созданное в начале 1905 г. под руководством министра внутренних дел А. Г. Булыгина (1851—1919).
- ³⁹⁷ *Фрумкин Яков Григорьевич* (1874—1971) — адвокат, историк, общественный деятель. После 1917 г. в эмиграции. Активно участвовал в деятельности различных еврейских организаций выходцев из России. Жил в США. Автор воспоминаний «Из истории русского еврейства». Книга о русском еврействе. Нью-Йорк, 1960.
- ³⁹⁸ *Шабат Цемах* (1864—1935) — еврейский общественный деятель, врач, окончил медицинский факультет Московского университета, лидер еврейской общины в Вильно, входил в руководство Еврейской демократической партии. В 1919—1920 гг. — президент Совета еврейских общин Литвы. В 20-е гг. — сенатор Польского сейма. См. о нем: *Асташкевич И. Цемах Шабат* // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1998. № 1 (17).
- ³⁹⁹ *Гожанский Самуил Наумович* (1867—1943) — социал-демократ, видный деятель Бунда, публицист. С 1918 г. коммунист, в 20—30-е гг. на государственной службе, активист Общества политкаторжан. Репрессирован в конце 30-х гг.
- ⁴⁰⁰ *Ленский Иосиф Вульфович* (1877—?) — один из руководителей организации Бунда в Вильно. В 1901 г. сослан в Сибирь, в 1902 г. бежал. Участник революции 1905—1907 гг.

⁴⁰¹ «Союз защиты» — организация, созданная в начале XX в. еврейской интеллигенцией Петербурга (А. Браудо, М. Винавер, С. Познер и др.) с целью противодействия антисемитской политике правительства. См. подробнее: *Кельнер В. Е. А. И. Браудо и борьба с антисемитизмом в России // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1993. № 2.*

⁴⁰² *Милуков Павел Николаевич* (1859—1943) — политический деятель, историк, основатель и руководитель Конституционно-демократической партии, депутат Государственной Думы, министр Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции. Автор мемуаров «Воспоминания» (М., 1990).

⁴⁰³ *Ратнер Марк Борисович* (1871—1917) — юрист, политический деятель, публицист, выступал в качестве адвоката на процессах, посвященных кишиневскому, гомельскому, житомирскому и белостоцкому погромам, участвовал в создании группы «Возрождение» (1903 г.) и Социалистической еврейской рабочей партии (СЕРП). С 1907 г. в эмиграции в Швейцарии и Австрии. Умер в Румынии.

⁴⁰⁴ *Мазе Яаков* (1859—1924) — общественный деятель, раввин, публицист, окончил юридический факультет Московского университета, с 1893 г. казенный раввин Москвы, в 1917 г. член Совета еврейских общин России, депутат Учредительного собрания. В 1920 г. арестован в числе участников всероссийского совещания сионистов в Москве. Автор мемуаров, изданных на иврите в Эрец-Исраэль в 1936 г.

⁴⁰⁵ *Темкин Владимир (Зев)* (1861—1927) — политический деятель, один из руководителей сионистского движения в России, делегат сионистских конгрессов, сторонник ревизионистского течения в сионизме. Окончил Технологический институт в Петербурге. После 1917 г. в эмиграции в Германии, сотрудник изданий В. Е. Жаботинского.

⁴⁰⁶ *Вейнштейн (Вайнштейн) Григорий Эммануилович* — см. коммент. 248.

⁴⁰⁷ *Рабинович Гириш* (1832—1919) — в начале XX в. духовный раввин в Ковно, общественный деятель, литератор, издатель.

⁴⁰⁸ *Гаркави Владимир Осипович* (1846—1911) — адвокат, общественный деятель 2-й пол. XIX—нач. XX в., один из создателей Общества просвещения среди евреев в России и Союза для достижения полноправия евреев в России. Автор мемуаров «Отрывки воспоминаний» (СПб., 1913).

⁴⁰⁹ *Витте Сергей Юльевич* (1848—1915) — государственный деятель, в 1903 г. встречался в Петербурге с Т. Герцлем. В 1905—1906 гг. был председателем Совета министров. Автор мемуаров «Воспоминания» (Т. 1—3. М., 1960). На тему отношения Витте к еврейскому вопросу см.: *Айзенберг А. М. На словах и на деле // Еврейская летопись. Сб. 3. Л., 1924.*

⁴¹⁰ *Выгодский Яков Ефимович (Хаймович)* (1856—1941) — врач, общественный деятель, участник еврейского национального движения. В 1918—1919 гг. министр в первом правительстве независимой Литвы.

⁴¹¹ *Трепов Дмитрий Федорович* (1855—1906) — генерал-майор, московский обер-полицеймейстер в 1896—1905 гг., с 1905 г. генерал-губернатор Петербурга, товарищ министра внутренних дел, активный участник политических событий 1905 г.

⁴¹² *Пален Константин Константинович* (1861—после 1917 г.) — государственный деятель, генерал-губернатор Вильно в конце XIX—нач. XX в.

⁴¹³ *Манифест 17 октября* — документ, принятый в результате подъема общественного движения в России и ознаменовавший переход от абсолютизма к конституционной монархии с предоставлением населению гражданских прав. См. об этом: *Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г.: Реформы и революция. СПб., 1991.*

⁴¹⁴ *Вайтер (Айзик-Меер Девинишинский)* (1878—1919) — политический деятель, писатель, активный деятель Бунда. Убит при взятии Вильно польскими войсками.

⁴¹⁵ *Амалек* (амалекитяне) — кочевое племя, жившее в Негеве, которое враждебно относилось к евреям, вернувшимся из египетского плена. Слово «амалек» стало нарицательным, обозначающим врагов евреев.

⁴¹⁶ *Бак Юлиан Борисович* (1860—1908) — инженер, финансист, общественный деятель, издатель газеты «Речь».

⁴¹⁷ *Гольдштейн Моисей Леонтьевич* (1868—1932) — петербургский адвокат, общественный деятель, после 1917 г. в эмиграции во Франции, сотрудник газеты «Последние новости» и журнала «Еврейская трибуна».

⁴¹⁸ *Дашевский Пинхус* (1879—1930-е гг.) — участник сионистского движения, в 1903 г. совершил террористический акт против одного из вдохновителей кишиневского погрома

П. Крушевана и был присужден к тюремному заключению. После 1917 г. работал инженером. В 1933 г. репрессирован по обвинению в сионистской деятельности.

⁴¹⁹ *Крушеван Паволакый* (1860—1909) — общественный деятель, публицист, один из идеологов русского антисемитизма.

⁴²⁰ *Бернштейн Эдуард* (1850—1932) — немецкий политический деятель, социал-демократ, один из теоретиков ревизионизма. Еврей по происхождению, долгие годы был сторонником ассимиляции. Лишь в начале XX в. написал ряд работ по национальным проблемам еврейского народа. В 20-е гг. возглавил Международный социалистический пропалестинский комитет. Автор мемуаров «Воспоминания социалиста».

⁴²¹ *Новаковский Иегуда (Иерекия)* (1879—1933) — в период 1905—1907 гг. социалист-революционер и член Социалистической еврейской рабочей партии; увлекался еврейским фольклором; позднее большевик. В 20-е гг. на дипломатической работе в Праге, Берлине, Лондоне. В конце 20-х гг. редактор выходившего в Москве на идиш антирелигиозного журнала «Безбожник».

⁴²² *Дурново Петр Николаевич* (1844—1915) — государственный деятель, в 1905—1906 гг. министр внутренних дел.

⁴²³ *Кроль Моисей Аронович* (1862—1943) — общественный деятель, участник народнического движения в России в 80-е гг. XIX в. Юрист, с начала XX в. активный участник еврейского национального движения, выступал в качестве адвоката на процессах, связанных с еврейскими погромами. После 1917 г. в эмиграции во Франции, с 1940 г. в США. Участвовал в деятельности Общества русско-еврейской интеллигенции в Париже. Автор мемуаров «Страницы моей жизни». (Нью-Йорк, 1944).

⁴²⁴ *Ан-ский (Раппорт) Семен Акимович (Шлойме-Зейнвил Аронович)* (1863—1920) — этнограф, писатель, публицист, член Партии социалистов-революционеров, позднее входил в Еврейскую народную партию, был близок к сионистскому движению. См. о нем: Лукин В. От народничества к народу: (С. Ан-ский — этнограф восточноевропейского еврейства) // Евреи в России: История и культура: Сб. СПб., 1995.

⁴²⁵ *Абрамович (Рейн) Рафаил Абрамович* (1880—1963) — политический деятель, один из руководителей Бунда. С 1917 г. член ВЦИК первого созыва. С 1920 г. в эмиграции. С 1921 по 1962 гг. один из руководителей журнала «Социалистический вестник». Жил в Германии, Франции, США.

⁴²⁶ *Ромм Илья Давидович* (1860—1912) — общественный деятель, активный член Партии кадетов, возглавлял отделение этой партии в Вильно. Издатель, редактор. В начале XX в. редактировал газеты «Новая заря», «Свободное слово», «Смоленский вестник».

⁴²⁷ *Ритуальный процесс Блондеса* — имеется в виду процесс 1900 г. в Вильно над местным евреем Блондесом по обвинению в попытке совершить убийство с ритуальной целью. Благодаря общественному мнению и защите О. Грузенберга обвиняемый был оправдан.

⁴²⁸ *Герценштейн Михаил Яковлевич* (1859—1906) — общественный и политический деятель, экономист, публицист, член Конституционно-демократической партии, депутат I Государственной Думы. Убит черносотенцами. См. о нем: М. Я. Герценштейн: Биограф. Речи. Похороны. Убийство: М. Я. Герценштейн в Думе. СПб., 1906; *Никольская Т. К., Попов А. А.* М. Я. Герценштейн (1859—1906) // Из глубины времен. Вып. 8. СПб., 1996.

⁴²⁹ *Иоллос Генрих Борисович* (1859—1907) — общественный деятель, публицист, член Конституционно-демократической партии, депутат I Государственной Думы. Убит черносотенцами. См. о нем: *Милоков П. Н.* Памяти Григория Борисовича Иоллоса. СПб., 1907; *Никольская Т. К.* Григорий Борисович Иоллос (1859—1907) // Из глубины времен. Вып. 9. СПб., 1997.

⁴³⁰ *Шингарев Андрей Иванович* (1869—1918) — общественный и политический деятель, член ЦК Конституционно-демократической партии, депутат Государственной Думы, министр Временного правительства, арестован большевиками в ноябре 1917 г. и заключен в Петропавловскую крепость. По болезни переведен в больницу. Убит в январе 1918 г. вместе с Ф. Ф. Кокошкиным в Марининской больнице Петербурга.

⁴³¹ *Кокошкин Федор Федорович* (1871—1918) — общественный и политический деятель, член ЦК Конституционно-демократической партии, депутат Государственной Думы, министр Временного правительства, арестован большевиками в ноябре 1917 г. и заключен в Петропавловскую крепость. По болезни переведен в больницу. Убит в январе 1918 г. матросами в Марининской больнице Петербурга. Активный сторонник равноправия евреев. Автор ряда

работ, направленных против антисемитизма. См., напр.: *Кожошкин Ф.* Корни антисемитизма // *Щит. М.*, 1915.

⁴³² *Муромцев Сергей Андреевич* (1850—1910) — общественный деятель, юрист, профессор Московского университета, председатель I Государственной Думы.

⁴³³ *Родичев Федор Измаилович* (1854—1933) — общественный и политический деятель, член ЦК Конституционно-демократической партии, депутат Государственной Думы, в 1917 г. министр Временного правительства. После 1917 г. в эмиграции. Автор работы «Большевизм и евреи» (Лозанна, 1921) и мемуаров «Воспоминания и очерки о русском либерализме» (Newtonille, 1983).

⁴³⁴ *Грегюар Анри Батист* (1750—1831) — католический священник, участник революции 1789 г., сторонник гражданской эмансипации евреев.

⁴³⁵ *Мирабо Оноре Габриель Рикети* (1749—1791) — активный деятель Великой Французской революции, оратор, публицист, противник крайне радикального крыла.

⁴³⁶ *Ковалевский Максим Максимович* (1851—1916) — юрист, историк, общественный деятель, депутат I Государственной Думы. Сторонник равноправия евреев в России. Автор ряда работ на эту тему: «Как решили на Западе еврейский вопрос» (М., 1915); «Равноправие евреев и его враги» (Щит. М., 1915) и др.

⁴³⁷ *Белостокский погром* — еврейский погром, произошедший 1—3 июня 1906 г. В ходе его погибли 70 и были ранены 80 человек. По требованию Государственной Думы дело об этом погроме разбиралось в суде. См.: *Ганелин Р. Ш.* I Государственная Дума в борьбе с черносотенцами и погромами // *Освободительное движение в России.* Саратов, 1992. Вып. 15.

⁴³⁸ *Коган Петр Семенович* (1879—1939) — литературовед, критик, педагог, автор книг по русской и зарубежной литературе, преподаватель Петербургского университета и курсов Лесгафта.

⁴³⁹ *Взрыв дачи Столыпина* — террористический акт, проведенный в августе 1906 г. в Петербурге группой эсеров-максималистов против министра внутренних дел (позднее премьер-министра) П. А. Столыпина. *Столыпин Петр Аркадьевич* (1862—1911) — политический и государственный деятель, с 1906 г. министр внутренних дел, затем председатель Совета министров. Убит в Киеве Дм. Богровым, внуком писателя Г. Богрова (см. коммент. 160). Подробнее об этом, в том числе и о «еврейском» аспекте убийства, см.: *Убийство Столыпина: Свидетельства и документы* / Сост. А. Серебrenников. Рига, 1990.

⁴⁴⁰ *Погром в Седлеце* — еврейский погром 26—29 августа 1906 г., в котором были убиты 30 и ранены 150 человек. В ходе расследования причин этого погрома в Государственной Думе выяснилось прямое участие в его подготовке и проведении местной администрации, полиции и армии.

⁴⁴¹ «*Дер Фрайнд*» — первая ежедневная газета на идиш, выходившая в Петербурге. С 1903 по 1909 гг. под ред. С. Гинцбурга, позднее Ш. Рапопорта и С. Розенфельда.

⁴⁴² *Антоний (Вадковский Александр Васильевич)* (1846—1912) — историк, богослов, публицист, деятель православной церкви, с 1898 по 1912 гг. митрополит С.-Петербургский и Ладожский.

⁴⁴³ *Лесгафт Петр Францевич* (1837—1909) — врач, педагог, профессор Казанского университета, затем Медико-хирургической академии в Петербурге и Петербургского университета. В 1905—1906 гг. создал Вольную высшую школу и специальное учебное заведение по физическому воспитанию.

⁴⁴⁴ *Дьяконов Михаил Александрович* (1855—1919) — историк, правовед, преподаватель Вольной высшей школы (курсы Лесгафта) в Петербурге в начале XX в., затем профессор Петербургского университета.

⁴⁴⁵ *Посников Александр Сергеевич* (1846—1921) — экономист, общественный деятель, профессор Новороссийского университета, позднее Политехнического института в Петербурге. В 1886—1896 гг. редактор газеты «Русские ведомости». Депутат Государственной Думы.

⁴⁴⁶ *Туган-Барановский Михаил Иванович* (1865—1919) — историк, экономист, «легальный марксист», позднее член Конституционно-демократической партии. С 1895 г. приват-доцент Петербургского университета, участник кооперативного движения. В 1917—1918 гг. министр финансов Центральной Рады Украины.

⁴⁴⁷ *Пергамент Осип Яковлевич* (1868—1909) — юрист, общественный деятель, член Конституционно-демократической партии, депутат Государственной Думы. Покончил жизнь самоубийством. См. о нем: *Бугаевский А. А.* Осип Яковлевич Пергамент: К 50-летию со дня смерти. Одесса, 1914.

⁴⁴⁸ *Тарле Евгений Викторович* (1875—1955) — историк, член-корреспондент АН с 1921 г., академик с 1927 г.; с 1903 г. преподаватель Петербургского университета. В 30-е гг. подвергался репрессиям по так называемому «академическому» делу. См. о нем: *Каганович Б. С.* Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995.

⁴⁴⁹ *Мякотин Венедикт Александрович* (1867—1937) — политический деятель, лидер Партии народных социалистов, историк. С конца 1904 г. член редколлегии журнала «Русское богатство». После 1917 г. в эмиграции в Чехословакии.

⁴⁵⁰ *Крейнин Мейр* (1866—1939) — общественный деятель, педагог, член руководства Еврейской народной партии, один из руководителей ОПЕ. С 1921 г. в эмиграции в Европе. С 1934 г. в Эрец-Исраэль.

⁴⁵¹ *Залкинд Александр Вениаминович* (ум. 1931 г.) — врач, общественный деятель, член руководства Еврейской народной партии, позднее сионист. В 20-е гг. в Эрец-Исраэль.

⁴⁵² *Мандель Вениамин Семенович* (1863—1931) — петербургский адвокат, член руководства Еврейской народной партии. После 1917 г. в эмиграции в Германии. В 20-е гг. член «Отечественного объединения русских евреев за границей», автор сб. «Россия и евреи» (Берлин, 1924).

⁴⁵³ *Хоронжицкий Соломон Израилевич* — петербургский адвокат, член руководства Еврейской народной партии, позднее сионистский деятель. В 20-е гг. жил в Литве.

⁴⁵⁴ *Павлов Владимир Петрович* — юрист, генерал-лейтенант, в 1905—1906 гг. главный военный прокурор. В декабре 1906 г. убит эсером Н. Егоровым.

⁴⁵⁵ «*Столытинский галстук*» — ставшее нарицательным выражение из выступления в Государственной Думе Ф. И. Родичева, характеризующее массовое применение смертной казни через повешение министром внутренних дел П. А. Столыпиным в борьбе с революционным движением в 1906—1907 гг.

⁴⁵⁶ «*Выборгское воззвание*». — 10 июля 1906 г. в ответ на роспуск I Государственной Думы часть депутатов, собравшись в г. Выборге, обратилась к народу с призывом к гражданскому сопротивлению. Подписавшие это воззвание депутаты были осуждены на тюремное заключение. Им также было запрещено впредь баллотироваться в Думу.

⁴⁵⁷ *Идельсон Аврахам Давидович* (1865—1921) — деятель сионистского движения, делегат сионистских конгрессов, публицист (псевд. А. Давидсон), окончил Московский университет. С 1905 по 1919 гг. жил в Петербурге, редактировал газеты и журналы «Рассвет», «Еврейская жизнь». В 1919 г. эмигрировал, жил в Англии и Германии, активно участвовал в мировом сионистском движении. Основные работы на русском языке вошли в его «Собрание сочинений» (Пг., 1919). См. о нем: Сборник памяти А. Д. Идельсона. Берлин, 1925.

⁴⁵⁸ *Идти в Каноссу* — выражение, восходящее к историческому эпизоду 1077 г., когда германский император Генрих IV, отлученный от церкви и низложенный, в одежде кающегося грешника три дня простоял у стен г. Каноссы, ожидая приема у папы римского Григория VII. Это выражение означает унижительную форму капитуляции и стало крылатым после речи Бисмарка в рейхстаге в 1872 г.: «Мы не пойдем в Каноссу».

⁴⁵⁹ *Штернберг Лев Яковлевич* (1861—1927) — этнограф, историк, публицист, политический деятель. Участвовал в работе «Народной воли» в 80-е гг. XIX в., отбывал ссылку в Сибири. После 1917 г. на научной работе, последний руководитель Еврейского Историко-этнографического общества в Ленинграде, член-корреспондент АН СССР с 1924 г. См. о нем: *Гаген-Торн Н. И.* А. Я. Штернберг. М., 1975.

⁴⁶⁰ *Гуревич Х. Д.* (1865—1933) — врач, публицист, один из редакторов выходивших в Петербурге на идиш газет «Дер Фрайнд», «Ди идише Вельт», «Тогблат».

⁴⁶¹ *Караваев Александр Львович* (1855—1908) — врач, общественный деятель, депутат Государственной Думы, публицист, писавший под псевдонимом А. Львович. Убит черносотенцами.

⁴⁶² *Эфрон (Ефрон) Илья Абрамович* (1847—1917) — издатель, типограф, книгопродавец. В 1880 г. приобрел типографию в Петербурге. В 1889 г. с целью выпуска энциклопедического словаря вместе с немецкой фирмой «Брокгауз» основал издательство «Брокгауз и Ефрон».

- ⁴⁶³ *Зелинский Фаддей Францевич* (1859—1941) — историк, филолог-классик. Профессор Петербургского университета (1885—1921). С 1921 г. профессор Варшавского университета.
- ⁴⁶⁴ *Переферкович Нехемия (Наум Аврамович)* (1871—1940) — гебраист, переводчик, окончил Петербургский университет, сотрудник «Восхода» и «Еврейской энциклопедии». Перевел на русский язык Талмуд, преподавал в Петербурге на Курсах востоковедения. В 1919 г. эмигрировал в Латвию.
- ⁴⁶⁵ *Пуришкевич Владимир Митрофанович* (1870—1920) — политический деятель, публицист, депутат Государственной Думы, лидер антисемитских организаций России.
- ⁴⁶⁶ *Дубровин Александр Иванович* (1855—1922) — врач, создатель и лидер «Союза русского народа». Расстрелян ОГПУ.
- ⁴⁶⁷ *Вельгаузен Юлиус* (1844—1918) — см. коммент. 168.
- ⁴⁶⁸ *Галлерин Яков Маркович* (1840—1914) — юрист, чиновник Министерства юстиции, общественный деятель, публицист, печатался в «Восходе», «Рассвете», «Будущности» и других органах русско-еврейской печати. В 1912 г. по требованию министра юстиции был вынужден подать в отставку.
- ⁴⁶⁹ *Хвольсон Даниил Аврамович* (1819—1911) — востоковед, историк, филолог. В 1855 г. принял христианство и возглавил кафедру семитологии восточного факультета С.-Петербургского университета. Неоднократно выступал в печати в защиту евреев; см. его работу «Употребляют ли еврей христианскую кровь?» (Киев, 1912) и др.
- ⁴⁷⁰ *Маркон Исаак Юльевич (Юделевич)* (1875—1949) — востоковед, гебраист, окончил юридический факультет и факультет восточных языков Петербургского университета. С 1901 г. сотрудник Публичной библиотеки в Петербурге. В 1915—1917 гг. переводчик в Министерстве иностранных дел России. Автор исследований по древнееврейской филологии, сотрудник «Еврейской энциклопедии», преподаватель Высших курсов восточных знаний в Петербурге. Был членом Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России, старостой Петербургской главной синагоги. В 1918—1921 гг. — приват-доцент Петроградского университета и Петроградского еврейского университета. В 1922—1924 гг. профессор Белорусского государственного университета. С 1926 по 1938 г. жил в Германии, где преподавал в раввинской семинарии в Берлине. В 1938—1940 гг. жил в Амстердаме. С 1940 г. в Великобритании, где преподавал в еврейском колледже.
- ⁴⁷¹ *Гинцбург Иона Осипович (Иосифович)* (1871—1942) — филолог-гебраист, историк, преподаватель, общественный деятель, секретарь еврейского общинного правления в годы первой мировой войны, секретарь Общества по оказанию помощи жертвам войны, преподаватель Курсов востоковедения.
- ⁴⁷² *Нисселович Лазарь Борисович (Леопольд Николаевич)* (1856—1914) — юрист, общественный деятель, депутат II и III Государственной Думы. Автор работы «Еврейский вопрос в III Государственной Думе» (СПб., 1908).
- ⁴⁷³ *Фридман Нафталий Маркович* (1863—1925) — юрист, депутат III—IV Государственной Думы.
- ⁴⁷⁴ *Клаузнер Иосиф-Гдалия* (1874—1958) — историк, публицист, литературовед, политический деятель, один из активных участников сионистского движения в России и Польше, редактор «Гашилоах» (1903—1926). С 1919 г. в Эрец-Исраэль, профессор Еврейского университета в Иерусалиме. Среди его трудов, изданных в России, наибольшее значение имели: «Новоеврейская литература XIX в. (1785—1899)» (Одесса, 1912); «Древнееврейская литература новейших времен (1785—1917)» (Одесса, 1918).
- ⁴⁷⁵ «СЕРП» — Социалистическая еврейская рабочая партия (1905—1917), один из лидеров — Хаим Житловский. Партия стояла на позициях народничества и автономизма.
- ⁴⁷⁶ *Черновик Шмуэль* (1879—1929) — публицист, общественный деятель. В 1918—1921 гг. жил в Москве и Омске, сотрудничал в еврейской печати. С 1921 г. жил в Польше. С 1922 г. в Эрец-Исраэль.
- ⁴⁷⁷ *Перельман Арон Фишелевич (Филиппович)* (1876—1954) — общественный деятель, входил в руководство Еврейской народной партии, по образованию химик, издатель, секретарь редакции журнала «Еврейский мир», сотрудник и затем владелец издательства «Брокгауз и Ефрон». После 1917 г. издатель, неоднократно арестовывался ВЧК, позднее сотрудник Ленрадиокомитета. Автор мемуаров, см.: Еврейский мир: Глава из воспоминаний // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1998. № 2 (18).

⁴⁷⁸ *Черновицкая конференция* — состоявшаяся в 1908 г. в г. Черновцы конференция деятелей еврейской культуры в диаспоре. См.: *Вопрос о языке*: Сб. ст. / Ред. А. Г. Котик. Белосток, 1910.

⁴⁷⁹ *Зельдов Александр Мифонович* — политический деятель, социал-демократ, один из руководителей Бунда, публицист, писал под псевдонимом А. Неманский.

⁴⁸⁰ *Штиф Нахум* (1879—1933) — историк, филолог, сотрудник журнала «Рассвет», писал под псевдонимом Баал-Димион, член руководства Еврейской социалистической рабочей партии и Еврейской народной партии. В 1918—1926 гг. жил в Литве и Германии. Затем вернулся в СССР, работал в Киеве в Институте еврейской культуры. В начале 30-х гг. был уволен.

⁴⁸¹ *Вишницер Марк Львович* (1882—1956) — историк, общественный деятель. В 1908—1913 гг. редактировал один из отделов «Еврейской энциклопедии». В 1921—1937 гг. жил в Германии и был секретарем Общества взаимопомощи немецких евреев. В 1935 г. эмигрировал сначала во Францию, а затем в США. Умер в Израиле. Автор воспоминаний, опубликованных в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1958. Т. 53).

⁴⁸² *Стольник Борис Григорьевич* (1871—1967) — философ, в 30-е гг. работал в Институте философии АН СССР, переводчик произведений Гегеля.

⁴⁸³ В тексте опечатка. Имеется в виду *Португалов Григорий Маркович* — юрист, общественный деятель, публицист, сторонник сионизма. После 1917 г. работал юристом в Петроградском исполкоме. Арестован в середине 20-х гг. Умер в конце 20-х гг.

⁴⁸⁴ *Лозинский Самуил Горацевич* (1874—1945) — историк, публицист, один из редакторов «Еврейской энциклопедии», преподавал в Петроградском Еврейском университете. Автор работ по истории евреев во Франции и по истории антисемитизма.

⁴⁸⁵ *Красный-Адмони Григорий Яковлевич* (1881—1970) — петербургский адвокат, историк, общественный деятель. В 1919 г. один из организаторов Комиссии для разработки архивных документов по ритуальным процессам. Позднее член коллегии адвокатов. См. о нем: *Адмони В. Г., Сильман Т. И.* Мы вспоминаем. СПб., 1993.

⁴⁸⁶ *Марголин Соломон Осипович* — историк, социолог, публицист, автор книг: «Еврействующие» (СПб., 1910); «Еврейская кредитная кооперация» (СПб., 1908) и др.

⁴⁸⁷ *Берлин Израиль Захарович* (1868—1920-е гг.) — сотрудник «Еврейской энциклопедии», историк, после 1917 г. активно участвовал в деятельности большевистских органов власти в Петрограде, созданных специально для работы среди евреев.

⁴⁸⁸ *Балабан Мейер* (1877—1942) — историк, в 1920—1930-х гг. возглавлял Еврейский научный институт в Варшаве. Умер в гетто.

⁴⁸⁹ *Шофр Моисей* (1844—1941) — историк польского еврейства, один из создателей еврейских научных институтов и научной печати в Польше в 20—30-е гг. XX в. После нападения Германии на Польшу бежал в СССР, где был арестован и погиб в заключении.

⁴⁹⁰ *Шиттер Игнаций* (1884—1942) — историк, специалист по истории евреев Европы в середине века. Погиб в Варшавском гетто.

⁴⁹¹ *Бейлин Соломон Хаимович* (1857—?) — этнограф, фольклорист, собиратель народных сказок, легенд и песен евреев Украины, Белоруссии, Литвы и России.

⁴⁹² *Рубашов Залман (Шазар)* (1889—1974) — политический деятель, участник сионистского движения. В начале XX в. студент Курсов востоковедения в Петербурге, с начала 20-х гг. в Эрец-Исраэль. С 1963 по 1973 гг. президент Израиля.

⁴⁹³ *Ландау Григорий Адольфович* (1877—1942) — философ, публицист, общественный и политический деятель, после 1917 г. в эмиграции в Германии, заместитель редактора газеты «Руль». После 1933 г. жил в Латвии. В 1941 г. арестован и погиб в ГУЛАГе. См.: *Ландау Г.* Воспоминания // *Вестник Еврейского ун-та в Москве*. 1993. № 2, 3; *Гессен В. Ю.* Необходимые уточнения // Там же. 1994. № 3 (7).

⁴⁹⁴ *Троцкие* — семья, находившаяся в родстве с Дубновыми: Моисей Исаакович Троцкий, учитель математики в учебных заведениях Одессы, был женат на сестре жены С. М. Дубнова, Фаине.

⁴⁹⁵ *Крунник Борух (Борис)* (1889—1972) — историк, переводчик на иврит трудов С. Дубнова. В начале XX в. жил в Петербурге, учился на Курсах востоковедения. В 20-е гг. жил в Германии. С 1932 г. в Эрец-Исраэль.

⁴⁹⁶ *Кауфман Иехезкель* — литератор, в начале XX в. учился в Петербурге на Курсах востоковедения, деятель сионистского движения в России, в 1920—1921 гг. руководитель петроградского издательства «Кадима».

⁴⁹⁷ *Войславский Цви* (1889—1957) — литератор, общественный деятель, в начале XX в. учился в Петербурге на Курсах востоковедения, позднее в Новороссийском университете. Один из руководителей сионистской организации в Одессе. В 1921 г. эмигрировал в Германию. С 1934 г. в Эрец-Исраэль.

⁴⁹⁸ *Гутман Иошуа* — литератор, историк, в 1910 г. учился в Петербурге на Курсах востоковедения.

⁴⁹⁹ *Лурье Ицхак* (1875—1930-е гг.) — секретарь редакции журнала «Еврейская старина», сотрудник Еврейского Историко-этнографического общества. В 1921 г. уехал в Ташкент, где создал Музей бухарских евреев. В конце 20-х—30-е гг. несколько раз арестовывался ОГПУ—НКВД. Погиб в заключении.

⁵⁰⁰ *Кальманович Зелиг* (1881—1944) — переводчик, литератор, в начале XX в. жил в Вильно.

⁵⁰¹ *Рабинович-Шефер Сауль-Пинхас* (1845—1910) — историк, публицист, активный деятель движения «Ховевей Цион», позднее участник сионистского движения.

⁵⁰² *Бирибаум Натан* (1864—1937) — философ, публицист. В конце XIX—нач. XX в. участник сионистского движения в Австрии, позднее автономист. В 20-е гг. жил в Германии и был членом организации «Агудас Исроэль», с 1919 г. генеральный секретарь этой организации.

⁵⁰³ *Бентович Норман* (1883—1971) — юрист, деятель сионистского движения, один из руководителей еврейской общины в Англии, издатель журнала «Jewish Review». В 1920—1931 гг. генеральный прокурор британской администрации в Палестине. С 1932 г. — профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

⁵⁰⁴ *Кассо Лев Аристович* (1865—1914) — министр просвещения России в 1910—1914 гг., в этот период условия поступления евреев в высшие учебные заведения страны были особенно ужесточены.

⁵⁰⁵ *Щегловитов Иван Григорьевич* (1861—1918) — юрист, государственный деятель, министр юстиции (1906—1913), председатель Государственного совета в начале 1917 г. Расстрелян ВЧК.

⁵⁰⁶ *Тейтель Яков Львович* (1850—1939) — юрист, общественный деятель. Более 30 лет был чиновником в суде, удален с государственной службы в 1910 г. После 1917 г. в эмиграции. С 1921 г. председатель Общества русских евреев в Германии. В 30-е гг. жил во Франции. Автор мемуаров «Из моей жизни за 40 лет» (Париж, 1925). См. о нем: *Капитайкин Э. Веселый праведник // Евреи в культуре русского зарубежья. Вып. 1. Иерусалим, 1992; Я. А. Тейтель: Сб. статей. Париж; Берлин, 1931.*

⁵⁰⁷ *Марек Песах (Петр) Семенович* (1862—1920) — историк и фольклорист, окончил Московский университет, сторонник сионистского движения, сотрудник «Восхода», «Еврейской старины», «Еврейской энциклопедии».

⁵⁰⁸ *Вермель Самуил Соломонович* (1860—1940) — врач, историк, переводчик, автор серии популярных работ по истории российского еврейства. В 20-е гг. работал врачом в санаториях Кавказа.

⁵⁰⁹ *Молодой врач З. Темкин, брат известного сиониста. — Темкин Зиновий* (1865—1942); *Темкин Владимир* (1861—1927) — деятели сионистского движения в России, публицисты, активно участвовали в еврейской периодической печати. После 1917 г. в эмиграции, деятели международного сионистского движения, сторонники ревизионистского течения.

⁵¹⁰ *Полемика Фридендер-Теллер* — имеется в виду полемика о равноправии евреев в Пруссии между *Давидом Фридендером* (1750—1834), последователем М. Мендельсона, сторонником эмансипации евреев Германии, и *П. Теллером*, главой берлинской консистории.

⁵¹¹ *Герц Генриетта* (1764—1847) — общественный деятель, вела в Берлине салон, где бывали видные деятели Гаскалы, сторонница ассимиляции, в 1817 г. приняла христианство.

⁵¹² *Мендельсон Доротея (Доротея фон Шлегель)* (1763—1839) — дочь еврейского философа М. Мендельсона. Перешла в христианство.

⁵¹³ *Братья Гумбольдты. — Гумбольдт Александр* (1769—1859) — немецкий ученый, путешественник, советник прусского короля; *Гумбольдт Вильгельм* (1767—1835) — немецкий ученый, философ, государственный деятель Пруссии, министр внутренних дел. Оба брата — близкие друзья еврейского философа М. Мендельсона.

⁵¹⁴ *Богров Дмитрий Григорьевич* (1888—1911) — внук писателя Г. Богрова, входил в различные революционные кружки. Убил П. Столыпина, председателя Комитета министров России. Казнен. См. о нем: Убийство Столыпина: Свидетельства и документы / Сост. А. Себреников. Рига, 1990.

⁵¹⁵ *Абрамович Всеволод Меирович* (1889—1913) — летчик, внук Менделя Мойхер-Сфорима, совершил первым перелет из Берлина в Петербург. В 1913 г. погиб в авиакатастрофе.

⁵¹⁶ *Эрлих Генрих Моисеевич* (1882—1942) — один из руководителей Бунда, после 1917 г. лидер еврейского рабочего движения в Польше. В 1939 г., после поражения Польши в войне с Германией, бежал в СССР, где был арестован и находился в тюрьме до конца 1941 г. Затем один из создателей Еврейского антифашистского комитета, но вскоре вновь арестован, погиб в тюрьме. Муж Софьи Дубновой, дочери С. М. Дубнова.

⁵¹⁷ *Айзенберг Лев Моисеевич* (1885—1940-е гг.) — петербургский адвокат, общественный деятель, входил в руководство Еврейской народной партии, сотрудник журнала «Еврейская неделя». В 1923—1926 гг. — редактор «Еврейской летописи». В 30—40-е гг. — консультант при Ленинградском городском суде.

⁵¹⁸ *Карташев Антон Владимирович* (1875—1960) — историк, философ, публицист, специалист по истории христианства, член ЦК Конституционно-демократической партии. С июня 1917 г. прокурор Синода. С 1920 г. в эмиграции. Активный сторонник равноправия евреев, автор ряда работ против антисемитизма. См., напр.: *Карташев А.* Избранные и помилованные // Шит. 2-е изд., доп. М., 1916.

⁵¹⁹ *Ефройкин Израиль Рафаилович* (1884—1954) — общественный деятель, входил в руководство Еврейской народной партии, публицист, писал под псевдонимом Эфрен, в то же время член сионистско-социалистической группы «Возрождение». С 1920 г. один из активистов еврейского национального движения в ряде стран Европы. С 1941 г. в Уругвае.

⁵²⁰ *Саратовский процесс.* — Ритуальный процесс по делу об исчезновении 3 декабря 1852 г. и 26 января 1853 г. двух христианских мальчиков. Еврейское население Саратова было подвергнуто судебным репрессиям, были конфискованы для экспертизы еврейские священные книги. Утвержденная в 1855 г. Особая комиссия рассматривала еврейские книги «с целью разъяснения тайных догматов религиозного изуверства евреев». В 1858 г. большинство подсудимых евреев были освобождены. Комиссия не нашла в еврейских книгах никаких доказательств употребления евреями христианской крови. Активную роль в защите арестованных играл Д. Хвольсон. См.: *Львович М.* Последняя позиция: Саратовское дело. СПб., 1912.

⁵²¹ *Короленко Владимир Галактионович* (1853—1921) — писатель, публицист, общественный деятель, последовательно выступал против антисемитизма, в поддержку требований предоставления гражданских прав евреям. Значительный общественный резонанс имел его очерк «Дом № 13. (Этюд из кишиневского погрома)». См.: *Вермель С. С.* Короленко и евреи. М., 1924.

⁵²² *Дубнов Яков Семенович* (1887—1957) — математик, окончил Новороссийский университет, социал-демократ, в 20—50-е гг. преподавал в вузах Москвы, с 1931 г. профессор МГУ. С 1952 по 1955 гг. работал в Сыктывкаре, где жила в ссылке его жена.

⁵²³ *Кальманович Самсон (Самуил) Еремеевич* — петербургский адвокат, общественный деятель. В 20-е гг. юрисконсульт Советской России в Эстонии, автор работ по истории политических репрессий в дореволюционной России.

⁵²⁴ *Радлов Василий Васильевич* (1837—1918) — востоковед, академик с 1884 г., директор Азиатского музея АН, позднее директор Музея антропологии и этнографии АН.

⁵²⁵ *Макаров Александр Александрович* (1857—1919) — юрист, государственный деятель, с 1906 по 1909 гг. товарищ министра внутренних дел, с 1909 по 1911 гг. государственный секретарь, с 1911 по 1912 гг. министр внутренних дел, в 1916 г. министр юстиции.

⁵²⁶ *Гинзбург Моисей Акимович* (1851—1936) — предприниматель, меценат, в конце XIX — нач. XX в. главный поставщик Тихоокеанской эскадры русского флота. После 1917 г. в эмиграции (сообщено А. Н. Пилипенко).

⁵²⁷ *Гессен Иосиф Владимирович* (1865—1943) — политический деятель, депутат Государственной Думы, один из создателей и руководителей Конституционно-демократической партии, редактор газеты «Речь». После 1917 г. в эмиграции в Германии. Автор мемуаров: «В борьбе за жизнь», «Годы изгнания», «В двух веках».

⁵²⁸ *Ганфман Максим Ипполитович* (1872—1932) — политический деятель, член руководителей Конституционно-демократической партии, петербургский адвокат, один из издателей газеты «Современное слово». После 1917 г. в эмиграции в Латвии, редактор выходившей в Риге газеты «Сегодня».

⁵²⁹ *Дело... кончилось осуждением обвиняемого на один год крепости.* — Номинальным редактором петербургской газеты «День», фактически органа социал-демократов-меньшевцев, был С. П. Скворцов, который в 1913 г. был осужден на один год за публикацию статьи С. Дубнова «Источники ритуальной лжи» (День. 22 сент. 1913).

⁵³⁰ *Как верная Рут за Боазом* — имеется в виду библейский рассказ о моавитянке Рурь — воплощении благородства и добродетели. В награду за праведный образ жизни она была вознаграждена замужеством с богатым жителем Вифлеема Боазом и долгожительством. Рурь считается прабабушкой царя Давида и прапрабабушкой царя Соломона.

⁵³¹ *Мережин Аврум* (1880—1937) — социал-демократ, активный деятель Бунда, после раскола партии в 1918 г. большевик, член руководства Еврейской секции РКП(б). Репрессирован.

⁵³² *Евсекция* — Еврейская секция РКП(б), существовавшая в 1918—1930 гг., была создана для руководства коммунистической деятельностью среди евреев, боролась с Бундом и сионистами. См.: *Эстрайх Г.* Еврейская секция Компартии // *Вестник Еврейского ун-та в Москве.* 1994. № 2 (6).

⁵³³ *Пен Самуил Самсонович* (1864—1925) — историк, публицист, автор ряда популярных книг по истории евреев. Экстерном в возрасте 45 лет окончила Новороссийский университет, жила в Одессе, где активно участвовал в еврейской общественной жизни и сионистском движении.

⁵³⁴ *Распутин Григорий Ефимович* (1872—1916) — авантюрист, приближенный царской семьи. См. о нем: *Симанович А.* Распутин и евреи: Воспоминания личного секретаря Г. Распутина. М., 1991.

⁵³⁵ *Коген Герман* (1842—1918) — философ, поддерживал ассимиляторское течение, одновременно выступал и против антисемитизма и против сионизма, автор классических трудов по философии иудаизма. См. о нем: *Шварц М.* Герман Коген как философ иудаизма // *Еврейский мир.* Париж, 1939; *Гурлянд А.* Герман Коген и его философское обоснование еврейства. Пг., 1915.

⁵³⁶ *Кауфман Фриц-Мордехай* (1881—1921) — историк, публицист, общественный деятель, сторонник сионизма, редактор газеты «Дер Фрейштат».

⁵³⁷ *Бланк Рувим Маркович (Моисеевич)* (1866—?) — химик, доктор философии, общественный деятель, публицист. В 1906 г. редактор газеты «Наша жизнь». В 1910 г. редактор журнала «Запросы жизни», один из основателей «Еврейской народной группы». В 1914—1918 гг. представитель евреев России в странах Антанты. После 1917 г. в эмиграции, сотрудник «Еврейской трибуны» в Берлине. В 30-е гг. во Франции.

⁵³⁸ *Каннегиссер Ахим (Иохим) Самуилович* (1860—1930) — инженер, общественный деятель, преподаватель Института инженеров путей сообщения в Петербурге, член правления ряда крупнейших заводов. Отец Леонида Каннегисера (см. коммент. 663). Арестовывался ВЧК в 1918 и 1921 гг. В эмиграции с 1924 г. См.: *Соколова Н.* Особняк в стиле барокко: Из истории семьи Каннегисеров // *Столица.* № 5. 1992.

⁵³⁹ *Пресс Алексей Александрович* (?—ум. в конце 1920-х гг.) — петербургский инженер и общественный деятель, председатель правления Общества гигиенических дешевых квартир для еврейского населения.

⁵⁴⁰ *Гиббон Эдуард* (1737—1794) — английский историк, создатель многотомного исследования «История упадка и разрушения Римской империи». В России этот труд был впервые издан в 1883—1886 гг.

⁵⁴¹ *Второй Севастополь, новый Мукден* — имеются в виду падение Севастополя в Крымской войне в 1855 г. и поражение русской армии под Мукденом в 1904 г. в ходе русско-японской войны, вслед за поражением в этих войнах в России происходил общественный подъем.

⁵⁴² *Керенский Александр Федорович* (1881—1970) — юрист, политический деятель, депутат Государственной Думы, глава Временного правительства. После 1918 г. в эмиграции. Автор мемуаров «Россия на историческом повороте» (М., 1993).

⁵⁴³ *Родзянко Михаил Владимирович* (1859—1924) — политический деятель, председатель IV Государственной Думы с 1911 г., один из руководителей партии «17 октября». С 1920 г. в эмиграции в Югославии. Автор мемуаров «Крушение империи» (М., 1992).

⁵⁴⁴ *Горемыкин Иван Логинович* (1840—1917) — государственный деятель, министр внутренних дел с 1895 по 1899 гг., председатель Совета министров в 1906 и в 1914—1916 гг. Был убит в своем имении около г. Сочи.

⁵⁴⁵ *Николай Николаевич* (1856—1929) — великий князь, генерал от кавалерии, председатель Совета государственной обороны в 1905—1908 гг., Верховный главнокомандующий в 1914—1915 гг., наместник на Кавказе в 1915—1917 гг. Позднее в эмиграции.

⁵⁴⁶ *Нисенбаум Соломон-Барух* (1866—1926) — историк, общественный деятель, автор серии монографий по истории евреев Польши.

⁵⁴⁷ *25 августа*. — Дата в тексте указана ошибочно.

⁵⁴⁸ *Клейнман Иосиф Александрович* — юрист, историк, общественный деятель, входил в ряд еврейских общественных и политических организаций (в том числе и в «Фолкспартей»), журналист, публицист. В 20-е гг. член руководства Еврейского Историко-этнографического общества, автор сборника «Еврейская летопись».

⁵⁴⁹ *Гринбаум Ицхак* (1879—1970) — врач, общественный деятель, сторонник сионизма, входил в руководство ряда еврейских политических организаций в Польше. В годы первой мировой войны жил в Петрограде, где издавал на идиш газету «Тогблат». В 1919—1930 гг. депутат польского сейма. С 1932 г. жил во Франции. С 1933 г. в Эрец-Исраэль.

⁵⁵⁰ *Via dolorosa* — имеется в виду дорога, по которой вели на распятие Иисуса Христа; букв.: «путь страданий» (лат.).

⁵⁵¹ *Tacito consensu* — по молчаливому согласию (лат.).

⁵⁵² *Соколов Николай Дмитриевич* (1870—1928) — петербургский адвокат, был близок к социал-демократам-меньшевикам, активный участник борьбы за равноправие евреев. Участник Февральской революции. В 20-е гг. юрисконсульт в государственных учреждениях Петрограда.

⁵⁵³ *Некрасов Николай Виссарионович* (1879—1940) — политический деятель, член Конституционно-демократической партии, депутат Государственной Думы, министр Временного правительства. Репрессирован в 30-е гг.

⁵⁵⁴ *Оболенский Александр Николаевич* (1872—1924) — генерал-майор, градоначальник Петрограда в 1914—1916 гг. Умер в Париже в эмиграции.

⁵⁵⁵ *Статья Леонида Андреева* — имеется в виду публицистический очерк «Первая ступень», направленный против антисемитизма. В дальнейшем издавался как отдельно, так и в различных сборниках и периодических изданиях. *Андреев Леонид Николаевич* (1871—1919) — писатель, в годы первой мировой войны выступал в защиту евреев, был одним из создателей Общества для изучения еврейской жизни, соредактором сборника «Щит». Общественное звучание имели его работа «О евреях» (Одесса, 1914) и др.

⁵⁵⁶ *Палестинские письма брата*. — Старший брат Дубнова — *Дубнов Зев* (*Вольф, Владимир*) (1858—1941), увлекшись идеями палестинофильства, в 1881—1884 гг. жил в Эрец-Исраэль, работал в сельскохозяйственных поселениях билуэцев и регулярно писал в Россию. В 1885 г. он вернулся в Россию, жил в Мстиславле, Одессе, Ростове, Херсоне, преподавал в еврейских школах, участвовал в деятельности Еврейского Историко-этнографического общества. После 1917 г. жил в Москве и работал библиотекарем. Его письма из Палестины опубликованы в «Еврейской старине» в 1915 г.

⁵⁵⁷ *Сазонов Сергей Дмитриевич* (1860—1927) — министр иностранных дел России (1910—1916), посол в Великобритании в 1917 г. После 1917 г. в эмиграции. Автор мемуаров «Воспоминания» (М., 1991).

⁵⁵⁸ *Русский Николай Владимирович* (1854—1918) — военный деятель, командующий различными фронтами в годы первой мировой войны. В 1918 г. расстрелян на Северном Кавказе как заложник.

⁵⁵⁹ *Трубецкой Евгений Николаевич* (1863—1920) — философ, профессор, общественный деятель.

⁵⁶⁰ *Максим Гофский (Пешков Алексей Максимович)* (1868—1936) — писатель, общественный деятель, последовательно выступал против антисемитизма. В годы первой мировой войны стал одним из создателей Общества для изучения еврейской жизни. Один из соредкторов сборника «Щит». Практически все творческое наследие М. Горького, связанное с ев-

рейскими проблемами, собрано в специальном сборнике: Из литературного наследия: Горький и еврейский вопрос / Авт.-сост. М. Агурский, М. Шкловская. Иерусалим, 1986.

⁵⁶¹ *Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич* (1863—1927) — писатель, в годы первой мировой войны входил в руководство Общества для изучения еврейской жизни. Один из соредкторов сборника «Щит».

⁵⁶² *Кускова Екатерина Дмитриевна* (1869—1958) — общественный деятель, публицист, последовательно выступала против антисемитизма. В годы первой мировой войны входила в руководство Общества для изучения еврейской жизни. Автор мемуаров: «В поисках права и справедливости» (Русские записки. 1938. Кн. 8—9); «Давно минувшее» (Новый журнал. 1955. Кн. 43; 1956. Кн. 44, 45, 47; 1958. Кн. 54).

⁵⁶³ *Калмыкова Александра Михайловна* (1849—1926) — общественный деятель, издатель. В годы первой мировой войны участвовала в работе Общества для изучения еврейской жизни.

⁵⁶⁴ *Чайковский Николай Васильевич* (1850—1926) — общественный и политический деятель, участник революционного движения с конца 60-х гг. XIX в. Многие годы провел в эмиграции в Великобритании. С начала XX в. в России, член Партии социалистов-революционеров, а позднее Партии народных социалистов. Участвовал в гражданской войне на севере России. С 1919 г. в эмиграции во Франции, а затем в Великобритании. См.: *Чайковский Н. В.* Религиозные и общественные искания: Воспоминания. Т. I. Париж, 1929.

⁵⁶⁵ *Засулич Вера Ивановна* — см. коммент. 70.

⁵⁶⁶ *Бомаш Меер Хаимович* (1861—?) — врач, окончил медицинский факультет Московского университета, работал врачом в Москве и Лодзи. С 1912 г. депутат IV Государственной Думы.

⁵⁶⁷ *Маклаков Николай Алексеевич* (1871—1918) — государственный деятель, министр внутренних дел в 1913—1915 гг. Расстрелян ВЧК.

⁵⁶⁸ *Варшавский Марк Абрамович* (1845—1922) — крупный предприниматель, общественный деятель, меценат. С конца 70-х гг. XIX в. активный участник еврейской общинной жизни в Петербурге, член руководства Общества просвещения среди евреев в России и Еврейского колонизационного общества, в годы первой мировой войны фактически, будучи председателем хозяйственного правления петербургской общины, руководил еврейской национальной жизнью в городе. В 1918—1921 гг. неоднократно подвергался арестам ВЧК.

⁵⁶⁹ *Янушкевич Николай Николаевич* (1868—1918) — военный деятель, в годы первой мировой войны начальник штаба Верховного главнокомандующего. См. о нем: *Нехенович С. Г.* Генерал от инфантерии Н. Н. Янушкевич: «Немецкую пакость уволить, и без нежестокости...» // Военно-исторический журнал. 1997. № 1.

⁵⁷⁰ *Гордон Исидор Максимович* (?—1930) — петербургский адвокат, помощник присяжного поверенного, сотрудник известного адвоката Н. П. Карабчевского.

⁵⁷¹ *Si je n'étais capitif j'aimerais ce pays* — если бы я не был пленником, я бы полюбил эту страну (франц.).

⁵⁷² *Игнатъев Павел Николаевич* (1870—1926) — государственный деятель, в 1915—1916 гг. министр просвещения. После 1917 г. в эмиграции.

⁵⁷³ *Хейндзе Николай Семенович* (1864—1926) — политический деятель, социал-демократ, депутат Государственной Думы. С февраля 1917 г. председатель Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Затем один из руководителей независимой Грузии. С 1921 г. в эмиграции во Франции.

⁵⁷⁴ *Дзюбинский Владимир Иванович* (1860—1927) — общественный деятель, депутат III и IV Государственной Думы, входил во фракцию трудовиков.

⁵⁷⁵ *Dies irae* — день гнева (лат.).

⁵⁷⁶ *Щербатов Николай Борисович* (1868—?) — государственный деятель, управляющий делами Министерства внутренних дел с июня по сентябрь 1915 г. После 1917 г. в эмиграции.

⁵⁷⁷ *Черту оседлости отменил Вильгельм.* — Выселение евреев из прифронтовой зоны и вынужденное их размещение вне черты оседлости привело к фактической ее ликвидации. *Вильгельм II* (1859—1945) — германский император в 1888 по 1918 гг.

⁵⁷⁸ *Ганнибал у ворот* — имеется в виду эпизод из истории Римской империи, когда в ходе 2-й Пунической войны (218—201 гг. до н. э.) армия Карфагена под командованием полководца Ганнибала, одержав ряд побед, вторглась на территорию Италии.

⁵⁷⁹ *Гран Моисей* (1867—1940) — врач по образованию, общественный деятель. С 1914 г. жил в Петрограде, позднее на преподавательской работе в вузах Москвы и Казани, с 1928 г. член правления Всероссийского Орта и правления ОЗЕТ.

⁵⁸⁰ *Заразился романтизмом Жаботинского* — имеется в виду замысел В. Жаботинского и И. Трумпельдора по созданию еврейских воинских подразделений в составе войск Антанты. См. об этом: *Жаботинский В.* Слово о полку. Иерусалим, 1983; *Патерсон Дж.* С еврейским отрядом в Галиполии. Пг., 1916.

⁵⁸¹ *Хвостов Алексей Николаевич* (1857—1918) — политический деятель, депутат IV Государственной Думы, в 1915—1916 гг. министр внутренних дел. Расстрелян ВЧК.

⁵⁸² *Совещание у М. Горького по поводу еврейского национального сборника* — видимо, речь идет о планировавшемся сборнике «Евреи в России».

⁵⁸³ *Рабби Леви Ицхак бен Меиш из Бердичева* (1740—1810) — хасидский цадик, философ, ученик Бешта и Дова Бера из Межирича. С 1785 г. раввин в Бердичеве.

⁵⁸⁴ *Энгель Юлий Дмитриевич* (1868—1927) — композитор, этнограф, участник фольклорных экспедиций Еврейского историко-этнографического общества по местечкам черты оседлости в начале XX в.

⁵⁸⁵ *Волконский Владимир Михайлович* (1868—1953) — депутат II и IV Государственной Думы, товарищ министра внутренних дел России в 1915—1917 гг. Позднее в эмиграции.

⁵⁸⁶ *Водовозов Василий Васильевич* (1864—1933) — юрист, экономист, общественный деятель, публицист, один из руководителей Партии народных социалистов. С 1922 г. в эмиграции в Германии и Чехословакии.

⁵⁸⁷ *Очерк «История еврейского солдата»* — имеется в виду работа С. М. Дубнова «История еврейского солдата: Исповедь одного из многих» (Пг., 1918).

⁵⁸⁸ *Quotit pars magna fui* — в чем и моя большая доля (лат.).

⁵⁸⁹ *Штормер Борис Владимирович* (1848—1917) — государственный деятель, министр внутренних дел, министр иностранных дел, в 1916 г. премьер-министр.

⁵⁹⁰ *Эйгер Яков Борисович* (1862—1932) — петербургский врач, общественный деятель, в 20-е гг. XX в. фактически возглавил еврейскую общину в Ленинграде.

⁵⁹¹ *Аджемов Моисей Сергеевич* (1878—1950) — политический деятель, член ЦК Конституционно-демократической партии, депутат II—IV Государственной Думы от области войска Донского. После 1917 г. в эмиграции во Франции.

⁵⁹² *Александров Александр Михайлович* (1868—?) — юрист, член Конституционно-демократической партии, адвокат на политических процессах начала XX в. (дело лейтенанта Шмидта, дело Выборгского воззвания, дело Новороссийской республики и др.), депутат IV Государственной Думы.

⁵⁹³ *Тривуш Иосиф-Илья* (1855—?) — писатель, поэт, публицист, переводчик.

⁵⁹⁴ *Рафес Моисей Григорьевич* (1883—1942) — политический деятель, один из руководителей Бунда до 1918 г., затем член РКП(б), активный деятель Евсекции. В 20—30-е гг. работал в иностранном отделе ТАСС. Репрессирован. Автор работ и воспоминаний о еврейском рабочем движении в России в частности: «Очерки по истории Бунда» (М., 1923); «Накануне падения гетманщины: Из переживаний 1918 г.» (Киев, 1919) и др.

⁵⁹⁵ *Семевский Василий Иванович* (1848—1916) — историк, автор работ по крестьянскому вопросу в России. В 1906 г. участвовал в создании Партии народных социалистов. Редактор журнала «Голос минувшего».

⁵⁹⁶ *Асквит Герберт Генри* (1852—1928) — политический деятель, руководитель Либеральной партии Великобритании, с 1888 по 1895 гг. министр внутренних дел, с 1908 по 1916 гг. премьер-министр.

⁵⁹⁷ *«Dixi et animat levavi»* — «Я сказал и тем облегчил душу» (лат.).

⁵⁹⁸ *Площадь большого театра* — нынешняя Театральная площадь.

⁵⁹⁹ *Протопопов Алексей Дмитриевич* (1866—1918) — политический и государственный деятель, октябрист, депутат III и IV Государственной Думы, в 1916—1917 гг. министр внутренних дел. Расстрелян ВЧК.

⁶⁰⁰ *Франц Иосиф* (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии с 1848 г., из династии Габсбургов, в 1867—1916 гг. император Австро-Венгрии.

⁶⁰¹ *Гершанович Янкель Юделевич* — бургомистр города Мариамполя. В 1915 г. был обвинен военными властями в содействии германской армии. На суде его защитником выступал

О. О. Грузенберг. Продолжительный процесс окончился оправдательным приговором. См.: Дело Гершановича с защитительной речью О. Грузенберга. М., 1917.

⁶⁰² *Снова разрушил храм вместе с Титом* — имеется в виду глава во «Всемирной истории евреев», в которой описывается окончание войны между Римом и Иудеей (66—73 гг.), завершившейся в 70 г. разрушением римскими войсками под командованием Тита Иерусалимского храма.

⁶⁰³ *Побывал в старой черте* — имеется в виду район Петербурга, который в XIX в. был местом традиционного поселения евреев и где располагались основные редакции еврейских периодических изданий и общественные организации. Это Садовая улица и прилегающие к ней районы от Сенной площади. См.: *Бейзер М.* Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1989; *Натанс Б.* За чертой: евреи, русские и «еврейский вопрос» в Петербурге (1855—1880) // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1994. № 2 (6).

⁶⁰⁴ *Стою на Адриане и Бар-Кохбе* — имеется в виду глава во «Всемирной истории евреев» с описанием событий, связанных с антиримским восстанием под руководством Бар-Кохбы (132—135 гг.) и подавлением его императором Адрианом.

⁶⁰⁵ *Morituri* — идущие на смерть (лат.).

⁶⁰⁶ *Дантон Жорж Жак* (1759—1794) — деятель Великой Французской революции, оратор, член Конвента и Комитета общественного спасения. Казнен крайними якобинцами 2 апреля 1794 г.

⁶⁰⁷ *Курлов Павел Григорьевич* (1860—1923) — государственный деятель, генерал-лейтенант, в разное время губернатор Курской, Минской и Киевской губерний, вице-директор, затем директор Департамента полиции, с 1909 по 1911 гг. — товарищ министра внутренних дел. Автор мемуаров: «Конец русского царизма» (М.; Пг., 1923) и «Гибель императорской России» (М., 1991).

⁶⁰⁸ *Голицын Николай Дмитриевич* (1850—1925) — государственный деятель, председатель Совета министров в 1916—1917 гг. Репрессирован ОГПУ.

⁶⁰⁹ *Скобелев Матвей Иванович* (1885—1939) — политический деятель, социал-демократ, депутат IV Государственной Думы, министр Временного правительства. После 1917 г. в эмиграции. В 1922 г. вступил в Компартию, вернулся в СССР, работал в государственных учреждениях. Репрессирован в 30-е гг.

⁶¹⁰ *Вандея* — ставшее нарицательным название местности во Франции, где в годы Великой Французской революции было оказано наиболее упорное сопротивление революционным войскам.

⁶¹¹ *Гредескул Николай Андреевич* (1864—1930-е гг.) — общественный деятель, до 1917 г. член Конституционно-демократической партии, профессор Политехнического института в Петербурге, депутат I Государственной Думы. В 20-е гг. преподавал в высших учебных заведениях, депутат Ленсовета.

⁶¹² *Сухомлинов Владимир Александрович* (1848—1926) — военный деятель, начальник Генерального штаба в 1908—1909 гг., военный министр в 1909 г. В 1916 г. арестован по обвинению в шпионаже. После 1917 г. в эмиграции в Германии.

⁶¹³ *Михаил Александрович* (1878—1918) — великий князь, сын Александра III, после отречения Николая II — формально император Михаил II, отказался от трона. В 1918 г. послан в Пермь и убит.

⁶¹⁴ *Львов Георгий Евгеньевич* (1861—1925) — политический деятель, депутат Государственной Думы, первый глава Временного правительства, с 1918 г. в Париже — глава Русского политического совещания (1918—1920).

⁶¹⁵ *Гучков Александр Иванович* (1862—1936) — политический деятель, руководитель партии «Союз 17 октября», депутат Государственной Думы, военно-морской министр Временного правительства. После 1917 г. в эмиграции. Автор мемуаров: «Александр Иванович Гучков рассказывает: Воспоминания» (М., 1993).

⁶¹⁶ «*Schehechajani lizman baze*» — «[Благодарим Его], что он дал нам дожить до этого» (ивр.).

⁶¹⁷ *Circulus vitiosus* — порочный круг, заколдованный круг (лат.).

⁶¹⁸ *Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович* (1879—1940) — политический и государственный деятель, публицист, активный участник революционного движения в России, социал-

демократ с 1896 г., до лета 1917 г. меньшевик, затем до 1925 г. один из руководителей РКП(б). Лидер оппозиции, в 1927 г. арестован и позднее выслан из СССР. Убит в Мексике. Автор мемуаров «Моя жизнь». Об отношении Л. Троцкого к еврейскому вопросу см.: *Рогович В. А. Д. Троцкий об антисемитизме // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1993. № 2.*

⁶¹⁹ *Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич* (1883—1936) — социал-демократ, большевик, после октября 1917 г. до 1925 г. возглавлял Петросовет, был членом Политбюро, затем перешел в оппозицию, исключен из ВКП(б). В 1934 г. арестован и затем казнен.

⁶²⁰ *Казан Вениамин Федорович* (1869—1953) — математик, общественный деятель, участник еврейского национального движения в Одессе, руководитель издательства «Матезис», профессор Одесского и Московского университетов, в 20-е гг. возглавлял отдел науки Госиздата РСФСР.

⁶²¹ *Non possumus* — не можем (лат.) (от слов апостолов Петра и Иоанна: «Не можем не говорить того, что видели и слышали»).

⁶²² *Илиодор (Труфанов Сергей)* (1881—1952) — иеромонах, в 1912 г. сложил с себя сан, публицист, противник Г. Распутина, автор книги «Святой черт» (Пг., 1917). Позднее в эмиграции. По некоторым данным, умер в Нью-Йорке, где работал служащим метрополитена.

⁶²³ *Джордж Генри* (1839—1897) — американский экономист, социолог, публицист, общественный деятель, автор теории единого прогрессивного налога на землю (национализации земли). Его книга «Прогресс и бедность» (СПб., 1896) была широко известна и популярна в России.

⁶²⁴ *Корнилов Лавр Георгиевич* (1870—1918) — генерал, участник русско-японской и первой мировой войн, с 19 июля по 27 августа 1917 г. главнокомандующий. Создатель Добровольческой армии.

⁶²⁵ *Nil admirari* — ничему не удивляться (лат.).

⁶²⁶ *Паткин Аарон* (1883—1950) — юрист, публицист, общественный деятель в Москве, с 1920 г. в эмиграции в Австралии. Сионист.

⁶²⁷ *Израильсон Яков Израилевич* (1856—1924) — востоковед, гебраист, окончил Петербургский университет, сотрудник «Восхода», редактор и комментатор изданий произведений Иосифа Флавия на русском языке. После 1917 г. в эмиграции в Бельгии.

⁶²⁸ *Каледин Алексей Максимович* (1861—1918) — военный деятель, атаман Войска Донского. Покончил с собой 29 января 1918 г.

⁶²⁹ *Бальфуровская декларация* — заявление Британии о поддержке конечной цели сионистского движения, принята в 1917 г. Названа именем английского государственного деятеля лорда Дж. Бальфура — британского министра иностранных дел. См. об этом: *Вейцман Х.* Выбор пути. Иерусалим, 1990.

⁶³⁰ *Воззвание Бонапарта 1799 г.* — Наполеон, начав свой восточный поход, призвал евреев оказать помощь его планам. За эту помощь он обещал воссоздание еврейского государства со столицей в Иерусалиме.

⁶³¹ *Духонин Николай Николаевич* (1876—1917) — военный деятель, генерал, Верховный главнокомандующий русской армии в 1917 г. Убит вместе с офицерами своего штаба в Могилеве солдатами после известий из Петрограда об октябрьских событиях. Выражение «отправить в штаб Духонина», т. е. убить, стало в годы гражданской войны нарицательным.

⁶³² *Готовят участь жирондистов.* — Большинство членов умеренной партии жирондистов, принимавшей активное участие в Великой Французской революции, стали жертвами террора со стороны их левых противников — якобинцев.

⁶³³ *Повторение сентябрьских убийств 1792 г.* — имеется в виду эпизод из истории Великой Французской революции периода якобинского террора, когда в тюрьмах были совершены массовые убийства заключенных — противников якобинцев.

⁶³⁴ *Урицкий Моисей Соломонович* (1873—1918) — социал-демократ, меньшевик, затем с лета 1917 г. большевик, после Октябрьской революции возглавлял ВЧК в Петрограде. Убит Л. Каннегисером, поэтом, участником еврейского национального движения (см. коммент. 663).

⁶³⁵ *Баши-бузуки* — нерегулярные части в составе турецкой армии, отличавшиеся особой жестокостью в отношении противников и мирного населения.

⁶³⁶ *Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович* (1879—1953) — политический деятель, государственный деятель, социал-демократ, большевик, нарком по делам национальностей с 1917 г. С 1922 г. Генеральный секретарь Компартии СССР.

⁶³⁷ *Димантиштейн Семен Маркович (Моисеевич)* (1886—1937) — окончил любавичскую иешиву, позднее социал-демократ. После 1917 г. один из создателей Евсекции РКП(б). С 1929 г. заведующий национальным сектором ЦК ВКП(б). С 1930 г. директор Института национальностей. Репрессирован.

⁶³⁸ *Добковский* — политический деятель, левый социалист-революционер, заместитель наркома по делам национальностей в первом советском правительстве. В 20-е гг. в эмиграции в Германии.

⁶³⁹ *Алексеев Михаил Васильевич* (1857—1918) — военный деятель, участник первой мировой войны, командующий фронтами, Верховный главнокомандующий в 1917 г.

⁶⁴⁰ *Тамерлан* (1336—1405) — государственный деятель, полководец, эмир крупного среднеазиатского государства со столицей в Самарканде, вел жестокие завоевательные войны с Ираном, государствами Закавказья, Индией, Золотой Ордой и Османской империей. Отличался абсолютной безжалостностью в отношении населения завоеванных стран.

⁶⁴¹ *Скоропадский Павел Петрович* (1873—1945) — генерал русской армии, гетман Украины с 29 января 1918 г. 14 декабря 1918 г. бежал в Германию. Позднее в эмиграции. Погиб в Германии во время бомбардировки в годы второй мировой войны.

⁶⁴² *Ниневия* — столица Ассирийского царства, пала и была разрушена мидийцами в 607—606 гг. до н. э.

⁶⁴³ *Курфин Александр Иванович* (1870—1938) — писатель, в 20—30-е гг. в эмиграции. Позднее вернулся в СССР. Еврейская тема не раз звучала в его творчестве; см., например, его произведения «Гамбринус», «Жидовка», «Звезда Соломона», «Суламифь», «Трус», «Свадьба» и др.

⁶⁴⁴ *Сперанский Валентин Николаевич* (1877—1957) — историк, философ, психолог, педагог и профессор С.-Петербургского университета.

⁶⁴⁵ *Яшунский Иосиф Владимирович* (1880—1943) — математик, переводчик, историк, сотрудник Орта, публицист, библиограф, составитель справочника «Еврейская периодическая печать в 1917 и 1918 гг.» (Пг., 1920), секретарь редакции «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. В 20—40-е гг. жил и работал педагогом в Литве и Польше. Погиб в Варшавском гетто.

⁶⁴⁶ *Заславский Давид Иосифович* (1880—1965) — один из руководителей Бунда в начале XX в., активный деятель правого крыла партии, журналист, публицист, историк. В 1934 г. вступил в ВКП(б) и стал одним из наиболее ортодоксальных сотрудников «Правды».

⁶⁴⁷ *Канторович Владимир Абрамович* (1886—1923) — деятель Бунда, публицист, историк, поэт. После 1917 г. один из руководителей Еврейского Историко-этнографического общества, автор работ по истории рабочего движения, мемуарист. См.: Бунд накануне Февральской революции // Еврейская летопись: Сб. 2. М.—Пг., 1924.

⁶⁴⁸ *Мы Архимеды при взятии Сиракуз.* — *Архимед* (287—212 гг. до н. э.) — математик, в годы 2-й Пунической войны принял активное участие в обороне Сиракуз. Легенда гласит, что в тот момент, когда вражеские солдаты ворвались в город и в дом Архимеда, он чертил геометрические фигуры и на вопрос одного из воинов, кто он такой, крикнул: «Не трогай моих кругов» («Noli tangere circulos meos!»), после чего был убит.

⁶⁴⁹ *Soirées d'Odessa* — одесские вечера (франц.).

⁶⁵⁰ *Бухбиндер Нахум* (1895—1940-е гг.) — историк, учился на Высших курсах востоковедения в Петрограде. После 1917 г. служил в Комиссариате по еврейским делам, редактировал коммунистические газеты на идиш. Автор серии работ по истории еврейского рабочего движения, опубликовал ряд исследований по истории еврейской литературы (см., напр.: «История еврейского рабочего движения в России» (Л., 1925); «Литературные этюды» (Л., 1927) и др.). Л. Леванде он посвятил работу «Л. О. Леванда по неизданным архивным материалам» (Пг., 1918).

⁶⁵¹ *Луначарский Анатолий Васильевич* (1875—1933) — политический деятель, с 1895 г. социал-демократ, после октября 1917 г. нарком просвещения.

⁶⁵² *Гринберг Захар (Зорак)* (1889—1949) — историк, журналист. С 1904 по 1914 гг. член Бунда. С 1917 г. в РКП(б), один из активных деятелей Евсекции. С 1927 г. работал в Московском университете и в Институте мировой литературы. Репрессирован.

⁶⁵³ *Карно Лазар Никола* (1753—1823) — французский политический деятель, полководец, реформатор французской армии, противник якобинского террора, в 1815 г., во время «Ста дней», министр внутренних дел, в дальнейшем в эмиграции.

⁶⁵⁴ «*Гехалуц*» — образованная в 1916 г. в России организация, объединившая еврейскую молодежь, стремившуюся к созданию в Палестине сельскохозяйственных поселений. Одним из ее руководителей был И. Трумпельдор, автор работы «Халуц, его сущность и ближайшие задачи» (СПб., 1918).

⁶⁵⁵ *Трумпельдор Иосиф* (1880—1920) — сионистский деятель, офицер русской армии, участник обороны Порт-Артура, пионер освоения Палестины, погиб при обороне поселения Тель-Хай. Национальный герой Израиля. В годы первой мировой войны вместе с В. Е. Жаботинским создал и руководил еврейским подразделением в составе Британской армии. После 1917 г. в России создавал отряды еврейской самообороны. С 1919 г. в Эрец-Исраэль.

⁶⁵⁶ *Железняк и Гонта* — лидеры украинского антипольского освободительного движения XVIII в., сопровождавшегося массовым уничтожением еврейского населения.

⁶⁵⁷ *Слуцкий Авраам-Яков* (1861—1918) — писатель, публицист, общественный деятель, участник сионистского движения. В юности учился в иешиве Мстислава у Бен-Циона Дубнова. С начала 80-х гг. XIX в. печатался в русско-еврейской периодической печати и в идишистской прессе. Участвовал в создании «Мизрахи». Убит во время погрома в Новгороде-Северском.

⁶⁵⁸ *Воладарский В. (Гольдштейн Моисей Маркович)* (1891—1918) — социал-демократ, член Бунда, сторонник меньшевистского крыла в РСДРП. С 1917 г. большевик; с декабря 1917 г. комиссар по делам печати «Северной Коммуны», редактор «Красной газеты», член ВЦИК. Один из наиболее активных большевистских ораторов и публицистов 1917—1918 гг. Убит в результате террористического акта.

⁶⁵⁹ *Via dolorosa* — см. коммент. 550.

⁶⁶⁰ *Morituri* — идущие на смерть (*лат.*).

⁶⁶¹ *Посол Мирбах убит эсерами* — имеется в виду так называемый «левоэсеровский мятеж», в ходе которого эсеровские боевики во главе с Я. Блюмкиным убили германского посла в Москве В. Мирбаха (1871—1918). См. об этом: *Фельштинский Ю. Г.* Большевики и левые эсеры: октябрь 1917—июль 1918. Париж, 1985.

⁶⁶² *Уличная «Красная газета» маратовского типа.* — Ж.-П. Марат (см. коммент. 665) издавал в период революции газету «Друг народа», со страниц которой призывал к беспорядочному террору ко всем инакомыслящим.

⁶⁶³ *Каннегисер Леонид Иохимович* (1896—1918) — поэт, общественный деятель, сын известного петербургского инженера И. С. Каннегисера (см. коммент. 538) и племянник Я. А. Сакера. В годы первой мировой войны учился в Петербургском политехническом институте, входил в молодежную сионистскую организацию. С весны 1917 г. юнкер Михайловского артиллерийского училища, один из руководителей Союза юнкеров-социалистов, член Трудовой народно-социалистической партии. После октября 1917 г. участвовал в антибольшевистском подполье. 30 августа 1918 г. убил председателя ВЧК Петрограда М. Урицкого; казнен. Первоначально следствие по его делу пыталось обвинить А. Каннегисера в том, что он убил Урицкого по заданию сионистов (см.: *Литвин А. Л.* Красный и белый террор в России // Отечественная история. 1993. № 6). См. о нем: *Леонид Каннегисер: Сб.* Париж, 1928; *Морев Г. А.* Из истории русской литературы 1910-х гг.: К биографии А. Каннегисера // *Минувшее.* Т. 16. М.; СПб., 1994.

⁶⁶⁴ *Каплан Фанни (Фейга Хаимовна Ройтблат)* (1888—1918) — участник революционного движения в России, анархистка. С 1907 по 1917 гг. в тюрьмах и в ссылке в Сибири. В 1918 г. арестована в Москве по обвинению в покушении на Ленина и казнена. См. о ней: *Орлов Б.* Миф о Фанни Каплан // *Источник.* 1993. № 2; *Дело Фанни Каплан / Сост. А. Л. Литвин.* Казань, 1995.

⁶⁶⁵ *Марат Жан-Поль* (1743—1793) — в период Великой Французской революции один из вождей якобинцев, сторонник и пропагандист самых жестоких методов подавления политических противников. Убит Шарлоттой Корде.

⁶⁶⁶ *Петровский Григорий Иванович* (1878—1958) — социал-демократ, большевик, депутат IV Государственной Думы. С ноября 1917 по март 1919 гг. нарком внутренних дел. С декабря 1919 по февраль 1920 гг. председатель Всеукраинского Ревкома. В 20—30-е гг. партийный

и государственный деятель. В конце 30-х гг. отстранен от политической жизни, работал заместителем директора Музея революции в Москве.

⁶⁶⁷ *Берман Лазарь Васильевич* (1894—1980) — поэт, прозаик, педагог, автор научно-популярных книг по истории техники. В 1917—1921 гг. член Партии социалистов-революционеров. (Сообщено В. Н. Сажиним.)

⁶⁶⁸ *Троцкий говорит о «крови и железе», подобно Бисмарку* — имеется в виду высказывание канцлера Пруссии Бисмарка о необходимости объединения Германии «кровью и железом».

⁶⁶⁹ *Вильсон Томас Вудро* (1856—1924) — политический деятель, президент США 1913—1924 гг. В 1918 г. выдвинул программу мира после первой мировой войны («Четырнадцать пунктов»).

⁶⁷⁰ *Зангвил Израэл (Исраэль)* (1864—1926) — политический деятель, участник сионистского движения, делегат сионистских конгрессов, писатель, публицист, один из руководителей еврейского общественного движения в Англии, с конца 90-х гг. XIX в. сионист, сторонник угандийского проекта. Основные его художественные произведения вошли в «Собрание сочинений». Т. 1—4 (М., 1910—1911).

⁶⁷¹ *Трульстра Питер Йеллес* (1860—1930) — политический деятель, с 1894 г. руководитель Социал-демократической рабочей партии Нидерландов, один из лидеров Социалистического Интернационала.

⁶⁷² *«Tusculanae Disputationes» Цицерона* — «Тускуланские беседы», одно из произведений выдающегося римского оратора, философа и государственного деятеля М. Т. Цицерона (106—43 до н. э.), направленное против тирании, в защиту демократии.

⁶⁷³ *Моцкин Лео (Лев Ефимович)* (1867—1934) — деятель сионистского движения, учился в Берлинском университете, делегат сионистских конгрессов, историк, публицист. В 1925—1933 гг. возглавлял исполком Всемирной сионистской организации.

⁶⁷⁴ *Гинденбург Пауль* (1847—1934) — германский военный и политический деятель. В 1914—1915 гг. командовал Восточным фронтом, затем начальник Генерального штаба. С 1925 г. президент Веймарской республики. Автор мемуаров «Воспоминания» (Пг., 1920).

⁶⁷⁵ *Людендорф Эрих* (1865—1937) — германский военный деятель, участник решающих сражений первой мировой войны. Автор мемуаров «Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг.» (Т. 1—2. М., 1923).

⁶⁷⁶ *Лисовский Моисей Ионович* (1887—1938) — журналист, публицист, в 1918—1921 гг. заместитель В. Володарского (см. коммент. 658), а затем, после его смерти, комиссар по делам печати и пропаганды «Северной Коммуны», редактор «Красной газеты». Репрессирован.

⁶⁷⁷ *Варфоломеевская ночь* — массовое убийство гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (праздник св. Варфоломея), произошедшее в Париже и некоторых других городах Франции. Эпизод религиозных войн во Франции XVI в. Символ массового убийства мирного населения.

⁶⁷⁸ *Флейтман Илья Михайлович* — владелец типографии в Петербурге.

⁶⁷⁹ *Брантинг Карл Яльмар* (1860—1925) — руководитель Шведской социал-демократической партии, государственный деятель. В 1917—1918 гг. министр финансов, а затем, до 1925 г., премьер-министр.

⁶⁸⁰ *Петлюра Симон Васильевич* (1879—1926) — украинский политический деятель, с начала XX в. участвовал в национальном и социалистическом движении. В 1918 г. глава Центральной Рады и Украинской народной республики. С ноября 1918 г. глава Украинской Директории. В 1920 г. эмигрировал. Убит в Париже в отместку за еврейские погромы, производимые его войсками на Украине в 1918—1920 гг. См.: *Красный П.* Трагедия украинского еврейства. Харьков, 1928.

⁶⁸¹ *Людовик Святой* (1214—1270) — король Франции с 1226 по 1270 гг. Организатор и участник 7-го и 8-го крестовых походов.

⁶⁸² *Поляков Яков Соломонович* (1832—1909) — финансист, организатор железнодорожного строительства в России, основатель и владелец ряда крупных банков, вице-председатель С.-Петербургского отделения Еврейского колонизационного банка. См. о нем: *Семья Поляковых*. М., 1995.

⁶⁸³ *Протпер Станислав Максимилианович* (1855—1931) — предприниматель, публицист, издатель «Биржевой газеты» и журнала «Огонек».

⁶⁸⁴ Они вскоре выпустили большой том актов. — Имеется в виду издание: Казенные еврейские училища: Описание дел бывшего архива Министерства народного просвещения / Под ред. С. Г. Лозинского; вступ. ст. С. М. Гинзбург. Пг., 1920.

⁶⁸⁵ Кулишер Иосиф Михайлович (1878—1934) — историк, правовед, экономист, общественный деятель. После 1917 г. преподаватель вузов Петрограда—Ленинграда.

⁶⁸⁶ Штейнберг Аарон Захарович (1891—1975) — философ, в 20—30-е гг. сотрудничал в сионистских учреждениях Европы. Автор мемуаров «Друзья моих ранних лет: 1911—1928» (Париж, 1987).

⁶⁸⁷ Гинзбург (Гинцбург) Илья Яковлевич (1859—1939) — скульптор, ученик и последователь М. Антокольского. В 1878—1886 гг. учился в Петербургской Академии художеств. Автор многих скульптурных работ, в том числе и на еврейские темы. Автор мемуаров: «Из моей жизни» (СПб., 1908); «Из прошлого» (Л., 1924).

⁶⁸⁸ Маймон Моисей Львович (1860—1924) — художник, окончил Академию художеств в Петербурге, преподавал историю искусства в Еврейском университете в Петрограде. Автор серии картин на темы из еврейского быта и на библейские сюжеты, альбомов: «Женщины Библии» (СПб., 1899); «Мужчины Библии» (СПб., 1898); «Художественный литературный альбом» (СПб., 1900). См. также его воспоминания «Из истории одной картины» (Еврейская летопись: Сб. 1. Пг.; М., 1923).

⁶⁸⁹ Розовский Соломон (Шломо) (1878—1962) — композитор, музыковед, педагог. Выпускник Петербургской консерватории. Один из создателей Общества еврейской народной музыки в России. С 1920 г. жил в Латвии. С 1925 г. в Эрец-Исраэль. С 1947 г. в США.

⁶⁹⁰ Эльяшев Исраэль-Исидор (Баал-Махшовес) (1873—1924) — врач, литературовед, критик, публицист, общественный деятель, сторонник сионизма.

⁶⁹¹ Гурлянд (Эльяшевич) Эсфирь — общественный деятель, в 1918—1919 гг. редактор «Бюллетеня Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России», преподавала в Еврейском университете в Петрограде в 1919 г. Позднее в эмиграции в Литве.

⁶⁹² Лазерсон Максим (Моисей) Яковлевич (1887—1952) — юрист, социолог, окончил Петербургский университет, социал-демократ, член Бунда, позднее поалей-сионист. После 1917 г. эмигрировал в Латвию, депутат сейма. Позднее профессор социологии в университетах США. Автор мемуаров «В советском лабиринте» (Париж, 1932).

⁶⁹³ Гольдберг Григорий Абрамович (1869—1922) — петербургский адвокат, общественный деятель, член Конституционно-демократической партии и Еврейской народной группы. В 1921 г. арестован ВЧК, погиб в 1922 г. в результате несчастного случая.

⁶⁹⁴ Шейдеман Филипп (1865—1939) — немецкий социал-демократ, государственный деятель. В 1918 г. глава правительства Веймарской республики. Эберт Фридрих (1871—1925) — немецкий социал-демократ, президент Германии после революции в ноябре 1918 г.

⁶⁹⁵ Версальский договор 1871 г. — договор, который подписала Франция после поражения в войне с Пруссией.

⁶⁹⁶ Нигер Шмуэль (Шмуэль Чарни) (1883—1955) — критик, публицист, член Партии сионистов-социалистов. В 1919 г. эмигрировал в США, работал в газете «Тог» и ИВО.

⁶⁹⁷ Яффе Лев Борисович (1876—1948) — поэт, общественный деятель, активный участник сионистского движения, делегат конгрессов, редактор выходившей в 1916—1918 гг. в Москве газеты «Еврейская жизнь» и сборника «Сафрут». С 1919 г. в Эрец-Исраэль.

⁶⁹⁸ Петерс Яков Христофорович (1886—1938) — социал-демократ, затем большевик, с декабря 1917 г. председатель Ревтрибунала, заместитель председателя ВЧК, в 1919 г. чрезвычайный комиссар Петрограда, позднее член ВЦИК и ЦИК СССР. Репрессирован.

⁶⁹⁹ Раппопорт А. (1862—1928) — деятель сионистского движения в России, издатель, в 1917—1919 гг. один из владельцев петроградского издательства «Кадима».

⁷⁰⁰ Гепштейн Соломон (Шломо) (1882—1961) — деятель сионистского движения, член ЦК Сионистской партии в России, в 1917—1919 гг. в Петрограде входил в руководство издательства «Кадима». В 20-е гг. редактор журнала «Рассвет» — органа сионистов, выходившего в Берлине.

⁷⁰¹ Зайденман Арнольд (1880—1927) — юрист, общественный деятель, участник сионистского движения в России, член редколлегии журналов «Еврейская жизнь» и «Рассвет», делегат сионистских конгрессов. После 1917 г. не раз подвергался арестам со стороны ВЧК—ОГПУ.

⁷⁰² *Национальный центр (Тактический центр)* — объединение нескольких антибольшевистских подпольных организаций во главе с активными деятелями Партии кадетов и Партии народных социалистов Н. Н. и Д. М. Щепкиными, А. И. и В. А. Астровыми, К. К. Черновситовым и другими. Члены организации арестованы и многие казнены в 1920 г. См.: Красная книга ВЧК. Т. 2. М., 1989.

⁷⁰³ *Розенфельд Морис (Моше-Яков-Алтер)* (1862—1923) — поэт, писал на идиш. Наиболее известное его произведение — цикл стихотворений «Песни гетто».

⁷⁰⁴ *Платонов Сергей Федорович* (1860—1933) — историк, специалист по истории России, академик, автор классических трудов по истории средних веков. В 20-е гг. — директор Пушкинского дома в Ленинграде, председатель Археографической комиссии. В 30-е гг. арестован ОГПУ по так называемому «академическому делу». Умер в ссылке.

⁷⁰⁵ *Карсавин Лев Платонович* (1882—1952) — философ, историк, профессор Петербургского университета. С 1922 г. выслан из РСФСР, профессор университета в Каунасе (Литва). Арестован в 1949 г. Умер в заключении. В 20-е гг. участвовал в полемике по проблемам русско-еврейских отношений, см. его статью «Россия и евреи» (Версты. Париж, 1928. № 3; Еврейский журнал. Мюнхен, 1992).

⁷⁰⁶ *Дружинин Василий Григорьевич* (1859—1937) — историк, археограф.

⁷⁰⁷ *Блинов Иван Андреевич* — историк, до 1917 г. обер-секретарь Сената, позднее сотрудник Исторического архива в Петрограде. Автор исследований: «Губернаторы» (СПб., 1905), «Судебная реформа 1864 г.» (Пг., 1914) и др.

⁷⁰⁸ *Мартов Лев (Цедербаум Юлий Осипович)* (1878—1923) — политический деятель, социал-демократ, меньшевик, внук А. О. Цедербаума, в конце XIX в. участвовал в еврейском рабочем движении в Вильно, позднее был в стороне от национального движения. Умер в эмиграции в Германии. Автор мемуаров «Записки социал-демократа» (Берлин, 1924). См. о нем: *Урлов И. Х.* Ю. О. Мартов: политик и историк (М., 1997); Мартов и его близкие: Сб. / Сост. Г. Я. Аронсон и др. Н.-Й., 1959.

⁷⁰⁹ *Острогорский Моисей Яковлевич* (1854—1921) — юрист, историк, публицист, общественный деятель, педагог, автор многочисленных популярных работ по истории России и юридических справочников. Депутат I Государственной Думы. См. о нем: Деятельность М. Я. Острогорского в Первой Государственной думе. СПб., 1906.

⁷¹⁰ *Волковичский Николай Моисеевич* (1881—после 1941) — журналист. В 1920 г. секретарь Комиссии для исследования ритуальных процессов. В 1922 г. выслан из Советской России, жил в Польше и Германии.

⁷¹¹ *Велижский процесс 1823—1835 гг.* — Дело по обвинению группы евреев в убийстве христианского ребенка с ритуальной целью. После многолетнего разбирательства и тюремного заключения все оставшиеся в живых обвиняемые были оправданы. См. об этом: *Гессен Ю. И.* Велижская драма: Из истории обвинений евреев в ритуальных преступлениях. СПб., 1904.

⁷¹² *Литваков Моше* (1875—конец 1930-х гг.) — публицист, критик, политический деятель, в начале XX в. член Партии сионистов-социалистов. В 1919 г. вошел в левое крыло Бунда — Комбунд. С 1921 г. член РКП(б). Редактор «Эмес» и один из руководителей Евсекции. В 1937 г. репрессирован.

⁷¹³ *Пайн Г. (Макс)* (1866—1928) — американский общественный деятель, активист рабочего движения в США. Родился в России. Секретарь Организации еврейских рабочих США, после первой мировой войны, в 1920 г., по поручению Джойнта, посетил Украину для обследования положения евреев.

⁷¹⁴ *Лилина Злата Ионовна* (1882—1929) — политический деятель, публицист, член РСДРП с 1902 г. Жена Г. Е. Зиновьева. После 1917 г. занимала руководящие посты в области народного образования в Петрограде. Автор многочисленных книг и пособий по детскому воспитанию.

⁷¹⁵ *Пергамент Михаил Яковлевич* (1866—1932) — юрист, профессор Петербургского университета. В 1919 г. арестовывался ВЧК. Позднее преподаватель высших учебных заведений.

⁷¹⁶ *Рашковский Н.* — журналист, издатель, составитель сб. биографий «Современные русско-еврейские деятели» (Вып. 1. Одесса, 1899).

⁷¹⁷ *Мыш Михаил Игнатьевич* (1846—1920-е гг.) — юрист, издатель, автор и составитель юридических пособий, в том числе и «Руководства к русскому законодательству о евреях» (СПб., 1890).

⁷¹⁸ *Урванцев Лев Николаевич* (1865—1929) — драматург, писатель. Эмигрировал в Германию в 1920 г.

⁷¹⁹ *Мерц (Мертц) Николай Федорович* (1856—1938) — публицист, редактор иллюстрированных приложений к журналам «Север», «Весна», «Народ и земля», «Домашняя библиотека».

⁷²⁰ *Молодая русская поэтесса Гл...* — Возможно, имеется в виду *Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна* (1885—1945) — актриса, художница, поэтесса, переводчица. В 1925 г. эмигрировала во Францию. См. о ней: *Мок-Бихер Э.* Коломбина десятых годов. Париж; СПб., 1993.

⁷²¹ *Зеликсон А. С.* — заведующий школьным отделом Наркомата просвещения «Северной Коммуны» в 1918—1920 гг.

⁷²² *Кристи Михаил Петрович* (1875—1956) — юрист, уполномоченный Наркомпроса в Петрограде с 1918 по 1926 гг., позднее один из руководителей Главнауки.

⁷²³ *Такой же вопрос волновал поэта Л. Гордона* — имеется в виду известное стихотворение Л. Гордона «Для кого я говорю?».

⁷²⁴ *Клебанов Яков* (1887—1966?) — политический деятель, публицист, активный участник сионистского движения в России. Окончил юридический факультет Петербургского университета, учился в университетах Германии и Швейцарии. В начале XX в. руководил сионистским движением среди студентов России, редактировал журнал «Еврейский студент», делегат сионистских конгрессов. С 1921 г. в Эрец-Исраэль, общественный и политический деятель, депутат кнессета.

⁷²⁵ *Соловейчик Менахем* (1883—1957) — историк, общественный деятель, участник сионистского движения, публицист, окончил исторический факультет Петербургского университета, печатался в журналах «Еврейская жизнь», «Рассвет». В период создания независимого Литовского государства был министром по еврейским делам в первых правительствах. В 20-е гг. возглавлял «Поалей Цион» Литвы. С 1933 г. в Эрец-Исраэль, занимался научной и общественной деятельностью.

⁷²⁶ *10 января.* — Дата в тексте указана ошибочно.

⁷²⁷ *Амфитеатров Александр Валентинович* (1862—1938) — писатель, в годы первой мировой войны поддерживал деятельность В. Жаботинского по созданию еврейского отряда в составе Британской армии, после 1917 г. в эмиграции. Видимо, имеется в виду текст антибольшевистского выступления А. В. Амфитеатрова в 1919 г. на обеде в Петрограде в честь приезда Г. Уэллса.

⁷²⁸ *Уэллс Герберт* (1866—1946) — английский писатель, посетил Советскую Россию в 1921 г., где встречался с рядом политических и общественных деятелей.

⁷²⁹ *Захс Максим Григорьевич* — петербургский врач, общественный деятель начала XX в.

⁷³⁰ *Кузьмин Николай Николаевич* (1883—1939) — политический деятель, член РСДРП с 1903 г., участник гражданской войны. В 1921 г. комиссар Балтийского флота. Во время кронштадтского восстания был арестован восставшими. Позднее на партийной и военной работе. Репрессирован в конце 30-х гг.

⁷³¹ *Чернов Виктор Михайлович* (1876—1952) — политический деятель, публицист, философ, один из основателей и руководителей Партии социалистов-революционеров, министр земледелия в 1917 г. После 1918 г. в эмиграции. Автор мемуаров: «Записки социалиста-революционера» (Берлин, 1922); «Перед бурей» (М., 1993).

⁷³² *Вайнбаум (Вейнбаум) Эриестина Львовна* — литератор, переводчик.

⁷³³ *Impetus* — натиск, порыв, увлечение (лат.).

⁷³⁴ *Тогда придется обратиться к Ленину.* — Письмо Ленину не было отправлено и впервые опубликовано М. Бейзером: «An Unsent Letter from Simon Dubnow to Lenin» (Jews in the Eastern Europe. Jerusalem: The Hebrew University. 1994. Summer. N 2 (24)).

⁷³⁵ *Fuit Troja* — были мы, троянцы (лат.); выражение употребляется в значении: это уже в прошлом, ушло безвозвратно.

⁷³⁶ *Струве Петр Бернгардович* (1870—1944) — политический и общественный деятель, публицист. В 90-е гг. XIX в. — «легальный марксист», затем член Конституционно-демократической партии. Депутат II Государственной Думы. В годы гражданской войны член правительства на территориях, занятых белогвардейскими войсками. С 1920 г. в эмиграции, издатель и редактор ряда периодических изданий, автор трудов по философии и экономике.

В еврейском вопросе, отстаивая принципы равноправия, был в то же время сторонником полной ассимиляции. Его точка зрения по этой проблеме изложена в статье «Великая Россия» в сборнике «Патриотика» (СПб., 1911).

⁷³⁷ *Покровский Михаил Николаевич* (1868—1932) — политический деятель, историк, социал-демократ, затем член РКП(б). После 1917 г. заместитель наркома просвещения. Автор работ по истории России.

⁷³⁸ *Таганцев Владимир Николаевич* (1889—1921) — географ, биолог, преподаватель Петербургского университета. Расстрелян вместе с женой по обвинению в участии в контрреволюционной организации, так называемом «Союзе возрождения». Реабилитирован в 1990 г. Его отец: *Таганцев Николай Степанович* (1843—1923) — юрист, академик, государственный деятель.

⁷³⁹ *Комитет помощи голодающим* — всероссийская общественная организация, ряд членов которой были активными политическими деятелями либеральных и демократических партий России (Н. М. Кишкин, Ф. А. Головин, С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова). Ликвидирован ОГПУ.

⁷⁴⁰ *Лазаревский Николай Иванович* (1868—1921) — юрист, педагог, профессор Петербургского университета.

⁷⁴¹ *Гумилев Николай Степанович* (1886—1921) — поэт, путешественник, в годы первой мировой войны офицер действующей армии, в 1918—1921 гг. лектор, возглавлял ряд литературных объединений.

⁷⁴² *Оля, приехавшая утром из Сибири.* — *Дубнова Ольга Семеновна* (1886—1944) — экономист, вышла замуж за М. Иванова участника революционного движения 1905 г., позднее служащего фирмы резиновых изделий в Вильно. В годы гражданской войны М. Иванов в Красной Армии, умер в 1921 г. О. С. Дубнова в 20—30-е гг. жила в Ленинграде, умерла в эвакуации.

⁷⁴³ *Ремизов Алексей Николаевич* (1877—1957) — писатель. С 1921 г. в эмиграции в Германии и Франции.

⁷⁴⁴ *Морозов Николай Александрович* (1854—1946) — участник революционного движения 70-х гг. XIX в. Более 20 лет, до 1905 г., провел в заключении, позднее ученый, публицист. Автор мемуаров «Повести моей жизни» (Т. 1—2. М., 1965).

⁷⁴⁵ *Балтрушайтис Юргис Казимирович* (1893—1944) — поэт, первый посол Литвы в Советской России. Помог С. М. Дубнову эмигрировать в Литву.

⁷⁴⁶ *Кареев Николай Иванович* (1850—1931) — историк, профессор Варшавского и Петербургского университетов. С 1910 г. чл.-корр. АН. Автор работ по истории Франции и Польши. В годы первой мировой войны участвовал в деятельности Общества для изучения еврейской жизни.

⁷⁴⁷ *Айзман Давид Яковлевич* (1869—1922) — писатель, драматург, один из первых еврейских авторов, чьи произведения, написанные на русском языке, пользовались популярностью у современников.

⁷⁴⁸ *Ватсон Мария Валентиновна* (урожденная Де Роберти де Кастро де ла Серда) (1848—1932) — переводчица, поэтесса, литературовед, близкий друг и душеприказчица поэта С. Надсона.

⁷⁴⁹ *В Берлине... черносотенные русские офицеры покушались на Милюкова и убили Набокова...* — Покушение на П. Н. Милюкова в 1922 г. в Берлине было осуществлено офицерами белой армии. Один из покушавшихся — Шабельский-Борк, сын Е. Шабельской, автора многочисленных антисемитских романов. *Набоков Владимир Дмитриевич* (1869—1922) — юрист, политический деятель, один из лидеров Конституционно-демократической партии, депутат I Государственной Думы. Входил в состав Временного правительства. После 1917 г. в эмиграции. Убит 28 мая 1922 г. в Берлине правыми террористами во время покушения на П. Н. Милюкова.

⁷⁵⁰ *Ллойд-Джордж Дэвид* (1863—1948) — политический и государственный деятель, лидер Либеральной партии Великобритании, премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг. Автор воспоминаний: «Военные мемуары» (Т. 1—6. М., 1934—1938); «Правда о мирных договорах» (Т. 1—2. М., 1957).

К тому III

⁷⁵¹ *Генуэзская конференция* — международная конференция по экономическим и финансовым вопросам, проходившая в Генуе (Италия) в апреле—мае 1922 г.

⁷⁵² *Файнлейб* — в 20-е гг. представитель Орта в Эстонии.

⁷⁵³ *Айзенштадт Г. Х.* (1885—?) — раввин, в 1918—1919 гг. глава Национального политического комитета Эстонии; в 20-е гг. руководитель Культурного совета евреев Эстонии; в 1927—1940 гг. — верховный раввин Эстонии.

⁷⁵⁴ *Лулов М.* — в 1920-е гг. один из руководителей сионистского движения в Латвии.

⁷⁵⁵ *Нурок Мордехай* (1879—1962) — раввин Митавы (Латвия), с 1915 г. в Петербурге. В 1917 г. создал партию «Масорет» («Традиция и свобода»). В 1921 г. вернулся в Латвию. Деятель сионистского движения в Латвии, в 20-е гг. депутат сейма. Член партии «Мезрахи». В 1941 г. арестован НКВД. В 1945 г. эмигрировал в Швецию. С 1947 г. в Израиле, депутат кнессета.

⁷⁵⁶ *Гельман Яков* (1880—1950) — политический деятель, публицист, в 20-е гг. депутат сейма Латвии от еврейского населения, редактор выходивших в Риге на идиш газет «Дос Фоак» и «Дер Вег».

⁷⁵⁷ *Вассерман* — врач, в 20-е гг. один из руководителей сионистского движения в Латвии.

⁷⁵⁸ *Левитис Залман* — инженер, общественный деятель, в 20-е гг. сотрудник Министерства просвещения Латвии.

⁷⁵⁹ *Ландау Яков* — инженер по образованию, общественный деятель, в 20-е гг. директор Еврейского департамента Министерства просвещения Латвии.

⁷⁶⁰ *Полоцкий В.* — в начале XX в. жил в Петербурге, учился на Курсах востоковедения. В 20-е гг. служил в Еврейском департаменте Министерства просвещения Латвии.

⁷⁶¹ *Вольдемарас Август (Августинас)* (1883—1942) — политический деятель, публицист, в 1914—1918 гг. преподаватель Петроградского университета. С 1918 г. политический и государственный деятель Литвы, в 1918-м и 1926—1929 гг. глава правительства. В 1920—1926 гг. профессор университета в Каунасе. В 1940 г. арестован НКВД, погиб в заключении.

⁷⁶² *Штиф Нахум (Баал-Димсион)* (1879—1933) — литературовед, филолог, специалист в области идишской литературы, публицист, член Европейской социалистической рабочей партии и Народной партии. В начале 20-х гг. преподавал в Литве. В 1926 г. вернулся в СССР. Работал в Киеве в Институте еврейской культуры. В начале 30-х гг. изгнан из института, обвиненный в «буржуазности» и «национализме».

⁷⁶³ *Черников* — возможно, *Черников Марк Яковлевич* — врач по образованию, публицист, противник сионизма. После 1917 г. в эмиграции.

⁷⁶⁴ *Чериковер Илья (Элиас)* (1881—1943) — историк, общественный деятель, в 20-е гг. руководитель еврейского отдела в русском издательстве «Грани» в Берлине. В 30-е гг. эмигрировал в США. Один из создателей Института еврейских исследований в Нью-Йорке.

⁷⁶⁵ *Ратенау Вальтер* (1867—1922) — еврей, немецкий государственный деятель, министр иностранных дел Германии с 1922 г. Убит террористами антисемитской организации «Консул». Сторонник ассимиляции.

⁷⁶⁶ *Прилуцкий Ноах* (1882—1941) — журналист, политический деятель, сионист, затем сторонник автономизма. В 20-е гг. депутат польского сейма от «Фолкспартей», один из создателей ИВО, убит фашистами в Вильнюсе.

⁷⁶⁷ *Dii minores* — младшие боги (*лат.*), в переносном значении — люди, занимающие второстепенное положение.

⁷⁶⁸ *In spe* — в чаянии, в надежде, в замысле (*лат.*).

⁷⁶⁹ *Кац Бенцион* (1875—1968) — деятель еврейской культуры, литературовед, переводчик. Работал в еврейских организациях Вильно и Германии. Издавал и редактировал газеты «Хазман» и «Ха-йом». С 1931 г. в Эрец-Исраэль.

⁷⁷⁰ *Аш Шолом* (1880—1957) — писатель, драматург. В 1914 г. эмигрировал в США. В 1929—1930 гг. в СССР издавалось собрание его сочинений. Умер в Израиле.

⁷⁷¹ *Опатошу Иосеф (Опатовский Иосеф-Мецф)* (1886—1954) — писатель, начинал литературную деятельность в Польше. В 1907 г. эмигрировал в США.

⁷⁷² *Гоц Абрам Рафаилович* (1882—1940) — деятель Партии социалистов-революционеров. После осуждения на процессе эсеров в Москве в 1922 г. практически всю оставшуюся жизнь провел в тюрьмах и ссылках. Погиб в заключении.

⁷⁷³ *Фришман Давид Самуилович* (1859—1922) — писатель, переводчик, редактор. В 1919 г. эмигрировал в Польшу.

⁷⁷⁴ «*Рассвет*» — общественно-политическая и литературная газета, посвященная еврейским вопросам, издававшаяся в Берлине в 1922—1924 гг., редактор — С. Гепштейн. Позднее издание было перенесено в Париж и выходило под редакцией В. Е. Жаботинского, М. Ю. Берхина и И. Б. Шехтмана.

⁷⁷⁵ *Вайз Стифен Самуэль* (1874—1949) — раввин, сионистский деятель в США. В 1936—1949 гг. председатель Всемирного еврейского конгресса.

⁷⁷⁶ *Майзель Иосиф* (1882—1958) — историк, в 20-е гг. XX в. секретарь еврейской общины Берлина. Позднее в Эрец-Исраэль.

⁷⁷⁷ *Лацкий (Бертольд) Яков-Вольф (Зев)* (1881—1940) — историк, в 20-е гг. в Берлине член Комиссии по истории еврейских погромов на Украине в период гражданской войны; позднее переехал в Ригу (Латвия), где редактировал газеты «Дос Фолк» и «Фриморгн».

⁷⁷⁸ *Responde finet* — не упускай из виду конца (*лат.*).

⁷⁷⁹ *Собернгейм Мориц Себастьян* (1872—1933) — востоковед, профессор, в 20-е гг. сотрудник министерства иностранных дел Германии.

⁷⁸⁰ *Якобсон Виктор Исаакович* (1869—1934) — журналист, сотрудник «Русских ведомостей», деятель сионистского движения. В 20-е гг. жил в Германии. Затем был представителем сионистского движения во Франции и в Швейцарии при Лиге Наций.

⁷⁸¹ *Лещинский Яков* (1876—1966) — экономист, социолог, публицист, автор фундаментальных научных исследований, член руководства Сионистской социалистической рабочей партии, делегат ряда сионистских конгрессов. В 1917 г. был одним из создателей Объединенной еврейской социалистической рабочей партии. В 1921 г. эмигрировал в Германию; в 1933 г. был выслан из Германии. Жил в Польше, а с 1938 по 1959 гг. в США. С 1959 г. в Израиле.

⁷⁸² *Дейч Лев Григорьевич* (1855—1940) — участник русского революционного движения с 1870-х гг., народник, позднее социал-демократ, меньшевик. После 1917 г. на научной работе. Автор воспоминаний. В 70-е гг. XIX в. сторонник полной ассимиляции евреев, позднее, в 1880-е гг., пытался организовать протест соратников по освободительному движению против антиеврейских погромов 1881—1882 гг. В начале 20-х гг. XX в. написал книгу «Роль евреев в русском революционном движении».

⁷⁸³ *Вместе с некоторыми кающимися демократами... издал сборник статей* — имеется в виду сборник «Россия и евреи» (Берлин, 1924). В нем участвовали: И. Бикерман, Г. Ландау, И. Левин, В. Мандель, Д. Пасманик. Ряд авторов в своих статьях призывали евреев «признать ответственность еврейского народа за победу большевизма».

⁷⁸⁴ *Ригер Пауль* (1870—1939) — раввин, историк, сторонник ассимиляции, был раввином в Гамбурге, Штутгарте. Автор ряда работ по истории евреев в средневековой Италии.

⁷⁸⁵ *Филиппсоновская «Новейшая история евреев»* — имеется в виду издание: *Филиппсон М.* Новейшая история еврейского народа (1789—1908): В 2 т. Одесса, 1910—1911.

⁷⁸⁶ *Штерн Генрих* (1883—1951) — в 20-е гг. один из руководителей «Центрального союза германских граждан иудейского вероисповедания». В 30-е гг. в эмиграции.

⁷⁸⁷ *Равидович Симон (Шимон)* (1896—1957) — историк, в 20-е гг. студент университета в Берлине, деятель сионистского движения. В 30-е гг. жил в Великобритании, позднее в США, профессор Еврейского колледжа в г. Уолтем штата Массачусетс.

⁷⁸⁸ *Каплан Илия (Абрам-Элиязгу)* (1890—1924) — в 20-е гг. преподаватель Талмуда в Берлинской ортодоксальной семинарии.

⁷⁸⁹ *Крохмал Нахман* (1785—1840) — философ, историк, деятель Гаскалы. Жил в различных городах Украины (Жолква, Броды, Тернополь). Автор сочинения «Море невухей газман» («Наставник колеблющихся нашего времени»), изданного в 1851 г.

⁷⁹⁰ *Клей Альфред* (1875—1943) — активный деятель сионистского движения в Германии. В 30-е гг. в эмиграции.

⁷⁹¹ «*Der Untergang des Abendlandes*» («*Философия будущего*») — часть труда немецкого философа О. Шпенглера (1880—1936) «*Закат Европы*».

⁷⁹² *Черниковский Саул Гутманович* (1875—1943) — поэт. Уехал из России в 1923 г. С 1931 г. в Эрец-Исраэль. См. о нем: *Клаузер И. А.* Саул Черниковский — поэт возрождения. Одесса, 1917.

⁷⁹³ *Инцидент Грец—Трейчке*. — *Грец Генрих* (1817—1891) — историк, автор трудов по истории евреев. Его концепция истории евреев вызвала в Германии острую полемику, в том числе ряд антисемитских публикаций со стороны немецкого историка *Г. Трейчке* (1834—1896).

⁷⁹⁴ *«Агудас Израэль»* (*«Агудат Исраэль»*) — еврейское ортодоксальное движение, объединенное в политическую партию. Цель партии — сохранить устои иудаизма и традиции общины. До 1937 г. противники любых течений и форм сионизма.

⁷⁹⁵ *«Архив революции»* — коллекция документов и материалов по истории евреев в годы гражданской войны в России 1917—1921 гг., собранная И. Чериковером. В настоящее время находится в составе его личного фонда в ИВО (Нью-Йорк, США).

⁷⁹⁶ *«Besser ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende»* — «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас» (нем.).

⁷⁹⁷ *Эйнштейн Альберт* (1879—1955) — физик, философ, математик, поддерживал сионистское движение.

⁷⁹⁸ *Койген Давид Маркович* (1877—1933) — философ, социолог, редактор издававшегося в Берлине журнала «Ethos», преподавал в университетах Германии; родился на Волыни, жил и работал в Германии.

⁷⁹⁹ *Штейнберг Исаак Захарович* (1888—1957) — член партии социалистов-революционеров, философ, публицист, нарком юстиции в первом советском правительстве; позднее в эмиграции. См. о нем: *Кеда А.* Принципиальный спор // Советская библиография. 1990. № 2.

⁸⁰⁰ *Коген Нафтали* (1649—1718) — исследователь Каббалы, был раввином г. Острог на Волыни, затем главным раввином Познани и Франкфурта-на-Майне.

⁸⁰¹ *Штейнберг Аарон Захарович* (1891—1975) — философ, в 20—30-е гг. сотрудничал в сионистских учреждениях Европы. Автор мемуаров «Друзья моих ранних лет: 1911—1928» (Париж, 1897).

⁸⁰² *Бердяев Николай Александрович* (1874—1948) — философ, выступал с критикой антисемитизма, автор специальной работы на эту тему: «Христианство и антисемитизм». Выслан из СССР в 1924 г. О его позиции в еврейском вопросе см. также: *Кельнер В. Е.* Два инцидента // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1996. № 2 (11).

⁸⁰³ *Эльбоген Шмуэль (Шилдберг-Розен)* (1874—1943) — в 20-е гг. ректор «Высшей школы еврейских знаний» в Германии, в 30-е гг. эмигрировал в США.

⁸⁰⁴ *Вейль Готгольд* (1882—1960) — в 20-е гг. директор Центральной библиотеки в Пруссии, профессор.

⁸⁰⁵ *Берифельд Симон (Шимон)* (1860—1940) — историк, публицист. С 1886 г. раввин сфардской общины Сербии. С 1894 г. жил в Германии.

⁸⁰⁶ *В виде комбинации с трудами Грецца, Беки и Бранна* — имеются в виду сочинения Г. Грецца «История евреев от древнейших времен до настоящего» (Т. 1—12), С. Бека и М. Бранна «Еврейская история от конца библейского периода до настоящего времени» (Т. 1—2). В издании этих работ С. Дубнов принимал непосредственное участие.

⁸⁰⁷ *«Еврейская трибуна»* — журнал, издававшийся на русском и французском языках в Париже в 1920—1924 гг. под руководством М. М. Винавера.

⁸⁰⁸ *«Последние новости»* — газета, орган либеральных и демократических кругов русской эмиграции, выходила в свет в Париже до 1940 г. под руководством П. Н. Милюкова.

⁸⁰⁹ *Гольдман Эмма* (1869—1940) — родилась в России, эмигрировала в США, занималась активной политической деятельностью, публицист. В 1919—1921 гг. жила в России и участвовала в анархистском движении. С 1921 г. вновь в эмиграции. Активный деятель анархистского движения в США. Астор мемуаров. См.: *Гончаров М.* Век воли: Евреи в русском анархистском движении. Иерусалим, 1997.

⁸¹⁰ *Абраванель Ицхак бен Иегуда* (1437—1508) — государственный деятель, философ, исследователь Библии. Министр финансов Португалии. С 1484 г. на государственной службе в Испании. В 1492 г. вместе с другими евреями изгнан из страны. В 1492 г. на государственной службе в Неаполитанском королевстве. Позднее жил в Венеции. Автор многочисленных трудов по философии.

- ⁸¹¹ Среди них бывший защитник большевиков — имеется в виду сотрудник Наркомата по делам национальностей Добковский (см. коммент. 638).
- ⁸¹² *Мейер Эдуард* (1855—1930) — немецкий историк, автор трудов по истории древнего мира, профессор университета в Галле.
- ⁸¹³ *Эрентрейс (Эрентрес) Маркус* (1869—1951) — с 1914 г. раввин в Стокгольме, общественный деятель.
- ⁸¹⁴ *Scripta manent* — написанное остается (лат.).
- ⁸¹⁵ *Гильдесгеймер Меир* (1864—1934) — в 20-е гг. один из руководителей еврейской общины в Берлине, лидер еврейства Германии.
- ⁸¹⁶ *Поалей-сионисты* — см. коммент. 374.
- ⁸¹⁷ *Le roi est mort, vive le roi!* — Король умер, да здравствует король! (франц.).
- ⁸¹⁸ «*Любовичер ребе*» из династии Шнейерсонов — имеется в виду рабби Иосеф Ицхак (1880—1950), шестой представитель династии Шнейерсонов, возглавивший Хабад в 1920 г. В 1927 г. он был арестован в России и затем выслан. Жил в Польше и США.
- ⁸¹⁹ *Португейс Семен Осипович (Иванович Ст)* (1880—1944) — социал-демократ, публицист, историк. С 1920 г. в эмиграции в Германии, Франции, США. Печатался в журнале «Еврейская трибуна».
- ⁸²⁰ *Пакт в Локарно* — имеется в виду принятый в октябре 1925 г. на конференции в Локарно (Швейцария) договор между Бельгией, Великобританией, Германией, Италией, Польшей, Францией и Чехословакией о сохранении послевоенных границ Германии.
- ⁸²¹ *Левин Самуил* (1890—?) — писатель, родом из Польши, автор пьес и романов на языке идиш. В 20-е гг. в Германии, с 1934 г. — в США.
- ⁸²² *Габироль (Ибн Габироль Шломо бен Иехуда)* (1021—1052 (1055)) — поэт, философ, писал на иврите и арабском. Жил в Сарагосе, умер в Валенсии (Испания).
- ⁸²³ *Перлес Феликс* (1874—1933) — востоковед, гебраист, историк. В 20-е гг. жил в Германии.
- ⁸²⁴ *Шварцбарт Шолом (Самуил)* (1886—1939) — в начале XX в. эмигрировал в Париж, в годы первой мировой войны воевал во Французском иностранном легионе. В 1917 г. вернулся в Россию, воевал в рядах Красной Армии. В 1920 г. вернулся в Париж. В 1926 г. убил Симона Петлюру. Был оправдан судом. Умер в Южной Африке. См.: Процесс Шварцбарда в Парижском суде. Л., 1928.
- ⁸²⁵ *Гергель Н.* (?—1931) — общественный деятель, член комитета по защите Шварцбарта, созданного в Германии в 1926 г. С 1932 г. в Эрец-Исраэль.
- ⁸²⁶ *Клинов Иешайаху* (1890—1963) — общественный деятель, член комитета по защите Шварцбарта, созданного в Германии в 1926 г. С 1932 г. в Эрец-Исраэль.
- ⁸²⁷ *Приехала из Варшавы дочь София с обоими внуками* — см. об этом: Дубнова С. Хлеб и маца. СПб., 1995. С. 202—204. Внуки Дубнова, сыновья Софии Дубновой-Эрлих: Александр и Виктор.
- ⁸²⁸ *Бубер Мартин (Мордахай)* (1878—1965) — философ, деятель сионистского движения. С 1938 г. в Эрец-Исраэль, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.
- ⁸²⁹ *Кляцкин Яков* (1882—1948) — философ, деятель сионистского движения, учился в университетах Германии и Швейцарии, редактировал газеты и журналы на идиш, немецком и французском языках, входил в руководство Еврейского национального фонда, редактор «Еврейской энциклопедии» на немецком языке. В 1934 г. эмигрировал в Швейцарию, а в 1941 г. в США.
- ⁸³⁰ *Маршал Луи* (1856—1929) — юрист, общественный деятель в США, лидер еврейской общины, один из основателей «Джойнта» и создателей Еврейского агентства.
- ⁸³¹ *Левин Израиль* (1856—1939) — главный раввин Франции с 1919 по 1938 гг., историк, публицист.
- ⁸³² *Номберг Гири Давид* (1876—1927) — писатель, публицист, один из лидеров идишистского движения. В 1916 г. в Варшаве создал «Фолкспартей». В 1919—1920 гг. — депутат сейма от этой партии.
- ⁸³³ *Council for protection of the rights of Jewish Minorities* — Совет защиты прав еврейских меньшинств (англ.).
- ⁸³⁴ *Comité des délégations juives* — Комитет еврейских делегаций (франц.).

⁸³⁵ *Аберсон Цви* — политический деятель, сторонник сионизма, в 20-е гг. руководил информационным бюро Совета еврейских организаций в Женеве.

⁸³⁶ *Вольф Люэвен* (1857—1930) — дипломат, журналист, историк, общественный деятель, один из лидеров евреев Великобритании в начале XX в., противник сионизма.

⁸³⁷ *Саббатай Цеви* — см. коммент. 1.

⁸³⁸ *Блау Людвиг* (1861—?) — венгерский еврей, историк, окончил Будапештский университет, где впоследствии преподавал.

⁸³⁹ *Пилсудский Юзеф* (1867—1935) — польский политический деятель, лидер Социалистической партии Польши (ППС), в 1926 г. совершил государственный переворот и находился у власти до 1935 г.

⁸⁴⁰ «*Keine Volksgemeinde, nur Religionsgemeinde*» — «Не нация, а религиозная общность» (нем.).

⁸⁴¹ *Айхенвальд Юлий Исавевич* (1872—1928) — литературный критик, публицист. В 1922 г. выслан из России. Жил в Германии. См. о нем: *Рейтблат А. И.* «Подколотый эстет» с мягкой душой и твердыми правилами: Юлий Айхенвальд на родине и в эмиграции // Евреи в культуре русского зарубежья: Сб. Вып. 1. Иерусалим, 1922; Русское общество и евреи: Забытые и неопубликованные статьи Ю. Айхенвальда / Публ. А. И. Рейтבלата // Вестник Еврейского ун-та в Москве. 1992. № 1.

⁸⁴² *Self-made man* — человек, сделавший сам себя (англ.).

⁸⁴³ *Non possumus* — не можем (лат.).

⁸⁴⁴ «*Gewebr, Porzellan*» — «Оружие, фарфор» (нем.).

⁸⁴⁵ *Scripta manent* — написанное остается (лат.).

⁸⁴⁶ *Ad usum Delphini* — для пользования дофина (лат.), т. е. издание с исправлениями по цензурным мотивам.

⁸⁴⁷ «*Национальное марранство*» — ассимиляторство; от марранов — испанских евреев, сохранивших свою жизнь в период преследования евреев в средние века принятием христианства.

⁸⁴⁸ *Червяков Александр Григорьевич* (1892—1937) — государственный и партийный деятель, один из создателей и руководителей Компартии Белоруссии, в 20-е гг. нарком просвещения Белоруссии, с 1924 г. — председатель ЦИК. Репрессирован.

⁸⁴⁹ *Вопрос о колонизации евреев в Биробиджане* — авантюрная попытка руководства СССР создать в конце 20—нач. 30-х гг. на Дальнем Востоке, в районе рек Бира и Джан, еврейскую «автономную» республику. Формально завершившаяся успехом, эта попытка на самом деле окончилась полным провалом и стоила жизни и благополучия нескольким тысячам приехавших туда людей.

⁸⁵⁰ В советском журнальце «Трибуна» появилась статья-донос... *Непомнящего* — имеется в виду статья С. Непомнящего «Уголок Санкт-Петербурга» (Трибуна, 15 июня 1929 г.).

⁸⁵¹ *Томсинский Семен Григорьевич* (1894—1938) — историк, в 30-е гг. директор Историко-архивного института в Ленинграде, член-корреспондент АН СССР с 1933 г. Репрессирован.

⁸⁵² *Гольдберг Исаак (Ицхак Лейб)* (1860—1935) — видный деятель сионистского движения в России. С 1918 г. в Эрец-Исраэль.

⁸⁵³ *Пакт Келлога* — заключенный в 1928 г. в Париже между Францией, США, Великобританией, Германией, Японией, Италией и другими странами договор о воспрещении войны в качестве орудия национальной политики. Одним из его инициаторов был американский дипломат, государственный секретарь Ф. Б. Келлог (1856—1937).

⁸⁵⁴ *Вейнфрейх Макс* (1894—1969) — историк, филолог, работал в Латвии, Литве, Германии, создатель Еврейского научного института в Вильно, затем подобного же института в США, преподавал в университетах США.

⁸⁵⁵ «*История солдата*» — см. коммент. 587.

⁸⁵⁶ *Morituri te salutant* — идущие на смерть приветствуют тебя (лат.).

⁸⁵⁷ *Бриан Аристид* (1862—1932) — политический деятель, социалист, с 1902 г. член французского парламента, с 1914 г. последовательно: министр иностранных дел, вице-премьер, премьер-министр Франции. Лауреат Нобелевской премии мира 1926 г.

⁸⁵⁸ *Хавкин Владимир Аронович* (1860—1930) — родился в России; получил всемирную известность, открыв противочумную вакцину; работал во Франции, Швейцарии и Индии. См. о нем: *Поповский М.* Судьба доктора Хавкина. М., 1965.

⁸⁵⁹ *Абрамович (Рейн) Рафаил Абрамович* (1880—1963) — см. коммент. 425.

⁸⁶⁰ *Брюнинг Генрих* (1881—1955) — политический деятель, депутат рейхстага с 1924 г., возглавлял правительство Германии в конце 20—нач. 30-х гг. В 1934 г. эмигрировал в США. С 1952 г. профессор университета в Кельне.

⁸⁶¹ *Каган Абрам* (1860—1951) — политический деятель, историк, публицист, писатель, родился в Вильно, с 1882 г. в США, издатель социалистической газеты на языке идиш «Форвесте».

⁸⁶² «*Jude verrecke, Deutschland erwache!*» — «Евреям смерть, Германия пробудись!» (нем.).

⁸⁶³ *Папен Франц* (1879—1969) — государственный деятель, депутат ландтага от католической партии «Центр». В июне—ноябре 1932 г. возглавлял правительство Германии; в 1933 г. вице-канцлер; позднее посол в Австрии и Турции. В 1946 г. на Нюрнбергском трибунале — оправдан. В 50-е гг. преподавал в университетах Германии.

⁸⁶⁴ *Шлейхер Курт* (1881—1934) — государственный и военный деятель. С 1929 г. статс-секретарь военного министерства, в июне 1932 г. рейхсканцлер; в отставке с января 1933 г. Убит эсэсовцами.

⁸⁶⁵ *Wenn Judenblut vom Messer spritzt, Dann geht's nochmal so gut...* — Когда еврея кровь струится под ножом, становится вновь так хорошо... (нем.).

⁸⁶⁶ *Пинский Давид* (1872—1959) — редактор выходившей в США на языке идиш газеты «Тог», драматург, писатель. В конце 90-х гг. XIX в. жил в Москве, Варшаве, Берлине. В 1899 г. эмигрировал в США. Был одним из лидеров партии «Поалей Цион». С 1949 г. в Израиле.

⁸⁶⁷ *Coup d'état* — государственный переворот (франц.).

⁸⁶⁸ *Similia similibus curantur* — подобное излечивается подобным (лат.).

⁸⁶⁹ «*Хурбан Ашкеназ*» — «гибель восточноевропейского еврейства».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

А

- А. Г. см. Ахад-Гаам
 А. Ф. П. см. Перельман А. Ф.
 Аббайе 36
 А. Белый 568
 Аберсон Ц. 520
 Абрамович (Менделеев) 90, 142, 149, 153,
 158, 162, 163, 167, 168, 171, 175, 176,
 197, 199, 200, 201, 202, 208, 211, 212,
 213, 216, 219, 220, 223, 230, 239, 244,
 290, 301, 308, 309, 314, 319, 329, 344,
 370, 391, 394, 395, 396, 403, 407, 431,
 510, 530, 540, 550, 555, 569, 589
 Абрамович В. 320
 Абрамович М. 161, 319
 Абрамович-Рейн Р. А. 11, 276, 540
 Аврам-Иозель 40
 Аджемов 361
 Айзенберг Л. М. 320, 324, 354, 359, 364, 490
 Айзенштадт Г. Х. 483
 Айзенштадт М. Г. 184, 421, 472
 Айзман Д. 469, 470, 500
 Айхенвальд Ю. И. 512
 Акива 85
 Акоста Уриэль 83, 102, 110, 166
 Аксаков И. С. 131
 Аксельрод П. 70, 138, 326, 511
 Александр I 19, 23
 Александр II 6, 56, 70, 77, 83, 96, 147, 215, 309
 Александр III 79, 83, 96, 106, 109, 119, 145, 159, 160, 181, 204, 237, 277, 306, 336, 355, 378, 398, 473, 474
 Александр Македонский 35
 Александров А. М. 361
 Александров М. 77, 78, 80, 81, 212
 Алексеев М. В. 399
 Алкабиц 43
 Алфаси 23
 Альберти 128
 Амфитеатров А. В. 455, 499
 Андреев Л. Н. 342, 347
 Андреевский И. Е. 99
 Андреевский С. А. 80
 Ан-ский С. А. 275, 293, 299—325, 338, 355—357, 371, 380, 404, 426, 451, 467
 Антоний (Вадровский) 282
 Антонов 53
 Антонович М. А. 9, 107, 108, 109
 Арсеньев К. К. 122, 129
 Асквит Г. Г. 367
 Астрыны 433
 Астрик Э.-А. 154
 Ауэрбах Б. 51, 54
 Ахад-Гаам 7, 10, 14, 65, 154—156, 158, 167, 173—176, 180, 183, 184, 194, 198—203, 209, 211, 216, 219—232, 237—241, 244, 245, 252, 258, 273, 294, 302, 309, 315, 317, 330, 356, 362, 367, 403, 455, 490, 494, 505, 512, 514, 517, 528, 533, 555, 586
 Ахер 86
 Аш Ш. 489, 508

Б

- Бадер Г. 192
 Байрон 102, 111, 116, 123, 125, 209, 576
 Бак Ю. 269
 Бакст Н. И. 105
 Балабан М. 304, 340, 488, 523
 Балтрушайтис Ю. К. 468
 Бальфур Дж. 394
 Бар-Кохба 37, 210, 380
 Барбаш 228
 Бейленсон М.-Э. 183
 Бейлин С. 304, 306
 Бейлис М. 316, 322, 327, 333, 439
 Бек С. 10, 180, 182, 183, 186, 214, 504
 Белинский В. Г. 65, 67, 566
 Белкина И. 117, 532
 Белковский Г. А. 194, 258
 Бен-Ами М. 7, 10, 14, 126, 154, 156—158, 161—163, 165, 167, 168, 171, 174—176,

* Страницы, к которым есть комментарий, выделены жирным шрифтом.

- 194—196, 198, 201, 220, 222, 228, 241,
244, 308, 370, 494, 495, 539, 545
- Бен-Меир 399
- Бен-Сион см. Прилукер
- Бентам И. 73
- Бентович Н. 315
- Бердичевский М. И. 158, 159, 174, 472
- Бердяев Н. А. 502
- Берлин И. 404
- Берман В. А. 88, 163, 164, 170, 171, 213,
298, 411
- Берман А. В. 411
- Берне А. 51, 54—56, 90—92, 97, 116, 128,
188, 192, 323, 333, 338, 566, 576, 579,
581
- Бернфельд С. 133, 503, 504, 521
- Бернштейн Э. 253, 272, 414, 500, 510, 511,
538, 539, 548, 549
- Берсон М. 186
- Бертенсон А. В. 165
- Бертолио 278
- Берчанская А. 144
- Бершадский С. А. 99, 186, 298, 304
- Бестужев-Рюмин 63
- Бешт 132, 139, 140, 143, 173, 192, 512, 517,
536, 581, 582
- Бибер М. 177
- Бикерман И. М. 211, 212, 261, 312, 437,
493, 494, 513, 540
- Бильбасов А. А. 107, 108, 402
- Бир 318, 319
- Бирнбаум Н. 314, 332, 503
- Бисмарк 411
- Блан А. 77
- Бланк Р. 332
- Блау 521
- Блинов И. А. 437, 439, 444
- Блондес 276
- Блюменфельд Г. Ф. 167, 169
- Блюнчли 115
- Боголепов 221
- Богров Г. И. 10, 14, 54, 100, 106, 110
- Богров Д. 320
- Бокаль Г. Т. 63, 77, 84
- Бомаш 347, 364
- Бонапарт 394
- Брамсон А. М. 14, 164, 210, 214, 236, 260,
261, 284, 340, 358, 265, 401, 530, 540
- Брандес Г. 104, 227, 374, 522
- Бранн М. 10, 182, 183, 186, 214, 504
- Брантинг К. Я. 416, 496
- Браудес Р.-А. 60, 581
- Браудо А. И. 210, 234, 261, 299, 301, 307,
320, 324, 331, 339, 506, 507
- Браун 541, 543
- Брафман Я. А. 100, 101
- Бродские 180, 191
- Брук Г. Я. 207, 224, 258, 262
- Бруно Д. 526
- Бруцкус Б. Д. 460
- Бруцкус Ю. Д. 164, 210, 214, 232, 233, 274,
419, 421, 433, 448, 458, 484, 490
- Брюнинг 541—543, 545
- Бубер М. 517, 540
- Буренин 49
- Бухарин 488
- Бухбиндер Н. 237, 404
- Бэн 104
- Бюффон 569
- Бюхнер А. 73
- Бялик Х.-Н. 7, 10, 14, 145, 167, 201, 219,
228, 241—245, 309, 324, 325, 329, 330,
360, 362, 370, 434, 459, 460, 461, 487,
490, 491, 494—497, 499, 500, 506, 507,
535, 537, 544, 551, 555, 588, 589

В

- В. см. Вейль
- В. И. 270
- Вайз С. 518, 519
- Вайнбаум 457
- Вайнштейн Г. Э. 146, 165, 170, 171, 186,
199, 211, 229, 262, 361
- Вайтер см. Девенишинский
- Ванель Г. П. 130
- Ванновский 221
- Варшавский М. А. 348
- Варшавский М. С. 9, 87, 89, 93, 96, 104,
162
- Василевский 187
- Вассерман 483
- Ватсон М. 470, 500
- Ватсон Э. К. 95
- Вейль Г. 503, 504, 580
- Вейнберг П. 55, 97, 98
- Вейнрейх М. 530
- Вейс А.-Г. 79, 224
- Велес Г. 48
- Вельгаузен Ю. 103, 214, 292
- Велькес Я. 31
- Венгеров С. А. 9, 14, 94
- Венгерова П. 95
- Вергилий 72
- Вермель С. С. 317, 489
- Виленский Гаон (Илия) 24
- Вильгельм II 193, 224, 319, 354, 409, 415,
416, 512, 563
- Вильсон Т. В. 372, 373, 413, 415
- Винавер М. М. 11, 14, 163, 164, 170, 213,
229, 232, 233, 261—263, 270, 274—277,
284, 285, 298, 299, 307, 313, 323, 326,

- 332, 340, 342, 344—346, 354, 361, 364,
365, 371, 378, 379, 382, 397, 448, 505,
517, 527, 589
- Винер С. Е. 143, 214
- Винклер 283
- Виньи А. 576
- Витовт, вел. кн. 257
- Витте С. Ю. 264, 269, 273, 276
- Вишницер М. А. 299, 303—305, 331, 455,
490
- Владимир Александрович, вел. кн. 438,
442
- Водозовов В. В. 358
- Войславский Ц. 310
- Волин Ю. 237, 238
- Волковвыский Н. М. 439
- Волконский В. М. 357, 359
- Володарский В. 406, 407, 428
- Вольинский А. (Флексер) 9, 14, 123, 124,
129, 151, 282, 448, 449, 521
- Вольдемарас А. 485
- Вольней К.-Ф. 40, 563
- Вольтер 374, 563
- Вольф Л. 520, 529
- Врангель 438, 451
- Выгодский Я. Е. 264, 272
- Высоцкий К.-З. 184, 239, 294
- Г
- Гайдебуров П. А. 120
- Галеви И. 187, 565, 570
- Галилей Г. 86, 514, 526
- Гальперн Я. 292
- Ганновер Н. 19
- Ганфман М. И. 328
- Гаон И. см. Виленский
- Гаркави А. Я. 98, 99, 105, 123, 160, 172,
173, 303, 424, 425
- Гаркави В. О. 263, 317
- Гарнак А. 103
- Гартман Э. 120, 574, 580
- Гербельс 546, 551
- Гегель 561
- Гейгер А. 208
- Гейликман М. 27
- Гейликманы 27, 369
- Гейне Г. 51, 59, 8, 90, 95, 97, 116, 121, 205,
217, 323, 566, 569, 580
- Гельман Я. 483
- Генкель Г. Г. 229, 287, 291
- Гепштейн С. 431, 497
- Гергель Н. 516, 542
- Геринг 543, 547, 549
- Герц Г. 319, 529
- Герцен А. И. 76, 566
- Герценштейн М. Я. 277, 279
- Герцль Т. 10, 148, 180, 187, 191, 194, 197,
203, 224, 252, 258, 314, 497, 525
- Гершанович Я. Ю. 372
- Гессен И. В. 328, 446, 513
- Гессен Ю. И. 11, 14, 236, 279, 287, 291,
299, 304, 331, 421
- Гете В. 111, 116, 193, 338, 374, 501, 569,
576
- Гец Ф. Б. 10, 106, 121, 256, 262, 263, 580
- Гиббон Э. 333
- Гидалевич 331
- Гильдесгеймер М. 510
- Гильфердинг 495
- Гиммельфарб Г. И. 165, 167, 229
- Гинденбург П. 415, 512, 513, 542, 543,
545—458
- Гинзбург И. Я. 421
- Гинзбург М. А. 325
- Гинзбург С. М. 11, 14, 210, 236, 296, 297,
299, 307, 325, 331, 380, 421
- Гинцберг Р. 252
- Гинцбург Г. О. 105, 107—109, 119, 143,
186, 236
- Гинцбург Д. Г. 143, 218, 236, 281, 287,
290—293, 303, 305, 313
- Гинцбург И. О. 292
- Гирш М. 162, 166, 260
- Гирш С. Р. 583
- Гиршгорн 489
- Гиршкоп 519, 523
- Гиршовский Я. 177
- Гитлер 13, 319, 495, 534, 541—543, 545—
551, 563
- Гнедич Н. И. 137
- Гогенлоэ 264
- Говоров 54
- Гоголь Н. В. 54, 158
- Годар 278
- Гожанский С. Н. 11, 260
- Голицын Н. Д. 377
- Головин 467
- Гольд 172
- Гольдберг Б. А. 11, 252, 255, 260, 263, 264,
266, 273—275, 389, 402, 488
- Гольдберг Г. А. 421
- Гольдберг И. А. 250, 256, 258, 528, 529
- Гольдберг И. А. 242
- Гольдберги, бр. 242, 262, 266, 272
- Гольдман Э. 505
- Гольдфаден А. 93
- Гольдштейн М. А. 269, 528
- Гольдштейн С. М. 214, 299, 304, 346, 356,
421, 431
- Гордон А.-Д. 201
- Гордон Д. 213

- Гордон И. М. 351
 Гордон И.-Л. (Л. О.) 14, 86, 96, 98, 101, 112, 113, 126, 201, 351, 403, 449, 459, 580—582
 Горемыкин И. А. 338, 349, 359, 360, 378
 Горнфельд А. Г. 213, 299
 Готгейль 433
 Готлобер А.-Б. 90
 Гоц А. Р. 489
 Градовский А. Д. 99
 Градовский Г. 149
 Гран М. 354
 Гранов В. К. 165, 167, 229, 262
 Грегуар А. Б. 106, 278
 Гредескул Н. А. 377, 428, 448, 461
 Грейс 368
 Грессер П. А. 129, 130, 142, 152, 162
 Грессман 515
 Грец Г. 10, 79, 94, 96, 97, 99, 109, 138, 164—170, 180, 182, 183, 229, 304, 313, 424, 497, 504, 505, 51, 527, 537, 552, 580, 582, 586
 Гринбаум И. 339, 352, 519, 529
 Гринберг З. 404, 417, 419, 421, 436, 443
 Гродненский 439
 Грузенберг О. О. 11, 14, 210, 270, 276, 277, 306, 342, 401, 405
 Грузенберг С. О. 120, 139, 148, 151, 152, 163, 210, 234, 340, 378, 587, 588
 Гугенбург 548, 549
 Гумбольдты, бр. 319
 Гумилев Н. С. 467
 Гумплович Л. 130, 266
 Гурвич С.-И. 27, 61, 88, 91, 251, 310, 347, 449, 450, 452, 466, 471, 473, 474, 487, 489, 497
 Гурвич Э. 491
 Гурвиц П.-И. 49
 Гуревич Г. 14, 70, 138, 317, 326
 Гуревич Л. 51, 57, 63
 Гуревич А. Я. 151
 Гуревич Х. Д. 286, 322
 Гуревичи 64
 Гурлянд-Эальяшева Г. 421, 490
 Гус Я. 187, 208
 Гутман И. 310
 Гутман Ю. 517
 Гуцков К. 85, 125
 Гучков А. И. 378
 Гюго В. 111, 112, 116, 153, 206, 217, 239, 279, 409, 457, 523, 557, 567, 569, 576, 577

Д

Дакоста см. Акоста Уриэль
 Данте 20, 121

- Дантон Ж. Ж. 376
 Дарвин 63, 565
 Дарместетер Дж. 155, 433
 Дашевский П. 270
 Девенишинский (Вайтер) 267, 316, 426, 483
 Дейтш Г. 224
 Дейч Л. 493, 538
 Деникин 420, 428, 432, 433, 435, 436, 438, 442
 Джордж Г. 387, 577
 Джордж Элиот 54, 64, 124
 Дзюбинский В. И. 353
 Дидро 65, 90
 Дизенгоф М. Я. 201, 222, 228, 229, 237, 241, 243, 244, 262, 529
 Димантштейн С. М. 398
 Динесон Я. 10, 67, 138, 142, 147, 510, 582
 Добковский 398
 Добровольский 129
 Добролюбов Н. А. 63, 65, 67
 Долгополова см. Шур Х.
 Достоевский Ф. М. 193, 425
 Драбкин А. Н. 109, 287
 Дрейзин И. 50
 Дрейфус А. 205, 223, 432, 433
 Дружинин В. Г. 437, 439, 452
 Друянов А. 201, 228, 244, 330
 Дрэпер Д. В. 65, 467
 Дубно И. 66
 Дубнов Б. 25—44, 113—115, 127—135, 150—152, 166
 Дубнов В. 29, 42, 51, 59, 60, 74, 76, 92, 95, 117, 127, 139, 168, 177, 343, 386, 455
 Дубнов Ш. 388
 Дубнов Я. 111, 152, 174, 177, 178, 288, 304, 323, 367, 369, 371, 404
 Дубнова О. 263, 468, 469
 Дубнова Р. 29, 64, 372
 Дубнова С. (Эрлих) 7, 46, 61, 107, 111, 141, 171, 217, 252, 254, 263, 280, 290, 320, 323, 327, 369, 374, 376, 377, 388, 389, 392, 409
 Дубновы 23, 26, 66, 105, 113
 Дубровин А. И. 291
 Дурново П. Н. 273, 383
 Духонин Н. Н. 394
 Дьяконов М. А. 444
 Дюбуа-Реймон 140

Е

Ефройкин И. Р. 321, 322, 380, 388, 401, 407, 414, 424, 519, 532
 Ефрон И. А. 238, 287, 290—292, 295, 296, 303, 429, 445, 454, 536, 585, 586

Ж

- Жаботинский В. Е. 240, 288, 355
 Жвиф М. М. 175
 Житловский Х. 14, 133, 134, 293, 520, 523, 581

З

- Забелин 95, 96, 100
 Зайденман А. 432, 433
 Зайчик Р. 117, 136—138, 192, 194—196, 206, 506, 522
 Зайчик С. 190
 Зак А. И. 100, 107
 Закс М. 455, 532
 Залкинд А. В. 284, 293, 325, 380, 541
 Зангвил И. 414
 Зарзовский 289
 Заславский Д. И. 401
 Засулич В. И. 65, 347
 Зеликсон А. С. 448
 Зелинский Ф. Ф. 287, 288
 Зеличенко А. Я. 219
 Зильбербуш Д.-И. 192
 Зельдов А. М. 297
 Зингер И. 170, 223, 581
 Зиновьев Г. Е. 383, 397, 400, 406, 407, 411, 412, 416, 418, 421, 422, 426, 427, 430, 431, 434, 435, 443, 462
 Зубатов С. В. 237, 238

И

- Игнатъев Н. П. 87
 Игнатъев П. Н. 352
 Идельсон А. Д. 14, 285, 296, 297, 302, 472
 Иеремия 112
 Израилитин Г. 69, 71, 72, 184
 Израильсон Я. И. 389
 Илиодор 386
 Илия, рабби 38
 Иловайский 54
 Иодакис 485
 Иоалос Г. Б. 277
 Иосиф Флавий 35, 39, 229
 Иоске И. 19
 Исакович Р. М. 183, 261
 Источн В. 86
 Ительсон 520

К

- Каган Аб. 541
 Каган В. Ф. 384

- Каган М. (Мардохай бен-Гилель Гакокен) 9, 70, 78, 82, 83, 88, 89, 149, 189, 204—206, 209, 216, 224, 225, 250, 251, 258, 522
 Кагане Д. см. Коган Д.
 Кайдановер Ц.-Г. 21, 22
 Каледин А. М. 393
 Калмансон М. 136
 Калмыкова А. М. 347, 470
 Кальманович З. 310, 485
 Кальманович С. Е. 324, 483, 493
 Каннегисер И. С. 332
 Каннегисер Л. И. 411
 Кант 116
 Кантор Л. О. 78, 79, 82, 86, 88, 104, 120, 123, 151, 171, 253, 258, 260, 267, 313, 350
 Канторович В. А. 401
 Каплан И. 495
 Каплан Ф. 411, 496
 Капланский М. 225
 Кар 495
 Караваев А. Л. 287
 Карамзин 577
 Кареев Н. И. 469, 506
 Карно Л. Н. 405
 Каро И. 155
 Карпелес Г. 128, 581
 Карпович П. В. 221
 Карсавин Л. П. 269, 437
 Карташев А. В. 321
 Кассо А. А. 315, 338
 Катков М. Н. 54
 Кауфман А. Е. 88, 125, 154, 424, 446, 472
 Кауфман И. 310
 Кауфман Ф.-М. 332
 Кац Б. 489
 Кацен 53, 61, 536
 Каценельсон (Буки бен-Иогли) Л. 210, 236, 287, 291—293, 295, 303, 315, 325, 373
 Каценельсон Н. 258
 Каценельсон Р. 305
 Каценельсон С. 493, 502
 Келлог 530
 Кельмский Магид 38, 45
 Керенский А. Ф. 336, 340, 347, 349, 357, 378, 381, 385, 392, 393
 Киттель Р. 515
 Кишкин Н. М. 467
 Клаузнер И.-Г. 293, 330, 507, 294
 Клебанов Я. 450
 Клей А. 496
 Клейнман И. 339, 340, 459, 460
 Клермон-Тоннер 278, 364
 Клинов И. 516
 Кляцкин Я. 517

- Клячкин 225
 Клячкин-Гинзбург 52
 Ковалевский М. М. 278
 Коган Д. 96, 184
 Коган П. С. 278
 Коган-Бернштейн Я. М. 243
 Коген Г. 233, 332, 401, 408, 497
 Коген Н. 501
 Коген Я.-И. 144
 Койген Д. М. 501--503, 505, 507, 549, 550, 553
 Койгены 511, 528, 539
 Кокошкин Ф. Ф. 277, 397
 Колчак 420, 425, 428--430, 435, 438
 Кольцов М. 56, 72
 Комперт 39, 97, 579
 Кондорсе 90, 104, 121, 372, 565
 Константин Великий 507
 Конт О. 72, 73, 84, 92, 140, 175, 459
 Кордэ Ш. 101, 411
 Корнилов А. Г. 384, 388
 Короленко В. Г. 322, 472, 581
 Корш 87
 Костомаров Н. И. 94, 444, 580
 Красный Г. Я. 303, 421, 437, 439, 440, 443, 446, 448, 452
 Краустар А. 185, 186
 Крейнин М. Н. 284, 293, 325, 339, 381, 387, 401, 405, 425, 459, 460, 490, 510, 530
 Крестовский В. В. 159, 582
 Крестьянов А. Н. 56, 65
 Кристи М. П. 448
 Кроль М. А. 67, 274
 Крохмал Н. 496
 Крупник Б. 310, 491
 Крушеван П. 270
 Крылов И. А. 405
 Ксенофонт 72
 Кузьмин Н. Н. 456
 Кулишер 288, 291, 588
 Кулишер И. М. 420
 Кулишер М. И. 87, 269, 270, 287, 298, 299, 313, 345, 364, 365, 420, 436, 437
 Куприн А. И. 401
 Курлов П. Г. 377
 Кускова Е. Д. 347
 Кузнен А. 113
 Кюнер 65
- А
- Ладыженский 228
 Лазаревский Н. И. 467
 Лазерсон М. 421
 Ламартин 577
- Ландау А. Е. 54, 95—101, 103, 105, 109, 112, 116, 120, 121, 123, 126, 130, 139, 141—143, 146, 147, 151, 152, 156, 157, 159, 160, 162--164, 167, 170—172, 185, 210, 232, 234, 282, 343, 424, 588
 Ландау Г. А. 307
 Ландау И.-З. 109
 Ландау Я. 483
 Ландесман Я. 201, 228, 330
 Ландман Д. О. 219, 540
 Ларин Ю. А. 88
 Лассаль Ф. 68, 77, 81
 Лацариус М. 203, 208, 498
 Лацкая Б. 385
 Лацкий Я.-В. 491, 507, 510, 532
 Лацкой-Бертольди 507
 Леббок Д. 115, 117
 Лебе Машес 45—47, 225
 Лебенсон А.-Д. 45, 47, 59, 256
 Лебенсон М.-И. 45, 47, 48, 53, 190, 256
 Леванда В. О. 108
 Леванда Л. О. 98, 130, 131, 404
 Левенсон 218
 Леви И. 518
 Леви Ицхак, рабби 356
 Левин Р. 319
 Левин С. 515
 Левин Ш. 255, 256, 260, 262--264, 266, 274, 276, 277, 318, 491, 492
 Левин Э. 119
 Левинзон И.-Б. 88, 579
 Левинский Э.-А. 201, 228, 309, 313
 Левитас З. 483
 Лейзер М. 46
 Лейтес 74, 75
 Ленин В. И. 380, 381, 391—393, 397, 400, 406, 410—413, 415, 417, 425, 437, 444, 445, 447, 454, 455, 458, 461—463, 467, 472, 473, 488, 500, 502, 526
 Ленский И. В. 479
 Ленц 52
 Леонтьев К. Н. 119, 265
 Лермонтов М. Ю. 54, 55, 217, 568, 576
 Лесгафт П. Ф. 278, 279, 282—284
 Лесков Н. С. 100, 101, 107, 108, 402
 Лешинский Я. 493, 513, 516, 526, 528, 540, 550
 Либерман А. 62, 130
 Либлич 540
 Лиалиенблом М.-Л. 46, 60, 61, 89, 90, 92, 113, 154—156, 164, 174, 180, 201, 109, 313, 452, 580
 Лилина З. И. 443
 Лисовский М. И. 415, 496
 Литваков М. 440, 450, 451
 Литовцев см. Поляков С.

Лифшиц Г. (Гершон бен Гершон) 88, 401
 Ллойд-Джордж 475, 482
 Лозинский М. 200
 Лозинский С. Г. 303, 418, 421, 439, 442—
 444, 448
 Лорис-Меликов 77, 83
 Лоу Д. 123
 Луи-Блан 77
 Лулов М. 483
 Луначарский А. В. 404, 514
 Лурье И. 310, 331, 366, 404, 413, 461
 Лурье С. 83, 88
 Луццатто М. 132
 Лэр 515
 Львов Г. Е. 378, 416
 Льюис 72, 73, 105, 116
 Любарский А.-Э. 201, 228
 Люблинский С. 227
 Людендорф Э. 415, 495
 Лютостанский И. 79, 80

М

М. Горький 347, 351, 355, 364, 372, 380,
 416, 421, 431, 438, 441, 458, 470
 Магави 124
 Мазэ Я. 262, 263, 317
 Майер Р. 115, 138
 Майзель И. 490, 491, 521, 536, 553
 Майков В. И. 59, 217
 Маймон М. 421
 Маймон С. 54, 175, 529, 591
 Маймонид М. 65, 86, 88, 223, 293, 313, 416,
 518
 Макаров А. А. 324
 Маклаков Н. А. 347, 349, 360, 412
 Малкин 76
 Мандель В. С. 284, 324, 337, 540
 Мандельштам М.-Э. 49, 136, 148, 149, 191,
 200
 Мапу А. 41, 42, 47, 48, 51, 484
 Марат 101, 411
 Марголин С. О. 303, 450
 Марголин Ф. 310
 Марек П. 317, 586
 Маркон И. Ю. 292, 421
 Маркс К. 77, 87, 92, 323, 401, 471, 511,
 513, 526
 Мартенс 124
 Мартов А. 437
 Маршал А. 518
 Масарик Т. 227
 Мацкевич 59
 Маццини 566
 Маяковский В. В. 568
 Межеричер Б. 144

Мейер Э. 507
 Мейербер 126
 Мелье 90
 Менделеев см. Абрамович
 Мендельсон Д. 319
 Мендельсон М. 61, 63, 88, 104, 132, 257,
 265, 313, 579
 Мережин А. 330
 Мерц (Мертц Н. Ф.) 447
 Меттерних 566
 Мещерский 147, 148
 Миль Д. С. 72, 73—75, 81, 84, 91, 92, 101,
 104, 111, 115, 129, 132, 449, 459, 521,
 538, 576
 Милуков П. Н. 261, 336, 340, 352, 361,
 371, 378, 380, 475, 505
 Минор Ш.-З. 79, 114
 Минский (Виленкин) Н. М. 93, 94
 Мирабо 278, 376
 Мирбах 405, 408
 Михаил Александрович, вел. кн. 378
 Михайловский Н. К. 151, 254, 564
 Михельсон 158, 176
 Модена А. 166
 Молешот Я. 73
 Моля 115
 Момзен Т. 126, 157, 581
 Монаков 193
 Монтескье 92
 Моргулис М. Г. 105, 145, 146, 156, 157,
 161, 165, 167—169, 171, 186, 199—201,
 208, 211, 212, 222, 223, 229, 231, 238,
 239, 323, 403, 582
 Мордовцев Д. А. 144
 Морозов Н. 468
 Моцкин А. 414, 513, 516, 518—520, 527—
 529, 532, 542, 544
 Мошковский 137
 Муравьев М. Н. 181
 Муромцев С. А. 277
 Мыш М. И. 447
 Мюссе А. 557
 Мякотин В. А. 283, 340, 358

Н

Н. Д. 340
 Н. Н. 364, 471, 472
 Набоков В. Д. 475
 Надсон С. А. 105, 122, 217
 Найшул А. 256, 272
 Некрасов Н. А. 28, 65, 70, 112, 121, 122,
 150, 157, 181, 212, 217, 495, 565, 580
 Некрасов Н. В. 340
 Немировский Э. Я. 179, 580
 Нечаев 439
 Нигер Ш. 426

Николай I 24, 223, 323, 440, 566
 Николай II 181, 221, 253, 255, 259, 260,
 289, 320, 361, 378, 380, 398, 407, 408,
 454, 465, 470, 471, 473, 474
 Николай Николаевич, вел. кн. 338
 Нисенбаум С.-Б. 338
 Нисселович А. Б. 293, 297, 316
 Ницше 74, 159, 174, 193, 565
 Новак 219
 Новаковский И. 272, 431
 Номберг Г.-Д. 519
 Нордау М. 208, 209, 212, 414, 497
 Нотович О. К. 102, 582
 Нурок М. 91, 483
 Ньюман 528

О

Оболенский А. Н. 340
 Овидий 72, 132, 162
 Олифант А. 94
 Омар 569
 Омудевский И. В. 70
 Опатошу И. 489
 Ориген 382
 Оршанский И. Г. 104, 108, 179
 Оршанский М. Г. 104, 179
 Острогорский М. Я. 437

П

Павлов В. П. 285
 Пайн Г. 440, 448
 Пайо 515, 534
 Пален К. И. 106
 Пален К. К. 266, 483
 Папен Ф. 543, 546—548
 Паскаль 168
 Пасс Э. 59
 Пастер 572
 Паткин А. 388
 Пахман 225
 Певзнер Н. 432
 Пен С. С. 228, 330
 Пергамент М. Я. 444
 Пергамент О. Я. 283, 287
 Перельман А. Ф. 296, 301, 307, 317, 321,
 322, 368, 380, 387, 401, 445, 446, 449,
 454, 459, 468
 Переферкович Н. 287, 288
 Перец И.-А. 133, 142, 266, 297, 301, 316,
 317, 347
 Перец Л. 316
 Перетц А. 23
 Перетц Г. 23
 Перлес Р. 537
 Перлес Ф. 515

Петерс Я. Х. 427, 428
 Петлюра С. В. 417, 420, 422, 438, 441, 442,
 516, 520
 Петровский Г. И. 411
 Пилсудский 521, 539
 Пинскер Л. 103, 164, 174, 213, 240
 Пинскер С. 99
 Пинский Д. 547
 Пиплер И. 32, 33
 Писарев Д. И. 51, 60, 65, 65, 70, 100
 Платонов С. Ф. 437, 439, 444, 448, 451, 452
 Плева В. К. 241, 242, 243, 252—255, 258,
 259, 403, 410
 Плещеев А. Н. 63
 Победоносцев К. П. 83, 170, 181, 566
 Покровский М. Н. 464, 470, 471
 Полежаев 63
 Полонский 122, 217
 Полоцкий В. 483
 Поляков С. А. 252, 353
 Поляков Я. С. 419, 496
 Португалов 301, 306
 Португейс 513
 Посников А. С. 283
 Пресняков 283
 Пресс А. А. 332
 Прилукер Э. Я. 101, 105, 120
 Прилуцкий Н. 488
 Прокопович 467
 Проппер С. М. 419
 Протопопов А. Д. 371, 373, 374, 377
 Пуанкарэ 334
 Пуришкевич В. М. 291, 332, 336
 Путилин 80
 Пушкин А. С. 54, 194, 217, 557, 568, 569,
 574, 576

Р

Р. см. Рубашов
 Рабби Корев 313
 Рабинович 137, 138, 149, 483, 581
 Рабинович Г. 262
 Рабинович И. 121, 580
 Рабинович О. 149
 Рабинович М. 156
 Рабинович С. Н. 141, 148
 Рабинович-Шефер С.-П. 133, 137, 313, 490
 Равва 36
 Равидович С. 495, 496
 Равницкий И.-Х. 158, 162, 166, 167, 176,
 184, 201, 219, 228, 241, 244, 309, 324,
 330, 370, 487, 451, 455, 457, 500, 537
 Рав-Цаир см. Черновиц Х.
 Радлов В. В. 324
 Раппопорт см. Ан-ский С. А.
 Распутин Г. Е. 332, 355, 371—373, 386

Ратенау В. 487, 488, 496, 511
 Ратнер М. Б. 261, 262, 269, 274, 374
 Рафес М. Г. 362, 431
 Рашковский Н. 446, 447
 Ремизов А. Н. 468
 Ренан Э.-Ж. 100, 101, 116, 119, 126, 132,
 139, 140, 157, 178, 290, 293, 303, 576,
 581, 583, 586
 Реннер К. см. Шпрингер
 Рибо 137
 Ригер П. 494
 Рикардо Д. 92
 Риссер Г. 92, 208
 Родзянко М. В. 337, 377, 431
 Родичев Ф. И. 277, 278, 316, 340, 361
 Родкинсон М.-Л. 99, 580
 Розенбаум С. 242, 262, 446, 453, 468, 484
 Розенберг П. А. 107—109
 Розенберг С. Я. см. Розенбаум С.
 Розенвальд 535
 Розенталь Г. 224, 582
 Розенфельд М. 435
 Розенфельд Я. А. 82, 86, 87, 92—95
 Розовский С. 421
 Романов М. 407
 Романовы 378, 411
 Роми И. 121
 Ромм И. 272, 276
 Рооп 277
 Рубашов З. 305, 497
 Рувен 38, 49
 Рузский Н. В. 344
 Руппин А. 216
 Руссо 92, 117, 195

С

Саади Гаон 86, 399
 Саббатай Цеви 19, 96, 97, 100, 394, 451,
 520, 579, 580
 Сазонов С. Д. 344, 345
 Сазыкины 76, 127
 Сакер Я. А. 199, 200, 201, 208, 211, 212,
 223, 229, 231, 261, 270, 307, 403
 Салтыков-Щедрин М. Е. 220
 Самуэли Н. 120
 Сацир И. 228
 Святополк-Мирский П. Д. 259, 354
 Сев А. А. 213, 229, 232, 233, 239, 244, 275,
 297, 299, 301, 307, 361, 473
 Семевский В. И. 364, 370
 Сент-Бэв 467
 Сергеевич 124
 Сергей, вел. кн. 260
 Скобелев М. Д. 62
 Скобелев М. И. 377
 Скоропадский П. П. 401, 406, 417, 422

Слиозберг Г. Б. 108, 109, 136, 261, 263,
 279, 285, 307, 324, 332, 340, 344, 345,
 353, 361, 364, 382, 404, 436, 437, 349,
 443, 444, 528
 Слонимский Х.-З. 55
 Слуцкий А.-Я. 406
 Случевский К. К. 181
 Смит А. 92
 Смоленский П. 47, 51, 82, 104, 192, 580,
 581
 Собернтейм М. С. 492
 Созонов Е. С. 255
 Соколов Н. 120, 137, 138, 180, 238, 270,
 319, 518, 519, 580, 581
 Соколов Н. Д. 340
 Сократ 74, 123, 199, 265
 Солд Г. 240
 Солнцева 68
 Соловейчик М. 331, 453, 454, 464, 470, 474,
 484—486, 490, 503, 510
 Соловьев А. К. 70
 Соловьев В. С. 208, 232
 Сологуб Ф. К. 347
 Спасович В. Д. 80
 Спектор М. 90, 137, 138, 141, 510
 Спенсер Г. 77, 84, 91, 115, 117, 132, 136,
 140, 467
 Сперанский В. Н. 401, 513
 Спиноза Б. 86, 96, 108, 110, 117, 123, 133,
 166
 Сталин И. В. 398
 Стасюлевич М. М. 389, 427
 Столпнер Б. Г. 300, 312, 325, 326
 Столыпин П. А. 279, 281, 285, 290, 291,
 297, 319, 320, 322
 Струве П. Б. 462
 Сухомлинов В. А. 378
 Сушков 150, 151
 Сыркин М. Г. 213, 232, 233, 242, 290, 461
 Сю Э. 40

Т

Таганцев В. Н. 466, 467, 471
 Таганцев Н. С. 466
 Тарле Е. В. 283
 Тацит 126, 376, 572
 Тейнер 97
 Тейтель Я. А. 317, 513, 514, 539
 Теллер П. 319
 Темкин В. 262, 519, 523
 Темкин З. 318
 Тиблен 63
 Тиктин Г. А. 110
 Тит Ливий 72
 Толмачев 308
 Толстой А. 217

Толстой Д. 70, 94, 95
 Толстой Л. Н. 111, 112, 117, 140, 143, 144,
 193, 313, 491, 569, 574—577, 582
 Томсинский С. Г. 527
 Торквемада 208, 560
 Торрес 516
 Трепов 65, 266
 Тривус М. А. 214, 232, 233, 255, 286, 297—
 299, 301, 322
 Тривуш И.-И. 362, 491
 Троки И. 257
 Трофимов 80
 Троцкие 308, 323, 330
 Троцкий Л. Д. 383, 391—393, 397, 400, 406,
 410, 411, 418, 422, 434, 455, 457, 467,
 488, 502, 536, 537
 Троцкий М. И. 228, 308
 Трубецкой Е. Н. 346
 Трульстра П. Й. 414
 Трумпельдор И. 405
 Тувим И. 214, 304, 412, 586
 Туган-Барановский М. И. 283
 Тургенев И. С. 67, 68, 111, 112, 205, 569
 Тьер А. 106
 Тэйлор 115, 117
 Тэн 132, 467, 576
 Тютчев Ф. И. 217, 574
 Тэпер (Тепер) 201, 202

У

Уайт А. 162
 Уваров 50
 Уланд 189
 Ульштейн 487
 Урицкий М. С. 397, 410—412
 Уриэль Дакоста см. Акоста Уриэль
 Урванцев А. Н. 447
 Усышкин М. М. 14, 139, 200, 269, 270, 330,
 332, 424, 518, 519
 Уэллс Г. 455

Ф

Файнлейб 483
 Фарбштейн Д.-Ц. 194
 Федоров 215
 Фейербах Л. 73
 Фельдман О. 125
 Феодосий 382
 Феодосий I 388
 Феодосий II 389
 Фердинанд 560
 Феррер В. 187
 Ферстер Ф.-В. 193, 194, 365, 366
 Фет А. А. 217
 Филиппсон Л. 104

Филон 31, 373
 Финкельштейн 165
 Фиркович А. 99
 Фишер К. 116
 Флейтман 416
 Флексер А. см. Волинский А.
 Франк А. 154
 Франк Я. 97, 102, 580
 Франкфельд Г. В. 228
 Франц Иосиф 371
 Француз К.-Э. 126, 581
 Фрейд З. 574
 Фрейлина И. 65
 Фрейдлины 64, 67, 71, 74, 77, 113, 115, 441
 Фридберг А.-Ш. 138
 Фридендер Д. 319
 Фридендер И. 203, 204, 244, 265, 313, 319,
 352, 413, 440, 445, 448, 450, 471, 484,
 506, 589
 Фридлянд Л. 143
 Фридман Н. М. 59, 60, 293, 316, 344, 349,
 352, 360, 364, 370, 406
 Фридрих Великий 525
 Фришман Д. 100, 489
 Фруг С. Г. 87, 90, 93, 97—99, 104, 105,
 110, 119, 122, 123, 125, 127, 129, 139,
 141, 151, 162, 163, 171, 181, 210, 211,
 217, 234, 235, 281, 282, 301, 309, 319,
 324, 363, 367, 369—371, 395, 521, 530,
 588
 Фрумкин Я. Г. 260, 357
 Фрумкины 64

Х

Хавкин В. А. 539
 Хазанович И. А. 177, 183, 455
 Ханутин 45, 46
 Харузин 321
 Хвольсон Д. А. 292
 Хвостов А. Н. 355, 357, 359, 360, 362, 412
 Хейфец 190
 Хоронжицкий С. И. 284, 446

Ц

Цедербаум А. О. 79, 80, 89, 99, 105
 Цейтлин С. Я. 80, 204, 207
 Цельз 382
 Цеткин К. 547
 Цинберг И. Л. 236, 287, 297, 299, 331, 421,
 459, 460
 Цитрон Ш.-Л. 252
 Цицерон 72, 107, 160, 414
 Цунц И.-Т.-Л. 168, 504

Ч

- Чайковский Н. В. 347
 Чацкий Т. 130
 Чеберяк 322
 Червяков А. Г. 526
 Чериковер И. М. 487, 493, 496, 498, 516, 520, 589
 Чериковер Р. Н. 516
 Черников 485, 519
 Черниковский С. Г. 497
 Чернов В. М. 456, 468
 Черновиц Х. 201, 228, 244, 319
 Черновиц Ш. 295
 Черновицы, бр. 496
 Черносвитов 433
 Чернышевский Н. Г. 65, 67, 70, 92, 108, 183
 Членов Е. В. 139, 317
 Чхейдзе Н. С. 352, 353, 360, 377

Ш

- Шабад Ц. 260, 261, 264, 450, 461, 466
 Шадурский 357, 359
 Шалом-Алейхем см. Шолом-Алейхем
 Шапиро К. А. 105
 Шапиро С. Б. 201
 Шапиро Я. 177
 Шварцбарт 516, 519, 520
 Швачка 152
 Шейдеман Ф. 422, 553
 Шейнкин М. 187, 201
 Шекспир 112
 Шеллер-Михайлов А. К. 51, 69
 Шелли 91, 102, 111, 115, 116, 576
 Шиллер 68, 467, 499
 Шингарев А. И. 277, 378, 397
 Шиппер И. 304
 Шифрины, бр. 178, 179
 Шлегели 319
 Шлейермахер 319
 Шлейхер К. 543, 547
 Шлоссер Ф. Х. 115, 467
 Шнеерсон З. 236
 Шнеерсон М. 25, 156, 512
 Шнерер Г. 86
 Шолом-Алейхем 90, 133, 138, 141, 142, 148, 149, 157, 158, 161, 162, 191, 216, 297, 333, 363, 365—367, 369, 370, 431, 451, 510, 530, 550, 581, 582, 588
 Шомер (Шайкевич) Н.-М. 133
 Шопенгауэр 574
 Шорр М. 304
 Шпенглер О. 496
 Шпильгаген Ф. 51

- Шпрингер (Реннер) 227, 278
 Шрадер 283
 Штаде 214
 Штальгельм 541
 Штейн А. 193
 Штейнберг А. З. 421, 422, 423, 505, 507, 509, 515, 528, 531, 534, 536, 540
 Штейнберг И. 256
 Штейнберг И. З. 501, 502, 523, 552
 Штейнберги, бр. 503, 528
 Штеккер А. 86
 Штерн Г. 494
 Штернберг Л. Я. 286, 299, 332, 334, 336, 401, 436, 439, 452, 456, 467, 473
 Штиф Н. 297, 360, 401, 485, 491, 526, 551
 Штраус Д. Ф. 569
 Штюрмер Б. В. 359, 360, 371, 377
 Шульман К. 39, 40, 42, 48, 49, 59
 Шульман Л. 180, 261
 Шур Х. 70, 138, 326
 Шюрер 368

Щ

- Щегловитов И. Г. 316, 317, 322, 327, 333, 377, 412, 439
 Щепкин 433
 Щербатов Н. Б. 353

Э

- Эберт Ф. 422, 495, 512
 Эйгер Я. Б. 362
 Эйнштейн А. 500, 507, 508, 538
 Элиасберг А. 491
 Элиша 85, 113, 459
 Эльбоген 503, 505, 521
 Эльяшев (Баал-Махшовос) 421
 Эльяшева (Гурлянд) 421, 490
 Эмануил 81, 82, 93
 Эмануил Р. 68, 370, 412, 468, 528
 Эмануил С. 466
 Эмануил Я. 323
 Эмануилы 109, 129, 225, 232, 237, 271, 279, 289, 400, 466, 476, 521
 Энгель Ю. Д. 356
 Эренпрайс 508
 Эрикссон 90
 Эрлих А. Г. (Аля) 369—374, 389, 395, 409
 Эрлих В. Г. (Виктор) 409
 Эрлих Г. 320, 328, 384, 389, 409
 Этинген Л. 440
 Эфрат М. 50, 251
 Эфрон см. Ефрон И. А.

Ю

Юденич 420, 426, 435, 438
Юстин Мученик 382
Ющинский 322

Я

Явиц З.-В. 133, 174
Якобович Л. 227
Якобсон В. 492, 493, 502
Янушкевич Н. Н. 349
Яффе Л. 396, 426
Яхнес И. 34, 225
Яшунский И. В. 401

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. Е. Кельнер. С. М. Дубнов — мемуарист 5

Том I

Предисловие 17

КНИГА ПЕРВАЯ. Детство и школьные годы (Мстиславль, 1860—1877) 19

Глава 1. Рабби Иосиф Дубно и судьба его книги 19

Глава 2. Мстиславль. Образ деда Бенциона 22

Глава 3. Родительский дом 26

Глава 4. Детство и школьные годы 29

Глава 5. Хедерная наука и детское мирозерцание 35

Глава 6. Литература Гаскалы и первый детский бунт (1870—1872) 39

Глава 7. Еретические книги под фолиантами Талмуда (1873—1874) 44

Глава 8. Русская школа и русская книга (1874—1877) 49

КНИГА ВТОРАЯ. Годы скитаний экстерна (1877—1880) 57

Глава 9. Лето в «литовском Иерусалиме» (1877) 57

Глава 10. Зима в Динабурге (1877—1878) 61

Глава 11. Год в Могилеве на Днепре (1878—1879) 66

Глава 12. Отшельник в Смоленске. Начало позитивизма (1879—1880) 71

Глава 13. В Петербурге на рубеже двух эпох (1880—1881) 76

КНИГА ТРЕТЬЯ. Юный писатель в полосе бунта (Петербург—Мстиславль, 1881—1885) 85

Глава 14. Мое вступление в литературу в эру реакции (1881) 85

Глава 15. Радикализм в исторических работах (1882) 91

Глава 16. Постоянное сотрудничество в «Восходе» (1882—1883) 97

Глава 17. Крайности антитезиса: статья о реформе иудаизма (1883) 102

Глава 18. Борьба за право (1884) 106

Глава 19. Ахер в родном городе. Домашний университет (1884—1885) 111

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Время резигнации (Мстиславль—Петербург, 1885—1890) 119

Глава 20. Глазная болезнь и внутренний кризис (1885—1886) 119

Глава 21. Между провинцией и столицей (май—декабрь 1886) 127

Глава 22. Начало литературного самоопределения (1887) 131

Глава 23. Приготовления к «Истории хасидизма» (1887—1888) 135

Глава 24. Двухлетняя работа по истории хасидизма (1888—1889) 139

Глава 25. Между севером и югом (1890) 146

КНИГА ПЯТАЯ. Под знаком историзма (Одесса, 1890—1897) 153

Глава 26. Наш литературный кружок в Одессе 153

Глава 27. Тревожный год (1891) 159

Глава 28. Пафос истории (1892) 165

Глава 29. Подготовительные работы по истории русских евреев (1892—1893).....	170
Глава 30. Путь к синтезу (1894).....	177
Глава 31. «Еврейская история» под фирмою Бека и Бранна (1895—1896).....	182
Глава 32. На родине и в Швейцарии (1897).....	188
КНИГА ШЕСТАЯ. Синтез старого и нового еврейства (Одесса, 1897—1903).....	197
Глава 33. Первые «Письма о старом и новом еврействе» (1897—1898).....	197
Глава 34. Общественное и личное (1898).....	202
Глава 35. В борьбе идейных течений (1899).....	207
Глава 36. Между русско-еврейской и общееврейской историей (1900).....	213
Глава 37. Культурная борьба (1901).....	221
Глава 38. Автономизм и борьба за национальное воспитание (1901—1902).....	225
Глава 39. Между югом и севером (1902—1903).....	232
Глава 40. Кишиневский погром и переезд в Вильну (1903).....	240
Том II	
Ко второму тому.....	249
КНИГА СЕДЬМАЯ. Годы погромов и первой революции (Вильна, 1903—1906).....	250
Глава 41. Гомель и Вильна (июнь—декабрь 1903).....	250
Глава 42. Японская война и начало «политической весны» (1904).....	254
Глава 43. Революция и резолюции. Союз полноправия (январь—июль 1905).....	259
Глава 44. Октябрьские погромы и «Уроки страшных дней» (1905—1906).....	265
Глава 45. Первая Дума и победа контрреволюции (1906).....	273
КНИГА ВОСЬМАЯ. Между общественностью и наукою (Петербург—Финляндия, 1906—1909).....	281
Глава 46. Лекции в Высшей школе и программа «Фолкспартей» (1906—1907).....	281
Глава 47. «Еврейская энциклопедия» и еврейская «академия» (1907—1908).....	289
Глава 48. Литературное и Историко-этнографическое общества (1908).....	294
Глава 49. «Еврейский мир» и «Еврейская старина» (1909).....	300
КНИГА ДЕВЯТАЯ. В полосе историографии (Петербург—Финляндия, 1910—1914).....	308
Глава 50. Пересмотр древней истории (1910).....	308
Глава 51. Начало «Новейшей истории». Тревожный год (1911).....	314
Глава 52. Два года в переживаниях XIX века (1912—1913).....	321
Глава 53. Накануне мировой войны (1913—1914).....	328
КНИГА ДЕСЯТАЯ. Годы мировой войны в Петербурге (1914—1917).....	336
Глава 54. Первое полугодие войны (июль—декабрь 1914).....	336
Глава 55. Из дневника второго полугодия войны (январь—июнь 1915).....	343
Глава 56. Из дневника третьего полугодия войны (июль—декабрь 1915).....	350
Глава 57. Четвертое полугодие войны (январь—июль 1916).....	358
Глава 58. Пятое полугодие войны, до Февральской революции (1916—1917).....	367
КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ. Пять лет революции и гражданской войны (Петербург, 1917—1922).....	375
Глава 59. Февральская революция (февраль—июнь 1917).....	375
Глава 60. Февральская революция на ущербе (июнь—октябрь 1917).....	383
Глава 61. Октябрьский переворот (октябрь 1917—март 1918).....	391
Глава 62. В «Северной Коммуне» (март—август 1918).....	400

Глава 63. В дни красного террора (сентябрь—декабрь 1918)	410
Глава 64. Вымиравший Петербург в ожидании «спасителей» (1919)	419
Глава 65. На академическом пайке (1920)	437
Глава 66. Окончание главного труда и прощальный юбилей (январь—июнь 1921)	452
Глава 67. Муки исхода из «дома рабства» (1921—1922)	463

Том III

К третьему тому	481
КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ. На развалинах Европы (1922—1924)	482
Глава 68. Между Россией и Германией (апрель—август 1922)	482
Глава 69. В Берлине. Издательская горячка и бедствия инфляции (1922—1923)	490
Глава 70. Издательский кризис и авторские заботы (1924)	499
КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ. Завершение десятилетней «Истории» (1925—1929)	509
Глава 71. Переход от русского к немецкому изданию (1925)	509
Глава 72. Пересмотр «Западного периода» (1926—1927)	514
Глава 73. Последняя редакция «Новейшей истории» (1928—1929)	524
КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Последние годы в Берлине (1930—1933)	533
Глава 74. Переработка «Истории хасидизма» и ликвидация жизненного труда (1929—1931)	533
Глава 75. «Книга жизни» среди германского хаоса (1932)	543
Глава 76. Конец демократической Германии (1933)	548
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	554
РАЗМЫШЛЕНИЯ	556
Автобиблиография	579
Комментарий	598
Указатель имен	647

С. М. Дубнов
КНИГА ЖИЗНИ
Воспоминания и размышления
Материалы к истории моего времени

Вступительная статья и комментарий *В. Е. Кельнера*

ISBN 5-85803-124-0

Редактор издательства — *И. П. Сологуб*
Набор — *Т. Б. Ребриева*
Технический редактор — *С. В. Щербикова*
Корректоры — *И. П. Сологуб, Н. В. Пивоваренок*
Выпускающий — *Д. А. Ильин*

Издательство
«Петербургское Востоковедение»
191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18

ЛР № 065555 от 05.12.1997
Подписано в печать 31.10.98. Формат 70x100 1/16
Бумага офсетная. Гарнитура «Мysl»
Печать офсетная. Объем 42 п. л. + 1 л. ил.
Заказ № 3860.

ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ
Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12